АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

ПУТЕШЕСТВИЕ
ДНЕВНИК
СТАТЬИ



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
Н. В. КОРОЛЕВА, В. Д. РАК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
Ленинград · 1979

Ответственный редактор

Б. Ф. ЕГОРОВ

К $\frac{70301\text{-}598}{042\,(02)\text{-}79}$ 401-402-78



ОТ РЕДАКЦИИ

Широко отмечавшееся 150-летие со дня восстания 14 декабря 1825 года ознаменовалось выходом в свет целого ряда сборников, антологий, монографий, мгновенно раскупленных, что показывает, насколько остро и живо интересуется современный читатель наследием декабристов и трудами о них. В этом влечении отражается и заметная тяга к отечественной истории, к документам и мемуарам, и более пристальное внимание именно к «золотому веку» русской культуры — к пушкинской эпохе, и — что особенно важно — растущий с каждым годом этический пафос нашей жизни, заставляющий в созидании нравственных идеалов опираться и на прошлое, на выдающиеся образцы рыцарственного характера и поведения.

Многие и многие декабристы отличались энциклопедической образованностью, разносторонними творческими талантами, мужеством и честностью, но даже на фоне блестящих своих соратников Вильгельм Карлович Кюхельбекер невольно выделяется: по разносторонности интересов и творческих способностей он находится в числе первых, по нравственным качествам — в числе самых-самых первых, а по знаниям, наверное, вообще ему не было равных. Между тем нужно честно признаться: широкие круги наших читателей мало и плохо знают Кюхельбекера, отдавая предпочтение роману о нем Ю. Тынянова («Кюхля»). Причина, видимо, в том, что Кюхельбекер — не универсальный писатель, для всех и вся, и его произведения, как правило, — не для завлекательного чтения, им с этой точки зрения трудно соперничать с повестями А. Бестужева-Марлинского или с «Записками» княгини Марии Волконской.

Чтение и изучение трудов Кюхельбекера требует определенной подготовки (общеобразовательной, литературной, исторической), требует вдумчивого, неторопливого подхода. Зато читателя ожидают часы высокого умственного, эстетического, этического удовлетворения: он будет поражаться глубоким и часто неожиданным мыслям, сопоставлениям, оценкам, метким художественным зарисовкам, трагичным или трогательно-наивным откровениям. Сила впечатления от творческого наследия Кюхельбекера многократно еще усиливается, когда мы узнаём, что значительная его часть создавалась в невыносимых условиях тюремных казематов или нищенского существования сибирского ссыльного. В этом

отношении дневник, художественные произведения, статьи Кюхельбекера после Декабря — настоящий человеческий *подвиг*, по величию и стойкости нисколько не уступающий, а скорее даже превосходящий *мгновенные* героические поступки: сохранить и упрочить творческие интересы, нравственный уровень личности в течение долгих месяцев и лет в обстановке, совершенно противопоказанной и творчеству, и нравственности, — это та страшная жизненная проверка, то неопровержимое доказательство силы, масштабности, чистоты духовных и душевных основ Кюхельбекера и подобных ему декабристов, тех качеств, которые окружают их владельцев возвышенным и светлым ореолом, делают для потомков образцами для подражания.

Тюремное и сибирское наследие Кюхельбекера имеет и другой, воистину трагический смысл. Особенно это заметно по дневнику. Многолетнее отсутствие среды единомышленников, духовное одиночество, редкие старые книги и журналы, болезни и материальные заботы — все это не могло не отразиться пагубно на творчестве. Лишение культурной среды и культурной пищи медленно и настойчиво иссушало мозг, притупляло чувства, приводило к духовной дистрофии, к психическим странностям, к отставанию от века, от развития страны и мира. Поэтому на примере Кюхельбекера можно не только восхищаться силой и стойкостью, но и негодовать на ту жестокую бесчеловечную махину, называвшуюся самодержавным строем, которая и по самой-то сути была антиподом культуры, творчества, интеллигентности, да еще сознательно безжалостно душила попавших под ее пресс явных противников.

А Кюхельбекер был именно явный противник. С его са́мобытным и свободолюбивым характером вообще было трудно существовать: он всегда плыл «против течения». Оригинальный ум и страстная его натура сочетались еще с донкихотским отсутствием лицемерия, дипломатического такта, и он слишком часто совершал физические и идеологические поступки, идущие вразрез не только с общепринятыми мнениями, но и с так называемой личной выгодой. Уже целый ряд его деяний задолго до декабризма и восстания на Сенатской площади попахивал каторгой или ссылкой: антисамодержавные публичные лекции в Париже, рыцарская пощечина родственнику всемогущего Ермолова и т. п. Кюхельбекер был одним из самых «декабристских» декабристов, одним из самых органичнейших и яростных противников рабства, тирании, несправедливости, косности.

Следует отметить еще одну возможную причину относительной непопулярности Кюхельбекера: в советское время довольно часто публиковались поэтические его произведения, но почти не переиздавалась проза, если не считать главных литературно-критических статей. Впервые читателю предлагается почти полное собрание прозаических сочинений декабриста. В их числе замечательные дневник и путевые очерки, а в Дополнении — «Русский Декамерон» (прозаические части) и яркая романтическая повесть «Последний Колонна», которая, кстати сказать, показывает, что и серьезный Кюхельбекер был не чужд живости и увлекательности.

ПУТЕШЕСТВИЕ



ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ

1

8 сентября 1820. Нарва.

Путешествовать очень приятно: но вспомните смотрителей, ямщиков, счеты. Дорога от С.-Петербурга до Нарвы довольно однообразна. Но прекрасная вечерняя заря меня очаровывала; картины из моего будущего, из моего прошедшего мелькали перед моими глазами: я ожидал счастия. Иногда и синие, желтые, пунсовые листья осеннего леса представляли моим взорам разнообразные, чудные декорации. Облака громоздились самым оссиановским образом.

2

12 сентября. Рига.

Нарва после С.-Петербурга производит на душу странное впечатление. Улицы, и сверх того главные, у́же нашего грязного переулка; дома высокие, готической архитектуры, с надписями и изречениями из священного Писания. Вид города чрезвычайно живописен: развалины Иван-города как будто еще и теперь, подобно привидениям воителей, устрашают Нарву. Нарова шумит между древними укреплениями русскими и бывшими шведскими: две башни с противных сторон смотрят одна на другую и похожи на двух неприятелей, готовых вступить в бой.

С А. Л. . .м[1] и с его семейством, провожавшим нас до Нарвы, отправился я смотреть здешний водопад: что сказать вам, друзья, об этом великолепном зрелище? Оно не удивило меня, потому что я уже ожидал чего-то чрезвычайного. Но я наслаждался и его вечным шумом, и бездною его жемчуга, и лесистыми островками, разделяющими его на несколько рукавов. Мы осматривали достопримечательности Нарвы: дом Петра Великого, где хранятся башмаки его работы и два экземпляра его знаменитой дубины; церковь русскую, бывшую некогда католическою, потом лютеранскою, и немецкий собор святого Петра. В последнем мы

нашли гробы многих именитых граждан города Нарвы, живших в первой половине 17 столетия. Надгробные камни покрыты эмблемами и надписями, напоминающими тленность всего земного: здесь изображение свечи с девизом — «Свеча гаснет»; там розы с девизом — «Роза увядает», и проч. Мне представлялись добрые, честные отцы семейства, которые здесь покоятся, их важность и деятельность, их строгость в домашнем быту и праздничная торжественность, с коею по воскресеньям отправлялись сюда с своими женами домовитыми, опрятными благодарить бога за свое благоденствие. Я видел их дочерей пригожих и застенчивых; видел всю их смиренную, тесную жизнь, их радости и страдания.

«Здесь все говорит о смерти, — сказал наконец один из наших сопутников, — о ней и в свете упоминают беспрестанно!».

«В свете, — прибавил я, — столько говорят о смерти и так часто произносят звук *смерть*, что наконец с ним не соединяют никакого понятия». Молодая княжна С...а задумалась.

В Нарве я в первый раз узнал, что значит возбуждать любопытство жителей большого уездного города: они за нами везде следовали толпами; все окна, все двери были отперты, на нашу коляску глядели, как на осьмое чудо света.

Дорогою от Нарвы до Дерпта, недалеко от станции Ненналь[2] на берегу Чудского озера, мы с доктором[3] должны были выйти из экипажа: лошади не могли втащить нас в гору. Ночь была истинно скандинавская: ветер не свистел, а завывал; сердитое озеро кипело у ног наших и с минуты на минуту приближалось. Один из слуг, бывших с нами, молодой человек лет 18, который, вероятно, бури знал по одному слуху, не скрывал своего страха; он смешил нас; однако же мы были довольны, когда наши кони взвезли нас на пригорок и коляска медленно двинулась по песку. Никогда я не видывал лучшего подобия хаосу: берег и озеро, суша и вода, казалось, смешались и беспрестанно уступали друг другу. Перед тем, вечером, мы видели море: оно было спокойно, величественно, необозримо; последний свет зари, отражаясь, рассекал его на несколько разноцветных слоев, и небо, столь же спокойное, отделялось от него ясною чертою.

В Ненналe я вспомнил, что нахожусь в прежнем владении семьи нашей, что в 8 верстах похоронен покойный батюшка.

О колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?

После 11-летней разлуки[4] проскакал я в осеннюю, бурную ночь через места, для меня незабвенные, и не успел обнять гроб родителя. Дерпт... сколько воспоминаний, сколько милых картин, ясных и сумрачных, из моего минувшего времени! Здесь я посетил профессора Д..., с дочерьми коего играл ребенком: София, которая уже тогда занимала влюбчивого мальчика, замужем; Юлия, которая тогда еще не расцвела, вянет,

За Дерптом природа уже гораздо свежее, и чем более приближаешься к Риге, тем она становится разнообразнее и живописнее. Но перед самою столицею Лифляндии[5] пески несносны. Я здесь ничего не видал, потому что был болен и не мог ходить. Предместие красиво: это я заметил проездом; город, кажется, по большей части архитектуры готической.

3

15 (27) сентября. Мемель.

Курляндия[1] начинается обширными, необозримыми равнинами; потом становится холмистее. Мы проезжали местами очень живописными; жаль только, что погода была пасмурна и туманна. Замок Деблен, развалины из веков рыцарских, лежит прелестно на зеленом круглом холмике над водою и весь обсажен деревьями. В Курляндии мало дубов; но лишь только въедешь в Пруссию, как везде встречаешь это народное тевтонское дерево. Зато огромные сосны, ели, липы и березы здесь возвышаются в воздух и напоминают древних богов: Перкуна, Пикола и Потримбоса,[2] которым леты[3] приносили жертвы под их исполинскою тению.

Леты вообще гораздо лучше из себя эстов и финнов; особенно между их молодыми мужчинами встречаешь лица и головы, которые бы не испортили статуи пригожего Сильвана[4] или даже Антиноя, но стан их ничтожен и не мужествен; женщины вообще безобразны.

Как описать вам, друзья, чувства, с коими оставил я Россию? Я плакал как ребенок, и эти слезы, которые удержать был не в состоянии, живо заставили меня чувствовать, что я русский и что вне России нет для меня счастия. У вас, мои милые, у вас мое сердце, у вас мое все. Природа, моя давнишняя утешительница, приняла меня в свои объятия. Мы въехали в прусские пески и шажком тащились вдоль моря: вечер был самый поэтический; облака, от вечерней зари,

Летя, сияли,
И, сияя, улетали

за далекий, величественный, ясный небосклон; море кипело и колыхалось. Какая противоположность!

Дикий Нептун роптал, кипел и в волнах рассыпался,
А с золотой высоты, поздней зарей освещен,
Радостный Зевс улыбался ему, улыбался вселенной:
Так, безмятежный, глядит вечный закон на мятеж
Шумных страстей; так смотрит мудрец на ничтожное буйство:
Сила с начала веков в грозном величьи тиха.

4

17 (29) сентября. Кенигсберг.

Мне море в нашем переезде из Мемеля в Кенигсберг чрезвычайно наскучило. Море да песок, песок да море, и это в продолжение 14 часов езды с проклятыми немецкими почталионами, которые даже не сердятся, когда ругаешь их всеми возможными доннерветтерами, и на все твое красноречие с величайшим, с истинно германическим равнодушием отвечают: «Ja, mein Herr!». Какой же песок! В точном, самом точнейшем смысле слова: песчаное море! Ни травки, ни муравки, ни куста, ни дерева! Конечно бы я умер с тоски, ежели бы голод не умилосердился надо мною и не вздумал разнообразить чувств моих: выпив только чашку кофе, с четырех часов утра голодал я до пяти пополудни.

Теперь мы в Кенигсберге.

Поутру осматривали мы город.

Я уже видал несколько готических городов, но ни один не поразил меня до такой степени. Переезжая чрез мост, я ахнул: река Прегель по обеим сторонам обсажена узенькими высокими домами (между ними есть 8-этажные), которые стоят к берегу не лицом, а боком, снабжены огромнейшими кровлями и тем получают вид каких-то башен китайской или бог знает какой постройки! Улицы красивы и некоторые довольно широки: большие крыльца придают городу веселую южную физиономию. Меня восхитили италианские тополи, которые я здесь увидел в первый раз: не знаю красивее дерева.

5

21 сентября (3 октября).
Дорогою между станциями Шлопе и Гохцейт.

Мы уже дня три едем довольно однообразными песчаными местами: одно воспоминание о моих милых меня живит и отгоняет от души скуку. Признаюсь, что я никогда не любил вас так, как теперь, в разлуке с вами. Навеки останется у меня в памяти мгновенье, когда переехал я через границу. Оно принадлежит в моей жизни к тем немногим, в которые, по словам Гамлета, приближаемся к духу вселенной и получаем право вопросить Провидение.[1] И в эту минуту чувствую как будто бы тихое веяние, которое заносит ко мне образы из давно-минувшего, из моего детства. Кажется, вижу самого себя в день моего отъезда из того мирного городка, где получил первое образование.[2] Матушкина зимняя бричка уже на дворе; слуга моего доброго наставника несет с крыльца мою поклажу; стою один и гляжу в сад, занесенный снегом, и в первый раз чувствую вдохновение; в первый раз предчувствие, тоска, стремление в неизвестную, туманную даль и тайная боязнь наполняют мою душу, томят и освежают ее. Слезы, которых я не знал до того времени, хлынули из глаз моих; и тогда в первый раз я дерзнул вопросить промысл и

будущность! Помню еще несколько таких мгновений: к ним принадлежит и то, когда скрылось за мною отечество.

Мы все проезжали до сих пор католическою землею, населенною по большей части поляками и литовцами. Жидов здесь также чрезвычайно много.

Для меня чужды теперь хлопоты наших людей и почталионов, старающихся освободить коляску, завязшую в песку и задержанную еловыми сучьями. Доктор сердится, выскакивает, бранится; а я, уверенный, что не помогу общей беде и что она минет и без меня, остаюсь спокойным и продолжаю писать, как будто ничего не бывало.

Если вы будете в Мариенвердере и в Нейенбурге, вспомните обо мне, друзья! Оба города лежат на берегах Вислы самым живописным образом один против другого. Необозримые пажити, светлые рощи, богатые луга, множество селений и городков на высоких берегах величественной прелестной реки... как жаль, что я не живописец! Мариенвердер богат хорошими сливами и грушами и миленькими девушками. Добрые друзья, ежели будете в Мариенвердере, купите себе груш и слив и поцелуйте хотя одну красавицу в мое воспоминание!

Письмо XIV

(отрывок из путешествия)

15 (27) октября 1820-го года
дорогою между Герцбергом и Грозенгайном.

Мы оставили Берлин и Пруссию; сообщаю вам, друзья, некоторые об них воспоминания. Вечером в мою бытность в Потсдаме я отправился полубольной в гарнизонную церковь; вхожу в великолепный храм, выбитый алым бархатом: скудное мерцание наших свеч разделяло царствующий мрак на огромные тени, между коими изредка лоснились темно-багровые обои и сияла потускневшая позолота; молчание прерывалось нашими шагами и глухим отголоском здания; когда мы останавливались и умолкали, безмолвие возрастало и было тяжеле и печальнее. Здесь похоронен великий Фридерих; а возле него лежит в богатом мраморном мавзолее отец его: смерть помирила их![1] Сам он в простом гробе с свинцовою обшивкою: он даже не хотел, чтобы бальзамировали его.

В Берлине я между прочим посетил фарфоровую фабрику. Механические работы, махины, горны и проч., предметы для многих очень занимательные, не только не возбуждают во мне любопытства, они для меня отвратительны; посему иногда по природной мне уступчивости бываю в обществе других в мастерских и фабриках; но нечистота и духота, господствующие в них, стесняют, стук оглушает меня, пыль приводит в отчаяние, а сравнение ничтожных, но столь тяжелых трудов человеческих с бессмертными усилиями Природы будит во мне какое-то смутное него-

дование. Только тогда чувствую себя счастливым, когда могу вырваться и бежать под защиту высокого, свободного неба; чувствую себя счастливым даже под завываньем бурь и грохотом грома: он оглушает меня, но своими полными звуками возвышает душу. С любезным для меня семейством Шадовых я был в новом берлинском театре; здесь огромный, светлый концертный зал расширил сердце мое: я вдруг почувствовал себя веселее. Это один из прелестнейших залов, мною виденных. Воскресенье 10(22) числа я был с Лаппенбергом[a] в доме одного банкира из Гамбурга и слушал прелестное: Requiem. Пели любители, в числе их поразил меня сын банкира Авраама Мендельсона: он приехал с отцом из Парижа и, будучи мальчиком 15 лет, чудным своим музыкальным талантом успел уже прославиться. Никогда я не видывал столь совершенного красавца: его черные локоны в природной свободе упали до половины спины, шея и грудь белые, как снег, были открыты; черные полуденные глаза горели и возвещали будущего победителя душ! Уста небольшие, розовые казались созданными для поцелуев; в его голосе вылетало сердце, узнавшее и чувствующее более, нежели обыкновенно знают и чувствуют в его возрасте. Между прочими любителями находился друг Шиллера Кернер, отец бессмертного юноши, героя, поэта, мученика.[2]

Мои прогулки с Лаппенбергом в зверинце и в саду замка Бельвю для меня всегда останутся памятными: мы часто разговаривали с ним об России, об российской истории и об языке русском; он человек умный, ученый, рассудительный, одаренный вполне трудолюбием своего народа и рвением расширить область своего знания. Нередко мы ходили до усталости по огромному зверинцу, несколько уже развенчанному рукою осени; воспоминали время минувшее и дивились огромным следам и развалинам, которые оно повсюду оставило в полете своем; листья шумели под ногами или будили тишину внезапным падением. Мы останавливались; глядели на купы зеленых, синих, пунсовых дерев и почти пугались, когда вдруг открывали сквозь ветви вид или дорогу там, где еще вчера все для нас было завешано листьями. Так в течении времени испытатель в боязливом изумлении иногда усматривает связь и родство между такими предметами мира, которые до того считались совершенно один другому чуждыми.

Письмо XV

18 (30) октября. Дрезден.

Я здесь точно в стране волшебств и очарований. Весь день бегаю, наслаждаюсь и даже не имею времени передать бумаге свои наслаждения. Саксонская природа очаровывает меня еще и теперь, в глубокую осень. Представьте себе, друзья, чудесный Дрезденский мост через Эльбу,

---

[a] Лаппенберг, мой приятель, посланник ганзейских городов при берлинском дворе.

горы лесистые, потом туманные, синие, будто привидения по обеим сторонам; у самого моста величественную католическую церковь; представьте меня на мосту: гляжу и насилу удерживаюсь, чтоб не протянуть рук к этим очаровательным отдаленностям! Облака плавают в темно-голубом небе, озаряются вечернею зарею, отражаются в водах вместе с пышными садами и готическими, живописными строениями. Все долины, холмы и скаты усеяны бесчисленным множеством селений, деревень, городов — все здесь кипит жизнью. Люди пестреют в своих разноцветных одеждах. Вчера я был за городом с нашим доктором; народ толпами валил в общественный сад, где дрезденцы по воскресным дням пьют кофе и наслаждаются табаком и природою: что шаг, то новая в глазах моих картина! Экипажи, всадники, иностранцы в богатом английском, студенты в странном германском наряде, гвардейцы в красных мундирах с медвежьими шапками, нищие — словом, волшебный фонарь!

Письмо XVI

20 октября (1 ноября). Дрезден.

У меня было, как вы знаете, письмо в Берлин к поэту Тидге,[1] я его отдал здесь, в Дрездене. Тидге живет у почтенной госпожи фон дер Реке,[2] сестры герцогини Курляндской; в ее доме я познакомился еще с Бёттигером[3] и с Тиком, братом ваятеля,[4] главою германских романтиков. Тидге человек лет пятидесяти, самой обыкновенной наружности; он с первого взгляда более похож на доброго немецкого ремесленника, нежели на поэта: коротенький парик, из-под которого выглядывают седые рыжеватые волосы; маленькие серые глаза; морщинное лицо; слабое больное сложение и кривая нога — вот оболочка, в которую завернут творец «Урании»! Тидге разговаривает с большой живостью; его взоры воспламеняются, и, если рассказывает что-нибудь занимательное, он неприметным образом проливает теплоту в своего слушателя. Нередко посреди общего разговора он задумывается и сидит, занятый своими мечтаниями. Госпожа фон дер Реке нас заставила несколько раз заметить, когда впадал он в такое забвение. Обратя на него внимание в подобное мгновение, не смущаешь его, если он и увидит, что на него смотришь; он тотчас приходит в себя и с большим участием вмешивается в разговор общества. Я много рассказывал ему о нашей словесности: об Державине, Жуковском и молодом творце «Руслана и Людмилы» и должен был перевесть для него несколько стихотворений Батюшкова и Пушкина; он хочет их переложить и поместить в журнале, который в непродолжительном времени будет издаваться в Германии в пользу семейств, пострадавших от войны 1813 и 1814 годов.

Элиза фон дер Реке, урожденная графиня Медем, величественная, высокая женщина, она некогда была из первых красавиц в Европе; ныне, на 65 году своей жизни, Элиза еще пленяет своею добротою, своим умом,

своим воображением, — фон дер Реке была другом славнейших особ, обессмертивших последние годы Екатеринина века: великая императрица уважала и любила ее, уважала особенно, потому что ненавидела гибельное суеверие, которое Калиостро[5] и подобные обманщики начали распространять уже в последние два десятилетия минувшего века. Ныне это суеверие, не встречая даже между мужчинами столь просвещенных противников, каковы были в прошедшем столетии великая царь-женщина и умная, смелая женщина-автор, в наше время быстро распространяется, воскрешая от мертвых старинные, давно забытые сказки наших покойных мамушек и нянюшек, которые облекает в пышные, греческие названия единственно для того, чтобы не стыдно было им верить. Все мы смеемся над привидениями, домовыми, предсказаниями и волшебниками; но как не признать власть белых и черных магов, говорящих самым отборным, сладостным и темным языком о возможности соединяться с душами, отлученными от тела, о существовании элементарных духов, о тайных откровениях и предчувствиях? Зато господа Калиостро нашего времени одеваются в самое лучшее английское сукно, носят брегетовые часы, от них пашет ароматами; их руки украшены кольцами, а карманы — нашими деньгами; они все знают, везде бывали, со всеми знакомы; наши жены находят, что они ловки и любезны, а мы — что они премудры!

Но возвратимся к женщине, которая сорвала личину с их предшественника. Калиостро в свою бытность в Митаве успел воспламенить молодое тогда воображение госпожи фон дер Реке и сестры ее, герцогини Курляндской. Впрочем, Элиза не долго могла быть в заблуждении; она вскоре открыла всю гнусность обманщика и почла своею обязанностию пожертвовать собственным самолюбием для спасения других от сетей подобных извергов: она отпечатала описание жизни и деяний графа Калиостро в Митаве.[6]

Я никогда не забуду этой почтенной, величавой, кроткой любимицы муз: вечер дней ее подобен тихому прекрасному закату благотворного солнца; ее обожают все окружающие. Почтенный Бёттигер мне про нее сказал: «Это не женщина; это прекрасное явление из того мира, которое напоминает все божественное, все высокое».

В кругу, в котором теперь нахожусь, знают, помнят и любят двух наших писателей: А. С. Шишкова и Н. И. Греча. Шишков очаровал всех своею почтенною наружностью; Тидге его иначе не называет, как прекрасным старцем: особенно он полюбился творцу «Урании» живостью, с которою принимает все впечатления. Н. И. Греч озадачил Тидге и госпожу фон дер Реке своим природным смелым красноречием, не связанным никакими светскими узами.

У Тика я был сегодня поутру; он человек чрезвычайно занимательный и достойный примечания по своему образу мыслей. Сначала я упомянул

о сочинениях покойного Новалиса,[7] Тиком изданных, и жалел, что Новалис при большом даровании, при необыкновенно пылком воображении не старался быть ясным и совершенно утонул в мистических тонкостях. Тик спокойно и тихо объявил мне, что Новалис ясен,[8] и не счел нужным подтвердить то доказательствами. О Виланде Тик судит строго, но, как мне кажется, справедливо. «Виланд, — говорит он, — сластолюбив и скрытен: он с каким-то наслаждением останавливается на неблагопристойных предметах. Древние писатели распутнее Виланда, но выше его в глазах истинного философа, потому что в самых своих заблуждениях смелы и величественны и никогда не унижаются до шалости». Он согласен со мною, что в Виланде более слов, нежели дела.

Что же касается до его мнения о Клопштоке, оно так странно, что заслуживает быть замеченным: «Клопшток, — по словам Тика, — не есть християнин, не есть даже поэт нравственный, но скептик и потому писатель опасный».

Письмо XVII

22 октября (3 ноября).

В прошедшее воскресенье неожиданная встреча обрадовала меня в католической церкви. Я наслаждался превосходным пением королевских кастратов; обедня отошла; вдруг за мною кто-то вскрикивает, — оглядываюсь: это М...,[1] один из моих милых петербургских питомцев; он подводит меня к отцу; мы обнимаем друг друга, радуемся, удивляемся. Я потом был у них уже несколько раз и в их доме познакомился с молодым человеком, которого полюбил с первых двух свиданий: его имя О...,[2] он был в военной службе и теперь находится в Дрездене для своей матери, коей здоровье несколько расстроено. Вы себе можете вообразить, друзья мои, как часто бываю я у М..., можете вообразить, что мы разговариваем только и единственно о России и не можем наговориться о ней: теперешнее состояние нашего отечества, меры, которые правительство принимает для удаления некоторых злоупотреблений, теплая вера в Провидение, сердечное убеждение, что святая Русь достигнет высочайшей степени благоденствия, что русский бог не вотще даровал своему избранному народу его чудные способности, его язык богатейший и сладостнейший между всеми европейскими, что небо предопределило россиянам быть великим, благодатным явлением в нравственном мире, — вот что придает жизнь и теплоту нашим беседам, заставляющим меня иногда совершенно забывать, что я не в отечестве. В постоялом доме Hôtel de Pologne, где мы ныне живем, нашел я еще несколько человек русских: примечательнейший для меня полковник Давыдов,[3] брат поэта; он говорил мне про Пушкина, с которым обедал в Киеве; я был чрезвычайно рад, что мог Давыдова познакомить с поэмой «Руслан и Людмила».

Письмо XVIII

23 октября (9 ноября). Дрезден.

Я видел здесь чудеса разного разбора: двух великанов, восковых чучел, морского льва, благовоспитанного, умного, который чудо из чудес, говорит немецким языком и, как уверяют, даже нижнесаксонским наречием! Люблю иногда вмешиваться в толпу простого народа и замечать характер, движения, страсти моих братий, коих отделяют от меня состояние и предрассудки, но с коими меня связывает человечество: их нигде не увидишь в бо́льшей свободе, как при зрелищах; здесь занятое их любопытство раскрывает в речах нрав их; они обнаруживают все свои познания, свои чувства, свой образ мыслей.

Саксонец вообще в таком случае тих, молчалив, внимателен, глубокомыслен; дети и старики, мужчины и женщины безмолвствовали с благоговением; они, казалось, в самом деле видели перед собою государей Европы, с которыми знакомила их быстрым свистящим голосом обладательница сих карикатурных изображений; казалось, хотели помочь несчастному Коцебу, которого при них убивал сумасшедший Занд,[1] смотрели на госпожу Сталь и на морского льва, на великаншу и на всех присутствующих важно, пристально, спокойно, с величественною осанкою.

Кстати об редкостях: чтобы не забыть старика, доктора Л..., нашего соседа, оригинальнейшего из оригиналов! Он познакомился с нами в театре и на другой день звал к себе: *бить тай*! Это значит: *пить чай*; и уверял нас, что очень хорошо говорит *по-русски*, потому что когда-то был в *Польше*. Услужливость и добродушие, иногда переходящие за пределы пристойности и приличия, составляют главную черту в его характере: однажды, отозванный вниз к А. Л... и не имея как-то при себе ключа, я просил людей Давыдова постеречь мою комнату; это Л... услышал и вызвался пробыть в ней до моего возвращения; я сначала совестился, но он меня принудил согласиться. Л... все знает, везде бывал, со всеми знаком; приводит к вам купцов и предприимщиков, продает книги и картины, предлагает собственные услуги, хвалит ваши знания; говорит и судит о политике, торговле, литературе, астрономии и башмачном искусстве; ссылается на жену и дочь как на свидетелей непреложных, зовет вас в гости и душит своими ласками и учтивостию — словом, это муха, помогавшая дорожным Крылова и принявшая потом по метампсикозе вид маленького толстого старичка и доктора медицины.

Вчерашний вечер разделил я между двумя женщинами уже не молодых лет, но до сих пор пленяющих своею любезностию: до семи был я у М. А. О...ской, а потом у госпожи фон дер Реке. О...ская обворожила меня своим разговором и беспрестанно напоминала мне нашего Евгения:[a]

---

[a] Поэта Баратынского.

она выражается совершенно как он, употребляет почти те же слова, переходит с тою же легкостию от предмета к предмету. Особенно полюбил я ее за ее знание отечественной словесности: здесь, в Дрездене, нашел я женщину, знающую Дмитриева, Крылова, Державина гораздо лучше, чем многие из наших петербургских дам и девушек.

У госпожи фон дер Реке вчера читали новую книгу, в которой Фосс[2] обнаруживает меры, употребленныя графом Ф. Леопольдом Штольбергом,[3] чтобы преклонить к католической церкви часть датских подданных; в заключении Фосс оправдывается в том, что пишет противу своего бывшего друга; рассказывает историю их связи, их постепенного взаимного охлаждения и, наконец, перехода Штольберга к католической церкви. Несмотря на то что Фосс о своем несчастном друге говорит иногда в самых жестких выражениях, я о Штольберге более жалел, нежели осуждал его. Везде является в его истории душа прекрасная, только искаженная придворною жизнию и предрассудками знатного дворянства. Фосс, напротив, иногда слишком колок и суров и местами достоин осуждения, потому что говорит о вещах, о которых не должен бы упоминать по крайней мере из благоговения к ангелу Агнесе, к милой, прелестной первой супруге несчастного Штольберга: она мирила и соединяла их, когда еще при жизни ее раздраженное соревнование и обнаженное самолюбие угрожали расторгнуть союз их. С ужасом слушал я историю двух друзей, ставших врагами: забудем, друзья мои, все неприятности, которые когда-нибудь были между нами! Будем снисходительны к мнениям и слабостям каждого из нас и дадим слово друг другу, что станем любить наших братий, не спрашивая, во всем ли их образ мыслей сходен с нашим!

Письмо XIX

(отрывок из путешествия)

2 (14) ноября 1820. Дрезден.

Как описать картину так ясно, чтобы другой о ней получил точное, верное понятие? Как притом избежать скуки и единообразия? На словах какое-нибудь главное отличие одной картины от другой нередко кажется слабым оттенком, чертою неприметною. Глубокомысленный пламенный юноша, с которым не смею себя сравнивать, но на которого бы желал быть похожим, — Форстер[1] встретил почти те же трудности, когда хотел дать своим друзьям понятие о Дюссельдорфской и других галереях, славных в тогдашнее время. Он разрешает задачу следующим образом: «Совершенным может назваться всякое описание, — говорит он, — возбуждающее в читателе те же чувствия, которые возбуждает в зрителе самая картина». Передо мною Рафаэль, Корреджио, Тициян, Корраччи, Гвидо, Рубенс, Ван-Дейк: могу ли думать, что мое воображение достигнет до

их творческой фантазии, могу ли надеяться, что слово сравнится с их волшебною кистию?

По крайней мере расскажу вам, друзья, чувства, которые вам передать не в силах, те чувства, которые составляли мое наслаждение и на время сближали меня с гениями, поэтами живописи. Я с лишком неделю каждое утро был в галерее: смотрел, сравнивал, учил наизусть картины; но, приступая к их описанию, должен просить вас быть снисходительными.

Не входя в святилище внутренней, италианской, галереи, я два утра провел в наружной, фламандской, чтобы себя совершенно успокоить и некоторым образом приготовить к созерцанию таинств, к созерцанию чудес небесной Гесперии.[2] — Отличительная черта Фламандской школы вообще прилежание и верность; высшей поэзии вы напрасно будете искать в ее произведениях: высшею же поэзиею, идеалом называю соединение *вдохновения и прелести.*[3] Рубенс силен, нельзя не признать в его произведениях вдохновения, но не имеет никакой прелести. Пламенное, мрачное воображение Рембранта также знакомо с полетом поэзии, но в нем восторг мутен, как мутны краски его; душа его не устоялась; в ней отражается идеал, но в искаженном виде, как будто бы в возмущенном, волнующемся потоке. Ван-дер-Верф прилежен, тщателен, его изображения миловидны; но он не возвышается до красот высшего рода, т. е. до соединения прелести и вдохновения. *В поэзии слова* есть род, приближающийся к земной, обыкновенной жизни, к прозе изображений и чувств; писатели, посвятившие себя этому роду, бывают стихотворцами, но не поэтами; между ними есть таланты, но нет гениев. Они обыкновенно слишком славны между современниками, но умирают в течение веков; таковы были Боало, Поп, Фонтенель, Виланд и почти все предшествовавшие сему последнему и жившие в его молодости немецкие стихотворцы. Есть другой разряд писателей — одаренный пылкостию и дерзостию воображения, но лишенный той чистоты и нежности, того чувства, которые необходимы, чтобы украсить создание творческого гения прелестью, одним из главных условий бессмертия. Если в стихотворцах-прозаиках слишком много слов, воды и старания, в творениях поэтов без вкуса истинный огонь почти гаснет в дыму; их пламя трещит, а не греет, сверкает, а не светит и нередко вдруг потухает, потому что они не считают нужным питать его прилежанием, образцами, критикою. В их произведениях есть черты разительные, но почти никогда нет прекрасного целого: самое бессмертие отличнейших между ними похоже на бессмертие славного Гераклова туловища.[4] Природа в своих разнообразных явлениях везде одинакова; и между живописцами существуют художники этих двух родов; они составляют так называемую Нидерландскую школу, которая имеет большие достоинства, но, как мы видели, почти никогда не возвышается до того идеала, о коем упоминали выше.

Первое место по общему мнению и по самой строгой справедливости занимает между нидерландскими живописцами славный Рубенс. Смелость, сила, роскошь воображения, разительное сходство и верность в портретах, необыкновенная живость красок — вот его главные достоин-

ства; но Грации не посещали Рубенса: его женщины тучны и отвратительны; его Венеры — голые голландские мещанки; его боги — переодетые купцы, матрозы и школьники. Ни слова здесь о некоторых превосходных лиценачертаниях работы Рубенса: их должно видеть и восхищаться ими; описать их может только Лабрюер или Лафатер;[5] приступим к его вымыслам.

Особенно поразили меня следующие: Геркулес в сообществе Вакханта и Фавна; пьяный, он лишился своей силы, он идет, опираясь на них, он шатается.[6] Задача трудная! Как представить полубога в унижении, но необходимо с печатию, с остатками прежнего величия? Рубенс не затруднился ее разрешением: он, кажется, имел в виду в своей картине Фарнезского, или покоящегося, Геркулеса.[7] Но где же спокойствие, где же тишина, истинный признак силы, — характер сего превосходного творения древности? Скажут: «Эта тишина должна была исчезнуть в пьяном Геркулесе» — не вижу необходимости! Представь его лицо веселым, ясным, смеющимся; но к чему разрушить гармонию его огромных размеров? Исполинские его члены, кажется, готовы отделиться от тела, туловище обременено мускулами, но лишено энергии. Одним словом: по моему мнению, Геркулеса можно было представить в веселом забвении от даров Вакховых, но не в скотском унижении. Рубенс здесь изобразил не Геркулеса, а плотника, дикаря или другого мощного сына земли, обессиленного грубым упоением.

В своей львиной охоте[8] Рубенс резкими, ужасными чертами представил борьбу человеческой дерзости с отчаянным бешенством царя зверей. Напрасно спешите вы на помощь к несчастному товарищу, храбрые витязи! Конь тотчас сбросит его, а лев сзади с грозным напряжением уже держит его в своих убийственных объятиях. Вот смотрите: здесь другой уже сделался жертвою другого, гневного льва, которому негр, его соотечественник, готовит верную смерть; он скоро ляжет возле сего убитого тигра. Вся картина исполнена силы, движения, дерзости и сжимает сердце судорожным трепетом: она, по мне, одна из лучших Рубенсовой кисти; но можно ли назвать наслаждением чувство, с которым смотришь на нее?[9]

С удовольствием перехожу от этих ужасов к картине в истинно древнем вкусе, которую можно бы назвать идиллиею, вроде идиллий Феокритовых. Старый сатир[10] выжимает виноградный сок в чашу, которую держит другой, маленький; позади их стоит еще третий, молодой сатир с гроздием в руке: лица их чудесны, особенно последнего, который — одушевленное лакомство; в ногах у них покоится тигрица с своими маленькими. Краски самые живые, смелость кисти совершенно достойна Рубенса: он здесь превосходен, потому что не имел нужды в красивом идеале.

В своей славной картине, известной под названием «Quos ego!»,[a] [11] Рубенс доказал, что, если ему и навсегда осталось чуждым прелестное,

[a] Вот я вас! (*лат.*).

он мог постигнуть и создать нечто высокое. Точно таким я воображал себе Нептуна, когда читал Виргилия, когда видел, как он одним словом успокаивает море и укрощает буйных слуг Эоловых. Сей гневный, но в самом гневе величественный исполин, точно бог, точно Кронион пучин, брат царя богов: его власы летят, его лицо в движении, но стан спокоен и тих, будто утес посреди валов, и он легко скользит в раковинной колеснице по поверхности вод, которые улегаются под его мощными конями. Мастерскою кистию изображены ветры: неопределенные, мутные краски, черты и очерки острые, но в то же время сливающиеся с облаками, длинные одежды: все это придает им что-то воздушное, нетелесное!

В Дрезденской галерее находится начерк Рубенсова Страшного суда: самая картина в Мюнхене. Здесь-то гений Рубенса является во всей своей огромности. Особенно поразили меня воскресающие: сон смерти отягчает еще вежды некоторых, они преодолевают его с усилием; другие, вставая от одра могилы, дивятся божией славе; третии, кажется, уже предчувствуют суд его. Форстер, описывая Дюссельдорфскую галерею, где до перенесения в Мюнхен находилась и эта картина, справедливо замечает, что воображению трудно представить себе соединенными на одном холсте обитель смерти и воскресения — землю, место суда и блаженства — небо и, наконец, ад — жилище мучения, и что посему в этой картине нет единства. Как бы то ни было, она не без больших красот в подробностях и мне особенно дорога, потому что некоторые ее части живо напоминают «Сошествие теней»,[12] бессмертное произведение нашего Толстого.

Кроме упомянутых картин Рубенса, их около двадцати в Дрезденской галерее: они не одинакого достоинства.

Остановившись довольно долго на Рубенсе, я некоторым образом освободил себя от необходимости подробно исчислить все достоинства и недостатки его славного ученика Ван-Дейка, который соединяет в своих немногих исторических картинах в уменьшенном виде все красоты и все пороки своего учителя, а в лиценачертаниях, которые почти одни составляют здешние его произведения, превосходит Рубенса по тщательной обделке.

И Рембрантовой кисти здесь несколько картин и портретов. Между его произведениями нет ни одного вовсе без достоинства; но мрачные его краски, его неверная рисовка, его мутное воображение оставляют по себе одно туманное воспоминание. Впрочем, нет правила без исключения: его «Жертвоприношение Монои» [13] живо у меня перед глазами и нескоро изгладится из моей памяти. Моноя с женою на коленах перед горящим костром: ангел господень в белой одежде исчезает за оным и к молящимся обратился спиною. Рост его выше человеческого, черты туманны, длинная одежда как будто сливается с дымом костра. На лице Моноиной жены царствует тихое, трепетное благоговение: руки ее сжались несколько повыше колен, голова приклонилась к груди, все положение тела

показывает радость и тот священный ужас, который наводит явление сверхъестественное. Освещение всей картины волшебно: багровый блеск мрачного пламени как будто оттеняет снежное сияние ангела.

Лучшая картина Ван-дер-Верфова здесь[14] — изгнание Агари из дома Авраамова: я не иначе могу об ней вспомнить, как о происшествии, мною виденном. Авраам проводил до дверей Агарь, закрывающую лицо рукою; ее прекрасные льняные волосы распущены: она держит за руку маленького Измаила, который, оборотясь, с болезненным чувством смотрит на своего брата Исаака; все тело его сильно наклонено в сторону; на лице резкими чертами написана та привязанность к Исааку, которую так часто чувствуют подчиненные несчастные к неблагодарным счастливцам. Маленький Исаак ухватился за платье отца и смотрит на брата: приметным образом любовь к доброму умному Измаилу, услаждавшему, может быть, их общие забавы своими затеями, своим воображением, борется в молодой душе его с наставлениями хитрой матери и с отчуждением, поселяющимся нередко в сердце детей к тем, кто перестает жить с ними под одною кровлею. Авраам ласковым сожалением в последние минуты расставания желает загладить свою жестокость, но не смеет обнаружить всех чувств своих: Сара, стоя у дверей с едва приметною, коварною, самодовольною усмешкою, замечает малейшие его движения.

Превосходны фламандцы в представлении сцен из обыкновенной сельской и хозяйственной жизни. Они создали в этом отношении к живописи род, который можно сравнить единственно с идиллиями в новейших нравах Фосса и некоторых других немецких писателей.

Как, например, не остановиться перед этою лакомою девушкою! Она растворила окно; в одной руке у ней горящая свеча, освещающая чудным образом лицо ее и зеленую занавесь; другую протянула она за окно, чтобы сорвать кисть спелого, светлого винограда. Далее, как терпеливо добрая старушка связывает нитку, которая оборвалась у ней! Ей глаза несколько изменяют, у ней дрожат руки, ее губы сжались, ей уже нелегко найти и связать концы при свете лампы. Эти две картины Герарда Дау.[15]

Наслаждайся своим превосходным созданием, новый Пракситель! освещай его тем светом, при котором, может быть, в час уединенного размышления, в час вдохновения блеснула в тебе творческая мысль вызвать из камня Венеру, соперницу вышедшей из пены морской: белый мрамор алеет при алом сиянии свечи, будто бы согревается, будто бы оживает. Галатея, кажется, потупила глаза. Пигмалион пожирает ее взорами.[16] Здесь ученик Герарда — Шалькен превзошел своего учителя.

Гавриил Метсю (Metsü) в трех различных картинах[17] представил почти один и тот же предмет, но с какими отличительными оттенками! Под открытым небом продают и покупают съестное. Здесь торгуются две женщины; одна из них держит в руке зайца и к нему приценивается. Они обе спокойны, и на лицах их нет большого движения. Тут молодая кухарка очень бы желала купить подешевле кусок баранины: она уже

запрятала его в свой короб, но упрямый продавец, сидя прехладнокровно на бочке и даже не глядя на нее из-под огромной шляпы, не соглашается на предлагаемую цену, продолжает курить трубку и, кажется, ворчит сквозь зубы: «Как угодно! а я не отступлюсь от своего слова!». Наконец, там старик, на чьем лице написаны все свойства проворного купца, обеими руками приподнял живого петуха, выхваляет его и, запросив сначала непомерно много, вдруг перерывает пригожую хозяйку, которая, качая головою, удивляется его бесстыдству и уже хотела его усовещевать, — предлагает ей петуха по крайней цене и, кажется, говорит, что сам остается в убытке. Все три идиллии списаны с природы: дичина, куры, зелень, коробы лежат передо мною в самом деле; чем более гляжу, тем более забываюсь.

К лучшим изображениям, выражающим душевные движения, принадлежит большая картина Фердинанда Бола, известная под названием Уриева письма.[18] На лице царя Давида, вручающего с зеленого престола Урии роковое письмо, с чудесною живостию борется беспокойство с желанием, чтобы Урия не заметил оного. Пониже царя сидит его секретарь или министр, устремляющий глаза на обоих: я уверен, он знает, что такое в письме; если бы и не свидетельствовала знания его стоящая перед ним чернилица, если бы он и не держал пера, — боязливое ожидание и преступная таинственность, сжимающие рот его и приподнимающие подбородок, могли бы служить доказательством, что он был поверенным, орудием, а может быть, и советником царя при его злом умысле.

Квентин Мессис,[19] сын антверпенского мещанина, один из искуснейших кузнецов своего отечественного города, влюбился в дочь некоторого тамошнего живописца. Отец решительно отказал ему в руке ее, потому что не хотел выдать ее ни за кого, кроме живописца же. Мессис, воспламененный любовию, променивает молот на кисть, наковальню на палитру и вскоре превосходит своего тестя. В Дрезденской галерее видел я одно из его лучших произведений. За столом сидит ростовщик: перед ним раскрытая книга приходов и расходов и кучи золота; возле стоит человек, который желает его убедить в чем-то. Но посмотрите на лицо жреца Плутуса: он с неколебимым мужеством пожимает плечами; ничто не в состоянии смягчить его, ничто не может его тронуть! Неподалеку дочь его торгуется с разносчиком.

В наружной галерее кроме исторических картин и портретов Фламандской школы есть некоторые картины школ Немецкой и новейшей Италианской.

Семейство базельского бургомистра Иакова Мейера, работы Ивана Гольбейна, может назваться произведением превосходным и выдержит сравнение с картинами лучшего времени школ Нидерландов и Италии. По мне, это лучшая изо всех мною виденных старинных немецких. Мейер и его семья стоят на коленях перед Богоматерью.[20] Изображение царицы небесной величественно, прекрасно: она в белой, сияющей одежде с венцом на главе и с младенцем спасителем на руках; на лице ее владычествует кроткая, теплая любовь к бедным, но столь драгоценным ей

земным ее братьям; это лицо достойно кисти того, кому, кажется, сама Божественная являлась, достойно кисти Рафаэля![a] Благоговение преображает черты Мейера и жены его: они в черной древней германской одежде. Рисовка их стана, рук, платья верна и тщательна, но несколько жестка и боязлива. Прелестен голый мальчик, который прислоняется к молодому человеку, сыну Мейера. В одном только изображении Гольбейн принес жертву своему веку: в длинной богатой белой одежде, одна из дочерей Мейера обезображивает несколько целое: тело ее чахоточно, лицо некрасиво, рисовка очерка жестка и угловата.

Дрезденская галерея богата прелестными видами кисти Рюйсдаля, Клод-Лоррена, Дитриха, Бергема, Ван-дер-Нира. Меня особенно привлекали сколки Рюйсдаля; я не мог наглядеться на его славную ловлю:[22] редкий лес, сквозь него проглядывает палевый свет утреннего солнца и отражается в реке; деревья освещены волшебным образом; их призраки полосят воду, куда спасается олень от преследующих его всадников. Но к чему описывать виды, произведения живописи: они меня очаровывали, потому что напоминали мне природу; теперь же передо мною сама она, божественная! Скоро минет осень, скоро пройдет зима, и она в своем вешнем одеянии примет меня в свои объятия, — может быть, под небом благословенного Прованса!

Ни слова также о славных картинах Теньера, Вувермана, Розы-ди-Тиволи, Снейдерса, которых здесь довольно большое число: вы, друзья, их знаете, хотя и не видели. Теньер, всегда однообразный и отвратительный, в Дрездене тот же, что в С.-Петербурге: у него везде пьяные мужики, растрепанные солдаты, толстые бабы, грубые пляски, карты и вино. Вуверман неутомим в представлении дыма, пальбы, беспорядка, белых лошадей, желтых кафтанов и голубых перевязей. Роза-ди-Тиволи, или, правильнее, Филипп Роз, в двадцати картинах представляет одно и то же: темно-синий воздух, коров и горы, горы, коров и темно-синий воздух. Снейдерсовы изображения животных и растений превосходны, но, видевши одно, можно сказать: я видел все.

Письмо XX

6 (18) ноября. Дрезден.

В последние часы нашей бытности в Дрездене я беседую с вами, мои милые! Надеюсь, что мне удастся описать вам еще хотя часть внутренней галереи: я ей принес большие жертвы, не успел видеть ни славного зеленого свода, где, как у нас в московской Грановитой Палате, хра-

---

[a] Прекрасно описано у Тика (Phantasien) явление во сне божией матери Рафаэлю.[21] Мы постараемся сообщить сие описание нашим читателям. (Издатели).

нится царская утварь — венец, скипетр, алмазы Электоров и королей Саксонских, ни собрания древностей, ни оружейной палаты, которая, говорят, важна и занимательна. Каждое почти утро был я в галерее, смотрел и учился; чувствую, что влияние картин на мое воображение было благодетельно: призраки и мечты, которые являлись душе моей, тревожили ее, но исчезали в туманах, когда устремлял на них взоры; эти призраки носятся теперь передо мною, как прежде, но, кажется, получили более ясности, более определенности.

Наконец вижу самое тебя, труженица, чудное создание Баттониевой кисти! [1] я любил тебя, восхищался тобою и в слабых списках и подражаниях: здесь ты сама передо мною! взгляните на шелк ее бледно-золотых волос, которые падают на светлую шею и благоуханное лоно! Взляните на розовые персты, на руки, сжатые с чувством глубоким, истинным, трогательным, на свежие пурпуровые уста, на прелестную складь (драпировку) ее голубого одеяния! Здесь чистое выражение раскаяния, скорби, задумчивости во всех чертах! Магдалина, простершись в уединенной пещере, оплакивает свои заблуждения: отказываясь от них, она переносит в свое святилище то же сердце, которое было, может быть, причиною ее падения, но и в самом падении возвышало ее над толпой тех, коих добродетель — одна мертвая холодность. Отец любви ее принял с милосердием!

Мила, очень мила головка девушки, которая стоит на коленях перед умирающей Лукрецией в картине Франциска Молы.[2] С красноречивым отчаянием она смотрит на ту, которая уже не будет ей сестрою, другом, наставницей; с страстным, судорожным чувством она ломает руки: к такой печали и к такой привязанности способны одни женщины, зато только и им так к лицу горесть! Признаюсь, это смуглое личико с своими живыми полуденными глазками, с своими каштановыми волосами, которые прелестным беспорядком округляют все ее очерки, несколько раз удерживало меня перед довольно посредственным, впрочем, произведением.

Заметим мимоходом смелое наклонение тела спасителева и смелое падение одежды его в «Вознесении» Бастиана Рикчи: [3] в самом деле здесь что-то сверхъестественное, парящее, и остановимся перед изображением Афродиты и ее сына [4] кисти сладостного Гвида Рени!

Письмо XXI

8 (20) ноября. Лейпциг.

Остановитесь перед картиною Гвида Рени; рассматривайте ее; а я, друзья, должен на время вас оставить, должен попросить вас подождать, пока мое тело будет в Веймаре; тогда воображение досужным часом может опять перенестись с вами в Дрезденскую галерею и быть вашим чичероне.

Сюда, в Лейпциг, приехали мы вчера поутру. Прощаясь с госпожою фон дер Реке, я у ней в доме самым неожиданным образом нашел родственника; он живописец, имя его Резелер; пламенная, добрая душа; точно таким воображал я себе художника вроде тех, которых описывает Гете. Я был у него вечером, а потом на другой день поутру: он ввел меня в семейство свое с тем радушием, которое в наше время, кажется, может иметь только поэт или художник, неиспорченные дети природы. Все дышит у него в доме теплою любовью к добру и к прекрасному: его жена и старшая дочь Аделаида соединяют заботливость, неутомимость и опрятность добрых немецких хозяек со вкусом и воображением питомиц Аполлоновых; Резелер сам человек большой начитанности, заменяющей ему ученость — иногда тяжелую и неприветливую; она при его живой фантазии не лишает его простоты и свободы в словах и движениях. Его лиценачертания и картины имеют большое достоинство, и он, пользуясь в Германии заслуженною известностию, любим и почитаем особенно русскими, посещающими Дрезден.

Я привез сюда письмо от госпожи фон дер Реке к известному немецкому писателю Клодиусу;[1] вчера я был у него. Его не было дома, и меня приняла его милая, прелестная супруга, Элизина воспитанница; я с лишком полчаса просидел с нею глаз на глаз в ее будуаре — положение для меня чрезвычайно новое и привлекательное! Умный, живой разговор с прекрасною женщиною получает в уединении несказанную прелесть: зачем же по сю пору не сижу возле нее на софе в сумрачном кабинете, где все дышит изящным, где красота, поэзия, живопись, ваяние восхищают душу? Я здесь в холодном тесном углу, где нас трое и где у меня окостенели пальцы! Но я сегодня у ней обедаю!

Вчера я был в здешнем театре;[2] представляли большую комедию в пяти действиях. Она была исполнена двусмыслиц и бессмыслиц насчет европейских государей: партер молчал и принимал все шутки автора с большим равнодушием. В Саксонии король не обращает внимания на безделицы, которые сами по себе никак не могут быть опасными для правителя и только тогда получают важность, когда назовешь их важными. Между актерами Лейпцигского театра есть некоторые довольно хорошие: лучший из них некто Штейн. Он в помянутой комедии представлял молодого человека, которого уверили, что одна девушка смертельно влюблена в него и потому только не хочет показать своей страсти, что боится его насмешек: должно знать, что они друг с другом в явной войне колкостей. Молодой человек, не без внутренней склонности к своей прелестной неприятельнице, желает облегчить ей признание, употребляет разные способы и, когда они все ему не удаются, наконец говорит ей напрямик, что она любит его. Можно вообразить ее ответ: она перерывает его громким хохотом и уходит. Герой не хочет показать своего недоумения, прогуливается по комнате и напевает вполголоса песенку, но вдруг выбегает и с громом, в котором вдруг обнаруживается вся его досада, захлопывает за собою дверь. Вот черта мастерская: подобные отличают комического актера от низкого шута.

Я никогда в С.-Петербурге так не мерзнул, как здесь! Проклятые здешние печи не греют, двойных окон нет, а между тем на дворе бесподобнейший снег и мороз, какого лучше нельзя желать и в России.

Лейпциг — пригожий, светлый город: он кипит жизнию и деятельностию; жители отличаются особенною тонкостию, вежливостию в обращении: я здесь ничего не заметил похожего на провинциальные нравы; Лейпциг по справедливости заслуживает название Афин Германии.

В окрестностях оного, как вообще в Саксонии, почти нет следов минувшей войны: жители зажиточны и говорят обо всем бывшем как о страшном сновидении; с трудом могу вообразить, что здесь, в мирных полях лейпцигских, за несколько лет перед сим решалась судьба человечества. Счастлива земля, в которой сила деятельности живит и поддерживает граждан и подает им способы изглаживать следы разрушения!

Письмо XXII

10 (22) ноября. Веймар.

Дорога от Лейпцига до Люцена — необъятная, необозримая равнина; но в продолжение всего пути мы видели на краю обзора башни городов и селений. Здесь сражался два раза Густав Адольф за свободу мыслей; здесь он пал от руки предателя.[1] Вы знаете, друзья, что герою-мученику на том месте, где возвратил он душу создателю, земледельцы воздвигнули памятник: они прикатили туда большой камень и обсадили его деревьями. Мы здесь остановились и все, самые даже почталионы, смотрели на этот простой камень с чувством умиления, с благоговением. Здесь и в наше время два раза бились народы за независимость:[2] здесь сам бог наконец расторгнул их оковы! Святая, незабвенная война! Раздор не разделял еще граждан и правителей; тогда еще во всех была одна душа, во всех билось одно сердце! Ужели кровь, которая лилась в полях лейпцигских, лилась напрасно?

От Люцена уже начинаются места гористые. Между городками Наумбургом и Вейзенфельзом в первый раз в жизни увидел я утесы и каменные горы. Их вершины покрыты теперь снегом: прекрасные виды Тюрингена являлись мне не живописными картинами, а рисунками; признаюсь, это стеснило мою душу, и меня утешила единственно мысль, что мое воображение получает точно те же впечатления, которые теперь в снежной утесистой Финляндии живят и питают поэзию моего Б..[3] Мы бежим от зимы, но она застала нас в Дрездене и будет нашею спутницею до самого Франкфурта-на-Майне, где, говорят, мы, может быть, еще застанем луга и нивы, не убеленные холодом.

Мы проехали близ славного училища Шульфорте: оно лежит в уединении гор и напомнило мне наше Царскосельское убежище; здесь юноши в объятиях величественной природы, в безмолвной тишине жертвуют музам и внимают их прорицаниям; сердца их не отравляются дыханием света.

Вчера вечером приехали мы в Веймар, в Веймар, где некогда жили великие: Гете, Шиллер, Гердер, Виланд; один Гете пережил друзей своих. Я видел бессмертного; я принес ему поклон от Клингера.[4] Гете росту среднего, его черные глаза живы, пламенны, исполненны вдохновения. Я его себе представлял исполином даже по наружности, но ошибся. Он в разговоре своем медлен: голос тих и приятен; долго я не мог вообразить, что передо мною гигант Гете; говоря с ним об его творениях, я однажды даже просто его назвал в третьем лице по имени. Гете знает нашего Толстого[5] из работ его и любит в нем великого художника. Казалось, ему было приятно, что Жуковский познакомил русских с некоторыми его мелкими стихотворениями.[6] О нашем разговоре не могу много сказать вам, друзья мои; я был у него недолго: надеюсь, что он завтра несколько будет доступнее,[7] а я смелее.

Я здесь также навестил доктора де Ветте,[8] известного по письму своему к Зандовой матери. В де Ветте ничего не нашел я похожего на беспокойный дух и суетность демагога. Он тих, скромен, почти застенчив; в обращении и разговоре умерен и осторожен. Гёрреса[9] он охуждает во многих отношениях. Письмо к де Ветте получил я от Ф., старинного моего знакомого: он знавал меня еще в Верро; тогда мне было с небольшим 12 лет, и я, ученик уездного училища, с большим почтением смотрел на гимназиста Ф., когда приезжал он из Дерпта к нашему доброму воспитателю:[10] мы с того времени не виделись. В Лейпциге нашел я его человеком умным, основательным, ученым. Так-то соединенные в детстве и молодости расходятся и, если встречаются в другое время и под иным небом, даже удивляются, что могли опять встретиться. Счастливы еще те, которым по крайней мере удается увидеться с товарищами весны своей; но как часто мы разлучаемся с нашими милыми и не узнаем даже, когда они расстаются с жизнию. Вот разительный тому пример: старший брат мой[11] имел в Петровском училище друга; они несколько лет сидели в классе на одной лавке; с этим его приятелем, ныне нашим консулом в Лейпциге, случай свел меня в Дрездене, и он спрашивал меня о здравии и службе своего бывшего товарища, который уже тринадцать лет как покоится в песках прусских, где пал предшественником освободителей Европы!

Письмо XXIII

12 (24) ноября.

Довольно долго стояли вы, друзья, перед Афродитою Гвидо Рени; пора и мне перенестись к вам и разделить ваше удовольствие. Богиня наслаждения, простертая на роскошном ложе, облокотилась на левую руку, а правою испытывает острие стрелы, которую сын подает ей с коварною улыб-

кой. По насмешливой радости, которая во всех чертах матери и сына, я узнаю вас,

Киприда и Ерот, мучители сердец! ..[1] —

но при всем лукавстве вашем как вы прелестны, какая круглота, какая мягкость во всем вашем теле! Все вокруг вас дышит негою и вливает в душу несказанную сладость.

Вот картина Петра делла Веккия: старуха сражается с своими детьми.[2] Она туфлею замахнулась на одного, двое других ее упрашивают и удерживают. По комическому содержанию приближается здесь делла Веккия к Нидерландской школе; но его выражение гораздо благороднее: страх, изображенный на лице битого мальчика, не лишает его прелести; кудрявая головка его и живой взгляд напоминают нам, что перед нами природа полуденная; самая старуха не карикатура, но скорее облагороженный идеал злобы и старости.

Здесь я во второй раз вижу Микеля Анджело. Вы помните его первую картину: мы удивлялись ей в Берлине в Джюстиянской галерее.[3] Та, к которой подходим теперь, без сомнения, важна для живописца, но не станем в ней искать поэзии: она изображает молодого голого человека,[4] руками и ногами прикованного к дереву; игра напряженных мышц (мускулов), знание анатомии и смелость в очерках должны в этой картине быть чрезвычайно поучительными для молодого художника. Впрочем, расцвечение и обделка те же, каковы в Ганимеде.

Письмо XXIV

13 (25) ноября.

Молодая соперница Апеллова[1] сидит перед холстом и пишет спящего бога любви: одежда ее вымышлена, но показывает вкус и чувство красоты! Старик, может быть отец и учитель ее, внимательно рассматривает рисунок той самой картины, которую она пишет; она к нему обратилась и, кажется, слушает его замечания. Расцвечение прелестно; характер, данный художником Гверчино да Ченто старику, показывает, что итальянцы иногда превосходят нидерландцев даже в изражении тех чувств и душевных движений, которые я бы назвал семейственными, домашними, хотя они и немного занимались ими и более увлекались предметами священными и героическими. Вижу почтенного семьянина: на лице его написаны ум и добродушие. Его седая борода богата; прекрасные глаза и тихое благородное лицо свидетельствуют, что он был в свое время красавцем, а сходство с молодою женщиною, — что она от крови его.

Мы подошли теперь к произведению великого Корреджио.[2] Четыре раза Корреджио переменял свое мнение о том, что почитал обязанностью,

свойствами, достоинствами великого художника, и каждый раз более приближался к совершенству.[а] Шиллер представляет нам подобный пример в драматическом искусстве.[4]

Да научимся из истории сих великих мужей жертвовать своими любезнейшими правилами, привычками и мнениями тому, что принуждены будем признать лучшим; не будем никогда противиться своему внутреннему убеждению по упрямству и самолюбию и предпочтем всему истину и совершенство. Корреджио учился постепенно у Бианки и Андрея Монтеньи, двух художников старинной Италианской школы, имеющей свои достоинства, но жесткой и лишенной всякой прелести.[б] Будучи еще молодым человеком, он чувствовал недостатки своих наставников и решился проложить себе дорогу собственную: он начал замечать размеры человеческого тела, начал просто глазами и без руководителя учиться остиологии и анатомии и наблюдать краски и тени в самой природе. Таким образом составил Корреджио себе свой первый род, имеющий гораздо более правильности и точности, нежели картины его предшественников, но в то же время не лишенный теплоты — вдохновения и чувствительности, которые дышат в самых даже безобразных произведениях школ старинной Италианской и старинной Германской. Его святой Франциск дает нам полное понятие о всех достоинствах и недостатках сего первого периода его самобытной эстетической жизни. Содержание картины следующее: Богоматерь сидит на высоком престоле и держит на коленях младенца-спасителя; благословляющий взор ее покоится на святом Франциске, и десница простерта над его головою; сам праведник в одежде основанного им духовного чина преклонил колена перед царицею небесною и весь погрузился в самого себя; позади Франциска мы видим св. Антония Падуйского с книгою и лилеею в руках; по другой стороне впереди стоит св. Иоанн Креститель: он, кажется, смотрит на нас и указывает нам на того, чьим был предтечею и кому уготовил путь в своем земном странствовании. Возле него св. Екатерина с пальмовою ветвию, окруженная орудиями своей смерти. На подножии престола изображены некоторые события Ветхого Завета. Все сии образы величественны, смелы; впрочем, кроме

[а] . . . . Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ:
Мы любим и чрез час мы ненавидим;
Что славим днесь, заутра проклинаем!

Аргивяне,[3] д. III, явл. 3.

Если бы меня ныне, в 1824 году, спросили, считаю ли по сю пору каждую перемену в образе мыслей Корреджио новым шагом к совершенству, меня привели бы в большое недоумение! Мимоходом только замечу, что через 9 месяцев, в мою вторую бытность в Дрездене, св. Франциск по величественной простоте целого казался мне творением гораздо высшего разряда, нежели св. Георгий.

Замеч‹ание› авт‹ора›.

[б] И в рассуждении ее я во многом стал иначе думать.

Замеч‹ание› авт‹ора›.

самого Франциска, они не имеют той легкости, которую замечаем в произведениях современных, но Корреджио тогда еще вовсе были неизвестны творения римских художников. Несмотря на жесткость, богатый вымысл и строгая важность всей картины вселяют благоговение в зрителя.

Корреджио, будучи еще учеником Бианки и Андрея Монтеньи, не знал, но предчувствовал уже ту прелесть, которая столь пленительна в творениях четвертого его возраста. Решившись идти собственным путем, быть творцом, а не подражателем, Корреджио недолго обращал все свое внимание только на усовершенствование живописи, царствующей в его родине; он вдруг устремился искать новых красот, тревоживших его душу в смутных видениях. Тогда уже он видел небесных дев, Харит, хотя туман еще и скрывал от него их таинства, хотя их появление, для него новое, восхитительное, и заставило его забыть на время строгость и величие, коих они страшатся только по-видимому, но, собственно, едва ли не всего более любят украшать своими свежими цветами.

Таким образом произошел второй период Корреджиева искусства. В нем художник еще только ловит Грацию, нередко слишком страстно, и потому иногда выпускает ее из рук своих. К произведениям сего времени жизни Корреджиевой принадлежит его святой Георгий. Расположение сей картины чрезвычайно сходствует с предыдущею: мы снова видим на высоком престоле святую Деву с ее божественным сыном; перед нею стоит победоносный воитель господень, от коего вся картина заимствует свое название: он прикрыт светлым панцирем и держит в правой руке копье; левая нога его попирает сраженного дракона. Перед ним четверо голых детей играют его мечом и шлемом. За ним стоит св. Петр Мученик. С другой стороны являются св. Иоанн Креститель и св. Геминиян; последний готовится вручить Богоматери образец построенной им в Модене церкви, которую подносит улыбающийся мальчик. Голова святой Девы была бы неподражаемо прелестна для простой смертной; но красота царицы небесной должна быть величественнее. Святой Георгий превосходен и смелостию своих очерков живо напоминает изображения мужей великого Корраччи. Мальчик, держащий над своею головою Моденскую церковь, соединяет в себе все, что Корреджио тогда разумел под прелестным, и в самом деле заслуживает по своей милой, приветливой улыбке, чтоб мы его отличили от прочих четырех детских изображений, на чьих не слишком правильных лицах эта самая улыбка близко подходит к кривлянию. Впрочем, прежняя Корреджиева жесткость здесь уже в гораздо уменьшенной степени и только несколько видна в положении тела и в движениях рук, не слишком свободных. Если бы Корреджио продолжал писать в этом роде, может быть, он впал бы в театральную принужденность, с коею познакомили нас италианские и французские живописцы веков XVII и XVIII-го, и удалился бы навсегда от истинной прелести, неразлучной с простотою.

Но Корреджио был гений; но Корреджио около сего времени узнал Микеля Анджело и творения римской живописи. Он возвратился к про-

стоте своего первого периода и удержал все истинно превосходное второго; кроме того, научился такому расцвечению, к которому подходят цветы редкого живописца позднейшего времени: к сему третьему периоду Корреджиевой жизни принадлежит его славная картина «Святая ночь». Когда мы в первый раз навестили галерею, А. Л. подозвал меня к ней и несколько раз повторил: «На колена! На колена!». И в самом деле, освещение меня так поразило, что я был готов пасть на колена. Содержание этого известнейшего Корреджиева творения — поклонение пастырей. Свет исходит от самого младенца Иисуса; солома под ним как будто превратилась в связку лучей солнечных; блеск его преображает черты матери, которая лицом склонилась на ясли, а с другой стороны ослепляет трех пастухов, пришедших обожать дивного младенца; но не только они, и облако, ниспустившееся с ангелами в смиренную обитель спасителя, и сии ангелы сами — все вокруг заемлет сияние от него, от отца света. Позади виден в мраке св. Иосиф, занятый кормом осла, и еще далее вне вертепа несколько пастухов при стаде: очерки их оттеняются от темно-синего воздуха; край небосклона белеет, а слабый рассвет едва только рождается. Чем долее смотришь, тем более забываешься, тем более сердце готово верить сверхъестественному!

Но рассмотрим порознь каждое действующее лицо сего чудного представления: пастухи, пришедшие обожать спасителя, могут быть отец, сын и мать. Сия последняя, слабая женщина, поражена священным ужасом и с трепетом, заслоняя лицо руками, отступает назад. Сын, не постигающий совершенно всего, не чувствует боязни матери, но любопытство не допускает до его души того благоговения, которое бы его исполнило, если бы знал, что здесь совершается; он обращается с вопросом к отцу: этот вопрос видишь во всех чертах, во всем положении его тела. Старик, который столько же превышает своих товарищей душою, сколько превосходит их величественным ростом, стоит к зрителю боком и склонился на посох: все черты его, хотя видны только вразрез, выражают тихую, глубокую задумчивость; судьба, кажется, разоблачается перед взором сего мудрого пастыря. Темнота не позволяет распознать лица Иосифа; но наклонение его тела показывает, что и его занимают великие мысли. Черты ангелов являют радость и благоговение.

Что мне сказать о тебе, святая матерь? Какое чувство исполняет в сие дивное мгновение твою божественную душу? Всмотритесь в нее: она вполне матерь, она вся любовь. Неувядаемая святость расцветает на сих бледных ланитах и веждах, которые ослабели от страдания, но его не заметили! В выражении лица неисчерпаемый источник самоотвержения, любви и смирения! К чему после того черты и размеры, которые бы были строже и правильнее и более подходили к красоте лиц греческих? Можно ли после того заметить, что и в этом чудесном произведении художник изредка впадает в недостатки своего второго периода, что чувство, может быть, слишком резко говорит на лице жены пастыря, что ангелы тяжелы, ноги их длинны и их движения могли бы быть свободнее?

Прекрасная Магдалина Корреджиева принадлежит к сему же третьему его периоду, но уже составляет переход к четвертому. Несмотря на простоту всего вымысла, в этой картине приметно, что Корреджио уже более уверен в себе, что он уже знает истинную Грацию и потому смелее может следовать ее вдохновениям. Подобно Баттониевой Магдалине, Корреджиева в уединении занята размышлением. И та и другая в голубой одежде; но Баттониева писана почти вразрез, а Корреджиева к нам обращена лицом! Локоны сей последней мягкостью и нежностью превосходят даже локоны Баттониевой.

Наконец, мы перед последнею картиною Корреджио. Она называется св. Севастияном и по своему вымыслу напоминает первую и вторую из находящихся здесь картин художника. И здесь св. Дева благословляет ратника за слово божие, но св. Севастиян не в мирной одежде священника, не в блестящих доспехах воина: он привязан к дереву и готов принять смерть мученическую; небесная, младенческая радость на лице святого юноши! прелестное видение исполнило всю его душу, и он, кроме него, ничего, ничего не видит. Впереди на коленях св. Геминиян в священническом облачении, он указывает на мученика. Возле него опять мальчик с Моденскою церковью. С правой стороны представлена смерть святого Роха. На небе по обеим сторонам Богоматери преклоняют колена два младенца; а трое других, из коих один верхом на облаке, кружатся в невинной резвости, подав друг другу руки. Мы имеем уже понятие о выражении, о характере св. Севастияна. Св. Геминиян почтенный старец: в чертах его живое благочестие. Но всего милее, всего прелестнее дети, окружающие царицу небесную, особенно двое первых. С каким чистым чувством они простерли к ней свои маленькие руки; сколь несказанно просты и невинны их личики, которых никогда не искажали ни страсти, ни вина, ни печали, которые знали одну любовь и радость! Как прелестно падают с чела вперед их длинные каштановые локоны! Как мило склонились головки их! Здесь все: свобода, легкость, правильность, воображение, чувство! Сами Грации водили кистию Корреджио, когда писал он этих божественных младенцев. Надеюсь, что не слишком долго останавливался на произведениях Корреджиевых: история успехов и заблуждений великого художника с примерами из его собственных творений показалась мне занимательною и удобною развить некоторые истины, важные в феории изящных искусств и поэзии, входящие в состав всех их.

Теперь станем продолжать свою эстетическую прогулку.

Перед нами великолепное торжество Бахуса;[5] рисунок оного — руки Рафаэля и находится ныне в Англии, картина же писана художником Бенвенуто Гарофило, прозванным Тизио. Здесь каждое изображение должно быть предметом внимательного, глубокого изучения для молодого художника; но превосходнейшее изо всех — пьяный Силен, которого фавны

и сатиры держат надо львом. Блаженное расслабление, которое разлито по его членам, приводит в отчаяние всякого описателя.

Теперь мы стоим у преддверия святая святых: друзья! вы видите Мадонну ди Сан-Систо, дивное создание Рафаэля! Вы смотрите, и на лицах ваших что-то похожее на ропот неудовлетворенного ожидания; вас удерживает изъявить неудовольствие одно опасение показаться людьми без вкуса.

Утешьтесь: может быть, то же было со всеми, взглянувшими в первый раз на сие простое и при всей своей простоте божественное творение! Признаемся, что его расцвечение слабо, что оно гораздо живее не только во всех произведениях Корреджио, Тицияна, Гвида, Корраччи, но и в картинах многих второстепенных художников. Вымысл Рафаэлевой картины прост: но ужели в нем нет ничего необыкновенного? Богоматерь спускается на облаке со своим божественным младенцем; святая Варвара и один из патриархов римской церкви стоят по обеим сторонам на коленях. Два покоящиеся внизу ангела, которые видны только по грудь, обратили взоры вверх, к небесной Матери. Зеленая занавесь поднята с обеих сторон, и все небо составлено из бесчисленного множества голов херувимских: каждая из сих последних образцова, каждая из сих носит на себе печать совершенства! Но тайный трепет прокрался в душу мою! Передо мною видение — неземное: небесная чистота, вечное, божеское спокойствие на челе младенца и Девы; они исполнили меня ужаса: могу ли смотреть на них я, раб земных страстей и желаний? Что же? Кротость, чудная кротость на устах Матери приковала мои взоры: я не в силах расстаться с сим явлением, если бы и гром небесный готов был истребить меня, недостойного! Посмотрите, она все преображает вокруг себя! с младенческим благоговением взирает на нее сей священный старец, сложивший перед нее тиару! Глубокомысленно, с высоким чувством устремляет к ней свои прекрасные очи сей ангел-младенец, опершийся на одну руку; внимательно и тихо смотрит даже товарищ его, который, кажется, только что перестал кружиться по воздуху: он вдруг увидел Божественную и невольно забылся в ее лицезрении! Святая Варвара, отблеск чистоты и кротости небесной царицы, стоит перед нею с потупленными взорами и в тишине сердца принимает влияние ее благодати. Мысли и мечты, которые озаряли и грели мою душу, когда глядел на сию единственную Богоматерь, я описать ныне уже не в состоянии; но я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда возвращался от нее домой! Много видел я изображений чистых дев, нежно любящих матерей; в глазах их веру, вдохновение и ту скорбь, которой я готов был сказать: ты неизреченна! Мне говорили: они представляют Мадонну; но она одна и явилась Рафаэлю!

«Кто однажды вкусит небесное, — говорит один из св. отец, — тот уже чувствует отвращение от земной пищи». Но то же самое вдохновение, ко-

торое исполнило Рафаэля, ниспускалось в душу и других художников, хотя было и слабее, хотя и отражалось в них не во всей чистоте первобытной. Станем его отыскивать и порадуемся, где найдем следы его!

В св. Матфее Аннибала Корраччи сильная кисть художника смело представила образец величественного мужа: положение его поднятой вверх головы превосходно; он скрижаль свою держит свободно и восторженно. Не менее прекрасен в своем роде св. Иоанн Креститель, стоящий по другую сторону престола Богоматери и указывающий на младенца-спасителя: все его тело говорит, и кажется, слышу слова его: «Се агнец божий!». Св. Франциск, лобзающий ногу спасителя, несколько слабее хотя его голова хороша, расцвечение и склад одежды совершенны; но не смотрите, особенно после Богоматери Рафаэлевой, на эту Мадонну и на младенца ее:[6] в них ничего нет высокого. Корраччи не часто постигал красоту, хотя редкий подобно ему владел силою и смелостию.

Вот два изображения по пояс Карла Дольче,[7] принадлежащего к лучшим живописцам XVII столетия: он менее других удалился от простоты средней Италианской школы. Здесь дочь Ирода и св. Цецилия, его работы; в обеих расцвечение гораздо темнее его обыкновенного, рисовка гораздо свободнее и естественнее. Особенно прелестна Цецилия: ее опущенные длинные ресницы придают ей что-то таинственное, неизъяснимое; лицо чрезвычайно нежно и писано с большим старанием (con amore),[a] а губы так душисты, мягки и алы, что разлучаешься с ними только поневоле, только для того, чтобы остановиться на перстах ее чудных рук, которые, кажется, единственно для того и созданы, дабы вызывать из клависей звуки волшебные; под густыми каштановыми локонами мы видим высокое, мыслящее чело, которому столь же знакомо вдохновение, сколь знакомо чувство душе, разливающейся по всем чертам ее.

Вот картина, которая имеет и непременно должна иметь большое достоинство для живописца; но поэта, старающегося отыскать в произведении художеств идеал, она оставляет равнодушным. Говорю о картине Джюлия Романо, известной под названием Марии с ванною:[8] молодая мать моет своего ребенка; другой, побольше, стоит на столе возле ванны и приливает воду; все фигуры в некотором отношении превосходны: они правильны, свободны, мягки, красивы. Но где здесь св. Дева, Иисус, Иоанн? Где и тень того, что требуешь от их изображения? Картины такого рода похожи несколько на стихотворения, писанные для одних стихотворцев, т. е. такие, из которых поэт может учиться слогу и гармонии, которые представляют его воображению свежие, новые краски, смелые, не-

---

[a] с любовью (*итал.*).

обыкновенные обороты, но в которых нет богатых, глубоких мыслей и общей для всех занимательности.

Заглянем на минуту в галерею пастелей и остановимся только перед прелестным Амуром Рафаэля Менгса,[9] а потом посмотрим, не получим ли из всего нами виденного таких общих следствий, которые бы просветили нас в рассуждении феории изящных художеств и матери их поэзии. Какие картины должны быть признаны лучшими, образцовыми в большом множестве разных родов, художников, земель и времен, нами рассмотренных? Без сомнения, те, которые, удовлетворив главным требованиям искусства, в то же время удовлетворяют вкусу и потребностям души лучшей части зрителей, т. е. одаренных чувством, воображением, рассудительностию и постигающих вдохновение; другими словами — те, которые в большем совершенстве соединяют чувство, воображение, обдуманность и плод вдохновения — идеал с правильностию и красотою рисовки, анатомии, размеров, перспективы и свежестью красок, те, которые в большем совершенстве соединяют поэзию с искусством. Нидерланды по большей части знали одно искусство, а художники старинных школ Италианской и Немецкой одну поэзию, и она, именно потому, что была только поэзия, не могла у них возвыситься до идеала: одни лучшие живописцы лучшего времени Италии постигали и чувствовали совершенство, и никто более Рафаэля. В словесности точно таким образом: можно разделить писателей на поэтов и слого-искусников, к которым последним причислим и тех стихотворцев, коих единственное достоинство хороший слог и гармония; в Англии много поэтов, но мало стилистов; Франция изобилует стилистами и едва ли может назвать нам двух или трех истинных поэтов; Гомер соединяет в себе поэзию с искусством писать в той же степени, в которой Рафаэль поэзию и искусство изображать.

Письмо XXIX

Отрывок из путешествия по Германии и полуденной Франции

9 (21) декабря 1820. Лион.

Мы летим, а не путешествуем. Я уже с лишком неделю во Франции и еще ничего не успел сказать об ней. И сегодняшняя отметка будет отчасти посвящена Германии.

Немцы вообще чрезвычайно опрятны и трудолюбивы — два свойства, которые неоцененны для путешественника! Полуденные отличаются от саксонцев и пруссаков большею живостию, веселостию и приветливостию, но сельская промышленность у них, исключая, впрочем, баденцев, не

в столь цветущем состоянии. Германцы доказали в последнее время, что они любят свободу и не рождены быть рабами:[1] но между их обыкновениями некоторые должны показаться унизительными и рабскими всякому, к ним не привыкшему. К сему разряду в особенности принадлежит употребление качалок (портшезов). Признаюсь, что в Дрездене, где нет извозчиков, в худую погоду, полубольной, я несколько раз принужден был пользоваться ими; но, как воображу, что еду или, что все равно, несусь на плечах мне подобных, я всегда готов был выпрыгнуть. Еще менее показался мне обычай заставлять за деньги петь по улицам сирот, воспитывающихся на счет общественный: больно видеть этих бедных детей в их длинных, черных рясах и в огромных шляпах, каковые у нас при похоронах носят могильщики! Вечером они поют при факелах; тогда их напевы, томные, протяжные, ужасны при тишине, повсюду царствующей; вступая в жизнь, они уже должны быть проповедниками смерти, суда и разрушения. Возвращаясь в Дрезден от О...ких, на новой площади всякий раз встречал я хор этих певчих: они казались мне привидениями или усопшими, которые оставили кладбище, чтобы напоминать живым о превратности всего земного.

Вообще я должен назвать немцев народом почтенным, добродетельным. Напрасно иные думают, что религия в Германии с некоторого времени в таком же упадке, в каком она во Франции: могу по чести уверить, что ошибаются! Я разговаривал с немецкими учеными, бывал в немецких обществах и семействах и везде находил, если и не строгое правоверие, по крайней мере живое благочестие и почти врожденное чувство своих обязанностей.

Когда мы между Келем и Страсбургом с А. Л. переходили пешком через мост, который соединяет и разделяет Германию и Францию, в сердце моем ожило воспоминание о моей разлуке с отечеством; зеленые воды Рейна шумели у ног наших; утро было ясно, тепло и тихо; отзывы прекрасного стихотворения Батюшкова на переход русских через Рейн отдались в глубине души моей.[2] Дельвиг поручил мне вспомнить о нем на берегах Рейна; с ним все друзья мои предстали моему воображению. Я вспомнил наши добрые вечерние беседы у Ф. Н. Г...,[3] где в разговорах тихих, полных чувства и мечтания вылетали за рейнским вином сердца наши и сливались в выражениях, понятных только в кругу нашем, в милом семействе друзей и братий.

Письмо XXX

10 (22) декабря 1820. Лион.

Страсбург лежит невысоко; но вкруг него весь небосклон обставлен горами: со стороны Германии Шварцвальд, со стороны Франции хребет Вогезский. Восхитительное зрелище представляют сии горы с высоты

Кафедрального собора Мюнстера: я видел их при солнце; далекие белые Вогезы сияли; темно-синий лесистый Шварцвальд чем ближе, тем более подходил к цвету лиловому, и наконец весь амфитеатр городов, сел и виноградников, покрывающих его, являлся моему взору подернут флером красноватого дыма.

Мюнстер, чудо готической архитектуры, поразил меня своим огромным величием: трудно перечесть все украшения, которыми он покрыт снаружи; но соразмерность, легкость, соответственность всех частей неимоверны — сии украшения не отягчают его, они, кажется, необходимы! Мюнстер начат в правление епископа Вернера из дома графов Габсбургских в 1015 году и окончен 1429. Славнейшим зодчим при оном был Эрвин из Штейнбаха, начавший в 1227 году сооружение исполинской Мюнстерской колокольни, которая принадлежит к высочайшим во всем свете. Труды строителей несколько раз были прерываемы пожарами, и даже по окончании всего здания пламя довольно часто производило в нем большие опустошения. Сие явление — естественное следствие необыкновенной высоты самой башни, восходящей в облака и вызывающей против себя гром и молнию.

Примечательны, во-1-х, часы, сделанные в конце XV столетия; во-2-х, внизу под церковным сводом высеченное из дикого камня пленение спасителя, которое может подать нам некоторое понятие о старинном немецком ваянии и показывает, что оно во многом походило на тогдашнюю живопись: та же неправильность в рисовке и размерах соединена в оном с тою же теплотою, с тем же выражением. Окна Мюнстерского собора покрыты живописью: они неизъяснимо поразили меня свежестью своих красок и сумрачным мерцанием, которое распространяют по обширной, величественной церкви.

Когда мы проходили через нее, у всякой почти лампады (здесь образов вовсе нет), во всяком углу стояли молельщики на коленях: тишина царствовала во храме, тишина царствовала на их лицах. Земное удалилось от меня: я вспомнил тех, которые за 100, за 600 лет под сими же сводами некогда возлетали душою к создателю и ныне спят на лоне спокойствия. «Все сии, и ты сам, и те, которые ныне живут с тобою и любят тебя, слышат слова твои и читают твои мысли, — сказал я себе, — все мы ляжем в глубину тления, и сыны грядущего времени будут ходить по сему храму и, как ты, задумаются; но мысль об ничтожестве не спасет и их от уничтожения».

В летописях сумасбродств Французской революции должно остаться памятным предложение одного из страсбургских ревнителей равенства: он требовал от городской думы, чтобы подорвали или снесли Мюнстерскую башню, возносящуюся над другими строениями и тем повинную в преступлении аристократизма.

Кроме Мюнстера я еще был в Страсбургской большой евангелической церкви, удивлялся памятнику, сооруженному трудами Пигаля[1] маршалу Саксонскому,[2] и долго не мог разлучиться с двумя другими, которыми Омахт[3] обессмертил двух славных своих сограждан — Коха[4] и Оберлина.[5] Памятник маршала чрезвычайно сложен и может некоторым образом назваться мраморною картиною. Сия картина представляет великого полководца, которого силится остановить на пути его подвигов богиня, изображающая Францию; она видит смерть, готовую при конце поприща принять в открытый гроб героя; и он видит чудовище, но на челе его пренебрежение опасности и бесстрашие; целое окружено трофеями, позади коих плачущий гений жизни гасит светильник. Лицо маршала выразительно; изображение богини чрезвычайно живо и полно движения. Впрочем, целое несколько тяжело: особенно склад одежды, которая и под резцом не перестала быть камнем.

Памятник Коху несравненно проще. Благодарность в образе сетующей молодой женщины обхватила урну; гений развертывает творения почиющего. Оба прелестны. Печаль преображает черты богини и неизъяснимою силою перед нею удерживает зрителя.

При самом выходе из церкви мы видим аллегорическое изображение истории, обнимающей урну Оберлина. В этом втором творении Омахта простота и прелесть те же.

Письмо XXXI

14 (26) декабря 1820. Авиньон.

Вот каково путешествовать с ленивцем, друзья мои! Лошади меня уже примчали на берега Сорги: и в местах, где раздавались канцоны Петрарковы; миндальное дерево, маслина, кипарис, мирт, землянишник, пиния[a] зеленеют вокруг меня, а вы по милости моего пера еще в Страсбурге; у вас еще в свежей памяти немецкие снега и вместо вечнозеленых рощей и кустов Италии вас окружают остовы дерев северных.

Но пора: садитесь! Мы едем. Видите ли эти горы? Это все еще Вогезы; они еще долго будут нашими спутниками. Мы уже по карте во Франции, но здесь в нравственном отношении все еще Германия, Германия далеко за Кольмаром. В Страсбурге офранцуженные немцы вам скажут: «Мы немцы, но говорим по-французски», в Кольмаре: «Мы французы, но только говорим по-немецки». Впрочем, здесь везде еще немецкая опрятность и немецкая вежливость. Между Кольмаром и Бе-

---

[a] Pinus italica.

зансоном начинается настоящая Франция: места прелестны, божественны! Берега Ду (Doubs) превосходят все, что мы видели в Германии. Горы являлись нам во всех возможных цветах: белыми при лунном сиянии, зелеными, синими, желтоватыми, бирюзовыми, пурпуровыми. За Безансоном наслаждались мы самым приятным днем нашего путешествия: погода была, какова она у нас в самые лучшие дни апреля или в начале мая; мне, больному, даже было слишком жарко в сертуке. Природа улыбалась вокруг меня, здоровье лилось в мои члены и радость в мое сердце. То открывались мне на берегах Ду тайная, темная долина — и несколько хижин, то городок, то пристань для лодок; я следовал взором за течением реки, летал воображением по высотам Юры, видел скалы и стремнины, видел смелое парение орлов над бездною, а на скатах стада овец и коз. Белые облака тянулись и отражались в голубых водах, столь же чистых и тихих, как была в эту минуту душа моя: я был очень счастлив!

В Арбуа мы пили славное вино, которое от этого городка заимствует имя свое, и дивились гордости господ жителей: они было рассердились, когда мы вздумали сравнить их вино с шампанским.

Французы большие говоруны, особенно женщины, которые, кажется, умнее мужчин, по крайней мере, судя по их ответам. Слово badaud[а] именно выдумано для французов: во всех местах, которыми мы проезжали, нас окружала толпа зевак; они глядели нам прямо в лицо. С мала до велика у всех встречавшихся нам были руки в карманах и благородная дерзость на лице; их любовь ко всему грязному превосходит всякое вероятие: в хате последнего русского крестьянина чище, нежели в большей части постоялых домов по нашей дороге. Бродяг и нищих здесь больше, нежели в Германии; и, кроме того, здесь особенный род бедняков, не просящих милостыни, а вырабатывающих деньги самыми бесполезными трудами; так, напр.: видел я молодого человека, заставлявшего барабанить зайца: a l'honneur de l'infanterie et de la cavalerie; des jeunes demoiselles et des vielles dames.[б]

Франция по своим прекрасным, картинистым видам и по бедности, беспорядку и нечистоте, царствующим повсюду, похожа на мастерскую художника, где собраны предметы самые отвратительные и самые прелестные.

Но тебя я не забуду, лучшее произведение этих мест, милая, умная Анетта, которая при последней перемене лошадей поила меня дурным вином, в своих сабо и швейцарской одежде, разговаривала со мною, как самая любезная парижанка, и, наконец, шепнула мне свое имя: Pour que vous vous souveniez de moi.[в]

[а] зевака (*франц.*).
[б] в честь пехоты и кавалерии, молодых девушек и старых женщин (*франц.*).
[в] Чтобы вы помнили меня (*франц.*).

Письмо XXXII

15 (27) декабря. Авиньон.

Лион после Парижа — величайший город во всей Франции. Его положение на реках Роне и Соне чрезвычайно живописно; особенно берега последней, возвышающиеся амфитеатром до предместья ла Фурбьер. Воды Соны быстрые и мутные, цвету желтоватого. Рона тиха и наполнена островами; ее цвет зеленовато-синий. Здесь, возле Лиона, можно видеть развалины римского водопровода, а в самом городе церковь, превращенную из древнего языческого капища в храм истинного Бога.

Город очень многолюден и очень грязен. Нигде я не видывал такой бездны гостиниц, кофейных и питейных домов; все они заняты, во всех пьют, пляшут, играют в биллиард; их названия иногда довольно странны: помнится, я здесь видел харчевню À la Providence.[a]

Кроме того, здесь два театра; здешняя труппа большого театра показалась мне довольно посредственною; балет хорош. В Германии я не встретил ни одного фигляра; но здесь при нашем въезде тотчас бросился нам в глаза чудодей, который с величайшим бесстыдством выхвалял свои удивительные порошки, вылечивающие все возможные болезни; народ его слушал с удивлением; он кривлялся в коляске своей не хуже иного профессора на кафедре и представлялся глухим, когда кто из проходящих, как, напр.: при мне добрый старый крестьянин, называл его обманщиком.

Стоит заметить одежду здешних извозчиков и матросов: первые ходят в длинных рубахах сверх нижнего платья, почти как наши крестьяне, с тою, однако ж, разницею, что они ничем не опоясаны и чрезвычайно нечисты; вторые отличаются своими огромными шляпами, покрывающими половину спины. Здешняя упряжка также иногда довольно примечательна: раз мне случилось любоваться телегою, в которую были заложены осел, мул, корова и, наконец, впереди лошадь.

Лионский музеум, в котором я был два раза, доставил мне большое наслаждение. Здесь в большом множестве древностей важен огромный мозаик, представляющий примерное морское сражение и служивший, вероятно, помостом в летнем доме или в бане какого-нибудь богатого лугдунского[1] гражданина. Из произведений новейших заняли меня особенно Персей и Андромеда из алого мрамора работы ваятеля Шинара:[2]

---

[a] У Провидения (*франц.*).

смелость, легкость, прелесть всех частей тела Персеева достойны Торвальдсена, достойны древних; на лице его дышит нежнейшая заботливость; он, оборотясь, смотрит на Андромеду, которую, спасенную, но полумертвую от ужаса, несет на руках. Как жаль, если справедливо, что Шинар, довольный приобретенным богатством, перестал трудиться для славы и бессмертия!

Картин в Лионском музеуме немного, но некоторые важны для любителя. Филипп де Шампань,[3] хотя собственно родом из Брюсселя (фламанец), может служить нам примером всех достоинств и недостатков большей части исторических живописцев Французской школы. Его рисовка верна, расцвечение свежо; правила анатомии везде соблюдены; складь одежды тщательна и вместе свободна; в его лицах есть что-то красивое — в них все черты, вся наружность, все, если смею сказать, *телесное* идеала, но нет и тени той высокой прелести, которая одна утонченную земную природу возвышает до истинного идеала; выражение его лиц разительно, но по большей части ложно и принужденно, и потому его лучшие произведения получают что-то похожее на кривляние. Филипп де Шампань заимствовал все свое искусство у лучших италианских художников; но он не был Промефеем: он не мог похитить их вдохновения. В Лионе его лучшее произведение — известная «Святая вечерь», в которой, как говорит предание, изобразил он в виде апостолов своих друзей — пор-рояльских отшельников. Признаюсь, что я готов верить этому сказанию; по крайней мере нет сомнения, что все лица в этой вечери — портреты. В сем отношении эта картина Филиппа де Шампань принадлежит к одному разряду с прекрасною грешницею работы Пиомбо,[4] виденною мною в Берлине; но Пиомбо несравненно превосходит французского художника даже и в этом, не столь трудном роде. Примечательнейшее из лиц последнего — Иуда.

Кроме «Вечери» здесь еще несколько картин работы Филиппа де Шампань: мы заметим открытие мощей — святых Гервазия и Протазия. Целое в том роде, который италианцы называют грандиозным; но здесь особенно разительно ложное выражение на всех лицах и во всех телодвижениях. Вымысл отвратителен; мы видим здесь в произведении французского художника XVII столетия ту склонность к изображению ужасов, убийств и крови, которая господствует и в работах их позднейших живописцев, напр. Давида, и которая французским трагикам, особенно Вольтеру, внушила их самые громкие тирады. В присутствии святого Амвросия вынимают тела мучеников из могил и находят свежие знаки их казни. Примечательно, что из окружающих Амвросия священников один смотрит в лорнет на мощи Христовых воителей. Вся картина поразит сначала; но чем более смотришь на нее, тем более находишь в ней недостатков; творения великих мастеров, напротив, тем более приобретают прелести, чем долее глядишь на них.

В изгнании продавцов из храма Жан Жувене (Jouvenet)[5] ничем не уступает в ложном величии Филиппу де Шампань. Иисус без малейшего признака божественности своего гнева.

С удовольствием остановишься после сих ложно прекрасных детей Французской школы на истинно прекрасном произведении Лионского уроженца Иакова Стелы.[6] Младенец спаситель в объятиях Богоматери принимает поклонение ангелов. В вертепе возле яслей сына, в обители нищеты и смирения, Мария видит всю славу небесную: в чертах ее выражение чистейшей любви и невинности. Созерцание этого благодатного лица согревает душу, — и признаюсь, мне нужно было согреться после холодной пышности Филиппа де Шампань и Жувене!

К лучшим картинам Лионской галереи принадлежит портрет славного Миньяра,[7] писанный им самим: из этого портрета видно, что Миньяр был левша; он представил себя за работою. Иносказания почти всегда холодны; но кисть великого мастера может остановить зрителя и перед ними: истинное выражение и живость могут придать им занимательность настоящего происшествия. Такова аллегория, которую здесь представил нам Рубенс.[8] Земля, опутанная чудовищным змеем, *Развратом*, вызывает против себя гнев сына божия, который готов спуститься к ней, вооруженный перунами казни. Святые Доминик, Франциск и некоторые другие простирают к нему руки, чтобы молениями спасти обитель смертных от разрушения; изображение судии небесного смело и живо; все его тело находится в самом стремительном наклонении; зритель каждый миг должен ожидать, что он со всеразрушающим громом ниспадет на грешников; расцвечение заслуживает удивления; но Рубенс был бы не Рубенс, если бы не включил толстой голландки в число своих праведниц.

Одна из его лучших мною виденных картин — «Поклонение волхвов»: оно служит украшением Лионской галереи. Рубенс не есть живописец Грации; но мальчик, который здесь между двумя волхвами, так мил, так прелестен, его голубые глаза так живы и в то же время исполнены такой доброты, что, кажется, сама Грация водила *хотя раз* рукою живописца силы. Но самая трудная задача картины разрешена в изображении царя эфиопского: в этой голове Рубенс показал себя истинно великим художником. Он безобразным чертам и смуглому цвету эфиопского лица придал столько благочестия и душевной теплоты, что забываешь его наружную отвратительность и с удовольствием останавливаешься на выражении.

Кисти Ван дер Мейдена[9] здесь — города Лиль и Кале; последний сколок не без достоинства: перед городом проходит конница, дождь начинает накрапывать; ветер поднимается и волнует верхи дерев; беспокойство распространяется между лошадьми: они встают на дыбы, машут гривами и предчувствуют непогоду.

В Дрездене я видел две картины Франциска Альбани,[10] живописца прекрасных детей и пригожих женщин; но, не знаю почему, они тогда на меня не сильно подействовали. Нет сомнения, что Дрезденская галерея чрезвычайно худо расположена и темна; кроме того, в ней столько превосходного, что, надеюсь, мои читатели мне простят, если, говоря о Рафаэле, Корреджио, Рубенсе, забыл я упомянуть о двух маленьких картинах Альбана, которые, кроме того, показались мне произведениями посредственными. В замену в Лионском музее два Альбана, на которых я не мог наглядеться. Один представляет крещение, другой Иоанна Предтечу, проповедующего в пустыне. Христос и его креститель окружены ангелами; над Иисусом парит в виде голубя дух святой; живописные берега Иордана представляют превосходно округленное целое. Теперь взгляните на спасителя: какая нежность и гармония в этом теле, какое смирение на этом лице! Взгляните на ангела, подающего ему полотенце: можно ли вообразить себе совершеннейшее соединение чистоты и прелести? Глядя на него, я просил прощения у Альбана, что в Дрездене осмелился подумать: он не стоит своей славы!

Иоанн возвещает пришествие спасителя мира: старцы и дети, мужчины и женщины внимают его таинственному слову. Некоторые сидят рядом на возвышении; другие слушают его стоя; третии расположились внизу на благоуханной, свежей траве. Между последними молодая женщина с грудным младенцем: ее глаза, облик, уста — все прелестно. Неподалеку от ней мы видим старика, который стоит здесь, чтобы представить красоту совершенно другого рода: прекрасная мать с своим младенцем представляет нам жизнь, старец — бессмертие.

Ужасный Эспаньелетто[11] меня заставил содрогнуться: он представил тело св. Франциска Ассиеского таким, каким оно долгое время виделось в церкви, посвященной ему папою Григорием IX, т. е. стоящим в углублении стены с отверстыми, обращенными к небу глазами. Признаюсь, я давно не видел ничего, возмутившего меня до такой степени.

Далее Перуджино, учитель Рафаэля, изобразил двух своих хранителей святых Иакова и Григория, и я увидел на их лицах столько души, столько теплоты и благочестия, что от всего сердца полюбил их и охотно забыл неверную рисовку художника.

Но лучшая его картина изо всех мною виденных и, как уверял меня мой чичероне, умный француз, побывавший в Италии и Германии, изо всех им писанных — «Вознесение». Лица апостолов в самом деле неподражаемо выразительны, свежесть цветов чудесна; но и в этом во многих отношениях образцовом произведении Перуджино заплатил дань своему веку: он окружил спасителя какою-то радугою, которая, не имея ни малейшей воздушности, кажется, противится его парению. На лице Богоматери, стоящей впереди апостолов, что-то такое утешенное, уверенное, торжествующее, любящее, чему нет названия, что можно чувствовать и написать, но о чем едва ли можно в словах передать понятие. Перуджинова Мадонна, как говорят, служила образцом к славной Рафаэлевой святой Цецилии, находящейся ныне в Флоренции.

Но хотите ли вы видеть истинное вознесение на небо? Посмотрите на этот легкий, парящий эфирный образ пресвятой Девы[12] работы Гвидо Рени. Вот, без сомнения, лучшее украшение Лионской галереи. Трудно, я готов сказать — невозможно, вообразить себе большей гармонии во всех частях, нежнейшего расцвечения и большей легкости; выражение истино и чисто; Божественная вся уже принадлежит небу; земные страдания ее исчезли, и в душу ее нисходит блаженство вечное.

Расставаясь с Лионом, замечу здесь чудное свойство французских простолюдинов придавать неизвестным им словам знакомое для них значение. Наемный слуга, которого мы взяли в Лионе, несколько раз заметил, что А. Л., когда зовет своих людей, кличет: «Кто там?». Ему вообразилось, что это, верно, имя одного из них. Однажды он слышит, что зовут, вбегает и говорит: «Il n'y a personne; votre valet de chambre *Кто там* vient de sortir!».[а]

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ

30 декабря ‹1820›
(11 января ‹1821›).

Между Авиньоном и Марселем мы остановились в Э (Aix), в светлом чистом городе, славном своим деревянным маслом, лучшим во всем Провансе; кроме того, здесь училище правоведения, семинария и множество ключей и родников: некоторые из них теплые.

В Э не менее остатков древности, нежели в Авиньоне и в других городах Южной Франции. Более всего поразили меня огромные[б] столпы из красного гранита, которые теперь находятся в одной из Эских церквей —

[а] Там никого нет; ваш слуга *Кто там* вышел! (*франц.*).
[б] Они, однако же, меньше украшающих Казанский собор.

и совершенно целы. Но Э приятен и в других отношениях: широкие чистые улицы украшены аллеями; одна из них напоминает в уменьшенном виде прекрасную берлинскую улицу Unter den Linden. Вообще Э имеет какое-то сходство с столицею Пруссии, и можно подумать, что Э часть Берлина, перенесенная в Прованс волшебником. В городской думе видели мы памятник, воздвигнутый великому Виллару[1] его сыном: оба они были королевскими наместниками в Провансе. Известно, что имя крещения Виллара было Гектор; надпись на памятнике следующая:

Hic novus Hector, quem contra nullus Achilles.[а]

Мы обошли весь город и в каждой улице встречали следы римского владычества: развалины, надписи, целые здания; опасаясь пропустить что-нибудь важное, касающееся до древностей Прованса, я подходил ко всем старым строениям, если только где примечал надписи; вдруг вижу издали очень ясную, врезанную в камень перед церковью большими твердыми буквами, я бегу, подзываю других и читаю: «Il est expressement defendu de faire céans aucune ordure». — !!![б]

31 декабря 1820 (12 января ‹1821›). Марсель.

Во всем пространстве от Э до Марселя нет ни одной деревни, и при всем том я не видывал столь населенной полосы: вся она покрыта бастидами (дачами эских и марсельских жителей) и мызами здешних фермье (однодворцев), живущих не вместе в деревнях, а порознь в хуторах. Провансальские домики чрезвычайно красивы, но не совершенно одинакой постройки с теми, которые мы видели в окрестностях Лиона. Между Авиньоном и Э народ имеет большое сходство с италианцами; их наречие (Romanza, lingua rustica) гораздо более похоже на язык последних, нежели на французский. Приближаясь к древней Массилии и приморским Альпам, встречаешь племя, которое, конечно, говорит тем же патуа,[в] но по своей наружности, гордой и величественной, как будто бы приближается к испанцам: глядя на пастухов, рассыпавших своих овец и коз по скалам и скатам гор, я удивлялся, с какою величавостью (грандецою) с высоты утеса они смотрели в голубую даль и как театрально набрасывали на себя разодранные плащи. В Марселе мы узнали, что здесь действительно довольно много переселенцев из Каталонии и еще более потомков прежних выходцев как из сего, так и из других королевств Испании.

С нашего отъезда из Авиньона погода была чудесная; я чувствовал благодатное влияние провансальского неба, я был весел, спокоен; с не-

---

[а] Новый Гектор восстал, и нет на него Ахиллеса (*лат. Пер. В. Кюхельбекера*).

[б] Здесь категорически запрещается отправлять нужду (*франц.*).

[в] Так французы называют областные наречия своего отечества. Некогда прованский язык не заслуживал сего названия: старший сын латинского, он образовался ранее братей своих.

описанным чувством приближался я к городу, в котором надеялся, что возвратится мне здоровье. Мы поворачиваем, и глазам моим вдруг открывается слева цепь приморских Альпов, возвышающихся за облака четырьмя уступами; справа прелестное полуденное море. Вы знаете, друзья, наше северное Балтийское, оно зеленовато; Средиземное цвета синего. Заходящее солнце освещало одну половину его: она превратилась в один огромный алмаз; другая приковывала взоры неизмеримостию, прелестною лазурью и божественным спокойствием; я вспомнил бесподобные четыре стиха Шиллера:[2]

Und das Meer lag still und eben
Einem reinen Spiegel gleich;
Keines Zephyrs leises Weben
Regte das krystallne Reich.[a]

Теперь я часто смотрю на эту необозримую равнину вод; радуюсь, что вновь ее вижу, и воображаю: она меня сближает с вами! и вы ее видите, и вы, глядя на нее, впадаете, может быть, в ту неизъяснимую, сладостную задумчивость, которая не останавливается на одном предмете, но, сближая нас со всеми, проливает в душу большую способность любить, тосковать и быть счастливым.

Снова я вижу тебя, прекрасное, светлое море;
Снова глядится в тебя с неба златой Аполлон!
Чистый, единый алмаз, ты горишь и, трепеща, светлеешь:
Так на севере ты некогда, там, у моей
Хижины тихой, сияло,[б] дрожа, и взор мой пленяло! —
О благодатный Нептун! мощный и радостный бог!
Пусть не гляжу на тебя в твоей полуночной, зеленой
Ризе, которую ты в милой, в *моей* стороне
Стелешь в обширную даль от священного Невского брега:
Синие воды твои душу волнуют мою;
Шум изумрудных пучин родимого русского моря
Сладостным шумом своим в слухе моем пробудя:
Миг — и чудо! несусь из древнего града фокеян[3]
В пышные стены Петра! с ними уж, с братьями я;
В мирной семье их сижу; веселым речам их внимаю;
Песни слушаю их; с ними смеюсь и грущу! —
О! быть может, от них вы течете, лазурные волны;
Взор их, быть может, на вас в светлой дали отдыхал:
Будьте ж отныне послами любви! несите на север
К милым далеким мои мысли, желанья, мечты!

От С.-Петербурга до самого Марселя наше путешествие было очень счастливо: въезжая в Марсель, у самой пристани всех моих желаний, мы с доктором чуть было не сломили шеи; спускаясь с горы, лошадь нашего

[а] Море сгладилося, стихло —
Светлым зеркалом легло:
Не сгибает ветер знойный
Вод упругое стекло.
(*Пер. Н. Гербеля*)

[б] В Петербурге я долго жил на взморье, за Калинкиным мостом.

почталиона вдруг упала на колена, и он вместе с нею покатился под карету. К счастию, карету удержали еще вовремя, так что, когда вытащили из-под нее сперва почталиона, потом лошадь, нашли, что они только расшиблись и перепугались, но не претерпели большого вреда. Впрочем, мы воспользовались этим случаем и окончили пешком свое странствование. Как описать несчетное множество пестреющего народа, европейцев и турок, купцов и носильщиков, монахов и солдат, нимф и матросов, которых уже издали увидели мы в большой аллее, начинающей город с Лионской дороги! Я остановился и не мог верить глазам своим: казалось, что тут некуда было упасть и яблоку! Все они гуляли, слушали шарлатанов и пилигримов, смеялись и в праздном веселии торжествовали конец года: это было 31 декабря нового стиля. Но я не участвовал в их празднестве, мне было приятно прожить с вами еще 12 дней в старом году — и, хотя по календарю, быть в России.

9 (21) января 1821. Марсель.

Давно я уже заочно с вами не разговаривал, друзья мои! между тем мы все перешагнули в новый год из старого. Когда встречали мы 1820 год, если не ошибаюсь, у Я... и за здоровье своих друзей осушали бутылки шампанского, мы не подозревали, что наш хозяин увидит 1821 год в пустынной Бухарин; Б... в суровой Финляндии, а я под благословенным небом древней Массилии. Ты один еще в С.-Петербурге, Д..., любезный внук Аристиппа и Горация:[4] итак, думая о моем отечественном городе, о его крещенских морозах и крещенских парадах, из трех друзей, с которыми был вместе, могу еще только на тебе остановить мое сердце, мое воображение.

Сегодня я расстался с А. Л., который отправился с большею частию нашего общества в Монпелье, а меня оставил здесь, чтобы окончить лечение. С доктором, доселе моим верным товарищем и в радости и в горе, я уже вчера простился: он поехал вперед, оставя мне для приятного и полезного препровождения времени рецепты, микстуры, мази, пилюли и благие наставления! Мы свыклись в нашем путешествии, и, признаюсь, что, разлучась с ним на несколько только дней, я был невесел; мне во весь вечер чего-то недоставало, несколько раз у меня на языке был вопрос: «Где доктор?». Несколько раз отвечал я себе: «Как жаль, что он уехал; мы могли бы читать „Руслана“, играть в шахматы, спорить, смеяться, вспоминать Петербург и путешествие, Дрезденскую галерею и сад павловский!». Но я и теперь не один; я здесь живу с Плутархом, лирой и, хотя не с Темирой, по крайней мере с живописцем, попугаем и черепахой. Живописец — добрый малый: молодой человек, которого А. Л. взял с собою из Дрездена; он имеет дарование истинное, живо чувствует все прекрасное и, надеюсь, со временем будет отличным художником. Теперь он почти еще дитя, не знает ни людей, ни света и скромен до застенчивости.

Здешний январь похож на петербургский май. Миндальные дерева, фиялки и розы цветут; свежие луга, вечнозеленые мирты, кипарисы, пи-

нии (pinus italica) манят и услаждают взоры. На солнце теплота до 20 и в тени до 15 градусов, и если бы из Швейцарии не веял иногда холодный *мистраль* (северо-восточный ветер), если бы распустились липы, тополи и другие деревья, которых лист опадает осенью, я уверен, что все марсельские жители предпочли бы зиму здешнему лету, знойному и неприятному в странах полуденных по несметному множеству насекомых.

Марсель — прекрасный, великолепный город: весною он должен быть прелестен по множеству широких аллей, которыми пересекается. Я живу окнами на гавань: люблю глядеть на жизнь, на неусыпную деятельность, которая здесь кипит до захождения солнца. Матросы и торговцы всех народов: турки, италианцы, греки, испанцы, англичане, жиды — толпятся, кричат, продают и покупают; здесь маленький савояр чистит сапоги марсельскому щеголю; там поет бородатый пилигрим под скрип гудка; тут запачканный мальчик служит громогласным каталогом своей продажной библиотеки, сваленной в короб, и с живым удовольствием с четверть часа тянет *р* своей Histoirrre Rrromaine! [a] служащей всякий раз к округлению периодов красноречивой его библиографии; далее пляшут бедные сироты, выходцы из Оверни; мимо их мчится на гордом коне милорд или скачет в красивом ландау русский барин. Богатства всех стран земли здесь собраны: здесь слышишь языки всей Европы и видишь всевозможные лица, состояния, одежды, обычаи.

Когда солнце закатится за стены крепости святого Николая, когда мало-помалу золото зари превратится сперва в горящий пурпур, потом в янтарь и в темно-рдеющую синеву и наконец улетит с догоревшим облаком, шум умолкает; изредка мелькают на пристани матросы и в красных колпаках каталонские носильщики; вдруг выплывает множество лодок в лиловые воды гавани, в которые глядится желтый отлив потухающего неба. Между тем цветы и оттенки смешались; бесцветные высокие корабли стоят, как привидения; по их мачтам и вдали, на челноках легких, скользящих по морю, как духи бесплотные, отважные моряки кажутся китайскими тенями. В половине шестого часа раздается в тишине протяжный пушечный выстрел, предшественник общего успокоения. Потом восходят тихие звезды и серебряный месяц... Не могу расстаться с окном, мне в душу проливается с немого, прелестного неба то чувство, которое вдохнуло царю-пророку моление: «Даждь ми криле яко голубине, и полещу, и почию!».[5] И я готов на этих крыльях унестись в неизмеримость!

11 (23) января 1821.

Только раз я был в здешнем театре; впрочем, потеря невелика: лучшие актеры посредственны, а посредственные нестерпимо несносны. Здешний партер, непреложный судья красот и недостатков марсельской мимики и декламации, состоит из каталанских носильщиков, из матросов,

---

[a] История Рима (*франц.*).

корабельных юнгов и поденщиков. Вот почему нередко партер превращается в сцену, и марсельские прелестницы, разделяющие паркет с благовоспитанными юношами, а с другой стороны отцы и матери сих юношей, гг. префект и мэр, вся знать доброго города сего, занимающая ложи, — нередко наслаждаются зрелищем великолепнейшего кулачного боя; полиции в таком случае остается смотреть на сражение и восхищаться ратоборцами: прекратить их подвиг — дело невозможное; вмешаться — значило бы подать повод к убийствам! Случается, что храбрые сыны Каталонии, принимая на себя должность театральных цензоров, берут приступом сцену и критикуют палочными ударами актеров, не угодивших на вкус их. Но сии знатоки-носильщики не всегда принимают столь выразительное участие в театральных представлениях; иногда они, как истинные меценаты, одобряют питомцев муз собственным мирным примером; в мою бытность было однажды объявление: Venus et Mars, grand Opera; les douces Cyclopes seront joués par des amateurs.[a] Я наведался: эти любители принадлежали к великодушным носильщикам, покровителям марсельского общества королевских декламатико-мимических художников. Впрочем, марсельские герои не только любители изящных искусств, они и большие политики. Не хочу возмущать вас описанием ужасов: итак, только упомяну о неистовой когорте марсельских патриотов и об их подвигах в Марселе, Э, Авиньоне, во всех почти городах Прованса и, наконец, в Париже. С первого возвращения Бурбонов здешние демократы, по примеру многих Катонов и Гракхов покойной Французской республики, вдруг сделались приверженцами древнего королевского поколения. Им в особенности дано было название белых якобинцев; но бедные марсельские носильщики, полудикие, были честнее многих богатых, умных, образованных маршалов, перов и герцогов. Они остались верными королю и Бурбонам в стодневное царствование Наполеона: клятвопреступный Массена[6] едва-едва мог удержаться с войском в стенах марсельских; *белые* несколько раз нападали на бонапартистов; и теперь еще показывают место, где однажды несколько офицеров были ими растерзаны при выходе из театра. Нельзя не сожалеть, что их не покинуло зверство, когда они восстали за дело правое: королевского всепрощения они некоторым образом не признали; по втором уже возвращении Людовика маршал Брюн[7] был зарезан их авиньонскими союзниками, а в самом Марселе не вдруг утихли народные движения.

17 (29) января. Марсель.

В темный зимний вечер не знаю удовольствия приятнее того, которое доставляет мне алый трескучий огонек в моем камине. Третьего дня, часу в 10, я сидел с молодым живописцем перед камельком; мы глядели на пламя: оно перебегало с одного куска дерева на другой; легкий дым

---

[a] Венера и Марс, большая опера; кроткие Циклопов будут исполнять любители (*франц.*).

предвещал его появление там, где его еще не было; оно то вспыхивало и с треском росло, то утихало. Уже угли начали рдеться; уже легкий пепел одел догоревшую головню; огонь горел пышно и спокойно, сверкал только изредка, и был слышен не треск, а плавный, величественный шум, похожий на далекий ропот водопада. И вдруг, среди молчания ночи, над нами запела флейта. Голос ее, казалось, перекликался в горах с духами бесплотными, звал и манил туда, где с ревом низвергаются дикие потоки и с утеса над ними дрожит последний лист развенчанного дерева, туда, где грудь дышит свободнее! Я слышал тихую жалобу и тихий ропот наслаждения; в мою душу теснилось многое знакомое и милое, многое, что было когда-то для меня источником грусти, и радости, и тишины после волнения: мне было, как будто бы вижу по долгой разлуке семью свою, гляжу на них, хочу им рассказывать, сидеть между ними, слушать звук их голоса; и мы молчим, не находим слов и забыли все прошлое. Иногда, напротив, мне казалось, что снесли на поле смерти кого-то мне любезного: я видел, как земля засыпала гроб его, и возвращаюсь с безмолвием, объемлющим сердце в минуты, когда думаем о тлении и вечности, или сетуем о невозвратно потерянном, или когда мы очень счастливы и боимся утратить счастие!

Я оглянулся: огонь едва еще мерцал; живописец погасил свечи и молча смотрел на огромные тени, которые рисовались на стенах нашей комнаты; флейта замолкла; только изредка неслось по спящему городу протяжное взывание караулов и корабельных стражей, дремлющих на палубе!

ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПОЛУДЕННОЙ ФРАНЦИИ

Письмо XLIII

19 (31) января 1821. Марсель.

С того времени, как мы живем вдвоем, я познакомился гораздо короче с нашим молодым художником;[a] с дня на день нахожу в нем более и более расположения ко всему прекрасному и высокому. Один из наших спутников оставил мне здесь свою небольшую библиотеку немецких классиков; наш живописец еще очень мало читал; стараюсь его несколько познакомить с отечественною его словесностию. Иногда вечером мы читаем вместе или сильного страстного Бюргера, или божественного *мечтателя* — Шиллера, или милого певца Гёльти;[1] нередко книга упадает у меня из рук и неприметно начинается у нас разговор о природе, о поэзии, о сердце человеческом. Эти вечера, мой Д..., меня всякий раз переносят в наш родимый Лицей,[2] в наш фехтовальный зал, где мы с тобою читали тех же самых поэтов и нередко с непонятным каким-то трепетом углублялись

---

[a] Живописцем, которого А. Л. Нарышкин взял с собою из Дрездена.

в те же таинства красоты и гармонии, страстей и страдания, наслаждения и чувствительности! Может быть, мой друг, и ты вспомнишь лета нашей беспечности и ее радости, когда сообщу тебе содержание нашего вчерашнего разговора.

Мой юноша признался мне, что некогда при имени поэта представлял себе полубога без слабостей и пороков. Ныне, читая их жизнь, он видит, что по большей части их душа была возмущаема страстями, что они нередко писали иначе, нежели жили: это противоречие его мучит, он готов счесть их лицемерами! Что отвечать ему на его сомнения? Ужели, кроме дарования, ничто не возвышает великого певца над толпою? Поэт — принимаю это слово в самом высоком значении — всегда говорит то, что чувствует: искренность первое условие вдохновения. Итак, в то мгновение, когда он учит времена и народы и разгадывает тайны Провидения, он точно есть полубог без слабостей, без пороков, без всего земного. Но самая способность к вдохновениям предполагает пламенную душу, ибо только пламя может воспылать к небу! Что же есть пища сего пламени? Великие страсти. Они молчат, они исчезают, когда орел летит к солнцу; но потом голод гонит его с высоты, он падет на добычу и вонзает в ее бока кохти: ужели за то вы уподобите орла ворону? Есть сильные или холодные души, которые могут на всю жизнь сковать свои страсти, но они не знают вдохновения! Курций [3] был пылкий юноша; я уверен, что он не чуждался даров Венериных и Вакховых! Педант в своем кабинете и глупый мещанин в харчевне судят о великих полководцах и говорят с видом решительным: «Наполеон здесь сделал ошибку непростительную; Суворов должен был предпринять такое-то движение; Кутузов забыл то, опустил другое, не успел совершить третие!». Потом наши мудрецы, торжествуя, смотрят кругом себя и, кажется, ожидают, чтобы все почтенные слушатели закричали в один голос: «О! в сравнении с вами, милостивые государи, Наполеон и Суворов школьники!». То же с поэтами: им завидуют и в то же время желают показать презрение к их дарованию. Но чернь не способна даже к заблуждениям душ великих. Люди, странные, непонятные создания! Вы гоните и ненавидите ваших благодетелей. Наслаждайтесь их гением, идите по пути, который вам указывают, и помните, что они живут среди пороков и развращения, живут между вами, что душа их способнее вашей принимать впечатления и легче увлекается властительной минутою. Почему брызжет жаба яд на смиренного светляка? Он блестит, ибо блестеть и жить для него одно и то же: он и не думал гордиться перед нею блеском своим! И если бы вы знали, враги дарования, если бы вы знали, какою ценою оно покупается! Поэт некоторым образом перестает быть человеком: для него уже нет земного счастия. Он постигнул высшее сладострастие, и наслаждения мира никогда не заменят ему порывов вдохновения, столь редких и оставляющих по себе пустоту столь ужасную! Он блуждает по земле, как изгнанник, ищет и никогда не находит успокоения. Узы семейственной жизни для него милы, но тягостны; он понимает тихое счастие, но не способен к нему. В одних бурях, в борьбе с неумолимою судьбою взор его проясняется и

грудь дышит свободнее: жизнь и движение — вот его стихия! Он с радостию погибнет средь общего разрушения под гулом грома и при зареве пожаров, но не в состоянии без ропота доживать свой век среди мелких страстей и сплетней, в толпе набожных Ксантипп, глупых остряков и тех презрительных юношей, которые, будучи заранее посвящены во все таинства притворства и благопристойности, развратны до гнусной отвратительности, но умеют скрыть свое распутство от глаз света и пользуются особенною милостию молодых и старых раздавательниц доброго имени. Поэт предпочитает страдание вялому, мертвому спокойствию. Итак, простите ему, если он не всегда стоик, если, желая чем-нибудь наполнить душу, желая дать хотя какой-нибудь предмет своему внутреннему волнению, он иногда разделяет с вами ваши нечистые наслаждения и в своей беспечности забывает осторожность, которая прикрывает ваши заблуждения непроницаемою завесою!

Страстный, пламенный, чувствительный юноша решился быть поэтом: удивитесь по крайней мере его отважности! Он прочел опыты тех своих предшественников, которых смерть скосила не созревших или которым страсти, судьба и люди оборвали наконец крылия. Он бродил между их творениями, между сими дикими развалинами пышного недостроенного храма. Может быть, избыток дарования погубил их; может быть, они были бы бессмертны, если бы было слабее пламя, пылавшее в их персях! Он знает все это, знает, что его ожидают труды Алкидовы, клевета, гонения, бедность, презрение, зависть, предательство, ненависть — ненависть самых друзей его и покровителей, ибо он не исполнит их требований и уничтожит все расчеты и надежды их! Умри он с голоду, пожмут плечьми и скажут: мы это предвидели! И пусть благодарят их все поэты времен настоящего, минувшего и будущего, если не прибавят: ничто же ему! Юноша-гений знает все это — и решается быть поэтом.

В обществе живописец говорит: «Я живописец», купец: «Я купец», и бестолковый барин: «Я князь такой-то!» — и притом надувает подзобок, нос возносит к небесам и не замечает смиренных поклонов своих ласкателей! Скажи поэт: «Я поэт» — и со всех сторон подымется громкий хохот. «Почему?» — спросил я однажды двух моих знакомых; они оба утверждали, что свет совершенно прав, но долго не могли доказать, почему он прав. Бившись с четверть часа, наконец один из них сказал вполголоса: «C'est comme qui dirait, je suis vertueux!».[a]

Мы замолчали. Не знаю, чувствовал ли мой приятель всю силу, весь вес своего золотого изречения!

«Поэзия есть добродетель!» [4] — говорит и Жуковский; но чернь вправе не поверить поэту Жуковскому. В устах же человека вовсе непоэтического это: «Comme qui dirait!» — неоцененно! Повторим же: поэзия есть добродетель, и душа вдохновенная сохраняет в самом падении любовь к добродетели, в самых пороках она ищет великого; ее заблуждения подобны грозному водопаду, извержениям Везувия и рокоту грома небес-

---

[a] Как если бы кто-нибудь сказал: я добродетелен! (*франц.*).

ного: они разрушают, но в то же время изумляют и возбуждают благоговение! Но не всякий даже хороший стихотворец может назваться поэтом; напротив, всякий муж необыкновенный, с сильными страстями, пролагающий себе *свой собственный* путь в мире, — есть уже поэт, если бы он и никогда не писывал стихов и даже не учился грамоте. Аттила и Говард[5] такие же поэты, как Руссо, Жан Поль и Байрон! Буало великий стихотворец, а гг. Ф. и Ц.[6] врали, несмотря на рифмы и глупость произведений их. Вернейший признак души поэтической — страсть к высокому и прекрасному; для холодного, для вялого, для сердца испорченного необходимы правила, как цепь для злой собаки, а хлыст для ленивой лошади; но поэт действует по вдохновению и столь же мало гордится своею жизнию, как своими творениями, ибо чувствует, что все ему данное есть дар свыше, а он только бренный сосуд той божественной силы, которая обновляет и возрождает человечество!

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ

14 (26) февраля ‹1821›. Тулон.

Видно, что богиня Массилия, прощаясь со мною, хотела мне сказать: «Не помяни лихом!».

Вчерашнее утро, мое последнее в Марселе, я провел очень приятно. А. Л. выехал еще до рассвета; доктор и я вслед за ним, в два часа пополудни.

Вставши рано, от нечего делать я отправился на высоту под крепость пресвятой Девы смотреть восхождение солнца: оно было бесподобно. После такого зрелища становишься чуждым всего мелкого и ничтожного. Но дома я опять встретил тот беспорядок, который обыкновенно царствует до отъезда и который меня всякий раз лишает способности связать две мысли сряду, расстраивает и приводит кровь мою в волнение. Я вырвался из дому и, чтоб забыться и увидеть что-нибудь другое, зашел в кофейный дом; потом бросился в народную толпу, завернул к старику Ниэлю,[а] простился с ним, снова принялся бродить, полчаса спустя встретился с его сыном. Мы отправились в Главный собор, где служили панихиду по герцоге Беррийском.[1] Блестящие мундиры кирасиров, преклоненные, обвешанные флером знамена, дым от паникадил и, наконец, умилительное, прелестное Моцартово Requiem[б] — все это сначала развлекло и заняло меня, а потом совершенно успокоило. Вышедши, мы наняли лодку и выехали в море: солнце блестело бесчисленными звездами в алмазе тихой, как зеркало, стихии, в брызгах от наших весел, в окнах убегающего от нас города. Тогда я понял то счастие, которым Жан-Жак наслаждался на острове св. Петра, когда или забывался на берегу при ропоте и плеске

[а] Марсельскому моему знакомцу.

[б] Requies, покой. Со слова Requiem начинается латинский текст молитвы за упокой души у исповедников римской церкви.

озера, или носился по водам его и был свободен от сует и желаний земной жизни. В самом деле, колебание лодки и шум воды чудным образом напоминают что-то нездешнее, что-то принадлежащее области душ и бессмертия: именно это чувство, кажется, и заставило древних предположить, что Харон перевозит теней в лодии чрез Стигийские воды. Между тем время прошло, мы едва успели позавтракать, как уже увидели, что лошади запряжены; я пожал руку доброму Ниэлю, вскочил в карету и оставил город, в котором жил несколько недель и для которого с этой минуты, вероятно, уже не существую.

Мы ночевали в двадцати верстах от Тулона. При последней перемене лошадей нас окружили нищие; между ними был мальчик лет 12, чрезвычайно забавный: он попеременно просил подаяния обыкновенным нищенским напевом, выходил из терпения и начинал ругаться, уходил и снова приходил, чтобы опять рассердиться, браниться и бежать с досады прочь, — все это со всеми возможными оттенками продолжалось с лишком полчаса.

К вечеру мы ехали самою дикою стороною: стремнины, утесы, каменная стена и густые рощи пиний переменялись; иногда наша карета висела над бездною, иногда тащилась в гору между грозными рядами скал приморских Альпов, а потом во весь скок мчалась с высоты. Окрестность была подернута лунным сиянием, и громады казались еще диче, еще дерзостнее и огромнее; туман плавал в долинах, и сквозь его волны цветущие миндальные деревья то простирали с изнизу пушистые белые головы, то сверху перегибались к нам, то, перемешанные обелисками высоких кипарисов и круглыми пиниями, рядом бежали в отдаление. В моем воображении плавали чудные образы и видения! На ночлеге присела к нам к камельку болтливая хозяйка, которая было меня очень полюбила, беспрестанно хохотала, врала и в один дух рассказала нам все свои приключения, любовные, печальные и веселые. Другой наш товарищ у камелька был проезжий, провансальский крестьянин, который без памяти хвалил короля испанского Карла IV, потому что много раздавал милостыни, и с видом таинственным утверждал, что сумасшедший англичанин, бросавший в нашу бытность в Лионе, а потом в Марселе из окна целыми горстями экю с пять и шесть франков, — человек хитрый и опасный; «Car celui-la est politique, voyez-vous bien!» [a] — прибавил он значительно.

При самом нашем въезде в Тулон встретились нам каторжники в красных рубахах, скованные по два: их выгоняли на работу!

6 (18) февраля. Ницца.

15 число мы еще пробыли в Тулоне.

Мимоходом замечу, что фризер [2] при тулонском театре — тезка великому и тщеславному консулу, оратору и философу, отцу отечества и ла-

---

[a] Так как это дело политическое, вы же понимаете! (*франц.*).

скателю Цесаря — Цицерону. Правосудие здесь строго: за покражу семи франков выставили при нас у позорного столба бедного матроса.

Поутру, часу в одиннадцатом, отправился я на Тулонские горы; они уже гораздо менее бесплодны и голы, нежели горы в окрестностях Марселя. Подходя к последней даче, я чувствовал, что мне не худо отдохнуть. Добрая, довольно еще молодая женщина встретила меня у ворот, ввела в комнату своего мужа; меня обласкали, угостили прекрасным, легким вином и накормили вкусным завтраком. Муж, отставной моряк, проводил меня, радовался, что я хвалил морских, и было рассердился, когда я хотел с ним расплатиться! «Долг всякого француза быть вежливым с иностранцем», — был его ответ, ответ, который показывает, что напрасно осуждают французов за их народную гордость, если только она их заставляет почитать все доброе, все прекрасное, за непременную обязанность истинного француза: как не простить им, если с такою гордостию соединено даже небольшое тщеславие! С трудом взобрался я довольно высоко, хотя и не на самый верх утесов. Предо мною открылся вид необозримый: Тулон с пристанию; долина, усеянная домиками, каменные холмы, покрытые садами: прекрасное море во всем своем блеске с островами, мысами и бесчисленными судами. Я сел на гранитный обломок, я был совершенно один; только сто шагов ниже меня висела на выдавшемся камне коза, которая, бог весть как, отделилась от стада. Свежий морской ветер свевал с меня усталость. Странное, дикое чувство свободы и надменности наполняло мою душу: я радовался, я был счастлив, потому что ничто не напоминало мне зависимости от людей и светских отношений.[3] Расставаясь с моим моряком, я должен был обещать на возвратном пути еще раз зайти к нему; итак, посидев с полчаса, начал я спускаться и увидел, что пробираться вверх на гору трудно, но спускаться с горы даже и здесь уже опасно: мелкие острые камешки беспрестанно скатываются, нога беспрестанно скользит, почти везде бываешь принужден держаться за пинии и кусты терновника, которые исцарапали мне все руки; наконец я дошел до гостеприимной хижины моего нового приятеля: как хорошо посидеть после такого похода! Меня опять угащивали, но было уже поздно; я не мог долго оставаться и только выпил стакан студеной ключевой воды, пожал доброму моряку руку, поцеловал по его собственному требованию хозяйку и долго еще, спускаясь к городу, оглядывался, видел их на пороге патриархальной хижины.

Здесь за общественным столом обедают не прежде 5 часов. А. Л...а не было дома; итак, у меня оставалось еще довольно времени для прогулки по морю. Мы, числом шестеро, наняли лодку и объехали крепость Амальг: перед нами открылись крайний карантин, острова Эрские и два утеса-*братья*, виденные мною уже с гор. Наш проводник рассказывал нам про здешних галерных невольников, хитрых и опасных даже в оковах, и про здешнюю акулу, которая, хотя рыба, не менее хитра и не менее опасна. Мы узнали, что эта морская гиена особенно ужасна для негров, что очень может быть потому, что они более потеют, нежели европейцы, и, следовательно, более привлекают ее своими испарениями.

Люблю обедать в гостиницах за общественным столом: минутные знакомства, разговор свободный и в то же время учтивый; удовольствие слушать новые, иногда очень умные мнения, узнать подробности того происшествия, того предмета, который тогда занимает первое место в беседах города, области или всей Европы, — все это придает в моих глазах неизъяснимую прелесть такому обеду, и кушанье всегда мне кажется втрое лучше обыкновенного. Возвратясь обедать, мы, между прочим, нашли за столом милую, прелестную блондинку, которая сидела возле своего супруга, г. путешествующего мэра доброго города Руана, как некогда Афродита сидела возле хромого искусника Вулкана. Разумеется, что опять говорили о галерных невольниках, о Коньяре,[a] о сумасшедшем англичанине, полном наследнике внимания публики Южной Франции после Бергами и королевы английской.[4] Но Афродита в течение разговора попеременно поглядывала на всех нас взором, от которого у нас всякий раз все жилки вздрагивали. Всех нас вообще можно было разделить на обожателей немых и болтливых: наши германцы, доктор, Л... и живописец только изредка прерывали молчание, в котором сгорали. Но их безмолвие было совершенно различного роду: старший из них, Л..., останавливал на ней долгие, скромные, страстные взоры; он красавец, и — думаю, он не ошибся — способ, которым осаждал ее сердце, был хорошо придуман; он, верно, показался милой занимательнее всех нас, когда она вечером, раздеваясь, обдумывала все завоевания, ею в течение дня сделанные. Доктор принимался говорить раза три, да его что-то не повезло; итак, он решился взять ее сердце приступом и постоянным залпом посылал ей взгляд за взглядом, в которых можно было заметить неустрашимую отважность и неодолимое упорство. Как знать женщин? Может быть, если бы он бомбардировал ее таким образом месяца четыре, она сдалась бы на капитуляцию; но в продолжение обеда его усилия, кажется, оставались тщетными. Наш юноша художник смотрел на нее только украдкою, потуплял глаза, краснел, как красная девица, ничего не ел и колебал воздух тяжелыми вздохами. К болтливой когорте принадлежали, во-первых, К..., молодой парижанин, путешествующий с нами, во-вторых, друг г. мэра, хранитель шляпы и шали Афродитиных, — и, наконец, ваш Иорик.[5] К..., ловкий, милый, ветреный француз, смешил и заставлял краснеть свою соотечественницу мадригалами, которых Вулкан не понимал или не слышал, ибо исследовал весьма старательно свойства жарких и соусов, а в междудействиях объяснял мне весьма подробно все выгоды и невыгоды судилища присяжных. Я прерывал его беспрестанно, сердился, спорил, желал, чтобы он на этот раз сидел в тридевятом царстве, в обществе всех возможных присяжных, судей, стряпчих и преступников, а не в Тулоне возле своей милой жены, от которой меня отвлекал своими велемудрыми рассуждениями. Когда мне иногда удавалось втянуть и ее в разговор, бедная, открывая свой розовый ротик, всегда подвергалась самым

[a] Известный в то время разбойник.

грубым ответам и противоречиям своего медведя: «Taisez vous donc m'amie! Vous n'y entendez rien! Vous deraisonnez, comme une femme» etc.[a]

Возле меня сидел другой мучитель, который душил меня своими учтивостями и потчеваньем, занимался моим стаканом и тарелкою и своими расспросами о России и глупым припевом: «Vraiment» [б] при каждом моем ответе едва не заставил меня вскочить со стула. Сначала я было счел его чичисбеем нашей пастушки; но теперь заочно прошу у тебя прощения, прелестная супруга г. мэра доброго города Руана! В сравнении с этим бессомненным дураком даже твой муж должен тебе казаться любезным. Несмотря на все препятствия, не одни Л... и К..., и я иногда встречал прелестные глаза милой кокетки!

Так Нимфа молодая,
Самой себя не понимая,
На Фавна иногда глядит! [6]

Будь молод и безобразен, и возбудишь во всякой женщине любопытство, а нечувствительно вместе и род сожаления: нет ничего своенравнее сердца человеческого, а особенно сердца женщины.

Вечером мы были в театре, зевали за Мармонтелевою «Дидоною» [7] и только изредка хохотали, когда нечаянно взглядывали на героев карфагенских и троянских в киверах и на благочестивого Энея с ухватками пьяного лакея.

Возле меня сидел офицер, бывший два года в плену в России и проведший целую зиму в Архангельске. Как судьба играет нами, бедными смертными! На другой день мы выехали из Тулона, и я до отъезда успел еще здесь увидеть русского, который уже 32 года в Тулоне, служит здесь приставом при морских магазинах, женат и пришел, когда мы садились в карету, чтобы посмотреть на земляков и услышать русское слово. Имя его в России было Степан, а здесь Monsieur Etienne.

ВЪЕЗД В ИТАЛИЮ

Письмо L

8 (20) февраля 1821. Ницца.

Прелестная, благословенная страна Эрская; рай полуденной Франции! И я был на твоих вечнозеленых, роскошных горах, в твоих благоуханных долинах; и я дышал твоим воздухом, растворенным и в зиму запахом фиялок, роз, цветов померанцевых и дикого левкоя! Мое воображение иногда составляло себе на севере образ Эдема, но этот образ ничто в сравнении с садами, рощами, лугами Эрскими. Друзья! в холод-

---

[a] Помолчи, моя милая, ты ничего не понимаешь! Ты несешь вздор, как свойственно женщинам (*франц.*).

[б] В самом деле (*франц.*).

ной Ингрии[1] вы не можете представить себе живой лазури *этого* неба, неизъяснимо нежной, неизъяснимо восхитительной, подобной сладостной синеве незабудок: одни голубые глаза невинной 16-тилетней красавицы могут превзойти ее своим тихим пламенем — любовию и томностию, которыми исполнены! Все здесь живет, все производит, все радуется: самые расселины скал покрыты цветами, самые стены разоренного монастыря и разрушенного сарацинского замка одеты плющом, повиликою, виноградными лозами. Где утесы хотя несколько покрыты песком или глиною, везде распустились богатые светло-зеленые ковры, на которых отдыхают усталые, но ненасытные взоры. Миндальные дерева здесь уже отцвели и развернули мягкие листочки.[а] Мы взошли на высоту до самого замка; гора выше всех окружающих: перед нами вдруг открылось столь редкое зрелище картины, ни с какой стороны не ограниченной; во все направления зрение могло простираться, и ему не было пределов, кроме слабости чувств человеческих; оно блуждало по хребтам и высотам холмов и гор, в сокровенной глубине темных долов, по блестящему морю и островам Стоэхадским, лежавшим перед нами, как некогда перед Моисеем земля обетованная, по легким воздушным вершинам ближних миндальных лесочков и в бездне неба, которое здесь необъятнее, нежели где-нибудь, но в то же время неизъяснимо приветливо. На севере синева эфира всякий раз напоминала мне ничтожество всего земного и внушала душе тоску и желания; но здесь небо и земля одно дивное, прелестное целое; здесь не разделяешь вселенной, наслаждаешься и чувствуешь тишину совершенную.

Эр (Hyeres) некогда славился апельсинными, померанцевыми, лимонными садами, но в ужасную зиму с 1819-го на 1820-й год они все погибли; в известном саду Филя в одну ночь 18 000 дерев сделались жертвою стужи. Старожилы не запомнят таких морозов, ибо за тридцать лет, в 1789 году, они хотя причинили много вреда молодым усадьбам, по крайней мере пощадили все старые деревья; в прошлом же году все умерло, все было истреблено: и столетние маслины, и праотцы агрумиев,[б] и огромные пальмы, краса всей области. Рассказывают, что за 111 лет такая же стужа прошла через земной рай Эрский и что тогда бóльшая часть жителей принуждены были оставить родину. Итак, несмотря на чудную прелесть, в коей видел я Эр и его окрестности, в мою бытность роскошные красоты сей сладостной стороны нельзя было и сравнить с теми, которые здесь некогда цвели и блестели. Вот почему, может быть, вы с удовольствием прочтете описание здешних садов, каковы они были во время пребывания здесь госпожи Брун,[в] [2] навестившей Эр в декабре 1806-го года. Госпожа Брун, как и мы, остановилась в гостинице доброго Феликса Сюзанна.

«Перед нашими окнами, — говорит она, — простираются по обеим сторонам агрумии густыми садами и рощами. Они ныне представляют

[а] Миндальное дерево сперва цветет, потом уже распускается.
[б] Родовое название апельсиновых, померанцевых и лимонных деревьев.
[в] Известной немецкой писательницы.

между блестящих листьев всю лествиницу великолепных Гесперидных яблоков, начиная с зеленеющего золота лимона, полусозревшего до яркого огня апельсинов и мрачного пламени померанцев. Сии рощи наконец оканчиваются виноградниками, которые, в свою очередь, окружаются нежно-восходящими холмами, покрытыми великолепными лесами маслин; на скате перед пышным домом Филя невольно подумаешь, что находишься на краю басен и сказок, куда вдруг ударом волшебного жезла перенесены дети отдаленнейших стран света, и все в дивном согласии зеленеют, цветут, богатятся плодами: азийские пальмы и плакучие ветлы вавилонские, бананы, пришельцы из Америки, мимозы с берегов Сенегала, над шумящим водоскатом папир, оставивший отлогие луга великого Нила; на стенах цепенеющий алоэ и, возвышаясь в высоты воздушные, дерева лимонные и померанцевые; вокруг по всем тропам и грядам душистые фиялки, резеда, цветущие мирты и гелиотропии, перемешанные с растениями с мыса Доброй Надежды, странными, образованными, кажется, по прихоти дикой фантазии: все это соткано в одно волшебное целое, и никогда я еще не вспоминала так живо царство фей и очарования!

Мы спустились в сад; простираясь в необъятное, нас принял тенистый лес агрумиев: дерева, преклоняя долу ветви, отягченные золотым бременем, не могут даже прикрыть листьями изобилия плодов своих. Во все направления дорога пересекается длинными аллеями, которых конец убегал бы от зрения, если бы не блестело даже из глубочайшего отдаления спелое золото. Апельсинные деревья можно разделить на белянок и смуглянок. Ветви и листья первых светло-зеленого яблочного, плоды — чистого палевого цвета; вторые горят мерцающею темною зеленью, а плоды ярким желтоватым пурпуром».

Я прочел это описание, когда уже видел Эр и насладился его остальными прелестями. Признаюсь, в противном случае я лишился бы и того, что еще уцелело.

Письмо LI

12 (24) февраля. Ницца.

Проезд наш от Эра до Ниццы доставил мне два дня полной, богатой жизни, и воспоминание о них одно еще поддерживает меня теперь, когда моя усталая душа ищет успокоения, или восторга, или боли и находит одну тоску и скуку. Человек — странное, непонятное создание! Меня не веселит роскошная природа Италии! Чувствую, что мне нужна независимость и нужно участие, чтобы быть счастливым. Но я удержусь от ропота и постараюсь оживить себя, говоря с вами о минутах радости. Мы выехали 16 числа после обеда из Эра. Солнце склонялось к западу, вокруг нас все цвело и жило и все рождало во мне мечтания. Я мыслями был на лесистых берегах моей родимой Авиноры, где я впервые вздох-

нул для чувства и наслаждения; я был дитя и вся душа моя идиллия. В моем воображении не было определенного образа, но то, что в нем мелькало и изредка меня тешило, меня исполняло тихого веселия. Когда день начал погасать, мы выехали на большую дорогу и миновали выдающийся хребет холмов, по которым цепь деревень и местечек простирала в воздухе свои башни. Луна взошла, и зажглись мои давние знакомцы: приветные, мирные звезды; вечер был нехолоден: едва ли в мае месяце такие вечера спускаются на тундры Ижорские. На первой станции мы расстались с А. Л...ем, потому что не было лошадей для всех нас. Через час (я между тем бродил по полю с живописцем) отправились и мы в дальнейший путь, но снова принуждены были остановиться в местечке Корнуйль, не доезжая Фрежюса, и ждать возвращения почталионов. Мы зашли в деревенскую бедную харчевню, велели сварить себе кофе и присели с хозяйкою к смиренному камельку, в котором пылали перед нами дерево лимонное и померанцевое, мирты и маслины: огонь самый роскошный и поэтический, но в то же время терзающий сердце, если подумаешь, что он следствие общего несчастия! Через полчаса зашли к нам молодой человек и две очень хорошо одетые престарелые женщины. Мы сочли их сначала за проезжающих, но вскоре узнали, что это здешние помещицы с племянником. Хозяйка им очень обрадовалась; старушки присели к огню, и я вспомнил Фенелона,[1] посещавшего подобным образом своих прихожан и подданных. Наши дамы принадлежали к старому доброму времени и к древнему французскому дворянству: они были ревностные аристократки и всею душою веровали в величие Лудовика XIV. Их разговоры показывали большую начитанность и старинное воспитание: обращение было чрезвычайно занимательное соединение французской живости, добродушия, простоты времен патриархальных и феодальной величавости; племянник — добрый неиспорченный сын природы и страстный обожатель военной славы своего народа. Он повел меня и живописца в сад своих родственниц. Не люблю деревьев, испорченных ножницами садовника; здесь не было других: кипарисы и мирты, карубен и земляничник являлись мне в странных, чудовищных видах. Но весь день, проведенный мною, был необыкновен: в течение целых суток я казался самому себе действующим лицом волшебной сказки или романа; и в первый раз в жизни я с удовольствием останавливал взор на диких очерках сих воспитанников искусства, освещенных очаровательным светом месяца и оттеняемых решеткою. Невольно забывался я при лепете источника, упадающего в каменный водоем, обросший повиликою, нарциссом и фиялками.

Поутру мы прибыли в Фрежюс и наскоро посмотрели здешние примечательные развалины. Фрежюс был в римское владычество важным торговым городом; здесь много следов великого народа: арена, амфитеатр, капище. С Фрежюса начинается ряд городов и местечек, прославившихся событиями Наполеоновой жизни. В рыбачьей деревушке неподалеку Фрежюса вышел он на берег, возвращаясь из Египта, и Франция пала к ногам его; из той же самой деревушки 1814 года,

сверженный с престола Бурбонов и Карла Великого, он отправился в свое первое заточение; потом по ту сторону лесистого Эстреля, по высоте коего проложил в свое царствование славный путь, соединяющий Италию с Франциею, между городами Канном и Антибами — он вдруг снова явился с горстью отважных и сначала пробирался через темные Эстрельские долы, по грозным скалам и стремнинам, по мрачным рощам и болотам, непроходимым для всякого другого. Когда мы спускались с Эстреля, почталион указал мне место, где Буонапарт перешел большую дорогу, чтобы снова спуститься в пустынную глушь, в темноту тесных ущелин и проходов; я тогда живо вообразил себе этого чудного человека, который променял славу на власть, власть на уединение, уединение на жизнь разбойника и снова с дивной быстротой приобрел потерянный престол и снова с него пал в глухое заточение! Он ныне еще дышит, читает «Английские ведомости», обедает и ужинает, но жизнь его уже кончилась, он уже умер для света.[2]

Лесистый, дикий Эстрель наполнил душу мою оссиановскими видениями; я много шел пешком и чувствовал себя счастливым, когда видел себя совершенно одним посреди высоких деревьев, над пурпуровою бездною вечереющих долин, под небом, которое здесь напоминало мне наше в ясный осенний день; чувствовал себя счастливым, когда только издалека слышал стук приближающейся кареты, смотрел, как внизу зажигали пастухи ночные огни и солнце утопало в раскаленных облаках и рассыпало последнее золото по высотам маслин, сосн и пиний. Мы прибыли в Канн: луна освещала залив и город; воды тихо плескали в берег и струились чистым жемчугом. Нас хотели удержать, уверяя, что ворота будут уже заперты в Антибах, но, боясь заставить ждать А. Л., мы решились ехать, полагая, что он ночует в Антибах, решились, приехав, дождаться в карете открытия ворот. Между тем А. Л. предупредил на границе караулы; мы объехали последний город Франции, и нас пропустили без малейшей остановки. Я спал и, когда проснулся в Ницце, долго не знал, где я; долго еще думал, что мы в Антибах или в каком-нибудь другом пограничном местечке Франции.

Письмо LII

24 февраля (8 марта) 1821. Ницца.

Мы еще в Ницце и, может быть, пробудем здесь еще неделю: тем лучше, ибо уже не застанем худой погоды в Париже! Не могу, впрочем, сказать, чтобы я проводил здесь время чрезвычайно весело: Ницца город небольшой, театра здесь нет, о галереях не слыхать; заводить знакомство в моих обстоятельствах трудно, да, кроме того, и не с кем; одно семейство Ж. мне несколько ближе и любезнее прочих, потому что они русские. Но, несмотря на скуку, которая иногда томит меня, я должен благодарить небо: здоровие быстро и видимо ко мне возвращается. Брожу

по горам и утесам, по лесам и долинам, чтобы подкрепить себя еще более. Прекрасная, дикая природа здешних окрестностей теперь моя единственная подруга, мой единственный утешитель в минуты тоски, которой я еще нигде так живо не чувствовал во все наше путешествие. Мы сначала остановились в городе в гостинице, но теперь живем на прекрасной даче госпожи Сент-Агат по Туринской дороге. Отсюда я выхожу каждое утро в десятом, хожу вплоть до четвертого часа, обедаю в четыре; после обеда отправляюсь в город пить кофе; играю вечером в шахматы или перечитываю в сотый раз Батюшкова, Пушкина, Дмитриева, Державина и ложусь спать, чтобы завтра так же начать, продолжать и кончить день свой; изредка только единообразный порядок моей жизни прерывается приглашением на вечер. Для доброго ходока, каковым я теперь снова могу назваться, здесь много прекрасного: гора и замок Монт-Альбан, с которых видишь под собою справа Ниццу, слева Вилла-Франку, длинный мыс с маяком, прекрасный залив между мысом и Вилла-Франкою; впереди море — беспредельное к востоку, ограниченное к западу прелестными Антибскими берегами и синеющим вдали хребтом Эстрельским; позади леса маслин почти до высоты сумрачного Винегрье — вот зрелище, коим наслаждался я несколько раз в первые дни нашей бытности в окрестностях Ниццы! Оба города, Ницца и Вилла-Франка, прижимаются, так сказать, к утесам, у подножия коих построены; их пристани уютны и неприступны для бурь и порывов ветра; башни весело возвышаются в голубой воздух; строения осенены роскошными садами агрумиев, рощами смоковниц, маслин, плакучих ветел и дерев миндальных. Изредка только встречаешь здесь голый камень; одряхшие стены всегда покрыты плющом, скалы обросли тмином, дикими анемонами, лилиями, гияцинтами; из расселин вырастают алоэ и кактус. Вид с гордого Винегрье, у подножия коего самый Монт-Альбан превращается в пригорок, почти тот же, но огромнее и величественнее: с него в ясный день поутру видна Корсика, а к северу являются из-за голой двуглавой Фондской громады снежние верхи Альп Савойских. Я был на самой высоте Винегрье и не жалею своих усилий: хотя дорога трудна, однако же легче и несравненно приятнее, нежели на нагие Тулонские утесы. Но нам не нужно даже и выходить из комнаты, чтобы наслаждаться прекрасными видами: перед нашими окнами вдоль Пальона, или Паглиона, который теперь почти вовсе без воды, но дик, широк и стремителен во время оттепели на снежных высотах альпийских, — вдоль Пальона тянется цепь лесистых холмов до самого подножия горы Фондской; эти холмы усеяны белыми, чистыми, красивыми загородными домиками; посреди возвышается монастырь Сен-Симье, обитель капуцинов ордена св. Доминика, и несколько пониже другой большой, но запустелый монастырь Сен-Понс, построенный, как говорит предание Карлом Великим для его племянника; возле нового великолепного строения видны еще развалины старого. Вокруг Сен-Симье также разбросаны обломки, но они принадлежат другому времени и несравненно древнее; примечательнейшие — остатки амфитеатра, сооруженного, быть

может, еще в то время, когда в Никее, массилийском поселении, раздавались звуки языка греческого; ныне жители воспользовались одним из сводов и превратили его в ворота: лошаки и мулы спокойно проходят под сводом, который некогда поддерживал здание, посвященное играм и празднествам в честь Геркулесу Менекескому. Из саду монастыря с одной стороны видишь далекие белые горы, спокойные, безмолвные; с другой — прекрасный город, кипящий жизнию: его веселый дым и высокие башни, утес, разделяющий Ниццу на две половины, увенчанный крепостью, которую я готов назвать Кремлем или Капитолием Никейским, море, открытое отовсюду, придающее всему высокую прелесть; далее — большую Туринскую дорогу, дачи, густые, кудрявые рощи маслин. Беспрерывный ропот Пальона доходит сюда, как будто гул страстей и бедствий человеческих, и, подобно ему, погружает в уныние.

Я здесь был в два часа пополудни. Братья мелькали между дерев в бурых рясах: некоторые привязывали виноградные лозы к смоковницам, другие возделывали землю; я вспомнил отшельников первоначальных времен християнства. На холме, несколько выше прочего сада, — роща кипарисов темная, уединенная, насажденная для тихого размышления. «Сюда! — подумал я. — Сюда от сует, шуму, от людей и пороков!». Но я спустился в сад, я взглянул на монахов...[1] Мне стало душно в этих стенах, и я из них почти выбежал: казалось, минута замедления лишит меня свободы, лишит возможности возвратиться в свет, где могу и должен думать, трудиться, страдать, бороться с жизнию. Не знаю, каковы монахи прочих монастырей римской церкви, а братья обители Сен-Симье не наделены духом терпимости: я было хотел отстоять у них вечерню, но они, узнавши, что я не католик, не допустили меня.

ДНЕВНИК
(1831—1845)



〈1831 год〉

15 декабря

Переписал я набело и вторую часть «Отроков»; остается еще написать в прозе окончание 3-й главы «Декамерона» [1] да переписать оное, тогда работам нынешнего года конец, а разве что напишу на Новый год. «Отроки» мне вообще менее нравятся «Зоровавеля»; впрочем, это узнаю лучше завтра, когда перечту обе книги вместе.

16 декабря

Сегодня я не переписывал набело, а дополнил, чего мне недоставало в прозе в 3-й главе «Декамерона». «Отроков» я перечел: может быть, потому что они мне надоели, а при чтении они мне принесли мало удовольствия; увидим, что скажет сестра; [2] впрочем, того, чего я всего более опасался, — темноты — я в них не нашел. Прочел я три статьи Шиллера: [3] 1. О том, как должно обучаться всеобщей истории, 2. Письмо к издателю «Пропилей», 3. О необходимых границах в употреблении прекрасных форм. Первая не заключает в себе ничего необыкновенного, вторая писана на случай, зато третья заслуживает величайшее внимание. В ней сначала, как мне кажется, Шиллер приписывает *разуму* (Verstand) слишком большие преимущества, но потом несколько ближе подходит к истине, когда говорит, что философ должен говорить не какой-нибудь одной способности души, но всем. Хорошо замечание, что нашего разряда красноречивый дидактик (der schöne Schriftsteller) [a] предмет, о котором говорит, представляет более возможным и достойным желания, нежели настоящим или даже необходимо существующим. Но лучше всего конец,[4] где автор рассуждает о пагубном влиянии на нравственность преобладания над умом вкуса и чувства изящного, такого преобладания, при котором эти низшие способности, заимствующие все достоинство свое от согласия с законами *ума* (die Vernunft), из его

---

[a] писатель-художник (*нем.*).

наместников становятся похитителями престола, принадлежащего ему одному, и оружие, которое он же им дал, обращают против него. «Дикарь, — говорит Шиллер, — будет побежден ужасным искушением, но он не скажет в минуту падения, что не пал, и тем самым при падении изъявит свое благоговение к уму, которого предписания нарушает. Напротив того, утонченный питомец искусства не сознается в своем заблуждении, и, чтоб успокоить совесть свою, обманет ее».

17 декабря

Давно уже у меня в голове бродит вопрос: возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков? «Беппо» и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина попытки в этом роде, — но, надеюсь, всякий согласится, попытки очень и очень слабые, если их сравнить с «Илиадою» и «Одиссеею»: не потому, что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее), но главное, что они смотрят на европейский мир как судьи, как сатирики, как поэты-описатели; личность их нас беспрестанно разочаровывает — мы не можем обжиться с их героями, не можем забыться. Тысячелетия разделяют меня с Гомером, а не могу не любить его, хотя он и всегда за сценою, не могу не восхищаться свежестью картин его, верностию, истиною каждой малейшей даже черты, которою он рисует мне быт древних героев, которою вызывает их из гроба и живых ставит перед глаза мои; ювеналовские, напротив, выходки Байрона и Пушкина заставляют меня презирать и ненавидеть мир, ими изображаемый, а удивляться только тому, как они решились воспевать то, что им казалось столь низким, столь ничтожным и грязным. Нет, Гомер нашего времени — если он только возможен — должен идти иною дорогою.

Наконец я сегодня *совсем* кончил «Отроков»; остается только их доставить куда следует.[5] Читаю «Über die ästhetische Erziehung des Menschen».[a]

18 декабря

Отдал «Отроков»; писал к матушке, а при письме немецкие стихи;[6] не знаю, хороши ли они или худы, только надеюсь, что они принесут моей старушке удовольствие; помню, как она [бывало] носилась с какими-то, которые я ей прислал, будучи еще в Лицее, читала их покойнице Анне Ивановне, Наталии, Эмилии Федоровне,[7] сберегла их и показала мне лет шесть спустя. Стихи припишу в конце сегодняшней заметки. В статье «Über die ästhetische Erziehung» много глубокомысленного, и Шиллер является в ней совершенно зрелым мужем; в одной

---

[a] «Об эстетическом воспитании человека» (*нем.*).

из прежних «Was heißt Universalgeschichte?» [a] etc. находится пылкая похвала 18-му столетию; как совсем иначе говорит он об этом столетии здесь! [8] Пользу изящных искусств Шиллер полагает не в мнимом нашем улучшении, которого многие от них требуют, но в освобождении человека как из-под ига чувственности, так и из-под приневоливания мыслящей силы, в слиянии сих двух борющихся между собою стихий и в восстановлении тем возможности самовольного избрания или того, к чему влекут нас ощущения, или того, чего хотят от нас законы ума; главною же выгодою изящного воспитания находит он устранение препятствий, удерживающих человека исполнить предписания своего высшего предназначения. Но красота перестает быть красотою, как скоро душе дает определенное направление, и потому-то так нелепы все поучительные и назидательные выродки поэзии. Впрочем, я еще не кончил всей статьи.

1

Pfeifend fegt die todten Felder
Braust und wirbelt Sturm und Schnee.
Heulend neigen sich die Wälder,
Kalter Stein ist Bach und See.
Aber in des Winters Toben
In des Jahres düstrer Nacht
Fällt ein reines Licht von oben,
Das dem Geist, wie Eden, lacht.
Hört es aller Menchen Ohren,
Engel Gottes lobt und singt:
Christus ist der Welt geboren,
Der uns Heil und Gnade bringt.

2

Ja, an diesem schönen Tage,
Weiche, fliehe Gram und Schmerz,
Schweige du, des Lebens Plage,
Sorge, drücke nicht das Herz!
Allen giebt des Festes Sonne
Allen das verlohrne Glück
Allen die gesuchte Wonne,
Allen Seeligkeit zurück.
Erd' und Himmel schließen Frieden
Friede sang in jeder Brust
Dort ist jeder und hienieden
Eines Vaters sich bewüßt.

3

Freude in des Aethers Räumen
Füllt das Unvermeßte aus;
Zu den heitern Weihnachtsbäumen

---

[a] «Что такое всеобщая история?» (*нем.*).

Ruft die Freude jedes Haus.
Wenn des Seraphs Hymnen schallen
Vor des Schopfers Angesicht
Hört er auch des Säuglings Lallen
Und vergißt des Staubes nicht.
Nichts ist klein dem Blick der Liebe
Nichts ist ihrem Blick zu Groß.
Liebe pflegt der Mütter Triebe
Und das All in einem Schoß.

4

Doch was lacht auch in der Ferne,
Wie Vergißmeinnichtes blau,
Glänzet wie des Abends Sterne
Leuchtet wie des Morgens Thau?
Welch' ein paradisisch Weben
Haucht mich an mit Schmerz und Lüst?
Welch' ein neues reges Leben
Wogt in meiner vollen Brüst?
Seh' ich denn dich endlich wieder,
Dich, den ich beweinen muß,
Steigst du wirklich zu mir nieder,
Meiner Unschuld Genius?

5

Und ich blick umher und frage:
Kehrt zurück der Stunden Lauf?
Meine längst verbluhend Tage
Stehen sie vom Grabe auf?
Stimmen, mir bekannt und teuer
Rauschen um mein traulich Ohr.
Was dà ist, bedeckt ein Schleier:
Wieder bin ich vor dem Tor;
An der Schwelle bin ich wieder
Meines Lebens, froh und blind
Höre meiner Hoffnung Lieder,
Seelig bin ich, bin ein Kind.

6

Sie sind mit gesammelt alle
Die das Schicksal mir geraubt:
Zu der heimathlichen Halle
Seh' ich dem geliebtes Haupt.
Mutter, Freundin meiner Jugend,
Meiner Kindheit Führerin,
Deren fromme, lautres Tugend
Deren hoher Heldersinn
Nicht aus diesen Zeiten stammet,
Wo die Selbstsucht Thaten wägt,
Wo kein reines Feuer flammet,
Wo kein Herz wie deines, schlägt.

7

Und bereitet sind die Gaben,
Und die Kerzen brennen klar,
Daß doch Stunden Flügel haben
Und mein Glück ein ‹нрзб.› war?
Seelig wont ich nur im Traume;
Ach, der goldne Traum geschloß,
Gleich dem leichten, weißen Schaume
In der Wellen schwarzen schoß.
Düster sind die Fenstern Mauern,
Niemand meiner Lieben da —
Ewig werd' ich um sie trauern
Das mein Wunsch ist ihnen nah.

8

Wie das schönste Fest der Erde
In des Winters Dunkel fällt,
Also, Teure Mutter, werde
Deines Winters Nacht erhelt:
Mögst du Trost und Ruh und Freude
Nehmen von der Töchter Hand·
Ähnlich sind sie ja die beide,
Allem edlen ja verwandt.
Stillen werden sie das Lehnen
Deiner leiderfüllten Brust,
Trocknen deiner Wangen Tränen,
Lindern jeglichen Verlust.[a]

---

[a] 1. Свистя, несутся по мертвым полям, Бушуют и завывают бураны. С воем наклоняются леса, Ручей и озеро стали холодным камнем. Но в зимнюю бурю, В мрачную новогоднюю ночь Падает сверху чистый свет, Который улыбается душе, как рай. Слушайте, все люди: ангел славит бога и поет: на свет родился Христос, который принесет нам спасенье и благодать. 2. Да, в этот прекрасный день Уходи, улетай, скорбь и боль, Умолкните, мученья жизни, Забота, не сжимай сердце! Всем возвращается солнце праздника, Всем — потерянное счастье, Всем — искомое блаженство, Всем — духовная благодать. Земля и небо заключают мир, Мир поет в каждой груди. Там (наверху) и внизу Каждый осознает своего отца. 3. В небесах радость заполняет неизмеримое пространство. К веселым рождественским елкам Каждый дом призывает радость. Когда раздаются гимны серафима Перед ликом творца, Он слышит также лепет младенца И не забывает о земном прахе. Ничто не мало для взгляда любви, Ничто для ее взгляда не слишком много. Любовь сохраняется заботой матери, И вселенная в ее лоне ‹?›. 4. Что смеется в дали, голубой, как незабудка, Блестит, как вечерние звезды, искрится, как утренняя роса? Какое райское дуновение Овевает меня болью и радостью, Какое новое волнение в моей полной груди? Вижу ли я снова тебя наконец, Тебя, кого я должен оплакивать? Ты ли нисходишь ко мне действительно, дух моей невинности? 5. И я оглядываюсь вокруг и спрашиваю: Не обратился ли вспять бег часов? Мои давно отцветшие дни — Не восстают ли они из гроба? Голоса мне знакомые и дорогие Звучат для моего печального слуха. То, что там, покрыто завесой, Снова я перед вратами. Я снова стою на пороге Моей жизни, радостный и слепой, Слушаю песни моих надежд, Я счастлив, я дитя. 6. Они собрались все, Кого похитила у меня судьба: В родном зале Вижу я любимую голову. Мать, подруга моей юности, Путеводительница моего детства, Чья скромная, чистая добродетель, Чей высокий героический дух Не из этих времен родом, Где эгоизм руководит поступками, Где не горит чистый огонь,

19 декабря

Читаю рассуждение Шиллера «Über Anmuth und Würde».[a] Полагаю, что все эти рассуждения принадлежат к лучшим сочинениям его, и теперь я понимаю несколько, почему какой-то английский критик сказал, что у немцев нет ни одного поэта, а только один хороший прозаик — Шиллер. Это несправедливо, но вижу, каким образом такая мысль могла родиться в голове умной, хотя и не беспристрастной.

20 декабря

Тяжелый день! «Доколе, господи, забудеши мя до конца? Доколе отвращаеши лице твое от меня? Доколе положу советы в душе моей, болезни в сердце моем день и нощь?» — вот слова, которые исторглись из души, верно, столь же измученной, как моя;[9] боже мой! когда конец? Когда конец моим испытаниям? Несчастные мои товарищи по крайней мере теперь спокойны: если для них и кончились все надежды, то кончились и все опасения; грустно им — они горюют вместе; а я один, не с кем делиться тоской, которая давит меня; к тому же нет у меня и той силы характера, которая, может быть, поддержала бы другого. Не знаю за собой никакой вины, но боюсь за тех, которые были ко мне сострадательны: ужасно подумать, что они за человеколюбие свое могут получить неприятности; я бы охотнее подвергся всему, чем воображать, что заплачу им такою монетою. А между тем, что мне делать?

21 декабря
Поутру

Я бы не должен давать волю перу моему, не должен бы поверять бумаге чувства мои: но что утешит меня? Мысль, что это прочтут, может быть, поймут иначе... Но мне скрываться нечего: эти новые неприятности единственно произошли от моего несчастного положения, от одиночества, на которое я осужден; между тем если бы у меня был товарищ, кто скажет, не был ли бы я подвержен другого рода огорчениям? Господи боже мой, даруй мне терпение, на меня одного излей сию горькую чашу, да не буду я поводом страдания для других! Боже мой, тебе известно каждое помышление мое, каждое чувство, прежде чем оно даже мне самому

Где ни одно сердце не бьется, как твое. 7. И уже готовы дары, И свечи горят ясно, Что же у часов нет крыльев, и мое счастье ‹нрзб.›? Счастливый живу я только в мечтах. Ах, золотые мечтания исчезают, Подобно легкой белой пене, Которая тонет в черных волнах. Мрачны крепостные окна, Не видно в них моих любимых, Вечно буду я о них печалиться, Так как мое желание быть рядом с ними. 8. Как самый прекрасный праздник на земле Приходит во время зимнего мрака, Так, дорогая мать, будет озарена ночь твоей зимы: Ты сможешь получить радость, покой и утешение Из рук дочерей. Они обе так похожи, Так родственны всему благородному. Они станут опорой Твоей наполненной страданием души, Высушат слезы на твоих щеках, Облегчат любую утрату (*нем.*).

[a] «О грации и достоинстве» (*нем.*).

ощутительно! Ты знаешь, чего прошу, чего требует сердце мое: укрепи и утеши меня, мой господи, и не вниди в суд с рабом твоим, яко не оправдается пред тобою всяк живый!

Вечером

И над ними бог: они не постраждут за доброе дело — хочу верить и надеяться [...] [10] Буду за них молиться со всем усердием: господь не презрит молитвы моей!

22 декабря

[...] Читаю Фолльмерову (Vollmer) «Естественную географию по Кантовым идеям»; [11] «Contemplations de la Nature» [а] [12] Бернардена де Сен-Пьера мне показались любопытнее и даже глубокомысленнее. Но ново для меня открытие планеты ниже Урана, которую Ольберс [13] назвал Геркулесом, отстоит Геркулес от Солнца на 50 000 миллионов миль.

Перечел я «Лафертовскую Маковницу», [14] которую в первый раз в 1825 г. прочел мне Дельвиг на квартире у Плетнева: большое сходство с манерой Гофмана.

Если бы страдания и не имели другой пользы, а только бы приучали охотнее умирать, — и то дóлжно бы благодарить за них создателя. Приближается Новый год: сколько перемен было со мною от 22 декабря 1830 до 22 декабря 1831 года, а 32-го буду ли еще на земле? Как вероятно, что меня не будет уже на свете! а между тем: готов ли я покинуть этот свет? Боже мой, сколь многими узами я еще к нему привязан!

23 декабря

Со мною то, что матушка называет: Ich bin aus meines Geleise gekommen.[б] Но, благодаря господа, я мене горевал, чем все эти дни. «Бог не без милости», — говаривал мой верный камердинер Балашов.[15] Эти слова очень просты, но очень утешительны.

В «Новостях литературы» я прочел кое-что покойника Загорского,[16] между прочим, идиллию «Бабушка и внучка»; он был молодой человек с истинным дарованием.

24 декабря

Не знал я, что амбра — произведение царства животных: по Фолльмеру, это затверделость во внутренностях больного кашалота. Он не отрицает существования кракена [17] и даже огромного морского змея, о кото-

---

а «Созерцание природы» (*франц.*).

б Я выбит из колеи (*нем.*).

ром поминает Эгеде.[18] Примечательнейший случай из тех, которые приводит Фолльмер, — поглощение *десяти* военных судов великаном полипом.

Хотел было сочинить что-нибудь для завтрашнего праздника, но не мог.

25 дек‹абря›

Благодаря всевышнего, я сегодняшний праздник провел приятнее, чем думал: во весь день не тосковал. Что мои милые? мой брат? матушка? сестры? мои любезные далекие?

26 декаб‹ря›

Читаю «Агафокла»[19] Каролины Пихлер. Как все забывается: лет 15 тому назад я уже читал этот роман, но теперь он для меня совсем нов. В нем много хорошего.

27 декабря

Кончил «Агафокла». Признаюсь, что многие места (в особенности развязка) меня сильно растревожили: я с некоторой поры стал мягок, как 16-летняя девушка; но, может быть, это и прежде было, а только страсти, свет, люди заглушали голос моего сердца (недаром же меня называли в ребячестве плаксою). Недостатки этого романа вижу, но не хочется говорить об них, потому что написать его могла только истинно прекрасная душа. Конец напоминает катастрофу Позы в «Дон Карлосе».[20] Сверх того, замечу еще, что автор невзлюбил бедной Кальпурнии, которая, право, стоила бы того, чтобы отдали больше справедливости ее характеру госпожа Пихлер, Агафокл, Ларисса — и она сама (ибо сама рассказывает про себя невозможное, небывалое, несообразное с этим характером).

Что значит не иметь библиотеки и надеяться на память: в моих «Отроках» столица Деоклетиана Никея, а в самом деле Никомедия была его столицею.[21] Что тут делать: самые простые, первоначальные сведения, которые получаются в уездных училищах, изглаживаются с скрижалей души — от времени и недостатка в средствах, коими бы они обновлялись.

28 декабря

Сегодня день рождения (если только не ошибаюсь) покойного отца моего: он скончался 1809 на 61-м году от роду; итак, если бы был жив, ему бы ныне минуло 83 года.

Читаю историю века Людовика XIV,[22] перевод Воейкова.

Что-то нездоровится: сам виноват; кажется, обременил желудок.

29 декабря

Все ближе и ближе конец этого рокового года: что-то будет в следующем? Я, который теперь отмечаю чувства свои, перечту ли эту отметку через год? При наступлении нового года у всех сердце бьется сильнее, все ожидают чего-то лучшего, нового: мне чего ожидать? Но в сытость мне этот 1831-й год, в сытость и в тягость так, как давно ни один не был: между тем сколько я от судьбы получил благодеяний и в этот даже тяжелый год. «Аще благая прияхом от руки господни, злых ли не стерпим?». Иова, гл. 2, ст. 10. Сверх того ужели сомневаюсь, что самое зло служит мне ко благу? Однако же пора ожидать блага не в этой, а в другой, лучшей жизни.

30 декабря

Бог судил мне еще радость перед новым годом: получил я письмо от сестры и список братина к ней,[23] да с дюжину книг русских и английских; русские посылает мне добрый мой Владимир Андреевич.[24] Никогда — заметил кто-то — радость не приходит одна. Так-то и со мною сегодня случилось: после довольно продолжительной умственной засухи разрешился я стихами «На Новый год».[25] Вот они:

Итак, протек и он, сей год, событий полный,
[Тяжелый, роковой
И славный для моей страны родной!]
Его кровавые, сверкающие волны
Над Русью пронеслись разливом горьких бед.
Но духом русские не пали:
Промчалось лето слез, и стонов, и печали,
Исчезнет их и самой след;
А уцелеют те скрижали,
На коих россы начертали
Блестящий новый ряд побед.
Не лесть мне будет вдохновеньем,
Нет! не унижу дара своего,
Благих судеб определеньем
Его я не утратил одного,
Когда ужасным общим потопленьем
Вдруг были сорваны и вдаль увлечены
Все, все мои златые сны
[Все без возврата вдаль увлечены]
[Все черной бездною поглощены]
[И без возврата вдруг поглощены]
[И вдруг зевом глубины]
[Что для меня когда-то жизнь земную
В одежду облекало золотую],
Мои надежды и мечтанья
Все алчной бездною поглощены,
Все бременем подавлены страданья.
И самые мои желанья
В растерзанной моей груди задушены
Рукою хладного страданья.
Нет, не унижу дара моего,

Единственного мне оставленного блага
От истребления всего,
Но песней требует бесстрашная отвага,
Но мужа, кто тогда неколебим,
Когда [грохочет гром] падут, как дождь, перуны
И расступается в громах земля [под] пред ним, —
Такого мужа да прославят струны!
Венца и доблестей Петра наследник юный,
[В сей славный, грозный год]
В сей бедственный и вместе славный год
Чрез море зол могущий свой народ
[Бестрепетный и мудрый царь России]
Поставил в пристань царь России;
Так в шумном поле разъяренных вод
По черному хребту неистовой стихии
Заводит [смелый] мудрый кормчий [легкий] челн
За пагубный [подводный] в пучине скрытый камень
И презирает гром и быстрых молний пламень,
[И диких] Свирепых ветров рев и вопли [жадных] диких волн!

О сколь отраден после бури
Безоблачный и чистый блеск лазури,
О сколь сладка по буре тишина!
Да осенится же ее крылами
Надолго полуночная страна!
Не разлучайтесь, матери, с сынами,
[А вы, герои, слуху чад и жен]
[Мужья, не покидайте милых жен!]
[Да будет росс владыкою племен]
В объятьях мира, средь родимых стен,
Бойцы, вещайте слуху чад и жен
Опасность, и труды, и честь своих знамен,
И незабвенные в веках грядущих битвы.
А бледный мор и дерзостный мятеж
Да не шагнут за наш святой рубеж!
Отечество мое! единые молитвы
Я в дар могу принесть тебе.
О счастии твоем взываю к всеблагому
И день и ночь я в пламенной мольбе:
Так! вышний повелит архангелу святому,
[На страже стать]
И станет грозный страж у прага твоего,
[Он стал] И отобьет и страх, и скорбь, и бедства
От древнего славенова наследства
Алмазный щит его!

31 декабря 1831

Несколько минут — и пробьет полночь — и этот год исчезнет; последнее мое занятие в нем было — писать к сестрам и матушке.

1832 год

1 января[1]

«Господи, прибежище был еси нам в род и род» и пр. Псал. 89.

1

Как в беспрерывном токе вод
Струи несутся за струями,
Так убегают дни за днями,
За годом улетает год.

2

И вот еще один протек.
Он скрылся, как мечта ночная,
Которую, с одра вставая,
Позабывает человек.

3

[Как ослабев в пустой дали]
И как в глухой, пустой дали
Без следа умирают звуки,
Так радости его и муки
[Без возвращения]
Все, будто не были, прошли.

После 3-й строфы

[Подобно им]
Прошли они — пройдут и те,
Которые судьба господня
Заутра нам или сегодня
В святой готовит темноте.

Прежде 4-й строфы

Я пред завесою стою —
Я жив и здрав... но что за нею?
Чрез год, чрез день, быть может, тлею,
И ветр развеет персть мою.

4

[Проходит все] [весенний]
Не вянем ли, как вешний цвет?
Мы жизнь приемлем на мгновенье...
Нас видит солнца восхожденье, —
Луна восходит — и нас нет!

5

Сыны грехов и суеты,
[Сотканье]
Наш век не ткань ли паутины?
Без изменения, единый,
О вечный, пребываешь ты!

6

Ты был до сотворенья гор
[Земли сей и твоей]
[До рождества твоей]
И до создания вселенной
Так прежде, чем твой свет священный
Звездами озарил обзор!

7

[когда весь]
Ты будешь в час, в который мир
Падет, как лист увядший с древа,
И [бездной] мраком гробового зева
Пожнутся море, твердь, эфир.

После 7-й строфы

Как ризу, ты свиешь тогда
Шатер огромный тверди звездной;
Но сам над беспредельной бездной
Останешься, чем был всегда!

[Грядущее, о боже мой,
Единому тебе подвластно.
И то, что будет, так же ясно,
Как день вчерашний, пред тобой.]

[Что есть и будет]
[Все то, что будет, боже мой,
Единому тебе подвластно
И столь тебе светло и ясно,
Как день вчерашний пред тобой]

8

[Тебе же тысяча веков]
Так! пред тобою ряд веков
Не боле срока часового,
Что среди сумрака немого
Стоит на страже у шатров.

9

[Но каждый день и каждый час]
Но ты же каждый день и час,
Непостижимый вседержитель,
[Ты наш] Защитник наш и наш хранитель,
[Ты слышишь, зришь и любишь нас]
Блюдешь, и зришь, и слышишь нас.

10

Ты, дивный благостью своей,
Ты, милостью повсюдусущий,
Будь близок нам и в год грядущий,
Отец, храни своих детей!

11

Мы молча примем, что бы нам
Твои судьбы ни даровали;
Твое посланье и печали,
Ты жизни силу дал слезам.

12

Избавь нас только от грехов,
[От ропота и преткновенья]
Излей нам в перси дух смиренья,
И громким гласом песнопенья
Тебя прославим, бог богов!

Благодаря господа, с новым годом моя тоска совсем прошла: обыкновенное мое лекарство — Поэзия наконец подействовала.

Прочел я «Еруслана Лазаревича»:[2] в этой сказке точно есть отголоски из «Ша-Наме»; ослепление царя Картауса (у Фирдоуси царь называется Кавусом) и его богатырей и бой отца с сыном, очевидно, перешли в русскую сказку из персидской поэмы. Сверх того, господин издатель, кажется, изволил кое-где переправить слог,[3] а может быть, и самое повествование русского краснобая: хотелось бы мне послушать «Еруслана Лазаревича» из уст простолюдина, в приволжских губерниях; почти уверен, что тут бы я нашел еще более следов азиатского происхождения этой сказки.

2 января

Поутру я переправлял вчерашний псалом; а после обеда наконец выразил сонетом мысль,[4] за которую напрасно на прошедшей неделе принимался два или три раза:

[Звезда стоит недвижна] пред мирами
Сей малый мир пред оными мирами,
[Огромными]
Которые бесчисленной толпой
[Парящими по]
[Несущимися в]
Парят и блещут в тверди голубой,
Одна пылинка, — [что пред ним мы] мы же — что мы сами?

Но солнцев сонм, катящихся над нами,
Вовеки на весах любви святой
Не взвесит ни одной души живой —
Не весит вечный нашими весами...
[Господь] не весит
Ничто вселенна пред ее творцом,
Вещал же [он] так творец и царь вселенной:

«Сынов Адама буду я отцом;
Избавлю род их, смертью уловленной,
Он не погибнет пред моим лицом», —
И се — от девы родился смиренной.

Если бы мне удалось составить с десяток подобных сонетов на рождество и с десяток на пасху — не худо бы было: картины и мысли — такие, какие греки вливали в форму своих гимнов и эпиграмм (греческие эпиграммы совсем не то, что наши), — так мне кажется, удачно бы могли быть одетыми в форму сонетов.

Вечером я прочел несколько сказок, из которых сказка «О старике и сыне его журавле» [5] очень замысловата и живо напоминает Лафонтеновы и Боккаччиевы вымыслы: этою сказкою можно воспользоваться для «Декамерона».

3 января

Прочел 30 первых глав пророка Исайи. Нет сомнения, что ни один из прочих пророков не может с ним сравниться силою, выспренностию и пламенем: начальные пять глав составляют такую оду,[6] какой подобной нет ни на каком языке, ни у одного народа (они были любимые моего покойного друга Грибоедова — и в первый раз я познакомился с ними, когда он мне их прочел 1821-го ‹г.› в Тифлисе). Удивительно начало пятой: «Воспою ныне возлюбленному песнь» и проч. Шестая по таинственности, восторгу и чудесному, которые в ней господствуют, почти еще высше. Ни слова не говорю о 12 и 13-й (видение на Вавилон): [7] они известны даже тем, которые не читают св‹ященного› Писания; но не могу не выписать двух уподоблений, чрезвычайных по своей разительности, точности изображения и новости:

1

«И будут как во сне ядущие и пиющие, и восставшим (им) тощ их сон, и яко же во сне жаждай, аки пияй, воспрянув же еще жаждет, душа же его вотще надеяся, — тако будет богатство всех языков, елицы воззваша на гору Сионю».[а] Гл. 29, ст. 8.

2

«И падение его будет яко сокрушение сосуда глиняна, от глины дробны; яко не можно обрести в них чрепа, им же огнь возмещи и в он же влиеши воды мало».[б] Гл. 30, ст. 14.

Voila bien la nature, prise sur le fait! [в]

[а] «И будут как евшие и пившие во сне, которых не насытил их сон, и как жаждущий, которому казалось во сне, что он пьет, а после пробуждения он все еще жаждет, и душа его вотще надеялась, — так будет со множеством народов, которые пошли войной на гору Сиона» (*церк.-слав.*).

[б] «И падение его будет подобно сокрушению глиняного сосуда, разбитого на столь мелкие черепки, что нельзя найти среди них такого, каким можно взять огня или зачерпнуть немного воды» (*церк.-слав.*).

[в] Вот истинная природа, застигнутая с поличным! (*франц.*).

4 января

Пока у меня нет еще обдуманного плана для моей драматической сказки;[8] зато умножается, благодаря бога, число духовных песней. Вот утренняя молитва,[9] которую я сегодня составил:

1

[Ты мой]
Отец хранитель, боже мой!
Под сенью твоего покрова
Я сладостный вкушал покой,
И вот открыл я вежды снова.

2

Ты создал свет златого дня,
Ты создал мрак отрадной ночи;
И день, и ночь блюдут меня
Твои недремлющие очи.

3

Благий, воздать могу ли я
Твоей любви неизреченной?
Не примет жертвы длань твоя,
Ты требуешь души смиренной,

4

Души, боящейся грехов,
И чистой, и прямой, и верной,
И любящей твоих сынов
Любовию нелицемерной.

5

О милосердый мой отец!
Я от тебя ли что сокрою?
[Твой взо]
Ты проникаешь тьму сердец,
Их дно раскрыто пред тобою.

6

Я падал, падаю стократ,
[Источник благ]
Но, в милостях неистощимый,
Ты зришь, я скорбию объят,
Терзаюся, грехом тягчимый.

7

Без помощи твоей что я?
Ты ведаешь мое бессилье.
Но где бессильна мощь моя,
Там мощно сил твоих обилье.

8

[Всесильный!]
О боже! дух мой обнови
И сердце мне создай иное!
Надежды, веры и любви
Да светит солнце мне святое!

9

Ты склонишься к мольбе моей:
Христовой кровью омовенный,
И я в числе твоих детей
Небес наследник нареченный.

10

Сей день, мне посланный тобой,
Да будет мне к тебе ступенью,
[Даруешь мне без преткновенья]
Да будет на стезе земной
Мне шагом к вечному спасенью.

5 января

Сегодня я день провел довольно праздно: читал анекдоты [10] — и только. Не упрекаю себя за это: ум — пружина, которая от *беспрестанного* напряжения слабеет; нужен иногда и отдых. Замечу странный сон, который я видел поутру, перед тем как встал: мне снилось, что я должен был представлять в «Венециянском мавре» роль Отелло, а незнакомая мне девушка — роль Дездемоны; зрители были собраны, занавесь должна была подняться, и вдруг я вспомнил, что вовсе не знаю и не твердил своей роли.

6 января

[УТРЕННЯЯ] ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА [11]

1

Погаснул день; склонился мир к покою:
    Открыли небеса
В бесчисленных светилах надо мною
    Господни чудеса.

2

[Уводит солнце бог, на]
С обзора солнце свел и в твердь ночную
[Возводит он]
Выводит бог луну;
[До утра]
И шум и суету прервать земную
Повелевает сну.

3

[Назначил он]
[Успокоенью он назначил]
Он предписал успокоенью время
[Назначил срок трудам]
И срок дневным трудам
[дневной заботы],
Сложу ж и я с рамен усталых бремя
И [силам] членам отдых дам.

4

Но на отрадном не прострусь ложе,
Доколе пред тобой
Не взыдет глас моих хвалений, боже,
[Отец, хранитель мой]
Господь и пестун мой!

[После четвертой строфы]

5

Вот с верою воззвал я: и моленью
[К тебе] Ты внял, владыко сил!
[Под благодатной сению твоею]
И под твоею благодатной сенью
Я день сей совершил.

[5] 8

Как верный пастырь охраняет паству,
[Так ты спасаешь нас]
Так охраняешь нас,
[Так бог, хранитель наш]
Душе и телу ты готовишь яству,
[Не ты ли шлешь] [посылаешь]
[И с] Ты с нами каждый час.

[6] 7

Ты делу наших рук успех даруешь,
[Склоняешься к мольбам]
Ты, преклонясь к слезам,
[Нас скорбью растерзав]

[И сердце, скорби полное]
И наш недуг, и нашу скорбь врачуешь
И шлешь отраду нам.

7

Твои благодеянья кто исчислит?
Их взвесить кто возмог?
Тебе воздать никто да не помыслит,
Благий без меры бог!

8

[Склонись к] моим [молениям]
Внемли моим вздыханиям сердечным,
[Мольбе] Мольбам моей души;
Всех большую к щедротам бесконечным,
Творец мой, приложи:

9

[Ты беспредельной, вечной полн любови]
Омой купелию Христовой крови
[Отец мой и покров]
Меня от всех грехов!
Не отлучи к тебе, отец, любови,
Будь вождь мой и покров.

10

А все мои заботы и печали
Возвергну на тебя!
Мне в благо их твои же руки дали...
Что ж мучить мне себя?

11

Поток отрадный веры и надежды
Ты в перси мне излей.
[Я томные сомкну без страха]
И я без трепета закрою [страха] вежды
[Под сению твоей]
До утренних лучей.

Не только же моей, но будь защитой
Всех драгоценных мне.
Пусть [весь] твой народ, рукой твоей прикрытый,
Почиет в тишине.

12

Когда же блеску солнца ранний петел
[Воскликнет свой]
Провозгласит привет,
Да вспрянет дух мой радостен и светел,
И бодр, и в мощь одет!

13

Да будешь первой мыслию моею!
[Свети средь темноты]
Тогда, отвергнув страх,
[Ты вождь мой, с коим во трудах] успею
Воздвигнусь и с тобой, мой бог, успею
[Отец и бог мой, ты]
Во всех своих трудах.

Издатель «Собрания анекдотов» — «Beiträge zur Ausfüllung geschäftloser Stunden»[а] — и другой книги — «Merkwürdigkeiten aus dem Gebiete der Natur und Kunst»[б] — некто Венцель; в 1819 году он был лютеранским пастором в Полоцке и примечателен тем, что может служить вместо pendant[в] нашему Козлову: Козлов слеп и лишен употребления ног, Венцель совершенно глух, того и другого болезнь, поразившая их вдруг, сделала автором. Кто из них несчастнее? По моему мнению, Венцель; Козлов по крайней мере пользуется еще неоцененною отрадою вслушиваться в душу тех, кого любит.

NB. Мофетты — убийственные испарения.

7 января

Перелистывал я «Малороссийские песни, изданные Максимовичем»,[12] и нашел некоторые удивительные; между прочим, две того же содержания, какого великорусская известная «Уж как пал туман» и пр. Малороссийские мне по простоте своей почти еще лучше нравятся. Еще превосходнее их песня «У поле крыниченька» — не знаю ни на каком языке ничего, что бы могло сравниться с окончанием этой песни: она хватает прямо за сердце.

На днях я думал: почему бы не начинать нового года после самого короткого дня? Оно бы было гораздо естественнее, чем начинать без всякой на то астрономической причины с 1 января. Сегодня я прочел в Венцеле, что в старину в Швеции действительно так начинали год.

8 января

Получил письмо от сестрицы Улиньки, отвечал ей — и начал своего «Ивана, купеческого сына».

9 января

Напрасно я вчера отметил, что начал свою сказку: начало-то не годится. Пора приняться за греческий язык: недели две-три позаняться

[а] «Средства к заполнению незанятых часов» (*нем.*).
[б] «Достопримечательности из области природы и искусства» (*нем.*).
[в] пара (*франц.*).

им — и пружинам души моей возвратится хоть несколько силы, а теперь они ослабли.

10 января

Я недоволен собою: унываю и тоскую, нет во мне той бодрости, той силы, которые бы должен иметь после столь многих видимых благодеяний господних. Прочел остальные главы пророка Исайи: восторг его выдержан от первой строки до последней; сначала он ужасен:

Смывает грешные с лица земли языки;

потом несказанно утешителен: ясность предсказаний о спасителе удивительна. Выпишу еще одно уподобление, чрезвычайно новое:

Аки платно дух мой во мне быст, ткательнице приближающейся отрезати.[а] Гл. 38, Мол‹ение› Езекии, ст. 12.

Не в поэтическом отношении, но в другом, высшем, важен следующий 24 ст. гл. 43:

Не купил еси мне на сребро фимиама, ниже туки треб твоих возжелах, но в гресех твоих стал еси предо мною и в неправдах твоих.[б]

11 января

Занятия — лучшее лекарство против ипохондрии. Я опять принялся за греческий язык — читаю четвертую книгу «Илиады». Поутру переправлял я «Вечернюю молитву», сочиненную 6-го; а вечером читал Жомини,[13] который мне совершенно еще нов, потому что я военными науками почти не занимался. В «Picture of Italy» [в] прочел я жизнь Карла Барромео,[14] заслуживающего в полной мере имя святого.

12 января

С неделю у меня чрезвычайно живые сны: предпрошедшую ночь я летал или, лучше сказать, шагал по воздуху, — этот сон с разными изменениями у меня бывает довольно часто; но сегодня я видел во сне ужасы, и так живо, что вообразить нельзя. Всего мне приятнее, когда мне снятся дети: я тогда чрезвычайно счастлив и с ними становлюсь сам дитятью. Читал после обеда Гомера — да еще не вчитался.

[а] Дух мой во мне подобен был полотну, к которому ткачиха приближается, чтобы отрезать его (*церк.-слав.*).

[б] Ты не купил мне на серебро фимиама, я не желал туков жертв твоих, но в грехах твоих ты предстал передо мною и в неправдах твоих (*церк.-слав.*).

[в] «Картины Италии» (*англ.*).

13 января

Сегодня, вчера и третьего дня старался я переложить «Отче наш» и живо при том чувствовал, что переложения (paraphrases) обыкновенно ослабляют подлинник: это вино, разведенное водою. Но все-таки вот мое переложение,[15] хотя и в полной мере чувствую слабость его:

1

Отец наш, ты, который в небесах,
Который исполняешь все собою
И правишь всем, везде, во всех веках
Премудрой, всемогущею рукою!

2

Вселенную призвал ты в бытие.
Во всей вселенной с трепетом прията
Да будет имя дивное твое
И всем странам, и всем народам свято.

3

Нет твоему владычеству конца:
Ты ж души взял в престол своей державы —
Да будут храмом своего творца,
Да преисполнятся господней славы!

4

И как на небе выше всех миров
Творят твою божественную волю,
Как в послушанье светлый сонм духов
Благословенную находит долю, —

5

Так на земле, всевышний, да творим
Без ропота, без вздоха и медленья
Отцом же данные сынам своим
Твои святые, кроткие веленья!

6

Наш хлеб насущный в день сей нам пошли,
Даянье благостной твоей щедроты,
О том же, что скрывается вдали,
Отбросим безотрадные заботы!

7

Оставь, о боже, наши долги нам!..
Увы! когда присудишь воздаянье

По нашим помышленьям и делам,
Какое нас очистит оправданье?

[8

Адамли чада суета и ложь
Ослушник смертный с самого начала.
Тот счет ты, милосердый, уничтожь,
В который грех наш кара записала,

9

И в нас вдохни смиренный, тихий дух
3 2 1
И гнев свой победи, и мы в то время
И к нашим должникам преклоним слух
И снимем с их рамен взысканий бремя.]

8

Но мы дотоле тьме обречены,
Дотоле не для нас твоя пощада,
Доколе, злобы яростной полны,
Питаем в сердце лютый пламень ада.

9

[Нас] Так укрепи же нас, [податель] и сил и благ
Даруй, да победим желанье мести,
Да будет нами наш должник, наш враг
Прощен без лицемерия и лести.

10

Во тьме стезею скользкою идем —
Спаси от искушенья нас, хранитель!
И будь светилом нашим и вождем
Из дому тлена в вечную обитель.

11

И от лукавого избави нас,
И от всего строптивого и злого,
И да почием каждый день и час
Под сенью твоего щита святого.

12

О боже! ты единый нам покров!
[И царствие твое, твоя и сила]
Ты царь вовеки, власть твоя и сила,
Твоя же слава до конца веков
И от начала их не заходила!

14 января

Сегодня три месяца моей бытности здесь. Господи, боже мой! дай мне терпение и силу сносить судьбу свою без ропота!

15 января

Сегодня, кажется, могу сказать, что начал своего «Ивана, купеческого сына». Дай бог, чтоб не прерывалась эта работа! Когда я занят, тогда менее чувствую свое положение.

16 января

Был сегодня в бане. Замечу, как сильна привычка: я телосложения слабого и очень подвержен простуде, а между тем парюсь крепко и потом окачиваюсь холодною водою без малейшего для себя вреда; напротив, если после паренья не окачусь, то непременно получаю или насморк, или кашель.

Читаю, но не по порядку, — потому что введение мне слишком известно, а второй части у меня нет, — «The History of the Reign of the Emperor Charles V».[а] [16]

18 января

Вчера я не отметил ничего в дневнике своем, потому что нечаянно загасил в 10-м часу свечку, а Кобылина[б] мне не хотелось тревожить. Читаю «Военную историю походов россиян в XVIII столетии».[17] Век живи, век учись: так-то я узнал из приложенных к сей «Истории» дипломатических актов, что во время Петра имена нарицательные, происходящие от глаголов действительных, требующих винительного падежа (напр., *оставление*), требовали винительного же падежа, а не родительного, с которыми ныне они употребляются (напр.: *оставление город*, *взятие крепость*, а не *города*, *крепости*). Это совершенно соответствует тому, что и поныне существует в глаголах и отглагольных именах, управляющих другими падежами (*управляю чем* и *управление чем*, *стремлюсь к чему* и *стремление к чему*). В Петрово время слово *путь* было женского роду.

«Иван» мой что-то нейдет с места.

19 января

Хотя я все это время и мало способен к другим занятиям, однако же, благодаря бога, вижу, что число моих лирических духовных стихов мало-помалу умножается, — вот одиннадцатая пиэса,[18] которая может пригодиться моему собранию:

[а] «История царствования императора Карла V» (*англ.*).
[б] Сторож, состоявший при каземате (*примеч. В. К. Кюхельбекера, 1841 г.*).

[Увы мне! с чем сравню души моей страданья,
Где образы найду, где обрету вещанья,
Да изреку ее и мертвенность, и хлад?]
Где образы найду, где обрету вещанья
Да изреку смертельный, страшный хлад
Души, лишенной упованья,
Растерзанной, но чуждой покаянья?
[Так, на меня]
Ах, на нее дохнул губитель жизни — ад.
Движенья нет в ней, нет в ней силы.
[Подобна мертвецу]
Мертвец подобен ей, который в мрак могилы,
[Который в]
В слепое лоно тьмы бездонной положен
И небом и землей [и ближними] забвен.
Не черви ли снедают жертву тленья,
А труп оцепенелый разрушенья
Познать не может, язв не слышит он,
И в запертых устах умолк навеки стон.
[Так и меня глухие угрызенья
Снедают, но живой, но вопиющий глас
Не выскажет моей тяжелой муки.
Горе воздеть могу я руки,
И надо мной надежды свет погас]
[О боже, боже мой! не ты ли бог всесильный?
Не ты ль неисчерпаемо обильный
Источник милосердья и любви,
Не ты ли рек, творец: «Меня зови,
И я тебя услышу в день печали!».
Не так ли падшему уста твои вещали,
И ныне, мой создатель, я ли
Единый изо всех без воскресенья мертв?
Нет, ты не требуешь даров моих, ни жертв,
Нет, не куплю тебя ценою благовоний,
Но стану пред тобой в грехах моих,
И от очей всезрящих и благих
Своих не скрою беззаконий]
Животворящий дух! без крыл и без огня
Моих молитв несвязный, слабый лепет, —
Ты на меня нашли свой благодатный трепет,
Ты сокруши, ты умили меня...
Не сердце ль и мое тяжелый, хладный камень?
Ну, дух святый! Ты скорбь и пламень,
Ты жажду бога моего
И покаяние вдохни в него!
Тогда, подобно оной грешной
Прощенной господом жене,
У ног спасителя ты дашь рыдать и мне!
Меня покинет ли в печали безутешной
Он, верный пастырь мой, господь мой и мой бог?
Нет! не пущу его благословенных ног,
Их стану омывать слезами,
Их стану отирать главы моей власами,
Доколе, взяв меня за длань,
Не возвестит мне моего спасенья,
Не скажет мне: «Восстань!
Не я ли искупил твои все преступленья?».

Сегодня или завтра (но кажется, что сегодня) шесть лет, как я нахожусь в заключении: того же числа и в тот же день недели, как ныне, 1826-го я был арестован в Варшаве.

22 января

Стоит только раз опустить что-нибудь, и почти можно поручиться, что это опущение и чаще случится; доказательством может послужить мой дневник: сначала я пропустил день, а теперь и два дня.

Впрочем, сегодня я отмечу нечто отрадное и благое: слава богу, опять у меня пошли стихи на лад, а это для меня очень, очень важно, потому что, когда сочиняю, тогда меня не мучит хандра; первые сцены «Ивана, купеческого сына» написаны; дай бог, чтобы не было остановки. Это сочинение займет меня по крайней мере два месяца, месяц полагаю на переправку, на прозу и переписку набело; тогда три месяца с плеч долой — c'est autant de gagner sur l'ennemi[a] — а мой неприятель время, или, лучше сказать, те 9 лет с месяцами, которые, по всем вероятностям, проведу еще в одиночестве.

В Бутурлине прочел я описание Полтавской битвы: в самых тактических действиях оной много для воображения, много такого, чем бы поэт мог воспользоваться. У нас отличные два стихотворца, Шихматов и Пушкин, *прославляли* это сражение,[19] но не *изобразили*, ибо то, что у них говорится о Полтавском сражении, можно приноровить и к Лейпцигскому, и к Бородинскому, и к сражению под Остерленкою,[20] стоит только переменить имена собственные. Полагаю, что Ломоносов, если бы довел свою «Петриаду»[21] до сей катастрофы, не впал бы в этот недостаток не потому, чтобы был бо́льшим поэтом, чем Шихматов или Пушкин, но потому, что даже в одах его заметно большее знание тактики, чем в их эпопеях; такое знание или выказывание такого знания, быть может, в лирической поэзии не совсем у места, но в эпической было бы очень кстати.

23 января

Переправлял первую сцену моего «Ивана» и кончил «Описание походов Петра Великого».

24 января

Прочел 21-ю главу пророка Иеремии.[22] В нем нет той выспренности и силы воображения, которой исполнен Исайя, но скорбь Иеремии как над ослеплением и жребием своего народа, так и над самим собою, что послан к несчастливцам, которые непременно хотят остаться в слепоте своей, заменяет вполне отсутствие лирического парения; Исайя поражает, изумляет, Иеремия внушает соболезнование. В 20-й главе место, которое можно сравнить с самыми ужасными в Иове,[23] см<отри> от 14 ст. до

---

[a] это чистый выигрыш у неприятеля (*франц.*).

конца. Параллели редко бывают точными и во всех частях между собою соответствующими; однако же они всегда основаны на действительном, хотя иногда и далеком сходстве: таким-то образом можно бы Исайю уподобить Эсхилу, а Иеремию Еврипиду или первого Микель Анджело, а второго Рафаэлю. Вышеприведенное место 20 главы пр‹орока› Иеремии могло бы служить основанием стихотворению, коего идеею Шиллер уже воспользовался в своей «Кассандре»,[24] но, если смею сказать, не совсем удовлетворительно.

25 января

День приезда моего в Петербург 1826 года. Прочел еще 14 глав пр‹орока› Иеремии и написал небольшую сцену своего «Ивана».

26 января

Не знаю, удастся ли мне ясно выразить мысль, которая с некоторого времени носится в голове моей и мне кажется довольно основательною. По Шеллингу, искусство есть не что иное, как Природа,[25] действующая посредством (durch das Medium) человека. Итак, всякое произведение искусства должно быть вместе и произведением природы вообще, природы человека в частности, природы творящего художника в особенности: оно должно быть зарождено в душе того, кто производит, должно быть *необходимым* следствием его способностей, наклонностей, личности; должно соответствовать потребностям его века и отечества (времени и местности, составляющих в совокупности *частное* проявление человечества); наконец, должно быть основано на мировых, непременных законах творческой силы и творимого естества. Истину сего правила относительно к моему лицу я испытал в течение всей моей поэтической жизни: чем хладнокровнее, чем точнее мои планы были обдуманы, тем менее они мне удавались; напротив, всякий раз, когда я следовал голосу мысли, зародившейся в глубине моего Я, поразившей меня незапно, когда сообразовался с теми мгновенными вдохновениями, которые навевались на меня обстоятельствами, и только не терял из виду главной меты своей, — тогда успех неожиданный и непредвиденный увенчивал труд мой.

27 января

Очень медленно подвигается вперед мой «Иван»; однако же я начал третью сцену. Прочел я четвертый том «Жил Бласа»[26] в английском переводе; слава богу, что читанное не врезывается в память неизгладимыми чертами: для меня окончание «Жил Бласа» было совершенно ново, как будто я его никогда не читал.

28 января

Перелистывал 1 том «Истории Карла V»: любопытны подробности о состоянии Испании в средних веках. Хотелось бы чем-нибудь просвежить душу, какою-нибудь литературною новинкою: это масло, которое необходимо время от времени подливать в лампаду Поэзии.

29 января

Есть некоторые слова, на счет которых мне бы весьма желалось справиться с Академическим словарем: напр. *цевница*.[27] Я долго употреблял это слово в значении мусикийского струнного орудия; Пушкин, напротив, в значении духового; не помню где, а только в сочинениях писателя века Екатерины, на которого, казалось, можно было опереться, нашел я это слово во втором значении и стал полагать, что Пушкин прав, а я ошибся. Теперь же возвращаюсь к прежнему своему мнению, основываясь на славянском тексте пророка Иеремии: «Того ради сердце Моава, яко цевница, звяцати будет» [а] — гл. 48, ст. 36. Свирель или флейта никогда не звяцали; сверх того, самый смысл уподобления говорит здесь в пользу моего прежнего мнения.

Всем известна проповедь Капуцина [28] в Шиллеровом «Wallensteins Lager».[б] Нечто подобное этой проповеди нашел я в «Замечаниях» Робертсона к 1-му тому его «Истории Карла V». Дело идет о римском духовенстве средних веков: «Potius dediti gulae quam gloriae, potius colligunt libras quam legunt libros, libentius intuentur Martham quam Marcum, malunt legere in Salmone quam in Solomone». — Alanus.» [в] [29] Le dernier point surtout est délicieux! [г]

Погода сегодня была прекрасная.

30 января

Получил письмо от матушки (ответ на мое от 31 дек‹абря›), сто руб‹лей› денег и колпак ее собственной работы. Добрая моя старушка! каждое слово письма ее дышит нежнейшею материнскою любовию! Бесценно для меня то, что она тотчас посетила друга моего Прасковью Николаевну Ахвердову,[30] как только узнала, что Ахвердова в Петербурге; могу вообразить их разговор! Не раз они тут поминали и моего Грибоедова — в этом нет сомнения. Десять лет прошло с тех пор, как я с ним жил в Тифлисе, — сколько [с тех пор] перемен! И Дашинька — ей тогда было пять лет — теперь une grande demoiselle! [д] Боже мой, как время проходит!

а «О том Моава сердце будет брякать, как цевница» (*церк.-слав.*).

б «Лагерь Валленштейна» (*нем.*).

в «Скорее преданные чревоугодию, чем славе, скорее собирают книги, чем читают книги. Охотнее обращаются к Марте, чем к Марку, больше находят для себя в Салмонии, чем в Соломоне». Аланус (*лат.*).

г Последнее особенно восхитительно! (*франц.*).

д взрослая девушка (*франц.*).

Читаю Джонсона: «Rasselas, Prince of Abyssinia»,[a] [31] — манера, похожая на Вольтерову, но меньше бойкости.

31 января

Этот месяц подарил меня шестью лирическими стихотворениями, которые, кажется, пригодятся для моего собрания; вот из них последнее: [32]

1

Как пар тлетворного зловонья,
Как нечестивый фимиам,
[Который с требы беззаконья]
[Из тем]
Исчадье лжи и беззаконья
[Восходит к]
Из капищ к суетным богам,
Так, требуя суда и мщенья,
Вздымались к [гневным] [грозным] небесам
Мои вины и преступленья
[И грозной]
2 Громовой, страшною трубой.
1 [Взывали] И выли над моей главой

2

А я? я в слепоте [безумной] ужасной,
Что казнь близка мне, не постиг.
[Их жалобы не слышал шумной]
Я не слыхал грозы стогласной,
Над бездною скользил — и миг —
[И я бы поглотился ею!]
И поглощен я был бы ею!
Но милосердый зрел и рек:
«Не к [смерти же] гибели рукой моею,
[не погибнет человек]
А к жизни создан человек».
И се его посол потек

3

[И повелел:] Господь велел: «Гряди, страданье,
И дух заснувший пробуди
В печаль, и в страх, и в покаянье
В [его мертвеющей] сей леденеющей груди!».
[И се нашло] Увы, нашло — а я не чаял,
Как буря, как девятый вал,
[Я трепетал и млел и таял]
[И понял] [И так ко мне воззвал]
[И восстонал и так воззвал:]
[Нашло — и в персях дух мой таял]
[Сколь был тогда я слаб и мал]
[Сколь я] и др. возз[вал]
[Блюдя и]

а «Расселас, принц Абиссинский» (*англ.*).

4

[«В грозе меня ли] не заступит
[Мой ближний:] друг мой и мой брат
[Из уз жестоких] Из рук жестоких не искупит?»
[Напрасно] Я ждал, но брат и друг молчат.
И ближний на мои мученья,
Лишенный мужества и сил,
Бросает взор из отдаленья.
Моей надежды посох гнил.
[И сильный] Всесильный щит мой сокрушил.

5

Тогда из беспредельной ночи,
Из неисходной бездны я
Воздвиг на небо глас и очи:
«Господь не помощь ли моя?».
Но он покров единых правых,
Святейший и чистейший дух,
Он от моления лукавых
Тех, в коих огнь любви потух,
Во гневе отвращает слух.

6

Объемлет сердце ужас хладный,
Я пасть под бременем готов,
Когда взираю, безотрадный,
На страшный сонм моих грехов.
Ношуся по пучине горя,
Недуга и боязни полн,
Как средь неистового моря,
Игралище и бурь и волн,
Без кормчего разбитый челн.

7

[Так я вопил] [Так в скорби я вопил] и что же
Но луч разрезал тьму, и что же
Устами сына твоего,
Что ты ответствовал, мой боже,
На вопли сердца моего:
«Не посеку секирой гнева
И пламени не вдруг предам
Бесплодного, сухого древа,
Но попекусь о нем я сам
И приложу труды к трудам

8

[Я буду]
[Минет зима и придет]
И подожду — приидет лето,
В златые, сочные плоды,

Быть может, будет же одето
И наградит мои труды!».
[О благость, дивная, святая,
О непостижная любовь,
О ты, кто пролил, нас спасая,
Отцу усыновляя вновь,
Свою божественную кровь!]

9

[Так ты] [Благий] [Ты неусыпными]
С небес недремными очами,
[Меня следил ты, боже сил!]
Мой пастырь, ты меня следил.
Ты благотворными грозами
Согрел мне сердце, боже сил.
[Свою жестокость проявил]
Гордыню буйную унизил,
[И сердце скорбное мое]
И душу скорбную мою
К себе призвал, к себе приблизил,
[Да вниду в царствие твое]
Да низойду [под сень] твою.

10

Да принесу тебе хваленье
За все, что благостной рукой
Ты мне в искус и в очищенье
Послал, хранитель верный мой.
Благословлю твое даянье,
Спасительный священный страх,
Прославлю [слезы] горесть и страданье.
Ты [в горестных живешь] в скорбных слышишься сердцах,
И я тебя познал в слезах!

1 февраля

Вместо 5-ти последних стихов 8-й строфы вчерашнего гимна — следующие:

[Ты рек] и
[И ты ко мне простер десную
И я послышал [с неба] глас
И сладкий я послышал глас:]
О радость! слышу весть благую,
Живительный, отрадный глас:
«Безгрешный кровь свою святую,
Погибшие! пролил за вас, —
Мужайся! и тебя он спас!».

Между 8-й и 9-й строфами вставить:

4 Его душою умиленной
3 Его в печалях призови.
2 Не сломит трости сокрушенной

1 Он весь исполненный любви.
[Ко мне, — вещает он]
Он так речет: «Ко мне придите,
Не жизнь ли под моим крестом?
Вкусите мир в моей защите,
2 Все отягченные трудом
1 Сберитесь под моим крылом.

[Придите] Смиритесь все и успокойтесь:
Не дам тяжелых вам бремен.
Нет, ига моего не бойтесь,
Я сердцем кроток и смирен».
Возьму твой крест я — в нем спасенье.
В твой след пойду, владыко мой,
И бодро испию целенье
Из чаши горькой, но благой,
Из чаши, данной мне тобой.

Сегодня день ангела сестрицы Улиньки: я писал к ней и отправляю свое переложение молитвы господней. Давно я не проводил день так разнообразно, как нынешний: поутру переделывал вчерашний гимн; после обеда читал, а потом опять сочинял стихи другого роду — продолжал своего «Ивана», вечером писал к сестре и переделывал переложение. В Джонсовом романе нашел я оригинальную карикатуру Астронома,[33] у которого ум зашел за разум и который вообразил, что управляет планетами, солнцем, воздушными явлениями: этот отрывок остроумен, глубокомыслен, исполнен воображения и чуть ли не лучший во всем «Rasselas». Но что бы из этой мысли сделал Жан Поль или Гофман! А Вальтер Скотт! Когда у меня вышли книги, я боялся скуки: но слава богу! неделя прошла, а я еще не скучал; мы же молимся: «Хлеб наш насущный дождь нам днесь». Хлеб для души от того же бога, от которого хлеб, поддерживающий наше тело; буду уповать на него и твердо я уверен, что он, милосердый, не оставит меня без пищи духовной.

2 февр‹аля›

И нынешний день прошел для меня не скучно, хотя я вовсе ничего не читал, — осталось у меня еще 19 стр. в «Rasselas»; поберегу их для завтрашнего дня. Примусь опять за Гомера: пора, — как говаривал Галич, — потрепать старика.[34] Я получил письмо от сестрицы Юстины Карловны и список с письма брата к ней; писал к матушке и отвечал Глинкиной на ее письмо; поутру я занимался своим «Ванею».

3 февраля

Кончил третью сцену abrupto[a] и чтение «Расселаса»: последние главы превосходны, особенно 23-я[35] — я еще нигде не читал столь ясных

[a] начерно (*лат.*).

доказательств бестелесности и бессмертия души. Старик Гомер со мною часика два разговаривал после обеда: хочу пользоваться его беседою каждый день.

4 февраля

Начал 4-ю сцену и прочел три сказки Кирши Данилова;[36] одну из них — «Сорок калик с каликою» — в 1815 году я перевел на немецкий язык; рукопись моя — «Versuch über die älter russe Poesie»,[а] — где находится этот перевод, осталась в Москве у Геринга.[37]

5 февраля

Продолжал свою сказку, а вечером читал кое-что в «Picture of Italy»; с особенным удовольствием пробегал я те страницы, в которых описывается народный стол неаполитанцев; люблю итальянский стол да вообще считаю не последним наслаждением жизни лакомиться, если нельзя на самом деле, то по крайней мере — воображением.

6 февраля

Целый день голова болела; несмотря на то, сочинял, а по-гречески читал более, чем вчера и третьего дня; впрочем, тут хвастать нечем, мне не оставалось никакого другого средства провесть кое-как день: читать — книг нет, а лежать я боялся, раз, чтоб не заснуть и через то не лишиться сна ночию, а второе, чтоб не завести в постеле еще более блох, которые и без того меня измучили.

7 февраля

Сегодня 4 месяца с моего отъезда из Ревеля. Прочел я плач, молитву и послание Иеремиины и Книгу пророка Варуха.[38]

8 февраля

Что такое *humour*? Понятия не совершенно ясные всего лучше определяются отрицаниями; итак: humour не есть просто насмешливость, не есть одно остроумие, не есть vis comica[б] без всякой примеси; humour не выражается исключительно ни прямою сатирою, ни иронией; насмешник, остряк, комик холодны, их обязанность, ремесло их — устраняться, избегать чувства; сатирик-саркастик ограничивается чувством гнева, негодования. Юморист, напротив, доступен для *всех* возможных чувств; но он не раб их: не они им, он ими властвует, он *играет* ими, — вот чем

а «Исследование древней русской поэзии» (*нем.*).

б комическая жилка (*лат.*).

он с другой стороны отличается от элегика и лирика, совершенно увлекаемых, порабощаемых чувством; юморист забавляется чувствами и даже над чувствами, но не так, как чернь забавляется над теми, над которыми с грубою и для самой себя неприятной надменностию воображает превосходство свое; но как добрый старик забавляется детьми, или как иногда в дружеском кругу трунишь над небольшою слабостию приятеля, которого любишь и уважаешь. Юморист вовсе не пугается мгновенного порыва; напротив, он охотно за ним следует, только не теряет из глаз своей над ним власти, своей самобытности, личной свободы. Humour может входить во все роды поэзии: самая трагедия не исключает его; он даже может служить началом, стихиею трагической басни; в доказательство приведу Гетева «Фауста» и столь худо понятого нашими критиками «Ижорского»:[39] «Ижорский» весь основан на юморе; автор смотрит и на героя своего, и на событие, которое изображает, и на самые *средства, которыми оное изображает* (чего никак не вобьешь в премудрые головы наших Аристархов), как на игру, и только *смысл* игры сей для него истинно важен; вот отчего во всей этой мистерии от первого стиха до последнего господствует равнодушие к самому искусству и условным законам его: поэт не боится разочаровать читателя, потому что не хотел и не думал его очаровывать; анахронизм его чудесного [махинации] (Maschinerie), в котором упрекнул его какой-то критик «С<ына> от<ечества>», основан именно на том же юморе, на коем основан и весь план поэмы, и каждая сцена в особенности.

9 фев<раля>

Один из тех дней, о которых только и можно сказать: «Прошли!».

10 фев<раля>

Я провел нынешний день как вчерашний: между тем вчера тосковал, а сегодня чувствовал себя едва ли не счастливым; такое-то действие имеет расположение духа на счастие и несчастие человека.

11 февраля

Моя жизнь чрезвычайно как бедна происшествиями, книг же теперь у меня нет; оттого и отметки в дневнике моем так скудны. Драматическую сказку свою продолжаю. Впрочем, бог милостив: что далее, не знаю, а до сих пор я и без книг не очень скучаю.

12 фев<раля>

Кончил первое действие своей сказки. Начинаю читать Гомера с удовольствием. Всему можно найти хорошую сторону; «все к лучшему», — как говаривал знаменитый Панглос.[40] Без книг, конечно,

скучно, но при книгах я, может быть, не принялся бы опять за греческий язык и, вероятно, бросил бы «Ивана, купеческого сына», которым, признаться, и по сию пору занимаюсь почти нехотя: mais l'appétit viendra en mangeant.[а]

13 февраля

Переправлял первые три сцены сказки: третью еще надо пересмотреть и сократить.

«Picture of Italy» — препустая книга; но и в ней можно найти кое-что не вовсе дурное. Так-то, напр., в описании Альпийских гор поразили меня стихи, которые автор приводит не очень кстати, но которые превосходны:

Dear is that shed, to which his soul conforms,
And dear that hill, which lifts him to the storms:
And as a child, when scaring sounds molest,
Clings close and closer to the mother's breast;
So the loud torrent and the whirlwind's roar
But bind him to his native mountain moor.[б]

4-й и 5-й стих напоминают окончание бесподобного Шиллерова стихотворения «Die Macht des Gesanges».[в] [41]

14 февраля

1

На стезе в тот край небесный,[42]
Где сияет вечный свет,
В тлен и прах, в покров телесный
Мой бессмертный дух одет;
Но мгновенная обитель
Мне гостиница сия,
Не всегдашний мира житель,
Нет, пришелец в мире я.
Над звездами край покоя,
Сень от хлада, бурь и зноя,
Странствию, трудам конец,
Там твой дом, о мой отец!

2

Там терпенья посох брошу,
[Я] Там сложу забот суму,
[Я покину скорби ношу]

[а] но аппетит приходит во время еды (*франц.*).

[б] Дорога та хижина, к которой стремится его душа, и дорог тот холм, по которому он поднимается к бурям. И как дитя льнет ближе и ближе к материнской груди, когда страшные звуки пугают его, так шумный поток и рев вихря сильнее связывают его с родными горами (*англ.*).

[в] «Сила пенья» (*нем.*).

[Всех скорбей покину]
Мук и страха скину ношу,
Боже мой, в твоем дому.
[Всё под солнцем на мгновенье]
Здесь и скорбь, и наслажденье
[Промелькнет] Чуть мелькнет и пропадет.
Миг один мое теченье,
Путь мой молнии полет.
Луч, который в мраке ночи
Поразит незапно очи,
Но едва воздвигнешь взор,
Снова темен весь обзор.

3

[Я ли суетой] ничтожной
[Мне] Как прельщаться мне ничтожной
[Я ли обольщусь мечтой?]
[Легкокрылой] Быстротечной суетой?
Радость, горе — призрак ложной —
Возмутят ли мой покой?
[Неба] Рая гражданин, ужели
[Буду прилеплен к земле]
[Сердцем] Прилеплюсь душой к земле?
Вижу свет блестящей цели,
Медлить стану ли во мгле?
[Что, всеведец, пред тобою
Утаю и что сокрою?]
Пред всеведцем что сокрою?
Тьма не день ли пред тобою?
[Иль с] С лучезарной высоты
[Ты не зришь, не видишь ты?]
[Господи, не видишь ты?]
Бездну сердца видишь ты.

4

[Жаждой грешной и] безумной
[Благ мирских я] распален.
[Слух мой ловит зов их] шумной,
Плотью дух мой подавлен;
Обладает мною время,
Грудь не вечностью полна;
Не без ропота под бремя
Преклоняю рамена.
Ты послал мне испытанья,
Ах, несу не без стенанья,
Не без слез, владыко мой,
Крест, наложенный тобой.

5

Слабых щит, податель силы, [мне силу]
Силу мне твою пошли,
[Да воздвигну за могилу
Взор на небо от земли]

Смелый взор за мрак могилы
Да воздвигну от земли.
Разреши меня от плена,
[Буйных и] От оков слепых страстей;
Дух даруй мне выше тлена,
Выше всех [земных] мирских сетей.
Под рукой святой твоею
Для отчизны да созрею!
[В дом родимый кровь Христа
Отворила ж мне врата]
Да вещаю в смертный час:
Бог для неба создал нас.

15 февр‹аля›

Провидение меня воспитывает и обстоятельствами принуждает к занятиям, о которых я по природной лености, вероятно, и не думал бы: в Ш‹лиссельбурге› я выучился по-английски, потому что у меня не было книг, кроме английских; здесь, бог даст, выучусь по-гречески, потому что у меня опять нет книг, кроме некоторых собственных, читанных и перечитанных.

Поутру я выправлял 1 действие; я над ним трудился ровно месяц; «Иван» мой не растет так скоро, как «Зоровавель» или «Отроки».

16 февр‹аля›

Точно так, как человеку иногда посылаются мысли, вдохновения, чувства, которые лучше его, так, кажется, какая-то темная, посторонняя сила зарождает в нем иногда такие, которые хуже его, которых он, несмотря на свое падение, никогда не желал, никогда не искал, от которых силится и не может освободиться: не есть ли это доказательство того, над чем смеются или по крайней мере хотят смеяться питомцы философии 18 века? доказательство существования врага, сеющего плевы посреди пшеницы душ человеческих? Мысли эти, говорю, не грех, но наказание: бог их допускает, дозволяет врагу терзать ими того, кто для этого врага приготовил храмину «убранну и пометену»; но и они, если только грешник обратится всем сердцем к богу, и они должны же наконец служить к благу и спасению: обратившемуся они напоминают прежнее его осквернение, сделавшее его вместилищем подобных чудовищ, и тем предохраняют от духовной гордости.

17 февр‹аля›

Нынешний день оаза в моей пустыне: я получил письмо и книги от моей доброй Улиньки; книги: немецко-английский словарь, 2 том Робертсона,[43] повести и последняя глава «Онегина»[44] Пушкина. Прочел я повесть «Выстрел» и главу «Онегина»; о повестях постараюсь что-нибудь сказать, когда прочту все. Поэт в своей 8 главе похож сам на

Татьяну: для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет. Впрочем, и об «Онегине» предоставляю себе поговорить еще раз, когда перечту его. По-гречески я сегодня не читал.

18 февр‹аля›

Прочел повести Пушкина и писал к племянницам;[45] как я в письме к ним высказал мое мнение об этих повестях, то и не хочется здесь повторять его.

Сегодня у меня был самый фантастический сон; но если разобрать его хорошенько, зародыши его все можно будет отыскать в том, что я думал, чувствовал, читал и видел в предшествовавшие дни.

19 февр‹аля›

Писал к сестрице Улиньке. Читаю вторую часть «Истории Карла V-го». Великий характер кардинала Хименеса заслуживает истинное удивление.[46] До Карла V титул «величества» (Majesty) не был приписываем ни одному монарху Европы: он первый по избранию его в императоры стал писаться: *величество.*

20 февраля

Прибавить к гимну, написанному 14 числа, следующие две строфы:

6

Средь рассадника господня
Для Эдема спеем мы;
Мы взошли не для сегодня,
Не для близкой, вечной тьмы;
Не на миг, не на страданья
«Будьте!» — нам вещал творец;
Нет! земные испытанья
Баня душ, купель сердец.
Злато мы в огне горнила,
Не поглотит нас могила;
Там, пред господом своим,
Чистым блеском возблестим.

7

Там, за рубежами мира,
За сияньем всех светил,
Там, куда из волн эфира
Мой спаситель воспарил:
Он мой вождь и предводитель,
Он у своего отца

Уготовит мне обитель,
Где нет радостям конца.
В час, когда закрою вежды,
На него взложу надежды:
Он свою святую кровь
Дал за нас — он весь Любовь.

21 февр‹аля›

Завтра начинается великий пост. Я перечел свой дневник с 14 декабря до вчерашней отметки: лирические пиэсы, разбросанные в нем, требуют большой еще переправки, особенно написанные 1-го, 6-го и 31 января. Перечел я также 8-ю главу «Онегина»: напрасно сестра говорит, что она слабее прочих; напротив, она мне кажется если не лучшею, то по крайней мере из лучших. История знакомства Поэта с Музою прелестна — особенно 4 строфа: но лжет Пушкин, чтобы Музе нравился

Порядок стройный
Олигархических бесед
И холод гордости спокойной etc.

9 строфа прекрасна: варияции на нее, 10, 11 и 12-я, слабее, но и в них много хорошего, хотя одиннадцатая несколько сбивается на наши модные элегии, а в 12-й стих «Иль даже Демоном моим» такой, без которого очень можно бы было обойтись. Появление Тани живо: но нападки на *** не очень кстати[47] (я бы этого не должен говорить, ибо очень узнаю себя самого под этим гиероглифом, но скажу стихом Пушкина ж: «Мне истина всего дороже»). Кроме этой небольшой полемической выходки, все превосходно от 14 до 20 строфы, а слова «И — и не мог!» в своем роде совершенство. В 22-й строфе не очень понимаю «упрямой думы», но «упрямо смотрит он» иное дело: это почерпнуто из сердца человеческого. Вечер у Тани хорош, но слабее раута. Конец XXVI-й строфы:

И молча обмененный взор
Ему был общий приговор —

заключает в себе черту, схваченную с того, что иногда случается видеть в свете. В письме Онегина к Тане есть место, напоминающее самые страстные письма St. Preux,[48] — от слов:

Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

до стиха: «И я лишен того» etc. Из лучших строф 35-я, свидетельствующая, что Ал. Пушкин племянник В. Пушкина, великого любителя имен собственных: особенно мил *Фонтенель* с своими «*твореньями*» в этой

шутовской шутке.[49] Но следуют стихи, где, наконец, истинная Поэзия, Поэзия души, воображения, вдохновения; все же хорошее, что предшествовало, кроме, может быть, 4-й строфы и письма, было и умно, и остро, а иногда даже глубоко, но — проза! 37-я строфа чудесна, особенно стихи:

А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.

И:

...и у окна
Сидит она и все она.

Объяснение с Татьяной также выше многого того, что из прочих глав наша молодежь затвердила наизусть. Эпилог лучший из всех эпилогов Пушкина.

22 февраля

Был в бане. Наконец у меня опять книги: но хотелось бы мне так расположить время, чтоб не перестать заниматься греческим языком.

23 февраля

Читаю «Телеграф» на 1826 год.

В 12 части выписка из Лейпцигской «Лит‹ературной› газеты»:[50] «В Риме находится мексиканская рукопись, in 4, около 4-х дюймов толщиною, из оленьей кожи, по меловому грунту исписанная гиероглифами. На первой странице мексиканский зодиак с двенадцатью небесными знаками. Далее находим изображения богов, подобные египетским: Озирис с своими принадлежностями, Изида, Горус, мщение Горуса, Приап и т. д. Давно известно, что в Мексике строили пирамиды так, как в Египте, что оба народа принадлежали к одному поколению (?), оба писали гиероглифами, и если откроется, что оба имели одинакую веру, тогда не ясно ли будет, что в глубокой древности Египет и Мексика имели между собою связи и сношения».

24 фев‹раля›

Весь день я читал «Телеграф»: завтра отмечу, что мне показалось любопытным в этих четырех частях.

25 февр‹аля›

В 9 части «Телеграфа» статья о голландской поэзии (с фр.):[51] Петр Корнелий Гоофт их Ломоносов; Вондель, автор трагедии «Люцифер»; Бильдердейк,[52] может быть, величайший гений изо всех гол‹ландских› писателей. Отрывок (Иосиф Берглингер) и рассуждение о «Phantasien

eines Kunstliebenden Klosterbruders»[а] Вакенродера.[53] В 10 части «Voyage á Boukhara»[б][54] (Мейендорфа) и «Мысли и замечания» Наполеона:[55] мнение его о могуществе России, о Лафатере и сродных с Лафатером людях, — а в 11 части, в продолжении этой статьи — о поэме Луциана, анекдоты о Бернардене де С. Пьер, отзыв о m-dame Севинье. В некрологии известие о Матюрине,[56] авторе «Мельмота». Примечательная статья — Разбор книги Галича.[57]

26 февр‹аля›

Кювье в своем «Discours sur les revolutions de la surface du globe»[в] (разобранном Абель-Ремюза и переведенном в «Телеграфе»)[58] столько открывает великого, удивительного и в то же время столь победоносно опровергает все мнимые доводы о древности рода человеческого и столь неоспоримо доказывает истину священных сказаний об общем перевороте, изменившем за 5000 лет лице земли, что, кажется, уже нечего отвечать охотникам противопоставлять ассириян, египтян etc. и их десятки тысяч лет — тому, что говорит Книга Бытия. По мнению Кювье, земля претерпела несколько превращений: памятником первого — окаменелые раковины, выше их зоофиты, моллюски и некоторые черепокожные, потом каменные уголья и пальмы, следуют роды из семейства ящериц и черепах (из них некоторые огромные, в 70 футов длины, — голова одной черепахи от шести до восьми футов), в этом слою — двуутробки, выше — млекопитающиеся морские, еще выше земные млекопитающиеся, приближающиеся к тапирам, верблюдам, носорогам (величины необычайной); с ними же (нахидармами) многие роды птиц, крокодилов, черепах, летучих мышей и хищных зверей (ни одной кости обезьяны, ни лемура), — наконец, маломуты. Все исчисленные породы животных и растений отличны от существующих ныне.

«*Птицы и цветы*» (поэма) Ацц-Эддина-Эльмокадесси, из лучших второго разряда арабских поэтов; к 1-му принадлежат Гарири, Мотенабби, Фаредх и творцы «Моаллакат».[59]

27 февр‹аля›

Покойный Вилламов, как видно из «Телеграфа», переводил «Войну лягушек и мышей»,[60] и помещенный тут отрывок его перевода чуть ли не лучшая метрическая пиэса в тех четырех частях этого журнала, которые пробежал я. Сегодня я опять занимался греческим языком и продолжал свою сказку.

а «Фантазии любящего искусство отшельника» (*нем.*).
б «Путешествие в Бухару» (*франц.*).
в «Рассуждение об изменениях земной поверхности» (*франц.*)

28 февраля

Конетабль Бурбон перед стенами Рима[61] и гибель его при приступе могли бы быть предметом трагедии, которая, если бы только была написана поэтом с истинным талантом, быть может, не уступила бы Шиллерову «Валленштейну».

Превосходная малороссийская песня:

А хто по улице ходить, а хто й свище?[62] —

вместе может служить доказательством, что малороссиянам в старину известны были поединки.

29 февраля

Был у меня сегодня священник — швед: это в моей жизни второй швед, с которым сводит меня судьба. Кроме русских, немцев и французов по сию пору я всего чаще встречался (разумеется, в год (1820 и 1821), когда был за границею) с датчанами и корсиканцами: странное дело — все почти мои парижские знакомые принадлежали к одному из этих двух народов. Пастор, которого имени еще не знаю, одолжил мне проповеди Чирнера (Tschirner).[63] Между подписчиками на сию книгу нашел я однофамильца — вероятно, племянник покойного батюшки.

Читаю «Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии».[64]

1 марта

Был у меня опять пастор. Прочел я Чирнера проповедь о том, как страдание сближает нас с богом: каждое слово в этой проповеди — золото; если прочие так же хороши, то не знаю, кому отдать преимущество, — Чирнеру или Дрезеке?[65]

«Путешествие по Австрии» etc. писано за тридцать лет тому назад; автор — карамзинист не в самом лучшем значении этого слова; но, если говорить беспристрастно, много ли у нас ныне является книг, которые могли бы выдержать сравнение с этим путешествием?

2 марта

Наконец я кончил четвертую книгу «Илиады», которую разбирал очень лениво. Моя сказка не подвигается с места; не знаю, не бросить ли мне ее? Прочел проповедь Чирнера о бессмертии души. Хотелось бы мне знать, кто автор «Путешествия», которое читаю? В нем смесь природного ума и величайшего невежества, остроты и умничанья, образования самого поверхностного и мыслей иногда довольно истинных; словом, это образчик и времени, в которое оно писано, и духа, тогда господствовавшего у нас, духа, и теперь не совсем исчезнувшего.

4 марта

Вчерашней отметки нет, потому что опять нечаянно загасил свечу. Между тем я вчера сочинил сонет, который назову Пасхальным,[66] как сочиненный 2 янв‹аря› назвал Рождественским. Вот он:

Меня беды и скорби посещали
От дней младенчества до седины;
Я наконец и горе, и печали
Так встречу, как утес напор волны.

Но что? хулы меня ли взволновали?
Чем чувства все во мне возмущены?
Слуга Христов, бесславлен миром, я ли
Лишился вдруг сердечной тишины?

Кто я? ничтожный грешник! А чудесный,
Божественный, господь, владыка сил
Явился ли одетый в блеск небесный?
Нет! в прахе он, светлейший всех светил,
Он в низости окончил путь свой тесный
И дух на древе срама испустил.

А вот сегодняшний: [67]

«Почто я не перунами владею
И грянуть не могу велеть громам?
[Но] Нет! не стерплю: коварному злодею,
Ковавшему погибель мне, воздам!»

Так пьян от [злобы] мести, [слеп] рьян и шумен ею [очарован ею],
Свирепым, адским жертвуя духам,
О боже мой! пред благостью твоею
[Возносит вопль]
[О боже, — грешный, злобствуя врагам]
Возносит грешник вопли к небесам.
Но тот, который с самого созданья —
Единый был безвинен пред тобой,
Приял неизреченные страданья;
А весь исполненный любви святой:
«Отец мой! отпусти им грех незнанья!» —
Молился за объятых слепотой.

5 марта

Целый день бился над сонетом — и по пустякам, а жаль: предмет прекрасный! Вижу, что сонет не безделица: рифмовать на одни глаголы не хочется, потому что эти рифмы уж слишком легки; а четыре стиха на одну рифму неглагольную на русском языке прибрать довольно трудно. Мне в этом случае поверить можно, потому что я написал около восьми тысяч русских стихов in rime terze,[a] [68] что также не шутка, — но все же rime terze не сонет.

---

[a] терцинами (*итал.*).

6 марта

Вот сонет, с которым я вчера не мог совладеть:

МАГДАЛИНА У ГРОБА СПАСИТЕЛЯ[69]

Мария, в тяжкой горести слепая,
Назвала вертоградарем того,
Кто, гроб покинув, ей вещал: «Кого
В сем гробе ищешь, плача и рыдая?».

И отвечала: «Тела не нашла я!
Ах, господа отдай мне моего!».
Но вдруг он рек: «Мария!» — и его
В восторге узнает жена святая.

Не так ли, больший, чем она слепец,
Взывал я, с промыслом всевышним споря:
«Почто меня оставил мой творец?».
А ты — ты был со мной [со мною был] и среди горя! —
Я утопал; но за руку, отец,
Ты удержал меня над бездной моря.

Прочел я превосходную проповедь Чирнера «Alle wahre Liebe erhabt sich über die irdische Schranke»;[а] из читанных мною это лучшая. В ней столько чувства, столько той любви, о которой говорит проповедник, что она, без сомнения, должна служить утешением всякому верующему сердцу.

7 марта

Писал к матушке: 20 числа ее рождение; дай бог, чтобы ее мое письмо застало здоровою; а между тем сердце что-то ноет![70] [...]

8 марта

Писал к сестрице Юстине Карловне. Наконец, кажется, пришла мне счастливая мысль, такая, которою займусь охотно («Иван, купеческий сын» n'était qu'un pis-aller;[б] я им занимался потому только, что считал обязанностию заниматься чем-нибудь). Начал я сегодня повесть в прозе «Италиянец». Над этим «Италиянцем» мое воображение стало работать, когда я читал глупейшую повесть Арно (или, как сказано в русском переводе, господина Арнода) «Адельсон и Сальвини».[71] «Деревенская библиотека» издан‹ия› 1782, где, между прочим, находится и эта повесть, столько же ниже «Путешествия по Австрии» etc., сколько это «Путешествие» ниже самых лучших русских книг 30-х годов.

а «Всякая истинная любовь возвышается над земными пределами» (*нем.*).
б не что иное, как крайнее средство (*франц.*).

9 марта

Давно уже сказано, что нет книги, в которой нельзя бы было найти хоть что-нибудь хорошее: так и в «Деревенской библиотеке» нашел я повесть, которая, несмотря на свое заглавие — «Похождение маркиза де Кресси»,[72] несмотря на нестерпимый слог переводчика, — очень недурна.

Продолжаю своего «Италиянца».

10 марта

Продолжаю «Италиянца». Голова что-то болит. Ах, если бы завтра письмо!

11 марта

Продолжаю. В «Деревенской библиотеке» прочел я весьма примечательную статью Дидеро «Разговор отца с детьми своими о том, сколь опасно поставлять свой рассудок выше законов».[73] Дидеро мне известен почти только по репутации; желал бы я познакомиться с ним более.

12 марта

И сегодня я продолжал повесть свою; она довольно подвинулась вперед: завтра отдых; к тому же пора прочесть что-нибудь из Чирнера, а «Деревенская библиотека» — «се сонъ де контъ а с'андормир дебу»,[a] — как говаривал К. . . .ъ.

13 марта

Прочел несколько проповедей Чирнера, в числе коих те, которых предмет — преобразование западной церкви в 16 столетии, весьма примечательны. Вообще Чирнер писатель, заставляющий думать, возбуждающий мысли если и не новые, то основательные, богатые последствиями.

14 марта

Читаю 7 и 8 части «Телеграфа». На стр. 182-й 7-й части следующее: [74] «Борисов, 15-тилетний крестьянин из села Лопасни (в 66 верстах от Москвы), явился к И. И. Дмитриеву и объявил, что хочет учиться. Попечитель Университета А. А. Писарев, восхищенный ломоносовским подвигом Борисова, принял его под свое покровительство. Открылось, что Борисов много читал и сам пишет стихи. Ему задали написать стихи на день воспоминания основания Университета (следует выписка из оных, — тут между прочим стих: «Восторг души — луч божества»). Полевой говорит:

---

[a] «это сказки, от которых можно заснуть стоя» (*франц.*).

«Кто знает, что будет из сего юноши? Может быть, в пламенной душе его зреет один из Гениев нашего времени?». Аминь — и буди! — скажу я от всего сердца.

15 марта

Сегодня день рождения моего брата: ему минуло 33 года. Прочел я в «Телеграфе» повесть Гофмана «Ботаник»[75] и несколько проповедей Чирнера. Поутру я занимался своим романом. Княжество Лихтенштейн — малейшее государство в свете по народонаселению; в нем 5800 жителей. Многолюднейший в мире город — Иеддо, столица Японии: в ней жителей 1 680 000.

16 марта

Был у меня поутру пастор. Мало я сегодня делал путного: весь день читал «Телеграф». Федор Глинка и однообразен, и темен, и нередко странен, но люблю его за то, что идет своим путем; в 7 и 8 части «Телеграфа» лучшие пиэсы решительно его,[76] напр. «К Звезде» и в прозе аллегория «Гость на три ночи».

17 марта

Наконец, благодаря бога, письмо от Юстины Карловны! Все мои домашние здоровы, племянники воротились с похода.[77] Поутру я занимался своим романом (романом, а не повестью, потому что «Италиянец» мой для повести будет слишком длинен), потом читал, а вечером начал письмо к сестре.

18 марта

Писал к сестре и племянникам. Прочел разбор Полевого «Опыта науки изящного» Галича; разбор вообще очень хорош, и книга должна быть прекрасною: и критик, и автор основываются на Шеллинговом учении. В одном случае я не согласен с Полевым, нападающим на Галича[78] за то, что сей назвал вкус — *умом* (разумеется, относительно к искусствам), а не *волею*; конечно, вкус не ответствует полной идее, которую наши новейшие мыслители означают словом — *ум*, но еще менее *воле*: воля творит, производит, есть причина действий мыслящего существа; вкус же не деятелен — отрицателен. Он, подобно совести, есть только формула соединения воли и разума, и такое соединение, где именно перевес находится с минусом к первому и ко второй с плюсом, и по сему может, кажется, назваться совестию изящного, эстетическою совестию. Это название вместе послужит к обозначению общего вкуса (вкуса в идее) и частного (в явлении): общий везде одинаков, как везде одинакова общая (в идее) совесть. Непременный, всеобщий закон совести есть отрицание:

«Не делай ничего такого, что признаешь противным благу». Непременный всеобщий закон вкуса подобным образом есть отрицание: «Не твори ничего такого, что признаешь противным лепоте». Слово же *признаешь* будет фактором (производителем) всех различий и оттенок частных совестей и вкусов (в явлении): эти различия зависят от степени способности частных лиц постигать идею блага или лепоты в большем или меньшем совершенстве.

19 марта

Был в бане и стригся; после стрижки я смотрелся в зеркало: мне хотелось узнать, постарел ли я с моего приезда сюда, — и кажется, что нет. Поутру я занимался немного своим романом.

20 марта

Сегодня минуло матушке 75 лет.

Прочел я несколько проповедей Чирнера. За обедом у меня сломался зуб. В сумерки размышлял я о третьегодняшней своей отметке и еще более уверился в сходстве вкуса с совестию. *Совесть* есть ум, обсуживающий (намереваемые или уже совершенные) поступки, действия человеческой воли и решающий, сообразны ли они или нет с идеею блага; *вкус* тот же ум, обсуживающий произведения (равномерно намереваемые или уже совершенные) творческой силы (воли, действующей в обличии фантазии) и решающий, сообразны ли они или нет с идеею лепоты. Среднее звено между совестию и вкусом составляет так называемое чувство приличия, которое бы лучше назвать разумением приличия: это ум, обсуживающий поступки (действия нравственной воли, противоположенной здесь воле фантазии), проверяющий, сообразны ли они с идеею — не блага, к которой относятся непосредственно, но лепоты, к которой они только в посредственном отношении.

21 марта

Переправлял последние три письма моего романа. Прочел несколько проповедей Чирнера, касающихся до реформации и евангелической церкви. Что-то нездоровится.

22 марта

Поутру занимался моим романом и наслаждался посещением пастора, а после обеда читал.

23 марта

Роман мой мало-помалу подвигается вперед. Читаю опять «Деревенскую библиотеку»; когда я ее прочту, мне можно будет сказать:

Прочел и сердцем сокрушился,
Что я читать учился.[79]

По крайней мере, читая ее, славно после обеда дремлется: и это благо! Впрочем, некоторые повести не совершенно дурны, напр. «Эрнестина».[80]

24 марта

У меня мучительное суеверие, будто бы довольно того, чтоб я надеялся чего, для того, чтоб оно не сбылось. Но видя, что это суеверие, моя обязанность вырвать это злое зелье из души моей. Конечно, много не сбылось из того, чего я надеялся, однако же не потому же, что надеялся. «Мисс Индияна Дамби»[81] также изрядная повесть, даже слог перевода очень сносен и не без легкости.

25 марта

Была сегодня прекраснейшая погода: первый весенний день. «Мисс Индияна» сначала истинно хороша: кажется, что читаешь занимательные страницы Ричардсона, — неудачно придуман тут только протестантский монастырь, — но под конец самый пошлый вздор. Прочел я также несколько проповедей Чирнера.

26 марта

В моем романе остановка: поутру я было принялся за него и не мог написать более страницы; ужели и его придется бросить? Что значат неудачи, которые испытываю с некоторого времени в моих занятиях? Истощились ли мои способности? Или я еще не набрел на предмет истинно вдохновительный? Или воображению и творческой силе так же необходим отдых, как силам телесным?

27 марта

Прочел 8 проповедей Чирнера, из которых лучшая «Der Tod als Wiedergeburt zu einem neuen Leben»;[a] в ней несколько мыслей, сходных с тем, что Джонсон говорит о бессмертии в последних главах «Расселаса».

---

3 апреля[82]

Если человек войдет в самого себя и познает всю бездну своего беззакония, мысль о том, что ему необходим *посредник* (Mittler) между непостижимою, страшною святостию верховного существа и собственною ничтожностью и мерзостью, должна непременно поразить ум его. Ко-

[a] «Смерть как возрождение к новой жизни» (*нем.*).

нечно, не для бога нужен посредник сей, ибо бог видит и знает человеческие сокровеннейшие чувства и помышления прежде даже, чем сам человек может отдать себе ясный отчет в них; но сей посредник необходим для *нашей* слабости. Кто же может быть сим посредником, существом, к которому смертный дерзал бы приближаться со всею смелостию, какую имеешь к брату, к равному, и вместе со всею надеждою и верою, какую единый распорядитель судеб в состоянии внушить молящемуся сердцу? Кто? — единый богочеловек! Бог, сам тот, при мысли о коем без веры в его вочеловечение ужас и трепет объемлет душу грешника, бог, благоволивший явиться человеку человеком! Конечная и несовершенная благость лучшего даже из ангелов могла ли решиться на столь непостижимое чудо милосердия? Нет! Для сего требовалась бесконечная и совершенная Любовь, которая принадлежит единому Бесконечному и Совершенному!

Вот ответ тем, которые для того много говорят о всемогуществе и величии божием и ничтожности человеческой, дабы отвергнуть высокую истину вочеловечения, непостижимую единственно потому же, почему и всемогущество и премудрость отца духов и все проявления оных непостижимы, а именно потому, что они превышают всякую меру ума человеческого, как превышает ее и Любовь, коей необходимым следствием вочеловечение. К низшему из всех мыслящих существ низошло высочайшее мыслящее существо, ибо низшему из них то было необходимо; падшим нужен был восстановитель, а не тем, что стоят; больные требуют врача, а не здоровые.

5 апреля

Сегодня сподобился я счастия причаститься святых тайн.
После обеда писал к родным.

6 апреля

Начал я поэму «Вечный Иудей»;[83] сочиняя вступление, заметил, что чтение Гомера осталось не без действия на мой слог. После обеда я читал, потом прохаживался, а наконец, занимался греческим языком.

7 апреля

Нынешний день я совершенно почти так же провел, как вчерашний; это, надеюсь, часто будет случаться, ибо я намерен в занятиях своих соблюдать порядок.

8 апреля

Сегодня, читая Гомера, я заметил, что несколько уже успел в греческом языке. Что бы было, если бы я им занимался без перерывов и так же прилежно, как в первый месяц? Полагаю, что я теперь не хуже бы знал по-гречески, нежели по-латыни.

9 апреля

Сегодня я после обеда не прохаживался и не читал Гомера, зато красил яйца; надеюсь, что это небольшое отступление от порядка жизни, мною себе предначертанного, простительно: суббота перед светлым Христовым воскресеньем раз только в год бывает.

10 апреля

Светлое Христово воскресенье. И здесь не без добрых людей: знаки участия, которые мне оказали сегодня, мне очень дороги; конечно, счастье не состоит в еде и питье, но присланное мне показывает, что и обо мне думают, что и мне желают оказать что-нибудь приятное — и этого-то я ввек не забуду. Перечел я свой дневник от 25 апреля 1831 года по 1 января 1832-го. Я рад, что он у меня есть; редкая в нем неделя, в которой бы не было доказательств милосердия ко мне Всевышнего. Завтра прочту остальное и письма, полученные мною здесь и в Р‹евеле›.

11 апреля

Бо́льшую часть дня я жил в прошедшем: прочел окончание дневника и письма матушки и Юстины Карловны; осталось прочесть еще письма Улиньки, детей, копии с братиных к матушке и сестрам и с писем княгини Трубецкой о нем [84] и — одно его руки ко мне.

12 апреля

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО [85]

Повсюду мрак, повсюду тишина,
Земля молчит, предчувствия полна;
Молчат и воины, стоящие у гроба,
Где тот почил, кто весь любовь,
Тот, чью божественную кровь
Безумная пролила злоба!

Повсюду мрак, повсюду тишина...
Но что? на мрак не первая ль волна
Живительных лучей златого моря света
Нахлынула? Редеет тень,
Бороться начал с ночью день,
И се уж твердь в багрец одета.

И вдруг взбежало солнце на обзор —
И вдруг содроглись дол и сердце гор,
И глас послышался, как глас трубы победной.
И ангел с радостных небес
Слетел и отвалил утес,
И страж объемлет ужас бледный.

Погнал от гроба их крылатый страх;
Они без чувства падают во прах.
А он, поруганный, растерзанный, закланный,
Приявший срам и смерть за нас,
Он бог наш, наш господь и спас,
Воздвигся, славой осиянный!

Наполни грудь мою, святый восторг!
[Жив мой спаситель! Он воскрес!]
Христос воскрес! Христос, мой вождь, расторг
[Оковы] [Вериги тлена он]
Вериги вечной тьмы, подъемлясь из могилы.
Христос сразил и смерть, [и грех,] и ад,
Нам имя дал господних чад,
Сорвал с нас узы темной силы.

И за меня (увы мне!), за мой грех,
Он был врагам неистовым в посмех,
И за меня приял бесчестие и муки.
За бремя и моей вины
Железом были пронзены
Христовы ребра, ноги, руки!

И для меня (о радость!) возбудил
И в жизнь его извел владыка сил.
[Так! Кровию и я искупленный] Христовой
О радость! кровию и я омыт Христовой.
Я, узник тлена и грехов,
[Исторгнуся]
Изыду я из их оков,
И я воскресну к жизни новой!

Склонитеся, колена! слез ручей
Теки, пролейся из моих очей!
Ты, сердце, полно будь немого умиленья!
Душа, трепеща, воззови
К непостижимому в любви,
К нему воздвигни глас хваленья!

Вся жизнь моя да будет песнь ему!
[Вождю, царю] Клянусь, вождю, владыке моему
Отныне посвящу я каждое дыханье!
[Я братьев и в врагах моих
Да вижу: он же спас и их.
Хочу я зреть: он спас и их
Он и за них приял страданье]
Его я и в врагах моих
Люблю отныне: и за них
Господь же мой вкусил страданье.

Получил я сегодня письмо от Юстины Карловны и от Наташеньки. Юлия Гавриловна, бедняжка, больна раком;[86] а две другие милые мне особы[87] едут за границу к водам.

13 апреля

Поутру я довольно счастливо бредил стихами; а после обеда кончил «Jenny ou le Sage et l' Athée» [a] Вольтера,[88] — русский перевод, если взять время, очень недурен, только не постигаю, почему Jenny переименован в Энни. Вообще последние части «Деревенской библиотеки» несколько лучше первых. Вечером я перечел все письма сестрицы Улиньки, которые у меня еще остались.

14 апреля

Сочинил сегодня стихи к дню рождения племянницы моей Сашиньки: завтра я их внесу в дневник. Сегодня после красных дней настала дождевая погода.

15 апреля

Писал к Юстине Карловне, Наташе и Саше; стихов вчерашних не переписываю, потому что устал: успею и завтра внесть их в дневник. Сегодня ровно год, как покинул я Д‹инабургскую› крепость.

16 апреля

СТИХИ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САШИ [89]

1

Не удержишь! мчится время;
Снег бросает мне на темя,
Все уносит за собой
В ночь глухую тайной дали,
Все уносит в мрак немой —
Жизнь, и радость, и печали!

2

Между тем как я седею,
Как над головой моею
Дни за днями протекли,
Как того, другого брата,
Роком сорванных с земли,
Душу растерзала трата, —

3

[Там уж жатвы, где посевы:]
Жатву зрю, где зрел посевы:
Там уж с юношами девы,

---

[a] «Дженни, или Мудрец и атеист» (*франц.*).

Где детей [я зрел] встречал вчера;
Так! промчалось наше время,
Наша минула пора;
Входит в мир иное племя.

4

Коротка дорога наша!
Мы цветем мгновенье, Саша!
Но тебе шестнадцать лет,
Жизнь тебе очарованье:
Нет! не наведет поэт
Тучи на ее сиянье...

5

[Нет!]
Друг, считай тоску ошибкой;
Все вокруг живи улыбкой,
Сердцем верь благой судьбе.
Будь твой мир мечтой украшен:
Пусть летят часы! тебе
Грозный их полет не страшен.

6

[Пусть летят! — Но друг мой] милой!
Что со мною, друг мой милой?
Я объят чудесной силой:
Ток лучей, река огня,
Жар святого вдохновенья
Вдруг вливаются в меня;
Вижу светлые виденья!

7

[Мне велишь ли? Бодро очи
Устремлю я в недра ночи,
В лоно нерожденных лет:
То, что вещим взором вижу,
Прорицающий поэт,
Из грядущего приближу!]

8

Предо мной жена младая:
Всюду радость изливая,
Честь и счастие она,
Рай того, с кем не одною
Лишь рукой сопряжена,
С кем слиялась всей душою;

9

Вижу дочерей пригожих,
На нее во всем похожих,

Вижу резвых сыновей;
Правит мать толпой их шумной
Взглядом ласковых очей
Или речию разумной...

10

[Саша, друг ты мой бесценный
Что ж? восторгом упоенный]
[Милый друг, в семье блаженной
Восхищеньем упоенный,]
Саша, в сей семье блаженной
[Мне внемли, мой друг бесценной]
Я узнал твою семью...
[Но] восторг, мой вождь дотоле,
Вдруг исчез, не узнаю,
Ничего не вижу боле.

11

Ах! почто же дух мой жадный
Не узрел в дали отрадной
Старца, дряхлого певца;
[Так, чтобы]
Он почто, страдалец хилой,
[Ждал в твоей]
Не ждал в той семье конца,
Встретив счастье пред могилой?

12

[Если воля Провиденья
После долгого теченья
Только поздний мне покой
В глубине земли судила,
Если поздно надо мной
[В... ле дней]
[Милостей] взойдут светила:]

13

[Ах! мечтою благосклонной
Ты почто не Антигоной]
[Сон унесся благосклонный
Прежде чем ты Антигоной]
Мне явилась?.. [Нет!] судьбы
[Не страшись моей плачевной
Верь мне: сильны тех мольбы,
Что испили жребий гневный].
[Сильны, верь, того мольбы,
Кто судьбой испытан гневной].

Поутру я занимался своим «Вечным Иудеем»: кажется, он выльется слишком обширным для «Декамерона».

17 апреля

Перечел я письма брата и о брате княгини Трубецкой и баронессы Розен:[90] нельзя не удивляться этим женщинам и их подругам, разделяющим бедственный жребий мужей своих. Брат в своих письмах являет прекраснейшую душу: он гораздо лучше меня. Наконец я совершил великий подвиг: кончил «Деревенскую библиотеку»; последние три сказки, которые я прочел, будто бы девицы Унси, очень недурны;[91] их названия: «Сколь трудно быть счастливу», «Несчастия исправляют» и «Вечная любовь сопровождается беспокойством», у них восточный колорит — не переведены ли они с арабского? Последняя заключает в себе очень затейливый вымысел о переселении душ. Кроме того, тут еще сокращение старинного романа «Oger le Danois»;[92] это отрывок, comme de raison,[a] в русском переводе переименован «Огиром Датским». Катастрофа этого романа сходствует с развязкою «Легенды о семи спящих».

18 апреля

Неделю целую я не занимался греческим языком: сегодня опять за него принялся. Был у меня пастор: он скоро оставит здешнюю крепость, и я опять останусь совершенно одиноким.

19 апреля

Читаю «Путешествие» Вальяна[93] и оторваться не могу: раз, потому, что оно чрезвычайно занимательно, а во-вторых, что переносит меня в те места, где я в первый раз его читал; не знаю, было ли то в Лицее или еще в Верро, но только помнится мне, что мы, шалуны, одного нашего товарища (чуть ли не Г‹ревени›ца)[94] прозвали Кесом, именем Вальяновой обезьяны.

20 апреля

Из небольшой росписи имен животных и птиц у Вальяна на готтентотском языке явствует, что оный изобилует губными и гортанными звуками: гортанный звук, который французский путешественник означает знаком †, вероятно, сходен с персидским усиленным خ; примечательны три различных щелканья готтентотов перед произношением многих слов; издалека к ним должно подходить английское th или греческое θ. Из гласных чаще всего встречаются у них О и У.

21 апреля

Завтра кончу я любезного моего Вальяна: с этою книгою расстаюсь, как с другом; я к ней привязался всей душою: прощаю автору даже его

---

[a] как и следовало ожидать (*франц.*).

фразы и несколько приторную сентиментальность, потому что его искренность и непритворство везде видны.

22 апреля

Кончил Вальяна. Неприятное чувство, с которым Вальян впервые снова увидел жилища голландцев, живо напомнило мне моего Грибоедова: и он в Москве и Петербурге часто тосковал по кочевьях в горах Кавказских и равнинах Ирана, где посреди людей, более близких к природе, чуждых европейского жеманства, чувствовал себя счастливым.

23 апреля

Перечел я Пушкина повести: две лучшие из них «Гробовщик» и «Станционный смотритель»; на последнюю я слишком мало обратил внимания при первом чтении — она в своем роде не уступит «Гробовщику». Также перечел я письма племянников и племянниц и тем кончил пересмотр прошедшего года, если оный мне считать с 15-го апреля, с перемены моего заточения.

24 апреля

Прочел в немецком переводе последние две книги «Одиссеи»:[95] они чуть ли не из лучших у Гомера; особенно превосходно начало двадцать четвертой: первые стихи живо напомнили мне барельеф нашего Толстого.[96] Вечером я читал пророка Даниила: предсказания его до высочайшей степени ясны; удивляюсь, каким образом евреи, принимающие же книгу Даниила, не видят точного изображения судьбы христианской церкви в толковании пророка первого сна царя Навуходоносора[97] (см. 2 гл.).

Второй год моего дневника, начатого 25 апреля 1831 года.

25 апреля 1832 года

Вчера я забыл отметить, что ничего нельзя вообразить прекраснее и трогательнее свидания Одиссея с Лаертом в 23-й книге «Одиссеи». Это место можно бы привесть в доказательство того, что и древним была известна поэзия, изображающая чувства, хотя они (т. е. греки, а не римляне) и не знали поэзии, *рассуждающей* о чувствах (последняя, без сомнения, принадлежность позднейшего времени).

Сегодня у меня были самые живые и, можно сказать, умные сны: я толковал о самых занимательных предметах — и с кем же? — с Гете,

Пушкиным и Дельвигом. Зачем это было не наяву! Поутру я переправлял своего «Вечного Иудея». Читаю Далинову «Историю Швеции»; [98] он почти неоспоримо доказывает, что эта земля сперва состояла из разных островов и что Ботнический залив соединялся с Белым морем. Русский перевод тяжеловат, но вообще не совсем дурен.

26 апреля

Далин с своими скифами и гетами скучен до невозможности: но скуку можно бы еще победить, если бы только не встречались на каждой странице нелепости, напр. доказательства происхождения шведов от скифов, основанные на словах *скифского* языка. Кому этот скифский язык известен? Совершенное незнание славянского и финского севера также заметно на каждом шагу: у него везде только германцы и скандинавы, самих эстов он считает народом скандинавского племени. Если я смею сказать свое мнение, то думаю, что народы германского, теутского или скандинавского племени, конечно, вышли из Азии, но только не из Скифии, а из Верхней Азии, или той, которая граничит к северу с морями Каспийским и Аральским, с горами Кавказскими и степями, отделяющими сию самую возвышенную часть земного шара от Скифии, т. е. от равнин юго-восточной России и юго-западной Сибири, к востоку с китайскими владениями, к югу у подошвы Тибетинских гор с Индиею и ближе к Европе с Персидским заливом, наконец, к западу с морями Средиземным, Черным и Азовским. Сходство языков германских с персидским, турецким etc. — первое тому доказательство; вторым может служить сходство поэзии и преданий у народов сих двух племен, третьим — сходство религии древних парсов и древних тевтонов. На пути своем из Верхней Азии в Европу германы или керманы (Керманиею, Караманиею по сие время называется одна Персидская область) потеснили и разделили скифов (чудь), часть коих подалась к Балтийскому и Белому морям, а часть к Уралу. За керманами потом последовали тем же путем родственные им славяне, которые совершили то, что первые начали, т. е. истребили или по крайней мере стеснили и совершенно угнели скифов, или чудь, коих бедные остатки — западные и восточные финны (т. е., кроме собственно так называемых финнов, ижорцы, эсты, карела, мордва, чуваши, черемисы и пр.).

27 апреля

По мнению Далина, должно считать три Эдды: [99] во-1-х, древнейшую, истребленную монахами при введении христианской религии; во-2-х, собранную из остатков оной около 1114 года Сэмундом Сигфусзоном, проз‹ванным› Фродом, или Мудрым, не дошедшую, однако же, до нас; наконец, в-3-х, составленную из остатков уже сей второй в 1215 году Снорре Стурлезоном, которую имеем. К ней Стурлезон присовокупил Скальду. *«Волуспа»* — древнее святое учение скандинавов.

28 апреля

Три эпохи в истории языческой Скандинавии: во-1-х, эпоха Кумблы, во-2-х, эпоха сожжения и, в-3-х, эпоха могил. Вторая начинается с *Сигге Фридульфзона* (или второго Одена), жившего будто бы во время Траяна. (Это мнение, если оно только основано на народном предании, не худо бы сличить с временами Траяновыми — «Траян вещий» в нашем «Слове о Плку Игореве»). Имя *Лонгобардов*, по мнению Далина, происходит не от длинной их бороды, но от длинных секир (*алебард*, *бард*), которыми они были вооружены.

29 апреля

Первая песнь моего «Вечного Иудея» приходит к концу. Сегодня я довольно усердно занимался греческим языком: начинаю чувствовать сладость рифмы гомеровых стихов. Можно ли в самом деле вообразить что-нибудь для слуха приятнее следующего

Φίλε κασίγνητε, κόμισαί τέ με, δὸς δέ μοι ἵππους.[a]

— ◡ ◡ — — | — ◡◡ — ◡ ◡ | — ◡ ◡ | — —

Разумеется, что этот стих, если хотят его найти приятным, не должен быть выговариваем по-рейхлински.[100]

Мне с неделю что-то грустно: впрочем, не жалуюсь, а только хочу, чтоб сия отметка, подобно другим о таком же расположении духа, после чего бывали для меня и радостные дни, служила мне уроком: не тотчас отчаиваться, когда мрачен мой обзор, а надеяться, что авось и проглянет опять солнышко.

30 апреля

Был сегодня в бане и кончил первый том Далиновой «Истории». Первый род (вероятно, баснословных) королей скандинавских происходил от *Форнъиотера*, удалившегося туда из стран, прилежащих Понту Эвксинскому, будто бы во время Митридата; из них последний был *Гильфе*, друг и чтитель Сигге Фридульфзона, называвшегося Оденом. От сего последнего начинается второй род дроттаров, сначала Сигтунских, потом Упсальских, а с Дигве, или Дигнера, сына Домарова, королей Упсальских — Инглингов, называнных так по имени Ингве, сына Одена. Филкискими королями назывались удельные властели, голдовники верховного дроттара Упсальского; а викингами или морскими королями — предводители морских удальцов, нередко сыновья и наследники Упсальского короля. *Аун* или *Ане* Древний умер 90 лет, царствовав 80: при нем власть королей Упсальских пришла в крайний упадок. При дроттаре Домальдере

а Милый мой брат, помоги мне, дай мне коней с колесницей (*греч. Пер. Н. И. Гнедича.* «Илиада», V, 359).

(будто бы в 360 году по рож‹деству› Хрис‹тову›) явился в Швеции некто *Аудей*, названный также Оденом, христианин: дроттар покровительствовал ему и его учению, за что самое был принесен на жертву идолам.[101] Дроттары и короли инглинского племени следующие: 1 — Ингве, 2 — Ниорд, 3 — Ингве Фрей, 4 — Фиольмер, 5 — Свегдур, 6 — Ванландер, 7 — Висбур, 8 — Домальдер, 9 — Домар, 10 — Дигве, 11 — Даг Мудрый, 12 — Агне, 13 — Альрик и Эрик, 14 — Альф и Ингве, 15 — правитель Гуглейк, при котором норвежец Гаке поколебал престол упсальский,[102] 16 — Эрик и Иорунд, 17 — Ане.

1 мая

День рождения моего В...[103] Сколько сладостных и горьких воспоминаний весь нынешний день наполняло душу мою! Так, я был когда-то счастлив: меня горячо и с самоотвержением любили! Не забуду никогда его последних слов: «Je prie Dieu qu'Il vous accorde le bonheur qu'Il m'a refusé».[a]

Читал я после обеда последнюю главу «Онегина»: в ней много, много чувства; несколько раз слезы навертывались у меня на глаза: нет, тут не одно искусство, тут сердце, тут душа! Поутру, после долгого промежутка, наконец у меня опять появилась небольшая лирическая пиэса; она довольно слаба, — но как в духовных песнях вовсе не желаю выказать мастерство в поэтическом ремесле, а только высказать мгновенное чувство, которое заставляет меня говорить стихами, так пусть и она найдет здесь место наряду с прочими:[104]

1

Веру дай мне, мой спаситель!
Дай мне сердца простоту!
Ты мне будь путеводитель.
[Я увидел]
Ах, познал я слепоту
Тщетных, гордых мудрований,
Лживых, полных претыканий:
Тишины и счастья мне
Не возмогут дать оне.

2

Что сокрыто от надменных,
От слепых вождей слепцов,
То увидит взор смиренных,
С тайн для них спадет покров.
Где младенцев чистых очи
Бога зрят, там ужас ночи,
Страх, сомнения и тьма
Для строптивого ума.

---

[a] «Я молю бога, чтоб он даровал вам счастье, в котором он мне отказал» (*франц.*).

3

Ты зовешь: я прибегаю
К твоему кресту, к тебе;
Я к тебе в слезах взываю —
Ты внемли моей мольбе:
Сердца моего обманы
Обложили, как туманы,
Солнце истины святой —
Их рассей, о боже мой!

4

Без тебя я, слабый, хладный,
В грешной ли своей груди
Свет могу обресть отрадный,
Свет надежды на пути
Из страны несовершенства
В область вечного блаженства?
Ты — вождя иного нет —
Ты мой вождь, и щит, и свет.

2 мая

Сегодня я перестал кофе пить, а принялся за молоко: замечаю это, потому что сам варил кофе и в приготовлении его едва ли не находил еще большее удовольствие, нежели в самом питье. Начал второй том Далиновой «Истории»: в ужасном царствовании Ингиальда Ильроде (последнего упсальского короля инглинского племени) и не менее ужасной смерти его можно бы найти стихии для сочинения трагедии вроде Шекспирова «Макбета».[105]

3 мая

«История» Далина становится несколько занимательнее: Рагнар Лодброк и сыновья его — лица, в подлинном существовании которых сомневаться нельзя.[106] Жаль, что Далин не приводит никогда (или по крайней мере очень редко) настоящих слов Эдды и других древних источников, из которых почерпает свои известия: это было бы не в пример поучительнее всех его толкований именам, взятым из языков финского и славянского, ему неизвестных, или даже скифского, никому не известного.

Ансгарий, апостол шведский: о нем рассказывает *Oernhielm*[a] следующее: «Царедворцы (Олофа, соправителя Биерна Иернсиды) советовали ему отдать все свое имущество, чтобы только возвратиться в отечество. Но Ансгарий отвечал: „Я ничего за жизнь свою не даю; она принадлежит всемогущему богу, коего дела исполняю; он может ее у меня отнять, когда ему угодно“». Это напоминает Лютера в Вормсе.[107]

---

[a] Ернхильм (*швед.*).

4 мая

Если только справедливо, что Новгородская Русь и Холмогордия, о которой гласят шведские известия, одно и то же, и равномерно справедливо, что искони в сей Холмогордии господствовало варяжское (шведское) племя, то весьма понятно, каким образом Гостомысл — буде только он сам был не славянин, а варяг, — мог присоветовать своим единоплеменникам, вельможам новгородским — *не славянам*, — призвать из Швеции правителя *для усмирения бунтующих противу варягов славян и чуди*. Изгнание варягов, предшествовавшее сему призванию, не противоречит нимало этому объяснению: варяги могли быть изгнаны из одной части Руси или Холмогордии, а держаться в другой и из этой другой послать к своим единоплеменникам и просить у них предводителя и помощи.

Заметил я странное явление, которое почти всякий раз случается, когда после обеда засну читая; мне всегда почти снится — особенно если книга скучна, — что продолжаю чтение: вижу страницы, перевертываю их, читаю какое-то продолжение, сочиняемое моим воображением, того, что читал наяву, — и только тогда уверяюсь, что спал, когда, проснувшись, увижу книгу возле себя закрытою.

5 мая

Забавный и некровопролитный способ вести войну: «Исландцы потеряли на датских берегах (в 950 году) корабль, который датчане разграбили. За это исландцы так рассердились, что всем вообще в Исландии дано было предписание, *чтобы с каждого носа во всей земле, как бы подать, внесена была ругательная песнь на короля датского* (Гаральда Гормсона, проз‹ванного› Блотандом)».[108]

Сегодня, перед самым концом первой книги моего «Вечного Жида», встретилась мне остановка.

6 мая

Писал сегодня к матушке, сестре Улиньке и младшей племяннице.

Гомер всегда останется новым в своих сравнениях. Они не всегда очень точны, но всегда до чрезвычайности живы, а именно потому, что не слегка набросаны, но не менее главной картины тщательно дорисованы.

7 мая

После Ане Древнего, инглинского рода короли следующие: 18. Эгиль Тунна-Долги, 19. Оттар Вендилькраки, 20. Адиль, 21. Эстегос, 22. *Ингвар Великий* (его сын Скира в Холмогорде), 23. Брет Амунд, 24. Ингиальд Ильроде, 25. Олоф Третелья (отрешается от престола и удерживается

в Верменландии удельным королем). После Олофа завладел упсальским престолом *Ифвар Видфамне,* сын датского короля Гальфдана Скорого; по нем царствовали совокупно его внуки (дети его дочери Эды) Гаральд Гильдстанд, сын датского короля Рерика, и Рандвер, сын холмгордского короля Радбарда, а по смерти Рандвера Гаральд один. 26. Сигурд Ринг, сын Рандвера, возобновитель инглинского племени, ибо происходил по отцу от Скиры, сына Ингвара Великого, но соправителем его был, по смерти Гаральда, убитого в Бровальском сражении, Эйстон Бели, сын сего несчастного его дяди; 27. *Рагнар Лодброк* (Элла лишает жизни сего великого мужа), 28. Биерн Иернсида (королем упсальским по отречении от принятия престола старшего брата его *Ифвара Бенлеса,* покорившего потом Англию, — *Ансгарий*); 29. Эрик Биернсон; 30. Биерн Эриксон и племянник его Эрик Рефильсон; 31. Эрик (один); 32. *Эрик* и Биерн Биернсон (первый будто бы наш Рюрик, что, однако же, не согласно с нашим летосчислением, ибо Эрик жил около 900-го году); 33. Биерн и соправители его Эмунд Эриксон, а потом Эрик Эмундсон; 34. Эрик (один); 35. Биерн IV, Олоф и Эрик (сыновья его и соправители); 36. Эрик Сегерсель (Победитель) — бунт Стирбиерна Олофсона; [109] 37. Олоф Скетконунг (введение христианства). Сигрида Сторрида, мать его, выходит вторично замуж за сына Оттона, короля датского; 38. Амунд Иаков; 39. Эмунд Старый — после него междоусобная война между его сыном Эриком и Эриком Амундсоном: с их смертью в 1060 году прекращается род Инглингов. Карл Великий был современником Ифвара Видфамне, Гаральда Гильдстанда и Сигурда Ринга; Гаральд Гарфагер и Рольф (Роло) Нормандский — современниками Биерна III; Канут Великий, сын Свена, современником Олафа Скетконунга. Владимир Великий и Олоф Триггасон, воспитывавшийся при его дворе, — Биерна IV; Ярослав — Олофа Скетконунга.

8 мая

Прочел 9 глав 1-й Книги Маккавеев: [110] эта книга гораздо более прочих двух по простоте слога подходит к древним еврейским бытописаниям; в ней почти не заметно влияние александрийских иудеев, принявших весьма уже в то время испорченный вкус и напыщенный способ изложения тамошних греков и *эллинистов* (не греков, писавших по-гречески); вероятно, что Первая книга Маккавеев писана современником сих героев.

9 мая

Вчера я в первый раз лег спать без свечки. На плацу вчера вечером играла музыка и, между прочим, известную симфонию «Коль славен наш господь в Сионе».[111] Часто слыхал я ее в Лицее, когда пели товарищи; ныне она на меня сильно подействовала: раз, потому что эта музыка истинно хороша, во-вторых, что мне так редко случается слышать му-

зыку, наконец, что с этою симфониею во мне ожила тьма воспоминаний. Сегодня я переправлял первую (все еще не конченную) часть своего «Вечного Жида», читал по-гречески, потом прочел остальные главы Первой книги Маккавеев — и, наконец, со скуки читал «Еруслана Лазаревича» — «длинной сказки вздор живой».[112] Простодушие наших сказочников иногда истинно гомеровское: знаю, что многие, прочитав это, ахнут — но, несмотря ни на чье аханье, nota mea manet,[a] и что правда, то правда.

10 мая

Был у меня в последний раз добрый пастор Ильстрем и простился со мною. Сегодня у меня отконопатили окно, так что я целый день почти пользовался чистым воздухом. При нынешней перемене книг не получил я продолжения Далиновой «Истории», а вместо оного «Путешествие» Сарычева[113] и — Курганова «Письмовник».[114] Впрочем, этот последний вовсе не так дурен, как я воображал; напротив, по времени, когда был написан, может назваться очень порядочною, даже хорошею книгою. И ныне можно в нем найти довольно много любопытного: не говорю уж об очень полном «Собрании русских пословиц», между которыми я нашел много мне вовсе неизвестных и чрезвычайно замысловатых; но и анекдоты, т. е. те, которые у него названы анекдотами, а не повестями, все почти хороши, по крайней мере гораздо лучше большей части печатаемых ныне. Пословицы самые резкие [разительные] я намерен выписать.

11 мая

Получил письмо от моей доброй сестры Улиньки. Принесли мне это письмо, когда я читал Сарычева «Путешествие». Потом я хотел опять продолжить чтение, но, как Онегин,

Меж печатными строками
Читал духовными глазами
Иные строки.[115]

Сестра в своем письме мне говорит про друзей моих Бегичевых:[116] Москва и мое московское житье и все те, которые мне были так дороги и с которыми никогда, никогда мне уже не видеться, проносились мимо души моей, как тени. Кто эта Варвара Ивановна,[117] от которой сестра получила известие о моих приятелях? неужто (Варинька?) Яблочкова, моя бывшая ученица? Или та маленькая брюнетка, которую встречал я в доме Дмитрия Никитича?

Герминия Ивановна, двоюродная сестра моя, скончалась в родах: я ее знал очень мало, но жаль мне бедной тетушки.

[a] остаюсь при своем мнении (*лат.*).

12 мая

Провел день довольно праздно: только читал. Сарычева замечания об устье Амура и вообще о всей этой реке заставляют жалеть, что она не осталась за Россиею.

13 мая

Писал сегодня к сестрице Улиньке.

Этого году я много начал, а ничего не кончил: «Вечного Жида» придется также оставить; я не в духе сочинять. Попытаюсь-ка переводить, а именно примусь за Шекспирова «Короля Лира». Из описания нравов чукчей Сарычевым видно, что оные чрезвычайно сходствуют с нравами древних норманов: та же храбрость, и та же суровость, да чуть ли не те же понятия о чести.

14 мая

Получил письма от матушки и Юстины Карловны и список с писем брата к ним, начиная с 1 января по 25 февраля. Кроме того, деньги, халат, словарь анг‹лийский› и несколько белья. Письмо матушки до глубины сердца меня тронуло. В братиных везде видна его честная, добрая душа: с каким участием говорит он и обо мне — боже мой! Если бы мы когда-нибудь могли быть вместе! И он того желает: он готов разделить мое заточение! Чем я это заслужил и чем могу отблагодарить его за такую любовь? Бедный Репин! какою ужасною смертию кончилась его страдальческая жизнь! Кто тот другой, что с ним вместе погиб? Не Глебов ли? [118]

15 мая

Перечел два действия «Лира». Трудно, чрезвычайно трудно будет переводить эту трагедию: «Макбет» и даже «*Histories*» [а] в сравнении с нею легки. Но должно решиться выбрать что-нибудь: я в течение всей трети этого года ничего еще не сделал. «Ричарда III»? или «The Tempest»? [б] или «Midsummer Night's Dream? [в] Благо у меня теперь нет посторонних книг: прочту эти три пьесы; неужто ни на одной не остановлюсь?

16 мая

Прочел последние три действия «Лира» и уверился, что при совершенном недостатке пособий, как-то: немецкого перевода, комментарий на

[а] «Исторические хроники» (*англ.*).
[б] «Буря» (*англ.*).
[в] «Сон в летнюю ночь» (*англ.*).

Шекспира, подробного английского словаря и беседы с знатоком обоих языков, умным приятелем, — мне невозможно *ныне* хорошо перевесть эту трагедию: она из самых трудных для перевода. Остановился я, кажется, на «Ричарде III», которого слог ровнее и не так отрывист, и начал, т. е. в *два часа* перевел 13 первых стихов.

17 мая

Сегодня я провел день деятельно. Поутру перевел первый монолог Ричарда III, а после обеда писал к матушке и к сестре; зато не читал по-гречески.

18 мая

Поутру переводил я «Ричарда III», после обеда хотел было переписать сегодняшнее и вчерашнее, да прекрасная погода прельстила меня, просидел вплоть до ужина у окна и читал Уакера:[119] английские гласные такой хаос, что едва ли добьюсь толку, как они произносятся.

19 мая

ВОЗНЕСЕНИЕ[120]

Сонет

Божественный на божием престоле:
[На небеса, превыше] Христос на небо, выше всех светил,
В свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, [дивный] в славе воспарил.

Своих же не покинул он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил:
Нет, слабых их и трепетных дотоле
[В любви] [Неколебимо твердо] [в вере] [укрепил]
Неколебимым сердцем одарил.

И всех, стремящихся к его святыне,
[На крылиях души] Горе на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне.
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь слез и [шуму] горя, в [довольной] шумной
сей пустыне
И так вещает: «Близок день побед!».

Переписал перевод последних трех дней и несколько прибавил.

20 мая

Переводя первый монолог Ричарда III, я заметил в нем странное сходство с известным монологом «Орлеанской девы» Шиллера: «Die Waf-

fen ruhn»[а] (см. 4 дейст<вие> начало). Характеры совершенно разные; но положение сходно, и *для меня* нет сомнения, что Шекспиров монолог, без ведома, может быть, самого подражателя, произвел монолог Шиллера.[121]

Сегодня я наконец добрался до шестой книги «Илиады»: хотелось бы мне до 9 июня прочесть шестую; тогда ровно в год прочел бы я четвертую долю «Илиады», потому что 9 июня 1831 <г.> в первый раз опять принялся за греческий язык, которому выучиться я было уж совсем отчаялся.

21 мая

Вот пословицы, которые я хотел выписать из Курганова «Письмовника»:[122]

Атаманом артель крепка.
Адамовы ле́та с начала света.
Аминем беса не отбыть.
Бившись с коровой — не молоко.
Бодливой корове бог рог не дает.
Бабка скачет задом и передом, а дело идет своим чередом.
Беда ходит не по лесу — по людям.
Борода выросла, да ума не вынесла.
Брат — мой, а ум у него — свой.
Борода — что ворота, а ума — с прикалиток.
Бог не выдаст, свинья не съест.
Бьется что слепой козел об ясли.
Беглому одна дорога, а погонщикам много.
Бег не красен, да здоров.
Бочка меду, да ложка дегтю. (Не наоборот ли эта пословица говорится?)
Выше лба уши не растут. (Es ist dafür gesorgt, daß die Bäumen nicht in den Himmel wachsen[б]).
В людях Илья, а дома свинья.
В чужих руках всегда ломоть велик.
Воин изнеможет — и свинья переможет.
Всякому свое и не мыто — бело.
Велик телом, да мал делом.
В друге стрела что во пне, а себе как в сердце.
В воду глядишь, а «огонь» говоришь.
В дождь избы не кроют, а в ведро и сама не каплет.
В ведро епанчу возить, а в дождь и сама ездит.
(S'il fait beau, prends ton manteau; S'il pleut, prends le, si tu veux[в]).
Вор не всегда крадет, а всегда берегись.
Взяли ходины: не будут ли родины?

[а] Оружие отдыхает (*нем.*).

[б] Заботятся о том, чтобы деревья не росли на небе (*нем.*). Пословица, смысл которой: всему положен свой предел, или: выше головы не прыгнешь; тщетные усилия.

[в] Если хорошая погода, бери свой плащ; если дождь, то бери его, если хочешь (*франц.*).

В руках было, да по пальцам сплыло.
Всякий спляшет, да не как скоморох.
Гляди под ноги: чего не найдешь — ноги не зашибешь.
Гость немного гостит, да много видит.
Горшок котлу завидует, а оба черны.
Где смерд видел, тут бог не был.
Гость? гостú! а пошел — прости!
Глаза как плошки, а не видят ни крошки.
Голос как в тереме, а душа что в венике.
Где был? у друга. Что пил? воду; лучше неприятельского меду.
Грехи любезны доводят до бездны.
Гусли потеха, а хуже ореха.
Голодной куме хлеб на уме.
Где сердце лежит, туда и око бежит.
Где бес не сможет, туда бабу пошлет.
Два одному — рать.
Двое в поле воюют, а один горюет.
Друг другу терем ставит, а недруг гроб ладит.
Дураку и в алтаре не спускают.
Дураков не орут, не сеют, и сами растут.
Его милее нет, когда уйдет.
Есть нета лучше.
Есть и медок, да засечен в ледок.
Есть что слушать, а нечего кушать.
Есть в мошне, так будет и в квашне.
Если бы на горох не мороз, он бы через тын перерос.
Жалеть мешка, не завесть дружка.
Женское лето по Петров день.
Журавль межи не знает и через ступает.
За сиротою бог с калитою.
Земля любит навоз, конь овес, а бара принос.
Звал на честь, а посадил на печь.
За мухой не с обухом.
За хвост не удержаться, коли гриву упустил.
Замешался, что пест в ложках.
Зачал за здравье, а свел за упокой.
За неволю к полю, коли лесу нет.
Зоб полон, а глаза голодны.
Из одного дерева икона и лопата.
Иной любит попа, а иной попадью.
Иван был в орде, а Марья вести сказывает.
Испустя лето, да в лес по малину.
Игуменья за чарку, а сестры за ковши.
И по рылу знать, что не простых свиней.
Как хлеба край, так и под елью рай.
Каково в лесу гукнется, таково и откликнется.
Как лапотника не станет, так и бархатник не встанет.
Кормил калачом, да в спину кирпичом.
Кинь хлеб-соль назад, будет впереди.
Кто украл — тому один грех, а у кого — тому десять.
Кусают и комары до поры.
Красно поле с рожью, а речь с ложью.
Который бог вымочил, тот и высушит.
Красна речь слушаньем.
Кой день прошел, тот до нас дошел; а кой впереди, того берегись.
Какову чашу другу налил, такову и самому пить.
Княгине ребя, кошке котя таково ж дитя.

Какова псу кормля, такова от него и ловля.
Кучился, мучился, а упросил, так и бросил.
Кто слезам потачет, тот сам заплачет.
Кому поживется, у того и петух несется.
Ласково телятко две матки сосет.
Ложкой кормит, а стеблем глаз колет.
Любить тепло, и дым терпеть.
Ласковое слово пуще дубины.
Людям не верит да сам смерит.
Лисица хвоста своего не замарает.
Лучше хромать, чем сиднем сидеть.
Люди ходят, ничуть не слыхать; а мы как ни ступим, так стукнем.
Летает хорошо, да садиться не умеет.
Люди спать, а он шалфей искать.
Лес сечь — не жалеть плеч.
Лишь зажить паном, а то все придет даром.
Лучше плыть пучину, чем терпеть кручину.
Либо в сук, либо в тетерю.
Лакома овца до соли, а коза до воли.
Либо сена клок, либо вилы в бок.
Мы про людей вечеринку сидим, а люди про нас и ночь не спят.
Матка по дочке плачет, а дочка по доске скачет.
Маленька собачка до старости щенок.
Мыло серо, да моет бело.
Не считайся с рабою (не рябою ли?), не сровняет с собою.
Не плюй в колодец — случится воды испить.
Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что в лес зашла.
На языке медок, а на сердце ледок.
На одном гвозде всего не повесишь.
Не смогла с коровой, да подойник обземь.
Не видал — корову купил — будет ли на лето трава.
Не видал — корову наживал — будет ли на лето трава.
Не свой нож, не любой кус.
Не вскормя, ворога не видать.
Незнаемая прямизна наводит на кривизну.
Не ломайся, овсяник, не быть калачом!
Не дери глаз на чужой квас; ране вставай да свой затирай.
Не осуди в лаптях, сапоги в санях.
Не угадывай пива на сусле.
Не только свету, что в окошке.
Не все, что серо, и волк.
Не до поросят, как самое свинью палят.
Нашему ли теляти волка пойматн?
Ни то, ни се кипело, и то пригорело.
Не дать взаймы — на час остуда, дать — навек ссора.
Не дорога лодыга, дорога обида.
На тихого бог нанесет, а резвый сам натечет.
Не чаешь где часу часовать, а бог приведет и ночь почевать.
Не избывай постылого, приберет бог милого.
Нашед чернец клобук, не скачет, а потеряв, не плачет.
Наряд соколий, а походка воронья.
Не ума набраться, что с дураком подраться.
Не хвались отцом, хвались молодцом.
Не сули царства небесна, да не бей кнутом.
На нагнутую сосну и коза вскочит.
Не плачь, мати! о чужом дитяти.

Осердяся на вши, да шубу в печь.
Один глупый в море камень бросит, а сто умных не вынут.
Опасенье — половина спасенья.
Овечку стригут, а другая того же жди.
Один и у каши не спор.
Отрезан ломоть— к хлебу не пристанет.
Орлы бьются, а молодцам перья.
Отольются волку коровьи слезы.
От искры сыр бор загорается.
Плохого князя и телята лижут.
Погнался за ломтем, да хлеб потерял.
После рати много храбрых.
Про одни дрожди не говорят трожды.
По саже хоть гладь, хоть бей, все будешь черен от ней.
Пролитое полно не бывает.
По бороде Авраам, а по делам Хам.
Поправился с печи — на лоб.
Прячется, как пава с яйцом.
Радостен бес, что отпущен инок в лес.
Разжился, как вошь в коросте.
Сорвав голову, над волосами не плачут.
Спросил бы у гуся: не зябнут ли ноги!
Сам семи печей хлебы едал.
Старый долг за находку место.
Силен медведь, да воли нет.
С чужого коня середи грязи долой.
Спасиба в карман не кладут.
Старый ворон не каркнет даром.
Снастью и вошь убить.
Сидеть на ряду, не молвь: не могу!
Скачет просвирня за церковью, людям не видно, да богу в честь!
Сам на обухе рожь молотит, а зерна не уронит.
Светил бы месяц, а звезды даром.
Совок, да не ловок, спешлив, да сметлив.
Сыт пономарь и попу подает.
Столом трясет, а хлеб вон несет.
Сын отца умнее — радость, а брат брата умнее — зависть.
Слово не воробей, а выпустишь — не схватишь.
Слово не стрела, а к сердцу льнет.
С умом суму носить, а без ума и суму потерять.
Силою и солому ломишь.
Смолоду прорешка, а под старость дыра.
Тесть любит честь, а зять любит взять, а шурин глазом щурит.
Терпи голова, в кости скована.
То не овца, что с волком пошла.
Твой приговор, да тебе ж во двор.
Ты за пирог, а черт поперек!
Товар полюбится и — ум раступится.
Удастся — квас, а не удастся — кислы щи.
Укравши часовник, да: «Услыши, господи, правду мою!».
У всякого Павла своя правда.
У Фили пили, да Филю ж и били.
У кого пропало, тому грешнее.
Улита едет, коли-то будет?
Упился бедами (не грехами ли?), а охмелился слезами.
У праздника не без бражника.
Хоть на хвойке, да на своей вольке.

Хоть криво впряг, да поехал так.
Хлеб-соль ешь, а правду-таки режь.
Худо в карты играть, а козырей не знать.
Холостого сватом не посылают.
Худо овцам, где волк воевода.
Хотя дитя криво, да отцу-матери мило.
Честь добра, да съесть нельзя.
Чего глазом не досмотришь, то мошною доплатишь.
Чья душа чесноку не ела, та и не воняет.
Чему посмеешься, тому сам поработаешь.
Честного мужа знала и нужа.
Чужой рот не хлев, не затворишь.
Чужую кровлю кроет, а своя каплет.
Что у тебя, то у друга не свербит.
Что то говорить, что курица не доит.
Шапка в рубль, а щи без круп.
Щука умерла, да зубы живы.
Щастья духовною не утвердишь.
Ел ли, не ел ли, а за обед почтут.
Юному хвастать, а старому хрястать.
Я его выручил, а он меня выучил.
Я вашец, ты вашец, а кто ж хлеба напашец?
Яким плошина рукавицы ищет, а двои за поясом.

Господствующий дух русских пословиц — ирония. Очень мало таких, которые то, что хотят сказать, говорят прямо, — большая часть из них выражается обиняками: некоторые истинные апологи в двух, трех словах. Не знаю пословиц остроумнее русских: старинные французские очень хороши, но не забавнее многих наших. Удивительно, что при таком богатстве народного остроумия у нас так мало веселых, смешных песен, а более все заунывные.

Сегодня я кончил первую сцену «Ричарда III», но не переписал еще всей.

22 мая

Прочел Вторую книгу Маккавеев: в ней очень заметно влияние греческих понятий; не полагаю, чтобы современник Давида выхвалял самоубийство Разиса,[123] как то превозносит оное сей сократитель не дошедших до нас пяти книг Иасона Киринейского. Слог также гораздо более в духе современных сократителю греческих писателей, нежели Книг Царств или Паралипоменона. Всего для меня трогательнее в сем повествовании смерть старца Элеазара, прекрасен также эпизод о матери и семи сыновьях-мучениках,[124] особенно окончание. Что касается до самих происшествий — первая книга, без всякого сомнения, достовернее: однако же в сей второй отношения Иуды к Никанору, по-видимому, рассказаны человеком, осведомившимся о них точнее и подробнее.[125]

23 мая

Перечел дневник с 24 апреля, кроме, однако ж, пословиц. Начал шестую книгу «Илиады» и вторую сцену «Ричарда III».

Стихи, написанные мною 1 мая, мне ныне гораздо лучше понравились, чем когда я их сочинял. Это со мною в первый раз: обыкновенно пьеса, полежав, кажется мне хуже, чем в первом жару родительского самолюбия, как то и сегодня случилось с сонетом 19 числа.

24 мая

Сегодня поутру у меня пол мыли, и потому-то я немного сбился с обыкновенного порядка моих занятий, т. е. не переводил, а целый день читал «Записки» Головнина: впрочем, должно признаться, что и книга такова, что трудно от нее оторваться, особенно же человеку, который по необходимости должен был находить не скучными Курганова «Письмовник» и «Деревенскую библиотеку». Курилец Алексей[126] такое лицо, которого нельзя не полюбить: твердость его и пренебрежение даже смертною казнию, коею ему угрожали японцы за благородное его сознание в обмане его земляков, сказавших, будто бы они были подосланы русскими, заслуживают назваться геройскими; этот дикарь пристыжает многих просвещенных умников.

25 мая

«Записки» Головнина, без всякого сомнения, и по слогу, и по содержанию одна из самых лучших книг на русском языке. Завтра выпишу кое-что из нее; сегодня уж слишком поздно: подают повестку, а мне необходимо после ужина несколько походить, да хочется еще дочесть начатую главу.

26 мая

Сегодня День Рождения Пушкина.

Образчик японских вопросов: какое платье носит русский государь? Что он носит на голове? Какие птицы водятся около Петербурга? Что стоит сшить в России платье, которое теперь на вас? Сколько пушек перед государевым дворцом? Из какой шерсти делают сукно в Европе? Каких животных, птиц и рыб едят русские? На какой лошади ездит ваш государь верхом? Кто с ним ездит? Сколько в длину, ширину и вышину имеет государев дворец? Сколько в нем окон? (Потом несколько дельных). Носят ли русские шелковое платье? Каких лет женщины начинают рожать в России? (О подобных предметах спрашивано у Головнина при допросах Матсмайским губернатором). Имя первого губернатора Матсмайского, при котором наши находились в Японии в полону, заслуживает того, чтобы оное помнить: Аррао Тадзимано Ками подвергался побегом наших из Матсмая опасности лишиться головы, но несмотря на то не пе-

рестал быть благодетелем и покровителем наших несчастных соотечественников; а между тем он не был христианин, принадлежал народу, который мщение почитает не пороком, а обязанностию; сколь многих европейцев пристыжает этот японец! Какая разница в его поведении с жестокосердым и вместе глупым поведением начальника замка Санто-Анджело, в котором был заключен несчастный Бенвенуто Челлини! (см.: Benwennuto Tschellini, eine Biographie von Göethe).[127]

Из числа японских знакомых Головнина не должно забыть и благородного, умного Теске, и доброго Кумаджеро.[128] Прекрасна также черта японского императорского чиновника, ставшего с своим сослуживцем перед пушками, из которых княжеский военноначальник хотел палить на русских вопреки повелению Кумбо-самы (т. е. императора), и объявившего, что только со смертию его и его товарища можно исполнить это намерение. А ответ японцев Головнину на его извинение ошибок противу правил языка, случившихся в бумагах, присланных из Иркутска японскому правительству?

Головнин считает японцев, айнов, курильцев и жителей Сахалина происшедшими от одного племени. Азбуки у них две: своя алфавитная и китайская; они понимают китайские книги, и не зная по-китайски. Не худо бы и у нас в Европе для ученых предметов, особенно для философских, точных и естественных наук, изобресть подобные гиероглифы, понятные всем ученым без различия особенного языка земли каждого. Члены и предлоги ставят японцы после имен. Корея и Ликейские острова в зависимости от Японии. Японцы уверяли Головнина, что в Эддо до 10 мил‹лионов› жителей. Сверх того, их *ученые* уверяли его о существовании водоземного животного с человеческою головою. Различных религий в Японии семь, а по некоторым только 4: начальник всех их Кин-Рей (духовный император).

Читая Головнина, нельзя не полюбить японцев, несмотря на их странности, которые, впрочем, вовсе не глупы.

27 мая

Сегодня под вечер я продолжал перевод, начатый поутру, второй сцены «Ричарда III», а потом, устав, стал перечитывать славное появление душ убиенных Ричардом их убийце. Это одна из тех сцен в Шекспире, которые всего более люблю, всему более удивляюсь, тут в самой несколько шероховатой и вместе бестелесной, воздушной конструкции стихов нечто неизъяснимое, подирающее по коже стужею и выжимающее из глаз слезы; это одно из тех мест в Шекспире, где я всего более нашел той музыкальности, о которой говорит Шиллер.

28 мая

Мои именины. Сегодня я прилежно читал по-гречески; зато и наслаждался такими стихами, которых даже у Гомера не слишком много. Вы-

писываю их, чтобы вытвердить наизусть; они из рапсодии «Диомед и Главк».[129]

Диомед спрашивает у Главка: кто он? Главк отвечает:

> ...τί ἦ γενεῆν ἐρεείνεις;
> οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
> Φύλλα τὰ μέν τ' ἄνεμος χαμάδις χέει ἄλλα δέ θ' ὕλη
> τηλεθόωσα φύει. ἔαρος δ' ἐπιγίγνεται ὥρη.
> ως ἀιδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει, ἡ δ' ἀπολήγει.[а]

Стихи бесподобны: подобие совершенно гомеровское, но искренно признаюсь, что я не ожидал столь *романтического*, столь глубокого чувства от патриарха *бесстрастной* (naive[б]) поэзии — старика Гомера. Это-то меня заставляет думать: рапсодия «Диомед и Главк» не позднейшая ли? Не принадлежит ли она веку Ликурга или даже Солона[130] (оба сии законодателя, как известно, занимались собиранием рапсодий, составивших впоследствии «Илиаду» и «Одиссею»). Самое слово φέριστε,[в] коим Диомед приветствует Главка, не в духе тех ругательств и насмешек, коими обыкновенно Гомеровы ратоборцы друг друга потчуют перед вступлением в битву.

29 мая

Троицын день.

Перелистывая Уакера (Walker), я нашел стихи, которые здесь выписываю, раз, потому что хороши, а во-вторых, потому, что в них заключается высокая истина:

> Some dream that they can silence, when they will,
> The storm of passion, and say, «Peace, be still»;
> But «Thus far, and no farther», when address'd
> To the wild wave, or wilder human breast,
> Implies authority that never can,
> That never ought to be the lot of man.
>
> (Cowper, «Progress of Error»)[г] [131]

а ...почто вопрошаешь о роде?
Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков:
Ветер одни по земле развевает, другие дубрава,
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают;
Так человеки: одни нарождаются, те погибают.
(греч. Пер. Н. И. Гнедича).

б простодушной (*франц.*).

в доблестнейший (*греч.*).

г Некоторые мечтают, что смогут, если захотят, смирить бурю страсти и сказать: «Утихни, успокойся!». Но когда говорят: «До сих пор и не далее!» — бурной волне или еще более бурному человеческому сердцу, то подобные слова не могут и не должны властвовать над судьбой человека. Каупер. «Путь ошибок» (*англ.*).

30 мая

Перечитывал 3 часть Шекспирова «Генри Шестого». Она уступает второй части и «Ричарду Третьему». Но бесподобна сцена короля и обоих воинов, сыноубийцы и отцеубийцы. По моему мнению, лучшие «Histories» у Шекспира — оба «Ричарда» и первая часть «Генри IV».

31 мая

Поутру я занимался своим переводом, а после обеда прочел «Записки» Рикорда,[132] мне вовсе еще не известные. Записки Головнина мне более нравятся: они проще, в них нет никакого притязания на витиеватость и тем-то именно они так хороши. Рикорд же, напротив, иногда старается щегольнуть красноречием, а особенно карамзинскою чувствительностию; несмотря на это, «Записки» Рикорда все-таки книга очень занимательная, и очень жаль, что у нас не более подобных. К именам японцев, внесенным мною на память в дневник из «Записок» Головнина, присовокупляю имя почтенного, добродетельного *Такатая-Кахи*: он принадлежит к тем людям, которых, по его же выражению, и в Японии без фонаря видеть можно. Из многого прекрасного, что о нем говорит автор, выписываю только следующее: «Особенно его пленяли примеры благородства и великости души, подобные поступку Долгорукого.[133] Кахи, по выслушании такого анекдота, всегда поднимал руки в знак почтения на голову, произнося с особенным душевным почтением: „Оки! оки!“, т. е. „великий!“, *и потом, прижимая их к сердцу, говорил*: *„Кусыри!“*, т. е. *„лекарство!“*». Что же касается до г. Мура, искренно признаюсь, я бы желал, чтобы ни Головнин, ни Рикорд (если бы только то было возможно) не сказали о нем ни слова.[134]

1 июня

Приближается день, в который мне минет 35 лет. Этот год хотя в некоторых отношениях для меня и лучше прошлого, однако же чрезвычайно беден вдохновениями; на сей счет я был счастливее даже в минувший 1831 год: три довольно значительные сочинения я в течение его написал и кончил одно (может быть, лучшее из всех моих произведений);[135] с 1-го января 1832 года я ничего, ровно ничего не сделал, хотя и многое начинал.

Ужель и неба лучшие дары[136]
Слетают в душу только на мгновенье?
[Ужель и звезды вечные теченье
Свершают в тверди только до поры?]
Ужель по тверди только до поры
Свершают звезды дивное теченье?
Огонь души, святое вдохновенье
[Ужели] Должно ли ведать гнев враждебных лет?
Должно ли опадать в одно мгновенье,
Как ветром сорванный со стебля цвет?

[Увы! от часу на час] реже, реже
Увы мне! с часу на час реже, реже
[Им согревается мой скорбный дух]
Бывает им согрет унылый дух.
[Вотще его в полете ловит слух]
[И песнь его уловит жадный слух]
И тот же мир, и впечатленья те же,
Но прежних песней не уловит слух.
[Но я не тот: нет прежних светлых дум,
Уж в сердце нет того живого чувства,
Которым окрылялся тяжкий ум.
Я ныне раб холодного искусства]
Но я не тот: уж нет живого чувства,
Которым средь свободных, смелых дум
Бывал отважный окрыляем ум;
Я робкий раб холодного искусства;
Глава седеет: в осень скорбных лет
Ни жару, ни цветов весенних нет.

2 июня

Дай бог, чтоб мои прогулки по плацформе были часто так вдохновительны, как вчерашняя и сегодняшняя: стихи, какими я им обязан, без сомнения, — вздор, но они меня тешат, но они мне ручаются, что огонь мой еще не вовсе отгорел, — и этого для меня пока довольно. Мысль для куплетов, которые здесь следуют,[137] подал мне прекрасный клен, растущий в виду гауптвахты.

1

Скажи, кудрявый сын лесов священных,
Исполненный могучей красоты!
Средь камней, соков жизненных лишенных,
Какой судьбою вырос ты?

2

Ты развился перед моей тюрьмою —
Сколь многое напоминаешь мне!
Здесь не с кем мне — поговорю с тобою
О милой сердцу старине:

3

О времени, когда, подобно птице,
Жилице [радостной твоих] вольной средь твоих ветвей,
Я песнь свободную певал деннице
И блеску западных лучей;

4

Тогда с брегов смиренной Авиноры,
В лесах моей Эстонии родной,
Впервые жадно вдаль простер я взоры,
    Мятежной мучимый тоской.

5

Твои всходящие до неба братья
Видали, как завешанную тьмой
Страну я звал, манил в свои объятья,
    И покачали головой.

6

А ныне ты свидетель совершенья
Того, что прорицалось ими мне:
[Не ты ль певца]
[Певца последний друг средь заточенья]
[Мой] [Не ты ли, в скорбной сей стране?]
[В угрюмой... стране]
[Певца в угрюмой сей стране]
Не ты ль последний в мраке заточенья
    Мой друг в угрюмой сей стране?

Сегодня и перевод мой лучше шел, нежели вчера; и по-гречески прочел я довольно. Μνηστή[а] значит по-гречески *обрученная*; не от сего ли слова происходит наше *невеста*? Если так, то это может послужить доказательством, что греческое η вообще произносилось как наше Е или Ѣ, а не как И.

3 июня

Слово δᾶερ,[б] без сомнения (мне так по крайней мере кажется), одного корня с нашим — *деверь* (перемена буквы α на русское Е не удивительна: эти звуки и на греческом в разных наречиях, а иногда в одном и том же нередко меняются). Если же взять, что это слово к нам перешло с дигаммою F—В, которая означается одними лишь позднейшими комментаторами, а обыкновенно только подразумевается, то нет сомнения, что оное передалось нам не в письменных памятниках, а в живой речи — гораздо прежде Кирилла и Мефодия — и что тогда буква η выговаривалась как наша буква Е; в противном случае мы бы получили слово *дивиръ*, а не *деверъ*. С дигаммою не это одно греческое слово повторилось на русском (а не славянском, т. е. на живом, не письменном языке); помню еще одно: ὤχρα,[в] у нас *вохра*; но полагаю, что нашлось бы их гораздо

а сговоренная, просватанная (*греч.*).
б деверь, брат мужа (*греч.*).
в бледная, желтоватая (*греч.*).

больше, если бы только прилежно вслушиваться в разговор простого народа и особенно в областные наречия. Когда эти слова были славянами заняты у греков? Или принадлежат они общему корню всех верхнеазийских языков (этим именем называет Аделунг — см. «Mithridates» [138] — родственные между собою языки: германский, славянский, греческий, персидский, турецкий)? Быть может, они относятся еще к тому времени, когда «die Sprache Slavania[а] mit der jüngern Schwester Jonia gern auf Thrakischen Bergen um Orfeus spielte. Voß».[б] [139]

4 июня

Unwiderbringlich schnell entfliehn [140]
Die Tage, die uns Gott verliehn.
Die Woche kommt und eilt davon,
Vergangen ist auch diese schon.[в]

Эти стихи удивительно как хорошо выражают чувство, которое бывает в груди моей всякую почти субботу. Опять прошла неделя, — и, благодаря господа, прошла для меня довольно приятно, потому что я был деятелен; сегодня только я мало занимался, потому что был в бане.

5 июня

Перечитывал я, что Бутман говорит о дигамме, [141] и нашел у него следующие слова, перед которыми, он предполагает, что была она в стихах Гомера и которые на русском тоже ее имеют: ἕκυρασ[г] (*свёкор* — если взять в рассуждение, что перед греческим стоит еще asper,[д] то, кажется, не удивительно, что перед русским равно значащим словом очутилась буква С — свистящие и гортанные звуки находятся в видимом родстве); ἀρήν[е] (*баран* — о перемене η на α ни слова — тому примеров множество, — но что дигамма превратилась у нас в Б, а не в В, то можно объяснить сродством обеих букв. Новые греки β выговаривают как В, а испанцы вчастую буквою υ заменяют латинский звук В); ε'ἴδω[ж] (*видеть* — знаки ε довольно рано стали у греков выговариваться за и). Наконец, ὖινος[з] (*вино* — сие слово, вероятно, перешло к славянам в позднейшее время, ибо в старину они не пили вина,

---

а У Фосса, разумеется, тут: Teutonia, да и выражения jüngere я не беру на свою ответственность (*примеч. Кюхельбекера*).

б «Язык славян вместе с младшей сестрой Ионией охотно играл на Фракийских горах близ Орфея. Фосс» (*нем.*).

в Безвозвратно быстро уносятся дни, которые нам посылает бог. Неделя приходит — и спешит прочь, и вот уже и эта прошла (*нем.*).

г свекор, отец мужа (*греч.*).

д придыхательный, знак придыхания (*лат.*).

е баран (*греч.*).

ж видеть (*греч.*).

з вино (*греч.*).

а мед и пиво; зато и знаки δι уже заменились у них звуком и знаком и, ибо таким образом греки, вероятно, тогда уже выговаривали оные, когда в 4 или 5 столетии познакомили впервые славян с этим напитком). Сверх того, дигамма глагола ἐλίδδειν[а] повторилась в немецком wälzen,[б] ἔργον[в] в немецком Werk,[г] ἐσθής[д] в латинском vestis,[е] ἕσπερος[ж] в латинском vesper.[з] Далее я полагаю, что Ἰλιός[и] (сие имя собственное также Бутман приводит в числе слов, произносимых Гомером с дигаммою) бывало произносимо так или иначе, как, напр., у нас в просторечии: Орша и Ворша, Варшава и Аршава, Окша и Вокша. Тут, кстати, вспомнил я, как насилу мог уверить моего любезного Санхо-Панзу Балашова (бывшего моего камердинера), что Варшава и Орша не один и тот же город; он долго твердил: «Что Аршава, что Ворша — все один черт!».

6 июня

Нет ничего бесстыднее предуведомлений и объявлений книгопродавцев, братьев Глазуновых.[142] Доказательством тому может служить предуведомление перед бестолковым «Описанием всех обитающих в Российском государстве народов». Эта книга меня из терпенья вывела: она так нахально выхвалена издателями и так глупа, что трудно вообразить; а вот, между прочим, что Кюхельбекер должен читать за неимением ничего другого! Поневоле сделаешься дураком. Впрочем, я уверен, что тут Георги очень мало виноват: а дело-то все *наших* любезных переводчиков. Напр., может ли быть, чтоб Георги, член Российской Академии, человек ученый, знавший, без сомнения, Нестора и труды Шлецера, полагал, что *Русь*, или *Россы*, и *народы финского поколения* — одно и то же? Или что к этим руссо-финнам принадлежат шведы, датчане и, прошу покорно, алеуты? Может ли быть, чтоб он толковал о сыр-мидах?[143] чтоб — но эти *чтоб* не скоро бы кончились. Однако же и в дурных книгах можно найти иногда любопытное, новое: таково и здесь известие о странной болезни лопарок, происходящей от испугу; я этому верю, потому что Сарычев подобное рассказывает о якутке.

7 июня

Удивляюсь, каким образом ни один историк не вздумал причислить к народам славянского поколения язычгов и маркоманнов, с которыми воевал Марк Аврелий.[144] Язычги — не языки ли, т. е. словене, люди *говоря-*

[а] крутить, вращать (*греч.*).
[б] катать (*нем.*).
[в] дело, работа (*греч.*).
[г] дело, работа (*нем.*).
[д] одежда, платье (*греч.*).
[е] одежда, платье, ковер (*лат.*).
[ж] вечер, запад (*греч.*).
[з] вечер, запад, вечерняя звезда (*лат.*).
[и] Троянская область, Илиада (*греч.*).

щие, в отличие от *немцев*, т. е. *немых*, как славяне называли всех своих соседей, каких наречия не понимали? Маркоманны не *украйнцы* ли, т. е. народ порубежный, и не от них ли *Крайн* (*Австрийская Украйна*, обитаемая и поныне славянами) получил свое название? По крайней мере Крайн составлял же часть земли, занимаемой сим народом. Сегодня я был довольно прилежен: если бы то же было и вчера, я, вероятно, не прогневался бы так на несчастных братьев Глазуновых, на бедного Георги и на жалкое описание народов, в котором, однако же, все-таки можно найти кое-что не вовсе дурное, так, напр., о татарах говорится тут — по крайней мере сначала — довольно основательно. Увидим, что будет дальше.

8 июня

Сегодня наконец я добрался до последнего стиха шестой книги «Илиады»: ровно год я читал эти шесть книг; надеюсь, что следующие шесть прочту скорее; сверх того, я с августа по март почти вовсе не занимался греческим языком, а прилежно принялся вновь за него не прежде мая. Шестая песнь — одна из прекраснейших во всей «Илиаде». Теперь надобно мне и Гомера, и словарь отдать в переплет: итак, последует перерывка в моих занятиях. Когда же получу их обратно, то сначала перечту прочитанное, а потом уж примусь за 7-ю книгу.

9 июня

Хотелось бы мне кончить I действие «Ричарда III» до 16 числа, чтобы по крайней мере не более месяца переводить одно действие: бывало, я месяца в два мог перевесть целую трагедию; но теперь что-то дело идет медленнее. Впрочем, должно сказать, что «Ричард III» чуть ли не труднее для перевода «Макбета» и «Ричарда II». В «Макбете» везде почти слог поэтический, высокий (не говоря о сценах, где действуют ведьмы — лица, впрочем, вовсе не прозаические ни по слогу, ни по характеру); а в «Ричарде III» при высочайшей поэзии чувств, ужаса и положений — оболочка везде почти совершенно прозаическая: а это-то именно всего труднее передать с одного языка на другой.

10 июня

Сегодня мне минуло 35 лет: итак, я уже ближе к старости, чем к молодости. После завтрака я прочел в молитвеннике три гимна на день рождения; второй — «Schon wieder ist von meinem Leben» [a] — превосходен и как будто нарочно для меня сочинен; я намерен его перевесть; между тем вот стихи, которые мне самому дались на этот день:[145]

1

[Вот день, когда]
[Так! в этот день открыл я вежды]
[Для радостей и для надежды]

---

[a] «Опять о моей жизни» (*нем.*).

[Для чувств, для страха,
для скорбей]
Вот день, в который для надежды,
Для радостей и для скорбей,
Для чувств и дум открыл я вежды,
Для испытаний жизни сей.
[В сей] [прозрел мой взор]
[Отверзлися] уста немые,
В сей день издали глас впервые.
[И голос я издал впервые]
[Болезни] [Печальный] крик был
тот привет,
С которым я взглянул на свет.

Вот день, в который я впервые
Отверз уста свои немые.
И свету плач был мой привет,
В тот день, когда узрел я свет.

2

И много, много мне печали,
Наставшие часы и дни
Страданья много даровали,
И темны впереди они.
Но бог отец чадолюбивый:
Мне день, и не один, счастливый
Был послан им: благословен
Да будет он, господь времен!

3

Приял я от него благое —
И злого я ли не приму?
Мое желание слепое
Что может предписать ему?
Он знает пору: ведро, грозы,
Веселье, горе, смех и слезы
Его святый и дивный рок
Дает вселенной в должный срок.

4

Сгоняют вар и мглу с лазури
И возрождают вновь эфир
Всевышним посланные бури,
От них юнеет дряхлый мир.
И как они моря и сушу,
Так точно бури жизни душу
[Без них бы умерла она]
Подъемлют с гибельного сна,
И обновляется она.

[5

Нет, не ропщу и пред тобою
Смиряюсь, боже, боже сил, —
[Так!] Ты будь за все прославлен мною,
Что мне послать благоволил.

Ты ведаешь и срок, и время.
Так не молю ж: ослаби бремя!
[Ты повелел — я несть]
Велел ты — я носить готов.
Но мне внемли, отец духов!

6

[Отец мой!] Внемли мне! Не отринь молений,
[Взываний горестной] Взывания моей души:
Избавь меня от преткновений
И от [грехов меня] падения спаси!
[Я слаб, но ты своею]
Своею чудотворной силой
Крепи, воздвигни дух мой хилой,
Пошли мне свет твоей любви,
[И им мне сердце обнови]
Мне сердце в персях обнови.]

7

[Да устремлюся]
Мой путь — не путь ли к совершенству?
[Да поищу] Итак, вперед с сего же дня:
[Стези к надзвездному] блаженству
Без страха к горнему блаженству!
[Пока не вознесешь] Вперед, и вознесет меня
[С земли сей] Мой бог из края искушенья
В священный край успокоенья,
Туда [в страну твоих] духов
В отечество твоих духов,
Где буду чист и без грехов.

Писал сегодня к матушке и к обеим сестрам и тем, так сказать, освятил этот день.

11 июня

Древние иногда разделяли естество человеческое на дух, тень и тело: по мифам некоторых философов, дух после смерти возвращался на небо, где и прежде находился до своего соединения с телом, тело истлевало, а тень пребывала в Аиде. Долго я не мог понять, что такое, собственно, греческие умствователи разумели под словом *тень* (manes[a])? Сегодня одно явление, которое и прежде я в самом себе замечал, разрешило мне эту загадку. В душе человеческой есть область, так сказать, телесная, механическая, низшая. Ее населяют *тени*, отголоски телесного мира: воспоминания, на которые ум и воображение не обращают внимания, которые часто сами о себе не имеют ясного сознания, — воспоминания чисто те-

---

[a] души умерших, тени усопших (*лат.*).

лесные: о звуках, цветах, напевах, словах, знаках. Воспоминания — более, чем простые впечатления, но менее, чем мысли. Сверх того, они не простой только запас понятий — иначе всю область сию можно бы было назвать памятью, не согреваемою, не оживляемою воображением, — нет! Они не вовсе лишены движения: я в душе своей нередко замечал двойственное, в одно и то же время происходящее действие; случалось, что *дух* мой был занят чем-нибудь истинно высоким в то самое мгновение, как *тень* (так назову я сию низшую область души) напевала какой-нибудь экосез или мазурку или видела перед собою всякую всячину. Но иногда и дух не следует воле и место его заступает тень. Так, у Пушкина: глаза Онегин<ов>ой тени только читают печатные строки, а духовными глазами он читает совсем иное, ибо одухотворяет воображение; при действиях же тени оно не заметно; если же становится заметным, то уже действие перенеслось в *высшую* область, где владычествует дух.

12 июня

Прибавлю к вчерашней отметке кое-что, чего не успел написать вчера.

Внешнюю, так сказать, сторону, *поверхность* души древние назвали *тенью*; и поелику она образуется по впечатлениям с предметов телесного мира, очень естественно, что по смерти отделяли ее от духа и назначали ей иное местопребывание: здесь тень сохраняла и склонности, и привязанности чисто телесные — земные; упражнения остались те же; олимпийский боец и в Аиде метал диск или боролся, Орфей играл на лире, —

Et l'ombre d'un cocher
Avec l'ombre d'une brosse
Nettoyait l'ombre d'une carosse.[a] [146]

13 июня

Кроме тунгусов, якутов, остяков и некоторых племен татарского поколения, довольно многолюдных, вся Сибирь населена развалинами народов, которые, вероятно, со временем совершенно исчезнут, как в Европе почти уже исчезли народы кельтийского поколения, истребленные племенами фракийскими, германскими и славянскими. Георги рассказывает о некоторых остатках самоедского рода в средних и полуденных полосах Сибири, слившихся с сибирскими татарами и забывших даже язык свой. То же самое рассказывал мне Матюшкин [147] о племени, смежном с юкагирами, у коего он застал одного только человека, говорящего еще первобытным языком своего народа. И о юкагирах Матюшкин думает, что они вскоре совершенно *обрусеют*. Впрочем, не для чего искать в Сибири того, что и у нас в Европейской России происходит: литва, сие некогда столь страшное племя, почти исчезла; они все почти стали по-

---

[a] И тень кучера тенью щетки чистила тень кареты (*франц.).*

ляками или белорусцами: едва ли теперь и двадцать тысяч мужеского полу литвяков говорят еще по-литовски.

14 июня

Не нравится мне, когда переводчик Георги, говоря об обращении каких-нибудь грубых идолопоклонников сибирских из шаманства в исламизм или даже в менее грубое многобожие ламитов, употребляет слово *были прельщены* или подобное. Мне кажется, что истинный христианин должен бы, напротив, радоваться, когда язычники хоть несколько начинают приближаться в понятиях своих о высочайшем существе к тем святым истинам, которые вполне, конечно, находятся в одном учении спасителя, но от которых — надеюсь — магометане или самые ламиты не отстоят так далеко, как бедные последователи шаманских бредней. Вообще насмешки над обрядами и мнениями и презрение к вероисповедываниям других народов мне ненавистны: это у меня наследие от моего покойного друга.[148] Он был, без всякого сомнения, смиренный и строгий христианин и беспрекословно верил учению св‹ятой› церкви; но между тем радовался, когда во мнениях нехристианских народов находил высокое, утешительное, говорящее сердцу и душе человека непредубежденного, не зараженного *предрассудками половинного просвещения*.[a]

15 июня

Сегодняшнее число я должен считать одним из счастливейших дней моей жизни: я получил шесть писем от родных,— и в числе их ответ брата на письмо, которое я к нему писал прошлого года в декабре месяце. Получив первое письмо от него, я еще сомневался: позволят ли быть между нами настоящей переписке; теперь вижу, что могу пользоваться этим благодеянием, ибо и он получил мое письмо. Кроме того, письмецо от племянника Бориса, которому я также очень рад, ибо уже не полагал, что буду от него и от Николиньки получать письма.

16 июня

Писал письма. Прохаживаясь по плацформе, я видел несчастного, у которого одна ступня, и то наизворот, там, где обыкновенно бывает колено, а другой вовсе нет. При отзыве Осипова, что бог его, верно, нака-

---

[a] Вот что я написал и как, в самом деле, думал в 1832 году. Теперь я несколько извиняю переводчика Георги за слова *были прельщены*, потому что здесь, в Сибири, на месте я узнал, что гораздо легче обратить в истинную веру грубого шаманита, нежели ученика лам, которые своих последователей держат под игом строгой и хитрой иерархии; сверх того, обряды довольно пышные и тонкости ламского лжеучения — такие препятствия, которых проповедник слова божия не встретит между дикарями, следующими еще шаманству (*примеч. В. К. Кюхельбекера, 1841 г.*).

зал так за какие-нибудь грехи, я вспомнил слова спасителя при подобном вопросе учеников о слепорожденном: «Ни сей согреши, ни родители его, но да явятся дела божие на нем». Ев‹ангелие› от Иоан‹на›, гл.9, ст. 3. Так, я уверен, что и этот бедный калека не лишен таких утех, о которых мы, здоровые, и догадаться не можем: отец наш небесный не оставляет никого, и верно, и его не оставил.

17 июня

Целый почти день писал письма и немного устал.

18 июня

Нынешний месяц для меня довольно счастлив насчет мелких пиэс: та, которую сегодня внесу в дневник, — четвертая. Между тем ее содержание именно сожаление о том, что прежнее вдохновение меня покинуло, и это сожаление не есть просто поэтический вымысл: что́ в самом деле две недели, не вовсе лишенные проблесков восторга (и то элегического), в сравнении с целыми месяцами полной, мощной жизни в областях фантазии, какою я наслаждался прошлого году? Это с одной стороны; с другой, скажу без всякого лицемерия, что я сегодняшнее стихотворение охотно бы отдал за самый скудный сонет вроде таких, каков, напр., сонет от 19 мая.

ЭЛЕГИЯ [149]

Склонился на руку тяжелою главою
В темнице сумрачный задумчивый поэт —
Почто очей его погас могущий свет?
Что стало пред его померкшею душою?
    О чем мечтает? или дух его
    Лишился мужества всего
    И пал пред неприязненной судьбою?
    Не нужно состраданья твоего —
    К чему твои вопросы, хладный зритель
    Тоски, которой не понять тебе?
    Твоих ли утешений, утешитель,
    Он требует? Оставь их при себе!
[Не тужит он]
Нет, не ему тужить о суетной утрате
    Того, что счастием зовете вы.
Равно доволен он и во дворце, и в хате;
Не поседели бы власы его главы,
    Хотя бы сам, в поту лица, руками
Приобретал свой хлеб за тяжкою сохой.
Он был бы тверд под бурей и грозами
    [Он] И равнодушно снес бы мрак и зной.
[Нет] Он не терзается и по златой свободе:
Пока огонь небес в [в нем] поэте не потух,
Поэта и в цепях еще свободен дух.
    Когда ж и с грустью мыслит о природе,
О божьих чудесах на небе, на земле,

[О долах, о лесах, о их священной мгле]
О долах, о горах, о необъятном своде,
О рощах, тонущих в вечерней белой мгле,
О солнечном блистательном восходе
И дивном сонме звезд златых,
[Сей тьме и тьме] Бесчисленных лампад всемирного чертога,
[Сем лике] Несметных исповедников немых
Премудрости, величья, славы бога, —
Не без отрады все же он:
В его груди вселенная иная!
В ней тот же благости таинственный закон,
В ней та же заповедь святая,
По коей выше тьмы, и зол, и облаков
Без устали течет [несметный сонм] великий полк миров.
[Желаешь знать] Но ведать хочешь ты, что сумрак знаменует,
Которым, будто тучей, облегло
Певца высокое чело?
[Так ведай: горестный о жребии тоскует]
[Вотще!] Увы! он о судьбе тоскует,
[Какою ни Гомер] Какой ни Меонид, ни Камоэнс, ни Тасс,
И в песнях, и в бедах его предтечи,
Не испытали; пламень в нем погас,
[С которым] тот, с коим не были ему ужасны встречи
Ни с скорбным недугом, ни с хладной нищетой,
Ни с ветреной изменой
[Любовницы давно] Любви давно забытой и презренной,
Ни даже с душною тюрьмой.

19 июня

Никогда не сочту за стыд признаться в своей ошибке: вот почему и признаюсь, что в «Описании народов» etc., несмотря на множество нелепостей, есть кое-что и хорошее, напр., статья о запорожских казаках очень и очень недурна. И научиться можно кое-чему из этой книги, напр.: что так называемое Андреевское село в Чечене точно построено казаками (это я, впрочем, слыхал еще в Грузии), а именно гребенскими, и получило свое название от их атамана Андрея, следств‹енно› не есть перекованное на русскую стать чеченское имя сего, некогда (до взятия оного приступом в 1818 году Ермоловым) столь цветущего и многолюдного торгового и ремесленного места, которое чеченцами, населявшими оное, называлось *Эндрен*. Сверх того, я даже узнал в этой же книге очень хорошее русское мне незнакомое слово, а именно *крушец* — металл, особенно прилаг‹ательное› *крушцовый* можно бы предпочесть длинному, вялому и противному свойству русского языка прилагательному *металлический*.

20 июня

Читаю Карамзина «Вестник Европы». Должно признаться, что для того времени этот журнал чрезвычайно хорош; да и ныне он по занимательности занял бы не из последних мест между нашими изданиями, а по

слогу чуть ли не первое. Полевой, которого, впрочем, очень уважаю, по слогу варвар, а Греч с своим грамматически правильным слогом сух и в самом слоге, в разнообразности же познаний далеко уступает и Полевому, и Карамзину. Глубины у всех трех довольно мало; но все-таки у Полевого и Карамзина не в пример более, нежели у Греча, который ничего не видит и не хочет видеть, даже того, что он затвердил еще в школе или чего нахватался кое-как из журналов иностранных самого пошлого разряду. С удовольствием прочел я статью «Последние дни Лафатера»[150] и повесть госпожи Жанлис «Все на зло».[151] Не слишком люблю добрую старушку, но должно всякому отдавать справедливость — повесть хороша; одна мысль в ней бесподобна. Ее я выпишу завтра, потому что теперь темно и надобно ее еще отыскать.

21 июня

Вот что я хотел выписать из вчерашней повести: «В добродетели есть какая-то приятность, которая час от часу более привязывает к ней человека; следственно, она не так трудна, как говорят многие, ибо наслаждается самыми своими жертвами». Сегодня же я прочел еще одну повесть того же автора «Вольнодумство и набожность»[152] и не стыжусь признаться, что начинаю мириться с доброю Жанлис. Наконец в своем переводе добрался я до бесподобной сцены, где Кларенс рассказывает тюремщику свой сон: я эту сцену перевел сегодня поутру. Получил Гомера от переплетчика.

22 июня

Начал перечитывать первые шесть книг «Илиады»: сегодня прочел 100 стихов — это не слишком много; по меньшей мере мне нужно будет шесть недель, чтобы дойти до 7 книги. В «Вестнике» прочел я еще повесть Жанлис «Роза, или Дворец и хижина»;[153] и она недурна; впрочем, принцесса, кормящая грудью умирающего крестьянского младенца, нечто такое, что поневоле шевельнет сердце, кем бы и как бы то ни было рассказано.

23 июня

Вот некоторые мысли Шатобриана, которые господин Карамзин (здесь невозможно обойтись без слова «господин») *поднимает на смех*:[154] «В мыслях, образах, цветах, звуках все изящное целомудренно». Критик подчеркивает *звуках*, *цветах* — разве (говоря уже совершенно прозаически) ему никогда не случалось слышать *похабных* звуков, не случалось видеть *бесстыдных* цветов? Как же назвать то, что противоположно им? Далее: «Вечная судьба бросает огромною рукою своею (jette de la

vaste main[а] у Карамзина: *из обширной* руки, и *обширной* подчеркнуто — кто тут виноват? разве vaste только и значит *обширный*?) и зерно, питающее насекомое, и солнце, которое освещает их». И это Николаю Михайловичу кажется смешным?

Шатобриан говорит о потопе истинно библейскими словами: «Земля зинула и поглотила воды»; виноват ли он, что г‹осподин› К‹арамзин› не умел или не хотел перевесть французского слова bailler[б] высоким и совершенно то же значущим *зинула*, а поставил *зевнула*?

«Умел ли ты проникнуть в сокровище града и знаешь ли те бездны, в которых судьба почерпает смерть в страшный день мести своей?». Виноват ли Ш‹атобриан›, что К‹арамзин› не читал «Книги Иова», где почти слово от слова то же? Да и что тут смешного?

«Печаль есть утешение» (У Карамзина: *горесть*) — и К‹арамзин› находит, что это несправедливо?

При чудесном изображении конца мира, где Шатобриан говорит словами Апокалипсиса: «Дети завопят во чреве (у К‹арамзина› comme de raison:[в] «в брюхе») матерей своих, и смерть помчится на *бледном* коне своем», критик восклицает: «Не умеем вообразить ничего нелепее такой нелепости», — признаюсь, я не ожидал таких суждений от Карамзина, воспитанного не французскими староверами, а, как известно, немцами, и знакомого не с одною французскою литературою века Людовика XIV. Эпитет *pâle*[г] (фр. *библейский*) К‹арамзин› перевел *бледный*, но я уверен, что в нашей Библии другое слово: я его отыщу.

24 июня

Иванов день. Сегодня я напоследок кончил первое действие «Ричарда III»; осталось только списать стихов с 50 с аспидной доски. Что-то нездоровится.

25 июня

День рождения государя: ему минуло 36 лет. Сегодня суббота; итак, кстати внесу в дневник перевод немецких стихов «Unwiderbringlich schnell entfliehn»,[д] вечерней молитвы в субботу.[155] Немецкий подлинник из лучших стихов в молитвеннике (Gesangbuch[е]), их можно бы назвать немецким словом kernig[ж] (наше *сочный* почти то же выражает):

[а] бросает огромной рукой (*франц.*). Vaste — обширный, огромный, широкий, разносторонний.

[б] зевать, зиять (*франц.*).

[в] как и следовало ожидать (*франц.*).

[г] бледный, бесцветный, тусклый, вялый (*франц.*); библейское — блед.

[д] «Безвозвратно быстро улетают» (*нем.*).

[е] Песенник, молитвенник (*нем.*).

[ж] ядреный, выразительный (*нем.*).

1

Летят — возврата нет часам,
Назначенным от бога нам!
За ночью день, за мраком свет —
И вот уже недели нет!

2

[О боже] О верный! благостный! хвала
За все любви твоей дела,
[За тьму и тьму] Хвала за тьму щедрот твоих!
[Нам каждый день являет их]
Когда ж и где не видим их?

3

[Когда свободны]
Свободны ли мы от вины —
Кем были мы укреплены?
[В добре ли видели успех]
[Тобой мы] Тобою победили грех!
Ты дал нам силу и успех.

4

[Но] И кто [же пред тобою] [смертный] ж пред богом чист и прав?
[Грешим, и часто,]
Увы, грешим, и не узнав.
Ходатай наш Христова кровь —
[Отец, прости! ты весь]
Помилуй, вечная любовь.

5

Несемся [мы стезею] по потоку дней
Все ближе к вечности твоей:
Тобой сочтен наш каждый час,
Последний [же] ты скрыл от нас.
[Но ты] последний скрыл от нас.

6

Даруй же силу, царь веков,
Да не страшит нас зев гробов,
И на суду нас оправдай,
[И будь нам смерть дорогой в рай]
И смертью нас веди в свой рай.

7

[Когда окончим]
Тогда, окончив путь земной,
Твоей отеческой рукой
В твой горний дом на небо мы
Возьмемся из жилища тьмы.

8

Там сумрака, там ночи нет,
Там блещет неизменный свет:
О солнце правды! нам твой луч
Да светит средь житейских туч.

Все еще нездоровится: нет позыву на пищу и голова болит. Прочел я во второй части «Вестника» статейку в роде тех, которых ныне у нас столько пишут в подражание Жуи: «Моя исповедь»; [156] должно признаться, что из числа нынешних едва ли найдется такая, чтобы могла сравниться с этою, писанною за тридцать лет.

26 июня

Перечел дневник с 23 мая по сегодняшнее число. Этот месяц прошел для меня, благодаря господа, довольно счастливо: досад у меня не было, а от брата я получил письмо, что должен считать великим благодеянием. Слава богу, скучаю менее прежнего и мало-помалу начинаю привыкать к своему положению.

В 1 части «Вестника» послание «К Эмилии» [157] очень не дурно: есть мысли истинные и даже не совсем старые; слог и отделка стихов и теперь бы почлись изрядными. Дело о супружеском счастии. Автор мимоходом говорит о том, что в свете почитают счастием, и продолжает:

Я спорить не хочу, но мне позволят быть
Довольным в хижине, любимым — и любить!
Так пастырь с берега взирает на волненье
Нептуновых пучин и видит корабли
Игралищем стихий; желает им спасенья,
Но рад, что сам стоит надежно на земли.

Последние 4 стиха очень хороши. Есть, правда, местами *прелесть карамзинской* чувствительности, но...

27 июня

Стыжусь, я опять был малодушен. Как часто бываю похож на пророка Иону, который, когда иссохла его тыква, восклицал: «Уже ми умрети, нежели жити!». Впрочем, может быть, сегодня я несколько извиняюсь тем, что точно нездоров, а нездоровому человеку можно кое-что и

простить. Поутру хотел, как обыкновенно, переводить, но дело не шло на лад; взялся за Гомера — и тут что-то не клеилось; к счастию, принесли мне книги — они меня немного развеселили.

28 июня

Благодаря бога, чувствую себя лучше. Во сне я опять видел Грибоедова и других милых мне. Все эти дни у меня сны были очень живы (что, может быть, происходит от расстроенного желудка). Но я заметил нечто странное, любопытное для психологов и физиологов: с некоторого времени часто снятся мне не предметы, не происшествия, а какие-то чудные сокращения тех и других, сокращения, которые к ним относятся, напр., так, как гиероглиф к изображению или список содержания книги (Inhaltsverzeichnis) к самой книге. Не происходит ли это от малочисленности предметов, меня окружающих, и происшествий, случающихся со мною?

29 июня

Петров день. Живы ли *мои* именинники? [158]

У меня когда-то были претолстые тетради, в которые я собирал разительные, встречавшиеся мне при чтении мысли. Если бы мне случилось перечесть эти тетради, я, вероятно бы, удивился, видя, сколько в них вздору: но тем не менее они мне очень были полезны. И ныне выписываю иногда кое-что из того, что читаю, однако же жатва довольно скудная, отчасти от того, что мало что еще ново для меня в *области мыслей* (хотя и очень многое ново в *области знаний*); отчасти же от того, что книги, которые теперь читаю, не могут щеголять богатством мыслей. Впрочем, завтра выпишу мысль не новую, но довольно удачно выраженную Камилем Жорданом,[159] и замечание г‹оспо›жи Жанлис [160] в роде тех, которые даются одним женщинам.

30 июня

«Разум спасается от заблуждений своих дальнейшими успехами Разума» (К. Жордан в сочинении «Истинный смысл народного согласия на вечное консульство Н. Бонапарте» — см. «Вест‹ник› Евр‹опы›», кн. 6).

«Благопристойность имеет строгие законы и так нежна, что иногда походит на чувство; не мудрено: она выдумана для его замены». (Из повести «Женщина-автор», в которой много тонкого, острого и справедливого).

Сегодня я прочел отрывок *Русского* Романа «Рыцарь нашего времени»; хотелось бы знать, кто автор? [161] Он подражает Стерну,[162] но не без таланта.

Ныне была здесь первая гроза — и это *30* июня!

1 июля

Не могу не выписать двух стихов из Гомера, которые чуть ли не лучшие изо всех звукоподражательных, какие случалось мне читать или слышать:

> ...ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
> αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος.[а]

Анапестическое падение последнего стиха особенно хорошо.

В «Вестнике» прочел я случай — si non vero bene trovato[б] — любви глухонемого к слепой: этим можно бы эпизодически воспользоваться в каком-нибудь романе.

2 июля

Прочел я статейку Карамзина,[163] которой лет десять не читал, а именно «Исторические воспоминания на пути к Троице...». Здесь говорит и судит совсем не тот человек, что написал «Историю государства Российского», и не знаю, не справедливее ли мысли Карамзина в 1802, чем в 1820 и последующих? По крайней мере искреннее. Еще в 1818-м году я сам слышал от Карамзина, что так называемого Лже-Димитрия (разумеется, *первого*) он считает истинным. О Борисе он в «Воспоминаниях» также совершенно иначе судит, нежели в «Истории».

С удовольствием я встретился в «Вестнике» с известною «Элегиею» покойного Андрея Тургенева (брата моих приятелей);[164] еще в Лицее я любил это стихотворение и тогда даже больше «Сельского кладбища», хотя и был в то время энтузиастом Жуковского. Окончание Тургенева «Элегии» бесподобно:

> Там твой смущенный дух найдет себе покой
> И позабудет все, чем он терзался прежде,
> Где вера не нужна, где места нет надежде,
> Где царство вечное одной любви святой.

3 июля

Получил от матушки письмо; кормилица моя умерла — давно ли? — этого матушка не пишет.

Я прочел «Апокалипсис».[165] Место, которому подражал Шатобриан (см. отметку 23 июня), 8 ст. 6 главы: «И видех: и се конь *блед* и сидящий на нем, имя ему Смерть», и пр. *Блед* не то же, что *бледный*, а чуть ли не значит *соловый* (fahl,[в] помнится, в Лютеровом переводе).

[а] ...подобно как волны немолчно шумящего моря,
В брег разбиваясь огромный, гремят, и ответствует понт им.

(*греч. Пер. Н. И. Гнедича.* «Илиада», II, 209—210).

[б] если не верно, то хорошо выдумано (*итал.*).

[в] бледный, блеклый (*нем.*).

Искренно признаюсь, что редко читаю «Апокалипсис», потому что не понимаю. Но есть места, не уступающие в силе и возвышенности самым сильным и высоким в пророчествах Исайи и Иеремии. Наприм.: «И видех единого ангела, стояща на солнце и возопи гласом велиим, глаголя птицам небесным, парящим посреде небес: „Приидите и соберитеся на вечерю великую божию, да снесте плоти царей, и плоти крепких, и плоти тысящников и плоти коней и сидящих на них, и плоти всех свободных и рабов, и малых и великих!“».[a]

4 июля

Я крепко простудился: лом в пояснице и в левой руке; не мог ничем заниматься, а целый день пролежал.

5 июля

Легче, но чувствую себя слабым, быть может, от вчерашнего лежания. Писал к матушке. В 7-й книжке «Вестника» стихи Тургенева, которые мне очень полюбились; не понимаю, как Жуковский, друг и товарищ покойника, и сам поэт с талантом, не поместил их в своем «Собрании». Вот они: [166]

Сыны отечества клянутся,
И небо слышит клятву их!
О как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, а пламя в них: (Бесподобный стих!)
Тебя, Отечество святое,
Тебя любить, тебе служить:
Вот наше звание прямое!

(Слабо, но поэту едва ли было 17 лет, и писал же он в 1803 году, когда на московском Парнасе всего менее хлопотали о силе).

Следуют прекрасные 4 стиха:

Мы жизнию своей купить
Твое готовы благоденство:
Погибель за тебя — блажество,
И смерть — бессмертие для нас!

Далее:

Не содрогнемся в страшный час
Среди мечей на ратном поле;
Тебя *и* Бога призовем (у автора *как*, а не *и*),

---

a «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громовым голосом, говоря птицам небесным, парящим в небесах: „Придите и соберитесь на великую вечерю божию, чтобы съесть тела царей, тела сильных и тела начальников тысяч и тела коней и сидящих на них, и тела всех свободных и рабов, и малых, и великих“» (*церк.-слав.*). Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), гл. 19, ст. 17—18.

И враг не узрит солнца боле,
Или сраженные падем, (Опять прекрасно!)
И наша смерть благословится, } Лишние два стиха.
Сон вечности покроет нас, }
Когда вздохнем в последний раз,
Сей вздох тебе же посвятится!

Несчастна Россия насчет людей с талантом: этот юноша, который в Благородном пансионе был счастливый соперник Жуковского и, вероятно, превзошел бы его, — умер, не достигнув и двадцати лет.

6 июля

Вчера я мучился хандрой — сегодня на душе легче: я даже несколько и занимался — переводил «Ричарда III». Сцена, которую предстоит мне перевесть,[а] напоминает своим симметрическим расположением известную в «Генри VI» между королем и двумя воинами, из коих один убил сына, а другой отца своего. Без сомнения, идея сей последней велика и выполнение мощно, но симметрия, которая в таком случае более прилична музыке, нежели поэзии, несколько ослабляет действие сей сцены на читателя; во второй же она совершенно оперная.

7 июля

Гораздо труднее переводить то, что в Шекспире не выдержит суда строгой критики (хотя и многое можно бы сказать в оправдание таких мест), нежели то, что в нем истинно превосходно: так, напр., я в одно утро перевел несравненное сновидение Кларенса, а оперная сцена, о которой говорил я вчера, несмотря на то, что — благодаря Аполлона — довольно коротка, у меня еще не совсем кончена. Верх же трудностей Шекспировы concetti:[б] выпустить их нельзя — без них Шекспир не Шекспир, а между тем тут иногда бьешься над одним словом час, два и более. Не могу не сберечь для памяти имени Георга Томаса,[167] английского солдата, сделавшегося царем в Индии (о нем в «Вестнике» в 9 книге в 9 №). Этот предмет может мне когда-нибудь пригодиться для повести или романа.

8 июля

«Марфа Посадница», которой я более десяти лет не читал, несмотря на кое-какие несообразности, без сомнения, одно из лучших произведений Карамзина. Так я всегда думал и теперь думаю, прочитав эту повесть

[а] Во 2-м действии между королевой, герцогиней Йоркской и детьми Кларенса (*примеч. В. Кюхельбекера*).
[б] игра слов (*итал.*).

в «Вестнике». Последняя часть истинно хороша.[168] Жаль только, что в ней так мало истинно народного, истинно русского.

Сегодня я бился целое утро над переправкою и перепискою сцены, которую я, если бы не характер старухи княгини Йоркской, — охотно бы выкинул из Шекспира. Вообще мне кажется, что «Ричард III» не заслуживает огромной своей славы: признаюсь искренно, что «Ричард II» и «Генри IV» (особенно первая часть) мне более нравятся. В них, конечно, нет таких удивительных красот, какие являются иногда в «Ричарде III», напр. в сновидении Кларенса и в славной сцене появления душ убиенных их убийце Ричарду; но зато и нет в них столько натяжек, холоду, даже скуки.

Ел здесь в первый раз землянику.

9 июля

Был сегодня в бане и стригся. Нынешний месяц для меня еще беднее вдохновениями и прошлого: вот и мелких пьес уж нет — что из этого будет? Карамзин средние лета — от 35 до 40 — называет временем Силы и Гения; но я, кажется, действительно, а не на стать наших модных элегиков, состарелся до времени.

10 июля

Я раз уже заметил в своем дневнике, что история израильского народа некоторым образом история многих частных людей: сегодня эта мысль сильно во мне возобновилась, когда в Псалме 77 я прочел следующее место: «Егда убиваше я, тогда взыскаху его и обращахуся и утреневаху к богу: и помянуша, яко бог помощник им есть и бог вышний избавитель им есть. И возлюбиша его усты своими и языком своим солгаша ему: сердце же их не бе право с ним, ниже укрепишася в завете его». Ст. 34—38.[a]

11 июля

Увы. Принесли мне два тома карамзинского «Вестника» и два его преемников:[169] какая разница! Должно отдать справедливость Карамзину, что он, как журналист, был мастер своего дела: особенно приятны и занимательны у него статьи под заглавием «Смесь» и «Известия» и «Замечания». Джефферсон полагает, что мегаферион еще существует в Америке.[170] Гороховый дождь: справедливо ли это известие?[171] А если справедливо, сколько тут нового открывается для физики и астрономии! Замечу,

---

[a] «Когда он (бог) убивал их, они искали его и обращались с раннего утра к богу и вспоминали, что бог их помощник и бог всевышний их избавитель. И говорили ему о любви и словами своими солгали ему, сердце же их не было истинно с ним, и они не были верны завету его». Псалом 77, ст. 34—38 (*церк.-слав.*).

что статья о Московском мятеже [172] — одно из первых сочинений, читанных мною на русском языке: я ее читал, когда еще учился читать у сестрицы Юстины Карловны.

12 июля

Сегодня давно ожидаемый мною день совершения шестилетия по решении судьбы моей и злополучных моих товарищей.

Скажу с поэтом:

Шесть лет промчалось, как мечтанье,[173] —

но ах! какое тяжелое, бесконечное мечтанье! Бывали минуты, что я хотел себя уверить, что все случившееся со мною с 14 декабря 1825 не что иное, как безобразный сон расстроенного воображения; нередко хотелось мне спросить: «Когда же, когда же проснусь?». Но я не просыпался, и девять лет мне еще дремать и сердцем, и умом в тюрьме. Если милосердый бог не пошлет мне своего ангела, [который...] [174] не жалуюсь на людей, но я бы был гнусный лицемер, если бы стал хвалить свой жребий и уверять, что нахожу его прекрасным.

Сегодня день освобождения Глебова,[175] дай бог, чтоб его поселили в том же месте, где брат мой: для брата это было бы большим утешением, а Глебову теперь много что 25 лет — ему советы и пример моего брата были бы очень полезны.

Всю цену журналиста Карамзина тогда только вполне чувствуешь, когда читаешь попеременно то его, то его преемников: переход от него к ним точно переход из гостиной в лакейскую или из 1803-го года в шестидесятые. Что за слог у второго издателя (чуть ли не Каченовского!), что за образ мыслей! Какое варварство! какое площадное невежество вместе с самым надутым педантизмом и с самою несносною школьною гордостью!

13 июля

У меня опять был сильный и продолжительный припадок хандры, который продолжался почти десять дней. Сегодня наконец немножко прояснело: я даже мог переводить. Сверх того, получил письма от Юстины Карловны, от племянницы и копию с письма брата к первой. «Не должно судить, — говорит Лихтенберг, — о людях по их образу мыслей, а по тому, что сделал из них сей образ мыслей».[176] Я эту апофегму вот как понимаю (хотя и знаю, что она может иметь и совершенно другой смысл): «Не должно хвалить людей за их правила, а за то, как они следуют сим правилам». Знаю людей (и вдобавок не лицемеров), у которых самый высокий, самый благородный образ мыслей, которых правила истинно превосходны, — и которые весьма редко им следуют, хотя совершенно убеждены в их истине. Я, правда, никогда не хотел превращать

дневника своего в *исповедь*, но быть так — признаюсь, что я сам отчасти принадлежу к сим самым людям. Меня часто други и недруги сравнивали с Жан-Жаком:[177] в сем отношении я точно на него похож.

14 июля

Наконец после продолжительного времени ненастья и холоду — первый красный день. С утра до вечера не было дождя. Когда я в «Вестнике Европы» — не Карамзина, а его преемников — увидел переводы с Дюкре-дю-Мениля,[178] я пожал плечали и, признаюсь, не хотел их читать: однако же можно кое-как проглотить эту микстуру. С Жанлис я совершенно помирился: она лучше многих, которых ей предпочитают, а именно Августа Лафонтена, Шиллинга и пр.[179] По моему мнению, по степени таланта она стоит на одной доске с Каролиной Пихлер, которая, однако ж, любезнее ее, потому что у Пихлер менее притязаний на славу, ум и законодательство в литературном свете. «Добродушный» и «Любезный король» очень милые безделки.[180]

15 июля

Сестра в своем письме говорит, что не может смотреть без примеси печали на дочерей своих, воображая, что и они, ныне столь цветущие, когда-нибудь увянут же. Это подало мне мысль для следующих стихов:

Мешается с печалью радость[181]
В груди твоей,
Когда глядишь на младость
Своих цветущих дочерей.
Ты говоришь: «Как сердце восхищают!
Как душу тешат мне!
Но ах! поблекнут и оне,
Увянут так, как розы увядают!».
Сколь мне понятна скорбь твоя!
На цвет прекрасный, но мгновенный,
С рожденья самого на гибель обреченный,
Не без участия ж смотрю и я...
А ты — ты мать! Но младость есть иная,
Ее источник — дух, отчизна — небеса,
Но есть бессмертная краса —
В сравненьи с нею что земная?
3 И дева юная, и старцы с сединой
[Когда в их персях чистота святая]
2 Равно цветут, когда в них чистота святая,
[Равно цветут сей дивною красой]
1 Чудесной, не земной красой;
И [сей] цвет божественный из вертоградов рая,
Нет, не увянет в дочерях твоих;
Благоухание на небо воссылая,
Он с небом на земле связует их.
Всегда прекрасны, вечно юны,
Подруги ангелов, они взлетят туда,
Где серафимов радостные струны

Не умолкают никогда,
Где гром молчит, где не разят перуны,
Куда стремлюсь в сердечной жажде я,
Где возродится младость и моя.

Сегодняшний день я провел довольно деятельно: поутру я кончил переписанную здесь пиэсу и 2 акт «Ричарда», а после обеда писал к Юстине Карловне, Наташе и брату.

16 июля

Достопримечательное явление в литературе — сочинение индейца Мирзы-Талеба-Хана «О свободе азиатских женщин»[182] (см. В‹естник› Е‹вропы›, часть 11): оно написано совершенно по-европейски и очень умно, несмотря на то, даже из этой статьи все-таки видно, что женщины азиатские невольницы, хотя подчас и бывают тиранками, и что европейские свободнее их. К хорошим сочинениям Карамзина принадлежит «Чувствительный и Холодный»,[183] хотя Холодный иногда не выдержан, а иногда несколько карикатурен: впрочем, карикатура в большей или меньшей степени почти всегда бывает неразлучна с подобною лабрюеровскою игрою ума. Жаль в *эстетическом* смысле, что Карамзин не продолжал своего «Героя нашего времени» (он его); в этом отрывке истинный талант, несмотря на то что есть места переслащенные. В *нравственном* же смысле, напротив, может быть, очень хорошо, что нет продолжения.[184] «Вадим» Жуковского[185] (в прозе, а не 2-я часть «Двенадцати спящих дев») — ученическое произведение, но спасибо Жуковскому, что он тут в введении вспомнил столь рано отцветшего Андрея Тургенева, которого я никогда не знавал, но память которого была мне всегда — не знаю почему — любезна.

17 июля

Прочел Третью книгу Маккавеев, которой, так как и Второй, кажется, нет в Лютеровом переводе. Дни теперь наконец прекрасные; я полагал, что нынешнего лета таких уже не будет. Вот нечто, что давно уже меня поразило: в голосе, телодвижениях и походке у меня есть какое-то сходство и с братом, и с обеими моими сестрами; я это заметил около двух лет тому назад, и тогда мне приятно было напоминать себе иногда милых сердцу моему этими едва приметными оттенками и звуками. Но отдаление и время должны сглаживать это сходство; и теперь уж оно реже возбуждает мое внимание.

На память: *Альды*, отец, сын и внук,[186] славные итальянские типографщики (см. Вест‹ник› Ев‹ропы›, книжку 13 или 14).

18 июля

После двух недель лености я опять занимался греческим языком и вообще провел нынешний день довольно деятельно. Тонкая черта в эпи-

зоде о Ферсите,[187] что этот греческий Трошка, говоря о том, чем греки наделили Агамемнона, употребляет везде первое лицо множественного числа, а в других стихах, как бы для примера или мимоходом, упоминает прямо о самом себе.

19 июля

День рождения сестрицы Юстины Карловны: она тринадцатью годами старее меня, итак, ей сегодня минуло 48 лет. С этим днем сколько сопряжено дорогих для моего сердца воспоминаний!

В 19 книжке «Вестника Европы» прочел я занимательную выписку из дневника королевы Елисаветы Грэ,[188] супруги Эдуарда IV: сия выписка будто бы взята из древней рукописи, найденной в Друммонд-Кестле и изданной в свет г<оспо>жею Рутуен: сомневаюсь, однако же, несколько в подлинности этого отрывка. Мать Елисаветы была Жакелина Люксембургская, вдовствующая герцогиня Бедфорд. Принцесса Бонна, действующее лицо в 3 части Шекспирова «Генри II», не сестра, а невестка Людовика XI.

Должно признаться, что Жанлис лучше всех прочих сочинителей повестей, с которых переводы помещены в книжках первых годов «Вестника Европы». Ее «Любовники без любви» [189] — карикатура, но тонкая, умная и веселая и не в пример бо́льшего эстетического достоинства, нежели карикатура же «Барон Фламинг»,[190] коей отрывок я прочел в другой книжке «Вестника».

20 июля

В груди каждого человека заключаются зародыши всех, как добрых, так и дурных склонностей, каждой в особенности. Да не думает расточительный или щедрый, что он не способен к бережливости или даже к скупости. Зародыш склонности, страсти, — совершенно противоположной той, которая владеет им, — таится, дремлет в душе его, и случай, обстоятельства, пренебрежение ее первыми движениями легко могут пробудить ее и совершенно поработить ей того, кто почитал невозможным когда-нибудь следовать ее влечениям.

В одном из прежних номеров «Вестника» читал я известие о совершенно диком, т. е. озверевшем (если можно так выразиться), мальчике,[191] найденном в лесах Америки и привезенном в Париж в начале текущего столетия. Аббату Итару удалось ему возвратить утраченное достоинство человека. Примечательно, что этот бедный мальчик был совершенно лишен инстинкта, а сей, по-видимому, недостаток именно составлял его преимущество перед животными: выстреливали пистолет над ухом его и он, казалось, *не будучи глухим*, не слышал ничего, но если за дверьми грызли орехи, тотчас возбуждалось его внимание. Это показывает, что и в жалком своем унижении он был высше животных, *ибо рассуждал*. Животное, которое и никогда бы не слышало пистолетного выстрела,

вздрогнуло бы по *врожденному чувству*, но помянутый мальчик не обращал на то никакого внимания, ибо *не сопрягал с звуком пистолетного выстрела никакого понятия об опасности*; звук же *грызения орехов соединен был для него с понятием о пище* и посему-то привлекал его внимание: итак, он рассуждал, а рассуждать есть уже свойство человека.

Мне тотчас принесли с почты «Стихотворения» Скотта и Краббе;[192] письма я еще не видал, — может быть, и нет его; но вероятно, что добрая Улинька мне их прислала, потому что надпись на обвертке ее руки.

21 июля

Сегодня отдали мне и письмо от Улиньки; я отгадал: книги — ее подарок; она было назначила их к дню моего рождения.

Не читал я, а, скорее сказать, лакомился стихотворениями Скотта: пробежал только начало первой его поэмы «The Lay of the Last Minstrel»:[а] каждый стих — капля нектара для человека, который так давно не читал ничего *нового* хорошего.

«Зоровавель» мой в руках Пушкина. Хотелось бы мне, чтоб его напечатали — не для себя, не для славы, — я о ней теперь мало думаю, но для того, чтоб на деньги, которые выручат, доставить брату книги и журналы, коих он желает.

22 июля

Писал к сестре.

Прочел Краббевых «The Dumb Orators»;[б] картина в фламандском роде, но истинно оригинальная, довольно много живости; некоторые подробности, напр. *описание индийского петуха*, превосходны, но есть и натяжки, и скучноватости (Langeweile) на стать Гагедорновых и Виландовых;[193] впрочем, это, кажется, почти неразлучно с произведениями, созданными не вдохновением, а остроумием. Выше Гагедорна в своем рассказе Краббе юмором, которого у Гагедорна вовсе нет: добрый немец (т. е. Гагедорн, а не другие) или хохочет, или сериозничает, а улыбаться, тонко шутить не его дело.

23 июля

Прохаживаясь по плацформе, я забавлялся, глядя на сражение шпица с козою: всего смешнее было, что храбрая коза иногда сама нападала и даже обращала собаку в бегство; к тому же хладнокровное мужество рогатой воительницы было весьма величественно и составляло резкий контраст с неугомонным лаем и суетливостию ее противника; впрочем, из-

---

а «Песнь последнего Менестреля» (*англ.*).
б «Немые ораторы» (*англ.*).

редка несколько тяжеловатые прыжки прерывали ее важное спокойствие: не прежде амазонка отступила, как когда к шпицу подоспел еще союзник — какая-то желтая дворняжка.

24 июля

Прочел две первые песни of «The Lay of the Last Minstrel»;[а] не стану говорить о красотах; давно я не читал столь превосходной новинки (новинки в сравнении с Гомером и Шекспиром, qui sont mon pain quotidien[б]); замечу только, что введение и места, где сам Minstrel на сцене, мне всего более нравятся; странно, как я в расположении частей и в характере повествователя встретился с Скоттом: мой рассказчик (в «Зоровавеле») à peu près[в] Minstrel Скотта; между тем не помню, чтоб я даже в переводе прежде читал его «Lay».[г] Занимательны также «Замечания» к сей поэме, особенно к второй песни: сказания о Михаиле Скотте очень оригинальны;[194] забавно, что в средних веках Виргилия считали волшебником. Только вопрос: не другой ли это Виргилий?[195] Мне, как сквозь сон, помнится, что я где-то читал о некотором аббате Виргилии, человеке ученом и умном, современнике людей, которым ум и ученость редко когда казались не колдовством.

25 июля

Путешествие по Австрии, Саксонии и Италии, которое я здесь прочел и о котором поминал в своем дневнике, — какого-то Лубяновского; известие о сей книге и громкая ей похвала в 21 книжке «Вестника» на стр. 283.

Из хороших сочинений Августа Лафонтена «Гонимый судьбою»,[196] отрывок, переведенный в 20 книжке; роман, из коего он взят, называется «Дневные записки Карла Энгельмана». Хорошая мысль: «Можно быть во всем правым и быть бездельником».

26 июля

Простудился: раздуло всю щеку.

Дней с десять как во время прохаживания по плацформе занимаюсь парафразою 102 псалма; он почти готов, только никак не могу сладить с последним 22 стихом, а между тем боюсь забыть начало и середину. Если до завтрашнего дня не удастся, так внесу его в дневник без окончания, которое надеюсь составить в другое время.

[а] из «Песни последнего Менестреля» (*англ.*).
[б] которые — хлеб мой насущный (*франц.*).
[в] почти (*франц.*).
[г] «Песнь» (*англ.*).

27 июля

Вот наконец 102 псалом,[197] который давно мне хотелось переложить: он, по моему мнению, один из прекраснейших во всем Псалтыре.

1

Благослови, благослови,
Душа моя, отца любви!
Все, что во мне живет и дышит,
Да [славит] хвалит бога моего,
И славу имени его
Вселенна да услышит!

2

Огонь священный, влейся в грудь!
Душа моя, не позабудь
Несметных божиих даяний:
С тебя смывает всякий грех
Господь, податель всех утех,
Целитель всех страданий.

3

Он бог твой: не погаснешь ты
И средь могильной темноты!
Щедротами тебя венчая,
Он все твои желанья зрит;
Во благо, верь, их совершит
Его рука святая.

4

И как возносится орел,
Который в небо путь обрел
И пьет из солнца жизнь и радость, —
И ты так в небо воспаришь
И силой бога обновишь
[Невянущую] Неблекнущую младость!

5

[Так] Сколь милостив господь мой бог!
Когда и кто постичь возмог,
Сколь благ и дивен вседержитель?
Бездонный океан щедрот,
Бессильных, горестных, сирот,
Гонимых он хранитель.

6

[Так] Сколь милостив господь мой бог:
[Небесной] Господней благости залог
Закон, ниспосланный любовью,
[Источник радостей] и сил
Закон, святый источник сил,
[Закон сей]
Который божий сын скрепил
Своей чистейшей кровью.[a]

7

Благий снисходит долго нам:
Нам воздает не по грехам,
Не по вине нас наказует;
Не держит гнева до конца:
Да взыщешь божия лица —
И [он] бог уж не враждует!

8

Нет меры и предела нет
Эфиру, коим мир одет:
Так милосердию нет меры,
Которым всюду, всякий час
Всевышний окружает нас —
К нему ли быть без веры?

9

Надежду на него взложи!
Отстань от суеты и лжи,
От беззаконья и порока —
И скорби, что тебя тягчат,
Им удалятся, как закат
Отдвинут от востока!

10

Как любящий детей отец,
Так смертных милует творец;
Он знает нас, он помнит, кто мы:
Не пепел ли, не прах ли мы?
Не все ли в ночь могильной тьмы
С рождения влекомы?

11

Траве подобится наш век,
[Подобен цвету]

---

[a] Отступлено от подлинника; там: «Сказа пути свои Моисееви, сыновом Израилевым хотения своя» (*примеч. В. К. Кюхельбекера*). — Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым — намерения свои (*церк.-слав.*, Псалом 102, ст. 7).

Как цвет, так вянет человек:
Сегодня жив — заутра в гробе!
Исчезли все его труды;
Он был ли? нет уже нужды
    Ни дружеству, ни злобе!

12

Но будь утешен, сын могил!
Бессмертна благость бога сил,
Любовь его живет вовеки:
Закон благого соблюди —
И обретешь в своей груди
    Отрад чистейших реки!

13

Господни милость и покров
Пребудут на сынах сынов
Тех, коим свята власть господня:
Не небеса ль его престол
И не ему ль подвластны дол,
    И твердь, и преисподня?

14

Создатель он и царь всего:
[Да хвалит бога своего]
Хвалите бога своего,
Того, кому вы предстоите,
Могущий сонм его рабов!
Полки его святых послов
    Творца благословите.

15

Вы гласу внемлете его:
Да славословите того,
Чьи совершаете веленья!
Вы тьмы и тьмы духов и сил,
Вы рати солнцев и светил,
    Вы рук его творенья!

[16

Не вся ль вселенна песнь ему,
Псалом владыке своему?
Миры, творцу воздайте славу!
Благослови отца любви,
Душа моя, благослови
Всесильного державу!]

16

Миры [не все ли] и звезды песнь ему,
Псалмом [псалом] владыке твоему
Да будешь ты, его держава!
Благослови, благослови,
[Мой дух] [Благослови]
Душа моя, отца любви,
Ему хвала и слава!

Недоволен я 11, 14 и 15-ю строфами. Кроме того, не удалось передать периодом прекраснейшего периода, с которого псалом начинается на славянском; мои отрывочные предложения далеко не стоят сильнейших причастий: «очищающего вся беззакония твоя, искореняющего вся недуги твоя, избавляющего от истления живот твой» и пр., особенно если вспомнить, что все они зависят от глагола «благослови».

Перечел дневник с 26 июня по нынешний день: в июне я был лучше и счастливее, чем в июле; а между тем бог оказал мне и в этом месяце великие благодеяния: «Благослови, душа моя, господа и не забывай всех воздаяний его».

Еще поздно вечером получил я письмецо от матушки и рецепт от доктора Риттмейстера,[198] который когда-то служил под начальством отца моего.

28 июля

Прочел сегодня 3 песнь of «The Lay of the Last Minstrel» и большую часть четвертой. В слоге у Скотта некоторое сходство с Бюргером:[199] немудрено, они оба имели перед глазами старинных английских сочинителей баллад. Я решился было не говорить о красотах Скоттовой поэзии, потому что само по себе разумеется, что их у него много; однако же не могу не упомянуть о необыкновенно превосходном начале четвертой песни — первые две строфы в своем роде единственны. В «Замечаниях» у Скотта пропасть такого, чем можно бы воспользоваться. Любопытно одно из этих замечаний — о симпатических средствах лечения: «В наш *магнетический* век, — говорит автор, — странно бы было все эти средства считать вздором». Грибоедов был того же мнения, именно касательно *заговаривания крови*.

29 июля

Я сегодня был счастлив, потому что был деятелен: поутру удачно занимался переводом, а после обеда писал к матушке и сестрице Улиньке.

Отложу на время занятия свои греческим языком: окончив перевод, примусь за них деятельнее и не в такую часть дня, когда и душа, и тело требуют отдыха, т. е. стану заниматься им поутру или вечером, а не тотчас после обеда; вечера же тогда будут дольше.

30 июля

В 22-й книжке «Вестника» «Взгляд на пастушескую поэзию древних» — гиль! [200] Но спасибо, что я прочел эту статью: тут извлечение из «Плача Мосха над смертию Биона»; [201] как жаль, что у меня нет подлинника! Это стихотворение должно быть очаровательно на греческом. Вот два места, которых нельзя не выписать:

«Кто осмелится приближить к устам своим свирель, *которая и теперь еще благоухает дыханием уст твоих*?». Не есть ли тут что-то в роде персидских поэтов?

«Яд прикоснулся к устам твоим — и не превратился в мед?». Читая этот плач, я вспомнил Дельвига: хорошо бы было, если бы кто *слогом* и с *талантом* покойника написал что на смерть его.

Бриден (о котором известие помещено в 20 книжке «Вестника») заслуживает быть бессмертным в памяти потомства,[202] если бы он даже и ничего другого не написал кроме вступления в проповедь, которую в 1751 году говорил в Париже в церкви св‹ятого› Сульпиция: это вступление истинно удивительно.

«Гимн Непостижимому» [203] Мерзлякова показывает, что автор его не без таланта. В этом гимне есть даже мысли и картины новые (что, признаться, в нашей бедной поэзии, которая вся основана на подражании, не последняя редкость!). Вот несколько прекрасных стихов:

Кто смеет положить пределы
И круг и дни твоим делам?
. . . .
Отец! *наш* мир тогда создался,
Как стали чувствовать тебя
И разуметь твои щедроты;
Твой мир для нас непостижим!
. . . .
От трона твоего, как искры,
Мелькая в мраке пустоты,
Лиются солнцы беспрестанно.

Но вот что превосходно:

...Падет сей мир ничтожный,
Как в беспредельном поле цвет,
С которого минута (мгновенье?) жизни
Сбирала (Собрало?) небу фимиам.

Последние два стиха, несмотря на то что я бы желал в них переменить два слова (и для двух стихов это много), принадлежат к таким, которые только истинный поэт в состоянии написать.

31 июля

Не забыть: Клод Лоррен [204] сначала был пирожником!

Сегодня у меня был сон, который вместе с тем, как и где я пробудился, может служить предметом для стихов.

Прочел 5 и 6 песни «The Lay of the Last Minstrel». В последней «Баллада», которую на свадьбу леди Маргариты поет Гарольд, чрезвычайно хороша. После всего хорошего, что я сказал о поэме Скотта, простят мне, если искренне признаюсь, что Мур мне более нравится: между поэзией Скотта и Мура почти то же различие, какое между гористою частию Шотландии и цветущими долами Кашемира: путешествовать по горам, над пропастями и ревущими водопадами, под навесом живописных, страшных утесов, в виду океана, то в облаках, то над облаками — дело прекрасное! Но *жить* (как ни хвали прелесть ужасов) — *жить* все-таки лучше в Кашёмире.

1 августа

Поэма Вальтера Скотта, как в достоинствах, так и недостатках, похожа на его романы. Подробности чрезвычайно хороши, но — il faut trancher le mot[а] — целое не удовлетворяет меня: заметно, что рассказ, вымысел (le fable[б]) для поэта последнее дело и, так сказать, только придирки для выставки описаний, картин и чувств поэтических.

Сегодня я наслаждался единственным драматическим произведением Скотта — «Halidon Hill»;[в] это только начерк, но начерк превосходный. Сцена примирения Сюинтона и Гордона удивительна. Единственный недостаток, поразивший меня, несколько длинные *любовные* рассуждения молодого Гордона во время сражения.

Прочел я еще балладу Скотта «The Noble Moringer»,[г] это очень милая и вместе поэтическая шутка.

2 августа

Читаю «Rokeby»[д] Вальтера Скотта. Слава богу, начинается брожение моего воображения! Сказка, которую месяцев за пять тому назад не удалось мне обработать драматически, теперь не примет ли форму романтической повести? Но не стану еще кричать, что поймал угря; пока не будет он у меня на столе, все еще может выскользнуть из рук и оставить меня при пустом ожидании.

«Рокеби» я, кажется, также прежде не читал. Описания чуть ли не еще лучше тех, что в «Lay of the Last Minstrel».

3 августа

Из всех творений Вальтера Скотта, мне известных, не знаю ничего превосходнее чудесной четвертой песни его «Rokeby»: тут столько кра-

---

а скажем прямо (*франц.*).
б вымысел (*франц.*).
в «Хэлидон-Хилл» (*англ.*).
г «Благородный Морингер» (*англ.*).
д «Рокби» (*англ.*).

сот, что сердце тает и голова кружится. Во-первых, смерть верного слуги О'Ниля; потом детские лета Редмонда и Матильды; наконец, ужасный эпизод смерти жены несчастного Рокеби: каждый из этих отрывков мог бы обессмертить поэта — хотя бы он и ничего кроме того не написал. Я сегодня роскошствовал: сколько наслаждений доставляет поэзия! Если бы Скотт знал, как я его люблю, как ему удивляюсь, какое счастье он доставляет поэту же (да! поэту же, ибо то, что я чувствовал, читая эту дивную четвертую песнь, может чувствовать только поэт), — какое счастие доставил он узнику, разделенному с ним морями, — я уверен, что это было бы ему приятно.

4 августа

В 5 песни «Рокеби» чрезвычайно хорошо изображение битвы в замке, на которую Матильда смотрит из рощи; потом превосходно появление Бертрама на высоте горящего этого замка, но в целом я предпочитаю четвертую песнь.

Английский язык в триста с лишком лет менее переменился, нежели бы думать должно: в замечаниях к 5 песни «Рокеби» автор поместил балладу, писанную в царствование Генриха VII, — с помощию некоторых объяснений я тут все почти понимаю. Название этой баллады «The Felon Sow»; [а] felon не в смысле французского слова félon,[б] но английского fell.[в]

5 августа

Кончил «Рокеби». Читаю жизнь Вальтера Скотта и отчет в его произведениях: тут, между прочим, сказано, что публика приняла «Рокеби» довольно холодно; c'est l'histoire d'Athalie: [г] [205] я предпочитаю эту поэму его первой, хотя и очень понимаю, каким образом «The Lay of the Last Minstrel» мог возбудить столь общий восторг. Замечания Скотта о его подражателях очень справедливы и оправдываются тем, что испытал и наш Пушкин. Люди с талантом, не одинакой степени, но все же с талантом, — Баратынский, Языков, Козлов, Шишков младший, — и другие, вовсе без таланта, умели перенять его слог; до Пушкина, правда, никто из них не дошел, но все и каждый порознь нанесли вред Пушкину, потому что публике наконец надоел пушкинский слог.

6 августа

Сегодня я кончил 3 действие «Ричарда III»: этот акт у меня шел довольно скоро; если и вперед то же будет — надеюсь до октября перевесть всю трагедию.

[а] «Свирепая свинья» (*англ.*).
[б] вероломный, коварный, предательский (*франц.*).
[в] жестокий, свирепый (*англ.*).
[г] это история Гофолии (*франц.*).

Разбор сочинений Вальтера Скотта писал человек с умом и со вкусом, но английская физиономия критика везде видна: немецкой, *шлегельской* глубины нигде нет; некоторые *данные* (как ныне изволят выражаться наши г‹оспода› журналисты) вовсе не справедливы — напр.: будто бы в «Генри VIII» Шекспира нет чудесного; а сон или видение Катерины Арагонской в сцене, что в замке Кимбольтон? Но если бы даже это и было так, неужто из того следует, что *чудесное* должно исключить из всякого романа, трагедии, поэмы, из всякого творения, которого действующие лица — люди нашего времени? С этим только бы тогда можно было согласиться, если бы в наше время уже совсем не верили чудесному; я же, когда еще жил в свете, нашел совершенно противное: я почти *никого* не знаю, кто бы не верил чудесному, сверхъестественному, даже нелепому. Впрочем, не распространяюсь — ибо я сам и не раз впадал в мнимую ошибку Скотта. Не хочу, чтобы сказали: «Vous êtes orfèvre, m-r Jauss».[a] [206]

7 августа

Прочел две первые песни «Властителя островов» («The Lord of the Isles»): кажется, мнение критика справедливо, что это из слабых произведений Скотта, особенно первая песнь довольно скучна; во второй более движения и жизни — но ей далеко до «Lay of the Last Minstrel», а (*по моему мнению*) еще дальше до «Рокеби»: нигде нет стихов, которые бы за душу хватали, стихов, каких в «Рокеби» множество. Однако же появление аббата и весь эпизод, где он действует, хороши. Главный недостаток Вальтера, как здесь, так и в двух первых поэмах, мною читанных, — характеры. Ни к одному из них нельзя привязаться: все они — исключая злодея Бертрама в «Рокеби» — не дорисованы.

Вчера прочел я маленькую лирическую пиэсу Скотта — «Прощание с Музой»: некоторые стихи тут писаны как будто от моего лица; если не переведу ее, так по крайней мере напишу ей подражание.[207]

8 августа

От поэм Вальтера Скотта до «Вестника Европы» господина Каченовского скачок ужасный — истинный salto mortale! Но нужен и душе отдых: итак, читаю «Вестник Европы». Между прочим, прочел три критики: на сочинения Станевича,[208] на «Лирические опыты» Востокова,[209] на «Путешествие в Полуденную Россию» В. Измайлова.[210] Станевич разруган — за дело; однако ж за что же расхвален Измайлов? Самых грубых ошибок сего последнего выписано несколько страниц, а в конце всетаки похвальная отповедь!

---

[a] «Вы же ювелир, г-н Жос!» (*франц.*).

9 августа

В 24-й книжке «Вестника» две выписки из «Путешествия» Баррова в Китай:[211] тут достопримечательное известие (если только оно справедливо), что иудеи, современники Александра Македонского, были первыми посетителями Китая; Барров утверждает, что поныне есть в Китайской империи потомки их. Чтоб не забыть: в известии о Скотте перед его поэмами упоминается, что в детстве он был охотник рассказывать своим товарищам сказки, которые сам выдумывал. Это у него общее с Гете и (осмелюсь ли после таких людей назвать себя?) со мною.

10 августа

Наконец я нашел в 25 книжке «Вестника» нечто, что может мне пригодиться для сочинения.[212] Вот краткое извлечение: Отрочь монастырь, стоящий при устье Тверцы, основан по следующему случаю. Григорий, княжий отрок при дворе Ярослава, первого князя Тверского, влюбился в дочь церковнослужителя в селе Едимонове, которое князь жаловал отроку. Григорий получил позволение от своего государя жениться на своей любезной. Они в храме. Незапно разделяется на две половины толпа предстоящего народа и является князь. Сокол заманил его в село и сел на крест колокольни. Ярослав, видя празднество, отгадал причину его и захотел удостоить своим присутствием обряд бракосочетания. Ксения, взглянув на князя, смутилась; он также. Влекомый силой красоты, Ярослав подходит к ней, берет за руку, спрашивает: не хочет ли выйти за него? Она соглашается. Бедный Григорий скрылся в толпе. Однако же князь наконец вспомнил о нем. Его отыскивают долго тщетно, наконец находят в отчаянии, в рубище. Приводят к князю. Ярослав предлагает ему награды и почести — отрок не принимает их; просит позволения построить келью при устье Тверцы и жить там вместе с некоторым отшельником. Позволено. Он умирает, и Ярослав строит Отрочь монастырь над его могилою.

Мне кажется, что все это выдумано; но, надеюсь, согласятся, что выдумка недурна и что из нее можно бы кое-что сделать. Дай-то бог! давно уж мне не приходило ни одной творческой мысли. Статейка переведена из «Freimüthige».[a]

В 27-й книжке занимательно письмо к Коцебу от его сына из Японии[213] (от Морица ли или Отто, неизвестно: издатель говорит, что оба они были в Японии; странно, что Мориц Астафиевич, короткий мне приятель, никогда мне не упоминал о своем путешествии в Японию).

---

[a] «Откровенного» (*нем.*).

11 августа

Переписал начало четвертого действия «Ричарда III». Нет ничего жалостнее и в то же время прекраснее описания смерти несчастных малюток, Эдуарда V и брата его, Дюка Йоркского.

Недурны в «Вестнике» статьи Телассона о живописцах.[214]

12 августа

В дурном и глупом, когда оно в величайшей степени, есть свой род высокого — le sublime de la bêtise,[a] то, что Жуковский называл «чистою радостию», говоря о сочинениях Х‹востова›. Без всякого сомнения, не в пример забавнее прочесть страничку, другую Х‹востова› или Тредьяковского, нежели страничку же какого-нибудь Василия Пушкина или Владимира Измайлова:[215] первые иногда уморят со смеху, вторые наведут скуку и — только. От доброго сердца хохотал я, перечитывая басню Евстафия Станевича;[216] спрашиваю, кто не рассмеется при стихах:

«Дон! дон!
Печальный звон!
Друзья, родные плачут,
А черви скачут».

Сверх того, важное лицо почтенного автора, которое при этом воображаешь, лицо человека, вовсе не думавшего шутить, необходимо должно увеличить в читателе невинную веселость.

В довольно плохом рассуждении «О том, что сделано в России для просвещения *и пр.* от времен Рюрика до Петра Великого»[217] — замечательное известие: царь Алексей Михайлович не принял послов Кромвеля и оказал помощь (полагаю, денежную) Карлу II, изгнанному из отечества. Такая черта приносит величайшую честь государю, который один не был ни другом, ни родственником несчастного Карла I, а между тем пристыдил благородною твердостию всех современных монархов Европы, поклонявшихся могущему протектору и пожертвовавших ему Стюартами, с коими все они были в родстве, а многие и в союзе и в дружбе.

13 августа

Был в бане. Получил письмо от сестрицы Юстины Карловны и племянниц Сашеньки и Тининьки.

В 27 книжке «Вестника» статья «О великом годе», сочинения *Бернарди*;[218] из сей статьи замечу следующее: великим годом называется период, содержащий в себе время между началом движения большего

[a] возвышенное в глупости (*франц.*).

или меньшего числа светил с замеченных точек или с известных аспектов — и между возвращением их на те же точки или на те же аспекты. Солнце и луна возвратятся вместе под аспекты, под коими теперь находятся, через 19 лет и в тот же день, как ныне: этот великий год принесен Метоном с востока в Грецию. Но чтобы они возвратились не только в тот же день, но и в тот же час, нужно 600 лет: вот великий год, заключающий в себе уже промежуток времени, не в пример больший. «Но великий год — собственно так называемый (или величайший, как его, по свидетельству Ценсорина, именует Аристотель), — говорит Цицерон, — есть время, в которое вообще все светила по прошествии многих годов, возвратяся на те точки, с которых начали бег свой, являются на небе в прежнем положении». Он это объясняет примером: «В то время как душа Ромулова вознеслась на небо, было солнечное затмение. Когда все светила небесные, все планеты (небольшая разница!) опять придут в прежнее положение, тогда солнце, находясь на прежней точке, в то же время опять затмится — и совершится великий год». Автор потом показывает, что Цицерон разумел одни планеты, ибо Бернарди говорит дальше о еще большем годе, при котором принимают в расчет и *так называемые* неподвижные звезды (пора бы перестать называть их этим названием) — Цицерон полагает, что великий (планетный) год содержит 12 054 года обыкновенных (в «Рассуждении о философии», коего отрывок дошел до нас через Сервия). Эмблема великого года (будто бы?) — Феникс. Через 1461 год уравнивался египетский год, который 6-ью часами короче юлианского. С понятием о великом годе сопрягали мнение, что при конце его последуют великие, всемирные перемены. Сенека, следуя мнению некоторого халдейского мудреца, говорит, что мир обновляется огнем, если соединение всех планет бывает в созвездии Рака; напротив, прежний порядок разрушается водою, когда бывает в созвездии Козерога. Ценсорин утверждает, что вселенная разрушается попеременно то огнем, то водою. Пожар есть лето, а потоп — зима великого года. (Под словами *мир*, *вселенная* они, конечно, разумели только землю и планетную систему). Во время Августа (см. 4-ю эклогу Виргилия) вообще думали, что некоторый великий период должен совершиться. (И не истинно ли он совершился, хотя совершенно иначе, как то предполагали философы и поэты языческие?)

14 августа

Прочел 3-ю и 4-ю песни поэмы «The Lord of Isles»; [a] далеко этой поэме до «Рокеби» и до «Lay of the Last Minstrel». Однако же есть прекрасные места — напр., в конце третьей песни — очередная стража Брюса, Рональда и Пажа; особенно хороши мечты Пажа, усилья его не заснуть, наконец, сон и мгновенное пробуждение перед самою смертию.

[a] «Властитель островов (*англ.*).

На днях я припомнил стихи, которые написал еще в 1815 году в Лицее. Вношу их в дневник, для того чтоб не пропали, если и изгладятся из памяти; мой покойный друг их любил.[219]

НАДГРОБИЕ

Сажень земли мое стяжанье,
Мне отведен смиренный дом:
Здесь спят надежда и желанье,
Окован страх железным сном,
Заснули горечь и веселье;
Безмолвно все в подземной келье.

Но некогда я знал печали,
И я был счастлив и скорбел,
Любовью перси трепетали,
Уста смеялись, взор светлел —
Но взор и сердце охладели;
Растут над мертвым прахом ели.

И уж никто моей гробницы
Из милых мне не посетит;
Их не разбудит блеск денницы:
Их прах в сырой земле зарыт;
А разве путник утружденный
Взор бросит на мой гроб забвенный,

А разве сладостной весною,
Бежа за пестрым мотыльком,
Дитя бессильною рукою
Столкнет сей каменный шелом,[а]
Покатит, взглянет и оставит
И в даль беспечный бег направит.

15 августа

Прочел 5 песнь of «The Lord of the Isles».[б] Эта поэма как будто бы писана не Скоттом, а каким-нибудь подражателем Скотта, не вовсе лишенным таланта, но все же подражателем: и приемы, и слог, и даже образ мыслей почти те же, что в «Рокеби» и «Lay of the Last Minstrel»; одного только недостает — восторга, одушевлявшего поэта, когда он создавал первые прелестные две поэмы.

Сегодня я был свидетелем сцены, подобной той, что забавляла меня 23 июля, а именно: хохотал, глядя, как котенок заигрывал с старою курицею; котенок рассыпался перед нею мелким бесом: забежит то с одной стороны, то с другой, подползет, спрячется, выпрыгнет, опять спрячется, даже раза два со всевозможною осторожностию и вежливостию гладил ее

[а] Разумеется, с надгробного памятника (*примеч. В. Кюхельбекера*).
[б] из «Властителя островов» (*англ.*).

лапою; но философка-курица с стоическою твердостию подбирала зернышко за зернышком и не обращала никакого внимания на пролаза; за это равнодушие и увенчалась она совершенным торжеством: всякий раз, когда ветер вздувал ее очень ненарядные перья, господин котенок, вероятно, полагая, что она намерена проучить его за нахальство, обращался в постыдное бегство; но великодушная курица столь же мало примечала побед своих, сколь пренебрегала своим трусливым и вместе дерзким неприятелем: она и не взглядывала на него, не оборачивала и головы к нему; она была занята гораздо важнейшим: зернышки для нее были тем же, что для Архимеда математические выкладки, за которыми убил его римский воин.

16 августа

Весь день писал письма.

Вечером стал перебирать «Вестник», и вдруг попалось мне известное пророчество *Казота*.[220] Что думать об этом происшествии, в подлинности коего, кажется, сомневаться нельзя? Весь этот рассказ заключает в себе нечто, чего не могу выразить ничем лучше, как английским словом *ghastly*.[a] Самые ужасные выдумки *гофмановского* воображения не ужаснее сего *истинного*, *не подлежащего никакому сомнению* происшествия.

17 августа

Меня сильно занимает мой новый план: дай-то бог, чтоб он исполнился. Лицо слепого бандуриста, которому хочу вложить в уста повесть свою, местоположение Закупа, где бы мне хотелось заставить жить его, 1812-й год и другие исторические воспоминания, наконец, собственное мое семейство, пред которым будто бы поэма была пета, — все это и множество других смутных картин мелькает в моем воображении; скажу простою русскою пословицею: пошли ходины — будут ли родины?

Между тем и сегодня я почти не занимался своим переводом: однако ж должно непременно кончить его перед началом новой работы.

18 августа

Сегодня работа моя шла лучше.

Читая некоторые французские романы и повести (впрочем, сами по себе не развратные), удивляешься распутству нравов, тут описанных: самые произведения г<оспо>жи Жанлис, женщины истинно любящей чистую нравственность и добродетель, невольно иногда заставляют пожимать плечами. Но безделка Имбера «Любовь после брака»,[221] которую я сегодня прочел, при всей своей наружной благопристойности принадлежит к величайшим мерзостям и вместе глупостям, какие мне когда-нибудь случалось читать: тут не только волокитство представлено позво-

---

[a] страшный, ужасный (*англ.*).

ленным, но едва ли не почтенным, любовь же супружеская выставлена почти в том виде, в котором надобно бы выставлять разврат и прелюбодеяние. Удивляюсь, как в «Вестнике Европы» решились напечатать перевод этой повести.

19 августа

Может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что всякая ложная мысль (если она только *мысль*, а не совершенная бессмыслица) заключает в себе нечто (правда, искаженное, худо понятое, худо приноровленное etc.) истинное. Г‹оспо›жа Жанлис в своей повести «Муж развратитель» [222] приводит различные мысли и правила французских философов, или вовсе ложные, или только кажущиеся такими, потому что вырваны из общей связи, смягчающей слова, объясняющей их истинный смысл. Буду говорить здесь об одном изречении Кондорсета, которое, без сомнения, принадлежит к первому разряду, т. е. к мыслям совершенно ложным, но все-таки к мыслям, — итак, по моему мнению, все же основано на начале истинном, хотя в применении вовсе искаженном. Вот слова Кондорсета: «Только великие души умеют ненавидеть; только честные люди никогда не мирятся: бездельники вредят, отмщают, но не умеют ненавидеть». Что такое здесь ложно? Многое; во-1-х, ненависть и непримиримость, представленные в виде существенных принадлежностей и отличительных признаков величия и честности. Но если бы было сказано: «Хотя и то, и другое противно нравственности, однако же благороднее ненавидеть врага и не мириться с ним *по чувству обиженной гордости*, нежели вредить не врагу без ненависти единственно *по внушению низкого эгоизма для выгоды своей*», — надеюсь, что в том никто беспристрастный не нашел бы ничего несправедливого. Тем не менее считаю мысли, подобные сей Кондорсетовой, опасными и тем больше, что в них заключается *нечто* истинное: сие-то *нечто* именно ослепляет близорукого, неопытного, который, темно чувствуя, что тут есть что-то, с чем ум его соглашается, полагает, что сие *что-то*, сие *нечто*, сия примесь истины ко лжи — не часть, а целое, а все.

20 августа

Получил письмо от сестрицы Улиньки.

Поутру и вечером занимался (своим переводом), после обеда читал. Погода самая осенняя.

21 августа

Сегодня я опять мучился хандрой.

Прочел 6-ю песнь of «The Lord of the Isles» и перелистывал «Замечания» к «The Vision of Don Roderick»; [а] также прочел первую (древнюю) балладу «Thomas the Rhymer»; [б] в ней много оригинального.

[а] «Видение дона Родерика» (*англ.*).

[б] «Томас-рифмач» (*англ.*).

22 августа

В 34-м томе «Вестника» любопытная выписка из письма Петрарки,[223] содержащая баснословную причину основания города Ахена: Карл Великий был влюблен — девушка умерла; несмотря на то, Карл не покидал и трупа; какой-то прелат по откровению нашел и взял волшебный перстень, который у мертвой был под языком; ее Карл разлюбил, зато привязался к прелату; совестливый монах, не желая быть обязан благосклонностию монарха силе ада, бросил перстень в болото — и Карл, пристрастившись к болоту, построил тут город. Прекрасная статья Энгеля «Дом сумасшедших».[224]

23 августа

Мысль, может быть, не новая, но очень истинная, особенно относительно ко мне: «Разум подает нам помощь в великих бедствиях: он возбуждает в нас силы для сопротивления несчастию. Тот же разум не может устоять против ничтожных беспокойств, которые, так сказать, грызут, мало-помалу разрушают наше спокойствие, наше счастие, наши надежды. Таким образом капли, беспрестанно падая на камень, выдалбливают оный; напротив того, стремительный поток разливается, покрывает камень, но не вредит ему».[225] С‹мотри› «Вес‹тник› Ев‹ропы›», т. 32, стр. 202.

В книжках «Вестника» на 1807 год попадаются басни Жуковского, мне вовсе не известные, также и эпиграммы;[226] некоторые из них очень недурны: жаль, что Жуковский исключил их из собрания своих стихотворений, — они по крайней мере разнообразили бы издание, которое теперь состоит из пьес большею частию на один и тот же тон — уныло-таинственный. Достойно примечания, что единственная басня не выброшенная — «Сон Могольца» — именно никуда не годится.

24 августа

У сербов есть трагедия, написанная в 1733 году, а изданная в Офене в 1798. Вот ее заглавие: «Трагедия, сиречь печальная повесть о смерти последнего царя Сербского Уроша Пятого и о падении Сербского царства». Продолжается она 150 лет, состоит из пролога, девяти действий и эпилога. Автор некто Мануил Козачинский;[227] издатель архимандрит Раич, сочинитель «Славено-сербской истории». Действующие лица, кроме исторических: Сербия, Благочестие, Минерва, История, Ангел, Вражда и другие. Из известия, помещенного в «Вестнике» (том 33, стр. 196) о сем драматическом творении, можно заключить, что оно несколько сходствует с историческими библейского содержания мистериями средних веков.

Первый король сербский, получивший венец королевский от Исакия Ангела Комнина (1190 года), — Стефан Неман, а Стефан Душат — первый царь; о сем последнем говорит автор: «Титул краля премени, импе-

ратор стался, повелитель многих стран и царем назвался».[228] Сын сего Душата — Урош, которого лишил престола князь Вукашин, Ричард III своего времени и народа.[229]

25 августа

Первую *русскую* (не церковного языка) грамматику написал иностранец (но какой? не сказано) Генрих Вильгельм Лудольф,[230] напечатавший ее на латинском языке в Оксфорде (том «Вес‹тника›» 34, стр. 291). Из «Извлечения из „Путешествия Оливье"» в Персию я узнал,[231] что несчастный Тахмас-Ша, сын Гуссейна, сверженного афганцем Магмудом, вовсе не такой ничтожный и слабодушный государь, каким я себе его представлял: с тремястами отважных воинов он пробился сквозь полки мятежников, чтоб собрать помощь своему отцу, и вообще, кажется, имел характер довольно твердый и решительный. Эшереф сверг Магмуда; а сам наконец был свержен Надиром (Тахмас-Кули-ханом). Из являвшихся в Персии временных властителей до Фет-Али-Ша заслуживают внимания Херим (не Керим ли?), Мурад и кровожадный евнух Али-Мегемет.

26 августа

Сегодня я перечел дневник с 25 июля по нынешний день. Переводом не занимался; зато кончил стихи, которые здесь следуют. Приближение именин покойного государя, воспитателя и благодетеля моего, которого память всегда была и будет мне драгоценною, заставило меня пожелать написать нечто, что бы выразило образ, под каким Александр представляется мне в истории рода человеческого и народа русского. Я полагал кончить 30 числа и, намереваясь писать в этот день к сестре, кстати хотел приложить стихи к письму, чтоб обрадовать ее хоть небольшим доказательством, что пророчеством о скором пробуждении моего воображения она действительно его несколько пробудила. Противу чаяния стихи поспели прежде. Вот они:

ДЕНЬ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО[232]

С туманной высоты из отдаленных стран
Несутся волны шумного потока
В бездонный, темный океан —
И вдруг исчезнули для ока,
Для слуха глас сынов горы затих;
Равнина моря поглотила их
И погребла протяжными громами
Глаголы рек, гремевших меж скалами.

Святые дети вечных льдов,
Питомцы мощные доилиц облаков
Уже не воспарят к воздушной колыбели!
До влажного кладбища долетели

И схоронились [в нем] тут навек.
Не им ли суетный подобен человек?
Как эти бурные, дымящиеся воды,
Не так ли царства и народы
Льются в океан времен
И в мире исчезает след племен?
И как сверкнут и вдруг померкнут блески
Над пенистой, кипящей глубиной,
Так точно явится и пропадет герой.
В утесах умирают трески,
Стенящий перекат слабеющих громов;
И в [безбрежности] отдалении веков
Теряются и умолкают плески
И гимны торжествующих певцов.

[Так] [кружащейся]
Как быстрые струи взволнованной пучины,
Так минул век Петра и век Екатерины,
[славные] [прошли]
Так минули их дивные дела,
И что же? слава их одна до нас дошла.
Увы! не день ли Александра ныне?
А он? там прах его, в той сумрачной твердыне,
В которой на брегу Невы
Покоятся царей полуночных главы.
[Но что? не день ли Александров ныне?]
2 Для Россов памятный и драгоценный день,
1 [Как] Но будто чародей, волхвующий в пустыне,
2 Промчавшихся событий тень,
3 Великий призрак времени былого
1 Воззвал из мрака гробового!

Я вижу град Петра: сияет божий храм;
Раздался звон благовеститель,
Проснулась тихая обитель,
К ее ликующим стенам
В борьбе всемирной победитель,
Любезный русским русский царь,
Своим народом окруженный,
Течет, в величии смиренный,
Припасть с ним вместе пред алтарь
Того, в его ж благой и всемогущей длани
Судьба царей, и царств, и тишины, и брани!

Окончен исполинский бой:
Дав мир вселенной после боя,
Пред гробом соименного героя
Венчанный маслиной герой.
Господь благословил его священный подвиг.
О русский царь! пал от руки твоей
Сковавший Галлию и так вещавший ей:
«Я новый Карл, я новый Клодвиг!».[233]
Грядущий предок племени царей,
Отважный, грозный вождь, Европы повелитель,
Ее властителей властитель,
Бесчисленную рать
На Русь надвигнул, Русь хотел попрать;

Но господа призвал благословенный —
И где с несметной ратью дерзновенный?

Так, Александр! ты был благословен;
[Так] Клянуся, не без помощи небесной
Ты одолел в борьбе чудесной,
[И враг] [Нет, не без ней]
Не без нее ужасный низложен.
В годину страшную, когда за царством царство,
Как с древа лист сухой или созревший плод,
От духа падали военных непогод,
Когда насилье и коварство
За родом покоряли род,
Когда везде кровавые уставы
Писал кровавый штык,
И счастья смелый сын, любимец бранной славы,
На выях трепетных владык
Престол всемирной созидал державы
[Когда везде его кровавый штык]
[Везде писал кровавые уставы:]
На бога истины, и правоты, и сил
Ты и тогда надежды возложил.

Вливало хладное безверье
Тлетворный яд в увядшие сердца;
Отвергнуло небесного отца
Безумное высокомерье;
Мир начал забывать творца...
И [не был] было послано [святым и] судьею справе́дливым
3 Бессилье, малодушье и боязнь
2 Блуждающим стадам и пастырям строптивым
1 В смиренье гордости и развращенью в казнь
[Лежал под скипетром свинцовым самовластья]
И пал под жезл свинцовый самовластья,
[И пал] Унынием и ужасом объят,
[Безмолвный и] мертвеющий, растерзанный закат,
[Казалося] И мнилося, звезда земного счастья
Зашла, померкнула навек —
И был стенящий человек
Надменной прихоти игралищем ничтожным.
Но ты не жертвовал кумирам ложным.
Надежда, Вера и Любовь
Нашли убежище в груди твоей высокой,
И ты в борьбу вступил с той властию жестокой,
Которая лила [воде подобно], как воду, кровь!

И видел бог души твоей смиренье,
Господь твою живую веру зрел —
И положил ужасному предел,
Дохнул — и уст всесильных дуновенье
Развеяло несметные полки;
Перун всесокрушающей руки
Пожрал непобедимых ополченье!

Все тленно под изменчивой луной:
Как тени, так проходят человеки,
И как в Аравии бесплодной и сухой

В степи песчаной иссыхают реки,
Так в вечности, покрытой грозной тьмой,
Все пропадут и бытия, и веки;
Но будет жить бессмертный подвиг твой,
О Александр! — доколе россияне
Не все до одного потонут в океане
Лиющихся без устали времен,
Их память самая не скроется в тумане
И не исчеркнется славен
Из книги живота народов и племен.

27 августа

Занимался своим переводом поутру и вечером, а после обеда читал и отдыхал после вчерашней моей оды, т. е. не сочинял во время прогулки по плацформе.

28 августа

Прочел первую песнь «Мармиона». Хваленное издателем введение показалось мне несколько прозаическим и слишком в духе тех посланий, которыми с 1815-го по 25 год была наводняема наша русская словесность: однако же сближение Питта и Фокса в Вестминстерском аббатстве истинно прекрасно.[234] О самой поэме еще ничего не могу сказать решительного; но уж видно, что она гораздо высшего разряда, чем «The Lord of the Isles».

29 августа

Принесли мне последний том «Вестника» на 1807 и три тома того же «Вестника» на 1808 год. Должно признаться, что сии три тома, изданные Жуковским, по красивой, почти роскошной наружности, особенно картинкам,[235] каких и ныне у нас мало, чуть ли не занимают первого места между русскими журналами, не исключая и «Телеграфа». Выбор статей также, кажется, лучше, чем у Каченовского (сверх того, должно заметить, что уже и 1807 года издания «Вестник» гораздо лучше первых годов Каченовского единственно от содействия Жуковского). Примечательного я прочел: «Ответ А. С. Шишкова на письмо Говорова»[236] (в 36-й книжке, еще Каченовского), в 37-й «Бомарше в Испании» из «Записок Бомарше», статью занимательную и по слогу, и по содержанию, и потому, что служила основанием Гетевой трагедии «Клавиго»;[237] в 38-й «Путь Развратного» (начало), Лихтенбергово описание Гогартовой картины.[238] В пустой, впрочем, статье «Филологическая догадка о происхождении слова красный»[239] хорошо замечание, что «перемена мягких букв на жесткие и наоборот может способствовать для отыскания корня слов» (том 36, стр. 199).

30 августа

Писал письма: к матушке, сестрице Улиньке и младшей племяннице.

31 августа

Кончил сегодня перевод четвертого действия «Ричарда III».

В «Вестнике» прочел я очень занимательную статью Меркеля «Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет».[240] Маркель уверяет, что анекдот, тут рассказанный, взят из манускрипта Руссо, найденного между бумагами графа д'Антрегю; кроме того, в сем манускрипте заключаются рассуждение о Виландовом «Агатоне», отказ Дидерота на предложение пенсии от имени императрицы Екатерины и описание еще другого происшествия (см. т. 37, стр. 97). В конце же 39 тома «Вестника» помещено извлечение из ежедневных записок короля польского[241] Станислава Августа, писанных им в России. Эти записки совершенно показывают, что за человек был Станислав. Из политических статей занимательна «Судьба Копенгагена»[242] (37 т., стр. 69). В самом деле нельзя ничего вообразить вероломнее и гнуснее нападения англичан на столицу Дании в 1807 году.

1 сентября

Перечитывал и поправлял первое и начало второго действия моего «Ричарда III»; вообще я доволен моим переводом, однако ж есть еще кое-какие места, которые надобно переменить.

Сравнивал я подражание Жуковского и Скотта известной балладе Бюргера, но их почти сравнивать нельзя. Если забыть Бюргера и Скотта, так Жуковского «Людмила» хороша, несмотря на многое, в чем бы можно было ее упрекнуть; но еще раз — сравнивать никак не должно «Людмилу» с «Ленорою» Бюргера и с «Геленою» Скотта. Что касается до последней, я в некоторых местах, особенно где изображается скачка мертвеца с любовницей, готов ее предпочесть даже немецкому подлиннику. Скотт в предуведомлении своем к этой балладе говорит о переводах или подражаниях Тайлора и Спенсера. Мне еще известен перевод Бересфорда,[243] бывшего лектора английской словесности при Дерптском университете, короткого приятеля нашего семейства.

2 сентября

Последнею половиною второго и третьим действием своего перевода, которые я ныне перечитывал, я менее доволен, чем началом.

Энгелов «Светский философ»,[244] из которого помещены переводы в «Вестнике», — книга, которую бы я желал прочесть от доски до доски; в 36-м томе статья «Этна, или О счастии человеческом» не без глубоких мыслей, хотя и не совершенно удовлетворительна; жаль, что в ней нет

религиозной теплоты, а предмет так и вызывает религиозные чувства и мысли! Но в этом недостатке виню более век, в котором жил Энгель, нежели самого его.

Каждые 8 лет, говорит Гольдбах в речи о комете 1807-го года,[245] Венера бывает видима днем. Но этому показанию не соответствуют года (если только тут нет опечатки), в какие ее видели; автор называет 1716-й и 1807-й. В другой статье[246] (в том же 36-м томе) сказано, что комета, которую видели в 1456, 1531, 1607, 1682 и 1759 годах, будет видима в 1834-м.

В 37-м томе примечательное донесение Кантемира императрице Анне[247] о короле Георге II Английском и его министрах. В 38-м два письма русского художника Н. Ф. Алферова[248] из Константинополя и Корфу: разительное сходство с некоторыми письмами Винкельмана, писанными в подобном положении. Наконец, в 39-м очень хорошая повесть «Мария (отрывок из Артурова журнала)»;[249] впрочем, я читал ее уже прежде.

3 сентября

Так называемые русские песни светской фабрики редко бывают сносны: русского в них, кроме размера, мало чего найдешь; один Дельвиг, и то не во всех своих простонародных песнях, заставляет иногда истинно забыться. Тем приятнее, когда в этом роде встречаешь что-нибудь не вовсе дурное; в песне Грамматина, которую он назвал «Элегиею сельской девушки»,[250] встречаются стихи довольно удачные. С удовольствием, напр., выписываю следующие:

Ровно солнышко закатилося
С той поры самой, с того времени,
Как простился он во слезах со мной.

Или:

Не в тебе ли он, мать сыра земля?
Я послушаю, припаду к тебе:
Не услышу ли шуму, топоту?
Не бежит ли то добрый конь его,
Не везет ли он добра молодца
На святую Русь, к красной девице,
К роду-племени, к родной матери?

Или:

Вся иссохла я от кручины злой ‹. . .›
Привези назад красоту мою.

Малиновский в своем описании Мастерской и Оружейной палаты говорит, что в Ватиканской библиотеке находится пять картин под названием Каппониановых,[251] писанных будто бы в XIII веке; под тремя из

них подписано по-русски: «Писал Андрей Ильин», «Писал Никита Иванов», «Писал Сергей Васильев» ([т.] 36, «В‹естник› Е‹вропы›»).

Вот нечто, как будто нарочно для меня писанное:[252] «И если всегдашнее одиночество дано тебе в удел, и если навеки исключен ты из круга человеческих вещей, к которым запрещено тебе прикасаться, которые для тебя чужды, — верь (и вера сия да будет твоею крепостию!). Образование существа совершенного (не усовершенствование ли?) должно быть само по себе возвышеннейшею целию Природы». Мориц. «В‹естник› Е‹вропы›», [т.] 37.

4 сентября

Давно я, некогда любитель размеров малоупотребительных в русской поэзии, ничего не писал ни дактилями, ни анапестами, ни амфибрахиями. Для пиэсы, которую здесь помещаю, я нарочно выбрал последние, чтоб узнать, совершенно ли я отвык от стоп в три склада, коими (исключая Гнедича) я когда-то более писал, чем кто-нибудь из русских поэтов моего времени.

МОРЕ СНА[253]

1

Мне ведомо море, немой океан:
Над ним беспредельный простерся туман,
Над ним лучезарный не катится щит,
Но звездочка бледная тихо горит.

2

И пусть океан сокровен и глубок —
[В него погружаюся, смелый]
Его не трепещет отважный нырок:
В него меня манят не занятый блеск,
Таинственный шепот и сладостный плеск.

3

В него погружаюсь один, молчалив,
[Во то море] [Так]
Когда настает полуночный прилив.
И чуть до груди прикоснется волна,
[Вливается в скорбную]
В больную вливается грудь тишина.

4

И вдруг я на береге — будто знаком!
Гляжу и вхожу в очарованный дом:

Из окон любезные лица глядят
И гласы приветные в слух мой летят.

5

[Не их]
Не те ли то, коих я в жизни любил
[Те, коих я некогда]
И коих одели покровы могил,
И с коими рок ли, людей ли вражда
Меня разлучили, — сошлися сюда?

6

Забыта разлука, забыты беды:
При [райском] [дивном] вещем спянии [вещей] райской звезды
По-прежнему светится дружеский взор,
По-прежнему льется живой разговор.

7

Но ах! пред зарей наступает отлив
И слышится мне неотрадный призыв.
[И вдруг все исчезло средь белого дня]
Растаяло все, и мерцание дня
[В пустыню извергла пучина]
В пустыне глухой осветило меня!

Прочел сегодня вторую песнь «Мармиона» и введение в третью: в нем более поэзии, нежели в первых двух введениях; особенно удачное повторение при конце уподобления, с которого оно начинается.

5 сент‹ября›

Вместо пятой строфы во вчерашней моей пиэсе сочинил я следующую:

Не милых ли сердцу я вижу друзей,
Когда-то товарищей жизни моей?
Все, все они здесь: удержать не могли
Ни рок их, ни люди, ни недро земли!

Сегодня провел я день довольно праздно; завтра надобно приняться прилежнее за перевод — пора его кончить.

6 сентября

Читая в «Вестнике» ответ младшего Шлёцера какому-то русскому критику,[254] утверждающему вопреки мнению Шлёцера, что в Грамоте, в

которой новгородцы обещают любским гостям провожатых, под условием: «Оже будет нечист путь», — слово «нечист» означает «не безопасен от разбойников», я полагаю, что, несмотря на все логически строгие опровержения Шлёцера, наш русак прав, а именно же потому, что он по духу русского языка и характера, любящих метафоры, держался отдаленнейшего, а не ближайшего смысла этого слова. Если человек, живший 16 лет в России, знающий наш язык, привыкший несколько к нашим обычаям, мог быть введен в заблуждение при объяснении значения слова в старинной русской грамоте только потому, что ему дух русского характера остался чуждым, — то, вероятно, еще чаще ошибаются новейшие комментаторы римских, греческих, еврейских или даже персидских древностей.

7 сентября

В тоске, в печалях, при огорчениях я молю господа послать мне утешение, а он, благий, меня услышал прежде, чем я еще взывал к нему; он мне дал занятия — они всякий раз утешают, ободряют меня, — но только должно решиться приступить к ним, должно преодолеть первую минуту кручины, в которой полагаешь, что уже ни к чему не бываешь способным.

8 сентября

«Записки» князя Шаховского,[255] помещенные в «Вестнике», чрезвычайно занимательны: очень желал бы я прочесть всю книгу, если она только напечатана (в чем, однако же, сомневаюсь). Третья песнь «Мармиона», особенно конец, стоит лучших мест в «Рокеби», хотя она и в другом роде, т. е. более прекрасна по вымыслу, чем по роскоши слога, главному достоинству «Рокеби».

9 сентября

Сегодня день рождения моей младшей племянницы. Получила ли она мое письмо от 30 августа?

Прочел 4 и 5 песни «Мармиона». «Мармион» разнообразнее прочих поэм Скотта, но в нем нет единства; героя с его товарищами беспрестанно теряешь из виду от *истинных* событий, к которым эти вымышленные лица, так сказать, привиты.

10 сентября

Прочел 6 песнь «Мармиона» и наконец решительно скажу, что, несмотря на множество прекрасных мест и мыслей (*в плане*) истинно гениальных, эта поэма по исполнению гораздо ниже и «Рокеби», и «Lay of the last Minstrel». Это суждение, может быть, противоречит мнению многих и, между прочим, самого Скотта, который именно предполагал в «Мармионе» избегнуть небрежностей, встречающихся в первой его поэме. Но слог только *часть* исполнения. Конечно, не принимаю слова

слог в таком тесном значении, в каком у нас многие его принимают: так, напр., иные называют хорошим слогом тот, который грамматически правилен, свободен от слов обветшалых и не шероховат; но забывают, что этот хороший слог может быть водян, сух, вял, запутан, беден, словом, несносно дурен. Итак, хороший слог состоит не в одной правильности, а хорошее *исполнение* имеет еще обширнейшее значение.

Вынул я из чемодана прежние свои работы: хочется их перечесть; сегодня я начал с «Зороваселя». Эпизод о рождении Кира показался мне не у места.

11 сентября

В моем дневнике почти нет выписок из Гомера, Шекспира, Мура, Скотта: раз, потому, что надобно выписывать слишком много, а во-вторых, потому, что желаю их читать и перечитывать от доски до доски до тех пор, пока для меня в них ничего не будет нового; однако ж не могу не выписать из «Lady of the Lake»,[а] которую теперь читаю, несколько стихов, пробудивших во мне расположение духа, в каком я много кое-чего написал о том же предмете, между прочим и пиэсу, внесенную в дневник 4 сентября. Описываются сны; после многих герой видит:

Again return'd the scenes of youth,
Of confident undoubting truth;
Again his soul he interchanged
With friends whose hearts were long estranged.
They come, in dim procession led,
The cold, the faithless, and the dead;
As warm each hand, each brow as gay,
As if they parted yesterday.
And doubt distracts him at the view —
O were his senses false or true?
Dream'd he of death, or broken vow,
Or is it all a vision now? [б]

Первая песнь этой поэмы превосходна: особенно оленья охота так жива, так хороша, что, кажется, действительно все сам слышишь и видишь.

12 сентября

Второе утро бьюсь над сценою, славнейшею во всем «Ричарде III»: «Let me sit heavy on thy soul tomorrow»,[в] и никак не могу с нею сладить;

[а] «Дева озера» (*англ.*).

[б] Снова вернулись сцены юности, уверенной, не сомневающейся истины; снова он общался душой с друзьями, чьи сердца были давно отдалены. Они проходят смутной чередой, холодные, неверные и мертвые; каждая рука так тепла, каждое чело так весело, как будто они расстались вчера; и сомнение одолевает его при этом зрелище: лживы или истинны его чувства? приснилась ли ему смерть и нарушенные клятвы, или теперь все это видение? (*англ.*) (песнь 1, строфа 33).

[в] «Да возлягу бременем завтра на душу твою» (*англ.*, д. 5, сц. 2).

она именно трудна по величественной простоте своей. Сперва пытался я перевесть ее пятистопными стихами, как в подлиннике, — но русский пятистопный стих слишком короток; потом попались мне дактили — но я их бросил потому, что ими совершенно изменяется колорит подлинника; наконец, остановился на шестистопных ямбах, разумеется, без рифм.

Передо мною портрет Попе:[256] как он похож на моего приятеля и родственника Катенина!

13 сентября

Я сегодня от доброго сердца хохотал, читая отрывок «Записок» принца де Линь:[257] в его изображении Вольтера так и видишь перед собою Фернейского — мудреца, не мудреца — не знаю, как назвать, — но человека истинно гениального! Особенно разительно место, где Вольтер дает своему гостю характеристику гг. энциклопедистов: я уверен, что он точно так об них думал и — кроме Montesquieu — они, право, и не заслуживают лучшего мнения.

14 сентября

Получил письмо от сестрицы Юстины Карловны и от старшей ее дочери; также деньги. «Ричард» мой приходит к концу.

15 сентября

Пишу письма. Племяннице посылаю я целую диссертацию о Карамзине. В «Вестнике» (т. 47) интересная статья «Черты из жизни Суворова»,[258] автор француз, некто Гильоман-Дюбокаж, бывший в нашей службе.

16 сентября

Писал письма. Перевод мой все еще не кончен, но завтра или в понедельник полагаю наверно кончить его.

17 сентября

День Веры, Надежды и Любви.

Я сегодня был в бане и напоследок кончил свой перевод «Ричарда III-го».

В 45 томе «Вестника» лирическая поэма Мерзлякова «Амур в первые минуты разлуки с Душенькою»;[259] это хаос, но хаос, в котором есть блестки истинного дарования, — вот, напр., стих, который истинно прекрасен:

Судьба нам изрекла —
Чтоб я тебе был я, чтоб ты была мне ты.

В 46-м томе «Ода на поединки»[260] стоила бы того, чтоб быть известнее. В 47-м — замечания Луиджи Ланусcио[261] об уменьшении моря важны. Он это уменьшение приписывает телам небесным и поглощению воды животными и растениями, которых прежде было меньше, и полагает, что наконец море исчезнет и тогда настанет новый порядок для земной природы.

18 сентября

Прочел я 2-ю песнь «Девы озера» («The Lady of the Lake»); в ней много прекрасного, особенно начало, — однако же она мне кажется слабее первой.

19 сентября

В 52 томе «Вестника» чрезвычайно занимательная статья «О детстве императора Павла Первого»;[262] она извлечена из «Записок» Семена Андреевича Порошина; жаль, что эти «Записки» не вполне напечатаны. Как бы я обрадовал матушку, если бы мог ей прочесть эту статью! она всех людей, о которых тут говорится, лично знала; сверх того, память покойного императора ей драгоценна. В этом же томе известие о книге «Подражание древним» Ник. Эмина,[263] книге, напечатанной в 1795 году и стоящей того, чтобы ее прочесть.

20 сентября

Начал переписывать набело перевод свой. Скучная работа! А сидячка для меня куда не годится!

21 сентября

Переписываю. Теперь мои умственные способности пользуются совершенным отдыхом: не только не сочиняю, но даже и не перевожу. Освежатся ли тем мои силы душевные? Получит ли воображение хоть малую часть прежнего огня?

22 сентября

Нет худа без добра: без критики (которую не знаю, как назвать) на «Послание» Шихматова к брату,[264] напечатанной в 53-й части «Вестника», мне, может быть, не скоро бы удалось восхищаться прекрасным описанием коней, находящимся в сем послании и не уступающим ни одному из известных, хваленных. Вот оно:

Но кто там мчится в колеснице
На резвой двоице коней
И вся их мощь в его деснице?

Из конских дышущих ноздрей
Клубится дым и пышет пламень
И пена на устах кипит;
Из-под железных их копыт
Летит земля и хрупкий камень
И пыль виется до небес;
Играют гривы их густые,
Мелькают сбруи золотые,
Лучи катящихся колес.

Что сказать об Аристархе, называющем стихи подчеркнутый и следующий:

Се солнце разлилось по миру —

«стихами очевидно сомнительной доброты»? Но что тут и говорить! Может ли истинно высокое и прекрасное быть понимаемо ложным остроумием и криводушным пристрастием, которые хуже и глупее всякой глупости?

23 сентября

В 53-й части «Вестника» повесть «Романический любовник, или Веселость и старость»;[265] ее, кажется мне, очень удобно облечь в драматическую форму. Дело-то вот в чем: внук, сговоренный с питомицей бабушки, влюбляется в портрет бабушки; его несколько времени дурачат, а потом примиряют с невестою. Мысль, чтоб переделать эту сказочку на комедию, пришла мне ночью.

Гейнрих, летописец латышский; его выхваляет «Вестник» за простоту и сравнивает с Нестором.

24 сентября

Итак, опять прошла неделя, и неделя весьма примечательная по тому, что происходило в моем внутреннем человеке. Что это? Не пишу; но ввек не забуду этой недели; и без письма не забуду мыслей и ощущений, толпившихся во мне в продолжение сих последних дней; вот почему об них в дневнике ни слова. Эта отметка только для того, чтоб не забыть чисел.

25 сентября

Прочел 3 песнь «Девы озера»; она удивительна, лучше и второй, и первой. Повествование о передаче Пламенного Креста так прекрасно, что и в «Рокеби» ничего нет лучшего. В «Замечаниях» к сей песни Скотт говорит, что характеры, в которых лицемерие и фанатизм соединены, гораздо встречаются чаще, чем фанатики без лицемерия или лицемеры без фанатизма. Мне самому кажется, что это очень справедливо сказано.

26 сентября

Спасибо моей доброй Жанлис! Она меня утешила повестию, в которой сначала немного чересчур заушничала, но потом стала рассказывать так привлекательно, что я, кажется, перед собою видел ее героиню словно живую. Эта повесть: «Дорсан и Люцея»[266] в 54-й части «Вестника». В 55-й нашел я выгодный отзыв о «Деворе» Шаховского,[267] что меня радует, ибо, по моему мнению, эта трагедия *по слогу* принадлежит к лучшим произведениям российской словесности.

27 сентября

По отрывку из Гиббоновой «Истории»,[268] помещенной в 55 части «Вестника», я узнал, что византийские греки возглашали многолетие своим императорам на латинском языке. Прекуриозно читать латынь на стать следующей: «βῆβηρε Δομινι Ημπερατορες ην μνλτος αννος».[a]

28 сентября

В этой же части «План для заведения в России Азиатской Академии»:[269] совершится ли он когда-нибудь? Не могу здесь не вспомнить, что я, когда разыгрывали Воротынец, предполагал употребить доход с оного, если бы выиграл, на заведение подобной Академии. NB. *Мону* — индиецмонофеист, живший еще до Зердушта. Индийский догмат *перехождения* учит, что все существа изливаются из бога и долженствуют опять слиться с ним.

29 сентября

Лютеранский Михайлин день: именины моего брата. Я писал к нему.

30 сентября

Писал к матушке и коснулся в письме некоторых предметов, занимавших эти дни душу мою. Я крепко изленился: со следующей недели начну жизнь более деятельную.

1 октября

Начал писать рассуждение о «Ричарде III» и вообще о Шекспировых исторических драмах. Перечитываю дневник: добрался я до 5 июня; пословицы, которые я выписал из Курганова, меня очень веселили; некоторые удивительно как хороши.

2 октября

Прочел сегодня 4-ю и часть 5-й песни «Девы озера»; эта поэма чуть ли не лучшая Скотта. Встреча Родерика с Фиц-Джеймсом, особенно

---

[a] нить во здравие жены императора на многие годы (*лат. фраза греч. буквами*).

строфа, в которой изображается незапное появление и потом столь же незапное исчезание горцев, выше всякой похвалы.

3 октября

Читаю «Вестник» на 1811 год, изданный уже одним Каченовским, без участия Жуковского: при Жуковском Каченовский чинился, знал честь,— но тут он опять из рук вон — сущий лакей!

4 октября

Прочел весь дневник, содержащийся в этой тетради: целый месяц я не сочинял. Вчера я разбранил Каченовского, и за дело; еще повторяю, когда он сам острится, он сущий лакей; но *выбор* статей чужих в этих номерах «Вестника» хорош и счастлив; из стихотворений замечу сцену из Катениновой «Эсфири» [270] и 3 песни (7, 8 и 9-я) «Илиады» Кострова [271] (которых я, однако, еще не читал); а в прозе перевод из Гиббоновой «Истории» — «Царствование Юстиниана».[272] Сегодня я видел нечто похожее на бой журавлей с пигмеями, а именно бой гусей с мальчишками за рябину (гуси нападали).

5 октября

Сегодня я опять начал пить кофе: не думаю, конечно, что от него умнеют, как то некоторые медики утверждают, но нет сомнения, что он чрезвычайно оживляет и приводит кровь в приятное движение, весьма способствующее занятиям, в которых требуется деятельность воображения. Пишу «Рассуждение о Шекспире». Первая напечатанная из известных доселе книг [273] «Mahnung der Christenheit wider die Türken» [а] в 1455. Несчастный Милонов [274] был человек с истинным дарованием. Как жаль, что — sed de mortuis nil nise bene.[б] Сатира его на Модных болтунов, помещенная в 61 части «Вестника», исполнена прекрасных стихов.

7 октября

Сегодня ровно год, как я покинул последнее мое местопребывание. Пишу рассуждение о Шекспировых «Histories»[в] и добрался до 5-го акта последней части «Генриха VI»; остается мне еще акт и трагедия «Ричард III», коей я намерен написать разбор подробнее прочих.

а «Предостережение христианства против турок» (*нем.*).
б но о мертвых ничего, кроме хорошего (*лат.*).
в «Исторических хрониках» (*англ.*).

8 октября

Пишу свое рассуждение. При этом я заметил, что, излагая для других свое мнение о Шекспире, чувствую, как сие мнение для самого меня становится более достоверным, как объясняются, разоблачаются более и более для собственных глаз моих высокие красоты сего единственного гения.

Читал критику Каченовского «Нестор»;[275] он здесь в сфере своей; насмешки его над смешным Сергеем Глинкою истинно остроумны.

В 59 части «Вестника» перевод Болдырева «Арабской элегии»;[276] выписываю из нее следующие, все очень оригинальные картины: «Облака, подобные верблюдам, пожирающим звезды»; «Гром расторгал уши самых твердых скал» (т. е. пещеры).

9 октября

Прочел последнюю песнь «Девы озера». Во всех шести песнях красоты удивительные; в этой смерть Родрига превосходна. Теперь решительно скажу, что эта поэма кажется мне лучшею Скотта.

В речи Каразина[277] по случаю первого заседания Филотехнического общества я нашел мнение Линнея, что Сибирь — колыбель рода человеческого, ибо в одной Сибири колосные растения родятся дикими. Но разве колосные растения необходимая пища человека? Сколько народов, которым они поныне неизвестны?

10 октября

Целый день почти писал свое рассуждение.

В «Вестнике» я только успел прочесть описание мотовилихинского пожара, сообщенное издателю начальником тамошнего завода — Медером.[278] Несмотря на несколько тяжеловатый слог Медера, это описание истинно трогательно.

11 октября

Получил письмо от матушки, от обеих сестер и всех трех племянниц. Слава богу: все здоровы и веселы. Юстина Карловна поместила в своем письме выписку из писем Дмитрия;[279] они очень умны, занимательны и милы.

Прочел я 7-ю песнь «Илиады», переведенную Костровым; я согласен с Грибоедовым, что Костров мастерски владеет александрийским стихом, — может быть, как никто у нас другой; однако же, несмотря на то, перевод этой песни показался мне несколько бесцветным... Я не успел и ныне не успею его сравнить с подлинником, потому что необходимо кончить переписку набело «Ричарда», а у меня еще и «Рассуждение» не совсем приведено к концу.

Елизавета Ивановна Альбрехт выходит замуж за Карла Ивановича Бергмана.[280]

12 октября

Кончил «Рассуждение»: однако же при переправке надобно будет кое-что переменить и прибавить. Вечером я опять переписывал набело.

Прекрасная мысль в надгробном слове графу Строганову: [281] «С добродетелью человек если и не избавится от беспокойства иметь врагов, то по крайней мере не будет иметь мучения быть врагом».

13 октября

Прибавил кое-что к своему «Рассуждению», потом переписывал, а после обеда писал письма, вовсе ничего не читал. У меня болела довольно сильно голова; я попробовал перевязать ее мокрым полотенцем, и теперь боль почти прошла.

14 октября

Писал письма. Ныне ровно год, как нахожусь в этих четырех стенах. Слава богу, голова не болит, я себя чувствую совершенно здоровым.

15 октября

Сегодня я отдыхал и переписывал набело свой перевод только поутру. Я прочел 8-ю и часть 9-й песни Костровой «Илиады». Должно признаться, что Костров мастерски владеет и языком, и стихом шестистопным. Кажется мне, что между седьмою и восьмою песнями «Илиады» что-нибудь непременно должно быть утрачено: скачок вовсе не гомеровский, а, сверх того, и конец седьмой более похож на сокращенное дополнение позднейшего рапсода, чем на подлинный, всегда обильный и подробный рассказ самого Гомера.

18 октября

Сегодня я только поутру пересмотрел 5-е действие своего перевода, а переписывать — не переписывал: надо было немного выпрямить кости; я все эти дни сидел, согнувшись в крюк: итак, читал «Вестник Европы», лежа, весь почти день. Il dolce far niente! [a]

19 октября

День открытия Лицея: он ныне существует 21 год; итак, ни одного из находящихся теперь в Лицее воспитанников еще не было на свете, когда

---

[a] Сладкое ничегонеделание! (*итал.*).

мы 19 октября 1811 года торжествовали вступление свое в это заведение. Сколько воды утекло с того времени!

20 октября

Мелкое самолюбие, не терпящее никакого противоречия и мстящее за то невольным обнаруживанием внутренней досады, обиняками, колкостями, учтивыми оскорблениями, должно унизить писателя в глазах всякого беспристрастного: вот что я редко так живо понимал и чувствовал, как при чтении ответа Шлёцера (младшего) на замечания Калайдовича.

22 октября

Был сегодня в бане и стригся; слава богу, чувствую себя так здоровым, как давно не чувствовал.

27 октября

В «Певце во стане русских воинов»[282] есть точно прекрасные строфы; но не распространить, а сократить его должно было: именно выкинуть все приторные сладости о любви, о младенческих играх, о поэтах, что тут ни к селу, ни к городу. Лучшие места: Платов и смерть Багратиона; хорошо также, что говорится о Кутайсове, хотя оно и не совсем у места.

27 октября

В «Вестнике» статья Арндта[283] «Фридрих II и век его»; в ней много истинного, сильного, прекрасного; но вместе кое-где и слепой фанатизм, и односторонность почти школьническая. Мистицизм Арндта может быть искрен — я почти в том уверен, что он не лицемер; однако же в нем что-то похожее на шарлатанство.

28 октября

Не знал я, что Петр Первый — изобретатель нашей гражданской азбуки[284] (об этом см<отри> статью о Типографиях славяно-русских в 70 книжке «В<естника> Е<вропы>»). В этой книжке (в месяце августе 1813 года) помещено рассуждение моего зятя[a] о российском языке:[285] надобно написать племянницам, чтобы они прочли это рассуждение; оно стоит того. Мне приятно было видеть, читая оное, что покойник был человек мыслящий — это у нас не последняя редкость.

---

[a] Григорий Андреевич Глинка (*примеч. В. К. Кюхельбекера*).

29 октября

Замечательно в «Судебнике царя Ивана Васильевича»[286] уважение присяги, данной даже поневоле неприятелям: «Аще кто будет в полону и велят ему крест целовати нужею, дабы ему опаса менее было, и тот из полону побежит в свою землю, ... а дать ему эпитимью» (следует эта эпитимья), «дары святые таковому дати при смерти. Буди сие ведомо. Лучше бо умрети, а креста не целовати, зане крестному целованию на лже покаяния несть, и есть смертный грех».

30 октября

По воскресным дням я обыкновенно читаю что-нибудь английское; сегодня я прочел Краббевы две сказки.

31 октября

Писал сегодня к матушке и брату. Прочел остальные сказки Краббе; лучшая из них «Jesse and Colen».[a]

1 ноября

Первые московские типографщики были Иван Федоров и Петр Мстиславец.[287] Федоров в послесловиях к книгам своим является в таком свете, что его смело можно поставить на одну доску с теми ревностными, благочестивыми, честными художниками и ремесленниками, которых хорошие писатели Тиковской школы так прекрасно изображают. Хочется мне попытаться написать повесть или роман, в котором бы Федоров был действующим лицом. (Известие о нем в 71 книжке «Вестника»).

Франциск Скорина перевел в начале 16 столетия всю Библию на белорусское наречие с Вульгаты.[288]

2 ноября

«Иван и Марья» Измайлова повесть,[289] которая принадлежит у нас к лучшим. В ней пропасть невероятного; но она и не для вероятия писана: зато много истинного чувства. Вчера выпал первый снег.

3 ноября

Сегодня наконец я совершенно кончил полугодовой почти труд свой: перевод Шекспирова «Ричарда III», снабженный довольно пространным предисловием и замечаниями, лежит у меня в столе, переписанный набело; остается только попросить, чтоб кое-что выскоблили — и отправили.

---

[a] «Джесси и Колин» (*англ.*)

4 ноября

Прочел я еще послание Жуковского к императрице[290] Марии Федоровне и его же послание к Воейкову.[291] В первом стих:

И близ него наш старец, *вождь судьбины*

мне напомнил, что раз, читая вместе что-то написанное Мерзляковым, я слышал от Жуковского очень справедливое замечание о словах *судьба* и *судьбина*. Первое — синоним слову *рок* — есть сила, раздающая жребии; а второе — синоним слову *жребий* — есть доля, участь, достающаяся какому-нибудь человеку, племени, народу в особенности; и их никак не должно употреблять одно вместо другого, как то он здесь употребил.

Второе послание, без сомнения, одно из лучших произведений Жуковского. Какая разница между ним и несносным посланием к Батюшкову![292]

5 ноября

Выписываю анекдот,[293] который может пригодиться мне когда-нибудь к сочинению стихотворной повести: «В 1559 году отец Д'Ортега переходил с несколькими неофитами долину, лежащую между двумя реками, из которых одна впадает в Парагвай, другая в Парану. Вдруг оне выступают из берегов: скоро миссионарий и его спутники принуждены от воды, заливающей землю под их ногами, спасаться на деревья. Наводнение возрастает; пошел проливной дождь с бурею и громом. Тех, которые влезли на деревья не очень высокие, потопило. Монах с одним учеником своим держался на высоком дереве; перед их глазами тигры, львы и другие свирепые звери уносимы были стремлением воды; пребольшая змия извивалась вокруг того дерева, на котором они сами находились. Миссионарий ожидал быть неизбежною добычею сей змеи, как вдруг изломился под нею сук: она упала в воду. Путешественники пробыли двое суток в сем положении: буря не утихала, вода возрастала; вдруг в средине ночи монах увидел при блеске молнии плывущего индейца, который ему кричал, что три язычника и три христианина перед концом своей жизни просят — одни крещения, а другие разрешения. Отец привязал ученика своего к дереву, ибо едва тот мог держаться; потом, несмотря на свое истощение, бросился вплавь за индейцем и мимо несущихся дерев с превеликими иглами, из которых одна проколола ему насквозь лядвею, добрался до умирающих, окрестил язычников и принял покаяние и последнее издыхание всех их. Он возвратился к своему дереву. Вода начала убывать, и под конец третьих суток миссионарий и неофит могли уже продолжать путь свой. Отец Д'Ортега жил 23 года после сего происшествия, но чрезвычайно страдал от боли в лядвее».

7 ноября

Прислали мне «Вестник» на 1817 год. Тут в 9 номере отрывок из раввинской книги[294] «Масехт-Авос». Судя по этому отрывку, книга должна сходствовать с нравоучительными в Библии, а именно с книгами притч Соломоновых и Иисуса сына Сирахова; разница только та, что «Масехт-Авос», кажется, только собрание мыслей других учителей, а не оригинальное творение. Вот изречение раввина Соломона, которое чрезвычайно истинно и прекрасно: «Не преставай молиться, но не почитай моления налогом, а милосердием выслушивающего тебя бога».

В книжке, заключающей 17 и 18 номера, прочел я свою собственную статейку[295] (переведенную Каченовским из «Conservateur Impartial») — «Взгляд на нынешнее[a] состояние русской словесности». Нахожу, что в мыслях своих я мало переменился.

8 ноября

В субботу 5-го числа я начал свою поэму «Основание Отроча монастыря»; пишу об этом только сегодня, потому что до сих пор еще не смел надеяться, что точно начал.

Прочел я несколько разборов Мерзлякова,[296] между прочим и «Димитрия Самозванца» Сумарокова. Нельзя не смеяться, читая *нашего Эсхила* (его еще недавно так величали); однако же Мерзляков и не догадывается, что этот наш Эсхил, верно, был бы несколько поскладнее (а именно в «Самозванце»), если бы его не губили несчастные три единства, которых критик так крепко, кажется, держится.

9 ноября

Бредит Мерзляков в своем разборе «Поликсены» Озерова; бранит поэта за то, что он не офранцузил своих героев. Жаль мне, что не могу достать здесь сочинений Озерова, а, кажется, я бы «Поликсену» теперь прочел с большим удовольствием. В ней автор, видимо, шагнул вперед, даже в самом слоге, на который прилежное чтение Кострова «Илиады» оказало очевидно благотворное действие.

10 ноября

Сегодня я в первый раз с наслаждением занимался своим «Отрочим монастырем». Читая довольно пошлую статью в «Вестнике» («О происхождении крестьянского состояния»),[297] я сообразил, что так называемые походы народов — собственно же были походы войск, несколько, правда, более многочисленных, чем их привыкли видеть римляне, а отнюдь не *народов* в истинном смысле сего слова: ибо во всей Западной Европе победители составили только дворянство, народ же везде остался тот же и

---

[a] 1817 год (*примеч. В. К. Кюхельбекера*).

даже изменил самый язык победителей. Итак, Север очень мог, не опустев, снабдить Западную Европу теми выходцами, которые покорили Римскую империю не столько многолюдством, сколько храбростию.

11 ноября

Я бы желал на коленях и со слезами благодарить моего милосердого отца небесного! Нет, то, чего я так боялся, еще не постигло меня: утешительный огонь поэзии еще не угас в моей груди! Благодарю, мой господи, мой боже! Не молю тебя, да не потухнет он никогда; но если ему уж потухнуть, даруй мне другую утешительницу, лучшую, надежнейшую, нежели поэзия! Ты эту утешительницу знаешь: говорю о вере, ибо чувствую, сколь она еще во мне немощна и холодна.[298]

ВОЗВРАТ ВДОХНОВЕНИЯ[299]

Благий! не до конца меня покинул ты...
Увы! я унывал, я таял:
«Сокрылися, исчезли, — так я чаял, —
Живившие меня мечты;
Огонь небесный вдохновенья
Потух, потух в моей груди,
Уж светлый ангел песнопенья
По радужному не слетит пути,
Болезней сердца исцелитель,
В мою печальную обитель».
И я душою пал и к жизни охладел.
И ждал и думал: «Скоро ли предел
Моих увядших дней?». Но, милосердый, вечный!
Услышал ты мой стон сердечный.
Ты ведаешь: еще я слаб,
Еще земных страстей, мирских желаний раб;
Твоя, всевышний, благодать
Еще не блещет надо мной...
Божественную звать, искать,
О ней в слезах молиться не устану;
А ныне... не Исраилю ли манну,
Отец, создатель, боже мой,
Так точно ты послал в божественной пустыне,
Как был тобой мне послан ныне
Мой утешитель временной?
Он пестун мой, он с самой колыбели
Меня в объятия приял:
Уста младенца приучал к свирели,
Растил меня, не покидал
Нигде питомца; обитал со мною
Над зеркальной, широкою Невою;
Со мною странствовал среди Кавказских скал;
Являлся мне с улыбкою и думой
На высоте суровой и угрюмой
Надоблачных, покрытых льдами гор;
Сияньем сладостной лазури
Живил и упоял в Гесперии мой взор;
На Севере ж вещал мне в воплях бури

И в жалобе взволнованных лесов...
Он мне не изменил, единый,
Ни под ударами неистовых врагов,
Ни под тяжелым бременем кручины...
И что же? наконец и он
Исчез, казалось, как ничтожный сон;
Махнул, казалось мне, воздушными крылами,
Взвился, исчез за облаками,
Меня покинул — и навек!
Я застонал, мне душу мрак облек...
Ах! кто такие испытал утраты,
Какие суждено мне было испытать,
Чьи лучшие надежды все пожаты,
Тот может ли не трепетать,
Когда последнее в страданьях утешенье
С ним расстается навсегда?
Но маловерье — слепота:
Ты, дивный в чудесах, приял мое моленье;
Ты щедр и благостен, ты весь любовь;
Ты рек — и возвратился вновь
В мою расцветшую обитель
Болезней сердца исцелитель!
Нет! не потух в моей груди
Огонь небесный вдохновенья:
Опять, опять по светлому пути
Ко мне слетает ангел песнопенья.

Прочел я 8-ю книгу Краббевой поэмы «Tales of the Hall»,[а] она прекрасна — в ней много нового, много сильного и истинного. Характер Банкрутчика нарисован мастерскою кистью. А вот два стиха, которые служат уподоблением очень болезненному состоянию души, почти худшему совершенного сумасшествия:

Such is the motion of a drunken man
*Who steps s*edately, just to show he can.[б]

С удовольствием прочел я еще в «Вестнике» рассуждение «О степенях образования людей и народов»[300] Покровского. В этом рассуждении нет ничего совершенно нового, но оно не принадлежит к разряду пошлых статей, какие у нас обыкновенно пишутся о подобных предметах.

12 ноября

Нельзя воздержаться от негодования, когда глупцы простирают свою наглость до такой степени, как этот Каченовский, говоря о великих людях, которым он и в истопники не годится. Поляк, чью статью о немецких философах изволил Михайло Трофимович перевесть,[301] верно, с ума схо-

---

[а] «Повести усадьбы» (*англ.*).
[б] Таково движение пьяного человека, который ступает осторожно, чтобы показать, что он может это сделать (*англ.*).

дил или был пьян, когда сочинял свое глубокомысленное рассуждение, или, может быть, что-нибудь подобное было с г. переводчиком, словом сказать, они возводят на Шеллинга такую нелепость, которая ему и во сне не пригрезилась. Если верить им, то Шеллинг говорит следующее: «Бог еще не существует, а только готовится к восприятию существования, и заключается в натуре, как бы в семени, из которого имеет родиться». Взведши такой вздор на мужа, перед которым они оба менее нуля, — первый, т. е. автор, по крайней мере чинится и прикидывается, что в других отношениях готов отдать справедливость немецким философам; но наш молодец прямо отсылает Шеллинга в дом сумасшедших. Я бы желал, чтоб эту статью прочел Володя Одоевский, великий почитатель г-на Каченовского: хотелось бы знать, что бы он сказал?

Сегодня я прочел статью «О разных системах нравоучения» каз‹анского› пр‹офессора› Срезневского.[302] Она написана человеком не только ученым, но и умным.

13 ноября

Долго, с лишком месяц, я не получал писем из дому. Сегодня, когда молился, вдруг дверь моя отворяется и мне приносят письма, между прочими от моей родимой, о которой, признаюсь, я начал беспокоиться. Сверх того, получил я посылку: тулуп, носки, шейный платок, кушак и — что мне всего дороже — портрет матушки, который я при отправке из Д‹инабурга› оставил там, потому что боялся, чтоб он дорогой не испортился. Письма от сестер, от Наташи, от Николая и от самой старушки — все самые приятные: слава богу, все здоровы, все благополучны. Я после того не мог продолжать прерванного чтения в петербургском молитвеннике, но уповаю на милосердие господа — что чувства, которые исполняли мое сердце, чувства счастия, веселия, любви, были угодны ему.

В 11-й книге «Tales of the Hall» последнее похождение героини напоминает мне нечто, случившееся со мною, «когда легковерен и молод я был». Однако же со мною поступили несколько суровее, чем героиня с своим young stripling.[a]

14 ноября

Пишу письма. Прочел сегодня 12-ю книгу «Tales of the Hall» и Соца возражение на мою статью, напечатанную в 77-м номере «Conservateur Impartial» 1817 года. Помнится, что Гнедич гораздо более меня рассердился на это возражение:[303] да и быть не могло иначе.

15 ноября

В замечаниях Гнедича на «Опыт о русском стихосложении» Востокова[304] много такого, о чем должно поразмыслить.

---

[a] юношей (*англ.*).

Вплоть до вечера я писал письма. Не знаю, что племянник скажет о моем к нему послании. Не рассердится ли?

17 ноября

В «Вестнике» отрывки из «Записок»[305] Данилевского занимательны. В 1826 году я ознобил ноги: это у меня каждую зиму отзывается. Мой «Отрочь монастырь» идет изрядно.

18 ноября

Я за собой заметил, что если в «Вестнике» мне попадается статья кого-нибудь, с кем я был в ссоре, то читаю ее с особенным вниманием и искренно радуюсь, когда нахожу в ней что-нибудь дельное.

Уважать В<оейкова> как человека мне невозможно,[306] да вряд ли возможно и лучшим его друзьям, однако же как писатель, можно сказать, что он заслуживает быть отличенным от толпы писак бесталанных: в нем точно иногда проблески дарования. Напр., вот мысль, дурно выраженная, но новая:

И дух наш — чистый луч небесный —
Томится, в прахе заключенный,
Как искра ясная в кремне.[307]

19 ноября

Сегодня я кончил первую часть своей поэмы. Пойдет ли вторая так же хорошо, как эта?

Я ныне заметил, что Краббе, а не Скотт, вероятно, окажет самое большое влияние на слог и вообще способ изложения моей поэмы: по крайней мере это так в первой части.

20 ноября

Какие вины должны мы прощать ближнему? Те ли только, о которых знаем, что мы сами склонны к ним и которые поэтому-то и кажутся нам более извинительными? Самолюбие всегда уменьшает те недостатки, которые с нами другие разделяют, и увеличивает те, которых мы не имеем, которые чужды нам. Но перед всесовершенным всякий грех и все грехи равно мерзостны: а он их отпускает нам. И мне ли, грешнику, червю и праху, *выбирать*, что прощу и чего не прощу моему ближнему?

21 ноября

Начал выправлять первую песнь моей поэмы.

В «Вестнике» мне попался «Софокл»[308] — родственника и приятеля моего Катенина: это истинно прекрасное стихотворение; несмотря на все

нападки, Катенин человек с большим дарованием — и не с одним дарованием: чтоб написать стихи, каковы следующие два:

Когда же мстить врагам обиду
Душой великие могли? —

надобно иметь не мелкую душу. Благодарю, любезный Павел Александрович, за эти два стиха: желал бы, чтоб их когда-нибудь ко мне приноровили.

22 ноября

Получил сегодня опять письмо от матушки, сестрицы Юстины Карловны и Сашеньки. Больно мне, что огорчил матушку последним письмом своим: но мог ли я думать, что оно произведет такое действие?

Жуковского перевод Шиллеровой баллады [309] «Der Graf von Habsburg» [a] мастерской, он чуть ли не из лучших переводов Жуковского (если даже не лучший). Кончил пересмотр первой песни своей поэмы: довольно много нашлось, что должно было перечеркнуть.

23 ноября

Начинаются в «Вестнике» щелчки Каченовского историографу: [310] надобно признаться, что они не глупы и очень злы. Всего забавнее письмо к издателям харьковского «Вестника»: это истинно предательская шутка. Под предлогом, будто не верит, что известные «Записки о московских достопримечательностях» сочинены Карамзиным, критик говорит о них такие вещи, от которых нет другого средства, как только отмалчиваться. («Записки» точно Карамзина: это я знаю, потому что, по просьбе Жуковского, перевел их на немецкий язык с своеручного подлинника покойного Николая Михайловича.)

Спасибо Анониму, вступившемуся за «Историю философии» Галича: [311] жаль только, что он с своею статьею прибег к журналисту, который в философии ничуть не более смыслит издателя «Сына отечества».

Пишу письма. Начал вторую песнь своей поэмы.

24 ноября

Писал письма. От нынешнего дня у меня мало что осталось в голове: «Вестник» этот раз довольно сух; в нем, собственно, нет ни одной истинно занимательной статьи.

---

[a] «Граф Габсбургский» (*нем.*).

25 ноября

Есть писатели такие, которые темны от богатства и глубины мыслей; есть другие, которые так же темны от совершенного отсутствия мыслей. Первых человек не глупый наконец поймет, поломавши несколько над ними голову; но вторых не понял бы ни Гомер, ни Ньютон, ни Шеллинг, если бы и вместе стали их читать и сообщать друг другу свои догадки. Возможно ли, напр., добраться до смысла некоторых фраз Шаликова? Невозможно, ибо в них ровно никакого смысла нет и не бывало. Это, конечно, справедливо; но есть и у Шаликова иногда кое-что, показывающее, что он истинно добрый малый, хотя и плохой писака: таково, напр., в «Вестнике» на 13-й год было его описание всего того, что некоторые его знакомые претерпели в Москве в роковой 1812 год[312] и чему он сам был свидетелем, — эту статейку нельзя читать без того, чтобы не зашевелилось в сердце; таковы еще его известия о бедных — тут всякий раз видно, что он в них принимает искреннее участие; таково, наконец, следующее правило (особенно если он ему следует): «Сносить терпеливо все неудовольствия и неприятности от человека, ссорившегося со мною». Ну, князь Петр Иванович, думал ли ты, что злой, насмешливый Кюхельбекер посвятит почти целую страницу в дневнике своем рассуждению о тебе и, сверх того, искренней, вовсе не насмешливой хвале того, что в тебе достойно хвалы?

26 ноября

Был сегодня в бане. Прошлого году в этот день я кончил своих «Семь спящих отроков»: странный случай, что сегодня вовсе без намерения я перечел вторую книгу этой поэмы и только по отметке под последнею строфою увидел, что она существует ровно год. Не знаю, какая судьба постигла список с нее, который отправил в Петербург, но это для меня теперь все равно, ибо вижу,что необходимо переделать это сочинение; сужу теперь о нем, как будто о произведении другого: есть тут славные строфы, но в ходе, особенно второй книги, страшная путаница.

Симонд де Сисмонди в обозрении арабской литературы[313] полагает, что арабы потому не перевели ни одного греческого поэта на свой язык, что им поэзия греческая казалась робкою. Думаю, что тому иная причина, а именно строгий монофеизм арабов, который должен был оскорбляться каждым почти стихом греческой поэзии, совершенно посвященной полифеизму. Далее автор приписывает арабам бо́льшую часть изобретений, которые напрасно присваивают европейцы предкам своим, варварам средних веков: в этом я очень с ним согласен. Окончание статьи истинно поразительно: в самом деле, если только подумать, сколь обширно, разнообразно и продолжительно было поприще арабского просвещения и как все исчезло — нельзя не призадуматься о будущей участи нашего европейского просвещения.

29 ноября

Древнейший типографщик славянских книг Швайпольф или Святополк Феоль. Бандтке отыскал напечатанный им в 1491 году Октоих[314] или Осмогласник св. Иоанна Дамаскина. Кроме того, известны еще им же в том же году в Кракове напечатанные Часослов и Псалтырь. Первого Калайдович видел у графа Толстого два экземпляра. Примечательно правописание этого Часослова: ѫ (юс) за все почти гласные, а ъ за *о* и *е*, только не всегда перед согласною, перед которою у нас стоят сии гласные, иногда и после, напр. *дръжава, жрътва, длъготръпѣливъ*.

30 ноября

Прекрасна статья Саларева «Матвеев».[315] Впрочем, характер Матвеева так высок, что едва ли возможно совершенно исказить его даже и дурным изображением, было бы оно только не злонамеренное, каково, напр., изображение лица почти столь же возвышенного — Василия Шуйского, — в...,[316] но exempla sunt odiosa.[a] Жаль мне историков, в глазах которых кто несчастлив, тот и виноват.

В Рихтеровой «Истории медицины»[317] указ Феодора I-го об учреждении больницы и дома призрения бедных: в этом указе дышит такой дух, который бы принес честь и 19 веку.

1 декабря

Благодаря господа, скажу, что минувший месяц для меня из самых счастливых, проведенных здесь: во-1-х, я несколько раз получал из дому самые отрадные письма, во-2-х, был здоров, и, в-3-х, наконец и Муза моя опять пробудилась. И прошлого году ноябрь был для меня благоприятным месяцем.

Кто бы вообразил, что найдутся четыре прекрасных стиха в «Освобожденной Москве» Волкова?[318] Всевышний, ободряя Россию, вещает ей о будущей ее славе, о Петре, Елисавете etc. После стихов, которые относятся к последней, следует:

Для прославления ее златого века
На дальнем севере взыщу я человека
Под кущей рыбаря, средь мрака и снегов,
И нарекут его царем твоих певцов.

Как это просто и величественно! Особенно второй стих — истинно библейский.

---

[a] примеры нежелательны (*лат.*).

2 декабря

Я прочел сегодня вечером первые два письма романа «Италиянец», который начал весною. Они показались мне не совсем дурными и даже заохотили продолжать эту совсем было брошенную работу. Между тем моя поэма мало-помалу подвигается вперед.

3 декабря

Прочел еще несколько писем своего романа и утвердился в намерении его не бросить. С доски внес я в тетрадь начало второй песни «Отрочаго монастыря». Всего для меня труднее то, где должно соблюсти не только дух, но и размер нашей простонародной поэзии.

4 декабря

Последние два письма моего романа чуть ли не из лучших.

Перед концом своих «Tales of the Hall» Краббе опять поднимается, а в картине, стоящей у самого выхода из его галереи, достигает такой высоты поэтической, на какой я еще не видел его.

5 декабря

Из 12-ти первых повестей в «Собрании древних стихотворений» [319] (изд. Калайдовича) лучшие: самая известная из всех, «Соловей Будимирович», где рассказчик истинно достигает иногда эпической высоты; забавная novella (в роде Боккаччиевых) «Гость Терентьище»; «Волх Всеславич», где много воображения и поэзии почти восточной; «Три года Добрынюшка стольничал» — сказка, сходная по духу с предыдущею; «Женитьба князя Владимира» (ее бы лучше назвать «Дунай Иванович»), которой трагическое и вместе волшебное окончание отзывается чем-то похожим на многие катастрофы в Овидиевых «Превращениях»; наконец, «Василий Буслаев» (и продолжение этой сказки под № 18). При чтении начала этой повести родилась во мне мысль: нет ли, быть может, исторического основания рассказанному тут происшествию, искаженному изустным преданием? Не был ли Буслаев в самом деле счастливым демагогом, покорившим с помощию удальцов, которых сумел привлечь к себе щедростию, — Новгородскую республику? Что он точно был посадником, доказывает летопись, а что он был не обыкновенным, мирным, законным посадником, явствует из предания, сохранившего, во-1-х в сказе Кирши Данилова память о насильственных его поступках, во-2-х, в другой сказке в прозе (в собрании Левшина) [320] воспоминание о необыкновенной власти его, — ибо тут его величают старославенским князем Василием Богуслаевичем.

6 декабря

Статья Буткова «О Спорах и Нориках» [321] хотя и основана на довольно зыбком основании — на этимологии имен славянских, однако же содержит много любопытного. Догадка о кавказском происхождении славян заслуживает исследования: по сию пору есть на Кавказе народ, который называется чехами; также лезги или леки, лехи близко подходят своим именем к ляхам. Впрочем, языки кавказских чехов и лехов не представляют никакого сходства ни между собою, ни с языками польским или богемским. (Говорю: никакого, по крайней мере такого, по которому можно бы было и теперь узнать их одинакое происхождение. Такое сходство существует между языками славянскими, германскими, фракийскими (т. е. греческим и латинским) и персидским; напротив того, доказано, что языки лезгинский, черкесский и пр. корнями своими ото всех от них отличаются и сходствуют с ними только мужественною гармониею своих звуков). Мимоходом замечу, что и прочие языки различных племен кавказских и прикавказских очень мало имеют сходного между собою, — и это явление довольно странное.

7 декабря

При чтении Бональдовой статьи «О духовных миссиях» [322] поразила меня мысль, впрочем, не совсем новая, но связанная с тем, что мелькало вчера в уме моем о подобном предмете: «Дикие нового мира не иное что, как остатки народов, имевших некогда своих философов», и пр. и пр.

Кстати о философах! Каченовский перевел какую-то статью Снядецкого о философии; в «Казанских известиях» на эту статью напечатаны замечания [323] (полагаю: Магницкого). Я не защитник и не почитатель гонителей и фанатиков, но что правда, то правда. Из самого ответа переводчика (ответа, впрочем, довольно глупого) видно, что автор замечаний чуть ли не прав и что Локков эмпиризм едва ли можно согласить не только с религиею христианскою, но даже и с верованием феистов в бессмертие души. Неужели Магницкий (или кто бы то ни был) не прав, когда на положение Снядецкого: «Вредно представлять душу мыслящею без чувств, следственно, в состоянии мечтательном и невозможном», — отвечает: «Не вижу никакого вреда в сем представлении, и состояние души, мыслящей без чувств, не знаю почему названо мечтательным и невозможным, когда философия допускает бытие духов мыслящих, не приписывая им чувств телесных?».

Возражение очень дельное и умеренное! Напрасно г. Каченовский кричит: караул! и говорит, что речь идет не о духах мыслящих, но о душе человеческой, соединенной еще с телом: ибо душа им однородна, и буде справедливо, что, соединенная еще с телом, она не иначе может мыслить, как только телом или чувствами (это все равно), — что же с нею будет, когда она разлучится с телом? Локкова система прямо ве-

дет к материализму или, лучше сказать, — материализм, только прикрытый благовидною личиною.

8 декабря

Ныне ровно год, как получил я первое письмо от брата. Получу ли еще письмо от него до 1 января?

Сегодня я занимался своим «Монастырем» con amore:[а] это в первый раз во второй песни.

9 декабря

В «Вестнике» отрывок из «Principes Philosophiques»[б] полковника Вейса «Гробница».[324] Помню, как поразил он меня, когда я в Лицее в первый раз прочел его... Не менее и сегодня потряс он мою душу: не много могу вообразить предметов ужаснее тех, какие автор представляет в этой картине.

Прочел я еще 12 «Повестей Кирши Данилова». По моему мнению, лучшие из них: «Ставр Боярин» — сказка очень замысловатая; «Добрыня Чудь покорил» — повесть истинно юмористическая; «Поток Михайло Иванович» — богатая воображением, игривая, местами страшная; «Сорок калик с каликою» — легенда, по вымыслу и слогу, быть может перл всего собрания. Алеша Попович — Улисс между богатырями Владимира: его характер чуть ли не резче всех прочих обозначен, тщательнее всех прочих дорисован и почти везде выдержан. Сам Владимир более похож на Карла, нежели на Артура.

В сказке «Царь Саул Левандович» что-то восточное, что-то напоминающее Ша-Наме. Думаю, что она соотечественница Еруслану Лазаревичу, т. е. переселенка к нам из Ирана или по крайней мере пз Татарии.

10 декабря

Кончил я сегодня вторую песнь «Отроча монастыря».

11 декабря

В одной из прежних книжек «Вестника» под статьей Нечаева «Мысли и замечания»[325] попалась мне мысль довольно новая, а именно совет: выводить из снов нравоучения... Это не так-то легко: не знаю, как у Степана Дмитриевича, а у меня, грешного, и, сколько я слыхал, почти у всех братьев и сестер моих по праотцу Адаму — сны бестолковые. Однако же, если и нельзя выводить из самих снов нравоучений, по

[а] с любовью (*итал.*).
[б] «Философические принципы» (*франц.*).

крайней мере они могли бы служить как бы термометром или барометром для господствующей над нами склонности. Так, напр., нет сомнения, что тот, кто часто видит во сне борзых и гончих, не без пристрастия к борзым и гончим, или что тот не самых миролюбивых свойств, кто часто во сне бранится и ссорится.

Прочел я сегодня 6 первых глав Третьей (апокрифической) книги Ездры. Должно признаться, что она писана человеком, совершенно проникнутым тем восторгом, который веет и живет в писаниях пророков Ветхого Завета. Хотя поддел заметен во многих местах, хотя нет сомнения, что эта книга не Ездрина, что она, вероятно, сочинена в первые века христианской церкви, но вместе нет сомнения, что творец ее достоин беседовать с Исайею и Иеремиею и может назваться счастливым учеником и преемником их. Мыслей высоких, уподоблений превосходных и смелых, картин резких и новых — множество. Со стороны поэтической недостает только лирического беспорядка и парения; все расположено слишком обдуманно, рассудительно, это-то именно, с другой стороны, и заставляет смотреть на сию книгу не так, как на глас свыше, исходящий из уст вдохновенного, исступленного пророка, а как на прекрасное творение ума смертного.

Вот несколько мест из 6-ти первых глав апокрифической книги Ездры, особенно примечательных: в конце 3-й [...] [326]

13 декабря

Вчера опять принялся за греческий язык: хорошо бы было, если бы до нового года удалось перечесть уже прочитанные шесть книг «Илиады».

Вечером после ужина прочел я первую книгу Краббевой поэмы «The Village».[а] Судя по началу, Краббева фламандская картина не в пример занимательнее, чем томсоно-деммевские чувствительно-бесхарактерные собрания возгласов, изображений и поучений, называемые сельскими или описательными поэмами.[327]

14 декабря

Прочел вторую книгу Краббевой «Деревни» и первую другой поэмы, сельской же — «The Parish Register».[б] Обе они напоминают «Tales of the Hall», но, кажется, уступят этому истинно прекрасному творению.

15 декабря

Получил письма от брата (это третье, оно от 22 сентября), от Юстины Карловны и от дочерей ее, старшей и младшей.

а «Деревня» (*англ.*).
б «Приходские списки» (*англ.*).

Гете в одной из «Римских эпиграмм» своих называет мух, помешавших спать ему, вдохновительницами [328] (Musageten); моим вдохновителем с понедельника было ненастье, от которого в моей кануре так было темно, что я не мог внести с доски в тетрадь окончания второй песни поэмы моей, а потому поневоле должен был выхаживать новые стихи; мыслей для третьей песни не было — итак, плодом комнатного моего путешествия оказалось следующее послание к матушке.

МОЕЙ МАТЕРИ [329]

Предел безмолвный, темный уголок,
Немая пристань, где наставник-рок,
Спасительный, но в строгость облеченный,
Назначил мне приют уединенный,
Святыней будь сегодня для меня!
Я ныне полон чистого огня:
Объемлет горний пламень дух поэта,
Нет дыму в нем, ни духоты страстей.
Источник силы, теплоты и света,
Он мне перуном не слепит очей,
Не жжет мне сердца пылом исступленья;
Из жилы в жилу токи вдохновенья
Лиются тихо, без мятежных бурь...
Так некогда по вертограду рая
Текла, луга и рощи напояя,
Являя неба дивную лазурь,
Река, родительница рек святая!
К кому ж простру я в благодатный час
Парящий на крылах восторга глас?
Не ветреным друзьям, питомцам мпра,
Брящает под моей рукою лира:
Забытый, не ищу вниманья их,
Но ты да слышишь звуки струн моих,
О лучший друг мой! о моя родная!
Ты, коей имя на моих устах,
Ты, коей память вечно мне драгая
В душе моей, когда, покинув прах,
Не зная ни оков, ни граней тесных,
Ношусь, ширяюсь в областях небесных
И выше звезд и солнцев узнаю
Не грозного для смертных судию,
Не бога, воруженного громами,
Властителя над бледными рабами,
Но кроткого и падших чад отца,
Но близкого, того, кто, благ без меры,
Врачует сокрушенные сердца
Елеем дивным животворной веры!
И он пошлет отраду и тебе,
Утешься: видит он, как о судьбе
Своих сынов рыдаешь и тоскуешь
И нас сынами скорби именуешь...
Но слез не лей: нет, не без бога мы!
Не сетуй! — наше солнце среди тьмы,

Наш пестун, и покров, и защититель,
Наш бог, надежда наша — вседержитель.
И много от его руки благой
Прияли мы — не ясной ли душой,
И радостной, и мощной даже в горе
Им брат мой наделен? — Пусть мрак кругом,
Пусть катится в ночи ревущий гром,
Но светлый день в его спокойном взоре.
«Жив бог мой!» — он вещает и с челом
Бестрепетным, без страха, без смятенья
Смиренно все встречает искушенья.
[Так, не таю: я мене тверд, чем он;
Так, исторгался малодушный стон
Из этих персей. Ныне ж со слезами
Пою и славлю господа: дарами]
Бесценными дарами датель сил,
Господь мой, и меня благословил.
Пусть упиваются любимцы счастья
Отравою земною сладострастья;
Пусть одеваются в ничтожный блеск,
Пусть слышат купленный за брашно плеск, —
Они умрут, и сгложет червь их кости,
Имен их не помянут даже гости,
Участники распутных их пиров, —
Я узник, но мой жребий не таков!

Меня взлелеял ангел песнопенья,
И светлые, чудесные виденья
За роем рой слетают в мой приют;
Я вижу их: уста мои поют,
И райским исполняюсь наслажденьем.
И да вещаю ныне с дерзновеньем;
Я верую, я знаю: не умрут
Крылатые души моей созданья.
Так! чувствую: на мне печать избранья.
Пусть свеется с лица земли мой прах —
Но я — счастливец — буду жить в веках.
Не весь истлею я: с очей потомства
Спадет покров мгновенной слепоты —
И стихнет гул вражды и вероломства;
Умолкнет злоба черной клеветы —
Забудут заблужденья человека,
Но воспомянут чистый глас певца,
И отзовутся на него сердца
И дев и юношей иного века.

Наступит оный вожделенный день —
И радостью встрепещет от приветов
Святых, судьбой испытанных поэтов
В раю моя утешенная тень.
Тогда я робко именем клевретов,
Великие, назвать посмею вас:
Тебя, о Дант, божественный изгнанник!
О узник, труженик бессмертный, Тасс,
Тебя, — и с ним тебя, бездомный странник,
Страдалец, Лузитании Гомер!
Вы образцы мои, вы мне пример.

Мне бед путем ко славе предлетели,
Я бед путем стремлюся к той же цели
Не плача же достоин жребий мой:
Я на земле, в тюрьме я только телом,
Но дух в полете радостном и смелом
Горе́ несется, за предел земной
И в ваш собор вступает светозарный.
Нет! мне не страшен черни смех коварной:
Я в скорби, в заточеньи, в нищете;
Но лучший ли удел вкушали те,
Которых имена вовеки громки,
Те, что стоят времен на высоте,
Поэты, к коим поздние потомки
Подъемлют блеском ослепленный взор, —
Светил вселенной вдохновенный хор?

18 декабря

Прочел я остальные главы Книги Ездры. Главный вопрос Ездры все-таки не разрешен;[330] но, кажется, его разрешил мне мой почтенный ревельский духовник. Не могу не согласиться с его мнением, ибо оно совершенно согласно с тем утешительным и высоким понятием, какое дух Христова учения дает о боге, о милосердом отце любви. Конец 9-й и начало 10-й главы примечательны по удивительно смелой просопопее:[331] не знаю в этом роде ничего подобного. Здесь выпишу два места: первое важно по преподанному в нем правилу, второе по силе поэтической мысли.

«Не буди любопытен, како нечестивыи мучатися будут, но испытуй, како праведныи спасутся». Гл. 9, ст. 13.

Изображается запустение, долженствующее постигнуть Вавилон и Азию, Египет и Сирию; после многих резких картин, напоминающих Исайю, следует: «Восхощет человек человека видети или глас его слышати». Гл. 16, ст. 28. Как это просто и в то же время ужасно!

19 декабря

Есть такие дни, в которые идет все неудачно. Поутру я хотел было сочинять, но мыслей для 3-й песни не было; взялся было за перевод Геллертовых стихов[332] «Du bist's dem Ruhm und Ehr gebührt» [а] — и тут не повезло; после обеда и читать даже не было охоты; наконец, вечером перед ужином и греческим языком занимался я не так успешно, как на прошедшей неделе; после ужина рассердился даже на своего теперешнего фаворита — Краббе: начало его поэмы «The Borough» [б] до невозможности скучно.

а «Ты заслужил хвалу и славу» (*нем.*).
б «Местечко» (*англ.*).

20 декабря

Прочел еще четыре письма Краббевой поэмы «The Borough». В пятом письме мастерски изображена навязчивая дружба тех, о которых наш Крылов сказал: «Услужливый дурак опаснее врага».

21 декабря

Для человека в *моем* положении Краббе бесценнейший писатель: он меня, отделенного от людей и жизни, связывает с людьми и жизнью своими картинами, исполненными истины. Краббе остер, опытен, знает сердце человеческое, много видал, многому научился, совершенно познакомился с прозаическою стороною нашего подлунного мира и между тем умеет одевать ее в поэтическую одежду, сверх того, он мастер рассказывать — словом, он заменяет мне умного, доброго, веселого приятеля и собеседника.

Сегодня я прочел еще три письма его поэмы: в 8-м эпизод — William and Walter [a] — очень хорош; недоволен я только последними двумя стихами — они мне кажутся несколько натянутыми и неестественными.

22 декабря

Вот наконец перевод Геллертовой молитвы «Du bist's dem Ruhm und Ehr gebührt»; я давно желал ее перевесть.

БЛАГОСТЬ ГОСПОДНЯ

(«Du bist's dem Ruhm und Ehr», etc. Gallert)

Хвала и слава будь тебе,
Владыка, боже мой!
Ты пекся о моей судьбе,
Ты был всегда со мной.

К тебе взывал ли в страхе я —
Не тщетен был мой зов:
Благий! Премудрый! Длань твоя
Мой щит и мой покров.

На одр скорбей я пал стеня:
«Спаси!» — так я молил.
Ты спас, ты исцелил меня:
Хвала, источник сил!

Врагом бывал ли оскорблен —
Восплачусь пред тобой:
Ты дашь терпенье; враг прощен,
И в сердце вновь покой.

Блуждаю ли в своем пути,
Призра́ками прельщен, —

---

[a] Уильям и Вальтер (*англ.*).

Промолвлю: «Путь мой освети!» —
Гляжу — и освещен.

Скорблю, нигде отрады нет:
«Ах, долго ль?» — вопию.
И утешенье твой ответ
На жалобу мою.

Ты бог благий, ты щедрый бог,
Отец того, кто сир.
В нужде, в соблазнах мне помог,
Ты шлешь мне мощь и мир.

Хвала! и горе твой посол:
Сближаюсь ли с тобой,
В нем слышу твой живой глагол;
Хвала, наставник мой!

Земля, и твердь, и поле волн
Твоей любови храм;
Твоих даров не мир ли полн?
Хвала! ты дал их нам.

Хвала, хвала за кровь того,
Кто грешных кровью спас.
Наш бог и сына своего
Не пожалел для нас.

О сколь господь нас возлюбил!
Издай же песни, грудь!
Органом славы богу сил,
Народ господень, будь!

Он преклоняет слух на стон,
Речет — и стона нет.
Нас по искусе кратком он
Восхитит в вечный свет.

Мой дух, на милость уповай,
Которой нет конца;
Сколь благ твой бог, не забывай
И чти закон отца!

Я был сегодня в бане.

Прочел я еще два письма Краббева «Borough»; в 9-м превосходные две картины — осеннего тумана на взморье и гибели, которою неожиданный прилив угрожает приставшим к отмели, сухой во время отлива; в 10-м в другом (совершенно прозаическом) роде хорошо изображение *приятельского* общества за картами.

23 декабря

Прочел следующие три письма: из них лучшее 13-е.

Жаль мне, что я сегодня разбил трубку, которая служила мне более полугода; я привык к ней, любил ее — надо же любить что-нибудь!

24 декабря

Великое достоинство в картинах, какие рисует Краббе, — необыкновенная живость: все у него так истинно, так естественно, что, кажется, не читаешь, а видишь то, о чем он говорит. В 18-м письме у него изображение предместья: в моих прогулках по улицам Замоскворечья, по Садовой, по Тверской-Ямской я сам это все видел, все точно так, тут совершенная природа. В 18-м же письме очень умное рассуждение о том, каково бедному в Доме общественного призрения, даже в самом лучшем.

25 декабря

Рождество. «Ныне радуюся, не яко скорби бысте, но яко оскорбестеся в покаяние: оскорбесте бо по бозе, да ни в чем же оттщетится от нас. Печаль бо, еже по бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделовает; а сего мира печаль смерть соделовает».[a] Ты, боже, сердцеведец, ты видишь самые тайные чувства и помышления, ты лучше самого меня знаешь, какая печаль исполняла меня в день сей, день радости! Если точно тоска, печаль по тебе источник всякого блага, если смею сказать с Давидом: «Возжажда душа моя к богу крепкому , живому!», — то как и мне не назвать этого дня днем радости? В спасение же была мне тогда святая скорбь, которую ты, отец мой небесный, послал мне.

Вечером я перечитывал свои духовные стихотворения: их всего двадцать три; наконец, после ужина прочел я два письма Краббе: повесть в конце 20-го очень трогательна.

26 декабря

Многие осуждают Лафатера, Юнга,[333] Шиллинга и других мистиков за то, что они верили непосредственным, видимым действиям Провидения божия, наставлявшего их, помогавшего им в их *частной* жизни *вещественными*, так сказать, знаками, чудесами. Чтоб знать, заслуживают ли мистики порицание своих противников, надобно бы, чтоб обстоятельства их, их характер и пр. были мне несколько более известными, чем теперь. Конечно, надменно полагать, чтоб всевышний нарушением своих вечных законов стал помогать нам в хозяйственных хлопотах нашей мелкой, частной жизни. Но есть чудеса другого рода: действия видимого отеческого попечения господа о нашем благе, такие действия, которые до того кажутся естественными, что мы, слепцы неблагодарные, приписываем их случаю; а между тем в них-то открылось бы для нас милосердие божие чудесное, если бы мы только сами не закрывали глаз своих. И я несколько раз в жизни испытал над собою

---

[a] «Ныне радуюсь, не потому, что скорбь минула, но потому, что привела к покаянию: скорбим, чтобы бог не отрекся от нас. Ибо печаль по богу и нераскаявшегося ведет к спасению, а печаль по земному ведет только к смерти» (*церк.-слав.*).

такого рода чудеса и не полагаю, чтобы называть их чудесами было гордостию или суеверием. Сегодня был со мною подобный *случай* (говорю: случай, потому что в свете это назвали бы случаем). Осудив в сердце своем кое-кого из ближних своих, быть может и не совершенно против меня правых, я в Библии искал притчу, которую в уме своем к ним приноравливал, — в книге жизни я искал смертельного яда; но вместо яду отец мой небесный подал мне горькое, но спасительное лекарство: не та притча, какой я искал, попалась мне, а другая, совершенно приноровленная к греху, в который впал я, — притча о рабе, неуплатимо должном господу своему и прощенному, а не хотевшему клеврету своему простить ничтожного долга.

27 декабря

Отдыхал сегодня душой и телом; оно мне было нужно: я чувствовал себя усталым и даже несколько нездоровым.

Заметил я, что в письмах своих к племянникам и племянницам самолюбие тех двух из них, которые мне преимущественно любезны и дороги, я не побоялся несколько раз оскорблять довольно чувствительным образом. Отчего это? отчего, напротив, я так берегу самолюбие тех, к которым я равнодушнее? Этот вопрос легко разрешить: но разрешат ли *они* его? Поймут ли Николай и Саша, что я их считаю совершенно своими, что душа моя их усыновила? Что посему позволяю себе, полагаю себя вправе говорить с ними так, как не могу решиться гово́рить с их братьями и сестрами? Быть может, когда меня не будет, они прочтут эти строки и узнают тогда, как я их любил, и — но, друг мой Николай, я упрекать тебя не хочу — может быть, и не будет мне даже причины упрекать тебя: увидим, какое действие произведет последнее письмо мое.

28 декабря

На днях я вынул из чемодана мои старые дневники; при окончании года недурно обозреть прошедшее. Сегодня прочел я дневник последних чисел декабря 1831 года. Два или три места поразили меня; 22-го числа я спрашиваю: «Буду ли жив через год и в таком ли я состоянии души, чтоб мог без страха подумать о другой жизни?» — а 29-го: «В сытость мне этот 1831-й год, в сытость и в тягость так, как давно ни один не был». Первый вопрос и теперь могу повторить: и ныне еще слишком привязан к земле; особенно слишком дорожу своими стихотворными занятиями; положим, что самолюбие меня не ослепляет, положим, что я в самом деле не без таланта, но, во-1-х, талант еще не есть несомненная порука за то, что не забудут меня (особенно когда все внешние обстоятельства, кажется, соединились для того, чтоб подавить всякую надежду на будущую известность); во-2-х, пусть и достигну своего желания, пусть приобрету то, что честят здесь на земле бессмертием, — этот

пустой, ничтожный самозванец, это бессмертие что в сравнении с тем другим, истинным бессмертием, к которому я каждый день и час должен бы готовиться в сей земной гостинице?

Вторая отметка должна ныне исполнить сердце мое живейшей благодарностию к господу: нынешний год для меня был гораздо легче прошлого; конечно, он был не без неприятностей, не без тяжелых минут, — однако же таких живых, таких мучительных страданий, как в 1831 году, в нем для меня не было.

29 декабря

Прочел дневник с нового года по светлое Христово воскресенье: есть отметки, которые и теперь показались мне довольно занимательными и, может быть, и другим покажутся не вовсе пустыми.

30 декабря

Еще день — и 1832 год канет в вечность. В последние три недели этого года я прилежно занимался греческим языком: надеюсь завтра поутру совсем окончить вторичное чтение первых шести книг «Илиады»; таким образом, мне в январе месяце уже можно будет приняться за 7-ю книгу.

В «Вестнике» прочел я «Рассуждение» Дюссо[334] о точных науках: оно достойно примечания по парадоксу, на котором основано.

31 декабря

Пишу письма к своим: за ними меня застанет и Новый год. От сестрицы Улиньки я поздно вечером получил очень приятное письмецо. П. Ахвердова, кажется, коротко познакомилась с сестрою Глинкиною, в добрый час! Эти две женщины достойны любить друг друга.

1833 год

1 января

Вот и нового года уже один день пролетел! Когда он будет уже старым, буду ли (если только буду жив) более доволен, чем в конце минувшего года?

Последние шесть недель я много жил в прошедшем: перечитал прежние свои работы, наконец взялся и за дневник с 14-го ноября 1831 года по нынешний день (осталось мне прочесть только последний декабрь месяц); вынул я также письма, которые получил с осени, — прочту и их. Сегодня занимался я часочек и любезным своим Краббе.

2 января

Сегодня поутру я начал третью книгу «Отроча монастыря».

Вечером перечитывал письма, которые получил я с августа месяца, а потом переправлял первую книгу своей поэмы: остановился я на Ольге и Ксении; это место, кажется, придется совершенно переделать.

3 января

Переправляя конец первой книги, я заметил, что в ней много прозаических стихов: я их еще не заменил другими, но это непременно должно сделать.

Версификация второй книги кажется мне с начала несколько лучше; остановился я на втором романсе, над переправкою которого я уже два раза бился, сегодня в третий, а он все-таки еще не хорош!

Наконец я дочел поэму Краббе «The Borough», а с нею и все стихотворения этого отличного писателя, с которым я рад, что познакомился. Предоставляю себе в другое время сказать вообще свое мнение о Краббе и его сочинениях; ныне только замечу, что «Borough» кажется мне слабее «Tales of the Hall», хотя и содержит некоторые чрезвычайно хорошие подробности.

У меня сегодня были опять живые сны: между прочим, за каким-то обедом, где много было дам, я с рюмкою в руке говорил похвальное слово прекрасному полу; когда проснулся, я еще помнил эту речь во всех ее частях и хотел было внесть ее в дневник, но теперь забыл.

4 января

Сегодня вместо того, чтоб продолжать третью песнь своей поэмы, я кое-что вставил в первую и, кажется, довольно удачно. Наконец у меня опять книги: с удовольствием прочел я «Поединок Казановы с Броницким»;[1] пройдоха тут виден на каждой строке, но пройдоха умный.

5 января

Получил письма от матушки, Сашеньки и тетеньки да посылку; жаль мне, что не могу исполнить просьбы добрых моих племянниц: они прислали мне вязаные туфли своей собственной работы и хотят, чтоб я их носил, но туфли-то мне маловаты.

В «Вестнике» прочел я статью очень занимательную Перевощикова.[2]

6 января[3]

В книжках «Вестника» на 1822 год несколько статей о немецкой философии[4] в духе совершенно противоположном тому, в каком были прежние Каченовского и его сотрудников; но признаюсь, и ими я не

совсем доволен. В них все слишком молодо, незрело. Конечно, 17-тилетнему Одоевскому они приносят величайшую честь: мало юношей и постарее его, которые бы так писали и так успешно занимались предметами самыми отвлеченными; однако же ученичество все-таки кое-где проглядывает, напр. в страсти сражаться с ветряными мельницами, с Баттё и Эшенбургом,[5] о которых едва ли еще кто помнил в 1822 году. Кроме того, молодость видна и в пристрастии к мистическим формулам, которые только затмевают дело. Последний недостаток особенно заметен в разборе Зольгерова «Эрвина».[6] В самом Зольгере не нравится мне ненужное и даже вредное для науки деление душевных способностей на бесконечное множество: воображение, напр., он раздробляет на воображение и фантазию, а в самой фантазии находит фантазию фантазии и ее чувственность... К чему все это? Душа человеческая не есть собрание сил, а *одна и та же неделимая сила*: я уже в своем предисловии к «Ричарду III» сказал и здесь повторю, что воображение, сердце, ум — тот же дух, та же сила, только в различных *проявлениях* (pour employer un mot que ces Messieurs aiment[a]). Вопрос: почему Зольгер сатиру и гном причисляет к эпопее?

7 января

«Афоризмы из нравственного любомудрия» — прекрасная статья: в ней я нашел мысль о неделимости души точно в том значении, как я ее понимаю. Вот оттуда несколько слов, вполне объясняющих эту мысль: «Вкушать изящное, желать доброго, размышлять правильно есть одно и то же действие души в разных видах».

В статье Снядецкого против Канта[7] несколько таких софизмов, которые в глаза бросаются.

Замечания Андросова на продолжение статьи Снядецкого очень хороши, только не все софизмы *виленского профессора* он обнаруживает, — а Кантово учение о пространстве и времени не довольно объяснено. Быть может, однако же, оно таково, что и объяснить его нелегко.

8 января

Еще продолжение статьи Снядецкого![8] и какое продолжение! Для образчика *истин*, которые изволит он предлагать самым диктаторским голосом, вот одна (она еще не из самых нелепых): «Где язык темен и невразумителен, там понятия неопределенны, вздорны, а может статься, и совсем нет их». Итак, для Фомы язык математики, для Андрея язык политической экономии, для Петрушки язык грамматики темны и невразумительны, потому что Фома, Андрей и Петрушка глупцы и невежи; тем не менее из аксиомы г-на Снядецкого следует, что, по невразумительности и темноте языка этих наук хотя бы только

---

[a] употребляя выражение, которое эти господа любят (*франц.*).

для Фомы, Андрея и Петрушки, понятия, излагаемые математикою, политическою экономиею и грамматикою, неопределенны, вздорны и даже что в этих науках нет никакого понятия! С чем имею честь поздравить г-на виленского профессора.

«Мир поэта» Катенина [9] — одно из самых лучших лирических творений, какие только имеем на русском языке. Начало — о предметах поэтических у евреев, потом переход от евреев к грекам и окончание необыкновенно хороши.

Следующие стихи бесподобны:

И на крылах воображенья,
Как ластица, скиталица полей,
Летит душа, сбирая наслажденья
С обильных жатв давно минувших дней;
Ветр свежий веет от Востока,
От тучных счастливых земель,
Где мира и людей святая колыбель.

Изображение Авраама прекрасно; столь же почти хорошо свидание Иосифа с братьями. Эпизоду «Руфь» я подражал, однако же без намерения, в первой песни своего «Давида», а где Катенин говорит о Давиде, мы встретились почти слово в слово. Вот два стиха Катенина, которые у меня почти повторены:

Царь, пастырь, воин и певец,
Весь жизни цвет вобрал в себе едином.

Во второй половине «Промефей» Эсхилов единствен. Но лучше всего мне нравится окончание; оно напоминает окончание и Гетевой «Euphrosyne» [a] и Шиллеровой «Прогулки», но не есть им подражание. Стихи, каковы в этом случае:

Нет, нет! в лице их узнаю
. . . .
Я вижу, движется их строй,
Их очи смотрят, грудь их дышит...
Промолвите, герои древних лет,
Да жадный слух ваш глас услышит!
Хочу рукой моей коснуться вас... Ах, нет!
Нет их, нет никого!..
. . . .
Вокруг меня зари свет слабый льется,
Лицо горит, мрет голос, сердце бьется
И слезы каплют из очей, —

такие стихи являют поэта истинно восторженного, истинно исступленного: их и лучший подражатель никогда не напишет.

---

[a] «Евфросина» (*нем.*).

9 января

Нынешний день провел я прилежно и разнообразно: поутру занимался своею поэмою, после обеда писал письма, а, наконец, вечером прочел несколько статей в «Вестнике Европы», о которых, однако же, завтра, потому что устал.

10 января

Поутру сочинял, после обеда писал письма, а вечером читал, словом сказать, провел нынешний день, как вчерашний.

Очень дельная статья Арцыбашева «Два съезда князей»[10] (отрывок из Нестора). Как тут все живо и хорошо! Кажется, что все видишь: не лучше ли это наших так называемых прагматических историй? Противу последних очень умно вооружается и Сегюр[11] в предисловии к своему сокращению «Всеобщей истории».

Наконец, попалась мне статья довольно путная в «Вестнике Европы»: «Изяслав II, или Середина 12-го столетия в России»[12] Арцыбашева. Это отделение нашей истории удачно впоследствии обработано Полевым; но я уверен, что Арцыбашева труд ему был очень полезен.

11 января

Давно я не читал ничего Гофмана. В «Вестнике» его повесть «Счастье игроков»,[13] которой начало истинно мастерское. Под конец слишком много происшествий; однако же они, быть может, произвели бы сильное действие, если бы были более развиты, если бы были рассказаны не чересчур бегло и несколько спутанно. Особенно жена Менара стоила бы того, чтобы на ней остановиться.

В статьях Одоевского я везде узнаю своего любезного сотрудника: как все у него зелено! но из него мог бы выйти человек. Хотелось бы мне знать, что он теперь творит? Неужто женитьба его совсем переродила,[14] и он уж совершенно стал похож на тех, над которыми, бывало, так едко и неосторожно смеялся?

12 января

Много в «Вестнике» на 1823 года статей Одоевского. Не из лучших — «Дни досад».[15] Охота человеку, не знающему людей, писать карикатуры и называть их людьми!

Послание Загоскина «К Людмилу»[16] принадлежит к хорошим сатирам на русском языке, а число хороших сатир у нас не слишком велико: в нем много vers à retenir.[a]

Одно из последних стихотворений Капниста — «В память береста»;[17] оно прекрасно не по отдельным разительным стихам, которых в нем вовсе нет, а по своему целому и по подробностям в самом вымысле.

---

[a] запоминающихся стихов (*франц.*).

15 января

Лучшая из всех философических статей, какие прочел я в «Вестнике», — Ансильонова «О новейших системах метафизики в Германии».[18] Какая тут разница с Снядецким! Я это рассуждение прочту еще раз, а потом уже сделаю несколько замечаний.

Людей неосторожных (qui se laissent aller[a]) считают очень часто недальновидными, глупцами. Но едва ли это всегда справедливо. Можно очень и очень хорошо видеть пронырства и коварство сплетников, клеветников, наушников и прочей умной сволочи, а считать ниже себя принятие против них осторожности; можно, напр., даже наверно знать, что, если я скажу то и то, кумушка такая-то это перескажет с такими-то прибавлениями и украшениями кумушке такой-то и пр.; и все же может случиться, что не удержишься, а выскажешь все, что лежит на́ сердце и что и искреннему другу не всегда бы поверять должно. Конечно, это не хорошо; однако же напрасно умники торжествуют: «Мы-де перехитрили его! провели!». Не они его провели: его увлекла только страсть, страсть иногда самая благородная, которой они никогда не поймут и понять не в состоянии. Брат очень справедливо в своих письмах упрекает меня в этой неосторожности; но напрасно называет он ее доверчивостию. Припоминая многие случаи из своей прежней жизни, я убедился, что очень часто эта неосторожность у меня была сопряжена с сильными подозрениями, а всего чуднее — иногда даже была следствием этих самых подозрений.

17 января

Перечитывая сегодня поутру начало третьей песни своей поэмы, я заметил в механизме стихов и в слоге что-то пушкинское. Люблю и уважаю прекрасный талант Пушкина: но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его подражателей. Впрочем, никак не могу понять, отчего это сходство могло произойти: мы, кажется, шли с 1820 года совершенно различными дорогами, он всегда выдавал себя (искренно ли или нет — это иное дело!) за приверженца школы так называемых очистителей языка, а я вот уж 12 лет служу в дружине славян под знаменами Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова. Чуть ли не стихи четырехстопные сбили меня: их столько на пушкинскую стать, что невольно заговоришь языком, который он и легион его последователей присвоили этому размеру.

18 января

Моя поэма мало-помалу подвигается вперед, хотя третья песнь идет несколько и медленнее первых двух.

---

[a] которые позволяют себе увлечься (*франц.*).

Сегодня я что-то опять сбился — правда, не с порядку своих занятий, — однако же с той охоты, с какою все эти дни в них упражнялся: греческим языком я занимался, но не так удачно, как вчера и третьего дня.

19 января

С понедельника (16 числа) начались здесь жестокие морозы, каких прошедшею зимою вовсе не было. В первый раз в бытность мою здесь льдом совершенно почти покрыло окно мое.

20 января

Читал я когда-то — не помню уж, в какой книге, — будто знающие древние языки потому только превозносят Гомера, Пиндара etc., что им стоило много труда изучить их. Это мнение, конечно, не стоит опровержения. Замечу, однако же, что напряженное внимание, нужное для того, чтобы понять писателя, употребляющего язык, который не совершенно знаем, который изучаем, действительно иногда открывает нам красоты, коих мы без того бы не заметили. Десять раз, быть может, на своем веку читал я 7-ю песнь «Илиады», и в отличных переводах, напр. в Фоссовом: «Hielt er (Ajax) unter die Hand und hinein warf's nahend der Herold[а] [...] [19]

22 января

Получил письмо от сестрицы Юстины Карловны и деньги.

Прочел я пять первых песней Скоттовой поэмы «Harold the Dauntless».[б] Завтра, прочитав последнюю, скажу свое мнение об этом творении шотландского поэта, имеющем совершенно особенный характер.

23 января

«Гарольд» Скотта, хотя ничуть не лучшее из созданий его, кажется, всех менее потеряет в переводе. Особенно тут милы оба женские лица — Мелитиль и Эйвира; последняя принадлежит даже к самым удачным характерам поэтического мира: это Джюлия Шекспировых «Jentlemen of Verona»,[в] но идеализированная, героическая. Жаль только, что сам Гарольд слишком уж медвежеват, даже иногда просто карикатурен: занимательным он только становится под конец. Вся поэма вообще имеет довольно мало глубины, особенно если ее сравнить с «Рокеби» или с «Девою озера»; но зато она до чрезвычайности жива

а Он (Аякс) протянул руку, и герольд, приближаясь, подал его (т. е. жребий, — *Н. К.*)... (*нем.*, «Илиада», VII, 188).

б «Гарольд Бесстрашный» (*англ.*).

в «Дворян веронских» (*англ.*).

и бойка и полна самого смелого воображения. К прочим поэмам Скотта она почти в том же отношении, в каком «Руслан и Людмила» к позднейшим произведениям Пушкина.

24 января

Сегодня я кончил третью песнь своей поэмы; от матушки получил я письмо и посылку: немецкую Библию, бумагу и сапоги; перед тем я сам писал к матушке и обеим сестрам.

25 января

Как занимателен «Вестник» на 1823 год, так он не занимателен и пуст на 1824 год; перебранка М. Дмитриева, Писарева и прочих *сердитых малюток* с Вяземским[20] не заслуживает внимания по прошествии 9 лет; обе стороны переливают из пустого в порожнее.

26 января

Пуст «Вестник» на 24 год: читаешь, и даже для отметки ничего не остается. Статья Мальте-Бруна о софистах[21] второго и следующих веков по р‹ождеству› Х‹ристову›, однако же, не совсем дурна.

27 января

Наконец попалась мне статья довольно путная в «Вестнике Европы» [. . .] [22]

28 января

А. Писарев был человек с талантом. Если бы не кулисная жизнь и мелкие литературные сплетни, он, статься может, в Истории Русской Поэзии оставил бы значительное имя: но его погубили ранние успехи, вскружившие ему голову, заставившие его слишком много думать о себе, когда он на то еще не приобрел права. В оде его к Тигелину[23] много прекрасного; напр., в 4-й строфе, где поэт говорит о злодее:

Нет! он бессмертью будет предан!
. . . .
Мне долг от Феба заповедан
Питать к преступнику вражду.

Далее в 7-й строфе игра слов, но удачная:

Он мнит утраченную честь
Преступной почестью восставить.

(*Восстановить* было бы точнее)

Свое бесславие прославить
И златом доблести зачесть.

В 10-й, которая из лучших, хотя несколько и отзывается подражанием:

Желать, искать успокоенья
И — угрызенья находить.

(Дело идет о бессоннице Тигелина). В 12-й:

И вечность поношенья
Возляжет грозно на нее.

(На могилу Тигелина). 13-я строфа дурно написана, но прекрасна по заключающейся в ней мысли; три последних стиха прекрасны:

Пришлец на чад его укажет:
«Вот Тигелина дети!» — скажет,
И их чело сгорит стыдом.

29 января

Теперь только могу судить о всем величии, о всей высоте Книги Иова: я три раза читал ее на славянском, но, к несчастью, славянское переложение этой книги в многих местах чрезвычайно сбивчиво, неясно и неопределенно, хотя в других и превосходно. Сегодня прочел я Лютеров перевод, который, напротив, отличается ясностию, хотя, быть может, он и не столь поэтический, как славянский. Впрочем, в обоих случаях есть исключения: местами у Лютера более поэзии, а местами славянский текст яснее немецкого. Дошедши до места, где говорится о бегемоте и левиафане, я вспомнил, что под первым многие толкователи разумеют гиппопотама, под другим — крокодила. Мне, однако же, кажется, что эти чудовища изображены слишком огромными и мощными, чтобы могли быть помянутыми животными. Не мегаферионы ли это, которых остовы и поныне вырывают из земли? Скажут: мегаферионы жили до человека; человек их не застал на водоземной планете. Но это не доказано. Джефферсон утверждает даже,[24] что и поныне есть живые мегаферионы в лесах американских. Сверх того, перерождению или совершенному истреблению некоторых пород животных человек был свидетелем даже в недавние времена: шотландские туры, литовские зубры, дронты (род дрохов) вовсе почти исчезли с лица земли; диких овец, диких собак, кажется, нигде уже нет, а они первоначально должны же были быть дикими и отличными во многих отношениях от нынешних ручных. Кто же может утверждать, что не было гораздо более таких истребившихся пород в первые века жизни племени человеческого, пород, которые, быть может, перешли в мир, приготовленный для нас и

окружающих нас, служащих нам животных, из мира старейшего, где еще не было человека?

30 января

Перелагаю притчу Димитрия Ростовского[25] в белые ямбы. Начал 8-ю книгу «Илиады».

31 января

В «Вестнике» извлечение из сочинения Катрмера де Кенси:[26] «Histoire de la vie et des ouvrages de Raphael».[а] Она начинается с следующей фразы: «До него живопись была не иное что, как *холодное* и *бездушное* представление природы». Что может быть несправедливее этих слов? Душою-то именно, чувством, тем, что немцы называют empfindlich,[б] и отличаются живописцы старинных школ италиянской и немецкой! И Рафаэль в моих глазах единственно потому так и велик, что сумел сохранить невинность, простоту, выразительность, сердечность своего учителя — Перруджио, художника истинно превосходного, а в то же время приобресть или, лучше сказать, создать небывалые до него легкость, изящество, свободу — и все эти качества одухотворить восторгом поэтическим. Зато замечания о замедлениях, какие ныне художнику (и поэту) полагают требования распространившихся везде и обо всем поверхностных сведений, очень и очень справедливы.

1 февраля

Сегодня день рождения младшей сестры моей: дай бог ей счастья, здоровья и мира сердечного!

У меня крепко крестец болит.

3 февраля

Вчерашней отметки нет, потому что я пролежал целый день на постели. Занятия мои прервались: впрочем, мне сегодня легче. Перечитаю старика Шекспира — «Et l'on revients toujours à ses premiers amours».[в]

4 февраля

Сегодня мне гораздо лучше: еще денек, а тут, надеюсь, буду в состоянии приняться за прежние свои занятия. Вчера и третьего дня я чрезвычайно много спал: все третьегодняшнее утро, после обеда, от

а «История жизни и творений Рафаэля» (*франц.*).

б чувствительный (*нем.*).

в «И всегда возвращаются к своим первым увлечениям» (*франц.*).

половины второго до 4-х, всю ночь, как нельзя лучше, вчера после обеда до 4-х же и опять прекрасно всю ночь до 7-го часу. Зато я сегодня был бодр.

Перечел я «Love's labour's Losts».[а] Тут столько смешного, что и счет потеряешь, Дон Адриано де Армадо великолепен: чудесная черта, когда он отказывается от поединка с Костардом, который вызывает его драться в одних рубашках, — потому что рубашки у него под кафтаном *не имеется*, а рубашки у него нет, потому что наш дон обещал своему святому не носить ничего льняного.

5 февраля

«The Merchant of Venice»,[б] без всякого сомнения, одно из лучших творений Шекспира. Последние два действия превосходны: пятое люблю я еще более четвертого, хотя и чувствую, что для создания четвертого нужно было большее усилие дарования, нежели для пятого. Музыкальное начало последнего (в Шиллеровом значении этого слова) необыкновенно удачно противопоставлено пластике четвертого действия: в одном — день, движение, блеск, страсти, ужас, жалость, все живо, все резко; в другом — ночь, полусвет, тишина, фантазия, нега, роскошь, все чуть оттенено, неопределенно, сладостно. Теперь читаю «As You Like It».[в]

Мне принесли книги — и я оставил, не кончив, Шекспира «As you like it». Это, конечно, не слишком похвально, но друг мой Шекспир не рассердится, ведь он всегда со мною.

7 февраля

Нападки М. Дмитриева и его клевретов на «Горе от ума»[27] совершенно показывают степень их просвещения, познаний и понятий. Степень эта истинно незавидная. Но пусть они в этом не виноваты: есть, однако же, в их статьях такие вещи, за которые их можно бы обвинить перед таким судом, которого никакой писатель, с талантом ли, или без таланта, с обширными сведениями или нет, не должен терять из виду, — говорю о *Суде Чести*. Предательские похвалы *удачным портретам* в комедии Грибоедова — грех гораздо тягчайший, чем их придирки и умничанья. Очень понимаю, *что* они хотели сказать, но знаю (и знать это *я* очень могу, потому что Грибоедов писал «Горе от ума» почти при мне, по крайней мере мне первому читал каждое отдельное явление непосредственно после того, как оно было написано), знаю, что поэт никогда не был намерен писать подобные портреты: его прекрасная душа была выше таких мелочей. Впрочем, qui se sent galeux

---

а «Тщетные усилия любви» (*англ.*).
б «Венецианский купец» (*англ.*).
в «Как вам это понравится» (*англ.*).

qu'il se gratte.[a] Завтра напишу несколько замечаний об этой комедии: она, конечно, имеет недостатки (все человеческое подвержено этому жребию), однако же вовсе не те, какие г. Дмитриев изволит в ней видеть, и, вопреки своим недостаткам, она чуть ли не останется лучшим цветком нашей поэзии от Ломоносова до известного мне времени.

8 февраля

«Нет действия в „Горе от ума"», — говорят гг. Дмитриев, Белугин и братия. Не стану утверждать, что это несправедливо, хотя и нетрудно было бы доказать, что в этой комедии гораздо более действия или *движения*, чем в большей части тех комедий, которых вся занимательность основана на завязке. В «Горе от ума» точно вся завязка состоит в противоположности Чацкого прочим лицам; тут точно нет никаких намерений, которых одни желают достигнуть, которым другие противятся, нет борьбы выгод, нет того, что в драматургии называется интригою. Дан Чацкий, даны прочие характеры, они сведены вместе, и показано, какова непременно должна быть встреча этих антиподов, — и только. Это очень просто: но в сей-то именно простоте новость, смелость, величие того поэтического соображения, которого не поняли ни противники Грибоедова, ни его неловкие защитники. Другой упрек касается неправильностей, небрежностей слога Грибоедова, и он столь же мало основателен. Ни слова уже о том, что не гг. Писаревым, Дмитриевым и подобным молодцам было говорить о неправильностях, потому что у них едва ли где найдется и 20 стихов сряду без самых грубых ошибок грамматических, логических, рифмических, словом, каких угодно. Но что такое неправильности слога Грибоедова (кроме некоторых, и то очень редких, исключений)? С одной стороны, опущения союзов, сокращения, подразумевания, с другой — плеоназмы, словом, именно то, чем разговорный язык отличается от книжного. Не Дмитриеву, не Писареву, — но Шаховскому и Хмельницкому (за их хорошо написанные сцены), но автору 1-й главы «Онегина»[б] Грибоедов мог бы сказать то же, что какому-то философу, давнему переселенцу, но все же не афинянину, сказала афинская торговка: «Вы иностранцы». А почему? — «Вы говорите *слишком* правильно; у вас нет тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых молчат ваши *Грамматики* и *Риторики*».

Кончил сегодня «Притчу Димитрия Ростовского» — и пересматривал первую песнь своей поэмы; завтра намерен я пересмотреть вторую, а там третью; в понедельник же не худо бы было приняться за четвертую песнь, однако же я ее еще вовсе не обдумал.

[а] Кто чувствует, что запаршивел, тот и чешется! (*франц.*). Пословица, означающая: кто знает, что виноват, тот и признается; равнозначна русской: «Знает кошка, чье мясо съела!».

[б] Впоследствии Пушкин очень хорошо понял тайну языка Грибоедова и ею воспользовался. *В. К.*

10 февраля

Выправлял третью песнь, но не кончил. Я ею менее доволен, чем второю, а еще менее, чем первою, которая кажется мне лучшею; третья скудна содержанием, да и версификация в ней слишком небрежна.

11 февраля

Сделал несколько удачных поправок в 3-й песни, особенно в введении, но как она, так и вторая, требуют еще строгого пересмотра.

Статьи Арцыбашева должны быть очень полезны для отечественной истории. В «Вестнике» 25 года заслуживает внимания следующая: «Унижение Киева и мятежи в Великом княжестве Владимирском».[28] Ужасна смерть Андрея Боголюбского, так ужасна, что, кажется, тут и для трагедии невозможно найти ничего такого, что бы не возмущало сердца самым непоэтическим образом. Однако же я этот предмет обдумаю.

12 февраля

Прочел Скоттово подражание Бюргеровой балладе «Der wilde Jäger»;[a] оно ближе к подлиннику его же подражания Бюргеровой «Леноре». Желал бы очень прочесть описание соколиной охоты, да в моих книгах нет. Посмотрю, не говорит ли Кирша Данилов хоть мимоходом об ней: нужно же мне это для моей 4-й песни.

13 февраля

Покойный Черевин[29] был человек истинно достойный: у нас были общие знакомые и приятели (Нечаев, Пущин и другие); однако же мне не удалось с ним лично познакомиться. Напечатанная уже по смерти Черевина его статья «О преподавании истории детям»[30] заслуживает, чтоб ее перевели и на иностранные языки: она у нас редкое явление; тут русский мыслящий писатель говорит истинное и притом новое, новое не для одних русских. «Я называю, — говорит Черевин, — *сокращенные истории*, истории *для детей*, нелепостью». В этом я совершенно с ним согласен, согласен также с его мнением о предметах, какими при первоначальном учении надлежало бы заменить совершенно бесполезный, даже вредный курс истории, будто бы приспособленный к понятиям ребенка.

14 февраля

Вчера, тринадцатого числа, я начал 4-ю песнь своей поэмы. Прекрасно было бы, если бы я всю ее кончил до 1 мая, — однако же не совсем надеюсь. Завтра надобно опять приняться и за греческий язык.

---

[a] «Дикий охотник» (*нем.*).

16 февраля

Хочу послать племяннику Дмитрию свое переложение притчи св<ятого> Димитрия. Вот несколько стихов, которые, так сказать, должны служить введением к оному:

ПЛЕМЯННИКУ Д. Г. ГЛИНКЕ[31] ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ ПРИТЧИ СВ. ДИМИТРИЯ

Ты далеко от нас: в стране чужой,
Ты там, где в старину король морской,[a]
Бывало, спустит в пенистые волны
Коней пучины, дерзостные челны,
И отплывет с дружиной удалой
В седую даль, на славу и разбой!
Ты там, где голос скальдов вдохновенных
И вещий строй полночных арф гремел,
И юный витязь трепетал, кипел
От пламенных стихов певцов священных
И в дождь бросался кровожадных стрел.

Так! ты в стране и песней, и отваги,
В стране Одена, Бальдера и Браги,
В стране, куда летал и дивный дух
Царя сердец, британского поэта,
Парил и преклонял к преданьям слух
И завещал бессмертию Гамлета.
Но помнишь ты святую Русь и там;
Ты верен всюду и всегда друзьям!
Нет! праведника мудрое сказанье,
Смиренного, чье имя носишь ты,
Не об отечестве напоминанье:
Любви залог руки моей черты!
Любви отшельника тебе родного:
Внимая притче пастыря святого,
На коем почивала благодать,
Тебе ее желал он передать.
Прими ж ее: я в ней обрел отраду,
Души болезням в ней обрел цельбу.
Да будет и тебе она в усладу.
Благословляю Вышнего судьбу:
Стоишь как пальма в красоте могущей,
Ты тверд и светел в красоте цветущей,
Надежды полн, и доблестен, и смел.
Дай бог тебе безбурных дней удел.
Но не поднять завесы с тьмы грядущей;
Земля — юдоль искуса, а не рай:
И ты, мой друг, ненастья ожидай, —
Лишь не забудь: и радость, и страданье
Одной отеческой руки даянье.

---

[a] Королями морскими — викингами — назывались вожди норманских удальцов, опустошавших приморья Европы с IX по XIII столетие. Они обыкновенно были младшие братья королей. *В. К.*

17 февраля

Жаль, что Московский университет истинно гениального Павлова заставил читать сельское хозяйство;[32] это почти то же, что Ахиллесу приказать быть хлебопеком или Платону танцмейстером. В моей «Мнемозине» одна из лучших статей — первая в 4-й части — его же, Павлова: по моему мнению, он чуть ли не самый умный, самый лучший последователь Шеллинга из наших соотечественников. Не только Одоевскому, но, кажется, и И. Давыдову далеко до него. Я с ним был знаком еще в Берлине: тогда он в полном смысле был еще немецким студентом — боек, умен, burschikos,[a] молодец. Потом меня забавляли его смешные отметки в записных тетрадях, какие хранятся для путешественников в примечательных местах так называемой Саксонской Швейцарии. Наконец, я с ним свиделся опять уже в Москве — при публичном чтении Общества любителей русской словесности. Тут я в нем заметил какую-то робость, унылость, застенчивость, которые ясно показывали, что он не слишком доволен своим положением. И в самом деле, каково читать сельское хозяйство тому, кто предполагал, что получит кафедру философии, кафедру, коей был бы он истинным украшением!

18 февраля

Кончил 8-ю книгу «Илиады». Это значит, что я уж прочел третью долю всей поэмы. Об успехах же своих могу судить по чему: в два часа с небольшим разобрал я сегодня около 150 стихов. О переводе Фосса (с которым всегда после урока сличаю прочитанное) скажу, что он точно единствен, но нет ничего на земле совершенного; итак, и в переводе Фосса есть недостатки. Главнейший из них — слишком ученое, периодическое, обильное деепричастиями словосочинение, которого в греческом подлиннике вовсе нет.

19 февраля

Всякий раз, когда читаю что-нибудь Мерзлякова, во мне рождается чувство сожаления к этому человеку с истинным дарованием, погибшим от обстоятельств и недостаточного образования. В его оде «Труд»[33] между множеством стихов, до смысла коих трудно добраться, есть также и такие, которые служат сильным доказательством, что ему точно было знакомо вдохновение.

20 февраля

Сегодня я прилежно занимался своею поэмою: начало четвертой песни уже внесено в тетрадь.

---

[a] развязен (*нем.*).

Вечером ожидал я книг, воображал, как приятно будет после работы отдохнуть немного за чтением, но ошибся в своем ожидании. Впрочем, все к лучшему: завтра примусь опять за греческий язык и, быть может, до 1 марта успею прочесть еще одну книгу «Илиады».

21 февраля

Чего ожидал я вчера, то получил я сегодня, а именно книги: оно кстати, надобно немного отдохнуть. Однако же я сегодня начал 9-ю песнь «Илиады», но до первого марта ее не кончу: торопиться не для чего.

22 февраля

Тружусь теперь над самым трудным местом своей поэмы: не знаю, удастся ли оно? Во второй песни надобно будет переделать кое-что; иначе выйдет тут важная несоответственность этому месту. Получил два письма: от Юстины Карловны и племянника Бориса; печальное в сестрином письме известие: княгиня В. И. Долгорукая [34] скончалась.

24 февраля

Основная мысль стихотворения Писарева «Восторг, дух божий» [35] так смела, что даже у меня, охотника до всего смелого, от того голова кружится. Прочту эти стихи несколько раз, а уж потом скажу о них свое мнение. От Писарева я никогда не мог ожидать ничего подобного. Не перевод ли?

25 февраля

Получил письмо от младшей сестры, в котором она описывает смерть княгини Варвары Сергеевны (а не Ивановны, как я ее было назвал), — дай бог всякому умереть, как умерла эта женщина!

В «Вестнике» спор Гофмана и Марселюса о Петрарке.[36] Я согласен и не согласен с первым. Петрарка в самом деле, если правду сказать, кажется, пользуется славою, не совсем заслуженною; но за concetti [a] осмелюсь замолвить слово: они едва ли так неестественны и противны языку чувства и страсти, как то уверяет французский критик.

26 февраля

В статье «Некоторые доводы против материалистов» [37] есть мысли новые и резкие, напр.: «Философы нашего времени, — автор, полагаю, разумеет энциклопедистов, — давали честное имя своим нечестивым поня-

---

[a] игра слов (*итал.*).

тиям». Не лучше ли тут — *намерениям*? Понятий у большей части из них вовсе не было. — «Вечная любовь умеет из зла извлекать добро и все приводить к предположенной цели; но это есть следствие всеобщей благости, а не законов нравственной природы. Ежели бы добрый отец уплачивал за расточительного сына беспрестанно возрастающие долги, неужели этот сын в неблагодарном сердце своем мог бы сказать: „Так и должно быть, — это в порядке вещей: мое дело — мотать, а дело моего отца уплачивать мои долги“».

27 февраля

Сегодня я опять был прилежен, а отдых был мне впрок: четвертая песнь значительно двинулась вперед.

Редко случается, или, лучше сказать, редко удается нам заметить, чтобы была связь между сном, который видим, и другим, виденным нами давно. Это было со мною сегодня: я во сне вспомнил другой, давно уже забытый. Если такие воспоминания бывают чаще, чем мы замечаем (в чем я почти уверен), нельзя ли из того вывесть заключение, что деятельность нашей души во сне имеет гораздо более существенного, нежели обыкновенно предполагают? А если это так, сколько тут открывается предметов для размышления! сколько представляется сравнений сна с бодрствованием, сравнений таких, которые с первого взгляду не слишком клонятся в пользу действительной жизни, однако же при большем внимании открывают для сердца верующего богатый источник надежд и упований!

28 февраля

Вот и второй месяц нынешнего года кончился! И он для меня был не из тяжелых, хотя я в продолжение его и хворал; по крайней мере мой душевный недуг меня почти не мучил. Слава милосердому богу!

1 марта

Кончил четвертую песнь своей поэмы.

Повесть, переведенная с арабского, — «Юноша, верный своему слову» [38] — напоминает анекдот о Дамоне и Пифиасе, но, по мнению моему, еще прекраснее. Другая, переведенная с арабского [39] же Коноплевым, была мне и прежде известна, в ней заключается превосходная аллегория. Жаль только, что г. переводчик «избегал», как сам говорит, «частых повторений, составляющих красоту на арабском и персидском языках», но, по его мнению, «неприличных на отечественном». Еще более жаль, что он «в некоторых местах опустил метафоры и особенные обороты, свойственные арабскому языку и весьма затруднявшие его». Следовало бы передать подлинник Ахмеда-бен-Арабша без всякой перемены, без всякого умничанья; а в виде, в каком сообщает нам его г. Коноплев, позволительно думать, что много утратилось того, что Джонс, говоря об

об истории Тимур-Леига, называет «Suavissima poëseos Asiaticae lumina».[a] Пустынный остров арабский поэт изображает истинно библейскими словами: «В нем не было ни зовущего, ни отвечающего».

2 марта

«Мечтатель»,[40] переложенный с арабского перевода Бидпаевых басен, приятель наш Альнаскар и близкий родственник Лафонтеновой «Молочницы»; на арабском он едва ли не еще забавнее, чем у Панкр. Сумарокова и Дмитриева.

Сегодня пришли мне довольно счастливые мысли для пятой песни. Полагаю начать ее, не отлагая в долгий ящик, в понедельник. Четвертая же чуть ли теперь не лучшая.

4 марта

Написал стихи на смерть Долгорукой.

НА СМЕРТЬ КНЯГИНИ
ВАРВАРЫ СЕРГЕЕВНЫ ДОЛГОРУКОЙ[41]

Посвящено сестре моей Юлии

Кто мне скажет, кто откроет,
Как на землю вы сошли,
Вы, которых сердце ноет
Среди всех утех земли?
Прелесть их не вам отрада:
Ваших дум живого глада
Не насытит суета;
Не о тленном жажда ваша:
Пусть полна до края чаша,
Отвращаете уста.

Наши страсти, наши нужды,
Наше счастье не для вас;
Гости мира, миру чужды,
В мире вы единый час:
Только час, но час разлуки
С тем, к кому, подъемля руки,
Шлете стон, тоску сердец...
Или в области незримой
Помните свой дом родимый,
Милый дом, где ваш отец?

Не страны ли вы надзвездной,
Из отчизны ли духов?
Там ли над бессмертной бездной
Бренных солнцев и миров,
Там ли вы, где нет печали,

a «Сладчайший свет азиатской поэзии» (*лат.*).

С серафимами играли?
Там ли пили чистый свет?
Что же вы в краю изгнанья?
Здесь, в обители страданья,
Здесь для вас желанья нет.

Вы денница тьмы телесной,
Вы в туманах тяжкой мглы
Луч эфирный, блеск чудесный,
Нам вы божии послы.
Песней над древами рая
Отзыв ваша жизнь земная;
Вам велел всевышний сам:
«Да прозрят слепые очи!
Укажите путь из ночи
Беззакония рабам!».

Стал слетать ваш рой послушный
С неба долу в нашу тьму;
Но наш мир, глухой и душный,
Вас не держит: вы к нему,
Вы к началу совершенства,
К богу правды и блаженства,
На раскованных крылах,
Совершив его веленье,
Восприемлете паренье,
Отрясая скорбь и прах.

В сонме их и та, с которой,
  Плача, разлучилась ты!
Пусть была сирот подпорой,
  Пусть спасеньем нищеты;
Свята память Долгорукой:
Но кому же, друг, не мукой
  На чужбине бремя дней?
Здесь на миг все, что прекрасно;
Там все вечно, там все ясно:
  Там она в семье своей.

5 марта

Сколько мыслей почитаем своими собственными, полагаем, что они родились в нас самих, а при точнейшем исследовании узнаем, что это — воспоминания, заимствования. Мысль об единосущности и нераздельности человеческой души, мысль, которую я изложил в своем предисловии к «Ричарду III», я совершенно считал своею и, признаюсь, несколько гордился ею. И что же? Эту самую мысль и в выражениях не в пример более резких (хотя и в другом приноровлении) на днях нашел я в Ансильоновом рассуждении «О беспристрастии историческом».[42] Перевод в «Вестнике» на 1826 год и был мне доселе неизвестен; но я же читал подлинник, хотя и очень давно, лет 20 тому назад, и помню, что, несмотря на мою тогдашнюю молодость, почувствовал все превосходство этого творения. Вот как Ансильон выразил памятную мысль: «Номенклаторы, именующие себя философами, думают, что ничего нет проще

для человека, как отделиться от части существа своего. Скажешь, слушая их, что душа есть некоторого рода вместилище орудий, из которых одни покоятся, между тем как другие употребляются в работу, или часы с курантами, которых валики можно вынимать и опять вкладывать по произволу. Но душа — едина...». Следует сравнение с господином и слугами, которое мне кажется не совершенно точным. Впрочем, Ансильон доказывает более участие, принимаемое сердцем в действиях и произведениях мыслящей силы; у меня же (в «Предисловии» к «Ричарду III») преимущественно дело идет об участии мыслящей силы в излияниях чувств сердечных и в картинах, какие пишет фантазия.

Не могу не выписать еще другой превосходной мысли Ансильона, истину коей я вполне чувствовал и чувствую: «Выспренность ума состоит в том, чтобы, не слишком доверяясь уму своему, или, лучше сказать, не слишком держась собственных своих понятий (кажется, точнее было бы сказать: «не слишком упрямо держась того, в истине чего *мы* убеждены»), постигать, объяснять и извинять все другие понятия».

6 марта

Примечательный день: был у меня в первый раз молодой пастор; имя ему Савениус. Получил я от него Рейнгардовы «Проповеди». Таким образом, я в эти последние два года познакомлюсь с тремя лучшими, может быть, немецкими проповедниками: Дрезеке, Чирнером[а] и Рейнгардом.[43]

Рейнгард глубокий знаток сердца человеческого. В своей проповеди «Об обязанности быть честным в рассуждении самого себя» он проникает в самые сокровенные изгибы нашей души.

Кроме того, начал я 5-ю песнь своей поэмы.

8 марта

Из трех проповедей Рейнгарда, прочитанных мною сегодня, лучшая — «О пристрастии» («Von der Parteilichkeiten im gemeinen Leben»).[б] Главное достоинство Рейнгарда — необыкновенная ясность в изложении.

9 марта

В письме Макарова к Воздвиженскому[44] замечателен анекдот об известном опричнике, потом изменнике и разбойнике Кудеяре: «Он увез дочь Тиуна Печорского. Отец собрал свою Печору (забеглую, кочевавшую в степях За-Пронских), настиг его на берегу Истьи и видел, как злодей с крутизны холма бросил свою добычу в воду. Ужас окаменил всех обиженных, а преступник между тем скрылся». Из этого надобно попытаться сделать балладу, а не роман, как советует Макаров.

а О первых двух говорилось в утраченных тетрадях моего Дневника. *В. К.*
б «О пристрастиях в общественной жизни» (*нем.*).

10 марта

Рейнгард более говорит уму, нежели сердцу и воображению, или, лучше сказать, он более посредством ума действует на сердце, нежели помощью воображения; однако вот два изречения, которые поэтическою силою не уступают лучшим Чирнеровым:

1. «Каждая слеза, пролитая угнетенною добродетелью, свидетельствует нам, что мы бессмертны».

2. «Как не взирать с почтением на печального, когда он явно находится в руке божией?».

12 марта

Кончил том проповедей Рейнгарда, который получил от пастора. Прекрасно наставление: «В таких случаях, где не знаем, на что решиться, где голос совести невнятно предписывает нам путь, по которому идти, лучше выбрать то, что для нас менее выгодно; по крайней мере тогда предохраним себя от обольщения себялюбия». Это правило в проповеди «Über die Verdrehungen der Gesetze Gottes, die unsere Neigungen sich erlauben».[a]

Знание сердца человеческого и величайшая ясность — главные достоинства Рейнгарда.

14 марта

Провел сегодняшний и вчерашний день деятельно: писал письма, а поутру сочинял: пятая песнь значительно подвинулась вперед.

15 марта

Целый почти день занимался своею поэмою, однако же успел прочесть прекрасную статью Пукевиля[45] «Обычаи, поверья и предрассудки нынешних греков».

16 марта

Сегодня после довольно значительного промежутка я опять занимался греческим языком.

Любопытна статейка самого Каченовского[46] в «Вестнике Европы»: «О старинных названиях в России денег», особенно что он говорит о скоте, скотнице в смысле 24-й части гривны. Он это слово производит от шведского *skatt, skott* и отвергает мнение Карамзина, что монета получила название от скота в нынешнем смысле этого слова. Признаю сродство между шведским словом *skatt, skott*, итальянским *scudi*, варварским латинским *skotus* и нашим; но почему же не полагать, что народы западные заняли свое название монет у славян?

---

[a] «Об искажениях заповедей божьих, которыми мы оправдываем наши склонности» (*нем.*).

18 марта

Статья Среднего-Камашева «Взгляд на историю как науку»[47] писана человеком мыслящим. Хотя я и не во всем с ним согласен и не могу не признать в нем наклонности к некоторой односторонности, однако же сердечно рад, что начинают у нас появляться хоть подобные статьи.

Был у меня пастор и оставил мне проповеди Розенмюллера.[48]

19 марта[49]

[...] Читая переведенную Огинским из Гиллисовой «Истории» главу[50] о греческих поэтах, я вспомнил при характеристике и краткой биографии Архилоха комедию Шаховского «Аристофан».[51] Хочется мне попытаться облечь в драматическую форму торжество и смерть Архилоха.[52] План мой следующий. Славный и обесславленный поэт, потерявший щит свой в сражении, отомстивший Неовуле и Ликамбесу своими *ужасными* ямбами, превозносимый, но вместе гонимый и ненавидимый жителями Пароса и Фазоса, едва терпимый в Спарте, является в Олимпии, предшествуемый молвою. Греки в недоумении: не знают, допустить ли к состязанию человека, по их понятиям, обесчестившего себя малодушием? Терпандр, поэт, почти столь же великий, как и сам Архилох, употребляет все усилия, чтобы склонить эгеян, председательствующих на игрищах, в пользу соперника, успевает, но Архилох все портит насмешками. Терпандр не теряет надежды, возобновляет свои старания. Архилох допущен — и торжествует. Пристыженные соотечественники, увлеченные восторгом, падают к его ногам — он возвращен в отечество, осыпан честью, хвалами, благодарностию. Но все уже поздно: торжество было его лебединою песнею, — он падает и, вспоминая друга, чью смерть некогда оплакал, умирает в объятиях Терпандра.

20 марта

Нынешний день — день рождения матушки — я освятил окончанием 5-й песни своей поэмы и окончанием чтения 9-й книги «Илиады». За 6-ю песнь и за 10-ю книгу примусь уже после праздника.

22 марта

Странно, быть может, очень естественно, что у меня менее выписок из писателей превосходных, нежели из второстепенных. Так, напр., из проповедей Дрезеке, Чирнера, Рейнгарда я почти ничего не внес в дневник, а сегодня кое-что выпишу из Розенмюллера. Дабы поместить в своих отметках все, что у первых трех заслуживает замечания, мне бы должно было исключительно этим заняться и продержать каждый том по крайней мере неделю. У Розенмюллера нет ни их глубокого ума, ни блестя-

щих дарований, ни увлекательного красноречия; но и у него много справедливого, а иногда даже и довольно такого, что показывает мыслителя, смотревшего на мир, на человека, на пути Провидения с возвышенной точки зрения. Так то в конце проповеди «Einige Beruhigungs-grunde bei der Wahrnehmung, daß Gott den bösen Menschen so viel Gewalt zu lassen scheint» [a] он между прочим говорит: «Долготерпение божие к злодеям приносит и ту пользу, что утесняемые ими добрые самыми утеснениями упражняются в добре и ведутся к совершенству и блаженству высшему. Кротость, снисходительность, миролюбие, непамятозлобие, великодушие и к врагам и обидчикам — добродетели. Но возможно ли бы было обнаружить их, если бы нас никто не оскорблял, если бы все люди во всех отношениях исполняли наши ожидания?.. Наконец, в этом долготерпении и то благо, что оно заставляет нас обратить большее внимание на важную утешительную истину о воздаянии, ожидающем нас за пределами сей жизни, а тем самым усвояет небу чувства и помышления наши. Пусть бы все доброе получало здесь уже свою награду, а все злое здесь уже подвергалось заслуженной каре — что бы из того последовало? Мы бы ограничили все свои надежды настоящею жизнию, мы бы усумнились, можно ли ожидать другого какого возмездия, кроме временного, здешнего, за дела и благие, и порочные».

23 марта

Вчера я в первый раз ужинал без свечки. Пишу письма: два должны быть французские — ох! — но хорошо по крайней мере, что одно уже написано.

24 марта

Кончил письма: к Наталии и Эмилии Феодоровне и к младшей сестре. Последней посылаю стихи «Любовь»,[53] основанные на 13-й главе Послания 1-го св. Павла к коринфянам. Эту главу я знал наизусть, но было забыл; теперь опять вытвердил.

ЛЮБОВЬ

Великая сила дана человеку:
Родится на миг, безоружен и слаб,
С рождения бури грозят его веку,
Он горя, болезней и тления раб;
    Но мысль его, искра чудесная,
    Блестит и во мраке земном;
    Душа его гостья небесная:
    Не вечно же прах ему дом.
По телу былинка — и что ж? дерзновенный,
Светила и солнцы кладет на весы

---

[a] «Некоторые основы утешения при наблюдении, что бог якобы дает злым людям слишком много власти» (*нем.*).

И слышит биение сердца вселенной,
Гармонию звезд, мировые часы.
Столетия жизни потоками
Поит вдохновенье певца.
Пред полными бога пророками
Покров упадет с их лица.
Так! Дивна же данная смертному сила,
3 2 1
Но сон его дни: и вождя, и царя,
И мудрого — всех ожидает могила;
Увидела гордого славой заря;
Луна же со свода туманного
Сребрит вертограды земли,
И видит его бездыханного —
Заутра следа не нашли.
Пусть каждая мне покорится стихия,
И каждого племени знаю язык,
И скажут: «Он ангелу равный вития»,
И всех превзойду моготою владык;
Пусть будут мне книгой открытою
Дела нерожденного дня;
Но бездной пожруся несытою,
Но гроб же поглотит меня!
Потребно единое в области света,
Куда, все покинув, душа воспарит:
Где будет она и нага, и раздета,
И явится богу, и что защитит?
Любовь! — Без любви оживляющей
Я только звенящий кимвал,
Тот звук, что под дланью играющей
Трепещущий бубен издал.
Иной не щадит ни трудов, ни сокровищ
И служит убогому, жертвуя всем,
Бесстрашен и тверд, и летит на чудовищ,
В мучении пламени крепок и нем.
Когда обливается кровию,
Пусть мир превозносит его;
Но если влеком не любовию,
Пред господом он — ничего.
Хотя бы и верой владел чудотворной,
И молвил бы, силы божественной полн,
Горе, его грозному зову покорной:
«Повергнися в лоно бездонное волн!» —
Качая главою лесистою,
Пусть ринется в море — но сам,
Объят не любовию чистою,
Творца ли предстанет очам?
Обиды любовь, милосердуя, сносит,
Ей чужды и зависть, и гнев, и вражда,
Любовь подает и тому, кто не просит,
Хвалы ей не нужны, она не горда;
Не требует даже и правого,
Не хочет и злобному зла,
Не мыслит во веки лукавого,
Всегда как зерцало светла.
Скорбит о неправде, но в чистую радость
Священная, вечная истина ей;

Грехи покрывает, и горечь за сладость,
Врагов же готова считать за друзей.
    Все ею приемлется с верою,
    На чем только блага печать:
    Наветам же тою же мерою
    Любви невозможно воздать.
Как дым или спящего мужа мечтанья,
Как облака легкого быстрый полет,
Так пышность, и сила, и мудрость, и знанья —
Все бренное в день роковой протечет.
    Настанет одно совершенное,
    Любовь воцарится одна;
    Вожатый в жилище блаженное,
    Предстатель за грешных — она!
Тебе подобает единому слава,
О сын всемогущего, бездна любви,
Ты, коего вечны и власть и держава,
Распятый за нас! мне внемли: обнови
    Любви воскрешающей пламенем
    Остывшее сердце во мне!
    Да буду не льдом и не каменем,
    Да буду твоим в той стране.

25 марта

Прочел я в немецком переводе 15 первых глав пророка Иезекииля. Он особенно отличается уподоблениями в действии: это дает ему особенную живость и силу; в возвышенности он уступает Исайе и Иеремии, но ничуть в вдохновении. Восторг нигде не покидает его: самая темнота некоторых его картин служит доказательством, что этот восторг у него неподложный.

26 марта

Одно из неотъемлемых качеств верховного существа — высочайшая справедливость. Человек пал, т. е. нарушил заповедь, данную ему богом, и тем самым подвергся тому наказанию, которое было ему возвещено в случае нарушения заповеди. Итак, это наказание непременно должно постигнуть его, если не уничтожится его грех. Самое моление грешника о помиловании, без предварительного уничтожения греха, есть, так сказать, новый грех; ибо что оно? — требование, чтоб всевышний стал несправедливым. Но грех можно уподобить долгу неуплатимому: самая долголетняя, совершенно праведная жизнь того, кто раз преступил закон господень (если бы такая жизнь и была даже возможна для нас, рабов страстей, плоти, искушения), — даже самая долголетняя, говорю, самая праведная жизнь не могла бы уничтожить единожды сотворенного: грех есть долг неуплатимый и бесконечный; стало быть, возмездие за него должно быть бесконечное же. Итак, всякий человек, кто бы он ни был, погиб без возврата. Между тем бог не только совершенно справедлив, но совершенно благ. Как же согласить с понятием об этой благости

вместе с понятием о предведении и всемогуществе высочайшего существа — создание человека? Всеблагий, всезнающий, всемогущий создал существо свободное, но бренное, дал ему заповедь святую и необходимую, поставил его в мир, где окружают его искушения, где человек пал, конечно по своей воле, зная, чему подвергается, но пал же... Ужели бог создал это существо на страдание, в полной мере заслуженное, но противоречащее благости творца всемогущего, всеведца, который и до создания человека знал же, что человек падет и, следственно, погибнет? Не лучше ли бы было никогда не вызывать сына персти из ничтожества или по крайней мере поставить его в мир, где не было бы искушений, или хоть отнять у него свободу? Спрошу созданных: предпочтут ли ничтожество бытию? Их ответ: существование само по себе величайшее благодеяние божие. Спрошу самого себя: в мире, где не было бы искушений, могли ли бы существовать те высокие явления добродетели, самоотвержения, торжества духа над плотью, явления, коим удивляюсь в тех, которых Иисус называет солью земли, и предпочел ли бы сам я нашему миру — мир, где бы ничего этого не было? И что, наконец, человек без свободы? Так; но как же согласить все сии противоречия? Человек никогда и ни в каком случае не уплатит долга своего; никакое другое существо не может и не захочет уплатить его, ибо он бесконечен: а между тем бог справедлив, благ, всезнающ, всемогущ, и невозможно отнять у него ни одного из этих качеств, не уничтожая, так сказать, его божественности? Новый Ездра, ищу разрешения задачи; но пусть Уриил и для меня слетит с неба, я, подобно Ездре, все останусь в недоумении, если не приму разрешения *единственного*, *возможного*, какое представляет мне божественное учение спасителя. Вот в коротких словах содержание того, что я вчера слышал от пастора Савениуса, юного летами, но не мудростию. Беседу его я выразил своими словами, сократил многое, а местами кое-что вставил, что напоминает мне некоторые прежние собственные размышления; но основание и весь ход — его; многое мелькавшее в душе моей без связи и порядка и посему и темное, неудовлетворительное — вчерашний его разговор со мною мне объяснил и подкрепил для ума моего и сердца такими доводами, которые вместе и непреложны, и утешительны.

27 марта

В начале своего заточения я выучил наизусть несколько мест священного Писания, но потом позабыл. Хочу их постепенно возобновить в своей памяти: на прошедшей неделе вытвердил я начало 13-й главы 1-го Послания к коринфянам, а ныне 2-ю главу Иисуса, сына Сирахова.[54]

28 марта

Вчера и сегодня я прочел еще 24 главы пророка Иезекииля. Изложение его до чрезвычайности живописно: 14-ти первым стихам 37-й главы

никогда не перестану удивляться;[55] они выше всего того, что встречается подобного у светских писателей: нескольких крупиц с трапезы Иезекиилевой довольно было, чтобы Шиллеров знаменитый разговор Франца Моора и старика Даниила превратить в богатое, роскошное пиршество для изумленного воображения.

1 апреля

Сегодня — накануне светлого Христова воскресенья — я сподобился счастия приобщиться святых тайн.

2 апреля

И для меня светлое Христово воскресенье нынешний год было радостным днем, прекрасным праздником! Душевное, тихое веселие послал мне мой спаситель: я чувствовал что-то детское, младенческое; любовался, как ребенок, яичками, лакомился, однако же, не чересчур, по крайней мере не чувствую отягощения желудка, и птичек своих я не забыл, бросил им корм, хотя немножко позже обыкновенного. Впрочем, и сегодня были для меня мгновения размышления важного, не смеющегося, однако же, благотворного, вовсе не унылого. Если я об ином здесь не поминаю, о чем бы хотелось мне говорить, не холодность к благодеяниям божиим и тех, кого он избрал орудием своих благодеяний, не неблагодарность заставляют меня молчать.

Я принялся перечитывать свою поэму, хотел было читать ее как работу другого, не для замечаний, а просто чтобы провесть несколько часов за чтением, однако же скажу, что вторая песнь слабее прочих, а первая, по-видимому, лучшая.

Потом я еще прочел в Лютеровом переводе последние 12 глав «Деяний апостольских», которые начал еще вчера.

О Шпикеровой (Spiker) книге «Andachtsbuch»,[а][56] которую оставил мне пастор, буду говорить подробнее. Здесь только скажу, что его размышление о воскресении господнем написано и прекрасным слогом, и прекрасным сердцем.

3 апреля

У Шпикера столько прекрасных мыслей, собственных и заимствованных, что для выписки тех, которые меня особенно поразили, посвящу не полчаса перед ужином, а более.

Кроме того, читал я сегодня еще Скотта, а именно познакомился с его балладами. Балладе «The Gray Brother»[б] подражал Одынец,[57] и, признаюсь, Одынца подражание («Król Boleslaw»)[в] мне чуть ли не более нравится самого подлинника.

[а] «Молитвенник» (*нем.*).
[б] «Серый брат» («Монах») (*англ.*).
[в] «Король Болеслав» (*польск.*).

5 апреля

В Шпикеровой книге прочел я превосходную статью «Der Ehr ist im Leiden und Unglück».[а] Она так хороша, что мне очень бы хотелось ее перевесть.

6 апреля

Конечно, языки первобытные, каков, напр., наш славяно-русский, пользуются множеством преимуществ перед языками, составленными из обломков других. Но и последним предоставлены некоторые выгоды, которых лишены первые. Английские puns[б] вроде тех, которыми добрый Догберри угощает своих слушателей (в «Much Ado About Nothing»[в]), невозможны на русском, а между тем крайне забавны.

7 апреля

Устал, а главное что-то нездоровится — ломит грудь, болит плечо.

8 апреля

На днях прочел я Скотта «The Search of the Happiness»[г] (аллегорическую сказку) и «The Poacher»[д] (характеристический отрывок). В обеих пиесах он заходит во владения доброго Краббе, но в обеих далеко от него отстает. Вот что значит: приниматься не за свое!

Был в бане. Внес в тетрадь начало 6-й песни.

11 апреля

Прекратился для меня «Вестник Европы»: каков бы он ни был, а читал я его часто с удовольствием. Вместо него получил я 3-й том Далиновой «Шведской истории».[58] Предисловие автора к этому тому показывает, с каким варварством он должен был бороться.

12 апреля

Греческим языком занимаюсь не так прилежно, как до праздника; однако же сегодня я читал и, что меня обрадовало, между прочим разобрал 8 стихов (конечно, мало) вовсе без помощи словаря. Поэма моя клонится к концу; надеюсь добраться до последнего стиха еще на этой неделе.

а «Благо есть в страдании и несчастии» (*нем.*).
б каламбуры (*англ.*).
в «Много шума из ничего» (*англ.*).
г «Поиски счастья» (*англ.*).
д «Браконьер» (*англ.*).

13 апреля

В «Вестнике» читал я толки о так называемых Корсунских воротах в Новегороде. Далин говорит, что эти ворота собственно назывались Сартунскими, т. е. Сигтунскими, и похищены русскими удальцами в соединении с чудью (эстами), карелою, ижорою и курляндскими латышами в 1188 году при набеге на Швецию, в которой они совершенно разорили Сигтуну, древнюю столицу Скандинавии. Царствовал тогда Канут, сын св. Эрика.

15 апреля

Вот и два года с тех пор, как я покинул Д‹инабург›, место, где я прожил три года и шесть месяцев. Такой продолжительной зимы, как ныне, я еще не запомню. По заливу еще ездят: снег идет, морозу нет, но довольно еще холодно. Дай бог, чтоб эта зима оказала благотворное действие на наше отечество и наконец истребила семена несчастной болезни, свирепствовавшей в России с лишком два года![59]

16 апреля

Выхваляющим старину я бы советовал прочесть с вниманием историю Европы так называемых средних веков. Волос поднимается дыбом, когда видишь, что, напр., делалось в Швеции при короле Биргере[60] в конце 13 и в начале 14 столетия.

17 апреля

Начал эпилог к своей поэме, размером же выбрал для того октаву, — но не совершенно ту, которую у нас первый стал употреблять Жуковский, потому что в моей после первого станса следует стих мужеский. Я при том заметил, что успел отвыкнуть от пятистопов.

18 апреля

Кончил эпилог. Прочел 3-й том «Истории» Далина, но должно еще сделать из него выписки.

В Шекспире удивительно соединение веселости и важности, смеха и скорби: в этом-то соединении, кажется, и должно искать главной отличительный признак юмора, и посему-то Шекспир, без сомнения, первый юморист, юморист, с которым ни один другой сравниться не может. Кроме «Taming of the Shrew»,[a] у него нет комедии, писанной для одного смеха: в каждой из прочих есть места патетические, а в «Much Ado About Nothing» решительно не знаешь, в чем поэт более достоин удивления, — в смешных ли сценах или в тех, которые прямо хватают за сердце,

---

[a] «Укрощение строптивой» (*англ.*).

19 апреля

Никак не понимаю, как я мог, когда тому два года назад читал в Ревеле «Двух дворян веронских», отметить в дневнике, что это одна из слабых пиэс Шекспира. Помню, что прежде эта комедия была одна из тех, которые мне преимущественно нравились; и теперь прочел я три первых действия с несказанным удовольствием. Но в Ревеле у меня болели зубы, а Леонато в «Much Ado» [а] говорит очень справедливо:

...there was never yet philosopher
That could endure the tooth-ache patiently.[б]

Давно бы желалось выбрать для перевода комедию Шекспира: при всех множество затруднений другого рода, нежели какие попадаются в его трагедиях; последние побеждать я несколько уже привык, но те, что попадаются в комедиях, заставят хоть кого задуматься. Однако их в «The two gentlemen» [в] гораздо менее.

20 апреля

И эпилог внесен уж в тетрадь, а все еще не смею сказать, что поэма моя совсем кончена: должно еще пересмотреть все шесть песней; кроме того, надобно же написать хоть небольшое лирическое введение.

«The two gentlemen of Verona» [г] при нынешнем чтении мне так полюбились, что я почти решился перевести их.

Пишу письма. Получил же письма от старшей сестры и брата — 18-го числа, уже после ежедневной отметки в дневнике, а 19 числа забыл о том упомянуть. Это со мною случилось — кажется — в первый раз.

21 апреля

Писал письма: к Юстине Карловне и брату вчера, а сегодня к Борису и Сашеньке, ее сегодня именины; я послал ей эпилог — подарок, правда, не слишком веселый, но другого ничего не было.

23 апреля

Полгода, в которые я занимался конченною или почти конченною работою, прошли для меня так, что я и не приметил. Несмотря на некоторые, впрочем пустые, неприятности, несмотря на многое другое, что важнее этих неприятностей, я должен это время причислить к счастливым

а «Много шуму» (*англ.*).

б ...еще не было философа, который бы мог перенести зубную боль терпеливо (*англ.*).

в «Два дворянина» (*англ.*).

г «Два веронца» (*англ.*).

отделениям своей жизни: неизреченно милосердие божие; господь мой бог пропитал меня, как вдовицу сарептскую,[61] горстию муки в водоносе и малою долею елея в чванце. И впредь возложу надежду на него: он и теперь не покинет меня; он и теперь пошлет уму и духу моему хлеб насущный.

24 апреля

Сегодня я в первый раз прохаживался по плацформе не в шинели; но лед все еще стоит.

25 апреля

Вот и два года, как пишу свой дневник!

Кончил сегодня 10-ю книгу «Илиады» — я ее читал очень лениво.

Несносна для меня в историке склонность верить клеветам. О некоторых злодеяниях, каково, напр., сыноубийство, бытописатель, по моему мнению, и намекать бы не должен, *если они не доказаны.* Маргарита,[62] впрочем, и не имела никакой надобности решиться на такое ужасное преступление против всех законов природы. Но она была угнетательницею Швеции? Быть может (хотя я и это не совсем вижу, — по крайней мере она не безумствовала так, как Альберт, Магнус, Эриксон, Биргер, Вальдемар Биргензон); но если бы она и была угнетательницею Швеции, все же швед Далин не вправе о сей истинно великой женщине разглашать гнусные и нелепые басни, не вправе и отмалчиваться и говорить, что не берет на себя решения, справдливы ли эти басни или нет. Или не говори о них ни слова, или опровергни их, потому что они марают человечество. Впрочем, кажется, вся вина Маргариты перед Далином состоит единственно в том, что в силу ее Кальмарского договора Швеция заняла первое место в союзе трех северных держав.

26 апреля

Бился сегодня целое утро над переправкою 2-й песни: она у меня самая слабая, и завтра еще придется позаняться ею. Не знаю, удастся ли мне до 1-го числа кончить пересмотр всех шести песней и сочинить введение.

27 апреля

Сегодня не занимался я переправкою, а сочинил небольшое введение в вольных стихах.

28 апреля

Третьею песнию я гораздо более доволен, нежели второю.

29 апреля

Четвертая песнь моей поэмы лучше второй, но написана, особенно под конец, чрезвычайно небрежно; сделал я некоторые довольно удачные поправки, однако много еще остается, что непременно должно переработать.

30 апреля

Порядок моей жизни нарушен: нездоров, пользуюсь латинскою кухнею.

1 мая

Пытался переложить немецкие стихи, выписанные мною из Шпикера 10 апреля, но еще не успел. Все еще нездоровится; вчера вечером и сегодня поутру было хорошо, а теперь болит крепко бок.

2 мая

Необыкновенное сходство между Густавом Вазою[63] и нашим Петром Великим.

Удалось мне хоть несколько выправить 4-ю песнь: теперь она получше, чем была; а все еще — я наперед уверен — найдется в ней кое-что, что нужно будет переменить.

3 мая

И пятая песнь очень еще неисправна: до сих пор я был доволен только первою и третьею; все выправить так, чтобы уж не нужны были перемены, теперь еще не надеюсь — по крайней мере хочу быть правым перед поэтическою своею совестию.

4 мая

Наконец могу прекратить свои перепpавки: все 6 песней пересмотрены и на первый случай по возможности выправлены.

Если считать с 5-го ноября, так я ровно полгода занимался этою поэмою. Пусть теперь полежит она по крайней мере год. Завтра примусь опять за Гомера, а прочитав 11 и 12 книги «Илиады» — за выправку «Семи спящих отроков». Кончил сегодня и 3-й том Далиновой «Истории». Здоровье мое лучше.

7 мая

Читаю «Midsummer Night's Dream».[a]

Был у меня пастор и оставил мне часть Рейнгардовых проповедей.

---

[a] «Сон в летнюю ночь» (*англ.*).

8 мая

Сегодня открыли у меня окно: это у меня в году составляет достопримечательную эпоху. Теперь хочу сесть к окну и напиться чистого, свежего воздуху.

9 мая

В нашем семействе большие перемены: Юстина Карловна уезжает в Закуп, а младшая сестра моя в Италию с графинею Полье.[64] Это известие для меня так важно, что письмо Дмитрия из Копенгагена, которое во всяком другом случае было бы для меня достопримечательным происшествием, совершенно, так сказать, исчезает в сравнении с ним. Мои предположения были совершенно другие: но когда же сбывались *мои* предположения? все в воле божией! Верю, что он, отец сирот и вдовиц, не оставит моей родимой! Но тяжко думать, что она теперь вовсе без детей.

10 мая

Заволокло душу. Надобно приняться за что-нибудь, чтобы разогнать облака. К несчастью, ни к чему нет охоты: и письма-то, которые должно писать мне завтра, пугают меня: боюсь написать непутное. Сестре отвечал я уже вчера: но почти желаю, чтоб она не получила моего ответа.

11 мая

Пишу письма.

Очень справедливо говорит Рейнгард о людях, которых все мысли и желания ограничиваются здешним миром: «Самое их мнимое благочестие не что иное, как род торгу, помощию коего надеются приобрести благословение божие своим житейским занятиям и ремеслам».

12 мая

Писал к матушке, к брату, к старшему племяннику и к младшей племяннице.

Мое здоровье, благодаря господа, кажется, совсем поправилось. Прочел я несколько проповедей Рейнгарда. Последняя: «Об обязанности сообщать друг другу испытанные благодеяния божия промысла» — стоит того, чтоб я ее, как должно, размыслил. Давно уже чувствую обязанность сию, особенно в рассуждении детей сестры моей, но слишком мало и худо по сих пор за нее принимался.

15 мая

Сегодня была первая гроза: а что слышал я в апреле — было, вероятно, не гроза, — кажется, что тогда чуть ли не трескался на море лед.

18 мая

Вот предмет для баллады[65] вроде Шиллеровой «Der Handschuh»:[а] в 1594 году при короновании короля Сигизмунда было в Упсале рыцарское ристалище, на котором шведка, переодетая в мужское платье, сбила с седла поляка, вызывавшего всех с ним сразиться; потом она сняла шлем и распустила свои длинные волосы.

Не знал я, что Тихон Браге[66] потерял нос на поединке в Ростоке с датским дворянином Мандеруном Парсбергом.

20 мая

Поутру плачет человек,
А в вечер в радости смеется.[67]

Сегодня я испытал всю истину этих стихов: мне до самого обеда и часа два и после обеда было очень грустно; мне даже вспал на ум вопрос такой, которого бы после стольких опытов и размышлений от самого себя не ожидал, — да простит мне его мой милосердый отец небесный! — Что же? Прочел я четыре повести Пушкина[68] (пятую оставлю pour la bonne bouche[б] на завтрашний день) — и, читая последнюю, уже мог от доброго сердца смеяться. Желал бы я, чтоб об этом узнал когда-нибудь мой товарищ; ему, верно, было бы приятно слышать, что произведения его игривого воображения иногда рассеивали хандру его несчастного друга.

27 мая

Недостает в моем дневнике почти целой недели.

1 июня

Новый месяц. Ниспошли мне, господи! в сей новый месяц новые силы и новое терпение: без тебя что я? Но буди ты силен во мне, немощном!

Завтра примусь опять за свои занятия и постараюсь вообразить, что все бывшее со мною с 23-го мая было только тяжелым сном,[69] от которого я наконец проснулся. Боже мой! даруй мне, да могу молиться тебе без страха и лжи: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим!».

2 июня

Провел день, как бывало в апреле или марте, когда не сочинял, т. е. хотя и не очень деятельно, однако же не совсем праздно: прочел довольно значительный отрывок «Илиады», а после обеда читал «Сын отечества».

[а] «Перчатка» (*нем.*).
[б] на закуску (*франц.*).

3 июня

Верх безумия: покушение оправдать себя пред сердцеведцем!.. Нет! Господи боже мой! Предстану тебе в грехах своих и принесу не оправдание, не извинение, а скажу: помилуй мя, грешника! и взоров не достоин я возвесть к тебе.

4 июня

На сих днях перебирал я «Сын отечества» 1812 года и первых месяцев 1813 года: все статьи тут, не исключая ни одной, занимательны только по времени, когда писаны: внутреннего достоинства не имеет ни одна; а между тем нельзя не признаться, что большая часть из них совершенно соответствовала тому, чего тогда требовала публика.

6 июня

Благодарю господа! мало-помалу прежний порядок моей жизни восстановляется. Сегодня я встал, как бывало, в пять часов — и кончил напоследок 12-ю книгу «Илиады». В «Сыне отечества» попались мне «Письма из Москвы в Нижний Новгород»;[70] они исполнены живости, ума, таланта; слог не везде правильный, но лучше иного правильного. Жаль только, что автор, писавший так хорошо против пристрастья к французам, воспитал своих несчастных сыновей в Парижском политехническом училище... Бедный Иван Матвеевич!

7 июня

Принялся было за переправку «Семи спящих отроков», но не повезло; увижу, что будет в субботу (завтра и послезавтра должно писать письма; я вчера получил очень милое письмо от племянника Бориса Григорьевича).

10 июня

Сегодня в день моего рождения был у меня мой ангел-утешитель — добрый, почтенный пастор.

11 июня

Крепко нездоровится: болит голова, флюс в щеке, жар и озноб.

12 июня

Все еще болен. Моча идет худо, запор — но голове немного легче: я почти ничего не ел; зато спал за троих.

13 июня

Благодаря господа, после слабительного гораздо легче; после обеда только зубы меня крепко мучили, но и это прошло.

14 июня

Не есть было сладкого в детстве, тогда бы теперь не мучили меня зубы. Впрочем, я почти здоров; особенно я себя чувствовал хорошо сегодня поутру и вчера вечером.

Заниматься я, однако же, еще не решился.

15 июня

И о доброте журналов должно судить — если не потомство (журналы не доходят до него), по крайней мере следующее за изданием их десятилетие. В *свое* время первые года «Сына отечества» читались всеми, были выхваляемы всеми, все их ставили в пример доброму старику «Вестнику Европы»; а теперь? Не должно ли признаться, что это самое пустое издание? Кроме «Писем из Москвы в Нижний Новгород» и двух, трех басен Крылова,[71] я до сих пор не нашел ни одной статьи, которая могла бы сравниться и с посредственными «Вестника».

Здоровье мое все еще плохо: зубы и голова!

16 июня

У меня был самый жан-полевский сон, в котором Платонова идея о грехопадении *перед рождением* представилась мне в смутных, не живописных, однако же поэтических образах; вот этот сон, сколько его теперь помню:

Носился я в каком-то сияющем облаке. Чем я сам был — не знаю; но, кажется, без тела и образа. Под облаком виделось мне темное, неосвещенное море, и вдруг я очутился в этом море. Жажда томила меня, и я хлебнул нечистой воды его. Тогда послышался мне голос и спросил меня: «Не пил ли ты сей воды?». Ответ мой был: «Нет, я напился свету». (Грехопадение). На то мне было сказано: «Хорошо, если так; но если ты выпил воды, не было бы тебе впоследствии за то тяжко!». Потом я увидел и других плещущихся в море; некоторые из них держались за якорные канаты, но самих кораблей я не видел; вокруг меня был сумрак — и мне являлись только небольшие, частые волны и сияние, которое парило над морем. Внезапно раздался гром — и мне показалось, что после этого удара я должен буду родиться, — но я проснулся.

Сегодня я несколько занимался переправкою «Семи спящих отроков»; быть может, занимался бы и дольше, да зубы помешали. Прошлого году я не решился переводить «Лира»; перечитываю его теперь; думаю, что можно будет приняться за него; он ныне показался мне легче.

17 июня

Все еще не ладно: голова и зубы, зубы и голова! Однако же я сегодня занимался и после обеда довольно долго прохаживался.

20 июня

Странное дело, что мучусь зубами правильными пароксизмами, которые обыкновенно продолжаются от 10 часов до 2 пополудни! В сию минуту я совсем здоров: но зато настрадался поутру.

21 июня

Буди благодарение милосердому богу! Сегодня я почти совершенно чувствую себя здоровым: зубы вовсе не болели, а голова только немного и то уж после обеда.

«Сын отечества» несколько стал занимательнее: в последних частях 1814 года есть статьи, заслуживающие внимания. Между прочим отрывок — к несчастию, очень небольшой — «Друга честных людей»[72] Фон-Визина. Замечу еще перевод приятеля моего Д. Попова «Плача Мосха над Бионом» [73] soi disant [a] экзаметрами, которые, однако же, ничуть не хуже многих других; об экзаметрах уж ни слова, да жаль только, что перевод несколько бесцветен. Выписанные мною из перевода в прозе в одной из прежних тетрадей дневника два места переведены Поповым так:

1

Кто будет ныне играть на твоей сладкогласной свирели?
Кто из смертных дерзнет приложить уста к ней нестройны?
В ней еще живо дыхание уст твоих нежных.

2

Яд прикоснулся к устам твоим нежным, яд прикоснулся!
Как он приближился к ним и тотчас не сделался сладким?

Из книг, о которых говорит Греч, не худо припомнить «Обозрение книги Псалмов,[74] опыт археологический, филологический и герменевтический Герас. Павского» и «Басни» Ал. Агафи.[75]

22 июня

Сегодня мне еще лучше вчерашнего: слава богу, и голова перестала болеть. Свиньин врет и чести не знает.[76] Прошу покорно: он под подводным колоколом прошел четыре версты по дну морскому! пробыть под водою столько времени, положим, что возможно: но как под колоколом пройти четыре версты! И это у нас печатают — и не нашлось никого, кто бы на такую небылицу сделал хоть легкое замечание!

---

[a] так сказать (*франц.*).

23 июня

Ел сегодня в первый раз землянику: это не важно, но в моем быте — происшествие.

С удовольствием прочел я статью Батюшкова о Муравьеве[77] и обрадовался, что встретил в ней конец стихотворения Муравьева «К Музе». Еще в Лицее этот отрывок сильно на меня действовал; ныне он произвел на меня то же действие, какое за двадцать лет. Не могу не выписать его:

Ты утро дней моих прилежней посещала:
Почто ж печальная распространилась мгла
И ясный полдень мой покрыла черной тенью?
Иль лавров по следам твоим не соберу
И в песнях не прейду к другому поколенью?
Или я весь умру?

24 июня

Сегодня кончил я переправку первой части своей легенды. Напрасно я писал к сестре, что это произведение едва ли будет лучше; оно теперь в первой части не только выиграло на счет слога и стихов, но и ход его стал яснее.

25 июня

Читаю «Генри VIII» Шекспира. Признаюсь искренно, что изо всех произведений Шекспира это кажется мне если не самым слабейшим, по крайней мере самым скучным. Даже уродливый «Тит Андроник», которого я недавно перечел, мне более по нутру: в «Андронике» Шекспир беснуется, а в «Генри VIII» дремлет. Но в его бесновании часто виден творец «Макбета» и «Лира»; напротив, его дремота, в которой, конечно, нет ничего чудовищного, и читателя почти погружает в дремоту. Истинно занимателен только сам Генри — и то более для англичан времени Якова I, нежели для нас. Впрочем, не дурно бы было нашего Петра изобразить в подобной картине, но с большею живостию.

26 июня

Вчера я судил слишком строго о «Генри VIII»: эта пиеса, конечно, холодна, потому что она не что иное, как галерея картин, почти ничем не связанных между собою; в ней нет *единства интереса*, без которого в драме не так легко обойтись, как без единства действия, места и времени. Однако же *разговор* (le dialogue) везде необычайно хорош и жив; лица королевы Екатерины и Кардинала возбуждают участие, и даже довольно сильное (несмотря на вчерашнюю мою отметку).

28 июня

Переправка «Семи спящих отроков» чуть ли не более потребует времени, чем нужно было, чтобы сочинить их. От удачной перемены места, на котором я остановился, зависит все достоинство этой легенды.

Прочел я около половины второй песни Томсоновой поэмы.[78] Стихи подчас удивительные: а я все же остаюсь при своем мнении, что описательная поэзия — не есть поэзия. В числе выражений особенно поразительных, таких, которые французы называют expressions trouvées,[а] замечу в статье о драгоценных камнях истинно восточное изображение алмаза и сапфира; первый поэт называет «collected lights compact»,[б] а второй — «solid ether».[в] Букашки его скучноваты; но заключение этого места бесподобно.

29 июня

Петров день. Как не вспомнить сегодня моих любезных именинников, П. П. М. и П. П. К.?[79] Где они? живы ли? помнят ли меня?

3 июля

Наконец нашел я в «Сыне отечества» прелестную балладу Катенина «Наташа».[80] Она, по моему мнению, принадлежит к лучшим на нашем языке. Есть, конечно, и в ней небольшие небрежности, но за каждую небрежность в «Наташе» готов я указать на такую же или даже бо́льшую в хваленых наших балладах, не исключая и «Светланы». Подражание Гетеву «Der Sänger» [г] мне менее нравится.

Одно из лучших «Писем в Нижний Новгород» — тринадцатое, особенно окончание.

4 июля

Здоровье мое совершенно поправилось, и на душе так легко, как давно не было. Как тут не благодарить неизреченного милосердия божия! «Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам».[д]

Переправка моей легенды приближается к концу.

5 июля

В исходе второго часа до полудня видел я затмение солнечное: оно теперь, в начале девятого, еще не кончилось. Перед тем, как пошел я до ветру, где и видел это явление, вдруг у меня стало темно, будто перед

а образные выражения (*франц.*).
б спрессованные огни (*англ.*).
в отвердевший эфир (*англ.*).
г «Певец» (*нем.*).
д «Не по беззакониям нашим сделал нам, и не по грехам нашим воздал нам» (*церк.-слав.*).

дождем; и теперь еще не совсем ясно. Это второе затмение солнечное, которое удалось мне видеть на своем веку: первое было кругообразное в 1820 году осенью; я смотрел на него на даче Ал. Льв. Нарышкина, что в 13-ти верстах от Петербурга по Стреленской дороге.

6 июля

Я полагал заняться окончательною выправкою второй части легенды часа два, не более; а между тем просидел над нею целое утро, да и еще должно будет завтра перечесть и поверить сделанные сегодня перемены.

Наш язык — необыкновенно богатый — в некоторых, хотя и в немногих случаях, — и необыкновенно беден. Так, напр., кроме *и* и *но* у нас почти нет союзов, годных в поэзии; самые *а* и *же* редко употребляются. Союз *ибо* чуть ли не первый я осмелился употребить в стихах, и то в драматических — белых.

7 июля

Перечитывая сегодня обе баллады Катенина, находящиеся в «Сыне отечества», я восхищался в них многими прекрасными стихами, однако же не мог не признаться, что они, особенно «Певец», местами обезображены нестерпимыми небрежностями. Отчего это? Катенин человек с талантом, сверх того, знаток, и тонкий знаток, русского языка — никто с большим вкусом не судит о произведениях других; но его губят самолюбие, упрямство и лень.

Мысль Каразина,[81] что масло, сахар etc., из чего бы добываемы ни были, очищенные от всего постороннего, должны быть одинаковы, не без основательности; однако же чем заменит он те стихии, которые так тонки, что не только не подлежат исследованию химии, но даже и неизвестны ей, хотя очень известны ощущению, обонянию и вкусу всех и каждого.

8 июля

Наконец я доволен слогом и стихами своей легенды: в ней, без сомнения, есть еще ошибки, но в подробностях я их теперь еще не вижу; что же касается до других — важнейших, они такого рода, что неразлучно сопряжены с самым изобретением этого предания или по крайней мере с тем образом, в каком *мне* оно представилось; итак, их едва ли могу исправить.

Солнечное затмение, бывшее на днях, родило во мне множество размышлений: между прочим и о просвещении. Что может быть вожделеннее, прекраснее, благотворнее *истинного* просвещения? Однако же оно тогда только истинное, когда просвещению ума предшествует улучшение сердца, в противном случае просвещение иногда пагубнее всякого суеверия. В 18 столетии, говорит Ижорский, —

Все просвещалось, самые передни!

Беда, когда люди с низкими, *лакейскими* душами, люди, которых может укротить один страх, лишатся спасительных предрассудков, необходимых для них! Пусть для подлецов и злодеев затмения, кометы, моровые поветрия, землетрясения и пр., и пр. всегда останутся послами и признаками гнева божия! Их презрительное суеверие принесет пользу, и пользу великую: припадки страха, причиняемого им знамениями небесными, удержат их от многого — хотя на то время, пока продолжатся эти припадки!

Наконец попалась мне и в «Сыне отечества» статья, которая может сравниться с хорошими статьями «Вестника Европы».[82] Она называется «О начале, успехах и падении мифологического мира»; соч‹инение› Якова де Санглена (Sanglin). В ней для меня новые сведения о циклических рапсодах. В круг их песнопений включены были космогонии, феогонии, геогонии их предшественников и предания о судьбе древних эллинских поколений и героев; сей круг составлял связь мифов и повестей от Урана до смерти Одиссея. (Итак, нечто в роде Ша-Наме?).

10 июля

Писал к матушке и брату. Баллады Катенина[83] «Убийца» и «Леший» по содержанию уступают его «Наташе», но по слогу лучше: в них нет тех неисправностей, какие попадаются в последней.

С удовольствием прочел я извлечение из Рикордовой книги[84] «Освобождение Головнина». Замечу еще два «Отрывка из записок путешественника по Камчатке» — Добеля.[85]

11 июля

Сегодня я был свидетелем материнских уроков, которые преподавались у меня на окне: воробьина самка привела туда клевать крошки трех своих птенцов. Я ее заметил и прежде, но тогда она сама их кормила. Ныне же кормила она, и то только сначала, самого маленького из них; а потом и его приучала клевать без ее помощи, и это вот каким образом: вспорхнула к крохам, взяла одну из них, показала ее ему, а потом вдруг улетела, что в переводе значит: ты видишь кроху, ты видел, как и где я ее взяла; ступай же, изволь клевать, а я улетаю, чтоб ты не надеялся на меня.

Принялся опять за греческий язык: перечитывал 7-ю книгу «Илиады». Нынешний месяц хочу перечесть 7, 8 и 9, а в августе, если бог даст, 10, 11 и 12-ю.

12 июля

Итак, вот опять 12 число июля! Прошлого года отметка моя на этот день была ознаменована печатью величайшего уныния. Ныне я, слава

богу, несколько бодрее. Несмотря на все то, что меня смущает, я уповаю и впредь стану уповать на неизреченное милосердие божие: он был моим помощником доселе, и впредь он будет моим помощником!

‹13 июля› [86]

15 июля

Худое начало нового дневника! Не знаю, что сегодня отметить: весь день читал «Сын отечества» — и не нашел ни одной мысли, которая бы стоила того, чтобы быть записанною.

17 июля

Скоро можно мне будет приняться за переправку комедии «Нашла коса на камень». Сегодня я кончил 8-ю книгу «Илиады».

18 июля

Писал к матушке, Юстине Карловне и Наташе. Вот стихи, которые посылаю последней:

ПЛЕМЯННИЦАМ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИХ МАТЕРИ [87]

Вы в Закупе, вы радостные гости
Тех самых рощ, лугов, холмов, полей,
Где расцветало утро ваших дней
На берегах игривой, светлой Хмости.
За вами шумный, пыльный Петроград;
Вы там, где твердь ясна и блещут воды,
Где ароматом дышат лес и сад;
Вы на пиру, на празднике Природы.
Там солнце ране слышит ваш привет,
И луч его живительней и краше,
И ваших щек свежее нежный цвет,
И бьется веселее сердце ваше.
Но смерклось: по знакомым вы тропам
Бредете в злате лунного мерцанья,
И тихие парят воспоминанья
И сладко шепчут о минувшем вам.
Не там ли встретите в сени родимой
И день, любовью вашею святимый,
Тот день, в который к бытию призвать
Благоволил всевышний вашу мать?
И что ж являет мне воображенье?
Сдается, вижу вас — вы предо мной;
Вы молитесь за счастие родной:
Сливаю с вашим и свое моленье.
О, в сей священный, в сей небесный час
Сколь пламень ваших душ и чист, и ярок!
Но вы подъялись: каждая из вас
Несет любезной матери подарок. . .

Подарок малый, но он дорог ей:
Он изготовлен *вашими* руками.
Соединиться в сем приносе с вами
Блаженством было бы душе моей;
Ах! одинокий встречу я денницу:
Мое богатство — грусть по старине.
Напрасно бы и дева песней мне
Нарвала сладостных цветов кошницу, —
Напрасно! Кто услышит голос мой?
Кого обрадую смиренной данью?
Но посвящу и я воспоминанью,
Но освящу и я сей день мольбой:
Воспоминанью с вами проведенных,
Прекрасных, быстро улетевших дней;
Мольбой за вас, за мать и за детей,
Бесценных мне и вечно незабвенных!

Резкие приговоры редко бывают справедливы. Вяземский в известных когда-то стихах говорит:

У вас Нева,
У нас Москва,
У вас Х[восто]в,
У нас Шатров.[88]

А между тем Шатров — поэт не без проблесков воображения, не без теплоты чувства, не без мыслей новых и удачных. В языке и механизме стихов сам князь Петр Андреевич мог бы у него кое-чему научиться.

«Песнь дружбы»[89] (на смерть Николева) Шатрова, несмотря на то, что большая часть стихов в ней дюжинные, не есть, однако же, произведение дюжинное; вторая строфа оканчивается двумя стихами, которые не испортили бы и самых выспренних од Клопштока или Державина:

И само время скоротечно
При звуках арф небесных спит.

Много ли у Вяземского стихов, которые выдержали бы сравнение с этими двумя?

20 июля

Дней с десять, если не более, была погода не холодная, но дождливая и пасмурная, совершенно как в начале осени; сегодня поутру было прохладно, зато день выдался прекрасный, ясный, чистый и — при небольшом ветерке — не слишком жаркий.

Кончил вторичное чтение 7, 8, 9 книг «Илиады» и довольно успешно: в пять приемов, из которых три достались на 7 и 8, а два на 9-ю книгу.

21 июля

Перечел свое подражание Шекспирову фарсу «The Taming of the Shrew»:[a] первыми тремя действиями я так недоволен, что почти решился

---

[a] «Укрощение строптивой» (*англ.*).

бросить это произведение. Четвертое действие, однако же, несколько лучше именно потому, что почти переведено из Шекспира.

22 июля

Наконец удалось мне переложить прекрасное стихотворение, которое выписал я 10 апреля из «Andachtsbuch» [a] Шпикера:

1

Стоял на горе я, на самой вершине,[90]
Покоя очам утомленным искал;
Но море тумана кипело в равнине,
Но в миг изменялся синеющий вал.

2

Вдруг ветер — и тьму разодрал, и светило
Блеснувшего дня в глубине подо мной
Одеянный роскошью край озарило,
Чудесный Эдем, насажденный весной!

3

Из персей исторгнулся крик упоенья...
Но, ах, набежали тогда же валы,
Пожрали Эдем, как мечту сновиденья:
Мрачнее повсюду владычество мглы!

4

О други! хотя бы однажды — не боле —
Расторг облака ваши радостный луч...
Но луч сей мгновенный посол же оттоле,
Где ваша отчизна за областью туч!

Я не слишком большой любитель русских, очень часто — не русских, слов новейшей фабрики. Но глагол *опламенить*, употребленный Ф. Глинкою, хорош и мог бы, по моему мнению, войти в состав языка: если говорят *воспламенить*, почему же не сказать при случае и *опламенить*, т. е. *озарить пламенем*?

23 июля

На досуге перечел я первую часть своей легенды и — хотя слова два-три переменил — одно место отметил крестиком, а касательно другого остался в нерешимости, вообще доволен и ходом, и слогом оной.

---

a «Молитвенника» (*нем.*).

Статья Батюшкова [91] «Нечто о морали, основанной на религии» принадлежит к лучшим в сем роде на русском языке. Есть, однако же, в ней некоторые мнения, с которыми я не совершенно согласен, напр. слишком строгий приговор Жан-Жаку. Не по гордости — так полагаю я — страдалец Руссо отвергал утешение религии; он, смею думать я, принадлежал к тем злополучным, о которых, когда их безверие простирается еще далее Жан-Жакова, Пушкин говорит: их

Ум ищет божества, а сердце не находит,[92] —

такое безверие ужасно, но оно более болезнь, несчастие, нежели — преступление.

24 июля

Со мною то, чего давно не было: не знаю, чем заняться. Переправлять фарс свой — не хочу: он, кажется, не стоит переправки; приняться за перевод из Шекспира по времени года слишком поздно, не успею кончить до октября; приняться за значительное сочинение летом — не могу, потому что при том должен пить кофе, а его негде варить; сегодня от нечего делать взялся я опять за Гомера — читаю 10-ю книгу «Илиады», хотя и предполагал перечесть 10, 11 и 12-ю книги не прежде, чем в конце августа.

О разборе Катенина «Ольги» [93] не пишу ни слова по двум причинам: этот разбор сделан Гнедичем и возражал на оный Грибоедов, — первый в последнее время моей светской жизни был со мною в ссоре, а второй мне более чем друг.

25 июля

Ныне семь лет, как покинул я Петербург.

С наслаждением прочел я описание острова Таны [94] Головнина. Достойны примечания также выписки из «Путевых записок» г-жи фон дер Реке.[95] Вообще «Сын отечества» на 1816 год довольно занимателен. В «Смеси» говорится о каком-то французском докторе, который помешался на том, что земля больна и что болезнь ее происходит от смерти луны, «которая мумия, лишенная растительной силы и блеску и не обращается на своей оси, как живые тела небесные, которая не что иное, как труп, заражающий все, что близ него». Это, быть может, бред, но бред очень поэтический.

27 июля

Перечел поутру вторую часть своей легенды: она требует еще больших перемен; но едва ли займусь ими теперь, потому что легенда успела мне порядочно надоесть.

28 июля

С третьего дня бьюсь над балладою «Кудеяр». Не знаю, будет ли в ней прок? До сих пор еще очень затрудняюсь размером, от которого я в течение последних девяти лет совсем отвык: я выбрал амфибрахий, стих, которым написаны мои «Рогдаевы псы»; но куплет будет короче, чем в этой последней балладе. Сверх того, со дня на день уверяюсь более в том, что писать рассказы куплетами — дело очень щекотливое.

29 июля

Перечел 5-ю песнь «Петра Великого» Шихматова:[96] эта песнь у него из слабых, но и в ней множество бесподобных стихов. Не понимаю, право, людей, каков, напр., Никольский (сын), который смеет называть поэму Шихматова «стыдом Российской Словесности».

30 июля

Наконец нашел я и русскую проповедь[97] совершенно в духе тех, которыми восхищался и наставлялся в собраниях Дрезеке, Чирнера, Рейнгарда. Это «Слово, произнесенное в день венчания и миропомазания покойного императора», проповеданное в ярославском кафедральном Успенском соборе семинарии ректором, ростовского Борисо-глебского монастыря архимандритом Феофаном; напечатано оно в «Сыне отечества» 1816 года в № 38. Предмет сей проповеди — славолюбие. После небольшого вступления, основанного на празднестве 15 сентября 1815 г., Феофан переходит к *общим нравственным* истинам, которые доказывает. Основа проповеди следующая:

Человек создан для любви. Страсть. Ее происхождение. «Сердце, не любящее бога, непременно любит что-нибудь, как бога, так, как разум, не знавший истинного бога, поклонялся древу и камени, как богу». Сие что-нибудь — или нечто внешнее, или сам любящий; в последнем случае — тело или душа. От сего — похоть очес, похоть плотская — и *гордость житейская*, т. е. «сластолюбие духовное, внутреннее души самоуслаждение истинными или мнимыми совершенствами»... «Желание, чтобы и другие восхищались нашими совершенствами, — *желание славы*». Пагуба, заключающаяся *в гордости*, превышает ту, которая сопряжена с любостяжанием и сластолюбием. Почему? потому что «внутренняя порча опаснее внешней, что славолюбие проницает природу человеческую. Славолюбие заражает и убивает душу и самые высшие силы ее, следовательно, оно столько пагубнее тех, сколько душа совершеннее тела. Мытари etc. удобнее сходят в царствие небесное, нежели самоправедники... Сии не входят, или, что еще ужаснее, и нейдут в него, ибо думают обрести рай в самих себе». Славолюбию доступны все возрасты. «Младенец, еще слагая буквы, считает себя мудрецом». И недостаток средств не умерщвляет сей страсти. Следуют примеры

славолюбия. О тружениках особенно хорошо. Врачебство от славолюбия. Определение славолюбия метафизическое. Разделение славы на внутреннюю и внешнюю. Слава не принадлежит нам, потому что, *кроме греха*, все не наше, потому что без помощи божией всегда действуем превратно, потому что — если бы мы и не пали — все достоинство наших дел принадлежало бы создателю, ибо «чистому разуму открывать истину и ложь, различать доброе и злое, неповрежденной воле избирать благое столь же естественно, сколько солнцу греть и сиять». Гордиться же ими не то ли, что поклоняться солнцу, а не творцу солнца? Человеку не подобает слава в состоянии невинности; тем менее в состоянии растления. Но если бы даже и могла принадлежать ему, можем ли сами судить о внутренней славе, когда *око наше лукаво*? могут ли по той же причине судить о внешней другие? Итак: во-1-х, мы не должны присвоять себе славы за наши силы и способности — они от бога; во-2-х, «не должны присвоять себе оной за благое даров его употребление», — всякое благое в нас, падших, есть дело благодати; в-3-х, не можем ни самим себе воздавать оной, ни принимать от других, потому что и другие, и мы сами имеем разум погрешительный и сердце поврежденное. Следует заключение.

Если бы на русском было более подобных проповедей, было бы и пользы гораздо более, нежели от так называемых «*Слов*», которые большею частию набор *слов*, возгласов и некстати приведенных текстов.

31 июля

Вот и последнее число июля. Нынешний месяц, слава милосердому богу, я был здоров и не имел никаких неприятностей, что лучше даже самого здоровья.

1 августа

Сегодня прохаживался я по плацформе во время грозы: она подействовала на меня вдохновительно; две хорошие строфы баллады, коею теперь занимаюсь,[98] вылились из моего воображения под звуки грома, который

В отзывах дальных рокотал.

Физическое действие же грозы было следующее: когда по возвращении моем вырубали мне огонь на трубку, трут вспыхнул гораздо скорее и с большею силою, чем обыкновенно.

2 августа

Письма Греча к Измайлову[99] своею живостью довольно занимательны.

О спорах же Загоскина и Измайлова [100] покойный Грибоедов очень хорошо сказал:

Один напишет вздор,
Другой на вздор разбор;
А разобрать всего труднее,
Кто из обоих их глупее? [101]

Впрочем, это относится к Загоскину «Наблюдателю» и автору «Богатонова»: но автору «Юрия Милославского» [102] Грибоедов, который так живо чувствовал все прекрасное, конечно, отдал бы полную справедливость.

3 августа

О нынешнем дне не знаю, что сказать. Я не был празден: но стыжусь отметить, что целое утро и два часа после обеда занимался своею балладою — и выходил не более пяти строф, из которых, сверх того, последняя едва ли не выбросится или по крайней мере переделается.

4 августа

Прочел в «Сыне отечества» славную речь Златоуста [103] о несчастии Евтропия, перевод Толмачева. Речь удивительна, и перевод довольно хорош. Но дело не в том: ужасно вообразить чувства Евтропия, когда произносил при нем Иоанн речь свою!

В другой части журнала речь — не Златоуста, но доброго пастора Рейнбота (отца) [104] «О просвещении»: в ней мало или вовсе нет красноречия, но все сказанное совершенно справедливо, все основано на здравом рассудке, истине и божественном учении спасителя; а это немалое достоинство.

Свиньина описание Царского Села [105] перенесло меня на несколько минут в это мирное убежище моих отроческих лет.

5 августа

Надеюсь в понедельник 7-го числа кончить свою балладу.

Лучшая из четырех пиэс моих,[106] какие попались мне в «Сыне отечества» на 1817 год, — «К Матюшкину». Ее одну, быть может, я не выбросил бы, если бы должен был составить собрание мелких своих стихотворений. Жаль, что переправки, какие я в ней сделал, утрачены.

6 августа

Целый день дождь: у меня в комнате так темно, что я почти по необходимости весь день проспал.

7 августа

После вчерашнего ненастья сегодня бесподобная погода, даже почти слишком жарко. Я между тем в продолжение последних двух суток проспал по крайней мере 30 часов: обыкновенно сплю довольно мало, но в год два или три раза находит на меня подобный сонный припадок; и в феврале нынешнего года со мною то же было.

Баллады своей я не окончил. От нечего делать читаю «Picture of Italy».[a] Не худо бы, чтобы в Петербурге догадались да прислали бы мне какую-нибудь новинку!

8 августа

Напоследок кончил я свою балладу. Она занимала меня довольно долго. В слоге старался я, сколько позволял новейший размер, держаться оборотов и речений наших старинных народных сказок.

Покойник А. Е. Измайлов был истинно добрый мужик: я знал его очень хорошо, любил его и ему многим обязан. Но в своих перебранках с «Наблюдателями» он из рук вон мужиковат!

9 августа

Стыдно и смешно мне было, когда прочел я в «Сыне отечества» свою пиэсу «Элегия к Дельвигу». Мне было *с небольшим* двадцать лет, когда я написал ее, вышел только что из Лицея, еще не жил, а приготавливался жить; между тем тема этой рапсодии — *отцветшая молодость*, *разочарование* etc. Другая моя пиэса — «Отчизна» — гораздо лучше. В собрании мелких моих стихотворений она получила бы место. «Дифирамб» (из Шиллера) слишком небрежен в своем механизме; на другого же рода достоинство он не может иметь никакого притязания.

С наслаждением прочел я несколько явлений из комедии «Своя семья», написанных Грибоедовым:[107] в этом отрывке виден будущий творец «Горя от ума».

10 августа

Нетрудно находить прекрасные стихи в сочинениях Пушкина, Жуковского, Грибоедова; но выписывать их считаю бесполезным, потому что их довольно много и, сверх того, они всем известны. Когда же случится мне найти нечто истинно хорошее в произведениях стихотворца дурного, посредственного или по крайней мере мало известного, тогда почти считаю обязанностию внесть такую находку в свой дневник.

Олин[108] — горе-богатырь в поэзии; но между тем вот из его пиэсы «Ночь в Аркадии» изображение водопада, которое заслуживает быть выписанным:

---

[a] «Картины Италии» (*англ.*).

Посмотри, как водопад,
Стекловидный, шумный, пенный,
Лунным блеском осребренный,
С гор крутых в отлогий луг
Льет алмазы и жемчуг.

Только 5 стихов — не более, — прочие, правда, гиль, но по крайней мере эти пять стихов точно хороши.

11 августа

Говорил я о своих пиэсах, напечатанных в «Сыне отечества» на 1817 год. Сегодня упомяну я об элегии Туманского,[109] напечатанной тут же. Для *17-тилетнего поэта* она истинно хороша и лучше в некоторых отношениях тех, которые написал я 20-ти лет. В ней даже есть стих, который не *относительно*, а положительно прекрасен. Жаль, что он неразлучно соединен с предшествующим ему дурным стихом:

Муж почитаемый в сердцах не умирает,
Из самой вечности бросает тень свою.

12 августа

Технологические статьи Каразина, все до одной, очень занимательны.[110] В «Сыне отечества» на 1817 год заслуживает особенное внимание его рассуждение о необходимости сбережения лесов в России; в нем много мыслей основательных и остроумных, впрочем, мне не вовсе незнакомых, ибо и у Бернардена де Сен-Пьер в «Etudes de la nature» [a] встретились мне сходные с ними. В другой статье (о метеорологии), читанной Каразиным в 1810 году в московском Обществе испытателей природы, несколько гипотез очень смелых, но, быть может, таких, которые оправдаются лет через сто, пятьдесят или и ближе.

Примечательнейшая из этих гипотез — предположение, что человек может покорить себе электрическую силу и употреблять ее орудием усовершенствования произведений своих, точно так, как покорил себе воду, пары и пр.

15 августа

От доброго сердца хохотал я над экзаметром маленького Глинки; в его сказке «Бедность и Труд» [111] этот стих у него кудахчет курицей, гогочет гусем, свищет и чиркает чижом и пр., и все это звукоподражание. Но звукоподражание у Виргилия и Гомера, кажется, не то: у них оно не насильственный набор слов, нанизанных единственно для того, чтобы произвести нечто, похожее на звуки природы, а нечаянный по-

---

[a] «Этюды о природе» (*франц.*).

дарок, данный языком вдохновению, подарок, которого, быть может, вдохновение и не заметило. Сверх того, сказка Глинки — подражание «Овсяному киселю» Жуковского. Жаль, что Федор Николаевич никак не может или не мог в то время (в 17, 18-м годах) удержаться от подражаний. Едва Жуковский перевел несколько Гетевых оттав оттавами, как и Глинка тотчас счел обязанностию написать несколько оттав («Осеннее чувство»); едва начал ходить по рукам *еще рукописный* Жуковского «Кисель», как у Глинки уж и готова сказка «Труд и Бедность» (в которой много и труда, и бедности); едва Пушкин написал в своем «Руслане» известные стихи: «О поле, поле! кто тебя...», — как и у Глинки немедленно поспело послание к Пушкину, которое начинается: «О Пушкин, Пушкин, кто тебя...». Такое ребячество в состоянии уронить человека и с бóльшим талантом! Таланта же, однако же, у Глинки не отнимаю: и в самых подражаниях его заметно дарование, заметна даже оригинальность, ибо он подражает одним формам, — сущность же у него большею частью — *своя*. Еще слово о звукоподражании: *насильственное* звукоподражание, по моему мнению, столько же смешно и нелепо в поэзии, сколь оно, по единогласному приговору всех людей со вкусом, нелепо и смешно в музыке.

Кстати, потому что дело идет о смешном: восхитил меня князь Петр Иванович Шаликов великолепною ахинеею, которою он извещает о чем-то касательно истории Карамзина.[112] Что тут сказано, я никак не понимаю (да едва ли и сам Шаликов понимал, что писал); несмотря на это «Новость», напечатанная на 157 стр. в № 10 «Сына отечества», удивительна, трогательна, нежна, изящна, словом, достойна — Шаликова!

16 августа

Поутру занимался я лирическою пиэсою «Надежда»; план хорош, но худой знак, что во второй раз ее начинаю и не могу привести к концу. И нынешнее мое чтение было довольно занимательно: прочел я, во-1-х, «Известия» старика фельдмаршала Миниха о Ладожском канале,[113] статью в историческом отношении очень важную и вдобавок написанную удивительно чистым — *для того времени* — слогом; во-2-х, «Овсяный кисель» Жуковского, образец истинной простоты (в этой пиэсе мне все показалось прелестным, даже самый экзаметр, хотя я ныне решительный ненавистник этого размера); в-3-х, несколько мелких статей, из коих одна («Письмо к издателю» в № 3 на стр. 125) содержит известие, что первую мысль о сооружении памятника Минину и Пожарскому[114] подал — можно ли было это подумать? — Гераков!

17 августа

Пишу письма. Брату посылаю «Кудеяра»: переписывая, я сделал в этой балладе несколько удачных перемен.

19 августа

Со всеми мнениями Карамзина — историческими, литературными, философическими — невозможно быть согласным; а должно признаться, что прозою у нас никто лучше его не пишет и не писал; отрывок из 8-го тома его «Истории» — «Осада и взятие Казани»,[115] напечатанный в «Сыне отечества», написан мастерски, и Пушкин очень справедливо сказал, что в этой прозе гораздо более поэзии, чем в поэме Хераскова.

NB. Карамзин в речи митрополита Иоанну при возвращении сего государя из-под Казани употребил, следуя слогу летописи, прилагательное *предъидущий* в значении прилагательного *будущий*, а не *прошедший*, как оно ныне употребляется.

Люблю читать «Известия о благотворениях»; в них иногда попадается много отрадного. Нельзя иногда не удивляться благотворительности народа русского: в одном номере издатель объявит о бедном, а уж в следующем и сыплются вспомоществования! Доказательством тому, что говорю, может служить *вторичное* объявление о Семяниковой[116] в 14 № «Сына отечества» и 15 номере сего журнала на 1818 год.

20 августа

В присланных мне сегодня номерах «Сына отечества» несколько бранчивых критик на театральные произведения Шаховского, Катенина и Хмельницкого:[117] мало в этих критиках отрадного; особенно же отличился Б‹естужев› разбором «Эсфири» Катенина. Жаль, а должно признаться, что этот разбор — образец привязчивости, ложного остроумия и — невежества. Последнее особенно обнаруживается в суждениях о языке и слоге этой трагедии, напр., Б‹естужев› не знает или не хочет знать, что *внуши* на славянском — синоним глаголу *внемли*, что *воня* слово отнюдь не низкое, а принадлежащее церковному языку, и пр.

Гораздо дельнее этих театральных критик Цертелева статья[118] «О подражательной гармонии»: в ней пространнее почти то же сказано, что в отметке 15 августа говорю я о сем украшении. Попались мне опять три мои пиэсы,[119] две в стихах, одна в прозе. Стихи «К самому себе» в отношении к механизму хороши, но по содержанию никуда не годятся; послание же «К Пушкину и Дельвигу» — послание, comme il y en a tant,[a] сверх того, написано очень небрежно; «Письмо лицейского ветерана к лицейскому ветерану» молодо, но вообще дельнее стихов. До сих пор в числе грехов моей юности нашел я только две пиэсы, которые читал не краснея: «К Матюшкину» и «Отчизна».

22 августа

Замечания Цертелева[120] на Востокова «Опыт о русском стихосложении» очень умны и доказывают, что рецензент — человек мыслящий;

[a] каких так много (*франц.*).

но едва ли основание их справедливо: едва ли справедливо, что в старинных русских стихотворениях существуют *настоящие* стопы; по крайней мере весьма сомневаюсь, чтоб не только *легкие,* но и *тщательные* поправки могли восстановить в сказках Кирши Данилова стихосложение, искаженное будто бы изустным преданием. Впрочем, попытка не шутка, а спрос не беда! Одно отдельное замечание Цертелева меня поразило — оно совершенно справедливо, но справедливо не только в отношении к нашим довольно неправильным простонародным стихам: «Скорее русские пе̂сни, — говорит Цертелев, — можно обвинить в излишней явственности гармонии (только не гармонии, а скорее мелодии), нежели в неощутительности оной». Другими словами: стихи, писанные простонародным размером, слишком однозвучны. То же самое можно сказать и о новейших дактилях, амфибрахиях etc. Несмотря на умничанья, на русском языке стих ямбический самый *разнообразный,* самый благозвучный и самый приличный всем родам поэзии, только надобно уметь владеть им, а это, конечно, труднее, чем употреблять наобум дактили, амфибрахии, пеоны и другие *скачущие* стопы.

23 августа

Был у меня пастор: давно не имел я счастия видеть его у себя; тем приятнее мне была беседа с ним.

Поутру я кончил лирическое стихотворение «Надежда»; завтра внесу окончание оного в тетрадь.

25 августа

Вчерашней отметки нет, потому что прежде времени нечаянно погасил свечу.

Сегодня я начал перечитывать 12-ю книгу «Илиады»; читал, впрочем, довольно лениво (на меня опять нашла сонливость). Не дурна в «Сыне отечества» на 1819 г. статья [121] «Мысли о необходимости внешней защиты государств». Слог В. Н. Каразина довольно дурен; мнения не всегда справедливы, — но люблю его читать, потому что у него есть *мысли,* а это главное: его «Речь об истинной и ложной любви к Отечеству» [122] я вчера прочел не без удовольствия. В «Сыне отечества» на 1818 и 1819 гг. два описания кораблекрушения,[123] одно написанное Н. Бестужевым, другое Ратмановым: сердце сжимается, когда читаешь изображение таких бедствий. Об известной сатире Милонова «На женитьбу в большом свете» [124] — ни слова: она прославилась одним неблагопристойным и двумя истинно острыми стихами; других примечательных в ней нет.

26 августа

Кончил 12-ю книгу «Илиады». Теперь язык греческий отложится месяца на три. Речь, произнесенная Карамзиным в российской Акаде-

мии[125] 5 декабря 1818 года, невольно заставляет улыбнуться, — не содержанием своим, не слогом (хотя содержание и слог и не совершенно таковы, каковыми должны были быть в сем случае) — ... Шишков слушал Карамзина; Шишков должен был слушать, и слушать с изъявлением удовольствия, слова *чувствительность*, *симпатия* etc., слушать и некоторые мысли, которые он давно объявил ересью и, верно, не переставал и тогда считать ересью, сверх всего этого, слушать даже нечто похожее на поучение.

27 августа

Перечел я от нечего делать сказку про Еруслана Лазаревича. Кто бы подумал, что в ней есть места истинно трогательные? Но как не назвать трогательными следующих слов пленной царевны? На вопрос ее похитителя, есть ли на свете кто ее краше, — она отвечает: «Когда я была у отца своего и у матери, тогда я была красна и хороша, а ныне мое тело полоненное». Столь же прекрасно приветствие отца сыну, прибывшему неожиданно в отечество, утесненное нашествием неприятеля: «Дитятко мое милое, откуда ты как солнце воссиял и меня обогрел?». Есть даже место, которое я готов назвать высоким, — это начало единоборства Еруслана с своим сыном: «Не два ясные сокола слеталися, съезжалися два сильные богатыри, отец с сыном!». Выражения тут просты, уподобление также, — но оно здесь удивительно кстати употреблено, ибо заставляет обратить живое внимание на то, что должно произойти от необыкновенной встречи таких двух витязей, каковы оба Еруслана, витязей, которые, сверх того, в столь близком, им неизвестном отношении один к другому! Впрочем, это положение, истинно трагическое, сохранилось в русской сказке почти без перемены точно в том виде, в каком оно в Ша-Наме.

28 августа

Мало утешительного в моих произведениях,[126] напечатанных в «Сыне отечества»! Из них в номерах, присланных мне сегодня, попались мне «Элегический отрывок», «Песнь лопаря», сокращенный перевод Каллимахова «Гимна Аполлону». «Отрывок» изрядно написан, но содержание его — отцветшая молодость, по коей тосковать мне в 1819 году было слишком рано; «Песнь лопаря» — ученическое произведение; перевод из Каллимаха лучше и «Отрывка», и «Песни», однако же поэтическая совесть моя мне говорит, что он не может быть близким, ибо я в то время слишком худо знал по-гречески и переводил, имея больше в виду немецкое переложение Штольберга, нежели подлинник. В числе стихотворений, напечатанных в Гречевом журнале, должно заметить две кантаты Жан-Батиста Руссо: «Вакх» и «Торжество любви»,[127] переведенные кн. Голицыным; из них вторая особенно хороша.

29 августа

В Гречевом разборе «Истории философических систем» Галича,[128] в коем много поверхностного, ложного, пристрастного, — есть, однако же, великая истина, которую вытвердить наизусть не мешало бы нашим юным шеллингистам: «Язык есть единственное орудие мыслей... и *от совершенства сего орудия зависит и совершенство самого дела*» (т. е. философического сочинения). Далее сие правило пояснено: «Сочинитель учебной книги *обязан* писать языком и слогом, внятным своей публике и приличным степени умственного ее образования». Это я сто раз твердил любезному моему Володе Одоевскому — но!..

Пересматривал вторую часть «Семи спящих отроков» и сделал в ней несколько перемен; впрочем, они не совершенно те, какие я предполагал было.

30 августа

Что делают мои именинники:[129] О‹доевский›, Б‹естужев›, П‹лещеев?› и Пушкин? Дай боже им — если не счастья (оно на земле не бывает), по крайней мере — спокойствия сердечного, которое лучше во сто крат того, что в свете подчас выдают нам за счастье!

Поутру я выправлял или, лучше сказать, просто перечитывал 1-ю часть своей легенды, ибо переправки ограничились только тем, что одну строфу я вычеркнул, а в другой два стиха заменил новыми двумя.

Сегодня, 30 августа старого стиля, т. е. 11 сентября нового или настоящего счисления, была гроза. С неделю погода стояла прекрасная; зато шли беспрестанные почти дожди с первых чисел июля по двадцатое августа.

31 августа

Насчет приятеля своего Плетнева я ошибался и — на сей раз рад, что могу сознаться в ошибке. Я в нем предполагал гораздо менее таланта, чем он действительно имеет. Его элегия «Гробница Державина»,[130] конечно, не может назваться хорошим стихотворением, но в ней заметно воображение, заметно нечто истинно поэтическое.

1 сентября

Внес сегодня в тетрадь небольшую лирическую пиесу «Тленность»;[131] она подражание десяти первым куплетам немецкой лютеранской духовной песни «Menschen! Unsers Leben eilt».[a] Бесподобный четвертый куплет этого гимна:

Leicht entflieht ein Morgentraum;
Leicht zerschmilst des Wassers Schaum;

---

[a] «Люди! наша жизнь уходит» (*нем.*).

Neigend noch zergeht der Rauch:
So ist unser Leben auch! [а]

я выразил *тремя*, которые, конечно, содержат полнейшую картину, но вообще не стоят этого одного куплета. Попытаюсь, не удастся ли мне произвести четверостишие, совершенно то же значащее и столь же *сочное*, как немецкое.

В «Сыне отечества» отрывок (чуть ли не Бестужева) «О древних эстонцах».[132] В этом отрывке между прочим следующее: «В библиотеке церкви св. Олая показывали мне небольшой деревянный идол бога *Фицли-Пуцли*, которому будто бы некогда поклонялись эстонцы. Джефферсон называет сим же именем одно мексиканское божество: непонятно» etc. Зная несколько по-эстонски, я уверен, что *Фицли-Пуцли* не есть и не может быть эстонским словом, уверен, что эсты никогда и ничего не называли *Фицли-Пуцли*, и это по очень простой причине: у них нет звука *ф*. В словах, ими занятых у немцев, везде *ф* переменяется на *п*: немецкие слова: Frost у них Prana,[б] Freulein — Preile [в] и т. д.

2 сентября

От нечего делать вынул я сегодня из чемодана старые тетради и пересматривал их. Между прочим прочел я «Зоровавеля» и Р‹евель›-ский дневник. В «Зоровавеле» нашел я важный недостаток: эпизоды, напр. о Кире, — о войне Дария с Вавилоном, некоторые довольно пространные уподобления и аллегории — затмевают главный рассказ. Сверх того, есть и такие стихи, которые решительно не в тоне, решительно разочаровывают, напр.

Пророк, противник влаги лозной.

Эти пятна не худо стереть; итак, займусь выправкою моего любимца, если только не найду другого, нужнейшего занятия.

В Р‹евельском› дневнике все мягче, живее, свежее, чем в нынешних: самое уныние в нем представляет что-то поэтическое. Тогда еще душа у меня не успела *очерстветь* от продолжительного заточения; впрочем, и самое заточение было в Р‹евеле› не слишком тяжко, по крайней мере в последние 4½ месяца; полтора месяца, правда, было и в Р‹евеле› трудно.

Любезный мой пастор прислал мне 1 том собрания проповедей — «Bibliothek der deutschen Kanzelberedsamkeit».[г] Кроме известных мне Дрезеке, Чернера, Рейнгарда и Гармса тут есть еще проповеди Ганштейна и Лефлера[133] (Ganstein und Löffler).

[а] Быстро улетает утреннее сновидение,
Быстро уплывает пена на воде,
Покачиваясь, тает дым:
Такова наша жизнь! (*нем.*).

[б] мороз, стужа (*нем.*, *эст.*).

[в] девушка (*нем.*, *эст.*).

[г] «Библиотека немецкого духовного красноречия» (*нем.*).

3 сентября

Сегодня я целый день читал. Во-1-х, прочел я шесть проповедей: 2 Лефлера, 2 Гармса, 1 Ганштейна и 1 Дрезеке. Лучшая из них проповедь последняя: «О суде». Проповеди Гармса не без достоинства: он краток, силен, выразителен и — что всего лучше — мощный, твердый христианин. О Лефлере и Ганштейне не сужу — но...

Сверх того, прочел я своего здешнего дневника первую и вторую тетради.

Январские 1832 года лирические пиесы мои требуют больших перемен; сонетами же я вообще доволен. Жаль, что их только пять: я бы очень рад был, если бы их число увеличилось.

5 сентября

«Мнение» Капниста,[134] помещенное в «Сыне отечества» на 1819 год, о том, «что Улисс странствовал не в Средиземном, но в Черном и Азовском морях», довольно мне кажется основательным. Примечательна при сем случае скромность почтенного старца — поэта, друга и сверстника Державина; такая же скромность и такая же основательность в статье его о перемещении 5-й песни «Одиссеи»: [135] все это прекрасно и заслуживает подражания; лишним мне только кажется, что Капнист в конце обеих статей поместил по эпиграмме на самого себя... [136] Mann muß sich nicht wegwerfen! [а]

6 сентября

Для избежания праздности принялся я пересмотреть и переписать вместе лирические свои духовные стихотворения: сегодня переписал я три первых и в двух сделал значительные перемены.

В «Сыне отечества» нашел я еще две старинные свои пиэсы:[137] «Memento mori» и «Ручей»; последний я впоследствии переделал — и он точно стоил переделки; жаль только, что напечатан первый начерк этой пиэсы. Перевод мой из Виланда «Письмо к молодому поэту» [138] искажен самыми грубыми опечатками. Такие же опечатки встречаются и в многих стихотворных пиэсах: но как Греч толку в стихах не знает, их кое-как еще можно ему простить. Но проза кажется стихиею же его; почему бы не быть несколько исправнее?

11 сентября

Получил я сегодня 1 том «Истории» Карамзина; завтра начну в ней рыться; авось отыщу предмет для драматического сочинения; хотелось бы мне написать зимою что-нибудь *подельнее* моих пустых поэм, которые едва ли меня переживут.

[а] Не должно терять достоинство (*нем.*).

В «Сыне отечества» прочел я с удовольствием — и с досадою Катенина «Мстислава».[139] Нападки на это стихотворение Б‹естужева›, конечно, *большею частию* несправедливы и внушены пристрастием: но его «Мстислав» все же мог бы быть гораздо совершеннее, если бы Катенин был менее самолюбив, если бы он, умеющий, подобно Бокингему в Шекспировом «Генри VIII», столь хорошо советовать другим, захотел вслушиваться в советы собственной поэтической совести.

12 сентября

Целый день читал: поутру «Историю», а потом «Сын отечества». Желалось мне очень найти что-нибудь для сочинения, а именно для сочинения драматического, — но едва ли решусь выбрать предмет из повествований первых пяти томов «Истории» Карамзина.

13 сентября

Карамзин считает лив, или ливонцев, финнами, а между тем я почти наверно знаю, что они, т. е. их остатки — всего 40 000 голов, — живущие по берегам Салиса, говорят языком, более сходным с латинским, нежели с чухонским. В 106-м замечании историограф сильно нападает на Далина, между прочим за его мнение, что около рождества Христова большая часть Швеции скрывалась еще под водою и что северная Россия в глубокой древности состояла из отдельных островов. Между тем Далин, несмотря на знаки восклицания Николая Михайловича, сказал нечто, в чем нынешние геологи почти не сомневаются.

14 сентября

Описание несчастий фон Б... въ[140] в «Сыне отечества» меня сильно растрогало: особенно подаяние, о котором Греч упоминает, подаяние малютки кантониста этому бедному семейству. Как все забывается! я уже потом вспомнил участие, какое принимал я в хлопотах за этих страдальцев, и как я за них чуть-чуть не поссорился с Ж‹уковски›м, которого, впрочем, побудительные причины были самые благородные.

16 сентября

Я сегодня кончил 1 том «Истории» Карамзина. Есть у него выходки, которые, как ни крепись, а невольно заставляют рассмеяться, напр.: вывезенные Владимиром из Корсуня *капища* (истуканы), *доказывающие любовь сего князя к изящным искусствам*; или военные трубы древних русских, *доказывающие их любовь — к музыке*!

19 сентября

Поутру читал я Карамзина второй том, а после обеда «Сын отечества», именно же отрывки из «Путешествия» Головнина:[141] все, что Головнин говорит о Сандвичевых островах и их преобразователе и просветителе Тамеамее, — очень занимательно; жаль только, что образование овайцев приняло направление не слишком желательное! Им дали порох, ружья, пушки, научили строить корабли и проч., — а забыли позаботиться о душах их бессмертных; они были дикарями, а теперь стали варварами; вопрос: выигрыш ли это?

20 сентября

В предисловии Шаховского к «Полубарским затеям»[142] несколько мыслей новых и довольно важных. Во-1-х, Шаховской очень справедливо, так мне по крайней мере кажется, полагает, что Мольер в «Мизантропе» не над Мизантропом хотел смеяться; во-2-х, о Фон-Визине говорит Шаховской: «Действующие лица, выведенные им, имеют одно свойство с Вандиковыми портретами: мы не знаем, с кого они были списаны, а уверены, что они похожи»; третья мысль — будто бы «везде, куда только хотя мало достигает просвещение, созидаются театры» — исторически несправедлива: арабы и персы в свое время были просвещенны, и очень просвещенны, а театра никогда не знали; наконец, мысль, что улучшение нравов должно быть целию драматического искусства, не стоит и опровержения.

Прочел я еще несколько отрывков, напечатанных в «Сыне же отечества», из «Отчета о луне»[143] Жуковского. Это, конечно, то, что Г‹рибоедов› называл мозаическою работою: но в этой мозаике есть и чистое золото.

22 сентября

Не постигаю я несправедливости Карамзина к дому Святослава Ярославича Черниговского,[144] особенно к Ольговичам: он везде называет их мятежниками, злодеями и проч., а между тем они имели по старшинству более прав на обладание Киевом и великокняжеским престолом, чем, напр., «благословенная отрасль доброго корня» Изяслав Мстиславич, хитрый, умный, храбрый, но во многих случаях бесчеловечный похититель престола, настоящий Болингброк нашего отечества. Смерть Владимирка Галицкого — прекрасный предмет для баллады, а скитания Святослава Ольговича — для исторической картины в роде Гетева «Геца фон Берлихинген».[145] Балладу-то, кажется, я когда-нибудь и в самом деле напишу.

25 сентября

Кончил сегодня «Послание к брату».

Перечитывая осенние книжки «Сына отечества» на 1820 год, я очень понял негодование Греча на «литературную знать»: в самом деле он,

связавшись с Воейковым, который обещал ему золотые горы, больно ошибся в своем расчете; журнал Греча на 1818 и 1819 года гораздо лучше, чем на 1820 г. Разбор «Людмилы и Руслана» [146] — образец педантства и невежества, однако же не злонамеренности, как в то время думали мы, приятели Пушкина.

26 сентября

Сегодня опять был прелестный день: должно сказать, что нынешнего года осень редкая.

Ужасная смерть Андрея Боголюбского описана Карамзиным что-то бесцветно. Признаюсь, что в извлечении Арцыбашева из летописей она меня сильнее поразила.

Занимательная статья в «Сыне отечества» «Академия Художеств»,[147] только жаль, что в ней Гнедич обращает более внимания на побочные, нежели существенные принадлежности картин и портретов, им критикуемых: у него главное — костюм, колорит, рисовка, а о вдохновении, об идеале — ни слова!

27 сентября

Страсть у Николая Михайловича наряжать наших древних славян во фраки! Доказательств, что эта страсть у него неисцелима; в 3-м томе довольно, напр. Мстислав Храбрый в летописи говорит: «Аще ныне умрем за христианы, то очистимся грехов и бог вменит кровь нашу с мученики» etc. Но Николаю Михайловичу показалось неблагопристойным говорить о грехах, о мучениках, и, перефразируя только конец речи старославянского витязя, он его из христианина греко-восточной церкви 12 столетия жалует в философы 18-го и заставляет произнести следующую великолепную тираду: «За нас бог и правда; умрем ныне или завтра; умрем же с честию!».

В «Сыне отечества» Плетнева ода «Совесть»; [148] в ней очень много хорошего; но для меня всего удивительнее, как удачно он попал на слог философических од Державина. Следующие две строфы как будто вырваны из какого-нибудь тщательно написанного места поучительной оды нашего великого лирика:

Бывало, утренней порой
И маленький, и знатный барин,
И думный дьяк, и дьяк простой,
Князек ли наш, Мурза ль татарин,
То с челобитьем за себя,
То за родню, то для совета —
Увидеть все хотят тебя
И шаркают у кабинета.

Давно ль спесивый господин
В звездах по роду, не по службе,

Беседуя с тобой один,
Твердил, бывало, все о дружбе?
Давно ль к тебе под вечерок
Придворный, ласковый и гибкий,
Спешил заехать на часок
И руку жал тебе с улыбкой?

Я уверен, что эти две строфы смело бы можно выдать за оставшиеся будто бы по смерти Державина в его портфеле, по крайней мере две: если бы не знал, что они Плетнева, не стал бы в этом сомневаться.

28 сентября

Третий том Карамзина очень занимателен: Роман и Даниил Галицкие и несчастный, но великий Мстислав Мстиславич такие лица, которыми поэзия могла бы чрезвычайно хорошо воспользоваться, если бы только нравы и обычаи того времени были известны.

29 сентября

У Карамзина заметил я две особенности в слоге: он употребляет *его* вместо *свой* (в цитатах я, напротив того, нашел, что летописец употребил *свой* вместо *ея*); и — два параллельных имени (в одном и том же падеже) без союза *и*.

6 октября

Отрывок «Цеикс и Гальциона»[149] принадлежит, без сомнения, к самым лучшим метаморфозам Овидия. Перевод Жуковского мне во многих отношениях очень нравится: даже экзаметр у него как-то разнообразнее и в то же время отчетливее, чем у Гнедича. Зато «Отчет о солнце» — редкая ахинея;[150] одному только Воейкову в «Послании к жене» назначено было судьбою превзойти этот отчет в прозаизмах и многословии. Жуковского стихотворение «Жизнь»[151] и Глинки аллегория в прозе «Знакомая незнакомка»[152] — не без достоинства; вопреки всему, что бы можно было сказать противу сего рода, мистика — близкая родня поэзии, и произведения, в которых она участвует, должны непременно стать выше большей части *умных* прозаических посланий и многих даже модных элегий.

10 октября

Прочел я сегодня с вниманием княжение Димитрия Донского.[153] Но вряд ли можно влить в драматическую форму главный подвиг его: он более способен принять образ романтической поэмы в роде Скоттовых. Однако же вся жизнь Донского, не исключая его ранней, а посему и поэтической смерти, могла бы, кажется, быть представлена в исторической

картине в роде Шекспировых «Histories».[a] Жаль, что Димитрию не был товарищем при Куликове Тверской; если бы это было, можно было бы написать ряд «Histories», начиная с убиения Михаила I Тверского до соперника Димитриева Михаила II.

И в «Сыне отечества» нашел я две думы, говорящие о Донском герое.[154] Первая, которая называется его именем, очень не дурна и принадлежит к хорошим произведениям Р‹ылеева›; только начало несколько натянуто. Вторая, «Евдоксия», не знаю чья, вообще слабее первой и напоминает несколько манеру Нечаева; впрочем, не без достоинства. В «Сыне отечества» на 1822 год заслуживает быть замеченным еще стихотворение Д. Глебова «Байрон в темнице»;[155] в этой элегии (?) много чепухи, но есть и хорошие стихи; последние два очень удачны, несмотря на небольшую неправильность:

Для вас (гении) не создана в теперешнем минута,
Но веки в будущем даны.

(«Для вас — даны» — нельзя сказать).

11 октября

Карамзин и другие наши историки полагают, что русские под фрягами всегда разумеют генуэзцев. Не говоря уже о выражении «вина фряжские», которым едва ли означались вина генуэзские, или, если угодно, привозимые генуэзцами, — но в 5-м томе «Истории государства Российского» в примечании 133 в извлечении из записок Пименова спутника[156] сказано, что в Цареграде при венчании Мануила находились фрязове от Галаты. Галатами же нередко наши старики называли галлов, а монах мог так назвать и французов, мог назвать, чтоб пощеголять ученостию, Францию Галатою, т. е. Галлиею.

12 октября

Вот и половина моего срока кончилась: семь лет и девять месяцев я прожил в заключении; остается столько же. Доживу ли я до конца этого срока? Сократится ли он царскою милостию? Прервется ли он милосердием божиим, ангелом господним, разрешающим всякие узы, тем ангелом, которого мы называем смертию, который мне — надеюсь на благость моего спасителя — не будет смертию, а жизнию лучшею? Много вкусил я горького в течение сих семи лет и девяти месяцев (и нынешний день не был для меня днем радости), но решаюсь безмолвно и безропотно переносить все, что бы мой великий и премудрый воспитатель ни налагал на меня; он воспитывает меня для вечности: ужели минутою страданья дорого купить то, что назначил он мне за рубежом земли?

[a] «Исторических хроник» (*англ.*).

Шатки и слабы еще шаги мои по пути, которым он ведет меня; но он же сердцеведец, он видит, что я всею душою желал бы ему во всем последовать: дух бодр, плоть немощна! «Будите цели, яко голуби, и мудры, яко змии!» [a] — сказал Христос ученикам своим. Итак — и мудрость есть добродетель: даждь же мне, боже мой, мудрость сию! Она мне очень нужна; прошу о ней, конечно, для избежания печалей и неприятностей; могу ли скрыть причину моления моего? Однако же, если тебе угодно послать мне еще новые искушения, да будет воля твоя! Ты лучше меня знаешь, что мне полезно.

13 октября

Жаль, что я вчера не прочел прошлогодней отметки 12 октября; она, полагаю, подкрепила бы, утешила бы меня.

14 октября

Я сегодня мало делал путного: мысли мои почти лихорадочно скачут от одного предмета к другому; читаю, а между тем совершенно о другом думаю; по всему видно, что я не здоров и что третьегодняшнее прошло мне не даром; болит и голова. Однако же прочел я Цолликофера [157] о дружбе: начало оного прекрасно; о целом не сужу, именно потому, что был рассеян, а выпишу две отдельные мысли, которые очень справедливы:

1. «Никакая радость не сохранит своей цены, если останется заключенною в моем сердце, если не будет возможно мне поделиться ею с существом мне подобным, если не дастся мне вместе с кем-нибудь насладиться ею; ... и малейшее даже страдание легко сделается нестерпимым, если я совершенно один должен буду переносить оное, если мне никто не сostраждет или если не подкрепит меня мысль о вездесущем».

2. «Пусть свобода и короткость в твоем обращении с другом никогда не превратится в совершенное забвение пристойности и скромности».

Сие второе правило не худо бы золотыми буквами вырезать для некоторых *друзей*, считающих главною привилегиею дружбы право положить, когда вздумается, ноги на писчий стол того, кого удостоивают называть своим другом.

16 октября

Начал я сегодня своего «Сироту»: размер — пятистопные ямбы, расположение рифм такое же, как в «Юрии и Ксении», а образцом, как кажется, будет служить мне Краббе.

В «Сыне отечества» нашел я две прелестные безделки Туманского;[158] они так хороши, что не могу не выписать их:

---

[a] «Будьте невинны, как голуби, и мудры, как змеи!» (*церк.-слав.*).

1

БОЛЬНОЕ ДИТЯ

«Какие сладкие там звуки
Еще до утренней зари
Тревожат сон мой поминутно?
Родная, кто там? посмотри!»
— Все тихо, никого не видно,
И что за песни в час ночной?
Приляг опять, усни спокойно,
Усни, малютка мой больной!
«Нет, нет, то не земные звуки!
Мне стало так легко от них;
То ангел, сладко мне поющий!
Прости, родная!» — и затих.

2

ЖАЛОБА

Тихо, в уголку прижавшись,
    Плакало дитя,
Матерь милую надолго
    В землю опустя.
«Полно плакать, мой малютка,
    Плакать, тосковать:
Матери тебе из гроба
    Плачем не призвать!»
— Не о том, родной, я плачу,
    Что скончалась мать;
Знаю, матери из гроба
    Плачем не призвать.
Вот о чем, родной, я плачу,
    Плакать буду я:
Для чего она с собою
    Не взяла меня!

18 октября

Ни одного из своих сочинений не начинал я так успешно, как «Сироту»; введение — без малого 200 стихов — готово. Кроме того, работаю с удовольствием. Завтра с божией помощью приступлю к самой поэме.

19 октября

Начал я сегодня самую поэму, но еще не добрался до главного рассказа.

Был у меня мой добрый почтенный пастор: итак, наш лицейский праздник не провел же вовсе один.

20 октября

Мой «Сирота» теперь идет несколько медленнее, но — спасибо! — совершенно остановки еще не было. Всего более я должен беречься мно-

гословия и лишних эпизодов. Главного рассказа я и сегодня еще не начинал; однако ж надеюсь, что приступлю к нему в понедельник, т. е. 23 числа.

21 октября

Живоросль употребляет Никонов вместо зоофит;[159] это слово составлено в духе русского языка и заслуживает получить у нас право гражданства.

В «Сыне отечества» напечатана небольшая легкая философическая статья Сомова[160] «Ум» с примечаниями, как полагаю, цензора. Эти примечания сами по себе очень справедливы, несмотря на то я читал их с каким-то неприятным чувством. Отчего? Они все содержания важного, богословского — и высказаны тут некстати, присовокуплены к статейке в виде противуядия, между тем как в оной вовсе нет яду. «Не употребляй имени господа бога твоего всуе».

23 октября

Занимаюсь довольно успешно своим «Сиротою»; полагаю кончить первый разговор, не начиная главного рассказа.

Как не радоваться, когда найдешь хорошее, где того не ищешь и не ожидаешь? Стихи Хвостова к Львову[161] (по случаю чтения О‹бщества› Л‹юбителей› С‹ловесности› в доме Державиной) вообще очень недурны, а последний стих:

Там должно Музам петь, где жило вдохновенье —

истинно прекрасен.

24 октября

Сегодня я кончил пересмотр и внесение в одну тетрадь своих лирических стихотворений духовного содержания; «Сиротою» я сегодня не занимался. Погода опять была прекрасная.

25 октября

После прекрасного вчерашнего дня — самая осенняя погода, снег, ветер, ненастье. В моей комнате еще в девять часов было темно, а в исходе третьего опять смерклось так, что нельзя было уж читать. Я мало чем занимался; только внес в тетрадь начало первого разговора — и несколько стихов прибавил.

26 октября

Я почти ничем не занимался, раз, потому что не в духе, а во-вторых, потому что с трех часов уже темно. Я даже мало читал; однако же

в статье Гаммера «Об арабских сказках» [162] попалось мне любопытное известие, что Гомеров «Полифем» переведен арабами и принят в состав «Тысячи и одной ночи».

27 октября

В «Сыне отечества» на 1823 год две очень любопытные статьи: извлечения из «Путешествий» Франклина и Парри.[163] В первом, между прочим, странное известие, что замороженная путешественниками рыба ожила, когда ее согревали при огне. Во втором занимательные сведения об эксимцах (эскимосцах), которые сами себя называют энюи (enuee). Образец вежливой, умной и в то же время в высшей степени колкой антикритики — ответ Греча Арнольду,[164] который издателя «Сына отечества» просто и самым площадным образом обругал за его отзыв о «Руководстве к бухгалтерии», сочиненном Арнольдом. Я этот ответ прочел с особенным удовольствием: он составляет истинный феномен на бесплодном поле нашей полемики, производящем почти одни волчцы и терны.

28 октября

Доброго нашего И. К. Кайданова [165] исторический слог ни на что не похож. Из его «Всемирной истории» помещен в «Сыне отечества» отрывок, в котором он описывает войну 1812 года: тут при имени каждого русского генерала несколько риторических эпитетов и приложений, — тот наш Деций, тот Фабий, а тот Эпаминонд, другой — бестрепетный герой, готовый всем жертвовать славе, третий — мудрый, прозорливый вождь; словом, ни один не пропущен без подобающей ему чести. Не так пишут Историю.

29 октября

Судя по подписи, о первом представлении Расиновой трагедии, переведенной Лобановым, в «Сыне отечества» говорит Сомов.[166] В его рассуждении встречается довольно диковинок, напр.: «Будущий талант порукою за настоящую скромность». Что такое будущий талант, я вовсе не понимаю: celà me passe! [a] Но выбор стихов, в которых, по мнению Сомова, переводчик превзошел Расина, особенно неудачен.

30 октября

Сегодня, после небольшой остановки, продолжал я своего «Сироту».

Веркмейстер [167] в своей проповеди, которую прочел я вчера, говорит, что Сократ обнаружил желание, дабы низшел на землю некто высший

---

[a] это выше моего разумения! (*франц.*).

для освобождения человеков от лживых путей сомнения и для преподавания им тех важнейших истин, касательно коих ум не предлагает удовлетворительного разрешения.

31 октября

Целый почти день сочинял и кончил первый разговор: я этому особенно рад потому, что поутру не пил кофе и вижу, что могу же сочинять и без него. Завтра, если бог даст, напишу заключение первого разговора, которое, надеюсь, будет не дурно. В «Сыне отечества» прочел я «Слово преосвященного Неофита[168] по случаю кончины адмирала Клокачева». Оно вообще написано истинно красноречиво: язык прекрасный и сильный, а в первой половине много разительных картин и мыслей.

1 ноября

У нас мало женщин-поэтов: из известных одна только Бунина[169] не совсем дурна. Тем приятнее было мне найти в «Сыне отечества» (на 1823 г.) несколько стихотворений девушки не без дарований; подпись ее Е. Ф. Б.[170] Последняя из ее пиэс, напечатанных в этом журнале, — «К Лире» — даже может назваться в своем роде (тоскливом) прекрасною.

2 ноября

Сегодня я отдыхал, и это мне было очень нужно: неумеренною головною работою, которая, сверх того, у меня сопряжена с телесным напряжением, ибо сочиняя хожу, я было себя опять расстроил; позыв на пищу и сон совсем у меня вчера и третьего дня пропал; зато сегодня я ел не как поэт, а как честный, добрый пахарь.

7 ноября

Тимковский поместил в своем «Путешествии» любопытную повесть о Гесэр-хане:[171] достойно примечания, что последователи учения Шигсмуни отца Гесэр-хана называют Хурмуста; нет ли чего-нибудь общего между их Хурмустою и Ормуздом персов?

8 ноября

Почти неделю я не занимался своим «Сиротою»: зато сегодня я начал второй разговор, и, кажется, удачно.

9 ноября

С наслаждением читал я сегодня в «Сыне отечества» «Записки полковника Вутье»:[172] в них все так живо, так хорошо, что кажется, будто все

происходит перед глазами читателя! Да и самого автора нельзя не полюбить: с каким чистосердечием и вместе с какою непритворною скромностью говорит он о самом себе, напр. о своем рыцарском подвиге во время похода Маврокордато под Сули!

10 ноября

Бобрищева-Пушкина «Наполеон» [173] по слогу темному и сбивчивому такое стихотворение, которое, если бы было русским подлинником, никак не могло бы назваться хорошим; но это перевод с Ламартина, и на сей раз переводчику пригодились собственные недостатки, ибо соответствуют недостаткам автора, с которого он списывал: дух поэзии и слог французского поэта совершенно отразились в переводе русского.

Не могу не выписать двух стихов Хвостова, в которых le sublime de la bêtise [a] сияет во всем своем величии; они из пресловутого его «Майского гулянья в Екатерингофе»;[174] красно и витиевато изображены стук, и шум, и суета этого дня и довершены следующею редкою чертою:

По мостовой у мухи с жуком
Прервалась разговора связь! [...] [175]

13 ноября

В №№ 46 и 47 «Сына отечества» на 1824 год необыкновенно любопытная и важная статья «О супруге французского короля Генриха I»,[176] написанная С. Руссовым. Я успел прочесть еще только первую половину оной: но и в ней такие известия, которые (если только справедливы) должны произвести чрезвычайный переворот в истории племен славянских, напр. автор намекает, что аквитанские руссы (имевшие епископов уже в V столетии) точно были славяне. Куда же денутся Шлёцеровы поздние скандинавские руссы?

«Сирота» мой оживляется только вспышками: боюсь, чтоб от того не произошли пестрота в слоге и недостаток гармонии в изложении.

14 ноября

В «Сыне отечества» превосходное извлечение из Шампольонова творения «О египетских письменах».[177] Читал я и в «Вестнике» извлечение из сей книги, но должно сказать, что помещенное в «Сыне отечества» не в пример лучше. Если это не перевод, наш русский сократитель должен быть человек с талантом.

15 ноября

Извлечение из Шампольона не перевод: подпись того, кем оно сделано, — Б‹естужев›ъ.

---

[a] возвышенное в глупости (*франц.*).

18 ноября

Есть сочинения, в которых отдельные мысли сами по себе справедливы, но между собою в такой связи, что подают причину к выводу заключения ложного, — сочинения, в которых все сказанное совершенно истинно, но вместе совершенно противоположно истине то, что следует из сказанного. Подозревать искренность писателя, коего знаешь только по двум или трем произведениям, — дело чрезвычайно щекотливое: однако же не скрою, что в проповеди Веркмейстера «Religionsirrthümer können mit Tugend bestehen» [a] есть нечто похожее на язык человека, высказывающего только часть того, что у него на сердце. Это замечание, конечно, несколько инквизиторское; но зато смело могу сказать, что я воздержался бы от оного, если бы оно могло причинить малейший вред Веркмейстеру, которого — несмотря на то, что он не из любимых моих проповедников, — я все же признаю писателем, достойным всякого уважения. Вот что говорит Веркмейстер о знании, и эта мысль, отдельная, очень справедлива: «Может случиться, что сластолюбец, скупой etc. по знанию совершенный христианин, но все же он не добродетелен, все не блажен».

20 ноября

Мои отметки нынешнего месяца не слишком разнообразны; однако же не потому, чтобы мне было скучно или что ничего не делаю: напротив, я доволен, прилежен, только читаю меньше прежнего. Впрочем, сегодня прочел я прекрасное «Слово» любезного моего Дрезеке, которое произнес он при первом своих питомцев приобщении таин святых (Konfirmation). Это «Слово» принадлежит к тем, из которых нельзя сделать выписок, потому что иначе бы должно переписать все с первой строки до последней.

21 ноября

Кончил сегодня вторую главу своего «Сироты» и переписал последнюю половину оной: итак, я был довольно прилежен; но зато и устал.

22 ноября

Написал я Посвящение своего «Сироты» Пушкину: оно в оттавах, только в четырехстопных, которые, однако же, мне кажутся гораздо менее звучными и сладостными пятистопных.

Превосходную прочел я проповедь Ерузалема [178] «О божием промысле»: в ней все чистое золото, несмотря на то что язык несколько обветшал. Особенно поразила меня следующая мысль: «Как часто молитва наша бывает подобна упрямому крику глупых детей, которые требуют, чтобы им дали играть предметами вредными и опасными». В «Сыне же отечества» попалась мне прекрасная статья Лемонте (Lemontey) «О точ-

---

[a] «Заблуждающиеся в религии могут быть добродетельными» (*нем.*).

ности относительно к слогу, языкам и пантомимам».[179] Впрочем, я не со всеми мыслями автора согласен, особенно же с теми, которые предлагает он касательно мнимых будто бы красот в речах и песнях так называемых дикарей и успехов языков — французского в 18 столетии, а латинского при цесарях.

23 ноября

Начал сегодня третью главу «Сироты». Все эти дни себя очень чувствую счастливым: не знаю, как благодарить бога за все наслаждения, которые дарует он мне в умственных занятиях.

25 ноября

Странно бы было говорить, что Крылова басни прекрасны: это все равно, что рассказывать за новость о белизне снега или о свете дневном. Но и в прекрасном есть степени: «Рыбья пляска»[180] (напечатанная в «Сыне отечества») в своем роде совершенство.

27 ноября

Сегодня я отдыхал; это мне было необходимо: с 20 числа я почти без перерыву все сочинял, — боюсь расстроить здоровье и истощить воображение.

В «Сыне отечества» прочел я повесть Клаурена «Разбойничий замок».[181] Терпеть не могу подобных остроумных глупостей! Ужасом вообще шутить не должно; а разгадывать и объяснять рассудительно и как следует здравомыслящему человеку ужасы поэтические — на это может решиться только тот, в ком нет — как говорит Катенин — смысла человеческого.

Статья Одоевского (Александра) о «Венцеславе»[182] всем хороша; только напрасно он Жандру приписывает первое у нас употребление белых ямбов в поэзии драматической: за год до «Русской Талии» были напечатаны «Орлеанская дева» Жуковского и первое действие «Аргивян».

28 ноября

Любопытная статья в «Сыне отечества» на 1825 год — «Догадки об обитаемости Луны».[183] Что до меня, я не только догадываюсь, но могу сказать твердо — уверен, что Луна и все тела небесные обитаемы: мне кажется, что это и быть не может иначе.

Далее прочел я с большим вниманием чьи-то замечания на статью И. Калайдовича[184] «О родах грамматических» и ответ Калайдовича на эти замечания. Не могу согласиться с ответчиком, чтоб имена собственные фамильные русские женские на *-ич*, *-а*, *-о* не могли бы быть и на *-чева* и *-ина*, напр. Богданович и Богдановичева, Глинка и Глинкина, Лю-

ценко и Люценкина. А еще менее, чтоб последние два окончания или по крайней мере первое из них, т. е. на *-а*, употребленное в женском роде, не склонялось... Воля ваша, г. Калайдович! а я никак не решусь написать по-вашему: «Г-же Глинка», «Г-жи Родзянко»!

29 ноября

С удовольствием и даже большим читаю повести и романы, а потому жалею, что сам не умею писать их.

В «Сыне отечества» прочел я сегодня повесть «Вильгельмина, или Побежденный предрассудок»; [185] в ней много недостатков, особенно в начертании характеров, но главная мысль очень хороша: Мельмот, Вампир, Чайльд-Гарольд — в Пошехонье! [186] Мысль истинно гениальная для пера юмориста, только этот юморист должен бы по крайней мере быть Жан-Полем Рихтером или Гофманом.

30 ноября

Лучшие две повести из прочитанных мною сегодня в «Сыне отечества» — «Изобретение стремян» и «Водопад»; [187] первая совершенно в роде Вольтеровых сказок, а во второй низвержение человека, увлеченного водопадом, и ощущения его изображены истинно мастерской кистью.

1 декабря

По предначертанию, которое я себе составил для зимних занятий, я собственно должен бы был сегодня опять приняться за греческий язык... но под разными предлогами, напр. что неделя уже кончается, что после трудов прошедшей недели можно и отдохнуть etc., я обманул самого себя и ровно ничего путного сегодня не делал.

3 декабря

Опять на меня напала сонливость — впрочем, это с некоторой стороны и хорошо: читать много нельзя, потому что день короток, а при свечке больно глазам; сочинять же я теперь не в состоянии. Завтра примусь опять за Гомера.

4 декабря

Нынешний день провел я довольно приятно: поутру перечел первую половину первой книги «Илиады», а потом после обеда и вечером читал я «Сын отечества» на второе шестимесячие 1825 года. Между прочим попались мне тут две мои рецензии:[188] поэмы Шихматова и переводов фон-дер-Борга; ныне я почти совершенно тех же мыслей, но выразился бы несколько помягче. «Массилия» [189] по механизму и отделке принадлежит к лучшим из напечатанных моих стихотворений, но она в пошлом

описательно-элегическом роде, слишком широковещательна, слишком лишена именно той поэзии, которой в разборе переводов фон-дер-Борга требую от других.

5 декабря

Поутру читал я «Илиаду»; вечером начал переписывать первую главу своего «Сироты», в промежутках читал я «Сын отечества».

Слог Вашингтона Ирвинга [190] имеет много сходства и с слогом Гофмана, и с слогом А. Бестужева: главная отличительная черта всех троих — живость и бойкость, главный недостаток — натяжка. Впрочем, признаюсь, мне не в пример более приносит наслаждения *рассказ*, — напр. вроде того, который я сегодня прочел в «Сыне отечества», рассказ, являющий человека чувствующего и мыслящего, — нежели все плавные и тщательно обработанные повести тех писателей, у коих нет ничего странного, зато и нет ничего своего, ничего не заимствованного, не пошлого.

6 декабря

Я хотел было сегодня писать к моему имениннику-племяннику..., но занятия и дни расположились так, что оставлю это до другого разу. Вторая половина рассказов о домовых [191] Вашингтона Ирвинга гораздо лучше первой, особенно оригинальна пляска старой мебели: это картина вроде Каллота, но в своем роде мастерская.

9 декабря

В «Сыне отечества» довольно значительный отрывок повести в стихах «Беглец».[192] Слог — снимок со слога Пушкина, а еще более со слога автора «Войнаровского», но снимок рабский, безжизненный. Впрочем, кое-где проглядывает в этой повести что-то похожее на талант: описание ночи и часового на цепи у границы недурно; выходка против невлюбленных довольно курьезна, но за нею несколько хороших стихов (хотя они тут и ни к селу, ни к городу). Вот они:

Твой (т. е. возлюбленной поэта) прах под камнем гробовым
. . . .
Тебя там нет; ты не под ним,
В моем ты сердце, ты со мною.

Но вот что истинно странно: автор «Ижорского» (который по крайней мере не помнит, чтобы прежде читал этот отрывок повести «Беглец») самым разительным образом в начале третьего акта первой части своей мистерии встретился с г. Алекс. В. . .ным.

Ижорский (в припадке сумасшествия NB) видит и слышит почти то же, что не Леолин, а поэт его, сам г. В. . .н в полном разуме. Вот стихи сего последнего:

Как солнце светит над землей,
Так днем ты (т. е. покойница Мария) светишь надо мной:
В глубоком сне, во мраке ночи
Ты, как луна, блестишь мне в очи;
Хочу обнять — ты высоко,
Хочу достать — ты далеко.

За сими если не совершенными, однако исполненными воображения стихами следует чепуха; а потом опять два хороших стиха:

Пусть призрак я один люблю!
Не сон ли жизнь? я сладко сплю.

Картина в «Ижорском» полнее, стихи, может быть, и зрелее и сильнее; но все же странно и очень странно так встретиться!

11 декабря

В «Сыне отечества» на 1826 год два совершенно противоположных изображения парижского общества — г-жи Жанлис и леди Морган.[193] Наблюдения, какие мне удалось сделать в 1821 году, более согласны с мнениями последней. Впрочем, и в замечаниях первой много истин, только общих, а не частных, в приноровлениях, внушенных ей, кажется, отчасти весьма, впрочем, простительным пристрастием к старине. О необходимости религии для народа Жанлис говорит чрезвычайно справедливо: «Народу нужна вера таинственная; отвергая религию, он всегда делается суеверным». Мне кажется, что это можно сказать не об одном народе (Жанлис, вероятно, под этим словом разумела простой народ), но вообще о людях, не выключая и философов.

13 декабря

Давно я не читал ничего с такою досадою, как в «Сыне отечества» «Рассмотрение Опыта науки изящного» Галича.[194] Если бы только плоскость, глупость, невежество — еще бы можно вытерпеть, да тут явная злонамеренность. Она при большей зрелости общего образования, конечно, возбудила бы одно презрение; но, к несчастию, у нас довольно одной такой статьи, чтоб уронить хорошую книгу. Местами критик и прав: но можно ли так критиковать? и можно ли браться за разбор философического сочинения, когда бо́льшую часть возражений основываешь на словах: мне кажется?

Впрочем, эта критика принесла мне и пользу, даже наслаждение, потому что познакомила с мыслями Галича.

14 декабря

Читая сегодня повесть Крузе «Счастливый день»,[195] я испытал на самом деле, что Вальтер Скотт прав, когда говорит о заманчивости рода,

изобретенного Анною Радклиф.[196] Должно же еще заметить, что эта повесть не принадлежит (по крайней мере я так думаю) к лучшим в этом роде.

15 декабря

Как опровергнуть эмпириков, утверждающих, будто у людей нет общего идеала красоты? Правда, негр совсем не в тех чертах и формах находит женскую красоту, в которых находит оную европеец, но тут участвуют чувственность и привычка; однако же ни негр, ни европеец не станет сравнивать того, что находит прекрасным в своей возлюбленной, с предметами отвратительными; напр., негр, верно, не скажет про толстые губы своей красавицы, что они похожи на кровяные колбасы, про черный цвет ее тела, что он точь-в-точь запачканная сажею тряпка etc., а найдет в природе предметы истинно привлекательные и усмотрит сходство между ними и тем, что кажется ему прелестным в его подруге.

19 декабря

В «Сыне отечества» на 1828 год стихотворение Катенина «Ахилл и Омир»,[197] мне вовсе неизвестное. Оно в смягченном виде представляет достоинства и недостатки, свойственные слогу Катенина; но, признаюсь, я бы охотно простил ему все прежние недостатки во всей прежней их силе, если бы только то же было и с достоинствами. К несчастию, этого нельзя сказать. Экзаметры в этой пиэсе не хуже обыкновенных, но употреблены тут некстати между рифмованными стихами. Впрочем, есть места прекрасные.

В повести «Спящий разбойник» [198] характер Жанетты исполнен истинной поэзии.

21 декабря

Вчера после дневной отметки [199] прочел я еще в «Сыне отечества» ирландское предание «Стклянoчная гора».[200] Это почти то же, что у нас «Сказка про старика и сына его журавля», и, признаюсь, наша сказка кажется мне не в пример затейливее и не в пример умнее.

22 декабря

В «Сыне отечества» попались мне стихи Ал. Крюкова,[201] которые я и прежде читал, — «Воспоминание о родине»; я им обрадовался как старым приятелям. Недурна и другая его пиэса — «В память красавице». Крюков, без сомнения, подражатель Пушкину, но подражатель не бесталанный.

23 декабря

Прочел в «Сыне отечества» несколько статей об естественной истории, между прочим об американских странствующих голубях:[202] читая эту статью, поневоле удивишься чудесам природы.

В другом роде прочел я разбор «Паризины»[203] Вердеревского: по приведенным примерам видно, что этот перевод не без достоинства. Есть место, где с Вердеревским встретились Пушкин (в «Полтаве») и я (в «Семи спящих отроках»), именно казнь Гюга, но я «Паризины» не читал: она мне до сих пор только известна по оценке ее в «Телеграфе», оценке, против которой рецензент «Сына отечества» вооружается, и, кажется, справедливо; не помню, чтобы в числе выписок «Телеграфа» находился помянутый отрывок.

Тем, которые никак не хотят допустить врожденных идей, предложил бы я вопрос: как объяснят они без оных чудесные способности некоторых детей? Например, мальчика шести лет, разрешавшего в минуту самые трудные арифметические задачи, Георгия Ноакеза, о коем упоминается в статье, переведенной Бутовским?[204]

24 декабря

Из проповедей, какие прочел я сегодня, прекрасна Шлейермахерова «О пределах снисходительности»; зато Рёрова[205] «Christus ein entschiedener Freund der Vernunft»,[a] несмотря на благовидность своего заглавия, призвела во мне неприятное действие. Охотно верю, что и социнианец может быть человеком добродетельным и даже искренно набожным; но пастырем и наставником церкви евангелической (лютеранской) не должен и не может он оставаться, если не захочет заслужить названия лицемера. Не говорю уже о высших отношениях, но мне кажется бесчестным даже в светском смысле выдавать себя за защитника какого бы то ни было учения и быть врагом оного: в глазах моих самые энциклопедисты лучше этих волков в одеждах агнчих; энциклопедисты по крайней мере враждовали явно.

25 декабря

Вот уже и в третий раз провожаю рождество в этих четырех стенах! Впрочем, я сегодня, слава богу, вовсе не кручинился: было что читать — и время прошло так, что я и сам не заметил.

28 декабря

Попалась мне в «Сыне отечества» повесть Крузе «Дружба на Севере»,[206] которую я и прежде читал. Она на меня сегодня особенно сильно подействовала: мои лицейские товарищи так и ожили передо мною при этом чтении; раза два или три слезы невольно навертывались мне на глаза; этого ребячества, признаюсь, я не ожидал от себя на 37-м году такой жизни, которая, кажется, хоть кого бы должна отучить от плаксивости.[207]

---

[a] «Христос решительный друг разума» (*нем.*).

1834 год

3 января

В «Фарисе», переведенном Манасеиным,[1] несколько очевидных опечаток: такое небрежение к труду молодого поэта, сверх того, поэта с дарованием, со стороны гг. издателей «Сына отечества» истинно непростительно. Перебранки с «Вестником Европы» в статьях «Ящик»[2] показывают, до чего доходили нелепости Каченовского в 1829 году, но вместе до чего доходили безвкусие и плоскость сочинителей этих статей.

Выписок нет, потому что уже поздно и я устал.

4 января

Нравится мне очень, что в «Сыне отечества» какой-то Н. И. П. (вероятно, Николай Иванчин-Писарев),[3] нападая на осмелившихся не ахать и не удивляться необъятной мудрости Карамзина, говорит о завистливой посредственности и под уровень этой посредственности подводит — кого же? Аристофана, одного из величайших гениев всех времен и народов! Дай бог всякому Аристофанову посредственность — тогда авось обойдемся и без зависти!

Комедия «Смешны мне люди»[4] должна быть не дурна; в двух сценах, напечатанных в «Сыне отечества» на 1829 год, много хороших стихов, но довольно натяжек и пустословия. Подражание слогу Грибоедова очень заметно.

Наконец могу сказать, что 1 января я опять принялся за своего «Сироту»; сегодня я в первый раз продолжал работу с удовольствием.

5 января

Прочел сегодня в «Сыне отечества» отрывок романа Порфирия Байского «Гайдамак»;[5] в нем много живости и бойкости, хотя подражание в образе изложения романам Вальтера Скотта и слишком заметно.

6 января

«Любовь на Севере» г. Клаурена[6] из глупейших глупостей, какие мне когда-нибудь случалось читать. Удивляюсь вкусу Греча и Булгарина! Неужто они не нашли ничего лучшего, с чего бы начать свой журнал в 1829 году. Зато «Записки» Хлебникова о Калифорнии[7] очень занимательны.

14 января

Стихотворения в первых 4-х частях «Сына отечества» на 1829 год[8] почти все выходят из ряда тех, какие обыкновенно попадаются в журна-

лах. Два перевода Розена из Аттербома [9] знакомят нас, и весьма удачно, с шведским поэтом, который стоит того, чтобы его знали и вне его отечества; заглавия этих двух пиэс — «Роза солнца» и «Роза и мотылек»; последняя особенно игрива и свежа.

«Пробуждение весны», собственное стихотворение Розена, в духе двух его переводов; однако же картины и метафоры тут народные, русские:

...встает от сна
— *лучше: со сна*
Благодатная весна!
Смерти белые покровы
С ней спадают, и она
Как на праздник убрана;
Блещут пышные обновы:
Изумрудный сарафан
Обвивает легкий стан;
Из-под алых роз игриво
Льются темные власы.

Кроме того, в № 21 прелестное во всех отношениях эротическое стихотворение «Алине».[10] В нем соединено все, что должно быть в подобной безделке: сладость, огонь, роскошь, благозвучие, сверх того, нет ничего, что бы хоть мало-мальски было неблагопристойно. Последние два стиха истинно превосходны:

Чтоб был последний поцелуй
Как небо чист, как вечность долог!

Жаль, что два предшествующие им несколько спутаны и как будто написаны единственно для этих двух.

«Элегия» Глебова [11] в 18-м № не без достоинства, хотя в ней механизм чересчур небрежен. Особенно удачен переход после вопросов:

Где ж ты теперь?.. etc.:
В пустом краю, за светлою Невою,
Стоит вдали уединенный храм.

Самые басни Глинки, Масальского и Бестужева-Рюмина [12] не совсем дурны; особенно второго «Вареный чай» и первого «Козленок и поросенок». Начало сей последней басни в духе наших народных сказок и песней и потому именно мне очень полюбилось. Вот оно:

«Каленые ножи вострят,
Луженые котлы кипят:
Меня козла убить хотят!».

15 января

Сегодня я начал 4-ю главу своего романа.

В первый раз со дня моего прибытия сюда, кроме меня и соседа, нет арестантов.

23 января

«Взгляд на состояние русской словесности»[13] Плаксина в «Сыне отечества» на 1829 год — статья не без достоинства: в ней есть мысли новые, справедливые, резкие, но нет ничего целого, нет ничего удовлетворительного, много постороннего и много диковинок. К последним, между прочим, принадлежит начало, в котором сказано, будто бы «в последней половине минувшего столетия язык наш обогатился превосходными творениями в многих родах поэзии и немногих (спасибо по крайней мере за сей последний эпитет!) прозы, но в большей части самых гениальных произведений сего времени видно стремление подражать древним или новейшим классическим писателям». Если последнее справедливо (чего и не отрицаю), — где превосходство и гениальность? И сверх того, где же (независимо от всякого если) множество превосходных, гениальных поэтических творений в словесности нашей с 1750 по 1800 год? Замечание о помехах усовершенствованию нашей литературы, особенно об обстоятельстве, что все наши писатели занимались ею только в часы досуга, очень справедливо. Потом следует похвала двум талантам-преобразователям, т. е. Карамзину и Дмитриеву, и апотеоза Жуковского, — «у него и у его немногих последователей» находит Плаксин «в самых подражаниях, даже в самых ближайших переводах более особенности, нежели в произведениях предшественников его». А Державин? <Далее следует> длинный, вовсе к делу не идущий эпизод о классиках и романтиках; впрочем, тут довольно занимательны различные определения романтизма; кроме того, в этом отступлении есть истинно хорошие мысли (их выпишу завтра).[14] Вслед за тем литераторы делятся на разряды: в числе этих разрядов есть разряд тайных литераторов — это диво дивное! Потом исчисляются проповедники и оценены вообще (несмотря на злоупотребление слов *много, множество*, *много творений*, *много писателей*) довольно справедливо: забыт только Неофит, которого не должно бы было забыть. Потом опять скачок к руководствам: о них сказано справедливо, что они «чему-то учат, а едва ли чему-нибудь научают». Новый скачок приводит нас к журналам; наконец, общие рассуждения, довольно, впрочем, справедливые, но упавшие как будто с неба, о причинах, замедляющих успехи нашей словесности. Переход к поэзии: второй акафист Жуковскому, словцо о Батюшкове, слова два полусправедливых о Пушкине и Баратынском и несколько точек после двух-трех надутых фраз, вот и все. Вся лекция состоит из salto mortale: в ней автор мечется во все стороны; говорит много и о многом и обо всем очень поверхностно: системы, целого вовсе нет, но есть мысли, и мысли искупают многое — pour employer le mot favorit de Monsieur.[a]

31 января

Итак, и 1834-го года первый месяц канул в вечность! Январь был для меня уже три раза месяцем скорбных утрат: в 1829 году лишился я в ян-

[a] употребляя излюбленное выражение месье (*франц.*).

варе, и чуть ли не 31-го числа, друга моего Александра;[15] в 1831 году умер в январе же товарищ мой по Лицею и приятель барон Дельвиг; а в прошлом году 31 января скончалась княгиня Варвара Сергеевна, которую я мало знал, но почитал и любил, раз, потому, что она того стоила, а во-2-х, что она была искренним другом сестры моей Юлии. Что скажет нынешний год?

Поутру я встал до того слабый, что принужден был после чаю опять лечь, сочиняю обыкновенно прохаживаясь; итак, я полагал, что нынешнее утро так пропадет; а вышло напротив: стихи вязались как нельзя лучше.

5 февраля

Бонштетен[16] в воспоминаниях о своей молодости говорит о своем деде: «Всего дедушки не помню; в душе моей напечатлелся только образ старца в креслах, подающего мне дощечку шоколаду». Точно так и я когда-то помнил не деда своего, а только его белую карету; но теперь и об этом воспоминании во мне осталось одно воспоминание. Самая отдаленная картина в галерее моего младенчества, картина, которая и поныне еще не вовсе изгладилась из души моей, — двор нашего дома в Владимирской улице, лошади с телегой и нянька моя Татьяна, взявшая меня на руки и поднесшая к окну, чтобы заставить смотреть на этих лошадей. Смутные воспоминания о Тепловых, о нашей детской комнате, о первой ребяческой ссоре с Мишею, о Кирилловне, о ситном хлебе, посыпанном сахаром, о том, что старший брат обедал прежде или после нас (потому что классные часы в Петровском училище того требовали), и пр., и пр., — все эти воспоминания, хотя, кажется, и относятся к времени, предшествовавшему нашей первой поездке в Авинорм, однако не так отдаленны, как о помянутых лошадях.

7 февраля

С большим удовольствием прочел я прекрасную повесть А. М‹арлинского› «Испытание»[17] (в 135 части «Сына отечества» 1830 года). В ней столько жизни, ума, движения и чувства, что, без малейшего сомнения, ее должно причислить к лучшим повестям на нашем языке. Автора я, кажется, угадал и сердечно радуюсь, если угадал. Благослови бог того, кто любезному отечеству нашему сохранил человека с талантом! Sapienti sat.[a]

8 февраля

В «Сыне отечества» на 1830 год отрывок из поэмы Подолинского «Нищий».[18] Без сомнения, что в этом, хотя и очень небольшом, отрывке заметно дарование, но воля ваша, гг. издатели, трудность размера, которую будто бы «поэт преодолел с необыкновенным искусством», — по моему мнению, им вовсе не преодолена: стихи его для моего слуха хромают так

[a] Знающему — достаточно (*лат.*).

точно, как стихи того же размера и расположения в «Шильонском узнике» Жуковского. Впрочем, что можно было сделать из этого размера на русском языке, совершенно не свойственного эпическому слогу, кажется, Подолинский сделал или по крайней мере пытался сделать. Вторая строфа лучше первой, но и в ней беспрестанные..., особенно неприятные в этих стихах, слова лишние и непозволительные пропуски. То же самое, помнится, заметил я и в «Узнике» Жуковского. Похвалить, однако же, должно Подолинского за то, что рифмы у него довольно разнообразны.

Статью почтенного Влад‹имира› Кар‹ловича› Бриммера [19] «Об истинном и ложном романтизме», каюсь, я было начал читать с мыслию, что кое-где случится мне и посмеяться насчет своего бывшего товарища по Обществу любителей наук и художеств; но я нашел, что эта статья дельная и предельная, хотя я и не во всем согласен с автором. Вот замечание очень справедливое: «Кто не испытал, что творения Петрарки заставляют читателя погрузиться в самого себя, исследовать свое сердце, разобрать свои идеи etc. Случается ли это при чтении Гомера или Софокла? Гомер, кажется, так занимает внимание наше беспрестанным описанием битв и характерами своих героев, что нам не остается времени подумать о себе. Софокл заставляет нас трепетать перед неизбежным роком, и мы напрасно желаем хотя когда-нибудь войти в святилище сердца». Замечу, впрочем, что о Софокле я должен по необходимости поверить Бриммеру на слово, ибо вот уже десять лет как не заглядывал в творения сего трагика. Метафизика сердца, отвлеченные понятия, раздробление чувств и мыслей, по мнению автора, составляют характер романтизма, и потому-то он и Расина, и Вольтера, и Виланда, и Тасса считает романтиками. За эти две мысли, показывающие человека точно мыслящего, хотя вторую и можно бы подвергнуть точнейшему исследованию, охотно прощаю Бриммеру его высокое мнение о Виланде etc., его нападки на Шлегелей, Тика и шеллингистов: нельзя же требовать, чтоб все мыслили одинаким образом; благо и то, когда по крайней мере хоть мыслят, а не просто повторяют чужое.

11 февраля

Получил письма от матушки, Юстины Карловны [...] [20] и наконец от брата — два. Из писем брата первое, от 20 октября, очень занимательно: он в нем описывает свое житье-бытье, говорит о местоположении Баргузина, о климате etc. и в конце сообщает мне несколько тамошних областных слов (жаль только, что не могу разобрать всех их): братан — cousin, сестреница — cousine стоили бы того, чтоб их приняли в великорусское господствующее наречие.

14 февраля

«Вечер на Кавказских водах в 1824 году» [21] — сочинение А. М‹арлинского› — уступает в зрелости и оригинальности его повести «Испытание»,

но все же доказывает прекрасное дарование автора. В «Вечере» А. М‹арлинский› подражал несколько приемам Вашингтона Ирвинга, а местами и Гофмана, впрочем, и в подражании этом есть много истинно Русского, много такого, что мог написать один только русский романист. Из рассказанных тут повестей последняя мне кажется самою разительною.

17 февраля [22]

18 февраля

«Бесприютная», поэма Прова Максимовича, разобрана в «Сыне отечества» [23] на 1830 год довольно, кажется, снисходительно. От другого критика досталось бы юноше-поэту за стишок:

Давно ль знакомы вы с тоской?

Если можно назвать дарованием чувствительность слуха и уменье писать гладко (но кто же ныне не пишет гладко?), — у Максимовича есть дарование. Однако должно же признаться, что в таком случае число людей с дарованием и у нас довольно будет значительно, а у французов, немцев, итальянцев едва ли не всякий пишущий стихи приобретет право на название человека с дарованием. С вниманием я перечел все образчики хорошего в сей поэме, выставленные рецензентом, и еще довольно значительный отрывок, напечатанный отдельно в том же журнале, и нашел только четыре стиха не совершенно пошлых:

Соскучившись на юге жить,
Весна, богатая дарами,
Пришла на север погостить
И подарить его цветами.

И следующие за ними не дурны, но в них ровно ничего нет нового, а стоит ли писать, если только повторять сказанное и пересказанное? Впрочем, Максимович мог бы сказать, что у нас не слишком любят новое... В одном из номеров «Сына отечества», предшествующих тому, где напечатан разбор «Бесприютной», помещено стихотворение какого-то Р-ча «Италиянское утро» [24] — в этой пиэсе говорится про зубы молоденькой девушки:

В устах мелькнули два ряда
Как бы очищенных миндалей.

Вернее и прелестнее уподобления трудно вообразить, но издатели почли обязанностию означить этот стих звездочкой и в замечании поставить знаки: ?!

19 февраля

Прекратился для меня «Сын отечества»; признаюсь, что жаль: мне было бы приятно прочесть известия о том, что именно ныне делается

в области нашей словесности... Но, кажется, меня хотят совершенно отделить от всего мало-мальски не старого: что делать? А, право, для поэта не слишком хорошо повторять одни зады!

Между тем я в ожидании того, что принесет мне завтрашний день, принялся за Робертсонова «Карла V».[25] Характеру кардинала Хименеса нельзя довольно удивляться: читая о нем, я по своему обыкновению в воображении драматизировал его историю.

Написал сегодня вступление в 5-ю главу «Сироты».

1—11 марта[26]

12 марта[27]

[...] С удовольствием перечел я разбор Абеля Ремюза творения Кювье: голова кружится, когда соображаешь все открытия великого геолога Кювье! [...]

13 марта

Десять дней комната моя не запиралась: это, конечно, почти все равно; однако же все же как-то легче дышится, когда знаешь, что у дверей твоих не висит замок! По крайней мере спасибо, что уважили же мою болезнь!

Читая Вяземского прозу,[28] и радуешься, и сердишься. Незнание языка, парадоксы, пристрастие у него на каждом шагу, но он мыслит, а не повторяет одно чужое, и это всего важнее. О наших дюжинных критиках он говорит очень справедливо: «Некстати критику применять наобум к писателям, первенствующим в литературе, фразы готовые и ходячие, которые, как условленные вежливости разговорные, могут быть подносимы безразлично к (?) каждому лицу» (о прозе Жуковского в «Телеграфе» на 1826 год).

16 марта

С удовольствием перечел я повесть Полевого в его «Святочных рассказах»:[29] в ней много живости и занимательности, да и нравы — сколько то было возможно — довольно, кажется, выдержаны; жаль только, что введение в эту повесть довольно пошло.

23 марта

[...] Надежда на присылку книг от Одоевского[30] также рушилась. [...]

25 марта

Сегодня прочел я проповедь Гердера[31] «О молитве». Саркастическое направление ума, какое Гете замечал в Гердере, познакомившись

с ним в первый раз в Страсбурге, — направление, которого нет уж и следа в его «Ideen», — очень заметно в этой проповеди: впрочем, тут сарказмы употреблены везде кстати и придают размышлениям Гердера необыкновенную силу. Некоторые мысли в конце этого Слова пророчат, так сказать, в юном проповеднике великого творца превосходных «Ideen». Эта проповедь произнесена в Риге в 1769 году.

26 марта

Сегодня для меня был пир: прислали мне несколько книжек «Телеграфа» на 1830 год. Повесть «Таинственный Жид»,[32] которую читал я уже в Д‹инабур›ге, примечательна по своей оригинальной форме. Сверх того, прочел я отрывок из «Mémoires d'une femme de qualite sur Louis XVIII»,[a][33] именно возвращение Наполеона, и извлечение из Байронова дневника.[34] Следующее признание Байрона примечательно: «Странно, что все, чего я желал когда-нибудь не шутя, все это получал — и всегда раскаивался».

В «Телеграфе» на 1830 год «Литературное зеркало»[35] и прочие выходки Полевого противу всех почти хороших наших стихотворцев, не исключая и Пушкина, по крайней мере очень странны, если не более. Достойна примечания «Русская песня» на странице 65 «Зеркала»:[36] чудным образом подшутила судьба над сочинителем пародии — песня вышла очень не дурная, так что она скорее может назваться слишком близким, но довольно удачным подражанием, а не пародиею песен Дельвига.

В суждении о «Невском альманахе»[37] другая диковинка: рецензент почти смешал с грязью Козлова, Языкова, Катенина — людей, в таланте коих одна глупость может сомневаться, — и превозносит «Предание» какого-то г-на К-ва. Между тем в *мастерском* окончании этого «Предания», им выписанном, я не мог разобрать меры, да и вряд ли кто найдет ее в этих стихах.

28 марта

Вчера забыл я отметить, что повесть Даля «Цыганка»[38] (в «Телеграфе») не без достоинства, особенно хороши главные два лица — Кассандра и Радукан, но гнусный разврат молдаван, который, к счастью, тут не подробно описан, а только обозначен, возмущает душу и при одних намеках автора, намеках, впрочем, довольно ясных.

29 марта

В первой половине своего рассуждения «Об умственном воспитании детского возраста»[39] Ястребцов много говорит очень справедливого

[a] «Записки знатной дамы о Людовике XVIII» (*франц.*).

о недостатках нынешнего воспитания вообще и в России в особенности. Касательно последних можно бы сказать еще более, но рассматривая воспитание и учение несколько с другой стороны, чем с какой рассматривает их автор. Во второй Ястребцов объясняет собственную систему. Эта система, как сам он говорит очень справедливо, не новая, а кружившая когда-то все умы в Германии и потом брошенная — Базедова, филантропическая, желавшая детей научить всему, так сказать, играючи. Она, впрочем, обращала внимание более на средства приобресть благосостояние физическое, нежели на нравственное усовершенствование. Точно так одним из главных условий хорошего воспитания и Ястребцов полагает, «чтоб преподаваемые науки приготовляли наивозможно скорее и легче к тем сведениям, которых требует нынешний дух времени»; а потом утверждает, что дух сей не есть «моральный, философский, геройский, но ищущий благосостояния физического». Вследствие сих двух положений автор советует обращать при первоначальном обучении главное внимание на науки механические и естественные и на живые языки европейские; при дальнейшем — на науки политические.

Рассмотрим сперва основания, а потом и выводы г-на Ястребцова.

Если бы человек существовал единственно для земли, если бы все цели его бытия заключались и оканчивались единственно тем мгновением, в которое он является здесь, без сомнения, было бы очень благоразумно устремить внимание единственно на требования сего мгновения, на наслаждения чувственные и благосостояние физическое, буде требует их только мгновение. Но самые требования настоящего нашего мгновения или то, что Ястребцов называет духом нашего времени, противоречат этому мнению, ибо — сколько знаю я наш век — он отнюдь не ищет одних польз физических, напротив, к счастью, не только в Германии и Англии, но и во Франции дух времени ныне не в пример более, нежели то было в 18 столетии, благоприятствует направлению умов — в первой — религиозно-философскому, во второй — чисто религиозному, а в третьей — по крайней мере размышляющему. Что теперь в отечестве Малебранша, Декарта и Паскаля один Cousin,[40] во-первых, несправедливо: Дежерандо, Гизо[41] и некоторые другие — мощные ему товарищи; во-вторых, если бы это и было так, — Cousin, надеюсь, выше целой дюжины Гельвециев, Кондильяков, Дюмарсе и подобных.[42] Что в Англии метафизика скончалась с последним ее воспитателем (или «воспитывателем», как то пишет автор) Стюартом,[43] также ничего не доказывает, ибо чем же была в самое даже цветущее свое время школьная метафизика англичан, не исключая и эдинбургцев? Метафизику англичан найдете не в Эдинбурге, не в Оксфорде, но в учении их проповедников, особенно методистов, — в стремлении евангельском их человеколюбивых обществ, библейском и других. Если бы все англичане жили только и единственно для машин, торговли, счетов и оборотов купеческих, невозможно было бы объяснить существование и успехи помянутых обществ. О Германии и говорить нечего: она всегда была и бу-

дет отечеством мысли. Скажу, впрочем, мимоходом, что Ястребцов, по-видимому, знает Германию только задним числом. В 1830 году говорит он о Фихте и Шеллинге, но должно заметить, что если где, так именно в Германии ныне несколько поохладели к метафизике, впрочем, только к школьной; метафизика (в истинном значении сего слова — наука о предметах не физических, выше-(metà)-физических) ныне у немцев в тесном союзе с верою и от нее заемлет теплоту и силу. Дух времени — слово очень неопределенное. Нет сомнения, что дух нашего времени благоприятствует наукам естественным, механике и наукам политическим. Но благоприятствует ли им исключительно? Самая поэзия не в лучшем ли ныне цвете, нежели в 18 столетии? Ужели Байрон, Мур, Скотт, Сутей, Казимир Де-Лавинь, Ламартин, Альфред де Виньи, Манцони, немцы, с Гете до наших современников, Тегнер, Валин, Мицкевич, Пушкин, Грибоедов и пр. стоят не выше Попе и Аддисона, Вольтера и Делиля, Виланда, Клейста, Бодмера?[44] Мне кажется неоспоримым, что главный признак духа нашего времени — тесный союз, взаимное вспомоществование, гармония между силами двух миров, слившихся в груди человеческой. И одно сие сближение объясняет мне удовлетворительно те великие открытия, какие даровались нашему времени и в мире духовном, и в мире вещественном. Прекрасно говорит автор выше, что «воспитание должно не препятствовать физическому и способствовать как можно более умственному развитию детей». Но одни практические науки развивают ли как можно более ум? Пробуждают ли они мысль? Дорога к уму детскому пролегает не по области своекорыстия, но по области сердца и фантазии. (Впрочем, явно, что автор и я под словом *ум* разумеем не одно и то же: у него ум — способность рассчитывать светские выгоды, обогащаться сведениями общеполезными; я называю умом мыслящую силу — главное преимущество человека перед бессловесными.) Кажется, не подлежит сомнению, что Природа, производя на свет детей, имеет в виду цель общую, а не частную, не механику, политику etc., а человечность (Humanität). Если ребенок может со временем приобрести хорошие сведения механические, химические, политические, — тем лучше. Но главное — раскрой его человечность, его мысль, его душу! Нужно ли сказать, что этого не достигнешь, если не положишь в основание воспитанию его сведений и чувствований религиозных, нравственных и отчасти принадлежащих области изящного?

Естественные науки, без сомнения, должны непременно войти в состав самого первого воспитания дитяти, — но пусть они ведут его от творения к творцу. Механику я заменил бы географиею и астрономиею (разумеется, сообразными с силами ребенка), ибо машинистами не всем же быть, а получить в понятии об огромности вселенной мерило для неизмеримого творца — благотворно и для будущего государя, и для будущего пахаря.

Не вижу также большой необходимости заставлять ребенка учиться более чем одному какому-нибудь живому иностранному языку. Фран-

цузского или немецкого — одного из обоих (я бы даже предпочел последний) достаточно, чтобы из моего питомца сделать европейца, чтобы дать ему возможность пользоваться знаниями и открытиями современными. Но латинский язык — вопреки мнению Ястребцова — вошел бы у меня непременно в состав первоначального даже обучения дворян и отчасти купечества хотя бы только потому, что он корень всех почти западных и, следственно (особенно еще при знании немецкого), облегчит изучение и английского, и французского, и итальянского, и испанского, если бы кто уже в юношеском, а не детском возрасте вздумал приобрести оные. Греческий, конечно, не должен быть непременною стихиею воспитания всех и каждого; впрочем, у нас не для чего слишком вооружаться против лишнего рвения к языкам древним. Заменить в первоначальном воспитании историю отдельными биографиями и историческими анекдотами пахожу очень у места, и в этом отношении я совершенно согласен с автором. Также с тем, что он говорит о страсти наших отцов и матерей заставлять ребенка, словно попугая, вытвердить несколько басен, которых он не понимает, понимать не в состоянии, а иногда понимать еще и не должен бы.

Еще прочел я вчера же отрывок из романа Лажечникова «Последний Новик».[45] По отрывку видно, что это очень близкое подражание манере Купера: топография Нейгаузена и окрестностей совершенно в роде американского романиста; но, к несчастию, эти топографии и у Купера довольно скучны, а дикая Америка в своих исполинских очерках не чета же нашей Лифляндии! Удачнее изображения Паткуля, военного суда, раскольника, но и тут слишком приметно подражание.

30 марта

Несколько писем Словцова к брату.[46] Давно уже письма Словцова всякий раз, когда попадались они мне в журналах, возбуждали во мне живое сердечное участие. И он когда-то был несчастлив: из каждой почти строки его писем несется отголосок прежних скорбных ощущений, наполнявших душу его в заточении. Словцова слог, просто сказать, дурен: но можно ли думать о слоге, когда везде видишь или, лучше сказать, слышишь его глубокомыслие, его чувство? Какая разница между ним и господином издателем «Телеграфа»! Вот что, например, пишет Словцов: «Знаю, что ныне нет славы для страны, если нет мануфактур; но можно ли простодушно смотреть на служителей мануфактур, исчезающих то в зависимой нищете от ограниченных привычек, то в здоровье от запертой жизни? Нет, пусть у нас за Уралом не будет богачей, etc. . . .; зато наши зауральцы не сделаются вице-машинами и не будут терпеть от машин, как в Англии!».

А вот и замечание премудрого господина Полевого: «Почтенный автор, кажется, не с надлежащей точки зрения и весьма односторонне смотрит на мануфактурную промышленность. Вопрос оный весьма сложен, и выводы противны его выводам».

1 апреля

Статьи в «Живописце» Полевого[47] сбиваются несколько на слог и приемы подобных статей в «Благонамеренном»; но, по моему мнению, польза от них очевидная, и Полевой заслуживает истинную признательность не за форму и вымыслы своего «Живописца», а за множество истин, которые пора бы давно высказать. Нельзя не благодарить бога и вместе нельзя не быть признательным и к правительству, что наконец с ябедников, взяточников, пиявок и воров всякого разбора etc. можно ныне смелою рукою срывать личину, под которою они так долго скрывались. Желал бы я очень, чтобы этот «Живописец» Полевого не прекращался; в литературном отношении от него не много пользы, но тем более в нравственном.

4 апреля[48]

[...] Повесть Бенжамена де Констан «Адольф» представляет мне богатую жатву для завтрашней отметки. [...]

5 апреля

[...] Писать роман, повесть, стихотворение единственно с тем, чтобы ими доказать какую-нибудь нравственную истину, без сомнения, не должно. Но иногда нравственная истина есть уже сама по себе и мысль поэтическая: в таком случае развитие *поэтизма* (поэтической стороны) оной — предприятие, достойное усилий таланта. К разряду таких истин принадлежит служащая основою повести Бенжамена де Констан: Адольф без любви, единственно для удовлетворения своему тщеславию, предпринимает соблазнить Элеонору; между тем худо понимает и себя, и ее, успевает, но становится ее жертвою, рабом, тираном, убийцею. Вообще в этой повести богатый запас мыслей — много познания сердца человеческого, много тонкого, сильного, даже глубокого в частностях; смею, однако, думать, что она являлась бы в виде более поэтическом, если бы на нее еще яснее падал свет из той области, где господствует та тайная, грозная сила-воздаятельница, в которую примерами ужасными, доказательствами разительными, неодолимыми учит нас веровать не одна религия, но нередко события народные и жизнь лиц частных. Поэтической стороною этой общей истины в повести «Адольф» именно то, что тут погубленная Элеонора противу собственной воли становится Эвменидою-мстительницею для своего губителя. Но чтобы вполне проявить поэзию этой мысли, нужно бы было происшествие более трагическое, даже несколько таинственное... В отдельных мыслях и замечаниях, которые выпишу, заметно что-то сталевское; в них видно, как много необыкновенная женщина, бывшая для белокурого Бенжамена чем-то вроде Адольфовой Элеоноры, споспешествовала обогащению его познаниями, идеями, наблюдениями и опытами, подчас, статься может, довольно горькими. [...][49]

«Как скоро я слышал пустословных, усердно рассуждающих о самых неоспоримых, утвержденных правилах нравственности, приличия и религии, — а они все это охотно ставят на одну черту, — я не мог не противоречить не потому, чтобы мои мнения были противоположны, но потому, что мне досадно было столь твердое, столь грубое убеждение» [...]

6 апреля

Читая «Телеграф» на 1831 год, начинаю уважать Полевого не только как литератора, но и как человека. Он заключил мир с Гречем и Булгариным; между тем судит о их произведениях беспристрастно, а иногда и строго. Это делает ему истинную честь. Вот что, между прочим, он говорит о романе «Петр Иванович Выжигин»:[50] «Он (автор) хотел непременно вместить в одно и то же сочинение и картины нравов, и события исполинского 1812 года, и любовные похождения героев романа, и великие исторические лица. Вышла такая смесь, что читаете и изумляетесь намерению автора... Всего несообразнее то, что весь 1812 год вмещен в роман со всеми его ужасами и чудесами (по крайней мере автор старался об этом), и эти чудеса истории перепутаны с мелкими приключениями двух любовников. От сего являются в романе два главные героя: Наполеон и Петр Иванович Выжигин! Они идут рука об руку, не могут расстаться и заставляют нас дивиться тому, как не усмотрел этой несообразности сочинитель».

Выше, рассуждая вообще, Полевой говорит: «Не вставляйте огромных исторических действователей в вашу тесную раму бедного, мелкого мира, где была буря в стакане воды, когда в то же время горизонт целого государства или государств пламенел от пожара, рушившего царства и изменявшего судьбы народов». Помнится, что говорю почти то же в отметке, в которой упоминаю об этом романе Булгарина, и в другой, в которой осмеливаюсь высказать свое мнение об «Аббате» Вальтера Скотта. Очень я рад, что мысли мои встретились с мыслями самого деятельного и дельного из наших журналистов.

Жаль, право, что при неоспоримых достоинствах, при рвении ко всему благородному, полезному и прекрасному и многих познаниях Полевого у него иногда встречаются суждения, похожие на его премудрое замечание о Словцове, а иногда почти ребяческое... невежество. Примером последнего может послужить слово *многобожие*, которым Полевой передает греческое *пантеизм*, в переводе разбора «Истории крестовых походов» Мишо.[51] Мимоходом скажу, что этот разбор открывает совершенно новый для меня взгляд на события средних веков: особенно заслуживают внимания и подробного исследования, во-1-х, мнение рецензента о причинах стремления пап к расширению их власти вообще и характерах Гильдебранда и Бонифатия VII в особенности; во-2-х, то, что говорит он об исмаилитах, манихеях, катарах, богомилах etc.[52] В обоих мнениях, мне так кажется, есть кое-что лишнее, но в них открывается новая точка зре-

ния, и во всяком случае я, хотя искренний и усердный протестант, полагаю: audiatur et altera pars.[a]

7 апреля

В начале статьи, в которой разбираются книги Колиадеса, Ланге и фан Лимбурга Броувера,[53] прочел я несколько доказательств Вико и Вольфа тому, чему я и без них довольно верю, т. е. что «Илиада» и «Одиссея» — собрание народных песен, а не поэмы, написанные одним и тем же лицом и в одно время. Любопытно бы было теперь сравнить с этими доказательствами опровержения новейших противников оных. Кроме того, пробежал я глазами, но, признаюсь, мало понял замечания Клапрота о книгах отца Иакинфа Бичурина[54] касательно истории монголов и возражение на эти замечания Иакинфа, который, может быть, и прав, но все бы мог выражаться иначе, чем выражается; слова: совершенная ложь, бесстыдная ложь etc. — ни к чему не служат, а только роняют того, кто, оспаривая противника, решается употреблять их в мирной области наук.

8 апреля

‹Прочел› повесть Марлинского «Страшное гаданье»,[55] которая доказывает великий талант автора, однако, искренно признаюсь, по моему мнению, должна уступить его повести «Испытание», в коей вижу я более оригинальности и менее подражания, более даже истинного воображения, несмотря на то что в ней нет чертовщины, нежели в «Страшном гаданье», наконец, исполненную резких и новых мыслей статью «О новой школе в поэзии французской».[56] Выписки из сей последней статьи сделаю перед возвращением трех первых частей «Телеграфа» на 1831 год, которые продержу еще неделю; а теперь ограничусь следующим замечанием из повести, очень справедливым: «Когда человек допустит себе вопрос о каком-нибудь предмете, значит, верование его поколеблено, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника!».

11 апреля

Один из примечательнейших дней в моей жизни[57] с самого начала моего заточения.

Сколько родилось и пробудилось во мне! но не для меня радость: я при ней хуже, чем при скорби. Впрочем, могу ли назвать добродетелью то, что при малейшем нарушении порядка моей однообразной жизни теряет силу свою? Итак, напрасно я сказал, что при радости я хуже, чем при скорби: радость только для меня явление необыкновенное, а потому-то при ней сильнее обнаруживается мой внутренний человек, чем при скорби, к которой я уже привык и которая посему на меня и слабее действует.

---

[a] да будет выслушана и другая сторона (*лат.*).

17 апреля

Читаю и не замечаю, как время летит; но должно быть умеренным во всем. От сегодняшнего чтения мало останется в голове: перебегаю со статьи к статье и боюсь остановиться на тех, которые по заглавию кажутся мне особенно занимательными — берегу их pour la bonne bouche.[a] Замечу, однако, из «Библиографии» следующее: Полевой отзывается слишком небрежно и несправедливо о переводе Шиллерова «Валленштейна» Шишковым;[58] раз, этот перевод точнее, вернее и не в пример стихотворнее ротчевских; во-вторых, не слишком понимаю, чего Полевой хочет от наших переводчиков? — почему он называет только литографиями переводы вроде перевода Шишкова? В них довольно высокая (если и не самая высшая, возможная на русском) степень точности и верности и притом соединена с поэзиею: ужели это не дает права на название живописного снимка? Лучше ли Врончепкины переводы?[59] Они, правда, почти надстрочные, но вернее ли? Где у Врончепки гармония стихов Мильтона? сила и свобода Шекспировы? Все у него связано, все приневолено, везде виден труд, везде русский язык изнасильствован. Букву, тело своего подлинника, конечно, передает Врончепко; зато Шишкову доступнее душа, поэтический смысл переводимых им авторов. Впрочем, скажу с Альфредом де Виньи: совершенного перевода нет и не может быть. Сверх того, как часто и, к несчастью, большею частью справедливо жалуется издатель «Телеграфа» на леность наших писателей, на охоту их заниматься вздором! Но вот является прекрасное начало труда не легкого, труда во всех отношениях похвального, достойного одобрения — и что же? Полевой, написав несколько поверхностных, резких и вдобавок несправедливых замечаний, говорит: «Итак, о переводах г-на Шишкова не скажем более ни слова!». Конечно, Шишков не Вельтман и не Ушаков,[60] друзья и сотрудники издателя «Телеграфа»; но больно мне думать, что Полевой меня морочит, когда говорит о своей любви к отечеству, к языку русскому, просвещению, о своем беспристрастии, бескорыстии etc.

18 апреля

Выписка из рецензии, о которой говорил я вчера, будет в другой раз. Ныне же прочел я, во-первых, отрывок из сказки Гофмана «Золотой горшок»;[61] воображение и тут тоже дикое, страшное, но мощное; о целом, однако же, нельзя судить по отрывку; во-вторых — примечательную статью барона Экштейна[62] «О драме в Англии до Шекспира и о Шекспировой драме». Многоречивое вступление в эту статью заставило меня ожидать, что она будет полнее. Разумеется, что с католическими парадоксами Экштейна я, искренний протестант, никак не могу согласиться, да с ними едва ли может согласиться и католик, только бы был не совершенно слепой. Вот образчик: Экштейн называет протестантизм «угнетающим, гони-

[a] на закуску (*франц.*).

телем философии, поэзии, искусств». Не всякий протестантизм — пуританство, точно так, как и католик Фенелон не то же, что католик Торквемада.[63] Есть, впрочем, мысли, с которыми я совершенно согласен, например: «Чем сильнее становится наше промышленное (industrielle) просвещение, тем более и более чувство изящного, любовь к простоте и истине изглаживаются в людях».

Сверх того, просто историческое в этой статье очень важно; я им воспользуюсь в другой раз. Наконец, прочел я в «Живописце» «Приключения по смерти Кохтина»; эта фламандская картина, да еще другая — «Маклерская контора»[64] — две лучшие в галерее Полевого; в них есть несколько черт истинно сильных, почти гениальных.

21 апреля

Вчера прочел я в «Телеграфе» отрывок из книги Ястребцова «Введение в географию и историю».[65] В этой статье, очень занимательной и важной, я нашел достопримечательную геологическую гипотезу, что известняка и кремнезема, быть может, сначала вовсе не было в числе минералов нашей планеты, что они произведения разрушившихся веществ органических. Следующая мысль Кювье, приведенная автором, совсем о другом предмете, но также заслуживает внимания: «Никогда не надобно пренебрегать догадками людей, одаренных гением, как бы ни казались они смелы, ибо гениям дано такое преимущество, что истина является перед ними и в самых даже их мечтаниях».

28 апреля

Fiat justitia et pereat mundus![a] Хотя и жаль, а должно же наконец сказать, что Батюшков вовсе не заслуживает громких похвал за «Умирающего Тасса», какими кадили ему за это стихотворение, когда он еще здравствовал, и какими еще и поныне, например в «Телеграфе», кадят за оное его памяти. «Умирающий Тасс» — перевод с французского;[66] подлинник охотники могут отыскать в французском «Альманахе муз» 90-х годов; автор — женщина.

О «Письме к Эрману» Марлинского[67] Полевой говорит: «По нашему мнению, в русской словесности нет ничего, что бы можно было поставить рядом с этим произведением, где поэтическими красками изображены две дикие живописные страны России — Сибирь и Кавказ и где не знаете, чему более удивляться: науке или поэзии, жизни или дару слова». Искренно признаюсь, я, прочитав это письмо, также удивляюсь, — а именно, удивлению Полевого и его странному идолопоклонству такому произведению, которое в глазах моих умная шалость — и только. Говорю это смело, ибо, верно, никто другой охотнее меня не отдаст полной справедливости Марлинскому; на это сто и одна причина, вот некоторые:

---

[a] Да свершится справедливость и да погибнет мир! (*лат.*).

он был мне искренний приятель; я знаю и уверен, что он человек с большим талантом; мы оба пали под одним и тем же ударом рока. Но еще раз: fiat justitia et pereat mundus; «Письмо к Эрману» в глазах моих гораздо ниже повести «Испытание» и даже других двух рассказов, уступающих оной: «Вечер на Кавказских водах» и «Страшное гаданье». Особенно мне не по нутру это злоупотребление остроты и дарования, эта неугомонная ловля каламбуров, иногда, впрочем, удачных, которою Марлинский в «Письме к Эрману» меня иногда совершенно выводит из терпения.

1 мая

Вынул я из чемодана свою поэму «Юрий и Ксения» с тем, чтоб ее выправить. Сегодня прочел я первые четыре песни, и оказалось, что я, вероятно, к этому произведению не довольно еще простыл; ошибки, какие я заметил, не слишком важны: кое-где лишнее, приступ несколько спутан etc. Анахронизмов решительно не выправлю: пусть они останутся на забаву будущим моим критикам, если только будут у меня когда-нибудь критики.

2 мая

Читаю повесть Марлинского «Аммалат-Бек».[68] Она для меня вдвойне занимательна: раз, потому, что чуть ли не лучшее сочинение Марлинского (разумеется, из читанных мною), а во-вторых, потому, что Аммалата и Верьховского я лично знавал. Кажись, будто вчера был тот Новый год, когда разговаривал я с первым у [генерала] А. Вельяминова, а с той поры прошло 13 с лишним лет! Верьховский был также человек истинно отличный; мы с ним ладили.

8 мая

В «Телеграфе» разбор Кс. Полевого «Душеньки» Богдановича.[69] В этом разборе есть много очень дельного и справедливого; не понимаю я только охоты издателя «Телеграфа» и его товарищей (из которых, без сомнения, самый лучший Ксенофонт) вечно начинать с яиц Лединых. Речь о Душеньке: к чему тут короткое обозрение истории Франции, начиная с Наполеона и восходя до Людовика XIV? И сколько в пышных фразах обозрителя полусправедливого и совершенно ложного! Можно ли, например, утверждать, что при Людовике XIV во Франции не было религии? Можно ли Боало и Реньяра ставить на одну доску с Доратом, Башомоном, Берни?[70] Можно ли регенту придать эпитет: *ничтожной памяти*?[71]

Но вот и хорошее: «Неужели, — говорит Ксенофонт Полевой, — и в наше время еще не понимают, что *чернь*, *толпа* не заключается в границах, отмеренных масштабом гражданских установлений; неужели на площади только толпится чернь? Нет! она не повинуется гражданским законам, наряжается в платье почетных людей и наводняет собою гости-

ные так же, как и грязные улицы и кабаки. Если принять в собственном значении слово „душегубец", то никто не погубил столько душ, как эта разноцветная и разночинная толпа, эта чернь, подразделяющаяся и на знатных, и на мелких, и на богатых, и на нищих».[72]

13 мая

Сегодня во сне пришла мне мысль, которая показалась мне, когда проснулся, и глубокою, и новою; вот почему и завязал я узелок в платке, чтоб потом вспомнить ее. Поутру эта мысль, конечно, уж не являлась мне тем, чем в первую минуту, когда я ночью, проснувшись, остановился на ней; теперь она уже несколько изгладилась из памяти моей; однако вот, если не ошибаюсь, главное: говорил я с кем-то о Слове божием и доказывал, что им не должно заниматься для одного препровождения времени, а чтоб доказать это, употребил я следующее сравнение: мне здесь на земле всего дороже матушка и (тут назвал я двух или трех лучших друзей моих), не было ли бы каким-то святотатством, если бы я стал напевать имена их только для прогнания скуки, только для того, чтоб убить как-нибудь время?

Тонкие отношения, которые вдруг открылись мне между сравнением и главною мыслию, тогда особенно поразили меня; но теперь они, повторяю, совсем изгладились и целое представляется мне темным, неопределенным. Впрочем, не должно забыть, что тут было, верно, более, чем сколько теперь могу вспомнить, — по крайней мере тут было нечто довольно живое, резкое; иначе я, вероятно, не проснулся бы от этой мысли.

14 мая[73]

[...] Читаю отрывок из романа Альфреда де Виньи «Стелло»; герой этого эпизода несчастный Андрей Шенье. Слог должен быть в подлиннике обворожительный. [...]

15 мая

В 1832 году издали свои стихотворения Гнедич и Давыдов.[74] То-то бы меня одолжили Пушкин или родные мои, если бы меня порадовали этими новинками! Особенно желалось бы мне почитать старика Дениса.

16 мая

Вчера забыл я отметить, что при чтении того, что Полевой говорит о «Наполеоне» Дюмаса,[75] во мне живо пробудилась мысль о «Вечном Жиде». Я его было уже начал в 1832 году формою эпическою, но ныне он ожил для меня в одежде драматической мистерии. Впрочем, может быть, если в самом деле примусь за него, сохраню и повествовательный отрывок, который будет служить, так сказать, прологом, введением

в трагедию. В воображении моем означились уже четыре главные момента различных появлений Агасвера: первым будет разрушение Иерусалима, вторым падение Рима, третьим поле битвы после Бородинского или Лейпцигского побоища, четвертым смерть его последнего потомка, которого мне вместе хотелось бы представить и вообще последним человеком. Но между третьим и вторым должны быть непременно еще вставки, например изгнание жидов из Франции в XIV, если не ошибаюсь, столетии.

17 мая

Примечательный день! Во-первых, поутру вынул я из чемодана своего «Агасвера», прочел его, и мысли, как продолжать, стали толпиться в голове моей: если удастся, «Вечный Жид» мой будет чуть ли не лучшим моим сочинением. Во-вторых, получил я давно ожидаемого «Тасса» Кукольника.[76] Разумеется, что я тотчас с жадностью принялся за трагедию: в ней много, много превосходного; читая многие места, я невольно плакал. Судить о творении Кукольника я еще не в состоянии, но у него талант великий, хотя, кажется, и не совсем драматический.

19 мая

Читая «Телеграф» на 1832 год, часто я готов подумать, что спал лет двадцать эпименондовым сном и вдруг проснулся! Сколько перемен во мнениях, в образе мыслей читающего и пишущего мира как в Европе, так даже у нас в России![77]

Благоговение французов к веку Людовика XIV совершенно, кажется, исчезло; впрочем, эта перемена еще не самая удивительная: я ее предвидел еще в 1821 году, в бытность мою в Париже. Но, если только верить Полевому, которому, впрочем, боюсь верить слепо, — немцы спохватились, что и у них еще, собственно, нет народной словесности. Уланд, Берне, Менцель и Гейне (по словам Полевого) — нынешние корифеи немцев.[78] И у нас критика заговорила таким голосом, каким еще не говаривала. Кажется, наши мнимовеликие, начиная с альфы до омеги, скоро, скоро будут тем в глазах не одного Полевого, чем были они в моих глазах еще в 1824 году. Пора! Но к пишущим, действующим Полевой, по моему мнению, слишком строг, иногда даже несправедлив: жизни и движения, прилежания и любви к искусству у нас, конечно, еще не слишком много, но все же не в пример более, чем за десять, за двадцать лет, и этому-то приращению сил и усердия следовало бы подчас отдавать справедливость.

20 мая

Сегодня перечел первые три действия Кукольникова «Тасса»: стихов прекрасных много, но целое — слабо.

Мне жаль вымолвить это, да делать нечего. Не стыжусь, что трагедия меня сильно встревожила: в моем ли положении не принять участия

в страданиях Тасса, хотя бы эти страдания были изображены человеком без малейшего таланта? А в Кукольнике, напротив, талант, и не малый, хотя и не драматический.

21 мая

В «Телеграфе» прочел я суждение Полевого о книге студента К‹иевской› д‹уховной› академии Ор. Новицкого,[79] в которой изложена система вероисповедания духоборцев и молоканов. Это сочинение должно быть чрезвычайно занимательно. Примечателен догмат сей секты о падении души человеческой до создания мира видимого. Духоборцы смотрят на все церковные таинства как на средства, необходимые для людей грубых, но не нужные для истинных христиан. «Я храм божий, — говорят они, — и в храме сем я алтарь — сердцем, жертва — волею, священник — душою». Духоборец может молиться даже в храме язычника, принося туда свою внутреннюю церковь. Следующее их правило, по моему мнению, превосходно: «Добро творить и быть добродетельным должно не по закону, а по воле, не по приказу, а по желанию». Примечательно и следующее их положение: «Церковь есть сонм избранных и состоит не во власти духовной и не в зданиях, она в душе человека, и к ней принадлежит всякий избранник духа, хотя бы он был мусульманин».

27 мая

Получил письма: от матушки и от сестрицы Юлии Карловны к матушке из Неаполя. Графиня Полье отправляется в Сицилию, а, может быть, оттуда переедет и в Мальту. Кроме писем, прислали мне еще несколько томов Гете, белье и табачный кисет Наташиной работы: добрая мне его приготовила в подарок к моим именинам, которые очень кстати завтра.

В «Телеграфе» прочел я вчера примечательное рассуждение Виктора Гюго о поэзии.[80] Не согласен я, будто бы стихия смешного так мало проявляется в поэзии древних, как то утверждает Гюго. Напрасно говорит он: «Подле гомеровских (я уверен, что в подлиннике: homériques; это — скажу мимоходом — не значит гомеровские, а гомерические) великанов Эсхила, Софокла, Эврипида что значит Аристофан и — Плавт? Гомер увлекает их с собою, как Геркулес уносит пигмеев, спрятанных в его львиной коже». Аристофан гений, который ничуть не уступит Эсхилу и выше Софокла; а можно ли жеманного Эврипида, греческого Коцебу, ставить рядом с Эсхилом и даже с Софоклом? Можно ли сближать генияльного, роскошного, до невероятности разнообразного, неистощимо богатого собственными вымыслами Аристофана с подражателем, не бесталанным, но все же подражателем — Плавтом?

О Шекспире Гюго говорит: «Два соперничествующие гения человечества, Гомер и Данте, сливают воедино свой двойственный пламень, и из сего пламени исторгается — Шекспир». В другом месте утверждает

он, что в Шекспире, «кажется, были соединены три величайшие, самые характеристические гения французской сцены: Корнель, Мольер, Бомарше». Признаюсь, ни о Корнеле, ни о Бомарше не могу и вспомнить, когда читаю огромного британца; иное дело Мольер. О трех родах поэзии (единственно возможных: лире, эпопее, драме) сказано очень справедливо: «Все есть во всем: только в каждом отдельно господствует одна стихия родовая, которой подчиняются все другие и которая кладет на общность свой собственный характер». Далее: «Драма есть полная поэзия. Ода (не лучше ли вообще: лира?) и эпопея содержат в себе только ее начала, драма заключает в себе развитие той и другой». Совершенно согласен я с правилом: «Все, что есть в природе, все то есть и в искусстве». Еще несколько мыслей, например: 1. «Гений уподобляется монетной машине, которая печатает изображение государя на медной, все равно как и на золотой, монете». Или: 2. «Идея, закаленная в стих, принимает на себя что-то резкое, блестящее — это железо, претворенное в булат» — очень истинны и притом выражены как нельзя лучше.

Но главное основание рассуждения несколько шатко, или, лучше сказать, надлежало доказать не то, что доказывает Гюго: он утверждает, что смешное вправе являться в области поэзии и что оно в поэзии новых является чаще, чем в поэзии древних; первое едва ли подлежит сомнению и посему и доказывать это не для чего; второе — едва ли справедливо. Доказать, кажется, надлежало, что смешное вправе являться и в патетических творениях, в трагедии, эпопее героической etc., что оно в них является чаще у новых, чем у древних, и что безобразное (а не смешное) вправе требовать поэтического изображения, ибо составляет контраст, тень, диссонанс прекрасного, сторону, необходимую для полной, художественной гармонии.

28 мая

С лишком три года не читал я ничего французского: вот почему первые два десятка страниц Куперова романа «Красный Корсар»,[81] который теперь занимает меня, подействовали на меня странным образом: мне было точно, как будто вижу и слушаю человека, с коим я бывал очень знаком, да раззнакомился.

29 мая

На днях толковал я о своем белье; не помню уж, по какому поводу тут Осипов мне вдруг сказал: «Когда будет бук». Спрашиваю, что такое бук? — «Это значит мытье белья». — «По-каковски?» — «По-нарвски». Замечу, что buck совершенно то же на английском. Как областное нарвское наречие русского языка могло обогатиться английским словом? Не матросы ли английские передали его жителям берегов Нарвы?

30 мая

Кончил «Красного Корсара». Не знаю, что сказать об этом романе. Характер главного лица несколько изношен, но мастерски поновлен. Прочие лица, кроме, быть может, негра и его товарища, ничтожны. Есть места прекрасные, напр. кораблекрушение и смерть негра; но целое, признаюсь, кажется мне довольно обыкновенным, чтоб не сказать пошлым; сцена, правда, довольно нова, да самая-то сказка столь же поношена, как и главный характер. С великодушными разбойниками, кажется, познакомили нас довольно давно Шиллер и мистрис Радклиф. Wilder также лицо не слишком привлекательное.

31 мая

Перечитываю «Илиаду» с 13 до 19 песни. Начал я это повторение с 23-го числа; но воскресенье, понедельник и вторник были заняты у меня другими упражнениями. Сегодня перечел я всю 16 песнь, т. е. 867 стихов в одно утро: это, кажется, честно.

«Кормчий» Купера,[82] по-видимому, лучше «Красного Корсара». Глава 5-я первого тома, в которой изображен трудный, опасный проход фрегата между утесами ночью в бурю, должна быть удивительна, потому что даже меня, вовсе не знающего морского дела, заставила принять живейшее участие в описанных тут маневрах и движениях.

1 июня

Главный недостаток, по моему мнению, в романах Купера и отчасти даже Скотта — однообразие лиц и характеров. И в «Кормчем» встречаю я своих старых знакомых! Впрочем, должно сказать, что Купер — славный живописец: морское сражение изображено как нельзя лучше.

2 июня

Кончил сегодня повторение прочитанных зимою книг «Илиады». В понедельник примусь с божиею помощью за Иосифа Флавия,[83] которого получил сегодня. Издание старинное: под посвящением 1574 год.

3 июня

Дочел «Кормчего». Этот роман, по моему мнению, выше «Красного Корсара». Подробностей превосходных множество: крушение Шунера и смерть храброго Тома Коффина и злодея Диклена чуть ли не лучшее место, но и другие, напр. сражение, смерть Полковника и Больтрона, восхождение солнца на море, достойны славы Купера. Своим героям дал Купер несколько черт, во всех его романах общих всем тем лицам, которые изображает он с особенною тщательностью (con amore); но вообще они занимательнее характеров «Корсара».

Перелистывал я Иосифа. История Иудеи по смерти Симеона, сына Матафии, мне была очень мало известна: сегодня познакомился я еще с тремя Ассамонидами: Иоанном, или Гирканом, младшим сыном Симеона, Аристовулом, первым царем из рода Ассамонидов, и Александром, его преемником.

При взгляде на старый фолиант, в котором намерен я рыться, невольно задумаешься! Он уповательно переживет меня, как пережил обоих, владевших им в 17 столетии. Один из них написал на переплете первые четыре слова красными, а последние, коих не мог я совершенно разобрать, черными чернилами: «Dieses Buch habe ich gekommen[а]... 1638». Другой на первом заглавном листе: «Georgius Lidmayer possessor.[б] 1635».

Поутру прочел я две прекрасные проповеди Шмальца;[84] особенно вторая из них, произнесенная в день празднества Реформации, пришлась мне по душе. Между прочим говорит тут автор об истинном христианине: «Он освящает радость благодарным воззрением к богу, а в скорби видит друга, посланного ему богом же, да приближет его к небу».

4 июня

Читаю «Пирата» Вальтера Скотта. В первый раз, кажется, прочел я его в Париже в 1821 году.

5 июня

Пора мне приняться за что-нибудь! Чтение Иосифа Флавия не слишком вдохновительно, а романы — пища довольно приятная, но вместе и слишком легкая для ума и воображения. Я крепко изленился.

6 июня

В Иосифе нашел я изложение жития и некоторых правил и обрядов эссеян,[85] по которому вижу, что, без всякого сомнения, их понятия отчасти перешли к христианским отшельникам первых столетий и даже к гернгутерам, квакерам и духоборцам нашего времени.[86]

7 июня

Следующее замечание Вальтера Скотта чрезвычайно справедливо: «Касательно суеверных преданий, принятых жителями окрестностей замка Уэстры, Гальпре говаривал: „Мина, не дрожа, верит им, а Брента им не верит, да дрожит“. Точно так и в наше более просвещенное время

а «Эту книгу я получил...» (*нем.*).
б «Георгий Лидмауер, посессор» (*нем.*).

мало людей, даже от природы мужественных, и с душою, возвышающеюся над сомнениями, которые бы подчас не увлеклись восторженными мечтами Мины, но, быть может, еще менее таких, на которых бы никогда не находил невольный ужас, овладевший Брентою, — ужас, отвергаемый разумом».

8 июня

Нельзя не удивляться искусству, с которым Вальтер Скотт иногда одною чертою придает жизнь и истину лицам, какие выводит на сцену! Актер сделался морским разбойником. Чем отличить его? Имя бывшего питомца Талии и Мельпомены — Джон Бонс, но молодец в настоящем своем быту не разлюбил высокопарности, к коей привык в прежнем, и требует, чтобы его называли Фридрихом Альтамонтом!

9 июня

Вчера кончил я «Пирата». Скотт далеко превосходит Купера в рисовке характеров; но замечательно, что у него обыкновенно не главные лица, а второстепенные особенно хорошо представлены. Клевеленд, Мортант, Норна, Мина в «Пирате» главные: из них одна только Норна удивительно хороша; Клевеленд, по моему мнению, уступит Красному Корсару Купера, а Мина и Мортант не заключают в себе ничего особенного. Зато какая прелесть — Брента! Как любезен старик Магнус! А Гальпро? А Триптолем? А Бонс? Это истинно шекспировская галерея портретов самых естественных и притом в высокой степени поэтических!

Следующей глубокой мысли иной не искал бы в романе, но в романах Скотта подобные не редкость: «Напрасно грешник старается притупить жало совести своей условным, неполным раскаянием; вопрос: небо не почтет ли такого раскаяния скорее увеличиванием вины, нежели искуплением оной».

10 июня

Сегодня для меня тройной праздник: троицын день, мое рождение и ровно 17 лет, как нас выпустили из Лицея.

Угощал я самого себя — апельсинами. Давно я не ел их. Где то время, когда сам рвал их с дерева в окрестностях Ниццы?

11 июня

После вчерашней отметки посетил меня еще пастор и просидел довольно долго: вот почему я вчера долго не мог заснуть; приснился же мне человек, о котором никогда не думаю, — Людовик-Филипп, король французов!

Нынешний день провел я не скучно, но и не весело: поутру написал довольно длинное письмо к брату и прочел изрядную проповедь на духов

день Лефлера; после же обеда дремал и поворачивался с боку на бок, читая замечания к «Чайльд-Гарольду» Байрона. Не знаю, решусь ли перечесть поэму в французском переводе прозою, и прозою, которая по двум-трем образчикам кажется мне ниже посредственной.

13 июня

Наконец, кажется, прервется моя недеятельность: забродило у меня в голове — романом, за который, не отлагая, примусь завтра же. Удивительно, что рассуждения о словесности, критики (разумеется, не такие, какие обыкновенно печатаются в «Сыне отечества»), сочинения теоретические о предметах искусств изящных etc. действуют на меня вдохновительно. Нынешним предположением романа я занимался, правда, и прежде, но мысль о нем была во мне не ясна, мутна; некоторый вид получила она только сегодня, когда в «Сыне отечества» читал я рассуждение Вольфг‹анга› Менцеля о Шиллере и Гете;[87] сверх того, нет никакого отношения или только отношение самое далекое между тем, что я читал и что намерен написать: хороший разбор, оригинальный взгляд на поэзию, глубокие, новые мысли о прекрасном движут меня силою не прямою, а косвенною, не тем, чему меня учат, а общим волнением, какое производят в собственном моем запасе мыслей и чувствований.[88]

[...] Менцель — приверженец идеальной поэзии и посему ее поднимает в гору; но всегда ли идеалистам позднейшим и главе их Шиллеру удавалось избегнуть того, что сам Менцель называет Харибдо́ю идеалистов? Все ли действующие лица в Шиллеровых трагедиях истинные, живые люди? Нет ли между ними нравственных машин? Или, лучше, чего-то похожего на Гоцциевы маски, о которых наперед знаем, что они именно так, а не иначе, будут говорить и действовать? Не всегда на первом плане, но во всякой трагедии Шиллера это Арлекин и Коломбина — совершенный, идеальный юноша и совершенная, идеальная дева; но в природе ли тот и другая? И так ли привлекательны в поэзии их повторения? Без сомнения, что в них более прекрасного и даже истинного, чем в бесстрастных героях старинных немецких Haupt- und Staatsactionen;[a] но все-таки тут есть что-то напоминающее эти Haupt- und Staatsactionen. Очень справедливо Менцель сравнивает Шиллера с Рафаэлем: оба они поэты красоты, поэты идеала. Но как школа Рафаэля произвела длинный ряд художников совершенно бесхарактерных, так точно и Шиллерова может произвести их, и не в одной Германии; уж и произвела некоторых. Впрочем, искренно признаюсь, что в статье, которую я когда-то тиснул в третьей части «Мнемозины», говорю о Шиллере много лишнего: он как жрец высокого и прекрасного истинно заслуживает благоговения всякого, в ком способность чувствовать и постигать высокое и прекрасное не вовсе еще погасла. Винюсь перед бессмертной его тенью;

[a] действ (*нем.*).

но смею сказать, что причины, побудившие меня говорить против него, были благородны. Сражался не столько с ним, сколько с пустым идолом, созданием их собственного воображения, которому готовы были поклоняться наши юноши, называя его Шиллером. [...]

Сильно нападает Менцель на натуралистов (которые, скажу мимоходом, могут быть и не сентименталистами, напр., Краббе); но, несмотря на все им сказанное, я должен признать изящество многих произведений школы, которую называет он Фламандскою, — они не выродки, а законные дети поэзии, ибо, что в этом роде более дурного и посредственного, нежели прекрасного, ничего не доказывает, потому что и в идеальном едва ли не то же. [...] Почему же поэзия, изображающая современные происшествия и нравы, непременно уже заслуживает все эти названия, которыми Менцель хочет унизить ее? [...]

То, что в Гете должно непременно показаться противным, враждебным душе романтика идеалиста, естественного гражданина по мечтам и желаниям своим веков средних, не есть отсутствие вдохновения, а власть над ним и над самим собою, власть, которою Гете покоряет себе вдохновение, творит себе из вдохновения орудие и предохраняет себя от рабствования порывам оного. Это свойство находим не у одного Гете, оно принадлежит и Шекспиру и едва ли не есть отличительный, неразлучный признак гениев... Смею думать, что многосторонность Гете, следствие его власти над вдохновением, не есть недостаток, но высокое вдохновение. [...]

Развитием модернизма должны быть романы Альфреда де Виньи, Гюго и их последователей (напр., «Notre Dame de Paris»),[89] если только сии романы действительно соответствуют понятию, какое я о них составил отчасти из отзывов Полевого. В бесстрастии модернизма вместе оправдание его безжалостливости, за которую Менцель упрекает Гете, а дюжинные французские критики — Альфреда де Виньи и Гюго.

14 июня

Начал я сегодня роман, которому покуда нет еще названия.

Занимательны и местами даже истинно трогательны записки покойной Елены Сергеевны Т<елепне>вой,[90] напечатанные в первых номерах «Сына отечества» на 1831 год. Как жаль, что она умерла так рано!

15 июня

Кончил сегодня первую главу своего романа.

17 июня

Мне суждено с некоторого времени встречаться в журналах с такими знакомыми, с которыми я уже не чаял встретиться. В числе их из пер-

вых — Марлинский. В «Сыне отечества» на 1831 год есть его повесть «Наезды» с подписью А. Б.;[91] она отличается от других его сочинений необыкновенною трезвостью и умеренностию слога; впрочем, довольно занимательна. Есть и стихи Марлинского[92] в «Сыне отечества» на 1831 год: переводы и подражания Гете посредственны; лучше баллада — «Саатырь». Кроме Марлинского не могу не упомянуть о почтенной, умной В. Ми...ше...вой, Варваре Семеновне Миклашевичевой, с которою во время оно познакомил меня Грибоедов; отрывок ее романа[93] напечатан в 19 и 20 номерах того же журнала. Этот отрывок истинно прелестен и показывает талант высокий, мужественный.

18 июня[94]

[...] Знаю только одно творение Гете, в котором права искусства и права сердца совершенно уравновешены и сливаются в дивную гармонию, это его невыразимо прелестная «Euphrosyne» — без сомнения, превосходнейшая элегия между всеми древних, романтиков и новейших. [...]

19 июня

По моему мнению, если что заслуживает называться высоким, так смерть первой прусской королевы Софии-Шарлотты; ее последними словами было: «Не сожалейте обо мне, ибо ныне любопытство мое удовлетворится, и я узнаю происхождение вещей, коих не мог разгадать Лейбниц, узнаю, что такое пространство, бесконечность, существо и ничтожество». Этот анекдот находится в «Истории Пруссии» Камилла Паганеля,[95] из коей отрывок напечатан в «Сыне отечества».

22 июня

Целое утро провел я над попыткою составить первый хор своего «Архилоха». Стихов с пятнадцать, не более, кое-как слепились, но истинного вдохновения не было. Увидим, что далее.

23 июня

Перечел первое действие неконченного своего «Ивана, купеческого сына». Первая сцена несколько растянута, прочие очень не дурны. Не худо бы его продолжать: по крайней мере выправлю то, что уже написано.

«Архилох» стал и, кажется, покуда не двинется.

24 июня

Иванов день. Разумеется, что и сегодня я думал о бедном своем имениннике...[96] Думает ли и он подчас обо мне?

Начало второго действия моей драматической сказки довольно оригинально. Что если удастся продолжать ее? Попытаюсь. Наконец остановлюсь же хоть на чем-нибудь.

25 июня

Начал переправлять своего «Ивана»: главный порок моего слога или, лучше сказать, слога моих первых начерков — многословие. Все почти мои поправки состоят в сокращениях.

26 июня

Встал сегодня в четвертом часу и от пяти до десяти довольно удачно занимался выправкою своей сказки; потом читал.

Мне уже случилось говорить о Плаксине и его понятиях о поэзии. Первая его статья еще была довольно сносна; но его разбор «Бориса Годунова»,[97] который сегодня прочел я в «Сыне отечества», из рук вон: diese Kritik ist unter aller Kritik.[a] Несмотря на то, если найду время, поговорю об этом *умном* разборе.

27 июня

Есть в «Сыне отечества» еще разбор «Бориса Годунова»,[98] который лучше разбора, сочиненного г. Плаксиным; автор некто Средний-Камашев. Главный упрек Камашева Пушкину, что предмет поэтом обработан слишком поверхностно, к несчастию, справедлив. К тому же и вся критика написана отчетливее критики Плаксина; но и после нее можно бы многое сказать о «History» Пушкина.

30 июня

Начинают у нас в журналах, хоть изредка, показываться не переводные статьи европейские. Такою, например, может в «Сыне отечества» назваться «Изображение характера и содержания истории трех последних столетий».[99] Тут нового, конечно, мало; но все же это не пошлое повторение обыкновенных школьных разглагольствий.

Пришла мне мысль: нельзя ли Самозванца превратить в Русского Фауста?

1 июля

Сегодня прочел я повесть Марлинского «Лейтенант Белозор».[100] В ней изредка автор сбивается на скромный лад Густава Шиллинга, и это истинно жаль, потому что тут терпит все, даже вкус и прелесть слога.

---

[a] эта критика ниже всякой критики (*нем.*).

Впрочем, и эта повесть несомненное доказательство истинного, прекрасного таланта Марлинского и его неимоверных успехов. Есть в ней даже места истинно высокие, хотя целое более в прежнем роде Марлинского — легком, шутливом, пенящемся, как шампанское или неустоявшаяся брага. Признаюсь, я не ожидал найти в этом ветреном рассказе, напр., следующего: «Нигде так величественно не слышится бой часов, как над бездной Океана, во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его, и вся Природа с благоговением внемлет повелительным вещаниям гения веков, зиждущего незримо и неотклонимо».

В другом роде — гофманском — бесподобны пляска букв и игра в мячики мертвецов.

2 июля [101]

[...] Прочел я в «С‹ыне› о‹течества›» повесть Бальзака «Рекрут»; она занимательна и жива, но я ожидал чего-то особенного — и ошибся. [...]

3 июля

Поутру выправлял свою сказку: в этот раз потребовалось менее сокращений.

Я уже раз отметил в своем дневнике, что Джефферсон уверяет, что в лесах Северной Америки есть живые мамонты. Сегодня я прочел в статье «Приключения американского путешественника» [102] (в № 46 «Сына отечества» на 1832 год) подтверждение этого известия. Путешественник Росс Кокс говорит о сказании крисов (Crees), народа, обитающего по берегам реки Атабесеки, будто бы их горы некогда посещались животными столь огромного росту, что ни одно четвероногое не может с ними равняться. Сначала они жили в долинах, но индейцы прогнали их в горы.

Французский референт журнала «Revue des deux Mondes» полагает, что это мамонты.

4 июля

Поутру занимался своею сказкою; пересмотрел и перенес в другую тетрадь изрядный отрывок; однако я им еще не доволен.

Фонтаней, разбирая сочинения Карла Нодье,[103] говорит о его сказке «La Fée aux Miettes»:[a] «Почитаю бредни Мишеля за любопытную, но невозможную фантазию расстроенного воображения, *а сказкам Гофмана верю, как он сам, с убеждением*». Вот в чем, и по моему мнению, именно состоит преимущество Гофмана над Вашингтоном Ирвингом и над нашим Марлинским.

---

[a] «Фея с хлебными крошками» (*франц.*).

5 июля [104]

[...] Знакомлюсь хоть несколько с духом нынешней французской словесности.[105] В некоторых из их сочинителей романов и повестей очень заметно направление гофмановское, но, по моему мнению, ни одна из читанных мною повестей (впрочем, я их читал еще довольно мало) не стоит *хороших* сказок Гофмана. Развязка «*Рекрута*» после живого, вовсе не таинственного рассказа — как-то насильственна. [...]

[...] в другом роде — я сказал бы в байроновском — прелестное и вместе естественное ужасное андалузское предание Евгения Сю «Вороной конь и белый пес» [106] («Caballo negro y Perro blanco»).

7 июля

Сегодня со мною было то, что Гете рассказывает про себя, а именно, когда излагал я моему доброму пастору план «Ивана, купеческого сына», главная идея во мне самом развилась полнее и определеннее: изустное, живое сообщение своих мыслей послужило мне вдохновением.

При развязке заставлю Ивана покуситься *продать* за редкую статую окаменелого своего друга и благодетеля Булата. Этот сарказм, выражающий низкую и подлую половину человеческой природы, составит резкую противоположность с трагическим действователем, движущим Анданою, которая для разочарования злополучного богатыря решается пожертвовать даже кровью и жизнию своего дитяти.

8 июля

Прочел две проповеди Рейнгардта, а в «Сыне отечества» речь магистра священника Николая Раевского при окончании курса Второй с.-петербургской гимназии.[107] Проповеди Рейнгардта: одна о том, *к чему христианина обязывает оказываемое ему доверие*, другая — *о духе скуки и неудовольствия* (Unmuth [a]). Обе они очень хороши, я рад, что прочел их, ибо они оживили во мне мысли, конечно, мне уже известные, не новые, но все же такие, на которые необходимо обращать время от времени усиленное внимание.

Речь Раевского из лучших, какие удалось мне читать на русском языке. На ней печать и просвещенного человека, и нелицемерного истинного христианина, и прямого сына отечества. Быть может, не могу во всем согласиться с Раевским, но все же отрадно прочесть подобную речь, особенно после нелепиц какого-то фанатика,[108] который в этой же самой части «Сына отечества» тиснул статью, принадлежащую по духу своему 13 веку, — и подписался под нею буквою М. Горькие истины говорит, между прочим, и Раевский, но благородным, кротким голосом проповедника Слова божия, а не бешеным криком исступленного изувера.

---

[a] неудовольствие (*нем.*).

После обеда прочел я в «Сыне отечества» (жаль только, что без начала) повесть «Вывеска».[109] Это почти то же, что «Mignon» в «Вильгельме Мейстере» Гете, однако без поэзии; зато истина в этой сказке или в этом анекдоте раздирает сердце.

10 июля

И еще повесть Марлинского «Латник».[110] В подробностях очень много истинно генияльного: особенно в рассказе Зарницкого о своих детских летах и в появлениях Латника; но целое несколько сбито, и мало оригинального вымысла *в основе* обоих рассказов.

11 июля

Лет 15 тому назад в наших журналах являлись русские повести, которые, бывало, читаешь, так сказать, ex officio,[а] а для отдыха после этого довольно тяжкого труда принимаешься за переводные. Теперь, спасибо, уж не то: повесть Марлинского, например, гораздо лучше, чем прочитанная мною сегодня Раупаха «Ночь накануне Рождества Христова».[111] Чудесное плохо удалось Раупаху.

12 июля

Вот опять роковой день 12-го июля; этот раз я почти его не заметил; более всего занимала меня мысль, что завтра можно мне будет уж сказать: до срока осталось менее 7-ми лет.

В «С‹ыне› о‹течества›» прочел я превосходный отрывок из Бальзакова романа[112] «La peau de chagrin».[б] Этот отрывок несколько напоминает курьезную пляску стульев, вешалок и столов у Вашингтона Ирвинга; быть может, арабеск американца подал даже Бальзаку первую мысль — но разница все же непомерная: у Ирвинга хохочешь, у Бальзака содрогаешься. О Поль де Коке ни слова: отрывок из его «Монфермельской молочницы»[113] довольно забавен, но в нем ничего нет нового. Стихов хороших в «Сыне отечества» немного, но достойны примечания сцены из драмы Розена «Баторий и Россия».[114]

13 июля

С некоторого времени, написав письма к моим милым кровным, чувствую нечто похожее на ту пустоту, которая бывает, когда остаешься один после сильного наслаждения, напр. после хорошего театрального представления или разговора с человеком умным и с душою.

[а] по обязанности (*лат.*).
[б] «Шагреневая кожа» (*франц.*).

Прочел я в «Сыне отечества» повесть Мериме «Этрусская ваза».[115] В ней основа несколько чувственная, даже безнравственная, — при всем том она в высокой степени трогательна.

15 июля

Поутру прочел я две проповеди Рейнгардта: в первой он доказывает, что не должно христианину выпускать из виду начатков лучшей будущности; во второй говорит он о чудесах спасителя.

После обеда я, между прочим, прочел отрывок из Куперова романа «Браво»[116] — бег гондол. Не знаю, почему мне так стало жаль старика Антонио. Даже торжество его над соперниками не радует.

16 июля

Поутру перечитывал дневник, а потом выправлял начало второго действия сказки. После обеда читал; между прочим, прочел я окончание повести Дюмаса «Красная Роза»;[117] ее катастрофа ужасна, но тут ужас вовсе не поэтический.

17 июля[118]

[...] Бальзак человек с огромным дарованием; отрывок из его повести «Сарразин» в «Сыне отечества» под заглавием «Два портрета» — удивителен! [...]

18 июля[119]

[...] Получил письмо от Бориса и в подарок от Пушкина «Сказания современников о Самозванце»,[120] записки Курбского[121] и «Описание Малороссии» Боплана[122] [...]

19 июля

Вчера я прочел повесть «Примирение»,[123] перевод с немецкого, и хотел было отметить, что ей далеко до повестей новейшей французской школы, однако оставил так, потому что она не довольно глупа, чтоб о ней говорить. Но сегодня попалась мне другая, отечественного изделия, о которой нельзя не упомянуть: ей название «Полуденный жар»;[124] между прочим, о полуденном жаре ни слова, а глупости три воза.

20 июля

Невозможно порою удержаться от горькой насмешки, когда читаешь русское произведение, подобное вчерашней повести или некоторым бестолковым рассуждениям, какие нередко встречаются в «Сыне отече-

ства». Но эта насмешка горька для самого насмешника, потому что больно видеть слабоумие там, где малейший признак ума и дарования радовал бы всякого благомыслящего втрое более, чем в области словесности чужой, иноязычной. Зато и прямо хорошее гораздо живее действует на душу русского, если оно русское. Так, например, с наслаждением прочел я вчера же «Взгляд на состояние Римской империи при появлении христианства»,[125] статью Соснина. Не упомянул я о ней единственно потому, что кончил ее уже после ежедневной отметки. Соснин, по моему мнению, глубокомысленнее и проницательнее Шульгина,[126] который, впрочем, также у нас принадлежит к небольшому числу людей мыслящих. Я совершенно и во всем согласен с тем, что автор развивает и доказывает в статье своей: мысли его для меня не совершенно новые, однако видно, что они у него не повторение выученного, а проистекают из внутреннего убеждения. Некоторые истинно превосходны, напр.: «Иисус Христос пришел на землю, возвещая приближение царствия небесного тогда, как опытом было дознано, что все земные царства, во всех их разнообразных формах, великие и малые, в разделении и соединении их, не могут доставить народам покоя и благоденствия».

21 июля

В книжках 24, 25 и 26-й «Сына отечества» на 1833 год «Извлечение из „Физики“ Велланского».[127] Сие «Извлечение» прочел я только раз, правда с напряженным вниманием, но все же после одного прочтения не могу сказать, чтобы я совершенно обнял систему нашего философа, чтобы мог отдать себе совершенно ясный отчет во всех его выводах. Но объяснение большей части главных начал мне кажется удовлетворительным, быть может потому, что и прежде мне случалось читать и самому размышлять об оных.[128]

24 июля

В «Сыне отечества» на 1833 г. повесть Корделье де ла Ну «Мастерская улицы Западной»:[129] воображения самого дикого, истинно гофманского в ней много; местами, не столько в слоге, сколько в отступлениях, есть что-то напоминающее Жан Поля. Видно по всему, что нынешние французы крепко онемчились. Замечу, что эту повесть непременно должно поставить выше некоторых других в этом роде: в ней предложен важный психологический вопрос, вопрос, впрочем, такой, который едва ли здесь на земле разрешится: «Почему дается гений, когда ему суждено погибнуть не развившись?».

25 июля

Пишу о Бальзаке, потому что после его прелестной повести «Г-жа Фирмиани»[130] не могу тотчас заняться чем-нибудь другим. Это

в своем роде chef d'oeuvre;[a] тут все: и таинственность, и заманчивость, и юмор, и высокая, умилительная истина; я влюблен в эту Фирмиани! Как бы я желал своему Николаю встретить в жизни подобную женщину! И как хорош сам Бальзак! Что за разнообразный, прекрасный талант! Признаюсь, я бы желал узнать его покороче. Булгарина письмо о русской литературе[131] — само по себе разумеется, что тут нет даже Полевого, — однако, несмотря на многое и многое фальстафское, есть же кое-что, по крайней мере что-то похожее на несколько шутовскую, порою почти бесстыдную искренность; сверх того, отголосок нынешних требований если и не людей, мыслящих ясно, отчетливо, самостоятельно, все же людей, хотя чувствующих порою силу прекрасного, способных порою быть увлеченными вдохновением поэта... Современность им нужна? Но что такое современность? *Их* современность уж не будет современностью 20-го столетия, а Шекспир и рапсоды — вечные современники всех столетий. Что такое современность нынешняя? Ответ у Булгарина короткий и ясный: презрение к человечеству! И вся она тут? И это не одна сторона нашей современности? И нет еще другой, более светлой? Впрочем, судить Булгарина слишком строго, право, совестно. Спасибо ему и за доброе намерение да за одну неоспоримую истину, им сказанную: «Есть и будет множество подражателей Пушкина — но не будет *следствия Пушкина*, как он сам есть *следствие* Байрона». Разумеется, если он ограничится быть только следствием. Но в хваленом «Демоне» Пушкина нет самобытной жизни — он не проистек из глубины души поэта, а был написан потому, что *должно же было написать что-нибудь в этом роде*. Вот вам и современность и ее требования! И этого-то «Демона» г. Булгарин ставит выше «Полтавы», выше «Цыган», выше прекрасных сцен в «Годунове»!

Не слушай, друг Пушкин, ни тех, ни других, ни журналистов, готовых кадить тебе и ругать тебя, как велит им их выгода, — ни близоруких друзей твоих! Слушайся *вдохновения* — и от тебя не уйдет ни современность, ни бессмертие!

Упрекает Булгарин, между прочим, друзей Пушкина за то, что они хотели сделать из него только артиста, живописца и музыканта, — говорит, что «писатель без мыслей, без великих философических и нравственных истин, без сильных ощущений — есть просто гударь, хотя бы» и пр. Но без сильных ощущений и мыслей можно ли быть и музыкантом, можно ли быть и живописцем? А что Булгарин разумеет под *великими* нравственными истинами — мы знаем! Его величие не слишком-то велико, а, кажется, ему нужна дидактика в новом платье, от которой да сохранит нас бог!

---

[a] шедевр (*франц.*).

26 июля

Получил большой пакет писем. Брат мой женится или, вероятно, уж женат.[132] Трудно выразить, какое впечатление произвело на меня это известие. Дай бог ему счастия! Дай бог радость нашей старушке!

Не прибавляю ничего: слова не выразят ни желаний моих, ни надежд, ни — уповаю на господа! — совершенно неосновательных опасений! Итак, быть может, удастся же мне воспитывать, лелеять, нянчить малюток, и малюток не чуждых мне, детей родного брата и, скажу вдобавок, друга! О если бы! — но... Зачем не могу заснуть сегодня вечером и проспать бесконечные семь лет, после которых могу надеяться, что отпустят меня к родному!

[...] [133] Мое уважение к Бальзаку очень велико; он чуть ли не выше и Гюго, и де Виньи [...]

27 июля

Провел день очень разнообразно и довольно деятельно: прохаживался, читал, занимался греческим и (чего давно уже не было) даже сочинял, ибо написал небольшую лирическую пиэсу, о которой покуда сам не знаю, что сказать.

29 июля

Приятно заметить хорошее, особенно когда оно встречается у людей, которых мы знавали, любили. Шульгин — человек с дарованием; взгляд его на историю не без глубокомыслия, слог у него иногда истинно прекрасен, напр. в статье «Состояние исторического мира в V и VI столетиях» [134] он, между прочим, говорит: «Во второй половине V века и гунны пали; народы, так сказать, потопленные ими, начали возникать по сбытии наводнения гуннского».

30 июля

В «Сыне отечества» прочел я повесть «Полюбовная сделка»; [135] — и в ней много таланта; вообще преобразование французской словесности — очень отрадное явление в умственном мире.

31 июля [136]

[...] «Ростовщик Корнелиус» Бальзака, по моему мнению, из слабейших его произведений. Конечно, и тут есть прекрасные подробности, но заметно несколько подражание и Гюго, и Скотту, — а сверх того, заметно, что род Гюго и Скотта не свойствен Бальзаку [...]

1 августа

Поутру прочел неоконченного Шиллерова «Самозванца»[137] и начал из него выписки, которые надеюсь кончить завтра. После обеда прочел в «Сыне отечества» повесть «Красный трактир»;[138] рассказ хорош, но окончание, как во всех почти новейших французских повестях, неудовлетворительно.

2 августа[139]

[...] Не забыть: «Красный трактир», сочинение Бальзака [...]

3 августа

Поутру собирал сведения о Самозванце. Из показаний, снятых В. И. Шуйским об убиении Димитрия,[140] почти совершенно для меня ясно, что в смерти царевича не участвовали и не могли участвовать ни Битяговские, ни Качалов, ни кто другой из приставленных Годуновым к несчастному младенцу, а что все они пали жертвами злобы Михаила Нагого и несправедливых подозрений вдовствующей царицы. В самом деле утешительно думать, что в этом злодействе великий человек, каким должно же признать Бориса, невинен. После обеда нашла на меня неодолимая тоска... О если бы творческая мысль! вдохновение! Я бы все забыл.

4 августа

Боюсь даже отметить, что я сегодня начал трагедию «Димитрий Самозванец»; ход у меня будет почти тот же, что у Шиллера, — иные сцены даже просто переведу; зато характер главного лица предполагаю представить совершенно в ином виде.

6 августа

Провел весь почти день за Карамзиным и Бером:[141] твердого плана у меня еще нет; но Леонид,[142] кажется, будет играть значущую роль в моей трагедии.

7 августа

Поутру читал я Бера, а после обеда перечел своего «Сироту»: ему, без сомнения, не помешает полежать, а все-таки это из лучших моих произведений.

8 августа

Поутру во второй раз занимался своею трагедиею, которую назову «Григорием Отрепьевым», а не «Димитрием Самозванцем», et c'est pour

cause.[а] Пока есть запас из Шиллера, мне нужно только прилежание, авось затем придет и вдохновение.

9 августа

Никак не могу вписаться, вработаться в этот новый труд; беспрестанные помехи! Сегодня хотел я заняться хоть переводом первой сцены из Шиллера, но ночь, как нельзя хуже проведенная, лишила меня всякой бодрости и свежести. Право, порою кажусь самому себе страх каким похожим на живописца в повести Корделье де ла Ну.[143]

10 августа

Принялся за перевод «Венециянского купца»... Итак, мой «Григорий Отрепьев», или «Димитрий Самозванец», опять останется одним благим намерением. Но переводу надеюсь лучшей участи: он меня занимает; побежденные трудности возбуждают охоту к работе.

11 августа

В «Сыне отечества» на 1833 год еще статья Шульгина,[144] именно *о феодализме*. Нового об этом предмете мало можно сказать; все, кажется, после Робертсона сказано и пересказано — однако я у Шульгина нашел кое-что мне неизвестное, а именно слово *гелейт* (вероятно, немецкое Geleit) в смысле высшей аристократии завоевателей, которой подчинены были даже бароны, будто бы не принадлежавшие к ней. *Вассы, вассалы* также у Шульгина в необыкновенном значении: властителей феодальных, а не подданных. Всему этому, однако, нельзя на слово поверить.

14 августа

Поутру переводил; после обеда читал Боплана.[145] Переводится con amore.[б] Верно и в старину французы были французами — напр., Боплан уверяет, что в России от морозов кишки могут замерзнуть или по крайней мере могут быть озноблены в брюхе живого человека.

15 августа

Переводил, но сначала не так удачно, как вчера, третьего дня и в субботу, однако потом дело пошло лучше. После обеда читал я, что Устрялов пишет о Курбском.

а и на это есть причины (*франц.*).
б с любовью, охотно (*франц.*).

18 августа

Нынешний день для меня был днем воспоминаний: перебирал я свои старые тетради и перечел кое-какие из лирических своих стихотворений — некоторые духовные и «Послание к брату». Они сильно на меня подействовали: в некоторых почерпнул я утешение, подкрепление, в котором, признаюсь, нуждался. Когда меня не будет, а останутся эти отголоски чувств моих и дум, быть может, найдутся же люди, которые, прочитав их, скажут: он был человек не без дарований; счастлив буду, если промолвят: и не без души.

20 августа

Каков же наш Николай Михайлович Карамзин! У него на странице 22 тома VI Иоанн Великий устюжанам, пробившимся сквозь казанцев, «прислал две золотые деньги в знак особенного благоволения!». В тексте, однако, сказано довольно ясно: «Послал дважды по деньге золотой», — т. е. каждому воину дважды, два раза по деньге, что точно знак особенного благоволения; этому вовсе не противоречат слова: «А они обе отдали попу Ивану», ибо каждый отдал обе свои.

22 августа

До нынешнего дня стояли такие жары, каких в конце лета и в России не запомню; сегодня стало несколько свежее, но все же погода прекрасная. Поутру я переводил: не худо бы кончить на этой неделе первое действие «Купца венециянского».

Добродушие и простодушие — высокие добродетели, только не в историке. Наш Николай Михайлович искренно верит,[146] что Менгли-Гирей требовал у Ивана III Васильевича своего брата Нордоулата (NB сверженного Менгли-Гиреем с престола и *старшего*) по родственной нежности, желая с ним поделиться властью, верит также, что великий князь отказал ему в том, потому «что долг приязни есть остерегать приятеля и не соглашаться на то, что ему вредно». А я, грешный, полагаю, что Менгли-Гирей требовал Нордоулата, чтоб по азиятскому обыкновению задушить его, и что великий князь не выдал Нордоулата, чтоб иметь на всякий случай, чем бы можно было и пугнуть доброго приятеля.

23 августа

Поутру переводил; потом читал Карамзина. Надобно же заметить, что я обзавелся кошкою. Была у меня прежде, т. е. дней с пять тому назад, полосатая, как тигр, — только не ужилась; теперь пестрая, белая с черными пятнами — препроказница.

24 августа

Брат женился 3-го июня: добрый, благородный друг! как хорошо, как трогательно и вместе просто его письмо. Желал бы я написать к его Анне Степановне, но должно повременить. И в финансовых отношениях получил я хорошие вести: в сентябре обещают нам 500 рублей — кое за какие carmina.[а] [147]

25 августа

Кончил сегодня перевод первого действия Шекспирова «Венециянского купца» и дочел VI том Карамзина. «Не знаю, — говорит Карамзин в замечании 611, — что значит у него (т. е. Герберштейна) [148] *veston*, qui ambas partes praescriptis conditionibus ad duellam committit».[б] Мне кажется ясно, что здесь *veston* наше русское слово *вещун* в смысле *глашатая*, *герольда*. Вслед за слишком короткою выпискою из чрезвычайно любопытного путешествия Афанасия Никитина [149] историограф говорит, что 84 веры или секты будуистов, о которых упоминает наш странствователь, — гражданские степени или касты индусов; сверх того, при Буту (Буду) в скобках поставлено — Брама. Нет сомнения, что Буду сначала было только новым названием Брамы или, лучше сказать, что секта Буду не что иное, как искаженный простонародный браматизм; однако *ныне* и, вероятно, уж и при Никитине между понятиями о Браме и Буду существенная разница, а 84 веры будуистов, верно, не касты индусов, но точно религиозные секты будуизма, из которых и нам некоторые известны, напр. секта Кутухту, Фо, Далай-Ламы etc. Этих сект, особенно если и брамаизм и отрасли его считать только древнейшим, чистейшим будуизмом, быть может, и более 84-х.

27 августа

Читал VII том Карамзина. Первая глава этого тома, особенно конец, у него из лучших: это трагедия, и какая! [150]

30 августа

Грусть и грусть — разница! Как бы счастлив я был, если бы и ныне мог сказать, сказать из глубины души и с верою, как бывало: «Вскую прискорбна еси, душе моя, и вскую смущаеши мя? Уповай на господа, яко исповемся ему: спасение лица моего и бог мой!».[в] Но я ныне и этого утешения лишен. Причины, т. е. что обыкновенно называют при-

---

[а] сочинения, стихи (*лат.*).

[б] глашатай, который предписывает обеим сторонам в соответствии с договором внести поровну по $1/3$ унции (*лат.*).

[в] Почему прискорбна ты, душа моя, и почему смущаешь меня? Уповай на господа, потому что говорим ему: спасение мое и бог мой!» (*церк.-слав.*).

чиною, нет, а между тем давно мне не было так тяжко. Впрочем, приму и это: не остави меня только до конца, господи боже мой! спаси меня от самого меня!

Кончил сегодня первое явление второго действия «Венециянского купца».

Хан Вабур, основатель империи Великого Могола, назван в наших летописях Падшею; Карамзин полагает, что Падша значит Паша; мне кажется, что это испорченное имя Пади-Ша.

31 августа

Сегодня, благодаря бога, легче на душе; но заниматься я ничем не занимался — только читал: впрочем, быть может, это мне было в пользу.

1 сентября

Следующею небольшою пиэсою[151] обязан я чтению 3-й книги «Чайльд-Гарольда», которая обворожительна даже в прозе французского перевода.

Есть что-то знакомое, близкое мне
В пучине воздушной, в небесном огне;
Звезды полуночной таинственный свет
От духа родного несет мне привет.

Огромную слышу ли жалобу бурь,
Когда умирают и день и лазурь,
Когда завывает и ломится лес,
Я так бы и ринулся в волны небес!

Донельзя постыли мне тина и прах,
Мне там, в золотых погулять бы полях,
Туда призывают и ветер, и гром,
Перун прилетает оттуда послом.

3 сентября

Есть у меня некоторые сочинения, от которых, так сказать, не могу отстать, которые то и дело выправляю: когда-то я каждый год или через год переделывал «Святополка»; теперь его сменили «Семь спящих отроков». Я их пересмотрел сегодня и кое-что сократил и выбросил, напр. весь эпилог второй части.

4 сентября

Поутру занимался, но довольно лениво, своим переводом. Зато пересмотрел до обеда же начало «Вечного Жида»; выправить ничего не выправил, но — что хуже всех возможных недостатков — целое показалось мне скучным.

9 сентября

Читаю «Вертера».[152] Несмотря на многое, искренно признаюсь, что это творение Гете предпочитаю иным из его позднейших: в «Вертере» теплота непритворная, есть кое-что, называемое немцами excentrisch;[а] но по крайней мере нет холодной чопорности, притворной простоты и бесстыдного эгоизма, встречающихся в его записках, «Wilhelm Meisters Wanderjahre»[б] etc.

10 сентября

Весь день почти пролежал, читая то «Вертера», то «Историю» Карамзина. Поэтической жизни в «Вертере» пропасть: но от Гете — автора «Вертера» до Гете, сочинителя, напр. «Эпименида»,[153] расстояние не меньше, чем от Вертера до его благоразумных друзей: не стану спрашивать, кто из них лучше; но, без сомнения, «Вертер» и автор его привлекательнее чинного автора «Эпименида» и людей, которые в жизни то, что автор «Эпименида» в поэзии. Жаль только, что Вертер слишком много хнычет.

12 сентября

Читал Карамзина и кроме того ничего путного не делал. Надобно сказать, что IX том «Истории государства Российского» — лучшее творение Карамзина: жаль только, что кое-где заметны натяжки и желание блеснуть.

13 сентября

Я дремал душою, дремал нездоровым, беспокойным лихорадочным сном; наконец получил, благодаря моего господа, лекарство: мне прислали пропасть книг, от которых должна же проснуться моя внутренняя жизнь, если она только не совершенно во мне исчахла.

14 сентября

Читал я поутру Пушкина легкие[154] стихотворения, а после обеда и вечером прочел Кукольника драму.[155] О Пушкине ни слова: надобно бы было сказать слишком много; о Кукольнике на сей раз скажу, что у него начала лучше окончаний.

Кроме того, прочел я еще Катенина сцены из комедии «Вражда и любовь»;[156] тут подражание Шекспирову «Much ado»,[в] но подражание генияльное, а стихи превосходны.

а эксцентрический (*нем.*).
б «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (*нем.*).
в «Много шуму» (*англ.*).

15 сентября

Прочел я «Тартини»[157] Кукольника и первую главу «Онегина»; кроме того, несколько мелких стихотворений Пушкина и Катенина. А что ни говори, любезный братец Павел Александрович, ты, конечно, человек с большим дарованием, но все не Пушкин; ты поэт-художник, он поэт-человек; твое искусство холодно — у него душа поэтическая. Да и несносно твое самолюбие: ты, кажется, не пропустил ни одного четверостишия, сочиненного тобою, — чтоб только все твои детки были вместе, чтоб ты мог сказать: «Се аз и стихи, еже мне дал еси».[a]

18 сентября

Сегодня я возвратился к старику своему Карамзину. Он редко бывает глубок. Вот почему меня особенно поразила следующая мысль, мысль глубины ужасной, но едва ли его собственная: «Есть, — говорит историограф на 354 стр. IX тома, — кажется, предел во зле, за коим уже нет истинного раскаяния, нет свободного, решительного возврата к добру: есть только мука, начало адской, без надежды и перемены сердца».

22 сентября

Вот еще два куплета к пиэсе, внесенной в дневник 1-го числа:

Туман бы распутать мне в длинную нить,
Да плащ бы широкий из сизого свить;
Предаться бы вихрю несытой душой,
Средь туч бы лететь под безмолвной луной.

Все дале и дале — и путь бы простер
Я в бездну, туда, за сафирный шатер!
О как бы нырял в океане светил;
О как бы себя по вселенной разлил.

23 сентября

Давно я не сочинял; сегодня выходил я следующие куплеты,[158] которым, однако, нужно продолжение:

Не вином заздравной чаши,
Не за шумным пиром я
Встречу именины ваши...
Нет! — души моей друзья.

Смеху, играм и веселью
Не в тюрьму же заглянуть;
Им в страдальческую келью
Загражден судьбою путь.

---

[a] «Вот я, и вот стихи, которые мне дал [бог]» (*церк.-слав.*).

Но что есть и что отъято,
Что в грядущем мне светло,
Что в минувшем сердцу свято,
Пред душой моей всплыло.

Кроме того, читал я Карамзина и перечел несколько пиэс Пушкина, между прочим, давно не читанных «Братьев разбойников». В Рейнгардта я не заглядывал, хотя сегодня и воскресенье, но, если бы мои вечерние чувства соответствовали тем, какие имел поутру, — это было бы не беда; к несчастью, готовлюсь лечь спать столь же недовольный собою, как все эти дни. Дневник мой не исповедь; но не хочу казаться лучшим, чем я в самом деле: вот почему искренно признаюсь, что на поприще своем в последние месяцы я не шагнул вперед, а напротив. Да простят мне, если не говорю, в чем я именно недоволен собою: людям до этого нет нужды. Тебя же, мой боже милосердый, молю: нашли мне, если это нужно, скорбь, стыд, унижение, все возможные земные бедствия, но спаси мою бессмертную душу! Эту мольбу произносил я со страхом, но, ты знаешь, искренно, несколько раз в течение двух последних месяцев втайне; теперь пусть она стоит здесь написанная — мне в устрашение и напоминание. Если же ум мой помрачился, исцели меня, боже! не предай меня сему ужасному злосчастию: буди мне помощником против самого себя!

25 сентября

Благодаря господа, я этот день провел и физически, и нравственно лучше многих, ему предшествовавших. Не жалею я даже, что, так сказать, исповедовался в письмах своих к Наташе и Саше:[159] это было мне необходимо, раз, потому, что не хочу казаться моим милым лучшим, чем я в самом деле, а во-вторых, потому, что считаю подобные признания единственною эпитимиею, какую могу налагать на самого себя.

27 сентября

Несправедливость Карамзина к Шуйскому истинно возмутительна.[160] Я в состоянии написать апологию сего великого человека, которого единственная вина — несчастие. Всего несноснее фразы Карамзина, напр.: «Василий взял святое бремя (т. е. тело Димитрия) на рамена свои etc., как бы желая сим усердием и смирением очистить себя перед тем, *кого он столь бесстыдно оклеветал в самоубийстве*». Как будто девятилетний ребенок может быть самоубийцею.

28 сентября[161]

[...] Осада Троицкой Лавры из лучших отрывков у Карамзина [...] Бродит в голове Ляпуновым.

1 октября

Благодаря милосердого бога, я счастливо начал этот месяц; хотя здоровье мое все еще не поправилось, но сочиняю, а это для меня большое счастие. Сегодня написал я первую сцену своего «Ляпунова».

5 октября

Еще раз скажу: слава богу! Я почти совсем здоров. Сегодня я переделал сцену между Ляпуновым и Ржевским и прибавил небольшую полукомическую, однако, кажется, не лишнюю. Книга Каменского [162] довольно занимательна, особенно статьи: Меншиков, Остерман, Шафиров, Яков и Василий Долгорукие.

6 октября

Не стою я великой милости божией: вот здоровье мое совсем поправилось, а сверх того, целую неделю я сочинял; завязка у меня, кажется, изложена довольно удовлетворительно — и сценою, которую написал я сегодня, можно бы кончить первое действие.

13 октября

Благодаря бога, я чувствую себя здоровым и успешно работаю. В антологии для шведов прочел я несколько статей Болтина очень умных и отрывок, начало «Слова о полку Игореве», заглядывал и в перевод, который до невозможности глуп.

16 октября [163]

[. . .]

17 октября

[. . .] Тому семь лет прибыл я из Ш‹лиссельбург›ской крепости в Д‹инабургскую› [. . .]

19 октября

Был у меня мой любезный пастор: итак, я лицейский праздник провел не один.

Написал я поутру письмо к матушке, сестрице и Наташе. В «Библиотеке» [164] прочел Пушкина сказку «Пиковая дама»,[165] «Отрывок из записок Гомозейки» [166] Одоевского и критику драмы «Рука всевышнего отечество спасла» и «Самозванца» Хомякова.[167] В сказке старуха Графиня и Лизавета Ивановна написаны мастерски, Германн хорош, но сбивается на модных героев.

Одоевского отрывок — отрывок Одоевского, т.е. сочинение человека, который пишет не свое. С критикою я не совсем согласен: я бы Кукольника драме произнес приговор и построже, и поснисходительнее; к Хомякову рецензент просто, кажется, несправедлив. Приведенная им сцена между Марфою и Антонием бесподобна: [168] равной силы нет ни одной у Кукольника ни в фантазии, ни в драме, ни в «Тартини».

20 октября

Из «Библиотеки» я узнал, что есть еще другой «Торквато Тассо»,[169] кроме Кукольника. Она же меня уведомила о смерти Гнедича, Сомова, Мартынова.[170] Всех более мне жаль Гнедича: мы когда-то были друзьями, потом поссорились; он умер, не помирившись со мною.

21 октября

Прочел я в «Библиотеке» очень и, как мне кажется, слишком строгий приговор эдинбургской «Review» новейшим французским писателям.[171] Конечно, я их слишком мало знаю, знаю почти только по отрывкам, но не все же у них совершенно безнравственно: повесть Бальзака «Madame Firmiani» имеет не одно литературное, но и нравственное высокое достоинство.

Из русских оригинальных статей прочел я разбор трагедии «Россия и Баторий» и Кукольниковой фантазии.[172] Критик тот самый, что в другом томе разобрал драму Кукольника, хлопочет всего более из эффекта: с чем честь имею его поздравить! Есть, однако, у него инде мысли почти справедливые, напр., что «не должно позволять себе приписывать небывалые или недоказанные слабости и пороки героям историческим»; об этом стоит подумать. Имя Ржевского я чуть ли не заменю в первом акте другим. Хорошо то, что говорит он об Иоанне.

22 октября

Я было опасался, что полученные на прошедшей неделе книги слишком развлекут меня, прервут моего «Ляпунова»; это, однако, кажется, слава богу, не случится. Сегодня я работал довольно удачно, хотя и не продолжал второго действия, а только кое-что — впрочем, необходимое — прибавил к первому.

Прочел я повесть Барона Брамбеуса «Вся женская жизнь в нескольких часах»; [173] в слоге этой повести есть что-то напоминающее Марлинского, но гораздо менее бойкости; впрочем, некоторые картины истинно прелестны. Кукольник плодовит; он написал еще фантазию «Санназар»; очень хорош отрывок, помещенный в «Библиотеке» в довольно неудовлетворительном разборе этой пиэсы.[174] Je me trompe beaucoup [a] — или

---

[a] Я сильно ошибаюсь (*франц.*).

эти разборы пишет Плаксин; критики Полевых — Николая и Ксенофонта — конечно, также несколько в этом роде, но все же не то: в них есть и новые мысли, и сведения, и логика, а тут одни кумовские толки (du commérage) [a] о личных ощущениях самого рецензента.

23 октября

«Библиотека» — журнал очень занимательный, только критиками я не слишком доволен; к этим критикам, между прочим, принадлежит статья о книге Галича «Картина человека».[175] Осмеять, и даже остроумно, можно и величайшего гения, но насмешка не доказательство: нельзя не хохотать, когда читаешь, как Вольтер цыганит Шекспира и греческих трагиков; да уронил ли он их? Замечу, однако, что мнение автора о сомнамбулизме очень примечательно: он не считает сомнамбулизма сном, а бдением, в которое вмешиваются некоторые явления, свойственные обыкновенному сну. Повесть Булгарина «Первая любовь» [176] довольно пошла; зато его статья «Чухонская кухарка» очень и очень забавна. Булгарин наделен истинным дарованием, но часто берется не за свое. Теньеровские картины ему удаются: вот его род! У него есть и чувство, и подчас глубокое чувство: доказательство — его сиротка в первых главах «Выжигина». Но Булгарин несносен, когда вздумает важничать, выдумывать, когда корчит человека с воображением, поэта, романтика!

Прочел я несколько стихотворений Козлова: его «Молитва» [177] истинно прекрасна и стоит того, чтоб ее вытвердить, по крайней мере лучшие строфы.

25 октября

Читал я сегодня и «Жизнь Наполеона»,[178] и «Библиотеку». В «Библиотеке» статью «Брамбеус и юная словесность».[179] О юной словесности, может быть, судит Брамбеус вообще довольно справедливо, но напрасно, кажется, допускает так мало исключений. В самом Бальзаке найдутся повести самой чистой, высокой нравственности, например «Madame Firmiani». Впрочем, цель поэзии не нравоучение, а сама поэзия: вот что, по-видимому, строгие осудители нынешней *поэзии*, или, если угодно, *словесности*, совершенно забывают. Однако я слишком худо знаю нынешнюю школу и потому воздерживаюсь от решительного суждения о ней и о толках о ней.

28 октября

Прочел я в «Библиотеке» Загоскина «Вечер на Хопре» [180] и несколько довольно пустых рецензий. У Загоскина приметно в его трех

---

[a] сплетни (*франц.*).

сказках желание тянуться за Марлинским, но ему до Марлинского далеко; однако последняя сказка его не дурна; только терпеть я не могу этих пояснений, истолкований etc., которыми хотят они, кажется, предохранить читателя от суеверия, — намерение весьма похвальное, но весьма не поэтическое.

29 октября

В «Библиотеке» прочел я примечательную сказку Пушкина в стихах «О мертвой царевне и семи богатырях»;[181] механическая часть этой сказки превосходна — размер и слог совершенно соответствуют предмету. Сверх того, хорош отрывок из записок Д. Давыдова «Знакомство с Каменским».[182] Разбор «Мазепы» Булгарина,[183] как все разборы этого рецензента, мне не очень по нутру, хотя и заметно, что он человек очень не глупый.

31 октября

Греча повесть «Отсталое»[184] — престранная вещь: не понимаю, почему ему необходимы были такие великолепные сборы, чтоб рассказать самый пошлый вздор. Тут истинно гора родила мышь. Известие о посмертных сочинениях Гете[185] очень занимательно, особенно по выпискам из последнего тома его «Dichtung und Warheit».[а] Я сошелся в мыслях с Гете: и я лучшие свои произведения, напр. «Ижорского», считаю более произведением природы, нежели искусства, произведением, если угодно, моей природы, произрастанием моей почвы, но собственно не делом произвола, не следствием холодно обдуманного предначертания и отчетливого труда.

1 ноября

Прошедший месяц принадлежит к самым счастливым в моей жизни: я был здоров, приятно занят и сочинением, и чтением, получил из дому самые отрадные письма... одно не хорошо: что не всегда был доволен самим собою.

Сегодня прочел я очень хорошую статью Шевырева «Сикст V»;[186] жаль только, что она не без приправы кое-каких странностей и что язык уж чересчур небрежен. Жуковский переложил экзаметрами Шиллеров «Ein frommer Knecht war Fridolin...».[б] [187] Истинно не знаю, что об этом сказать, однако не подлежит никакому сомнению, что с изменением формы прелестной баллады немецкого поэта и характер ее, несмотря на близость перевода, совершенно изменился.

[а] «Поэзия и правда» (*нем.*).

[б] «Фридолин был скромный слуга» (*нем.*).

3 ноября

С историческим исследованием Погодина об Иоанне Грозном,[188] напечатанном в «Библиотеке», я совершенно согласен; характер этого человека мне всегда представал точно в том виде, в каком его представляет автор.

Нынешние французские испытатели природы полагают, что стук при биении сердца происходит от ударения оного о грудные кости. Мне это мнение кажется неосновательным: ибо пульс не то же ли самое биение, сопровождаемое таким стуком, хотя и гораздо слабейшим? а между тем где же в последнем кости или, лучше сказать, свод костяной, которому бы можно приписать происхождение стука? По-моему, биение сердца и пульс не что иное, как просто журчание крови, подобное журчанию всякой другой льющейся жидкости.

6 ноября

Статья Сенковского о сагах,[189] кажется, из лучших в «Библиотеке»: в подробностях ее, особенно во всем, что он говорит об отношениях руссов к славянам, я совершенно с ним согласен. Но искренно признаюсь, что главное теоретическое начало у меня одно из тех, которые отвергает Сенковский; какое же его собственное и есть ли оно у него, еще не знаю и не вижу. Быть может, впоследствии эта главная идея для меня объяснится.

7 ноября

Статья Сенковского из лучших в этом роде, какие мне случилось читать. Сердечно радуюсь, что он дает простор воображению и поэзии в области истории; рад, что защищает сказания, предания, саги, Иоакимову летопись etc., — но, признаюсь, желал бы знать, чем он заменит отвергаемую им систему усовершенствования, или прогрессивную, как он называет ее. Нет сомнения, что те судят слишком односторонне, которые ограничивают эти усовершенствования одною гражданственностию. Но если нет в жизни рода человеческого психического усовершенствования, объемлющего область всех наших способностей и наклонностей, если Провидение не воспитывает рода человеческого так точно в течение тысячелетий, как оно же воспитывает каждого человека в особенности в каждое мгновение его краткой земной жизни, — история самая безобразная, самая нелепая и вместе самая ужасная сказка.

12 ноября

Сегодня я не сочинял, а только переправил еще раз сцену между Ржевским и Ляпуновым в первом действии; она мне всего более наделала хлопот; я ее перерабатываю, кажется, в четвертый раз.

18 ноября

Сегодня я прочел рассказы трех русских повествователей: сказку про вора и бурую корову[190] Луганского, «Анекдоты» Скобелева[191] и повесть «Мореход Никитин»[192] Марлинского. Луганский чрезвычайно мне полюбился, Скобелев гораздо менее, а Марлинский в начале своей повести, где подражает слогу и Луганского, и Скобелева, — еще менее. Зато там, где Марлинский дает разгул не просто шалуну воображению, а восторгу дум и поэзии, талант его является в прекрасном, дивном блеске: в этой повести есть несколько картин и мыслей таких, за которые я готов признать Марлинского самым глубоким из наших умствователей, самым вдохновенным из наших писателей.

19 ноября

С большим удовольствием прочел я повесть Ушакова «Сельцо Дятлово»;[193] тут ничего нет идеального, все чистая проза, — между тем рассказ истинно увлекателен, и в многих местах у меня навертывались слезы. Окончание разочаровывает, но автор и не думал очаровывать. Это «Сельцо Дятлово» — по моему мнению — самое удачное из всех сочинений Ушакова (разумеется, мною читанных); тоны разнообразны, содержание просто, но заманчиво, и чувство, и юмор истинно русские.

21 ноября

Напоследок я кончил сегодня своего «Ляпунова»: пять актов я написал в 52 дня, и то с перерывами; иногда по два дня ничего не прибавлял. Может быть, будут еще кое-какие вставки, но главное останется как есть; не говорю о переправках и сокращениях: разумеется, что без них не обойдется.

Спал я сегодня много и довольно много читал. По разборам книги Бутковского о душевных болезнях[194] и Гречевой «Черной женщины»[195] вижу, что библиотечный рецензент гораздо лучше судит о предметах ученых, нежели принадлежащих изящной словесности: все, что им сказано о магнетизме, очень зрело и умно.

Чтоб иметь дельное занятие, принялся я за Шеллинга;[196] но прочел только его оба предисловия, — впрочем, предисловие к первому изданию стоит доброй славы: идеи в нем высокие, ясные и в то же время восторженные.

22 ноября[197]

[...] Прочел я сегодня примечательного: «О состоянии французской драмы» из «Quarterly Review» и разбор новой трагедии Александра Дюма «Екатерина Говард». «Quarterly Review» судит о юной словесности столь же сурово, как «Эдинбургское обозрение»: должно же быть, что эти строгие приговоры не вовсе без основания; однако, признаюсь,

я бы желал судить о странных феноменах французской словесности по собственному чтению, а не понаслышке. По крайней мере в таланте корифеям молодых французских писателей невозможно отказать: в трагедии Дюма, как видно даже из разбора, есть положения, которые могут быть изобретены только гениальным человеком.

24 ноября

Библиотечный рецензент, разбирая «Основания словесности»[198] Глаголева, почти утвердительно говорит, что «Слово о полку Игореве» не древнее русское сочинение, а подлог в роде Макферсонова «Оссиана». Трудно поверить, чтоб у нас на Руси лет сорок тому назад кто-нибудь был в состоянии сделать такой подлог: для этого нужны бы были знания и понятия такие, каких у нас в то время ровно никто не имел; да и по дарованию этот обманщик превосходил бы чуть ли не всех тогдашних русских поэтов и прозаиков, вкупе взятых.

25 ноября[199]

26 ноября

Принесли мне «Отечественные записки»[200] на 1823 год. Не надеюсь найти в них много путного; однако для почину попалась статья занимательная — «Дневник Храповицкого».

28 ноября

Сегодня прочел я в «Библиотеке» несколько занимательных статей: о китайских женщинах-поэтах,[201] о книге Низара и рецензии на эту Вилльмена,[202] о книге Черного Сокола. Не люблю я, искренно сказать, библиотечных рецензентов; всех их несноснее театральный,[203] который обо всем, даже о драме Кукольника, говорит языком самым странным: тут при каждом слове так и видится жеманная улыбка; он до того привык кривляться и скалить зубы, что истинно не знаешь, говорит ли когда-нибудь дело.

2 декабря

Брамбеуса «Любовь и Смерть»[204] и восхищала меня, и бесила. Есть в этой пиэсе места, которые за душу хватают; но есть и такие натяжки, которые в состоянии заставить бросить книгу.

10 декабря

Самый короткий день в году. Я заметил, что у меня вечерние сумерки прежде 10-го декабря становятся длиннее: в конце ноября уже в исходе четвертого часа совершенно бывало темно, а теперь до поло-

вины пятого можно уже обойтись без свечи. Подобное наблюдение сделал я и в июне месяце: десятое число июня — самый длинный астрономический день — для меня, для моей комнаты не есть самый длинный.

12 декабря

Мне сделали полочку для книг. Переборка в комнате меня очень занимала: я воображал, будто хозяйничаю.

14 декабря

Вот начался и десятый год по общем нашем несчастии! Много ли в живых из злополучных моих товарищей?

15 декабря [205]

[...] От Ляпунова я еще не совсем отделался: перечитываю и пишу примечания [...]

16 декабря

[...] Сегодня в седьмом часу пополудни разделался я совершенно с Ляпуновым: завтра расстанусь с ним (отдам его); что-то бог даст? [...]

18 декабря

Сегодня помер мой котенок. Очень мне понятна скорбь Гофмана о его Муре: я своего Васьки никогда не забуду.

19 декабря

Весь день протосковал по своем Ваське: пусть смеются! а я раза два сегодня даже принимался плакать, вспоминая своего котика. Подадут есть — не с кем делиться; отворю фортку — некого впустить в комнату. Жаль мне своего Васеньки!

20 декабря

В «Библиотеке» прочел я три повести;[206] одна из них — «Княжна Мими» Одоевского — чрезвычайно хороша; это первое сочинение Володи, которым я доволен. Масальского «Дон-Кихот XIX века» совершенный вздор; а «Кирджали» Пушкина просто анекдот, но очень хорошо рассказанный.

21 декабря

Написал по письму обеим своим сестрам.

В «Библиотеке» примечательного прочел разбор «Истории Донского войска» В. Броневского:[207] этот разбор очень хорош; вероятно, он Сенковского.

Из стихотворений замечу пиэсу прекрасной версификации: «Молодой орел»[208] Ершова. Надоела мне, между прочим, судорожная (grimaçante[а]) ирония, с какою с некоторого времени обо всем пишут; всех несноснее в этом случае знаменитый М. Я.,[209] т. е. Михайло Яковлев (только не лицейский); ему вечный смех, он над всем шутит, обо всем рассказывает, как настоящий Скарамуш: и об «Осаде Пскова» Розена, и о самом пошлом водевиле; везде у него заметно одинакое желание выставить на посмешище автора и выказать свое личное превосходство и над автором, и над читателем. Высек бы я розгами этого кривляку!

24 декабря

Канун рождества. Я сегодня не то что весел, напротив, тихая грусть у меня на душе, но спокоен. Слава богу и за это!

Принесли мне Державина.[210] Рад я перечесть старика! Сегодня пробежал я его «Пожарского» и «Кутерьму от Кондратьев»: чудеса! Заруцкий в женском платье — дивный арабеск! Но предоставлю другим тешиться над старикашей, а дети в «Кутерьме» у него истинно милы и совершенно списаны с натуры. В его третьей части перечел я несколько стихотворений таких, которые только теперь истинно оценил: в них что-то восточное, что-то напоминающее «Ost-Westlicher Divan»[б] Гете.

25 декабря

После обеда читал Державина. Его «Добрыня»[211] совсем не дурен: конечно, завязка чуть-чуть держится, зато местами встречаются не только лирические, но даже драматические красоты. Тороп вообще очень хорош: настоящий испанский Грациозо. «Добрыню» я прочел, так сказать, ex officio, а потом роскошствовал за третьею частию нашего старика! Какой богатый мир картин и чувства! Нет сомнения, что дедушка Державин и у нас на Руси первый поэт и, кажется, долго еще останется первым. Есть у него сонеты (чего я прежде не заметил); один из них — «Блаженство супруги» — хорош, все прочие довольно плохи, не его дело было кроить стихи.

27 декабря

Читал и Державина, и «Библиотеку». Признаюсь искренно, что гораздо более люблю Державина, гораздо более удивляюсь ему в его безделках, нежели в больших одах; однако начало его оды «Кровавая луна блистала»[212] истинно чудесно.

а гримасничающая, судорожная (*франц.*).
б «Западно-восточный диван» (*нем.*).

1835 год

1 января

Вот уже в четвертый раз встречаю Новый год в этих стенах! Но, слава богу, нынешний день провел я приятно: не скучал, не тосковал. Еще бы было лучше, если бы случилась какая-нибудь новинка; однако и старьё принесло мне наслаждение: я с удовольствием прочел несколько од Державина; кроме того, прочел я поутру «Проповедь на Новый год» Гермеса и другую Бёра (Böhr) «О вере». Кстати, внесу в тетрадь стихи, которые сочинил я в последних числах декабря; я их отправил к племянникам.

МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Замолк и меркнет вещий дух,
Не брызжут искры вдохновенья,
Исчезли дивные виденья:
В груди певца восторг потух.
Так постепенно тише рдеет
Без жизнедатного огня
И остывает и чернеет
Под мертвым пеплом головня.
Внимает томный слух поэта
Не гулу арфы с рубежей
Отчизны истины и света,
Нет, — свисту и шипенью змей...
Обвили чешуей холодной
Они добычу; жала их
Над ним трепещут: бледен, тих,
Угрюм, без жалобы бесплодной
Слабеет он... Вдруг чьих-то крыл
Эфирный шорох... В бездну ночи,
В безбрежный океан светил
Спасенья жаждущие очи
Страдалец молча устремил...
И се великий Исфраил
Стоит пред ним. В одно мгновенье
Расторг, могущий, кровы мглы,
Раздрал кровавых змей узлы
И сдул с души певца мученье,
Потом сказал: «Питомец мой,
Как стал ты жертвою чудовищ?
Еще ли мало над тобой
Иссыпал я своих сокровищ?
Молил, взывал ты: „Песней мне!
В бессмертном, чистом их огне
Все скорби я сожгу земные“.
И внял я: в звуки я одел
Виденья вечно молодые,
И с роем их к тебе слетел,

И так поведал: твой удел
И дума, и мечты, и лира,
Но не желай блаженства мира;
А да прольешь с священных струн
Крылатый, радостный перун!
И он помчится в хляби дали,
Разрежет тучу, и лазурь
Укажет смертным, выше бурь,
В пределах тех, где нет печали...
Ты часть свою благословил,
Ты взял ее... Так что же ныне
Ты вдруг без мужества и сил?
Или ты изменил святыне?
Кумирам жаждешь ты служить,
Кадить и неге, и гордыне?».

Поэт

Святыне верен я и ныне,
И мне ли идолам кадить?
Пусть сумрачна моя обитель,
Пусть дней моих уныла нить,
Но ты со мною, мой хранитель!
И вновь судьбу благословить
Готов я. Мощный и прекрасный
Посланник из страны чудес,
Ты претворяешь, сын небес,
Глухую полночь в полдень ясный:
С тобою бодр и силен я,
С тобою верую в избранье,
Но отлетишь — опять страданье
Сжимает душу; грудь моя
Полна терзаний и сомнений,
И сам ты, светозарный Гений
(Прости безумью слепоты!),
Тогда мне кажешься и ты
Коварным духом обольщений...
Или мой жребий не жесток?
Из сонма дышащих творений
Меня не выхватил ли рок?
Без устали бежит поток
И дней, и лет... Какого ж века?
Не ум ли ныне человека
Творит из мира мир иной?
Что ж? неприступною стеной,
До самой тверди взгроможденной,
Я отделен от всей вселенной.
Немеет слабый гул наук,
За мой порог не пролетая,
Здесь, ухо всуе поражая,
Часов однообразный стук —
Над временем насмешка злая:
Оно стоит. И мне ль мечтать
Из мертвой тьмы уединенья
Учить живые поколенья
И миру бога возвещать?

Исфраил

Ты отделен от суеты,
Отрезан ты от преткновений,
Жалеешь о науках ты?
Но, полный и теперь сомнений,
Скажи: что было бы с тобой,
Когда бы легкою душой
Ты несся по порогам прений,
Раздравших ныне быт людской?
Непостоянен лик науки,
Как лик изменчивой луны;
Но из сердечной глубины
Текут одни и те же звуки
И вторятся из века в век.
Их слышит, как сквозь сон мятежный,
Дрожит и млеет человек
И рвется в оный край безбрежный,
Где все покорно красоте,
Где правда, свет и совершенство.
Да разгадаешь звуки те!
Вот долг твой, вот твое блаженство!
Бог — бог безмолвия и дум:
И здесь, где умер мира шум,
Где окружен ты тишиною,
Не он ли пред твоей душою
Стоит, отец своих детей?
Как горный ток, падущий в долы,
Так в сердце братий, в грудь друзей
Излей могущие глаголы
О нем, предвечном, трисвятом.
Да совершишь предназначенье,
И по труде в успокоенье
Он призовет тебя в свой дом.

3 января

8-м письмом Шеллинга[1] я попеременно то восхищался, то приводим был в недоумение. Все, что он говорит о счастии и блаженстве (Glück-Seligkeit und Seligkeit), превосходно, я совершенно согласен с ним и Спинозою, что блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель. Напротив, его обескачествование самобыта мне кажется совершенным уничтожением оного, следовательно... По всему приметно, что он опасается антропоморфизма. Но ужели, приписывая божеству до идеала возвышенные свойства и принадлежности человека, мы поступаем совершенно безрассудно, совершенно не философически? Ум, самопознание, благость принадлежат здесь, на земле, одному человеку, и то в степени весьма несовершенной: эти качества, без сомнения, человеческие, ибо отличают человека от прочих существ этой планеты; но в то же время они качества и высших существ мира духовного, качества, по которым одним и человек принадлежит оному духовному миру, словом, они в человеке отблески божества. Впрочем, еще не смею судить о Шеллинге:

только знаю то, что он никогда у меня не отнимет моего бога, бога, в которого верую всем существом, всем умом, всей душою; бога, которому молюсь, который меня слышит и понимает, который для меня бог живый, а не пустой звук без всякой существенности, мертвый, следствие преутончений и силлогизмов убийственной диалектики. Признаюсь искренно, что я доселе худо знал Шеллинга, впрочем, и теперь я еще не решаюсь просто отречься от него, ибо по отрывку, может быть, худо мною понятому, было бы безрассудно отказаться следовать за мыслителем иногда истинно выспренним; однако отныне буду следовать за ним с оглядкою.

4 января

Поутру я сочинял; потом читал Державина и прочел девятое письмо Шеллинга, потом опять сочинял, наконец, вечером прочел последнее письмо Шеллинга; кажется, я теперь понял, чего хочет немецкий философ. Он утверждает, что мы не должны силиться постигнуть умом непостижимого уму, а просто удовлетворять жизнию высшим требованиям собственного я. Он совершенно прав, если только дело идет о постижении (да простят мне этот варваризм!); но «признаться, что не можем постигнуть непостижимого», и «отказаться от всех отношений к непостижимому» — большая разница. Едва ли возможно удовлетворить самому себе, собственному я, отрекшись от этих отношений. Для меня из самой системы Шеллинга (№ дополненной моею собственною опытностию) совершенно становится ясною необходимость откровения, т. е. необходимость сверхъестественного пришествия, идеи о боге, в мире человеческих мыслей, ибо ум не ведет к богу, а что такое человек без бога? Прочитав последнее письмо о догматизме и критицизме, я перелистывал прочие статьи, содержащиеся в этом томе сочинений Шеллинга, и, между прочим, пробежал примечания к «Слову об отношении художеств к природе». Тут выходка философа против одного своего лжепоследователя — выходка в своем роде чудесная! Ее не худо бы перевесть ad usum [a] наших русских шеллингистов. Как бы прочесть когда-нибудь Гамана! [2] — это истинно должен быть человек необыкновенный: Гете, Гердер, Шеллинг говорят о нем с величайшим уважением. Замечу, что Гаман лифляндец.

6 января

Спасибо старику Державину! Он подействовал на меня вдохновительно; тремя лирическими стихотворениями я ему обязан: переписанным в самом начале нынешнего дневника, конченным вчера и начатым и конченным сегодня. У Державина инде встречаются мысли столь глубокие, что приходишь в искушение спросить: понял ли сам он вполне то, что сказал? Таков, напр., стих в оде «Бог»: «Я есмь, — конечно, есть и ты!» — в этом одном стихе опровержение и догматизма и критицизма (или реализма и

[a] для ознакомления (*лат.*).

идеализма). Обе системы в том согласны, что крайний итог их... 0. Но пусть соберутся все мудрецы мира и доказывают мне, что я не существую, не есмь; я, быть может, стану в тупик от их диалектики — да все же им не поверю. То же самое скажу им, когда они, обескачествуя высочайшее существо, приведут и его к нулю. Вера в премудрую, преблагую, всемогущую самобытную причину вселенной столь же необходима мне, сколь необходима мне вера в собственное существование. Без той и другой я совершенно теряюсь в хаосе; без них единственным моим спасением из бездны отчаяния может быть только смерть или безумие. Однако оставим метафизиков: вот мой ответ г‹оспода›м поклонникам самобытного Я:

«Я ЕСМЬ, — КОНЕЧНО, ЕСТЬ И ТЫ»

Он есть! умолкни лепетанье
Холодных, дерзостных слепцов!
Он есть! я рук его созданье,
Он царь и бог своих миров!
В нем жизнь, и свет, и совершенство:
Благоговеть пред ним блаженство,
Блаженство называть творца
Священным именем отца.

«Не рвися думой за могилу;
Дела! дела! — вот твой удел.
Обрись о собственную силу,
Будь тверд, и доблестен, и смел;
Уверен ты в себе едином:
Так из себя все почерпай
И мира будешь властелином,
И обретешь в себе свой рай».

Денницы падшего ученье,
Сиянье истины и лжи!
Мудрец! я есмь в сие мгновенье,
А был ли прежде? — мне скажи!
Теперь я мыслю; а давно ли?
И стал я от своей ли воли?
И как из недр небытия
Вдруг просияло это Я?

«Владей страстьми!» — Брось лицемерье.
Поведай: радость и печаль,
Любовь и гнев, высокомерье,
И страх, и зависть ты всегда ль
Смирял успешно? Крови пламень
Тушил всегда ли? — «Я... не камень,
Бываю выше суеты,
Но — помощию с высоты».

Пусть ум не постигает бога:
Что нужды? — вижу я его:
Там — среди звездного чертога,
Здесь — в глуби сердца моего
И в чудесах моей судьбины!

Так буду жить я без кончины
Неразрушимым бытием,
Могущий, вечный, но — о нем!

Он недоступен для гордыни,
Он тайна для очей ума;
Блеснуть был должен луч святыни,
Чтобы расторглась наша тьма.
И се блеснул! — я вести внемлю:
Всевышний сам сошел на землю;
Отец духов, владыка сил,
Бог в сыне нам себя явил.

В этой пиэсе довольно заметно влияние Державина; в следующей менее, но все же я ему ею обязан.

ОССИАН

Памяти Дельвига и Гнедича

Пастух

Сын отдаленной чужбины,
Муж иноземный, куда?
В бездне лазурной пучины
Теплится искра-звезда;
Там же, в парах белоснежных,
Спит золотая луна;
Нет еще вихрей мятежных,
Всюду еще тишина.
Но уже пали на очи
Брови седой полуночи;
Бурь просыпается дух.

Странник

Жаждут и сердце и слух
Песней Улина и Гала:
Дом благодатный Фингала
Близко ли, древний пастух?

Пастух

Хладный, немой, обгорелый,
В сизой трепещущей мгле
Остовом дом опустелый
Черным стоит на скале,
Смотрит на синие волны:
Из дружелюбной страны
Уж не приносятся челны
Шумно к подножью стены;
Уж за трапезой Фингала
Арфа давно замолчала;

Рино, и Гал, и Улин,
Да и мужей властелин,
Сам он, отец Оссиана, —
Все они в царстве тумана;
Сын только бродит один.

Скорбью ведом и мечтами,
Бродит унылый певец
Между родными гробами,
Сирый и дряхлый слепец,
Строгой судьбой пораженный,
Он полонен темнотой;
Но его дух дерзновенный
Мир созидает иной,
Мир сладкозвучья и стона:
Там еще дышит Минона,
Юноша Рино не пал,
Жив и Оскар, и Фингал;
Кровные барда обстали,
Слушают песни печали
Призраки с облак и скал.

Пастырь умолкнул — и взоры
Муж иноземный подъял
С дола на мрачные горы:
Камни мостов и забрал,
Своды упавшей бойницы,
Сельму и поле могил
Змий быстротечной зарницы
Белым огнем осребрил;
Грома огромные струны
Задребезжали; перуны
Весь очернили обзор;
Вздрогнул от ужаса бор,
Скалы трепещут от гула...
Чу! чья-то арфа дерзнула
С арфой небесною в спор!

Смелы и резки удары,
Тверд повелительный глас,
Грозны священные чары:
С дивных и пламень угас,
И улеглися стихии;
В лоно безмолвья и сна
Пали воздушные змии,
Снова на небе луна;
Старца луна осветила:
Будто широкие крыла,
Вьется с рамен его плед,
Молча и прадед, и дед,
Сын, и отец, и клевреты,
В лунное злато одеты,
Слушают барда побед...

Помню эфирное племя...
Некогда зрел их и я
В юное мощное время

(Где оно? где вы, друзья?),
В райские годы, когда мы
Из упованья и снов
Строили пышные храмы
Для небывалых богов,
Часто я в светлые лета
Вдруг из святыни поэта
Гнедича, сына Камен,
Несся ко гробу, пленен,
Полн необъятного чувства,
В дивном созданье искусства
Видел воскресший Морвен!

Ах! и мой Дельвиг — Вильгельму
Он с вдохновенным челом
В Лору вождем был и Сельму,
Радостный царственный дом.
Рек же владыка: «Чужбина
В Сельму послала певцов;
Чашу привета, Мальвина,
Дева, царица пиров».
Гнедич и Дельвиг! и оба
В дверь безответного гроба
Оба и вдруг вы ушли!
В глубь беспредельной дали
Ухо вперяю напрасно;
Все и темно, и безгласно:
Там они, выше земли!

Тихо; по звездному своду
Ходит немая луна;
Ночь обаяла природу
Маками мертвого сна;
Дремлют и стоны, и бури.
Вдруг... по дрожащим лучам
Что-то скользнуло с лазури,
Зримое вещим очам...
Чудится чей-то мне голос,
Холодно! — млею; мой волос
Весь поднялся, как живой;
Всею моею душой
Делятся радость и трепет...
Песнью становится лепет...
Братья! не вы ли со мной?

Простился я сегодня с Державиным: отдал его. Но непременно через полгода или год (разумеется, если буду жив и еще здесь) опять его выпрошу. Третья часть, т. е. оды, названные стариком анакреонтическими, венец его славы. Они истинно бессмертны; тут почти нет ни одной, в которой не было бы хоть чего-нибудь прекрасного, даже в самых слабых найдешь или удачную черту, или счастливый оборот, или хоть живописное слово. Лучшие же такие перлы Русской поэзии, которые мы смело можем противоставить самым лучшим созданиям в сем роде иностранцев и даже древних.

[...][3]

8 января

11 января[4]

[...]в «Военном журнале» прочел я описание осады и взятия приступом Ахалцыха, статью покойного Ивана Петровича Бурцова, изданную по его смерти Вальховским. Оба они мне были хорошие приятели, особенно с Вальховским я был даже очень дружен: мы вместе выросли; в Лицее я почти одного его и слушал. [Где то время, когда у Бурцова собирался кружок молодых людей, из которых каждый подавал самые лестные надежды? Сам Бурцов, братья Колошины, Вальховский, Василий Семенов, молодой Пущин (конно-артиллерийский), Жанно Пущин, Искритский, Александр Рачинский, Дельвиг, Кюхельбекер. Многие ли из них уцелели?] [5]

12 января

С нынешнего дня мне остается еще до срока 6 лет и 6 месяцев; прошло же моего заточения без малого (потому что меня арестовали около 20 числа) — 9 лет.

13 января[6]

[...] Принесли мне новый чекмень, шаровары и жилет; старый чекмень послужил мне с лишним 8 лет. [...]

28 января

Елисавета Кульман[7] — что за необыкновенное восхитительное существо! Стихи ее лучше всех дамских стихов, какие мне случалось читать на русском языке; но сама она еще не в пример лучше своих стихов. Сколько дарований, сколько души, какое воображение! и это все должно было погибнуть семнадцати лет! Тут можно с глубоким чувством истины и скорби произнесть многозначущие слова, которые от бессмысленного употребления порою стали так пошлы, слова, которые теперь произносит преравнодушно бездушный наследник ничтожного богача, когда извещает о смерти этого человека, собственно, вовсе никогда не жившего, или лицемерная вдова, когда хоронит мужа и едва может скрыть радость, что наконец избавилась от того, кого ненавидела, — слова: «Неисповедимы пути Провидения»; и точно, как не называть их неисповедимыми, когда подумаешь, чем бы могла быть Елисавета, если бы смерть ее у нас не похитила так рано!

Статью о ней написал некто Никитенко; он сам человек с душою, с мыслями и дарованием. Не оставлю и я без приношения священной, девственной тени Элизы! Как жаль, что я ее не знал! Нет сомнения, что я в нее бы влюбился, но эта любовь была бы мне столь же благотворна, сколь были мне вредны страстишки к мелким суетным созданиям, в которых не было ничего изо всего того, чем дарило их мое слишком щедрое воображение.

30 января

Перечел вечером второе действие своего «Купеческого сына», кое-какие безделки выправил, но в целом остался доволен трудом своим. Вообще, благодаря милосердого бога, этот первый месяц 1835 года принадлежит к самым счастливым в моей жизни: я в нем не просто дышал, а мыслил, чувствовал, жил полною, богатою жизнию. Сегодня я кончил пиэсу, которую начал вчера; вот она:

ЕЛИСАВЕТА КУЛЬМАН

Берег ли священной Леты,
Ты ли, тихая луна, —
Но я верю, есть страна,
Где герои, где поэты
Не страдают, где они
В плоть нектарную одеты,
Где и их безбурны дни.
Там ни зол, ни гроз, ни ночи
Их божественные очи
Уж не видят; вход туда
Загражден для черни шумной,
Там не вопят никогда
Дикий смех и рев безумной;
Вся волшебная страна
Тонет в багреце заката;
Воздух весь из аромата;
Там гармонии полна
В ясных токах, вечно чистых,
Под навесом лоз душистых,
Как алмаз, горит волна.

Там, в прохладе райской сени,
Без вражды овца и лев;
В слух мужей, и жен, и дев
Уж не стоны и не пени
Льются в песни соловья;
Там блаженству внемлют тени
В самом лепете ручья.
Там все тучи, все печали
Светлой радостию стали,
Там дыханье клеветы
Не затмит сиянья славы:
Там в святыне красоты
Нет ни лести, ни отравы.
Отдохну же там и я!
Нужно мне отдохновенье:
Бед забвенье, ран целенье
Там найдет душа моя...
Слышу не земные звуки,
К теням простираю руки:
Ждут бессмертные друзья!

И я сбросил ношу тлена;
Зрю и я же наконец

Чад избранья, я, певец
Из наследия славена!
Светоч дивных не погас:
Вот Камоэнс — на колена!
Вот Марон, и Дант, и Тасс,
Вот, обнявшись, из тумана
Вдруг шагнули три титана:
Шекспир, Кальдерон, Эсхил!
Вот Гомер... Кто деду равен?
Он весь мир в себе вместил.
Вот не наш ли? Так, Державин,
Хора русских корифей!
Он предводит не толпою,
Но не слиты ж и со тьмою
Барды, честь земли моей:
Их восторженные лица
Так мерцают, как денница
Из-за трепетных ветвей.

К вам, родные! — Вдруг движенья
Сладким ужасом лишен,
Не в кумир ли претворен
Я от хлада изумленья?
Будто камень при пути,
Стал в плену самозабвенья,
Стал — и с места не сойти!
Знаю, я в стране чудесной,
Все ж не в области небесной:
Гостья ль с оной высоты,
Из отчизны совершенства,
В мирный вертоград мечты,
В край смиренного блаженства,
К вам спустилась? Кто она?
Между вами словно дома;
Мне безвестна, а знакома...
Или в вещем царстве сна,
Или в храме идеала
А душа ее встречала:
Ею мысль и грудь полна!
Там я зрел ее! Оттоле
В прах свергаем, в шум земной,
Я спасал призрак святой;
Я ж и в роковой неволе
Бурь, обманов и скорбей,
В нашем грустном, темном доле
Тайно тосковал по ней.
И с улыбкой величавой
Старец, увенчанный славой,
Бард Фелицы провещал:
«Сын, ты прав, — земная риза
Облачила идеал,
И родилася Элиза:
Но прекрасной (я горжусь)
Не далекое светило
Колыбелию служило,
Нет! — моя родная Русь.
Здесь я дочерью своею

Называть Элизу смею,
А — скажу ль? — порой боюсь.

Здесь не может быть раздора.
Рай и мир одно для нас;
Что ж, и здесь великий Тасс
Уступил мне не без спора
Милое мое дитя...
На земле бы Леонора
Ревновала не шутя.
Без досады и без гнева,
А и Шиллер: „Наша дева!“ —
Мне три раза повторил.
Сам Гомер, наш вождь державный,
Вскрикнул: „Сонмы горних сил!
Я ей предок, и недавний!“.
Ждали мы: судьбе хвала!
Дева потупила взоры
Как от отблеска Авроры,
Покраснела до чела,
Поклонилась славным теням,
Но к укромным нашим сеням,
В наши кущи потекла!

С той поры без опасенья
Смотрим мы на сонм теней;
Только я нередко к ней
Обращаюсь, полн сомненья:
„Не мечта ты, дочь моя?
Не созданье вдохновенья?
Точно мы тебе семья?
А не дети бездн эфира,
О которых наша лира
Проповедала земле?
Ах, тебе ли, горной розе,
Было цвесть в тяжелой мгле,
В душегубящем морозе?“.
Часто мыслю: что для ней
Наш Коцит и наша Лета?
На мгновенье дева света
К нам спорхнула в Элизей;
Вдруг в отечество святое,
В небо улетит родное,
В царство духа и лучей!».

31 января

Читал я опять Голикова.[8] Люблю я турок под Бендерами: они своею бережностию к бешеному, но несчастному и в несчастии, несмотря на бешенство, величавому Карлу XII, по моему мнению, истинно достойны почтения; просвещенные европейцы едва ли бы были так снисходительны.

Кончился для меня этот поэтический месяц! Благодарным, из глубины души благодарным должен я быть моему господу за все, что он даровал мне с нового года! Молю его, да пошлет он мне и еще благодеяние вели-

чайшее изо всех — мир внутренний! Теперь же повторю: «Благослови, душа моя, господа и не забывай воздаяний его!». Чтоб не напала на меня хандра, примусь завтра за Гомера.

16 февраля

Наконец, бившись три дня, я переупрямил упорную державинскую строфу, которая особенно трудна по расположению рифм и по краткости стихов; не знаю, какова пиэса, только знаю, что она обошлась мне не дешево.

РОСИНКА

Сон побежденный
С выси янтарной
Канул за лес:
Шар лучезарный,
Око вселенной,
Сердце небес —
Всходит и пало
Тьмы покрывало,
Сумрак исчез!

С синего свода
Токи ли злата
Льются на мир?
С ложа подъята,
Встала природа,
Села за пир;
Пышет и блещет,
Жизнью трепещет
Легкий эфир.

Сладостный пламень
Горней нучины
Всюду горит:
Холмы, долины,
Море и камень
Мощный живит;
Твердью ли стала
Капля кристалла?
В ней его щит.

В лоне росинки,
Малой, дрожащей
(Дунешь и — нет!),
Чуть тяготящей
Чашу былинки, —
Слава и свет,
Трон исполина,
Зрак властелина
Дней и планет!

С ясной лазури
Солнце вещало:
«Хляби! валы!
Мне ли зерцало
Пленники бури,
Узники мглы?
Дики, свирепы,
Рвите заклепы,
Рушьте скалы!

Капле смиренной
Вас ли, мятежных,
Я предпочту?
С стран безрубежных
К черни надменной,
К вам, в темноту,
В бездну, где грохот,
Скрежет и хохот,
В ад ли сойду?».

Благостный, вечный,
Дивный не в шуме,
Бог не в грозе;
Нет! — в тихой думе,
В глуби сердечной,
В чистой слезе,
В скорби незлобной,
В деве, подобной
Чистой росе.

22 февраля

Еще возражение Шеллингу, отрицающему в самобытном, бесконечном Я самопознание. Не отвергаю, что вечное Я должно было предшествовать всему и создать все. Однако что такое Я, если оно не есть ощущение

своей личности, познание своего бытия, уверенность в своем существовании; а это ощущение, познание или уверенность что же, когда не самопознание? По крайней мере то, что себя не чувствует, не может же сказать о себе: Я; Я и жизнь, по-моему, одно и то же. То, что не ведает о своем существовании, мертво, — не живет, а только бывает; а что мертво, то бессильно и недеятельно и без движения, сообщенного ему со стороны, никогда не выйдет из вечного покоя, никогда ничего не произведет. Итак, бесконечное Я или получило свое могущество, свою силу (и тогда оно уже не есть первая вина всему), или оно не мертво, а самодеятельно, живо, т. е. знает себя, ведает о своем существовании.

27 февраля [9]

[...] Прочел я в «Дополнениях» к «Деяниям Петра Великого» царствование Михаила Федоровича. За неимением ничего лучшего рад я, что хоть из Голикова узнал некоторые подробности времени, последовавшего за смертью Ляпунова, — Заварзина звали Сидором, Просовецкого Андреем, а отчество Артемия Измайлова — Васильевич. Не знал я, что Измайлов был казак, вместе с Шеиным. [...]

1 марта

[...] Из Голикова я узнал, что не Иван Ржевский, а другой — Андрей Никитич — был защитником Брянска. [...]

2 марта

Вечером прочел несколько занимательных статей в «Библиотеке»; между прочим, отрывок из «Воспоминаний о Сирии» [10] Осипа Морозова. Этот Осип Морозов чуть ли не тот же Осип Сенковский: по крайней мере и у Морозова те же марлинсковские замашки и то же незнание русского языка, что у Брамбеуса-Сенковского. Впрочем, и у того, и у другого не отнимаю ни воображения, ни завлекательности, ни истинного таланта. Но все же Марлинский подлинник, а они оба списки, и все же не быть им законодателями в русском языке.

8 марта [11]

[...] Начало повести Бальзака «Старик Горио» очень заманчиво — но я встречал даже в наших журналах отрывки и целые создания Бальзака же, в которых было более поэзии, более воображения, теплоты и пылкости. [...]

12 марта

Начал 24 книгу «Илиады», и довольно успешно; читал же я своего вечного Голикова.

14 марта

Ныне, 14-го марта 1835 г., добрался я в греческом подлиннике до последнего стиха «Илиады»; начал я ее 9-го июня 1831 года, стало быть, читал без малого четыре года. Довольно медленно! Однако не надобно забывать, что иногда по 6 месяцев и не заглядывал в книгу, а кроме того, каждую песнь перечел три, четыре, а иную и пять раз.

18 марта

С наслаждением прочел я отрывок из «Воспоминаний о Сирии» Морозова (Сенковский, Брамбеус и Морозов непременно одно и то же лицо); название этому отрывку «Затмение солнца». Тут все хорошо, кроме следующей ереси: «Душа поистине столько же облагораживается на вершинах земли, сколько на первых высотах общества». Охота профессору Сенковскому быть маркизом! Что за первые высоты общества? Не читал же профессор «Онегина». Иное дело, если он на высотах общества полагает людей не самых светских, а самых умных и добродетельных: это соль земли, и между ними подлинно чувствуешь себя благороднее и лучше. Только точно ли люди самые умные и добродетельные в тех кругах, которые в обыкновенном разговоре называют высотами общества? Как вы об этом думаете, господин профессор?

20 марта

Сегодня начал я Шеллинговы «Исследования о существе человеческой свободы» [12] («Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit»). Начало этого творения удивительно: какая глубина и вместе какая ясность! Преклоняю колено пред великим мыслителем и прошу у него прощения, что было понял его криво! Особенно для меня поразительно согласие его учения с учением святой религии христианской.

Дай только бог, чтобы я и далее везде мог выразуметь это согласие! Если случится противное, так лучше припишу то ограниченности собственных способностей, нежели самому Шеллингу.

21 марта

Целый день читал я Шеллинга. Необыкновенно великий человек! Какая глубина и вместе ясность (да! ясность) в творении, которое теперь читаю. Как малы и ничтожны его противники! (особенно наши молодцы: Брамбеус и Греч и Массальский; да что о них и говорить!) Не ограничусь выписками отдельных мыслей,[13] а постараюсь отдать себе отчет во всей его системе. Может быть, это пригодится не одному мне.

24 марта

Утро провел я неожиданно приятно; удалось мне переложить в стихи одно место из 3 Книги Царств, вот мое переложение:

И ТАМО ГОСПОДЬ

(Кн. Царств 3, гл. 19, ст. 11 и 12)

И был к нему от господа глагол
И так вещал: «Воздвигнись в день грядущий
И там, в горах, покинув темный дол,
Пред богом стань, — и пройдет всемогущий!».

И се! возник в пустыне крепкий дух,
Великий ветр, и гласом завыванья
Наполнил прозорливца грудь и слух
И члены облил мразом содроганья.

И с корнем кедры вырывая вон,
И морем праха тьмя лицо лазури,
И скалы раздирая, мчится он;
Но бог не в нем, господь не в духе бури.

По вихре трус, и будто океан
Волнуется Иуды край священный,
Шатнулся и колеблется Ливан,
Как муж, вином столетним упоенный.

Но и не в трусе бог. И глубь земли
Разверзлася, и пламенного тока
Густые волны, хлынув, потекли;
Но господа не видит взор пророка.

Огонь потух, и замер треск и гром
(Так умолкает звонкий конский топот,
Теряясь постепенно), и потом
Пронесся в мир прохлады тонкий шепот:

И шепот тих, и сладостен, и мал,
И бога тут узнал предвозвеститель,
Лицо закрыл и господу предстал
И рек: «Тебе я внемлю, вседержитель!».

26 марта

После обеда прочел окончание повести Бальзака «Старик Горио» и внутренно бесился на бессмысленные примечания г-на переводчика;[14] но они более чем бессмысленны, они кривы и злонамеренны. Супружеская верность и чистота нравов мне, верно, не менее, чем ему, драгоценны и святы, но лицемерие и ханжество мне несносны; художественное создание не есть феорема эфики, а изображение света и людей и природы в таком виде, как они есть. Порок гнусен — но и в порочной душе бывает нередко энергия; и эта энергия никогда не перестанет быть прекрасным и поэтическим явлением. Бальзакова виконтесса, несмотря на свои заблуждения и длинную ноту «Библиотеки», — все-таки необыкновенная, величавая (grandiosa) женщина, и если г. переводчик этого не чувствует, я о нем жалею. Вотрен мне напомнил человека, которого я знавал, «когда легко-

верен и молод я был». Разница только, что мой Вотрен скорее был чем-то вроде Видока, нежели Жака Колена. Об «Арабесках» Гоголя [15] «Библиотека» также судит по-своему: отрывок, который приводит рецензент, вовсе не так дурен; он, напротив, возбудил во мне желание прочесть когда-нибудь эти «Арабески», которые написал, как видно по всему, человек мыслящий.

29 марта

Читал сегодня Голикова. Чудак покойник Голиков! Хорошо ли, худо ли, а рассказал он историю Петра Великого, кажется, — и конец делу — история доведена не только до смерти, но даже до похорон героя. Не тут-то было! «Я, — говорит автор, — рассказал вам жизнь Петра, но в многих случаях врал; так дайте же перескажу вам всю историю еще раз!» — а затем издает «почтенный муж, достойный многих хвал», дюжину, может быть и более, томов дополнения!

3 апреля

Брамбеус! — перечел я его диатрибу «Брамбеус и юная словесность». Какие у него понятия о словесности: «Стихотворения, т. е. поэмы в стихах, и поэмы в прозе, т. е. романы, повести, рассказы, всякого рода сатирические и описательные творения, назначенные к мимолетному услаждению образованного человека, — вот область словесности и настоящие ее границы». С чем имею честь поздравить господина Брамбеуса! Я бы лучше согласился быть сапожником, чем трудиться в этих границах и для этой цели. Светский разговор у него прототип слога изящного; а публика состоит из жалких существ, которые ни рыба, ни мясо, ни мужчины, ни женщины. «Увы! — восклицает он далее в конце своего разглагольствования. — Кто из нас не знает, что в числе наших нравственных истин есть много оптических обманов!». После этого «Увы!» и подобных понятий о словесности, слоге и публике — считаю позволенным несколько сомневаться в искренности тяжких нападок, которыми обременяет Брамбеус новых французских романистов и драматургов. Искренно сказать,— мне кажется, что он просто на них клеплет или не понимает их.

7 апреля [16]

[. . .] Я вздумал взглянуть на довольно плохую картинку в моем английском словарчике — *вид Лондона* с большого Темзского моста, — и задумался: я мечтою бродил по городам, которые и я когда-то видел при подобном освещении, в моем воображении мелькали Петербург, Москва, Париж, Лион, Марсель, их виды, их мосты, их вечера — и моя минувшая жизнь. [. . .]

15 апреля

Сегодня ровно четыре года, как вывезли меня из Д‹инабург›ской крепости.

16 апреля

Поутру прочел я в третий раз «Торквато Тассо» Кукольника. Это лучшее создание нашего молодого поэта и один из лучших перлов нашей поэзии, очень не богатой творениями, которые бы могли сравниться с фантазиею Кукольника. Стихи везде прекрасны (не говоря о мелочах, т. е. двух-трех обмолвках не совершенно хорошего вкуса и двух-трех словах с ударением не на том складе, на котором ему следовало бы быть), стихи, повторяю, везде прекрасны: они в высокой степени музыкальны, внушены истинным восторгом, живописны, напитаны, проникнуты душой и чувством; единственный их недостаток, что они более лирические, нежели драматические. Первый акт и начало второго, т. е. сцена между Лукрециею и Джюлио Гаскано и затем монолог Лукреции, так хороши, что на нашем языке я ничего подобного не знаю: они достойны Шиллера, могут смело выдержать сравнение с лучшими сценами германского трагика. К несчастию, все то, что за ними следует до самой сцены в 3 акте между Константини и молодым Мости, незрело, слабо вымышлено и мало обдумано. Потом идет опять ряд прекрасных сцен или выходов (как их называет автор) до разговора между Константини и Альфонсом; этот разговор необходимо бы переделать, потому что он почти ничего не открывает касательно клевет, под которыми страждет Тассо, — все тут темно, сбивчиво, неопределенно, между тем как точность и ясность тут особенно нужны. Следуют опять прекрасные сцены до конца четвертого акта; только вот вопрос: зачем видение Тасса принимает совершенный вид черного духа с крылами, т. е. беса, а говорит как ангел света? Сверх того, превосходная сцена, в которой терзание, раскаяние, перед самою смертью вспышки непотухшей страсти и смерть Лукреции, была бы еще лучше, если бы мы знали, в чем именно состоит клевета страдалицы-преступницы. В пятом акте много красот — но много и необдуманного, даже в самых лучших местах, напр. в пророчестве Тасса: о Державине и России прелесть, но о тевтах темно, бледно, — не знаешь, хвалит ли, бранит ли их Торквато; «о том юноше холодном и суровом» — должно бы непременно сократить, если и не вовсе выкинуть. Сверх того, в венчании Тасса слишком много оперного: все это должно бы быть проще. Оба монолога Тасса в 1 и 2 выходах этого акта исполнены чувства и фантазии, но народные сцены вообще слабы, а Тассова перебранка с чернью почти смешна, тем более что невольно принимаешь сторону черни против заносчивого выходца из больницы святыя Анны. Но еще раз: красоты в этой фантазии первой степени и далеко перевешивают недостатки; «Торквато Тассо» Кукольника — лучшая трагедия на русском языке, не исключая «Годунова» Пушкина, который, нет сомнения, гораздо умнее и зрелее, гораздо более обдуман, мужественнее и сильнее в создании и в подробностях, но зато холоден, слишком отзывается подражанием Шекспиру и слишком чужд того самозабвения, без которого нет истинной поэзии.

20 апреля

Кукольника драма «Рука всевышнего отечество спасла» несколько в последних актах утомительна тем, что Минин, и Пожарский, и Трубецкой, и Ржевский собственно одно и то же самое, но первый акт истинно прекрасен; он весь согрет чистым высоким чувством: Минин в этом первом акте превосходен. Теплота везде, парение почти лирическое во всей драме; к несчастию, этот лиризм совершенно уничтожает другую необходимую стихию драматическую — ясность и отчетливость.

22 апреля

С большим удовольствием я только что прочел «Сельцо Дятлово»[17] Ушакова: все тут так живо, так естественно, что сказать нельзя! — всех этих людей я, кажется, знавал, разговаривал с ними, досадовал на них.

23 апреля[18]

[...] Что значит просвещение! Сегодня, когда прохаживался, матрос из стоящих на карауле взглянул на небо и воскликнул: «Какое прелестное небо!». Лет за десять назад любой матрос в *нашем* флоте, вероятно, даже не понял бы, если бы при нем кто назвал небо прелестным... Как после этого еще сомневаться, что наш век идет вперед? [...]

12 мая

Большую радость бог послал мне: мой «Ижорский» мне прислан напечатанный.[19] Жаль только, что в нем ошибок типографических бездна. Худой же корректор Владимир Федорович Одоевский. Но все же я и ему благодарен за труд. Считаю не нужным упоминать здесь, кому по этому случаю я особенно считаю себя обязанным быть признательным: упоминать о нем было бы здесь как-то некстати; только — бог мне свидетель — что чувствую его благодеяния.

13 мая

После обеда в «Библиотеке» прочел очень милую повесть Шидловского «Пригожая казначейша»[20] и статью (вероятно, Сенковского) о Словаре Рейфа.[21] Статья очень умна, очень основательна: в некоторых только мелочах я не совсем согласен с рецензентом; напр., он полагает, что слова персского происхождения, общие славянскому языку и языкам германскому и фракийскому (который он называет латино-греческим), перешли в славянский из языков германского и фракийского. Почему же не наоборот? Далее, он к финскому корню причисляет языки монгольский, манчжурский, турецкий etc., т. е. те, которые (за исключением турецкого), по Аделунгу, составляют особое семейство восточноазиатских; а галльский

почти причисляет к европейским или (по Аделунгу) к кавказским. Нет сомнения, что восточноазиатские языки гораздо ближе подходят к финским, чем к кавказским, что они даже когда-то составляли одно семейство; но и галльские, или кельтские, принадлежат к этому же семейству, разбитому, разрозненному вторжением в его первобытное обиталище языков кавказских, или верхнеазиатских.

19 мая

Сказать ли? Право, боюсь даже в дневнике высказать на этот счет свое мнение. Но быть так! Читаю по вечерам мелкие стихотворения Пушкина; большая часть (и замечу: все почти хваленые, напр. «Демон», «Подражания Корану», «Вакхическая песнь», «Андрей Шенье» etc.) слишком остроумны, слишком обдуманны, обделанны и рассчитанны для эффекту, а потому (по моему мнению) в них нет... вдохновения. Зато есть другие, менее блестящие, но мне особенно любезные. Вот некоторые: «Гроб юноши», «Коварность», «Воспоминание», «Ангел», «Ответ Анониму», «Зимний вечер», «19 октября».

«Чернь» всячески перл лирических стихотворений Пушкина.

В «Библиотеке для чтения», в статье о посмертных сочинениях Гете, попалось мне мнение Больвера[22] (автор «Рейнских пилигримов»), разделяемое, по-видимому, издателями «Библиотеки», будто: «Проза сердца (?) просвещает, трогает, возвышает гораздо более поэзии»; будто: «Самый философический поэт наш (т. е. английский), переложенный в прозу, сделается пошлым»; будто: «Чайльд-Гарольд, кажущийся таким глубокомысленным творением, обязан этим глубокомыслием своему метрическому слогу: в самом деле в нем нет ничего нового, кроме механизма слова»; будто: «Стих не может вместить в себе той нежно утонченной мысли, которую великий писатель выразит в прозе. Рифма всегда ее увечит». Не говоря уже ни слова о прекрасном слоге нашего великого писателя в прозе, т. е. русского переводчика, замечу, что Байрона на днях, за неимением подлинника, перечел именно в прозе, и в дурной французской прозе, — а все-таки удивлялся дивной глубине его чувств и мыслей (хотя тут мысли — дело второстепенное). Сверх того, сам я рифмач и клянусь совестью, что рифма очень часто внушала мне новые, неожиданные мысли, такие, которые бы мне никоим образом не пришли бы на ум, если бы я писал прозою; да мера и рифма вдобавок учат кратко и сильно выражать мысль, выражать ее молниею: у наших великих писателей в прозе эта же мысль расползается по целым страницам.

4 июня

Повесть «Фрегат Надежда»[23] из лучших сочинений Марлинского. Особенно она мне потому нравится, что тут автор не так расточителен на «бестужевские капли»; их тут мало и везде кстати. Единственный недостаток этого прелестного творения — морские варваризмы, без которых

мы, профаны, очень и очень могли бы обойтись. Марлинский — человек высокого таланта: дай бог ему обстоятельств благоприятных! У нас мало людей, которые могли бы поспорить с ним о первенстве. Пушкин, он и Кукольник — надежда и подпора нашей словесности; ближайший к ним — Сенковский, потом Баратынский.

7 июня

Готовлюсь к святому причастию; между тем я очень недоволен своим расположением духа, чувствую какую-то неодолимую лень читать духовные книги. Конечно, я бы мог себя принудить к этому чтению или отложить говение до другого времени; но в первом случае боюсь читать одними глазами, а если отложу, кто поручится мне, что скоро буду в лучшем расположении? Единственное, быть может, не вовсе дурное то, что чувствую глубокую, нелицемерную скорбь, когда вспоминаю свои прегрешения. Но и эта скорбь тяжелая, глухая, без живительных слез, без отрадного умиления. Да будет воля божия! Отчасти я сам виноват, отчасти обстоятельства меня развлекли и заставили вспомнить мир и мирское. За последнее я все же должен благодарить господа, ибо он тем учит меня, что недаром отказывает мне в исполнении многих желаний моих: если уж достижение одного из них во мне возбудило столько прежнего, что бы было, когда бы и другие были достигнуты?

10 июня

Итак, начался мой 39 год! Молю господа, да будет день сей началом новой, лучшей жизни для меня, да принесут плод семена, которые спаситель мой ныне посеял в сердце моем в часы размышления и чтения книг, написанных его последователями — Рейнгардтом и сочинителем подражания Иисусу Христу! Первого прочел я проповедь о святом причастии, второго несколько глав из четвертой части о том же предмете.[24]

1836 год[1]

17 октября

[...] 19 ОКТЯБРЯ 1836 ГОДА

Шумит поток времен. Их темный вал
Вновь выплеснул на берег жизни нашей
Священный день, который полной чашей
В кругу друзей и я торжествовал...
Давно... Европы страж — седой Урал,
И Енисей, и степи, и Байкал
Теперь меж нами. На крылах печали
Любовью к вам несусь из темной дали.

Поминки нашей юности — и я
Их праздновать хочу. Воспоминанья!
В лучах дрожащих тихого мерцанья
Воскресните! Предстаньте мне, друзья!
Пусть созерцает вас душа моя,
Всех вас, Лицея нашего семья!
Я с вами был когда-то счастлив, молод —
Вы с сердца свеете туман и холод.

Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Рокочут... Пушкин, Пушкин! это ты!
Твой образ — свет мне в море темноты;
Твои живые, вещие мечты
Меня не забывали в ту годину,
Как пил и ты, уединен, кручину.

Тогда и ты, как некогда Назон,
К родному граду простирал объятья;
И над Невой затрепетали братья,
Услышав гармонический твой стон.
С седого Пейпуса, волшебный, он
Раздался, прилетел и прервал сон,
Дремоту наших мелких попечений —
И погрузил нас в волны вдохновений.

О брат мой! много с той поры прошло,
Твой день прояснел, мой покрылся тьмою;
Я стал знаком с Торкватовой судьбою.
И что ж? опять передо мной светло:
Как сон тяжелый, горе протекло;
Мое светило из-за туч чело
Вновь подняло — гляжу в лицо природы:
Мне отданы долины, горы, воды.

О друг! хотя мой волос поседел,
Но сердце бьется молодо и смело.
Во мне душа переживает тело,
Еще мне божий мир не надоел.
Что ждет меня? обманы наш удел,
Но в эту грудь вонзилось много стрел;
Терпел я много, обливался кровью:
Что, если в осень дней столкнусь с любовью? [...]

1837 год

22 мая [1]

[...] ИСФРАИЛУ

Скажи: совсем ли мне ты изменил,
Доселе неизменный мой хранитель?
Для узника в волшебную обитель
Темницу превращал ты, Исфраил;

Я был один, покинут всеми в мире,
Всего страшился, даже и надежд;
Бывало же коснешься томных вежд,
С них снимешь мрак, дашь жизнь и пламень лире —
И снова я свободен и могуч:
Растаяли затворы, спали цепи,
И как орел под солнцем из-за туч
Обозревает горы, реки, степи,
Так вижу мир раскрытый под собой
И радостно сквозь ужас хладной ночи
Бросаю полные восторга очи
На свиток, писанный судьбы рукой!..
А ныне пали стены предо мной:
Я волен; что же? — бледные заботы,
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты;
Смели, как прах, с души моей виденья,
Отняли время и досуг творить —
И вялых дней безжизненная нить
Прядется мне из мук и утомленья. [...]

Баргузин
3 сентября

ПОСЛАНИЕ К БРАТУ

Минули же и годы заточенья;
А думал я: конца не будет им!
Податели молитв и вдохновенья,
Они парили над челом моим,
И были их отзывом песнопенья.
И что ж? обуреваем и томим
Мятежной грустию, слепец безумный,
Я рвался в мир и суетный, и шумный.

Не для него я создан. Только шаг
Ступить успел я за священный праг
Приюта тихих дум — и уж во власти
Глухих забот, и закипели страсти,
И дух земли, непримиримый враг
Небесного, раздрал меня на части:
Затрепетали светлые мечты
И скрылися пред князем темноты.

Мне тяжела, горька мне их утрата:
Душа же с ними свыклась, жизнь срослась;
Но пусть! я и без них любовью брата
Счастлив бы был; с ним вместе, не страшась,
Вступил бы я в борьбу — и супостата
Мы побороли бы; нет, дружных нас
Не одолел бы! Может быть, и лира
Вновь оживилась бы на лоне мира.

О! почему, неопытный борец,
Рукой неосторожной грудь родную

Я сжал и ранил? — Пусть восторжествую,
Пусть и возьму столь лестный мне венец,
Ах! лучше бы я положил, певец,
Забытый всеми, голову седую
В безвестный темный гроб, чем эту грудь,
И без того больную, оттолкнуть!

Где время то, когда, уединенный,
К нему я в даль объятья простирал,
Когда и он, любовью ослепленный,
Меня к себе под кров свой призывал?
Я наконец перешагнул Урал,
Перелетел твой лед, Байкал священный,
И вот свою суровую судьбу
Я внес в его смиренную избу!

Судьбу того, кто с самой колыбели
Был бед звездою всем своим друзьям;
За них, подъемля руки к небесам,
Молился, чтобы скорби пролетели
Над милыми, сердца их я же сам,
Бывало, растерзаю... Охладели,
Заснули многие; ты не отъят,
Ты мне один остался, друг и брат!

А между тем... Покинем и забудем,
Забудем бури, будто злые сны!
Не станем верить ни страстям, ни людям;
Оставь мне, отпусти мои вины;
Отныне в жизни неразлучны будем:
Ведь той же матерью мы рождены.
Сотрем же пятна с памятной скрижали;
Все пополам — и радость и печали.

8 сентября

Получил письмо от Юлии: матушка знает о разводе брата.

11 сентября

Ездил по мох. Физических сил, кажется, у меня больше, чем когда приехал: теперь я гребу довольно исправно.

13 сентября

Была мне сегодня поэтическая минута: работали у меня на чердаке и пели уныло-протяжно; погода была мокрая, осенняя, и читал я повесть, которая совершенно соответствовала и пенью, и погоде, а именно «Любовь и Смерть» Брамбеуса; да заснул за пеньем, погодою и повестью.

17 сентября

День Любви, Надежды, Веры.

Бессонница от забот; но благодарю господа за нее; я беседовал с самим собою, с совестью и с минувшим и укрепился в уповании на бога.

17 ноября

Опять два месяца, что я не писал дневник: да писать не было о чем, кроме горя.

21 ноября

Вчера определился ко мне работник, мальчик 15-ти лет; зовут его Харитоном Чирковым; я его погладил по голове, он потом погладил и меня по голове же.

Сегодня начал я свою автобиографию.

2 декабря

В первый раз не совсем неудачно вырабатывал 4-ю книгу «Вечного Жида». В «Телеграфе» на 1833 год попалась мне повесть «Живописец»,[2] которая очень недурна, особенно хорошо лицо старого иконописца. По слогу она что-то сбивается на манеру Одоевского.

1838 год

14 июня

12-го вечером родился у меня сын-первенец, мертвый. Вчера я его похоронил и при выносе дал ему имя Феодор.

19 октября

19 ОКТЯБРЯ

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый
В средине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил!
Блажен! лице его всегда младое,
Сиянием бессмертия горя,
Блестит, как солнце вечно золотое,
Как первая эдемская заря.

А я один средь чу́ждых мне людей
Стою в ночи, беспомощный и хилый,

Над страшной всех надежд моих могилой,
Над мрачным гробом всех моих друзей!
В тот гроб бездонный, молнией сраженный,
Последний пал родимый мне поэт...
И вот опять Лицея день священный;
Но Пушкина уже меж нами нет!

Не принесет он новых песней вам,
И с них не затрепещут перси ваши;
Не выпьет с вами он заздравной чаши:
Он воспарил к заоблачным друзьям!
Он ныне с нашим Дельвигом пирует;
Он ныне с Грибоедовым моим:
По них, по них душа моя тоскует;
Я жадно руки простираю к ним!

Пора и мне! — Давно судьба грозит
Мне казней нестерпимого удара:
Она того меня лишает дара,
С которым дух мой неразрывно слит!
Так! перенес я годы заточенья,
Изгнание, и срам, и сиротство;
Но под щитом святого вдохновенья
Но здесь во мне пылало божество!

Теперь пора! Не пламень, не перун
Меня убил; нет, вяну средь болота,
Горою давят нужды и забота,
И я отвык от позабытых струн.
Мне ангел песней рай в темнице душной
Когда-то созидал из снов златых;
Но без него не труп ли я бездушный
Средь трупов столь же хладных и немых?

22 октября

Хочу вести опять дневник не совершенно по-прежнему, однако, по крайней мере, отмечать все, что со мною случится мало-мальски примечательного, и суждения о том, что приведется прочесть не совершенно пустого.

Сегодня я был на горе довольно высоко; искал своего быка, да и нашел. При этом случае удалось мне насладиться прекраснейшим видом: все окрестные деревни и город, как на блюде. Устал я, между прочим, как собака, и потерял свой кушак.

29 октября

Приехал Н. Н. Черных[1] с Нижегородской ярмарки; не заходя домой и не поздоровавшись с братьями, он тотчас прошел на могилу матери.

1839 год

15 января

Они моих страданий не поймут,
Для них смешон унылый голос боли,
Которая, как червь, таится тут,
В груди моей. Есть силы, нет мне воли;
Хоть миг покоя дайте! — нет и нет!
Вот вспыхнуло: я вспрянул, я поэт; —
Божественный объемлет душу пламень,
Толпятся образы — чудесный свет
В глазах моих, — и все напрасно: нет!
Пропало все! — Добро бы с неба камень
Мне череп раздвоил, или перун
Меня сожег: последний трепет струн
Разорванных вздохнул бы в дивных звуках
И умер бы, как грома дальний гул;
Но я увяз в ничтожных, мелких муках,
Но я в заботах грязных утонул!
Нет! не страшусь убийственных объятий
Огромного несчастья: рок, души, —
Ты выжмешь жизнь, не вырвешь ты души...
Но погибать от кумушек, от сватей,
От лепета соседей и друзей!..
Не говорите мне: «Ты Промефей!».
Тот был к скале заоблачной прикован,
Его терзал не глупый воробей,
А мощный коршун. Был я очарован
Когда-то обольстительной мечтой,
Я думал: кончится борьба с судьбой
И с нею все земные испытанья;
Не будет сломан, устоит борец,
Умрет, но не лишится воздаянья
И вырвет напоследок свой венец
Из рук ужасной бедности слепец!
Она берет тебя из стен твоей темницы,
Толкает в мир (ведь ты о нем жалел!).
А твой-то мир исчез, как блеск зарницы,
И быть нулем отныне твой удел!

19 января

Сегодня уехал от нас молодой чиновник, служащий по особым поручениям при генерал-губернаторе, по фамилии Успенский.[1] Я в его обществе провел несколько очень приятных не баргузинских часов. Вдобавок просил его кое о чем, с чего, ежели удастся, начнется для меня совершенно новая жизнь.

Из всего читанного мною в последнее время (а в книгах я, к счастью, не имел недостатка) мне особенно понравилась Подолинского «Смерть Пери»[2] — это истинно восхитительная поэмочка, стихи тут чистый мед. Не забыть и Вельтманова «Лунатика»;[3] тут много жан-полевского и вместе много совершенно русского.

23 января[4]

[...] ДВА СОНЕТА

1

Уранионов друг, божественный Тантал
На небо восходил в чертог их светозарный
И за амврозией, за чашею нектарной,
Гость, собеседник их, меж ними пировал.

И что же? согрешил Тантал неблагодарный,
Похитил пищу их и в ад с Олимпа пал!
Очнулся в Лете он и слышит: плещет вал.
Испил бы труженик — прочь вал бежал коварный...

Прочь от засохших уст, поток обильных вод
Над жаждою его смеется. — Будто дева
Прелестная, так свеж висит румяный плод;
Кажись, зовет: «Сорви!» — а в нем огонь Эрева,
Свирепый голод... Но умрет за родом род,
Плода не схватит муж проклятия и гнева!

2

«Ты пыльной древности преданье воскресил;
К чему? Мы знаем все от велика до мала
Рассказы о судьбе несчастного Тантала:
Вперед побереги запас и рифм, и сил».

Не спорю, правы вы: так, сказка обветшала,
И мифов греческих давно забытый ил
Теперь уже не тот, которым, словно Нил,
Река времен умы когда-то утучняла.

Но что? не я ли сам страдалец тот Тантал?
И я живал в раю; за чашею нектарной
Молитв и песней я на небе пировал!
И вот и я, как он, с Олимпа в бездну пал;
Бежит от уст моих засохших вал коварный;
Ловлю — из-под руки уходит плод янтарный! [...]

26 февраля

[...] К ЭМИЛИИ[5]

У вас все было без раздела:
И мысль, и радость, и печаль;
Но вдруг в таинственную даль
Твоя подруга отлетела!
Твои легчайшие мечты
В ее груди ответ встречали;
Она была другая — ты;
В ней из могильной темноты
Твои родные воскресали.

Вдруг нет ее! — стоишь одна
В пустыне жизни безотрадной;
От сердца твоего она
Без жалости оторвана
Судьбой бесчувственной и хладной!
Не ропщешь ты: несешь свой крест,
Таишь страданья — молча тужишь,
Сирот лелеешь, бедным служишь
И шепчешь: «Друг мой высше звезд,
Но смотрит на меня оттоле.
Покорствую небесной воле:
Ведь с нею не надолго я
Рассталась! Ангелы-друзья,
Давно утраченные нами,
Мою Наташу обо мне
Расспрашивают в той стране.
И вскоре быстрыми крылами
И я взмахну, и от земли
Скрываясь в радужной дали,
Там, где отец, и мать, и братья,
С восторгом брошусь к ней в объятья!». [...]

7 сентября

Сегодня получил я напечатанный экземпляр фарса «Нашла коса на камень».[6]

1840 год

19 января

Покинул я Баргузин. Сижу на Итанце у Оболенского.[1] Расставанье было тяжко, но я должен был решиться на этот шаг. Храни, господи, моего бедного брата!

Акша
7 февраля

Поутру читал Евангелие от св. Матфея на греческом; потом занимался с моими маленькими ученицами историею, а после обеда навестил гроб Аврамова [2] и был у здешнего священника.

9 февраля

Вот стихи, которые пошлю Орлову:[3]

Я простился с Селенгою,
Я сказал: прости, Уда!
Но душа летит туда,
Где я сблизился с тобою,

Где, философ и поэт,
Ты забыл коварный свет.
Там, где подал ты мне руку,
Там и я было забыл
Жребий свой — изгнанья муку...
Я взглянул, полууныл:
Чувств прервалось усыпленье;
Пробудилось на мгновенье
Что-то прежнее во мне;
Прежний друг мой — вдохновенье —
Пронеслось, будто во сне,
Над моей седой главою...
Незабвен мне дом певца:
Исфраил живет с тобою!
Холь же милого жильца,
Береги: он ангел света;
Он Эдем создаст тебе;
С ним, с хранителем поэта,
Ты в лицо смотри судьбе!
Песнь его не та ли Лета,
Из Элизия река,
Коей сладостные волны,
Дивных волхований полны,
Плещут в райские брега?
Там не область испытанья,
Там не помнят, что страданья,
Там неведома тоска.

11 февраля

АННУШКЕ[4] В АЛЬБОМ

Если путник утомленный
Обретет в степи сухой
Цвет душистый и смиренный,
Воскресает он душой:
Обещает цвет прекрасный
Вечер сладостный и ясный
После тягостного дня.
«Ждет меня ручей прохладный,
Роща под свой щит отрадный
Примет до утра меня!» —
Так шепнул пришлец усталый,
И сорвал цветочек алый,
И к устам его прижал.
Друг! — и я было устал:
Горьки были испытанья,
Ношу тяжкого страданья
Средь пустынь, и тундр, и скал
Я влачил в краю изгнанья;
Вдруг ко мне спорхнула ты,
Будто с горней высоты
Ангел мира, ангел света.
Из-за грозных, черных туч
Мне мелькнул веселый луч,
Луч радушного привета.
Дол угрюмой темноты

Вкруг меня ты озарила
Блеском детской красоты.
Мне дала обратно силы,
Я с судьбой мирюся вновь:
Здесь знакомым чем-то веет,
Здесь моей семьи любовь
Душу трепетную греет.

12 февраля

Перепишу две пиэсы, которые я написал: одну еще в сентябре месяце в Уринском селении, когда молотили мой хлеб, а другую в Верхнеудинском. Первая на смерть моего незабвенного Николая (Глинки),[5] другая на рождество для атаманского Петиньки:[6]

1

Ты жил, ты подавал блестящие надежды;
Ты вдруг исчез, ты не исполнил их;
Пред роком мы стоим, унылые невежды,
И говорим: «Зачем покинул ты своих?
Зачем расстался с жизнью молодою
И следа не оставил на земле?».
Ты был для нас отрадною звездою
В житейской безотрадной мгле.
Звезда погасла: огненной струею,
Разрезав небо, твой мгновенный свет,
Подобно быстрому, ночному метеору,
Пронесся по обзору,
И мы глядим — и нет!
Что ж? о тебе воспоминанье,
Как смутное, несвязное мечтанье,
Изгладится из памяти друзей?
О мой питомец! сын души моей!
Ужели даром я, поэт, тебя взлелеял?
От плевел заблужденья и страстей
Я самого себя пред всюдусущим взвеял
И в грудь твою из собственной своей
Все лучшее, что было в ней,
С болезненной любовью сеял...
И это все напрасно? — ты
Сокрылся в лоно темноты!
А думал я: «Мое моленье
Угодно будет благостной судьбе;
Без слабостей и пятен обновленье
Себе предвижу; возрожусь в тебе».
Но одного еще удара
Недоставало мне — и он меня сразил!
Единой не было средь милых мне могил, —
И вот над нею, как отец Оскара,
Сижу я, одинок, осиротелый бард!
И даже звуков погребальных
Не извлеку из струн моих печальных.
Ах! дух мой не обнимет, будто нард,

Твоих прекрасных черт, мой юноша, нетленьем;
Под бременем страданья он поник,
И не в моих стихах возлюбленный твой лик
Восторжествует над забвеньем!

2

Христос родился: с неба он
Принес нам жизнь, принес закон
Любви, спасенья, благодати —
И образ восприял дитяти.
Чтоб нашу гордость побороть,
Младенцем слабым стал господь;
Он, грозный судия вселенной,
В дому родительском возрос,
Послушный отрок и смиренный.
И начал проповедовать Христос:
И что ж? божественный учитель,
Владыко ангелов и сил,
Сын божий, смертных искупитель,
Ласкал младенцев и любил;
Детей в объятья принимая,
Лобзая их, он говорил:
«Внемли, надменный! в двери рая
Вступить желаешь ли? вот путь
(Иного нет!): младенцем будь!».
— И я младенец: мой спаситель
Меня и любит, и хранит!
Так! ныне там его обитель;
Но он и слышит все, и зрит,
Он в мраке наших душ читает;
Мою молитву примет он:
Пусть соблюду его закон,
Пусть будут чужды мне до гроба
Пронырство, лесть, коварство, злоба!
Пусть до могилы буду я
И сердцем и душой дитя.

15 февраля

Прочел очень милую комедийку Коцебу[7] «Переодеванья». Вчера я был на Елозиной горе; вид с нее хорош, да не худо бы было несколько почистить чащу.

Странный феномен! Один мой здешний знакомый, человек очень не глупый, боится Васинькиной куклы.

16 февраля

Были у нас в Акше беги; на масленой, говорят, их будет много. Ввечеру бостонили мы у Истомина.

18 февраля

Хотел было продолжать «Ижорского», но еще не было творческого электрического удара; а просто обдумать план не мое дело: все, что я когда-нибудь обдумывал зрело и здраво, лопало и не оставляло по себе ни следа.

Вчера я прочел «Фельдкюмелеву свадьбу» Коцебу. Право, у Коцебу было необыкновенное комическое дарование. Теперь вошло в моду его ругать и презирать, но, ей-богу, бóльшая часть чванных и заносчивых умников, которые им пренебрегают, сто раз хохотали до слез за его фарсами, если только в них столько ума, чтобы понять истинно смешное.

21 февраля

В 3/4 12-го началось здесь частное солнечное затмение; с юго-западной стороны солнечной сферы тень луны обошла на юг, восток, северо-восток и сошла совсем с солнца на северо-северо-восточной стороне в 4 минуты 2-го часа. День был довольно теплый, но во время затмения сделалось чувствительно холоднее. Братские уверяют, что затмение предзнаменует снег. В календаре лам есть вычисления затмений вперед, точно как и в наших.

Истомин мне сказывал, что на Кислых водах, в 100 верстах отселе, в каком-то большом утесе высечена огромная пещера, в которой род каменного ложа, а снаружи разноцветные надписи на каком-то неизвестном языке.

22 февраля

Сильно простудился, а вдобавок глаза болят от вчерашних астрономических наблюдений.

25 февраля

Кончилась масленица. Что-то наши баргузята? Чай, гуляют! Слава богу, меня тревожили эту неделю не слишком, но и делать-то я немного сделал: все немог.

28 февраля

В числе царственных стихотворцев нашего времени надобно заметить покойного хана Монголии Юн-дун-Дордзи,[8] который, судя по рассказам здешнего учителя, должен был быть поэтом, едва ли уступающим в таланте е<го> в<еличеству> королю Людовику Баварскому.[9]

4 марта

Марлинского рассказ «Военный антикварий»,[10] как все из-под пера этого писателя, жив и боек, только немножечко то, что французы называют chargé.[a]

---

[a] шаржированный (*франц.*).

Мой Мишенька вчера начал делать: ладушки, ладушки! Только он что-то эти дни неможет.

10 марта

Начал свою корреспонденцию: сегодня я изготовил письма к Орлову, Курбатову[11] и Разгильдееву. Был у Истоминых.

«Эмма»[12] Полевого занимательна; но везде видно подражание: тут и Жан Поль, и Гофман, и Марлинский, нет только одного Полевого. «Мешок с золотом» оригинальнее.

20 марта

Я сегодня был опять на Елозиной горе. Тепло и приятно; в Баргузине, я полагаю, еще такие морозы, что только держись. Писал я опять Орлову. Вчера я кончил «Mémoires de la comtesse du Barry»,[a][13] в этой книге очень много занимательного, но в Аннушкиной библиотеке она не годится; надобно сказать отцу, чтоб он ее отобрал.

25 марта

Прекраснейший весенний день. Переписываю своего «Итальянца». Аннушка в первый раз с тех пор, как знаю ее, огорчила меня, правда, безделицею; но я принял эту безделицу к сердцу, именно потому, может быть, что люблю ее. Оскорбления от тех, кого не люблю, могут меня раздосадовать, но никогда не опечалят.

26 марта

Был у меня тунгусский лама, который лечит Наталью Алексеевну.[14] Он сказал, что на тунгусском языке 31 буква; сверх того, рассказал мне, как они постятся по три дня в любое время, ничего не едят, не пьют и как можно менее спят, даже слюны не глотают.

27 марта

Когда раз разочаруешься насчет кого бы то ни было, трудно даже быть справедливым к этому лицу. Царствование Гете кончилось над моею душою, и, что бы ни говорил в его пользу Гезлитт[15] (в «Rev. Britt.»), мне невозможно опять пасть ниц перед своим бывшим идеалом, как то падал я в 1824 году и как то заставил пасть со мною всю Россию. Я дал им золотого тельца, они по сю пору поклоняются ему и поют ему гимны, из которых один глупее другого; только я уже в тельце не вижу бога.

---

[a] «Мемуары графини Дю-Барри» (*франц.*).

28 марта

Был я сегодня в Смольной пади, куда я спустился через Елозину гору, и нашел там священника, с которым я на его лошади (он пересел на работникову) воротился верхом.

30 марта

Кончил переписку 9-ти первых писем своего «Итальянца»: я их написал в Свеаборге в 32-м году. Удастся ли написать продолжение?

6 апреля

Был я довольно далеко в горах, хотел взойти на Козлову, да попал на другую, подальше.

23 апреля

Вот стихи покойного Бальдауфа,[16] горного офицера, служившего в Нерчинских заводах и умершего на пути в Россию. Читал я и прежде кое-что его, но кроме штукенбергской напыщенности ничего в них не находил особенного; эти действительно хороши, и очень хороши:

О если бы мог я фантазии силой
Подругу себе сотворить
И образ прелестный, таинственно милый
На радость души оживить,
Из черных бы туч глубокой полночи
Я свил ее кудри и ясный бы луч
    Похитил в небесные очи;
    Две розы бы тут же сорвал:
Те розы в щеках бы ее пламенели;
Уста сладострастья б улыбкою млели,
И Лель бы на полной груди отдыхал.
Но где бы ж нашел я одежду прекрасной?
Соткал бы я утренний синий туман,
Сорвал бы я радугу с тверди ненастной
И ей опоясал бы девственный стан,
И в грудь ее страстную, белую, нежную
    Я жалость бы к скорби вдохнул,
    Покинул, забыл бы любовь безнадежную
И сладко на той бы груди я заснул!

1 мая

Вчера приехал А. И. Разгильдеев из Чинданта и привез с собою племянника, который взял с собой несколько книг — grande nouvelle et grand évenement pour Akcha! [a] Тут, между прочим, три томика «Московского наблюдателя» на 36-й год. «Чудная бандура» [17] Ознобишина очень не-

[a] большая новость и большое событие для Акши! (*франц.*).

дурна. Статья о Парацельзе Роб. Браунинга[18] мне кажется неудовлетворительною и слишком поверхностною: автор почти требует, чтобы ему на слово поверили, что Браунинг гений.

3 мая

Внесу в дневник для памяти некоторые события моей акшинской жизни, которые *иным* очень легко могут показаться моей собакой a l'Alcibiade,[a] [19] но, право, *иные* ошибутся.

1. Это случилось уже давно, т. е. с месяц тому назад. Был я у вечерни. Вечерня отошла. Священник подзывает меня к себе — подхожу, он наклоняется, я также, и что же? вдруг чмок — и я его поцеловал; не знаю, почему показалось мне, что он хочет поцеловать меня, между тем как он только хотел дать мне просфору для Миши.

2. В пасху пришли ко мне с христославием: я подошел под благословение к священнику, а потом, расходясь, и к дьячку. Но лучше всего:

3. Нынешнее происшествие: умер некто старик Баскаков.[20] У Разгильдеевых вижу человека, который мне показался его сыном, — надобно же ему сказать какое-нибудь приветствие, чтобы показать ему, что принимаю участие в его утрате. «Здравствуйте, дай бог царствие небесное вашему батюшке!». Нат‹алья› Ал‹ексеевна›: «Да что вы, В‹ильгельм› К‹арлович›,— его отец уже лет с двадцать как умер!». Я: «Извините, отец дьякон, мне показалось, что вы Баскаков». А на поверку это не Баскаков, не дьякон, а третий — Мусорин.[20] Вот рассеянность!

4 мая

Переписываю «Юрия и Ксению». Дай-то бог, чтоб эта поэмка пошла в ход. В голове у меня бродит «Самозванец», и, кажется, довольно оригинальный: Самозванец — волхв, род Фауста, словом, такой, каким был Гришка в глазах простого народа.

8 мая

В «Наблюдателе» прочел я рассказ Гейне «Флорент‹инские› ночи».[21] Судя по ним, Гейне стоит своей славы: легкость, острота, бойкость необычайные, особенно в немце. Портрет англичан и английского языка очень хорош; тут, право, что-то истинно вольтеровское.

12 мая

Сегодня ровно 14 лет моей очной ставке с К‹аховским›.[22] Чудный видел я сегодня поутру сон: будто я в какой-то земле, где Р‹ылеев› и К‹аховский› — святые; вдобавок Р‹ылеев› будто тут жив, — а между тем мне

---

[a] Алкивиада (*франц.*).

рассказали его смерть: он, говорили мне, когда объявили ему его жребий, попросил надеть белую рубашку и потом простился с женою, дочерью в какой-то комнате и с тестем на дворе, куда старика привели в кандалах. Дочь при прощанье он взял на руки и стал поднимать все выше, выше, до потолка, покуда ребенок не закричал. Спрашивал я: «Почему же и К‹аховский› не надел белой рубашки? — ему позволили бы», — и был ответ: «Да он об этом не просил». Тут мой Миша проснулся и разбудил меня.

25 мая

«Амазонки», роман Фан-дер-Фельде,[23] нелепая сказка, а между тем читаешь ее и оторваться не можешь, потому что в этом ребяческом изобретении небывалых и невозможных похождений тот же интерес, который в романах Радклиф: не принимая ни в одном лице участия (ни одно из них не могло существовать), все же хочешь узнать, чем-то это все кончится. Точно, это самый низший разряд занимательности; но творцам романов высшего разбору (или высших претензий) не худо бы было перенять искусство, с каким Фан-дер-Фельде возбуждает любопытство и умеет до самого конца скрывать развязку.

26 мая

Сегодня день рождения покойного Пушкина. Сколько тех, которых я любил, теперь покойны!

В душе моей всплывает образ тех,
Которых я любил, к которым ныне
Уж не дойдет ни скорбь моя, ни смех.

Пережить всех — не слишком отрадный жребий! Высчитать ли мои утраты? Гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов; Дельвиг умный, веселый, рожденный, кажется, для счастия, а между тем несчастливый; бедный мой Пушкин, страдалец среди всех обольщений славы и лести, которою упояли и отравляли его сердце; прекрасный мой юноша, Николай Глинка, который бы был великим человеком, если бы не роковая пуля, он, в котором было более глубины, чем в Дельвиге и Пушкине и даже Грибоедове, хотя имя его и останется неизвестным! И почти все они погибли насильственною смертью, а смерть Дельвига, смерть от тоски и грусти, чуть ли еще не хуже! Кто у меня остался? Матушка, некогда женщина необыкновенная,[24] ныне развалина, и ей 84-й год. Сестра Юстина Карловна, — слова богу, хоть она, но все же это не матушка; конечно, у ней чувства много, но нет этого удивительного, поэтического воображения, которым и за 70 лет еще моя старушка молодела и очаровывала; а предрассудки! Другая сестра — доброе, милое существо, но и просвещением, и умом слабее Юстины; нет, таких женщин,

какова была матушка, право, немного; я не знавал ни одной подобной! Брат — мы друг друга не понимаем! Вот и все, и со всеми я разлучен!

28 мая [25]

[...]

31 мая

Ходил я с девицами на Козлову гору и дорогой рассказывал им сказку Гофмана «Der Sandmann».[a] Вид с горы хорош, но не так обширен, как с Елозиной. Флора здешняя прелестна.

4 июня

Вчера и третьего дня шел беспрерывный дождь; сегодня тепло и сухо. Такого благодатного лета я еще в Сибири не видал.

Прочел я в «Revue Encyclopédique» статью какого-то англичанина, где он, как дважды два четыре, ясно доказывает, что русским невозможно ни в чем успеть за Балканами: на деле вышло не то.

6 июня

Ходил с девушками опять далеко прогуливаться; желтых лилий здесь множество.

11 июня

Чудное создание человек! Как в нас неодолима склонность верить предсказаниям, особенно, разумеется, благоприятным, хоть бы они были и нелепы, хоть бы мы и ясно видели, что они пустяки! Так, напр., вчера мой приятель лама Мурай предсказал мне долголетие, и я очень склонен ему верить. Между тем, что его пророчество вздор, я не только уж по тому должен был видеть, что оно основано на хиромантии и на пульсе, но и что он при том, рассмотрев мою руку, примолвил, что я должен бы быть счастлив и что не понимает, как я попался в Сибирь! Прошу покорно: я и — счастлив!

Сегодня была два раза гроза, два раза дождь и раз град, первый, какой видел я в Сибири.

13, 14 июня [26]

[...] ТРИ ТЕНИ

На диком берегу Онона я сидел,
Я, чьей еще младенческой печали
Ижора и Нева задумчивы внимали,
Я (странный же удел!),

---

[a] «Песочный человек» (*нем.*).

Кому рукоплескал когда-то град надменный,
Соблазн и образец, гостиница вселенной,
И кто в Массилии судьбу народов пел,
А вслед за тем, влекомый вещим духом,
Родоначальником неизреченных дум,
Средь грозных, мертвых скал склонялся жадным слухом
На рев и грохот вод, на ветра свист и шум,
На голос чад твоих, Кавказ-небогромитель!
И напоследок был темницы душной житель.
Свинцовых десять лет, как в гробе, протекло;
Однообразный бой часов без измененья
До срока инеем посыпал мне чело
В глухих твердынях заточенья.
Все обмануло, кроме вдохновенья:
Так и судьбы неумолимый гнев
Не отнял у меня любви бессмертных дев;
Слетали к узнику священные виденья.
Что ж? — в мире положен всему предел:
За старым новое отведал я страданье;
Уж ныне не тюрьма мой жребий, а изгнанье...
На диком берегу Онона я сидел
И вот раздумывал причудливую долю
Свою и тех, с которыми ходил
Во дни моей весны по жизненному полю,
Питомцев близких меж собой светил.
Их дух от скорби опочил,
Но тени их, моих клевретов,
Жертв сердца своего, страдальцев и поэтов,
Я вызывал из дальних их могил.
Угрюмый сын степей, хранительниц Китая,
Роптал утесами стесняемый Онон,
Волнами тусклыми у ног моих сверкая.
И, мнилось, повторял *их* передсмертный стон,
И, словно факел *их* унылых похорон,
Горела на́ небе луна немая.
Был беспредельный сон на долах, на горах —
Тут не спал только я с своей живой тоскою...
Вдруг — будто арфы вздох пронесся над рекою;
Таинственный меня обвеял страх;
И что ж? то был ли бред больного воображенья,
Или трепещутся и там еще сердца,
И в самом деле друг, податель утешенья,
Явиться может нам, расторгнув узы тленья?
Почудилися мне родные три лица:
Их стоп не видел я — скользили привиденья
(Над каждым призраком дрожало по звезде,
И следом каждого была струя мерцанья),
Воды не возмущая, по воде —
Я вспрянул, облитый потоком содроганья,
И в ужасе студеном, как со сна,
Вскричал и произнес любезных имена:
«Брат Грибоедов, ты! Ты, Дельвиг! Пушкин — ты ли?».
Взглянул — их нет; они уж вдаль уплыли;
Вотще я руки простирал к друзьям, —
Как прежде, все померкло и заснуло;
И только что-то мне шепнуло:
«Мужайся, взоры к небесам!

Горька твоя земная чаша,
Но верь, товарищ: есть свиданье там.
А здесь поэзия и дружба наша
Вильгельма память передаст векам!».

22 июня

Провел неделю, в которой отстал от всех своих занятий; зато познакомился с очень милым человеком, М. А. Дохтуровым.[27] Это тот самый маленький русский доктор, the little russian doctor,[a] о котором говорит Байрон, знакомец милорда стихотворца, Трелавнея,[28] и теперь мой; он перебывал в университетах Дерптском, Берлинском, Гейдельбергском, в плену в Истамбуле, лекарем в Одессе, в Петербурге, наконец, в Нерчинских заводах; сын он графини Толстой, племянник известного генерала, был когда-то адъютантом Закревского;[29] знает по-немецки, итальянски, французски, восточные языки, латинский, новогреческий, пишет стихи, рисует, стреляет метко из пистолета, фигурка маленькая, черномазенькая; сыплет анекдотами, либеральничает немножечко и философствует, умен, любезен, вспыльчив, благороден, скуп — словом, Европеец. Лицом он немножечко похож на покойного А. А. Шишкова.

Вот стихи, которые написал я ему на память:

Так, знаю: в радужные дни
Утех и радостей, в круженье света
Не вспомнишь ты изгнанника поэта;
Хоть в непогоду друга помяни!
Молюсь, чтобы страданья и печали
Летели и тебя в полете миновали;
Но не был никому дарован век
Всегда безоблачный и ясный;
Холоп судьбы суровой человек:
Когда нависнет мрак ненастный
И над твоею головой,
Пусть об руку с Надеждою и Верой,
Как просвет среди мглы взволнованной и серой,
Тебе предстанет образ мой.

26 июня

Вчера проводили мы нашего доброго Александра Ивановича до перевоза, что за волостью; с ним уехал и Дохтуров. Жаль было бедного казака, как он над своими детьми плакал; из детей мне особенно было жаль Аннушки. Вот стихи, которые Дохтуров написал мне на память:

Уж я опять, опять на тризне
На безотрадной, роковой
По призраках минувшей жизни,
По грезах жизни молодой.

---

a маленький русский доктор (*англ.*).

За этою строфою следует несколько, которые просто ни на что не похожи; а потом две — одна истинно прекрасная, другая, если она внушена только искренностью, должна меня очень и очень утешать:

Минута жизни, но удалой
Отрадней многих тяжких лет;
И лучше гибнуть, но со славой,
Чем прозябать без бурь и бед.

О не жалей же о свободе,
Ни о былом, знакомец мой,
Ты вечен в памяти народа,
А я все в гроб возьму с собой.

13 июля

Дневник пишу лениво, да, право, нечего писать: книг нет, стихи или не пишутся, или некогда. Ужели здесь еще хуже будет, нежели в Баргузине? Врагов-таки я успел же себе нажить: злейший — Дунька, которую мы сюда привезли; она вредит нам, где только и как только может.

Перечел я Луганского «Бакея и Мауляну»: [30] славная вещь, хотя и не повесть... Луганский и Вельтман, право, самые даровитые из нынешних наших писателей.

16 июля

Третьего дня приехал сюда майор Алексей Николаевич Таскин [31] и привез мне письмо от Вадковского, [32] которое, может быть, очень и очень важно. Сам Таскин очень милый и добрый, вдобавок умный, образованный человек; он здешний уроженец. Читал он мне два своих стихотворения: описание окрестностей Чинданта и поэмку «Два чолдона». Последняя особенно хороша.

21 июля

Вот очень недурной анекдот-притча, который вчера рассказал мне наш священник:

«Молодой человек исповедуется у какого-то отшельника, рассказывает ему несколько крупных грехов и на вопрос старца, не знает ли еще что за собой, отвечает: нет. Духовник настаивает, но кающийся на все увещания, чтобы постарался вспомнить, повторяет: нет да нет. „Хорошо же, — говорит монах. — Верю тебе, чадо, что с умыслу ничего не утаиваешь, но яви мне послушание: ступай в поле и собери мне, сколько можешь, камней да принеси их сюда в келью“. Сказано — сделано: юноша принес разной величины камней, сколько только мог. Отшельник похвалил его и велел ему нести их назад и положить каждый на свое место. Пошел, но вскоре воротился послушник и более

половины камней высыпал снова перед старцем: они все были мелкие. „Больших место, — говорит, — я отыскал, а вот этих, отче, воля твоя, не припомню“. — „То же самое, сын мой, и с грехами, — тут подхватил духовник. — Место, время и обстоятельства тех, которые считаешь, что они побольше, ты не забыл, по ним и вспомнил самые грехи. Но не думай, что ты безгрешен и в тех, которых не можешь припомнить: вместе-то они чуть ли не тяжелее крупных“».

24 июля

То, чего уже давно боюсь, приближается; матушка в апреле была при смерти больна: она приобщалась св<ятых> таин, но этот раз, слава богу, ее здоровье поправилось. Сумрачен, мой господи, и вечер дней моих: один за другим все меня покидают, все те, которых я любил!

Не радует меня прекрасный твой мир, мой боже! Я столько и стольких любил и стольких утратил, что, право, устал, утомился даже от печали, не могу даже и ей предаться с тем последним наслаждением, которое наконец одно остается тому, кто все переотведал; я ее теперь боюсь, а бывало любил: и в таком-то расположении души через месяц, через год прочту я весть, что нет уже той, которая мне была всего дороже в мире! Поневоле пожелаешь: ах, если бы не дожить до этой вести!

25 июля[33]

[...] Моим единственным утешением теперь и вообще, когда тяжко, — добрая моя Аннушка, дочь здешнего командира, une jeune personne de 14 a 15 ans, mais qui me comprend comme si elle avait 20.[a] [...]

27 июля

Что-то завтра будет? Ждут губернатора;[34] мне с ним надобно поговорить об очень важном и щекотливом деле.

28 июля

Сегодня, в день рождения моего Миши, приехал губернатор — и привез мне очень отрадное письмо от Сельского.[35] Руперт[36] принял посвящение моих «Шуйских» и хлопочет о том, чтобы их напечатать; сам Сельский, кажется, несколько совестится и, может быть, и в самом деле вышлет мне часть моих денег. Губернатор очень милый человек: он мой старый знакомец и помнит, как мы обедали с ним вместе во дворцовом карауле у брата. Ложусь спать в тот самый час, когда я услышал первый крик Миши!

---

[a] юная особа 14 или 15 лет, но которая понимает меня, как будто ей 20 (*франц.*).

1 августа

Мало радостного было со мною во все эти дни. Миша мой болен и хуже, чем когда-нибудь; сам я отказался его лечить; пользует его Татьяна Ивановна: будет ли лучше? Жена возненавидела жизнь, и я, признаюсь, жажду покоя. Если Миша будет моим предшественником в тот мир, пусть его чистенькая душенька скажет моим, что отец скоро, скоро будет! В няньках была у меня старая ведьма, настоящая шекспировская колдовка; она, обобрав меня, отошла; теперь девчонка, зовут Маланьей; дай-то бог, чтоб ужилась!

22 августа

Вчера и сегодня по ночам сильные грозы и в воздухе необычайная духота.

Читать нечего, а, право, хотелось бы. Перебрал я ящик с бумагами, сколько тут разных впечатлений! сколько испытанного, перечувствованного, забытого или такого, о чем и вспомнить тяжело! Тяжело вспомнить не одни заблуждения, но и те ощущения невозвратные, которые волновали мою душу когда-то при первых наитиях набожности, любви к ближним, тоски по родных, по тех, из которых судьба меня потом кое с кем опять привела в болезненное столкновение! Все это прошло и уж не воскреснет! Что же осталось в душе моей? Ужели одно беспредельное желание покоя? Nolli me tangere! [a] Более ничего не хочу, все прочее — восторги поэзии и веры, любовь, дружба, самая грусть — все мне приелось. Боже мой! или это состояние долго продолжится?

28 августа

Кому мои отметки, напр. о книгах, пригодятся? Мише ли, если он переживет меня? Разве только ему! Впрочем-то, и книг-то прочел я очень не много в течение моего 15-тилетнего странствования по крепостям России и степям Сибири.

В день, когда за 13 месяцев родился мой Миша, начну новый дневник; сознаюсь, что это по чувству суеверия. Его рождение и годовщина его рождения принесли мне счастие, вот почему и желаю думать, что в тетради, в которой стану записывать примечательные случаи моей жизни со дня его рождения, встретится этих случаев более счастливых, нежели несчастных.

Укрепи меня, боже, на стезе жизни! дай мне упование, что ведешь все к лучшему, и чтобы не было в моем дневнике таких отметок, как предпоследняя!

---

[a] Не трогайте меня! (*лат.*).

2 сентября

Этот год я много разъезжаю верхом: сначала мне было трудно на здешних казачьих лошадях, теперь я мало-помалу привык; вот и сегодня я ездил в Варашанту и назад; это вместе составит около 60 верст. День был бесподобный, и на душе легко. По приезде начал я читать «Ла Перуза»,[37] драму Коцебу, да с досады бросил; суждение мое об этой драме заключается именно в словах, с которыми я ее бросил: «Преглупая задача! das kommt heraus, wenn man klüger sein will, als der Herr Golt!» [a]

5 сентября

Слава богу, я, говоря по-сибирскому, сегодня отстрадался, т. е. кончил жатву и сенокос.

Комедия Коцебу «Бюро» и драма «Аббат Л'Эпе» напомнили мне Лицей: драму-то воспитанники второго выпуска, наши преемники, представляли в какой-то праздник, на котором и я был, еще при добром нашем директоре Е. А. Энгельгардте; а комедию, вместо Корнелия Непота, читал с нами по слабости добрый (чтоб не более сказать) наш профессор А. И. Галич.

7 сентября

У меня достало терпения прочесть кое-что в «Невском альбоме» Бобылева.[38] Все, кроме довольно порядочной пиэски стихами «Два мгновения» и недурной картины бурятских нравов в прозе, — все прочее без исключения, кажется, написано в каком-то припадке самого дикого бреда. Впрочем, автор все же должен быть не дурак.

10 сентября

Мишенька начинает ходить: стоит он уже без помощи и переступает шага три или четыре.

Ты, мой милый сын, — если господь продлит жизнь твою — прочтешь и эту отметку, может быть, тогда, когда давно истлеют кости твоего несчастного отца. Помни же, как я тебя любил, как всякое твое развитие радовало мое сердце, которому мало было дано радостей в жизни!

14 сентября

Приехал сюда новый вахтер и привез мне поклон от Шапошникова.[39] Потчевал он своими книгами, а именно «Милордом Георгом», «Францы-

---

[a] получается, что хотят быть умнее, чем господин Гольт!» (*нем.*, перефразировка пословицы: «Das Ei will klüger sein als die Henne» — «Яйцо хочет быть умнее курицы»; тождественна русской: «Яйца курицу учат»).

лом Венецияном»[40] etc., однако я их возьму и если и не прочту, то хоть пересмотрю.

15 сентября

Читаю «Новую Грецию» Эдгара Кинэ.[41] Кинэ человек с германским умом и фантазией, но вместе и француз, т. е. он уж свое германство простирает слишком далеко, дальше природного немца. Перевод Кс. Полевого не совсем хорош: видно, что он был сделан наспех; иногда он даже неверен.

19 сентября

Приехали сюда, во-первых, патер Дизидерий, католический священник, и давно ожидаемый Успенский с камер-юнкером Львовым.[42]

20 сентября

Я провел время приятно, особенно со Львовым; но поступил очень неосторожно, чтоб не сказать более.

21 сентября

Слышал, как Львов играет на скрипке; почти столь же, как самая музыка, занимали меня выражавшие глубокое чувство лица Аннушки и Истомина; прочим cette belle musique ne faisait ni chaud, ni froid,[а] но довольно, что и двое сильно, живо были тронуты. И это не бездельное торжество!

Львов, кажется, имеет ко мне доверенность, и я всею душою хочу верить в его душу. Il n'y a rien de plus beau, que la foi, même si l'on se trompe dix mille fois.[б]

23 сентября

Сегодня уехал Львов, завтра Успенский, послезавтра Василий Данилович и Лизавета Ивановна:[43] наша Акша совсем опустеет.

25 сентября

После двух, трех дней, богатых впечатлениями, — утомительное однообразие: ни книг, ни приятных душевных занятий. Перечитываю от скуки Дмитриева.[44]

[а] от этой прекрасной музыки не было ни тепло, ни холодно (*франц.*).

[б] Нет ничего более прекрасного, чем вера, даже если ошибаются десять тысяч раз (*франц.*).

26 сентября

Что сказать мне о Дмитриеве? Он очень неровен. Лучшее, что он написал, мне кажется, сатиры: особенно послание Попа к Арбутноту [45] отличается силою и легкостию; перевод Ювеналовой сатиры также богат сочными стихами. Басни гораздо ниже крыловских и по содержанию, и по слогу. Еще слабее лиро-эпические стихотворения: «Освобождение Москвы», «Ермак», «К Волге». Сказки выше басен; особенно мне всегда нравилась «Картина», которую и покойный Дельвиг очень любил. Кстати скажу, что, перечитывая Дмитриева, я беспрестанно вспоминал Дельвига: как часто и много мы с ним читали и перечитывали старика! И должно же сказать, что мы оба ему многим обязаны.

29 сентября

Сегодня именины брата. Итак, я опять с ним розно, как тот год моего заточенья, когда я ему написал те стихи, в которых я так желал этот день проводить с ним вместе. Желание мое сбылось; но...

1 октября

Сегодня неожиданно удалось мне сделать очень приятную прогулку: вчера еще приезжал ко мне станичный казак из Кучумихи и звал к своей матери, будто бы разбитой параличом. По настоятельной его просьбе я сегодня с ним туда съездил и, к счастию, нашел, что у этой женщины не паралич, а спячка (syncope),[а] стало быть, болезнь не опасная; вдобавок любовался прекрасным местоположением этой деревушки и радушно был угощен самым зажиточным из ее жителей.

5 октября

Приехал Дрейер [46] и привез мне назад из Селенгинска мои книги и рукописи да письма от Бестужевых: письмом Николая я не очень доволен, особенно досадны commérages [б] Орлова.

7 октября

После очень и очень неприятного вчерашнего дня я сегодня веселился, как ребенок. Истомин для нас затеял un petit bal de famille et imaginez vous,[в] я, старый хрыч, плясал без отдыху кадрили, мазурки, вальсы и бог знает что еще, разумеется, путал фигуры как нельзя лучше; но, право, мы более веселились, чем на ином чопорном городском настоящем балу.

а летаргия (*лат.*).
б сплетни (*франц.*).
в маленький семейный бал, и представьте себе (*франц.*).

13 октября

Были у меня гости. Поутру священник служил у меня молебен, а потом кушали чай и закусывали Наталья Алексеевна с семейством, Дрейер и Татьяна Ивановна с сыном.

20 октября

Прочел я Расинову «Историю Пор-Рояльского монастыря»:[47] она чрезвычайно увлекательна, я совершенно согласен с Боало и аббатом Оливо, что это превосходное творение. Не безделица заставить и просто прочесть повесть, в которой главную роль играет довольно темный богословский спор; а заставить принять участие в этом споре, заинтересовать рассказом о гонениях, каким подверглись несколько богомолок-старушек и бедных девушек, — такое торжество, которому могут позавидовать многие историки à pretention.[а] Не понимаю только, как один и тот же человек мог написать эту историю и два письма к друзьям Пор-Рояля, в которых он осмеивает так едко игуменью Ангелику, выставленную в «Истории» едва ли не святою. Не понимаю? А я сам ужели никогда не издевался над тем, перед чем я потом благоговел?

21 октября

Наконец привелось мне в дневнике говорить не о Коцебу, не о Шписсе,[48] не о Поль-де-Коке, а о Жуковском, которого 4-е издание попалось мне[49] в первый раз в руки в 1840 г. В «Леноре» есть превосходные строфы; она, без сомнения, выше и «Людмилы», и «Ольги» Катенина; есть кое-какие и слабые места — но в мире нет ничего совершенного. Переделка «Батрахомиомахии» в своем роде прелесть, особенно спасибо поэту, что он так удачно воспользовался русскою сказкою в лицах «Как мыши кота погребают». «Сказка о спящей царевне» мне кажется несколько слабее пушкинских хореических сказок. Зато «Царь Берендей» очень и очень хорош; из *нового* это после «Кота Мурлыки» самое лучшее. «Перчатка» — образцовый перевод, хотя, кажется, размер подлинника и не соблюден. Даже анекдот — «Неожиданное свидание» — рассказан умилительно прекрасно. «Две были и еще одна» (с аллеманского) не без большого достоинства, однако, по-моему, уступают старому моему знакомцу «Красному Карбункулу». Жуковский едва ли не примирил меня опять с экзаметром, впрочем, все же не до такой степени, чтоб я сам стал когда-нибудь опять им писать или даже одобрил его экзаметрических переводов «Фридолина» и «Сражения с Змеем» Шиллера, в которых рифма и романтический размер не одни украшения, а нечто такое, с чем душа моя свыклась с самого младенчества. Жена à propos de[б] царевиче Белая Шубка[50] говорит, что белые мыши в Баргузине не редкость.

[а] с претензией (*франц.*).
[б] к слову о (*франц.*).

23 октября

Есть два рода занимательности: когда читаешь книгу и не бросаешь ее, потому что хочешь узнать, чем-то все это кончится; или когда какое-нибудь творение уже знаешь, когда только для того перечитываешь его страницы, чтоб опять насладиться теми из них, которые при прежних чтениях шевелили тебе душу. К первому роду занимательности способна даже самая глупая сказка, самый нелепый роман, напр. «Амазонки» Фан-дер-Фельде или «Египетские таинства» Шписса. Другого рода занимательность уже всегда порука за дарование автора и за неподложную красоту сочинения; ее-то я вчера, сегодня и третьего дня встретил в «Красном Карбункуле», который сряду перечел три раза и всякий раз с новым наслаждением, и в Расиновом «Британике».[51] Скажу здесь, кстати, слова два о «Британике». Нет спору, что диалог французской трагедии Расина вообще не очень естественен: в нем слишком много круглоты, слишком мало небрежности, слишком мало перерывов и живости, il est trop aprêté, trop épique; [а] die Sprache wird zum Gesang,[б] как говорит Шиллер, но чересчур. Однако в «Британике» эта принужденность, эта неестественность кстати; Агриппина, как тщеславная женщина, должна любить репрезентацию, должна любить слушать самое себя и любоваться своими фразами; Нерон еще притворщик, еще лицемер, а лицемеры всегда были охотники до тирад; Бурр не может еще отстать от привычки проповедовать, которую приобрел во время своего менторства; а Сатане-Нарциссу также невозможно обойтись без велеречия. Все эти говоруны придают диалогу трагедии некоторое однообразие; но ни в одной из известных мне французских театральных пиэс это единообразие не извинительнее, чем в «Британике», потому что оно основано на характере действующих лиц и, что всего удивительнее, не лишает его даже того интереса, который с первого взгляда ему противоречит.

30 октября

Прочел я «Наставление правильно состязаться с раскольниками»,[52] сочин‹енное› в Ряз‹анской› семинарии. Если только все правда, большая часть раскольничьих сект до невероятности нелепы и даже гнусны. Впрочем...

Автор иногда довольно забавен, когда он в случаях, в которых просто бы надобно сказать дуракам, что они дураки, преважно приводит резоны, а в других, где бы не худо было приводить доказательства, некстати ругается и только и твердит: «Никак нет, мы православные, а вы еретики». Человека, который тебя считает еретиком, не переуверишь, хотя бы ты сто раз повторил: я православный!

а он слишком отделан, слишком эпичен (*франц.*).
б речь превращается в пение (*нем.*).

6 ноября

Опять запустил свой дневник. Творческая вспышка в конце октября доселе осталась без последствий. Между тем я много прочел.[53] Во-1-х, перечел «Гофолию» и «Баязета» Расина; во-2-х, познакомился с романом Свиньина «Ермак»; в-3-х, с замечаниями Наполеона о походах Тюренна, а теперь читаю его замечания о походах Фридериха.

Я всегда считал «Гофолию» совершеннейшим творением Расина и теперь остаюсь при этом мнении; тут все бесподобно: обоего роду занимательности, о которых помянул я в отметке 23 октября, здесь соединены в высокой степени; характеры в тесной раме французской трагедии обрисованы мастерской рукою: все, не исключая и наперсника Мафанова, Навала, — живые люди, а не марионетки и разнообразны до чрезвычайности. Лучшим местом, если только можно выбирать во множестве превосходных, то, когда Иоадай бросается в ноги Иоаса. О стихах уже ни слова: это совершенство, которое должно привести в отчаяние всякого пишущего стихи. «Баязет» — одна из любимых пиэс Грибоедова; Барон Брамбеус, верно, ее не любит за несоблюдение восточных нравов. Я уж где-то в дневнике высказал свое мнение об этих смешных и ребяческих требованиях наших недавно оперившихся ученых ориенталистов, индологов etc. Характерами «Баязет» несколько слабее «Гофолии», но Акомат и Роксана бесподобны. Свиньина роман не совсем вздор и не совсем хорош: скачки огромные; есть, однако, места недурные.

Дерзко говорить мне, не военному, о книге величайшего из полководцев, в которой он обсуживает дела двух из самых знаменитых вождей Европы. Но — она занимательна и для профана. Еще осмелюсь заметить, что кажется, будто Наполеон радушнее хвалит Тюренна, нежели Фридериха. В строгих приговорах, которые произносит великий человек Финку и Фуке, виден император, не забывший еще капитуляции Дюпона, а в одном другом месте — живо помнящий поступки Моро, Бернадотта, саксонцев в Лейпцигскую битву.

9 ноября

Кюхельбекер в Акше получил письмо *от Жуковского из Дармштадта*,[54] и письмо, которое показывает высокую, благородную душу писавшего. Есть же, боже мой, на твоем свете — люди! Сверх того, он прислал мне свои и Пушкина сочинения.

Письмо Жуковского писано в день рождения Миши, а получено на другой день Михайлова дня.

11 ноября

Приехал Савичевский[55] и привез мне письмо от Дрейера.

15 ноября

Прочел я в довольно плохом переводе роман мисс Радклиф «Наследница Монтальда, или Привидения и таинства Замка Безанто». Нет сомнения, что тут много воображения и таланта, хотя и тени нет правдоподобия, да и слез и несчастий столько, что и сказать нельзя.

22 ноября

С 18-го по нынешний день жил я в Варашанте и молотил хлеб. Всего у меня $114^1/_2$ пудовок. К тому прикупил я у Николая Фильшина еще 10 пуд; сюда же привез 93; так что у меня на заимке осталось для посева $31^1/_2$ пуда. В Варашанте было скучно и тоскливо, по вечерам Александр сказывал нам сказки; перечел я в Шиллере[56] «Записки Вьельвиля» и статью о междуусобиях во Франции по смерти Карла IX; сверх того, начало «30-летней войны».

Сочинять хотел, да что-то не клеилось: причина, вероятно, слишком трудный размер, который выбрал я для сказки Зосимы в своем «Ижорском».

6 декабря

С стесненным сердцем я ожидал сегодняшнего дня: надобно было непременно заплатить кое-кому 20 рублей, а взять их совершенно было не у кого. Но, милый сын мой (для тебя в особенности пишу этот дневник), я столько в жизни испытал явных доказательств божией помощи, что не отчаивался и надеялся на совершенно неожиданную какую-нибудь выруку. Это так и случилось: два добрых человека, А. Я. Попов[57] и бедняжка Савичевский, заплатили за меня этот долг.

12 декабря

Давно не писал я своего дневника; все эти дни были из тех, о которых моя родимая, бывало, говорила словами Эклесиаста: «Sie gefallen mir nicht».[a] Но и за них благодарение господу! Они меня с ним сблизили. Сверх того, меня до глубины души тронуло участие Натальи Алексеевны и ее детей. Мише моему сегодня немного лучше. Сегодня 15 лет тому назад родилась Аннушка; итак, когда 14-го декабря 1825 г. меня постигло мое огромное несчастие, существовал уже двухдневный младенец, которому суждено было быть моим утешением через 15 лет здесь, в краю моего изгнания.

Видел я ныне ночью зловещий сон, который — по моему толкованию — грозит мне насильственною кровавою кончиной. Умереть должно — и на постели ли или иначе, не все ли равно? Была бы только смерть с покаянием. Итак, да будет и тут воля божия! Нехорошо только я сделал, что этот сон рассказал кое-кому. Но я почти не мог иначе.

---

[a] «Они мне не милы» (*нем.*).

22 декабря

Вчера поздно вечером господь дал мне сына.

26 декабря

Окрестили сына моего и нарекли ему имя Иван по дедушке.[58] Кумовьями были В. Д. Холщевников (вместо А. И. Разгильдеева), Савичевский и Пронюшка, кумушками Ел‹ена› Ив‹ановна› Истомина, Анушка и Васинька.

1841 год

5 января

Настрадались мы от холоду; теперь все: я с женой и с детьми и с семейством Улиты живем в избе, тут же и работник, в горнице жить невозможно.

6 января

J'ai eu le plaisir de perdre mon procès:[a] Сельский начисто отперся от моих денег.

20 января

Жена меня просила отметить, что Ванюшка в первый раз усмехался.

24 января

Савичевский было не в шутку занемог; слава богу, теперь лучше. Кстати! Я с ним иногда играю в шахматы: он, как то и должно было ожидать, выигрывает чаще, потому что я начну хорошо, а потом и оплошаю от рассеянности. Наталье Алексеевне прислали прекрасный по картинкам и типографической роскоши альманах «Утренняя заря».[1]

26 января

Прелестная повесть «Божии дети»,[2] с малороссийского, составляет почти единственное литературное украшение «Утренней зари»; все прочее, что я тут до сих пор прочел — и стихи, и проза, не исключая «4438-ого, кажется, года»[3] Одоевского, — довольно пошло, а кое-что ниже посредственного.

---

[a] Я имел удовольствие проиграть мой процесс (*франц.*).

5 февраля

Наталья Алексеевна получила несколько номеров «Сына отечества» и «Отечественных записок» из Нерчинска. Примечательнее всего тут мне показался разбор Лермонтова романа[4] «Герой нашего времени» (в «От‹ечественных› зап‹исках›»). Разбор сам по себе хорош, хотя и не без ложных взглядов на вещи, а роман, варияция на пушкинскую сцену из «Фауста», *обличает* (pour employer un expression à la mode) [a] огромное дарование, хотя и односторонность автора. Несмотря на эту односторонность, я, судя уже и по рецензии, принужден поставить Лермонтова выше Марлинского и Сенковского, а это люди, право, — недюжинные. Итак, матушка Россия, — поздравляю тебя с человеком! Рад, ей-богу, рад, — хотя... Но пусть дополнят это *хотя* другие.

11 февраля

Кроме Лермонтова, меня познакомил Краевский еще кое с какими людьми с талантом: с Кольцовым, Огаревым, Гротом.[5] Вот рукопашный бой из Гротова перевода Тегнеровой поэмы: [6]

Как волны понеслися
Друг на́ друга они,
И будто бы срослися
Стальные их брони.

Так два медведя бьются
Над снежною скалой;
Так два орла дерутся
Над бурной глубиной.
Под мощными бойцами
Утес бы задрожал;
Захвачен их руками,
И дуб бы крепкий пал.
С них пот течет струями;
Уже в груди их хлад;
Тяжелыми стопами
Срыт камень, куст измят.

[...] СТАРЫЙ ДОМ ‹ОГАРЕВА›[7]

Старый дом, старый друг, посетил я
Наконец в запустенье тебя,
И былое опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодец валился гнилой,
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый — тлел он на почве сырой.

---

[a] пользуясь модным выражением (*франц.*).

Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка оббилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

Я вошел. Те же комнаты были,
Здесь ворчал недовольный старик;
Мы беседы его не любили,
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой;
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах;
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнатке счастье былое,
Дружба тихая выросла там,
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал. [...]

20 февраля

Опять известие от Сельского — и, разумеется, он прав — я виноват; теперь только пени, а вот грозит ко мне и письмом и хочет выслать все экземпляры. Что я с ними буду делать? Авось смилуется — и оставит их у себя.

Миша мой мил по-прежнему, только жаль, что он такой трус: у него теперь щенок, которого он не на шутку боится. То ли дело братьины девчонки! Тиня давно бы щенка занянчила.

21 февраля

«Воздушный корабль», прелестная пиэса Зейдлица,[8] перевод Лермонтова, живо напоминает «Ночной смотр», кажется, Уланда, переведенный Жуковским.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

(из Зейдлица)

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,

Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один.

Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок,

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

И эта пиэса отпечатана в «Отечественных записках», в журнале большого достоинства, о котором напрасно сам издатель Краевский говорит несколько чересчур заносчиво,[9] потому что такая заносчивость прилична одной жалкой посредственности.

Я чего-то жду: каждую ночь вижу во сне дорогу; боязнь и тоска меня гложет. Что-то мне принесет этот год? Ужели мне назначены еще новые испытания? Вчера я прибегнул к молитве — и у него, источника всякой отрады, нашел утешение.

23 февраля

Вчера я кончил второй акт последней части «Ижорского», теперь еще акт — и расстанусь с созданием, которое занимает меня 16-й год. Жаль! Какая мысль заменит эту, с которою я так свыкся?

24 февраля

С четверга напала на меня хандра, в пятницу и субботу она несколько примолкла, потому что писал... Вчера я уже опять скучал, а сегодня сосет меня такая тоска, что и сказать не могу. Что-то приближается тяжелое, роковое, чему еще не могу дать имени; я сегодня едва ли в лучшем настроении духа, чем 11 июля 1826 г., накануне прочтения нам сентенции.

Жена и дети!

Бедная моя Дронюшка! и она горюет, и она предчувствует что-то нехорошее! По крайней мере теперь она спит; мне не спится.

28 февраля

Пробежал я 2-й томик стихотворений Подолинского.[10] Итог: это русский Маттисон.[11] Та же страсть казаться чрезвычайно несчастным, разочарованным, убитым (от чего? почему? — неизвестно). Тот же гармонический, цветистый язык и что-то похожее на роскошь картин и живописи — и (больно сказать) то же бессилие, то же отсутствие истинной поэзии, — что-то однообразное, вялое, вопреки всем притязаниям на силу. Chef d'oeuvre[a] всего собрания — «Гурия». Тут, между прочим, 4 стиха истинно превосходных:

Снилось, кто-то в море злата
Пролетел и вдруг исчез,
Но с востока до заката
Он раздвинул свод небес.

Конечно, это хорошо, — да это описательная поэзия, последняя по достоинству. В «Отчужденном», который, впрочем, вздор, еще есть 4 стиха, в которых истинное, глубокое чувство, — девушка говорит своему любезному:

Ты печален, почему же
Мне печальною не быть?
Радость я делю: кому же
И печаль твою делить?

«Сиротка» — прелестный народный миф, худо обработанный. «Фирдуси» недурен, но мог бы быть вдесятеро лучше.

Есть еще кое-что, несколько пиэс, которые бы можно назвать хорошенькими, но это не поэзия. Впрочем, в век таких генияльных пачкунов, каковы Тимофеев и Бернет,[12] спасибо Подолинскому за его уважение к языку и стихотворению: это не Баратынский, ни даже Языков, но все же человек старой пушкинской школы, для которого поэзия высокое искусство, а не заикание полупьяного мальчишки.

3 марта

Вчера прочел я «Безумную» Козлова[13] и «Дебору»[14] Шаховского.

«Дебору», кажется, я и прежде читал: она в ложном роде; впрочем, и Озерова хваленые когда-то трагедии в том же ложном классическом, в котором рамки до того тесны, что ни одного характера порядочно развить невозможно и где поневоле все лица друг в друга стреляют антитезами, потому что им ровно нечего другого делать. Но об этом когда-

---

[a] шедевр (*франц.*).

нибудь после. Язык Шаховского прекрасный для 1809 году: в нем нет почти швилей, а их довольно и предовольно у Озерова. В Хабере и Первосвященнике есть даже что-то похожее на обрисовку, на оттушовку лица; особенно последний недурен. Только не понимаю, для чего при сочинении *такой* трагедии нужен был сотрудник, знающий еврейскую словесность.

В «Безумной» много хорошего, только крестьянка сумасшедшая говорит не по-крестьянски; в этом отношении лучше ее ямщик: его «*Не пред добром*» истинно прекрасно.

5 марта

Вчера приехали А. И. Разгильдеев и Истомин. Истомин привез книги и письмо ко мне от Мордвинова.[15] В письме виден молодой человек. Почему мне ныне молодость кажется смешною? Прав ли я? Без сомнения, нет: нетерпимость молодости лучше самой терпимости, только была б она искренна!

В «От‹ечественных› зап‹исках›»: прочел я тут статью «Менцель» Белинского.[16] Белинского Менцель — Сенковский; автор статьи и прав, и неправ; он должен быть юноша: у него нет терпимости, он односторонен. О Гете ни слова, il serait trop long de disputer sur cela,[a] но я, Кюхельбекер, противник заклятый Сенковского-человека, вступлюсь за писателя, потому что писатель талант, и, право, недюжинный, вступлюсь и за Кукольника, который не приходу Белинского, но, несмотря на все, что и я в нем не менее Б‹елинского› и, может быть, с бо́льшим сознанием дела порицаю, также талант, а иногда и душа прекрасная. Второе — критика комедии Грибоедова:[17] эта критика толкует, что в «Горе от ума» есть обмолвки и противоречия, — оно так, но потому-то творение Грибоедова и есть природа, а не математическая или философская теорема, и в природе такие же противоречия, хотя только для близоруких.

9 марта

Вчера уехал Суровцев, земляк моей жены: она, бедняжка, была рада с ним свидеться. С ним был здесь доктор Жунковский.[18] Я собою недоволен. Я не сделал ничего нехорошего, но вел себя бесхарактерно.

16 марта

В Краевском мне не нравится, что он, на стать Ушакова и Сенковского, хотя и поосновательнее и глубже, распространяется в своих критиках о предметах, совершенно не принадлежащих к делу. Напр., разбирает книгу для детей,[19] а вместо разбора — предлинная диссертация о воспитании.

---

[a] слишком долго было бы спорить об этом (*франц.*).

26 марта

Множество впечатлений, воспоминаний, чувств и мыслей в эти 8 дней! День рождения матушки 20, именины жены 22; а тут «Ижорский» и книги, большая в моем нынешнем быту редкость. В «Сыне отечества» всего более меня поразили повести: «Путевые впечатления» Вельтмана[20] и «Колыбель и гроб» Полевого.[21]

В эскизах Мери[22] — l'ame transmise[a] что-то гофмановское; но слишком много скоромного, да и развязка-то проза.

14 апреля

Вчера я ездил в Арашанту сеять хлеб; но сегодня воротился, потому что земля совсем еще мерзлая.

16 апреля

Сегодня в ночь меня обокрали: отбили замок у амбара и унесли четыре серпа, полкожи сыромяти, 13 фунтов масла и потник.

19 апреля

Слава богу, книги у нас в Акше таки водятся. Вчера и сегодня я прочел книжку «Библиотеки для чтения» на 41 год, которая, впрочем, порядочная пустошь, и вот теперь вечером небольшой и незатейливый, но хорошенький роман Кульжинского «Федюша Мотовильский»;[23] я на нем отдохнул от модных ужасов и мерзостей.

21 апреля

Множество гостей: двое Аринкиных с сестрой и женами, Устинья Ивановна с сыном и дочерью и чиндантский священник с сыном. Все это ест, пьет и веселится. Я, старый дурак, сегодня проиграл 12 руб. 50 коп., зато высеял пять пудов хлеба, который купил у Спиридоновых.

23 апреля

«Хромой бес»[24] занимателен, но после бесовщины гетевской, английской и новейшей французской — он несколько слишком добродушен; но с таким предметом делать было нечего: если бы Ле-Саж вывел настоящего беса, он утомил бы читателя в конце 1-го тома... Эпизоды и рассказы вовсе не бесовские поразнообразили целое, и книгу дочитываешь с удовольствием.

---

[a] душе передается (*франц.*).

3 мая

Прожил я 8 дней в Арашанте, пользовался водами и сеял хлеб; кроме того, прочел я там романы: де Санглена «Клятва на гробе»,[25] Зубова «Астролог Карабахский»,[26] чей-то «Ужасный брак», да перечел «Дочь купца Жолобова».[27] Лучший из всех последний; прочие более или менее вздор. Завтра внесу в дневник «Колыбельную песню», которую я написал. До глубины души тронула меня встреча моих миленьких Васиньки, Дежиньки[28] и Прони. Мой друг Аннушка потом прибежала ко мне на дом: кажется, она мне обрадовалась не менее их. Миша меня не узнал.

4 мая

Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Глазки светлые сомкни,
До утра, мой свет, усни.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Сонный уносися в рай,
С божьим ангелом играй.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Чист твой ангел и пригож,
На тебя, сынок, похож.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Ясны очи у него,
Как у Миши моего.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Щечки, как заря, горят,
Губки целовать манят.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Он хранитель твой и друг,
Гонит от тебя недуг.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Вздохи с уст моих берет
И на небо их несет.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Вздохи и молитвы те
За тебя и о тебе.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.
Спи ж, голубчик, по ночам,
Вырастай на радость нам.
Баю-баюшки-баю,
Душку байкаю мою.

7 мая

В «Камчадалке»[29] слишком пересолено: ужасам конца нет. Но все же это роман не без достоинства. Мы, изгнанники, вдобавок должны благодарить Калашникова, что он добром помянул наших несчастных предшественников Зуду и Ивашкина. При чтении этого романа несколько раз мелькала в уме моем мысль, что, быть может, через 50, через 100 лет точно так помянет какой-нибудь даровитый романист о Кюхельбекерах, особенно о Михайле.

10 мая

С грустью и наслаждением перечитываю стихотворения моего незабвенного Дельвига.[30] Какой прекрасный талант! Сколько у него свежести, истинного чувства, поэтической чистоты, разнообразия. Как вялы, бледны,

безжизненны в сравнении с ним большая часть нынешних хваленых, даже лучших, хоть бы, напр., Подолинский или даже Бенедиктов![31]

[...] Прочел повесть «Неведомая».[32] Какого-то М. Л. Неужто Лермонтова? Она чрезвычайно слаба; впрочем, напечатана в 29 году: в 12 лет Лермонтов, который и теперь, кажется, еще молод, мог исполински шагнуть вперед.

14 мая

Приехал сюда некто П. Н. Чаусов: Анемподист Иванович в Нерчинске и прислал мне письмо от Оболенского да «Revue étrangère».[33]

29 мая

Вчера я опять воротился из Варашанты. Было у меня не без приключений: не раз ныне случается, что один в степи жалею, что мне не дали воспитания помужественнее. Силы нет, пособиться никак не могу один; а между тем где тут всякий раз дождаться помощи. Дух бодр — хорошая вещь; но худо, если притом плоть немощна.

30 мая

Май таки свое взял: сегодня сюда приехал младший Разгильдеев[34] и привез самые неприятные известия. Раз, по делу *Лунина* многих допрашивают,[35] многих привозят в Иркутск — будто бы до 90 человек. Второе, будто бы одного *секретного* повезли из Читы в Иркутск (в Чите их всего-навсего один: Завалишин).[36] Третье, в Чите скарлатина, и множество ребят умирает: это третье самое худшее! Сохрани, господи, мне моих малюток! Привезли мне дневники, только не все.

7 июня

Уехал сегодня Анемподист Иванович Разгильдеев: вместо спасибо за то, что я его дочь учил целое полгода, он мне насказал множество неприятностей и колкостей. Дежинька также со мной не простилась. Видел я сегодня у Натальи Алексеевны мальчика, которому здешние тунгусы поклоняются как воплощению Шигумуни или другого какого-то их Бурхана. Он довольно хорош из себя, но ума очень недальнего; лет ему около 12-ти.

16 июня

Нерадостный день! Уехал, во-первых, мой добрый Савичевский, с которым я свыкся как с родным; а вдобавок Ваня опять занемог. Ох вы, дети, дети!

20 июня

Вчера был у меня тунгусский Бурханчик. Я подарил ему табакерку и, может быть, худо сделал. Гнать идолопоклонников и силою принуждать их креститься, разумеется, варварство; но строить им божницы, дарить их лам, называть их даже батюшками (как это делают здешние казаки) — просто значит потакать их грубому суеверию и являть самое постыдное равнодушие к собственной вере.

[...] У французских литературных фешьонеблей,[37] кажется, введено подтрунивать над Ал. Дюма и даже Виктором Hugo, как у нас «Отеч‹ественные› зап‹иски›» трунят над Марлинским[38] и его последователями.

22 июня

Наша Акша пустеет. Вот и Наталья Алексеевна готовится в путь-дороженьку. Васиньке я написал сегодня на прощание стихи, которые здесь следуют:

Фантазия, Ундина, Пери
(Любое имя выбирай):
Ах, скоро за тобою двери
Затворятся — прощай! прощай!
Услышит скоро дальний край
Твои затеи, смех и шутки;
Резвиться перестанешь ты
Вокруг меня. Твои ж черты,
Черты бесценной мне малютки,
Я в сердце сохраню, поверь!
И буду ожидать с тоскою,
Чтобы опять твоей рукою
Вдруг отворилась наша дверь,
Чтобы, предшествуя веселью,
Ты вновь в мою впорхнула келью
И здесь все было, как теперь!

25 июня

Завтра едет Наталья Алексеевна. Здесь Д. М. Кандинский:[39] мы с ним уговаривались насчет его детей. Дай-то бог, чтоб это состоялось!

28 июня

Все наши разъехались: третьего дня Наталья Алексеевна, Лизавета Ивановна и Василий Данилович, а вчера уехал и Истомин.

Книг мало, только «Revue étrangère», в которой я уже прочел самые занимательные статьи, — остался только подбор (Nachlese). Итак, перечитываю порою-временем старые дневники: встречаю в них отметки о таких сочинениях, которые вовсе изгладились из моей памяти. Насчет некоторых писателей я свое мнение переменил: к этим в особенности принадлежит Бальзак. Теперь нахожу его довольно однообразным, хотя и теперь считаю его человеком очень даровитым.

5 июля

29 июня я отправился в Варашанту и 30-го воротился домой пешком, потому что вздумал лакомиться земляникой и опустил коня. Нынешний год, без особенной помощи божией, непременно будет неурожай: жары стоят истинно африканские, а помочки мало.

10 июля

Матушка скончалась 26 марта. Ее жизни было 84 года и 6 дней.

10 июля 1841 г. в Акше написал мне это мальчик,[40] которого здешние тунгусы почитают Бурханом.

26 августа

Наконец я прочел Шекспирова «King John»,[а] которого я так давно уже желал прочесть. В положениях и распорядке сцен кое-какое сходство с «Ричардом III» и «Макбетом»; в характерах, напротив, решительный контраст: Ричард умный злодей, Макбет мощный злодей, Джон злодей слабодушный и слабоумный.

Самый оригинальный характер — побочный сын Ричарда Львиного Сердца; самое оригинальное положение, когда эта буйная головушка приходит в ужас, узнав о смерти Артура. Губерт не без достоинства, а сцена его с Артуром превосходна; но только одна она да, может быть, еще то, что дофин говорит Сельсбери, выдержит сравнение с первостатейными сценами и местами в «Ричарде» и «Макбете». Кардинал Легат несколько слишком откровенен с дофином, а протестантские выходки англичан, особенно самого короля, не у места и не вовремя. Главное достоинство этой драмы — слог, который очарователен.

3 сентября

«Pericles, Prince of Tyre»,[б] подобно «Андронику», Чемерсом[41] (Chalmers) и Мелоном[42] не признается за творение Шекспира. Что касается до меня — я, несмотря на чудовищности «Андроника», гораздо охотнее признаю эту пиэсу за Шекспирову, нежели «Перикла», разве принять, что в самое первое время своего авторства великий драматург только выправил старинную драму. Это роман, и огромный, на который наброшен очень неискусный покров драмы. Первое явление напоминает «Туриндоту» Гоцци,[43] но Гоцци тут выше Шекспира. Даже прекрасных стихов мало. NB Теперь постигаю несколько связь между «King John»ом и прочими «Histories» Шекспира: «King John» с ними не в исторической, но в нравственной связи; он их поэтический пролог, их поэтическое сокращение.

В Арашантуе выжато у меня 40 сунонов ярицы и 2 пшеницы.

[а] «Король Джон» (*англ.*).

[б] «Перикл, принц Тирский» (*англ.*).

4 сентября

«All's well that ends well»[а] — и к этой драме Джонсон[44] слишком строг. Нравственно прекрасным нельзя назвать характера Бертрама; но если принять, что его принудил — и кто? — король — жениться на Гелене, он по крайней мере становится извинительным и очень терпимым на сцене, тем более что ему приданы кое-какие достоинства, напр. красота, храбрость etc. Сама Гелена, которая ему навязывается на шею, мне не слишком по нутру, впрочем, она выкупает этот поступок впоследствии. Интерес этой драмы очень высок и разнообразие чрезвычайно; а Клаун и Пароль в своем роде превосходны.

6 сентября

Вчерашнюю ночь я всю почти просидел над романом «Танька разбойница».[45] Это дикий, страшный, бессвязный бред, с романо-историческими вставками, но бред, исполненный воображения. Автор, без сомнения, человек с талантом.

12 сентября

Ночью я долго не мог заснуть и от бессонья занялся грамматическою находкою. Обыкновенно окончание на *-учий*, *-ючий* и вообще на *-чий* считают простоpечивым причастием, соответствующим окончанию на *-ущий*, *-ющий* и *-щий*, но если рассмотреть строже, оно по смыслу от него очень различествует. *Вонючий*, напр., не то, что *воняющий*, — *вонючий* может теперь, в это самое мгновение, и не вонять, но свойство его вонькость; *текучий* тот, чье свойство быть в текучем состоянии; *горючий* — способный гореть, а не горящий в самом деле; *летячий* и *летучий* — способный летать, а не летающий в сию минуту, и пр. Итак, это окончание показывает свойство или способность, а не настоящее действие или состояние. Это истинная verbalia,[б] но не причастие.

15 сентября

Ныне я уже почти три недели не ездил верхом. Между тем мне необходимо движение: вот почему сегодня я был на Козловой горе. Спустился с довольно крутого гладкого спуска в лощину предикую, преуединенную, в которой даже птицы почти не пугались меня. Вид с горы прекрасный.

17 сентября

Читаю очень недурной роман «Осужденный» А. Крылова[46] (не Александра ли Абрамовича, моего петербургского приятеля?). Только плохо

а «Все хорошо, что хорошо кончается» (*англ.*).
б глагольная форма (*лат.*).

автор знает язык: *юница* он в одном случае употребил ‹вместо› *молодая девушка*, а *старица* — вместо слова *старушка*; между тем как *юница* значит *корова*, а *старица* — *монашенка*.

2 октября

[...] Примечательного прочел я: рецензию на стихотворения Лермонтова [47] в «Отечественных записках». [...]

10 октября

Наконец все наши съехались, да кое-кто уже успел опять уехать. Александр Иванович в среду отправился с приставом миссии в Чиндант и Цурухай. Н. И. Любимов [48] — человек истинно европейский; я провел в его обществе несколько очень приятных дней; его подчиненный Быстров мне также полюбился. Между прочим, они познакомили меня с стихами Хомякова [49] «На перенесение праха Наполеона»: эти стихи — истинно необыкновенное явление в нашей поэзии.

19 октября

Сегодня 30 лет со дня открытия Лицея. Теперь всем моим товарищам (оставшимся в живых) за сорок лет. Из тридцати тогда поступивших в Лицей умерли,[50] сколько знаю, Ржевский, Корсаков, Дельвиг, Пушкин и, кажется, еще Костенский; Есаков застрелился; Тырков сошел с ума, а я и Пущин? Осталось, если не считать Гурьева, выключенного еще в 1813 году, всего двадцать. Итак, целой трети уже нет. Да, я вспомнил, что и Илличевский чуть ли не умер: стало быть, вот уж и перешло за треть.

25 ноября

Я этот месяц прочел «Сочинения» Вельтмана.[51] Всего более понравились мне «Виргиния» и «Сердце и думка»; в последней ума и игривости пропасть, но целое несколько растянуто. «Кощей» и «Святославич» утомительны беспрестанными скачками и шарлатанством автора; а «Странника» просто невозможно читать, как читают прозу, а должно перебирать, как собрание лирических пиэс и эпиграмм. Вельтман вообще более автор отлично хороших страниц, нежели выдержанных книг. Он метит явно в Гофманы и Жан Поли; но чтобы быть первым, недостает у него силы и собственного, суеверного убеждения в истине призраков, которые создает, а с вторым ему никогда не сравниться, потому что у него слишком мало души. Всех ближе подходит он к Вашингтону Ирвингу.

14 декабря

Бедный ты мой Суслов![52] На прошедшей неделе он схоронил одного сына, сегодня другого. Не должен ли <я> стыдиться после того, что меня малейшее выводит из терпения и заставляет роптать на свою судьбу, что я в состоянии был излить свое уныние в стихах таких, какие я вчера выходил у Натальи Алексеевны в ожидании бани:

Что скажу я при исходе года?
Слава богу, что и он прошел!
Был он для изгнанника тяжел,
Мрачный, как сибирская природа.

Повторять ли в сотый раз: «Все тленно»?
«Все под солнцем дым и суета»?
Не поверят! тешит их мечта!
Для людей ли то, что совершенно?

Ноша жизни однозвучной, вялой,
Цепь пустых забот, и мук, и снов,
Глупый стук расстроенных часов —
Гадки вы душе моей усталой.

1842 год

9 января

Ни один год моей жизни не начинался так тяжело, как нынешний, а заметить должно, что это пишу я, просидевший десять лет в каземате. Как я дневник свой пишу для тебя, мой сын, не хочу обвинять никого, кроме себя. Только скажу одно: научись из моего примера, не женись никогда на девушке, как бы ты ее ни любил, которая не в состоянии будет понимать тебя. Сверх того, множество и других забот, более мелких, но все же мучительных: обещанных денег все еще нет, нянька едва ли останется, стряпка непременно отойдет, бедная моя жена все еще больна, и я сам нездоров. Оба мы требуем утешения, а между тем...

Слава богу, что я получил сегодня хоть письмо от брата, от которого давным-давно не было никакого известия.

27 января

Положение мое несколько лучше, в моей семье — тише; да еще бог послал мне радость: Константин Осипович получил известие, что государь возвратил нашим детям дворянское достоинство.[1] Впрочем, все еще тяжело: жена все еще больна, денег ни копейки, долги растут, а с ними заботы.

5 февраля

Верно уж суждено, чтоб у меня в доме всегда был лазарет: в 40-м году маялся я с Мишей, в прошлом с Ваней, а ныне с женой — вчера она была так больна, что насилу с нею отвадился.

22 февраля [2]

[...] СОВЕТ

Когда же злая чернь не клеветала,
Когда же в грязь не силилась втянуть
Избранников, которым горний путь
Рука господня в небе начертала?
Ты говоришь: «Я одарен душой»;
Зачем же ты мешаешься с толпой?

Толпе бессмысленной мое презренье!
Но сына Лаия почтил Фезей;
Так пред страдальцем ты благоговей,
Иль сам свое подпишешь осужденье.
Певцу в твоем участье нужды нет;
Но сожалеет *о тебе* поэт.

Глубоких ран, кровавых язв сердечных
Мне часто жадный наносил кинжал,
Который не в руках врагов сверкал,
Увы! — в руке друзей бесчеловечных!
Что ж? — знать, во мне избыток дивных сил —
Ты видишь: я те язвы пережил.

Теперь я стар, слабею; но и эту
Переживу, — ведь мне насущный хлеб
Терзанья, — ведь наперснику судеб
Не даром достается путь ко свету.
Страдать теперь готов я до конца:
С чела святого не сорвут венца.

Умру — и смолкнет хохот вероломства;
Меня покроет чудотворный щит,
Все стрелы клеветы он отразит.
Смеются? пусть! — проклятие потомства
Не минет их... осмеян был же Тасс;
Быть может, тот, кто здесь стоит средь вас,

Не мене Тасса. — Будь же осторожен,
К врагам моим себя не приобщай,
Бесчестного бессмертья не желай, —
Я слаб, и дряхл, и темен, и ничтожен,
Но только *здесь*: моим злодеям *там*
За их вражду награда — вечный срам. [...]

28 февраля

Мишенька и Степаша Улитин лежат у меня в кори или скарлатине, от которой здесь множество детей померло. Впрочем, слава богу, им не-

сколько лучше. Зато у моего бедного Вани образовался огромный золотушный желвак на шее... Чем-то он кончится? — вчера мы с женою всю ночь не спали.

2 марта

Мишеньке моему, слава богу, будто бы лучше. Сегодня я видел в первый раз небольшой образчик ламского идолослужения.

26 марта

Сегодня годовщина кончины покойной матушки. Вчера поздно вечером скончался больной Степаша мучительною смертию: он отправился от нас послом к матушке; у ней он будет счастливее, чем в моем несчастном доме. Вчера до смерти Степашиной получил я письмо от сестрицы и от Сашеньки, письмо чуть ли не единственное, какое еще в 1809 году писал ко мне батюшка, — и волоса его, брата и Анны Ивановны.[3] Поутру продиктовал я Перфильеву в присутствии Александра Ивановича и священника свое завещание, потому что занемог болезнию, от которой умер Степаша. Вдобавок было у меня объяснение с Савичевским, о котором, право, не знаю что думать. Заносчивость его и пр. можно бы было еще перенести, — но боюсь открыть в нем кое-что похуже; впрочем, я уже столько испытал от людей, которых когда-то любил, что, кажется, и это перенесу. Но насчет его великодушного поступка, которым он уже не раз хвастал в рассуждении меня, непременно объяснюсь: *я обязан это сделать.*

Мне сегодня лучше. Ваня мой плох.

27 ‹марта›

Ванюшка бедный сегодня помер.

10 апреля

Июльский дневник кончил я известием о смерти матушки, мартовский — отметкою о смерти моего бедного Вани! Будет ли этот счастливее?

25 мая

У меня суеверие, что май для меня несчастный месяц. Нынешний до сегодняшнего дня прошел для меня без больших неприятностей, и я было думал, что так и кончится; да, сверх того, после всего, что было со мною с октября, и придумать не мог, что бы особенного нового горького могло со мною случиться. Однако май не прошел мне даром. С Натальей Алексеевной у меня совершенный и конечный разрыв.

29 мая

Тому 27 лет назад, 28-го мая, в день св. Вильгельма, т. е. в мои именины, и вместе тогда было Вознесение, как и вчера, сидел я в карцере и чуть было не был выключен из Лицея. Майские мои несчастия начались рано: в мае 1817 г., напр., моя ссора с Малиновским[4] и горячка, следствие этой ссоры; да побег из больницы в пруд Александровского сада, где я чуть-чуть не утопился.

12 июня

Третьего дня, 10-го числа, мне пошел 46 год. В этот день я пешком сходил в Арашанту не с образами, а наперед образов. Натурально, что то, об чем теперь скажу, — пустяки, но отчего не писать мне в дневнике иногда и пустяков? Дорогой я спрашивал кукушку, сколько жить мне и ближайшим моим родным? Сегодня у меня на пашне служили молебен: хлеб мой, слава богу, очень недурен.

10 августа

Уехал вчера А. И. Разгильдеев в Кяхту. Я с ним рассчитался и, кажется, распростился навсегда. Его я не перестану любить и уважать; не его вина, если *другие* мне нанесли много ран сердечных.

17 августа

Вчера у меня был такой гость, какого я с своего свидания с Матюшкиным еще не имел во все 17 лет моего заточения, — Николай Пущин![5] Подурнел он, голубчик: из хорошенького мальчика стал он некрасивым мужчиною; зато у него душа та же — пущинская, какая должна быть у брата Ивана Пущина.

16 сентября

Если человек был когда несчастлив, так это я: нет вокруг меня ни одного сердца, к которому я мог бы прижаться с доверенностию. Все они теперь от меня отступили, а между тем я бы мог, я бы умел их любить! Бог с ними!

6 ноября

Простился я с Разгильдеевыми, еду сегодня в Цурухай; теперь сижу и жду К‹онстантина› О‹сиповича›. Эти слова, которые, кажется, ничего не значат; но они — следствие скольких страданий! Бог с тобою, Анна Александровна! Ты была моею последнею любовью, и как это все кончилось глупо и гадко! а я тебя любил со всем безумием последней страсти: в твоем лице я любил еще людей. Теперь прилечь бы и заснуть!

30 ноября

Я воротился 27-го числа из Цурухаита, расстался я с своим милым Константином, и с ним, может быть, на всю жизнь. Уж эти мне расставанья! Сколько я их пережил!

Еще одну я к тем рекам причислил,
Которых берег я, скиталец, посетил, —
И там, с утратою своих сердечных сил,
Терзался и молчал, но чувствовал и мыслил,
Разлуку вечную предвидел, но любил.
Да! вот и эти дни, как призрак, пролетели!
До гроба ли ты будешь молодым,
Мучитель-сердце? Ты скажи: ужели
Всегда блуждать, стремясь к недостижимой цели,
Твоим желаниям несытым и слепым?
Любить и мыслить... Почему ж не может
Не мыслить, не любить душа моя?
Какой ее злой дух без устали тревожит
И хочет и велит, чтоб вечно тратил я?
Увы! с последним другом расставанье!
По крайней мере без пятна
Хоть это сбережет воспоминанье
И чувств и дум моих скупая глубина.
Прими же, о Аргунь, мое благословенье!
Ты лучше для меня, чем пасмурный Онон:
И там мне было разлученье;
Но перед тем меня прельщал безумный сон,
И чуть не умертвило пробужденье!

1843 год

15 января

Минул 42 год, один из самых тяжелых в моей труженической жизни. Что-то мне даст нынешний? Хотя и давят меня кое-какие, и не пустые, заботы, все же начался он довольно для меня счастливо: по крайней мере дома у меня в сравнении с тем, что было, тихо и благополучно. Сегодня ровно 6 лет, как я женат. Миша начал учиться азбуке со 2-го января.

16 января

Сегодня я видел во сне Грибоедова: в последний раз, кажется, я его видел в конце 31 года. Этот раз я с ним и еще двумя мне близкими людьми пировал, как бывало в Москве. Между прочим, помню его пронзительный взгляд и очки и что я пел какую-то французскую песню. Не зовет ли он меня? Давно не расстается со мною мысль, что и я отправлюсь в январе месяце, когда умерли мои друзья: он, и Дельвиг, и Пушкин. Сегодня ровно три года, как я из Баргузина.

22 января[1]

[...] ЧЕТЫРЕХСТИШИЕ

Чем вязнуть в тинистой, зловонной луже,
Так лучше — в море! Нет, убийцы хуже
Подлец, который, с трусостью губя,
Сосет и точит сердце у тебя. [...]

С 6 на 7 марта, около полуночи

Господь дал мне дочь.[2]

8 марта

7-го поутру получил я посылку: вещи для Миши и жены и стихотворения Зейдля.[3] Тут прочел я балладу «Отче наш», которая по нежности своего колорита превосходна. Вчера после обедни омолитвили дочь мою и нарекли ей имя Устинья.

11 марта

Написал я сегодня прошение о переводе в Кяхту; кроме того, у меня на нынешней почте письмо: к графу Толстому,[4] если Кяхта ускользнет, о переводе в Туринск.

3 апреля

К Суворову, воля ваша, Тьер[5] в высокой степени несправедлив. Souvoroff etait loin d'être un barbare et de moniaque, comme il le nomme — mais un homme des plus russes qui aient jamais existé. Son masque... et lui sont deux choses tout à fait differentes.[а]

Что же касается до военного искусства, смею думать, что тут Тьер не juge compétent.[б] Недаром Суворов говаривал про себя: «Сегодня счастие, завтра счастие, помилуй бог, когда-нибудь должно же быть и уменье». Жомини и сам Наполеон иначе судят о Суворове, нежели Тьер; и я осмелюсь им в этом деле более верить, нежели умному, но не всегда беспристрастному министру, любимцу французской оппозиции.

21 апреля[6]

[...] Прочел я книгу сенсимониста Ле Ру (Le Roux) «De l'Humanite, de son principe et son avenir».[в] Для меня это очень примечательное явле-

---

[а] Суворов отнюдь не был варваром и маньяком, как он его называет, — но человеком, одним из самых русских, когда-либо живших. Его маска и он сам — это две совершенно разные вещи (*франц.*).

[б] компетентный судья (*франц.*).

[в] «О человечестве, о его принципах и его будущем» (*франц.*).

ние, потому что я доселе сенсимонизм знал по одним слухам. Очень верю его догмату усовершенствования рода человеческого; но что сказать о возрождении *без памяти* прежней жизни, о возрождении на земле, о котором он столько твердит? *Для меня* это возрождение то же уничтожение, и напрасно Le Roux выдает себя за защитника бессмертия, или, как говорит он, вечности души. Его учение в отношении будущей судьбы человеческих душ порознь — нигилизм. [...]

16 мая

Хочу перечесть Пушкина. Начал я с «Руслана». Стихи тут необычайной легкости, прелести и *отчетливости*. Последнее не безделица. Содержание, разумеется, вздор; создание ничтожно, глубины никакой. Один слог составляет достоинство «Руслана»; зато слог истинно чудесный. Лучшая песнь, по-моему, шестая: сражение тут не в пример лучше, чем в «Полтаве».

19 мая

Пасмурная набожность, такая, которую немцы называют Kastsängerei, разумеется, может казаться смешною людям светским; но, если она только искренна, если она не лицемерство, всегда буду считать обязанностию питать к ней уважение: это младенчество истинного благочестия; как всякий младенец, она спотыкается, шаги ее неверны, походка нетверда, но она возмужает и тогда приобретет свободу в движениях, мужество и ясность взгляда, качества, принадлежащие возмужалости. Христос, предохраняя своих учеников от пасмурной набожности, не называет ее лицемерством, а только говорит: «Не будьте как лицемеры, изменяющие лице свое». Стало быть, она очень часто не лицемерство, хотя к ней всего легче могут подделаться лицемеры, потому что она только начало, младенчество того истинного благочестия, ясность и веселость коего, когда оно возмужает, уже недоступны, даже и по наружности, усилиям лицемеров.

Остаюсь при своем мнении, что «Кавказский пленник» и особенно «Бахчисарайский фонтан», хотя в них стихи иногда удивительной сладости, — творения не в пример ниже «Руслана»; «Братья разбойники» их оригинальнее, сочнее, питательнее.

«Домик в Коломне» и «Анджело» по слогу бойкому и умному принадлежат зрелости таланта Пушкина. В первой поэмке Пушкину дался юмор, который так часто ускользает из-под пера его в «Онегине».

28 мая

Завтра отправят мое прошение о переводе в Кяхту — в Кяхту же.

29 мая

Сегодня Мишеньке минуло 46 месяцев, Тине 12 недель, а мне через 12 дней минет 46 лет.

21 июля

Полтора месяца не было никакой заметки в моем дневнике: этого еще не бывало в Акше. Между тем особенно неприятного со мною ничего не было: живу все еще здесь и жду у моря погоды. Скоро ли ответ?

6 июля я был на бегу в Дулдурге и выбежал довольно хорошего коня каурой шерсти.

На днях прочел я «Мертвые души» Гоголя. Перо бойкое — картины и портреты вроде Ноздрева, Манилова и Собакевича резки, хороши и довольно верны; в других краски несколько густы и очерки сбиваются просто на карикатуру. Где же Гоголь lyrisch wirst (впадает в лиризм), он из рук вон плох [пошел] и почти столь же приторен, как Кукольник с своими патриотическими сентиментальными niaiseries.[a]

2 августа

Наша Акша ожила. Здесь проездом свитский офицер Ахт, с ним приехал третьего дня А. И. Разгильдеев, а поутру Евграф Иванович.[7]

Ахт мне показывал вчера Юпитера в небольшой телескоп, я на него смотрел два раза: в первый раз он был с левой стороны освещен красным, а с правой зеленоватым светом; четыре его спутника видны были очень хорошо. На меня потом напало какое-то томление — неизреченная тоска: так и поманило меня, потянуло в этот прекрасный неведомый мне мир. Он мне показался неизъяснимо тихим и величавым, новым и вместе знакомым... Был ли я уже когда-нибудь на нем? или свижусь на нем с милыми моему сердцу?

12 сентября[8]

В последние дни прочел я много для меня совершенно нового — «Марию Тюдор»[9] и два тома Гана Исландского,[10] «Герой нашего времени» и «Маскарад» Лермонтова. «Мария» — ужаснейшая чепуха, написанная талантливым человеком. Характер героя простолюдина один только истинно хорош: все прочее вздор такой, что мочи нет; а читать все-таки читаешь и не можешь оторваться. Гана Исландского я не дочел, так о нем после. Лермонтова роман — создание мощной души: эпизод «Мэри» особенно хорош в художественном отношении, Грушницкому цены нет — такая истина в этом лице; хорош в своем роде и доктор; и против женщин нечего говорить... А все-таки! — все-таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин. «Маскарад» не в художественном, а в нравственном отношении выше, потому что тут есть по крайней мере страсти. Наташа говорит, что Печорин с Бэлою поступил бессовестно; мне кажется, она более думала о Мэри.

Ахт уехал; в Кяхте отказали.

---

[a] глупостями (*франц.*).

21 ноября

Наталья Алексеевна выехала не 9, а 15 числа: я проводил ее до Цаpанхона. После того провел я дней с 5 довольно гадко в мерзкой, вонючей избе, покуда в горнице не выморозили тараканов. Сегодня перебрался опять в горницу и, не отлагая нисколько, хочу приняться за окончание «Итальянца»; да вообще, если бог даст, стану заниматься прилежно. Насладился я минутою блаженства: когда поутру перешел в горницу и тут с полчаса сидел very comfortably[a] в чистоте, тишине и теплоте, я истинно был счастлив; для человеческого счастия, право, немного нужно.

1844 год

6 января

В первый раз в жизни я встретил или почти встретил Новый год (мы разошлись в половину двенадцатого) за бостоном, самым прозаическим образом. 30 декабря отправился в Иркутск пакет, где письма к Бенкендорфу, Руперту, В. А. Глинке и губернатору; хлопочу о переводе в Курган.

20 января

У Виктора Уго потонула дочь, только что вышедшая замуж.

Не суждено мне было в мире
С тобою встретиться, поэт,
И уж на западе моих унылых лет
Я внял твоей волшебной лире.
Я миг гостил в земле твоей,
Я сын иной судьбы, иного поколенья,
Я не видал твоих очей,
В них не приветствовал перунов вдохновенья,
Но дорог ты душе моей.
Успехов и похвал питомец, нег и блеска,
Ты к буре бешеного плеска
С рассвета своего привык;
И не одной толпы ничтожный, шумный крик
Превозносил тебя: младенческие руки
Исторгли первые из струн дрожащих звуки —
И встрепенулся вдруг божественный старик,
С живою жаждою к потоку их приник
Не льстец победы, не удач служитель,
Но он, — в продажный и распутный век
Поэзии и веры воскреситель,
Он — рыцарь, и певец, и честный человек,
И жертв судьбы бесстрашный защититель,
«Гигант-дитя!» — он о тебе изрек,

---

[a] очень удобно (*англ.*).

Когда завидел, как, покинув мрак и долы,
Ты, полный юных, свежих сил,
Отважно к солнцу воспарил,
Когда послышал те чудесные глаголы,
Какие из-за туч ты, вдохновенный, лил!
Под властью я рожден враждебных мне светил,
И рано крылья черной бури
Затмили блеск моей лазури;
Я тяжких десять лет в темнице изнывал,
Умру в глухих степях изгнанья:
Однако же как ты, такой же я кристалл,
В котором радужно дробится свет сознанья;
Один из вещих гулов я
Рыданий плача мирового;
Душа знакома и моя
С наитьем духа неземного.
А ты? — не вечно и тебе
Смеялось ветреное счастье...
Ты также заплатил свой долг судьбе;
Увы, мой брат! и ты вкушал же сладострастье,
Неизреченную утеху жгучих слез;
И вот же рок тебе нанес
Удар убийственно жестокий...
Воображаю я, как стонешь, одинокий,
Как вопрошаешь ты немую эту ночь:
«Итак, моя любимица и дочь?
Ужели в самом деле зев пучины?..»
Не договаривай! плачь, труженик певец,
Тебе сочувствую: ах! ведь и я отец,
Нож и в моей груди негаснущей кручины!
С могилы сына моего
Над дочерью твоей, Уго, рыдаю ныне;
В столице мира ты; я в ссылке, я в пустыне,
Но родственная скорбь не то же ли родство?

6 марта

Как ни лениво пишу дневник, а под числом 6 марта у меня каждый год есть хоть небольшая отметка. В эту минуту моей Тиненьке минул год: дай бог, чтоб она выросла мне на радость! Пугает меня несколько ее сердитый нрав. Я на прошедшей неделе было занемог опасно. Теперь лучше; только я сегодня себе опять повредил.

Вопрос: может ли возвыситься до самобытности талант эклектически-подражательный, каков в большой части своих пиэс Лермонтов? Простой и самый даже лучший подражатель великого или хоть даровитого одного поэта, разумеется, лучше бы сделал, если бы никогда не брал в руки пера. Но Лермонтов не таков, он подражает или, лучше сказать, в нем найдутся отголоски и Шекспиру, и Шиллеру, и Байрону, и Пушкину, и Грибоедову, и Кюхельбекеру, и даже Пфеффелю,[1] Глейму[2] и Илличевскому. Но и в самых подражаниях у него есть что-то свое, хотя бы только то, что он самые разнородные стихии умеет спаять в стройное целое, а это, право, не безделица.

10 марта

Получил письмо от Юстины Карловны и — разрешение проситься в Кургановский уезд.

26 марта

Пасха. Люди по-своему гуляют, веселятся. А я? «И радость, и печаль равно душе моей противны...». Страшно подумать, как я ко всему стал равнодушен. Сегодня годовщина матушкиной кончины; а я не могу найти в груди своей ни одного живого чувства, ни скорби, ни надежды на свиданье в лучшем мире, ни даже отчаяния, безверия. Я не то чтобы не верил, но вера мне слишком уж знакома. Я ее знаю наизусть, я ее всю перечувствовал: не могу найти в ней ничего уже нового. Я и для нее почти уже отжил, как для чувственных наслаждений, напр., я был когда-то пребольшой охотник есть хорошее — теперь и тут не нахожу ничего, что б мне шибко нравилось: ем без разбору, без вкусу... так, механически, как я из привычки и для примера своему семейству каждый вечер мыслию, памятию, а не сердцем молюсь или, лучше сказать, читаю свои молитвы. И искусства мне опротивели. А что вы еще скажете? Умер Вадковский,[3] человек, с которым я когда-то жил душа в душу, — что же? мне, право ‹кажется›, будто я его никогда не знавал; ум-то, правда, говорит: «Вот ты по чему бы должен грустить, вот какую ты понес потерю — последний, или по крайней мере один из последних, кто тебя любил, покинул тебя навсегда», и пр. Но сердце окаменело: бьешь в него, требуешь от него воды живой, сладких, горьких слез, — а сыплются только искры, суеверные приметы, напр., вроде той, что всем моим друзьям суждено было умереть в январе.

11 апреля[4]

[...] [Опять перечитывал Лермонтова] и совершенно убедился, что этот человек как нельзя более ошибался в роде данного ему таланта [...] То направление одного, то слог другого, то coupe de vers[а] третьего показывает, что он горячился весьма хладнокровно. [...] Но Лермонтов точно человек с большим талантом, где вовсе того не подозревает: в стихотворениях, которых предметом не внутренний мир человека, а мир внешний, да еще в своей драме. К созданиям первого разряда высокой красоты принадлежит особенно его пиэса «Дары Терека», которая в своем роде истинный chef d'oeuvre[б] [...] Лермонтов занимает первое место между молодыми поэтами, которые появились на Руси после нас. Если бы бог дал ему жизнь подольше — он стал бы, вероятно, еще выше, потому что узнал бы свое призвание и значение в мире *умственном*. [...]

[а] версификация (*франц.*).
[б] шедевр (*франц.*).

18 апреля

Вчера Миша начал опять учиться: чрезвычайно приятно мне, что он в три недели с прибавою перерыву своего учения ничего не забыл; по-русски читал он не хуже, а по-латыни чуть ли не лучше прежнего.

28 апреля

Неужто пора стихов для меня совсем прошла? Поверите ли? я несколько дней бился и не мог написать надгробной надписи для малютки Суслова, спасибо, что нашлось кое-что в моем старье довольно гладкое.

28 мая

Десятый день живу один. Жена и дети на Маниутских водах. Скучно.

Приезжал сюда Муромов. Я у него прочел в «Отечественных записках» 3-ю часть псевдоскоттовского романа «Эме́ Вер».[5] Сцена между обоими братьями, перед изгнанием младшего из отцовского замка, истинно прекрасна. О целом по 3-й части невозможно судить. Но 16-е столетие, каково оно было во Франции, отражается в этом отрывке во всей своей наготе и истине.

Стихи, которые перепишу ниже, стоили мне много времени и труда. Не прошла ли для меня и впрямь пора стихов?

Буря выла; по земле
Ночь ненастная летала;
Твердь тонула в черной мгле,
Лес рыдал и степь стонала —
В головах своих детей
(Дети при смерти лежали),
Жертва страха и печали,
Он сидел в избе своей.

Нелегка была та ночь
Для души его угрюмой,
То на сына, то на дочь
Он глядел, измучен думой,
Бледен, утомлен и тих,
Преклонялся к их дыханью
И порою робкой дланью
Прикасался щечек их.

Путь страданья не теперь
Перед ним открылся: много
Понесенных им потерь,
Им судьба играла строго;
Дан еще был сын ему,
Но отец его не стоил:
Бог младенца упокоил
В тесном и немом дому.

Неусыпная тоска
О любимом, милом сыне

В черством сердце старика;
Тужит он по нем и ныне:
Был-де для него сынок
Верной тению родимых,
Их, в душе его носимых,
Их, которых отнял рок!

Звезд не видно; ночь черна:
В нем боязнь и ожиданье,
Дети мечутся со сна,
Тяжело детей дыханье;
Злится буря; вой в трубе,
Под окном и плач, и хохот,
Степь шумит, и в чаще грохот;
Он не спит в своей избе.

Вдруг из лона облаков
(Он вскочил и дыбом волос)
Слышится знакомый зов...
Ваня! он! то Вани голос!
«Полетать и вам пора!
Жарко вам в избе и душно;
Тяжко мне без вас и скушно...
Ну же, братец! Ну, сестра!».

Тут же в тусклое окно
Чье-то личико мелькнуло:
Дрожь по телу, студено,
В сердце старика кольнуло:
«Ваня, сын моей любви!
Ваня, сын моей печали!
В шум и мрак воздушной дали
Наших деток не зови!
Слез немало над твоей
Мама пролила могилой:
Не меня, так пожалей
Хоть ее, хоть мамы милой!».
Буря тише; сдалека
Свищет ветер, но слабее;
Дышат дети повольнее,
Сон нашел на старика.

9 июня

Был пожар: сгорел сарай в 50 шагах от новой церкви. Удивительно, что загорелась старая церковь, которая от сгоревшего сарая гораздо далее, нежели новая. Слава богу, что ее потушили, а новую отстояли. Особенно были деятельны и неустрашимы Лев Грулев и Михей Кузмич Павлов.[6] Сам я был несколько похож на муху в басне Крылова.

1 июля

Сегодня в первый раз купался; с тех пор, как я в Сибири, я никогда не начинал так поздно купаться; а причина, что я было совсем оглох и был глух почти 4 недели, однако ж промежутками.

8 июля

Был сегодня экзамен в казачьей школе:[7] сносен; слава богу, что дети хоть столько успели.

26 августа

Я все еще в Акше. Все сроки, которые определяю своей отправке, проходят, а я все еще здесь. Между тем становится уже прохладно — пугает Байкал, и, право, не знаю, не останусь ли здесь до морестава, от чего, впрочем, сохрани бог! В моем дневнике опять большой перерыв; однако не потому, чтоб не было о чем писать, напротив: я познакомился в начале этого месяца с Вл. Ал. Казадаевым,[8] очень милым светским и вместе умным человеком; сверх того, были у нас и другие гости: доктор Тиль с сыном и англичанин Warrant,[9] — не говорю уже о старых моих знакомых.

27 августа

Горько было мне вчера и сегодня, — а кажется, судьба моя переменится: Суслов чуть ли не получил бумагу о моей отправке.

28 августа

Вчера пришла бумага, чтоб меня отправить отселе в Тобольскую губернию в Кургановский уезд. Если бог даст, отправлюсь в субботу 2 сентября.

1845 год

г. Курган
29 марта

Постараюсь ныне, когда для меня, так сказать, в новом месте началась новая жизнь, быть в ведении своего дневника точным, добросовестным и, сколько то возможно по теперешнему состоянию моей души, искренним. Вам, мой новый, но верный друг,[1] буду по временам пересылать эти тетради... Пусть мысль, что вы будете моею второю совестию, что вы будете читать все, тут написанное, поддержит меня и поможет мне всегда быть хоть несколько достойным вас. Не стану вам во всем исповедоваться: из моих суждений о людях, о книгах, из отчета о моих занятиях вы сами легко увидите, на какой точке нахожусь и шагаю ли вперед или подаюсь назад. Но будут тут часто вопросы, и два очень тяжелых и теперь давно уже на душе моей. Решусь ли их предложить вам в этой тетради — не знаю. Скажу вам только, что они

снова сильно стали тревожить меня с тех пор, как я стал опять знакомиться новым путем с тем миром, к которому я был когда-то ближе, но от которого меня удалили 1835 год и последовавшие за ним.

Вот мое предисловие к дневнику новому, кургановскому, который, вероятно, мало будет походить на прежние.

Теперь следовало бы говорить о книгах, которые теперь читаю, да тут столько нового, так много совершенно необычайного, совершенно для меня неожиданного, столько объяснений на то, что мне или казалось просто непонятным, или аллегорией, или обманом чувств, или даже баснями и вымыслами и народными суевериями, что мне сперва необходимо собрать все это в своей памяти.

[...] МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ ВОЛХОНСКОЙ[2]

Людская речь — пустой и лицемерный звук,
И душу высказать не может ложь искусства:
Безмолвный звук, пожатье рук —
Вот переводчики избытка дум и чувства.
Но я минутный гость в дому моих друзей,
А в глубине души моей
Одно живет прекрасное желанье:
Оставить я хочу друзьям воспоминанье,
Залог, что тот же я,
Что вас достоин я, друзья...
Клянуся ангелом, который
Святая, путеводная звезда
Всей вашей жизни: на восток, сюда
К *ней* стану обращать трепещущие взоры
Среди житейских и сердечных бурь —
И прояснится вдруг моя лазурь,
И дивное сойдет мне в перси утешенье,
И силу мне подаст, и гордое терпенье.

Не скрою от вас, что *гордое терпенье*[3] раздалось и в самую ту минуту, когда я прибрал этот стих, как фальшивая нота. Même alors, celà me paroissoit ampoule.[a] [...][4]

1 апреля

Сегодня я ничего не читал, а написал письмо Малиновскому[5] и переписывал «Толкование молитвы господней».[6] Вечером я был у Басаргиных[7] и видел там Швейковского,[8] одного поляка и смотрителя училищ.

2 апреля

Начал читать Байронова «Каина»,[9] признаюсь, страшно. Богохульства его демона ничего не значат в сравнении с ужасным вопросом, на

[a] Уже тогда это показалось мне напыщенным (*франц.*).

который нет ответа для человеческой гордости; этот вопрос: зачем было сотворить мир и человека? Тут только один ответ — в христианском смирении. «Горшку ли скудельному вопрошать гончара: зачем ты меня сделал?». Но бог благ... Итак, не для страданья же он создал то, что создал. Самые простые вопросы без веры неразрешимы.

3 апреля

Я от одной книги перехожу к другой: теперь читаю «Гулливера».[10] Хорошо в этой сказке, как автор увлекается сам своим вымыслом и как рассказывает вздор, словно дело, — совестливо, отчетливо, с важностию порядочного человека. От моих занятий меня беспрестанно отвлекают: сегодня очень некстати просидел у меня Еф. Дремин[11] битых два часа. Вечером писать не могу — потому и провел вечер у Басаргина.

5 апреля

Опять письмо от Пущина. Моя переписка приходит к концу. Глаза мочи нет как болят.

6 апреля

Кончил сегодня переписку «Толкования молитвы господней» и I том «Гулливера». Завтра надобно писать письма... Поскорее бы доделать свои дела, чтоб написать свои мысли о книге Одоевского,[12] о «Scherin von Prevorst»[a13] и, пожалуй, о Гулливере.

9 апреля

У меня глаза болят, а третьего дня до того разболелись, что мне ставили пиявки и горчичник, — вот почему и нет двух отметок в дневнике.

Книга Одоевского «Русские ночи» одна из умнейших книг на русском языке. Есть и в ней, конечно, то, что я бы назвал Одоевского особенною манерностию, о которой когда-нибудь поговорю подробнее, но все же это одна из умнейших наших книг. Сколько поднимает он вопросов! Конечно, ни один почти не разрешен, но спасибо и за то, что они подняты, — и в Русской книге! Он вводит нас в преддверье; святыня заперта; таинство закрыто; мы недоумеваем и спрашиваем: сам он был ли в святыне? Разоблачено ли перед ним таинство? разрешена ли для него загадка? Однако все ему спасибо: он понял, что есть и загадка, и таинство, и святыня.

---

[a] «Духовидица из Преворста» (*нем.*).

11 апреля

Я здесь давал «Die Scherin von Prevorst» прочесть одному моему здешнему знакомому. Он отослал мне книгу через два дня с запискою, в которой сказано: «Ich glaube, das der Mensch etwas besseres zu thun hat, als solchen Phantastereien nach zu hängen».[a]

Потом он сам у меня был, и я с ним разговорился; его главное возражение, что не для чего, не к чему являться духам. Точно ли оно так? Этот вопрос ведет очень далеко; последний его результат вот какой: не для чего, не к чему быть христианином, не к чему верить во что бы то ни было, нашим богом должно быть брюхо, а нашею добродетелью — прожить на сем свете как можно прохладнее, спокойнее, приятнее. Неужто в самом деле таков результат положительного, во всех своих выводах совершенно с самим собою согласного отвержения веры во всякую возможность для нас сообщаться с душами, покинувшими тело, в действительное существование этого сообщения, в необходимость в некоторых случаях ощутительности этого сообщения? Для младенчествующей веры, для веры тех, которые смиренно, безмолвно, без пытливости принимают все, чему церковь учит, конечно, не нужны такие напоминания, что есть иной мир за пределами видимого. Но в наш век много ли таких христиан? Отвергая возможность для существ бестелесных и душ отшедших сообщаться с нами ныне, в XIX веке, ум человеческий невольно отвергнет эту возможность и во всякое время... Что же тогда будет с чудесами Ветхого и Нового Завета? с явлением тени Самуила Саулу и ангелов патриархам и пророкам, с воскресением Лазаря и самого спасителя, с выходом из гроба многих давно уже умерших в час смерти Христовой? Все это сделается задачею неразрешимою, неодолимым камнем преткновения для самого чистосердечного желания согласить учение евангельское с философствованием так называемого здравого рассудка, которого, впрочем, здравие и рассудительность я тут вовсе не постигаю. Поневоле начнешь все это объяснять себе кое-как: то как иносказание, то как произведение фиглярства и чревовещательства (напр., появление Самуила), то как пробуждение от обморока; противоречия встретятся на каждом шагу, напр., обманщица, фиглярка говорит правду, предсказывает непреложную судьбу царю Израильскому; существа аллегорические служат путеводителями, товарищами в дороге молодому Товии, вкушают от трапезы Авраама; поднимаются с лица земли и уносят Илию, Иезекииля, Аввакума, св. Филиппа; выходят в запертые двери, устрашают коня Валаамова, поражают ужасом Павла, разговаривают с ним и пр., и пр. Что шаг, то препятствие необоримое для покушений все объяснить естественно, рассудительно, складно. Не говорю уже о чудесах, которые повествуются нам в житиях святых и мучеников. Словом сказать: тут делать нечего, непременно должно принять возможность для существ бестелесного мира со-

[a] «Я полагаю, что человек должен делать нечто лучшее, чем предаваться таким бредням» (*нем.*).

общаться с нами или перестать быть христианином. Можно ли по крайней мере, отвергая эту возможность, спасти верование в бессмертие души и веру унитариев, что Христос не бог, однако лучший и добродетельнейший из людей? Невозможно: нет метафизических доказательств, что будем жить за пределами гроба, таких, которые бы совершенно успокоили тоскующее сердце, а Христос, всегдашний проповедник и провозгласитель мира невидимого, для которого мы должны жить, о котором одном должны мы заботиться, явится для всякого, кто желает знать только этот видимый мир, мечтателем, фантастом, если даже не обманщиком. Великие феисты языческого мира, Пифагор, Сократ, Платон, Цицерон, Плутарх, — с гораздо большею логикою и последовательностию, чем наши умники, — все принимали не только возможность, но и действительность этого сообщения; зато наши, читая их рассказы, улыбаются и говорят, пожимая плечами: «Жаль! они тут заплатили дань слабости человеческой!».

Для меня книга Юстина Кернера именно потому чрезвычайно отрадное явление, что она крепит во мне веру в моего спасителя и с радостью заставляет отвергнуть все нелепые рациональные истолкования того, что теперь и без них для меня ясно и понятно.

15 апреля

Святая пасха. Сколько я сегодня нагрешил языком! Господи боже мой! положи узду в уста мои грешные.

17 апреля

Прочел я книгу Фредерика Сулье[14] «Un été à Meudon»;[a] ужасный вздор, кроме первой повести, в которой слог довольно хорош. Но напрасно наши так сердятся: есть вздор до того презрительный, что и сердиться не за что.

18 апреля

Прозелитизм и нетерпимость достались на часть и гг. философов, даже на часть секты индифферентистов! Напр., здесь есть некто, твердо уверенный, что обратит меня в виландо-кантовский немецкий индифферентизм 70-х годов;[15] а если ему не удастся, он, вероятно, провозгласит меня ханжой, лицемером или глупцом.

19 апреля

Насчет моего индифферентиста я ошибся и, признаюсь, очень рад. Не впаду же и я в ошибку, в которую полагал, что он впадет; стану верить, что он в своих мнениях искренен, и не усомнюсь в его честно-

---

а «Лето в Медоне» (*франц.*).

сти. Но все же для *его* счастья позволительно мне желать, чтоб он был другого мнения.

30 апреля

Швейковский приобщился святых таин и написал завещание.
Был у меня Бригген[16] и рассказывал много интересного.

1 мая

Краевский, без всякого сомнения, лучший наш критик,[17] умный, честный, добросовестный. Но пораженный тем, что безотрадно в нынешнем состоянии нашего общественного быта, он слишком резко — не извиняет, нет, почти оправдывает тех, которые нарушают основания, святые правила этого быта, напр. святость супружества. Он любовницу Печорина чуть ли не предпочитает чудесно-прекрасной Татьяне Пушкина; он находит, что в браке без любви много гадкого и возмутительного, даже порочного... Это, конечно, так, но все же жертва подобного брака, если свято хранит долг свой, в глазах самого же Краевского, пусть бы только он захотел хорошенько все раздумать, не только должна нравственно стоять непременно высше прелюбодейки, но и казаться существом не в пример более прекрасным и поэтическим. Нет! общественное мнение не совсем вздор: оно, конечно, очень часто впадает в заблуждения, часто и справедливые его приговоры бесчеловечны; но все же оно основано на вечной идее истины, красоты и совершенства. Жорж-зандовские разглагольствования никак не очистят той, которая раз уронила себя перед самой собою; тут Eugène Sue с своею Fleur de Marie[18] видел дальше гораздо всей школы сенсимонистов. Честность — вот условие, sine qua non,[a] под которым мужчина достоин своего имени: женщина не может почитать бездельника;[19] а целомудрие — вот честность женщины.

2 мая

Май уж для меня начинается; это значит начинаются неприятности. Сегодня получил я известие, что не позволяют мне жить в городе.

3 мая

Писал письма к гр. Орлову, к Одоевскому и Свистунову,[20] неужто откажут?

6 мая

Моим занятиям порядочно мешают милые посетители: переписываю своего «Итальянца» почти тише, чем сочинял его. Сегодня погода вечером была очаровательная. Бедный Швейковский очень плох.

---

[a] необходимое условие (*лат.*).

7 мая

Сегодня разговаривал я с женой о том, что у нас мало <денег?>, да чем-то мы будем жить и пр. Вдруг блеснула мне мысль, что спаситель велит только заботиться о настоящем дне и что он, верно, меня не оставит. Эта мысль меня удивительно как утешила и успокоила.

8 мая

Несчастливый день для моего Миши. За учением он плакал, потом я принужден был наказать его за упрямство, и, наконец, он упал в подвал и чуть до смерти не ушибся.

9 мая

Нарушил свое слово и играл в бостон, да и проигрался. Чему я, впрочем, очень рад: вперед мне наука.

10 мая

Сегодня в 3 часа ночи скончался на моих руках Иван Семенович Швейковский: при смерти его были ф<он> Бригген и Басаргин.

12 мая

Перелистывал стихотворения Шиллера. Они на меня подействовали очень странно: мне стало жаль поэта, жаль точно так, как мне жаль, когда размышляю о жизни Александра Павловича, который в моих глазах одно из самых трагических лиц в истории.

13 мая

Сегодня похоронили старика Швейковского. Я получил очень примечательное и дружеское письмо от моей доброй, несказанно доброй Натальи Дмитриевны.[21] Это письмо принесло уже свой благий плод: я было рассердился на Щ<епина>,[22] но пошел к нему, объяснился с ним и нашел, что этот бедный наш товарищ очень доступен хороших чувств, если только постараются в нем их пробудить.

15 мая

Провел день не так, как бы я желал, впрочем, довольно деятельно. Фон дер Бригген прочел мне 4 и 5 главы своего «Цесаря»:[23] пятая очень занимательна и в высокой степени оживлена драматическим интересом.

18 мая

Сегодня, через двадцать лет, я ел спаржу и раков.

19 мая

Бриггену вышел перевод на Кавказ. Он, бедный, в самом трудном теперь положении, говорит, что это для него все равно что 13 июля 1826 года. Тогда его разлучили с одним семейством, теперь с другим.

22 мая

Сегодня ровно два месяца, как я в Кургане. Вот так-то все проходит! Сколько было ожиданий, страхов, надежд, когда я отправлялся сюда! — все это теперь за мною, и теперь, вероятно, те люди, с которыми я жил в Акше, из которых кое-кто, кажется, меня и любил, начинают уже забывать меня!

Vanitas vanitatum! [a]

23 мая

Слава богу, принялся опять за дело! а то я все эти дни читал неимоверные глупости, именно — второй том «Ста русских литераторов»; [24] тут нет ни одной живой статьи, и Фаддей Булгарин сияет в этом сборнике как звезда первой величины; он, по крайней мере, хоть смешон.

25 мая

Третьего дня я совершенно случайно вспомнил несколько стихов пиэсы, которую я написал 24 года тому назад в Грузии, — на взятие греками Триполиццы.[25] Я тогда только что начал знакомиться с книгами Ветхого Завета, которые покойный Грибоедов заставил меня прочесть.

Вот начало:

Глагол господень был ко мне
За цепью гор, на бреге Кира:
«Ты дни влачишь в мертвящем сне,
В объятьях леностного мира...».

Потом обращение через пять или шесть строф к Англии:

О ты, коварный Альбион,
Бессмертным избранный когда-то!
Своим ты богом назвал злато;
Бессмертный сокрушит твой трон,
Тебя замучают владыки;

---

[a] Суета сует! (*лат.*).

На чад твоих наляжет страх;
Во все рассыплешься языки,
Как вихрем восхищенный прах.

Народов чуждых песнью будешь
И притчею своих врагов
И имя славное забудешь
Среди бичей, среди оков.

26 мая

Сегодня день рождения покойного Пушкина.

Я сбился с своей колеи; у меня было множество гостей:[26] Бригген, Пейкер, Пассек, Чайковский, Басаргин, Щепин и Башмаков, а причина прихода некоторых та, что Евгения Андреевна была в бане и, стало быть, у городничего не играли в карты.

27 мая

Сегодня ночью я видел во сне Крылова и Пушкина. Крылову я говорил, что он первый поэт России и никак этого не понимает. Потом я доказывал преважно ту же тему Пушкину. Грибоедова, самого Пушкина, себя я называл учениками Крылова; Пушкин тут несколько в насмешку назвал и Баратынского. Я на это не согласился; однако оставался при прежнем мнении. Теперь не во сне скажу, что мы, т. е. Грибоедов, я и даже Пушкин, точно обязаны своим слогом Крылову; но слог только форма; роды же, в которых мы писали, все же гораздо высше басни, а это не безделица.

28 мая

Сегодня в свои именины я получил письмо и деньги от сестры, и Басаргин подарил мне часы. Вечером были у меня гости.

30 мая

Вот и последний день мая! Этот год даже май был для меня счастливый месяц. Благодарю тя, мой боже! что, согревая в моем сердце истинную веру, исцеляешь меня от суеверия! и как отечески! как без всякой заслуги с моей стороны — милосердо! — благодеяниями.

4 июня

Загоскин не блистательный талант, — но человек, хотя несколько и ограниченный, с теплою душою и русским умом: его «Мирошев»[27] принадлежит к лучшим романам на русском языке. Я сегодня в первый раз в Кургане проездился верхом.

6 июня

«Мирошев» Загоскина точно очень недурная книга; повторяю, я прочел этот роман с удовольствием; но в «С‹ыне› о‹течества›» такая нелепая ему похвала, что так и хочется господину рецензенту напомнить стих Крылова: «Услужливый дурак опаснее врага».

10 июня

Минуло мне сегодня 48 лет. Печально я встретил день своего рождения, пока не сошлись гости. Я стал выхаживать стихи, да не удалось составить более того, следует:

Еще прибавился мне год
К годам унылого страданья;
Гляжу на их тяжелый ход,
Не ропща, но без упованья.

Что будет, знаю наперед:
Нет в жизни для меня обмана,
Блестящ и весел был восход,
А запад весь во мгле тумана.

Вдобавок я болен.

16 июня

Опять погорячился и разбранился с Щепиным; да он, право, лучше меня — первый протянул мне руку, между тем как я ему бог знает что наговорил.

6 августа

Опять месяц прошел — и я не писал своего дневника. Я был болен; меня мучила хандра, которая отчасти произошла от праздности. Справедливо изречение старинных азбук: «Праздность — мать всех пороков!». Во время хандры я успел поссориться с Басаргиным и понаделал бог знает сколько глупостей.

Статья, которую я сегодня кончил, — статья о нашей грамматической терминологии. Она, если бог даст, будет добрым началом ряда статеек о русской грамматике.

26 августа [78]

[...] Работы сельские приходят уж к концу,
Везде роскошные златые скирды хлеба;
Уж стал туманен свод померкнувшего неба,
И пал туман и на чело певцу...

Да! недалек тот день, который был когда-то
Им, нашим Пушкиным, так задушевно пет!
Но Пушкин уж давно подземной тьмой одет,
И сколько и еще друзей пожато,

Склонявших жадный слух при звоне полных чаш
К напеву дивному стихов медоточивых!
Но ныне мирный сон товарищей счастливых
В нас зависть пробуждает. Им шабаш!

Шабаш им от скорбей и хлопот жизни пыльной,
Их не поднимет день к страданьям и трудам,
Нет горю доступа к остывшим их сердцам,
Не заползет измена в мрак могильный,

Их ран не растравит; их ноющей груди
С улыбкой на устах не растерзает злоба,
Не тронет их вражда: спаслися в пристань гроба,
Нам только говорят: «Иди! иди!

Надолго нанят ты; еще тебе не время!
Ступай, не уставай, не думай отдохнуть!» —
Да силы уж не те, да все тяжеле путь,
Да плечи все больнее ломит бремя! [...]

21 сентября

Перебрался в свой собственный дом, и вдобавок больной.

22 сентября

Процеживал у меня Вожжинский[29] наливку и между прочим рассказывал свою историю: это целый роман, в котором покойный полковник Севастианов, убитый потом под Варшавой, играет чудесную роль.

9 октября

Кельбедин получил письмо от Белкина, в котором пишут, будто бы скончалась Э. Ф. Брейткопф. Еще один ангел возвратился в свою отчизну небесную!

10 октября

И ты на небо воспарило,
Унылых дней моих светило!
Любви, души моей звезда,
Ты возвратилася туда,
Куда тебя давно манило
Все, что тебе когда-то было
Святым и милым! — Ты опять
Там обняла отца и мать,
И вновь к тебе простерли братья
С улыбкой радости объятья,

Пред богом ты — и не одна.
Тебе сестра возвращена!
И что же? хладный и угрюмый,
Я только полн тяжелой думы
При вести, что ты отошла!
А между тем чиста, светла,
Звезда любви, краса лазури,
Когда я пал, добыча бури,
Когда меня схватила мгла,
Когда, студеного чела
Касаясь, падали перуны
И рвали жизненные струны,
Ты на небо меня влекла!..
Увы! ужель и впрямь неложно,
Что все мгновенно, все ничтожно,
Что может и душа отцвесть,
Что и любовь мечта пустая,
Что нам, изгнанникам из рая,
Уж вечно рая не обресть?

25 и 26 октября [30]

[...] До смерти мне грозила смерти тьма,
И думал я: подобно Оссиану
Блуждать во мгле у края гроба стану,
Ему подобно, с дикого холма
Я устремлю свои слепые очи
В глухую бездну нерассветной ночи
И не увижу ни густых лесов,
Ни волн полей, ни бархата лугов,
Ни чистого лазоревого свода,
Ни солнцева чудесного восхода,
Зато очами духа узрю я
Вас, вещие таинственные тени,
Вас, рано улетевшие друзья,
И слух склоню я к гулу дивных пений,
И голос каждого я различу,
И каждого узнаю по лицу.
Вот первый: он насмешливый, угрюмый,
С язвительной улыбкой на устах,
С челом высоким под завесой думы,
Со скорбию во взоре и чертах!
В его груди, восторгами томимой,
Не тот же ли огонь неодолимый
Пылал, который некогда горел
В сердцах метателей господних стрел,
Объятых духом вышнего пророков?
И что ж? неумолимый враг пороков
Растерзан чернью в варварском краю...
А этот край он воспевал когда-то,
Восток роскошный, нам, сынам заката,
И с ним отчизну примирил свою!
И вот другой: волшебно-сладкогласный
Сердец властитель, мощный чародей,
Он вдунул, будто новый Промефей,
Живую душу в наш язык прекрасный...

Увы! погиб довременно певец:
Его злодейский не щадил свинец!
За этою четою исполинской
Спускаются из лона темноты
Еще две тени: бедный Дельвиг, ты,
И ты, его товарищ, Баратынский!
Отечеству драгие имена,
Поэзии и дружеству святые!
Их музы были две сестры родные,
В них трепеталася душа — одна! [...]

28 октября

[...] УЧАСТЬ РУССКИХ ПОЭТОВ

[Горька [Тяжка] судьба поэтов всех земель,
Тяжеле [Но горше] всех певцов моей России.
Заменит ли трубою кто свирель,
И петля ждет его мятежной выи!]
Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.
Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою, —
Пожалися годиной роковою...
Бог дал огонь их сердцу, свет уму.
Да! чувства в них восторженны и пылки:
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки...
Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных;
Или рука любезников презренных
Шлет пулю их священному челу;
Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полет
Сияньем облил бы страну родную. [...]

[...] 4 ноября [31]

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ



ВЗГЛЯД НА НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

В царствование императриц Анны и Елисаветы Европа видела рождение изящной словесности и поэзии у народа, который тогда еще сам, так сказать, недавно был создан. Спустя потом несколько лет многие писатели, изумленные гигантским шествием России на пути просвещения, не усомнились первые опыты русских муз сравнивать с образцовыми произведениями языка Расинов и Вольтеров. Историк Левек смело поставил Сумарокова[1] наряду с Лафонтеном, с неподражаемым Лафонтеном, которому, по общему признанию, до сих пор еще не было равного.

Ныне оставлены мнения столь высокопарные, сколь вредные успехам искусства. Наши Виргилии, наши Цицероны, наши Горации исчезли; имена их идут рядом с почтенной древностию только в дурных школьных книгах. Наши литераторы уже принимают сторону здравой критики: г. *Мерзляков* доказал[2] первый, что Херасков, впрочем, весьма почтенный писатель, очень далек от того, чтобы быть вторым Гомером, и что самая лучшая поэма его далека даже от Вольтеровой «Генриады». При таких обстоятельствах не бесполезно бросить взгляд на нынешнее состояние русской словесности и показать оное иностранцам. Мы ограничиваемся здесь поэзией, с некоторого времени испытавшею перемену важную, достойною внимания ученого света.

Несмотря на усилия Радищева, Нарежного[3] и некоторых других,[4] на усилия, которым, быть может, со временем узнают цену, в нашей поэзии даже до начала 19 столетия господствовало учение, совершенно основанное на правилах французской литературы. Стихи без рифм не почитались стихами; одни только Лагарпом одобренные образцы имели у нас достоинство; не хотели верить, чтобы у немцев и англичан могли

быть хорошие поэты. Тиранство мнения простиралось так далеко, что не смели принимать другой меры, кроме ямбической.

В 1802 году г. *Востоков* изданием своих «Опытов лирической поэзии»[5] изумил, можно даже сказать, привел в смущение публику; в сей книге увидели многие оды Горациевы, переведенные мерою подлинных стихов латинских. Он показал образцы стихов сафического, алцейского, элегического и говорил с восторгом о произведениях германской словесности, дотоле неизвестных или неуважаемых.

Но скоро, с чем нельзя не согласиться, явились два человека, которые стараются исполнить на деле то, что было начато Востоковым. *Гнедич* вводит у нас героические стихи древних;[6] сия новизна соделает «Илиаду» его достопамятною эпохой нашей словесности и будет торжеством хорошего вкуса над предубеждениями. С другой стороны, Жуковский не только переменяет внешнюю форму нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства. Принявши образцами своими великих гениев, в недавние времена прославивших Германию, он дал (выразимся словами одного из наших молодых поэтов[7]) германический дух русскому языку,[8] ближайший к нашему национальному духу, как тот, свободному и независимому.

ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ

‹I›

Наши господа критики до сих пор обращали слишком мало внимания на любопытные, а иногда и довольно важные статьи, которые нередко попадаются в различных периодических изданиях. Передо мною 7 первых номеров «Сына отечества», одна книжка «Вестника Европы», одна «Сибирского вестника» и по две книжки «Духа журналов» и «Благонамеренного»: в них много такого, что должно бы обратить на себя внимание всякого любителя словесности. Как, например, не удивляться, как не досадовать, когда какой-то малороссиянин на стр. 95 говорит нам о плавных стихах — кого же? *Жуковского*. Неужель господин В. К. в одном из превосходнейших стихотворений корифея русских поэтов нашего поколения находит одну только плавность?[1] Вот как 1820 года хвалят и ценят творения гения, которые бы должны быть предметом народной гордости и сладострастием душ высоких и чувствительных.[2]

Но оставим все это и разберем несколько примечательных стихотворений, отпечатанных в «Сыне отечества» 1820 года.

В 1 номере «Песнь о первом сражении русских с татарами на реке Калке под предводительством князя Галицкого Мстислава Мстиславовича Храброго». Сочинение г. Катенина.

Если б я был из числа записных неприятелей поэта, я бы мог сказать, что в самом заглавии есть уже погрешность в расположении слов: под предводительством и проч. по близости относится к словам: с татарами; итак, князь Галицкий был предводителем татар! [3] Но придираться к таким безделицам прилично вам:

Обильные творцы бесплодных примечаний,
Уставщики кавык, всех строчных препинаний.[4]

«Г. Катенин имеет истинный талант! — сказал я, когда в первый раз прочел его «Софокла».[5] — Как жаль, что в сочинениях его недостает вкуса, что он не имеет друзей, которые бы говорили ему правду, — или как жаль, что он не верит их советам!». В сем мнении меня еще более подтверждает его новое произведение. Начало превосходно, достойно лучших наших писателей! Я не могу отказать себе в удовольствии переписать его:

Не белые лебеди
Стрелами охотников
Рассыпаны *в стороны,*
Стремглав по поднебесью,
Испуганы, мечутся,
Не по морю синему
При громе и молниях
Ладьи белокрылые
На камни подводные
Волнами носятся.
Среди поля чистого
Бежит православная
Рать русская храбрая
От силы несчетныя
Татар победителей.
Как *ток реки,*
Как холмов цепь,
Врагов полки
Покрыли степь.
От тучи стрел
Затмился свет;
Сквозь груды тел
Прохода нет.
Их *пращи* — дождь,
Мечи — огонь;
. . . .
Не может взгляд
Окинуть всех.
На тьмы татар
Бойцы легли,
И крови пар
Встает с земли.

Стихи не Жуковского, не Батюшкова, — но стихи, которые бы принесли честь и тому и другому. Приведем еще два, которые показывают талант Катенина:

Решето стал щит — (к несчастью) *дебелый.*[6]
Меч — зубчатая пила!

После таких стихов мы читаем:

Не понаведаться ль,
Здоров ли верный меч?
Уж не устал ли он
Главы поганых сечь?
Не уморился ли
Так долго кровью течь?

Коли в нем проку нет,
Так не на что беречь;
Свались на прах за ним
И голова со плеч:
Нет срама мертвому,
Кто смог костями лечь.

Читатель, может быть, не поверит, что сие и прежнее писано одним и тем же поэтом, что оно находится в одном и том же стихотворении.

«*Меч уморился кровию течь*» — что это значит? Или меч может быть ранен? «*Коли в нем проку нет, Так не на что беречь*». Я, кажется, слышу не князя Мстислава, но самого низкого простолюдина. «*Нет срама мертвому, Кто смог костями лечь*». — Мысль превосходная, но не г. Катенина;[7] как же она выражена? Но что Катенин имеет истинный талант, видно даже из дурных приведенных здесь стихов; и в них есть два стиха — жестких, конечно, но превосходных по силе и по чувству:

Свались на прах за ним
И голова со плеч!

Следует еще прекрасное место:

И три раза, вспыхнув желанием славы,
С земли он, опершись на руки кровавы,
вставал.

Оно сильно, живописно, ужасно! Самый размер заслуживает внимания по удивительному искусству, с которым он приноровлен к мыслям. И непосредственно после таких стихов мы читаем:

И трижды, истекши рудою обильной,
(истекши рудою!)
Тяжелые латы подвигнуть бессильный,
Упал.

Читаем:

Или звери
Плотоядны
Кровь полижут
Честных ран?

Какое положительное безвкусие! Далее мы видим, что князь Даниил прикрикнул на детей.

Мы бы могли выписать еще много мест, которые доказывают наше мнение, что г. Катенин к своему истинному дарованию не присоединяет вкуса. Но мы лучше приведем отрывок, в котором поэт, живописав дикими красками Данта, исполнил нас ужаса, а потом, когда мы хотели рассмотреть его хладнокровнее, оставил в недоумении, удивляться ли ему или — но пусть читатель сам посудит:

Вздохи тяжелые грудь воздымают;
Пот, с кровью смешанный, каплет с главы;

Жаждой и прахом уста засыхают; (п р е в о с х о д н о!)
На ноги сил нет подняться с травы.
Издали внемлет он ратному шуму:
Стелют, молотят *снопы* там *из глав.*

В стихотворении Катенина мы находим сочетание нескольких родов размеров: новизна на русском языке, о которой осмелимся здесь предложить наше мнение.

Не говоря о силлабическом размере, который когда-то употреблялся в нашей поэзии, но по справедливости оставлен, у нас могут существовать размеры трех родов: 1-е, размер наших народных песен и сказок, коего феорию так хорошо и ясно изложил г. Востоков в своем «Опыте о русском стихосложении»;[8] 2-е, размер, заимствованный Ломоносовым у немцев, основанный на ударении слов или на стопах и на том созвучии в конце стихов, который мы привыкли называть рифмою; 3-е, сей же размер, но без рифм, подражание количественному размеру древних.

Каждый из сих трех размеров имеет, можно сказать, особенный слог, слог того рода поэзии, коему он принадлежал первоначально. Смешивать сии три слога почти все равно, что говорить — по примеру наших бывших модников — лепетом, составленным из слов русских и французских, а сверх того, вмешивать выражения греческие и латинские. Употребление же различных размеров одного и того же рода не только позволительно, но, как нам кажется, должно послужить к обогащению языка и словесности.

Г. Катенин, к сожалению, соединил все три рода возможных стихосложений; не от того ли произошла шаткость и пестрота его слога?

Впрочем, публика и поэты должны быть благодарны г-ну Катенину за единственную, хотя еще и несовершенную в своем роде, попытку сблизить наше нерусское стихотворство с богатою поэзиею русских народных песен, сказок и преданий — с поэзиею русских нравов и обычаев.

В третьем номере стихотворения «К моей родине» г-на Плетнева и «Два певца» какого-то К.[9] О сем последнем мы не скажем ни слова, оно очень посредственно. Г. Плетнев долгое время был слишком близким подражателем Батюшкова и Жуковского; но в его последних двух стихотворениях (в элегии, о которой здесь говорим, и в другой, отпечатанной в «Соревнователе» 12 книжке 1819 года под названием «Победа») мы с удовольствием приметили усилие, верную поруку за дарование, усилие выйти из толпы подражателей. Кто желает в этом увериться, пусть сравнит прежние стихотворения г. Плетнева с его последними. Мы приведем здесь несколько стихов, по которым читатель нашего «Зрителя» может без сравнения составить себе понятие о степени и роде поэтического таланта г. Плетнева.

Забуду ль в песнях я тебя, родимый край,
О колыбель младенчества златая,
Немой моей мечты прибежище и рай, (п р е к р а с н о!)
Страна безвестная, но мне драгая;

Тебя, пустынное село в глухих лесах,
Где, с жизнию обнявшись молодою, (превосходно!)
Я в первый раз смотрел, что светит в небесах,
Что веет так над зыбкою водою?
. . . .
Могилы вкруг него (вкруг храма), обросшие травой,
Неровными лежащие рядами,
Куда, ребенком, я ходил искать весной
Могилу ту, меж серыми крестами,
(оборот прозаический)
Где мой лежит отец... младенца своего,
Меня, лишь на заре моей лобзавший;
Где, с тайным трепетом, я призывал его
И милой тени ждал, ее не знавши?
Забуду ль вас, о мирные луга,
. . . .
Вас, низки хижины, к потоку с двух холмов
Лицем к лицу неправильно сходящи, (ново)
И зыбкий, ветхий мост, и клади меж брегов,
И темный лес, кругом села шумящий?

Г. Плетнев только должен обратить большее внимание на точность и стихотворность выражений и оборотов, должен приучить себя писать со тщанием, и мы уверены, что он со временем принесет честь русской словесности. Как, например, неприятно между хорошими его стихами читать следующее:

Прикрытые (луга) со всех сторон *елями*,
И обращенные под нивы берега,
И вас, поля, усеяны *камнями*;

Или:

Забуду ли тебя, о Теблежский ручей,
Катящийся в брегах своих *пологих*
И призывающий к себе струей своей
В жары стада *вдруг с двух* полей *отлогих*.

В 4 номере превосходные два стихотворения: одно («Послание к Т...») с подписью: Варшава, другое («Ответ Фонвизина») вовсе без подписи.[10] Мы можем поручиться читателю, что оба стихотворения одного и того же поэта; мы бы его назвали, но он сам того не сделал. Впрочем, что нужды: назовем Жуковского, назовем Батюшкова, и каждый произнесет имя поэта. Загадки всякого рода ныне очень в моде: мы надеемся, что наша столь же легка, как известная французская:

Je me nomme chapeau; on me met sur la tête:
Divine grosse bête![a]

---

[a] Я называюсь шляпою, меня надевают на голову:
Отгадай, дурачина! (*франц.*).

Эту загадку один мой знакомый перевел следующим образом:

Меня ты с головы пред Клитом не снимай;
Я шляпою зовусь: Пьянюшкин, отгадай.

Мы не выписываем ни одного стиха из сих превосходных двух пиес, чтоб не прийти в искушение выписать их от начала до конца: а за это рассердится «Сын отечества».

Между прозаическими статьями первых пяти книжек «Сына отечества» первое место занимают «Путешествие вокруг света флота капитана Головнина» и «Письмо о русском синтаксисе». Когда мы услышали, что в «Сыне отечества» будут появляться время от времени описания пера г. Головнина, мы обрадовались и приготовились читать статьи занимательные, написанные без всех пустых украшений, восторгов и восклицаний, — мы не ошиблись.

«Письмо» г. Кошанского содержит в себе много нового, смелого и вместе справедливого: но, впрочем, нам кажется, он не довольно ясно доказал, что глаголы *требовать, помогать, управлять, рассуждать* — суть глаголы действительные. Наше мнение, что те только глаголы могут называться действительными, которые имеют *настоящее действительное причастие* и в то же время управляют падежами или винительным, или родительным. *Требуемый, я требуем* — можно сказать; но *помогаемый, я помогаем, рассуждаемый, я рассуждаем* — будет и против языка, и против логики. Единственное исключение из сего правила составляют действительные глаголы *есть* и *пить*; и, кажется, именно потому, что никто еще о себе не успел сказать: *меня едят, меня пьют!*

Что же касается до споров за худых актеров, французских и русских, которыми с некоторого времени изобилует «Сын отечества», — они и смешны и скучны. Нас несравненно более заняло описание подвигов волка,[11] который было вздумал объявить войну нам, петербургским жителям. Впрочем, последняя статья сего рода в 6 номере «Сына отечества» заслуживает внимания за то именно, что г. Издатель согласился ее отпечатать. В ней находится две выходки против самого его: благородное в сем случае беспристрастие г. Греча заслуживает подражания.[12]

Наконец, в седьмом номере мы с признательностью прочли весьма лестный отзыв г. Издателя о нашем журнале: свидетельствуем ему здесь нашу благодарность.[13]

В первой книжке «Вестника Европы» мы прочли отрывок из III песни поучительной поэмы «Искусства и науки» Воейкова.

Прежде чем скажем наше мнение о стихотворении, да будет нам позволено сказать два слова вообще о поэзии дидактической или поучительной. Многие ли читают превосходный «Опыт о человеке»[14] («Essay of man»), превосходные речи в стихах Вольтера (discours en vers)? Кто известнее, чьи творения чаще переводят: эпика (рассказчика) Гомера или дидактика (учителя) Гезиода? Поучения всегда скучны и неприятны: особенно же, когда нам наперед, с обидною для нас важностью и высокопарностью педагога, говорят: слушайте! я хочу учить вас! Наставления — лекарства; публика — избалованный ребенок, который не считает себя больным, но большой охотник лакомиться. Если захотим заставить его принять лекарство — обманем его, скажем, что принесли

ему гостинец от Аполлона, балладу, песнь, драму — и он без подозрения проглотит поучение! Это, впрочем, и не ново: «Музарион» Виланда[15] при первом взгляде легкая, забавная сказка, а между тем не что иное, как полный курс сократической философии; «Нафан» Лессинга[16] для обыкновенного читателя просто драма, в которой представлена мудрость и великодушие иудейского старца, а для человека мыслящего и чувствительного «Нафан» — полная феория всех доказательств необходимости и прелести истинной, христианской терпимости. Шиллерова «Прогулка» («Spaziergang») для некоторых — превосходное описание прогулки, для других — святый, вдохновенный урок, взятый из биографии человечества, данный всем временам и народам: будьте умеренны, будьте близки к Природе!

Поэма г-на Воейкова в сем отношении не имеет никакого сходства с творениями, о коих мы упомянули: она принадлежит к одному разряду с поэмою Лукреция,[17] с поэмою о религии младшего Расина,[18] с посланием Ломоносова о пользе стекла. Рассмотрим стихи:

Нам любопытство, ум и волю дал Творец,
Который сотворил людей на тот конец,
Чтобы к духовному стремились совершенству.
Мы сими свойствами владеем по наследству,
И искра Божества пылает не вотще!

Какая проза без жизни гармонии! Далее: мы находим, что *душа завернута в густой и темной оболочке, как цвет, до времени себя таящий в почке*: это стихи не Сумарокова! Но если бы весь отрывок был написан таким образом, мы и не осмелились бы, говоря о нем, скучать нашему читателю: вот место, которое показывает поэта:

Единый человек умеет улучшать,
Разнообразить все и все преображать;
От самого себя умеет отделяться
И наблюдать себя; прекрасным наслаждаться;
К добру и истине в душе благоговеть;
В прошедшем обитать, грядущим овладеть,
К нам настоящее приковывать мгновенье
И размышлением умножить наслажденье;
На пользу опытность и случай обращать
И опыты свои векам передавать.

Слог г. Воейкова вообще чрезвычайно неровен: иногда превосходен по силе и смелости выражений, оборотов, иногда ниже посредственного по прозаизмам, впрочем, нередко неизбежным в дидактическом роде, по грубости и шероховатости звуков и небрежного стихосложения.

Что касается до прозы 1 книжки «Вестника Европы», мы можем сказать, что с любопытством, но не с удовольствием прочли мы перевод из путешествия Иосифа Синковского.

Мысли, которые в начале 1820 года заступили места переводных повестей, помещаемых обыкновенно «Вестника Европы» в прозе под

статьею «Изящная словесность», отчасти новы, хороши, остроумны; отчасти же стары, обыкновенны и даже вовсе несправедливы, напр.:

Хорошего человека скоро узнать можно, дурного — никогда.
Мы счастливы — только лишь счастием других.
Кто способен ненавидеть, тот не может любить.

Впрочем, мы должны отдать справедливость г. Нечаеву; его мысли не принадлежат к числу тех мыслей без мыслей, которые иногда попадаются под названием: мысли, замечания и характеры и т. п.

«Сибирский вестник» — издание, которое во всех отношениях должно быть для всякого русского важно и занимательно, — выходит ныне уже третий год: искренно желаем ему дальнейшего успеха и долговечности. Мы уверены, что «Сибирский вестник» — для ума и здоровья сочная пища, а для памяти — богатый источник положительных сведений, без коих, по нашему мнению, не можно иметь никакого права на название человека образованного и просвещенного; первая книжка «Сибирского вестника» содержит следующие статьи: 1. Извлечение из описания экспедиции, бывшей в Киргизскую степь в 1816 году. 2. Взгляд на северную Сибирь. 3. Киргиз-кайсаки большой, средней и малой Орды. 4. Сравнение замерзания и вскрытия рек Невы и Оби. Чрезвычайно жалеем, что пределы нашего издания не позволяют нам разобрать подробно одно или несколько из сих описаний. Здесь только следует начало второй статьи, чтобы представить читателю хотя что-нибудь в пример слога «Сибирского вестника»: «Природа везде прекрасна; она прекрасна и в самых ужасах своих. Обратите взор на северный край Сибири, вообще почитаемый гробом жизни: где земля в оковах вечного хлада, растения лишены цвета и органической силы и где человек, в отношении к нравственному бытию и удобствам общественной жизни, остается в первоначальном младенческом состоянии — вы увидите, что и там природа имеет свои красоты, человек — свои удовольствия.

С каким удивлением встретите вы в известную четверть года беспрерывный день под полярным кругом и солнце, вместо захождения переменяющее только свой образ и сияние? Или ночь, освещаемую луною и блеском воздушных явлений, изображающих на снежных коврах зимы разноцветную игру преломляющихся лучей! Какая кисть представит то тусклое, то яркое блистание северных сияний,[a] которые в неподражаемых видах живописуют северный небосклон или дугообразными протяжениями, или быстро движущимися столпами, часто сопровождаемыми шумом и свистом в беспредельности воздуха, и которые освещают мрачное царство долговременной зимней ночи?».[19]

«Дух журналов, или Собрание всего, что есть лучшего и любопытнейшего во всех других журналах по части истории, политики, законо-

---

[a] Не лучше ли: блистание северных сияний, то тусклое, то яркое, — чтобы избегнуть двусмыслия?

дательства, правосудия, государственного хозяйства, литературы, разных искусств, сельского домоводства и проч.», «Дух журналов» — хорошее издание, в состав коего особенно входят науки политические и исторические. Сей вестник отличается благородным беспристрастием и важностию статей дельных и полезных.

«Благонамеренный» — журнал, издаваемый А. Измайловым с эпиграфом:

On fait ce qu'on peut,
Et non pas ce qu'on veut.[а]

Не значит: взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Но, впрочем, г. Издатель напрасно обижает самого себя; у него даже помещены стихотворения таких родов, каких еще не было в *российском стихотворстве*, а именно омонимы, что значит: тождесловы, или соименники, и поэтические анекдоты (иначе не умеем назвать сего рода, который, вероятно, также найдет многих себе подражателей), поэтические анекдоты о пьяницах.[б]

Кроме того, у г. Издателя много корреспондентов, путешествующих в иностранных землях и сообщающих ему *весьма интересные* газетные новости.

Во втором номере «Благонамеренного» несколько стихотворений хотя и не в новом роде, но с подписью: Варшава.[21] Чтобы не показаться в глазах наших читателей слепыми панегириками «Благонамеренного», мы скажем искренно, что стихотворение «Трудная задача» кажется нам достоинством во много ниже прочих с тою же подписью.

Послание к Е. А. Б...вой[22] — легкая, прелестная безделица, напоминающая нам хорошие французские послания в сем роде. Вот место, которое нас пленило своим dulce et facetum:[в]

И признаюсь, я часто в восхищенье
Вас представлял читающих тайком
Мои стихи в безмолвном умиленье,
И жадно ждал, когда своим певцом
Счастливого меня вы назовете.

[а] Делают то, что могут, а не то, что хотят (*франц.*).

[б] Чтобы распространить круг литературных сведений наших читателей, мы считаем приятною для нас обязанностию поместить здесь сие стихотворение, по скромности названное сказкою.

Филат жене своей с похмелья побожился,
Что пуншу в рот он не возьмет;
Посмотришь — ввечеру чуть жив домой идет.
— Бессовестный! опять напился!
Где был?
— У свата Емельяна.
— Пунш пил?
— Нет!.. водки выпил три стакана.[20]

[в] приятным и забавным (*лат.*).

В заключение приведем еще четырестишие, подписанное: Томск.[23]

— Мудрец! на свете сем, меж глупыми и злыми,
Чем занят ты, я знать хочу.
— В большой больнице сей я слезы лью с больными,
А с дураками хохочу!

‹II›

С удовольствием извещаем наших читателей о выходе в свет первой части «Сочинений» г-жи Буниной.[24] Стихотворения ее заслуживают во многих отношениях внимание публики: г-жа Бунина — женщина-поэт, явление редкое в нашем отечестве, и, сверх того, поэт с дарованием, поэт неподражатель. Подробный разбор лучших ее стихотворений принес бы словесности, по нашему мнению, истинную, существенную пользу: жалеем, что пределы нашего издания не позволяют долго останавливаться на одном предмете.

Первая часть «Сочинений» г-жи Буниной содержит стихотворения лирические. Более прочих подействовали на нас следующие: «Майская прогулка болящей», «Упрек другу», «Весна», «Юному Поллуксу», «На разлуку», «Отречение».

Противуположность, которою уже Жуковский так счастливо воспользовался в своем «Громобое»,[25] противуположность цветущей, прелестной Природы и растерзанного сердца человеческого употреблена с большим искусством. В «Прогулке» г-жи Буниной: стихи то мрачные и ужасные, то трогательные, живописные и задумчивые переменяются в сем прелестном произведении, стесняют душу, исполняют ее жалости и содрогания и противу воли извлекают слезы. Что же касается до слога, он не есть слог новейшей поэзии, очищенной трудами Дмитриева, Жуковского, Батюшкова: г-жа Бунина шла своим путем и образовала свой талант, не пользуясь творениями других талантов.

. . . .
Ад в душе моей гнездится;
Этна *ссохшу* грудь палит; (иссохшая, а не ссохшая грудь)
Жадный змий, виясь вкруг сердца,
Кровь *кипучую* сосет.
Тщетно слабыми перстами
Рву чудовище... нет сил!
Яд его протек по жилам:
Боже мира! запрети!

Где целенье изнемогшей?
Где отрада? где покой?
Нет! не льсти себя мечтою:
Ток целения иссяк.
Капли нет одной прохладной
Тощи оросить уста! (тощие уста нельзя сказать)

В огнь дыханье превратилось;
В остру стрелу каждый вздох;
Все глубоки вскрылись язвы —
Боль их ум во мне мрачит.
Где ты, смерть? — Изнемогаю...
Дом, *как тартар*, стал постыл!

Мне ль ты, солнце, улыбнулось?
Мне ль сулишь отраду, май?
Травка! для меня ль ты стелешь
Благовонный свой ковер?
Может быть, мне там и лучше...
Побежим под сень древес.
. . . .

Но в груди огонь не гаснет,
Сердце тот же змий сосет;
Тот же яд течет по жилам:
Ад мой там, где я ступлю.
Нет врача омыть мне раны,
Нет руки *стереть* слезы,
Нет *устен* для утешенья,
Персей нет — приникнуть где;
Все странятся — убегают:
Я одна... О горе мне!

Несмотря на некоторые неровности, какая сильная, живая поэзия! Здесь не мечтательное несчастие унылого юноши, который в существенном мире не нашел того, что может дышать в одном мире фантазии; здесь говорит несчастие истинное голосом боли, голосом отчаяния. Далее к страдалице подходит нищий старец:

Ветр власы его взвевает,
Белые, как первый снег!
По его ланитам впалым
Из померкнувших очей
Чрез глубокие морщины
Токи слезные текут.

Он получает от ней подаяние и восклицает:

«Боже щедрый! благодатный!
. . . .
Ниспошли ей свою благость,
Все мольбы ее внемли!».
Старец! ты хулы *изрыгнул!*
Трепещи! ударит гром!..
. . . .
Бог отверг меня несчастну!
Око совратил с меня, (отвратил от меня)
Не щедроты и не благость —
Тяготеет зло на мне.
(Щедроты и благость не могут тяготеть)

Тщетно веете, зефиры!
Тщетно соловей поет!
Тщетно с запада златого,
Солнце, мещешь кроткий луч
И, Петрополь позлащая,
Всю природу веселишь!
Чужды для меня веселья!
Не делю я с вами их!
Солнце *не ко мне* сияет, (не для меня)
Я не дочь природы сей.

Свежий ветр с Невы вдруг дунул:
Побежим! он прохладит.
Дай мне челн, угрюмый кормчий!
К ветрам в лик свой путь направь.
Воды! хлыньте дружно с моря!
Вздуйтесь, синие бугры!
Зыбь на зыби *налегая,*
Захлесни отважный челн!
Прохлади мне грудь иссохшу,
Жгущий огнь ее залей.
Туча! упади громами!
Хлябь! разверзнись — поглоти...
Но все тихо, все спокойно:
Ветр на ветвиях уснул,
Море гладко, как зерцало;
Чуть рябят в Неве струи;
Нет на небе туч свирепых;
Облак легких даже нет,
И по синей, чистой тверди
Месяц с важностью течет.

Если бы все стихотворения Анны Петровны Буниной в достоинстве равнялись с приведенным здесь, она, без сомнения, занимала бы одно из первых мест между русскими истинными поэтами, хотя и в «Прогулке» много необделанного, шероховатого, а изредка ненужные с первого взгляда повторения; впрочем, сии повторения имели, может быть, целию живее представить состояние больной, которая беспрестанно вспоминает свое ужасное состояние и естественным образом говорит о нем в одних и тех же выражениях, и в таком случае стихи:

Яд его протек по жилам
. . . .
Капли нет одной прохладной
Тощи оросить уста,
В огнь дыханье превратилось...

потом:

Свежий ветр с Невы вдруг дунул:
Побежим! он прохладит.

и;

Захлесни отважный челн!
Прохлади мне грудь иссохшу,
Жгущий огнь ее залей —

и, может быть, еще некоторые другие, выражающие одну и ту же мысль или оттенки одной и той же мысли, не только не лишны, но даже необходимы. Конец всего стихотворения заставляет задуматься; он как будто удаляется от главного предмета и живописует ясную, никогда не страждущую вселенную, в которой столько страдальцев и столь мало утешителей.

Стихотворение «Упрек другу» изображает резко и с чувством всю горесть, которую должно ощутить доброе сердце при неожиданном предательстве друзей мнимых, но тем не менее ему драгоценных. Сравнение с плавателем, настигнутым бурею у самой пристани, когда он

Глядит к безоблачной лазури,
Предвидя странствию конец, —

превосходно, но не везде равно хорошо выражено. Вот несколько стихов для примера. Пловец говорит:

«Давно ль доверчивые взоры
Вперял я в светлы небеса,
И их безоблачна краса
Сулила радости *мне скоры!*
    Увы! не грома ждал,
    Когда их созерцал!».
Пловец, днесь жалобам не время:
Таков несчастных всех удел!
Двойное шлет им Промысл бремя,
И *двое* изощряет стрел:
У недругов едины в воле (во власти)
Другие, к сокращенью дней,
Летят к нам от друзей
И сердце поражают боле!

Живое, но более мрачное воображение составляет отличительное достоинство хороших стихотворений г-жи Буниной. В одном из них мы находим после богатого описания весны, после стиха, превосходного по простоте и чувству:

О сколь обилен мир красою! —

ужасное изображение злодея, который не может и не достоин восхищаться прелестями природы:

Чей мрачный вид, чьи грозны очи
В душе сокрытой кажут ад?
Как тать таится под скалами!
Власы его свились с кустами;
Чело покрыл смертельный хлад.

То узник воли самонравной,
Что самый рок осилить мнил,
Но, в бой вступая с ним неравной,
Сильнейшей воле уступил.

Не столь бросаем челн волнами,
Колико он борим страстями!
От ярости в нем глас дрожит;
Как угль разженный, блещут взоры;
Как вихри мчатся мысли скоры,
И каждая *друг друга* тмит.
. . . .
Он чужд всего, не зрит, не внемлет,
Лишь рок *продерзостно* клянет.
Скорбь мысли, ум его объемлет,
Грудь скрытый пламень жжет.
Как Этна, лаву извергает.
«Почто, почто, — он говорит, —
Сей стройный чин природы
Текущи не глотают годы!
Почто сей *лепый* мир стоит!

Почто не упадут светила!
Увы! луч солнца не погас,
И вечна ночь земли не скрыла!».

Героида «К юному Поллуксу» отличается от прочих произведений г-жи Буниной обработанностию и точностию слога, но, впрочем, в ней не менее силы и живости, нежели в стихотворениях, о коих мы говорили. Сими красотами тем более наслаждаемся, что они являются в полном свете, ибо не помрачены ошибками слога и погрешностями против языка. Мы приведем здесь из нее только две строфы; место не позволяет нам рассмотреть все достоинства сего прекрасного произведения.

Поллукс! я не зову тебя!
Ужасен вид моей темницы:
Сюда и даже луч денницы
Не проникал согреть меня.
От хлада стынет кровь! не верь! мой ум блуждает:
Увы! здесь пламя протекает.

Где я? Чья видится мне тень?
Прелестна, с русыми власами,
Одета легкими парами,
Светла, как майский день,
С улыбкой нежною мне руку простирает,
Как Ангел, с кротостью вещает.

Следуют слова небесного посетителя. Превосходный вымысел! Несчастную приходит утешать та,

Которая беды со мной делила —
И ах! покой одна вкусила.

Отдав должную справедливость г-же Буниной, нам остается желать, чтобы при втором издании были исправлены, буде можно, недостатки, которые здесь были замечены.

Прибавление. Сказав наше мнение во втором номере «Невского зрителя» о некоторых периодических изданиях, выходящих в России, считаем обязанностию упомянуть здесь о журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». Сей вестник соединяет статьи ученые с статьями просто литературными и именно этим счастливым слиянием равно занимателен для читателей совершенно разных вкусов, совершенно разного образования. Что касается до нас, мы с большим любопытством читали описание четырех первых божеств Индии из «Опыта полного мифологического словаря» барона Корфа, сочинения, не вышедшего еще в свет; восхищались прелестною горацианскою одою к Лилете;[26] чувствовали истинное удовольствие при хорошей элегии г-на Плетнева «Неразделяемое наслаждение» и, хотя противники шарад, загадок и тому подобного, радовались прекрасной шараде господина Ф. Г.[27]

«ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ПИСЬМА К ДРУГУ» СОЧИНЕНИЕ ИВАНА ГЕОРГИЕВСКОГО

Читая «Евгению», человек чувствительный не может не полюбить ее автора, молодого, милого мечтателя: изображение счастия привлекательно даже для сердец разочарованных, а изображение благородной и пламенной страсти занимательно для всякого — для старика воспоминаниями, для юноши предчувствием. «Евгения» не есть роман, каковых мы находим сотни у немцев, англичан и французов; в «Евгении» нет ни чудес, ни таинственных замков, ни разбойничьих пещер, ни похищений:[1] в ней только два действующих лица, в ней завязка проще даже, чем в Энгелевом «Лоренце»;[2] но слог полный жизни, чувства глубокие, мысли нередко возвышенные и — во второй части — обдуманные, из самой природы почерпнутые правила для хорошего воспитания.

До сих пор у нас на русском языке не было ни одного хорошего оригинального романа. «Марфа Посадница», творение превосходное, не может быть названо романом как по слогу, который имеет размер, близкий к размеру языка стихотворного, так и по самому изобретению. Все прочие старые и новые романы забыты и заслуживают быть забытыми.[3] Не говорю о небольших прекрасных повестях *Карамзина*, *Беницкого* и некоторых других: они, конечно, должны быть причислены к одному роду сочинений с романами; но сказка, баллада, баснь не есть еще эпопея. «Евгения» принадлежит к небольшому числу русских книг, писанных не для одних мужчин: в сем отношении она заслуживает особенное внимание.

Сей роман есть единственное наследие, оставленное несчастным *Георгиевским*.[a] Чувствительное сердце, таланты необыкновенные, неуто-

[a] Престарелые родители Георгиевского находятся в крайней бедности.

мимое трудолюбие и познания — редкие не только в его летах — казалось, ручались ему за славный успех на поприще словесности, но обстоятельства и неопытность сгубили его; он умер в *Уральске* на 25 году от рождения. Больно сказать, что Георгиевский не первая и не последняя жертва судьбы, что он не первый и не последний юноша,

Чей Гений строгою нуждою умерщвлен.[4]

Искренне сожалея о нем, с тем вместе почитаю священною обязанностию благодарить от лица всех добрых — тех почтенных мужей,[5] которых имен не выставляю здесь, чтобы не оскорбить их скромности, которые приняли живое и деятельное участие в горестном положении бедного молодого человека, облегчили страдания, прояснили последние дни печального: *Георгиевский* умер, зная об их благородных усилиях.

Федор Николаевич Глинка, писатель, который столь достойным образом пользуется общим уважением русской публики, принял на себя труд издать «Евгению» — ссылаюсь на его объявление о сей книге, напечитанное в 24 № «Сына отечества».[a]

О ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ

Одно из самых приятных, из самых важных явлений *текущей* Российской словесности есть небольшая книжка «О греческой антологии». Сие короткое рассуждение о духе и красотах греческих эпиграмматиков познакомило лучшую часть нашей публики с понятиями, гражданскою жизнию, чувствами и образом мыслей древних жителей Эллады, а присоединенные превосходные переводы некоторых эпиграмм должны были перелить что-то греческое, что-то классическое в душу всякого, способного к тому.

Оставляя дальнейшее изложение свойств мелких греческих стихотворений, о которых в немногих словах сказано много в разбираемой нами книжке, обратим особенное внимание на русские переводы оных. Мы искренне признаемся, что сначала мы, как слишком, может быть, пристрастные любители всего древнего, несколько сожалели, что в переводах не сохранены размеры подлинника; но вскоре прелестные, исполненные гармонии ямбы заставили нас совершенно забыть о сем недостатке. Не знаем, кто из наших поэтов скрыл свое имя в сих переводах под скромным названием беспечного провинциала: но, судя по наслаждению, которое чув-

---

[a] Подписка на книгу «Евгения, или Письма к другу», печатаемую в пользу семейства покойного сочинителя, принимается в библиотеке для чтения В. А. Плавильщикова у Синего моста в доме г-жи Ивановой, в книжной его лавке в доме г. Балабина под № 28 и у братьев Слениных в доме Кусовникова у Казанского моста и в Гостином дворе под № 53.

ствуешь, читая его стихи, по сладостной мелодии каждого из них, особенно по удивительному искусству в образовании и сохранении пиитического периода, высочайшего совершенства в просодии — совершенства, тайны для некоторых лучших поэтов, вполне постигнутого только двумя из них: Батюшковым и молодым певцом Руслана, мы колеблемся, кого из обоих благодарить за подарок, сделанный русской словесности пересадкою сих душистых, прекрасных греческих цветов в русскую землю; признаемся, однако же, что с нашей стороны, по некоторым приметам, в коих не можем отдать отчета, мы склонны приписать сии переводы Батюшкову, — многие стихи живо напоминают его образ выражаться (sa manière). Кто, например, в следующем стихотворении не узнает творца «Моих Пенатов»:

В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры;
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки, вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцелуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...
Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела,
И слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей.
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?».
— Спокойся, ничего, бессмертными клянусь,
Я мыслию была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я... тебя страшусь.

«В этой эпиграмме, — говорит Издатель, — узнаем мы нравы народа, привыкшего возвышать цену наслаждений искусным смешением впечатлений противоположных. Греки давали иногда наслаждению томный вид меланхолии; статую смерти они нередко ставили посреди пиршеств и чаш веселия».

Мы остановимся на некоторых стихах перевода:

Я таял, и Лаиса млела —

один стих, но который ручается за музыкальный слух поэта; он тает, он исполняет негой душу и невольно проливает томность в голос и произношение читателя. Быстрота и порыв следующих двух стихов:

Но вдруг уныла, побледнела,
И слезы градом из очей! —

в прекрасной противоположности к нему.

Истинный дифирамбический восторг, который окрыляет просодию следующего отрывка, заставляет нас причислить его к стихотворениям лирическим:

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили...
О радость! здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!

Живая прекрасная ода, исполненная самого пылкого лиризма, о коем и понятия не имеют господа сочинители од *самых торжественных*, которые бывают — *иная в двести строф*!

Сей же самый восторг, сия же самая истинно-пиитическая жизнь господствуют в другой оде, в коей поэт утешает постарелую красавицу в утрате дней юности. В конце он говорит:

...Владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови.

Исполинская сила выражений, особенно в последних двух стихах!

Для разнообразия мы выпишем эпиграмму, в которой дышит глубокое чувство новейшей элегии, соединенное с тою живостию, с тою полнотою, которыми руководствуются самые даже унылые произведения греков. Сие слияние составляет характер поэзии эпиграмматика Павла, характер поэзии итальянцев и питомца их, Батюшкова.

Увы! глаза, потухшие в слезах,
Ланиты, впалые от долгого страданья,
Родят в тебе не чувство состраданья,
Жестокую улыбку на устах...
Вот горькие плоды любови страстной,
Плоды ужасные мучений без отрад,
Плоды любви, достойные наград,
Не участи, для сердца столь ужасной!..
Увы! как молния внезапная с небес,
В нас страсти жизнь младую пожирают
И в жертву безотрадных слез,
Коварные, навеки покидают!
Но ты, прелестная, которой мне любовь
Всего — и юности, и счастия — дороже,
Склонись, жестокая, и я... воскресну вновь
Как был или еще бодрее и моложе.

Издатель заключает свои выписки эпиграммою, которую почитает лучшим произведением Павла. Мы совершенно разделяем его мнение и не можем отказаться от удовольствия украсить ею разбор наш.

Изнемогает жизнь в груди моей остылой;
Конец борению; увы! всему конец.
Киприда и Эрот, мучители сердец!
Услышьте голос мой последний и унылой.
Я вяну и еще мучения терплю;
Полмертвый, но сгораю.
Я вяну: но еще так пламенно люблю
И без надежды умираю!
Так жертву обхватив кругом,
На алтаре огонь бледнеет, умирает
И, вспыхнув ярче пред концом,
На пепле погасает.

Мы с некоторым пристрастием, с некоторою слабостию любим сие стихотворение, сей прелестнейший цветок греческой Антологии. В нем нет ни одного пятна; он в своем роде столь же совершен, сколь совершен Аполлон Бельведерский в своем. В двенадцати стихах соединены все почти достоинства пиитические.

О французских переводах[1] мы не осмеливаемся судить, потому что не полагаемся на свое знание языка и поэзии французов; однако же кажется, что в них менее живописи, сжатости и парения, нежели в переводах русских.

Вот что мы чувствовали, чем восхищались в сих превосходных отрывках! Теперь позволим себе попросить у г. Издателя объяснения следующей надгробной надписи, которую нашел он на оберточном листе изданной им рукописи и которой мы, признаемся, не понимаем:[2]

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл — но с бурей вдруг предстала смерть ужасна:
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!

О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ, ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ, В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Решаясь говорить о направлении нашей поэзии в последнее десятилетие, предвижу, что угожу очень не многим и многих против себя вооружу. И я наравне со многими мог бы восхищаться неимоверными успехами нашей словесности. Но льстец всегда презрителен. Как сын отечества, поставляю себе обязанностию смело высказать истину.

От Ломоносова до последнего преобразования нашей словесности Жуковским и его последователями у нас велось почти без промежутка поколение лириков, коих имена остались стяжанием потомства, коих творениями должна гордиться Россия. Ломоносов, Петров, Державин, Дмитриев, спутник и друг Державина — Капнист, некоторым образом Бобров, Востоков и в конце предпоследнего десятилетия — поэт, заслуживающий занять одно из первых мест на русском Парнасе, кн. Шихматов — пред-

водители сего мощного племени: они в наше время почти не имели преемников. Элегия и послание у нас вытеснили оду. Рассмотрим качества сих трех родов и постараемся определить степень их поэтического достоинства.

Сила, свобода, вдохновение — необходимые три условия всякой поэзии. Лирическая поэзия вообще не иное что, как необыкновенное, то есть сильное, свободное, вдохновенное изложение чувств самого писателя. Из сего следует, что она тем превосходнее, чем более возвышается над событиями ежедневными, над низким языком черни, не знающей вдохновения. Всем требованиям, которые предполагает сие определение, вполне удовлетворяет одна ода, а посему, без сомнения, занимает первое место в лирической поэзии или, лучше сказать, одна совершенно заслуживает название поэзии лирической. Прочие же роды стихотворческого изложения собственных чувств — или подчиняют оные повествованию, как-то гимн, а еще более баллада, и, следовательно, переходят в поэзию эпическую; или же ничтожностию самого предмета налагают на гений оковы, гасят огонь его вдохновения. В последнем случае их отличает от прозы одно только стихосложение, ибо прелестью и благозвучием — достоинствами, которыми они по необходимости ограничиваются, — наравне с ними может обладать и красноречие. Ода, увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу Отечества, воспаряя к престолу Неизреченного и пророчествуя пред благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя. Сверх того, в оде поэт бескорыстен: он не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд промысла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга.

В элегии — новейшей и древней — стихотворец говорит об самом себе, об *своих* скорбях и наслаждениях. Элегия почти никогда не окрыляется, не ликует: она *должна* быть тиха, плавна, обдуманна; должна, говорю, ибо кто слишком восторженно радуется собственному счастию — смешон; печаль же неистовая не есть поэзия, а бешенство. Удел элегии — умеренность, посредственность (Горациева aurea mediocritas[а]).[б]

Son enthousiasme paisible
N'a point ces tragiques fureurs;
De sa veine féconde et pure
Coulent avec nombre et mesure
De ruisseaux de lait et de miel,

[а] золотая середина (*лат.*).

[б] Вольтер сказал,[1] что все роды сочинений хороши, кроме скучного; он не сказал, что все равно хороши. Но Буало — верховный, непреложный законодатель толпы русских и французских Сен-Моров и Ожеров — объявил: Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème! ‹Сонет без промахов стоит длинной поэмы! (*франц.*)›.[2] Есть, однако же, варвары, в глазах коих одна отважность предпринять создание эпопеи взвешивает уже всевозможные сонеты, триолеты, шарады — может быть, баллады. *Соч‹инитель›.*

Et ce pusillanime Icare
Trahi par l'aile de Pindare
Ne retombe jamais du ciel! [а] [3]

Она только тогда занимательна, когда, подобно нищему, ей удастся (сколь жалкое предназначение!) вымолить, выплакать участие или когда свежестью, игривою пестротою цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг приводит в забвение ничтожность его. Последнему требованию менее или более удовлетворяют элегии древних и элегии Гетевы, названные им римскими; но наши Греи почти [б] вовсе не искушались в сем светлом, полуденном роде поэзии.

Послание у нас — или та же элегия, только в самом невыгодном для ней облачении, или сатирическая замашка, каковы сатиры остряков прозаической памяти Горация, Буало и Попа, или просто письмо в стихах. Трудно не скучать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих несчастиях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они иногда в трехстах трехстопных стихах друг другу рассказывают, что — слава богу! — здоровы и страх как жалеют, что так давно не видались! [5] Уже легче, если по крайней мере ретивый писец вместо того, чтоб начать:

Милостивый государь NN,

воскликнет:

...чувствительный певец,
Тебе (и мне) определен бессмертия венец! [6] —

а потом ограничится объявлением, что читает Дюмарсе, учится азбуке и логике, никогда не пишет ни семо, ни овамо и желает быть ясным! [7] Душе легче — говорю, — если он вдобавок не снабдит нас подробным описанием своей кладовой и библиотеки [8] и швабских гусей [9] и русских уток своего приятеля.

Теперь спрашивается: выиграли ли мы, променяв оду на элегию и послание?

Жуковский первый у нас стал подражать *новейшим* немцам, преимущественно Шиллеру. Современно ему Батюшков взял себе в образец двух пигмеев французской словесности — Парни и Мильвуа.[10] Жуковский и Батюшков *на время* стали корифеями наших стихотворцев и особенно той школы, которую ныне выдают нам за романтическую.

Но что такое поэзия романтическая?

а Его мирный восторг далек от трагических неистовств, из его плодотворного и чистого порыва проистекают, ритмично и размеренно, ручьи млека и меда, и этот малодушный Икар, которому изменило крыло Пиндара, никогда не падает с неба (*франц.*).

б Барон Дельвиг написал несколько стихотворений,[4] из которых, *сколько помню*, можно получить довольно верное понятие о духе древней элегии. Впрочем, не знаю, отпечатаны они или нет. *Соч‹инитель›*.

Она родилась в Провансе[11] и воспитала Данта, который дал ей жизнь, силу и смелость, отважно сверг с себя иго рабского подражания римлянам, которые сами были единственно подражателями греков, и решился бороться с ними. Впоследствии в Европе всякую поэзию свободную, народную стали называть романтическою. Существует ли в сем смысле романтическая поэзия между немцами?

Исключая Гете, и то только в некоторых, немногих его творениях, они всегда и во всяком случае были учениками французов, римлян, греков, англичан, наконец — итальянцев, испанцев. Чтó же отголосок *их* произведений? что же наша романтика?

Не будем, однако же, несправедливы. При совершенном неведении древних языков, которое отличает, к стыду нашему, всех почти русских писателей, имеющих некоторые дарования, без сомнения, знание немецкой словесности для нас не без пользы. Так, напр., влиянию оной обязаны мы, что теперь пишем не одними александринами и четырехстопными ямбическими и хореическими стихами.

Изучением природы, силою, избытком и разнообразием чувств, картин, языка и мыслей, народностию своих творений великие поэты Греции, Востока и Британии неизгладимо врезали имена свои на скрижалях бессмертия. Ужели смеем надеяться, что сравнимся с ними по пути, по которому идем теперь? Переводчиков никто, кроме наших дюжинных переводчиков, не переводит. Подражатель не знает вдохновения: он говорит не из глубины собственной души, а принуждает себя пересказать чужие понятия и ощущения. Сила? — Где найдем ее в большей части своих мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных произведений? У нас все *мечта* и *призрак*, все *мнится*, и *кажется*, и *чудится*, все только *будто бы*, *как бы*, *нечто*, *что-то*. Богатство и разнообразие? — Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях.[a] Если бы сия грусть не была просто риторическою фигурою, иной, судя по нашим Чайльдам-Гарольдам, едва вышедшим из пелен, мог бы подумать, что у нас на Руси поэты уже рождаются стариками. Картины везде одни и те же: *луна*, которая — разумеется — *уныла* и *бледна*, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечер-

---

[a] Да не подумают, однако же, что не признаю ничего поэтического в сем сетовании об утрате лучшего времени жизни человеческой, юности, сулящей столько наслаждений, ласкающей душу столь сладкими надеждами. Одно, два стихотворения, ознаменованные притом печатью вдохновения, проистекшие от сей печали, должны возбудить живое сочувствие, особенно в юношах, ибо кто, молодой человек, не вспомнит, что при первом огорчении мысль о ранней кончине, о потере всех надежд представилась его душе, утешила и умилила его?

Но что сказать о словесности, которая вся почти основана на сей одной мысли? *Соч‹инитель›*.

няя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения *Труда*, *Неги*, *Покоя*, *Веселия*, *Печали*, *Лени* писателя и *Скуки* читателя; в особенности же — туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя.[12]

Из слова же русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих[13] язык, un petit jargon de coterie.[а] Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его *архитравами*, *колоннами*, *баронами*, *траурами*, германизмами, галлицизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются заменить причастия и деепричастия бесконечными местоимениями и союзами. О мыслях и говорить нечего. Печатью народности ознаменованы какие-нибудь 80 стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина.[14]

Свобода, изобретение и новость составляют главные преимущества романтической поэзии перед так называемою классическою позднейших европейцев. Родоначальники сей мнимой классической поэзии более римляне, нежели греки. Она изобилует стихотворцами — *не поэтами*, которые в словесности то же, что бельцы[б] в мире физическом. Во Франции сие вялое племя долго господствовало: лучшие, истинные поэты сей земли, напр. Расин, Корнель, Мольер, несмотря на свое внутреннее омерзение, должны были угождать им, подчинять себя их условным правилам, одеваться в их тяжелые кафтаны, носить их огромные парики и нередко жертвовать безобразным идолам, которых они называли вкусом, Аристотелем, природою, поклоняясь под сими именами одному жеманству, приличию, посредственности. Тогда ничтожные расхитители древних сокровищ частым, холодным повторением умели оподлить лучшие изображения, обороты, украшения оных: шлем и латы Алкидовы подавляли карлов, не только не умеющих в них устремляться в бой и поражать сердца и души, но лишенных под их бременем жизни, движения, дыхания. Не те же ли повторения наши: *младости* и *радости*, *уныния* и *сладострастия*, и те безымянные, отжившие для всего брюзги, которые — даже у самого Байрона («Childe Harold»), надеюсь, далеко не сто́ят не только Ахилла Гомерова, ниже́ Ариостова Роланда, ни Тассова Танкреда, ни славного Сервантесова Витязя печального образа, — которые слабы и недорисованы в «Пленнике» и в элегиях Пушкина, несносны, смешны под пером его переписчиков? Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Лагарпова «Лицея» и Баттёева «Курса»;[15] но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро бо́льшим перед

[а] кружковый жаргон (*франц.*).
[б] Белец, или альбинос, белый негр.

ним дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества!

Всего лучше иметь поэзию народную. Но Расином Франция отчасти обязана Еврипиду и Софоклу? Человек с талантом, подвизаясь на пути своих великих предшественников, иногда открывает области новых красот и вдохновений, укрывшиеся от взоров сих исполинов, его наставников. Итак, если уже подражать, не худо знать, кто из иностранных писателей прямо достоин подражания? Между тем наши живые каталоги, коих *взгляды*, *разборы*, *рассуждения* беспрестанно встречаешь в «Сыне отечества», «Соревнователе просвещения и благотворения», «Благонамеренном» и «Вестнике Европы», обыкновенно ставят на одну доску словесности греческую и — латинскую, английскую и — немецкую; великого Гете и — недозревшего Шиллера; исполина между исполинами Гомера и — ученика его Виргилия; роскошного, громкого Пиндара и — прозаического стихотворителя Горация; достойного наследника древних трагиков Расина и — Вольтера, который чужд был истинной поэзии; огромного Шекспира и — однообразного Байрона! Было время, когда у нас слепо припадали перед каждым французом, римлянином или греком, освященным приговором Лагарпова «Лицея». Ныне благоговеют перед всяким немцем или англичанином, как скоро он переведен на французский язык: ибо французы и по сю пору не перестали быть нашими законодавцами; мы осмелились заглядывать в творения соседей их единственно потому, что *они* стали читать их.

При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей.

Но не довольно — повторяю — присвоить себе сокровища иноплеменников: да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности.

Станем надеяться, что наконец наши писатели, из коих особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Здесь особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая, подают великие надежды. Я не обинулся смело сказать свое мнение насчет и его недостатков; несмотря на то, уверен, что он предпочтет оное громким похвалам господина издателя «Северного архива».[16] Публике мало нужды, что я друг Пушкина, но сия дружба дает мне право думать, что он, равно как и Баратынский, достойный его товарищ, не усомнятся, что никто в России более меня не порадуется их успехам!

Сеидам же, которые непременно везде, где только могут, провозгласят меня зоилом и завистником, буду отвечать только тогда, когда найду их нападки вредными для драгоценной сердцу моему отечественной

словесности. Опровержения благонамеренных, просвещенных противников приму с благодарностию; прошу их переслать оные для помещения в «Мнемозину» и наперед объявляю всем и каждому, что любимейшее свое мнение охотно променяю на лучшее. Истина для меня дороже всего на свете!

ОТВЕТ ГОСПОДИНУ С... НА ЕГО РАЗБОР I ЧАСТИ «МНЕМОЗИНЫ», ПОМЕЩЕННЫЙ В XV НОМЕРЕ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

Не знаю, кем писан помещенный в XV номере «Сына отечества» разбор первой части издаваемой нами «Мнемозины». Несмотря на то, что некоторые мнения сочинителя сей статьи, как мне кажется, несправедливы, — я не подозреваю его *ни в личном, ни местном пристрастии* [а] (предубеждении?) и потому-то считаю приятною для себя обязанностию отвечать ему.

Начну с признания. Строго г. С... судит о наружном виде «Мнемозины»; но, к несчастию...

On fait ce qu'on peut,
Et ne pas ce qu'on veut! [б]

Вслед за сим грозным приговором, сказав о «Стариках острова Панхаи» кн. Одоевского, что мысль, служащая основанием сей статьи, весьма остроумна, что в ней есть счастливые выражения и верные замечания, г. Рецензент спрашивает:

Когда же складны сны бывают? [1]

Таким вопросом, по моему мнению, не должно бы оканчиваться суждение о статье, достоинство коей признает сам г. Рецензент.

Далее: разбирая мое описание Дрезденской галереи, он предполагает, что художник может изобразить *идеал безобразия*. Что такое идеал безобразия? Не то же ли равно, что *светлая темнота* или *знойный мороз*?

Г. Рецензент находит слишком решительным мой приговор, что Рубенс лишен всякой прелести. Уверен, что в моем обозрении Дрезденской галереи много ошибочного, много незрелого, уверен, что теперь на картины, составляющие сие собрание, я сам смотрел бы совершенно другими глазами; отпечатал же я свою статью именно для того, чтобы она встретила просвещенных, умных противников и чтобы тем обратила внимание на-

---

а Слова г. С...
б Делают то, что могут, а не то, что хотят! (*франц.*).

ших литераторов и путешественников на феорию изящных искусств вообще и живописи в особенности. Но дабы убедить меня в том, что и Рубенс может быть *прелестным*, господину Рецензенту, кажется, надлежало бы привесть другие доказательства, а не указать мне на так называемую «Историю Марии де Медичи» [2] — ряд сухих, холодных иносказательных картин, находящихся в Луврской галерее, произведений, достойных примечания — по одной своей огромности.

Г. Рецензент спрашивает, где я нашел, что краски Рембранта мутны, и уверяет, что в некоторых портретах, находящихся в Санкт-Петербургской Эрмитажной галерее, он, т. е. Рембрант, блистает *всею* (?) *свежестью, несмотря на расстояние веков* (?), *которые не могли его потемнить* в *своем полете* (?). Галерею Дрезденскую помню лучше Санкт-Петербургской Эрмитажной, ибо по моем возвращении из-за границы не удалось мне вновь посетить сию последнюю. Итак, быть может, г. Рецензент прав; но он забывает, что говорю о Дрездене, не о Санкт-Петербурге; об исторических картинках, а не о лиценачертаниях (*лиценачертания* — с позволения г. Рецензента).

Долг платежом красен; на вопросы г. Рецензента осмелюсь и я предложить ему вопросы: где г. Рецензент нашел, что нахожу больше прелести в картинах Альберта Дюрера и Луки Кранаха, нежели во всех произведениях Фламандской школы?

В отношении к *искусству*, *прелести*, *обделке* говорю (на стр. 78 Мнем‹озины›), что лучшее мною виденное произведение старинной Немецкой школы, «Мадонна» Гольбейна, может выдержать сравнение с картинами лучшего времени Нидерландской школы: где же тут предпочтение? Что же касается до *поэзии*, до *души*, это иное дело! Чувства, теплоту и вдохновение — истинные, главные достоинства прямой поэзии — я точно в самых безобразных созданиях Луки Кранаха и Альберта Дюрера встречал чаще, нежели в большей части *выглаженных*, *вычищенных* порождениях Фламандской кисти.

Г. Рецензент недоволен моим слогом; странно было бы отвечать: вы ошибаетесь, г. Рецензент, слог мой хорош! Итак, ограничиваюсь только объявлением, что в 1-ю часть нашего издания вкралось без нашей вины множество опечаток. Это нас, конечно, не оправдывает и не может оправдать в глазах наших читателей, которым наши обстоятельства неизвестны и которым до них нет никакой нужды. Сверх того, г. Булгарин говорит, что на счет опечаток можно отнести *многое*: [3] и точно смешно бы было назвать опечатками все погрешности, встречающиеся в нашей «Мнемозине». Впрочем, не сомневаюсь, что благонамеренный (в *истинном* смысле сего слова) Рецензент мой, поместивший свою критику в «Сыне отечества», поверит мне, что *раковидная* вместо *раковинная*, *полеты* вместо *портреты*, *сынове* вместо *сыны* точно и не что иное, как опечатки.

Наконец, я должен извиниться перед своими читателями, что в своем ответе на Разбор господина С... столько говорю о самом себе: сам почтенный мой Рецензент подал мне к тому повод, ибо распространяется всего более об моих статьях.

Еще упомяну, что господин С..., говоря об отрывках из прекрасной комедии князя Шаховского, спрашивает, для чего в оных встречаются слова, трудные для выговора и для понятия, например *нелжеветные уста*? *Нелжеветный* — слово, *по моему мнению,* весьма понятное, приятное слуху, а для выговора нимало не затруднительное.

В заключение благодарю господина С... за его Разбор, строгий, по умный, беспристрастный, писанный со всем благородством, долженствующим отличать истинного литератора от Аристарха вроде тех, из которых один в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» также разбирал «Мнемозину» или, лучше сказать, всячески силился исковеркать, изуродовать и обругать ее.[4] Впрочем, я не решусь для забавы доброхотной публики унизить себя перебранкою с господином В. Кто бы он ни был: явное его недоброжелательство и без того за меня вооружается!

РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ

Sine ira et studio [a] [1]

Не знаю, кто первый у нас начал облекать полемику в остроумную одежду разговоров: Марлинский [2] ли, житель ли Васильевского острова,[3] друг ли его, житель Петербургской стороны,[4] Лужницкий ли старец [5] или другой, подобный им великий писатель,[6] делающий честь нашему веку; но только не Ф. В. Булгарин. Впрочем, издатель «Северного архива» и «Литературных листков» неоднократно весьма удачно пользовался сим важным открытием: разговоры господина Булгарина с Ванюшею,[7] испытания, которым он подвергает сего любезного отрока, и проч., и проч. остались и долго останутся в памяти всех просвещенных любителей российской словесности. Сравниться с ним не надеюсь, несмотря на излишнюю самонадеянность, в которой обвиняет меня господин Булгарин; повторяю (у нас любят повторения!) — сравниться с ним не надеюсь, хотя почтенный издатель «Литературных листков» и чистосердечно признается, что он с удовольствием бы подписал свое имя под каждою из трех Антикритик, помещенных нами в конце второй части «Мнемозины». Решаясь подражать г. Булгарину и его предшественникам, т. е. вступить с ним самим в небольшой дружеский, полемический разговор, от всей души жалею, что не могу отплатить ему за упомянутое чистосердечное его признание равносильным и столь же чистосердечным: с моею *излишнею* самонадеянностию [8] (странное противуречие!) сопряжена робость, иногда неодолимая; я бы боялся подписать свое имя под большою частию статей господина Булгарина! Но дело не о том: мы начнем свою беседу. Фадея Венедиктовича только попрошу повторить то, что он уже напечатал касательно второй части издаваемой князем Одоевским и мною «Мнемозины»; сам я осмелюсь, сколько умею, отвечать на его возражения.

---

[a] Без гнева и пристрастия (*лат.*).

Б. Начнем с вашей статьи «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Ваше требование, чтобы все наши поэты сделались лириками и воспевали славу народную, походит на желание Месмера намагнетизировать солнце,[9] чтобы в лучах оного разлить магнетизм по целой вселенной.

Я. Сравнение чрезвычайно умное и острое — но comparaison n'est pas raison,[а] Фадей Венедиктович! Где и когда требовал я, чтобы все наши поэты превратились в лириков? Не в добрый час вы на меня клеплете: знаю на Руси сотни две — если не три — поэтов; все они великие писатели (по крайней мере в своем кругу); все они делают честь нашему веку (по крайней мере сами в том твердо уверены). Фадей Венедиктович, что если все, все они вздумают быть Пиндарами? Куда прикажете деться?

Я только сетую, что элегия и послание совершенно согнали с русского Парнаса оду; в оде признаю высший род поэзии, нежели в элегии и послании, и доказываю свое мнение, а не *толкую*, как то вам угодно было сказать на 74 стр. 15 № «Литерат. листков». Итак, поставляю себе обязанностию вам объявить, что мне никогда в голову не приходило предпочесть эпической или драматической поэзии — ни оду, ни вообще поэзию лирическую, к которой, впрочем, скажу мимоходом (ибо сие известие, кажется, не дошло еще до вашего сведения),[10] принадлежит и элегия, принадлежит иногда даже послание. Благоговею перед английскою словесностию, вовсе не богатою одами. Знаю также, что гению все возможно: элегия Гетева «Euphrosyne»[11] исполнена высоких лирических красот и местами становится истинною одою. В замену иногда оды никак не различишь от самого хладнокровного, трезвого послания: но для того, быть может, нужно, чтоб она была переведена с Горациева подлинника господином Бороздною.[б] [12]

Б. Кстати, о трезвых одах! Вы Горация назвали прозаическим стихотворителем!

Я. Горацию — противуположил я Пиндара, о котором сам Гораций говорит: «Кто покусится бороться с Пиндаром, Юлий, дерзает горе на восковых крылиях помощью Дедала! он достоин наречь своим именем стклянное море! — Сбегая с горы, подобно потоку, который превыше известных брегов питается дождями, огромный Пиндар кипит и изливается в вещаниях высоких!».[в] Впрочем, соглашаюсь с вами, что мой приговор Горацию, *если не подтвержу его доказательствами*, чрезвычайно опрометчив,

---

[а] сравнение не доказательство (*франц.*).

[б] См. 15 № «Литературных листков», стр. 72.

[в] Pindarum quisquis studet aemulari,
Iule, ceratis ope Daedalea
Nititur pennis, vitreo daturus
Nomina ponto.
Monte decurrens velut amnis, imbres
Quem super notas aluere ripas
Fervet, immensusque ruit profundo
Pindarus ore.[13]

скажу более — смешон и безрассуден; ибо *без сильных* доказательств смешно и безрассудно восставать противу славы писателя, освященного вековым уважением. Итак, я берусь из самых (лучших даже) од Горация вывесть причины, убеждающие меня в том, что он почти никогда не был поэтом *истинно восторженным*. А как прикажете назвать стихотворца, когда он чужд истинного вдохновения? Но теперь вопрос: какие оды Горация лучшие? Если назову одни, вы вправе назвать другие: их всего 87, не считая 13 эподов и гимна Аполлону и Диане (об сатирах и посланиях и говорить нечего!). Наш спор нескоро бы кончился. Разговаривая с вами в самом деле, я бы вас попросил указать мне на те оды, которые вы считаете лучшими, и тотчас приступил бы к их разбору. Но разговор наш только и единственно остроумная выдумка для большего увеселения [а] почтенной публики, и выдумка, сверх того, не очень новая. Слушайте же: несмотря на свою самонадеянность, чистосердечно и всенародно признаюсь, что у меня нет ни малейшей способности к сочинению тех легких, но приятных, занимательных *безделок* (не извиняюсь в сем выражении, ибо уверен, что и вы их ничем иным не считаете), безделок в роде тех, которыми во Франции, а еще более в России Жуи приобрел известность.[14] Вашу эфемериду «Фасон, или Модная лавка» читал я в «Полярной звезде» с непритворным удовольствием. Сердечно бы я обрадовался всякой подобной вашей статье: милую петербургскую гостью наша «Мнемозина» приняла бы, как радушная москвичка, — с благодарностию. А я (чем богат, тем и рад!) сообщил бы вам для «Литературных листков» или для «Северного архива» статью о Горации при разборе од,[15] которые вы мне сами назначите. Как вы об этом думаете?

Б. Вы назвали Виргилия — учеником!

Я. Точно так; да только чьим? — Гомеровым. Сделайте одолжение, почтенный Фадей Венедиктович, не хвалитесь своею дипломатическою точностию [б] при выписках из «Мнемозины», когда в столь важном случае вы умалчиваете об имени Гомера, чьим учеником, без сомнения, был Виргилий, хотя он и великий человек (в истинном значении сего слова), хотя он царь латинских стихотворцев.

Б. Шиллера вы назвали недозревшим.

Я. Шиллером! — и во всей германской словесности предпочел ему одного Гете! — все это, между прочим, показывает, что у нас различное мерило величия. Но Шиллер не ежедневное явление в мире словесности: живо чувствую, что я *должен* изложить причины, заставившие меня его

[а] Что если для большей тоски и скуки? Увы! ‹*Сочинитель*›.

[б] Ею хвалится г. Булгарин, переписывая в № 5 «Литератур. листков» заглавие «Мнемозины» следующим образом: Мнемозина. Собрание сочинений в стихах и прозе. Издаваемая кн. Вл. Одоевским и В. Кюхельбекером. Несмотря на сие, г. Булгарин иногда счастливо заменяет запятые точками.[16] Не у господина ли Воейкова перенял он это искусство? Но господин Воейков по крайней мере не хвалится своею дипломатическою точностию! Фадей Венедиктович, к чему такая fides punica ‹вероломство (*лат.*)›? — Впрочем, вы не ограничиваетесь одними знаками препинания! (С‹*очинитель*›).

назвать недозревшим. Возьмите же терпение, почтенный Ф. В., выслушайте меня!

Какие недостатки сопряжены с авторскими дарованиями, не достигшими еще зрелости? Вкус недозрелых плодов едок: феории подобных им писателей исполнены резких предрассудков и резкой односторонности; произведения же изображают по большей части их личный образ мыслей, их собственный характер, их собственные, слишком еще пылкие страсти. По сему-то в драме они столь редко могут присвоить себе лицо представляемого ими героя. Кислота их винограда еще не послащена ни постоянным действием божественного солнца, ни кроткою влажностию осеннего воздуха, т. е. их буйное *Я* еще не побеждено влиянием вдохновения, часто возвращающегося, и опытностью, уравновешивающею душевные стихии. Ибо соки плода находятся в беспрерывном брожении до самого достижения зрелости: а в несозревшем писателе нет того спокойствия и равновесия сил и дарований, которые столь необходимы совершенному художнику. Неспелые плоды зелены; их издали не различить от листьев: несозревший писатель может принести честь *своему* времени и *своему* народу; но он сливается *с ними*, исчезает *в них* и *с ними*. Спелое только яблоко сияет багрянцем из среды дерева: зрелый только ум, не переставая быть ревностным сыном отечества, истинным сыном своего века, возвышается над заблуждениями своих современников и ближних; он англичанин, немец, русский, но вместе гражданин всех времен, дитя всех столетий. Наконец, семя зрелого только плода произростит другое плодоносное дерево; возмужалый только гений в состоянии преобразить свой век и страну свою; он только родит и в других народах гениев, своих учеников, но не рабских подражателей.

Возвратимся к Шиллеру.

Шиллерова поэтика не без предрассудков; предубеждения его противу великих французских трагиков известны,[17] известны, надеюсь, и вам, г. Издатель «Северного архива», вам, человеку, довольно знакомому с немецкою словесностию.

Драматург Шиллер в младшем графе Море, в Дон-Карлосе и маркизе де Поза, в Максе, в лицах, которые изобразил с самою большою родительскою (сочинительскою) нежностию (con amore),[a] представляет себя, одного себя, только по чувствам и образу мыслей, бывших его *собственными* в *разных* эпохах его жизни.

Шиллер перескакивал от поэзии к истории, от истории к поэзии, от трагедии Шекспировой к Дидеротовой драме и Гоцциевым маскам, от прозы к стихам и, наконец, от новейших к древним — не с внутренним сознанием собственных сил — стяжанием мужа, но с беспокойством юноши. В доказательство приведу только его «Тридцатилетнюю войну» и «Освобождение Нидерландов», исполненные блестков, противуположностей, витиеватости вовсе не исторических; его «Марию Стуарт», которая

[a] с любовию (*итал.*).

не есть ни история, ни трагедия; его «Коварство и любовь», где Шекспир и Дидерот, ужас и проза, ходули и низость нередко встречаются на одной и той же странице; риторические тирады, где ожидаешь поэзии сердца, тирады, которые иногда попадаются даже в «Валленштейне», в лучшем Шиллеровом творении; наконец, его «Мессинскую невесту», в которой он вдруг Иокасту Эврипидову, хор и роковое предопределение греков переносит в средние веки, в лоно Христовой церкви, в Сицилию, покорную северным завоевателям. Шиллер почти никогда не перестает быть европейцем, немцем XVIII столетия, а если где и подражает древним, то не у места и некстати: «Кассандра»[а] его — живая немка. В так называемых балладах «Ивиковы журавли»,[б] «Порука», «Кольцо поликратово», «Торжество» («Das Siegesfest»), в переводе 2 и 4 песни «Энеиды» он заставляет Музу древней Эллады и Авзонии распевать оттавы — римы, стансы и куплеты на италианскую стать, а, сверх того, краски греческой местности и нравов греческих разводит северною водою, многословием и в первых четырех описаниями, едва ли не делилевскими. В «Колоколе» («Die Glocke», творении, скажем мимоходом, изобилующем превосходными стихами, но рожденном не вдохновением, а, подобно мозаику, по прозаическому предначертанию слепленном из частей совершенно разнородных), в «Колоколе», напротив, князь теней, Айдес греков, является с тем, чтоб похитить с земли немецкую мещанку.[в] Далее, в «Дон-Карлосе» характеры Филиппа, Позы и Карлоса составлены по немецкому же образцу; они никогда не могли существовать ни на престоле, ни близ оного, а еще менее под небом полуденным. Иоанна д'Арк в конце третьего и в начале четвертого действия своею невозможною и непоэтическою любовью к Лионелю возмутит всякого просвещенного читателя. В лирических стихотворениях Шиллера господствует *одна* мысль или, лучше сказать, *одно* чувство — предпочтение духовного (идеального) мира существенному, земному: чувство, без сомнения, высокое, истинно лирическое; но им ли одним должна ограничиться поэзия? Одностороннее, не показывает ли оно феорию одностороннюю же? Сие чувство лет десять повторяется во всех почти произведениях русского Парнаса писателями,

---

а Переведена Жуковским.

б Также переведены <sic!> Жуковским.

в Ach! die Gattin ist's, die Theure!
Ach! es ist die treue Mutter,
Die der schwarze Furst der Schatten
Wegfuhrt aus dem Arm des Gatten
. . . .
Denn sie wohnt im Schattenlande! и проч.

<Ах, то милую супругу,
Мать любимую семейства
Взял царь теней безмятежных
Из объятий мужа нежных
. . . .
В царстве мертвых обитает.

Пер. Д. Якубовича>

отголосками Жуковского, Шиллерова отголоска: но, как возмужалый только гений может иметь учеников, состязающихся с ним, а не рабски ему подражающих, вы мне позвольте, милостивый государь, усомниться в истинном достоинстве и прочном бессмертии сей германо-русской школы.

Конечно, Шиллер усовершенствовался бы и созрел, если бы жизнь его продлилась долее: «Валленштейн» и «Вильгельм Телль» уже являют мощного, счастливого соперника Шекспирова, соперника, который, может быть, воссел бы рядом с сим единодержавным властителем романтической Мельпомены. «Валленштейнов стан» в своем роде произведение образцовое и уже не являет ни одного из вышеупомянутых недостатков; но, к несчастию, одна ласточка без подруг своих только предвещает, а не составляет еще весны.

Итак, почтенный и любезный Ф. В., сами решите, прав ли я или не прав, когда называю Шиллера несозревшим, противополагая ему Гете?

Гете, во-1-х, не имеет Шиллеровых предрассудков: ибо, рассуждая с французами и о французах [18] (как-то: в своих отметках о французских классиках, в разборе Дидеротова сочинения о живописи, в примечаниях к изданной и переведенной им книге Дидерота «Племяннике Рамо»), не помнит, что он немец, старается познакомиться, помириться с образом мыслей французов, сих природных своих противников, проникнуть во все причины, заставляющие их думать так, а не иначе.

Во-2-х, он всегда забывает себя, а живет и дышит в одних своих героях. В чем могут убедить каждого его Гец, Тасс, Фауст и даже Вертер.

В-3-х, он всегда знает, чего ищет, к чему стремится.

В-4-х, с дивною легкостию Гете переносится из века в век, из одной части света в другую. В «Фаусте» и «Геце» он ударом волшебного жезла воскрешает XV век и Германию императоров Сигизмунда и Максимилияна; в «Германе и Доротее», в «Вильгельме Мейстере» мы видим наших современников и современников отцов наших, немцев столетий XIX и XVIII всех возрастов, званий и состояний; в «Римских элегиях», в «Венециянских эпиграммах», в путевых отметках об Италии встречаем попеременно современника Тибуллова, товарища Рафаэля и Беневута Челини, умного немецкого ученого и наблюдателя; в «Ифигении» он грек; древний тевтон в «Вальпургиевой ночи»; поклонник Брамы и Маоде в «Баядере»; в «Диване», сколько возможно европейцу, никогда не бывавшему в Азии, — персиянин.

Б. Байрон — по вашему мнению — однообразен!

Я. Когда благороднейшие сердца и лучшие умы всей Европы скорбят о преждевременной смерти сего великого мужа, мне, признаюсь, больно — казаться его противником! Если бы подозревал, что его блистательное поприще кончится так скоро, я воздержался бы от суждения о нем, справедливого, но неуместного среди общей печали. Но, к несчастию, сказанное сказано. Так! Байрон однообразен, и доказать сие однообразие не трудно. Он живописец нравственных ужасов, опустошенных душ и сердец раздавленных: живописец душевного ада; наследник Данта, живописца ада вещественного. И тот и другой однообразны: «Чистилище» Дантово

слабое повторение его «Тартара»; «Гяур», «Корсар», «Лара», «Манфред», «Чайльд-Гарольд» Байрона — повторения одного и того же страшного лица, отъемлющего своим присутствием дыхание, убивающего и сострадание и скорбь, обливающего зрителя стужею ужаса. Но непомерна глубина мрака, в который сходит Байрон бестрепетный, неустрашимый! Не смею уравнить его Шекспиру, знавшему все: и ад и рай, и небо и землю, — Шекспиру, который один во всех веках и народах воздвигся *равный* Гомеру, который, подобно Гомеру, есть вселенная картин, чувств, мыслей и знаний, неисчерпаемо глубок и до бесконечности разнообразен, мощен и нежен, силен и сладостен, грозен и пленителен! Не уравню Байрона Шекспиру: но Байрон об руку с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, Шиллером — и, прибавлю, с Тиртеем, Фемистоклом и Леонидом перейдет, без сомнения, в дальнейшее потомство.

Б. Поверят ли вам читатели в означении степени дарований поэтов, когда вы поставляете барона Дельвига выше Жуковского, Пушкина и Батюшкова, сих великих писателей, делающих честь нашему веку?

Я. И вправе бы были не поверить, если бы я в самом деле вздумал отдать Дельвигу преимущество перед Пушкиным и даже Жуковским: но, к несчастию, это (как и многое другое) только вам привиделось! Впрочем, Ф. В., не нам с вами составлять парнасскую табель о рангах! Скажу вам только, что *великий писатель*, делающий честь своему веку, — великое слово! Пушкин, без сомнения, превосходит бо́льшую часть русских, современных ему стихотворцев: но между лилипутами не мудрено казаться великаном! Он, я уверен, не захочет сим ограничиться. Барона Дельвига ему ничуть не предпочитаю: первый Дельвиг отклонил бы от себя такое предпочтение, ибо лучше нас знает, что, написав несколько стихотворений, из которых можно получить *довольно верное понятие о древней элегии*, еще не получаешь права стать выше творца «Руслана и Людмилы», романтической поэмы, в которой, при всех ее недостатках, более творческого воображения, нежели *во всей* остальной современной русской словесности; творца «Кавказского пленника», написанного самыми сладостными стихами, представляющего некоторые превосходные описания, вливающего в душу — *особенно при первом чтении* — живое сетование; наконец, творца «Бахчисарайского фонтана», коего драматическое начало свидетельствует, что Пушкин шагнул вперед и не обманет надежд *истинных* друзей своих!

Ваш «Северный архив», ваши «Литературные листки» читаю иногда с удовольствием: в них довольно занимательного, довольно даже полезного, иногда нечто похожее на желание быть или по крайней мере *казаться* беспристрастным: положим, что я вздумал бы назвать вас лучшим русским журналистом: что бы вы сами сказали, милостивый государь, если бы из того кто вывел заключение: «Кюхельбекер ставит Булгарина выше Пушкина и Жуковского»?

Прервем, однако же, наш довольно длинный разговор, в котором, опасаясь вложить вам в уста то, чего вы, может быть, не признали бы своим, по необходимости заставляю вас повторять уже известное гг. читателям

«Литературных листков». В мою бытность в Грузии я знавал некоторого молодого человека, избавлявшего своих собеседников от труда растворять рот при монологах, которые произносил в их присутствии: ибо сей любезный юноша, принадлежащий, между прочим, также к нашим тремстам великим поэтам, делающим честь своему веку, обыкновенно вступал в спор с своим безмолвным слушателем вот каким образом: «Я утверждаю,— говорил он, например, — что снег бел; вы, может быть, скажете, что он черен; но я, чтобы опровергнуть ваше мнение, приведу вам следующие доказательства; . . .». Потом следовали сии доказательства — неоспоримые! потом опять возражения со стороны несчастного его товарища, и не думающего возражать; потом снова доказательства и снова возражения — и это до бесконечности! Таков был сей незабвенный мой тифлийский знакомец![19] Боюсь подражать ему! Итак, в заключение только поблагодарю вас, что вы находите мое стихотворение «Проклятие»[20] — страшным; оно и должно быть страшным! Но вы полагаете, что оно «похищено из храма эвменид и поставлено в вертограде словесности для пугания коршунов, угрожающих расцветающим поэтам». Кто сии коршуны? Не невежды ли, двуличные, злонамеренные критики? Если вы их разумели под сим словом, — вы ошиблись, почтенный Фадей Венедиктович! На них я никогда не вооружусь проклятием — разве, разве насмешкою!

За сим я имею честь пребыть вашим покорным слугою.

РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

У нас есть поэт с дарованием необыкновенным, который (не упоминаю уже о других его, истинно прекрасных трудах) подарил нас двумя лирическими эпопеями,[1] из коих одна должна называться *единственною* по сю пору на языке русском; а другая, менее совершенна, однако же изобилует великими красотами. Пятнадцать уже лет, как лучшая из них напечатана, но поныне никто не вздумал отдать ей должную справедливость, между тем как во всех периодических изданиях гремят похвалы посредственным и дурным переводчикам и подражателям иностранных произведений. Не сомневаюсь, после всего здесь мною утверждаемого всякий отчизнолюбивый читатель с нетерпением спросит меня: «Кто тот, о ком говоришь? Дай средство взвесить, оценить твои обвинения — и, если они справедливы, верь, что с охотой отрекусь от предубеждений, которые, может быть, сам имел против него: как не порадоваться, если узнаю человека с дарованием?». Итак, без дальних предисловий объявлю, что говорю о князе Сергее Александровиче Шихматове, написавшем поэму «Петр Великий». Если бы ныне я начал выставлять одни красоты автора, коего лучшую поэму хочу разобрать здесь, без сомнения, могли бы мой разбор назвать односторонним, но напрасно бы обвинили меня в пристрастии: ибо, умалчивая о недостат-

ках, не говорю, чтобы их не было, а предоставляю зорким глазам других критиков найти их; но кн. Шихматов писатель, коего творения могут выдержать строгую критику: посему буду говорить как о достоинствах, так и о недостатках его.

Князь Шихматов воспевает всю жизнь преобразователя России, с восшествия на престол до самой кончины его. Защитники правил французской поэтики осудят самое такое предприятие, «ибо, —скажут они, — Гомер передал нам один только год войны Троянской; Виргилий, Тасс, Камоэнс, Вольтер, даже Мильтон и Клопшток ограничились почти тем же временем! Эпопея должна иметь свое единство; каждая должна славить не более одного великого *мирового* события».[2] Но Шекспир в своей драматической эпопее, превосходящей все произведения Гомеровых подражателей и едва ли уступающей «Илиаде», в творении, начинающемся с Ричарда II и заключающемся смертию Ричарда III, обнял целых два века;[3] но Фердоуси[4] в своей «Книге царств» («Ша-Наме») представляет нам тысячелетия — и единство, несмотря на то, ими сохранено! Шекспир воскрешает пред нашими дивящимися взорами грозную борьбу домов Ленкестра и Йорка, преступления враждующих и вековую казнь их, кровавое их искупление ужасным Глостером, истребителем и побежденных и победителей; наконец, с его падением, умилостивление Эвмениды, бичевавшей Англию, и примирение *роз алой и белой*,[а] сочетавшихся в особе Генриха VII, который не участвовал в злодеяниях кровных своих. Подобным образом, но по огромнейшему еще предначертанию, Фердоуси поет роковую брань Ирана и Турана[б] и конечное слияние их в племени Рустмидов. Посему, противоставляя примерам примеры, гению и последовавшим оному талантам других самостоятельных гениев, видим, что правило, ограничивающее временное поприще Эпопеи годом, столь же произвольно, сколь произвольно и поверхностно другое известное правило, определяющее трагическому событию для развития и совершения не более одних суток. Из сего следует, что и князь Шихматов, славя преобразование России, для коей нужна, необходима была *вся* жизнь Петра Великого, в своей поэме соблюл эпическое единство, но только в высшем, не школьном значении сего слова. Мы бы желали оправдать его и в отступлении от обыкновенного (рассказного) способа изложения избранного им происшествия, но в этом встречаем более трудностей. Он употребил способ эпико-лирический, который может быть двоякий: во-1-х, присвоенный испанским романсом, английскою балладою и некоторыми поэмами Байрона, способ, принимающий время минувшее за настоящее и говорящий о событиях в отношении к *чувствам* поэта, присутствующего душою при их постепенном появлении, поражаемого ими, так сказать, в то самое мгновение, когда вещает об них; во-2-х, встречающийся нам в греческих

[а] Йоркский дом выбрал себе гербом *белую*, а Ленкестерский *алую* розу. Генрих VII происходил от обоих домов.

[б] Персиян и турок.

гимнах, в коих время минувшее остается минувшим, а события и с ними чувства поэта излагаются во славу главного лица, для возбуждения к нему в внимающем народе благодарности, удивления, благоговения. Оба сии способа представляют большие невыгоды в повествованиях сложных и продолжительных: в 1-м случае поэт сам, сердцем и воображением, состраждет, содействует своему герою и тем лишается спокойствия, бесстрастия, которое требуется для ясного изложения подробностей; во 2-м он, сверх того, должен предположить необыкновенную, неустающую силу души и участия в своих слушателях: но кто обыкновенный читатель выдержит гимн в четыре тысячи стихов? Поэма же князя Шихматова не что иное. Он свое лирико-эпическое творение создал по образцу не «Илиады» Гомеровой, а похвальных од Ломоносова.

Между тем если примем в рассуждение, что уже и сия попытка проложить новую дорогу в области поэзии показывает смелую мощную душу; что, может быть, во всей российской словесности нет произведения, которое бы представляло столько *отдельных* красот, что все лучшие оды Ломоносова, большая часть превосходных од Державина, все трагедии Озерова, лучшие лирические, элегические, эпико-лирические создания Жуковского, наконец, все (по сю пору) поэмы Пушкина прекрасны, *подобно поэме Шихматова*, только по частям, по подробностям, по стихам и строфам, а почти всегда ошибочны по изобретению и в целом не выдержаны; если, говорю, примем в рассуждение, что, несмотря на таковые недостатки, общие всем почти лучшим произведениям русской поэтической словесности, упомянутые творения у нас *по справедливости* пользуются доброю славою, нельзя не согласиться, что несправедливо бы было поэме князя Шихматова отказать в равном с ними внимании.

Итак, нам остается единственно доказать, что «Петр Великий», лирическое песнопение нашего поэта, действительно изобилует первостепенными красотами если и не изобретения, по крайней мере слога, но не того, что у нас некоторая известная школа обыкновенно называет слогом.[5] Сия школа ограничивает область слога одними словами и грамматическими оборотами; хорошим же слогом честит она всякий составленный из небольшого количества известных ее последователям слов и оборотов *новейших*, нередко даже противных духу того языка, которым писали Ломоносов, Костров, Державин; честит его хорошим, как бы, впрочем, он ни был вял и бессилен. Мы, напротив, в поэзии слог назовем тогда только хорошим, когда он будет ознаменован истинным вдохновением и по сему самому мощен, живописен, разителен; а в красноречии, когда будет истинно увлекателен; что же касается до слов, употребляемых писателем, мы не станем различать, новые ли они или древние, гражданские ли или церковные, но в точности ли выражают мысль автора и употреблены ли кстати: в сих последних двух достоинствах, а не в другом чем, полагаем мы грамматическую чистоту всякого слога. Не употреблять в оде, в поэме, в высокой лирической или даже описательной поэзии славянских выражений считаем столь же странным, как употреблять оные в комедии, в легком послании, в пе-

сенке или в прозаической по содержанию и духу повести, хотя бы она и была в стихах и даже писана лирическими строфами. Если же кто из наших судей парнасских подвергнет опале неизвестное ему слово,[6] употребленное писателем, приобретшим долговременными трудами и изысканиями глубокие познания в языке отечественном, мы со всею возможною скромностию и вежливостию посоветуем сему отважному законодателю сперва поучиться русской грамоте, а потом уже судить, рядить, рассуждать, как и о чем угодно.[a] Но возвратимся к нашему поэту.

Жизнь Петра всем русским известна или по крайней мере должна быть всем известна: князь Шихматов строго следовал в своем песнопении хронологическому порядку оной; но на некоторых частях, более поэтических, останавливался долее. Таковы, без сомнения, борьбы Петра с внутренними и внешними злодеями России; поэт в изображении их блестит всею возможною живостию огня, вдохновения, ужаса. Приведем несколько примеров — в первой песни Стрелецкий бунт:

Средь мира восшумел гром ратный,
По стогнам вопль, и стон, и крик:
Кипит мятеж — и скоп развратный
В чертоги царские проник.
Стрельцы, снедаясь злобы ядом,
Ругают святость алтарей;
По храминам своих царей,
Как волки алчны, рыщут стадом;
О буйства наглыя толпы,
Невинны пред людьми и Богом,
По смерть недвижны в долге строгом,
Падут отечества столпы.

. . . .

Злодеи, хищностью влекомы,
Москву разбоем полнят вдруг;
Разграбив торжища и домы,
Терзают верных царству слуг:
Гордятся плеском низкой лести,
Хвалой татей и винопийц;
Играют копия убийц
Живыми жертвами их мести.
Прельщенна блесками венца,
Душа сим полчищам железным,
София, оком зрит бесслезным
Беды россиян без конца.

Трикраты нощь завесой черной
Скрывала зрелища злодейств;
Но не смирялся бунт злосердной,
И страх витал среди семейств.

---

[a] В наше время, *заметим мимоходом*, в наше время, когда нам беспрестанно приводят в пример и образец немцев, мудрено, что никто из русских их последователей не обратил внимания на ход их словесности. Она была бессильна, вяла, водяна, безвкусна под пером писателей, чуждавшихся обветшалого слога Опица, Лютера, миннезенгеров, а возмужала, приняла образ самобытный, окрылилась, когда Гердер, Гете, Шиллер, Тик снова воскресили язык прадедов своих.

Пролив собратий кровь рекою,
Умалив град своей алчбой,
Губители, хвалясь собой,
Склонились наконец к покою.
Умолкла злоба во врагах,
Достигнув силы беспредельной.
Так океан, по буре зельной,
Недвижим дремлет в берегах.

Жене надменной, хищной, льстивой
Вверяют власть свою стрельцы;
Составив праздник нечестивой,
Рабы царям дают венцы;
И руки, полны крови чистой,
Как бы ругаясь божеством,
Подъемлют к небу с торжеством:
Согромождают столп кремнистой,
Бессмертный подвигов их вид;
Страдальцев, избиенных ими,
Злословят клятвами своими
И режут на меди свой стыд.

Здесь, для не занимающихся чтением древних книг, заметим, что слово *скоп* то же, что скопище, но короче, сильнее и выразительнее; а *зельный*, от слова *зело*, очень, то же, что *великий*. Распространяться же о достоинствах сего отрывка не считаем нужным: он довольно красноречиво говорит сам за себя беспристрастному читателю, а пристрастного не убедят никакие доказательства. Заметим только четыре стиха, на которых отдыхает воображение, пораженное грозною картиною междоусобия:

Умолкла злоба во врагах,
Достигнув силы беспредельной;
Так океан, по буре зельной,
Недвижим дремлет в берегах.

Далее, в 1 же песни, поход на Азов:

На брань сыны полнощи сильны
Несутся дружно, как валы.

Спешат по манию Петрову,
Как быстрые орлы, легки,
Несут спасение Азову
От тяжкой варваров руки.
Стремятся, верою согреты,
Поправ луну, возвысить крест;
Весь мрак с весенних оных мест,
Разрушив тартара наветы,
Разгнав божественным лучом:
Агарян гордых, дерзновенных,
Коварством, злобой вдохновенных,
Карать перуном и мечом.

Пред ними П е т р, и вождь и воин,
Первейший в бедствах и трудах,

Сердцами обладать достоин,
Летит — и силой на водах,
Еще младенческой, незрелой,
Разит противных крепкий флот,
Надежду града и оплот;
И в лаврах сей победы смелой,
Для Россов первой искони,
Течет на тьмы врагов слиянных,
Презорством,[a] зверством обуянных,
На стрелы, острия, огни.

Неверны, не стерпев удара
Российских мстительных десниц,
Страшилища земного шара,
Подобно стаду робких птиц
Теснятся, скопище несчетно,
Укрыться в твердости оград,
Но там напрасно ждут отрад;
От россов застеняться тщетно!
Пронзает праведный их гнев
От скал сложенные громады,
Как пламя, попаляет грады...

. . . .
Он рек — взвилися бранны громы,
Рыкают в дебрях и в горах,
Твердыни, капища и домы
От молний сыплются во прах:
Дымится пепл на месте зданий,
По стогнам страх, и огнь, и мгла,
На град погибель налегла,
Трясется он от оснований
И распадается вокруг;
Меж пламенных его обломков,
Снедая в праотцах потомков,
Гнездится глад..............

. . . .
Разят — и стены разгромленны
Поверглися к его ногам.
Противники, склоняя выи,
Покорством ищут тишины;
Рога надменныя луны
Поникли пред орлом России:
В ее Азове потекли
Часы блаженства и покоя;
Се первый шаг П е т р а героя,
Предвестник сильного земли!

В 3 и 4 песни, брань со Швециею; поэт олицетворяет войну:

Грядет исчадие подземной
И страх творения всего!
Чело скрывает в туче темной
И буря шествие его,

[a] Презорство — то же, что пренебрежение к кому, надменность.

Одежда — мглы и мраки нощи;
Дыханье — яда полный дым;
. . . .
И свет стезям его, пожары,
. . . .
И вся земля, став местом лобным,
Взывает с трепетом: «Война!».

Мы выпустили некоторые излишества из сего изображения; но, несмотря на то, оно, конечно, не чета нашим модным олицетворениям, нередко поражающим нас волшебною помощию одной прописной буквы!! [7]

От диких стран, зиме подвластных,
Плодоносящих камни, льды,
Приятствам жизни непричастных,
На россов двинулись беды.
Вандалы, готы кровоядны,
. . . .
Воскресли в правнуках своих;
Так с воплем стаи вранов хищных
. . . .
Летят от скал своих беспищных
На поле сытное битвы́.

Отдавая на жертву критике областное смоленское ударение *битвá* вместо *би́тва*, заметим превосходное сравнение неприятелей России с вранами.

Но. . . . .
Уже светает день Самсонов,
День страшный северным царям,
День скорби, ужасов и стонов!
Лиется утро по горам
Лучом мерцающим, багровым.
Содрогнулись и твердь и дол
Предчувствием грядущих зол
И смертных жребием суровым.
На грозы скорыя битвы,
На двух воителей полночи
Европа утверждает очи
И все венчанные главы.
С двух стран, как тучи громометны,
Как две железные стены,
Теснятся строи неисчетны!
. . . .
И П е т р, уставив россов к бою,
Да внедрит твердость в их сердца,
К стопам всещедрого творца
Припал с теплейшею мольбою...

Молитва царя-героя исполнена превосходных стихов и высокого вдохновения; с трудом отказываем себе в наслаждении выписать ее; но мы приведем еще другую его молитву и, сверх того, истинно боимся переписать большую часть всей поэмы. Потом П е т р

Всю рать, от края и до края,
Бодрит присутствием своим,
И, взором храбрых озаряя,
По сердцу их вещает им:
Друзья, сподвижники Петровы,
России кровные сыны,
Щиты ее против войны,
Перуны на врагов громовы!
Приспел судьбы России час;
Она, трепещущая плена,
Прибегла под сии знамена
И ждет спасения от вас.

Враги надменные гордыней
Терзать Россию притекли,
Ругаться нашею святыней,
Взять память нашу от земли.
. . . .
За целость веры и отчизны
Пойдем, сразимся — с нами бог!

На сем превосходном стихе, по нашему мнению, поэту должно было остановиться; в том, что следует, конечно, много прекрасного, например:

Отцы взывают к вам о мести,
И мучеников сих мольбы,
Сих жертв постыдные измены,
Как твердые, высоки стены,
Пред нами станут в час борьбы!

Или:

Не раз уже сии *колоссы* (шведы)
Пред вами падали во прах?
Падут и днесь: вы те же россы!
. . . .

Или:

Здесь ляжем мы костьми
И освятим свои могилы!

Но и в поэзии необходима умеренность, необходимо умение ограничить себя, пожертвовать целому подробностями даже прекрасными, остановиться вовремя. Князь Шихматов не всегда обладает сим искусством; однако же да не подумают некоторые наши стихотворители, что их скудость предпочитаю такому излишеству: излишество — хотя порок, но порок, если позволено сказать, прекрасный; исправить его легко — одним почерком пера; а чем исправить совершенную, неисцельную бедность воображения, чувств и мыслей??

Петр умолк:

Но сонмы ратоборны
Еще, еще вперяют слух!
И — . . . .
. . . Отчизны рок суровый

. . . .
Возник пред мысленный их взор:
Явились вышнего жилища
Добычи вражеских огней,
Или стоялища коней,
Или сынов своих кладбища,
Где жертв таинственных жрецы
Лежат кровавы, сами жертвы;
Поля, дубравы, холмы мертвы,
На нивах терны и волчцы.

Клубящийся волнами пламень,
Снедающ россов жизнь и труд,
Младенцы ринуты о камень
И девы преданы на студ;
И готы, гордые успехом,
Смотря на слезный, страшный вид
Своих ругательств и обид,
Казалось, разливались смехом.
Сей вид бестрепетных потряс
И жаром храбрости стократной
Возжег их грудь на подвиг ратной.

Третия песнь приготовила нас к зрелищу если не величайшего, по крайней мере блистательнейшего подвига Петра, к зрелищу Полтавской битвы; поэт готовится к выспреннему полету; он восклицает:

Где, где возьму я гласы громны
Воспеть Полтавского Петра?

Наше нетерпение доведено до высочайшей степени — и великолепная, превосходная четвертая песнь вполне удовлетворяет напряженному ожиданию нашему: она лучшая во всей поэме, лучшее, что князь Шихматов когда-либо создал; и если бы все его творение было равного с нею достоинства, он, скажем смело, оставил бы позади себя Ломоносова, занял бы между нами место не низшее завоеванного в другом роде Державиным, величайшим поныне русским поэтом; но и теперь она дает ему право на степень очень близкую к занимаемой ими! Пусть прочтет всякий истинный русский, любящий отечество и славу отечества, хотя сию четвертую песнь с начала до конца и рассудит нас с теми, на которых душою негодуем за их ослепление,[8] за упорство, с коим отказывают одному из могущественнейших наших поэтов в удивлении, в справедливости — кто бы поверил? — в самом чтении!! Не выпишу из ней ни одного отрывка: я бы должен был переписать ее с первого до последнего стиха; не говорю также, чтобы в ней не было пятен: но можно ли вспомнить о пятнах сих; можно ли, читая сию четвертую песнь, не увлечься неослабным, с строфы на строфу возрастающим восторгом поэта? Признаюсь, и охотно признаюсь — я не в силах выискивать грубый звук, обветшалое слово, неточное выражение, слабый стих там, где вижу и слышу поэта, и поэта истинного; и пусть, если угодно,

смеются надо мною насмешники: эта невозможность служит мне порукою, что и во мне какая-то искра огня поэтического:

Μένει τὸ δεῖον δουλία παρὸν φρενί.[а] [9]

Кн. Шихматов умел придать каждой своей битве нечто новое: итак, его воображение не только сильно, оно не лишено и богатства — качества довольно редкого даже между поэтами с дарованием! Впрочем, он достоин похвалы не в одних изображениях ужасов войны: в описаниях природы он светел, силен, нов и точен.

Привесть примеры оных предоставляем себе в следующей книжке «Сына отечества».

В 1 песни, после воззвания[б] к славившим Петра своим предшественникам, которых по скромности ставит гораздо выше себя (к несчастию, об них, исключая Ломоносова, и упоминать нечего), поэт представляет нам роскошную картину утра в южных странах.

Путник в прозрачную летнюю ночь оживил себя отдыхом близ цветущей рощи,

Где в неге дремлет тишина,
. . . .
Стрясает тонкий сон с очес,
Грядет под сень густых древес,
И там, спокойством огражденный,
Воссев на древний мшистый пень,
Он ждет с желанием сердечным
Царя планетам быстротечным,
Который воскрешает день.

Как зимний дым, белеют мраки,
И утро с розовым лицом,
Гоня зловидные призраки,
Блистая златом, багрецом,
Дыша живительной прохладой,
Белит и горы и поля.
Сребром усыпана земля,
Всеместной полнится отрадой;
Настал приятный первый шум,
Преторглась цепь нощного плена,
И путник, преклонив колена,
Вперил к востоку взор и ум.

Се солнце, искра славы бога,
Из бездн исходит, как жених

а И в рабстве не изменит дар божественный.
(*греч. Пер. С. Апта*).

б В строфе, следующей непосредственно за оным, заметили мы стих, исполненный глубокого чувства:

Не терпит сердце немоты! —

стих, которым бы должны руководствоваться все пишущие. Говори в печати, перед лицом стольких тебе незнакомых, только тогда, когда твое сердце не терпит немоты, и ты облагородишь звание писателя; твое *авторство* уже не будет ремеслом; твои слова, ознаменованные вдохновением, будут живы, увлекательные, истинны.

Младый от брачного чертога,
Лиет, раститель благ земных,
Потоками свой свет державный
Поверх смеющихся долин;
И радуясь, как исполин,
Вступает смело в путь преславный;
Вотще претят ему пары...

Оно и в них своим *всеплодным* лучом готовит дары человеку и течет, исполненное

...красы и мира!
Пред ним затмилася луна,
Померкли все светила мира,
Лишь им вселенная полна;
Его сияньем пораженной,
В убийствах цепенеет лев,
Бежит, смирив свой ярый гнев,
Рушитель тишины блаженной
Сокрыться в тощие скалы;
Змии, шипя, ползут в пещеры;
И путник, полн восторгом веры,
Отцу времен поет хвалы.

В сем прекрасном отрывке нас особенно поразила черта, схваченная с природы:

Настал приятный первый шум!

Всякой странствовавший, верно, испытал, сколь в самом деле приятен этот первый шум после трудного, безмолвного путешествия ночью! Приноровление же всего изображения к герою и к самому поэту придает оному новую высокую прелесть:

Так я, зря духом восхищенным
Петра Великого восток,
Паду пред солнцем сим священным!

Сии три стиха вдруг сливают в одно целое уподобление и уподобляемое, главный предмет всей поэмы и отступление. Это прекрасное преддверие, ведущее прямо в великолепное здание.

Вторая песнь равномерно начинается с описания, объясняющего то, что певец намеревается в ней поведать своим слушателям, т. е. внутреннее образование России Петром Великим.

Таковый прием для нас после первой песни, конечно, уже не нов; он даже придает ходу поэмы некоторое однообразие; но веселый съемок со страны, одаренной всеми благами земными, нежит воображение живым начерком, светлыми красками. Итак, взглянем на сей отрывок отдельно, забудем, что он есть часть целого. Автор указывает нам на богатую, роскошную пустыню, на злачные поля, орошенные обильною влагою, тучные равнины, которые не лишены приятства.

Но без труда искусных рук
Бесплоден их пребудет тук,
Богатств не израстит их недро;
И путник с высоты горы,
Измерив их усталым оком,
Жалеет, что во сне глубоком
Лежат благих небес дары.

Меж тем едва к ним

...свой ум небесный
И силу крепких мышц своих
Приложит царь земли *словесный.*
Уже лицо равнин нагих
Цветет красою разновидной.

. . . .
Растут дубравы насажденны,
Холмов присолнечных венцы.
Густою тенью услажденны,
Поют воздушные певцы;
И гласы песней их созвучных,
Угодных самой тишине,
Виются к выспренней стране;
На пажитях зеленых, тучных
Стада доилиц общих, крав,
Волов, oрателей прилежных,
Овец рунистых, белоснежных
Пасутся сочностию трав.

Катясь с высот в долины злачны,
Лобзая пестрые луга,
Звенят источники прозрачны;
Извив змиями берега,
Теряются в своем Дедале.[10]
Озера, зыблясь меж древес,
Сугубят красоту небес
В кристальном чистых струй зерцале.
По сводам тенистых пещер,
Убежищ летния прохлады,
Кипят сребристы водопады,
И бег их твердость камней стер!

Утеха взору и гортани,
Висят червленые плоды,
Приятные приносят дани
За легкие о них труды.
. . . .
Заря, восстав с одра востока,
На землю одождив жемчуг,
Сретает чуждое порока
Блаженство сельское вокруг...
. . . .
И солнце, с запада златя
Вечерних облаков ометы,
Зрит долу счастие и мир,

И странники...
. . . .
Текут на сей природы пир!

В творениях поэта всегда, нередко даже без его на то согласия, отражается он сам, отсвечиваются его собственный образ мыслей, его чувства, опыты, наклонности, любимые занятия. Так, например, многие места в одах Ломоносова являют его истинным сыном Севера, воспитанным на брегу Ледовитого океана, умом, который в младенчестве поражался грозными, дивными огнями и призраками полуночного неба; другие доказывают его знакомство с естественными науками, особенно с химиею. Петров смелою, мощною кистью оживляет пред нами коня[11] — и, как известно, был страстный любитель сего благородного животного. В Мильтоне легко найти подробности, которые только слепец мог описать, как он их описал. Во многих и недраматических сочинениях Гетевых виден драматический поэт, даже директор театра, знающий все тайны лицедействия, знающий самые мелочи, от коих зависит успех представления. Если бы мы и не ведали, что князь Шихматов служит во флоте, мы, прочитав его удачные изображения моря, кораблей, пристани, бури, морского сражения, догадались бы, что он должен быть знаком с океаном.

Во второй песни он указывает нам на Петрово училище, богатую Голландию:

Он (т. е. Петр) зрит — трудами согражденный
На блатах велелепный град,
Стомя протоков отрожденный,[a]
Цветущий красотой, как сад.
Пристанище пловцов несметных
И торжище всея земли.
Сыны щедроты — корабли —
В оградах мира безнаветных,
Бесстрашно слыша шумный ветр,
Не убегая бури мрачной,
Стоят, как зимний лес прозрачной,
. . . .
От стен до дальнего обзора,
Где с бездной смежны небеса,
Белеют радостно для взора
Волнисты, снежны паруса,
И весла возметают воды.
. . . .
Туда, по воле человека,
Корнисты, севера сыны,
Надменны долготою века,
Стеклись с кремнистой вышины;
И там, искусством искривленны,
Да с бурею воюют вновь,
Как братья, коих связь любовь —
Железом связаны — скрепленны,
(Не дух ли жизни оным дан?)

---

[a] Произведенный, иногда и вновь рожденный, возобновленный.

Согромождаются в громады:
Пред ними потрясутся грады!
Смирится ярый океан!

Там Петр, славнейший из владельцев,
(Единствен ввек пример такой!)
Труждался в сонме древодельцев
Своей державною рукой,
Не скипетр обращал — секиру;
Но частый стук секиры сей
Раздался по вселенной всей!

Потом поэт переносится в Россию; уже в первой песни он нам явил своего героя на водах Яузы, в челноке, который очень удачно называет *зерном* и *корнем грозных флотов, дедом ужасных в море мощных внуков*; он и там уже сказал, что П е т р,

Великих начинаний полн,
Уже стесняется рекою
И порывается в моря!

Во 2-й же песни славит построение первого русского корабля, который возник, как властительный (*претящий*) исполин,

Как огнедышаща гора,
В которой спеет ужас спящий,
. . . .
Возник и, презирая брег,
В разлив зыбей простер свой бег!
Женет (г о н и т) их пред собой стеною
И след его — кипящий ров!

. . . .
При звуках радостных, громовых,
На брань от пристани спеша,
Вступает в царство волн суровых:
Дуб — тело, ветр — его душа!
Хребет его — в утробе бездны,
Высоки щеглы — в небесах;
Летит на легких парусах,
Отвергнув весла бесполезны.

. . . .
Летит — на гордость мещет пламень,
Носящ велики имена,
Твое, неломкий веры камень,
На коем церковь создана;
Твое, сосуд Христу избранный,
Который выше всех чудес
Парил до третиих небес!

Корабль наречен во имя св. Петра и Павла. Князь Шихматов воспользовался сим обстоятельством, как бы в подобном случае воспользовался им

Кальдерон;[a] он обращается к ним, к нервоверховным в апостолах, он у них испрашивает благословения сему делу руки Петровой, да снова смелые подвижники господни, Петр и Павел,

Карают дерзостных и злых!

Теперь, для противоположности, представим своим читателям две картины ужасов морских — сражения и потом бури: обе взяты из шестой песни:

Ряды воинственных громад,
Рукой российской сочлененных,
Подвиглись средь зыбей надменных,
Пловущий, стройный, страшный град!

Холмами растекались волны
Пред смелым шествием его.
Твердыни, местью готам полны,
Злодеям севера всего,
В пространном резких волн разливе
Текут — и шумные бразды
В пучине сланой (с о л е н о й) их следы!
И понт подобен зрится ниве.
Криле свои расширив ветр,
Летит по высоте воздушной
И дышит силою послушной,
Куда войной стремится Петр.

Но флоты российский и шведский встретились:

Отверзлись жерла громометны,
Ревут по воздуху всему;
Сверкают молнии несчетны,
В непроницаемом дыму,
Что вверх клубится облаками,
Волнами идет по волнам.
Раздался гул по глубинам:
Прольется в море кровь реками!
Оружием смертей и ран
Взаимно ратуют громады,
И с визгом ядр летящих грады
Посыпались с обеих стран!
Отъемлют полдень солнцелучной
От зрения густые мглы;
Мертвеет слух от брани звучной;

---

[a] С Кальдероном князь Шихматов вообще имеет сходство решительное: в обоих встречаем одинакую, строгую, нерастленную светским умничаньем приверженность к вере своих праотцев; в обоих одинакое знание таинств религии и обрядов церковных, душа обоих напитана чтением священного Писания и св. отец; цветущий слог и того и другого представляет одинакий отпечаток восточной роскоши; краски их пламенны; мысли утонченны; иносказания, олицетворения, уподобления в их творениях во множестве. Оба они, подобно поэтам Азии, любят играть словами, и напрасно бы сию последнюю наклонность назвали пороком; она иногда происходит от обилия мыслей, от избытка чувств, а не от холодного только остроумия: есть различие между игрою словами,[12] попадающеюся в Шекспире, Кальдероне, Гафисе, и тою же игрою, когда уподобляют ее вялый Дорат или бездушный Марини.

Робея, падают валы
От частых пагубы ударов;
На части рушатся суда,
И стонут воздух и вода;
Багреет небо от пожаров,
Сих грозных светочей вражды;
И огнь свирепствует на море.

Корабли:

То грязнут в глубине, как камень,
То гибнут, зыблясь по волнам;
Сквозь дым столпами блещет пламень,
Крутится к выспренним странам.
. . . .
Проникнув искрою одной
В их темны, жупельны утробы,
До самых облак мещет вдруг
Курящиеся их обломки,
. . . .
И мрак разносится вокруг!

И вот:

Уже покрылся влажный дол
Развалинами готской силы,
Помостами кровавых тел!

Вот неприятельский адмиральский корабль:

Всех готских кораблей стена,
Столп крепости всего их флота,
Достойный имени Слона,
Сквозится молнией Петровой:
Своих бесчленных трупов полн,
Как труп, колеблется средь волн;
Но, движим дерзостью суровой,
Петра мечтающей сотерть,
Гремит — напрасны громы бранны!
Уже в его отверсты раны
Втекают с шумом страх и смерть!

Петр победил; он течет обратно, увенчанный славою; но

Внезапу с шумом дхнул дух бурный,
Расторгнул тысящу оков:
Бугры густые облаков
Затмили ясный свод лазурный;
Сошла безвременная ночь
На воды страждущи, ревущи;
. . . .

Как горы, грозны и высоки
Восходят волны до небес;
Меж ними пропасти глубоки
Зияют зрению очес;
И бурей корабли боримы,

То вдруг висят на вышине,
То вдруг сокрылись в глубине
И долу влаются (колеблются) незримы.
И вихрь ужасный быстротой,
Сорвав с валов крутых вершины,
Поверх гористыя пучины
Разносит пылию густой.

Покрытый пеною кипящей,
Клубами белыми, как снег,
От бездны, твердь[a] его разящей,
Трепещет, воет твердый брег!
Тягчится воздух темнотою;
Лишь молний смертоносный луч
Сверкает из чреватых туч;
Над всею моря широтою
Являет пагубы позор;
Удар сугубится ударом,
И небо зрится в гневе яром;
Все страх, смятение, раздор!

Из мрачной глубины полночи
Не блещут более огни,
Лишь тьма мрачит пловущих очи,
Лишь ветры ратуют одни,
Мчат россов к смерти неизбежной;
И близ уже шумят валы,
Биясь об острые скалы,
На коих крутизне мятежной
Витает гибель кораблей,
И там рукой немилосердой
Стирает в прах состав их твердой.

Сия, шестая, песнь одна из лучших во всей поэме: в ней изображен, между прочим, также поход Петра на Персию. Что наш автор говорит о бедствиях, побежденных россами в сей стране, столь гибельной для питомцев зимы, для племен хладной полуночи?

Тускнеет солнце в полдень знойной,
Как сталь, калится горний свод;
От суши мертвенно покойной,
От дремлющих Каспийских вод
Несутся грозы облаками
И ратный начинают спор
Поверх крутых Кавказских гор,
Венчанных вечными снегами;
И молний быстротечный луч,
Гонимый бурным, громным треском,
Народы устрашая блеском,
Свирепствует от туч до туч.

Как пещь, дыхает небо жаром,
И небу огненны пески

---

[a] Здесь весьма удачно, вместо слов *твердость* или *крепость*.

Противодышат знойным паром,
И чувство жажды и тоски
Снедает жизнью одаренных.
Из тлеющих подземных недр
Исходит смертоносный ветр.

Сей ветер, говорит поэт, подобен тирану, который велит, да всякий, к кому ни обратится,

Со страхом припадает долу;
Противных грозному глаголу
Мертвит дхновением своим.
Едва свое священно око
Сомкнет изнеможенный день
И ляжет по полям широко
Нощная тишина и тень:
Уже из мрачных логовищей
Бегут гиена, тигр и лев,
Немолчный испуская рев,
Алкают пресытиться пищей;
Далече разливают страх!
Сгорая жаждой кровопийства,
Творят бесчисленны убийства
В лесах, в долинах, на горах.

Или из туч черно-багровых
Вихрь хищный, исторгаясь вдруг,
Сопутник бурь, как смерть, суровых,
Со свистом вьется вкруг и вкруг,
Полетом возметает бурным
Пески, как волны, к облакам,
Грозит кончиною рекам
И тьмою небесам лазурным;
Смесив и дол и высоту,
Равняет горы и долины,
Кладет во прах градов вершины,
На все наводит пустоту!

. . . .
Или, от блат и бездн тлетворных
Возникнув, гладный лютый мор
Во мгле туманов злорастворных
Летит — и с ним смертей собор.

. . . .
Или... но как исчислить словом,
Сколь гибельна сия земля?
Где небо пламенным покровом,
Железны кажутся поля?
Где гнусные, смертельны гады
. . . .
Плодятся всюду без числа,
Которых изощренны яды,
Как молнии палящий луч,
Мгновенно проницают в жилы,
Смущают мысли, чувства, силы
И жизни иссушают ключ!

Князь Шихматов в сем отрывке живописал глазам нашим знойный Иран со всеми его ужасами, *с самумом*,[а] чудовищами, незапными бурями, чумою, живописал, как будто бы сам долгое время жил на Востоке — в соседстве Муганской степи, сего отечества змей и гадов, где они точно плодятся без числа, где, как уверяет Квинт Курций и как поныне народное предание повествует, — Александр (Ша-Исандер) обратился вспять, воспященный в своем шествии несметным множеством пресмыкающихся. Вдохновение заменило поэту опыт и наблюдения: он душою перенесся в Персию, и ни один путешественник не описал бы точнее опасностей, ожидающих там путешественника! В час восторга, когда устремлены все мысли, все чувства песнопевца на один и тот же предмет, в нем возникают, оживают, становятся ясными темнейшие воспоминания о том, что хочет изобразить; все, некогда об оном слышанное и, казалось, давно забытое, воскресает не только в памяти, воскресает для взоров его; собственное творческое воображение поэта мгновенно дополняет пропущенное, может быть, рассказчиком, и вдруг в стихах его явится список полный, верный с того, что он никогда не видал очами телесными![б]

Приведенные нами по сю пору примеры все почти в роде описательном, живописном, но да не подумают, что наш поэт искусен и силен в нем одном.

Чувство в стихах его говорит почти столь же красноречиво. В нем пламенна любовь к отечеству; пламенна вера во Всевышнего. Заглянем в 7-ю песнь; послушаем молящегося за Россию Петра!

...на воды и на сушу
Простерся скипетр тишины;
Петра божественную душу
Небесны присеняют сны;
Молчит Петрополь усыпленный,
И спит творение вокруг.
Представь — что Петр воспрянул вдруг,
Живою верой обновленный,
И в сей безмолвный нощи час,
Ничем в душе не возмущенный,
Прещедрым богом восхищенный,
Вознес к нему сердечный глас:

. . . .
«С высот твоих, зиждитель сущих!

[а] *Самум* — название пагубного юго-западного ветра, веющего из песчаных Аравийских степей.

[б] Итак, скажут наши баловни-гении, охотники хватать одни вершки или даже пребывать в неведении всего, что немного далее Нарвской и Московской заставы: «Мы правы, к чему учиться? Нам вдохновение заменяет знания! — Поэт...

Не учась учен, как придет в восхищенье!».[13]

Извините, мм. гг., истинное вдохновение не может родиться, по крайней мере не может продлиться, без богатого запаса живых знаний, т. е. понятий о предметах занимательных; восторг опирается, так сказать, об них для дальнейшего полета: мысль *одна* подобна вспышке *одной*, но одна вспышка не засветит еще пламени!

Сквозь сонмы пламенных духов,
Твое величество поющих,
Тобой созданных до веков
В степени твоему престолу,
Сквозь мириады мирияд
Миров, объемлющих твой град,
Приникни долу, долу, долу,
На персть взывающу к тебе
Из глубины твоих творений,
Не премолчи[a] моих хвалений,
Внемли, внемли моей мольбе!
Тебя дела твои достойны!
Одним любви своей лучем
Из тьмы извлек ты солнцы стройны,
Повесил землю на ничем,
Сафирным осенил навесом
И оный чудно обложил
Ужасным множеством светил;
Числом и мерою и весом
Устроил звездные огни
И всех их назвал именами;
И все, вращаяся над нами,
Тебя поведают они!

Велик пространством непонятным
Сей мир, мир славы и красы;
Но пред тобою необъятным,
Как капля утренней росы,
С высот сходящая на землю!
К тебе, к премудрости твоей,
Я силы все души моей
Со страхом, с трепетом подъемлю:
Но гибнут силы все в тебе!

. . . .
Конец поставлен всей природе,
И всю ее разрушит смерть;
Померкнет блеск на горнем своде;
Как риза, обветшает твердь,
. . . .
Погибнут с шумом небеса,
И ты свиешь их, как одежду;
Миры растают, как мечты;
Престав от быстрого полета,
Исчезнут времена и лета:
Единый пребываешь ты!

. . . .
На что ни обращаю очи,
Во всем сретаешь ты меня:
Тебя я чту в сей звездной ночи,
Тебя в лучах златого дня,
Тебя и в буре и в зефире,
. . . .
Тебя в войнах и в кротком мире,

[a] Не презри.

И в дивной царств земных судьбе;
Тебя я зрю во всей вселенной,
Тебя я чувствую в себе.

После нескольких строф, содержащих мысли и чувства, которые должны бы быть общими всем беседующим с богом, поэт заставляет Петра прибегнуть к господу с мольбой о ниспослании себе мудрости и сил — для управления Россиею.

Увы! горька державства сладость;
Царей земных великость — сон,
Ты мне веселие и радость;
Да не отступит твой закон
От сердца моего вовеки:
И там да слышу я всегда,
Что паствы моея стада
Не токмо те же человеки,
Но паче братия моя;
Что я всеобщий их служитель,
Что ты, о крепкий Вседержитель,
И мне и оным судия!

Соделай манием всемощным,
Да я в суде не знаю лиц,
Да буду помощь беспомощным,
Отрада сирых и вдовиц,
Благим — прибежище надежно,
И злым чадолюбиво строг.

. . . .
Да не обрящется несчастный
Во всем владении моем!

Посли мне свыше смысл пространный,
И дух мой в силу облеки,
Ничтожить козни злобы бранной,
Сражать противные полки,
Спасать Россию от наветов,
Над всеми царствами вознесть,
Разрушить дерзость, зависть, лесть...
. . . .
Над всем же сим взываю слезно,
С рабом твоим не вниди в суд!»

Скончал моление устами,
Не кончил в глубине души.

Чувство не велеречиво: для него довольно и одного слова! Таково глагол *бысть* в 4 песни в следующей строфе (Петр после Полтавской битвы говорит о Карле XII):

Рек враг, кипящий злым наветом:
Под солнцем власть моя крепка!
Пойду — и будет над полсветом
Моя господствовать рука;

Цепями прикую Россию
К престола моего столпам
И дам покой моим стопам,
Возлегши ими ей на выю!

Но бог:

Велел от выспреннего свода:
Да будет в севере свобода!
И север восклицает: *бысть*!

В рассказе о Мазепиной измене (в 3 песни) поэт, обращаясь к предателю, восклицает:

И зверь срамляется угрызть
Питающу его десницу —
А ты! сокройся жив в гробницу!

Здесь умолчание сильнее всего, что́ бы можно было сказать. В этом же рассказе другие два стиха заставляют невольно задуматься:

Но, ах! сердца людей коварных,
Как бездны моря, глубоки!

Далее, там же:

Где молнии твои дремали,
О небо! где коснил твой гром,
Когда отступник день печали
Простер, как тучу, над Петром?

Это самое пылкое изражение живейшего участия, которое поэт переливает и в слушателей.

О Мазепе князь Шихматов вообще говорит в стихах самых сильных, самых грозных! Итак, хотя в первой половине нашего разбора мы было и отказались от выписок из четвертой песни сей поэмы, однако же здесь уступаем неодолимому для нас желанию поделиться с нашими читателями отрывком, которого ужаснее и в самом Бейроне не знаем! Мы хотим уничтожить упорное, долговременное предубеждение и, как справедливо заметил нам один наш приятель, даже не вправе отказаться добровольно от средств самых действительных к достижению своей цели!

Мазепа,

Злодейства ужасом гоним,
Бежит — и чает, что над ним
Возжечься молнии готовы
И, мстительным огнем паля,
Истнят рушителя закона;
И что его, как Авирона,
Поглотит гневная земля!
Избег далече, небрегомый,
Как вран, витая по горам;

Но совестью своей жегомый,
Безмерен чувствуя свой срам,
Гнетомый злобой неисходной,
Едва свободный воздохнуть,
Невольно прерывает путь.
Как туча на скале неплодной,
Сидел он мрачен и угрюм;
И мысли черные постыдны,
Как в терние спешат ехидны,
Спешат в его нечистый ум.

. . . .
Как угль — в нем сердце потемненно;
Проникнул трепет в тук костей
И в глубину души мятежной;
Он весь дрожит, как легкий лист;
И в слух его, как вихрей свист,
Шумит глас мести неизбежной;
И кровь им преданных на смерть
Стремится на него, как море:
Не смеет он, погрязший в горе,
Воззреть с надеждою на твердь.

Язвится светом благодатным,
Как аспид, кроется во мгле,
. . . .
Носящий ужас на челе,
. . . .
Клянет себя и всю природу;
В очах его густеет ночь.

Но злодей взревел

От бездны сердца своего,
И жизнь оставила его!

И певец вопиет вслед отлетающей его душе: «Смертию казнь твоя еще не кончилась».

Познает позднее потомство,
Как жизнь, отечество любя,
Твое пред оным вероломство
И клятвой проклянет тебя.
Воссетует твоя отчизна,
Что в ней приял ты бытие;
И имя гнусное твое
Злодеям будет укоризна.
Изменник слову божества,
Изменник долгу человека,
От рода в род и род до века
Ты будешь срамом естества!

Се враны, привлеченны смрадом,
Разносят плоть его в когтях;
И гады, дышащие ядом,
Гнездятся грудами в костях.
Из недр, из устия вертепа,
Шипят трижальные змии,

И всем шипения сии
Вещают: здесь гниет Мазепа!
Не зреют век красы весны
Вокруг сей дебри многобедной,
И путник трепетной и бледной
Бежит далече сей страны!

Здесь оканчиваем свои довольно многочисленные извлечения, которые, однако же, далеко не исчерпали всей сокровищницы красот нашего писателя. Он привел нас в затруднение редкое, но тем более для нас приятное: перечитывая одно место, мы вспоминали о другом, недоумевали, не знали, которое предпочесть: вот бессомненное доказательство истинного дарования!

Скажем теперь слова два о достоинстве целого творения. Мы уже видели, что в оном мало эпического: но оно, без сомнения, дает князю Шихматову право на одно из первых мест между нашими лириками и поэтами-живописцами. Лучшие песни сей поэмы, состоящей из 8-ми, по нашему мнению, 1, 4 и 6; самые слабые 5 и 8; но 2, 3 и 7 содержат в себе много прекрасного; в особенности просим наших читателей прочесть в конце второй описание введения Петром наук и художеств в Россию, описание, принадлежащее роду весьма неблагодарному, т. е. поэзии поучительной: наш поэт умел вдохнуть и в сей отрывок жизнь, движение, заманчивость! Далее, в 3 песни пусть взглянут на изображение жестокой зимы 1708 года, зимы, которая, по словам поэта, на *что ни дхнет, окаменит*; пред которою враги России *валятся, каменные трупы*!

Сравнивая язык князя Шихматова с языком других наших стихотворцев, находим, что оный всех ближе подходит к языку Ломоносова, но новее, ибо представляет гораздо менее усечений, небрежностей и так называемых поэтических вольностей: ударение на предпоследнем слоге вместо последнего, в страдательных женских и множественного числа причастиях на *на* и *ны е́нна* и *е́нны* вместо *ны́* и *на́* — единственная неправильность, которую себе наш автор позволял постоянно, и то по образцу своих самых строгих предшественников Хераскова, Кострова, Ломоносова. Слог поэмы «Петр Великий» нигде не представляет пестроты, которую встречаем и в лучших сочинениях Сумарокова, Петрова и даже Державина; нигде слова и обороты славянские не перемешаны в оной с низкими простонародными, как то весьма часто случается у помянутых писателей.

После Ломоносова и Кострова никто счастливее князя Шихматова не умел слить в одно целое наречия церковное и гражданское: переливы неприметны; славянские речения почти всегда употреблены с большою осторожностию и разборчивостию; в последние 25 лет, конечно, мы отвыкли от некоторых, но в этом напрасно кто вздумал бы винить нашего автора!

Итак, слог (не во гнев ненавистникам нашего древнего отечественного слова!) везде выдержанный, язык богатый, стройное, строгое стихосложение, множество прекрасных живых картин, парение, редко слабеющее, избыток сильных, непритворных чувств — вот, по нашему мнению, до-

стоинства поэмы князя Шихматова! Главнейший недостаток (от коего происходят и все прочие, как, напр., слишком поверхностное начерчение действующих лиц, даже самого Петра, слишком быстрые переходы от одного события к другому и, хотя не часто, однако же иногда, особенно в 5 и 8 песнях, приметная усталость) есть, как уже упомянуто, самый избранный автором способ изложения. Напрасно также искали бы в его творении чудесного[14] и вымысла в целом.[а] От них поэт должен был отказаться по самому свойству воспеваемого им предмета.

При всем том будем благодарны творцу поэмы «Петр Великий» за труд, доселе у нас единственный, ибо ни «Владимир», ни «Россияда» Хераскова, ни даже начало Ломоносовой «Петрияды» не выдержат сравнения с оным. У нас, конечно, нет еще истинной народной эпопеи; но лирико-эпическое песнопение князя Шихматова и по появлении оной не утратит цены своей, а ныне обязанность всякого русского знать и помнить творение, каких у нас немного! Наша словесность весьма еще не богата: прекрасным же не должен пренебрегать даже тот, кому дано превосходное!

РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ РУССКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

Любопытно послушать, как иностранцы, особенно немцы, ближайшие соседи наши, судят о русской словесности, с частию коей господин фон-дер-Борг познакомил их в довольно удачных и близких переводах.[б] Итак, выпишем, что в 60 нумере литературных немецких листков говорится при случае появления сих переводов, во-1-х, вообще о духе нашей поэзии, во-2-х, о некоторых наших стихотворцах в особенности. Сии суждения не во всем сходны с теми, которые у нас повторяются ежедневно, и потому-то показались мне достойными некоторого внимания.

«Новейшая русская изящная словесность еще очень зелена. В каком же образе представляется она наблюдателю? В образе вышедшего из отроческих лет юноши нашего времени, которого к стихотворству понуждает молодость, а может быть, и дарование; сей юноша покушается высказать поэтическим языком чувства свои, но это не совсем легко; посему он трудное старается заменить менее трудным и вместо чувств обработывает мысли, а как глубокое размышление не есть стяжание первой молодости, то сначала довольствуется проницательностию и остроумием — способностями, которые в душе человеческой окриляются ранее прочих. Вот почему в произведениях молодых стихотворцев встречаем столько поучительно-чувствительных изречений. Обозревая фон-дер-Боргово собрание, убеждаемся, что русская поэзия есть подобный поэт-юноша. Сие собрание все почти составлено из поучительных од, элегий, посланий, сатир, многословных баллад и

а В подробностях мы находим изобретение в рассказах о бегстве и смерти Мазепы и об единоборстве Петра с Карлом.

б Эти переводы не в пример ближе к подлинникам французских переложений С. Мора[1] и переложений английских Боуринга,[2] из которых последние, однако же, заслуживают некоторую признательность.

сказок, в коих более ума и описаний, нежели смелости воображения и теплоты чувства; кроме того, сии произведения вообще между собою до того сходны, что писателей распознаешь только по оттенкам, а не по мощным каким отличиям».

Далее немецкий критик предупреждает возражение, которое бы могли ему сделать насчет этого последнего упрека: «Сходство сие, — говорит он, — напрасно бы кто вздумал приписать самому ф. д. Боргу: он, кажется, переводил добросовестно и, сверх того, везде оказывается человеком искусным, знающим».

Согласны! Согласны также в том, что много истинного в строгом приговоре критика. Но ужели не вменить в вину г. переводчику выбор подлинников, чрезвычайно односторонний? Выбор, по-видимому, только таких произведений, таких писателей, которые у нас, за исключением всех с ними несходствующих, одобряются известною школою? Именно советам школы сей, ее, говорю, советам и мнениям, которыми переводчик явно руководствовался при составлении своего собрания, должны мы приписать изобилие *водяной, вялой* описательной лжепоэзии, коею преисполнены фон-дер-Борговы переложения. Так! наша словесность молода; но и у нас были и есть поэты (хотя их и немного) с воображением неробким, с слогом немногословным, не разведенным водою благозвучных, пустых эпитетов. Не говорю уже о Державине! Но таков, например, в некоторых легких своих стихотворениях Катенин, которого баллады «Мстислав», «Убийца», «Наташа», «Леший» еще только попытки, однако же (да не рассердятся наши весьма хладнокровные, весьма осторожные, весьма не романтические самозванцы — романтики!) по сю пору одни, может быть, во всей нашей словесности принадлежат поэзии романтической. Таков был некогда Бобров — поэт, который при счастливейших обстоятельствах был бы, может быть, украшением русского слова, который и в том виде, в каком нам является в своих угрюмых, незрелых, конечно, созданиях, ознаменован некоторым диким величием. Такова, наконец, госпожа Бунина, которой «Прогулка болящей» есть произведение, исполненное живой, глубокой скорби. Немецкий критик, прочитав оную, согласился бы, что и у нас иногда говорит сильное чувство, незаменное ни модными словами, ни описаниями, ни остроумием.

Из «Собрания образцовых сочинений в стихах»[3] переводчик (см. 1-ю часть его переводов, 2-й мы вовсе не знаем и, стало, о ней и не судим) извлек произведения самые вычищенные, самые выглаженные, а посему-то одно с другим столь сходные! Где же на русском — как например в Державине или Петрове — и были какие неровности, он их тщательно *выправил* и тем лишил, конечно, недостатков, но недостатков, иногда неразлучных с красотами, одному Державину, одному Петрову свойственными!

Вот почему при всей верности, при всем истинном достоинстве переводов г. фон-дер-Борга они еще однообразнее своих подлинников, вот почему ни по тем ни по другим нельзя и не должно заключать о совершенном будто бы однообразии всей нашей поэзии!

«Другое еще сходство представляется в сих стихотворениях вообще с произведениями молодой музы: в бо́льшей части их нет жизни самобытной; подобно юноше, который, хотя бы и наделен был дарованиями, держится, иногда и сам не зная того, признанных уже образцов, сии стихотворения все почти суть подражания чужой, а именно французской словесности, а некоторые, преимущественно позднейшие, подражания и немецкой. Господин фон-дер-Борг в двух довольно толстых книжках предлагает нам примеры, взятые из сочинений 26-ти стихотворцев, родившихся между 1711 и 1799 годами и, следовательно, почти совершенно исполняющих минувшее столетие. Все они без исключения испытали решительное на себя действие французской классической словесности века Людовика XIV, даже касательно наружного образа[4] произведений своих; переводчик передал нам оный без всякого изменения. Многие из сих стихотворений писаны александринами; оды — французским малоизменяющимся элегическим размером;[а] басни же, совершенно в роде басен Лафонтеновых, — стихами вольными. Позднейшие русские стихотворцы, конечно, обнаруживают некоторое знакомство с словесностию немецкою, но, кажется, знают ее преимущественно в том виде, в котором [она] находилась под многоразличным иноплеменным влиянием, с половины прошедшего века до появления Гете. Сей же последний, по причине поучительного направления русской словесности, по-видимому, почти не встретил в оной отголосков песням своим».[5]

Критик не говорит здесь об удачных и неудачных подражаниях *отдельным* стихотворениям Гетевым: они у нас, конечно, найдутся! Он говорит о произведениях, *созданных* нами не по известному какому образцу Гете, а в духе его, с его свободою. Примеры, может быть, лучше объяснят мысль сию. Итак, положим, что ни в одной трагедии Озерова нет подражания ни одной в особенности трагедии Вольтеровой;[б] но в них красоты и недостатки одни и те же. «Эдип» и «Димитрий», «Фингал» и «Поликсена» изобретены и обработаны в духе Вольтера — как бы, вероятно, сам Вольтер изобрел и обработал их. Далее, в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане» встречаем мы, кроме некоторых явных, довольно близких подражаний «Чайлд-Гарольду» и «Абидосской невесте», несколько, хотя и немного, мест, которые как будто вылились из пера самого Бейрона. Вот что наш критик называет отголосками. Признаемся, что и мы не помним в нашей словесности таких отголосков творениям Гете.

Критик, похваляя фон-дер-Борга за его известия о жизни русских писателей, выписывает из него некоторые занимательные, но в России всем известные приключения Ломоносова[6] — и продолжает:

«Переводчик уверяет, что Ломоносов совершенно знал язык немецкий, читал того времени немецких стихотворцев и решился подражать им. Нам, напротив, кажется, что он более писал по образцам французским, нежели немецким, хотя, может быть, и имел в виду некоторых германцев,[7] особенно Геллерта[8] и других, которые с 1740 года уже стали приобретать известность. (См. «Утреннее размыш-

---

[а] Какой это особенный элегический французский размер? Мы его не знаем. В одах же наших господствовала (и то некогда) десятистишная — каждый стих в четыре стопы — ямбическая строфа, вовсе не элегическая.

[б] Чего, однако же, нельзя сказать о «Димитрии Донском», который, без сомнения, подражание «Танкреду».

ление о божием величии»). Но пусть послушают строфу, с которой все собрание начинается».

Следует перевод первой строфы подражания Иову,[9] довольно близкий, однако же не совершенно равносильный.[а] Критик затем восклицает:

«Здесь одежда [10] и выражение, без сомнения, французские, и невольно вспомнишь Жан-Батиста Руссо [11] или Ла-Мотта! [12] В „Вечернем размышлении“ мы находим более германского, находим что-то похожее на слог и мысли Галлера».[13]

(Следуют три строфы из сего «Размышления»).

«Оба (и Галлер и Ломоносов) иногда в стихотворениях своих являются естествоиспытателями; но переводчик прав, когда, в отношении к другим, называет Ломоносова высоким; [14] для большей части его преемников недоступны и *его* сила и полнота мыслей; он, правда, не слишком богат чувствами, но почти все прочие на сей счет еще его беднее».

Здесь осмелимся спросить: справедлив ли сей столь решительный приговор, составленный по двум, трем, много четырем или пяти, и (как уже замечено) не всегда лучшим, стихотворениям каждого писателя, удостоившегося перевода господина фон-дер-Борга и суждений господина критика? — приговор, составленный по немногим сочинениям некоторых только наших писателей и, несмотря на то, простертый на всю словесность русскую?

Уверен, что беспристрастные немцы оного не признают без дальнейшего исследования; мы же да воспользуемся тем, что есть справедливого в сих замечаниях. Так! в нашем стихотворстве, с одной стороны, слишком много описательного, с другой — слишком мало простоты, слишком много умничанья и поучения. Дадим волю чувству, которого мы не лишены, но которого *стыдимся* благодаря привитым нам правилам французской поэтики, сплошь составленным из приличий, жеманства и принуждения, правилам, господствующим еще более в образе мыслей и предрассудках наших светских юношей, нежели даже в книгах учебных. У нас люди светские и поныне раболепствуют перед сими чужеязычными законами, вопреки романтическому лепетанию, коим с некоторого времени бьют в уши встречному и поперечному, ибо теперь, конечно, быть или по крайней мере казаться романтиком — обязанность всякого любезника.[б] Да решатся наши поэты *не украшать* чувств своих, и чувства вы-

---

[а] Так, напр., стих:

Durchdröhnt er mit dem Wort die Luft

(он словом заставил стонать воздух) — не то, что:

Словами небо колебал.

[б] Но что же зато и романтизм всех их, пишущих и непишущих? Он обыкновенно останавливается на Ла Мартине,[15] на французском переводе Бейрона, на романах Вальтера Скотта; некоторые только когда-то и как-то заглядывали в мелкие стихотворения Шиллера и даже знают, что Гете написал «Фауста»; одни смель-

рвутся из души их столь же сильными, нежными, живыми, пламенными, какими вырывались иногда из богатой души Державина! Но послушаем, что далее говорит наш критик.

«Легкостью, дарованием музыкальным и лирическим, кажется, всех более наделен Ипполит Федорович Богданович, который, будучи секретарем при посольстве в Дрездене,[16] может быть, приобрел некоторое германское образование. Песенка его „Минуло мне пятнадцать лет!“ прелестна с первого стиха до последнего и выдержит сравнение с самыми счастливыми безделками, которые мы (то есть немцы) [17] можем предъявить в сем роде!».

Каковы же здесь суждения господина глубокомысленного немецкого судьи-словесника? По одной милой, но ничтожной безделке он Богдановичу, перед всеми русскими писателями, приписывает самое большее, не только музыкальное, но и лирическое дарование! Каково его немецкое тщеславие! Всем, что у нас есть хорошего, обязаны мы господам немцам! И после того немцы же упрекают французов в надменности!

«Всех ближе к французам *Сумарокой* (т. е. Сумароков),[18] Княжнин, Крылов, басни коего писаны совершенно по Лафонтенову образцу».

Что это значит? И те и другие писаны стихами вольными. Это так. Но ужели в произведении поэтическом нет ничего важнее стихосложения? Крылов по духу и слогу басен своих самый народный из всех наших писателей; в них едва ли есть что-нибудь лафонтеновского, и ровно ничего нет нерусского.

«Стихотворные произведения славного российского прозаика — Карамзина заражены вялою несколько сентиментальностию. Переводчик выхваляет нам истинно русское остроумие фон-Визина; сомневаемся, однако же, чтобы читатель согласился с ним, прочитав переложенный им разговор фон-Визина».[19] (ссылка на 273 стр. второй части собрания).

Не знаем, какой это разговор; но не думаем, чтобы он был взят из «Недоросля», а то, надеемся, господин критик уверился бы в справедливости похвал переводчика фон-Визину.

«Иван Иванович Дмитриев, без сомнения, самый счастливый преемник по легкости — Богдановича, а по богатству мыслей и величию — Ломоносова. Всем его стихотворениям предпочитаем два: „Освобождение Москвы“ и „Ермака“. Но инде и у него слишком много слов, а местами заметна французская высокопарность (см. «К Волге»)».[20]

Радуемся, что критик отдает полную и должную справедливость почтенному Нестору стихотворцев наших; но как, говоря о преемниках

чаки поговаривают иногда о Шекспире, грозятся прочесть его и охотно бранят Расина, ибо не в силах ему простить, что лет за 5, буде желали прослыть людьми с умом и со вкусом, буде желали участвовать в светских прениях о словесности, непременно должны были знать наизусть тирады две-три из его «Федры» или «Гофолии».

Ломоносова, забыл он Державина, первого русского лирика, гения, которого одного мы смело можем противопоставить лирическим поэтам всех времен и народов? Но мы сами забываем, что для г. критика первый наш лирик — кто бы тому поверил? — Богданович! что, может быть, он и не подозревает существования торжественных од Ломоносова, которые отдельными, рассеянными в них красотами не только взвешивают, но далеко превосходят известные критику оды поучительные; что он не только здесь, но вовсе не упомянул о Державине; не упомянул также о Пушкине, которого имя в 1825 году, кажется, могло бы, должно бы быть уже известным всякому судящему о русской словесности!

«В романсах и балладах русские стихотворцы редко возвышались над данными для оных правилами Сульцера[21] и над сочинениями в сем роде Шибелера[22] и других немецких писателей XVIII столетия. Доказательством сему могут послужить „Светлана" и „Двенадцать спящих дев" Жуковского. Переводчик говорит, что слог Жуковского смел, краток, мощен; но таковым, по крайней мере, нельзя назвать слог последнего произведения. Лучше — „Певец во стане русских воинов" и „Теон и Эсхин" его же: здесь встречаем немного более жизни и в способе изложения — некоторое сходство с балладами Шиллера, коего творения, как уверяет переводчик, Жуковский хорошо знает. Но самое благодетельное действие Шиллер и вообще немецкая словесность[23] оказали на младшем изо всех здесь исчисленных стихотворцев — кн. Вяземском, который, вопреки переводчику, отличается более чувством, нежели (как уверяет нас г. ф.-д.-Борг) остротою и умом проницательным. Стихи его „К друзьям" и еще более „К N. N. на смерть сына" подтверждают наше мнение» (выписка из последнего стихотворения).

Хотя здесь немецкий критик, по своему обыкновению, суждение свое основывает на двух небольших произведениях кн. Вяземского, однако же на сей раз мы довольно с ним согласны и скажем любезному нам поэту со всею откровенностию, к которой он с нашей стороны привык: и мы уверены, что ему более суждено действовать на сердце своих читателей излияниями собственного сердца, нежели щеголять перед ними ложным и нередко заимствованным остроумием!

В заключение критик желает, чтобы г. фон-дер-Борг сообщил немцам точные, *непоновленные* переводы наших старинных народных песен, «в которых» (будто бы) «говорится о богах древних славян, пиршествах Владимировых, витязях его времени, которые» (будто бы) «все дышат глубокою заунывностию».[24] Мы не знаем *песен* (ни даже сказок), в коих говорилось бы о богах славянских; также можем уверить г. критика и г. фон-дер-Борга, что не все наши старинные песни заунывны; но разделяем от всего сердца просьбу первого г. фон-дер-Боргу, человеку с истинным дарованием, просьбу передать своим соотечественникам лучшие наши песни и сказки народные, особенно же «Слово о плку Игореве»; присовокупляем только желание, чтобы при сем важном труде пользовался переводчик лучшими советами, нежели какими руководствовался доселе!

МИНУВШЕГО 1824 ГОДА ВОЕННЫЕ, УЧЕНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Январь

Второе появление «Полярной звезды»;[1] астрономические наблюдения над оною в «Вестнике Европы».[2] Отрывки из комедии князя Шаховского «Аристофан».[3] Явная война романтиков и классиков, равно образовавшихся в школе Карамзина. «Бахчисарайский фонтан» Пушкина; 1-е сражение при оном или разговор Издателя с Классиком. Книгопродавцы и публика берут сторону Пушкина: классики не смеют напасть на самую поэму.[4]

Февраль

Жуковский предает «Замок Смальгольм» на расхищение критики,[5] но критика упускает оный. Второе сражение при Бахчисарайском фонтане, или стихотворцы «Вестника Европы» не хотят быть прозаиками.[6]

Примечание. Главные предводители враждующих сторон.

1. Старшина классиков *Каченовский* — человек, пользующийся славою учености, колок, остер, язвителен, но не одарен ни способностью чувствовать и понимать прекрасное, ни охотою отдавать справедливость людям, превышающим его дарованиями.

2. *Мерзляков* — некогда довольно счастливый лирик, изрядный переводчик древних, знаток языков русского и славянского, приобретший имя сочинениями по части феории словесности, но отставший по крайней мере на 20 лет от общего хода ума человеческого и посему враг всех нововведений — выдерживает нападение кн. Одоевского и не отвечает на оное.[7]

3. *А. Измайлов* — также классик, простодушен, дюж, забавен, откровенен, не лишен веселости.

4. *Жуковский и Пушкин*, корифеи романтиков, — поэты, и поэты с истинным, не ежедневным дарованием. Слава Жуковского упадает приметно, Пушкина возрастает. Первый не вмешивается, второй почти не вмешивается в полемику.[8]

Avis aux poêtes! [a]

5. *Кн. Вяземский*, начальник передового войска романтиков, издатель «Бахчисарайского фонтана».

6. Классики ему противоставят М. Дмитриева и Писарева.[9]

Сражения в «Вестнике Европы» и «Дамском журнале» быстро следуют одно за другим. «Дамский журнал» получает некоторую заманчивость.

---

[a] Совет поэтам! (*франц.*).

«Литературные листки». Спор с князем Вяземским о преимуществе басен Крылова перед баснями И. И. Дмитриева.[10] Вооруженный неутралитет Булгарина в войне издателя «Бахчисарайского фонтана» с «Вестником Европы»: переход на сторону последнего.[11]

Преимущество кн. Вяземского перед классиками состоит в одной новой мысли, единственной в продолжение всех сих утомительных состязаний: «Некоторые древние поэты скорее бы признали великих романтиков своими товарищами, нежели наших мнимых классиков». Но он и его противники сбивают две совершенно разные школы — истинную романтику (Шекспира, Кальдерона, Ариоста) и недоговаривающую поэзию Байрона.

Верстовский. «Черная шаль». Нападки на нее «Вестника Европы»; к счастию, публика верит не всем вестям сего «Вестника».[12]

Март

«*Мнемозина*» 1 часть.

Кюхельбекер передается славянофилам.[13]

Строгая критика, которой подвергается гг. С., В. и Булгариным обвертка «Мнемозины».[14]

Медуусобия продолжаются.

Апрель

Жуковский издает третьим тиснением свои стихотворения: Шиллерова «Иоанна д'Арк». Первая романтическая трагедия в стихах на русском языке.[15]

Май

«Учитель и ученик», водевиль Писарева, или злоупотребление имени великого человека[16] (Шеллинга) в ничтожном произведении. Война за гг. Головиных, или переливка из пустого в порожнее.[17]

Июнь

Парнасские каникулы. Поэма Олина «Альтос».[18]

Июль

Вторая часть «Мнемозины». Совершенное поражение и приведение в безмолвие кн. Одоевским гг. В. и Воейкова. Афоризмы кн. Одоевского, или намерение самое благородное и высокое, но...![19]

«Элладий»[20] — повесть его же, или лица, могущие существовать в одном воображении молодого человека.

Пролог к «Аргивянам», трагедии с хорами — и первые военные действия Кюхельбекера[21] противу элегических стихотворцев и эпистоликов — впрочем, он отнюдь не соединяется с гг. классиками.

Август

Булгарин заставляет говорить «Мнемозину» нелепости,[22] о которых она и не думала, несмотря на то, он отчасти разделяет мнения оной.

Германо-россы и русские французы прекращают свои междуусобия, чтоб ‹не›[a] соединиться им противу славян, равно имеющих своих классиков и романтиков! Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым; Катенин, Г‹рибоедов›, Шаховской и Кюхельбекер — ко вторым.

Сентябрь

Война за герцогство Косельское[23] или Кассельское и за опечатки гг. Булгарина и Федорова. Благонамеренный — Чертополохов.[24]

Булгарин, бывший издатель «Варшавского свистка», настоящий — «Северного архива» и «Литературных листков», утонул с тем, чтобы через несколько сот лет у чукчей издавать журнал «Патриот».[25]

Нападательный и оборонительный союз Греча и тени Булгарина, или два издателя трех журналов, вследствие сего их скромность и благоразумие в отношении к своему калужскому поклоннику.[26]

Октябрь

Разговор гг. Булгарина и Кюхельбекера в 3 части «Мнемозины». «Благонамеренный», «Мнемозина» и «Дамский журнал» (последние два не прекращая своей войны за гг. Головиных) восстают на калужского поклонника.

Ноябрь

«Восточная лютня» младшего Шишкова — Пушкина подражателя.[27] Несчастное наводнение Петербурга и послания и оды *на сей случай* графа Хвостова.[28]

---

[a] В угловых скобках — вероятно, описка Кюхельбекера. — *Ред.*



ДОПОЛНЕНИЯ

РУССКИЙ ДЕКАМЕРОН 1831-го года

ВВЕДЕНИЕ

Наступала осень 1830 года. Москву белокаменную и в бывалое время посещали незваные, злые гости: татары и *черная смерть*, Литва и восточная чума, а еще недавно Наполеон с своими разноязычными полчищами. Ныне приближалась к ней новая страшная посетительница, о которой пишут и толкуют много, как всегда пишут и толкуют много обо всем, чего не знают. Эта странница родилась в Восточной Индии и, вероятно, от короткого обращения с англичанами, сими всемирными побродягами, заразилась страстию, коей одолжены мы письмами Русского Путешественника и творениями некоторых чувствительных его последователей:[1] ей вздумалось людей повидать и себя показать... «Заразилась? Да о ком же говоришь? Кажется, о холере? Как же она заразилась? Не сама ли она зараза?» — То-то и есть, любезный и почтенный мой читатель, — многие утверждают, что холера не зараза, а..., но надеюсь при другом удобном случае выказать во всем блеске свою медицинскую ученость, почерпнутую из отечественных газет и журналов; здесь же только замечу, что я, М...ского уездного училища младший учитель, издатель сих записок и сочинитель приложенного к ним историко-критического введения, Пахом сын Сидоров Барабаров,[а] в силу риторической фигуры, называемой просопопеею, олицетворил холеру, назвал ее странницей, заставил обра-

---

[а] *Замечание историческое.* Читатели, а паче читательницы спросят, может быть, каким образом я, Пахом Барабаров, мог учиниться издателем записок, составленных — как то усмотрят ниже — людьми, превышающими меня и породою, и богатством, и знатностию, и тем, что они называют образованностию?[б] Итак, вы-

[б] К историческому замечанию *замечание критическое.*

Но в сей последней, сиречь образованности, при всем своем смирении, уступить им я отнюдь не намерен, ибо: *образованность* имя существительное, равнозначительное имени же существительному *просвещение*, просвещение же — *учености*, а ученость — *знаниям*; но к знаниям — в чем всякий согласится — принадлежит знание и орфографии или правописания. Из самих же записок сих, мною ныне в свет издаваемых, я, издатель, уверился в весьма поверхностных сведениях сочинителей оных по части российского правописания, сей столь многосложной отрасли грамматики языка отечественного, так что промахи их в употреблении букв: е и ѣ, и знаков препинания мною же долженствовали быть выправлены (что и стоило мне немалых трудов и старания). Из сего всякий благомысля-

щаться с англичанами, а посему весьма был вправе приписать ей и другие свойства человеческие, из коих немаловажное — способность к восприятию заразительного миазма. Но стану продолжать без дальнейших отступлений. Итак, холера приближалась к Москве. Ужас овладел всеми. «Московский телеграф» опоздал выходом; московские барышни хотя и не опаздывали на балы, но ахали; московские остряки шутили — и трусили. Стали выезжать: сперва в подмосковные, а когда начали поговаривать о карантинах, об оцеплении, — и дальше. Русские всегда гостеприимны, особенно при общем несчастии. Вот почему и случилось, что несколько дам и кавалеров, которым уже нельзя было слететься на зиму в древней столице, очутились К... ской губернии М... ского уезда в деревне графини Ладовой, богатой и — сколько могу о том судить я, М... ского уездного училища младший учитель, — умной и любезной московской барыни.

В последних числах сентября
В деревне скучно! [2] —

нужденным себя нахожу признаться, что всесильный, исполненный проказ божок любви за несколько уже лет зажег мое ретивое нежной страстию к прекрасной, целомудренной, но — увы! — жестокой ключнице графини Ладовой и к прекрасным, целомудренным и не менее жестоким ее целковикам. Сию же, постоянно пребывавшую в К... ской вотчине ее сиятельства прекрасную ключницу узнал я, когда посетил в каникулы дом моего родителя, диакона села Дворцова, коего ктиторшею вышереченная графиня, а известие о целомудренных целковиках почерпнул из уст моей матери, видевшей самолично сундук, который, храня запас капотов, кофт, юбок и лучшего голландского холста, движимость, благообретенную предметом моего пламени, — хранил и сих затворников. Долго все усилия, дабы смягчить каменное сердце гордой Анны Потаповны, оставались тщетными: вздохи, взгляды, стихи, да и какие! даже подарки не могли преклонить ее; она с презреньем отвергала мои вздохи, взгляды, стихи и подарки; подобно... Но отложу на время уподобления; скажу, что наконец судьба надо мной сжалилась. Приехала графиня. Во время оно ее сиятельство не была охотницею сама поверять счеты, а предоставляла сие занятие управителю; но в нынешний приезд, с какого поводу — не знаю, быть может, от скуки, а вздумалось ей подвергнуть Анну Потаповну испытанию. И что же? прекрасная ключница оказалась весьма сильною в красноречии, в особенности по убеждающей, умоляющей и уверяющей части оного, в арифметике же несколько слабою. Следствием сего было увольнение: графиня приказала ей или, лучше сказать, присоветовала отыскать к новому году иное поприще для дарований своих. Между тем о рождестве я снова посетил родных своих — и уж Анна Потаповна была ко мне не суровою: на вздохи отвечала вздохами, на стихи — прозою, на подарки — благодарностию. Концом сего менового торга нежностей было обручение, а потом и свадьба. Свадьбу за день до отъезда графини обратно в Москву сыграли в доме ее; и тогда один из гостей ее сиятельства с согласия всех прочих и самой хозяйки, вспомнившей прежнюю службу Анны Потаповны, подарил мне вместо приданого рукопись, которую, исправив находившиеся в ней погрешности, представляю ныне на суд благосклонной публики. — I, decus, i, nostrum: melioribus utere fatis! ‹Иди, украшение наше: пользуйся лучшими судьбами! (*лат.*)›.

щий легко выведет заключение, что мои, Пахома Барабарова, знания, а следовательно ученость, а следовательно просвещение, а следовательно и образованность, превышают знания, ученость, просвещение, иначе образованность, вышепомянутых надменных, но суетных питомцев модного света.

сказал много читаемый ныне стихотворец, в сочинения коего заглядывал и я, хотя, к сердечному моему прискорбию, и не нашел в них того, чего от истинного пииты требуют ученые мужи Рижский и Никольский,[3] образцы мои и наставники. Впрочем, должно признаться, что стихотворец сей говорит иногда правду и даже правду горькую. По крайней мере в приведенной мною, хотя и не слишком витиевато изложенной, апофегме я совершенно согласен с ним. Повторю же:

В последних числах сентября
В деревне скучно!

А если сие справедливо, читатели, что скажем о последних числах октября, ноября, декабря? Но именно сии месяцы и даже часть января текущего ныне года графиня Ладова и гости ее принуждены были, ради свирепствовавшей в Москве холеры, провесть в деревне.

Сначала мужчины охотились; потом или охота надоела им, или стало жаль бедных дам, которых на целые дни покидали в сиротстве и одиночестве, словом, наши Невроды[4] чаще прежнего оставались дома. Карты? но вист и все вист... это хоть кого выведет из терпения! Танцевать под фортепьяно с своими только домашними считается — так я слышал в доме ее сиятельства — неприличным, de mauvais ton. (Пишу, справившись предварительно с словарем, а не выговариваю сего французского речения; да не вздумает же Зоил меня, учителя уездного училища, осмеять за употребление оного!). Знакомства у графини в соседстве не было; новых же она не хотела заводить по тысяче и одной причине, из коих ни одна не дошла до моего сведения. Что оставалось делать? Чем спастись от скуки, болезни хоть и менее убийственной, нежели холера, но всетаки тягостной? Чтением! Но при мысли о чтении, особенно в обществе, вслух, их воображению невольно представлялись Мольеровы ученые женщины[5] и какой-то Hôtel de Rambouillet,[6] который моим читателям, вероятно, известен более, чем мне. Итак, многим, правда, сие средство приходило на ум; но все как будто о нем и не слыхали, а назвать его никто не смел. Наконец сама графиня, уверенная в том, что ее права на светскость, любезность и знание общественных приличий не могут подвергнуться сомнению, предложила оное — и ее предложение было принято с восторгом, как всегда принимают с восторгом предложение любезной женщины.

Но что читать? Французских книг не было: графинина библиотека осталась в Москве. К счастию, у некоторых гостей нашлись кое-какие новости отечественной словесности. Выслушали «Полтаву», первые две книги с восхищением, а дамы со слезами; третию подвергли двум-трем легким замечаниям, но никто не стал оспаривать мнения графини, что эта поэма — лучшее творение Пушкина.[7] Прочли «Юрия Милославского»,[8] и даже самые упорные защитники Вальтера Скотта согласились, что роман Загоскина прелестен, что он прямо говорит сердцу русскому.

«Монастырка»[9] принесла всем истинное удовольствие, и жалели, что должны были ограничиться первой только частию.

Но вот в чем, если к тому прибавить еще несколько альманахов, и состоял весь запас книг наших московских изгнанников. В таком положении дел новых занятий приискать было трудно. Но случай, который творит на свете много худого и хорошего и на который подчас взводят то, в чем он вовсе не виноват, случай сжалился над бедным обществом, готовым прийти в отчаяние.

Юлия, дочь ее сиятельства, — любительница музыки; а один из бывших у них гостей — назовем его хоть Чинарским — прекрасно играет на фортепьяно и флейте. Одинакие склонности сблизили графиню Юлию и молодого Чинарского: они часто занимались вместе музыкою.

Однажды вечером хозяйка с прочими пила чай в гостиной, а Юлия и товарищ ее сидели в ближней комнате за фортепьяно. Полковник Саблев, двоюродный брат графини, положил на стол «Северную пчелу», только что полученную, и принялся было рассуждать о благом совете г. издателя лечиться от холеры чтением. «Хоть бы не от холеры,— прервала графиня полковника, — да от скуки! Но, боже мой, что прикажете читать, господин Булгарин? Ужели? . .». Но звонкий голос Юлии и слова: «Maman! Maman! ведь mr. Чинарский — поэт!» — обратили общее внимание. Молодая графиня вбежала с торжествующим видом, держала в правой руке небольшую тетрадь, а левой отделывалась от Чинарского, который упрашивал и, казалось, хотел удержать ее.

«Как! вы поэт? И таились от нас, Чинарский? от друзей своих! И вам не стыдно? не совестно?» — вот восклицания, которые раздались в гостиной из уст мужчин и женщин.

Молодой автор краснел, терялся, хотел что-то отвечать, заикнулся и, наконец, снова стал просить Юлию, чтоб возвратила тетрадь его.

Графиня мать. Julie, конечно, должна исполнить ваше желание, если вы непременно того требуете. Но позвольте узнать: каким образом попались ей в руки стихи ваши?

Саблев. А вот как: Чинарский питает особенную доверенность ко вкусу и скромности моей племянницы; поэзия — родная сестра музыки, — он с Julie делил свои музыкальные вдохновения, хотел поделиться и поэтическими; но шалунья не вытерпела и нам его выдала!

Чинарский. Позвольте мне, полковник, самому отвечать за себя. Графиня желала повторить сонату, которой мы здесь еще не играли; я вспомнил, что взял ее с собою; побежал в свою комнату, отыскал ее, но второпях забыл, что в нотах эта несчастная тетрадь; не успел развернуть. . .

Графиня. И она выпала? Подлинно, странный, самый странный случай! Послушайте, mon cher Чинарский: повторяю вам, если вы того требуете, дочь моя вам отдаст эту несчастную, как вы ее называете, тетрадь... Но думать вы позволите нам, как кому угодно. Скажу вам искренно: догадка полковника мне кажется довольно вероятною.

Чинарский. Клянусь...

Графиня. Не клянитесь! Смешно выказывать себя в свете автором: но здесь, в дружеском кругу, когда вас просят, жеманиться — во сто раз смешнее! Soyez bon enfant,[а] Чинарский: прочтите нам стихи свои!.. И вы все еще не решаетесь? Неблагодарный! чтоб наказать вас, Улинька должна бы согласиться на вашу просьбу и возвратить вам, что у вас похитила.

Саблев. (*с значительным взглядом на Чинарского*). Да, точно так! Ma nièce,[б] возвратите этому упрямому человеку, что вы у него похитили, а то он, неравно еще, заведет с вами тяжбу!

Чинарский. Графиня, не знаю, что вам отвечать. Во всяком случае, я в странном положении. Ни за что в свете я бы не желал казаться упрямым, а еще менее жеманным в глазах ваших, в глазах... я не поэт и никогда не осмелился думать быть поэтом: эту небольшую поэму — в наши дни все называют поэмою — я написал в Тифлисе от праздности, для развлечения, когда лечился от раны. Так и быть — если вам угодно... Но, графиня, боюсь надоесть — и тогда грех на вашей душе и на вашей, прекрасная Юлия!

Юлия. Не знаю, как maman, а я охотно беру этот грех на себя: вы, верно, нас избавите от всякой ответственности, верно, никому не надоедите.

Графиня. Я в этом готова биться об заклад. Но чтоб одобрить вас, выслушайте *мое* признание. Я женщина и, к стыду моему скажу, выучилась порядочно по-русски уже по замужестве; и — прошу не смеяться, и я пишу, и пишу по-русски!

При этом слове: *пишу*, удивление было всеобщее; Саблев уже готовился вооружиться насмешкою на сестрицу-писательницу и на всех женщин-авторов; но графиня твердым, спокойным взглядом посмотрела на него, Саблев только улыбнулся, а не сказал ни слова. Она продолжала: «Так, любезный Чинарский, дайте руку: Anche io pittore![в] [10] У нас женщины-писательницы смешны не потому, что писательницы, а потому, что смешны.[г] Не то во Франции, Германии, Англии. Признаюсь, впрочем, в своей слабости: пока у нас не будет писательниц хороших и не только хороших, а таких, которые в то же время были бы и любезными светскими женщинами, я бы не желала прослыть автором. Но мы здесь

[а] Будьте хорошим мальчиком (*франц.*).
[б] Племянница (*франц.*).
[в] И я художник! (*итал.*).
[г] NB. Действие происходит шесть лет тому назад.

отшельники: для нас некоторым образом пустые, условные приличия не существуют; а в скромности каждого из вас — не так ли? — могу быть уверена?».

Все стали уверять графиню, что свято сохранят тайну ее; но она их прервала: «Не сомневаюсь, друзья, в слове вашем: так и ростовщик не сомневается в слове того, кто приходит занимать у него, а все-таки дает деньги не иначе, как под залог. Вот почему и я, не то чтобы не верила вам, а так, чтоб не вводить вас в искушение, желала бы взять с каждого из вас по залогу: признание за признание! Кроме Чинарского и меня, нет ли между нами еще авторов? Вы, например, братец?». — «Я!», — отвечал Саблев голосом, в котором силился выразить величайшее изумление, между тем как легкий румянец пробежал по лицу его.

Графиня. А! насмешник! поймали вас! не отнекивайтесь!

Саблев. Послушайте, ma cousine! Если принудите меня сознаться в каких-нибудь прегрешениях, вам же хуже! И без того здесь, в селе Дворцове, дом ваш стал очень похож на дом покойной С. Д. П...ой;[11] чего недостает вам? у нас были настоящие литературные вечера: чтение, критика, споры, даже партии, по крайней мере до сих пор бог был не без милости, мы восхищались только чужим, бранили чужое, разбирали чужое; а вот дошла очередь и до своего!

Но, пользуясь половинным признанием, дамы напали общими силами на полковника, сбили его, заняли все укрепления и принудили сдаться военнопленным, т. е. заставили проговориться, что и он, самый строгий и взыскательный судия стихов и прозы других, писатель — и, что всего хуже, еще стихотворец. Искренность родила искренность, исповедь — исповедь: итогом же всех их было, что из пяти мужчин и пяти женщин и девушек, съехавшихся в селе Дворцове, пять мужчин оказались писателями, а пять женщин авторами, по крайней мере переводчицами.

«Событие едва ли вероятное, особенно у нас в России!» — воскликнул я, издатель записок сих. Но все ли то истинно, что вероятно? и все ли то вероятно, что истинно? По крайней мере здесь приведенная мною невероятная истина не подлежит никакому спору: ибо рукопись, явное доказательство неподложности оной, — в руках моих, а оттиски с нее, надеюсь, вскоре будут продаваться в лавках и Сленина, и Смирдина, и Глазунова, и Заикина. Но возвратимся к рассказу нашему.

За всеми разговорами и признаниями графини и ее собеседников стало поздно: приняться за стихи Чинарского уже было некогда. Решились отложить их до другого вечера, а между тем положили непременным законом, чтоб каждый и каждая прочли что-нибудь из трудов своих; единственным правилом при выборе поставили, чтоб то было или в повествовательном или драматическом роде. Сверх того, на Чинарского единогласно возложили должность секретаря и журналиста заседаний сего нового литературного общества: ему поручили труд вытребовать у каждой и каждого список с читанного сочинения и присовокупить к тому все

любопытное из оговорок и примечаний автора и вопросов и возражений слушателей.

Так-то судьбе угодно было, чтоб в конце 1830 года, во время свирепствовавшей в России болезни, называемой Cholera morbus, К. . .ской губернии М. . .ского уезда в селе Дворцове составилось общество, подобное тому, которое за 500 лет назад, по свидетельству знаменитого Бокаччио, когда чума опустошала Италию, существовало близ города Неаполя. Первому и чуме Италия обязана славным во всей Европе «Декамероном»; второму и холере Россия — сею книжицею, которую я, издатель, дерзаю назвать «Российским или Русским Декамероном», сиречь Десятиглавом, не ради того, что равняю себя с известным в целом мире, божественным Бокаччио (il divino Bocaccio), издателем италиянского «Декамерона», но единственно ради того, что и в сем моем «Русском Декамероне» десять глав.

Глава I

На другой день после обеда друзья собрались в гостиной довольно еще рано; но Чинарского еще не было. «Наш поэт, верно, хочет возбудить нетерпение своих слушателей», — сказал Саблев, набивая трубку, которую он, ближний родственник графини и человек уже не молодой, курил иногда и при дамах. «Бьюсь об заклад, — отвечала Юлия, — что Чинарский теперь в своей комнате, в уединении преподает самому себе уроки декламации: ведь необходимо же ему хоть хорошим чтением подкупить ваше беспристрастие!».

Саблев. Подкупить мое беспристрастие? Фраза всем фразам венец! Да вы не то хотели сказать, Юлия! разве озадачить, поставить в тупик, пристыдить мою насмешливость? Но здесь поневоле замолчит и моя насмешливость, на которую так нападаете: и мне предстоит судьба Чинарского! и я в свою очередь предстану на суд дворцовского ареопага! А что до подкупов, так знаю в этом ареопаге лицо, которого другу моему Чинарскому не подкупить, хотя бы читал лучше и Катенина, и Гнедича.[12]

Юлия. Это лицо, без сомнения, вы сами?

Саблев. Без сомнения, не я. (*вполголоса*) А подкупить его нельзя затем, что давно уж подкуплено — и не чтением.

К счастию Юлии, тогда был тот час, который польки называют szara godzina, прелестный час, в который целуются день и ночь, в который и внука Ванды не всегда отказывает молодому гостю в скромном поцелуе, — или, говоря прозою: к счастию Юлии, тогда были сумерки, а свечек еще не подали, иначе несносный дядя увидел бы, как она вся вспыхнула, и ей от него не скоро бы отделаться. — Вошел Чинарский.

Графиня. Где были, Лев Петрович? Братец и Юлия воюют, а яблоко их раздора вы. Что делали? утверждают, будто вы, между тем как вас ждали, на досуге готовились к чтению, повторяли, декламировали?

Чинарский. Виноват, графиня: я не повторял, не декламировал, впрочем, точно готовился...

Саблев. То есть ты к стихам своим сочинял предисловие?

Чинарский. Не сочинял и не брал даже пера в руки, а придумывал что-то в самом деле похожее на предисловие.

Саблев. Вот вам и подкупы!

Графиня. Как? Предисловие?

Чинарский. Позвольте мне объясниться... Предмет моего рассказа из персидской истории, происшествие персидское, нравы также, самому слогу я старался придать нечто восточное, персидское; а Персия...

Графиня. Мало нам известна? И вы хотите предварительно нас несколько познакомить с персиянами?

Чинарский. С моей стороны, конечно, было бы непростительно, если бы я думал, что...

Холмов (*приятель Чинарского*). Оставь по крайне мере свое предисловие без предисловия. Графиня и все мы выслушаем тебя с удовольствием; ты должен знать Персию лучше нас.

Саблев. И мудрено ли? счастливец сражался под знаменами Эриванского![13] Признаюсь, друг, я часто тебе завидовал; и если бы не эти седые волоса да французская пуля, которая под Парижем... Но бог с ними, с Парижем, и с французами, и с их пулями! Что скажешь нам о Персии?

Чинарский. Мало, полковник: я и сам едва успел заглянуть в Персию. А что скажу, то, вероятно, вам из книг столько же и, мóжет быть, лучше моего известно. Но всякому свое дорого, и, чтоб моя повесть не показалась иногда темною, я бы желал освежить, оживить в вашей памяти, что знаете о Персии, особенно о древней Персии.

Кн. Радомский. Позвольте же вас спросить: какого периода персидской истории происшествие, которое вы обработали?

Чинарский. Догадываюсь, что оно сбылось в первые года царствования Дария Истаспа. Впрочем, большею частию я следовал источникам не греческим[14] и посему и Дарию и Персии возвратил их настоящие, народные имена: первый у меня везде Дара, сын Густаспов, вторую почти везде называю Ираном.

Юлия. Чинарский, вы не рассердитесь; но — не знаю, как выразиться — заменять имена всем известные такими, которых не все знают...

Чинарский. Похоже на педантство? И было бы истинным педантством, если бы эти имена стояли одни, если бы не были, так сказать, в союзе с нравами, преданиями, картинами, слогом, неразлучными с ними, в товариществе с местностию и повериями, которые только при них представляются воображению. Но когда называю Иран царством света, как называет его иранец Фирдоуси,[15] противуставляя свое отечество царству мрака, Турану, нынешнему Туркестану, когда упоминаю о Рустме, Зале, Феридуне, героях, славных в одних иранских сказаниях; когда употребляю везде, сколько был в силах, краски поэтов восточных:

могу ли я присвоить имена ненародные тому царю, той земле, о которых рассказываю?

Холмов. Ты, кажется, сказал, что греков вовсе оставил без внимания. В этом я с тобою довольно согласен: они, как в наше время французы, все относили к себе, перековывали на свой лад, везде хотели видеть свое и одно свое. Говорят, что для парижан на милю от ворот парижских начинается Камчатка, а при всем этом они и о камчадалах не перестают судить по законам парижского вкуса, парижских предрассудков и прихотей парижских. Афиняне, которые на них во многом похожи, и в этом отношении могут назваться парижанами древних.

Кн. Радомский. Вы слишком строги, Холмов, и к грекам и к французам. Ныне французы не то, что были лет 50 тому назад; они ныне очень уважают чужую народность: словесность не только всех их соседей, но и племен азиятских самых отдаленных возбудила живое внимание не одних французских ученых, а почти всех и каждого читающего француза. И к грекам будемте справедливы: Геродоту, например, которого недавно еще считали выдумщиком, почти сказочником, новейшие исследователи возвратили все права его на общую доверенность — ныне доказано, что известия свои он брал прямо из уст народов, по коим странствовал, и передавал их без всякой примеси, без всякого умничанья, а потому-то именно они иногда и кажутся слишком поэтическими.

Чинарский. Князь, я совершенно вашего мнения. Холмов ошибается, когда полагает, что я ничем не заимствовался у греков. В самом начале моей поэмы Солнцу, или Митре, главнейшему божеству персов, по мнению греков, курится фимиям на алтарях Ирана. Впрочем, это не значит, чтоб я приписывал персам многобожие; знаю, что они всегда и во всех веках признавали одно Верховное Существо; но Солнце и Огонь действительно для них были главнейшими символами его всемогущества и благости.

Графиня. Как, Чинарский? Персы всегда признавали одно Верховное Существо? А что же их дуализм? Их Ормузд и Ариман, начало добра и начало зла, враждующие между собою?

Чинарский. Ормузд и Ариман, графиня, по персидской демонологии были первые, высшие два Эона изо всех сотворенных создателем, цари всех прочих духов и ангелов, но подчинены Вечному. Ариману, их Черно-богу, надлежало в конце веков пасть перед их Бел-богом, Ормуздом, и тогда сам Ормузд скипетр над вселенною возвращал всевышнему, которого был временным только наместником... Но, с вашего позволения, замечу еще нечто, что я заимствовал у Геродота и что, если только смею судить о собственном произведении, по своему истинно восточному характеру совершенно сливается с тем, что я взял из настоящих азийских сказаний: это рождение Кира.

Кн. Радомский. Кира? О нем, как уверяют, не говорит ни один азиятский писатель. Если вам нужно было коснуться основания Иранского государства, как не вспомнили вы о Джемшиде, которого Фирдоусй так великолепно изображает в своей первой книге Царств?

Саблев. Учение свет, а неучение тьма! Полагал ли я, что на сорок пятом году придется мне переучивать то, чему выучился на десятом? Итак, на поверку великий Кир, завоеватель Азии, пример, образец, зерцало всех царей, герой Ксенофонтовой «Киропеиды...» [16]

Графиня. Никогда не существовал! Признаюсь, князь, и мне как-то жаль считать Кира лицом выдуманным.

Чинарский. Князь не говорит, что Кир не существовал, а только что не был основателем Иранской империи — и это, кажется, не подлежит сомнению, сами греки гораздо прежде Кира упоминают о царях мидийских. Что же мидяне, если не иранцы? В Книге Бытия упоминается об эламитах и царе Эламском, или Иранском, современных уже Аврааму. И в том князь прав, что азиятские, по крайней мере персидские, историки нигде не говорят о Кире: самое слово *Кир* не есть персидское.

Графиня. Да, позвольте, господа ученые! Что же по-вашему Кир? Был ли он когда или не был? И как вы, Чинарский, поместили его в свою поэму?

Чинарский. По моему мнению, графиня, если только мое мнение что значит...

Графиня. Прошу вас, без оговорок!

Чинарский. По моему мнению, Кир был парс, горец, полудикий князь Фарсистана, небольшой области, подвластной падишаху иранскому; впрочем, по матери внук царя Дары I-го, или Астияга, как называют его греки: он сверг с престола деда своего, а своими завоеваниями ужаснул греков, которые в его время узнали в первый раз все могущество Ирана и назвали сию страшную империю Персиею, или Фарсистаном, потому что Кир по азиятскому обыкновению имя своей родины дал всей громаде земель, ему подручных. Эллины, затвердив слово *Персия*, продолжали называть так весь Иран; но в самом Иране оно не сохранилось. Камбиз, сын Кира, был последний парс, сидевший на престоле Джемшида. Его преемником был иранский маг, выбранный, вероятно, магами же, которые столь много значили при царях первого поколения. Сначала, правда, употребили хитрость — и маги, чтоб не раздражить парсов, своего собрата возвели на престол под именем Смердиса, младшего сына Кирова. Но по смерти сего самозванца мидянин Дара, сын Густаспов, взложил на себя тиару, нимало уже не опасаясь малочисленных парсов, которые между тем средь роскоши Сузы и Экватаны утратили прежнее свое дикое мужество. С того времени самое название *Персия*, напоминавшее иранцам их постыдное покорение, пришло в забвение. И мудрено ли после того, что их летописцы не упоминают о ненавистном для них иноплеменном похитителе, летописцы народа столь надменного, дошедшие притом до нас только в позднейших отголосках, в одной почти «Ша-Наме»?

Юлия. Что это — «Ша-Наме»?

Чинарский. Книга Царств, поэма Фирдоуси́, персидского Гомера, в которой он повествует деяния баснословных царей иранских... Возрождение Ирана и его имени, графиня, представляет вам и позднейшая история сей страны и еще в огромнейших очерках: вспомните Шапура Вели-

кого;[17] не исчезает ли при нем имя парфян и весь быт, все обыкновения, принятые ими от греков, все чужое, привитое Ирану Александром и его преемниками? По крайней мере македонского завоевателя не забыли еще в Азии: Искандер-Ша не менее славен на востоке, нежели на западе. Что же до Кира, он в европейских писаниях называется не Киром, а Хозроем.

Саблев. Спасибо, брат Чинарский, за объяснение: теперь и овцы целы и волки сыты. Да как же, друг, вклеил ты Кира в поэму свою? У тебя, кажется, дело-то сбывается при Дарии?

Чинарский. Это, полковник, если только возьмете терпение, вы увидите из самой поэмы. В ней же я коснулся еще события, которое у меня совершает Дара, сын Густаспов, а многие приписывают Даре I-му — покорение Вавилона. Но у меня Вальтасар только взбунтовавшийся голдовник[18] царей мидийских: таким образом, не противоречу мнению и тех, которые верят, что Вавилон был завоеван иранцами еще прежде Дары II-го.

Графиня. Все это прекрасно; но, признаюсь, мне было бы гораздо приятнее, если бы вместо всех этих Дар и Густаспов вы нам сказали слова два о Пери, о Дивах, о любви Розы и Соловья, о волшебной природе востока, которую так прелестно изображает Мур в «Лалла-Руке».[19]

Чинарский. Надобно быть Муром, чтобы создать нечто, похожее на его *Свет Харема* и *Огнечтителей*. Но кто же, говоря о Востоке, совершенно упустит из виду любовь Розы и Соловья, о которой твердят тысячи газелл поэтов иранских?[20]

Графиня. За это вам спасибо: я было немного испугалась вашей учености; но теперь надеюсь, что будет кое-что и для нас, дочерей Эвиных. По крайней мере хоть воображением залетим в сады Тузские[21] и вберем в себя благоухание розы Кашемира,[22] прекраснейшей изо всех цветов земных!

Чинарский. Не забыл я и ложной зари,[23] которую описывает Мур.

Графиня. Да! заря, что у них показывается за час до рассвета, исчезает и снова уступает ночи...

Юлия. А Дивы, Чинарский! А Пери?

Чинарский смешался.

Саблев. Он, племянница, тогда не знал еще ни вас, ни меня: иначе — я уверен — у него бы явился старый Див, вышедший в отставку за ранами, и воевал с прекрасною Пери!

Юлия. You, naughty uncle! [a]

Кн. Радомский. Вы, однако ж, пользовались восточною мифологиею?

Чинарский. Сколько пришлось мне кстати. Так я упомянул о семи великих ангелах, которые стоят перед престолом Ормуздовым и которых подобием были семь великих сатрапов, известных и грекам под названием глаз

[a] Вы шалун, дядюшка! (*англ.*).

и ушей великого царя. Сказал я слова два и об Исфраиле, ангеле песней, восточном Аполлоне. Встретите еще Зердужта, или Зороастра, законодателя Персии: он, правда, лицо не баснословное. А Солимана, или Соломона, оставил я повелителем духов и гениев, каким считают его азиятцы. Сверх того, найдете известную главу Магометова Курана, запрещающую правоверным изображать человека.[24]

Графиня. Помню ее из своего французского перевода: кумиры и образы в день судный потребуют у своих творцов души, которой они не могли дать им... Не так ли? Да как же вы перенесли эту суру во время Дария?

Саблев. Ma cousine, это ничего: это небольшой salto mortale, позволительный иногда нашей братье — puisqu'il faut que j'en sois[a] — поэтам, особенно молодым! и — особенно с тех пор, как господа немцы и англичане нас с ума свели!

Чинарский. У меня, полковник, надеюсь, вы тут не найдете никакого salto mortale: сура в устах рассказчика, магометанина, персиянина нашего времени.

Графиня. Понимаю.

Чинарский. Точно то же скажу о жемчужине царя Цейлонского,[25] с которою мой рассказчик сравнивает красноречие одного из действующих лиц и за которую какой-то халиф предлагал целую область ея владетелю...

Графиня. А тот отвечал, что не возьмет за нее и всех царств земных? жемчужина старая знакомая; ее я как-то видела у Мура.

Чинарский. Графиня, чувствую всю слабость моего произведения и сознаюсь во всех своих похищениях... Но я наперед говорил вам, что я не поэт. Быть может, в стихах моих Восток напомнит вам одни слова, одни названия, и графиня Юлия, быть может, совершенно права: я был педантом, когда переименовал Дария — в Дары, реку Инд назвал Синдом, царя падишахом, а еще бо́льшим педантом, когда скучал вам моими оправданиями и объяснениями.

Графиня. И вы умеете сердиться, Чинарский! я этого от вас не ожидала. Вот, Julie, ты виновата: если Лев Петрович не прочтет нам своей поэмы, мы обвиним тебя, одну тебя.

Юлия. Не я, maman: вы, князь, mr. Холмов, дядюшка виноваты гораздо более меня; вы все втрое более моего требовали и спрашивали от нашего поэта. Но, Лев Петрович, вы не захотите наказать нас, княжну Лидию, сестрицу, баронессу, барона и меня за вину маменьки и этих господ критиков; вы не лишите нас удовольствия.

Саблев. Если ты, брат Чинарский, после столь убедительной просьбы не забудешь всего, не раскроешь тотчас своей тетради, не начнешь теперь же читать, я, твой друг Саблев, подумаю, что и ты в день судный, подобно портретам и статуям господ мусульман, напрасно будешь искать души своей.

---

[a] раз уж я к ней принадлежу (*франц.*).

Чинарский. И вы будете нравы, полковник. Но я не думал отказываться. Графиня, прикажете ли?

Графиня. Прошу вас.

Чинарский начал.

ЗОРОВАВЕЛЬ[26]

Часть 1

Над войском русского царя
В стенах Табриза покоренных
Бледнеет поздняя заря;
На минаретах позлащенных. . .[27]

Тут подали чай. Чинарский положил тетрадь и встал со стула; к нему подошел барон Освальд, который во весь вечер мало вмешивался в общий разговор, но с которым нам пора познакомиться. Освальд лифляндец, но воспитывался в Петербурге; женат на русской и равно хорошо знает оба языка, немецкий и русский. Словесность Германии ему совершенно знакома, но он любит словесность и нашего отечества, а слово русское считает богатейшим и прекраснейшим во всей Европе. Литературы обоих народов не сравнивает, ибо еще и поныне это значило бы сравнивать зрелого мужа с мальчиком; впрочем, удивляясь многому, что произвел муж, он ожидает многого и от мальчика.

Более ста лет прошло, как принадлежит России древняя Ливония, и наконец потомки тевтонских рыцарей стали, кажется, сближаться с своими соотечественниками славянского племени. Ныне уже и в списке наших писателей кое-где мелькают имена их, а некоторые подают надежду, что, может быть, будут достойными преемниками Фон-Визина, Хемницера и незабвенного Дельвига. Освальд также пишет, но до вечера исповедей графини и гостей ее об этом знала одна баронесса.

«Вы, любезный друг, — сказал он Чинарскому, — в своей поэме, сколько вижу, предприняли что-то похожее на то, чего Гете хотел в своем Диване;[28] и у вас было намерение слить в ней поэзии восточную и западную».

Чинарский. Быть может, барон. Но если подумаю, как мало это удалось даже великому Гете, несмотря на многое прелестное, многое превосходное в его Диване, как везде виден шов, которым у него Запад приделан к Востоку или Восток к Западу, как редко ему случается быть истинным Гафизом, истинным мусульманским книжником, и как везде

почти фрак выглядывает из-под его иранского кафтана; если подумаю обо всем этом, как могу еще надеяться, что приблизился к своей цели?

Освальд. Насмешки, шутки, веселость различных народов до бесконечности различны между собою и слишком тесно связаны с бытом каждого в особенности, чтоб могли вполне быть постигнуты другим народом, а еще менее совершенно им присвоены и без противуречия соединены с его шутками, его веселостью, его остротами. Но вот чего именно искал Гете и чего достигнуть и его гений не был в состоянии. Вам скажу в утешение, что, по моему мнению, добраться до цели по дороге, которую вы выбрали, нелегко, однако же по крайней мере возможно. Парение однообразное; то, что называют высоким, у всех народов одно: а поэма ваша...

Саблев (*подходя к ним*). Спасибо вам, барон, что ободряете нашего молодого персиянина! Да и хорошо делаете! прошу не нападать на него: у него ревностные защитницы. Сначала и я собрался было предложить ему некоторые скромные вопросы и сомнения; но ваша супруга, княжна, мои племянницы грозят отплатить мне грешному за все прежние, не только мои, — но и свои, и графинины, и Радомского, и Холмова...

Чинарский. Поверьте, полковник, с благодарностью приму всякое замечание!..

Саблев. Это, братец, всегда говорится; но поверь я тебе, заметь я в самом деле что-нибудь, — знаю вашу отповедь: «Во всем другом охотно с вами соглашусь, но в этом уж позвольте с вами поспорить — и прочее». Однако ж скажи: истинный мусульманин, истинный правоверный читатель Магомета, говоря о нем, неужто бы сказал: «Пророк, противник влаги лозной?».[29]

Чинарский хотел что-то отвечать, но дамы его позвали; он сел; допил чашку — и стал читать:

Часть 2

Так говорил в кругу друзей
Рассказчик, старец беловласый...[30]

Графиня. Друг, Чинарский, не знаю, право, благодарить ли вас от имени всех женщин за все, что заставляете говорить своего юношу о нашем могуществе, или пенять на вас?

Чинарский. Не я, графиня, заставил его говорить то, что вы слышали: речь его, как и всю повесть, взял я из 3 и 4 главы Второй книги Ездры. Итак, не заслуживаю ни благодарности, ни гнева вашего.

Кн. Радомский. Точно так: помню эти две главы, превосходные по своей простоте, по своей истине. Но, если только не ошибаюсь, вы кое-где добавили и свое: а именно в слове о женщинах.

Чинарский. Распространяться, объяснять мысли еврейского писатели я местами позволял себе; но нигде, сколько помню, не отступал от них.

Саблев. Однако же согласись, что на Востоке, где женщины заперты, где они невольницы, едва ли они могут быть раздавательницами доброй и дурной славы. Иное дело, если бы тут толковали о *наших* женщинах или о женщинах времен рыцарских; но одалиски азиятских харемов едва ли знают о том, что делается в свете, едва ли в состоянии сказать: храбр ли кто или трус, подл ли или благороден?

Чинарский. Замечу, полковник, что женщины в Азии вовсе не такие невольницы, как обыкновенно у нас думают. Кроме того, и тут я основывался на словах же Ездры: «тыя», т. е. женщины, пишет он, «творят славу человеком».

Холмов. Да слава не значит ли здесь иное что? Особенно непосредственно после стиха: «творят ризы?». Слава на славянском нередко то же, что блеск, великолепие, праздничная одежда. Еще скажи мне: как решился ты вложить в уста Дария мысль, что ангел Исфраил оживил перси Гомера? Ужели перс, чтитель единого бога, захотел бы так отозваться о поэте, решительном многобожнике?

Чинарский. Твое возражение довольно справедливо... Но если уж оправдываться, напомню тебе, что при халифе Гаруне Аль-Рашиде и его преемниках аравитяне, коих монофеизм еще был строже персидского, читали и любили писателей греческих, языческих. Впрочем, у меня сначала стоял было Орфей вместо Гомера.

Холмов. И напрасно не удержал его: и Орфей проповедует веру в единого бога; к тому же самый слог его должен был нравиться иранцам более Гомерова, он ближе к их собственному слогу.

Освальд. Сходство это объясняется тем, что гимны, которые приписывают Орфею, произведения позднейшие и, вероятно, принадлежат какому-нибудь стихотворцу александрийской школы. Сверх того, басни греков об Орфее, кажется, еще менее пришлись бы по вкусу персов, чем Гомеровы вымыслы. Наконец, Орфей был фракиец, а у Чинарского Дарий говорит с ионянином; итак, естественно, что называет ему Гомера, который также был ионянин.

Саблев. Но...

Графиня. Но отложите ваше возражение до другого времени; позвольте нам дослушать, чем поэма кончится.

Чинарский продолжал.

Часть 3

Своим устам седой вещатель
В то время краткий отдых дал;
Все было тихо, мир молчал...[31]

Кончил и Чинарский; последовало молчание. Наконец Радомский сказал: «Судить о сочинении тотчас после первого чтения почти невозможно; с ним надобно сперва ознакомиться, освоиться, рассматривать его не

в одном расположении духа... Итак, скажу вам только, что мне понравилась ваша попытка возобновлять и приспособлять к нынешнему слогу чистые славянские речения и обороты».

Чинарский. Благодарю вас, князь; но боюсь и за себя и за вас, сомневаюсь, чтоб в Петербурге или Москве нашли мы многих, которые бы были с нами в этом согласны. Если подумать, как, например, забыт и заброшен Шихматов, поэт таких дарований, каких у нас, право, мало; если подумать, что его не читают именно потому же...

Кн. Радомский. По крайней мере ныне уж и не слыхать глупых насмешек, которыми, бывало, осыпали имя его. С дня на день, кажется, слабеет школа, хлопотавшая о том, чтоб из нашего могущественного языка извлечь небольшой, чопорный словарёк для избранных:[32] Пушкин, лучший наш поэт, решительно от нее отстал в «Полтаве», а как я слыхал от читавших «Бориса Годунова» в рукописи, в этом последнем своем творении решительно пристал к стороне ее противников.

Графиня. Всего более в вашей поэме я полюбила старика-рассказчика. Встречаются ли в Азии похожие на него и в самом деле?

Чинарский. На Востоке сказочники то же, что у итальянцев импровизаторы, а у древних греков рапсоды; у них иногда довольно обширные сведения: мне самому случилось раз в Ганже слышать старика татарина, который в кругу земляков рассказывал похождения Рустма, сына Зала, со всеми подробностями, с какими «Ша-Наме» повествует о них.

Освальд. Последние стихи, в которых вы говорите о *своем* рассказчике, напомнили мне Шекспира, а именно то место в «Троиле и Крессиде», где Гектор в гостях у греков приветствует Нестора.

Чинарский. Let me embrace thee, good old chronicle,
That hast so long walk'd hand in hand with time![a][33]

Вы слишком снисходительны, барон, что не хотите меня прямо обличить в похищении; но считаю долгом...

Графиня. А я считаю долгом пригласить вас в столовую: мы люди деревенские и, кажется, ужинаем вопреки тому, что в Москве не мода ужинать.

---

[a] Дай мне себя обнять, добрая, старая летопись, ты, что так уже давно ходишь рука с рукою с временем

‹пер. В. Кюхельбекера›.

ПОСЛЕДНИЙ КОЛОННА

РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ
1832 и 1843 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ
ОДОЕВСКОМУ

Часть первая

ПИСЬМО 1

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Ницца в конце января 183. года.

Итак, я в Италии, любезный Владимир... и какой-то насмешливый демон меня так и тянет в описательную поэзию, которую так любишь, так и жужжат мне в уши восклицания, которые так жалуешь!

Но успокойся: до поры до времени обойдется без возгласов и восклицаний. Я даже не сообщу тебе за новость Филикаевых стихов:

Italia! Italia! o tu, cui feo sorte; etc...[a] [1] —

раз, потому что их можешь прочесть в любом сборнике, а во-вторых, потому что я в Италии и не в Италии. Здесь, в Ницце, пожалуй, проживешь сто лет — и ни однажды не почувствуешь нужды в итальянском языке: здесь англичане, французы, русские, немцы — выходцы изо всех стран Европы, только итальянцев почти не видишь; в околотке крестьяне говорят по-провансальски, горожане все знают по-французски, и чуть ли не лучше, чем по-итальянски. «А темно-голубое небо? А рощи агрумиев? [2] etc. etc. etc.?». Мы с тобой видели в Крыму, в Адрианополе, в Грузии небо ничуть не хуже итальянского, а гранатовые рощи, сто верст южнее Тифлиса, стоят здешних лимоновых и померанцевых. Все же скажу откровенно: и мое сердце бьется сильнее при мысли, что я в Италии. Но оставим писать: об Италии, о которой столько писано, без общих мест — невозможно; общие же места для меня почти страшнее турецких пуль, по милости которых живу в Ницце и лечусь. Эту последнюю фразу отошли прямо в какую угодно повесть вашего модного писателя — Марлинского.

---

[a] Италия! Италия! О ты, чья судьба так жестока (*итал.*).

Ты, впрочем, небольшой охотник ни до фраз, ни до модных писателей. Скажу же тебе просто, что мое здоровье поправляется. Головная рана совсем уж закрылась; однако ношу еще повязку: врачи велят мне остерегаться простуды, чтобы не приобресть такого ревматизма, с которым едва когда и расстанусь. Верю им; но более ревматизма пугает меня чрезвычайная раздражительность нервов: она во мне противится всем усилиям искусства и даже рассудка... (рассудок, по-моему, в этой болезни гораздо действительнее всех возможных врачебных пособий). Особенно смутила меня одна чудная встреча... Только ради дружбы, не показывай никому этого письма: было бы досадно, если бы кто подслушал, как ротмистр Пронский рассказывает сны другу своему — Горичу. Дело вот в чем: на днях заснул я, прочитав сорок первых страниц Шиллерова «Духовидца».[3] Мне мечталось, будто в прекрасный летний вечер прохаживаюсь с моей Надинькой в роще близ нашей деревенской церкви. Мы говорили о тебе: она желала, чтобы ты, брат ее по крови, мой — по сердцу, приехал к нам к счастливейшему дню нашей жизни — к нашей свадьбе. Вдруг проливной дождь: церковь, сдается, отперта; мы к ней, но церковь будто убегает; она в двух шагах от нас, она перед нами, да добраться до нее никак не можем. И вот дождь все сильнее и сильнее; гром, молния — удар за ударом, блеск за блеском; мы промокли, продрогли, устали. Смотрим — и перед нами молодой человек, закутанный в альмавиву, росту небольшого, бледный, а красавец и с такими черными, пламенными глазами, каких мне мало случалось видеть. «До церкви далеко», — говорит он нам, — и в самом деле церковь чуть-чуть видится. Потом мне показалось, что мы все-таки были в церкви, но вдруг опять очутились с тем же молодым человеком под открытым небом и дрожали от холода. Тут он нам сказал: «Вот мой плащ: в нем, небось, согреетесь!». Я набросил плащ на Надиньку: вдруг светло-серый плащ превращается в дым, малиновая подкладка в багровый пламень, — и Надинька в огне... Проснувшись, я почувствовал, что меня бьет лихорадка. Далее: третьего дня я засиделся в кофейном дому на Piazza di Vittorio. Вдруг, запыхавшись, вбегает мой la jeunesse[а] и докладывает: «Quelqu un a apporté une lettre pour monsieur».[б] Хочу выйти, но на улице льет как из ведра, а второпях мой француз забыл принесть мне шинель или зонтик. Посылаю за ними: что же? Ко мне подходит молодой человек, которого я до тех пор не заметил, и предлагает мне плащ свой. Всматриваюсь — невольная дрожь пробежала по мне: это тот самый, кого я видел во сне; черты его слишком значительны, чтобы возможно было забыть их. Только потому, что мне стало стыдно самого себя, я не отказался принять его услугу. Подают плащ: и тот точно такой, какой был в страшную ночь на таинственном незнакомце.

С ним я после того уже не встречался, а сказал мне слуга, отнесший ему в кофейню альмавиву, что он живописец из Рима; спросить же, как зовут, молодец не догадался.

[а] молодой человек (*франц.*). Здесь: «малый» — слуга.

[б] Кто-то принес письмо для господина (*франц.*).

Очень чувствую, что я должен казаться тебе глупым. Да и объяснить этот случай не слишком трудно. Верно, уже раз и прежде сна наяву я видел живописца, хотя и не могу припомнить где. К тому же здоровие мое, которое не совсем еще поправилось, раздражительность, мысли, занятые Надинькой, самое чтение Шиллерова романа — вот те нити, из коих проказница фантазия соткала мучительный сон мой. Но что твержу себе теперь, о том я тогда не мог вспомнить: меня слишком поразило странное повторение наяву части того, что мне приснилось.

Из Рима, надеюсь, получишь что-нибудь позанимательнее этого письма: в Риме намерен я провесть масленицу, если только лекаря позволят; а потом назад, на святую Русь, в объятия твои и той, что мне и жизни дороже. Целую тебя... и пр.

ПИСЬМО 2

Тот же к тому же

Рим 5-го апреля.

Масленицу только хотел я провесть в Риме, а вот живу здесь уже третий месяц и — оторваться не могу. Я не в силах успокоиться, опомниться от всего, что привлекает здесь мое внимание, возбуждает удивление и наполняет сердце вместе и благоговением и печалию. О многом я тебе уже писал; о несравненно бóльшем не в состоянии еще писать: мысли мои еще не оселись; чувства слишком еще взволнованны; впечатления от всего, что видел, что вижу каждый день, не преобразились еще в ясные понятия, в сведения. Дай мне, друг, прийти в себя; теперь в моей голове все смешано, все сбито: века древние, средние, наш, церкви и виллы, Наполеон и папы, капуцины и цесари, Пульчинелло и Катон Утический, конфетти и развалины, и сто других предметов, сходных и несходных между собою, так и рвутся под перо мое. Не знаю, с чего начать, на чем остановиться. Лучше бы было всего, если бы ты мог сам перенестись ко мне в гостиницу синьора Бенедетто, откуда к тебе пишу: тогда бы ты сам бродил со мною из Ватикана в Колисей, из Колисея в собор св. Петра, оттуда в Кампо-Вакчино, в Кампидольо, в виллу Боргезе и — пересказать не успею — куда. Я не в состоянии заочно быть твоим чичероне, потому что, пробыв здесь около десяти недель и каждым днем пользуясь, по сю пору теряюсь в этом лавиринфе. Проезд через Германию успокоит меня; ворочусь в Петербург и стану вам рассказывать о вечном Риме подробно, ясно, отчетливо; между тем Рим, хаос величия и нищеты, кладбище славы, оставляю не без сожаления; пишу это смело — вы не поймете меня криво, ты и Надинька. «Рим, — отвечаешь ты мне, — очаровал тебя; ты не можешь скоро оторваться от него: это понятно. Описания чудес Рима также от тебя еще не требуем. Да полно начинать письма свои антитезами! они ни к чему не ведут и ни о чем не могут дать понятия. Скажи нам слова два о са-

мом себе и — рассудительно. Рим очень занимателен, но в Риме сердечное наше участие возбуждает один Юрий Пронский». О самом себе — когда вся личность моя заглушена и подавлена, когда все мое бытие поглощено великими остатками древности и еще величайшими воспоминаниями, такими, каких никакое другое место в целом мире не представляет воображению?..

На слова о моем здоровии: оно совершенно поправилось. Портрет, который посылаю Надиньке, покажет вам, что сбросил уж и повязку. Широкий рубец на лбу — единственный памятник того сабельного удара, который было меня чуть не навсегда разлучил с вами, друзья мои. Портрет этот писан в подарок любви рукою дружбы. Так, Володя, дружбы; тебя, конечно, никто мне не заменит; никто в моем сердце не займет того священного уголка, который я отвел исключительно тебе; с тобою я вырос, тебя люблю с той поры, как начал чувствовать, буду любить, пока не перестану чувствовать. Но ужели сердце человеческое так бедно, что не может быть предано в одно время двум, даже трем, хотя и не с одинаковым жаром, не в одинаковой степени? Способность удивляться всему прекрасному, дорожить всем благородным и высоким не единственное ли право мое и на твою дружбу?

Помнишь ли, что еще из Ниццы я писал тебе о живописце, который встретился мне в кофейне на Piazzo di Vittorio? Стыжусь и вспомнить, как на меня подействовала эта встреча, потому что этот живописец — мой Джиованни. Три дня после того письма я отправился в Рим. На первой неделе великого поста выставка картин в Академии: я посетил ее. Не стану много толковать о произведениях нынешних римских художников: итальянцы кое-как влачатся по следам Батони и Менгса. Немцы все почти метят в Луки Кранахи; и должно отдать им справедливость: их кисть деревянная, сухая точно вызывает из гроба младенчество искусства, но только труп его — души, которая одна в глазах истинного любителя придает неотъемлемое достоинство старинным картинам, души-то именно в их подражаниях и нет. Французы, хотя и очень хвастают своею новою школою, вообще по-прежнему театральны. Об англичанах и говорить нечего. *Наши,* хотя и есть исключения, не жалеют голубой и алой краски и в этой расточительности полагают главное достоинство живописца.

Бродя по залам, где все было или дурно, или посредственно, я сетовал об упадке искусства, досадовал, что этой жалкой выставке пожертвовал временем, которое нигде так не драгоценно, как в Риме, и совсем уж было собрался оставить Академию. Вдруг внимание мое привлекла картина, перед которою стояло несколько милордов инглезе[a] и какой-то синьор профессоре, объяснявший им ломаным французским языком, почему картина никуда не годится. При первом взгляде на это чудное создание высокого, заброшенного таланта меня поразило удивление. Сначала подумал я, что гляжу на одно из лучших творений Сальватора

[a] Inglese — англичан (*итал.*).

Розы.[4] Рассматриваю, сравниваю с тем, что осталось у меня в памяти из картин неаполитанца: нет! художник не просто счастливый подражатель Сальватору — он его соперник, свободный, самостоятельный. Приемы, правда, почти те же, но рисовка точнее, идеала и чистоты более, и более того, что и гению не всегда дается, что только тогда покоряется фантазии, когда с нею сопряжено и сердце великое. Предмет: Риэнзи[5] перед смертью. Сцена у подножия Капитолия. Народ, возмущенный дворянами, восстал на трибуна; тысячи рук было вооружились, тысячи голосов только что проклинали того, перед кем за час еще благоговели, кого за день еще превозносили над величайшими мужами древности. Но первый удар еще не нанесен; нанесть его никто не дерзает. Риэнзи пользуется минутою недоумения, начинает говорить — и мечи, копья, каменья выпадают из рук свирепой черни. Его правая рука указывает на Капитолий, левою он обнажает свою грудь; чело спокойно, величественно. И что же? здесь юноша бросается к ногам воскресителя Рима; там другой обеими руками покрывает лицо, в отчаянии, что мог быть игралищем властолюбивых патрициев. Далее несколько зверских лиц совершенно в роде Сальваторовых, в самых фантастических лохмотьях: они спешат удалиться, чтоб не заплатить жизнью за неистовство, в которое вовлекли народ и которое не удалось им увенчать убийством. Трое престарелых вельмож в великолепной одежде 14-го века, бледные с ужаса и гнева, смотрят на толпу, готовую или разойтись, или напасть на них же, зачинщиков бунта. Трибун настоящий антик: он в белой мантии, которой раскошные складки напоминают древнюю тогу, а чистый простой цвет резко противоположен яркости красок, какими пестрятся одежды всех прочих. Он торжествует. Но — позади победителя стоит его черный ангел, рыцарь с опущенным забралом, в вороненых доспехах, росту исполинского; булат его поднят: миг — и не станет Риэнзи.

Вот, друг, содержание картины, коей выразительность, изобретение, отделка, таинственное освещение на время заставили меня все забыть, все, даже глупый лепет профессора и бездушное «yes! yes!»,[a] каким отвечали на его выходки румяные чада Британии, которых был он оракулом. Удерживаясь даже от улыбки негодования, я спросил профессора, как зовут живописца, который навлек на себя по всей справедливости его строгую критику. «Несмотря на это уродливое произведение, — отвечал мне оратор, — из него, быть может, вышло бы что-нибудь, если бы он только хотел следовать советам людей опытных, со вкусом». «Таких, как вы!» — прервал я его. «Но, синьор, не в том дело: откажитесь исправлять чудака, которого, кажется, исправить невозможно». — «Имя его?» — «Имя его — Джованни Колонна».[6] — «Он живет?» — «Живет, если то нужно знать вам, близ Палаццо Сакетти, на берегу Тибра, в виду моста Систо — в таком-то доме...». Я не дал договорить ему и бегу туда, куда влечет меня сердце. Вот дом; взбираюсь по крутой темной лестнице в четвертое жилье; вдруг несутся мне навстречу звуки истинно небесные: в них излива-

---

[a] да! да! (*англ.*).

ется душа, тоскующая о том, что может дать одно отечество бессмертия. Приближаюсь робко, отворяю дверь, вхожу в комнату бедную, но опрятную, что в Риме не последняя редкость. Художник фантазировал на скрипке: шум моих шагов привлек его в дольний мир из области света и гармонии, где дух его ширялся. На прекрасном лице его мелькнуло мгновенное неудовольствие; глаза засверкали: я узнал своего незнакомого знакомца из Ниццы. Что сказать тебе об этом первом нашем свидании? Неисчерпаемое сокровище пламенных чувств, глубоких дум и самого чистого восторга постепенно открывалось мне в душе дивного юноши. Он рожден быть великим: в нем воскреснет для Италии Рафаэль, только бы огонь, горящий в груди его, не расторг до времени сосуда, в который влит и из которого беспрестанно порывается возвратиться туда, откуда упал на землю. Впрочем, мы не скоро сблизились. Меня (смейся надо мною!) удерживал какой-то невольный трепет, проникавший меня всякий раз, когда я встречался с молнией его взора, и этот взор еще и ныне изредка напоминает мне зловещий сон мой; его? — он художник, беден и носит славное имя: *Колонна.* Колонны, ты знаешь, ведут свой род от Сципионов.[7] К счастью, случай опрокинул стену, стоявшую между нами. Он спас мне жизнь, и с той поры он меня не чуждается: он понимает, как тягостна одолженному благодарность, когда тот, кому хочешь принесть ее, от нее отказывается. Вот как это было.

Самый Рим меня так занял, что окрестности его, о которых я, однако же, много читал и слыхал, долго оставались для меня совершенно неизвестными: у меня не было времени посетить их. Наконец я выбрал прекрасное весеннее утро — и отправился в рощу, где источник Эгерии.[8] Мне говорили, что это место не совсем безопасно; но я худо верил рассказчикам. Роща, скажу мимоходом, столь же дика и уединенна, как во время Нумы: поэт Августова века, досадовавший на пышность построек, которыми осквернили священные воды, теперь не нашел бы причины к жалобам. Все было мирно, все навевало какое-то неизъяснимое спокойствие и склоняло к мечтам о будущем, к думам о минувшем. Я сел на берегу ручья на обломок архитравы, поросшей мхом и повиликой. Вдруг выстрел; пуля жужжит мимо ушей моих и ударяет в дерево прямо против меня на другом берегу источника. Не успел я вскочить, как слышу второй выстрел, потом стон — и передо мною Джиованни с пистолетом в руке. «Как неосторожны вы! — было его первое слово.— Вы инстранец, здесь, один, без оружия... Посмотрите! — и, взяв меня за руку, он отвел меня за куст, а там огромный мужчина, достойный товарищ Фра-Диаболо,[9] лежит с простреленною головою. — Выстрел мой недурен! — сказал Колонна, собрал кисти, краски, портфель. — Пойдемте!» — и пошел, как будто ни в чем не бывало. В городе я почти насильно привел его к себе; но при прощании он в первый раз сам пожал мне руку и — сегодня четвертый день как живет со мною. Доселе мы говорили почти об одних искусствах и истории; но и тут узнал я богатство и красоту его души. Сокрушает меня глубокое уныние, которое в нем примечаю. Он несчастлив, но причины его страдания я не дознался,

Не ревнуй, Владимир! Для дружбы нужно равенство, а преимущество Колонны над собой я слишком чувствую, чтобы быть чем иным, как только его усердным почитателем. Следующее письмо ты получишь из Германии, вероятно из Мюнхена или Дрездена.

ПИСЬМО 3

Victor la jeunesse к брату своему Теодору, магазейнщику в Петербурге

Дрезден 10 майя.

Вот, мой милый Теодор, я опять в Дрездене, где мы когда-то с нашим маленьким капралом[10] так храбро отражали союзников. Недель через шесть надеюсь тебя обнять и рассказать тебе свои путевые похождения. Знакомых здесь никого не нашел. Толстый харчевник, что потчевал нас уксусом и уверял, будто это самое лучшее рейнское вино, а свои ужасные котлеты из конины выдавал за говяжьи, по выходе нашем из Дрездена вдруг стал патриотом и союзникам вздумал служить шпионом; но брал он деньги и с нас и по мере сил и возможности старался угодить обеим сторонам. За то казачий генерал Платон велел его повесить. Этот Платон шутить не любил, хотя, впрочем, был человек очень ученый, потому что воспитывался в школе известного Сократа, а до войны был митрополитом.[11]

Прекрасная Аннетта, к которой я так ревновал, вышла замуж, а сестра ее Луиза умерла. О других приятелях и приятельницах наших нет и слуха. Барином я очень доволен: он добрый малый; люблю его почти больше, чем девицу Розу, которой я отдал свое сердце. Да напрасно только связался он с каким-то итальянцем, живописцем, и обходится с ним так почтительно, как и с нашим фельдфебелем никогда не обходился. Мне и старику Карпову велено слушаться итальянца как самого барина; а, сверх того, для него наняли еще особенного слугу, итальянца же, потому что ms-r Колонн (imaginez vous l'impertinence!) [a] не любит говорить по-французски! У меня не лежит сердце к этому гордецу. Пронский совсем не горд: нередко шутит с нами, меня расспрашивает про мои походы, с Карповым разговаривает о домашних; словом, часто забываешь, что он наш барин, ротмистр, что у него около полумильона ежегодного доходу. А Колонь вот уже второй месяц живет с нами и не удостоил меня и десяти слов... Забыл он, как во дни наших успехов подобные ему перед нашим братом и пикнуть не смели! Глаза же у него, Теодор, так тебя и видят насквозь: мне таиться не в чем — я веселый парень, но честный, да все-таки неприятно, когда кто на тебя смотрит, как будто выузнает твои сокровеннейшие мысли. Впрочем — пожалуй! угодно ему спросить меня, — я не трус: выскажу ему все, что о нем ду-

---

[a] подумай, какая наглость! (*франц.*).

маю; только сомневаюсь, чтоб услышал он много лестного. И Карпову (который, между прочим, тебе кланяется) он не слишком полюбился. Старик считает меня ветреником, да и он, как только заведу речь об итальянце, покачивает головой и охает.

У старой барыни, матушки ротмистра, в деревне сумасшедшая девка — Настя, по нашему Anastasie; сумасшедшая, да умнее многих умников: хотелось бы мне знать, что скажет она о нашем живописце. Барин говорит, что Каронь красавец... И в этом я не согласен: раз, он никак бы не мог служить в гренадерах — я головой его выше; во-вторых, бледнее, чем ты был после лейпцигской своей раны, — настоящий покойник. То ли дёло мой ротмистр: статен, высок, румян, а рубец на лбу придает ему особенную привлекательность в глазах всякого старого солдата! Однако и бесу надобно отдать справедливость: храбр итальянец и славный стрелок. В бытность нашу в Риме убил он одним выстрелом разбойника, который за городом напал было на Пронского. Впрочем, на руку свою и я надеюсь: если бы тут случился, быть может, не дал бы и я промаха. До небес барин потом превозносил равнодушие итальянца; а дело-то вот в чем: отправив несчастного на тот свет, где молодца, по всем догадкам, примут не слишком ласково, он о нем говорил менее, чем об издохшей собаке. Право, мне кажется, что у ms-r Шаронь рука не дрогнет и не на разбойника. Сужу по его картинам. У него их довольно, но по большей части только начатые; а везде в них резня: ни одного женского личика; все какие-то бородачи, в широких епанчах, с растрепанными волосами; кинжалы, топоры, копья... Мастер он играть на скрипке: только при *его* музыке веселые водевили и на ум нейдут; скорее от нее завоешь.

Хотелось бы мне еще порассказать тебе кое-что; да, право, не знаю, что? Фарфор здесь хорош, хоть и не лучше севского; духи — гадкие, помада никуда не годится. Зато немочки очень милы, а вино недурно и дешево. Поклон мой жене твоей и девице Розе. Крестнику своему посылаю гостинец: три аршина английского сукна на куртку. Прощай! Слышу колокольчик барина.

ПИСЬМО 4

Джиованни Колонна к Филиппо Малатеста

Дрезден 12 майя.

Могу представить себе, друг, твое удивление, когда, воротясь из Неаполя, ты уже не застал меня в Риме и услышал, что нелюдим Колонна согласился отказаться от своей дикой независимости и отправился с иностранцем, с русским, в холодное его отечество! Долго я боролся с самим собою: гордость, отвращение пользоваться благодеяниями, привязанность к несчастной, неблагодарной, но все дорогой мне родине, а главное — долгая, быть может вечная, разлука с тобою, который один еще удер-

живает меня на земле, где все, кроме тебя, растерзало мне сердце... Но суди сам: мог ли я наконец не уступить просьбам и настоянию Пронского, человека — скажу мимоходом — прямо благородного и знающего мне цену? Меня взорвало хладнокровие, с каким приняли — не в Академии (ожидал ли я когда общего смысла от Академии?), но в публике, но в Риме мою картину. Ты ее видел почти конченною: ты, строгий, неумолимый судья, смотрел на нее с восхищением, ты пророчил мне успех самый блистательный... Знай же: моего Риэнзи заметили: «я человек не без дарования, у меня кисть довольно бойкая; я не из дурных подражателей Сальватора!». Зачем лучше не обругали меня? не назвали пачкуном, невежею, маляром вывесок? Стыжусь: на миг я было усомнился в себе и подумал, что не ангел вдохновения, а насмешливый демон-искуситель подал мне кисть и палитру. Филиппо! Этот миг... О, я долго не забуду его!

Вот из какого ада вырвал меня Пронский: он был на выставке и прибежал ко мне, заброшенному, принес мне дань восторга непритворного. Чем далее на север, тем люди должны быть холоднее, тем труднее должно быть расшевелить их. И что же? Человек, воспитанный среди льдин и снегу, русский, гиперборей,[12] удовлетворил самым взыскательным требованиям моего самолюбия. Рожденный в земле, где совсем иного роду успехи дают право на уважение, он смотрит на меня не с спесью покровителя, нет! С выражением удивления. Потом я узнал его короче. Судя по Пронскому, у русских нет нестерпимого важничанья англичан, судящих обо всем по-печатному. Для англичанина *Торзо* не более как кусок мрамора; но англичанин вменит себе в непременную обязанность превозносить его, потому что Торзо славится. Колисей для уроженца берегов Темзы груда камней; но перед Колисеем милорд непременно пробормочет сквозь зубы несколько из тех условных фраз, которые стали отвратительно приторны от бесконечного повторения; потом посмотрит на часы, скажет: «It is dinner time» [а] — и отправится в гостиницу, чтобы там за обедом сказать соседу: «Я сегодня был в Колисее, — I do confess, it is very grand, very beautiful».[б] Не найдешь у русских и умничанья немцев, хотящих все знать лучше нас, старинных питомцев искусства, соотечественников красоты и вдохновения. Немец готов предпочесть уродливое произведение 14-го века лучшим творениям Урбинского[13] и Микель Анджело, а почему? Он высмотрит, выищет в них тусклый луч высокого и, обрадованный своею находкою, забывает, что в бессмертных созданиях наших гениев это же высокое, но в гораздо высшей степени и ничем не помраченное. В характере русские всего более склонны с французами, только они столь же скромны, сколь французы хвастливы и заносчивы; притом же в русских более глубины, более способности чувствовать и понимать прекрасное. Они, кажется, менее других европейцев удалились от природы, хотя и на них наведен уже

а Пора обедать (*англ.*).

б Я признаю, что это очень величественно, прекрасно (*англ.*).

тот лоск, под которым так часто скрывается ничтожество и бездушие. Пронский добр, прост, любит учиться, не стыдится своих чувств, охотно признается в ошибках, не гордится ни богатством, ни знатностью и обходится со мною благородно, нежно, бережно.

Так! Колонна гордый, горячий, мстительный, готовый везде подозревать ковы и козни, надеется ужиться с своим варваром и лучше, чем с земляками, пронырливыми, завистливыми. Этих-то земляков хочу принудить раскаяться в том, что не хотели угадать, чем могу быть. Чувствую, сколь мало еще у меня прав говорить таким языком: мне 24 года, а еще я ничего не сделал для бессмертия.[14] Легко осмеять меня и назвать слова мои бредом безумца, беснованием несчастного, который лишен хлеба насущного, а между тем мечтает о недоступной, недосягаемой ему славе. Но и Рафаэль был когда-то неизвестным; но и Корреджио почти умер с голоду; но и Тассо зависел от покровителя, — а мой покровитель (больно мне называть его этим ненавистным мне именем!) ужели не перевесит на весах беспристрастия бесчеловечного князька Ферарского, которого певец Иерусалима называет великодушным Альфонзо?[15] Итак, вот последний Колонна, чтобы не стоять в рубище на священных гробах своих предков, покидает свое отечество! Клянусь всеми святыми: буду достоин их — или погибну! Последний Колонна! Зачем и поныне не называюсь Лонна, как то назывался целые 50 лет слепой арфист — бродяга, отец мой? Он считал, что ему нейдет носить имя, с коим в целой Италии ни одно не сравнится ни древностию, ни знаменитостию.

Сто раз, Малатеста, я тебе рассказывал, как старик при последнем издыхании открыл мне, кто мы; как вручил мне неоспоримые доказательства, что в моих жилах точно течет кровь покорителя Карфагена. Взять ему было в гроб свою роковую тайну: она-то меня лишила и счастья, и покоя, и наслаждения успехами... что такое обыкновенные успехи для Колонны? У Колонны не должно быть совместников; первым, единственным должен он быть на поприще, которое избирает, — или ничем. Мне было тогда 16 лет: но в одну ночь из отрока я стал мужем; я перескочил возраст юношества, возраст любви, радости, доверчивости, упоения. Чего же странствующий арфист надеялся? Или несчастный Джиованни лучше его? Африканский! Взгляни на внука своего: он на жалованье у варвара; москвитянин считает, что оказывает честь последнему Колонне, называя его приятелем, а в сердце своем, быть может, называет его — своим холопом! Но жребий брошен...

Поговорим о чем-нибудь другом: для чего дотрогиваться струны, которая издает одно разногласие? Привыкай, впрочем, к противуречиям бедного Джиованни: ведь и сам он звук, нарушающий гармонию мира. Ты часто удивлялся, Филиппо, каким образом я, итальянец, кому скоро исполнится пять люстров,[16] не любил по сию пору ни одной женщины. Одно чувство поглотило во мне все прочие: тебе ли неизвестна моя любовница, идол мой? И не дай бог полюбить мне женщину! Любить, как обыкновенно любят, предоставляю другим; вялою взаимностию, какою

обыкновенно довольствуются, я бы был ввергнут в отчаяние. Полюблю — и все прочее с меня смоется, во мне умрет и уничтожится. Если когда-нибудь услышишь, что Джиованни любит, считай его погибшим без спасения. Кровавый призрак всякий раз восстает передо мною, как только подумаю о страсти, мне незнакомой, но коей власть надо мною будет ужасна, беспредельна, если только ей подвергнусь. Надобно мне успокоиться, да о чем бы я ни стал говорить, везде найду нечто, что взволнует меня. Об искусствах? Я был в здешней картинной галерее... О, Филиппо! я видел Рафаэлову Деву,[17] видел на руках ее сердцеведца, судию помыслов человеческих в образе божественного младенца: на меня дитя-громовержец устремлял строгий взор свой — и я готов был возопить к горам: «Покройте меня!», безднам: «Поглотите меня!». Почти столь же нестерпимы для грешника и небесная чистота, дивное спокойствие, кроткое величие самой Мадонны. Не верю басням о распутстве Урбинского: кто мог постигнуть *эту* непорочную святость, тот и сам был непорочен; или же чудо совершилось — и один из тех двух ангелов, что покоятся у ног владычицы Девы, сошел из радужного селения и водил рукою смертного. После того я проходил мимо прочих картин, стоял перед ними, глядел на них, но все еще видел только ее единую, единственную, ни с чем несравненную царицу небесную. Корреджиев св. Себастиан[18] наконец пробудил меня: перед ним наконец я мог плакать и молиться ей, чтобы смертию, подобной его смерти,[19] даровалось мне омыть скверны больной души моей! — Италия! Италия! и эти два бесценные перла своего венца ты тедескам[20] продала за горсть золота!

Милый брат! все, повторяю, все здесь давит, душит сердце мое. Самая откровенность, самое радушие Пронского мучат меня. Мрачные предсказания встретили мое рождение и до времени положили в могилу ту, которая дала мне бытие. Друг! и меня мутят предчувствия чего-то страшного, чудовищного. С переезда нашего за Альпы перемена лиц и мест, новые нравы и обычаи заглушили было несколько во мне голос убийственной мечты, хотя она и тут никогда меня совершенно не покидала. Здесь, в Дрездене, она проснулась с новой силою. Однажды мы с Пронским разговаривали о том, до какой степени искусство может согласить выражение характера с идеалом, рассматривали мнения натуралистов, слегка коснулись того, что сделали лучшие из них, перешли к эклеткитам, наконец, дошли до новейших, до Менгса, который подчинил высокое красоте, а в самой красоте видел одно пригожество, и до его последователей, которых бесхарактерная изнеженность равно далека и от природы, и от идеала, и от красоты истинной. Неприметным образом разговор наш остановился на физиогномике. Мы рассуждали о чертах, по которым можно узнать вспыльчивого, гордеца, скупого, завистливого, труса. Вошел между тем молодой саксонец, знакомый Пронскому, и стал слушать нас со вниманием. Пронский спросил: «Каково должно быть лицо человека, который бы испытал все страсти и в котором все они заменились мертвым отчаянием, когда перегорели и потухли?». — «На такое лицо могу достать вам случай взглянуть», — подхватил тут саксонец.

Пронс. Шутите!

Сакс. Нимало. Вообразить не могу человека, чья наружность более бы соответствовала тому, что предание заставляет ожидать от вечного жида.[21]

Пронс. Кто же этот таинственный?

Сакс. Лет пять его знаю, встречал и здесь, и во Франкфурте-на-Майне, говорил с ним более двадцати раз; а по сию пору не знаю: немец он или нет, богат ли или беден, какого звания, какого происхождения? С первого взгляду ему лет сорок пять; но по некоторым обстоятельствам (на речи он скуп), право, подумаешь, что он живет не года, а веки, чтоб не сказать — тысячелетия.

Пронс. Стара шутка! St. Germain[22] предупредил его в этой выдумке.

Я. Нас, итальянцев, нелегко ею проведешь: мы еще помним своего Кальёстро.[23]

Сакс. Большая разница между Кальёстро, St. Germain и тем, о ком говорю: первый сам распространял о себе такие слухи; второй по крайней мере потворствовал им; а мой чудак тогда только может быть выведен из своей бесчувственности и обнаружить что-то похожее на досаду, когда доходят до него подобные догадки.

Я. Он их оспаривает, опровергает?

Сакс. Он считает не стоящим труда опровергать что бы то ни было. Но во Франкфурте богатый перекрещенец из евреев, у которого нанимал он комнату, убежденный просьбами любопытных, решился наконец сказать ему, какая молва о нем носится. Постоялец молча вышел, хлопнул дверьми и в тот же день его не стало в городе.

Пронс. Какого он исповедания?

Сакс. Он довольно прилежно посещает христианские церкви, не разбирая, католические ли они или протестантские; но всегда из них выходит перед начатием совершения таинств. Во Франкфурте бывал он и в синагоге; однако тамошние жиды не признают его своим собратом, хотя некоторые и полагают, что он точно еврей, только не талмудист, а караим.[24]

Пронс. Поведение, совершенно приличное роли Агасвера, которую, кажется, ваш фигляр вздумал разыгрывать! Это или безумный, или самый тонкий плут.

Сакс. Скорее первое: плутуют же для какой-нибудь выгоды, а он...

Пронс. Разве не считаете выгодой обратить на себя внимание, служить другим предметом толков и любопытства? Впрочем, уверен, что он и не без других признаков шарлатанства. Не так ли? Он предсказывает будущее, лечит средствами, неизвестными другим врачам; великий алхимик, магнетизёр и проч.

Сакс. Во всем почти ошибаетесь. Единственное необыкновенное знание обнаруживает он именно только по той части, по которой сам служит примечательным феноменом.

Пронс. То есть он второй Лафатер? [25]

Сакс. Лафатер схватил одну тень науки, а он проник в ее сокровеннейшие изгибы.

Пронс. Люблю вас, господа немцы! Между вами родился Шеллинг, величайший умствователь нашего времени; ни в какой земле, ни у одного народа просвещение не распространялось так на все состояния и звания, как в Германии, а между тем вы не отказались ни от одной глупости, какою когда-нибудь тешились и бывали приводимы в содрогание ваши прабабушки.

Сакс. Пусть это так; но самая склонность народа, который и вы же признаете одним из умнейших и просвещеннейших в мире, — склонность, ничем непобедимая, общая, впрочем, более или менее всему роду человеческому...

Пронс. Говорит в пользу суеверия?

Сакс. Что такое суеверие? There are more things in heav'n and earth! [а] [26]

Пронс. Оставим! Искренно скажу, и я не совершенно свободен от слабости, противу которой вооружаюсь; споря с вами, я некоторым образом спорил с самим собою. Да! и в моей жизни был случай...

Тут Пронский как бы украдкою взглянул на меня: глаза наши встретились. Преодолев свое смущение, он продолжал:

— Физиогномика, впрочем, все же не то, что астрология, алхимия, магия; она как магнетизм, не вовсе без основания, хотя правила ее и довольно шатки. Вот почему и желал бы я видеть вашего чудака и поговорить с ним, если только он не обидится моим посещением.

Сакс. Не знаю, в состоянии ли он обидеться чем бы то ни было; да не ручаюсь, не обидитесь ли вы его приемом?

Пронский обещал равнодушно перенесть все его странности, и саксонец дал нам слово наведаться в Фридрихштадте у сапожника, в чьем доме живет чудак, когда можно застать дома *серого человека* (так обыкновенно называют его по его серому кафтану). На другой день вечером, в 10 часов, саксонец зашел за нами, и мы отправились в Фридрихштадт. Мы пробираемся по тесным, темным улицам этой беднейшей части Дрездена, почти сплошь заселенной нищими, и останавливаемся у старого каменного дома. Сапожник ожидал нас и повел по крутой ветхой лестнице в верхнее жилье. У дверей наш провожатый постучался, и мы услышали громкое: «Herein». [б] Входим и застаем *нашего* Агасвера за работою, за которою никто бы не ожидал найти его: он подчинивал свои сапоги.

«Эй! Эй! Господин Грауманн! — улыбнувшись, сказал хозяин. — Вы перебиваете у меня хлеб! — и, посмотрев на сапоги: — Да, кажется, и не за свое дело принимаетесь!».

а Много в мире есть того... (*англ.*).

б Войдите (*нем.*).

«Разве ты недоволен тем, что от меня получаешь?» — спросил Грауманн, не обращая на нас внимания.

Сапож. Помилуйте! вы благодетель мой: я только осмелился шутить с вашею милостию. Вот господа, которые...

Граум. Подождут. Почему говоришь, что я взялся не за свое дело? Работа моя разве дурна?

Сапожник взял один сапог и стал рассматривать: «Прочна, чрезвычайно прочна! Никто у нас в городе не подкинет лучших подметок; да только более 50 лет никто не носит сапог такого фасону».

Граум. Быть может. (*Потом, обратясь к нам.*) Прошу садиться! Ведь так ваша светская вежливость требует, чтобы всякий порядочный человек приветствовал людей, до которых ему дела нет и которые не дурно бы сделали, если бы без околичностей убрались домой и занялись чем-нибудь пополезнее, чем прийти зевать на того, кого не поймут и кого понимать нет для них надобности.

Все это проговорил он голосом, в котором не было ни насмешки, ни досады, точно как будто подает совет, да только не надеется, чтоб совет приняли. Между тем я глазами успел окинуть его комнату. Стены почти голые: нигде нет и следа кровати, софы или хоть широкой лавки, чтобы ночью отдохнуть; вся мебель — стол и два-три ветхих стула; в одном углу распятие, но лик спасителя завешан; над стулом Агасвера несколько портретов, писанных на стекле теми живыми красками, которых состав потерян уже несколько веков, но которые и поныне возбуждают наше удивление на окнах готических соборов. Представь мое изумление: портреты времени очень недавнего. Под тем, который мог быть древнейшим, я прочел немецкую подпись: «Ганс Сакс из Нюренберга, сапожник и стихотворец», а Сакс — современник Лютера. Под другим имя Якова Бёме, сапожника ж и мистика 17-го столетия. Третий — Джона Фокса,[27] также сапожника, основателя секты квакеров. Все три, казалось, писаны одним и тем же художником — и превосходным; только трудно причислить его к какой-нибудь известной школе. Отделка и точность истинно фламандские, но вдохновенные лица обоих энтузиастов и поэта не могли быть представлены, ниже постигнуты человеком, который бы никогда не восходил до созерцания красоты идеальной, незнакомой и самому Рубенсу. Другой вопрос: как мог один и тот же художник списать лица и Ганса Сакса и Якова Бёме, когда между обоими — столетие? Далее: как осталось в безвестности искусство этого расцвечения, им или другим кем вновь открытое? Вот сомнения, какие толпились в голове моей, когда я наконец сел возле Агасвера, Грауманна или как угодно будет назвать то непонятное существо, которое тут присутствовало. Он отвечал на вопросы моих товарищей, не глядя на них, продолжая свою работу. Наружность его? Возьми голову Лаокоона, только привыкшего уже к страданиям, одеревеневшего от них: дай этому Лаокоону силу Геркулеса Фарнесского, но пусть покой его будет не после победы, а после трудов непомерных, которых и Геркулес не одолел, но которые оставил после многих суетных попыток и усилий; одень своего полубога в серый кам-

зол с стальными пуговицами, в серое исподнее платье, заставь обнажить до локтя мощные руки и пусть при бледном свете ночника подчинивает старые сапоги: вот гротеск, который дает тебе понятие о чудном зрелище, какое представлялось глазам моим. А голос его... нет! Лишенные акцента ноты этого голоса не принадлежали обыкновенному порядку вещей; в них что-то противоречило общим законам природы. Пронский, садясь, сказал ему: «Извините нашу нескромность; мы помешали вам».

Граум. Мне никогда ни в чем не мешают.

Сакс. Вы знаток в физиогномике: мы пришли к вам, чтобы попросить вас сказать нам, к каким страстям мы всего более склонны.

Граум. Вы пришли не себя показать, а меня посмотреть. Да и какая тебе будет польза, если назову тебе страсть, которая наложила неизгладимую печать на лице твоем? Ты жертвуешь ей и будешь ей жертвовать до последнего своего издыхания.

Сакс. От вас не спрячешься. Так! признаюсь, я сам отчаиваюсь победить свою влюбчивость.

Граум. Стало быть, у вас ныне зовут влюбчивостью, что в старину называли скотским сластолюбием.

Сакс. А друг мой?..

Граум. Этот человек тебе не друг: ты его едва знаешь; он оставит Дрезден, и ты никогда уже с ним не свидишься.

Сакс. Вы говорите так утвердительно... мало ли, что может случиться? Ротмистр, легко станется, опять побывает в Саксонии, или я поеду в Россию.

Граум. Не всегда случается то, что может случиться.

Пронс. Вы, кажется, проникаете во внутренность человека. Итак, вероятно, видите, что не обманываю вас, когда скажу, что и теперь, в возрасте мужа, искренно желаю исправиться от своих недостатков. Назовите мне их! Быть может, самолюбие ослепляет меня; многие за собою знаю, но неравно самый опасный для спокойствия собственного и милых мне ускользнул от глаз моих.

Граум. Ты мечтатель, легкомыслен, тщеславен; нет в тебе больших пороков, да подчас слабости не лучше пороков.

Тут я подошел к прорицателю. Он, повторяю, отвечал моим товарищам, не взглянув на них ни однажды; но на меня он поднял взор свой, уставил в меня свои безжизненные, оловянные, страшные глаза; потом подозвал меня еще ближе и шепнул мне на ухо: «Каин!».

ПИСЬМО 5

Фра Паоло к Джиованни Колонна

Рим 10 июня.

Малатеста, опечаленный и встревоженный, полагал, что не нарушит твоей доверенности, если покажет письмо твое мне, отцу твоему духовному. Сын мой, и меня оно опечалило. Никогда я не переставал молиться за тебя; я всегда взывал к духу-утешителю, да ниспошлет и тебе утешение — он, единый достойный желаний твоего сердца. Ныне усугублю свои молитвы, денно и нощно буду призывать к тебе на помощь силы небесные. На краю бездны скользишь, злополучный юноша: тот черный ангел, который некогда угнетал душу Саулову,[28] гнетет и твою душу. Много получил ты из рук божиих: но как употребил ты не талант, а десять, тебе вверенных? Раб лукавый и неверный подвергся осуждению за то, что зарыл единый, ему данный:[29] чему же подвергнешься ты за то, что не зарыл, а принес их в жертву врагу твоего господа? Искуситель предстал тебе в образе самолюбия: но сего ли мира слава успокоит твое сердце, алчущее благ неисчерпаемых, томимое беспредельною жаждою наслаждений, какие дать одно небо ему может? Преклони колено, смиренно восхвали того, кто даровал тебе сию жажду: она служит тебе порукою, что можешь быть сосудом избранным; ибо, очищенная ото всего земного, она преисполняла тех, которых лики чтит святая церковь наша. Но вместе трепещи: не она ли, худо понятая, отравою страстей бывала и орудием гибели? Творит она святых, но творит и чудовищ. Отшельник, я ежедневно умерщвляю плоть свою, ежедневно стараюсь умереть миру: но и я не считаю грехом любви к тем прекрасным искусствам, которые смертному иногда служат истолкователями, переводчиками небесного. Перголезе и Моцарт были на земле живыми отголосками гармонии надзвездной; Рафаэль озарил юдоль тьмы отблеском красоты вечной. Но «аще соблазняет тя рука твоя, аще соблазняет тя око твое»...[30] Фра Бартоломео[31] был славный живописец; он обессмертил, как выражаются люди светские, имя свое; но, говорят, он был худой монах, нарушал, говорят, святые обеты чина ангельского: если это так, лучше бы было не родиться ему. Не требую, чтобы ты бросил искусство свое, чтобы пренебрег своим редким дарованием: «Всякое даяние благо и всяк дар совершен, исходяяй от отца светов»;[32] но решись употреблять полученное тобою не для стяжания призрака земной славы, а для прославления чудес подателя благ нетленных. Тогда суждения справедливые и несправедливые, похвалы и хулы пронесутся мимо ушей твоих и не возмутят твоего спокойствия.

Считаю нужным побеседовать с тобой и о странном человеке, которого и наружность и слова, равно таинственные и страшные, так тебя поразили. Мне мало известны простонародные суеверия и предания трансмонтанов.[33] Вот почему, прочитав твое письмо, я и полюбопытствовал

расспросить молодого немца, живописца, что такое его земляки рассказывают о так называемом вечном жиде. Он передал мне легенду, которую сообщаю тебе. «Во время странствования господа нашего на земле жил в Иерусалиме некто Агасвер, ремеслом сапожник. Дом его стоял за городом по дороге к Голгофе. Более чудеса, чем божественное учение спасителя, заставили Агасвера признавать в нем обетованного; но сердце иудея, подобно сердцам бо́льшей части его братий, было прилеплено к праху, не постигал он, что мессия пришел в мир для основания царства чисто духовного; ожидал и он от сына божия освобождения от временных уз, а не искупления от уз вечного рабства. В день торжественного вшествия Христова во врата Иерусалимские Агасвер ревностнее всех оглашал воздух кликами: осанна! Всех усерднее устилал ваиями[34] путь грядущего во имя господне. Недальновидный думал, что настал час, когда сын Давида исторгнет скиптр своих предков из рук язычников. Вскоре иудей увидел, что ошибся, — и вот досада, презрение, ненависть вдруг заменили в груди его восторг обманутой надежды. Через несколько дней тот, от кого чаял он спасения Израилева, Израилем же предан в руки грешников; могущий, от слов уст коего воскресали мертвые, осужден на казнь поносную. Агасвер слышит, что он не употребляет никаких средств к своему избавлению, что даже отказал четверовластнику в знамении, которого тот, казалось, только и ждал, чтобы его выручить. Негодование кипит в сердце сына праха.

Вдруг раздаются дикие вопли; римские воины, окруженные бесчисленной толпою черни, приближаются. Агасвер стал у дверей своего дома, смотрит — и что же? изводят на казнь рабов того Иисуса, которого тот самый народ, что ныне вопиет с таким остервенением: „Распни его!“, дней за несколько назад хотел провозгласить царем Исраильским. Ближе и ближе подходит шествие; согбенный под крестом, окровавленный, поруганный, в венце терновом, искупитель уже в глазах бывшего своего почитателя. Телесные силы божественного изнемогли, ему нужен краткий отдых, да совершит свой горестный путь, он остановился под навесом дома Агасверова. Даже суровые ратники ощущают нечто похожее на соболезнование: они не понуждают страдальца, дают ему собраться с силами. Отступник жесточе их: он отталкивает от прага своего того, кого некогда любил, кому некогда удивлялся. И бог-человек воззрел на безумца, и что же? С этим взором пронзила Агасвера мысль: „Я не дал ему успокоиться, не знать и мне успокоения, требовал я от него временной славы, буду же свидетелем ее до скончания веков!“. И с той поры странствует иудей из царства в царство, из столетия в столетие, без отдыха и пристанища; и странствовать ему, и не примет его самая земля до того часа, как распятый и поруганный паки прийдет на облаках, окруженный тьмами ангелов, да судит живых и мертвых».

Много высокого и поэтического в этом сказании; но нет ему основания ни в книгах Нового Завета, ни в творениях святых отцев, ни в преданиях нашей церкви: итак, оно изобретение человеческое. Того, кто в наши дни вздумал представлять, кажется, лицо Агасвера, считаю, чем с самого

начала счел его приятель твой Пронский, т. е. обманщиком или сумасшедшим. Не чудо отвергаю я; но гораздо большее чудо, которому мы все свидетели, которое ныне перед глазами всех уже 18 столетий совершается, соделывает это чудо вовсе ненужным и ничтожным: не одно лицо — нет! — целое многолюдное племя предпочло земную славу небесной, отвергло, распяло принесшего миру искупление от уз греха и смерти, — и вот же оно странствует из царства в царство, из века в век и не знает успокоения. Не вдавайся, сын мой, в суеверие, противное и здравому рассудку, и вере истинной, суеверие, которое в наше время (странное явление!) нередко ходит рука об руку с безверием. Да! мудрецы и нашего времени, подобно евреям и эллинам, современникам апостола, называют юродством и соблазном божественное учение Евангелия, а между тем заносчивый и вместе немощный ум их не отказывается верить суетным басням. Сказание о вечном жиде пусть будет тебе только притчею: оно резкими чертами изображает пагубу величайшего из смертных грехов — гордости, ею же пали и ангелы, пагубу слепоты, которая отказывается видеть нечто высшее мира сего, не признает ничего другого достойного исканий наших и не хочет вспомнить, что творец создал нас по образу своему и подобию не для того, чтоб узниками мы были праха и брения. О сын мой возлюбленный! борись с гибельною страстью, обладающей тобою! Призови на помощь господа — и он не оставит тебя, и ты одолеешь врага и обличишь во лжи мрачные свои предчувствия и обманщика, дерзнувшего назвать тебя ужасным именем. Молись и бодрствуй и будь уверен: исчезнет как дым то, чего боишься ты и что только тогда может постигнуть тебя, когда не воспротивишься искушениям. Теплейшие и мои молитвы будут сопутствовать тебе всегда и повсюду. Поручаю тебя покрову божию и до конца жизни пребуду, чадо мое о Христе, верным другом твоим.

Павел, недостойный брат Ордена св. Франциска нищенствующих.

ПИСЬМО 6

Надежда Горич к Эмилии Дюваль, своей воспитательнице

С.-Петербург 14 июня.

Спешу вам, единственный друг мой, сообщить свою радость: вчера поутру возвратился мой Юрий. Он тотчас прискакал к нам на дачу, провел с нами весь день, а сегодня поехал в Красное Село повидаться с братом Владимиром. Мы ожидали Пронского; но полагали, что он будет не ближе как через неделю. Постараюсь пересказать вам наше свидание; да едва ли удастся мне написать что-нибудь путное. Мы за завтраком перечитывали его последнее письмо, которое получили третьего дня, и батюшка долго рассуждал о том живописце, с кем Юрий подружился в Риме. По словам Пронского, этот молодой человек что-то необыкно-

венное, наделен дарованиями каких мало, образа мыслей самого возвышенного, с самыми пламенными чувствами, но мучимый мрачным, диким унынием: Пронский опасается, чтоб это уныние наконец не переродилось в совершенную ненависть к жизни.

Батюшка заметил, что такое расположение души встречается довольно часто между молодежью нашего времени; он это приписывает нашему удалению от природы и говорит, что законы ее никогда ненаказанно не нарушаются. Что до меня, я только радовалась, что тот, кто будет на пути жизни моим другом и покровителем, не принадлежит к тем существам, которые отжили для всех наслаждений и почерпают во всем и везде отраву и горести: Юрий и в 28 лет еще свеж и молод; на все смотрит взором ясным, безоблачным; сердце его горячо и чисто; умен и добр, быть может, он не гений, но зато в нем нет и причуд, которыми нередко гении, а еще чаще самозванцы-гении бывают в тягость самим себе и всему, что окружает их. Вместе я немного и досадовала на Юрия, что привязался к человеку, столь несходному с ним нравом, и даже опасалась, чтоб итальянец не навел туч на светлое небо души Пронского. После завтрака я сошла в сад: мне стало что-то грустно; невольно проронила я несколько слезинок и, когда послышала позади себя шаги, наклонилась к кусту роз, чтоб стереть их и оправиться... Вдруг кто-то закрыл мне глаза; я ахнула и — очутилась в объятиях Юрия!

Переменился ли он? Да, но в пользу свою. Вы помните, что перед походом Пронский был на лицо немного слишком нежен, слишком моложав, так, что шалун Володя иногда, шутя, называл его m-elle Pronsky. Теперь и следа этого нет. Поверите ли? рубец на лбу служит Юрию истинным украшением: он теперь и во фраке смотрит героем. В глазах его прежнее радушие, прежнее чистосердечие; кажется, они и теперь еще говорят: «У меня нет на душе тайны». Он посмуглел: впрочем, и это ему к лицу. Долго всматривалась я в каждую его черту; долго оба мы не могли произнесть ни слова, кроме он — моего, я — его имени; вдруг он опомнился и, взяв за руку молодого человека, стоявшего от нас в десяти шагах, представил его мне: то был его приятель — Колонна. Взглянув на итальянца, я почувствовала, как непонятный трепет пробежал по мне. Показалось мне, будто все это не в первый раз со мною сбывается; будто на этом самом месте, в виду этих же кустов, в такой же точно час, когда солнце выглядывало, как теперь, вот из-за этой яблони, — некогда я точно так же из сладостного забвения вдруг была пробуждена присутствием человека, которого взгляд предсказал мне нечто таинственное и страшное.

Что же? и на бледном лице Колонны на миг вспыхнул румянец, подобный тому, который иногда горит на лице чахоточного, и столь же скоро заменился прежнею бледностью. Он поднял на меня черные, огненные глаза и потупил их; хотел что-то сказать — одни невнятные звуки вырывались из уст его. Пронский шепнул мне, что Колонна не терпит французов и язык их; а я было заговорила с ним по-французски,

Таких людей и безделица раздражает. Делать было нечего: хотя и худо знаю его отечественный язык, однако стала продолжать разговор по-итальянски. Колонна скоро преодолел свое замешательство, стал развязнее и отвечал мне умно, тонко, с большою любезностию. Мы воротились в дом, где матушка и сестры бросились с криком радости к Юрию. Послали по батюшку, который между тем по делам уехал в город. Через час и он был в кругу нашем. Вот бурные приветствия кончились; вот успели расспросить Юрия и о походах, путешествии, здоровии, высказали ему, как часто о нем думали, как беспокоились, с какою жадностью читали его письма. Мы отобедали, и после обеда удалось мне полчаса провесть с Пронским глаз на глаз. Музыка прервала разговор наш: она неслась из беседки — итальянец там фантазировал на фортепьяно. Матушка, Лиза, Вера молча слушали его. Никогда я не слыхала игры, в которой было бы более души. Колонна совершенно успел обворожить матушку и сестриц; особенно романтическая Вера видит в нем истинного Чайльд-Гарольда и чуть не плачет, когда говорит о его страданиях, несчастиях, между тем как их вовсе не знает. Она находит даже, что он необыкновенный красавец, что у него голова Аполлона Бельведерского и пр. Пожурите ее за вздор, каким вздумала набить себе голову. Впрочем, это при Верином нраве неопасно: у нее горячится одно воображение; сердце, слава богу, спокойно и даже, кажется, не слишком и способно любить. Буду беспристрастна: правильностию черт и полуденною выразительностию Колонна точно превосходит Пронского; но несмотря на то, я всякий раз должна употребить усилие, когда захочу с ним быть ласковою, когда должна просто смотреть на него: в этих правильных чертах, в этом выразительном лице, особенно во взгляде что-то такое, что меня невольно отталкивает.

Как бы я желала, моя Эмилия, чтобы вы были с нами, чтобы посмотрели на моего Юрия! Он целует ваши ручки и поручает себя вашей памяти.

ПИСЬМО 7

Колонна к Филиппо Малатеста — в конце июля

Поздно, друг мой, получил я письма ваши, твое и приложенное к нему отца Паоло. Вы лечите меня от болезни, которой у меня уже нет... Долго меня мучила горячка славолюбия; она прошла, прошла совершенно; исчезли и суеверные страхи мои. Ты радуешься, ты поздравляешь меня... не так ли, верный мой Филиппо? Но какое же чудо исцелило меня так скоро, так неожиданно? Малатеста! Малатеста! твой Джиованни любит! Постигаешь ли всю силу этого слова? Станешь ли после того еще спрашивать? Странная игра случая! Тот, кто в отечестве прекрасных женщин, под сладострастным небом Италии, там, где все

располагает к неге, воспламеняет воображение и вливает в сердце желания, считал себя неспособным любить, тот должен был удалиться на север, где красота — явление редкое, в страну спокойствия, рассудительности, холода, чтоб испытать все могущество любви! И в ином, совершенно ином виде узнал я эту любовь, как предполагал и страшился: нет! Она не погубит меня (как мог я написать такую хулу святотатственную?); она преобразила меня, сотворила из меня иного, лучшего человека! Только с того мгновения, как заронилась она в сердце мое, могу назвать жизнь свою жизнью, с того только мгновения бодрствую и вижу день светлый и отрадный. Ах! все мое минувшее — ночь тяжелая, ненастная, дикое, бессмысленное сновидение! Но, благодарю всех святых, — ночь растаяла от лучей жизнедатного солнца, чистое дуновение утра свеяло сон безобразный! Не стану тебе описывать той, кого люблю; посылаю тебе ее портрет: это тень с ангельского образа, призрак всего небесного, невыразимого, высокого и вместе младенческого, что слито в лице ее. Ты видишь, я не ревнив: делюсь с тобой хоть частию своих наслаждений и, клянусь, желал бы ими поделиться и вполне со всею вселенною; всю вселенную я желал бы видеть у ног ее! Бедный Малатеста! ты должен довольствоваться грубым списком с оболочки того, чего никакие усилия искусства не выразят!

Я упомянул о ревности: но может ли существовать ревность там, где нет желания? Может ли тот завидовать, кто вкушает блаженство совершенное? Не пугайся же, мой Филиппо, когда назову ту «che sola me par donna...».[a] На коленях прошу прощения у Петрарки, что некогда издевался над ним за то, что он был в состоянии любить или, как говорил я тогда, хотел уверить других, будто любит женщину, отдавшую руку другому... «Он любил, говаривал я, видел свою Лауру в объятиях другого и не пронзил его тысячью ударами!». Безумец, как худо понимал я любовь и *что* осмелился называть ее священным именем! Вот и я же люблю, и та, которую люблю, никогда не будет моею... Но ужели она не моя, когда никто так, как я, не постигает ее превосходства? Кто вырвет из моей души этот образ — вечно юный, не подверженный никаким изменениям времени? Люблю в ней идеал красоты, который она для меня в себе осуществила, которого я долго искал, который носился в тумане перед моим взором. Распустился туман: на один миг выступил из него идеал мой, на один миг сошел на землю из своей надзвездной родины; я его узнал и навеки поселился он в моем сердце; его и самая смерть не исторгнет из этого сердца; им одним оно преисполнено, оно все его. Какая мне нужда, что ангел, который явился мне, назвался невестой Пронского? Или невесту Пронского любит Джиованни? Не Джиованни ли всегда питал неодолимое отвращение ко всему ничтожному? Невеста или жена Пронского через год, через два уже не будет тем, что она теперь; опадет ее молодость, проза жизни зальет пламень поэзии, который ныне сияет в ее взорах; рано ли, поздно ли, она будет обыкновенной женщи-

[a] которая кажется мне единственной в мире женщиной... (*итал.*).

ной. Но *моя* владычица всегда одна и та же; сберегу ее в святилище души моей. Не бойся же за друга своего: клянусь, если б и сама она отдала мне руку свою, и отец и жених сказали мне: «Она твоя», — я и тогда бы ее не взял: в моих огненных объятиях Юнона стала бы облаком и растаяла бы. Так! ныне все бытие мое любовь; но и ныне считаю себя неспособным к тому, что *вы* называете любовью: я и в любви не перестаю быть художником, жрецом красоты вечной.

ПИСЬМО 8

Фра Паоло к Филиппо Малатеста

Рончинглионе в сентябре.

Рикардо, слуга твой, вручил мне письмо твое и письмо к тебе нашего Джиованни: сегодня Рикардо хочет воротиться в виллу Боргезе; тороплюсь отвечать тебе. Ты радуешься, сын мой, перемене в расположении души Колонны и благословляешь любовь, будто бы исцелившую его от необузданной страсти славолюбия, с которою вотще боролась дружба наша. Желал бы я согласиться с тобою, но не могу. Он по-прежнему и не думает умерять свои чувства; он предается им со всею своею прежнею необузданностию: предмет только другой; они те же — столь же горды, пламенны, слепы, как были.

Ныне он еще себя обманывает, ныне еще силится уверить себя, что новая страсть его чужда земных желаний. Да долго ли продлится это очарование? В жилах его течет кипящая кровь Италии. В течение 80-летней жизни однажды только случилось мне встретить юношу, любившего без надежды и почти без примеси чувственности. Но тот был тедеск, сын строгих родителей, воспитанный в страхе божием, с самого детства привыкший сражаться с своими страстями. Он укреплял душу свою примерным благочестием и в беспрерывных трудах старался находить своим скорбям утешение. Но видишь: страдал же и он! Нередко он приходил поверять мне свои мучения: тогда слезы текли по бледным щекам его, отрадою ему была одна мысль о другой, лучшей жизни, куда просилось его больное сердце. Он умер на моих руках в цвете лет своих. По крайней мере безнадежная любовь не вовлекла же его в преступление; чист был огонь, горевший в душе его, и без угрызений совести, под щитом веры перешел он из юдоли плача в обитель радости. Таков ли Колонна? Правда, и он благоговеет перед святым учением церкви и гнушается лжеумствованиями нечестия; но когда же призвал это учение на помощь противу бури страстей? «Вера без дел мертва», — говорит св. Писание. Колонна с редкою решительностию характера мог бы быть героем добродетели; но он этой решительности никогда не употребляет на борьбу с самим собою. Он в высшей степени художник; телесная красота предмет его искусства; самый идеал, которого ищет, о котором

столько с нами рассуждает, не представляется ли ему облеченный в покров телесный? И ты надеешься, чтобы любовь юноши пламенного, необузданного, итальянца, художника осталась всегда духовною? А отзыв его о Петрарке ужели не испугал тебя?

Он, конечно, теперь раскаивается в этом отзыве; но, если он уже тогда говорил так, когда еще не любил, — что же будет, как скоро спадет завеса с его глаз, как скоро снимется первый обманчивый покров со страсти, которая прокралась в его грудь под личиною чувства благородного, высокого, неземного, но наконец обнаружит же свое очень земное происхождение? Трепет объемлет меня при мысли, чем может сделаться Колонна, когда страсть, овладевшая им, взлелеянная раскаленною фантазиею, беспрестанно питаемая его занятиями, кровью, мечтаниями, страсть — тиран сердца, привыкшего быть рабом своих хотений, — превратится в совершенное неистовство. Гордость, ревность, скорбь, отчаяние — увы! сын мой возлюбленный! дай бог, чтобы предсказания мои не сбылись; но теперь, теперь начинаю опасаться: не заслужит ли Колонна и впрямь страшное имя, данное ему дрезденским обманщиком! Ты знаешь, сколь мне дорог этот злополучный юноша; знаешь, чего я от него надеялся, что обещал умиравшему отцу его... Употреблю все средства, данные мне Провидением, чтоб спасти его; но — не скрою от тебя — слаба надежда моя на успех. По крайней мере если бы я был с ним, если бы он слышал слова мои, видел мои слезы... Но он далеко за горами: между нами целые царства, а воля моих начальников и обязанности, возложенные на меня Орденом, удерживают меня в Италии. Письма? — что значат письма? Как ничтожны они в сравнении с живым словом человека, который любит нас, которого взор встречается с нашим взором, которого самый голос иногда более выразит, чем слова самые красноречивые! К тому же, быть может, письма мои уже тогда дойдут, когда все, все будет кончено. На днях возвращусь в Рим и тотчас извещу тебя о своем прибытии. Тогда на досуге побеседуем о нашем Джиованни, и, статься, Милосердый и благоволит нам открыть средства, как отвлечь от краю бездны его, готового в нее ринуться. Теперь остались мне покуда молитвы, подобные тем, какими Самуил молился [35] о гибнувшем сыне Кисовом. Да сохранят хоть тебя, любезный сын мой, силы небесные!

ПИСЬМО 9

Колонна к Филиппо Малатеста

Санкт-Петербург в ноябре.

Несколько раз принимался я за перо, чтоб отвечать тебе на последнее твое послание, и несколько раз перо выпадало из рук моих; в груди моей странное смешение чувств: досада, признательность, стыд, гордость, раскаяние, негодование. Так и быть: пусть замолчат досада, и гор-

дость, и негодование; вы меня худо понимаете, но любите и беспокоитесь о моем счастии и добродетели; бедный Джиованни в вас только нашел бескорыстную дружбу... Впрочем, это письмо к тебе одному: если не желаешь, чтоб я перервал всякую связь с тобою, не показывай того, что пишу, монаху; строгость его правил и предрассудки звания не позволят ему с настоящей точки смотреть на мои поступки. Как бы кто добр ни был, какое бы ни принимал участие в судьбе ближнего, во всяком из нас, грешных, самолюбие поневоле возбуждает ощущение почти приятное, когда узнаем, что сбылось зло, нами предвиденное, нами в таком случае предсказанное, если не последуют тем советам, которыми премудрость наша так щедро снабжает всех и каждого, не рассуждая: мы сами не забыли бы собственных правил наших при подобных обстоятельствах? Несчастный гибнет, потому что он — он, а не другой кто, а друзья его восклицают: «Не говорили ли мы, что все это точно так случится!». Это торжество ныне и я могу доставить вам, хотя и не вполне, потому что вы все-таки кое в чем ошиблись. Часть пророчества фра Паоло оправдалась на деле: мое очарование исчезло — я проснулся. Монах не солгал: не для нашего народа, а всего менее для меня та духовная любовь, к которой способны одни наши заальпийские соседи. Так! я люблю со всеми теми мучениями ревности и чувственности, какие только можете предполагать в итальянце, художнике, во мне. Судьбу свою знаю: страсть, сожигающая меня, положит конец моему безотрадному бытию, но никогда не заставит меня забыть правила чести. Буду ее жертвою, но ты никогда не будешь вправе отказать мне в своем уважении. Теперь знаешь, чего бояться, чего надеяться.

Остается только пересказать тебе, как произошла та роковая перемена, которой — ты видишь — от тебя не скрываю. Она обращалась со мною холодно: сначала я приписывал это ее застенчивости; но напоследок не мог не заметить в глазах ее тайного ко мне отвращения, хотя она и силилась, особенно при женихе своем, быть со мною приветливою, даже ласковою. Вот первый шаг к моему разочарованию: ее несправедливость возмутила меня; невеста Пронского перестала быть для меня идеалом совершенства. Ты легко поймешь, что должно было быть следствием этого: она стала для меня просто смертною; мой восторг потух, но вместо его возгорелся огонь менее чистый, менее бескорыстный, зато не в пример сильнейший. Долго, однако же, гордость не позволяла уступить ему: мне казалось унизительным вздыхать жалким, безнадежным Селадоном[36] у ног надменной красавицы. Реже и реже стал я ездить к ним в дом и отговаривался то тем, то другим, когда мне пенял за то Пронский; наконец объявил ему, что хочу воротиться в Италию. Он не стал меня растакивать, только просил побывать с ним на другой день у Горичевых. Приезжаем. Более недели я у них не был. Отец, мать и две младшие сестры, несмотря на то что у них были гости, в один голос вскрикнули: «Колонна!» — и обступили меня. Старик взял меня за руку и, сжимая ее с видом истинной приязни, стал меня спрашивать, зачем я их чуждаюсь, чем недоволен, почему не хочу, чтоб они считали меня своим.

Не помню, что я отвечал; кажется, он ожидал другого ответа, потому что долго смотрел на меня, а потом сказал: «Вы не искренны». Между тем Пронский отвел свою невесту в сторону и начал с ней разговаривать с жаром. Она отвечала слезами; их разговор был похож на любовную ссору, да только не она, он одержал победу. Вдруг он подходит ко мне и уводит меня в другую комнату, где Надина ожидала нас. Я к этому не был приготовлен; подхожу к ней в смущении; она встала, закраснелась, взглянула на меня взором, в котором прочел я прелестное сияние стыдливости, сожаления и — самоотвержения, и пролепетала дрожащим голосом: «Я перед вами виновата; я с вами обходилась не так, как должно было с другом моего Юрия, с тем, кто необходим для его счастья!». Я молчал и не смел встретиться с ее глазами. «Как она его любит!» — вот то, что всего яснее представлялось мне в хаосе дум и чувств моих — смутных, сладостных, горьких.

С той поры я бываю у них каждый день: она старается прочесть в моих взорах мои желания, предупреждает их, устраняет все, что могло бы мне нанесть малейшее огорчение. Боже мой! и это все для Пронского! потому что Пронский этого требует! Малатеста! голова моя кружится... о! если бы она меня так любила! Он? Постигает ли он всю меру своего счастия? Он хладнокровно ожидает окончания каких-то дел, чтоб обладать тою, при которой забываю самого себя и всю вселенную; разлучается с ней на целые дни, знает, что я посещаю ее без него, и — благодарит меня. Не понимаю этих ходячих льдин севера! Но как бы то ни было, не употреблю во зло его доверенности: еще раз, ты никогда не будешь вправе отказать мне в своем уважении.

P. S. Я хотел запечатать это письмо, как вошел ко мне Пронский и объявил, что едет в Малороссию к своей больной матери. Не вовсе я еще лишился ума: еду с ним; один здесь не останусь.

Часть вторая

ПИСЬМО 10

Колонна к Филиппо Малатеста

(Отрывок черновой, найденный в бумагах Колонны
без обозначения числа, когда писан)

... в последнем твоем письме, которое мне переслали сюда из Петербурга, ты меня расспрашиваешь о русских, об их языке, нравах, обычаях и, между прочим, говоришь: «Уверен, что ты не воротишься из этой примечательной земли подобно бо́льшей части французов и наших соотечественников, путешествующих словно во сне и потом пересказывающих не то, что в самом деле видели, что точно существует, а только что

им привиделось». Понимаю цель твоих вопросов и понял бы ее, хотя бы ты о ней и не проговорился довольно ясно в двух или трех местах твоего статистического, филологического, глубокомысленного послания, которое — буде сказано между нами — более похоже на программу ученых задач какой-нибудь академии, нежели на письмо художника к художнику, друга к другу, на письмо, какого бы Джиованни мог ожидать от своего Филиппо. Но еще раз: понимаю цель этих вопросов! — отвлечь ты желаешь мое внимание от предмета, которым оно исключительно занято, который — по твоему мнению — поглощает все мои чувства, мысли, силы, способности. Ты согласишься, что тут не без хитрости; а где хитрость, тут уже рушилось равенство, главнейшее, необходимое условие истинной дружбы: отношения уже не те; кто надеется перехитрить своего друга, кто надеется дать его уму и желаниям незаметным образом иное направление, тот считает себя умнее его, перестает быть товарищем, участником всех его скорбей и радостей и берет на себя должность его опекуна и воспитателя. Это, Малатеста, мимоходом, единственно для того, чтобы доказать тебе, что если я и обезумел, зато вполне обладаю тою проницательностью, какую подчас встречаешь у сумасшедших, которые довольно тонко и с довольно большим присутствием духа отгадывают и нередко даже умеют совершенно уничтожить премудрые намерения своих благоразумных и благомыслящих надзирателей. Впрочем, не полагай, любезный мой Филиппо, чтоб я рассердился на тебя; напротив, я очень тебе благодарен за твое нежное обо мне попечение: надобно же быть благодарным, когда видишь, что желают тебе добра, а сердиться — не так ли? — во всяком случае глупо. Итак, чтоб оправдать хоть несколько все то, чего ты ожидаешь от своего бедного Джиованни, чтоб не совсем посрамить лестное мнение, какое имеешь о моем наблюдательном уме, дарованиях и пр. и пр., и наконец, чтоб убедить тебя, что я точно не сержусь и всегда буду вменять себе в обязанность по мере сил своих исполнять все, что бы ни вздумалось тебе возлагать на меня... Не знаю, дорогой мой Филиппо, как бы покруглее и поплавнее покончить этот период, который, если бы только был доведен до точки, надеюсь, не испортил бы никакого письма в любом письмовнике. На досуге подумаю об этом; а теперь читай далее: следует эпистолия, начиненная замечаниями всякими: географическими, историческими, эстетическими, физическими и метафизическими, — олла-потрида[37] предметов самых занимательных и разнородных; она, верно, придется тебе по вкусу, тем более что в ней ни слова ни о Джиованни, ни о скучной любви его.

Прекрасная выдумка сравнения: они, собственно, ни к чему не ведут, ничего не доказывают, а между тем где же блеснуть остроумием, как не в сравнениях? Итак, нас, итальянцев, и вообще жителей стран полуденных на сей раз сравню с летом: тот же зной, те же грозы и в этом времени года и в душах наших; хотя между нами и довольно наберется людей холодных и спокойных, но их можно уподобить прохладе и тишине после гроз и зною в летние ночи; того же, кто скажет, что тишина и прохлада летних ночей несколько приятнее холода и спо-

койствия флегматиков, — не удостою ответа. Немцев не грех сравнить с осенью — не по плодородию их умственных сил (они ими не превосходят других), но по туманам, которыми изобилуют и дни осенние, и немецкие головы. Русских же можно назвать ясною, светлою зимою: между ними наш брат, выходец из Италии, немного и зябнет; зато, спасибо, у них не встречаешь той неопределенности, неясности, мглы, какою бываешь окружен в Германии. В Венеции я выучился языку словаков: русские с словаками одного племени, вот почему понимаю довольно хорошо язык русский и даже начинаю читать русские книги. Их словесность вообще бедна; поэзия, впрочем, несколько богаче других отраслей. О простонародных их песнях, особенно о песнях малороссиян,[38] которые говорят особенным наречием, предоставляю себе говорить в другой раз; теперь только скажу, что между ними есть истинно прекрасные; голоса многих, преимущественно заунывных, очень приятны. Русские дворяне — европейцы, т. е. и они на лицах своих носят печать того скучного однообразия, которую видим на лицах высших сословий во всех землях нашей части света с исключением Турции, и, быть может, нашей Италии. Мало еще знаю простой народ, но я намерен узнать его покороче.

Хотелось бы мне продолжать в таком духе письмо свое и в самом деле поделиться с тобою запасом сведений, какие успел я собрать о России: но, Филиппо, нет моей мочи — писать к тебе, как пишу теперь. Не лучше ли вместо обещанной длинной эпистолии, в которой ничего не будет нового, прислать тебе выдержку из любого путешествия по России, да и вперед заменять такими выдержками письма мои? Если тебе это не противно, только объяви — и будешь получать с каждою почтою по отрывку из любопытного творения какого-нибудь умного француза или глубокомысленного немца: от них узнаешь столько же, сколько от меня, и столько же справедливого, потому что, правду сказать, я, вопреки твоему лестному отзыву, в России знаю только Пронского и семейство той, о которой запрещаю себе говорить с тобою.

ПИСЬМО 11

Колонна к Филиппо Малатеста

(Такой же отрывок, как предыдущий)

Благодарю, что, несмотря на мое последнее письмо, желаешь остаться моим другом; благодарю за все, что говоришь мне в своем ответе, особенно, что твердо хочешь верить моей чести. Так, Филиппо! честь не пустой звук без всякого значения: в наш положительный век энтузиазм потух; чисто нравственные пружины ослабли; софисты проповедуют одну пользу; одна польза — кричат они — должна руководст-

вовать нами, быть мерилом всех наших дел и поступков — и что же? Вот среди общего разрушения, как будто одна среди развалин прекрасная колонна, стоит божественный предрассудок — *Честь*! Не пугайся слова *предрассудок*; всякое верование без доказательств есть предрассудок, потому что *предшествует рассуждениям*, потому что поражает нас очевидностью, не дожидаясь доводов и разбору критики. Беда, когда заповеди начнут уступать место доводам: тогда сердца отцвели; теплую, животворную веру никогда не заменят холодным, мертвым убеждением ума: не ум творит героев и мучеников. Итак, слава богу, что честь по сю пору еще предрассудок! Пусть же хоть она над нами властвует, сильное, безусловное, безотчетное чувство: в ней почти одной нашло теперь приют бескорыстное начало, без которого человек — умствующий зверь, а не дух, только временно связанный с плотию. Благодарю еще раз, что веришь моей чести: и я сын своего века; я не лучше, однако же и не хуже большей части из вас; честь свята вам — она будет свята и мне...

ПИСЬМО 12

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Село Прелёво в декабре.

Если кто провел несколько лет в полуденных краях, где не знают ни снегу, ни морозов, тому при возвращении в наше ледяное отечество непременно должно прожить хоть первую зиму в Москве или Петербурге. В столичных гостиных, так же как в Италии, зимы не замечают. Для светских людей все навыворот: ночь стала днем, зима лучшим временем года. Но люди светские чуть ли не правы: и для меня после Булгарии, Адрианополя, Италии, конечно, было бы приятнее переждать стужу то в ложе Михайловского театра, то где-нибудь на балу с моей Надинькой, то с тобою в радушном кругу твоих сослуживцев, чем в нашей милой Малороссии, которая вовсе не рай земной, особенно «в последних числах декабря».[39] Здесь у меня перед окнами тянется необозримая снеговая степь; в так называемом саду торчат сухие остовы черешен и яблонь; сумёты в полдерево; вороны каркают по кровлям; по полю пляшет вьюга.

Наших соседей не стану описывать: кому, порядочному человеку, не надоели в наших романах и повестях до невозможности однообразные, бесконечные изображения уездных бар, барынь, барышень? Наши не лучше и не хуже тех, которых знаешь по этим красноречивым изделиям русской книжной промышленности. Со стороны Колонны, право, было великодушно, что он решился в нынешнюю пору года сопутствовать мне в деревню. Матушке, слава богу, лучше: она мне очень обрадовалась, и эта радость подействовала благотворно на ее здоровие. Я почти никуда

не выезжаю и провожу время с своей старушкой и Джиованни, который теперь что-то пристрастился к музыке. Он иногда два-три часа и более забывается за нашим роялем. Как хорошо, что Провидение дало Колонне хоть это средство высказать свою душу! Малороссияне, особенно простолюдимы, любят и понимают музыку: вот почему мой приятель своими заунывными фантазиями успел привлечь к себе сердца всей нашей дворни, особенно женщин и девушек. Когда начинает играть, у матушкиной горничной выпадает из рук шитье; она встает и на цыпочках подходит к дверям; наш fac-totum роняет счеты, с которыми шел было к барыне; густые его брови спускаются еще ниже; да, верь или не верь, а случается, что слезинка капает на его седые усы; самая даже Настя (я рассказывал тебе про эту бедную девку, что сошла с ума, когда ее коханого сослали в Сибирь за убийство), самая Настя в это время будто что-то вспоминает, подкрадывается в зал к гостю, садится на пол позади его стула и грозит пальцем всякому, кто бы ни вошел: вот и она же боится, чтоб ему не помешали.

Один только мой Карпов недоступен для чар нового Орфея; зато дивчины и паробоки и прозвали его в насмешку: «мякий москаль», т. е. нежный, чувствительный русак; а если он, когда Колонна играет, чуть чем брякни, — беда! — ему и просто скажут: «Эх, який ослоп!». За эту полицию, которую сами они завели в прихожей, я им очень благодарен, потому что раздражительность и пылкость моего приятеля мне довольно известны. Однако одна из самых ревностных его почитательниц, а именно Настя, чуть было нам не наделала гораздо больших хлопот. Третьего дня Колонна взял себе в тему requiem Моцарта и, опираясь на вещих звуках этого, по-моему, самого глубокого изо всех созданий величайшего из композитёров, в своих варияциях то пламенною молитвою возлетал на небо, то нырял в бездну гробового мрака, холодную, страшную, безответную; то в унылых, тихих напевах тужил о прекрасной жизни, которую, казалось, покидает, которая было ему так много сулила и сдержала так мало. Он был истинным чародеем. Матушка тихонько велела перенесть себя на креслах в зал, слушала и — плакала. Люди стояли в дверях, как вкопанные. Я не сводил глаз с Колонны: его чело было вдохновенно; взоры то вперялись в потолок, как будто ищут радужного селения праведных, то с ужасом устремлялись на клавиши (там под руками своими он, сдавалось, видит отверстую могилу), то обращались над роялем к портрету Надиньки его же работы: в ее-то ангельских чертах олицетворялась для него жизнь, и в cantabile фантазии слышалось унылое, умоляющее: «Не улетай! помедли хоть мгновение!». Вот он перестал играть; минуты с две сидел он, неподвижный: я ими воспользовался и махнул рукою людям, чтобы вышли. Потом он медленно встал, повел рукою по лбу, будто пробуждается ото сна, и хотел что-то сказать матушке. Вдруг Настя вскочила, схватила его за руку, поцеловала ее и шепнула, что и она хочет пропеть ему песню. У ней в самом деле необработанный, но прекрасный голос. Мы спросили Джиованни: желает ли ее послушать? Он попросил, чтоб ей позволили.

Она запела:

1

По полям ли я ходила,
У ручья ль сидела я,
Белой ручкой я манила,
Призывала соловья.

2

Соловью я говорила:
«Соловей мой, соловей!
Ветру выскажи кручину,
Боль, тоску души моей!».

3

Ветер, ты метешь равнину,
Пыль метешь с горы крутой:
Замети мою кручину
В край далекий и глухой!

4

Не черешни и не вишни
И не груши там растут:
Там растет и медь и злато,
Там копают и куют.

5

Там и он, сокол мой ясный:
В клетке мой сокол сидит,
А кафтан на нем-то красный,
А на ножках цепь бренчит.

6

Долго я ждала певичку,
Ту певичку — соловья...
Приманила же я птичку:
Вот послушалась меня!

7

Ай, спасибо, соловейко!
Прилетел, да и в мороз:
Душу, светик, обогрей-ка
И возьми от наших слез;

8

Понеси их ты в гостинец,
В память другу моему;
Ведь шепнул же мне мизинец:
Улететь тебе к нему!

Колонна хотел, чтоб я ему перевел песню. Это сделать было нелегко: ты видишь, вся она какой-то дикий бред, в котором чувство и мысль вдруг принимают призрачный образ, как будто в сновидении, и в котором смысла не более, чем в сновидении. Кое-как я, однако, успел растолковать ему, что она хочет сказать, да и прибавил, смеючись: «Умна же наша Настя! посылает тебя к Нерчинским рудникам на край света! Если бы ты был хоть пейзажистом... там, говорят, бесподобные виды... а то что тебе делать в Сибири?». Колонна угрюмо спросил: «Amorato[a] ее разве был пейзажистом?» — вышел и заперся на целый день. Люблю Колонну, а, откровенно признаюсь, часто не понимаю: он человек светский, просвещенный: не вольнодумец, но иногда рассуждает о злоупотреблениях своей церкви так, как бы, кажется, строгому католику не следовало, хвалит многое и в нашей, и даже в протестантской, вооружается противу притязаний пап и пр. Между тем Карпов уверяет, что Колонна носит власяницу; а я сам, *сам*, собственными глазами как-то однажды видел у него плетку с иглами, точь-в-точь такую, какою себя бичуют их иноки. И он точно бичует себя: да! он бичевал себя в ночь после Настиной песни; на полу перед его распятием нашли капли крови.

[a] Возлюбленный (*итал.*).

Много говорят о сплине англичан; ей-богу, пылкий сын полудня, католик, втрое несчастнее англичанина, когда им, итальянцем или испанцем, овладевает хандра! Англичанин скорее решится на самоубийство; да это что доказывает? эти островитяне нередко бросаются в Темзу так, просто от скуки, от пресыщения; сверх того, между ними гораздо более зараженных безверием. Но те впадают в меланхолию от истинных, нешуточных ударов судьбы: от природы они не склонны к задумчивости. Страдать же будут они более всякого северного европейца, потому что и живее чувствуют, и рассудок у них слабее. Простолюдим, римлянин или неаполитанец, в таком случае схватит нож разбойника; земляк его, граф или князь, адвокат, ученик Филанджиери,[40] светский аббат, пристанут к какому-нибудь заговору; только глубоко религиозный энтузиаст, такой, каких во всех землях мало, наденет на себя рясу картезианца и станет приучать язык свой произносить одно страшное, монотонное: memento mori.[а] Но и этому, если он итальянец, нужно что-то извне, но и он не захочет жить сам-друг с своею грустью: в эпитимьях, в положенном числе механически затверженных молитв и земных поклонов, в всенощных бдениях, в самом копании своей могилы он будет искать себе занятия и развлечения. Всем им движение, деятельность, внешний мир необходимы, чтобы перекричать боль внутреннюю: иначе она б была для них невыносима. Знаменитое il dolce far niente[б] возможно не для страдальца, сына Италии. Иное дело немцы или наши стихотворцы на стать тех, что еще недавно были у нас в такой моде. Их, сердечных, хлебом не корми, а дай им в сытость наплакаться о своей отцветшей молодости, о своем разочаровании и пр. Джиованни не таков: настоящей вины его тяжелого уныния я по сию пору не мог дознаться; но тут должны участвовать и суеверие, и обманутое честолюбие, и бедствия его отечества, которое обожает, хотя подчас и кроваво над ним издевается, — всего же более, кажется, безнадежная любовь к женщине, которая не хочет принадлежать ему. Деятельность, деятельность — вот лучшее лекарство для моего бедного друга: он недаром итальянец. Жаль, право, что у вас нет под рукою какой-нибудь войны: я бы тогда присоветовал ему вступить в твой экскадрон и уверен, что ты в нем приобрел бы отличного товарища. Прощай, Владимир! Mille et mille choses à Надинька![в]

[а] помни о смерти (*лат.*).
[б] сладостное безделье (*итал.*).
[в] Тысяча и тысяча приветов Надиньке! (*франц.*).

ПЕРВАЯ ВЫПИСКА ИЗ ДНЕВНИКА ДЖИОВАННИ КОЛОННЫ

10 декабря. Писать к ним? да о чем стану писать *к ним*? Они меня любят, конечно, по-своему, т. е. учат, и мучат, и силятся излечить от болезни неисцелимой, но все же любят... Мне ли не платить за любовь признательностию? Я ведь так мало в жизни встречал искреннего участия! А между тем писать к ним, — и не воздержусь от сарказмов... Я заклятый враг всякого деспотизма, а паче деспотизма дружбы: не знаю ничего ненавистнее умничанья самозванцев-опекунов, которые под предлогом человеколюбия хотят отнять у человека драгоценнейшую принадлежность человека — свободу его воли. Читал я где-то про гордеца, пожелавшего владеть на мгновение перуном, чтоб разразить беззаконников... И вот он на облаке был восхищен на небо и среди туч узрел мужа, одеянного в свет белизны необычайной, и сияние зрака того мужа было невыносимо для очей смертного, и был перун в его поднятой деснице. Когда же безумный простер руку к перуну, сам он, весь опаленный, был стремглав сброшен с неба в бездну ночи вечной. В моих глазах еще преступнее богохульная самонадеятельность тех, которые на счет других, хоть бы любимцев своих, думают разыгрывать роль святого божия Промысла или, лучше сказать, языческого рока таинственного, непостижимого, неизбежного, лишающего свои жертвы всякого достоинства, потому что превращает их просто в марионеток. А фра Паоло, а Малатеста ужели не сбиваются никогда на этих непрошенных помощников Провидения? Ужели они никогда не бывают похожи на ту *добродетельную* женщину, которая спасала душу своего мужа противу воли его, даже без его ведома, потчевая его по середам, пятницам и субботам самыми лакомыми блюдами, только все постными? Бог премудрый, преблагий и вдобавок всемогущий тут гораздо более оказывает уважения к своему благородному и свободному созданию; он устами заповедей и совести просто говорит человеку: «Перед тобою два пути: один ведет к свету, ко спасению, другой — к темноте и гибели; выбирай!». Неаполитанский князь Б..., которого вовсе не знаю, которого я никогда и в глаза не видал, вдруг почувствовал ко мне незапное, необычайно нежное участие, в очень учтивом письме предлагает мне вступить в службу его сицилийского величества и, очертя голову, отправиться курьером в Вену с очень нужными депешами. Как хотите, а это дело монаха или питомца его — премудрого Филиппо! По крайней мере *мне* так кажется, а это *мне так кажется,* которого не подкреплю доводами, но которое во мне равносильно совершенному убеждению, непременно отзовется в письмах моих и непременно когда-нибудь несчастное перо мое напитает желчью. Они меня любят, а рано ли, поздно ли я кроваво уязвлю их самолюбие и в раны те пролью горечь и яд своего озлобленного сердца! Нет! лучше не писать к ним!

---

20 декабря. Предчувствия, предзнаменования, сны вещие нисколько не предостережения. По словам одного из поэтов севера:

Неизбежное приидет
И грозящее сразит..[41]

Итак: к чему они, эти предзнаменования, предчувствия, сны вещие? Себялюбивый, бессмысленный вопрос былинки, едва одаренной существованием, а между тем во всех членах и жилах с головы до ног проникнутой гордостию гигантскою! Баснословный Атлас поддерживал свод неба; пигмей-человек превосходит и Атласа притязаниями, он говорит: «Небо и земля, весь мир создан для меня одного!». Ей-богу, тут есть с чего расхохотаться духам бессмертным, если бы только бессмертные духи были способны хохотать над безумием червя! В мире вещественном, в мире пространства и размеров о необходимом следствии причины естественной, об явлении, неразлучном с каким-нибудь действием, ужели кто спросит: к чему они? Бодро путник шагает по дороге, им избранной; позади светит вечернее солнце, и собственная тень предшествует путнику; люди стоят и смотрят или же и сами идут ему навстречу; все они видят тень огромную, фантастическую, предтечу, предвозвестницу того, кто близится, а между тем никому и в голову не приходит суетная мысль, будто тень — предостережение; еще менее кто скажет: «Если тень не предостережение, так к чему она?» В этом безотчетном равнодушии, право, более мудрости, нежели в дерзкой пытливости того, кто спрашивает: «Если

Неизбежное приидет
И грозящее сразит,

к чему предзнаменования?». Предзнаменования — просто тени мира духовного: они отбрасываются в поле, в дорогу времени событиями, из века предопределенными, а потому и неизбежными.

---

21 декабря. Лютеране считают нас суеверами за то, что мы обязаны беспрекословно и слепо верить всем преданиям и чудесам, какие нам рассказывают св. отцы и учители церкви... А я осмелюсь сказать спесивым исследователям виттенбергского расстриги,[42] что настоящие суеверы — они. Прямое отечество всех смутных, неопределенных боязней и страшил таинственных, неосязаемых, именно то вечно мрачное, вечно туманное королевство, которое для них и поныне осталось тем, чем некогда для нас была Испания: Швеция — центр их православия, почти столь же инквизиционного и неодолимого, хотя и гораздо менее логического, сколь когда-то был жесток и неумолим католицизм запиренейского полуострова. В Швеции родился Сведенборг,[43] феномен необычайно странный: вельможа утонченной светскости, глубокий ученый, прони-

цательный математик, счастливый естествоиспытатель, муж государственный, человек честный, добродетельный, даже философ, и что же? духовидец! без сомнения — сумасшедший, но перенесший в мир своих бредней холодную последовательность строгой методы, ясную диалектику здравого рассудка... Наш фигляр Кальёстро не мог проникнуть в Швецию: для него, паписта, это святилище протестантства было обведено оградою неприступною; но, если бы Кальёстро решился на отступничество, уверен, что в Швеции он нашел бы еще гораздо более адептов-олухов, нежели в обеих Саксониях, Пруссии, Курляндии, землях того же исповедания, но более полуденных. Швеция до XI века была кровожадною хранительницею безобразного, дикого, свирепого многобожия Одинова, а тогда остальная Европа давно уже искупилась благодатию креста из-под ярма языческого. В Швеции еще в прошлом столетии королева Ульрика имела какие-то страшные видения; в Швеции масонские мистические ложи и поныне еще входят в состав государственного управления, между тем как это обветшалое учреждение в других странах просвещенного мира давно уже стало посмешищем людей мыслящих; в Швеции до сих пор, и в высших слоях общества, есть чудаки, которые полагают, что колдуны и кудесники не просто обманщики и безумные.

И русские — народ северный, но они все же отрасль славянского, т. е. полуденного племени. К тому же вера их не беднее нашей великолепием, обрядами, таинствами, чудесами: человеку в душу вложена потребность веровать; счастлив, если в религии своей находит пищу этой потребности. Буде же религия представляет ему одни отвлеченности и умствования, он непременно вдастся в суеверие. И по религии, и по нраву, и по темпераменту сангвистическому русские гораздо более похожи на народы романские, нежели на соседей своих — финнов, скандинавов, тедесков. Русская *чернь,* может быть, и суевернее простолюдимов шведов и немцев (чему причиною всеобщая почти безграмотность русских крестьян); но нет сомнения, что *вообще* русские гораздо менее склонны к мутному, беспредметному мечтанию, нежели соседи их тевтонского происхождения. Русские окружены природою безотрадною, неумолимою, грозною; вот почему иногда испуганное воображение поневоле увлекает их в пространства безрубежные, нерассветные, в хаос, уму не доступный, отечество страшилищ и призраков; но очень редко русский предается этому влечению con amore,[a] с наслаждением, с сладострастием, столь обыкновенным даже между лифляндцами, не столько уже обрусевшими. Конечно, есть в русской литературе отголоски этой наклонности; но найдутся эти отголоски и в созданиях французских и даже наших поэтов второй четверти XIX века: и здесь и там они более дело моды и подражания, нежели отзывы требований сердца. Отсюда справедливость русским; однако они все же жители стран полуночных, преемники гипербореев: их окружают сосновые леса, темные, дремучие, пе-

---

[a] с любовью (*итал.*).

чальные дебри, степи необъятные, тяжелая мгла, унылое ненастие, а в продолжение шести, семи, в некоторых областях даже восьми и девяти месяцев на них дышит мороз жестокий; их взор блуждает по снеговым сугробам, им в лицо хлещет вьюга, их слуху напевает жалобную песнь ветер, исшлец из тундр, прибрежных ледовитому морю. Все это располагает к мечтам — к суеверию: на севере трудно, особенно зимою, совершенно избегнуть этого влияния...

И я от него не спасся: между тем как в сердце моем, обуреваемом страстями, слабеет голос веры отцев моих, воображение начинает наполняться какими-то облачными, огромными, дикими óбразами, в груди моей восстают голоса убийственных предчувствий и темных ужасов.

---

26 декабря. Настя воображает, что я непременно и скоро увижусь с ее amorato. С некоторого времени она стала необыкновенно прилежною и беспрестанно что-то шьет и кроит из лоскутьев, какие выпрашивает у горничных. «Для него! для него! — шепчет она. — Для бедного моего Пéтруша! Соловейко торопится: надобно шить и в праздники, не то улетит, не возьмет с собою Пéтрушу моих подарочков!». Все это я выведал от старой генеральшиной компаньонки, которой Джиорджино за пересказы строго и горячо выговаривал.

---

27 декабря. Теперь у русских святки:[44] все в доме и селе гадают, льют воск и олово, подслушивают у окошек, кормят петуха счетными зернами и пр. Гадают и про Джиорджино и его невесту... про нее, невесту Пронского! Есть минуты, в которые жалею, что в роще Эгерии я застрелил того разбойника... Слава богу, здесь не найдешь бравó, который бы...

---

28 декабря. Старушка-компаньонка лила олово самому Пронскому. Меня, разумеется, хотели уверить, что это одна шутка; но вылилось что-то очень похожее на гроб: мадам Перепелицына смешалась и побледнела, генеральша улыбнулась, однако задумалась и не скоро одолела невольное уныние. Один Джиорджино был необыкновенно весел, шутил, задирал девушек своей матери, переряжался, ребячился, как школьник, как дитя...

Странно только то, что ему (он почти вовсе не пьет) вздумалось распить со мною бутылку крепкого вина, и не за здоровие своей невесты, и что во весь вечер видимо избегал встретиться глазами с моими глазами. На прощание он пожал мне руку крепче обыкновенного.

---

1 января поутру.

О! я провел мучительную ночь!
Видений страшных, снов зловещих столько,
Столь грозный ужас наполнял ее,
Что вновь подобную перетерпеть,
Как верный христианин, не решусь,
Хоть тем купил бы веки дней счастливых!

* * *

«Не бойтесь, государь,
Теней!» — «Святой мне Павел! Нынче ночью
Сразили тени ужасом мой дух,
Каким вовек не поразят его
В доспехах бранных, Ричмондом ничтожным
Ведомых тьма и тьма живых мужей!»

Замеч. издателя. Этими стихами оканчивается первый небольшой отрывок из дневника несчастного Колонны, отрывок, который вместе с другим позднейшим, еще меньшим, составляет все, что уцелело из бумаг итальянца. В подлиннике стихи писаны размером versi sciolti:[а] мы передали их белыми ямбическими. В какой они связи с отметками, которые предшествуют, решить не беремся. Быть может, это только перевод знаменитых стихов из 1-го и 5-го акта Шекспирова «Ричарда III»: «O! I have pass'd a miserable night» [б] [45] и пр.

И: «Nay, my good lord, be not afraid of shadows».[в]

Быть может, в дневник они внесены просто на память. (Мы достоверно знаем, что Колонна занимался переводом Шекспира на язык итальянский)... Однако может быть и то, что тут намек на какой-нибудь страшный сон самого страдальца. Все это читатель сам решит по следующим ниже письмам особ, знавших его лично.

ПИСЬМО 13

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Село Прелёво 7 января.

С месяц, друг Владимир, я к тебе не писал. Между тем наступил Новый год... Шепни ты мне сам: чего пожелать тебе к новому году! Придумать не могу, чего бы тебе недоставало: ты добр и благороден, умен и здоров, красавец, пользуешься общим уважением, служишь счастливо

[а] белые стихи (*итал.*).
[б] О! я провел ужасную ночь (*англ.*).
[в] Милорд, не бойтесь призраков (*англ.*).

и хотя в богатстве несколько уступаешь братьям Ротшильдам, а в учености профессору Сенковскому, по крайней мере принадлежишь к тем счастливцам, которые ни в чем не нуждаются, к тем немногим русским молодым людям, которые схватили не одни верхи современной образованности. Разве пожелать тебе встретить на пути жизни такое же верное и чистое сердце, каково сердце нашей Надиньки? Но, Горич, Надинек на белом свете очень немного; тебя, брата ее, заклинаю: влюбись в девушку хоть несколько на нее похожую или же вовсе не влюбляйся! С сердечным, почти благоговейным трепетом я вижу, как приближается минута, которая соединит мою жизнь с ее жизнью, душу мою с ее душою... Матушка, слава богу, совершенно выздоровела: через неделю ворочусь в Петербург, только уж не один, а со своей милой, доброй старушкою; она пламенно желает увидеть и прижать к груди своей избранную моего сердца, и тогда... Боже мой! прилив блаженных ощущений давит, душит меня; в одном уже ожидании я болен от избытка счастия; что же будет, когда в самом деле обниму в ней *свою*, вечно свою, свою и здесь, и за пределами гроба! Сказать ли тебе, Владимир? иногда мне кажется, будто не доживу до этого мгновения или по крайней мере не переживу его! Всякий, кто ожидает от судьбы чего-нибудь великого, становится суевером. Близкое мое счастье так восхитительно, что невольные страхи вкрадываются мне в душу. Ты знаешь, мой Владимир, что я не трус: не раз я глядел смерти в глаза; но *теперь* умереть я боюсь, умереть теперь, когда мне в ее объятиях предуготовлено небо на земле!.. Верно уж для того, чтоб заставить меня поплатиться за не заслуженное ничем блаженство, мысль о каком-то бедствии, мысль о гибели преследует меня. Борюсь с этими малодушными опасениями и надеюсь одолеть их, хотя они с некоторого времени и беспрестанно во мне возрождаются.

Всего более смущает меня, что и матушка что-то задумчива: и ее что-то тревожит! Мы таимся друг перед другом: при мне она разговорчива и весела; в одних только изъявлениях необычайной ко мне нежности обнаруживается что-то необыкновенное; она ныне как раз такая, какою была, когда снаряжала меня в поход в Турцию. Слов: вы, сударь, Юрий Львович, m-r de Pronsky, с акцентом на де, от ней почти никогда уже не слышу. Я опять стал для ней Юринькой; нередко она по-тогдашнему схватывает меня за голову и целует в лоб и в глаза; она вот и теперь, как тогда, любит рыться в волосах моих, любит их переглаживать, любит трепать меня по щеке. Матушка страстно любит французский язык: она знает его чуть ли не лучше русского; но теперь она со мною что-то все разговаривает по-русски и порою даже вмешивает в разговор чисто областные слова нашей родной Украйны. И откуда, братец, у ней, воспитанницы Смольного монастыря, берутся самые простонародные, самые задушевные выражения, такие, которые я слышал только в своем младенчестве и то от одной своей старой няни? При матушке я резов, шалун, ребенок: только в совершенном уединении, в своем тихом кабинете, перед портретом Надиньки, в долгие свои бессонницы, сижу иногда по целым часам молча, с трепетной молитвою в душе взволнованной...

Уж посмеемся же мы, милый друг, когда-нибудь с тобою вдвоем над этим глупым унынием, которому нет видимой причины! Ты сбереги, Володя, нынешнее письмо, пристыди им меня, когда в медовый наш месяц в третий или четвертый раз посетишь свою сестру и меня, счастливца, своего брата. Но до тех пор ни слова, всего менее ей, моей Надиньке! Целую тебя.

P. S. Приложенное здесь письмо ты сам лично свезешь к князю Б...; оно касается нашего Джиованни, в котором и ты принимаешь же участие, потому любишь меня и дорожишь всем, что мне дорого.

ПИСЬМО 14

Отставной гвардии ротмистр Пронский к князю Б..., полномощному посланнику его величества короля обеих Сицилий

7 (19) января.

Светлейший князь,
Милостивый государь.

Спешу отвечать на письмо от 23 декабря (4 янв.), которым вашей светлости угодно было почтить меня. Вы, по-видимому, изво́лите принимать живое участие в молодом художнике, римском подданном, проживающем в моем доме, и подробно расспрашиваете об его поведении, занятиях, образе мыслей. Г-н Джиованни Колонна — артист самых редких дарований и человек души прямо благородной. Не смею догадываться, по чьим внушениям ваша светлость входите в такие подробности в своих расспросах о нем; желаю верить, что тому причиною одна природная наклонность ваша обращать внимание на все необыкновенное и прекрасное, а не вмешательство и наущения людей непрошенных и некстати услужливых. Предметом же подозрений и опасений каких бы то ни было г-н Колонна никоим образом и ни в каком случае быть не может. Далее ваша светлость, кажется, изволите полагать, что г-н Колонна у меня на жаловании в силу какого-нибудь изустного или даже письменного обязательства... Напротив: я считаю себя у него в долгу; согласясь не из каких-нибудь видов, а единственно по усиленной моей просьбе и приязни ко мне последовать за мною в Россию и жить со мною под одной кровлею, он тем оказал мне такую честь, за которую я никогда не буду в состоянии воздать ему достойно; а принять на жалованье гения, в котором легко, быть может, воскреснет для Италии Рафаэль Санцио, — не мне, простому русскому дворянину. Между тем считаю священным долгом благородного человека поручиться вашей светлости словом русского дворянина и верноподданного императора, государя моего, что г-н Колонна выехал из Италии не по политическим каким-нибудь причинам,

в чем может удостоверить вас и правительство его святейшества, высокого союзника государей моего и вашего. После всего здесь сказанного излишним было бы распространиться о поведении, характере и правилах такого человека, каков г-н Колонна. Он совершенно предан своему искусству; для него одного он живет и дышит. На короткое только время отвлекли его от его любимых занятий новые впечатления в первые месяцы его бытности в России; но теперь его гений проснулся: он опять принялся за кисть и палитру. Я еще не видал картины, которую он пишет; но сужу по той, которая в прошлом году была украшением римской выставки, и ожидаю чего-нибудь превосходного. Считаю себя наперед счастливым, что в моем доме создастся творение, которым, вероятно, будет гордиться XIX столетие, столь поныне еще бедное картинами, истинно гениальными; а вашу светлость, просвещенного любителя искусств, смею, как итальянца, наперед поздравить с тем, что вскоре прибавится новый прекрасный листок к лавровому венку, украшающему чело вашего отечества. С глубочайшим почтением и пр.

ПИСЬМО 15

Глафира Ивановна Перепелицына к титулярной советнице Лукерье Петровне Сковрода в Полтаву

Село Прелёво 12 января.

Завтра, ma cousine, мы с генеральшей отправляемся в Петербург: Юрий Львович и Иван Иваныч Колонна уехали еще вчера. Свадьба Юрия Львовича с Надеждой Андреевной Горич решительно назначена в последнюю неделю мясоеда. Генеральша еще в рождество писала к дворецкому, чтоб он велел очистить и непременно к тому времени убрал по приложенным рисункам сызнова bel étage в большом доме на Английской набережной. Рисунки самого Юрия Львовича: прелесть, ma chère! Я уверена, что и m-r Колонна не нарисовал бы лучше. Мебель велено заказать у Гамбса: рококо; это теперь опять очень в моде в Париже. Обои в спальне темно-зеленые, в уборной gris de lin,[а] в гостиной голубые, в кабинете ponceau,[б] в салоне и столовой бледно-фиолетовые с золотом; прихожую и швейцарскую выштукатурить под мрамор; окна везде цельные зеркальные; дерево употребить самое дорогое — не помню уж, каких названий. Вся меблировка обойдется тысяч в 70, с прибавкою. Денег не велено жалеть и, как можно, более поторопиться. Одни только собственные покои генеральши останутся совершенно в том виде, в каком были при покойном Льве Петровиче; их никогда и не отдавали внаем, а запирали и берегли на случай приезда

[а] серовато-голубые (*франц.*).
[б] темно-красные (*франц.*).

в город самой старухи или сына. Впрочем, молодые — идея довольно странная! — намерены тотчас после венца уехать на дачу: там они проживут до самого разгара масленицы. В четверг на масленой у них в городе большой бал, в субботу сделают все визиты, а в воскресенье — бал. Вот вам, ma bonne cousine, и новости!

Сердечно радуюсь переезду в Петербург: мне, право, надоела ваша Полтавская губерния, а пуще знаменитое село ее высокопревосходительства — Прелёво! Село Прелёво — и зимою, куда, кажется, и ворон костей не заносит, потому что соседи почти вовсе перестали к нам ездить! Они как-то при Аграфене Яковлевне слишком связаны, им что-то слишком при нас неловко, хотя, впрочем, Пронская, сколько может, старается приноровиться к ним и быть с ними ласковою. К нам не ездят, а мы подавно. Если даже случится дело, отправляем к вашему мужу письмецо на имя губернатора — и оно во сто раз действительнее сотни личных свиданий, просьб и поклонов других искателей. Итак, и в Полтаву не для чего, тем более что сам губернатор у нас непременно два раза в год бывает, чтоб засвидетельствовать нам свое почтение... После того сиди себе с больною старушкой с утра до вечера, играй с нею в пикет, корми ее моську, перечитывай в сотый раз романы Вальтера Скотта и вечную «Федру» Расина, а для разнообразия, пожалуй, гадай хоть в карты или лей о святках олово... Куда как весело! A propos: мы и в самом деле нынче о святках лили олово, разумеется, для одной шутки. Я было и отговаривала Аграфену Яковлевну: «Судьба де Юрия Львовича известна, а нам, сударыня, вам на 65, мне на 54 году, уже не выйти же, кажется, замуж». Генеральша до упаду хохотала моей выдумке, да настояла на своем, и я должна была вылить олово Юрию Львовичу. Вы меня, ma cousine, знаете: я вовсе не суеверна, но скажу вам по секрету: ведь бедному Юрию Львовичу вышло... ах! ma chere, страшно и сказать что!.. Представьте: гроб, ну настоящий гроб, а вдобавок Адамова голова и крест! Конечно, это все пустяки: да если (от чего боже упаси!) случится что-нибудь... Вообще скажу вам, ma bonne Лукерья Петровна, мы что-то все смотрим не по свадебному, а сумасшедшая Настюшка, которую знаете, городит такой вздор, что и разобрать трудно: «Свадьба, — говорит она, — свадьбушка на славу; будет тут и люминация. На свадьбу-то уж даром, взяли бы Настюшку с собой хоть на люминацию! студено Настюнке: погреться хочет!».

После отъезда Юрия Львовича я девок при себе заставила убирать и мести в комнате итальянца. Ах! Лукерья Петровна! какие я тут страсти нашла!.. Нажаловалась я вам на скуку прелёвскую, а надеюсь, вы все не усомнитесь в беспредельной моей преданности добрейшей Аграфене Яковлевне и несравненному Юрию Львовичу, которого я просто обожаю, — Je l'adore, ma chère! [a] Я ведь у них в доме выросла да и постареть успела; Юриньку я нянчила, и учила азбуке, и за уши-то дирала, а теперь бог привел его, моего голубчика, видеть мне молодцом и

[a] Я его обожаю, моя милая! (*франц.*).

красавцем, словно брат мой (дай бог ему царствие небесное!) Степан Иванович; да Юринька теперь и жених, и невеста его, говорят, такой же, как он, ангел! Эта-то именно и преданность собственно и заставила меня писать к вам, Лукерья Петровна. Вы, хотя меня и помоложе, да дела-то лучше моего знаете; к тому же и Матвей Матвеевич ваш, даром что только титулярный советник, — делец, скажу вам без лести, каких немного, секретарь — правая рука губернатора. Не знала я только, как начать: почему и написала вам предварительно много пустяков, много вовсе ненужного; а то, ma chère, что осталось мне вам досказать, по моему глупому разумению, — совсем не пустяки: ведь им, моим милым, право, угрожает опасность, и все от этого страшного итальянца, которого Юрий Львович (бог его ведает зачем!) с собою возит! Мы, изволите видеть, убирали в его комнате. Девки вытащили из-за печки несколько покрытых паутиной и слоем пыли свертков и лоскутов толстой александрийской бумаги. Гляжу: с полдюжины эскизов картины, которую писал или по кр. мере собирался у нас написать m-r Колонна. Никто ее в доме не видал: только с самого нового года он для этой картины запирался на 8 и более часов в сутки. Юрий Львович строго-настрого заказывал всем нам не мешать итальянцу, не прерывать, как говорил, вдохновения своего друга... Славное же, признаться, вдохновение! Да и друга-то Юрий Львович сыскал себе редкого! Полюбопытствовала я пересмотреть эти начерки, набросанные на бумагу карандашом и тушью. Что же, ma chère? Везде одно и то же с небольшими только переменами: Каин убивает Авеля; Каин, как две капли воды, сам m-r Колонна, а Авель, Авель, ma pauvre cousine,[а] Авель — кто бы вы подумали? — наш Пронский, наш добрый, милый, единственный Юрий! Сцена на горе: облака тумана поднимаются из пропасти и опоясывают гору; в этих облаках или, лучше сказать, вместо их — какие-то чудовищные хари. Из них одна как раз похожа на того серого человека, о котором при вас, помните, в Николин день вечером рассказывал Юрий и которого причудливый профиль[б] тут же на карточке начеркнул

[а] моя бедная кузина (*франц.*).

[б] *Замеч‹ание› издателя.* Читателям, которым любопытно узнать еще кое-что о загадочном сером человеке, мы предлагаем следующее известие и небольшую выписку из письма нашего друга la jeunesse к его приятелю Теодору. Начнем с выписки: «Nouvelle bonne à savoir! ‹Приятная новость! (*франц.*)›. Ведь серый человечек, который три раза являлся Наполеону, а именно накануне взятия Аркольского моста, перед египетскими пирамидами и в самый день битвы при Ватерло, проживает здесь, в Дрездене. Говорят, он большой ворожея и предсказатель, точно наша мамзель Ленорман. Отправлюсь к нему спросить: женюсь ли я на девице Розе... Был я у этого проклятого жида; сам он ко мне не вышел, а выслал хозяина, сапожника, да вот еще с каким ответом, что-де я ветеран старой гвардии „der sehr grosser Narr“ ‹большой дурак (*нем.*)›. Я с тобой с мерзавцем разделаюсь!». Действительно, la jeunesse выпросил у Пронского в зачет своего жалования три талера для ночного, как выразился, предприятия. Пронский, не предвидя тут ничего опасного, дал ему деньги. La jeunesse все три талера превратил в три бутылки рейнвейну и, выпив их для подкрепления сил душевных, отправился ночью в Фридрихштадт, чтобы поколотить Граумана, но, к своему край-

нам Колонна. Другая образина еще ужаснее: и сатану я не в силах вообразить себе страшнее и отвратительнее. Серый будто бы указывает ему на Каина; демон протягивает к братоубийце руку длинную, костлявую и, кажется, хочет стащить его с утеса. На одном лоскутке по другую сторону носится чуть-чуть видная фигура какого-то арфиста: арфист закрывает себе лицо рукою и, по-видимому, плачет. На другом эскизе видно что-то очень похожее на старого капуцина, а с ним призрак прекрасного юноши: оба они, сдается, хотят схватить Каина за поднятую уже с палицей руку. На третьем, между прочим, тень римского, кажется, полководца в лавровом венке, в латах, с жезлом консульским. Слова: somno orribil, somno di inferno [a] — несколько раз написаны на полях, а на втором еще что-то, но зачеркнуто. Впрочем, потрудитесь с Матвеем Матвеевичем сами рассмотреть эти рисунки: я их при сем к вам препровождаю; и, если рассудите, что по ним можно заключить о каком-нибудь злодейском умысле итальянца насчет Пронского, пусть Матвей Матвеевич скажет о том губернатору, который, я уверена, доведет все до сведения правительства, а там уж примут надлежащие меры для спасения почтенного семейства от предприятий того, кто недаром земляк всех тех мрачных злодеев, которые, ma chère, в нашей молодости нас так пугали в страшных романах г-жи Ратклиф.[47] Прощайте, ma cousine, обнимаю вас и детей ваших; Матвею Матвеевичу мое искреннее почтение. Пишите ко мне, пожалуйста, поскорее, да особенно, что обо всем об этом скажет Матвей Матвеевич.

P. S. Не считаю нужным предварить вас, что генеральша ничего не знает о письме моем.

ПИСЬМО 16

Титулярный советник Сковрода к маиорской дочери Глафире Ивановне Перепелицыной

Полтава 18 января.

Милостивая государыня
Глафира Ивановна!

Жена сообщила мне почтеннейшее письмо ваше от 12 января. Вы изволите изъявлять в нем лестное для меня мнение, что могу подать вам хороший совет в щекотливом деле, тут изложенном. Вот почему и принимаю смелость сам отвечать вам вместо Лукерьи Петровны, которая

нему изумлению и ужасу, он не только дома, где жил фигляр, но и улицы его найти не мог; пробродил всю ночь и на рассвете очнулся, дрожа от усталости и холода, перед гостиницей, где жил Пронский. Здесь он проспал весь день, а на другой с своим барином отправился в Россию: вот как Грауманн избавился от обещанных ему побоев.[46]

[a] сон страшный, сон адский (*итал.*).

поручила мне сказать вам искреннее свое почтение и просить, чтобы вы ее на сей раз великодушно извинили: у нас, доложу вам, также затевается свадебка; крестница кузины вашей Пашенька Федерштрих, дочь короткого моего приятеля Густава Карловича, губернского стряпчего, выходит за молодого человека отличных качеств и хорошей фамилии, гарнизонной артиллерии поручика Перепалкина Афанасья Николаевича, того самого, который в последний ваш приезд в Полтаву во время ярмонки с вами у нас обедал и имел счастье заслужить ваше внимание. Мать невесты — покойница, а потому все хлопоты и пали на мою Лукерью Петровну, так что у ней, право, голова кружится: минуты нет свободного времени. Вдобавок Лукерья Петровна по преданности к вам слишком увлекается вашими опасениями, чтобы судить о них хладнокровно и беспристрастно. Эти опасения делают честь вашему и ее сердцу. Между тем, хотя я человек простой и без притязаний на обширный ум и глубокие сведения, хотя и в другом чем, вероятно, и не был бы в силах оспаривать даму столь проницательную и просвещенную, как вы, милостивая государыня, однако же в настоящем случае надеюсь убедить вас в несправедливости ваших подозрений. Не говорю уже о том, что на них никоим образом нельзя основать донос, не подвергаясь неминуемому и строгому взысканию от начальства, от людей же праздных и злословных насмешкам и обвинению (простите мне жестокость этого выражения) в подысках и ябедничестве. Люди мы с Лукерьей Петровной небольшие, и буде в самом деле и пользуюсь некоторым к себе благоволением его превосходительства, то имел счастье приобресть таковую милость единственно прилежанием и усердием к пользам службы, преимущественно же скромностью и устранением себя ото всего, за что могли бы взять на замечание как человека нраву беспокойного.

Итак, милостивая государыня, ради бога не гневайтесь, а я вас, как добрую приятельницу и близкую нам родственницу, покорнейше и нижайше прошу, дабы и впредь не изволили требовать ни моего, ни Лукерьи Петровны участия в делах, которые до нас совершенно не касаются и которых важности и опасности Лукерья Петровна, как женщина, конечно, не понимает, но в которых ни я, ни она, с моего согласия, никоим образом вам помочь не можем. Да и вам, как друг и человек, несколько знающий законы, я, Глафира Ивановна, советовал бы все это оставить. Вы, без сомнения, насчет господина живописца Колонны ошибаетесь. Он осыпан милостями Юрия Львовича, а ведь известно, что и собака не кусает того, кто ее кормит и ласкает. (Извините, что я тут так просто выразился.) Как же предполагать, чтобы человек такого отличного воспитания мог ненавидеть своего благодетеля или (что и вымолвить страшно) чтобы желал даже его смерти. А что до картины: *Смерть Авеля*, то это одна игра воображения. Поверьте, что оно истинно так, да и быть не может иначе. Покрывать Ивана Ивановича мне не из чего: он мне ни брат, ни сват; а ежели всю правду сказать, не вправе ожидать от меня и особенно дружеского расположения: спесивый, извольте сами знать, такой, что нашему брату и головой кивнуть порядочно не хочет;

между тем мы хоть люди не знатные, а все-таки служим богу и государю верой и правдою, состоим в капитанском чине, имеем крестик св. Станислава 4-й степени и пряжку за беспорочную 30-летнюю службу, не то что какой-нибудь иностранец.

Но — как бы то ни было — Варвара мне тетка, а Правда — сестра: подозревать г-на живописца в злодейском умысле единственно по приложенным картинкам никак невозможно. В свободное от службы время люблю заглядывать в современные (как нынче выражаются) издания, особенно после хорошего обеда, лежа у себя в кабинете на диване и запивая кофейком со сливками трубку жу́ковского.[48] Это, скажу вам, сударыня, исти̂нное наслаждение: тут попеременно и читаешь, и дремлешь, и узнаешь разные диковинки: про пятипольное хозяйство напр., или про железные дороги и чугунные дома и паровые машины да про сиамских близнецов, и как г-н Булгарин, несмотря на то что ругал г-на Полевого в продолжение десяти почти лет в каждом листке своей газеты, всегда питал к нему, Полевому, глубокое уважение, всегда восхищался его выспренними дарованиями, а тем паче ныне ими восхищается, когда Полевой стал его товарищем в одной и той же спекуляции по части книжной промышленности.[49] Все это, милостивая государыня, крайне удивительно и заманчиво; читаешь и словно опять переносишься во дни своего детства и слушаешь сказку старушки-нянюшки, как в некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик, а у того старика было трое сыновей; двое умных, а третий — дурак, и пр. Крайне, повторяю, удивительно и заманчиво, да не менее и назидате́льно. Очень я благодарен г-ну полтавскому исправнику, что снабжает меня иногда этими книжками и листочками, хотя сам их не выписываю, потому что, признаться, считаю неприличным человеку солидному тратиться на пустяки.

Да не о том дело!

Прочел я, между прочим, не помню уже где, историю про какого-то живописца же Спинелло:[50] эта история как раз пояснит вам все странное и необыкновенное в рисунках его товарища по ремеслу, г-на Колонны. Представьте, сударыня: Спинелло написал образ св. архангела Михаила, и что же? попираемому архистратигом дьяволу придал, не зная того и сам, черты своей невесты! Не скажете же вы тут, что он ненавидел девицу, с которой только что еще сбирался вступить в законный брак? Добро бы, если бы она была уже его сожительницей, а то возможно ли и предполагать, чтоб он хотел надругаться над тою, которую, по достоверным сведениям, страстно любил, будучи и сам любим ею взаимно? Г-н сочинитель истолковал все это весьма остроумно и удовлетворительно: Спинеллово воображение, говорит он, день и ночь было занято лицем бесценной ему девушки; вот почему это лице и легло противу воли его под его кисть, когда вздумал он представить духа тьмы, не на стать другим живописцев, отвратительным чудовищем, а существом страшным, но вместе и прекрасным. Что-нибудь подобное, вероятно, случилось и с вашим господином живописцем Колонною. Каков бы он ни был, нельзя,

полагаю, отнять у него преданности к Юрию Львовичу; быть может, эта преданность даже живее, чем думаем. Обожаемой им красавицы мы за ним не знаем, да и трудно вообразить, чтобы была таковая у человека, совершенно посвятившего себя тому искусству, которое дает ему хлеб насущный. Пронский посему должен быть самое главное, а если судить по угрюмому нраву и нелюдимости живописца, может быть, единственное существо, к которому Колонна привязан. Ничего нет мудреного, что именно потому и написал он ветхозаветного мученика похожим на Юрия Львовича. Так легко статься может, что самого себя изобразил в лице своего Каина потому только, что в тайне собственного гордого сердца самому себе шепчет: «От Пронского отстою, как Каин от Авеля». Вдобавок по побочным фигурам видно, что все это аллегория, хотя несколько и темная: напр., демон и страшный призрак с ним рядом изображают, кажется, растерзанную угрызениями совесть Колонны, римский воин в лавровом венке — его честолюбие, арфист — любовь к изящным художествам, юноша и капуцин — добрые начала, которые борются в нем с дурными наклонностями и которых не вовсе же лишен человек и самый порочный и пр. Чувствую, Глафира Ивановна, что я взялся не за свое: иной, пожалуй, скажет, что не мне быть истолкователем произведения искусства, которое навсегда осталось мне чуждым. Но о творениях живописи, ваяния, зодчества, даже стихотворства может же, кажись, судить всякий, одаренный рассудком и некоторым вкусом: это ведь не то, что занятия более важные и полезные, в которых встречаются и запутанности, и затруднения, и вопросы казусные и требуется основательное знание форм и законов. В искусствах, напротив, нужен один навык, а не тщательное изучение и труды постоянные и всегдашние.

Знавал я во время своего служения в Петербурге кое-кого из этих господ сочинителей, которых теперь более величают поэтами и литераторами: ни один из них не умел написать порядочную деловую бумагу, да и судить о достоинстве таковой не был в состоянии. Между тем наш брат смело судил и рядил и спорил о картинах Шебуева, Егорова и Кипренского, о бюстах и статуях Мартоса и Демута, о стихах Ив. Ив. Дмитриева, Крылова и Жуковского, а в случае надобности под веселый час сумел бы сложить и песенку, небось не хуже их... Единственно нелицемерная дружба к вам, милостивая государыня, и ревностное желание успокоить вас заставили меня приняться за перо и пуститься в рассуждения о предмете, право, того не стоящем. Ваше собственное редкое благоразумие подает мне надежду, что успею в своем намерении. За сим нижайше прошу вас поручить меня благосклонной памяти милостивцев моих Аграфены Яковлевны и Юрия Львовича, за здоровие и благоденствие коих не перестаю денно и нощно взывать со всею семьею к милосердому господу; вместе же примите уверение в моем совершенном высокопочитании и готовности к услугам, с чем и имею честь быть, милостивая государыня, и пр.

Замеч‹ание› издателя 1. Это письмо получено г-жею Перепелицыною уже после страшной катастрофы, которую она предупредить хотела. Глафира Ивановна дрожащею рукою отметила внизу: «Бездушный трус! не на одной душе изверга Колонны смерть твоих благодетелей... Зачем не родилась я мужчиною? Я бы знала, как отвратить опасность от головы тех, кого люблю! недаром я дочь храброго майора Перепелицына: о! зачем не родилась я мужчиною?».

Замеч‹ание› 2. Здесь, кстати, сообщим последний отрывок из дневника Колонны. Тут, особенно под конец, заметно возраставшее помешательство ума, доведшее его напоследок до того зверского неистовства, которое... Но пусть читатель потрудится добраться до последней страницы нашей повести! Здесь мы только укажем на очень любопытный психологический факт: временное сумасшествие Колонны, которое, впрочем, едва ли может служить ему перед человеческими законами в извинение, потому что было плодом произвольной необузданности страстей, тем не менее не подлежит, кажется, никакому сомнению. Что же? невзирая на это, мономан Колонна судит обо всем, что только чуждо погубившей его страсти, не только здраво, но даже с проницательностию и глубокомыслием. Такова, например, его отметка о дуэли, хотя, по-видимому, она написана с тем, чтобы послужить ему поощрением к преступлению ужасному и бесчестному. Говоря о Сведенборге, Колонна утверждает, что знаменитый духовидец был маниак, перенесший в свое сумасшествие всю холодную последовательность строгой методы, всю диалектику здравого рассудка. Самому Колонне суждено было перенесть все это не в простое сумасшествие, а в бешенство, превратившее наконец его в совершенное чудовище.

ВТОРАЯ ВЫПИСКА ИЗ ДНЕВНИКА ДЖИОВАННИ КОЛОННЫ

20 января. Я ее опять увидел, увидел ее тогда, когда вскоре все должно между нами кончиться, так или иначе... Свадьба их назначена через 10 дней... Уехать? Покинуть ее? Должно! Я погибну — это так, а ведь обличу во лжи все страхи монаха, недоверчивость недостойного Филиппо, мрачные предсказания дрезденского фигляра, обличу во лжи и тебя, страшное, адское сновидение! Человек свободен: он не раб предопределения. Кальвинисты лгут: чувствую, что могу спасти по крайней мере душу свою, — только бы захотеть: да откуда взять это *хотение*? Разве принесть эту кровавую жертву, хотя бы только для того, чтоб не перестать уважать самого себя?.. Да точно ли *он* достоин этой ужасной жертвы? Он должен

же что-нибудь и для меня сделать: должен по крайней мере отложить свою ненавистную свадьбу: да! отложить ее, покуда я не выехал! Одна уж мысль, что она в моих глазах отдается другому, в моих глазах начнет телом и душою принадлежать другому, — эта мысль, эта мысль приводит меня в совершенное бешенство, толкает мне в руку нож убийцы!.. Придраться бы к чему-нибудь? вызвать его на поединок? Ради самого дьявола, к чему же придерусь я? Он обходится со мною как друг, как брат, так благородно, так нежно, что тут есть с чего в отчаяние прийти!

21 января. Я бросил в огонь свою гадкую картину. Когда холст стал корчиться и свертываться на пылающих углях, тогда там в камине образовалось что-то похожее на горящий дом. Мне стало будто легче, когда сгорела картина. NB. Рожа Агасвера испепелилась последняя. Завтра буду говорить с Джиорджино. Только — если согласится — признайтесь же, что он ее не любит! Я бы и за царствие небесное не согласился отложить блаженство обладать ею: а я, кажется, верующий христианин, добрый католик!

22 января. Приготовления к свадьбе продолжаются. Я еще не мог решиться объясниться. Завтра! А между тем ему с каждым днем труднее будет назад.

23 января. Все кончено... Под выдуманными именами (себя я назвал испанцем Родериго, его — французом Адольфом) пересказал я ему всю нашу историю, выговорил требование испанца и дребезжащим от волнения голосом спросил: «Как поступил Адольф?». — «Адольф — отвечал Пронский с расстановкою, не сводя с меня унылого взора, — Адольф принужден был, чтоб не показаться подлецом и трусом, двумя днями раньше назначенного обвенчаться с своею невестою». Итак, синьор Пронский, чтоб не показаться чем-нибудь, вы прольете муки ада в грудь того, кого называете своим другом? Напоследок же вы противу меня неправы... и... и... все между нами кончено!

24 января. Вчера, и третьего дня, и всякий раз с приезду нашего, сряжаясь к Горичевым, он приглашал меня с собою. Сегодня мы сидели вместе в его кабинете: ему, видимо, было что-то неловко; он встал, взял шляпу и, дошед до дверей, надевая уже шубу, вдруг будто что-то вспомнил, оглянулся и спросил: «Amico mio, пойдешь ли со мною? иду к Горичевым». В другие раза я почти всегда отказывался, но тут, не отвечая ни слова, отправился вслед за ним и провел у них весь вечер. Он обходился с нею во все время с нежностью, но осторожно, как будто опасался раздражить меня. Напротив, она была с ним необыкновенно ласковою, ласкалась к его матери, сажалась рядом с ним, сжимала ему руки и притом

быстро и смело на меня взглядывала... Corpo di Bacco![а] она надо мной издевается! Не пришлось бы только раскаяться, не пришлось бы только ей *оплакивать* свое безвременное торжество?..

25 января. После моего рассказа про Родериго и Адольфа у меня есть по крайней мере какая-нибудь причина завязать с ним ссору, хоть вроде тех, что французы называют querelles d'Allemand.[б] Но чем же ссора и дуэль лучше того, что бродит в душе моей? Дуэль не то же ли убийство? В моих глазах даже разбойник, который зарежет путешественника, чтоб обобрать его, менее виновен поединщика. Разбойнику хоть то служит кое в какое извинение, что решается на дело кровавое, почти всегда увлеченный крайностию: нужда, голод, дурное воспитание, сила пагубных примеров, озлобление, загрубелость души, отчаяние — вот что объясняет злодейства разбойника; тут по крайней мере есть какая-то логика, что-то понятное. Но принадлежать к высшим слоям общества, мастерски владеть собою, когда того требует тщеславие, не увлекаться страстьми, не быть под увлечением ни мщения, ни корыстолюбия, порою пользоваться и неотъемлемою, на самом деле доказанною славою бестрепетного воина, — а такая слава могла бы же, кажется, дать право пренебречь варварским предрассудком, когда вдобавок стоишь на такой степени просвещения, что можешь судить о всей нелепости этого предрассудка, — нередко еще не по одному крещению, а по убеждению сердца называться христианином, — быть всем этим и между тем (повторяю: не из жажды мщения, напротив, иногда разрываясь от сострадания и скорби) нарушить все законы божии и человеческие, с пистолетом в руке стать в 5 шагах противу того, кого любишь и уважаешь, и застрелить его спокойно, хладнокровно, как бы ты застрелил бешеную собаку... И для чего? для того только, чтобы какой-нибудь дурак или подлец, которого от души презираешь, не мог сказать, что ты не соблюл сумасбродных условий какой-то чести! Не говорите же вы, европейцы, что вы лучше людоедов или что вы не идолопоклонники! Ваш идол, ваш Молох эта чудовищная честь: ей лучший из вас готов принесть в жертву совесть, душу, самого бога! «Но поединщик смотрит смерти в глаза». А разве не смотрит ей в глаза и разбойник, да еще какой? — мучительной, поносной, на народной площади! Что бы я ни замышлял, а Пронского не вызову на поединок. Если уж губить душу свою, не хочу губить ее так пошло и глупо.

26 января. Теперь я опять бываю счастлив, и счастлив несказанно. Ведь я начинаю жить двойною жизнию: в одной я ненавижу, терзаюсь, мучусь; в другой люблю — и, боже мой! — любим, да еще как любим! пламенно, с самоотвержением, с самозабвением! в этой другой жизни я

[а] Черт побери! (*итал.*).
[б] ссора из-за пустяков (*франц.*).

роскошствую, блаженствую, утопаю, исчезаю, уничтожаюсь в восторгах невыразимого наслаждения! Зато когда очнусь — ад со всеми своими фуриями, со всеми своими пытками в груди моей, изнемогающей и раздавленной.

27 января. Сумасшествие... А как вы думаете, синьоре Малатеста: ведь этим счастливым сумасшедшим можно бы и вашему брату, рассудительному человеку, несколько позавидовать? О! прости мне, мой бедный Филиппо, верный, добрый ты друг моей ненасытной юности! ужели я, неблагодарный, вздумал издеваться над тобою? На коленях, со слезами умоляю: прости мне!

28 января. Послезавтра они венчаются... «To be, Гуильельмо Шекспир, — to be or not to be?».[a] Есть минуты, когда мне кажется, что у меня тут в голове не совсем в порядке. Ночь моя проходит или совсем без сна, или наполненная сновидениями об ней. Бывают изредка и другие, да только страшные: так, напр., недавно я был диким, голодным зверем и грыз другого зверя, а этот был — Пронский. Я проснулся от боли: гляжу — левая рука моя вся в крови; я сам изгрыз ее зубами. Днем я везде вижу ее одну. Я ее и теперь, в эту самую минуту, вижу, как будто живую; взгляните: вот она тут, а вот опять там подалее! хотите ли? расскажу вам малейшую подробность ее наряда!.. Вчера, уже очень поздно, без шляпы, без шубы очнулся я на кладбище: пришел я в себя от холодного прикосновения черепа к губам моим, а ведь мне казалось, что целую ее! Как я попал на кладбище, не знаю. Я взбесился на Пронского, что не зовет меня к Горичевым; потом мне мелькнула мысль: «Отчего мне и одному не сходить к ним? Прежде я ведь к ним хаживал и без Джиорджино». Потом уже ничего не помню, кроме ее ангельского образа, который, впрочем, уж никогда со мною не разлучается. Был ли я у них, нет ли? Верно только то, что я с нею разговаривал, и много, и долго, и дружески... Да только с самою ли с нею, с настоящей, живою Надиной, с гордой невестой Джиорджино Пронского? Или же с милым, прелестным ее двойником, который меня не презирает, не боится, который жалеет меня?.. Если судить по взору ласковому и меланхолическому — он и теперь еще мне видится, или по звуку ее мелодического голоса — он и теперь еще звучит в ушах моих, — это был двойник: сама Надина ведь любит Пронского; она никогда не была и не может быть со мною так ласкова, так ко мне сострадательна. Однако тут точно был Уальдемаро Горич, да и маленькая Вера о чем-то рыдала. С кладбища меня привезли Пронский и мой Бернардо. Пронский сегодня спал в моей комнате: перед рассветом я проснулся — две горячие капли упали мне на руку; Джиорджино стоял на коленях у постели моей, целовал мою руку и плакал. Это все хорошо; он точно славный

---

[a] Быть или не быть? (*англ.*).

человек: да только отчего же Адольф не отложил своей свадьбы? Представьте же себе: ведь зверский испанец в самую брачную ночь сожег их! да, сожег Адольфа и Надину в их загородном доме! Это случилось в 1-м льё от Парижа, в 1636-м году, когда во Франции царствовал Луиджи XIII. Испанца колесовали: и прекрасно! Дураки же эти московские варвары, что перестали колесовать испанцев!

29 января. Смейтесь, ради бога! мне сегодня пришла идея самая сумасбродная: я, клянусь вам самим Вельзевулом, я самый, известный вам испанец Родериго, несколько раз уже колесованный и четвертованный за то, что люблю жечь женихов с невестами, — я было сегодня вздумал молиться, как, бывало, маливался дурак Джиованни Колонна, которого скучная история давно уже кончилась. Спасибо, вечный жид и мадам Перепелицына стали выплясывать менуэт à la reine: я расхохотался до упаду и бросил это ребячество. А уж меня никто не разуверит, чтобы нельзя было и в русский мороз согреться при хорошеньком пожаре, особенно когда они... О! я бы разорвал их когтями! Not to be, не так ли, Гуильельмо Шекспир?

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ

31 января. В самую полночь с вчерашнего на сегодняшнее число проживающий на даче графа С... крепостной его человек Андрей Потехин, вышед случайно из дому, увидел зарево по направлению Выборгской дороги. Он немедля дал об этом знать в часть. Примерная исправность столичной пожарной команды всем известна; но пожар случился в 3 верстах за заставою на даче вдовы генерала от инфантерии Пронского, и, когда приспели трубы, было уже поздно. Прекрасный дом г-жи Пронской сгорел, а, к несчастью, в нем соделались жертвою пламени единственный ее сын, отставной гвардии ротмистр Пронский, и молодая ее невестка, урожденная Горич, которые в этот самый день только что сочетались браком. Полиция схватила близ самого дома проживавшего в доме Пронских римского подданного Ивана Колонну. Собственное его признание не оставляет никакого сомнения, что он был злоумышленным виновником этого страшного преступления. Кроме несчастных Пронских погибла крепостная их девка Настасья Кравченко; все прочие спасены.

3 февраля. Сегодня скончалась в С.-Петербурге в собственном своем доме на Английской набережной всеми уважаемая за редкие свои добродетели вдова покойного генерала от инфантерии Льва Петровича Пронского Аграфена Яковлевна, урожденная княжна Сицкая.[51]



ПРИЛОЖЕНИЯ

Н. В. Королева, В. Д. Рак

ЛИЧНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ КЮХЕЛЬБЕКЕРА

1. Юность, странствия, творчество (1810-е — 1825 год)

Декабрист Вильгельм Карлович Кюхельбекер, выдающийся деятель русской культуры, поэт, прозаик, драматург, литературный критик, родился 10 июня 1797 г. в Петербурге.

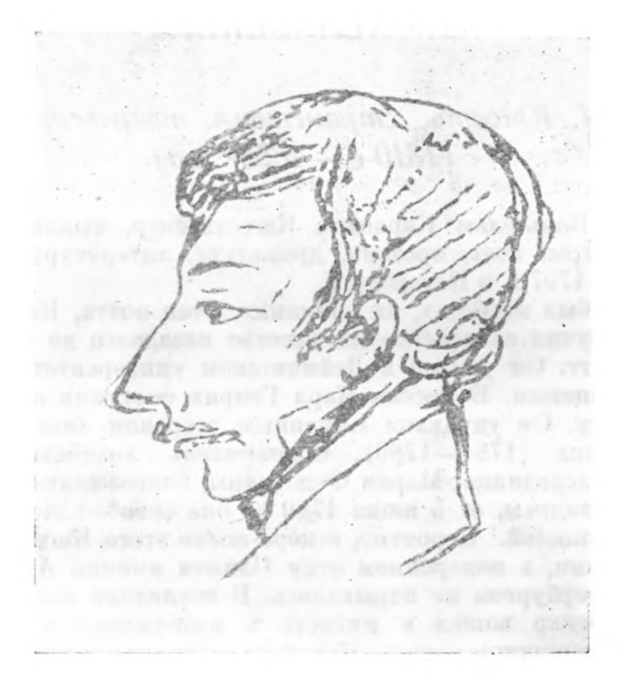
Род его не был ни богат, ни знаменит. Отец поэта, Карл Генрих Кюхельбекер, получил саксонское дворянство незадолго до переезда в Россию, в 1770-х гг. Он учился в Лейпцигском университете одновременно с Гете и Радищевым. В России Карл Генрих поступил на службу к наследнику Павлу. Он управлял Каменным островом, был первым директором Павловска (1781—1789). Сохранились хозяйственные письма к нему жены наследника, Марии Федоровны, благожелательные и дружелюбные. В последнем, от 5 июня 1789 г., она освобождает его от директорских обязанностей.[1] Вероятно, вскоре после этого Кюхельбекеры поселились в Эстонии, в подаренном отцу Павлом имении Авинорм. Однако связи их с Петербургом не порывались. В последние годы жизни Павла Карл Кюхельбекер вошел в милость к императору и чуть было не сделался временщиком, как Кутайсов. Этому помешало убийство Павла I.

Семья несостоявшегося фаворита не была богата. После смерти отца, скончавшегося в 1809 г. от чахотки, было продано имение Авинорм, заботы о семье — о матери, сестре и двух братьях взяла на себя старшая сестра Юстина Карловна Глинка, жена Григория Андреевича Глинки, профессора русского языка и литературы Дерптского университета (1803—1810), с 1811 г. ставшего помощником воспитателя при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах. Семья Глинок, в которой было шестеро детей, жила в Петербурге и Павловске, летние месяцы проводила в наследственном имении Закуп Духовщинского уезда Смоленской губернии, с которым связаны светлые воспоминания юности поэта.

---

[1] Русская старина, 1870, март, с. 249.

Глинки позаботились о том, чтобы братья Михаил и Вильгельм и сестра Юлия получили лучшее по тому времени воспитание: Михаил окончил Морской кадетский корпус, Юлия — училище ордена св. Екатерины, Вильгельм, учившийся с 1808 г. в немецком пансионе Бринкмана в эстонском городе Верро, в 1811 г. по рекомендации дальнего родственника семьи М. Б. Барклая-де-Толли был принят в Царскосельский лицей, вновь созданное учебное заведение для подготовки чиновников высшего управленческого аппарата царской России.



В. К. Кюхельбекер (рис. А. С. Пушкина).

Учеба в Лицее была важнейшим событием в жизни будущего декабриста. Здесь он сформировался как поэт и мыслитель, здесь он обрел дружеский круг, который останется ему дорогим на протяжении всей жизни. Особенно близко сошелся Вильгельм с Пушкиным и Дельвигом.

Воспоминания лицеистов той поры сохранили много свидетельств о странностях Вили, Кюхли, Клита (лицейские прозвища Кюхельбекера). Вспыльчивость, рассеянность, глухота Вильгельма (десяти лет от роду он тяжело болел и потом всю жизнь страдал припадками глухоты) вызывали насмешки, пародии, эпиграммы, а иной раз и грубые шутки острых на язык шалунов. Однако незаурядная эрудиция, знание языков, ориги-

нальность суждений завоевали ему уважение товарищей. Уже в лицейские годы Вильгельм отличался удивительным трудолюбием. Выписки из немецкой, французской, античной, даже турецкой поэзии, чтение исторических и философских книг, занятия историей, восточными языками, фольклором — вот далеко не полный перечень интересов молодого лицеиста. Он завел себе огромную тетрадь, в которую сначала сам, а потом и с помощью друзей заносил все, что представляло интерес в самых различных областях знания. «Наш словарь», — назвал Пушкин эту обширную, дошедшую до наших дней рукопись.[2]

В эти же годы начинается сближение Кюхельбекера с будущими декабристами. Вместе с Дельвигом он становится гостем и участником «Священной артели» — одной из ранних декабристских организаций.

В Лицее Кюхельбекер начинает писать стихи — на русском и немецком языках. Немецкий язык не был забыт в семье Кюхельбекеров, мать его до смерти говорила только по-немецки; русский язык стал для будущего поэта родным с рожденья. «... до шести лет я не знал ни слова по-немецки, природный мой язык — русский: первыми моими наставниками в русской словесности были моя кормилица Марина да няньки мои Корниловна и Татьяна», — писал он 9 июля 1835 г. племяннику Николаю.[3] В 1815 г. в журнале «Амфион» печатаются первые стихотворения Вильгельма.

После окончания Лицея Кюхельбекер поступает летом 1817 г. одновременно с Пушкиным в Главный архив Иностранной коллегии, где служил и Грибоедов. С этого же года он начинает преподавать русскую словесность в младших классах Благородного пансиона при Главном педагогическом институте, там же является гувернером, кроме того, имеет нескольких частных учеников и активно продолжает литературную деятельность. Директор Лицея Е. А. Энгельгардт, внимательно следивший за жизнью своих воспитанников, с удовольствием писал: «Кюхельбекер живет как сыр в масле; он преподает русскую словесность в меньших классах вновь учрежденного Благородного пансиона при Педагогическом институте и читает восьмилетним детям свои гекзаметры: притом исправляет он должность гувернера, <...> притом присутствует очень прилежно в Обществе любителей словесности и при всем этом еще в каждый почти номер „Сына отечества“ срабатывает целую кучу гекзаметров».[4]

Кюхельбекер активно сотрудничает в журналах, выступая как поэт, критик и публицист. Он член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и завсегдатай литературного салона Софьи Дмитриевны Пономаревой.

---

[2] См.: *Мейлах Б. С.* «Словарь» В. К. Кюхельбекера. — В кн.: Декабристы и русская культура. Л., 1976, с. 185—204.

[3] См.: *Тынянов Ю. Н.* В. К. Кюхельбекер. — В кн.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. VII.

[4] Там же, с. XVI.

Крепнут и тираноборческие, вольнолюбивые воззрения Кюхельбекера. С 1819 г. он сначала член-сотрудник, потом действительный член Вольного общества любителей российской словесности, в котором председательствовал Ф. Н. Глинка, декабрист, один из самых активных членов



А. А. Дельвиг (рис. А. С. Пушкина).

Союза благоденствия. В Вольном обществе Кюхельбекер 22 марта 1820 г. прочел стихи в честь высылаемого из столицы Пушкина. Его имя попало в донос, поданный министру внутренних дел Кочубею, и поэт с полным основанием ожидал, что гроза, разразившаяся над Пушкиным, не минует и его. Друзьям и самому поэту очевидно, что ему надо на время уехать из Петербурга. К тому же ослабляются его связи с Благородным пансионом: «Утешения, которые я до сих пор еще встречал в моей здешней жизни, оставили меня. Молодые люди, которые выросли на моих глазах, которых научил я чувствовать и мыслить, оставили мой класс и перешли в высший», — писал Кюхельбекер Жуковскому,[5] прося его о поддержке.

[5] Русский архив, 1871, № 2, стб. 0173.

По совету Жуковского он пишет прошение ректору Дерптского университета о месте профессора русского языка,[6] 9 августа 1820 г. увольняется в отставку из Иностранной коллегии и оставляет Благородный пансион. В это время Дельвиг предлагает ему поехать за границу с богатым вельможей А. Л. Нарышкиным в качестве его секретаря и собеседника, и Кюхельбекер с восторгом соглашается, предвкушая погрузиться в бурную атмосферу европейской «борьбы народов и царей», какой представляется ему атмосфера Европы 1820 г.

Путешествие продолжалось около года. Выехав из Петербурга 8 сентября 1820 г., Кюхельбекер в августе 1821 г. возвратился в столицу. Эти одиннадцать месяцев в жизни поэта насыщены приключениями, событиями, встречами. Неутомимый, любознательный путешественник иногда подвергался нешуточным опасностям: плывя морем в Ниццу, например, он едва не был выброшен в море.[7]

В конце марта Кюхельбекер в Париже. Встречаясь со знаменитыми публицистами, учеными, литераторами, он и сам становится заметным явлением в культурной жизни французской столицы. Впервые русский писатель публично знакомит французов с литературной жизнью своей страны. Во влиятельном антимонархическом обществе «Атеней» Кюхельбекер читает лекции о русском языке и литературе. До нас дошла лишь одна из этих лекций, и мы не знаем, сколько их было прочитано. Но уже в первой из них явственно звучит политический радикализм лектора, протестующего против крепостного права и деспотизма, упрекающего Петра I, который «опозорил цепями рабства наших землепашцев».[8]

Лекции обратили на себя внимание властей. «Положение Кюхельбекера стало небезопасно, — писал недоброжелательный современник, поручик Семеновского полка П. Ф. Гаккель, — он должен был оставить Париж. Очень трагичен был его уход с кафедры. <...> Во время речи у него была привычка время от времени пить; в экстазе он схватил вместо стакана лампу, которая стояла перед ним, облил себя маслом, обжег себе стеклом от лампы руки».[9]

Пронесся даже слух об аресте Кюхельбекера. Встревоженный Нарышкин отказался от услуг своего секретаря.

Существует глухое указание, что Кюхельбекер собирался принять участие в борьбе греков за освобождение от турецкого ига. «Государь... полагал его в Греции», — писал А. И. Тургенев Вяземскому.[10] Однако планы эти не осуществились, и в обществе поэта В. И. Туманского Кюхельбекер через Варшаву воротился в Петербург. Некоторое время он тщетно пытается найти себе какое-нибудь занятие, затем влиятельные друзья с лич-

---

[6] *Кюхельбекер В. К.* Письмо ректору Дерптского университета. 1820. Рукописная копия Ю. Н. Тынянова. — ЦГИАЛ, ф. 2224, оп. 1, д. 124.

[7] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 154.

[8] Литературное наследство, т. 59. М., 1954, с. 380.

[9] Там же, с. 346.

[10] См.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968, с. 324.

ного согласия Александра I устроили опального поэта на службу к всесильному «проконсулу» Кавказа А. П. Ермолову. В сентябре 1821 г. Кюхельбекер выезжает в Тифлис. На Кавказе возобновилось его знакомство с А. С. Грибоедовым, быстро перешедшее в горячую дружбу. Грибоедов навсегда останется для него самым близким по литературным взглядам писателем и самым дорогим человеком. На глазах Кюхельбекера создавалось «Горе от ума», и позже он с гордостью называл себя первым читателем бессмертной комедии.

Пребывание на Кавказе тоже оказалось недолгим. Кюхельбекер дал пощечину дальнему родственнику Ермолова Н. Н. Похвисневу. Состоялась дуэль, и 26 апреля 1822 г. последовало прошение об отставке «по причине болезненных припадков». Ермолов выдал ему уклончивую характеристику: «...по краткости времени его здесь пребывания мало употребляем был в должности и потому собственно по делам службы способности его неизвестны».[11] Есть сведения, что Ермолов имел «тайное приказание извести Кюхельбекера». Во всяком случае поэт поссорился со своим покровителем. Прежние похвалы Ермолову, защитнику вольности, сменяются негодующими филиппиками:

Проклят, кто оскорбит поэта
Богам любезную главу...[12]

1822 и первую половину 1823 г. Кюхельбекер провел у своей сестры Юстины в имении Закуп. Здесь он познакомился с «угнетением истинно ужасным, в котором находится большая часть помещичьих крестьян». «Говорю не по слухам, — объяснял он позднее Следственному комитету, — а как очевидец, ибо живал в деревне не мимоездом».[13] Кюхельбекер много пишет, думает об издании журнала, который даст ему возможность жить литературным трудом.

К этому же времени относится увлечение Авдотьей Тимофеевной Пушкиной. Кюхельбекер хочет жениться на любимой девушке, но отсутствие службы, полная материальная необеспеченность заставляют его несколько раз откладывать свадьбу, так и не состоявшуюся до 14 декабря 1825 г.

30 июля 1823 г. Кюхельбекер приехал в Москву. Здесь вместе с В. Ф. Одоевским при поддержке Вяземского и Грибоедова он принимается за издание альманаха «Мнемозина». Первая часть его имела потрясающий успех. «Подписка идет в Москве хорошо, — сообщает издатель родным, — расходы по первой части покрыты: в кассе у нас сейчас 1300 рублей остатка, и мы ожидаем из Грузии еще 1500 руб. ...Я собираюсь отпечатать еще до 600 экземпляров первой части; а остальных частей сразу 1200».[14]

---

[11] См.: *Тынянов Ю. Н.* В. К. Кюхельбекер, с. 186.
[12] См.: Лирическое стихотворение. Анализы и разборы. Л., 1974, с. 11—13, 19.
[13] Восстание декабристов. Материалы, т. 2. М.—Л., 1926, с. 166.
[14] См.: *Тынянов Ю. Н.* В. К. Кюхельбекер, с. 190.

Однако вскоре начались неудачи. Следующие книжки альманаха не имели того успеха, как первая. «Мнемозина» систематически запаздывала с выходом: последняя, четвертая, часть за 1824 г. была разослана подписчикам лишь 22 октября 1825 г.[15] Материальные дела Кюхельбекера пошатнулись. Он вынужден жить журнальным заработком, получая работу у своих недавних противников, Греча и Булгарина. Он даже живет летом 1825 г. на квартире у Греча.

Снова, в который раз, пытается Кюхельбекер найти службу, занять прочное положение: то просит мать похлопотать через княгиню Барклай о месте в Министерстве финансов у Е. Ф. Канкрина, то мечтает получить место профессора русского языка и словесности в Эдинбурге и начинает учить английский язык, то, рассчитывая на рекомендации А. С. Шишкова и И. М. Муравьева-Апостола, собирается занять должность профессора литературы при морском ведомстве в Крыму.

Ни одному из этих планов не суждено было осуществиться. Пылкий, восторженный, республикански настроенный Кюхельбекер сближается с Рылеевым и Бестужевым. «Что за прелестный человек этот Кюхельбекер», — писал Рылеев Пушкину в апреле 1825 г.[16]

Кюхельбекер живет на одной квартире со своим новым другом, поэтом Александром Одоевским, принятым в тайное общество в мае 1825 г. 10 сентября 1825 г. на дуэли с аристократом флигель-адъютантом Новосильцевым был тяжело ранен член Северного общества двоюродный брат Рылеева К. П. Чернов. 26 сентября состоялись похороны этого молодого человека, превратившиеся в грандиозную манифестацию. На могиле Кюхельбекер пытался прочесть свое стихотворение, исполненное революционного пафоса, столь характерного для предгрозовой атмосферы конца 1825 г.:

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым.[17]

Буквально перед самым восстанием, «несколько дней спустя по получении известия о смерти государя», т. е. в последних числах ноября или первых декабря, Кюхельбекер был принят Рылеевым в Северное общество. По существу это был лишь формальный акт, который, вероятно, и сами Кюхельбекер с Рылеевым рассматривали как символический обряд приобщения единомышленника к тайному братству накануне решительных действий.

---

[15] *Гирченко И. В.* «Мнемозина». — Декабристы в Москве. Труды Музея истории и реконструкции Москвы, вып. VIII. М., 1963, с. 153.

[16] См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 13. М.—Л., 1937, с. 168.

[17] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 207. Полемику об атрибуции стихотворения Кюхельбекеру и литературу вопроса см. там же, с. 628. См. также: *Глассе А.* Проблемы авторства В. К. Кюхельбекера. — Русская литература, 1966, № 4, с. 145—149.

Свое присоединение к декабристам Кюхельбекер уже во время следствия объяснял следующими причинами, свидетельствующими о давнем, хорошо обдуманном характере принятого им решения:

1. Злоупотребления и взятки государственных служащих.
2. «Угнетение истинно ужасное» крепостных крестьян.
3. Упадок торговли и промышленности.
4. Развращение нравов в простом народе.
5. Недостатки воспитания и образования дворянства.
6. Невежество простого народа.
7. Притеснения цензуры.
8. Республиканские убеждения («желание представительного образа правления»).[18]

Наступил день 14 декабря. День бурной деятельности Кюхельбекера, навсегда вписавший его имя в историю России. Кюхельбекер оказался одним из самых активных участников восстания, что не преминули отметить судьи из «высочайше учрежденного Следственного комитета»: «...в день происшествия вы так много суетились и такое деятельнейшее принимали участие в предприятии членов тайного общества, что успевали быть в разных полках, сзывать членов общества и действовать на Петровской площади».[19]

14 декабря началось для Кюхельбекера запиской Рылеева, полученной около 8 часов утра. У Рылеева были уже Пущин и Штейнгель. Кюхельбекеру сообщили о начале восстания. Он должен был отправиться на площадь и принять участие в демонстрациях в пользу Константина. Пока, таким образом, роль его предполагалась самая незначительная, но темпераментный Кюхельбекер, нервный, легко возбудимый, неудержимо вовлекался в самую гущу событий. «...росту высокого, сухощав, глаза навыкате, волосы коричневые, рот при разговоре кривится, бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат и ходит немного искривившись, говорит протяжно»[20] — так «умно и метко» описал его полицейским Ф. В. Булгарин на следующий день после роковых событий.[21] Щегольски одетый — «в круглой шляпе, в новой темно-оливкового цвету шинели с бобровым воротником и с серебряной застежкой»[22] — Кюхельбекер представлял собою заметную, хорошо запомнившуюся многим фигуру.

Начинался поздний зимний петербургский рассвет: в этот день солнце восходило в самом начале десятого.[23] Площадь была еще пуста. Близ Адмиралтейства Кюхельбекер встретил Александра Одоевского, возвращавшегося с ночного дежурства во дворце. Было уже около 10 часов

---

[18] Восстание декабристов, т. 2, с. 166—167.
[19] Там же, с. 160.
[20] Литературное наследство, т. 59, с. 543.
[21] См.: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 468, 785.
[22] Восстание декабристов, т. 2, с. 174—175.
[23] *Нечкина М. В.* Движение декабристов, т. II. М., 1955, с. 262.

утра. Одоевский отдал ему один из своих пистолетов, заткнутый шомполом, обвернутым зеленым сукном. Этот пистолет потом фигурировал на многих страницах следственного дела.

События быстро разворачивались. У Рылеева Пущин горячо рассказывал о волнениях в Морском гвардейском экипаже, о восстании Москов-



И. И. Пущин (рис. А. С. Пушкина).

ского полка. Кюхельбекера посылают в Морской экипаж. Видимо, он должен выяснить, что там происходит, воспламенить солдат. На крыльце Экипажа его встретил Цебриков и как посланнику из центра на ходу бросил: «Enflammez!».[a]

Из Экипажа, наняв извозчика, Кюхельбекер едет в Московский полк. Время приближалось к полудню. Он отчаянно торопил извозчика, заставляя его погонять «дурную и старую лошадь», в конце концов у Синего моста сани перевернулись и опрокинули его в снег. Пистолет выпал из кармана, в него попал мокрый снег. Ничего не узнав у москов-

[a] «Воспламеняйте!» (*франц.*).

цев и не попав снова в Экипаж, Кюхельбекер пешком дошел до площади и присоединился к восставшим. Это произошло между часом и двумя.

Руководители восстания были очень обеспокоены отсутствием диктатора. «Где же Трубецкой?» — взволнованно спрашивал Пущин. Кюхельбекер попытался найти исчезнувшего предводителя. Он бросился в дом Лаваля и, ничего не узнав, вернулся в мятежное каре.

Какой-то человек «небольшого роста, смуглый, худощавый, с виду лет за сорок» подошел к Кюхельбекеру. Назвавшись предводителем толпы, окружившей восставшее каре, он упоминал об оружии, у него собранном, о саблях и прочем и брался это оружие доставить. Неизвестный предводитель очень заинтересовал Следственный комитет, однако Кюхельбекер мало что мог о нем припомнить. Этот загадочный эпизод так и остался непроясненным. Но, очевидно, кипучая деятельность Кюхельбекера, его порывистость, высокий рост привлекали к себе особое внимание.

Когда к восставшим подъехал великий князь Михаил, брат царя, и начал уговаривать войска разойтись, Кюхельбекер выстрелил в высокопоставленного посланца. Намокший в снегу пистолет дал осечку. Спустя некоторое время Кюхельбекер стрелял, и снова безрезультатно, в генерала Воинова. Около трех часов на площади был смертельно ранен полковник Стюрлер. Среди людей во фраках со шпагами и пистолетами, которые преследовали Стюрлера, был и Кюхельбекер.

За час до разгрома он принял участие в избрании Оболенского диктатором, руководителем восстания.

Начинало смеркаться. Около четырех часов раздались пушечные выстрелы, и картечь рассеяла восставших. Среди тех немногих, кто пытался остановить бегущих и продолжать борьбу, был Кюхельбекер. Он хотел построить солдат и повести их на штыки: бегство казалось ему постыдным. Однако попытка не удалась. «Ведь в нас жарят пушками», — отвечали солдаты.

Когда совсем стемнело, Кюхельбекер, бросив пистолет у Исаакиевского собора, прошел мимо караула семеновцев. Переодевшись в нагольный тулуп, он вместе со своим слугой Семеном Балашовым в ту же ночь ушел из Петербурга.

Несколько дней он прожил у своего дальнего родственника П. Лаврова в имении Горки Псковской губернии,[24] затем отправился в Закуп к любимой сестре Юстине. Она снабдила изгнанника и его слугу паспортами и всем необходимым, и он направился в Варшаву, чтобы уйти за границу. Его схватили 19 января 1826 г. в Варшаве. После первых допросов на месте пленник был препровожден в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, и для Кюхельбекера навсегда закончилось столь бурно начатое общественное бытие.

---

[24] См.: *Дейч Г. М.* Розыски Кюхельбекера в Псковской губернии в декабре 1825 г. — Литературное наследство, т. 59, с. 541—546.

2. Суд, тюрьма, ссылка

Поведение декабристов на следствии с декабря 1825 по июнь 1826 г. имело и общие, так сказать, «родовые черты», обусловленные классовой дворянской принадлежностью первых русских революционеров, и черты индивидуальные, оттенки, определенные степенью личной стойкости, личным представлением о дворянской чести. Все подследственные откровенно и подробно рассказывали о себе — о том, как они пришли к «пагубному образу мыслей», что сформировало их убеждения и каковы они. Все они хотели блага России, хотели помочь угнетенному несчастному народу — и рассказывали честно о том, какими способами они собирались это сделать. Казалось бы, рассказывать об этом врагам не было ни резона, ни смысла. Но в том-то и состоял парадокс первых шагов в формировании дворянской революционной мысли и тактики, что и сановники, ведшие следствие, и царь Николай I были не только врагами, но и «своими», людьми, с которыми еще вчера декабристы мирно встречались во дворце, в гостиной, на службе, в театре. Их разделяли убеждения, однако ненавидеть зло самодержавия и обличать его в гневных речах на собраниях единомышленников было явно легче, чем ненавидеть и убивать конкретных носителей этого зла, из которых отнюдь не все были Аракчеевыми и Бенкендорфами. Убить Александра I, предавшего вольнолюбивые идеалы первых лет своего царствования, казалось справедливее и легче, чем убить ничего не предававшего, так как он ничего еще и не обещал, нового царя Николая.

14 декабря на Сенатской площади лицом к лицу, в открытой борьбе, встретились члены одного клана, представители одного класса, и революционеры потерпели поражение. Теперь делом дворянской чести было для них достойно нести свой крест: правдиво признаваться в умыслах, рассказывать о цели, которая была высокой и святой, еще раз напомнить о горестном положении народа и о творящихся в России беззакониях. Принцип тайны общества, принцип революционной конспирации вступал в явное противоречие с понятиями дворянской правдивости и дворянского честного слова. Между тем враги оставались врагами, следователи были умны, и, сказавши «а», приходилось говорить «б»: рассказав об умыслах и о цели общества, надо было отвечать и на вопросы о его участниках — кто вовлек в общество тебя, кого принял ты сам, кто и что, где и кому говорил о необходимости убийства царя и царской фамилии, что и от кого было известно о дне и ходе восстания. Кто побуждал выступать войска? Кто стрелял на Сенатской площади? В кого? Сам стрелял или по чьему-либо наущению?

Скупо, с оглядкой на то, что уже было явно известно царю и следователям, называли имена товарищей по обществу И. Д. Якушкин, И. И. Пущин, братья Бестужевы, Никита Муравьев, С. И. Муравьев-Апостол. Гораздо подробнее вынуждены были отвечать руководители Северного общества С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Многословно каялся, вспоминая все новые и новые имена и подробности, П. Г. Каховский.

В. К. Кюхельбекер был пойман и привлечен к следствию почти на месяц и две недели позже остальных, однако и ему были заданы все те же вопросы: что побудило его вступить в тайное общество, кто его принял, как сложился его образ мыслей и кого еще из членов общества он знает. На первый вопрос он отвечал чрезвычайно подробно; на второй — показал, что его принял в тайное общество Рылеев, подчеркнув при этом, что Рылеев не доверился ему полностью: не объяснил всех задач и планов заговорщиков, не назвал количества сил и имена других участников заговора, так как основное правило общества — «чтобы новопринятый знал одного принявшего и никому не открывался».

Такая позиция позволяла Кюхельбекеру не называть имена друзей.

Следственной комиссией это было замечено сразу и поставлено ему в вину: «Вы показали, что согласились на предложение Рылеева вступить в число членов тайного общества, но будто бы не разделяли личных мнений его и не знали членов общества. Несправедливость сего показания сама по себе очевидна... Итак, отвечайте откровенно».

Кюхельбекер отвечал откровенно, но рассказывал не о товарищах по обществу, а о свойствах собственного пылкого характера: «С первого взгляду, конечно, всякому покажется невероятным показание мое о моем присоединении к тайному обществу без предварительного знания всех или большей части членов оного. Но да обратят внимание на личный характер мой, на характер человека, который — признаюсь к моему стыду — почти вовсе не жил в настоящем мире и никогда не помышлял о сетях и опасностях, его окружающих, человека, который всегда увлекался первым сильным побуждением и никогда не помышлял о пагубных для себя последствиях своих малообдуманных поступков».[25] Очерчивая круг своего общения в период членства в обществе, Кюхельбекер ловко перемежает имена истинных декабристов именами Греча, Булгарина, Измайлова, Жуковского, Карамзина, Козлова, Сомова, Яковлева, барона Корфа, купцов Кусовых, в доме которых был домашний театр, и даже «госпожи Ярославовой, коей имени и отчества не упомню».

Такую линию поведения диктовало Кюхельбекеру его представление о чести. Между тем над головой поэта сгущались тучи. После показаний Каховского многим участникам восстания был задан вопрос: «Видели ли вы, как Кюхельбекер 1-й раздавал пистолеты и целил в великого князя и генерала Воинова? Скажите, кто побуждал его к тому, кто и что именно произносил при сем случае? Сколько у него было пистолетов и кому он роздал их?».

Пистолет у Кюхельбекера был один, но то, что он стрелял, видели многие. 24 мая 1826 г. вопрос был задан Петру Бестужеву: «Каховский, между прочим, говорит, что во время происходившего на Петровской площади неустройства коллежский асессор Кюхельбекер покушался убить его высочество Михаила Павловича и генерала Воинова, но что вы удержали Кюхельбекера в первом случае, и он, Каховский, — в дру-

[25] Восстание декабристов, т. 2, с. 159, 163.

гом. После сего, взяв у него пистолет, Каховский ходил будто бы стрелять в великого князя, но между тем ссыпал с полки пистолета порох и возвратил Кюхельбекеру, сказав солдатам, чтобы они не давали стрелять. Кюхельбекер снова пошел стрелять в генерала Воинова, но, возвратясь к Каховскому, говорил ему: „Какое несчастие, пистолет все осекался". Сверху того, Каховский говорит, что ввечеру после происшествия, 14 декабря, Рылеев при вас упрекал, зачем не убили его высочество. В сем случае Комитет требует откровенного, по совести и без малейшей утайки, показания вашего». Петр Бестужев, до этого не упоминавший в своих показаниях о Кюхельбекере, вынужден подтвердить рассказ Каховского: «В это самое время, когда его высочество Михаил Павлович подъехал к фронту и уговаривал солдат, стоял я за вторым взводом Гвардейского экипажа и внимательно слушал слова его. В сию самую минуту, чрез правое плечо мое, сзади выставился пистолет, направленный прямо в великого князя; я оглянулся, это был Вильгельм Кюхельбекер. Первое мое движение было отвести его руку, сказав: „Кюхельбекер! Подумайте, что вы делаете?". Он посмотрел на меня, не отвечал ничего, спустил курок, но пистолет осекся. После сего видел я действительно, что Каховский взял пистолет от Кюхельбекера и ссыпал с полки порох; но вскоре Кюхельбекер опять хотел стрелять в генерала Воинова, но пистолет опять осекся <...> Прежде не говорил я ничего о сем поступке г. Кюхельбекера потому, что видел в нем не злого человека, но энтузиаста, который в чаду непонятного ослепления мог сделать преступление. И, откровенно признаюсь, никогда никому не открыл бы сего, но теперь... искренно жалею об нем! Он был добродетельный, чувствительный безумец».[26]

Глубокое сострадание, прозвучавшее в заключительных фразах показаний мичмана Бестужева, было вполне своевременно: показания Каховского ставили В. Кюхельбекера в ряд опаснейших преступников. Приговором суда он был отнесен к первому разряду виновных, заслуживших смертную казнь отсечением головы. По ходатайству великого князя Михаила Павловича смерть была заменена двадцатью годами каторги и пожизненным поселением в Сибири. Затем каторга заменена пятнадцатью годами одиночного тюремного заключения, сокращенными потом до десяти лет.

Из числа оставленных в живых декабристов страшнее этой судьбы была, пожалуй, только судьба Г. С. Батенькова, проведшего в одиночной камере Алексеевского равелина более двадцати лет.

«Тот, кто не испытал в России крепостного ареста, не может вообразить того мрачного, безнадежного чувства, того нравственного упадка духом, скажу более, даже отчаяния, которое не постепенно, а вдруг овладевает человеком, переступившим за порог каземата. Все его отношения с миром прерваны, все связи разорваны. Он остается один перед самодержавною, неограниченною властью, на него негодующею, которая может делать с ним что хочет, сначала подвергать его всем лишениям, а потом

[26] Восстание декабристов. Документы, т. 14. [М.], 1976, с. 323—325.

даже забыть о нем, и ниоткуда никакой помощи, ниоткуда даже звука в его пользу. Впереди ожидает его постепенное нравственное и физическое изнурение; он расстается со всякой надеждой на будущее, ему представляется ежеминутно, что он погребен заживо, со всеми ужасами этого положения»,[27] — так писал впоследствии Н. В. Басаргин, пробывший в одиночном заключении немногим более полугода, а затем около полутора лет — в общей камере с товарищами по судьбе, в ожидании отправки в Сибирь. Об «отдаленнейшей пустыне», где бы только можно было видеть свет и дышать воздухом, молил царя пять лет безвыходно заключенный в полутемную камеру Батеньков. «...в лучшие годы жизни удаленный от света, в разлуке с родными, со всем тем, что есть драгоценного в мире, один с тяжелою тоскою и ужаснейшим раскаянием заключен в 4 стены, где нет существа живого, которое бы усладило мою горесть, мое раскаяние, — вот моя участь!» [28] — горестно писал П. А. Бестужев через полтора месяца одиночного заключения.

Кюхельбекеру предстояло провести в одиночестве десять лет. 25 июля 1826 г. он был вывезен из Петропавловской крепости в Шлиссельбург, в октябре 1827 г. переведен в Динабург, где содержался до 15 апреля 1831 г.; затем с 19 апреля по 7 октября 1831 г. он был заточен в Вышгородском замке г. Ревеля и, наконец, с 14 октября 1831 по 14 декабря 1835 г., т. е. по день освобождения, четыре года и два месяца провел в тюрьме г. Свеаборга.

«Долгие осенние и зимние вечера и нескончаемые ночи особенно утомительны в заключении. Я это испытал на себе. Без движения хорошего сна не могло быть, тем более что грудная боль и ломота в ногах не позволяла мне оставаться долго в одном положении. Как ни любил я чтение, но целый день и в особенности вечер при тусклом свете тоненькой сальной свечи или вонючего ночника читать постоянно было невозможно»,[29] — так писал Басаргин. Для Кюхельбекера чтение и письмо были единственным занятием в течение десяти лет — занятием ежедневным и любимым, даже если приходилось читать журнал тридцатилетней давности, английскую грамматику или собрания лютеранских проповедей. Это кончилось слепотой в возрасте сорока шести лет; однако это же позволило Кюхельбекеру создать собственный литературно-критический журнал, каким по сути дела явился его дневник — замечательный духовный памятник декабристской эпохи, автор которого по праву может быть назван самым образованным и начитанным среди декабристов.

Только в течение трех с половиной лет из десяти, в Динабургской крепости, у Кюхельбекера были собеседники. Комендант Динабургской крепости генерал Егор Криштофович, родственник соседей Кюхельбекеров и Глинок по Закупскому имению, помещиков Криштофовичей, на-

---

[27] *Басаргин Н. В.* Записки декабирста. — В кн.: Своей судьбой гордимся мы. Декабристы в Сибири. Иркутск, 1973, с. 8.

[28] Восстание декабристов. Документы, т. 14, с. 322.

[29] *Басаргин Н. В.* Записки декабриста, с. 19.

вещал узника сам и не препятствовал его общению с офицерами Динабургского гарнизона, среди которых были поэты П. П. Манасеин и А. А. Шишков, и с воспитанниками школы прапорщиков, горячо любящими литературу, — поляками Тадеушем Скржидлевским, Александром Понговским, Александром Рыпинским и др. Кюхельбекер был увлечен польской литературой, изучал с помощью своих юных друзей польский язык и польскую поэзию, а они в свою очередь преклонялись перед ним и восторженно отзывались о его творениях. «Не раз я с товарищем Александром Понговским или Тадеушем Скржидлевским, — вспоминает Рыпинский, — убегали из школы прапорщиков навещать его то в лазарет, то опять в тюрьму <...> Как ясный месяц блестит среди бесчисленного множества тусклых звезд, так и его благородное, бледное, исхудалое лицо с выразительными чертами выделялось сиянием духовной красоты среди огромной толпы преступников, одетых, как и он, в серый „мундир“ отверженных. Сильное и закаленное сердце, должно быть, билось в его груди, если уста, этот верный передатчик наших чувств, никогда ни перед кем не произнесли ни слова жалобы на столь суровую долю».[30] Рыпинский был не только почитателем, но и добровольным переписчиком произведений Кюхельбекера, — в частности, он переписывал для печати «прекрасную трагедию под заглавием „Шуйские“, из времен захвата Москвы Жулкевским». «... это произведение его почтенная мать должна была анонимно опубликовать в его пользу. Меня привлекло к нему то, что в этом произведении он наделил нашего великого полководца благородным характером, а еще больше то, что он привел дословный перевод с польского речи Жулкевского, взятой из исторических песен уважаемого ветерана польской литературы, которого мы в нашем обществе по заслугам почитаем (т. е. из «Думы о Станиславе Жулкевском» Ю. Немцевича, — *Н. К.*). В этой работе мы сами все ему помогали», — писал Рыпинский.

Кюхельбекер читает по-польски стихотворения Ю. Немцевича и Э. Одынца, жалеет, что у него нет в оригинале сонетов Мицкевича, ранее известных ему в прозаическом переложении П. А. Вяземского, а сейчас появившихся в «Московском телеграфе» (1827, № 4). В 1830 г. уехавший в Ригу Скржидлевский присылает в крепость новые стихи Мицкевича — Рыпинскому для Кюхельбекера — «пусть он с Вами их прочтет».[31] В этом же письме, переданном Кюхельбекеру нелегально, Скржидлевский сообщает ему лестный отзыв еще одного почитателя кюхельбекеровского творчества: «... я Вас всякой почти день вспоминаю с милым А. А. Бернгофом, стар<шим> учителем русской словесности Рижской гимназии. Дельвиг ему читал 17 июля сего года „Ижорского“, и он не

---

[30] Литературное наследство, т. 59, с. 515—516. Указание на «серый мундир отверженных» не вполне достоверно; Кюхельбекеру было разрешено носить собственную одежду. Либо арестантская одежда была на нем в первое время пребывания его в Динабурге, либо эта деталь введена Рыпинским для усугубления романтического колорита повествования.

[31] Декабристы и их время. Материалы и сообщения. М.—Л., 1951, с. 40—41.

опомнится поныне с восхищения и уверяет, что Вы только можете разделять славу с Мицкевичем! — А если бы он прочел „Давида“?».

Поэты П. П. Манасеин и А. А. Шишков в динабургский период своей жизни явно находятся под влиянием личности и эстетических пристрастий Кюхельбекера. Думается, что не без воздействия вкусов Кюхельбекера, в частности, его пристального внимания к Востоку и восточной поэзии, Манасеин выбирает для перевода балладу Мицкевича «Фарис» (1828) — о польском исследователе Востока, знатоке рукописей, языков и нравов арабских племен В. Ржевуском, известном под именем эмира Тадж-уль-Фахра. Отклик на этот перевод, как на уже знакомый узнику ранее, есть в дневнике Кюхельбекера за 1834 г. Прочесть этот перевод Кюхельбекер мог только в Динабурге — кстати, при публикации в «Сыне отечества» под текстом Манасеин сделал помету: «Мая 30 дня. К<репость> Динабург».

Возможно, что вкусы и знания Кюхельбекера определили и круг занятий другого поэта и его динабургского собеседника, А. А. Шишкова, — именно в Динабурге Шишков переводит А. Мицкевича (отрывок из «Конрада Валленрода»), а также начинает переводить немецких романтиков: З. Вернера, Кернера, Раупаха и в особенности Л. Тика («Фортунат», «Эльфы», «Белокурый Экберт», «Руненберг» и др.). Пьесы, переведенные им, изданы в 1831 г. в четырех томах под названием «Избранный немецкий театр». В предисловии Шишкова к «Фортунату» явно прослеживаются кюхельбекеровские идеи о национальных корнях литературы, о связи романтической эстетики с народным творчеством своей страны. Драматизированное стихотворение Шишкова «Эльфа» 1828—1829 гг. напоминает соответствующие сцены с Совой и Сильфами из 1-го действия кюхельбекеровского «Ижорского», которое как раз в эти же годы он писал и читал своим динабургским друзьям.

Итак, были собеседники, книги присылали друзья, «ссужала добрая генеральша Криштофовичева», доставали для Кюхельбекера офицеры Динабургского гарнизона.[32] Кюхельбекер ощущал себя в расцвете творческих сил, много писал и даже печатался — все это делало заключение сносным.

Перевод в Ревель, а затем в Свеаборг лишил Кюхельбекера почти всего — друзей, возможности нелегальной переписки, книг. Сразу по приезде в Свеаборгскую крепость арестант был подвергнут обыску. Генерал-адъютант А. А. Закревский, командир Отдельного Финляндского корпуса, запрашивал начальника Главного штаба графа А. И. Чернышева: «25 октября 1831 года № 32.

При обыске свеаборгским комендантом вещей *у доставленного* из Ревеля в Свеаборг 14-го числа сего октября на фрегате „Юнона“ по высочайшему повелению, сообщенному мне отношением г. Начальника Глав-

[32] В «Деле о государственном преступнике Вильгельме Кюхельбекере» хранится донесение о допросе полковника Ярмерштета, снабжавшего Кюхельбекера книгами из библиотеки Альберта Платте, графа Шлосберга (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 52). Здесь же имеется список книг, которыми пользовался узник.

ного морского штаба от 2-го мая сего года за № 55, *крепостного арестанта* гос. преступника *Вильгельма Кюхельбекера* найдено у него на разных диалектах 16 книг (в том числе одна библия), письма от разных лиц и черновые бумаги его сочинения: дневный журнал, комедия и другие мелочные записки; посему покорнейше прошу в<аше> с<иятельство> уведомлением: можно ли дозволить содержащемуся в одном из свеаборгских казематов преступнику Кюхельбекеру иметь при себе вышеозначенные книги и бумаги, хранящиеся впредь до разрешения у свеаборгского коменданта, который вместе с тем испрашивает предписания, позволено ли будет сему преступнику заниматься чтением и письмом».

Граф Чернышев немедленно доложил об этом запросе Николаю I и 29 октября 1831 г. из Москвы сообщал генералу Закревскому императорскую волю: «По докладу отношения в<ашего> с<иятельства> ко мне от *25-го сего октября* № 32 о книгах и рукописях, отобранных у крепостного арестанта Кюхельбекера, в Свеаборге содержащегося, Г<осударь> И<мператор> высочайше повелеть соизволил возвратить ему сии книги и рукописи и дозволить ему заниматься чтением и письмом; но начальству крепости иметь строжайший надзор за всеми таковыми его занятиями».[33]

В результате настойчивых требований узника и «высокой» ведомственной переписки ему был сохранен смягченный тюремный режим, установленный в Динабурге: содержание в отдельной камере, освобождение от работы, право одеваться в собственную, а не арестантскую одежду и кормиться на собственные деньги.

В Ревеле через неделю после перевода из Динабурга, 25 апреля 1831 г., Кюхельбекер начал вести дневник. Он записывал в дневнике свои мысли, суждения о прочитанных книгах, размышления о литературе, истории, религии, рассказывал о собственном литературном труде, предназначая записи для себя, для друзей (позже — для сына Миши) и для читателей будущих поколений.

Однако размышления о литературе в дневнике не могли заменить живой беседы. Одиночество явственно вело к оскудению душевных сил. Трагическая безысходность судьбы оставляла одну надежду: на бога, на то, что испытания посланы заблудшей душе недаром, что эта душа избранная...

В Ревеле и Свеаборге Кюхельбекер видел регулярно только двоих людей — часового у двери и пастора, с которым мог беседовать лишь на религиозно-нравственные темы. Письма от родных приходили редко и только через официальные каналы. Смерть Дельвига (14 января 1831 г.) почти полностью уничтожила возможность печататься. Упала творческая активность. Большая часть лирических стихотворений Кюхельбекера этого времени обращена к богу: он просит у бога сил для смирения и незлобия, утешает себя тем, что все людские заблуждения и грехи заранее искуплены Христовой кровью, напоминает богу о том, что его за-

[33] ОР ГПБ, ф. 859 Шильдера Н. К., к. 18, № 4, л. 40, 48.

дача, «нас скорбью растерзав», уврачевать растерзанное сердце и послать скорбящему отраду. Знаменательно, что ни разу в дневнике не встречается надежды на смягчение участи или сокращение срока заточения царской милостью...

Освобождение пришло неожиданно — указом от 14 декабря 1835 г., на пять лет раньше, чем ожидал узник. К сожалению, не сохранилось ни дневниковых записей, ни писем Кюхельбекера последних дней заточения, когда он узнал и пережил радостную новость. В январе 1836 г. он уже доставлен в Баргузин, место поселения брата Михаила. Первые его письма отсюда — 12 февраля 1836 г. А. С. Пушкину, 13 февраля — племяннице Наталье. Первое литературное произведение, написанное на свободе, — переложение притчи Гердера «Венец небесный» — о юной монахине, прослывшей в своем монастыре юродивой, о которой игуменья говорит с презрением, что она их «почти бесчестит»: «самый низкий труд ей — наслажденье».[34] Но любовь девы к низкому труду делает ее святой. Произведение это знаменательно. Не в 1826 г., а именно сейчас, в 1836, Кюхельбекер должен был впервые остро ощутить свою отторженность от дворянского класса или, точнее, — от клана людей, живущих духовной жизнью. Для ссыльного поселенца в Баргузине была доступна только сфера «самого низкого труда», т. е. труда физического, крестьянского труда на земле.

В отличие от культурных оазисов Сибири, какими все же можно назвать Иркутск или Тобольск 1830—1840-х г., Баргузин был полностью лишен культурной купеческо-чиновничьей прослойки общества; здесь можно было существовать только физическим трудом: при наличии достаточных средств — наемным, при отсутствии — собственным. Так жил брат Михаил; так вынужден был жить Вильгельм. Он получает надел земли, строит дом, женится на местной 19-летней девушке, дочери баргузинского почтмейстера Дросиде Ивановне Артеновой.

К весне 1839 г. у него уже приличное хозяйство: есть скот, он засеял хлебное поле (пшеница, яровая рожь, ячмень) пополам с одним крестьянином (семена — Вильгельма, труд — крестьянина, жатва — пополам), вскопан огород — шесть гряд вскопал сам, прочие — с найма по 15 коп. за гряду. Уже посажены 12 гряд картофеля, 1 гряда моркови, 1 свеклы, 1 горчицы. Будет еще капуста, огурцы и табак.[35]

В письме к племяннице Наталье Кюхельбекер перечисляет все это с видимым удовлетворением, однако отдаться полностью хозяйственным заботам он так и не сумел. Физический труд был ему не по силам, духовный уровень баргузинского «общества» (пьянство, карты) приводил в отчаяние. Жена Дронюшка оказалась невосприимчивой к культуре. Подобные браки были нередки в декабристской среде, однако обычно жизненный уклад молодой семьи строился сообразно вкусам мужа. В семье Кюхельбекера этого не произошло. О четырех годах жизни в Баргузине

---

[34] *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1, с. 184.
[35] Декабристы и их время, с. 74—75.

поэт будет вспоминать с ужасом, как о жизни среди дикарей необразованных...

Особенно страшным казалось обнищание души брата Михаила. Отсутствие в нем братской нежности и внимания к литературным занятиям воспринималось Вильгельмом с отчаянием и болью. «Друг Наташа, — писал он 10 июня 1839 г., — в день моего рождения пишу к тебе, мой милый друг, из нашей глуши, из стороны, в которой никто, ровно никто не хочет знать: примечателен ли этот день для меня или нет. Тот, с кем бы я всего более желал разделить подобные дни, всего менее на этот счет со мною одного мнения. Он не любит, он сердится, если, напр., даже его жене скажешь: вот именины, вот день рождения брата. Своей жене я и сказал бы, что сегодня, верно, обо мне вспоминают в Петербурге: но для нее не существует мое минувшее. Брата особенно в подобных случаях мне жаль, не могу сказать, как жаль. Им совершенно овладел тот дух отрицания, который издевается над всем, что греет сердце: для него нет ни праздников, ни поэзии, ничего того, что необходимо для меня, чтобы жизнь мне не казалась бездушным прозябанием. Сколько должно было пройти по его душе страданий, чтобы сделать его до такой степени равнодушным ко всему! — Мое письмо, быть может, покажется тебе опять жалобою, но, ей-богу, не хочу жаловаться, а только не могу не говорить о нем, потому что особенно сегодня именно он занимает все мои мысли. Буду совершенно откровенным: у меня даже в глубине души таится очень слабая, правда, надежда, что он хоть под вечер вспомнит обо мне, что, преодолевая свое отвращение ко всему, что называет предрассудками, пустяками, скажет мне хоть приветливое слово, точно так, как взрослый иногда потакнет ребенку, только чтобы ребенок не плакал. — Но этому не быть: он, верно, едва ли знает, начался ли или нет июнь месяц».[36]

Кюхельбекер не вполне справедлив к брату. Из писем Михаила к другим декабристам мы знаем о том, что он довольно много читал и активно участвовал в обмене газетами и книгами, существовавшем между декабристами. Однако поэтической жилки в нем не было, с бытом баргузинским он свыкся и любил его. В то самое время, когда Вильгельм решает оставить Баргузин и перебраться в пограничную крепость Акшу, Михаил уговаривает Е. П. Оболенского переселяться в Баргузин: «Баргузин имеет много преимуществ от прочих забайкальских волостей ‹...› есть где иногда провести вечер, даже и за бостоном, ‹...› если хлеб будет опять родиться, так и житье довольно сходно, и можно и с деньгами иметь оборот рыбною ловлею...»[37]

Расхвалив местное общество и приезжающих чиновников, между которыми есть «очень порядочные люди, особливо окружной начальник», Михаил добавляет: «Вы спросите, отчего брат отсюда просится? Ему обе-

[36] Там же, с. 76.

[37] ОР ИРЛИ, ф. Оболенского Е. П. № 606, д. 7, л. 324. См. также в кн.: Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925, с. 163.

щал А. И. Разгильдеев полное содержание и другие золотые горы, и как наше положение довольно затруднительно, то нечего делать, он и решился ехать в Акшу, ему вообще труднее меня уживаться с людьми...». Однако, если Оболенский переедет в Баргузин, «может, тогда и брат останется, будет, кого стихами потчевать».

В последней фразе — трогательная, скрытая забота о брате, но Вильгельм не умел или не хотел ее заметить. Первая же возможность сменить крестьянское хозяйствование на труд учителя и гувернера заставила Вильгельма сняться с насиженного места. Впрочем, в Акше и климат лучше, и хлеб в пять раз дешевле, — сообщает Кюхельбекер о своем решении Наталье. «То, что я в четыре года скопил, конечно, теперь в мой переезд истратится; но больших долгов здесь не оставлю, а, сверх того, имею в виду в Акше поменее издерживаться. Может быть, со временем буду даже в состоянии делиться с братом».[38]

Акша по сравнению с Баргузином показалась раем: здесь играли на фортепьяно, читали книги, даже говорили немного по-французски, — правда, в одном только доме, доме А. И. Разгильдеева, пограничного начальника крепости Акша. Здесь у Кюхельбекера появились ученики: две дочери Разгильдеева, Анна и Васса, и два сына казачьего атамана Петя и Пронюшка Истомины. За свои труды учитель имел готовый стол и квартиру; он сумел в Акше расплатиться со старыми баргузинскими долгами и «новых не нажил, а это не безделица». Сравнительно успешными были и его вынужденные занятия хлебопашеством.

Однако вскоре страстная привязанность к юной уче́нице Анне, «светский» образ жизни поэта, которому было гораздо приятнее переводить Разгильдеевым «с листа» повести Бальзака, чем нянчить малолетних детей и морить тараканов в собственной неуютной избе, сделали отношения между Вильгельмом и Дросидой крайне тяжелыми. «Я не могу похвалиться счастием, люблю жену всей душою, но мои поступки часто ее огорчают, потому что она нередко их совершенно превратно толкует. Впрочем, она добра, и я бы должен с нею поступать как с ребенком, потому что у ней ум истинно младенческий. Да укрепит ее господь перенесть жизнь и судьбу, так тесно связанную с моей! — писал Кюхельбекер племяннице Наталье 31 декабря 1841 г. — Здешних она почти никого не любит; своих баргузинских слишком, хотя те вовсе не более достойны ее любви. По нелюбви к здешним жителям она все почти одна, никуда не ходит, между тем как я по занятиям своим обязан проводить $^3/_4$ дня вне дома».[39]

Из Баргузина, из Акши, как впоследствии из Кургана и Тобольска, Кюхельбекер одну за другой отправляет просьбы разрешить ему печататься, хотя бы под псевдонимом, чтобы иметь возможность жить литературным трудом. Он возобновляет отношения с редакторами Н. А. Полевым и Н. И. Гречем, посылает им списки возможных своих публикаций.

[38] Декабристы и их время, с. 82.
[39] Декабристы. Летописи, кн. 3. М., 1938, с. 184.

Обращается с просьбами о поддержке к В. А. Жуковскому, В. Ф. Одоевскому, В. А. Глинке. Однако разрешения печататься не последовало. Последний отказ от шефа жандармов, начальника III отделения графа А. Ф. Орлова, Кюхельбекер получил от 19 января 1846 г., уже будучи неизлечимо больным.

Между тем в 1842 г. семейство Разгильдеевых покинуло Акшу, а Пронюшка Истомин трагически погиб; третьего семейства, которому был бы нужен учитель, в Акше не нашлось. Засухи, обрушивавшиеся на Акшу несколько лет подряд, губили урожай, Кюхельбекер не мог собрать по осени даже семян...

1842 год в жизни поэта — год самого тяжелого отчаяния, беспросветности, мыслей о самоубийстве. «Заботы и сомнения меня тревожат: я перестал верить в удачу», — пишет Кюхельбекер 9 октября 1842 г. племянницам Н. Г. и А. Г. Глинкам. Видимо, то же, но в еще более резкой форме он пишет брату, на что получает от трезвого и практического Михаила заслуженную отповедь: «Смерть, конечно, не беда нашему брату, но если жить, то надо по возможности быть бодру и здорову, особенно если к тому на руках семья; не могу не усмехнуться насчет твоего завещания, это хорошо для Шереметева, а нам с тобой и завещать нечего! Только детям, чтоб были честны и добры, вот и все; мое тебе завещание то, чтобы ты помнил, что ты человек образованный, христианин и философ, итак, переноси все случайности жизни твердо, мужественно, и избави господь тебя от отчаяния, а что еще хуже — от равнодушия ко всему!».[40]

Два года поэт пытается добиться перевода из Акши — либо вслед за Разгильдеевым в Кяхту, либо в Тобольск; наконец в середине 1844 г. получает разрешение на переезд в Курган. Переезд требует огромных затрат. Чтобы окупить их хотя бы частично, Кюхельбекер просит декабриста А. В. Поджио распространить среди иркутских знакомых как бы по подписке экземпляры своих книг, однако продано было всего десять экземпляров, выручено 50 рублей, — письмо об этом А. В. Поджио от 9 июля 1845 г. дышит открытой насмешкой: «Сбыт Ваших книг был незначительным, чтобы не сказать ничтожным. Так как количество книг превышало количество образованных людей, нам едва удалось найти человек десять покупателей <...> Вы, дорогой друг, как видно, скоро будете на мели, и я не предвижу средства вернуть вас на воду. Поэтому какой там выбор поселения, да еще после изучения бесплодности почвы, чтобы потом вдобавок оказаться виноватым в том, что пустил там корни! К чему эта глупость и вся эта проза, мой поэт?».[41]

В конце 1844 г. началось переселение Кюхельбекера с женой и двумя детьми из Акши через Баргузин, Иркутск и Ялуторовск в Курган. Для последнего свидания с братом в Баргузине Кюхельбекеру дважды пришлось пересечь Байкал. Обратно они ехали уже «по мореставу», но на

[40] Литературное наследство, т. 59, с. 467.
[41] Там же, с. 492.

пути туда их застала на озере буря: «Двое суток нас носило под Лиственичным островом, заливало волнами, сорвало руль; насилу отстоялись на кошке», — писал Кюхельбекер В. А. Казадаеву 1 октября 1844 г.[42] На маленьком острове семейство вынуждено было заночевать «в холодную погоду и при сильном дожде»; именно тогда Кюхельбекер жестоко простудился и заболел туберкулезом легких. Начала быстро прогрессировать и болезнь глаз.

В Иркутске, а затем и в Кургане поэт нашел наконец культурный круг общения, по которому так тосковал в Баргузине и Акше. В домах Волконских, Трубецких, Пущина, Казадаева он читал свои стихи и встречал в слушателях сострадательное внимание, а иногда и горячий интерес. В письме В. А. Казадаеву в Иркутск от 28 ноября 1844 г. поэт впервые после долгого перерыва говорит о своем нетерпении снова сесть за стол и творить: «Для двух отрывков моего „Вечного Жида" (Лютера и франц‹узской› революции) — мыслей бездна».[43] От М. Н. Волконской он узнает о намерении П. А. Муханова собрать альманах декабристского творчества и предлагает в этот альманах свое стихотворение «Тень Рылеева», написанное в Шлиссельбургской тюрьме, забытое автором, но «воскрешенное» Я. Д. Казимирским, офицером, бывшим некогда плацмайором в Чите и Петровском заводе, другом многих декабристов. Как оказался у Я. Д. Казимирского текст этого острейшего политического стихотворения Кюхельбекера, являющегося клятвой верности декабриста святым идеалам 14 декабря, мы не знаем. Во всяком случае тот факт, что кто-то помнил и хранил давнее произведение поэта, не мог не вдохнуть в него новые творческие силы. В письме к М. Н. Волконской от 13 февраля 1845 г. Кюхельбекер в самых осторожных выражениях сообщает о своем знакомстве с замечательным произведением о восстании Черниговского полка недавно умершего декабриста Ф. Ф. Вадковского; он хотел бы иметь текст этого сочинения,[44] — пишет Вильгельм Марии Николаевне, — он посетил гроб Вадковского в Оеке близ Иркутска...

В Кургане Кюхельбекер прожил одиннадцать месяцев. Не в черте города, а за рекой Тоболом (в полутора верстах от города, в слободе Смолинской) ему было разрешено построить собственный дом (на деньги, присланные В. А. Глинкой). Дом был задуман большой и просторный, Вильгельм мечтал поселиться в нем вместе с семьей брата Михаила, о чем писал тому, специально указывая, что земли здесь можно получить практически неограниченное количество, хоть 45 десятин («45 десятин! да кто их обработает!» — отвечал Вильгельму Михаил). Между тем болезнь стремительно прогрессировала. Еще не достроив дома, Кюхельбекер вынужден разослать просьбы о переводе либо в сам город Курган, либо в Тобольск для лечения. Он подает прошение шефу жандармов, начальнику III отделения графу А. Ф. Орлову.

---

[42] Там же, с. 468.
[43] Там же, с. 470.
[44] Там же, с. 471.

3 мая 1845 г. подробно описывает свое положение другу юности В. Ф. Одоевскому, служившему в то время в Собственной его имп. велич. канцелярии Николая I, рассчитывая, может быть, на его личное ходатайство перед графом Орловым или перед царем:

«...в Кургане и во всем уезде один только лекарь; между тем живу за Тоболом в 1½ верстах от города. Главнейшая моя болезнь — паховая грыжа, которая, как разболится, требует немедленного медицинского пособия, а то не мудрено и на курьерских отправиться ad patres, как то раз в 35 году чуть было и не случилось со мною. Ты столько знаешь медицину, что это поймешь. Легко ли ночью (а по ночам такого роду болезни всего чаще усиливаются) посылать в город за 1½ версты, за реку, к доктору, который и городских своих больных едва успевает обегать в течение дня? Да и кого я пошлю? Ты знаешь, что я не слишком наделен дарами фортуны: дорогой я поиздержался и потому не в состоянии нанимать работника».[45]

Кюхельбекеру было разрешено поселиться в Тобольске для лечения, куда он и переехал в феврале 1846 г. Здесь умирающий поэт был окружен заботами друзей-декабристов, их жен, тобольских литераторов. «В Тобольске он уже окончательно потерял зрение, и здоровье его с каждым днем делалось слабее, а положение становилось несноснее. Спасибо друзьям, они не оставляли его в эти грустные минуты жизни. Ершов читал ему беспрестанно разные сочинения, рассуждал с ним продолжительно»,[46] — вспоминала впоследствии вдова поэта, Д. И. Кюхельбекер.

В. К. Кюхельбекер умер 11 августа 1846 года. При смерти его были доктор Ф. Б. Вольф и Н. Д. Фонвизина. «Он до самой почти смерти был в движении, а за день до смерти ходил по комнате и рассуждал еще о том, что, несмотря на дурную погоду, он чувствует себя как-то особенно хорошо».[47]

3. *Начало литературно-критической деятельности*

Творчество Кюхельбекера охватывает три десятилетия — с середины 1810-х по середину 1840-х гг. Он начал свой путь одновременно с Пушкиным и Дельвигом, а закончил в годы расцвета «натуральной школы», в лермонтовскую и послелермонтовскую эпоху русской литературы. Конечно, активным участником литературного процесса он был лишь до 14 декабря 1825 г. После ареста и приговора, в одиночном тюремном заключении, Кюхельбекер ощущал живую связь с современностью и общественным движением лишь в первые годы. С середины 1830-х гг. он му-

---

[45] Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 г. СПб., 1896, приложение, с. 71—72.

[46] Декабристы и их время, с. 88.

[47] Там же.

чительно пытается уловить смысл нового направления в развитии литературы и общества, читая журналы 1830-х гг., попадающие к нему не часто и не регулярно. Разбирается в позициях Полевого и Сенковского, замечает и особо отмечает критические статьи Белинского. В 1840-е гг., на поселении в Сибири, в беседах и спорах с другими ссыльными осмысляет критический и безбожный дух новой эпохи, лишившей человека идеалов и веры в свое предназначение. И все это время — пишет, заботясь о том, чтобы в его сочинениях присутствовала «родовая идея» времени. Эволюция творчества Кюхельбекера от 1810-х до середины 1840-х гг. протекает параллельно эволюции всей русской литературы этого времени.

Литературная позиция Кюхельбекера всегда была остро современной.

В первый период творчества Кюхельбекер, как и все лицеисты-поэты, — еще восторженный почитатель Жуковского и Батюшкова, он преклоняется перед элегической и гражданской музой Андрея Тургенева. «Сельское кладбище» Жуковского и «Элегия» А. Тургенева — любимые его стихи. Однако в отличие от остальных лицеистов это почитатель-полемист, все время *оценивающий* путь элегической поэзии, ее достижения и недостатки. Рядом с именем Жуковского для него стоит не менее уважаемое имя П. А. Катенина, рядом с Батюшковым — несправедливо забытый С. А. Ширинский-Шихматов. Осознавая различие направлений Катенина и Батюшкова, Кюхельбекер находит во всех них общее качество, самое для себя привлекательное: умение проникнуть в народные истоки поэзии и передать их современным стихом. Он настойчиво ищет современных форм выражения значительных гражданских идей, ищет поэтических средств осмысления политических и философских проблем века.

Кюхельбекер стремится познать исконно русские литературные и народные основы языка, стихосложения, литературного стиля, отыскивает следы их влияния в новейшей поэзии. Так же анализирует он поэзию греческую или немецкую, отыскивая их исконные народные истоки. Особенно увлечен он идеей родства русского и греческого языка и стихосложения: примеряет к русской поэзии формы греческой, прослеживает воздействие греков на русских поэтов и драматургов XVIII в. и новейших.

Таким был Кюхельбекер в начальный период своего творчества: литератор, стремящийся к энциклопедичности познаний, полемист, обо всем имеющий собственное оригинальное суждение. Именно здесь, на лицейской скамье, складываются те взгляды, которые, развивая и уточняя их, пронесет Кюхельбекер через всю жизнь.

Теоретические воззрения его уже с Лицея отличаются известной последовательностью и строгостью. Главное достоинство литературного произведения, в соответствии с нормами романтической поэтики, заключается для него в оригинальности, самобытности, в которой отражается сущность народного характера и национальной культуры любого народа. Поэтому он приветствует переводы Батюшкова из «Антологии» (статья «О греческой антологии», 1820) и в кругу других русских оригинальных

поэтов называет Жуковского — поэта, усвоившего «свободный и независимый германический дух» («Взгляд на нынешнее состояние русской словесности», 1817). Однако основное внимание, естественно, уделяется Кюхельбекером размышлениям об отечественной литературе, он говорит о писателях, прокладывавших новые оригинальные пути развития русской поэзии. Отвергая французскую, «основанную на правилах» традицию, Кюхельбекер выдвигает на первый план поэтов и теоретиков, которые обращались к новым, не прижившимся в литературе размерам, искали новых, поражающих непривычное ухо резкой выразительностью художественных средств (таковы для Кюхельбекера Радищев, Востоков, Гнедич). Несколько позднее к ним присоединятся имена Катенина и Буниной («Взгляд на текущую словесность», 1820). Разбирая стихотворения Катенина, Кюхельбекер говорит не столько о трех видах стихотворных размеров, сколько о трех поэтических системах русской литературы: народной (фольклорной), имитирующей античное стихосложение и античный мир и силлабо-тонической, новой, введенной в России лишь Ломоносовым. Не случайно Кюхельбекер отмечает, что каждому из трех размеров соответствует «особенный слог», и здесь намечается некоторая параллель с тем делением отечественной литературы на три вида, которое предлагал Шишков в речи при открытии «Беседы»: Шишков выделял народные стихотворения, славянскую священную поэзию и, наконец, в современном стихотворстве те роды поэзии, которых ранее в русской литературе не имелось.[48]

Теоретически Кюхельбекер провозглашает еще равноправие всех трех систем, но симпатии критика принадлежат первым двум. Отсюда, пока еще с оговорками, делается шаг к признанию поэтических опытов Катенина с его живописными «дикими красками» и, главное, с попыткой «сблизить наше нерусское стихотворство с богатою поэзиею русских народных сказок и преданий — с поэзиею русских нравов и обычаев». И в творчестве Буниной главным для Кюхельбекера оказывается ее самобытность, независимость ее творческого пути от достижений Дмитриева, Жуковского, Батюшкова.

Сам Кюхельбекер в стихотворениях лицейского и первых послелицейских годов создает еще произведения, соответствующие поэтической системе Жуковского. Такова, например, «Мечта» (1819), где не только развивается глубоко органичная для Жуковского тема, но изображается и излюбленный этим поэтом пейзаж, и его любимое время суток:

Один над *озером вечернею* порою —

и характерная для Жуковского система эпитетов: сладкая мечта, стыдливая луна, томная грусть, темная даль, и даже те олицетворения, выделяемые прописными буквами, над которыми впоследствии сам автор будет издеваться в статье «О направлении нашей поэзии...» (1824):

---

[48] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов, ч. IV. СПб., 1824, с. 139—141.

...со мной в молчанье
Сестра Уныния — Печаль.[49]

Однако уже в эту пору он стремится и к созданию произведений подчеркнуто оригинальных, написанных необычными размерами («К Матюшкину», 1817; «Сократизм», 1817; «Гимн Бахусу», 1817, и др.). А на знаменитом лицейском экзамене в 1815 г. вслед за Пушкиным читает стихотворение «Бессмертие есть цель жизни человеческой», в котором следует «Гимну лиро-эпическому. . .» Державина:

Из туч сверкнул зубчатый пламень.
По своду неба гром протек,
Взревели бури — челн о камень. . .[50]

Сравним у Державина:

Как Запад с Севером сражался,
И гром о громы ударялся,
И молньи с молньями секлись,
И небо и земля тряслись. . .[51]

Не случайно в статье о переводах из греческой «Антологии», похвалив стихи Батюшкова, он все же замечает, что предпочитает оригинальные античные размеры.

Обращаясь к национальной русской тематике в конце 1810-х гг., Кюхельбекер создает очень характерное для его литературной позиции стихотворение, написанное по мотивам «Лесного царя» Гете, — балладу «Лес»:

Во сыром бору
Ветер завывает;
На борзом коне
Молодец несется.[52]

Молодец везет «красную девицу», в лесу «бродит леший», «поют русалки», молодец в конце баллады рыдает «над бездушным телом». Это маленькое стихотворение, плохо удавшееся автору, является сознательным литературным экспериментом, который должен был занять определенное место в одной из важнейших литературных баталий 1810-х гг. из-за переделки немецкой баллады Бюргера «Ленора». Как известно, в 1816 г. Катенин своей балладой «Ольга» демонстративно выступил против «Людмилы» Жуковского (1808). Катенина не устраивала легкость, элегическая меланхоличность, приданные Жуковским оригиналу. «Ольга» написана нарочито грубо, жестко, простонародно, несколько более, чем у Жуковского, русифицирована. Тогда же, в 1816 г., балладу Катенина подверг

[49] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 99.
[50] Там же, с. 65.
[51] *Державин Г. Р.* Соч., т. III. 2-е акад. изд. СПб., 1870, с. 105.
[52] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 122—123.

уничтожающему разбору Гнедич, которому резко и остроумно отвечал Грибоедов.

Кюхельбекер, так же как и Жуковский, и Катенин, обратился к немецкой балладе: образец его баллады «Лес» — «Лесной царь» Гете, кстати, тоже переведенный Жуковским в 1818 г. Кюхельбекер, подобно Катенину, только в еще большей степени, русифицирует текст немецкой баллады, используя для этого и размер, и постоянные эпитеты, и русскую, вместо немецкой, мифологию: леший, русалки.

Наряду с Катениным, чьи пути подчеркнуто расходились с поэтическими исканиями Жуковского, Кюхельбекер в эту же пору внимательно изучает другого «отверженного» поэта, С. А. Ширинского-Шихматова, некоторые параллели с его стихотворением «Возвращение в отечество любезного моего брата...» (1810) могут быть отмечены в стихотворении Кюхельбекера «Брату» (1819). Творчество Шихматова, одного из самых последовательных соратников Шишкова, издавна привлекало внимание Кюхельбекера. Стихотворение «Возвращение в отечество...» в свое время возбудило обширную полемику, оно распространяло высокий стиль на произведения лирического, интимного жанра и было, видимо, известно Кюхельбекеру.[53] Он и позднее с сочувствием и восхищением цитировал «Возвращение» в своем «Дневнике» (см. с. 189 наст. изд.). У Шихматова и Кюхельбекера совпадают адресаты и тема (приезд — отъезд брата), начинаются оба стихотворения с описания весны, упоминаются кони, описываются прошлые странствия одного и будущие другого. Роднит Кюхельбекера с Шихматовым в этом стихотворении и некоторая нарочитая архаика: вран, лоно, благоухают дерева, слияны с синевою, и пр.

Такими были настроения Кюхельбекера, когда в 1821 г. он отправился в качестве секретаря А. Л. Нарышкина в путешествие по Европе. Результатом этой поездки явилась большая книга путевых заметок, опубликованная частями в разных журналах, преимущественно в «Мнемозине».

«Путешествие» Кюхельбекера — последняя его дань идущим от Карамзина традициям Жуковского. Книга, несомненно, связана со знаменитыми «Письмами русского путешественника» Н. М. Карамзина. Ее роднит с этим произведением и сама эпистолярная форма, с легкой руки Карамзина привившаяся в русской литературе путешествий,[54] и культ дружбы, столь характерный для «Писем» и подхваченный Кюхельбекером, который поэтизирует разлуку с родными и друзьями: «Мы уже дня три едем довольно однообразными песчаными местами: одно воспоминание о моих милых меня живит и отгоняет от души скуку. Признаюсь, что я никогда не любил вас так, как теперь, в разлуке с вами. Навеки останется у меня в памяти мгновенье, когда переехал я через границу» (письмо 5). Эта тирада, несомненно, перекликается с хрестоматийным началом «Писем

---

[53] См. текст стихотворения и комментарии к нему в кн.: Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 412—418, 843.

[54] Ср., например: *Измайлов В.* Путешествие в Полуденную Россию. В письмах, изданных Владимиром Измайловым. Ч. 1—4. М., 1800—1802.

русского путешественника»: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!».[55-56] Роднят книгу Кюхельбекера с «Письмами» Карамзина и не лишенные налета сентиментальной меланхолии рассуждения о жизни и смерти, о быстротекущем времени, о детстве и пр. (см., например, письмо 2).

Связью с Карамзиным можно объяснить то дружелюбное внимание, с каким были встречены критикой путевые заметки Кюхельбекера: в них видели развитие хорошо знакомой традиции. Так, «несколько прекрасных мыслей» в «Путешествии» увидел Булгарин.[57]

При этом в отличие от Карамзина, интересовавшегося большим кругом предметов, Кюхельбекер в своих путевых заметках основное внимание уделил вопросам искусства. Рецензент «Благонамеренного» сочувственно отметил эту главную тему «Путешествия»: «Автор описывает Дрезденскую картинную галерею, красноречиво излагает свои мысли о красотах и недостатках великих художников, пленительно описывает картины Метсю, Дау, Баттониеву Магдалину... Все шесть писем написаны пламенным слогом, и читатель может быть недоволен только одним: зачем г. Кюхельбекер напечатал только шесть писем?».[58] В то же время искусствоведческие штудии Кюхельбекера вызвали упрек Булгарина, тогда, после первого тома «Мнемозины», еще сочувственно относившегося к ее издателям. Булгарин считал, что путевые заметки не должны заменять каталогов картинных галерей.[59] И в этом дружелюбном отзыве, и позднее, в ругательных, Булгарин проявил и неумение и нежелание разобраться в эстетической позиции Кюхельбекера.

В отношении будущего декабриста к изобразительному искусству отчетливо проступает его романтическая позиция. Кюхельбекер готов восхищаться мастерством живописцев фламандской школы, но в целом это искусство отвергается любознательным путешественником: в нем есть верность натуре, за которую ратовал классицизм, охотно допускавший грубость картин в низких жанрах, но нет духовности — «вдохновения и прелести», по словам Кюхельбекера.

Отсюда проистекает неприятие Кюхельбекером не только Рубенса, но и Рембрандта и противопоставление им художников итальянской школы. Так, у Корреджо он ценит «свободу, легкость, правильность, воображение, чувство» и восторженный романтический гимн посвящает Сикстинской мадонне Рафаэля, воплощающей высшее, неземное духовное начало.

[55-56] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1964, с. 81.

[57] *Ф. Б[улгарин].* Мнемозина... — Литературные листки, 1824, март, № 5, с. 184.

[58] Литературное наследство, т. 59, с. 282. Текст рецензии сопровожден статьей М. К. Константинова «О принадлежности Рылееву рецензии на „Мнемозину"». Атрибуция основательно оспорена Ф. Бирюковым. См. его заметку «Рылееву не принадлежит» (Русская литература, 1963, № 2, с. 197—210).

[59] *Ф. Б[улгарин].* Мнемозина..., с. 184.

Сравнительно меньшее внимание уделяет Кюхельбекер общественным событиям (в значительной степени это объясняется, вероятно, тем, что рукопись «Путешествия» полностью не дошла до нас — опальный, подозреваемый в либерализме автор в первую очередь публиковал невинные в политическом отношении страницы). Однако стремление к свободе, бунтарский дух время от времени появляются в его письмах, особенно тогда, когда мы, в редких случаях, имеем дело с текстом, еще не прошедшим цензуры и автоцензуры. Так, в романтическом горном уединении Кюхельбекер разражается вольнолюбивой тирадой: «..я был счастлив, потому что никакая человеческая власть до меня не достигала и ничто не напоминало мне зависимости, подчиненности» (см. с. 659 наст. изд.). В другом месте он упоминает Пугачева в одном ряду с царями Екатериной II и Наполеоном (с. 660 наст. изд.). Эти настроения родственны тому тираноборческому пафосу, с которым Кюхельбекер читал в Париже свои лекции о русском языке и литературе.

4. *Переход в «дружину славян»*

Второй период творчества (1821—1833), внутренне подготовленный и поисками национальных корней литературы, и повышенным вниманием к гражданской поэзии XVIII — начала XIX в., был осознан Кюхельбекером как резкий перелом в его литературных взглядах и творчестве, происшедший под влиянием А. С. Грибоедова в 1821 г. В лирике Кюхельбекера этот перелом выразился демонстративным отказом от элегического стиля и обращением к библейским темам и древнерусским «высоким» образным средствам выражения в стихах на самые животрепещущие современные политические темы. Об «измене» Кюхельбекера и о переходе его в лагерь «шишковистов» пишут в 1821—1822 гг., насмешливо или с сожалением, А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, В. И. Туманский: «...вкус твой несколько *очеченился*! Охота же тебе читать Шихматова и Библию... Какой злой дух, в виде Грибоедова, удаляет тебя в одно время и от наслаждений истинной поэзии и от первоначальных друзей твоих!».[60]

Кюхельбекер не поддается увещеваниям. В центре его творчества — образ поэта-пророка, проникнутого исступленным восторгом, гражданина, духовного гиганта, защитника угнетенных и обиженных, карающего нечестивых и инакомыслящих, готового принести себя в жертву на алтарь спасения народа и отечества. Давид и Христос, юноша-поэт из повести «Адо» и республиканец Тимолеон — таковы его новые герои. Статья «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», трагедия «Аргивяне», либретто оперы по драме Кальдерона «Любовь до гроба, или Гренадские мавры», циклы лирических сти-

---

[60] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 13, с. 81. Подробнее см.: *Тынянов Ю. Н.* Кюхельбекер и Пушкин. — В кн.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники.

хотворений 1820-х гг., а также написанные в крепости поэма «Давид», две части мистерии «Ижорский», композиция «Русский Декамерон 1831 года» со вставной поэмой «Зоровавель» — вот значительнейшие произведения Кюхельбекера второго периода.

«Эстонская повесть» «Адо» (1824) хорошо вписывается в декабристскую литературную традицию: любовный сюжет лишь оживляет более важные для автора политические и гражданские идеи. В повести изображена борьба эстонцев за свою независимость против иноземных поработителей. Новгород выступает как оплот вольности и демократии. Хотя новгородская вольница и помешала князю Ярославу вступиться за порабощенных эстонцев, это ни в коей мере не отменяет у Кюхельбекера общей для декабризма положительной оценки Новгородской республики.

Романтическая концепция культуры сказалась в выборе эстонского сюжета. Автор опирается здесь на свои детские впечатления, что дает ему возможность живо изобразить малознакомый русскому читателю быт. С другой стороны, эстонская тема подчеркивала важную для романтического мышления идею равноправия культур, ценности любого оригинального самобытного явления в мировом искусстве. Этим объясняется и сравнительно большое место, занимаемое в повести стихотворными вставками. Кюхельбекер демонстрирует читателю три самобытные поэтические системы: более или менее удачно стилизованные под фольклор «русскую песню» корабельщиков и свадебные песни, «эстонские песни», которые «ни по форме, ни по содержанию не являются народными»,[61], и, наконец, «песню» средневекового странствующего певца, тоже ничего общего не имеющую с истинными песнями трубадуров и миннезингеров. Однако степень достоверности представленных образцов в данном случае не важна. Важно, что автор одинаково уважительно и как равноправные рассматривает три самобытные культуры: эстонскую, русскую, южноевропейскую, где, согласно Сисмонди, родилась романтическая поэзия. Об этом Кюхельбекер будет говорить немного позднее в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие».

Язык повести Кюхельбекера сильно отличается от других произведений декабристской прозы («Богдан Зиновий Хмельницкий» Ф. Глинки, «Роман и Ольга» А. Бестужева и пр.).

Еще в «Парижской лекции» Кюхельбекер отметил некоторые достоинства современного русского литературного языка, к которым он относил славянскую лексику, обилие причастий и деепричастий, и выражал надежду на очищение в будущем русского языка от латинских, немецких и французских заимствований. Стилистическую основу повести Кюхельбекера и составляет старославянская лексика, используемая с подчеркнутым, нарочитым изобилием: «...обвертывали они шуйцу ветхим рубищем и лыком, а десницу вооружали кистенем убийственным... Напрасно косматый властитель дубравы подъемлется, напрасно двуногий

[61] *Адамс В. Т.* «Эстонская повесть» Кюхельбекера. — Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз., 1956, т. XV, вып. 3, май—июнь, с. 258.

идет им во сретение... Они предают зубам его единую длань обезопасенную, а другую — с мертвящим железом — вонзают и обращают в его растерзанных персях».[62]

Слово «перси» в 1820-е гг. утратило свой первоначальный смысл — просто грудь — и в поэтическом словаре карамзинской школы приобрело несколько эротический оттенок, стало обозначать красивую женскую грудь. Например, у Пушкина в «Евгении Онегине» (гл. I):

Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем...

Гнедич, возвращая славянскому слову его первоначальное значение, в переводе «Илиады», древнего памятника, стал употреблять его для обозначения мужской («перси власатые») и даже конской груди.[63] Однако нужна была большая смелость, чтобы в повести из эстонской жизни, написанной в 1824 г., говорить о медвежьих «растерзанных персях». В то же время здесь сказалась и некоторая языковая глухота Кюхельбекера, вообще ему иногда свойственная (см., например, странное и двусмысленное сочетание «Адова дщерь» — в значении дочь Адо, постоянно им употребляемое), и, главное, стремление к языковому эксперименту, последовательно проводимому не только на лексическом уровне. Характерна для «Адо» и архаически утяжеленная конструкция фразы: «...отправился в Ульви, да узнает жребий родителя»; «Быть может, никогда уже не услышу языка чудского, но да сохраню здесь одну из песен Маиных». Часто встречается инверсия: воин латышский, дней несколько, кистень убийственный, благодарность беспредельная, дом тесовый, друг верный, сосед миролюбивый. Наконец, существенной особенностью стиля повести являются сложные слова: многолюдство, великолепие, благовоние, олень роговетвистый, сенолиственный дуб.

Эти примеры с несомненностью показывают связь поэтики Кюхельбекера с некоторыми важнейшими положениями Шишкова, считавшего русский и старославянский одним языком и энергично выступавшего против заимствований из языков европейских. Шишков считал (и показал это на многочисленных примерах) инверсию важнейшей особенностью русского народного поэтического языка;[64] он с восторгом писал о сложных многосоставных словах, видя в них важнейшее достоинство русского языка, свидетельство его превосходства над французским и близости к латинскому и греческому; быть может, не случайно одно из

---

[62] Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. М.—Л., 1951, с. 364.

[63] См.: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.—Л., 1964, с. 208—209.

[64] *Шишков А. С.* Разговоры о словесности между двумя лицами Аз и Буки. — Собр. соч. и переводов, ч. III, с. 95—96.

таких слов — «сенолиственный», приведенное Шишковым,[65] Кюхельбекер использует в «Адо».

Современная критика не преминула отметить оригинальность повести. Высказываясь достаточно осторожно, в основном доброжелательно, большинство рецензентов все же отвергло эксперимент Кюхельбекера. Особенно резко выступил давний противник Кюхельбекера, больно задетый им еще в статье «Взгляд на текущую словесность», Воейков: «В „Отрывке из путешествия по Германии“ издателя Вильгельма Кюхельбекера и в повести „Адо“, его же сочинения, много темного, запутанного относительно к языку и слогу». Особенно важным недостатком считает Воейков «слог напыщенный» и приводит в качестве примера многочисленные славянизмы, часть которых мы цитировали выше.[66] Доброжелательная в целом рецензия С[омова] тоже в основном сосредоточена на слоге, рецензент отмечает обороты, «приличные только языку славенскому» и не имеющие места в слоге *среднем* (подчеркнуто нами, — *В. Р.*), каким должно писать повести.[67] Безапелляционное замечание критика о среднем слоге показывает, что эта мысль, очевидно, была общей для 1810—1820-х гг., когда несомненно высшим достижением прозы считались повести Карамзина (что и отмечено Пушкиным в его известной заметке).[68] К среднему слогу тяготеет не только проза Жуковского, но и декабристская проза Ф. Глинки, Бестужева-Марлинского и др. С точки зрения этой общепринятой нормы критикует «Адо» и С[омов], отмечающий, что в этом произведении «слог вообще слишком напыщен для повести, неровен и во многих местах тяжел». В положительной в целом рецензии Булгарина на первую часть «Мнемозины» также отмечается, что слог повести «несколько надут, выражения изысканны».[69] В единственной безусловно положительной рецензии на «Мнемозину» язык «Адо» отмечен как важнейшая особенность этого произведения: критик говорит о «благородном, возвышенном слоге» повести.[70]

Таким образом, Кюхельбекер создал в «Адо» единственный в своем роде образец декабристского прозаического повествования, теоретически сконструированный на принципах «высокого слога». Этот опыт Кюхельбекера так и остался единственным в истории русской прозы, и автор сам спустя десять-пятнадцать лет ощутил практическую неудачу своих теоретических построений. В годы заключения Кюхельбекер полностью переписал повесть.

Литературные воззрения Кюхельбекера после восстания почти не изменились. Тем интереснее становится характер произведенной им

---

[65] Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика. — Там же, с. 295.

[66] *В[оейков]*. О «Мнемозине». — Новости литературы, 1824, кн. 8, с. 25—28.

[67] *С[омов]*. Рецензия на «Мнемозину». — Сын отечества, 1824, ч. 93, № 15, с. 31—37.

[68] «Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ — *Карамзина* это еще похвала небольшая. . .». — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 11, с. 19.

[69] Ср.: *Ф. Б[улгарин]*. Мнемозина. . ., с. 184—185.

[70] Литературное наследство, т. 59, с. 282.

переработки. Она не коснулась содержания повести: не введено ни одного нового действующего лица, ни одного нового мотива — переделке подвергается язык повести в основном на лексическом уровне. Тщательно, последовательно снимает Кюхельбекер тяжеловесные архаизмы.[71] Так, вызвавшее замечания критиков описание охоты на медведя, приведенное выше, теперь принимает следующий вид: «Пусть косматый властитель дубравы поднимался на задние лапы и шел им навстречу... смело они предавали его зубам свою левую руку, которая кругом толсто была обвернута овчиной и лыком, а правую вместе с длинным ножом вонзали в живот чудовища и переворачивали в его растерзанных внутренностях».[72]

Патетика, вообще сохраняемая Кюхельбекером и во второй редакции, но неуместная в обращении друг к другу близких людей, сменяется простой, задушевной разговорной речью. «Не сетуй, Мария», — говорил герой повести, уходя на войну, в первой редакции. «Не плачь, Машенька», — обращается он к любимой жене во второй.[73]

Практически осуществленные в «Адо» и стихотворениях 1822—1824 гг. принципы были теоретически сформулированы и закреплены в знаменитой статье 1824 г. «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Опираясь на определения французского историка Сисмонди,[74] Кюхельбекер формулирует основные принципы романтической поэзии: *свобода изобретения, новость*. Иначе говоря, самобытность и оригинальность становятся для него главными признаками романтизма. Поэтому вслед за Сисмонди зачинателем романтизма Кюхельбекер называет Данте, а затем, строя историко-литературные оппозиции с удивительной для своего времени широтой и прозорливостью, критик отдает предпочтение поэтам с могучим творческим духом, богатством фантазии, т. е. поэтам истинно оригинальным. Нужно сказать, что эти оценки Кюхельбекера, опередившие на много лет представления современников, в наши дни в значительной степени стали общепринятыми.

В исторической перспективе Кюхельбекер оказался прав, противопоставляя Гете — Шиллеру, Гомера — Вергилию, Пиндара — Горацию, Шекспира — Байрону (отметим кстати, что в 1827 г. Пушкин повторил мысль Кюхельбекера об однообразии Байрона, который «...в конце концов постиг, создал и описал единый характер — именно свой...»).[75]

Пытаясь разобраться в спорах о романтизме, Кюхельбекер вступал в некоторую полемику с Вяземским, который писал о романтизме

---

[71] Та же тенденция видна в работе над переводами трагедий Шекспира (см. о переводах Кюхельбекера очерк Ю. Д. Левина в кн.: Шекспир и русская культура. М.—Л., 1965, с. 155—156).

[72] ОР ГБЛ, ф. 449, к. 1, № 27, л. 2 об.

[73] Там же, л. 15.

[74] См. комментарий к статье «О направлении нашей поэзии...» (примеч. 11 на с. 748).

[75] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 11, с. 51, 64.

в «Разговоре между издателем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова», предисловии к «Бахчисарайскому фонтану». Отказываясь от точных дефиниций, Вяземский готов причислить к романтикам крупнейших поэтов древности. Сама эта мысль не вызывает возражений Кюхельбекера, и он позднее сочувственно отметит ее в незаконченной и неопубликованной статье «Минувшего 1824 года... военные события» (см. с. 499 наст. изд.). Однако Вяземский не отделяет подражательную римскую литературу от оригинальной греческой, как это делает Кюхельбекер, поэтому у Вяземского римляне и греки выступают в одном литературном ряду: «...нет сомнения, что Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с главами романтической школы, чем со своими холодными рабскими последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним числом».[76]

Кюхельбекер не мог, конечно, удовлетвориться расплывчатыми определениями Вяземского, вызвавшими во многом справедливые возражения М. Дмитриева, и был совершенно прав, утверждая, что и Вяземский, и его противники «сбивают две совершенно разных школы — истинную романтику (Шекспира, Кальдерона, Ариоста) и недоговаривающую поэзию Байрона». Статья Кюхельбекера выгодно отличалась именно строгостью, логичностью и четкостью предлагаемых дефиниций, вызвавших несогласие Вяземского, который печатно против Кюхельбекера не выступил, но со свойственным ему остроумием посмеялся над автором статьи в письме к жене: «Я говорю, что это *пивная хмель* тяжелая, скучная. Добро бы уже взять на шампанском, по-нашему-то бьют искры и брызжет».[77] Сравнение понравилось Вяземскому, и он повторяет его А. И. Тургеневу: «...читал ли ты Кюхельбекериаду во второй „Мнемозине". Я говорю, что это упоение пивное, тяжелое. Каково отделал он Жуковского и Батюшкова, да и Горация, да и Байрона, да и Шиллера? Чтобы врать, как он врет, нужно иметь язык звонкий, речистый, прыткий, а уж нет ничего хуже, как мямлить, картавить и заикаться во вранье: даешь время слушателям одуматься и надуматься, что ты дурак».[78] Итак, с точки зрения Вяземского, все-таки в принципе «врать», как Кюхельбекер, можно. Естественно поэтому, что блестки эпистолярного остроумия, столь щедро рассыпанные Вяземским, не содержат опровержения высказанных Кюхельбекером идей. Недаром Тынянов охарактеризовал его позицию как «неуверенную и выжидательную».[79]

С требованием самобытности и оригинальности Кюхельбекер подходит и к русской поэзии. Оптимальные возможности проявления творческого духа он видит в оде. Ибо только в этом жанре, по Кюхельбекеру,

---

[76] *Вяземский П. А.* Вместо предисловия к «Бахчисарайскому фонтану». — В кн.: Русские эстетические трактаты первой трети XIX века, т. 2. М., 1974, с. 150.

[77] Письмо от 17 июля 1824 г. — Остафьевский архив князей Вяземских, т. 5. СПб., 1913, с. 31—32.

[78] Письмо от 26 июля 1824 г. — Остафьевский архив..., т. 3, с. 62.

[79] *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники, с. 102.

обретается «сильное, вдохновенное изложение чувств самого писателя». Отсюда вытекает оценка одического жанра как главного, первого «в лирической поэзии». Важнейшим для создания одических произведений являются архаизмы и славянизмы, которые выступают, однако, не только как знаки высокого стиля (так обстояло дело у писателей-классиков в XVIII в.), но придают литературному произведению дополнительные признаки исторического и национального.

Подобной была позиция «Беседы любителей русского слова», отталкивавшейся от классицизма и обращавшейся для создания национальной культуры к церковным книгам и фольклору. В речи при открытии «Беседы» Шишков говорил о трех основных течениях, типах русской литературы: современному карамзинизму он противопоставлял фольклор и церковные книги, на которых, по Шишкову, и должна была строиться вся современная литература. Отсюда проистекает и фактический отказ от теории «трех штилей», при всем внешнем пиетете к Ломоносову, выражающийся в стремлении распространить высокий стиль на *всю* литературу. «Беседа» тем самым нарушала принципы классицизма, прежде всего лежащую в основе системы строгую иерархию стилей и жанров. Так, например, поступал самый значительный и талантливый из поэтов «Беседы» С. А. Ширинский-Шихматов, автор крупных поэм, тем же слогом писавший и сравнительно мелкие лирические стихотворения. Его уже упоминавшееся «Послание к брату» не случайно вызвало резкую и насмешливую критику в особенности за то, что было написано слогом, неуместным для «изъявления радостного чувства о прибытии любимого брата».[80] (Вспомним, что и «Адо» упрекали за слог, которым «не должны писаться повести»).

С этих позиций становится понятной и точка зрения Кюхельбекера, провозглашающего, что ода «одна совершенно заслуживает название поэзии лирической». Оде противопоставляются элегии и послания, которые у Кюхельбекера фактически оказываются за пределами настоящей литературы. Таким образом, мы видим, что резкие суждения Кюхельбекера не возникли на пустом месте: они были подготовлены и развитием европейской культуры, и архаической системой шишковистов.[81]

Для высокой поэзии нужен соответствующий слог, и Кюхельбекер обрушивается на школу Карамзина—Жуковского, противопоставляя «небольшому, благопристойному, приторному, искусственно тощему, приспособленному *для немногих*[82] языку» — «русское слово, богатое и мощное», а «германизмам, галлицизмам, барбаризмам» — «речения и обороты славянские» (см. с. 457 наст. изд.).

Здесь же впервые с полной определенностью проведена граница между литературными противниками и единомышленниками автора. Не-

---

[80] Поэты 1790—1810-х годов, с. 843 (слова М. Т. Каченовского).

[81] См.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники, с. 99.

[82] Намек на сборники стихов Жуковского с демонстративным названием «Для немногих» («Für Wenige») (№ 1—6, М., 1818).

уемный, всегда доходящий до конца, до геркулесовых столбов в развитии своих идей, соединяющий крайнюю пылкость духа со стремлением добиться четкости и ясности в самых сложных и запутанных системах, Кюхельбекер именно в статье «О направлении...», невзирая на лица, до конца досказал свои самые заветные и глубокие мысли, и главный удар в статье, естественно, пришелся по Жуковскому.

В 1820-х гг. в декабристской критике намечается отрицательное отношение к творчеству поэта. При всех похвалах Жуковскому Бестужев в обзоре 1823 г. говорит о его недостатках: подражательности («германский колорит»), мистицизме, «наклонности к чудесному», а в обзоре 1825 г., отметив выход сочинений Жуковского, Бестужев более не обмолвился о них ни единым словом[83] и что-то очень резкое написал о Жуковском Пушкину в самом начале 1825 г.[84] Кюхельбекер, хотя с оговорками принимавший творчество Жуковского в 1820-е гг., активно нападает на него в комедии «Шекспировы духи» (напечатана в 1825 г. — написана, возможно, раньше), где строки:

Мне ли в суетах, в волнении,
Мне ли жить между людей?
Я всегда в уединении
Пас стада главы своей... —[85]

прямо пародируют монолог Иоанны из «Орлеанской девы» в переводе Жуковского:

Мне ль свирепствовать в сражении?
Мне ль решить судьбу царей?..
Я пасла в уединении
Стадо родины моей...[86]

В оценке Кюхельбекера Жуковский — поэт не самобытный, подражательный, отсюда проистекает унылость его поэтического мира, решительно неприемлемая для критика. С некоторыми оговорками в один лагерь с Жуковским Кюхельбекер относит Батюшкова, Пушкина и Баратынского (сказанному не противоречит, что у Жуковского и Пушкина он находит истинно народные строки: у критика никогда не возникало сомнения в первоклассном таланте этих поэтов).

И им, кумирам читающей публики, общепризнанным поэтическим вождям эпохи, Кюхельбекер противопоставляет поэтов, чья литературная деятельность воплощает в себе самобытность, оригинальность, спонтанный творческий дар. Из поэтов прошлого здесь Ломоносов, Петров и недавно умерший Державин, а современным корифеям противостоят

---

[83] Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.—Л., 1960, с. 20, 494.

[84] См. Письмо Пушкина к Рылееву от 25 января 1825 г. — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 13, с. 135.

[85] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 2, с. 156.

[86] *Шиллер Ф.* Собр. соч. в 7-ми т., т. 3. М., 1956, с. 113. Пародирование Кюхельбекером «Орлеанской девы» отметил Тынянов в кн. «Пушкин и его современники» (с. 97, примеч.).

Бобров, Востоков и Шихматов (Бобров умер в 1810 г., раньше Державина, но по возрасту и творчеству он принадлежит к младшему, по сравнению с Державиным, поколению).

Основной вывод Кюхельбекера заключается в требовании создания самобытной, оригинальной русской литературы: «Да создастся для славы России поэзия истинно русская». Он указывает и ту почву, на которой должна вырасти эта поэзия: «Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности» (см. с. 458 наст. изд.). И здесь, в кардинальных своих выводах, Кюхельбекер размышляет подобно Шишкову, стремившемуся направить развитие отечественной литературы по руслу, проложенному старинными церковными книгами и фольклором.

Подробный анализ откликов на статью Кюхельбекера и разгоревшейся вокруг нее полемики не входит в нашу задачу, тем более что основной материал по этому вопросу собран и достаточно тщательно проанализирован.[87] Большинство современников не приняло основных положений статьи: читатели были шокированы и резкой критикой современных русских писателей, и смелостью, с какой Кюхельбекер рассматривал творчество ведущих деятелей мировой культуры.

Исключением было отношение Пушкина, который всегда очень внимательно относился к критическим оценкам Кюхельбекера. «Сколько я не читал о романтизме, все не то, даже Кюхельбекер врет»,[88] — писал Пушкин 30 ноября 1825 г. А. Бестужеву. Для нас в этом отзыве важно не то, что «врет», а усилительная частица «даже», говорящая, что Пушкин считал Кюхельбекера самым серьезным из современных критиков. «Кюхельбекера „Духи" — дрянь <...>, — пишет поэт спустя несколько дней Плетневу и тут же добавляет, — предисловие одно порядочно».[89] Можно думать, что Пушкину понравилось рассуждение Кюхельбекера о европейской мифологии, более близкой европейскому фольклору и поэтому более важной для европейской поэтической традиции, чем античная мифология. Это место отмечено карандашом в экземпляре «Шекспировых духов», принадлежавшем Пушкину:[90] «Романтическая мифология, особенно сказания о стихийных (элементарных) духах, еще мало разработана: тем не менее она заслуживает внимания поэтов, ибо ближе к европейским народным преданиям, поверьям, обычаям, чем богатое, веселое, но чуждое нам греческое баснословие».[91] Нетрудно

---

[87] *Сакулин П. А.* Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М., 1913, с. 249—295; *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и Пушкин. — В кн.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники, с. 95—115; *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., 1959, с. 399—405.

[88] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 13, с. 245.

[89] Там же, с. 249.

[90] См.: *Эйхенбаум Б.* О замысле «Графа Нулина». — В кн.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969, с. 176.

[91] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 2, с. 143.

увидеть, что эти рассуждения Кюхельбекера находятся в одном ряду с его мыслями о самобытной русской поэзии. И если они заинтересовали Пушкина, то естественно, что статья «О направлении...» не могла не привлечь его самого пристального внимания. Пушкин «был задет» ею, как пишет Тынянов.[92] Он не принял рассуждений об оде, вступив



А. С. Пушкин (автопортрет).

с ними в полемику, продолжавшуюся и в «Онегине», и в пародии на графа Хвостова,[93] но по достоинству оценил свежесть, новизну и глубину положений, высказанных в статье его лицейского друга: он разделил отрицательное отношение Кюхельбекера к элегии в стихотворении «Соловей и кукушка» (1825) и в предисловии к 1-й главе «Онегина». Пушкин готовил о статьях Кюхельбекера специальную работу, однако выступление его после 14 декабря, естественно, не могло состояться. Тем не менее сохранившиеся наброски показывают,

---

[92] *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники, с. 103.

[93] Там же, с. 103 и след.

что, несмотря на ряд несогласий, поэт всегда считал Кюхельбекера самой значительной личностью в литературной критике 1820-х гг.: «Статьи сии написаны человеком ученым и умным. Правый или неправый, он везде предлагает и дает причины своего образа мыслей и доказательства своих суждений, дело довольно редкое в нашей литературе. Никто не стал опровергать его, потому ли, что все с ним согласились, потому ли, что не хотели связаться с атлетом, по-видимому, сильным и опытным».[94]

Идеи, высказанные в статье «О направлении...», были развиты и уточнены в «Разговоре с Ф. В. Булгариным», который явился ответом на благожелательную рецензию Булгарина на вторую часть «Мнемозины», кончавшуюся словами: «Статья сия по великим истинам, в ней заключающимся, по откровенности душевной, с какою автор высказал все, что у него лежало на сердце, и, наконец, по благородной любви к отечеству, ко всему возвышенному заслуживает особенное внимание не только литераторов, но и всех патриотов».[95] Рецензия писалась в пору сближения Булгарина с Грибоедовым.[96] И, хваля Кюхельбекера, человека, близкого Грибоедову и лично, и литературными взглядами, Булгарин по существу расточал хвалы своему новому другу, к литературной позиции которого он спешил декларативно присоединиться. В следующем номере «Литературных листков» Булгарин опубликовал фельетон «Литературные призраки», в котором вывел Грибоедова под именем Талантина,[97] автора еще не напечатанной комедии, «недавно прибывшего в столицу из отдаленных стран, где он находился по службе».

Взгляды Талантина совпадают с мыслями Кюхельбекера, изложенными в статье «О направлении...». И дело здесь, очевидно, не в том, что, по словам Н. И. Мордовченко, «Булгарин использовал приговоры и оценки Кюхельбекера».[98] Более справедлива, на наш взгляд, точка зрения В. Н. Орлова, писавшего: «Можно предположить, что Булгарин в данном случае с большою точностью передал подлинные грибоедовские суждения... и благодаря этому его фельетон приобретает важное литературно-биографическое значение».[99]

Талантин резко порицает так называемое легкое стихотворство и тех, в сущности, второстепенных французских поэтов, которые имели многих последователей среди русских литераторов 1820-х гг.: «Подражание Парни и Ламартину, — говорит Талантин, — есть диплом на безвкусие, а познание литературы, почерпнутое из Лагарпа, возбуждает сожаление. Вы именно учитесь тому, что надлежало бы забыть».[100] Таким образом, паре Парни—Мильвуа у Кюхельбекера соответствует пара Парни—Ламартин у Гри-

[94] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 11, с. 41.

[95] *Ф. Б[улгарин].* Мнемозина... — Литературные листки, 1824, август, № 15, с. 77.

[96] См. статью Н. К. Пиксанова в кн.: *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1911, с. XLIX.

[97] *Ф. Б[улгарин].* Литературные призраки. — Литературные листки, 1824, август, № 16, с. 93—108.

[98] *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века, с. 401.

[99] См.: *Грибоедов А. С.* Соч. М.—Л., 1959, с. 718.

[100] *Ф. Б[улгарин].* Литературные призраки, с. 97.

боедова-Талантина. И далее, приближаясь к позиции Шишкова, Талантин, как и Кюхельбекер, подчеркивает важность для современной литературы старославянского языка, других славянских языков и фольклора: «Чтобы совершенно постигнуть дух русского языка, надобно читать священные и духовные книги, древние летописи, собирать народные песни и поговорки, знать несколько соплеменных славянских наречий, прочесть несколько славянских, русских, богемских и польских грамматик и рассмотреть столько же словарей; знать совершенно историю и географию своего отечества».[101] Таким образом, представляется совершенно справедливым замечание Тынянова, считавшего, что из булгаринского фельетона «можно заключить, насколько литературные взгляды Кюхельбекера были тесно связаны со взглядами Грибоедова и служили выражением общих взглядов архаистов».[102]

Однако Булгарин свел принципиальные положения Кюхельбекера и Грибоедова на уровень журнальной склоки: Талантину в его фельетоне противостоят злобно осмеянные Неучинский, Лентяев, Фиялкин (под именами которых легко угадываются Баратынский, Дельвиг и Жуковский). Вероятно, именно это и вызвало известное письмо Грибоедова, в котором автор «Горя от ума», не отказываясь от приписываемых Талантину мнений, порывал с Булгариным, раздосадованный чрезмерными, рекламными похвалами в адрес Талантина. С другой стороны, возможно, фельетон «Литературные призраки» был истинной причиной резкого выступления Кюхельбекера в III части «Мнемозины» в ответ на доброжелательную рецензию Булгарина.

Кюхельбекер стремился к принципиальной полемике, к развитию своих идей, и он очень резко ответил на робкие и в целом весьма умеренные возражения Булгарина. Самым ценным в ответе Кюхельбекера является развитие оппозиций (Гомер—Вергилий, Пиндар—Гораций и пр.), предложенных им в статье «О направлении...» и столь смутивших Булгарина.

В 1825 г., последнем году своей свободной жизни, в «Сыне отечества» Кюхельбекер в основном развивает и уточняет идеи, сформулированные в «Мнемозине». Так, он резко упрекает фон-дер-Борга за пристрастно односторонний подбор поэтических имен для перевода на немецкий язык и снова выдвигает на передний план русской литературной жизни имена Державина, Боброва и Катенина, оценка которого становится у Кюхельбекера все более восторженной: его стихи единственные «во всей нашей словесности принадлежат поэзии романтической» (см. с. 493 наст. изд.).

Особенно важной из последних работ Кюхельбекера является «Разбор поэмы князя Шихматова „Петр Великий“». Нигде оригинальность мышления Кюхельбекера, его упрямое нежелание считаться с общепризнанными мнениями не сказались с такой прямолинейностью, как в оценке Шихматова. Уже в статье «О направлении...» Шихматову было отведено «одно из первых мест на русском Парнасе». В «Разборе», монографиче-

[101] Там же, с. 105.
[102] *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники, с. 100.

ской статье, Кюхельбекер на примере одного поэта изложил те принципы, которым была посвящена программная статья «Мнемозины». При этом связь со старшим поколением архаистов подчеркнута здесь объектом анализа, для которого выбран один из самых крупных поэтов «Беседы любителей русского слова», любимый ученик Шишкова.

Творчество Шихматова рассмотрено Кюхельбекером на фоне мировой литературы, в ряду исторических хроник Шекспира и поэмы «Шахнаме» Фирдоуси. Он считал, что возрождение классической оды, вытесненной элегическими стенаниями так называемых романтиков, осуществляется именно в творчестве Шихматова, который «свое лирико-эпическое творение создал по образцу не „Илиады“ Гомеровой, а похвальных од Ломоносова».

Особенно большое внимание уделяет Кюхельбекер языку поэмы, сближаясь с позицией Шишкова, считавшего несомненным достоинством литературного языка «красноречивое смешение славенского величавого слога с простым российским».[103] С подобных позиций пишет о языке Шихматова Кюхельбекер: «После Ломоносова и Кострова никто счастливее князя Шихматова не умел слить в одно целое наречия церковное и гражданское: переливы неприметны; славянские речения почти всегда употреблены с большою осторожностию и разборчивостию; в последние 25 лет, конечно, мы отвыкли от некоторых, но в этом напрасно кто вздумал бы винить нашего автора! Итак, слог (не во гнев ненавистникам нашего древнего отечественного слова!) везде выдержанный, язык богатый...» (с. 491 наст. изд.).

Таковы были основные положения одной из последних опубликованных статей Кюхельбекера, а в написанном в то же время, но напечатанном лишь столетие спустя наброске «Минувшего 1824 года достопримечательные события...» Кюхельбекер, сам того не подозревая, подвел итог своей короткой, но бурной, исполненной огромного историко-культурного значения литературной деятельности. Он с большой точностью определил основные литературные группировки, противостоявшие друг другу и боровшиеся друг с другом в пору подготовки восстания декабристов. Славяне равно имеют «своих классиков и романтиков: Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым». Далее Кюхельбекер четко выделяет себя и своих друзей в группу младших «славян», настоящих, истинных «романтиков»: «Катенин, Г‹рибоедов›, Шаховской и Кюхельбекер ‹могут быть причислены› ко вторым» (с. 500 наст. изд.). Группа «вторых» на самом деле была, конечно, гораздо обширнее. Если руководствоваться принципами Кюхельбекера, в нее могут быть включены многие писатели-декабристы и литераторы декабристского окружения: ко «второй группе» можно причислить Ф. Глинку, Гнедича и некоторых других.

После 14 декабря 1825 г., проявляя удивительную волю к духовной жизни, не позволяя суровым условиям тюрьмы и ссылки сломить себя,

---

[103] *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. — Собр. соч. и переводов, ч. II, с. 7.

осужденный декабрист продолжает работать и стремится напечатать свои произведения. Поэтому естественно, что Кюхельбекер сосредоточивается на создании в основном художественных произведений.

В начале 1830-х гг. он работает над «Русским Декамероном». Это произведение должно было состоять из прозаического обрамления, где в форме диалогов излагались литературные взгляды автора, и поэтических текстов, в которых на практике закреплялись теоретически сформулированные принципы. Художественных произведений для «Декамерона» было написано несколько, прозаическое обрамление создано лишь для первой части.

Неосуществленный замысел Кюхельбекера лишь формально связан с идущей от Боккаччо традицией. Рассказчики «Русского Декамерона» должны были развернуть перед читателем грандиозные картины основных этапов развития мировой культуры. Первая часть — поэма «Зоровавель» — построена на библейских мотивах, вторая — «Семь спящих отроков» — переносит действие в Византию во времена возникновения, а затем торжества христианства, к началу крестовых походов. В конце поэмы перед читателем проходит как бы парад объединившихся для единой цели народов: испанцы, немцы, итальянцы, галлы, норманны, славяне.[104] Третья часть «Декамерона» должна была соединить с Библией и христианством Шекспира, но стилизованного на славяно-русский полусказочный манер (фарс «Нашла коса на камень», представляющий собой переделку комедии Шекспира «Укрощение строптивой»).[105] Наконец, все здание, по замыслу, венчалось обширной поэмой «Агасвер», изображающей основные этапы истории человечества в целом. «Агасвер», однако, настолько разросся в процессе работы, что Кюхельбекер позднее отказался от мысли включить поэму в состав «Декамерона».[106]

Литературные взгляды Кюхельбекера с 1826 по начало 1830-х гг. не изменились. В этом отношении особенно показательны последние страницы «Декамерона», где прямо сказано, что задачей автора было «возобновлять и приспособлять к нынешнему слогу чистые славянские речения и обороты» (см. с. 518 наст. изд.). И текст вставной поэмы «Зоровавель» действительно показывает, что стилистическую основу его составляют славянизмы. Отметим несколько словоупотреблений, характерных для архаической позиции Кюхельбекера. Таково, например, слово *звукнет,* этот необычный глагол употреблялся Бобровым, писателем, высоко ценимым автором «Зоровавеля».[107] Можно отметить и такие нарочитые архаизмы,

---

[104] *Кюхельбекер В. К.* Лирика и поэмы, т. 1. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 439—442.

[105] *[Кюхельбекер В. К.]* Нашла коса на камень. СПб., 1839.

[106] См. с. 116 наст. изд.

[107] Ср.: Звукнул времени суровый
Металлический язык;
Звукнул — отозвался новый
И помчал далече зык.

(Поэты 1790—1810-х годов, с. 119).

как *одесную, рало,* и такие строки в описании гарема:

Там вертено прядет волну;
Игла пленяющие взоры
Выводит по ковру узоры;
. . . .
И мудро начатую ткань
Кончает знающая длань...

Фраза эта отличается сильно усложненным синтаксисом, несвойственным современному русскому языку, утяжеленным порядком слов — причастный оборот в данном случае должен стоять после определяемого слова: игла выводит узоры, пленяющие взгляд. Если в «Адо» Кюхельбекер не побоялся сказать *перси* о медвежьей груди,[108] то теперь он не усомнился назвать женскую руку *дланью.* Приведенный пример показывает, что стилистические принципы Кюхельбекера не изменились.

По-прежнему он восхищается творчеством Шихматова, называя его «поэтом таких дарований, каких у нас... мало», и прямо говорит о победе своего направления, о слабости карамзинской школы, с которой он некогда воевал, и об этой битве напоминает читателям, цитируя свою нашумевшую статью «О направлении...» (см. с. 518 наст. изд.). Кюхельбекер считает, что «Борис Годунов» и «Полтава» свидетельствуют о переходе Пушкина на позиции архаистов. Эволюция гениального поэта была более сложной, чем это представлялось Кюхельбекеру, тем не менее он прав в том, что обращение Пушкина к историческим темам и жанрам поэмы (не романтической, с точки зрения Кюхельбекера) и трагедии, архаизация и приподнятость языка не во всех, но во многих сценах «Годунова» и «Полтавы» свидетельствовали по крайней мере об учете Пушкиным опыта архаической школы.

Важнейшей в «Русском Декамероне» является восточная тема. Это произведение Кюхельбекера подводит итог его многолетним увлечениям восточными литературами. Он заинтересовался Востоком еще под влиянием первого директора Лицея В. Ф. Малиновского, знатока турецкого и древнееврейского языков. Турецкую поэзию Кюхельбекер изучал еще в Лицее.[109]

Интерес к Востоку окреп во время недолгого пребывания Кюхельбекера на Кавказе и особенно в результате его тесной дружбы с Грибоедовым. В связи с библейской тематикой «Зоровавеля» стоит вспомнить, что, по собственному признанию Кюхельбекера, Грибоедов некогда «заставил его прочесть книги Ветхого Завета». Вообще можно предположить, что весь «Русский Декамерон» является своеобразной данью автора покойному другу. Не исключено, что прототипом Чинарского, главного героя

---

[108] См. выше, с. 600—601.
[109] См.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники, с. 169.

«Декамерона», является Грибоедов. Чинарский жил в Тифлисе, сражался под командованием Паскевича (все это согласуется с фактами биографии Грибоедова), а в конце поэмы перед нами возникает фигура задумчивого русского, в котором читатель видит автора «Зоровавеля» — Чинарского, передавшего своим слушателям рассказ странствующего певца. И в то же время в фигуре юноши, знатока Востока, погруженного в глубокие раздумья, образ которого венчает восточную поэму Кюхельбекера, проглядывает облик трагически погибшего друга, которому заточенный в тюремную камеру поэт отдает дань глубокого уважения и любви:

...некий воин недвижимый
Смотрел за ними долго вслед;
Он долго, юный сын побед,
Мечтами, думами боримый,
Восторга полною душой
Парил над древнею страной..[110]

О важности для русских писателей изучения Востока Кюхельбекер писал в статье «О направлении...», где говорилось, что «Фердоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей» (см. с. 458 наст. изд.), и Шихматова Кюхельбекер сравнивал не только с Кальдероном, но и с Фирдоуси. Все это полностью совпадает с позицией Грибоедова-Талантина, как изложил ее в своем фельетоне Булгарин: «Не говорю о восточных языках, которых изучение чрезвычайно трудно и средств весьма немного. Но все не худо ознакомиться несколько с *Восточными рудниками Гаммера* (Fundgruben des Orients) или перевернуть несколько листов в Гербелоте, в хрестоматии Сильвестра де Саси, в Азиятических изысканиях Калькуттского ученого общества (Asiatic Researches) и в Назидательных письмах о Китае (Lettres édifiantes etc.). Восток, неисчерпаемый источник для освежения пиитического воображения, тем занимательнее для русских, что мы имели с древних времен сношения с жителями оного».[111]

Интерес декабристов к восточной тематике часто проявлялся в обращении к библейским сюжетам,[112] которые для русского писателя и читателя, воспитанных на славянской Библии, привычно воплощались в церковнославянской лексике. В первой части «Мнемозины» было напечатано стихотворение Грибоедова «Давид», библейское по сюжету и целиком построенное на церковнославянских формулах. Несколько ранее, в 1822 г., Кюхельбекер использовал в стихотворении «Пророчество» («Глагол господень был ко мне») те же приемы для прославления восставших греков, а Пушкин тогда же высмеял эти стихи: «Только в его (Кюхельбекера, — *В. Р.*) голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, велико-

---

[110] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 502. Сходство Чинарского с Грибоедовым отметила Е. П. Мстиславская в обзоре «Творческие рукописи Кюхельбекера». — Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, вып. 36. М., 1975, с. 17—18.

[111] *Ф. Б[улгарин]*. Литературные призраки, с. 106.

[112] См.: *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, с. 215 и след.

лепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом, — славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия».[113] Пушкин был прав, а ошибка Кюхельбекера заключалась в том, что церковнославянизмы прочно привязывались читателем либо к национальной, либо к библейской тематике. Пушкин, как и Грибоедов, понимал это очень хорошо, и его «Пророк» («Духовной жаждою томим») — прежде всего библейский пророк, лишь включенный в сложную систему размышлений о роли и назначении поэта, точно так же, как герой стихотворения Грибоедова — прежде всего библейский Давид. И в том же самом ключе, как выполнение заветов покойного друга, написан «Зоровавель» Кюхельбекера.

Однако эти острые и актуальные для Кюхельбекера проблемы уже в минимальной степени занимали его живших на свободе современников. Литературные битвы десятилетней давности были забыты. Никто не помнил Шихматова, последние произведения Пушкина холодно воспринимались читающей публикой, борьба архаистов и карамзинистов тем более никого не интересовала. И выступление Кюхельбекера, каждая строка которого когда-то вызывала ожесточенную полемику, прошло незамеченным, если не считать издевательской заметки «Библиотеки для чтения» (см. с. 761—762 наст. изд.).

5. *«Последний Колонна» и проблема романтического героя*

В «Русском Декамероне», как мы видели, Кюхельбекер еще прочно стоит на своих позициях романтика-архаиста 20-х гг. Однако уже в 1830-е гг. почти параллельно с «Декамероном» начинается затянувшаяся на много лет работа над лучшим произведением Кюхельбекера «Последний Колонна». В этом романе, опираясь на достижения современной ему русской и мировой литературы, Кюхельбекер создает образ главного героя в русле романтической, но в то же время глубоко переосмысленной традиции.

Работа над романом, начатая 8 марта 1832 г., продолжалась свыше десяти лет. Сначала он назывался «Итальянец», «Предчувствие», в конце концов автор остановился на далеко не самом удачном варианте — «Последний Колонна».

Непосредственный творческий импульс («воображение стало работать») был получен от чтения «глупейшей», по словам самого Кюхельбекера, повести французского писателя-сентименталиста Ф. Арно «Адельсон и Сальвини» (см. с. 106 наст. изд.). Содержание этой повести оказало заметное влияние на фабулу «Колонны». Герой повести Арно молодой

---

[113] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 13, с. 45.

лорд Адельсон познакомился и подружился в Риме с художником Сальвини. Друзья вместе возвращаются в Англию. Здесь Адельсон рассказывает историю своей любви к прекрасной девушке Нелли, которая была похищена злым ее родственником Струлсом; во время погони Адельсон убил француза, влюбленного в Нелли. Теперь возлюбленные встретились, близка свадьба. Сальвини влюбляется в невесту своего друга. Он борется с собой, не соглашается на предательство, убивает Струлса. Однако страсть в конце концов берет верх. Сальвини убивает Нелли, отказывается от побега, предлагаемого ему отчаявшимся Адельсоном, и погибает от руки палача. Адельсон умирает через три месяца после гибели Нелли.[114]

Кюхельбекер значительно изменил сюжет, убрал густой налет сентиментальных рассуждений, снял осложняющие действие похищения, поединки и другие препятствия, мешающие немедленному соединению влюбленных. При этом отчетливо проявилась сложная проблематика «Колонны». У Арно Сальвини только назван живописцем, его поведение не зависит от творческого дара. Колонна Кюхельбекера — художник, и это определяет темперамент, мысли, поведение героя. Роман переключается в другую сферу, другой уровень художественного мышления: перед нами произведение, затрагивающее основные вопросы романтической поэтики. И здесь проявляются глубинные связи «Колонны» с проблематикой современного автору европейского романтизма.

Сам автор был доволен романом. 8 декабря 1843 г., сообщая любимой племяннице о завершении работы, он писал: «Развязка ужасная, такая, что я сам испугался, когда дописывал последнюю главу; cela vous rappellera Hoffmann; роман состоит из выписок из дневника главного лица и из писем. Эпистолярный слог мне, кажется, дался: каждое лицо пишет сообразно своему характеру и званию; они следующие: живописец итальянец, монах католический, итальянец же, русский отставной офицер гвардии, его слуга — француз, молодая девушка лучшего круга, русская, старая компаньонка богатой русской генеральши, титулярный советник малороссийский, секретарь губернатора. Всем им, кажется, дана настоящая физиономия, и карикатуры вроде тех, какие обыкновенно встречаются в наших так называемых нравоописательных романах, полагаю, нигде нет».[115]

Книга Кюхельбекера родилась в результате чтения и раздумий над произведениями романтиков.[116] Одного из них, Гофмана, как мы видели,

---

[114] *Арно.* Адельсон и Сальвини. Аглинская повесть. — Городская и деревенская библиотека, ч. 3. М., 1782, с. 81—192.

[115] *Тынянов Ю. Н.* В. Кюхельбекер. — Литературный современник, 1938, № 10, с. 215—216.

[116] В содержательной статье Е. М. Пульхритудовой «„Лермонтовский элемент“ в романе В. К. Кюхельбекера „Последний Колонна“» (Научн. докл. высшей школы. Филол. науки, 1960, № 2, с. 126—138) проанализирована связь романа с поэтикой «Героя нашего времени» и «Маскарада». Не отрицая возможности подобных влияний, мы, однако, думаем, что указанные нами ниже параллели более существенны для понимания литературной позиции Кюхельбекера, для которого при всем восхищении романом Лермонтова был неприемлем характер «гадкого» Печорина (см. с. 415 наст. изд.).

Кюхельбекер прямо назвал в связи с Колонной, имя другого не названо, но дневниковые записи показывают, что поэт много и с удовольствием читал крупнейшего романтика XIX в. Вашингтона Ирвинга. Он не только хвалит американского писателя, но в конце 1833 г., во время работы над романом, отмечает его сходство с Гофманом.

Не исключено, что знакомство с произведениями Ирвинга и непосредственно отразилось в некоторых ситуациях «Колонны». Не настаивая на непременном заимствовании, отметим некоторые вряд ли случайные параллели. Есть все основания считать, что Кюхельбекер был знаком с теми произведениями Ирвинга, о которых пойдет речь. 6 декабря 1833 г. он записал в «Дневнике»: «Вторая половина рассказов о домовых Вашингтона Ирвинга гораздо лучше первой, — особенно оригинальна пляска старой мебели: это картина вроде Каллота, но в своем роде мастерская».[117] О пляске старой мебели говорится в рассказе «Храбрый драгун, или Приключение моего дедушки», входящем в цикл «Необычайные истории нервного джентльмена», первую часть книги Ирвинга «Рассказы путешественника» (1824).[118] Остальные четыре рассказа этой части и связаны в известной мере, как нам представляется, с романом Кюхельбекера.

Так, герой рассказа «Приключение немецкого студента» Готфрид Вольфганг сначала увидел во сне прекрасную женщину, а потом произошла его зловещая встреча с гильотинированной и ожившей на одну ночь красавицей. Герою романа Кюхельбекера Пронскому Колонна тоже сначала явился в зловещем пророческом сне. Следующие три рассказа: «Приключение с таинственной картиной», «Приключение с таинственным незнакомцем» и «История молодого итальянца» — представляют единое целое и сюжетно связаны друг с другом. Они обнаруживают при полном различии фабулы некоторое сходство в мотивах с романом Кюхельбекера. (Напомним, что «Итальянец» — один из вариантов названия этого романа.)

Историю итальянца рассказывает познакомившийся с ним в Венеции путешествующий англичанин. (Русский путешественник познакомился с Колонной в Ницце.) Этот итальянец богат и знатен по рождению, но отвергнут отцом, беден и живет в монастыре (Колонна — бедняк, но знатного происхождения), он, как и Колонна, художник и любит мрачные картины Сальватора Розы. (Сальватора Розу напомнила Пронскому картина Колонны.) Возлюбленная итальянца обманута его лучшим другом — Филиппо, за которого и выходит замуж. В ярости герой убивает Филиппо, чувствуя себя, как Колонна, но с меньшим основанием, «другим Каином» (с. 506). Мучаясь раскаянием, желая избавиться от наваждения, он ри-

---

[117] Упоминание Калло объединяет имена Ирвинга и Гофмана, так как невольно вызывает ассоциации с книгой последнего «Фантазии в манере Калло» (1814—1815).

[118] См.: *Irving W.* The complete works in one volume. Paris, 1834. В дальнейшем все цитаты даны по этому изданию с указанием страниц в тексте.

сует лицо убитого, которое с картины смотрит на рассказчика с ужасающим выражением (с. 493). (У Колонны мотив будущего преступления навязчиво возникает в его рисунках.)

Однако более важной, чем эти внешние совпадения сюжетных деталей «Колонны» с повестями Ирвинга, является внутренняя параллель романа Кюхельбекера с произведениями Гофмана, которую, несомненно, ощущал и сам автор, не случайно упомянувший этого писателя, когда рассказывал о «Колонне» любимой племяннице. Кюхельбекер, как мы говорили, ощущал известную близость Ирвинга и Гофмана (см. с. 288 наст. изд.), но отдавал предпочтение последнему, веря «сказкам Гофмана, <...> как он сам, с убеждением», а рассказы Вашингтона Ирвинга почитая «за любопытную, но невозможную фантазию расстроенного воображения» (с. 320 наст. изд.).

И если у Ирвинга Кюхельбекер заимствует отдельные детали и общий романтический колорит, то с Гофманом он соприкасается и спорит самой проблематикой своего романа. Герой «Последнего Колонны» — художник, излюбленный персонаж романтической литературы. У Гофмана такой герой, носитель поэтического начала, всегда сочувственно противопоставлен заземленному, обывательскому, пошлому миру (Ансельм в «Золотом горшке», Бальтазар в «Крошке Цахесе», Лезен в «Выборе невесты» и пр.). Колонна — тоже гениальный художник, музыкант, храбрец и бедняк, «бледный красавец с черными, пламенными глазами» (при всей типичности этого романтического портрета отметим все же его сходство с «молодым итальянцем» Ирвинга: «Он был высок и строен <...> У него была копна черных блестящих волос, которые вились вокруг его чела, подчеркивая необычайную бледность его лица <...> Его взгляд был выразителен и полн огня, но дик и изменчив» — с. 495).

Однако Кюхельбекер далеко отступает от общепринятой схемы: мир, окружающий героя, не пошл, не враждебен художнику. Напротив, это люди, озабоченные его судьбой, преклоняющиеся перед его гением, добрые, простые, образованные и умные. Любовь Пронского и Нади, на которую посягает Колонна, — любовь, вполне заслуженная этими хорошими людьми. Они имеют полное нравственное право наслаждаться ею, как граф и его жена (в повести Пушкина «Выстрел»), как Дуня и Минский (в «Станционном смотрителе»). Им противопоставлен (как Сильвио у Пушкина) романтический герой. Страсти Колонны губительны, враждебны людям и не могут быть оправданы, и поэтому Кюхельбекер несколько снижает даже внешний облик героя. У Ирвинга итальянец, в соответствии с романтическими канонами, «был высок и строен», Колонна при всей романтической его внешности «росту небольшого», что и противопоставлено остальным, привычным атрибутам его портрета: «...а красавец и с такими черными, пламенными глазами, каких мне мало случалось видеть». Малый рост героя снова подчеркнут несколько позднее в письме Виктора: «...он никак бы не мог служить в гренадерах — я головой его выше» (с. 526 наст. изд.). Эта, на первый взгляд незначительная, деталь портрета не случайна: в недрах романтического произведе-

ния происходит переоценка романтического героя — симпатии читателя оказываются на стороне жизни действительной, с ее простыми и глубокими человеческими радостями. Интересно, что пошлость, обывательская самоуверенность и тупость помогают преступлению Колонны, утверждая гофмановскую несоприкасаемость двух миров — поэтического и действительного (см. в письме 16 рассуждения титулярного советника Сковроды — с. 562 наст. изд.). По Кюхельбекеру же, художник живет в мире и законы этого мира в принципе общи для всех людей: печать Каина не может быть оправдана гениальностью Колонны.

Наряду с Гофманом и Ирвингом чтение еще одного писателя отразилось, вероятно, на романе Кюхельбекера. В его книге нет того здорового юмора, который чувствуется во всех произведениях Ирвинга, нет и романтической иронии, характерной для иенской школы и для Гофмана, — в нем есть ужас, о котором автор сам писал в письме Н. Глинке. Этот напряженный катастрофизм, ожидание трагической развязки соотносятся, по-видимому, с творчеством французских романтиков и прежде всего Бальзака, которого Кюхельбекер воспринимал как романтика.[119] «У Ирвинга хохочешь, у Бальзака содрогаешься», — записал он в дневнике 12 июня 1834 г. Могучие характеры гениального француза произвели на Кюхельбекера сильное впечатление.[120] Можно думать, что неуемные герои Бальзака с их мощным темпераментом, жаждой наслаждений, широтой натуры и талантом повлияли в какой-то мере на создание «Колонны». Мы, во всяком случае, знаем, что «Шагреневая кожа» вызвала у Кюхельбекера ассоциации с рассказом Ирвинга «Храбрый драгун» (см. с. 322 наст. изд.), входящим в цикл, связанный, по нашему предположению, с созданием «Последнего Колонны». А роман «Отец Горио» вызывает у Кюхельбекера размышления, которые вполне могут объяснить то сложное отношение его к своему герою, которое отражается и в нашем, читательском, восприятии: с одной стороны, мы не можем не восхищаться талантом этой необузданной и страстной натуры, с другой — индивидуализм Колонны, его эгоистическая страсть, не подавляемая ни рассудком, ни волей, несомненно, говорят о принципиальном осуждении Кюхельбекером романтического героя с нравственно-этических позиций: «Порок гнусен, — записывает Кюхельбекер, — но и в порочной душе бывает нередко энергия; а эта энергия (и в самих заблуждениях) никогда не перестанет быть прекрасным и поэтическим явлением».[121] Так, сплавляя разнородные влияния крупнейших мастеров, создает Кюхельбекер оригинальное и значительное художественное произведение, очень нужное для русской литературы 1840-х гг., с которым читателям, однако, удалось ознакомиться лишь сто лет спустя.

---

[119] Связь «Колонны» с Бальзаком и Гофманом отметил Ю. Н. Тынянов в своей статье «В. Кюхельбекер» (Литературный современник, 1938, № 10, с. 215).

[120] О восприятии Кюхельбекером Бальзака см.: *Тынянов Ю. Н.* Декабрист и Бальзак. — В кн.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники, с. 329—346.

[121] Там же, с. 341.

6. Дневник. Эстетические и нравственные поиски начала 1830-х годов

В. К. Кюхельбекер начал вести дневник 25 апреля 1831 г. в Вышгородском замке города Ревеля (ныне Таллин), куда он был доставлен «под строжайшим присмотром» 19 апреля и где находился полгода. Первые тетради его дневника — с 25 апреля по 14 декабря 1831 г. — были утрачены при неизвестных нам обстоятельствах еще во время крепостного заключения Кюхельбекера. Тетрадь, с которой начинается настоящая публикация, открывается записью от 15 декабря 1831 г., сделанной уже в Свеаборге, куда Кюхельбекера доставили 14 октября на корабле «Юнона» по высочайшему повелению. В течение четырех лет, проведенных в Свеаборге, Кюхельбекер делал записи в дневнике ежедневно. Редкие пропуски — из-за чрезвычайных переживаний, болезни или потому, что вечером случайно загасил свечу, — каждый раз отмечались и оговаривались.

В годы ссылки дневник велся значительно менее регулярно. У нас нет сведений о том, делал ли поэт записи во время переезда из Свеаборга в Баргузин, и о том, когда появились первые баргузинские записи (в сохранившихся до нашего времени списках этих тетрадей дневника перерыв с 10 июня 1835 до 3 сентября 1837 г.). Переписка с родными, А. С. Пушкиным, издателями показывает, что он и в 1836—1837 гг. по-прежнему много читал и размышлял над прочитанным, — подобные размышления составляли основное содержание кюхельбекеровского дневника свеаборгского периода. В дневнике 1837 и последующих лет все чаще появляются записи иного характера: краткие перечисления бытовых забот или скупые фразы вроде записанной 17 ноября 1837 г.: «Опять два месяца, что я не писал дневник: да писать не было о чем, кроме горя». Время от времени Кюхельбекер решает вновь вести дневник как прежде (запись 22 октября 1839 г.), заполняя его размышлениями о литературе, но это не осуществляется ни в Баргузине, ни в Акше. «Опять запустил свой дневник», — сетует он 6 ноября 1840 г. Впрочем, нечастые записи этого времени о литературе касаются важнейших эстетических и нравственных проблем 1830—1840-х гг. и свидетельствуют о сложном процессе духовной эволюции литератора-декабриста.

Новый этап в ведении дневника должен был начаться, по замыслу Кюхельбекера, с переездом его из Акши в Курган, куда он прибыл 22 марта 1845 г., посетив по дороге Баргузин, Иркутск, Тобольск и Ялуторовск. Тетрадь дневника, начатую 29 марта 1845 г., он обращает к своему «новому, но верному другу», которому обещает «по временам пересылать эти тетради». В этот же день Кюхельбекер записывает (пока суммарно) впечатления от чтения новых книг, стихотворение, посвященное М. Н. Волконской, и начинает восстанавливать по памяти текст утраченной драмы «Архилох». Далее следуют интереснейшие записи о чтении Байронова «Каина» и «Русских ночей» Одоевского, «Гулливера» и статей Белинского. 4 ноября 1845 г. ослепший Кюхельбекер сделал в дневнике

последнюю собственноручную запись. После этого, по свидетельству Ю. Н. Тынянова, его дневник представляет собой только записи продиктованных Кюхельбекером стихотворений и стихотворных отрывков, в частности из поэмы «Агасвер», из драмы «Архилох». Записи по-прежнему имеют точную датировку, иногда к одному и тому же произведению Кюхельбекер возвращается дважды. Большая часть новых стихотворений связана с конкретными событиями жизни поэта тех дней. Они как бы заменяют прозаические дневниковые записи афористически краткими формулировками поэтической речи. Последняя запись продиктована 29 апреля 1846 г.; 11 августа того же года Кюхельбекер умер.

Дневник, который велся так много лет, не был исповедью, и все же он запечатлел изменения личности узника-поэта, столь существенные сегодня для понимания трагической судьбы первых дворянских революционеров в России. Он запечатлел изменения нравственно-эмоционального тонуса, переход поэта от приподнятого самоощущения гонимого пророка к трезвой оценке своей роли и судьбы. Дневник велся писателем, который по праву занимает место одного из крупнейших в декабристской среде, и все размышления этого писателя о литературе, истории и человеческом характере являются важнейшим документом для истории русской общественной мысли. Вместе с тем к тому времени, когда В. К. Кюхельбекер решил вести дневник, он уже твердо знал, что ни реалии быта тюрьмы, ни собственные сложные чувства, противоречия и тонкие переливы ощущений не станут предметом его записей. Строгий отбор изображаемых чувств, черт характера и жизненных событий, которые могут и должны стать предметом изображения, был определен программой гражданского искусства декабристской эпохи, в разработке которой сам поэт в 1820-е гг. принимал такое активное участие. Поэтому это была как бы задача с заранее заданными условиями: дневник ведет гонимый поэт; причины гоненья, степень вины осужденного или его палачей не обсуждаются, жребий выпал — и ропот против него был бы греховным. Это позиция, сформулированная Кюхельбекером когда-то еще в ранние годы, в переводе «Письма к молодому поэту (из Виланда)»: «Так! любезный друг: никому не избежать своего жребия! Ежели лавровый венец и темная келия Тасса, ежели нищенский конец и слава Камоэнса должны быть и вашим уделом, я ли, слабый смертный, переменю уставы Провидения?».[122]

Тема дневника — *мысли* поэта в заточении, а позже — в ссылке. Прежде всего — мысли о предметах высоких и важных, подобающих гонимому творцу, для которого «и в песнях, и в бедах его предтечи» — Меонид (Гомер), Камоэнс и Тассо. Это рассуждения о философско-нравственном смысле человеческого бытия, об истории человечества, которая есть история разных эпох единой мировой цивилизации, и, наконец, «полная мощная жизнь в областях фантазии» самого автора. В 1831 г., когда дневник был начат, творчество Кюхельбекера именно такой полной, мощ-

[122] Сын отечества, 1819, ч. 57, № 45, с. 193.

ной жизнью и было. 18 ноября 1830 г., посылая А. А. Дельвигу первую часть «Ижорского», которую он хочет напечатать «под псейдографическим именем Космократова Младшего (буде Пушкин позволит)», Кюхельбекер перечисляет другу огромное количество сделанного и начатого им в заключении: «Хочешь ли знать, что сделал я в четыре года? Я был довольно прилежен еще под судом, без бумаги, без пера, без чернил. Начал я нечто эпическое; это нечто, надеюсь, будет по крайней мере столько же оригинально в своем роде, как „Ижорский". Оно в терцинах, в 10 книгах, 9 кончены, название „Давид", руководители Тасс, отчасти Дант, но преимущественно Библия. Далее, я начал роман, который, вероятно, погиб; остался он в руках у Шипперсона, которого Баратынский знает, заглавие: „Деодат". Сверх того, перевел я „Макбета", „Ричарда II" и начал „Генриха IV". „Макбета" можешь прочесть у моих <....> Сообщи им и „Ижорского"».[123]

Для нас важна не только фактическая сторона письма — перечисленные здесь сведения, но и эмоционально-нравственный настрой: пишет поэт в расцвете творческих сил, равный к равному, новый Тассо и отчасти Данте, во всяком случае «новый Камоэнс» («Новый Камоэнс, творю, творю, хотя не Лузиады, а ангельщины и дьявольщины, которым конца нет», — это из письма Пушкину 20 октября 1830 г.).[124] «Любезные друзья и братья, поэты Александры! <..> Пересылаю вам некоторые безделки, сочиненные мною в Шлиссельбурге», — Пушкину и Грибоедову 10 июля 1828 г.[125] «Если желаешь, друг, прочесть отрывки из моей поэмы, пиши к С. Бегичеву: я на днях переслал ему их несколько», — Грибоедову.[126] И даже так: «Через два года, наконец, опять случай писать к тебе <...> От тебя, т. е. из твоей псковской деревни, до моего Помфрета, правда, недалеко; но и думать боюсь, чтоб ты ко мне приехал <...> А сердце голодно, хотелось бы хоть взглянуть на тебя!».[127] Это не только высказанное страстное желание, но и намек на то, что по условиям заключения Кюхельбекера в Динабурге встреча с Пушкиным возможна. И что Пушкин — тот достойный, любимый, равный собеседник, по которому истосковался узник: «У меня здесь нет судей: Манасеин уехал; да и судить-то ему не под стать. Шишков мог бы, да также уехал».[128]

Именно в таком — приподнятом, торжественном, поэтически-грустном ключе начинался дневник 25 апреля 1831 г. в Ревельской тюрьме.[129]

---

[123] Русский архив, 1881, № 1, с. 140. Тит Космократов — псевдоним Владимира Павловича Титова, «любомудра», сотрудничавшего в альманахах «Северная лира» и «Северные цветы», писателя-романтика «московской школы», близкого к Пушкину.

[124] Русский архив, 1881, № 1, с. 138.

[125] Там же, с. 137.

[126] Там же.

[127] Там же, с. 138, 139.

[128] Там же.

[129] 2 сентября 1833 г. Кюхельбекер перечитывал начало дневника: «В Р<евельском> дневнике все мягче, живее, свежее, чем в нынешних: самое уныние в нем представляет что-то поэтическое. Тогда еще душа у меня не успела *очерстветь*

Но с конца 1831 г., когда изменились условия заключения после перевода декабриста в Свеаборг, очень быстро начинает меняться душевное состояние изолированного от мира поэта. На смену поэтической грусти приходит отчаяние:

Увы мне! с чем сравню души моей страданья,
Где образы найду, где обрету вещанья,
Да изреку ее и мертвенность, и хлад? —

начипает поэт стихотворение, записанное в дневник 19 января 1832 г., потом зачеркивает, начинает снова:

Где образы найду, где обрету вещанья,
Да изреку смертельный, страшный хлад
Души, лишенной упованья,
Растерзанной, но чуждой покаянья?

Поэт-пророк, поэт-мессия не может жить без дружеского общения; душа его гибнет без духовной пищи: «Движенья нет в ней, нет в ней силы. Мертвец подобен ей, который в мрак могилы, В слепое лоно тьмы бездонной положен, И небом, и землей [и ближними] забвен».

Стихотворная дневниковая запись от 31 января 1832 г. гласит, что, когда произошли с поэтом все его несчастья, он поначалу крепко надеялся на заступничество друзей и близких:

[«В грозе меня ли] не заступит
[Мой ближний:] друг мой и мой брат
Из рук жестоких не искупит?»
Я ждал, но брат и друг молчат.
И ближний на мои мученья,
Лишенный мужества и сил,
Бросает взор из отдаленья.
Моей надежды посох гнил.

В этих строках — точная нравственно-психологическая картина реакции общества на судьбу декабристов: молчаливое сочувствие и полная невозможность помочь. Осталась надежда — на бога. Но и обращаясь к богу с мольбой, поэт не вводит его в заблуждение: он просит не загробного блаженства, душа поэта полна мирских забот, он хочет славы, литературных успехов, земных благ:

[Жаждой грешной] и безумной
[Благ мирских] я распален.
[Слух мой ловит зов их] шумной,
Плотью дух мой подавлен;
Обладает мною время,
Грудь не вечностью полна;
Не без ропота под бремя
Преклоняю рамена.

от продолжительного заточения; впрочем, и самое заточение было в Р‹евеле› не слишком тяжко, по крайней мере в последние 4½ месяца; полтора месяца, правда, было и в Р‹евеле› трудно» (см. с. 272 наст. изд.).

Ты послал мне испытанья,
Ах, несу не без стенанья,
Не без слез, владыко мой,
Крест, наложенный тобой.[130]

Он просит у бога смягчения «злобы яростной» против врагов в своем сердце: «Так, укрепи же нас, и сил и благ Даруй, да победим желанье мести». Или: «И в нас вдохни смиренный тихий дух, И гнев свой победим и мы в то время, И к нашим должникам преклоним слух И снимем с их рамен взысканий бремя». Но, несмотря на все молитвы, он ощущает сердце свое чуждым покаяния, и за это еще горше упрекает бога: «Ну, дух святый! Ты скорбь и пламень, Ты жажду бога моего И покаяние вдохни в него!». Поэтому его обращение к богу оказалось временным; после освобождения из крепости религиозные темы исчезают в творчестве Кюхельбекера, а тяжкие лишения сибирской ссылки приводят его не к иллюзорной надежде на бога, а к горестной мечте о смерти как о последнем успокоении и к пессимистической картине всеобщей гибели человечества в поэме «Агасвер».

Если не может помочь бог, защитой от оскудения души становится сам поэтический дар, благодаря которому судьба поэта-страдальца получает высший смысл, становится страницей всемирной истории поэзии гонимых, в числе которых Архилох, Камоэнс, Тассо, а из русских — Костров, Шихматов, Рылеев, одно время — Пушкин и др. Разница в таланте не так важна, как сходство судеб.

В 1834 г. он писал племяннику Н. Г. Глинке: «Если бы я не был поэтом, я едва ‹ли› мог ‹бы› перенести мое бедное, отравленное всякого рода горестями бытие».[131] Тем страшнее для него оказывается ощущение, возникшее в 1832 г. и не покидавшее его, а усиливавшееся с годами: ощущение потери творческой силы, бесплодия фантазии, утраты состояния исступленного восторга, в котором пишутся стихи. Эта тема постоянно присутствует в дневнике, это одно из самых болезненных переживаний. Тому же Н. Г. Глинке Кюхельбекер писал: «Ни о чем в свете, кажется, я столько не думал, как о высоком искусстве, — об искусстве, которому посвятил жизнь свою, посвятил ее, может быть, без всякой пользы. Без пользы? Конечно, если разуметь под пользою выгоды житейские или даже самые наслаждения славою: имя мое забудется, ибо ‹...› все мои произведения незрелы, несовершенны. Несмотря на то, никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом; утешения, ко-

---

[130] В окончательной редакции стихотворение несколько утратило свой личностный характер, приближаясь к типу духовной притчи о грешнике:

Благ мирских питаю жажду,
К зову их склоняю слух.
К ним стремлюсь и рвусь и стражду,
Плотью подавлен мой дух ‹...›

(См. тетрадь «Духовные стихотворения» — ОР ИРЛИ, Р. 1, оп. 12, д. 196).

[131] См. в кн.: Декабристы и их время, с. 48.

торые мне доставляла поэзия в течение моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их, — довольно, говорю, для меня и их, и я считал бы себя неблагодарным, если бы требовал от поэзии для себя еще другого чего... Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти, и, признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочел бы счастию без нее».[132]

Кюхельбекер предрек здесь свою будущую судьбу. Трезвое понимание той нравственной спасительной роли, которую играет в его трагической судьбе поэзия, пришло одновременно с пересмотром сущности поэтического творчества и его задач. Отдельные черты романтического мироощущения и вера в романтического героя сохранились на всю жизнь; но творческий метод менялся, обретая черты подлинного историзма и все более опираясь на реальные причинно-следственные связи личности человека, его судьбы и социально-общественных обстоятельств его жизни.

В одном из важнейших стихотворений периода крепостного заключения — «Мое предназначение» (31 декабря 1834 г.) — поэт так пишет о страшной своей изоляции от живущего деятельной умственной жизнью мира:

Или мой жребий не жесток?
Из сонма дышащих творений
Меня не выхватил ли рок?
Без устали бежит поток
И дней, и лет... Какого же века?
Не ум ли ныне человека
Творит из мира мир иной?
Что ж? неприступною стеной,
До самой тверди взгроможденной,
Я отделен от всей вселенной.
Немеет слабый гул наук,
За мой порог не пролетая.
Здесь, ухо всуе поражая,
Часов однообразный стук —
Над временем насмешка злая:
Оно стоит. И мне ль мечтать
Из мертвой тьмы уединенья
Учить живые поколенья
И миру бога возвещать? [133]

«Учить живые поколенья И миру бога возвещать», не слыша «гула наук», не зная современного слова литературы, стало невозможно. И Кюхельбекер настойчиво, по рецензиям и цитатам, приводимым в рецензиях, по отдельным случайным книгам стремится уловить дух новой литературной эпохи. Взвешивает, оценивает чужие мнения и — размышляет

[132] Там же, с. 47.
[133] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 272—273.

сам. О гражданском пути декабристов, о предопределенности их неудачи, о смысле и цели героической жертвы. О собственных взглядах начала 1820-х гг. — на государственность, политику, бога и искусство. О человеке, его высокой нравственной сущности и греховности. О человеке — творце и жертве истории. О нравственном праве на месть и ропот и об умении прощать. О человеке и об отражении его души и судьбы в искусстве.

Местом этих размышлений, анализа, оценок стал дневник. Дневник — литературный журнал, фиксирующий движение мысли декабриста на протяжении пятнадцати лет. Там были запечатлены периоды творческого бессилия и творческого восторга, записаны суждения о важных, с точки зрения Кюхельбекера, явлениях в истории русской и мировой литературы. Собственным, не простым и не прямым путем духовно-нравственных исканий приходит Кюхельбекер к выводам, сходным с теми, к которым пришла во второй половине 1830-х—в 1840-е гг. вся передовая русская литература, литература Пушкина, Белинского, Лермонтова.

Если эволюция эмоционально-нравственного состояния поэта прослеживается в его дневнике достаточно явственно, то эволюция литературных воззрений должна быть воссоздана сопоставлением оценок, даваемых Кюхельбекером в разное время различным литературным явлениям. Читая в Свеаборге «Сын отечества» за 1810—1820-е гг., он записал 7 ноября 1832 г. по поводу своей статьи 1817 г.: «Нахожу, что в мыслях своих я мало переменился». 4 декабря 1833 г., при чтении своих статей о поэме Шихматова и о переводах фон-дер-Борга, — снова: «. . . ныне я почти совершенно тех же мыслей, но выразился бы несколько помягче».

Действительно, взгляды Кюхельбекера на явления и события литературной жизни прошлого, того времени, когда он был крупнейшим литературным критиком своего направления — гражданского романтизма под славянским знаменем, отличаются удивительным постоянством. Он и в 1830-е гг. страстный защитник Катенина, в стихах которого видит массу достоинств. «Софокл», «Наташа», «Мир поэта» и другие произведения Катенина конца 1810-х—начала 1820-х гг. «истинно прекрасны». В споре Катенина с Жуковским и в дискуссии Гнедича и Грибоедова по поводу двух переложений баллады Бюргера Кюхельбекер по-прежнему на стороне Грибоедова. Окончание большого стихотворения Катенина «Мир поэта», рассказывающего о духовной истории человечества и завершающегося изображением героев древних лет, строй которых движется перед мысленным взором —

Хочу рукой моей коснуться вас. . . Ах, нет!
Нет их, нет никого! . .
. . . .
Вокруг меня зари свет слабый льется,
Лицо горит, мрет голос, сердце бьется
И слезы каплют из очей —

по мнению Кюхельбекера, являет «поэта истинно восторженного, истинно исступленного» (запись от 8 января 1833 г.). А две строки из катенинского «Софокла» — «Когда же мстить врагам обиду Душой великие могли» — написаны не только человеком с большим дарованием, но и с «не мелкой душой», и Кюхельбекер желал бы подняться на такую же духовную высоту, чтобы когда-нибудь эти две строки к нему «приноровили».

Вместе с тем и в 1830-е гг. он видит в стихах Катенина много небрежностей, которые раздражают его тем больше, чем меньше он начинает ценить в поэзии восторженное исступление.

До последних лет жизни «с грустью и наслаждением» перечитывает он стихотворения Дельвига, в которых видит «свежесть, истинное чувство, поэтическую чистоту, разнообразие». Дельвиг — «прекрасный талант», много выше лучших из хваленых поэтов 1830—1840-х гг., Подолинского и Бенедиктова.

На всю жизнь сохранит Кюхельбекер убеждение в гениальности Грибоедова. В 1833 г. он включится в дневнике в полемику 1825 г. о «Горе от ума», развернувшуюся на страницах «Московского телеграфа», «Вестника Европы» и «Сына отечества», и подчеркнет то главное достоинство комедии, которое отличает ее от всех предшествующих ей произведений, начиная от классицистических и вплоть до Шаховского и Хмельницкого: «В „Горе от ума“ точно вся завязка состоит в противоположности Чацкого прочим лицам; тут точно нет никаких намерений, которых одни желают достигнуть, которым другие противятся, нет борьбы выгод, нет того, что в драматургии называется интригою». Чацкий, по мнению Кюхельбекера, антипод обществу, — именно таким и должен быть романтический гражданский герой. Это убеждение, сформировавшееся в 1820-е и сохранявшееся в первой половине 1830-х гг.

И второе замечательное качество Грибоедова, по мнению Кюхельбекера, — его блестящее знание языка и умение использовать те кажущиеся неправильности слога, которыми разговорный язык отличается от книжного. В этом отношении Грибоедов может быть поставлен в пример «не Дмитриеву, не Писареву, но Шаховскому и Хмельницкому (за их хорошо написанные сцены), но автору 1-й главы „Онегина“» (запись от 8 февраля 1833 г.).

С наслаждением читает Кюхельбекер в «Сыне отечества» отрывок из ранней комедии «Своя семья, или Замужняя невеста», написанный Грибоедовым по просьбе основного автора этого произведения А. А. Шаховского, — «в этом отрывке виден будущий творец „Горя от ума“» (с. 265 наст. изд.). Грибоедов для него навеки — «генияльный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов». Его имя встречается в дневнике по самым разнообразным поводам: при воспоминании об общих друзьях и при рассуждении о восточных религиях, о заговаривании крови и о художественных достоинствах Библии. Последняя тема в связи с именем Грибоедова особенно важна для Кюхельбекера в конце

1820-х—начале 1830-х гг.: по завету Грибоедова выбирает он тему поэмы «Давид» и начинает писать ее прямо в Петропавловской крепости, еще не зная приговора и тем самым поднимаясь в собственном сознании на высочайшую ступень величия духа. Вспоминая Грибоедова, когда-то впервые заставившего лютеранина Кюхельбекера прочесть Ветхий Завет, он перечитывает его вновь, приводя суждения друга и как бы заново оценивая их справедливость (см. с. 77 наст. изд.). Сравнивая характеры двух пророков, Исайи и Иеремии, Кюхельбекер размышляет о типе героя: должен ли герой поражать или внушать соболезнование? Одновременно то и другое невозможно, во всяком случае когда речь идет о положительном герое: или он сверхчеловек, наделенный высочайшими силами души и экстатическими чувствами, или человек горестной судьбы и меланхолической души, над участью которого читатель должен проливать слезы. Первое — путь искусства от романтически понятого Шекспира к школе «неистового» романтизма во Франции и России 1830-х гг.; второе — путь от сентиментального гуманизма просветительства к сентиментальному гуманизму раннего этапа «натуральной школы». Кюхельбекер принимает героя-сверхчеловека только в одном варианте: когда это великий гражданин, борец за счастье отечества и справедливость, пророк. Сверхчеловек байронического толка, герой, наделенный могучими отрицательными качествами и не осужденный автором, смущал Кюхельбекера и в 1820-е гг.; в 1840-е он не сможет принять ни Байронова «Каина», ни лермонтовского «гадкого» Печорина.

А герой измученной души и горестной судьбы для поэта-узника становится с каждым годом все более привлекательным. Это объясняется и аналогиями с собственной судьбой и характером (Кюхельбекер с юных лет был романтически убежден, что рожден приносить несчастья и самому себе, и своим близким), и тем обостренным литературным чутьем, которое позволило писателю уловить главную тенденцию развития современной ему русской литературы.

7. Кюхельбекер о «маленьком человеке» в литературе 1810—1840-х годов

Большая часть записей Кюхельбекера о произведениях, прочитанных им с удовольствием, содержит слова о сердечном участии поэта в судьбе героев. Он сопереживает несчастным, он тронут их судьбой. При этом ему не нравятся ни «приторная сладость» элегической унылости Жуковского, ни «прелесть карамзинской чувствительности». А известия князя Шаликова о бедных или его же описание бедствий Москвы в «роковой 1812 год» Кюхельбекер не может читать «без того, чтобы не зашевелилось в сердце».

Современному читателю трудно разобраться в этих сентиментальных тонкостях; романы госпожи Жанлис и Каролины Пихлер, повести Лафонтена и Карамзина кажутся ему явлениями одного порядка. Однако Кюхельбекер настойчиво разбирался в них, отыскивая именно ту чувствительность и трогательность, которая была ему нужна и близка: не диалектику меланхолической души, а переживания и коллизии, мотивированные ситуацией и характером.

25 февраля 1832 г., отмечая в дневнике любопытные статьи в журнале «Московский телеграф» за 1826 г., Кюхельбекер называет рассуждение, принадлежащее крупнейшим представителям новой, «московской» или «немецкой», школы в русской философии и поэзии, В. П. Титову, Н. А. Мельгунову и С. П. Шевыреву, о книге Ваккенродера «Фантазии об искусстве» — рассуждение об иррациональном и идеальном содержании искусства, в котором встречаются, в частности, такие, явно заинтересовавшие Кюхельбекера мысли: «Доказательства ума только тогда имеют на людей решительное действие, когда они трогают сердце». Сами мысли Ваккенродера, по определению русских философов, это «живые излияния души, напитанной любовию к изящному».[134]

Кюхельбекер читает в это время Гомера и отмечает в «Илиаде» и «Одиссее» места, которые особенно *трогают* его сердце: «. . . ничего нельзя вообразить прекраснее и трогательнее свидания Одиссея с Лаертом в 23-й книге „Одиссеи". Это место можно бы привесть в доказательство того, что и древним была известна поэзия, изображающая чувства, хотя они (т. е. греки, а не римляне) и не знали поэзии, *рассуждающей* о чувствах (последняя, без сомнения, принадлежность позднейшего времени)» (запись от 25 апреля 1832 г.). Он находит романтическое, глубокое чувство в беседе Диомеда и Главка о быстротечности человеческой судьбы (запись от 28 мая 1832 г.). Даже исторические хроники Шекспира, которые обычно потрясали его, заставляли содрогаться от ужаса при изображении могущественных злодеев, в 1832 г. дают повод для слез: Кюхельбекер переводит «Ричарда III», перечитывает «славное появление душ убиенных Ричардом их убийце» — одну из тех сцен, которые он в Шекспире всего более любит, и находит в стихах «нечто неизъяснимое, подирающее по коже стужею и выжимающее из глаз слезы» (27 мая 1832 г.).

«Стихи, которые бы за душу хватали», ищет Кюхельбекер в поэмах Вальтера Скотта. А уж когда он одну за другой читает повести Жанлис, стихия трогательного просто захлестывает его. И он начинает в ней разбираться. Повесть «Все на зло» (или, как она названа в «Вестнике Европы», «Все на беду») «хороша», «одна мысль в ней бесподобна», эта мысль: «В добродетели есть какая-то приятность, которая час от часу более привязывает к ней человека; следственно, она не так трудна, как говорят многие, ибо наслаждается самыми своими жертвами» (записи от 20—21 июня 1832 г.). В повести рассказана история изгнанника, что

[134] Московский телеграф, 1826, т. 9, № 9, с. 18, 19.

само по себе уже вызывало сочувствие Кюхельбекера, и подчеркнуто, что герой — самый обыкновенный, а не сверхромантический, лишенный счастья человек: «В приключениях моих нет чрезвычайностей; характер мой совсем не романический, ум самый обыкновенный, и никаких великих несчастий со мною не было. Я не прятался в пещерах, не наряжался чудовищем; меня не гнали, не искали, и страстная, верная любовница не вымышляла хитрых способов спасти жизнь мою. Со мною случилась едва ли не безделица: меня лишили имения и милого отечества — более ничего».[135] Далее рассказывается история гонений, злоключений и сердечных несчастий героя, доброго труженика, все поступки которого соответствуют его характеру и складу ума, а политическое кредо обличает умеренность и человеколюбие: «Я душевно полюбил Голштинию, где дворянство приветливо и бедно, где крестьяне учтивы и богаты, где царствует полная свобода для всех честных людей».[136]

Затем Кюхельбекер читает еще повесть Жанлис «Роза, или Дворец и хижина». «...и она недурна; впрочем, принцесса, кормящая грудью умирающего крестьянского младенца, нечто такое, что поневоле шевельнет сердце, кем бы и как бы то ни было рассказано» (запись от 22 июня 1832 г.). Эта повесть гораздо более искусственна, чем первая; однако внимание Кюхельбекера остановило не изображение скромного счастья героини в хижине после того, как она отказалась от соблазнов богатства, выводящих ее за пределы милого ей крестьянского сословия, а острая сцена социального неравенства, с которой начинается повесть: голодная крестьянка с иссохшей грудью и голодным младенцем на руках перед дворцом, в котором знатные и богатые «живут в изобилии с детьми своими».

Равной Жанлис в жанре трогательной повести Кюхельбекер признает лишь Каролину Пихлер; и Август Лафонтен, и Шиллинг кажутся ему ниже. Впрочем, и у них, в частности у Лафонтена, он находит «хорошие сочинения». И снова это произведения, где несчастия героя, а следовательно, и сострадание к нему обусловлены внешними, объективными условиями его жизни, производным из которых является и его характер.

В записи от 25 июля 1832 г. Кюхельбекер положительно оценивает переведенный в «Вестнике Европы» отрывок из романа Лафонтена «Гонимый судьбою». Это история доброго и благородного молодого человека, отверженного, оклеветанного, но не потерявшего веры в людей. И в его судьбе нет ничего чрезвычайного и выдающегося, «причина его несчастий маловажна». Мальчик родился некрасивым и рыжим, и родители, братья и наставники невзлюбили его. Потом родители потеряли любимых и красивых детей — и еще больше невзлюбили рыжего, когда именно он, немилый, остался у них единственным. Овдовев, отец сделал предложение любовнице рыжего сына, не зная об их связи; та, поколебавшись, дала согласие, намереваясь сохранить любовные отношения

---

[135] Вестник Европы, 1802, ч. 2, № 9, с. 17.
[136] Там же, с. 21.

с пасынком. А после возмущенного и отчаянного отказа благородного Вальдена оклеветала его перед отцом.

Восходящая некоторыми элементами к античному сюжету, фабула стала чисто семейно-бытовой. Хотя до социальной причинной обусловленности характеров и судеб еще очень далеко, однако все события весьма достоверны, описаны правдиво, а главное — полностью объясняют сложившийся в результате характер Вальдена, вызывающий горячее сочувствие автора (рассказчика), а за ним и читателей: «Много я обязан твоим обширным знаниям, но еще более, гораздо более твоим слезящимся очам, твоему напряженному голосу, огню, горевшему на бледных щеках твоих, когда ты говорил о страждущем человечестве, о добродетели, об уповании на бога и о надежде на лучшую жизнь. Я плакал вместе с тобою, не зная, что о тебе самом проливаю слезы, не зная, что я к растроганному сердцу своему прижимаю несчастнейшего и добрейшего из всех людей, существовавших в мире».[137]

Кюхельбекер читает одну повесть за другой и, оценивая их, в дневниковых записях мысленно вмешивается в чужой творческий процесс, как бы диктует автору свою волю, исходя из складывающегося у него нового представления о предмете искусства и типе той человеческой личности, которая прежде всего достойна изображения. Уже шла речь о том, что Кюхельбекер высоко ценил Гофмана за полную достоверность его гротесковой фантастики. Однако сейчас, в 1832—1833 гг., даже у Гофмана он отыскивает повесть жанлисовского типа и именно ее признает «истинно мастерской» — это повесть «О счастии игроков» в «Вестнике Европы» 1823 г. «Мастерское», по определению Кюхельбекера, начало этой повести — рассказ о двух счастливых игроках, один из которых, юный и прекрасный барон Зигфрид, счастлив в игре сейчас, а другой, Менар, был счастлив когда-то. С пламенным взором и горькой улыбкой становится он каждый вечер напротив играющего Зигфрида, они наконец знакомятся, и, чтобы предостеречь юношу, Менар рассказывает ему подробную историю своей жизни. В этой истории, как справедливо отметил Кюхельбекер, «слишком много происшествий; однако же они, быть может, произвели бы сильное действие, если бы были более развиты, если бы были рассказаны не чересчур бегло и несколько спутанно. Особенно жена Менара стоила бы того, чтобы на ней остановиться» (запись от 11 января 1833 г.). Жена Менара Ангела — это та самая не гофмановская, а жанлисовская героиня, для трогательных переживаний которой имеется полная фабульно-бытовая основа, но изображения самих переживаний нет. Она была дочерью ростовщика, проигравшего все состояние Менару. Менар влюбляется в нее, готов вернуть богатство отцу, но Ангела гордо отказывается. Потом она встречает его, измученного любовью к ней, и соглашается стать его женой. Однако по ходу дела выясняется, что любит она друга своего детства, юного Дювернета. Через не-

---

[137] Там же, 1804, ч. 20, № 7, с. 184.

которое время после свадьбы Менар вновь возвращается к игре, он холоден к Ангеле, и она, по-видимому, несчастна. Однажды Менар проигрывает все свое состояние некоему полковнику; последняя ставка, которую полковник предложил ему, — Ангела против двадцати тысяч, и Менар проигрывает жену. Тут, естествено, оказывается, что полковник — это Дювернет, все еще любящий Ангелу и решивший таким образом отомстить Менару, разрушившему его счастье. По неясным для читателей причинам Дювернет предполагает, что и Ангела его до сих пор любит и радостно уйдет к нему от чудовища Менара. Однако когда оба приходят в дом, то застают ее мертвой.

Таким образом, о переживаниях несчастной Ангелы читатель только догадывается, но не видит их изображения. Он даже не знает, от любви к которому из двух героев она несчастна, и потому не может сопереживать ей. Самая интересная и важная, с точки зрения Кюхельбекера, сторона произведения оказывается не разработанной. Размышления над этой повестью, близкой по сюжету к целому ряду произведений последующего этапа развития русской литературы, прежде всего к произведениям Лермонтова, готовят Кюхельбекера к восприятию в будущем лермонтовского «Маскарада», который он не случайно встретил восторженно.

До сих пор мы говорили о суждениях Кюхельбекера по поводу жанра повести. Те же особенности восприятия отличают и его чтение стихов. В начале 1830-х гг. он впервые познакомился с поэмами и стихами Вальтера Скотта. Первые две поэмы — «Песнь последнего менестреля» и «Рокби» — привели его в восхищение романтической новизной и «восторгом, одушевляющим поэта». Однако, восхищаясь слогом и подробностями, Кюхельбекер не удовлетворен целым: «...заметно, что рассказ, вымысл (le fable) для поэта последнее дело и, так сказать, только придирки для выставки описаний, картин и чувств поэтических» (запись от 1 августа 1832 г.). Между тем «чувства поэтические» должны быть следствием фабулы, вытекать из рассказанного сюжета. Там, где такая связь есть, — в четвертой песни «Рокби» например, — «столько красот, что сердце тает и голова кружится», а стихи «за душу хватают». Кюхельбекер называет превосходными многие эпизоды поэмы: смерть верного слуги О'Ниля, детство Редмонда и Матильды, смерть жены Рокеби, изображение битвы в замке и пр. Однако главный недостаток поэмы Скотта — отсутствие характеров: «...ни к одному из них нельзя привязаться». Он восхищается романтическими поворотами сюжета в поэме «Дева озера» — торжественной картиной передачи от воина к воину горящего креста, символизирующего призыв к защите отечества (Шотландии) от войска английского короля Иакова II Стюарта, эпизодом встречи у костра вождя мятежников Родрика и переодетого охотником короля, во время которой по первому же знаку Родрика из-за укрытий возникает целый лес (многочисленный отряд) его воинов, тут же, по новому знаку, исчезающий. Но особое внимание вновь привлечено к проблеме характера: «...Скотт говорит, что характеры, в которых лицемерие и фанатизм соединены, гораздо встречаются чаще, чем фанатики без лицемерия или лицемеры

без фанатизма. Мне самому кажется, что это очень справедливо сказано» (запись от 25 сентября 1832 г.).

А поскольку самые разработанные и трогательные характеры в доступной Кюхельбекеру литературе дает Жанлис, внимание Кюхельбекера от Вальтера Скотта снова и снова переключается на ее произведения. «Спасибо моей доброй Жанлис! Она меня утешила повестию, в которой сначала немного чересчур заушничала, но потом стала рассказывать так привлекательно, что я, кажется, перед собою видел ее героиню словно живую. Эта повесть: „Дорсан и Люцея“ в 54-й части „Вестника“» (запись от 26 сентября 1832 г.).

Пока лирический герой Кюхельбекера был исполненным пламенного исступления пророком, писателю не нужна была бытовая точность окружающей этого пророка картины. Не нужны были и причинно-следственные связи характера этого пророка с окружающей средой или событиями жизни. Да и был ли у пророка характер? Гнев на главы грешных израильтян и гнев на врагов молодого поэта Кюхельбекера пророк Исайя и пророк Кюхельбекер призывают с одинаковой страстностью и почти одними и теми же словами: «Проклят, кто оскорбит поэта Богам любезную главу!»; «Восстал господь! бог мещет громы На нечестивые толпы. На вихрях яростных несомый, Грозой подъялся царь судьбы» (см. стихотворения «Проклятие», «К богу» и другие первой половины 1820-х гг.).[138] Что же сделали поэту враги, при каких обстоятельствах и т. д. — эти вопросы при чтении произведения гражданского романтизма, исполненного пламенного восторга и страстного негодования, были просто неуместны. «Воздвигся на мою главу Злодеев сонм ожесточенный», — говорит поэт в начале стихотворения, и коллизия уже ясна. В этот период фламандская школа с ее подробной бытовой точностью была для Кюхельбекера неприемлема, о чем он и сообщал в «Письмах из Италии и полуденной Франции». Думается, что если бы он прочел поэмы Георга Крабба в 1822—1824 гг., он бы не принял и их. Но он познакомился с Краббом в 1832 г., и «картина в фламандском роде» показалась ему любопытной.

Кюхельбекер читает поэмы Крабба «Предместье», «Повести усадьбы», «Деревня» и другие одновременно с поэмами Вальтера Скотта. Они нравятся ему поэтичностью изображения повседневного быта. Осенний туман на взморье и приятельское общество за картами, навязчивая дружба и картины предместья — все это изображено поэтом живо, достоверно, естественно: «В 18-м письме у него изображение предместья: в моих прогулках по улицам Замоскворечья, по Садовой, по Тверской-Ямской я сам это все видел, все точно так, тут совершенная природа» (запись от 24 декабря 1832 г.). Исступленного восторга в крабовском изображении повседневного быта небогатых жителей предместий и деревень, естественно, не было. Однако было то главное, чего ждал теперь Кюхельбекер от литературы: умный рассказ о печальных событиях повседневности, являющихся следствием условий жизни людей. «Для человека в *моем* по-

---

[138] *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 161, 191.

ложении Краббе бесценнейший писатель: он меня, отделенного от людей и жизни, связывает с людьми и жизнью своими картинами, исполненными истины. Краббе остер, опытен, знает сердце человеческое, много видал, многому научился, совершенно познакомился с прозаическою стороною нашего подлунного мира и между тем умеет одевать ее в поэтическую одежду, сверх того, он мастер рассказывать — словом, он заменяет мне умного, доброго, веселого приятеля и собеседника» (запись от 21 декабря 1832 г.).

Знакомство с Краббом было очень важно для того Кюхельбекера, каким он был в начале 1830-х гг.; под влиянием поэтического бытописания Крабба была задумана поэма «Сирота» — поэма с новым для Кюхельбекера героем, новым отношением к бытовым реалиям и новым эмоционально-лирическим строем. Впрочем, не только чтение Крабба, но и все предыдущие размышления над повестями 1810—1820-х гг. отразились в выборе сюжета и героя этой поэмы, знаменующей поворот творчества Кюхельбекера к реализму. Можно вспомнить и стихи Туманского о несчастных детях-сиротах (с. 280 наст. изд.), и заинтересовавшее Кюхельбекера произведение Н. М. Карамзина «Рыцарь нашего времени», начало которого строится на той же коллизии, что и поэма Кюхельбекера: уже немолодой воин возвращается на родину и женится на двадцатилетней красавице; ребенок от этого брака, нежное и любящее существо, рожденное для счастья, вскоре остается сиротой, и его судьбой начинают играть властные силы безжалостной объективной действительности. Сходство двух произведений, правда, на этом и кончается: Карамзина в дальнейшем занимают тончайшие внутренние переживания мальчика, склонного к меланхолии, а Кюхельбекер описывает картину в фламандском роде: мальчик попадает в руки двух пьяниц, из которых один хочет закрепостить его, превращает в слугу, истязает и т. п.

Поэмой «Сирота», которую Кюхельбекер стремился напечатать сразу по завершении первых ее частей, и бытовыми стихотворениями типа сказки «Пахом Степанов», опубликованной в «Библиотеке для чтения» 1834 г. (№ 5, отдел 1, с. 221), Кюхельбекер уверенно выходил на тот уровень реалистических поисков, который соответствовал массовой русской литературе 1830-х гг.

Бытовая сказка «Пахом Степанов» в отличие от поэмы «Сирота» сохраняет некоторый фантастический колорит, к которому с давних пор питал склонность Кюхельбекер и который не противоречил его поискам реальной достоверности. Авторитетами для него на этом пути были и Гете, и Шекспир, и еще ближе стоящие к кюхельбекеровскому типу бытовой фантастики в данном случае Вашингтон Ирвинг, а из русских писателей — А. Погорельский, В. П. Титов, А. И. Вельтман. Здесь мы встречаемся не с прорицателями и вершителями судеб типа макбетовских ведьм и нечистой силы «Ижорского» и не с гофмановской убедительно достоверной фантастической тканью, в которой действуют реальные люди с реально разработанными характерами. Фантастические силы Вашингтона Ирвинга и русских его последователей изображены с улыбкой; это

предрассудки суеверной толпы, которые могут быть милыми или страшными, но не становятся реальными.

Кюхельбекер читает в начале 1830-х гг. все произведения Вашингтона Ирвинга, какие попадаются ему в русских журналах. Это «История о приведениях», «Кухня в трактире, или Жених мертвец» и т. д. Ему нравятся «Лафертовская маковница» А. Погорельского и фантастические повести Вельтмана. Во всех произведениях его привлекает погруженность фантастических элементов в бытовую ткань фламандской школы. Так, в одном рассказе, вызвавшем восторг Кюхельбекера, жители провинциального немецкого городка верят в привидение, которое появляется раз в сто лет в виде жениха и убивает своих невест, сворачивая им шеи в свадебную ночь. Они принимают за вампира конкретного живого человека. Вампир в Пошехонье, по мнению Кюхельбекера, — гениальный замысел, для выполнения которого необходим могучий талант (с. 287 наст. изд.). В другом случае — в рассказе Ирвинга — друг убитого жениха приехал в дом невесты с печальной вестью о его смерти, но болтливая родня не дала ему и слова сказать, как он оказался в роли жениха. Невеста ему очень понравилась, тогда он разыграл роль жениха-мертвеца, увез девушку и обвенчался с нею. Рассказ ведется в трактире подвыпившим пожилым добродушным швейцарцем и насыщен грубоватым юмором: «Одна из тетушек, — говорит рассказчик, — особенно сокрушалась, что единственное привидение, которое в жизни своей ей случилось видеть, было живое творение, но племянница была совершенно довольна этим превращением».[139]

В сказке Кюхельбекера «Пахом Степанов»[140] собутыльником пьяного солдата является мертвец, с которым солдат выпивает на его могиле. Бытовая часть — кураж пьяного, поведение мертвеца, изображающего радушного целовальника, и т. п. — полностью достоверна и естественна; однако когда солдат просыпается наутро вместо избы на могиле в лесу и видит, что теплая овчина тулупа, которым накрыл его ночью целовальник, оказывается саваном, сюжет оборачивается трагически: солдат сходит с ума и становится частью лесной злой силы. Таким образом фантастика оборачивается реальностью. Впрочем, финальная строка сказки — нравоучение: «А солдат был хоть куда. Где вино — там и беда» — как бы намекает на наличие рассказчика, добродушно верящего в привидения и мертвецов и проповедующего народную мудрость, что вино до добра не доводит. Появление подобного рассказчика, заменившего лирического героя-поэта, приближенного к авторскому «я», — характерная черта русской поэзии этого времени, и черта эта была отмечена и воспринята Кюхельбекером.

Так, в «Библиотеке для чтения» за 1834 г. (№ 1) он прочел стихотворение Пушкина «Гусар», после чего написал племянникам Б. и

---

[139] Сын отечества, 1825, ч. 104, № 24, с. 385.
[140] См.: *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 266—269.

Н. Глинкам 18 октября 1834 г.: «По моему мнению, журналисты с ума сходили, когда было начали нас уверять, будто бы Пушкин остановился, даже подался назад. В этом „Гусаре“ гетевская зрелость таланта. Если Полевые этого не чувствуют, тем хуже для них».[141] Появление стихотворения с объективизированным простонародным героем-рассказчиком Кюхельбекер ощущает как новый шаг в творчестве друга, шаг, родственный тому пути, по которому идет он сам.

Вообще отношение Кюхельбекера к творчеству Пушкина, первого и лучшего, по его глубокому убеждению, поэта России, друга, верность и деятельная забота которого об узнике проверены годами, отмечено той же эволюцией, как все остальные литературно-эстетические воззрения Кюхельбекера.

Поэма «Руслан и Людмила» долго казалась Кюхельбекеру лучшим произведением Пушкина. В 1825 г. он не принял «Евгения Онегина»: «Господина Онегина (иначе же нельзя его назвать) читал, — есть места живые, блистательные: но неужели это поэзия? „Разговор с книгопродавцем“ в моих глазах не в пример выше всего остального».[142] Тогда же, в апреле 1825 г., пришел в восторг от пушкинских «Подражаний Корану», которые были близки Кюхельбекеру и Грибоедову и темой кары нечестивым за гордыню, и высоким стилем пламенного исступления. Столь же понравились Кюхельбекеру «Цыганы» — поэтической народностью в описании быта цыган, а главное тем, что романтическому опустошенному герою дана в этой поэме четкая авторская отрицательная характеристика.

В декабре 1831 г. в дневнике Кюхельбекер снова оценивает «Евгения Онегина» как *слабую* попытку передать потомству «наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни», да еще снабженную «ювеналовскими выходками» против того, что поэт воспевает (с. 65 наст. изд.). В январе 1832 г. Кюхельбекер рассуждает о пушкинской «Полтаве» и находит, что поэт лишь прославил Полтавскую битву, но не описал ее, т. е. не использовал исторический материал для создания объективной эпической картины (с. 88 наст. изд.). В феврале 1832 г. ему кажется лучшей из всего «Евгения Онегина» восьмая глава, только что им прочитанная. Произведение, которое для всех его читателей, и потомков и современников, стало энциклопедией русской жизни, для Кюхельбекера оказалось дорого не изображением объективной картины, а той волной сопереживания, которое оно вызвало: «...для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет» (запись от 17 февраля 1832 г.).

Тогда же он начинает читать повести Пушкина. Сначала только «Гробовщик» (очевидно, сочетанием бытовой правды с элементом фанта-

---

[141] Литературное наследство, т. 59, с. 418.
[142] Русская старина, 1904, № 2, с. 380.

стики, столь нравящимся Кюхельбекеру), через некоторое время и «Станционный смотритель» останавливают на себе его внимание. В 1834 г. он с интересом читает в «Библиотеке для чтения» «Пиковую даму»: «В сказке старуха графиня и Лизавета Ивановна написаны мастерски, Германн хорош, но сбивается на модных героев» (запись от 19 октября 1834 г.). А в 1839 г. Кюхельбекер убежденно классифицирует повести Пушкина по глубине и объективной значимости изображенной в них действительности: «Легко может статься, что „Капитанская дочь" и „Пиковая дама" лучше всего, что когда-нибудь написано Пушкиным». И пишет Наталье: «„Капитанская дочь" точно лучшая изо всех, „Станционный смотритель" — лучшая из тех, которые вышли под именем Белкина, прочие же, белкинские, особенно „Метель", — вздор и недостойны Пушкина, исключаю, однако, забавную сказку „Гробовщик"».[143]

Изменилось и отношение Кюхельбекера к пушкинским стихам. В 1834 г. Кюхельбекер параллельно читает «Тартини» Кукольника и первую главу «Онегина», когда-то столь не полюбившуюся ему, мелкие стихотворения Пушкина и Катенина. 15 сентября он записывает в дневнике: «А что ни говори, любезный братец Павел Александрович, ты, конечно, человек с большим дарованием, но все не Пушкин; ты поэт-художник, он поэт-человек; твое искусство холодно — у него душа поэтическая». А на следующий день пишет о сочинениях Пушкина племяннику Николаю: «Читая их, я то рыдаю, как ребенок, то смеюсь, как старик, то пугаюсь, как горничная девка. Скажи ему, что я целую мысленно его перси и голову, уста и руки, согревшие и создавшие, высказавшие и начертавшие этот полный, разнообразный, роскошный поэтический мир. За „19 октября" я его лицейский должник. Долг, впрочем, во всех случаях неуплатимый: мне, во-первых, не написать ничего подобного, а во-вторых, то, что напишу, едва ли дойдет до него».[144]

По иному счету идет теперь оценка стихотворений Пушкина. Те самые стихи, которые восхищали раньше, — «Подражания Корану» прежде всего, те, которые были написаны в манере исступленного восторга или экстаза обличения, близкого стилю самого Кюхельбекера 1820-х гг., сейчас кажутся слишком обдуманными, рассчитанными на эффект, а потому — лишенными вдохновения. «Зато есть другие, менее блестящие, но мне особенно любезные. Вот некоторые: „Гроб юноши", „Коварность", „Воспоминание", „Ангел", „Ответ Анониму", „Зимний вечер", „19 октября"» (с. 363 наст. изд.). И особенно отмечено одно стихотворение: «„Чернь" всячески перл лирических стихотворений Пушкина» (запись 19 мая 1835 г.). В 1838 г. он повторит это мнение в письме к племянницам: «Чернь» — это пьеса, «далеко превосходящая внутренним достоинством и глубиною три четверти тех, которые в нынешнем собрании налицо <...> это, по моему мнению (а тут мое мнение, полагаю, имеет же

---

[143] Декабристы. Летописи, кн. 3, с. 182.

[144] Цит. по статье Ю. Н. Тынянова «В. К. Кюхельбекер». — В кн.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1, с. II.

некоторый вес), — лучшее, истинно шиллеровское, лирическое создание Пушкина».[145]

Мнение неожиданное, парадоксальное именно для Кюхельбекера, требующее объяснений. В этом пушкинском стихотворении Поэт вступает в спор с Чернью, требующей от него того самого гражданского служения себе, которое еще недавно и Кюхельбекер страстно декларировал: «Нет, если ты небес избранник, Свой дар, божественный посланник, Во благо нам употребляй: Сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы; Гнездятся клубом в нас пороки: Ты можешь, ближнего любя, Давать нам смелые уроки, А мы послушаем тебя».[146] Чернь призывает Поэта быть пророком. Когда-то эта задача для Кюхельбекера, да и для Пушкина, была святой. Теперь — «Подите прочь! — отвечает Поэт Черни. — В разврате каменейте смело: Не оживит вас лиры глас!». «Для вашей глупости и злобы Имели вы до сей поры Бичи, темницы, топоры; Довольно с вас, рабов безумных!». А Поэт рожден «не для житейского волненья, не для корысти, не для битв». Особенно страшно последнее — «не для битв», слово отчаяния, произнесенное поэтом, всю жизнь боровшимся. По-видимому, Кюхельбекер, слишком хорошо знавший страстную душу друга, так стихотворение и понял — как крик отчаяния гиганта, у которого больше нет сил для борьбы и веры в борьбу.

Таким образом, Кюхельбекер, оставаясь до 1834 г. почти совершенно отрезанным от повседневного современного ему литературного движения, читая только старые журналы и почти не имея новых книг, сумел уловить главную литературно-эстетическую тенденцию эпохи. Поэтому, когда в 1834 г. он получил «Московский телеграф» за 1832 г. и свежие номера «Библиотеки для чтения», а затем, в конце 1830-х—в 1840-е гг., «Сын отечества» и «Отечественные записки», он был подготовлен к восприятию нового этапа в развитии русской литературы, этапа, сложившегося уже без его участия и достаточно противоречивого. Разбираясь в сосуществующих течениях неистового романтизма и нравственного бытописательства, философского идеализма и «натуральной школы», Кюхельбекер сумел правильно оценить А. А. Бестужева-Марлинского и О. И. Сенковского, А. Ф. Вельтмана и В. А. Ушакова, Н. В. Кукольника и А. С. Хомякова и выделить среди всех одного — М. Ю. Лермонтова, лучшего поэта, пришедшего в литературу «после нас», «после Грибоедова и Пушкина». О Лермонтове Кюхельбекер 5 февраля 1841 г. запишет в дневнике знаменательную фразу: «Итак, матушка Россия, поздравляю тебя с человеком!».

---

[145] Декабристы. Летописи, кн. 3, с. 174.
[146] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 3, ч. 1, с. 141.

8. Кюхельбекер и русская литература 1830—1840-х годов

Когда в мае 1834 г. Кюхельбекеру в руки попал «Московский телеграф» за 1832 г., у него появилось ощущение, что он «спал лет двадцать эпименондовым сном и вдруг проснулся! Сколько перемен во мнениях, в образе мыслей читающего и пишущего мира как в Европе, так даже у нас в России!» (с. 310 наст. изд.). Новые имена пришли на смену прежним. Однако следующим ощущением было то, что многие изменения он предвидел.

Совершенно естественно включается Кюхельбекер в спор об идеальной и реальной поэзии: он уже готов к нему и своими размышлениями о Шиллере и его школе, и анализом достоинств и недостатков фламандского рода искусства. 13 июня 1834 г. он вступает в полемику с Менцелем, приверженцем идеальной школы, напоминая о безжизненности героев — идеальных масок в трагедиях Шиллера и его подражателей — и отрицательно оценивая бесхарактерность подобных произведений. «Натуральная» же поэзия, на которую Менцель нападает, по мнению Кюхельбекера, имеет много достоинств: именно она, «фламандская школа», «натуралисты», в состоянии изобразить «современные происшествия и нравы». Менцель разделяет искусство на субъективное и объективное и приветствует лишь первое, лирическое, шиллеровское начало, называя гетевскую объективность холодной, лишенной вдохновения. И тут Кюхельбекер не согласен с ним. Власть над своим вдохновением и над самим собою — свойство не только Гете, но и величайшего гения всех времен Шекспира. Объективная бесстрастность — свойство современного искусства, «модернизма», как его называет Кюхельбекер. Это искусство «безжалостливо», но даже это качество не останавливает Кюхельбекера в его стремлении понять новое искусство и приобщиться к нему.

Кто же и что же принадлежит в современной литературе к «безжалостливому модернизму»? Во французской литературе, насколько Кюхельбекер может себе представить по отзывам Полевого и статьям Сенковского, — романы и драмы Альфреда де Виньи, Гюго и их последователей, Дюма и главное — произведения Бальзака. «Это должны быть люди с великим талантом, — пишет Кюхельбекер племяннице Юстине 29 июля 1934 г. — Я, к несчастию, знаю их только по переведенным в наших журналах отрывкам; но, истинно, даже и по этим отрывкам удивляюсь им, особенно Бальзаку, которого талант, кажется, разнообразнее, чем первых двух».[147]

В Германии, как устанавливает Кюхельбекер из статей Полевого, нынешние корифеи немцев — Уланд, Берне, Менцель и Гейне. У него не было случая убедиться в гениальности первых двух; однако характерна одна ошибка, которую допускает Кюхельбекер: когда ему попадается стихотво-

[147] Литературное наследство, т. 59, с. 432.

рение И. X. Цедлица «Воздушный корабль» в переводе Лермонтова, потрясшее его своей красотой, то, выписывая его целиком в дневник и сравнивая со столь же прекрасным переводом Жуковского «Ночной смотр» (тоже Цедлица), не знающий автора Кюхельбекер делает предположение, что стихи принадлежат Уланду (с. 396 наст. изд.). К Менцелю Кюхельбекер относится уважительно, хотя и спорит с ним. Из Гейне ему попался лишь один отрывок: «Флорентинские ночи» в «Московском наблюдателе», и Кюхельбекер записывает в дневнике с гениальной прозорливостью: «Судя по ним, Гейне стоит своей славы: легкость, острота, бойкость необычайные, особенно в немце. Портрет англичан и английского языка очень хорош; тут, право, что-то истинно вольтеровское» (запись от 8 мая 1840 г.).

И, наконец, естественный вопрос: кто представляет новое направление в России? Ему называют имя Н. В. Кукольника, сообщают, что Кукольник написал романтическую драму о смерти Тассо, присылают сочинения Кукольника. Кюхельбекер всю жизнь был неравнодушен к имени Тассо, в тюрьме и ссылке Тассо стал его нравственным образцом и мерилом душевных сил. Когда он в феврале 1842 г. поссорился со своим другом К. О. Савичевским, он тут же вспомнил о Тассо: «Смеются? пусть! — проклятие потомства Не минет их... осмеян был же Тасс; Быть может, тот, кто здесь стоит средь вас, Не мене Тасса» (запись от 22 февраля 1842 г.). Кюхельбекер перечитывает драму Кукольника «Торквато Тассо» трижды, проливает над ней слезы, сопереживая судьбе гонимого поэта, признает талант Кукольника, однако находит, что целое — слабо. Что талант Кукольника скорее лирический, чем драматический. Что он, по-видимому, идет по стопам французских литераторов типа А. де Виньи, В. Гюго и др. И что его драма, хотя и изобилует красотами необыкновенными, «слабо вымышлена и мало обдумана». И все-таки интерес к новому слову в литературе настолько силен, что Кюхельбекер готов поставить «Торквато Тассо» Кукольника на первое место среди всех русских трагедий, не исключая и пушкинского «Бориса Годунова», «который, нет сомнения, гораздо умнее и зрелее, гораздо более обдуман, мужественнее и сильнее в создании и в подробностях, но зато холоден, слишком отзывается подражанием Шекспиру и слишком чужд того самозабвения, без которого нет истинной поэзии» (запись от 16 апреля 1835 г.). Теплота, лирическое парение, самозабвение — это требования, еще восходящие к периоду чтения мадам Жанлис. Но тут же Кюхельбекер ищет характеров, которых нет у Кукольника, и приходит к заключению, что в драме «Рука всевышнего отечество спасла» и Минин, и Пожарский, и Трубецкой, и Ржевский у Кукольника — «одно и то же самое» (с. 362 наст. изд.).

И все же Кукольник, по мнению Кюхельбекера, занимает видное место в ряду новых русских литераторов. Рядом с ним — А. А. Бестужев-Марлинский, за творчеством которого Кюхельбекер следит самым внимательным образом. Отзывы о романах Марлинского занимают в дневнике весьма значительное место. Еще одно имя — О. И. Сенковский. А также —

М. Н. Загоскин, автор «Юрия Милославского» и «Мирошева»; В. Ф. Одоевский, автор повестей «Княжна Мими» и «Русские ночи»; А. С. Хомяков, у которого Кюхельбекер находит прекрасные стихи, а сценами из исторической драмы «Димитрий Самозванец» восхищен настолько, что даже на основании одной сцены готов назвать драму бесподобной: сцены «равной силы нет ни одной у Кукольника ни в фантазии, ни в драме, ни в „Тартини“» (запись 19 октября 1834 г.).

И наряду со всем лучшим Кюхельбекер внимательно присматривается к массовой литературной продукции, к тому среднему уровню литературы, который яснее всего обнаруживает ведущую тенденцию времени. В поле его зрения попадает статья о литературе Ф. В. Булгарина; принимать Булгарина всерьез — грех, однако же в его статье, как всегда, есть «что-то похожее на несколько шутовскую, почти бесстыдную искренность»; Булгарин говорит о современности в литературе, о требованиях новейшего поколения. «Что такое современность нынешняя? Ответ у Булгарина короткий и ясный: презрение к человечеству! И вся она тут? <...> И нет еще другой, более светлой?» — задает Кюхельбекер вопрос (с. 325 наст. изд.). Ему хочется верить, что есть; пылкие герои Марлинского и Кукольника, кажется, подтверждают, что есть эта светлая сторона — идеал, положительный герой, подсказанный новой эпохой. Однако червь сомнения уже поселился; стихотворение Пушкина «Чернь» уже написано и восторженно принято Кюхельбекером. Уже прочитан роман Бенжамена де Констана «Адольф» (1815), переведенный в 1831 г. П. А. Вяземским и вышедший с посвящением А. С. Пушкину, — роман о молодом человеке, находящемся в противоречии с обществом и собственной душой, скептическом и безвольном. Кюхельбекер размышляет над этим романом и приходит к выводу, что в нем «богатый запас мыслей — много познания сердца человеческого, много тонкого, сильного, даже глубокого в частностях» (с. 303 наст. изд.). Однако за грехом должно следовать возмездие или покаяние — намеком на возмездие может служить то, что «погубленная Элеонора противу собственной воли становится Эвменидою-мстительницею для своего губителя». А о покаянии и речи нет; просветления души, вмешательства высшей таинственной силы-воздаятельницы тоже нет; это смущает Кюхельбекера, хотя и не снижает общей высокой оценки романа.

Подобный герой появляется и в русской литературе. Собственно, он был знаком публике уже по «Евгению Онегину» и «Чайльд-Гарольду», но там авторы глубокой симпатией к своему герою как бы снимали горечь объективной его оценки. В «Библиотеке для чтения» 1834 г. Кюхельбекер читает повесть Сенковского «Вся женская жизнь в нескольких часах» и видит там героя онегинского типа, но уже в иной окраске и с иной авторской оценкой. Блестящий молодой человек, граф Александр Сергеевич П., с опустошенной душой, способный на искреннее чувство лишь на самое короткое время, за один вечер увлекает и губит юное существо, Олиньку Р., только что выпущенную из института, прекрасную и еще не начинавшую жить. За несколько часов бала она

узнает сладостное чувство любви, дает клятву в вечной верности, получает ответную клятву, со страхом видит охлаждение и затем равнодушие любимого и, наконец, познает горькое отчаяние брошенной. Она умирает от скоротечной болезни, и ее отпевают в той же церкви, где венчается граф П., венчается, однако, не со своею любовницей, по требованию которой он отвернулся на балу от Олиньки Р., а с ее юной дочерью. Кюхельбекер считает, что некоторые картины этой повести «истинно прелестны», что по слогу барон Брамбеус близок Марлинскому, и то, что нет в произведении возмездия опустошенному герою, его не смущаёт.

Дважды с восторгом перечитывает Кюхельбекер еще одно произведение повседневной русской литературы с героем подобного типа — повесть В. Ушакова «Сельцо Дятлово». «...тут нет ничего идеального — все чистая проза, — между тем рассказ истинно увлекателен, и в многих местах у меня навертывались слезы. Окончание разочаровывает, но автор и не думал очаровывать» (запись от 19 ноября 1834 г.). Последняя фраза касается все того же сочетания беспощадной реальной правды и возможности раскаяния или просветления души героя. Но автор «и не думал очаровывать»; в соответствии с развитием характеров, а еще более — в соответствии с типическим развитием жизненной ситуации и человеческих судеб в конкретно нарисованной социальной среде он строит финал своей повести как вполне безутешный: бездушный и опустошенный герой, лишенный принципов и нравственных устоев и очень напоминающий кюхельбекеровского «Ижорского», только гораздо более заземленный, под конец жизни попадает в жесткую финансовую зависимость от соблазненной и когда-то брошенной им молоденькой сироты-поповны. Сирота эта могла погибнуть и могла разбогатеть, с нею случилось второе, и она цепко приспособилась к жизни, поняв силу денег. А герой, наказанный за преступления юности многими несчастиями, душевно сломлен и раздавлен пошлостью жизни, воплотившейся в облике бывшей несчастной девушки, а ныне его грозной богатой супруги.

И тип предпечоринского героя, и точное реалистическое изображение среды, в которой он живет и действует, интересуют Кюхельбекера, а это готовит его и к восторженному приятию Лермонтова, и к выделению из массы произведений 1830-х гг. формирующегося «физиологического очерка» и этнографическо-простонародной повести будущей «натуральной школы». Очерк Булгарина «Чухонская кухарка» положительно отмечен Кюхельбекером, несмотря на то что идейная его сторона не могла быть принята поэтом. Выпады Булгарина против сенсимонизма с его идеей всеобщего равенства и освобождения женщины встречены Кюхельбекером с осторожностью, и он будет еще не раз возвращаться к идеям сенсимонизма с большой симпатией.

Несколько раз останавливается Кюхельбекер на произведениях Казака Луганского (Даля) («Цыганка», «Сказка про вора и бурую корову», «Бакей и Мауляна»): он ощущал в них очерковое начало («славная вещь, хотя не повесть»), психологическую верность типов и в 1840 г.

заявил, пересмотрев свои прежние симпатии: «Луганский и Вельтман, право, самые даровитые из нынешних наших писателей» (запись от 13 июля 1840 г.). Вельтман, поначалу не понравившийся Кюхельбекеру поэмой «Беглец», к этому времени покорил его народностью, «совершенно русским» содержанием своих прозаических произведений настолько, что в 1842 г. Кюхельбекер даже посвятил ему заочно самое любимое произведение — поэму «Агасвер».

Но все эти имена отходят на второй план, когда Кюхельбекер открывает для себя имя Лермонтова. В феврале 1841 г. он знакомится с «Героем нашего времени» по обширной статье Белинского («Разбор сам по себе хорош, хотя и не без ложных взглядов на вещи» — так охарактеризовал Кюхельбекер статью незнакомого ему критика). А роман «обличает ... огромное дарование, хотя и односторонность автора» (с. 395 наст. изд.). Отныне все произведения Лермонтова Кюхельбекер встречает с напряженным интересом, с горячей симпатией и столь же горячим желанием спорить. В гениальности Лермонтова он убежден — его не смущает ни эклектичность лермонтовской музы, в которой он находит отголоски многочисленных знакомых авторов и даже себя самого, ни слабость отдельных произведений, которые Кюхельбекер приписывает молодому Лермонтову (повесть «Неведомая», например, изданная в 1828 г. в Москве неким М. Л. и Лермонтову не принадлежащая). В каждом произведении Лермонтова есть «родовая идея»; великолепна драма «Маскарад», в «Герое нашего времени» прекрасен эпизод «Мэри» и характер Грушницкого («Грушницкому цены нет — такая истина в этом лице»), хорош доктор и женские образы: «А все-таки! — все-таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин» (запись от 12 сентября 1843 г.). И парадоксальный, но столь подготовленный всем предыдущим чтением Кюхельбекера вывод: «„Маскарад“ не в художественном, а в нравственном отношении выше, потому что тут есть по крайней мере страсти» (с. 415 наст. изд.).

В глазах Кюхельбекера осуждение или раскаяние «гадкого» героя было очень нужным, очень желательным, потому что помогало верить в настоящее и будущее, в идеалы. Безотрадность и «безжалостливость» реалистического взгляда пугали, отсутствие светлого начала в душе — идеала, нравственных устоев, религии — пугало еще больше, хотя Кюхельбекер и ясно видел гениальность отражения Лермонтовым нового этапа русской жизни, этапа 1830-1840-х гг. Незнакомая Кюхельбекеру действительность породила героев, которых он предчувствовал и пристально изучал в течение многих предшествовавших лет, которых сам — в романтической форме мистерии («Ижорский») или поэмы («Агасвер») — пытался не просто изобразить, а как бы предотвратить в жизни, объяснить и осудить своим объяснением. Ему казалось это возможным. Он не связывал появление героя с социально-общественным строем. Представитель узкой когорты дворянских революционеров переоценивал роль личности и личной воли в свершении исторического процесса.

9. Заключение

Такова, в самых общих чертах, эволюция литературной позиции Кюхельбекера. Его статьи, художественные произведения и дневник дают возможность поставить вопрос об эволюции искусства гражданского романтизма и о способности и степени приятия поэтом-декабристом романтического, а затем и реалистического искусства 1830—1840-х гг. Мы можем проследить, как нормативная этика гражданского романтизма преобразовалась в сознании декабриста-узника в религиозно-нравственное утверждение высоких духовных качеств человека вообще, изначально присущих человеческой природе и позволяющих ему выходить победителем из всех испытаний на тернистом жизненном пути.

Подобно всей русской литературе, Кюхельбекер совершил важнейший переход от сентиментального сострадания к погибшему или погубленному к анализу причин его гибели. Впрочем, больше чем «маленький» человек, загубленный средой, обстоятельствами, обществом, Кюхельбекера все-таки интересует человек не маленький, герой с потенциально прекрасной и могучей душой и могучими силами, но тоже загубленный теми же обстоятельствами, средой, обществом, не давшими ему реализовать свои блистательные возможности. Этот образ для него автобиографичен: эволюция романтического героя в условиях русской действительности 1830—1840-х гг. в сознании и творчестве Кюхельбекера полностью достоверна и подкреплена самым неопровержимым доказательством — собственной судьбой. В понимании такого героя и его судьбы Кюхельбекер соприкасается с магистральной линией развития русской литературы, с Лермонтовым и Белинским, Ап. Григорьевым, Тургеневым и Тютчевым. Не случайно с гениальной прозорливостью угадывает Кюхельбекер, в полном духовном одиночестве размышляя в Акше над книжкой «Отечественных записок», значение и сущность таланта Лермонтова, отмечает как важное явление в литературе статьи Белинского, стихи Огарева. Судьба человека в эпоху антигероическую, эпоху рефлексии, судьба романтического героя в эпоху капиталистического предпринимательства — эти проблемы ощутил Кюхельбекер как важнейшие для литературы 1830—1840-х гг., этих проблем он коснулся в своем творчестве.

Вместе с тем не только чисто литературоведческие проблемы, но и вопрос об отношении к идеалистической и материалистической философии, и проблема историзма, и оценка целого ряда исторических деятелей России и Европы, и отношение к народному творчеству и прочее и прочее — все это возможные аспекты изучения того богатейшего и многожанрового наследия, с которым знакомятся читатели в настоящем издании. Русская история дала Кюхельбекеру материал и героя для создания самого глубокого и высокохудожественного его произведения — драмы «Прокофий Ляпунов». Его дневник позволяет проследить, как формировался интерес писателя к тому или иному периоду русской

истории, каким законам и эстетическим принципам подчинял он отбор материала. Кюхельбекер требовал от историка одного качества — беспристрастия.

Сейчас он сам стал для нас историческим героем, представителем эпохи первых русских революционеров. К его памяти долгое время потомки были равнодушны или несправедливы. «Жаль мне историков, в глазах которых кто несчастлив, тот и виноват», — записал он однажды в дневнике. В советские годы несправедливость исправлена, труды замечательного декабриста-мыслителя стали достоянием широкого читателя. Настоящее издание заполняет, пожалуй, последний значительный пробел.

ПРИМЕЧАНИЯ

Творческое наследие В. К. Кюхельбекера чрезвычайно обширно и многожанрово и до сих пор опубликовано едва ли наполовину. Если поэтические произведения, заботливо собранные и сохраненные друзьями и родственниками декабриста, начали публиковаться в собраниях его сочинений уже с 1860-х гг.,[1] а в настоящее время, после выхода двух изданий большой серии «Библиотеки поэта»,[2] могут считаться опубликованными почти полностью, то его прозе — повестям, рассказам, критическим статьям, письмам и дневнику — повезло значительно меньше. Между тем до восстания 14 декабря 1825 г. В. К. Кюхельбекер был широко известен не только как поэт, но и как литературный критик и как прозаик, его повести и статьи публиковались в «Вестнике Европы», «Мнемозине», «Невском зрителе», «Соревнователе просвещения и благотворения», «Сыне отечества» и других изданиях. Продолжал работать над прозаическими произведениями Кюхельбекер и в годы заточения и ссылки, в письмах предлагал редакторам журналов свои услуги в качестве литературного критика, посылал им статьи о литературе и языке. Друзья поэта, прежде всего А. С. Пушкин и А. А. Дельвиг, прилагали большие усилия, чтобы напечатать присланные им нелегально произведения, — среди изданных ими «Русский Декамерон 1831 года» (СПб., 1836), предисловие поэта к переводу «Макбета» Шекспира (Литературная газета, 1830, 31 января). За несколько месяцев до смерти, в мартовском номере «Отечественных записок» 1846 г., была опубликована статья Кюхельбекера «О терминологии русской грамматики», которая, по замыслу автора, должна была явиться «добрым началом ряда статеек» о русском языке.

До революции художественная проза и литературно-критические статьи Кюхельбекера, разбросанные по журналам и альманахам, не собирались и не издавались ни разу.

В советское время из художественной прозы В. К. Кюхельбекера были опубликованы роман «Последний Колонна» (Л., 1937) и повесть «Адо» (ранний вариант по альманаху «Мнемозина»).[3]

Критические статьи декабриста привлекли большое внимание.

В 1923 г. Б. В. Томашевским была впервые опубликована статья «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности».[4] В «Литературном наследстве» (т. 59, 1954) были впер-

---

[1] Собрание стихотворений декабристов, т. 2. Лейпциг, 1862; Избранные стихотворения Вильгельма Карловича Кюхельбекера. Веймар, 1880, и др.

[2] *Кюхельбекер В. К.* [Соч. в 2-х т.]. Т. 1. Лирика и поэмы. Т. 2. Драматические произведения. Вступ. статья, ред. и примеч. Ю. Тынянова. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия); *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т. Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Н. В. Королевой. М.—Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая серия).

[3] Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. Сост. Вл. Орлов. М.—Л., 1951; Декабристы. Антология в 2-х т. Л., 1975.

[4] В кн.: Литературные портфели. Т. I. Время Пушкина. Пг., 1923, с. 72—79.

вые опубликованы текст парижской лекции Кюхельбекера о русской литературе и языке 1821 г. и статья «Поэзия и проза», предназначавшаяся им для пушкинского журнала «Современник».

Ю. Д. Левиным было установлено авторство Кюхельбекера для статьи «Мысли о Макбете»[5] и опубликовано «Рассуждение о восьми исторических драмах Шекспира и в особенности о Ричарде III».[6]

Кроме того, статьи Кюхельбекера перепечатывались в упомянутых антологиях, составленных Вл. Орловым, и в других изданиях. Однако критические статьи Кюхельбекера ни разу не были собраны целиком, многие из них с 1820-х гг. не переиздавались ни разу.

Уникальный памятник декабристской мысли, дневник В. К. Кюхельбекера, был опубликован дважды, и оба раза с огромными купюрами. В 1875 г. М. И. Семевский с помощью профессора О. Ф. Миллера начал публикацию дневника в «Русской старине». Публикация была обширной и давала представление об огромной важности этого документа для истории декабристской эпохи, однако текст дневника был напечатан не полностью, с многочисленными ошибками и искажениями. Для этого издания с автографа дневника были изготовлены писарские копии. По свидетельству Ю. Н. Тынянова, карандашом издателей прямо в автографе были вычеркнуты многие страницы, а также части подневных записей, причем переписчик никак эти купюры не обозначал. По этим спискам дневник был опубликован. Текст не только произвольно сокращался, но иногда и дополнялся издателями или пересказывался своими словами. Несмотря на то что рукопись дневника обрывалась на записи от 29 апреля 1846 г. и что последняя собственноручная запись ослепшего поэта была сделана 4 ноября 1845 г., публикация в «Русской старине» была оборвана записью от 10 октября 1845 г., после чего следовало примечание редакции: «Здесь кончается „Дневник“ Вильгельма Карловича Кюхельбекера».[7] Стихотворения Кюхельбекера, вписанные в дневник в своем первоначальном варианте, а затем прямо здесь же, на страницах дневника, подвергавшиеся правке, при публикации в «Русской старине» либо вообще исключались, либо приводилось несколько строф по поздним редакциям беловых тетрадей.

В советские годы дневник Кюхельбекера был издан отдельной книгой в 1929 г.[8] К сожалению, издание было осуществлено до того, как затерянные тетради автографа дневника попали в руки Ю. Н. Тынянова. В распоряжении издателей были лишь книги «Русской старины» и одна часть сокращенной писарской копии со 2 апреля 1833 по 22 августа 1834 г., по которой и были восстановлены места, пропущенные М. И. Семевским. Вместе с тем по сравнению с текстом «Русской старины» в издании 1929 г. были сделаны новые купюры: «Выпущены ‹...› те места (преимущественно разборы исторических трудов, рассуждения о Ветхом и Новом Завете etc.), которые не представляют в настоящее время почти никакого интереса. Выпущены также те стихи, которые, не имея биографического значения, лишены в то же время художественного достоинства».[9] Это издание оставалось единственным до настоящего времени. Оно оказалось крайне важным для всех исследователей русской культуры первой половины XIX в. и неоднократно цитировалось ими, несмотря на свою неполноту и на то, что в него перешли почти все ошибки и неточности текста «Русской старины».

В начале 1930-х гг. Ю. Н. Тынянов приобрел огромный кюхельбекеровский архив, значительно пополнявший число творческих рукописей поэта-декабриста,

---

[5] РЛ, 1961, № 4, с. 191—192.

[6] В кн.: Международные связи русской литературы. М.—Л., 1963, с. 286—314.

[7] РС, 1891, т. 72, № 10, с. 112.

[8] Дневник В. К. Кюхельбекера. Материалы к истории русской литературной и общественной жизни 10—40 годов XIX века. Предисл. Ю. Н. Тынянова. Ред., введ. и примеч. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., 1929.

[9] *Орлов Вл., Хмельницкий С.* В. К. Кюхельбекер и его дневник. — В кн.: Дневник В. К. Кюхельбекера, с. 19.

известных дотоле по государственным хранилищам. В результате, публикуя в издании 1939 г. так называемое завещание Кюхельбекера, продиктованное им 3 марта 1846 г. И. И. Пущину, Ю. Н. Тынянов мог сопроводить его следующим замечанием: «Кроме „Шуйского“ ‹...›, драмы в стихах, ‹...› пока не найденной, и произведения „Смерть“, рукописи уцелели».[10] На основании приобретенных рукописей, с обильными цитатами, прежде всего из «Путешествия», писем и дневника, написаны статьи Ю. Н. Тынянова о Кюхельбекере 1930—начала 1940-х гг. В издании сочинений Кюхельбекера 1939 г. по рукописи дневника опубликованы многие стихотворения поэта, цитаты из дневника приведены в комментариях.

В настоящее время значительная часть кюхельбекеровского архива из собрания Ю. Н. Тынянова оказалась утраченной.

Насколько нам удалось установить, последние сведения о судьбе этих рукописей можно почерпнуть в архиве профессора Б. В. Казанского, друга Ю. Н. Тынянова, которому в июле 1941 г., собираясь уезжать в эвакуацию, Тынянов передал свой архив. О составе переданных материалов можно судить по записям в дневнике Б. В. Казанского от 16 и 17 июля 1941 г. и по проекту письма на имя директора Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина И. А. Бычкова, составленному для Тынянова Б. В. Казанским, который боялся взять на себя ответственность за судьбу архива. В проекте письма говорится, что Ю. Н. Тынянов просит И. А. Бычкова принять на временное хранение свой личный архив, в который входят «подлинные рукописи дневника и некоторых произведений Кюхельбекера, а также его письма, автограф одной пьесы Грибоедова и другие материалы. Перечень будет приложен при архиве». Тут же сообщается, что все рукописи могут быть помещены в один чемодан. 16 июля, составив в доме Тыняновых это письмо, Б. В. Казанский предложил занести чемодан в Библиотеку, однако, пишет он в своем дневнике, «Тынянов не решился дать мне его».

На следующий день, 17 июля 1941 г., Б. В. Казанский вместе с Е. А. Тыняновой в трамвае перевезли драгоценный чемодан в квартиру Казанских. В 1943 г. умер Ю. Н. Тынянов. Весной 1942 г., пережив тяжелую блокадную зиму, уехала в эвакуацию семья Казанских. Архив Тынянова остался в блокадном Ленинграде, в квартире, заселенной случайными жильцами — семьями из разбомбленных домов. После войны сохранившиеся части архива Ю. Н. Тынянова были переданы И. Ю. Тыняновой в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина (1953) и В. А. Кавериным с помощью З. А. Никитиной — в Центральный государственный архив литературы и искусства (1965—1966). Среди этих материалов не было ни тетрадей автографа дневника, ни рукописи «Путешествия», ни переписки Кюхельбекера с родными и друзьями, цитированных Ю. Н. Тыняновым в статьях 1934—1941 гг. В 1962 г. умер Б. В. Казанский. В 1976 г. среди бумаг Б. В. Казанского его внуком, Н. Н. Казанским, была обнаружена одна из папок тыняновского архива. Из рукописей Кюхельбекера в этой папке находится тетрадь из восьми страниц — предисловие Кюхельбекера к переводу «Макбета» 1829 г.

В настоящем издании впервые собраны важнейшие художественные произведения Кюхельбекера-прозаика и его литературно-критические статьи, впервые публикуется полный текст дневника. Однако при подготовке настоящего издания возникли и большие трудности в связи с отсутствием ряда рукописей, бывших в собрании Ю. Н. Тынянова.

О составе творческого наследия Кюхельбекера — прозаика и литературного критика — мы знаем из двух перечней: продиктованного писателем И. И. Пущину 3 марта 1846 г. и переписанного рукой Пущина 1 марта 1847 г. — и приложенного к письму Кюхельбекера В. А. Жуковскому от 20 декабря 1845 г. В первом, так называемом литературном завещании Кюхельбекера, в разделе «Проза» он называет:

---

[10] *Тынянов Ю. Н.* В. К. Кюхельбекер. — В кн.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1, с. LXXVIII.

«№ 1. Дневник. 9 тетрадей.	Написать Владимиру Андреевичу ‹Глинке›, чтобы он напечатал их извлечениями, по образцу во 2-ом номере, и поручил сделать эти извлечения В. Одоевскому и Плетневу.
№ 2. Заметки и мнения, выписки из дневника. 8 тетрадей.	Печатать.
№ 3. Последний Колонна.	Печатать.
№ 4. Адо. 3 тетради.	Печатать.
№ 5. Толкование на Отче наш.	Печатать.
№ 6. Семинарист.	Как хотят.
№ 7. Путешествие.	Пересмотреть и напечатать по усмотрению, кроме Дрезденской галереи, которую прошу издать.
№ 8. Рассуждение о восьми исторических драмах Шекспира 3 тет[ради].	Печатать.
№ 9. Смерть.	Как хотят.
№ 10. Гора и мышь.	Сделать извлечение о юморе.
№ 11. Продолжение дневника.	Хранить для сына моего Миши».[11]

В письме к В. А. Жуковскому от 20 декабря 1845 г. в «полном списке» своих сочинений, в разделе «Рассказы в прозе», Кюхельбекер перечисляет: «„Последний Колонна", роман в 2-х частях; „Семинарист", начало романа; „Дети генерала Ла Гранжа", начало романа; „Адо", повесть, напечатанная в „Мнемозине", теперь исправленная; „Путешествие на луну", рассказ, напечатанный в „Мнемозине"; повесть, которой заглавие не помню, напечатана в „Невском зрителе"» (писатель имеет в виду «Осаду города Обиньи»). Свои критические статьи Кюхельбекер делит на три рубрики: «Критика и эстетика: „Подробный разбор исторических драм Шекспира"; „Описание Дрезденской галереи", напечатанное в „Мнемозине" и теперь исправленное; с десяток критик, напечатанных в „Conservateur Impartial", в „Сыне отечества", в „Невском зрителе" и в „Мнемозине"; „Письмо к молодому поэту", переделка из Виланда.

Филология: Статьи о русском языке; „Жители Забайкалья и Закаменья".

Богословие и нравоучительные сочинения: „Толкование на молитву господню"; „Смерть", переделка проповеди Гердера; „Двенадцать писем, названных Европейскими", напечатаны прежде. „Извлечения" из моего дневника, которые только что начаты и, вероятно, составят пять или шесть больших томов. Эти извлечения состоят из замечаний о книгах, которые я читал в последние 20 лет, и местами из собственных размышлений; касаются они религии, философии, особенно Шеллинговой и Спинозовой, поэзии, эстетики, филологии и грамматики, особенно языков: русского, греческого и английского; истории и этнографии. „Прежние письма мои" к Дельвигу из-за границы».[12]

В настоящее время местонахождение большей части этих рукописей неизвестно. Отсутствуют автографы (кроме двух тетрадей) дневника и выписок из дневника, «Путешествия»; художественных произведений: «Семинарист», «Дети генерала Ла Гранжа»; рукописи большинства статей.[13]

Неполные прижизненные публикации, а также цитаты и указания в работах Ю. Н. Тынянова зачастую являются единственным источником наших сведений о ряде произведений.

В основном разделе настоящего издания публикуются тематически связанные друг с другом «Путешествие», «Дневник» и «Литературно-критические статьи»

---

[11] Там же, с. LXXVII—LXXVIII.

[12] Дневник В. К. Кюхельбекера, с. 313—314.

[13] О местонахождении рукописей Кюхельбекера в настоящее время см. в статье: *Мстиславская Е. П.* Творческие рукописи В. К. Кюхельбекера. — Записки ОР ГБЛ, вып. 36. М., 1975, с. 5—37.

1817—1825 гг. «Путешествие», составленное в форме дружеских писем, представляет собою как бы дневниковые записи, естественным продолжением которых является «Дневник» узника и ссыльного поселенца.

Литературные воззрения Кюхельбекера, которым уделено много места в «Путешествии» и особенно в «Дневнике», наиболее полно и последовательно отражены в его критических статьях. В настоящем издании впервые публикуются все известные нам литературно-критические работы Кюхельбекера, написанные до 14 декабря 1825 г. Таким образом, здесь полностью представлена критическая деятельность декабриста.

В «Дополнениях» печатаются прозаические части художественного произведения «Русский Декамерон», не переиздававшиеся после первой публикации 1836 г. Эти прозаические куски, в сущности мало связанные с включенной в текст поэмой «Зоровавель», показывают развитие литературных воззрений Кюхельбекера и являются закономерным дополнением к его литературно-критическим статьям. Здесь же печатается роман «Последний Колонна».

За пределами издания остались переводы, поздние литературные статьи (в частности, «Поэзия и проза» (1835—1836) и работы о Шекспире), статьи лингвистического характера, в том числе известная парижская лекция Кюхельбекера 1821 г., публицистические произведения: «Европейские письма» и «Земля безглавцев», повесть «Адо» (последние четыре произведения опубликованы в широко доступном издании: Декабристы. Антология в 2-х т. Л., 1975). Повесть «Осада города Обиньи» не включена в издание потому, что она является переводом (с небольшими переделками) повести Юссие «Клеменция д'Антраг, или Осада города Обиньи».[14]

Орфография и пунктуация приближены к современной. Архаические написания оставлены в тех случаях, когда они указывают на особенности произношения.

Разделы «Путешествие», «Статьи» и «Дополнения» и комментарии к ним подготовлены В. Д. Раком, введение к примечаниям, «Дневник» и комментарии к нему — Н. В. Королевой. Статья «Личность и литературная позиция Кюхельбекера» написана В. Д. Раком (§ 1, 3, 4, 5) и Н. В. Королевой (§ 2, 6, 7, 8, 9), Переводная статья «Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений» сверена с оригиналом, подготовлена к печати и прокомментирована В. Д. Раком.

Составители приносят благодарность за ценные советы В. Э. Вацуро и А. Л. Гришунину.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Результатом поездки Кюхельбекера по Европе в 1820—1821 гг. явилась большая книга путевых впечатлений. «Отрывки из путешествия во Францию» Кюхельбекер читал в «Вольном обществе любителей российской словесности» уже 11 и 25 августа 1821 г. (Архив Вольного общества... — Научная библиотека им. А. М. Горького при Ленинградском государственном университете. Протоколы 1821 года, № 1). Работа над книгой, по всей вероятности, была закончена в 1822 г. в имении сестры Закупе. Кюхельбекер намеревался издать ее, но издателя, пожелавшего купить книгу, видимо, не нашел. В 1824—1825 гг. значительная часть рукописи была опубликована кусками в различных журналах.

Сам Кюхельбекер считал «Путешествие» неотъемлемой частью своего литературного наследия. Особенно он ценил свои размышления об изобразительном искусстве. В так называемом «литературном завещании», заметках, продиктованных перед смертью, 3 марта 1846 г., о книге сказано: «Путешествие. Пересмотреть и напечатать по усмотрению, кроме Дрезденской галереи, которую прошу издать» (*Тынянов Ю. Н.* В. Кюхельбекер. (По новым материалам). — Лит. современник,

[14] См.: РЛ, 1975, № 4, с. 99—100.

1938, № 10, с. 220). В списке своих сочинений, отправленном Жуковскому, Кюхельбекер специально отметил «Описание Дрезденской галереи», «напечатанное в „Мнемозине“, а теперь исправленное» (*Кюхельбекер В. К.* Дневник. Л., 1929, с. 314).

В 1870—1877 гг. дочь Кюхельбекера Юстина Вильгельмовна Косова передала М. И. Семевскому, издателю журнала «Русская старина», бо́льшую часть рукописей отца. Однако в их числе не было исправленного текста «Путешествия» (см.: *Мстиславская Е. П.* Творческие рукописи В. К. Кюхельбекера. — Записки ОР ГБЛ, вып. 36. М., 1975, с. 6).

Полный текст книги Кюхельбекера, рукопись 1823 г., находился в руках Ю. Н. Тынянова. Это была писарская копия с авторской правкой (см. снимок с рукописи в статье Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». — ЛН, т. 33—34. М., 1939, с. 361). Тынянов использовал ее в уже упоминавшихся статьях «В. Кюхельбекер» и «Французские отношения Кюхельбекера» (перепечатано в кн.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968). По словам Тынянова, книга кончалась прибытием в Париж 15 (27) марта 1821 г. (Лит. современник, 1938, № 10, с. 180). Последнее из опубликованных самим Кюхельбекером писем помечено 24 февраля (8 марта), Ницца.

Местонахождение принадлежавшей Тынянову рукописи в настоящее время неизвестно. Наши попытки разыскать ее оказались безуспешными. Мы предлагаем вниманию читателя представляющую единое целое книгу Кюхельбекера (хотя и с довольно значительными лакунами), впервые собранную по журналам, где публиковались отдельные письма. Эти письма расположены в хронологическом порядке. Название книги дано по «завещанию» Кюхельбекера. Так же называл Тынянов имевшуюся у него рукопись.

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ

Письма 1—5 под общим названием «Отрывки из путешествия» впервые опубликованы в кн.: Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей российской словесности, ч. XXVIII. СПб., 1824, с. 249—260. Подпись: В. Кюхельбекер. Перепечатано: Собрание новых русских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1823 по 1825 год, ч. 2. СПб., 1826, с. 166—175. Подпись: К. Замена фамилии первой буквой, очевидно, объясняется выходом книги уже после восстания декабристов.

2

[1] *С А. Л...м...* — Александр Львович Нарышкин (1760—1826) — обер-камергер, главный директор театральной дирекции, с которым Кюхельбекер в качестве «секретаря и собеседника» путешествовал по Европе.

[2] *...недалеко от станции Ненналь...* — Местечко на северо-западном берегу Чудского озера, недалеко от Авинорма (Авинурме), имения, подаренного Павлом I отцу Кюхельбекера. Здесь прошли детские годы писателя. Ненналь и Авинорм он вспоминает в следующих ниже стихах.

[3] *...с доктором...* — Алиман, врач А. Л. Нарышкина (см.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968, с. 301).

[4] *После 11-летней разлуки...* — В 1808 г. Кюхельбекер уехал из Авинорма в город Верро, где учился в частном пансионе Бринкмана.

[5] *Лифляндия* — старое название области в Южной Прибалтике, населенной ливами.

3

[1] *Курляндия* — старинное название области Прибалтики к югу и юго-западу от Рижского залива. На территории Курляндии находилось Курляндское герцогство со столицей в Митаве.

[2] *Перкун, Пикол и Потримбос* — языческие латышские божества, позднее упомянутые Кюхельбекером в повести «Адо».
[3] *Леты* — латыши.
[4] *Сильван* (ант. миф.) — бог лесов, полей, покровитель стад.

5

[1] *...по словам Гамлета, приближаемся к духу вселенной и получаем право вопросить Провидение.* — Похожих слов в тексте «Гамлета» нет.
[2] *...из того мирного городка, где получил первое образование.* — Видимо, воспоминание об отъезде из Верро в Лицей в 1811 г.

ПИСЬМО XIV

Письма XIV—XVIII впервые опубликованы в «Мнемозине» (М., 1824, ч. II, с. 51—68). Подпись: Кюхельбекер.

[1] *...смерть помирила их!* — Фридрих II Великий (1712—1786), король прусский (с 1740 г.), находился в постоянно враждебных отношениях со своим отцом Фридрихом-Вильгельмом I (1688—1740). За попытку бежать в Англию был посажен отцом в тюрьму.
[2] *...друг Шиллера Кернер, отец бессмертного юноши, героя, поэта, мученика.* — Кернер Христиан Готфрид (1756—1831) — немецкий писатель. Его сын Карл Теодор Кернер (1791—1813) — поэт и драматург — погиб во время войны с Наполеоном. Стихотворения младшего Кернера «Лира и меч» были изданы отцом в 1814 г.

ПИСЬМО XVI

[1] *Тидге* Христиан Август (1752—1841) — немецкий поэт. Ниже упоминается дидактическая поэма Тидге «Урания» (1801) и задуманный им журнал, который, видимо, не осуществился.
[2] *Реке* Шарлота Элизабет Констанция фон дер (1756—1833) — графиня, немецкая писательница.
[3] *Бёттигер* Карл Август (1760—1830) — немецкий филолог и искусствовед. Много лет работал в Дрездене.
[4] *...с Тиком, братом ваятеля...* — Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий поэт-романтик. Тик Христиан Август (1776—1851) — немецкий скульптор.
[5] *Каглиостро* — Калиостро Александр (настоящее имя Иосиф Бальзамо, 1743—1795) — известный авантюрист, мистик и шарлатан.
[6] *...описание жизни... Каглиостро в Митаве.* — Реке написала в 1787 г. книгу о мистических опытах Калиостро, в которой рассказывается о первоначальном доверии автора к авантюристу и затем разочаровании в его проделках. В том же году вышел русский перевод: Описание пребывания в Митаве известного Калиостра на 1779 год и произведенных им тамо магических действий, собранное Шарлотою Елисаветою Констанциею фон дер Реке. СПб., 1787.
[7] *Новалис* Фридрих фон Харденберг (1772—1801) — немецкий романтик. Сочинения Новалиса в двух томах были изданы его другом Л. Тиком и философом Шлегелем в 1802 г.
[8] *...Новалис ясен...* — Сохранился любопытный иронический отклик А. И. Тургенева на этот рассказ Кюхельбекера в письме к П. А. Вяземскому от 5 августа 1824 г.: «Кюхельбекера читал, и с досадою; утешил он меня только невинностью своего рассказа о разговоре его с Тиком о Новалисе. Он признался ему, что не понял Новалиса, а Тик добродушно отвечал ему: „А я понял“. Довольно для Кюхельбекера, но зачем же признаваться в глупости?» (Остафьевский архив князей Вяземских, т. III. СПб., 1899, с. 69).

ПИСЬМО XVII

[1] *М...* — Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — воспитанник Благородного пансиона при Петербургском университете, позднее переводчик Московского главного архива Министерства иностранных дел.

[2] *О...* — Речь, видимо, идет о семействе Одоевских (см. вступительную статью Ю. Н. Тынянова в кн.: *Кюхельбекер В. К.* Лирика и поэмы, т. 1. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия), с. XXXV).

[3] *...полковник Давыдов...* — Давыдов Лев Васильевич (1792—1848), брат поэта-партизана. Встреча его с Пушкиным в Киеве могла состояться 14—15 мая 1820 г. (см.: *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1. М., 1951, с. 220, 752).

ПИСЬМО XVIII

[1] *Занд* Карл (1795—1820) — немецкий студент, участник тайных обществ, в 1819 г. убил писателя Августа Коцебу (1761—1819), русского ставленника, идеолога Священного союза.

[2] *Фосс* Иоганн Фридрих (1751—1826) — немецкий писатель. Против Штольберга написал в 1819 г. статью «Как Фриц Штольберг стал узником». Наибольшим успехом у читателей пользовались идиллии Фосса, в которых изображался по преимуществу деревенский быт.

[3] *Штольберг* Фридрих Леопольд, граф (1750—1819), перейдя в католичество, написал исполненную идей католицизма книгу «История христианской религии» (1807—1815).

ПИСЬМО XIX

Письма XIX—XXIV впервые опубликованы в «Мнемозине» (М., 1824, ч. I, с. 61—110). Подпись: В. Кюхельбекер.

[1] *Форстер* Георг (1754—1794) — немецкий писатель и политический деятель. Здесь и ниже Кюхельбекер ссылается на книгу Форстера «Взгляд на Нижний Рейн, Брабант, Фландрию, Голландию, Англию и Францию в апреле, мае и июне 1790», где говорится о соотношении описания картины и зрительских впечатлений от нее. Форстер подробно описывает «Страшный суд» Рубенса, отмечая обилие объектов изображения и отсутствие единства в этой картине (см.: *Forster G.* Ansichten von Niderrhein, Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius 1790, Th. 1. Berlin, 1790, S. 116—121, 160).

[2] *Гесперия* — у древних поэтическое название Италии.

[3] *...соединение вдохновения и прелести.* — В «Мнемозине» к этим словам Кюхельбекера относится большое примечание Одоевского, который не согласился с определением идеала в искусстве, данным Кюхельбекером: «...сие умствование, может быть, и справедливо, но неполно, я не вижу в нем объема и идеи искусства ‹...› для наук и искусств существует такое же единое общее мерило, каков нуль для математики, мир изящный — создание человека — основан на тех же единых непременных законах, по которым движется и мир вещественный ‹...› в словесности система, взятая от мысли условной, ведет к сбивчивостям» (Мнемозина, 1824, ч. I, с. 62 и след.). Одоевский требует более строгих, основанных на принципах шеллингианства эстетических дефиниций, базирующихся на строгой единой и цельной философской системе (см.: Русские эстетические трактаты первой трети XIX века, т. II. М., 1974. Здесь на с. 186—188 перепечатано примечание Одоевского, см. также комментарий к нему на с. 605 и вступительную статью З. А. Каменского, с. 75—76).

[4] *Гераклово туловище* — знаменитый «Бельведерский торс» (Ватикан), статуя без головы, рук и ног, изображающая, по-видимому, отдыхающего Геракла, работы Аполлония, сына Нестора (I в. до н. э.).

[5] *...описать их может только Лабрюер или Лафатер...* — Лабрюйер Жан (1645—1696) — французский писатель, автор книги «Характеры, или Нравы этого века» (1687), Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор книги «Физиогномика» (1775—1778), в которой изложил систему определения характера по лицу человека. Кюхельбекер упоминает их как мастеров литературного портрета.

[6] *...пьяный... он шатается.* — Картина «Пьяный Геркулес, уводимый нимфой и сатиром».

[7] *Фарнезский, или покоящийся, Геркулес.* — Римская копия статуи Геракла работы Лисиппа (Неаполитанский музей).

[8] *В своей львиной охоте...* — Картина «Охота на львов».

[9] *...можно ли назвать наслаждением чувство, с которым смотришь на нее?* — К этим словам Кюхельбекера относится примечание Одоевского: «В одном из сочинений в следующих частях „Мнемозины“ позволим себе отвечать на сей любопытный, но еще не решенный вопрос. Заметим, что его разрешение может быть выведено только из идеи безусловного». Од‹ое›вск.‹ий›. — Мнемозина, М., 1824, ч. I, с. 70. Обещание не было выполнено.

[10] *Старый сатир...* — Картина «Сатир, выжимающий виноградный сок, и тигрица».

[11] «*Quos ego!*» — Картина Рубенса «Нептун, усмиряющий волны» на сюжет «Энеиды» Вергилия: Нептун усмиряет ветры, разметавшие корабли Энея. Латинские слова — цитата из «Энеиды» (1, 133—135):

Землю и небо уж вы без моей благосклонности, Ветры,
Смеете вместе мешать и такие взносить взгроможденья!
Я вас!..

(*Пер. В. Брюсова*)

[12] *...напоминают Сошествие теней...* — Восковой барельеф Ф. Толстого (о нем см. примеч. 5 к письму XXII) «Меркурий ведет тени убитых женихов в ад» (1816).

[13] *«Жертвоприношение Манои»* — картина Рембрандта «Жертвоприношение Маноя» (1641). Маной (библ.) — отец Самсона; ангел, возвестивший ему рождение сына, поднялся к небу в пламени жертвенника во время жертвоприношения (Суд., 13).

[14] *Лучшая картина Ван-дер-Верфова здесь...* — «Изгнание Агари» голландского художника Адриана Ван-дер-Верфа (1659—1722).

[15] *...две картины Герарда Дау.* — Герард Доу (1613—1675) — голландский живописец, жанрист. Описаны его картины «Девушка в окне со свечой, срывающая виноград» и «Старушка, потерявшая нитку».

[16] *Пигмалион пожирает ее взорами.* — Речь идет о картине Шалькена Готфрида (1643—1706), скульптора, ученика Доу, «Молодой человек с сережками, освещающий женский бюст».

[17] *...в трех различных картинах...* — Описаны картины Габриеля Метсю (1629—1667), голландского живописца, «Старая торговка дичью» (1662), «Торговка птицей», «Торговец птицей» (1662).

[18] *...большая картина Фердинанда Бола, известная под названием Уриева письма.* — Боль Фердинанд (1616—1680) — голландский художник, ученик Рембрандта. Картина «Давид, передающий Урии письмо» принадлежит, однако, кисти другого ученика Рембрандта Г. Флинка (1615—1660). Она написана на библейский сюжет: царь Давид отослал своего полководца Урию, чтобы овладеть его женой (2 Царств, 11).

[19] *Квентин Мессис* — Массейс Квентин (1465 или 1466—1530) — нидерландский живописец. Кюхельбекер говорит об одной из известных картин Массейса «Антверпенские сборщики податей». Этот сюжет многократно обрабатывался художником,

и картины на эту тему фигурируют под разными названиями. Существует, однако, сомнение в принадлежности этих картин кисти Массейса.

[20] *...на коленях перед Богоматерью.* — Речь идет о картине «Мадонна бургомистра Майера» немецкого живописца Ганса Гольбейна Младшего (1497—1543).

[21] *...явление во сне божией матери Рафаэлю.* — Этот сюжет описан в книге Ваккенродера «Фантазии об искусстве» (фрагмент первый «Видение Рафаэля»). Книга Ваккенродера была издана его другом Л. Тиком со своими добавлениями в 1799 г. См. русский перевод: Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком. М., 1826; переиздания — М., 1914; М., 1977.

[22] *...я не мог наглядеться на его славную ловлю...* — Имеется в виду картина «Охота» голландского живописца, пейзажиста и графика Якоба ван Рюйсдаля (1628—1682).

ПИСЬМО XX

[1] *...создание Баттониевой кисти!* — «Кающаяся Магдалина» итальянского художника Помпео Баттони (1708—1787).

[2] *...Мила... головка... Франциска Молы.* — Мола Франческо (1612—1668) — итальянский живописец. Картина Молы на сюжет, описанный Кюхельбекером, в каталоге Дрезденской галереи не значится (см.: Katalog der königlichen Gemäldgalerie zu Dresden von Karl Wöermann. Dresden, 1908).

[3] *...в «Вознесении» Бастиана Рикчи...* — Картина «Вознесение Христа» итальянского художника Себастьяно Риччи (1659 или 1660—1743).

[4] *...изображением Афродиты и ее сына...* — Картина «Покоящаяся Венера с Амуром» итальянского художника Гвидо Рени (1575—1642).

ПИСЬМО XXI

[1] *Клодиус* Христиан Август (1772—1836) — немецкий философ, автор книг религиозно-философского содержания.

[2] *Вчера я был в здешнем театре...* — Ситуация, представленная в пьесе, напоминает отношения Бенедикта и Беатриче в «Много шума из ничего». Может быть, Кюхельбекер видел какую-нибудь переделку шекспировской комедии.

ПИСЬМО XXII

[1] *Здесь сражался... Густав Адольф... пал от руки предателя.* — Густав-Адольф (1594—1632) — король Швеции, сторонник веротерпимости, сражался в Тридцатилетней войне на стороне протестантов. 7 сентября 1631 г. одержал победу над императорскими войсками под Лейпцигом. 6 ноября 1632 г. погиб в битве при Люцене. Смерть его без достаточных оснований объясняли убийством. Тело короля было найдено после битвы близ большого камня, о котором ниже несколько по-другому рассказывает Кюхельбекер.

[2] *...два раза бились народы за независимость...* — Имеются в виду битва при Люцене между Наполеоном и союзными русскими и прусскими войсками под командованием Витгенштейна (1813), закончившаяся победой французов, и битва при Лейпциге (1813), «битва народов», в которой войска Наполеона потерпели решительное поражение.

[3] *Б...* — Здесь и далее: поэт Е. А. Баратынский.

[4] *...поклон от Клингера.* — Клингер Фридрих Максимилиан (1753—1831) — немецкий писатель; в молодости друг и единомышленник Гете, позднее генерал русской службы. В 1801—1820 гг. — директор Первого кадетского корпуса (см.: *Смолян О.* Клингер в России. — Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Кафедра русской литературы, 1958, т. 32, ч. II, с. 31—77).

[5] *...знает нашего Толстого...* — Толстой Федор Петрович (1783—1873) — медальер, скульптор и график, вице-президент Академии художеств. Гете, большой

любитель медальерного искусства, высоко ценил творчество Толстого, хранил в своей коллекции его произведения. Подробнее см.: *Дурылин С.* Русские писатели у Гете в Ваймаре. — ЛН, т. 4—6. М., 1932, с. 374—403.

[6] ...*Жуковский познакомил русских с некоторыми его... стихотворениями.* — В сборнике «Для немногих» («Für Wenige», М., 1818) напечатано несколько переводов Жуковского из Гете: «Кто слез на хлеб свой не ронял», «Утешение в слезах», «К месяцу», «Мина» и др. Кюхельбекер сделал для Гете дословный обратный перевод его «Арфиста» с перевода Жуковского (см.: *Дурылин С.* Русские писатели у Гете в Ваймаре. — ЛН, т. 4—6. М., 1932, с. 383).

[7] ...*он... будет доступнее...* — Подробнее о своих последующих встречах с Гете, которых было несколько, Кюхельбекер, по всей видимости, рассказал в не дошедших до нас письмах (см.: *Дурылин С.* Русские писатели у Гете в Ваймаре. — ЛН, т. 4—6. М., 1932, с. 374—403; *Тынянов Ю. Н.* 1) Французские отношения Кюхельбекера. — В кн.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968, с. 302—303; 2) В. Кюхельбекер. (По новым материалам). — Лит. современник, 1938, № 10, с. 179—180).

[8] *Де Ветте* (1780—1849) — немецкий богослов, написал получившее широкую огласку письмо матери Карла Занда, в котором извинял преступление ее сына (см. примеч. 1 к письму XVIII). За это был удален из Берлинского университета и три года жил в Веймаре.

[9] *Гёррес* Иоанн Иосиф (1776—1848) — немецкий ученый и публицист. Был приговорен прусским правительством к тюремному заключению за книгу «Германия и революция» (1819), бежал в Швейцарию.

[10] ...*к нашему доброму воспитателю...* — Речь идет о Бринкмане, содержателе пансиона в Верро, где Кюхельбекер учился до поступления в Лицей.

[11] ...*старший брат мой...* — Кюхельбекер Федор Карлович, офицер Главного штаба, был убит в 1806 г. под Остроленкой (см. также примеч. 20 к записям 1832 г.), когда этот захваченный французами город был атакован русскими войсками, понесшими большие потери (см.: Кюхельбекеры. Родословная. — ОР ГБЛ. ф. 449, Кюхельбекеры, карт. 2, № 34, л. 1).

ПИСЬМО XXIII

[1] *Киприда и Ерот, мучители сердец!..* — Цитата из стихотворения К. Н. Батюшкова «Изнемогает жизнь в груди моей остылой...» (1817—1818) — *Батюшков К. Н.* Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1964 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 233.

[2] ...*старуха сражается с... детьми.* — Картина «Старуха сражается с тремя детьми, укравшими ее веретено» венецианского художника Пьетро делла Веккии (Муттони, 1605—1678).

[3] ...*мы удивлялись ей в Берлине в Джюстиянской галерее.* — Видимо, в утраченных письмах «Путешествия» Кюхельбекер рассказывал о посещении берлинских музеев. Здесь он вспоминает картину Микеланджело «Похищение Ганимеда» (Джустинианская галерея в Берлине).

[4] ...*изображает... голого человека...* — «Сожжение еретика», копия картины Микеланджело «Суд над юношей».

ПИСЬМО XXIV

[1] *Молодая соперница Апеллова...* — Описывается картина «Живопись и рисунок» итальянского художника Гверчино да Ченто (Джиованни Франческо Барбиери, 1591—1666). *Апелл* (Апеллес) — древнегреческий художник (IV в. до н. э.).

[2] *Корреджио* — Корреджо Антонио Аллегри (ок. 1489 или в 1494—1534), итальянский художник. В дальнейшем речь пойдет о его картинах «Мадонна со св. Франциском», «Мадонна со св. Георгием», «Святая ночь», «Мадонна со св. Себастьяном», «Кающаяся Магдалина лежит под скалой и читает» (последняя приписывается Корреджо).

[3] *Аргивяне* — трагедия Кюхельбекера (1822—1823). Эти стихи, слегка переделанные, использованы Пушкиным в качестве эпиграфа к третьей главе романа «Арап Петра Великого».

[4] *Шиллер представляет нам подобный пример в драматическом искусстве.* — Кюхельбекер, возможно, имеет в виду движение Шиллера от романтической драмы в прозе «Разбойники» (1781), «Коварство и любовь» (1784) — к стихотворной трагедии «Дон Карлос» (1787) и другим произведениям на историческую тему: «Валленштейн» (1792—1799), «Мария Стюарт» (1801), «Орлеанская дева» (1802). Творческий путь Шиллера завершается тираноборческой народной драмой «Вильгельм Телль» (1804).

[5] *...торжество Бахуса...* — «Вакханалия» итальянского художника Бенвенуто Тизи да Гарофило (1481—1559).

[6] *...не смотрите... на эту Мадонну и на младенца ее...* — Картина «Мадонна на престоле» итальянского художника Аннибале Караччи (1560—1609).

[7] *Вот два изображения... Карла Дольче...* — «Дочь Ирода с головой Крестителя на блюде» и «Св. Цецилия у органа» итальянского художника Карло Дольчи (1616—1686).

[8] *...о картине Джюлия Романо, известной под названием Марии с ванною...* — Картина «Мадонна с тазом» итальянского художника Джулио Романо (1492—1546).

[9] *...прелестным Амуром Рафаэля Менгса...* — «Амур, точащий стрелу» немецкого художника Антона Рафаэля Менгса (1728—1779).

ПИСЬМО XXIX

Письма XXIX—XXXII впервые опубликованы в «Мнемозине» (М., 1824, ч. III, с. 34—57). Подпись: В. Кюхельбекер.

[1] *Германцы... не рождены быть рабами...* — Имеется в виду победа союзных, в том числе прусских, австрийских, войск над Наполеоном в войне 1812—1814 гг.

[2] *...отзывы прекрасного стихотворения Батюшкова... отдались в глубине души моей.* — Стихи К. Н. Батюшкова «Переход через Рейн. 1814». Это же стихотворение в начале 1820-х гг. считал лучшим у Батюшкова А. С. Пушкин (Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII. М., 1958, с. 591). См. также: *Сандомирская В. В.* К вопросу о датировке помет Пушкина во второй части «Опытов» Батюшкова. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974, с. 16—35.

[3] *Ф. Н. Г...* — Федор Николаевич Глинка (1786—1880) — поэт, член «Союза спасения» и «Союза благоденствия», в 1819—1825 гг. председатель «Вольного общества любителей российской словесности».

ПИСЬМО XXX

[1] *Пигаль* Жан-Батист (1714—1785) — французский скульптор.

[2] *Маршал Саксонский* (1696—1750) — граф Мориц Саксонский, французский полководец, гробница его находится в церкви св. Фомы в Страсбурге.

[3] *Омахт* Ландолин (1760—1834) — немецкий скульптор.

[4] *Кох* Кристофор Вильгельм (1737—1813) — французский историк и политический деятель.

[5] *Оберлин* Иеремия-Жак (1735—1806) — французский историк литературы, профессор Страсбургского университета.

ПИСЬМО XXXII

[1] *Лугдун* — древнее римское название Лиона.

[2] *Шинар* Жозеф (1756—1813) — французский скульптор. Группа «Персей и Андромеда» была им завещана Лионскому музею. Кюхельбекер, когда писал письмо, очевидно, не знал о смерти художника.

[3] *Филипп де Шампань* (1602—1674) — французский художник, выполнивший ряд картин, в том числе «Тайная вечеря», для монастыря янсенистов, к которым сам принадлежал, в Пор-Рояле. Кюхельбекер точно передает названия картин Шампаня.

[4] *Пиомбо* — Пьембо Себастьяно дель (ок. 1485—1547) — итальянский художник.

[5] *Жувене* Жан (1644—1717) — французский художиик.

[6] *Иаков Стела* — Стелла Жак (1595—1657), французский живописец. Речь идет о его картине «Богоматерь и святые дети (Иисус и св. Иоанн)».

[7] *Миньяр* Николай (Авиньонский, 1615—1668) — французский художник.

[8] *...представил нам Рубенс.* — Описаны картины «Дева Мария усмиряет гнев Христа» и «Поклонение волхвов».

[9] *Ван дер Мейден* Адам Франс (1632—1690) — фламандский живописец, автор по преимуществу пейзажей и батальных картин.

[10] *Альбани Франциск* (1578—1660) — итальянский живописец, в России пользовался некоторой популярностью как искусный, но неглубокий художник. Обращаясь к Жуковскому, А. Ф. Воейков писал (1813): «Превосходен и в безделицах / Кисть Альбана в самых мелочах» (Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 278). Имя Альбани упоминает Пушкин в лицейских произведениях «Монах» (1813), «К живописцу» (1815), «Сон» (1816) — «Альбана кисти нежны». На этой традиции основывается и отношение Кюхельбекера к Альбани.

[11] *Эспаньелетто* — Сурбаран Франциско (1598—1662), испанский художник; речь идет о его картине «Св. Франциск», изображающей св. Франциска Ассизского (1182—1226), основателя ордена францисканцев.

[12] *...эфирный образ пресвятой Девы...* — Картина Гвидо Рени «Успение».

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ

«Отрывки из путешествия...» без обозначения номеров писем впервые напечатаны в СА (1825, № 12, ч. 15, с. 422—437).

[1] *Виллар* Гектор (1653—1734) — французский полководец, генерал-губернатор Прованса.

[2] *...четыре стиха Шиллера...* — Из баллады «Геро и Леандр».

[3] *...из древнего града фокеян...* — Марсель (Массилия, греческая колония в Галлии, основанная фокеянами).

[4] *Когда встречали мы 1820 год... я под... небом... Массилии. Ты один... внук Аристиппа и Горация...* — Речь идет о П. Л. Яковлеве, Е. А. Баратынском, А. А. Дельвиге. Павел Лукьянович Яковлев, брат М. Л. Яковлева, лицейского товарища Кюхельбекера, в 1820 г. был назначен секретарем секретной российской миссии в Бухару (Бухарию) (см.: *Медведева И.* Павел Лукьянович Яковлев и его альбом. — Звенья, сб. VI. М.—Л., 1936, с. 101—133). Е. А. Баратынский в 1820 г. был произведен в унтер-офицеры и переведен в полк, стоявший в Финляндии. *Аристипп* (V—IV в. до н. э.) — греческий философ-гедонист, проповедовавший мирные, чуждые бурным страстям удовольствия. В той же связи рядом с Аристиппом для характеристики Дельвига назван *Гораций* (ср. стихотворение Г. Р. Державина «Аристиппова баня», 1811). В 1821 г. Яковлев, Баратынский и Кюхельбекер встретились в Петербурге у Дельвига, написавшего по этому случаю «Дифирамб (на приезд трех друзей)».

[5] *«Даждь ми криле... и почию!».* — Не совсем точная цитата из Библии (Псалом 54, ст. 7): «И рек: кто даст ми криле яко голубине; и нолещу и почию». Этот стих использован Рылеевым в предсмертном стихотворении (1826): «Кто даст крыле мне голубине, Да полечу и почию».

[6] *Массена* Андре (1758—1815) — маршал Наполеона. В последние годы империи командовал Марсельским военным округом.

[7] *Брюн* Гильом Мари (1763—1815) — маршал Наполеона, во время «ста дней» перешел на сторону императора, был убит в Авиньоне роялистами.

ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПОЛУДЕННОЙ ФРАНЦИИ

В этот отрывок вхо́дят письма XLIII—LII. Впервые опубликованы в «Мнемозине» (М., 1824, ч. IV, с. 66—91). Подпись: В. Кюхельбекер. Письма XLIV—XLIX в этой публикации отсутствуют. Лакуна несколько восполняется печатаемыми после письма XLIII двумя ненумерованными письмами из «Северного архива», в которых рассказывается о пребывании Кюхельбекера в Тулоне проездом из Марселя в Ниццу.

ПИСЬМО XLIII

[1] *Гёльти* (Хельти) Людвиг (1748—1776) — немецкий поэт.

[2] *...переносят в наш родимый Лицей...* — Пушкин в некрологе Дельвига вспоминал о тех же совместных занятиях своего лицейского друга с Кюхельбекером, имени которого в 1830 г., естественно, назвать не мог: «Клопштока, Шиллера и Гельти прочел он с одним из своих товарищей, живым лексиконом и вдохновенным комментарием» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 7. М., 1958, с. 315).

[3] *Курций* — римский юноша, который в 362 г. до н. э. бросился в открывшуюся на форуме после землетрясения пропасть, чтобы умилостивить гнев богов.

[4] *«Поэзия есть добродетель!»* — Цитата из послания В. А. Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814).

[5] *Говард* Джон (1725 или 1726—1790) — английский филантроп, реформатор тюремного дела, стремившийся к облегчению участи заключенных. Несколько раз бывал в России. Умер от тифа в военном госпитале в Херсоне.

[6] *Ф. и Ц.* — Возможно, Б. Федоров и Н. Цертелев. Н. А. Цертелев (1790—1870) — литературный критик, филолог и фольклорист, выступавший под псевдонимом «Житель Васильевского острова» или «Житель Выборгской стороны» против Пушкина и его друзей. Пренебрежительное упоминание о Цертелеве см. в письме Пушкина к Кюхельбекеру от 1—6 декабря 1825 г. (Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 10. М., 1958, с. 194). Эпиграммы Вяземского, Пушкина, Баратынского на Цертелева см.: Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975 (Б-ка поэта. Большая серия), по указателю адресатов. Б. М. Федоров (1798—1875) — поэт, автор пародий и памфлетов, выступавший против Дельвига, Кюхельбекера, Баратынского (см., например, «Союз поэтов», 1822. — В кн.: Поэты 1820—1830-х годов, т. 1. Л., 1972 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 202—204, 717—718).

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ

«Отрывки из путешествия...» впервые напечатаны без обозначения номеров писем в СА (1825, № 15, с. 243—254). Дата первого письма, видимо, ошибочна, так как следующее, из Ниццы, помечено 6 (18) февраля.

[1] *Герцог Беррийский* — наследник французского престола, был убит в Париже седельщиком Лувелем 13 февраля 1820 г.

[2] *Фризер* (нем. Friseur) — парикмахер.

[3] *...зависимости от людей и светских отношений.* — В не дошедшей до нас рукописи Кюхельбекера это место читалось по-другому (возможно, в СА цензурное смягчение): «...я радовался, я был счастлив, потому что никакая человеческая власть до меня не достигала и ‹ничто› не напоминало мне зависимости, подчиненности, всех неприятностей, неразлучных с порядком гражданского общества!» (см.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968, с. 305).

[4] *...Бергами и королевы английской.* — Бергами Бартоломео, фаворит Каролины, жены английского короля Генриха IV. Его отношения с королевой послужили причиной скандального бракоразводного процесса (1821).

[5] *...ваш Иорик.* — Йорик, один из героев романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», выступает как автор в книге Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».

[6] Не совсем точная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Юрьеву» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 2. М., 1956, с. 45).

[7] *...зевали за Мармонтелевою «Дидоною»...* — «Дидона», трагедия по мотивам «Энеиды» Вергилия французского писателя и драматурга Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799). Героиня трагедии, карфагенская царица, сожгла себя на костре, когда троянец Эней покинул ее.

ПИСЬМО L

С этого письма продолжается публикация «Путешествия» по тексту «Мнемозины».

[1] *Ингрия*, или Ингерманландия, или Ижорская земля. — Так называлась местность по берегам Невы и побережью Финского залива.

[2] *Брун* Фридерика София Христина (1765—1835) — немецкая писательница, в 1791 г. путешествовала по Южной Европе, в 1795 — по Италии. Ниже цитируется ее книга: *Brun Sophie*. Reise von Gent in das sudliche Frankreich und nach Italien. Mannheim—Heidelberg, 1816.

ПИСЬМО LI

[1] *Фенелон* Франсуа (1651—1715) — французский религиозный деятель и писатель, с 1695 г. — архиепископ.

[2] После слов *умер для света* в рукописи следовало характерное для вольнолюбивых размышлений Кюхельбекера упоминание Пугачева в одном ряду с царями и писателями: «Как умерли Пугачев и Фридерик, Вольтер и Екатерина» (см. снимок с рукописи: ЛН, т. 33—34. М., 1939, с. 361).

ПИСЬМО LII

[1] Далее несколько строк пропущено, возможно по цензурным соображениям. В рукописи «Путешествия», цитируемой Тыняновым, читалось: «...на лицах некоторых были написаны фанатизм и бессмыслие; другие казались хитрыми и лукавыми лицемерами; я увидел четырех или пятерых, которым не было и двадцати лет, которые еще не знали жизни, не просвещались ее скорбию и радостями и, следовательно, не могли жаждать единственного истинного благоуспокоения. Я с ужасом сказал себе: „Их страсти еще спят, но они рано или поздно проснутся, и горе тогда злополучным!“» (*Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968, с. 306).

ДНЕВНИК
(1831—1845)

Впервые опубликован в отрывках в журнале «Русская старина», 1875, т. 13, кн. 7, с. 490—531, т. 14, с. 75—91; 1883, т. 39, кн. 7, с. 103—128, кн. 8, с. 251—272; 1884, т. 41, кн. 1, с. 71—82, кн. 2, с. 339—362; 1891, т. 72, кн. 10, с. 61—112. Отдельное издание с большими сокращениями: Дневник В. К. Кюхельбекера. Материалы к истории русской литературной и общественной жизни 10—40 годов XIX века. Предисл. Ю. Н. Тынянова. Ред., введ. и примеч. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. [Л.], 1929.

Печатается полностью впервые по автографам и спискам. Автографы двух сохранившихся тетрадей — ГИМ (с 15 декабря 1831 по 23 апреля 1832 г.) и ОР ИРЛИ (с 24 апреля по 5 октября 1832 г.). Списки, выполненные для редакции РС (с 7 октября 1832 по 10 октября 1845 г.), — ОР ИРЛИ.

Текст дневника с 25 октября по 4 ноября 1845 г., а также некоторые купюры в списках РС восстановлены по статьям Ю. Н. Тынянова 1934—1941 гг.: «Пушкин и Кюхельбекер» — ЛН, т. 16—18. М., 1934, с. 321—378; «Французские отношения В. К. Кюхельбекера» — ЛН, т. 33—34. М., 1939, с. 331—378; «Прокофий Ляпунов. Трагедия Кюхельбекера» — Лит. современник, 1938, № 1, с. 110—123, то же в кн.: Прокофий Ляпунов. Трагедия В. Кюхельбекера. 1834. Л., 1938, с. 3—23; «Кюхельбекер. (По новым материалам)» — Лит. современник, 1938, № 10, с. 167—222, перепечатана в кн.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. V—LXXX; «Примечания» — там же, т. 1, с. 449—475, т. 2, с. 473—481; «Кюхельбекер о Лермонтове» — Лит. современник, 1941, № 7—8, с. 142—150.[1]

‹1831›

[1] *Переписал... «Отроков»; остается... окончание 3-й главы «Декамерона»...* — «Отроки» — поэма Кюхельбекера «Семь спящих отроков», которая была написана в Свеаборге в октябре—декабре 1831 г. и вместе с прозаическим обрамлением должна была составить третью главу сочинения «Русский Декамерон 1831-го года», законченную 17 декабря 1831 г. По замыслу Кюхельбекера, «Декамерон» должен был, в соответствии со своим заглавием, состоять из десяти глав, из которых написаны были только три. Поэма «Зоровавель» входила в первую главу, законченную в Динабургской крепости не позднее марта 1831 г.; для второй главы 25 сентября 1831 г. в Ревеле была написана комедия «Нашла коса на камень» (опубликована — СПб., 1839).

[2] *Сестра* — Юлия Карловна Кюхельбекер (около 1789—не ранее 1845), служившая классной дамой в Екатерининском институте благородных девиц, затем гувернанткой, лектрисой и компаньонкой в домах столичной знати. Именно этой сестре, обладавшей тонким литературным вкусом, Кюхельбекер обычно рассказывал о своих литературных планах и ее мнение о своих произведениях весьма ценил. Юлия Карловна, так же как и племянники Кюхельбекера Борис и Николай, была связующим звеном между узником и его друзьями, Дельвигом и Пушкиным.

[3] *Прочел я... статьи Шиллера...* — Статьи И. К. Ф. Шиллера, о которых говорится в записях от 16, 17, 18 и 19 декабря: «Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?» («Что такое всемирная история и какова цель ее изучения?»), 1789; «An den Herausgeber der Propyläen» («К издателю „Пропилей“»), 1800; «Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen» («О необходимых границах в применении художественных форм»), 1795; «Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen» («Письма об эстетическом воспитании человека»), 1793; «Über Anmut und Würde» («О грации и достоинстве»), 1793.

[4] *Но лучше всего конец...* — В статье «О необходимых границах...» Шиллера привлекла внимание Кюхельбекера шиллеровская идея «гармонического целого человека», ко всем способностям души которого — разуму, воображению, чувственному восприятию — обращается художественная литература. Конец статьи, особенно понравившийся Кюхельбекеру, — рассуждение о возможном пагубном влиянии утонченного чувства красоты на нравственность современного человека, не огражденного «твердыми правилами» долга и совести: «В этом случае человек развитого вкуса подвержен нравственному разложению, от которого хранит грубого сына природы именно его грубость». Дикарь, по мнению Шиллера, гораздо яснее различал противоположность влечений чувства и требований долга. См.: *Шиллер Ф.* Собр. соч. в 7-ми т., т. 6. М., 1957, с. 383.

---

[1] В последние годы статьи Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер» и «Французские отношения Кюхельбекера» переизданы в кн.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968, с. 233—294 и 295—346; статья «Кюхельбекер о Лермонтове» — в кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Письменность, искусство, археология. Ежегодник 1974 г. М., 1975, с. 141—151.

[5] *...доставить куда следует.* — Рукописи произведений, тетради дневника и письма Кюхельбекер должен был сдавать коменданту Свеаборгской крепости, что делалось на основании личного распоряжения Николая I, отданного одновременно с разрешением узнику читать и писать (см. об этом с. 587 наст. изд.). Комендант проверял количество выдаваемой узнику и израсходованной им бумаги; даже подчистки в рукописях не разрешались — см. запись в Дневнике от 3 ноября 1832 г. о переводе «Ричарда III» Шекспира: «...перевод <...> лежит у меня в столе, переписанный набело; остается только попросить, чтоб кое-что выскоблили — и отправили». После этой процедуры письма пересылались в III отделение Собственной его имп. величества канцелярии, где бо́льшая часть из них получала резолюцию: «Приказано оставить», т. е. не передавать адресату, а оставить в архиве III отделения.

[6] *...писал к матушке, а при письме немецкие стихи...* — *Матушка* — Юстина Яковлевна Кюхельбекер (урожд. фон Ломен, 1757—1841). *Немецкие стихи* — псалом на рождество, написанный в духе типичных лютеранских псалмов; кроме этого стихотворения, Кюхельбекер написал матери на немецком языке стихи «Матушке в день ее рождения». На немецком языке написаны им и четыре строки «Надгробие матушке». Текст псалма на рождество публикуется впервые; до недавнего времени он считался утраченным.

[7] *...читала их покойнице Анне Ивановне, Наталии, Эмилии Федоровне...* — *Анна Ивановна* Брейткопф (урожд. фон Парис, 1751—1823) — начальница Екатерининского института благородных девиц в Петербурге, жена преподавателя того же института Б. Т. Брейткопфа (1749—1820), мать *Наталии Федоровны* (в замужестве Дирина, ум. в 1838 г.) и *Эмилии Федоровны* (1790—1851). Семья Брейткопф была очень дружна с Кюхельбекерами; Вильгельм писал, что считает Наталью и Эмилию такими же сестрами, как Юстину и Юлию.

[8] *...как совсем иначе говорит он об этом столетии здесь!* — О XVIII веке Шиллер писал в лекции 1789 г. «О задачах изучения всемирной литературы» и шесть лет спустя в «Письмах об эстетическом воспитании» (1795). В первой он прославлял не только нравственные и научные достижения XVIII в., но и религиозную и политическую систему Германии, видя в ее государственном строе разумную целесообразность. Пафос лекции состоял в том, что изучение всемирной истории объясняет нынешнее положение любой страны. «Письма об эстетическом воспитании» содержали резкую критику «зла» XVIII в. с его феодально-буржуазными порядками, близкую идеологии русских декабристов. Современное государство, по мнению Шиллера, создает основу для развития грубых и беззаконных инстинктов низших классов и для растления высших.

[9] *«Доколе, господи... — вот слова, которые исторглись из души, верно, столь же измученной, как моя...* — Кюхельбекер цитирует Псалом 12, ст. 2—3, царя Давида, измученного борьбой с врагами. Неприятности, о которых пишет узник 20 и 21 декабря, очевидно, угрожали тем лицам, с которыми он был в недозволенном контакте, — возможно, динабургским друзьям Кюхельбекера, снабжавшим его книгами и в связи с этим подвергавшимся допросам (сохранилось донесение о допросе полковника Ярмершета — ЦГАОР, ф. 109, 1 экспедиция, 1826, д. 61, ч. 52). Возможно также, что неприятности были связаны с послаблением тюремного режима в Динабурге, где Кюхельбекера навещали его камердинер Семен Балашов и, возможно, лицейский друг Ф. Ф. Матюшкин и где круг его общения и адресатов его нелегальной переписки был чрезвычайно широк (несколько писем Кюхельбекера, в том числе к Грибоедову и Пушкину, были отобраны при обысках у отставного штаб-ротмистра С. С. Оболенского и поэта А. А. Шишкова). После перевода в Свеаборг условия заключения Кюхельбекера стали намного суровее и малейшая неосторожность могла повлечь за собой запрещение переписки вообще. Круг адресатов теперь ограничивается только родственниками (к которым Вильгельм самовольно причислил сестер Брейткопф). Если в Динабурге Кюхельбекер предполагал, что возможно его посещение Пушкиным, то теперь, узнав о намерении Пушкина ему написать, он поспешно просит родных остановить друга: «Если он мне еще не писал, то я прошу одного из моих племянников, Николая или Бориса, посетить его

и сказать ему от меня, что я прошу его мне не писать. Письмо от него было бы для меня чрезвычайно приятно, но это могло бы не понравиться и повредить ему» (17 августа 1833 г., цит. по кн.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. L).

[10] Здесь и далее знаком [...] обозначены строки, зачеркнутые Кюхельбекером.

[11] *Читаю Фолльмерову... «Естественную географию по Кантовым идеям»...* — Книга «Immanuel Kants Physische Geographie» (bei Gottfried Vollmer), Bd 1—6, Mainz—Hamburg, 1803—1805, представляет собой переработку рукописи Канта его другом и почитателем Готфридом Иоганном Вильгельмом Фоллмером.

[12] *«Contemplations de la Nature»* — философское сочинение французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), в котором проводятся руссоистские идеи противопоставления естественных законов природы и порочной цивилизации.

[13] *Ольберс* Х. В. М. (1758—1840) — немецкий астроном и врач, прославленный открытием новых астероидов Паллады и Весты. О нем много писали в начале XIX в., в том числе в русских журналах. См., напр.: «Об открытии Олберсом планеты Весты (вместе с Церерою, Палладою и Юноною между Марсом и Юпитером)» — ВЕ, 1807, ч. 34, № 15, с. 205.

[14] *«Лафертовская Маковница»* — повесть А. А. Перовского (псевдоним — Антоний Погорельский, 1787—1836), опубликованная в журнале «Новости литературы», 1825, кн. 11, март, с. 97—133.

[15] *Балашов* Семен Титович — камердинер Кюхельбекера, который сопровождал его во время бегства из Петербурга до Варшавы в декабре—январе 1825—1826 гг. Он был схвачен на день раньше Кюхельбекера, доставлен в Петропавловскую крепость и подвергнут допросам. В дальнейшем как крепостной возвращен матери Кюхельбекера. Судя по письму поэта к Наталии Глинке 1828 г., Семена Балашова родные посылали в Динабург с посылкой и письмами для узника (см.: Декабристы и их время. М.—Л., 1951, с. 30).

[16] *Загорский* Михаил Павлович (1804—1824) — поэт-элегик, известный также своими стилизациями в духе народной поэзии. «Русской народной идиллией» является, в частности, «Бабушка и внучка» («Новости литературы», 1825, кн. 12, май, с. 125—130).

[17] *Он не отрицает существования кракена...* — Кракен, или кракин, — мифическое животное, всплывающее из моря, типа кита или паука, о реальном существовании которого шли споры в начале XIX в. См., напр., ст.: *Р. W.* О животных, вымышленных или изуродованных поэтами и живописцами — ВЕ, 1819, ч. 108, № 21—24.

[18] *Эгеде* Ганс (1686—1758) — норвежский проповедник, миссионер в Гренландии. Кюхельбекер мог иметь в виду и другого Эгеде, Павла (1708—1789), также миссионера, епископа Гренландского. Оба писали о Гренландии, ее природе и нравах эскимосов, оба переводили для гренландских христиан Новый Завет.

[19] *Читаю «Агафокла»...* — Роман «Агафоклес, или Письма, писанные из Рима и Греции в начале 4-го столетия» (ч. 1—4. М., 1814) немецкой писательницы Каролины Пихлер (1769—1843) Кюхельбекер впервые прочел еще в Лицее. В знаменитом лицейском «Словаре» Кюхельбекера были выписки из Каролины Пихлер: «Цель человека. Человек должен поставить себе целью самое высшее, если хочет достигнуть высокого» (опубл.: *Мейлах Б. С.* Из неизданного литературного наследия декабристов. — В кн.: Декабристы и русская культура. Л., 1975, с. 197).

[20] *Конец напоминает катастрофу Позы в «Дон Карлосе».* — Конец романа Каролины Пихлер «Агафоклес, или Письма, писанные из Рима и Греции в начале 4-го столетия» — казнь новообращенного христианина Агафокла (Агафоклеса), не пожелавшего отречься от своей веры. Кюхельбекер сравнивает его с героем трагедии Шиллера «Дон Карлос» маркизом Позой. Кальпурния — героиня того же романа К. Пихлер, скрывающая сильные и благородные чувства под маской эпикурианской веселости и холодной насмешливости. Противоречие в характере Кальпурнии, замеченное Кюхельбекером, действительно существует, так как, несмотря на декларации эпикурианки, героиня всю жизнь преданно и несчастливо любит Агафокла, не поверившего ее любви и сохранившего верность своей юношеской страсти к Лариссе, ставшей после долгих романтических приключений его женой.

[21] *...а в самом деле Никомедия была его столицею.* — Сведения почерпнуты Кюхельбекером из романа К. Пихлер «Агафоклес», большая часть действия которого происходит в столице Диоклетиана Никомедии.

[22] *Читаю историю века Людовика XIV...* — «История царствования Людовика XIV и Людовика XV» Вольтера в переводе А. Ф. Воейкова, издана в 1809 г.

[23] *...получил я письмо от сестры и список братина к ней...* — *Сестра* — Юстина Карловна, в замужестве Глинка (1784—1871). *Брат* — Михаил Карлович (1798—1859); разрешение переписываться с ним было дано Вильгельму лишь в 1832 г., однако он впервые написал брату еще до разрешения, 30—31 декабря 1831 г. Об установлении регулярной переписки между братьями см. запись от 15 июня 1832 г.

[24] *Владимир Андреевич* — Глинка (1790—1862), брат покойного Г. А. Глинки, мужа Юстины Карловны. Член Союза благоденствия, генерал от артиллерии, сенатор. С 1837 г. начальник горных заводов Урала. В годы тюрьмы и ссылки поддерживал Кюхельбекера — посылал ему книги и деньги, находился с ним в постоянной дружеской переписке.

[25] *«На Новый год».* — Это и большая часть последующих стихотворений записаны в дневник в ранних редакциях, часто с обильной правкой. Ранние варианты большинства текстов до настоящего времени не публиковались. Поздние (окончательные) редакции публиковались в изданиях: Собр. стихотворений декабристов, т. 2. Лейпциг, 1862; Собр. стихотворений декабристов, т. 2, М., 1907; *Кюхельбекер В.* Полн. собр. стихотворений. М., 1908 («Б-ка декабристов», вып. 11, кн. 3); *Кюхельбекер В. К.* [Соч.] в 2-х т. Т. 1 — Лирика и поэмы. Л., 1939; *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967. В последнем издании приведены наиболее авторитетные тексты поздних редакций; в разделе «Другие редакции и варианты» опубликованы некоторые тексты и варианты стихотворений из дневника. В издании 1939 г. многие стихотворения печатались по ранней редакции дневника; однако Ю. Н. Тынянов не включил стихотворений духовного содержания и не давал вариантов. Стихотворения духовного содержания не вошли и в издание 1967 г. Таким образом, полностью опубликованные здесь впервые, стихотворения Кюхельбекера, включенные им в дневник, дают возможность представить важную и до настоящего времени не изученную сторону духовной жизни узника-декабриста. Стихотворение «На Новый год» было подвергнуто настолько значительной правке, что не все строки первоначального слоя поддаются чтению. Фотокопию его см. в издании 1967 г., т. 1, с. 228—229 (ср. окончательный вариант текста — там же, с. 227—231). Здесь и далее в [ ] приводятся зачеркнутые Кюхельбекером слова, строки и строфы раннего варианта, существенные для понимания смысла или стиля произведения.

1832

[1] Черновой вариант стихотворения «Новый год», публикуется впервые.

[2] *Прочел я «Еруслана Лазаревича»...* — Сопоставление русской сказки XVII в. «История о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче и его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахромеевны» с поэмой Фирдоуси «Шахнаме», которое предлагает Кюхельбекер, вполне научно. В настоящее время установлены восточные истоки этой сказки, пришедшей в Россию через тюркский фольклор.

[3] *...господин издатель, кажется, изволил кое-где переправить слог...* — Возможно, Кюхельбекер имеет в виду издателя сборника сказок «Лекарство от задумчивости и бессонницы, или Настоящие русские сказки» (1-е изд. — СПб., 1786, в дальнейшем переиздавался почти ежегодно; все издания открывались сказкой о Еруслане Лазаревиче).

[4] *...выразил сонетом мысль...* — Ранний вариант сонета, носящий следы обильной правки, публикуется впервые. Всего Кюхельбекером написано пять сонетов, которые вошли в состав задуманного еще в 1829 г. в Динабурге собрания духовных стихотворений, о котором поэт писал сестре Юлии 2 октября 1829 г.:

«Ты знаешь, до какой степени я люблю наш язык, с каким пылом я изучал все его богатство, все средства, которые он предоставляет лирической поэзии. Я приложу старание, чтобы сделать мои псалмы достойными языка, на котором я буду писать, но вместе с тем простыми и естественными, чтобы они были легким чтением для простых и малопоэтических душ. Геллерт будет в гораздо большей степени моим образцом, нежели Жан-Батист Руссо» (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 402. Подлинник на французском языке).

[5] *«О старике и сыне его журавле»* — русская народная сказка, которую Кюхельбекер мог читать по сборнику «Старая погудка на новый лад, или Полное собрание древних простонародных сказок» (ч. 1. [М.], 1795), изданному купцом Иваном Ивановым.

[6] *...начальные пять глав составляют такую оду...* — Первые пять глав пророка Исайи, восхищавшие Кюхельбекера и Грибоедова, представляют гневное обличение богом Саваофом устами своего пророка Исайи грехов израильского народа и предсказание страшной кары за грехи. Обличения имеют социальный оттенок: «[17]Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову». Пятая глава — песнь о любимом винограднике бога, принесшем вместо прекрасных плодов дикие ягоды, — является расширенной метафорой (виноградник — израильский народ). Шестая глава — видение Исайи: пред ним предстал бог в окружении серафимов, и когда Исайя сокрушился, что видел все это, будучи грешным, и не сможет рассказывать о виденном грешными устами, один из серафимов горящим углем, взятым с жертвенника, коснулся его уст и тем очистил их, после чего Исайя стал пророком. Образ «посвящения» поэта в пророки широко использован русской гражданской поэзией 1820-х гг.

[7] *...видение на Вавилон...* — Очевидно, Кюхельбекер имеет в виду видение Исайи о расправе бога с грешным Вавилоном, содержащееся в 13-й и 14-й главах (а не в 12-й, как указывает Кюхельбекер).

[8] *...для моей драматической сказки...* — Для драмы «Иван, купеческий сын». Кюхельбекер работал над этим произведением с января 1832 по июль 1834 г., затем в работе наступил большой перерыв, и сказка была окончена только в 1842 г.

[9] *Вот утренняя молитва...* — Текст стихотворения «Отец хранитель, боже мой!» записан в дневник с незначительной правкой. В дальнейшем был включен поэтом в тетрадь «Духовные стихотворения» (ОР ИРЛИ, Р 1, оп. 12, ед. хр. 196), раздел Д — «Собственные произведения». В этой тетради собраны окончательные редакции стихотворений духовного содержания; некоторые из них вошли также в состав рукописного сборника «Песни отшельника».

[10] *...читал анекдоты...* — Сборник, изданный лютеранским пастором Венцелем, «Beiträge zur Ausfüllung geschäftloser Stunden». См. о нем в записях от 6 и 7 января 1832 г.

[11] *Вечерняя молитва.* — Черновой автограф с обильной правкой, внесенной 11 января 1832 г. Публикуется впервые. Включено в тетрадь «Духовные стихотворения», раздел Д — «Собственные произведения».

[12] *Перелистывал я «Малороссийские песни...»...* — Сборник, изданный Михаилом Александровичем Максимовичем (1804—1873) в Москве в 1827 г.

[13] *Жомини* Генрих (1779—1869) — офицер, военный писатель, автор ряда книг по военному искусству. Швейцарец по национальности, Жомини состоял на службе у Наполеона, а с 1813 г. — у Александра I.

[14] *В «Picture of Italy» прочел я жизнь Карла Барромео...* — Английский путеводитель по Италии: *Millard John.* Picture of Italy. London, 1815. *Карл Барромео* (1538—1584) — католический святой.

[15] *...вот мое переложение...* — Автограф раннего варианта с последующей правкой, публикуется впервые. Под заглавием «Молитва господня» вписано в тетрадь «Духовные стихотворения», раздел «Подражания и переложения других мест священного Писания».

[16] *«The History of the Reign of the Emperor Charles V»* — историческое сочинение У. Робертсона (1721—1793), первое издание вышло в Лондоне в 1769 г. Русский перевод — «История о государствовании императора Карла V». СПб., 1775.

[17] *...«Военную историю походов россиян в XVIII столетии»* — сочинение

Дмитрия Петровича Бутурлина (1790—1849), генерала, участника войны 1812 г. Книга была написана по-французски, в русском переводе А. Хатова и А. Корниловича вышла в 1819—1823 гг. (СПб., ч. 1—4). В декабристской среде была оценена резко отрицательно как апология самодержавия и крепостничества.

[18] *...вот одиннадцатая пиэса...* — Черновой автограф стихотворения «Покаяние», публикуется впервые.

[19] *...Шихматов и Пушкин прославляли это сражение...* — С. А. Ширинский-Шихматов писал о Полтавской битве в поэме «Петр Великий», А. С. Пушкин — в поэме «Полтава».

[20] *Остерленка* (Остроленка) — городок близ Кенигсберга, место битвы русских войск с французами во время зимнего похода 1806/1807 г., которая окончилась победой русских войск под предводительством князя Багратиона и атамана Платова.

[21] *«Петриада»* М. В. Ломоносова — неоконченная поэма «Петр Великий» (1760—1761 гг.).

[22] *Прочел 21-ю главу пророка Иеремии.* — В отмеченных Кюхельбекером главах 21-й и 20-й Иеремия со скорбью сообщает послам царя Седекии о грозящих его народу бедствиях и за это подвергается жестоким гонениям.

[23] *В 20-й главе место, которое можно сравнить с самыми ужасными в Иове.* — Слова Иеремии: «Проклят день, в который я родился! день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен! <...> Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» (ст. 14—18).

[24] *...коего идеею Шиллер уже воспользовался в своей «Кассандре»...* — По греческой мифологии Кассандра, получив дар пророчества от бога Аполлона, добивавшегося ее любви, все же отвергла Аполлона, за что была им жестоко наказана: она предсказывала только бедствия, и никто не верил ее предсказаниям, считая ее безумной. Пророк Иеремия также предсказывает только грядущие бедствия, и ему также не верят погрязшие в грехах народы.

[25] *По Шеллингу, искусство есть не что иное, как Природа...* — Ф. В. Й. Шеллинг был одним из самых почитаемых философов в кругу московских друзей Кюхельбекера 1820-х гг. Подобно В. Ф. Одоевскому, Кюхельбекер усвоил прежде всего не натурфилософию Шеллинга (самое ценное в его системе, то, что в 1830-е гг. породит в русской поэзии обширную «шеллингианскую» лирику природы), а его «философию тождества» и понимание искусства как универсального и абсолютного выражения божества в природе. По идеалистической диалектике Шеллинга, бог-творец воплощен во всех конкретных явлениях природы так же, как и все конкретные явления объединены в сознании бога-творца, созерцающего себя в них. На этой основе строится «Философия искусства» Шеллинга (1802—1803).

[26] *«Жил Блас»* — роман А.-Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715—1735).

[27] *Цевницей* назывались два вида музыкальных инструментов: духовой, типа многоствольной флейты, и струнный.

[28] *Проповедь Капуцина* — см. явл. 8 «Лагеря Валленштейна» Шиллера. Капуцин обличает разложение армии Валленштейна («Скрежет и стон в христианском стане, А солдату что — набивай карманы!», «Незачем красть, коли можно и так унести!», «Не спрячешь даже в корове телка, С яйцом и курицу вы крадете» и пр. — *Шиллер Ф.* Собр. соч. в 8-ми т., т. 4. М.—Л., «Academia», 1936, с. 32. Перевод В. Н. Зоргенфрея), объясняя это нравственным падением самого Валленштейна. В то же время Капуцин — циник, присоединившийся к армии с теми же низкими целями, как и прочие.

[29] *Аланус* Ибн-Инзулис (ок. 1114—1202) — богослов, философ и поэт. Выпады Алануса против римского духовенства, предпочитающего обжорство и разврат чтению Марка-евангелиста, Кюхельбекер сопоставляет со строками из проповеди Капуцина в «Лагере Валленштейна» Шиллера, построенными на подобных же звуковых и смысловых антитезах (Марта — Марк, Салмония — Соломон и пр. у Алануса; der Rheinstrom — ein Peinstrom, die Klöster — die Nester и т. д. — у Шиллера (см.: *Schiller Fr.* Gesammelte Werke, Bd 3. Berlin, 1954, S. 309)).

[30] *Прасковья Николаевна Ахвердова* (ок. 1783—1851) — вдова начальника Кавказской артиллерии генерала Ф. И. Ахвердова, близкий друг А. С. Грибоедова,

троюродная тетка М. Ю. Лермонтова. В ее доме воспитывалась дочь эриванского губернатора Нина Чавчавадзе; Кюхельбекер и Грибоедов были постоянными посетителями салона Ахвердовой в Тифлисе. *Дашинька* — падчерица Ахвердовой, Дарья Федоровна (1817—1906), в замужестве Харламова.

[31] *«Rasselas, Prince of Abessinia»* — нравоучительный роман 1759 г. С. Джонсона (1709—1784). В переводе на русский язык издан в Москве в 1795 г.

[32] *...вот из них последнее...* — Ранний вариант стихотворения «Спасение», публикуется впервые. В окончательной редакции вписано в тетрадь «Духовные стихотворения», раздел Д — «Собственные произведения».

[33] *В Джонсовом романе нашел я оригинальную карикатуру Астронома...* — Эпизод из романа «Расселас, принц Абиссинский» (гл. 41—43 русского издания).

[34] *...пора, — как говаривал Галич, — потрепать старика.* — Галич Александр Иванович (1783—1848) — профессор Петербургского университета по кафедре философии, преподаватель русской и латинской словесности царскосельского Лицея (1814—1815). Выражение «пора потрепать старика» вспоминают и другие ученики Галича: А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» (гл. 2, строфа 40 — «О ты, чья память сохранит Мои летучие творенья, Чья благосклонная рука Потреплет лавры старика»), А. В. Никитенко в статье «А. И. Галич — бывший профессор СПб. университета» (отд. изд. — СПб., 1869, с. 22—23).

[35] *...последние главы превосходны, особенно 23-я...* — В 23-й главе романа «Расселас, принц Абиссинский» герои романа, принц Расселас, Имлак, Астроном, принцесса и Пекуа, рассуждают о бессмертии души, рассматривая египетские мумии.

[36] *...прочел три сказки Кирши Данилова...* — В годы заключения Кюхельбекер читал два издания сказок, собранных Киршей Даниловым: «Древние русские стихотворения, напечатанные с старинныя рукописи, находящейся у одного любителя русского слова» (М., 1804) и переиздание К. Калайдовича «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева» (М., 1818).

[37] *Геринг* Иоганн Христофор Эргард (1796—после 1855) — преподаватель немецкого языка и словесности Московского университета, переводил на немецкий язык произведения русских писателей, в том числе Пушкина.

[38] *Книга пророка Варуха* — неканоническая книга Библии: Варух — сподвижник пророка Иеремии.

[39] *...в доказательство приведу... столь худо понятого нашими критиками «Ижорского»...* — Отрывки из мистерии «Ижорский» печатались в СО (1827, № 1, с. 91—102) и в альманахе А. А. Дельвига и Е. В. Аладьина «Подснежник» (СПб., 1829, с. 90—113). Отзывы об «Ижорском» появились в альманахе «Денница» (1830, с. XLIII) и в СО. *...анахронизм ео чудесного... в котором упрекнул его какой-то критик «С‹ына› от‹ечества›»...* — Очевидно, Кюхельбекер имеет в виду статью критика Плаксина Василия Тимофеевича «Взгляд на состояние русской словесности в последнем периоде. (Лекции из истории литературы)» (СО, 1829, ч. 127, т. 5, № 33, с. 397—416; ч. 128, т. 6, № 34, с. 17—33, № 35, с. 82—95), о которой он подробно писал в несохранившихся частях дневника. Кюхельбекер в этой статье не назван, но речь, очевидно, идет об «Ижорском», когда Плаксин пишет о русских романтиках последних лет: «Наконец, некоторые, вероятно, основываясь на таковых произведениях, как „Оберон" Виланда, „Руслан и Людмила" Пушкина, „Красный карбункул" Жуковского и подобных им, думают, что романтизм требует выбора предметов из народных преданий и рассказов, суеверием и предрассудками рожденных, и из отечественной мифологии; следовательно, требуют, чтоб мы, русские, ежели хотим быть романтиками, не выходили из круга леших, кикимор, бук, колдунов и русалок, приправляя все чудесами волшебств» (№ 33, с. 404). Возможно, Кюхельбекер знал и отрицательное суждение об «Ижорском» М. Т. Каченовского, полемику с которым позже ввел во 2-ю часть «Ижорского» («Фирюлин, „Вестника Австралии" издатель» и пр.). Эту полемику заметил в 1835 г. Сенковский, писавший в БдЧ: «...выходки против журналиста, худо принявшего первые отрывки из „Ижорского", кажутся нам излишними, неуместными в драме и, что всего пагуб-

нее, неостроумными. Не все знают и помнят прежних критиков, — многие даже рады не знать их: какой же интерес читать или слушать про вещи, давным-давно забытые?» (БдЧ, 1835, т. 10, апрель, отд. 6, с. 7).

40 *... «все к лучшему», — как говаривал знаменитый Панглос.* — Любимое изречение неунывающего героя философского произведения Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

41 *... напоминают окончание бесподобного Шиллерова стихотворения «Die Macht des Gesanges».* — Сравнение, завершающее стихотворение Шиллера «Сила пенья»: песня возвращает беглеца на родину, из дворца к приветливым кровлям родной долины, и он оказывается в объятиях родины, подобно сыну, что долгие годы тосковал в разлуке и наконец упал на грудь матери со слезами раскаяния (см.: *Шиллер Ф.* Собр. соч. в 8-ми т., т. 1. М., 1955, с. 95).

42 *На стезе в тот край небесный...* — Ранний вариант стихотворения «Утешение», публикуется впервые. Под № 39 вошло в тетрадь «Духовные стихотворения», раздел Д — «Собственные произведения».

43 *... 2 том Робертсона...* — Второй том «The History of the Reign of the Emperor Charles V» У. Робертсона. См. выше, примеч. 16.

44 *... повести и последняя глава «Онегина»...* — Только что вышедшие издания произведений А. С. Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» (СПб., 1831) и «Евгений Онегин, роман в стихах. Глава осьмая. Сочинение Александра Пушкина» (СПб., 1832).

45 *Прочел повести Пушкина и писал к племянницам...* — Племянницы — дети Юстины Карловны и Григория Андреевича Глинки, Наталья (начало 1810-х—1864), Александра (род. 1816) и Юстина (род. в 1817 или 1818 г.). Ср. отрывок из письма к племянницам 19 II 1832 в кн.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968, с. 288—289.

46 *Великий характер кардинала Хименеса заслуживает истинное удивление.* — Кардинал Франциско Хименес (1436—1517) известен в истории Испании крайними проявлениями как величия души и смелости во время личного участия в военных походах, так и крайней жестокости, в частности в гонениях на еретиков. Был духовником королевы Изабеллы и регентом при наследнике престола Карле, будущем Карле V, который отстранил его от власти вскоре после коронации.

47 *... нападки на *** не очень кстати...* — Строки в 14-й строфе 8-й главы «Евгения Онегина»: «Она казалась верный снимок Du comme il faut. ***, прости, Не знаю, как перевести», — в настоящее время в изданиях Пушкина печатаются как «Шишков, прости...». Однако из текста дневника следует, что Кюхельбекер уверенно узнал себя в этой «небольшой полемической выходке друга» и читал строку: «Вильгельм, прости...». См.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники, с. 289—290.

48 *St. Preux* — Saint-Preux (Сен-Прё), герой романа в письмах «Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо.

49 *... особенно мил Фонтенель... в этой шутовской шутке.* — В 35-й строфе 8-й главы «Евгения Онегина» содержится перечисление авторов, которых читал Евгений, напоминающее подобные же перечисления имен собственных во многих стихотворениях Василия Львовича Пушкина. Имя Фонтенеля (Бернара ле Бовье, 1657—1757), французского писателя, предшественника просветителей, к которому Кюхельбекер относился с глубоким уважением, по его мнению, упомянуто Пушкиным недостаточно почтительно.

50 *... выписка из Лейпцигской «Лит‹ературной› газеты»...* — Кюхельбекер цитирует с некоторыми неточностями и сокращениями статью «Египетские древности в Риме» — МТ, 1826, ч. 12, № 24, с. 274. В «Литературной газете» Лейпцига эта статья напечатана в 1826 г., 11 ноября, № 278.

51 *... статья о голландской поэзии (с фр.)...* — Переводная (с французского) статья «Обозрение голландской словесности» — МТ, 1826, ч. 9, № 10, с. 89—114.

52 *Гоофт... Вондель... Бильдердейк.* — *Гоофт* — Хофт Питер Корнелиус (1581—1647), голландский поэт, драматург и прозаик. *Вондель* Йост ван ден (1587—1679) — поэт и драматург; трагедия «Люцифер» написана им в 1654 г. *Бильдердейк* Виллем (1756—1831) — сентименталист и романтик. Оценка его как

«величайшего гения» — цитата из упомянутой выше статьи: «...превосходство его во всех родах признано общим мнением, и он есть, может быть, величайший гений из всех голландских писателей» (с. 113).

[53] *Отрывок (Иосиф Берглингер) и рассуждение... Вакенродера.* — Кюхельбекер имеет в виду опубликованный в МТ отрывок из книги немецкого писателя В. Г. Ваккенродера (1773—1798), предшественника романтизма, изданной после его смерти Л. Тиком, «Фантазии об искусстве, сочинение отшельника, любящего искусство». Книга Ваккенродера была переведена В. П. Титовым, Н. А. Мельгуновым и С. П. Шевыревым и издана в Москве в 1826 г. под заглавием «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного». Показавшееся Кюхельбекеру любопытным «рассуждение» об этой книге — предисловие трех переводчиков к готовящемуся изданию, опубликованное в МТ (1826, ч. 9, № 9, с. 17—24), в котором авторы подчеркивают антирационалистическое начало во взглядах Ваккенродера. Вслед за этим предисловием в МТ опубликован переведенный С. П. Шевыревым отрывок из повести Ваккенродера «Примечательная музыкальная жизнь художника Иосифа Берглингера» (1826, ч. 9, № 9, с. 25—56).

[54] *«Voyage á Boukhara»* — книга Е. Ф. Мейендорфа (1792—1879) «Voyage d'Orenbourg á Boukhara» (Paris, 1826), отрывки из которой были напечатаны в МТ (1826, ч. 10, № 15, с. 231—239 и ч. 11, № 17) под заглавием «Voyage d'Orenbourg á Boukhara... (Путешествие из Оренбурга в Бухарию, в 1820 году, через степи. простирающиеся на восток от моря Аральского и древнего Яксарта, описанное бароном Егором Мейендорфом...)».

[55] *«Мысли и замечания» Наполеона...* — Суждения Наполеона по разным вопросам опубликованы в МТ (1826, ч. 10, № 16, с. 136—150 и ч. 11, № 16, с. 154—165). *...мнение его о могуществе России...*: «Это могущество, сидящее под полюсом; оно прислонилось к вечным льдам, которые всегда в случае нужды защитят его. Европейцы могут нападать на Россию только в течение трех или четырех месяцев в году, а русские на Европу целый год. Какая выгода! Нападающие на Россию встретят там ужасы, страдания, пустыни, природу дикую или мертвую, а русские чем далее пойдут в Европу, тем удобнее и лучше будет поход их. Кроме сих физических обстоятельств, представьте себе многочисленные народонаселения, и какой народ: храбрый, суровый, пылкий! <...> Это Лернейская гидра, это Антей, который возобновлял свои силы, падая на землю! Надобно схватить этого Антея и задушить в руках, не допуская его оправиться, — но где найти Геркулеса? Только нам можно было думать, что мы можем осмелиться, и надобно согласиться, что мы осмелились на это весьма неловко» (с. 143—144). Мнение Наполеона *о Лафатере и сродных с Лафатером людях* — его отрицательное отношение к «бредням, вздору и шарлатанству» графа Калиостро, Месмера, Галля и Лафатера «с его физиогномикою». *Поэма Луциана* — поэма брата Наполеона, Луциана Бонапарте, «Карл Великий», которую Наполеон оценивал отрицательно («Сколько потеряно труда, ума, времени!», «Двадцать тысяч стихов без цели и без следствия») и высказывал сожаление, что брат, живший в Италии «среди богатых материалов» и знавший итальянский язык, не написал вместо поэмы историю Италии. *Анекдоты о Бернардене де С. Пьер* — рассказ Наполеона о выпрашивании Бернарденом де Сен-Пьером денег и о научном невежестве его в книге «Изучение природы» (см. с. 154—155). *M-dame Севинье* — Мари де Рабютен-Шанталь (1626—1696), французская писательница, автор «Писем мадам де Севинье к ее дочери, графине де Гриньян». По мнению Наполеона, эти письма прелестны, но бессодержательны, даже у г-жи Ментенон (фаворитки Людовика XIV) в письмах «больше дельного».

[56] *Матюрин* (Метьюрин) Чарлз Роберт (1780—1824) — ирландский писатель; самое известное его произведение — роман «Мельмот Скиталец» (1820). Его некролог опубликован — МТ, 1826, № 19, с. 241; Метьюрин назван здесь великим талантом, отличительная черта произведений которого «ужас и неистовое бешенство страстей»: «Кажется, адский пламенник освещает ему мрак сердца человеческого».

[57] *Разбор книги Галича.* — Статья Н. А. Полевого о философско-эстетическом сочинении А. И. Галича «Опыт науки изящного» (СПб., 1825), опубликованная

в МТ, 1826, ч. 8, № 6, с. 126—140, № 7, с. 215—248, № 8, с. 316—333; ч. 9, № 9, с. 120—145. См. о ней также запись от 18 марта 1832 г.

[58] *Кювье в своем «Discours sur les revolutions de la surface du globe» (разобранном Абель-Ремюза и переведенном в «Телеграфе»)...* — Статья Ремюза Жан-Пьер-Абеля (1788—1832), французского ориенталиста, естествоиспытателя, доктора медицины, о книге Ж. Кювье (1769—1832) «Рассуждение о переменах земной поверхности и изменениях, произведенных ими в царстве животных» (3-е изд., Париж, 1825) — МТ, 1826, ч. 11, № 19, с. 206—224, № 22, с. 84—103, № 23, с. 151—169.

[59] *«Птицы и цветы»... творцы «Моаллакат».* — Сведения об арабской литературе почерпнуты Кюхельбекером из переводной (с французского) статьи МТ (1826, ч. 9, № 10, с. 204—219, № 11, с. 280—301) «Птицы и цветы, нравственная аллегория Ацц-Эддина-Эльмокадесси, изданная в арабском подлиннике с французским переводом и комментариями Гарсенем де Тасси...». *Ацц-Эддин Эльмокадесси* — арабский поэт; мнение о нем как об одном из лучших второго разряда арабских поэтов приводится в статье МТ, № 11, с. 293. *Гарири* (Харири) Абу Мохаммед эль-Касим (1054—1122) — арабский филолог и писатель. *Мотенабби* Абу Таиб Ахмед (915—965) — арабский поэт. *Фаредх* (Фаред) Омар-бен — арабский поэт. *«Моаллакат»* — сборник из семи произведений семи поэтов, составленный рави Хаммадом (ум. 772).

[60] *Покойный Вилламов... переводил «Войну лягушек и мышей»...* — Вилламов Иван Григорьевич (1804?—1826) — поэт, один из учеников Кюхельбекера в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. Стихи Вилламова печатались в СО 1820-х гг. «Отрывок из Гомеровой Ватрахомиомахии, или Брани лягушек с мышами» — МТ, 1826, ч. 9, № 11, с. 108—111.

[61] *Конетабль Бурбон перед стенами Рима...* — Шарль де Бурбон (1490—1527), государственный деятель, один из могущественнейших представителей французского королевского рода при короле Франциске I. В последние годы жизни впал в немилость, потерял титулы и поместья и погиб в борьбе за восстановление своих прав при осаде Рима.

[62] *А хто по улице ходить, а хто й свище?* — Украинская народная песня. Кюхельбекер читал ее в книге «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем», М., 1827, с. 114—115. *...песня... может служить доказательством, что малороссиянам в старину известны были поединки.* — Содержание песни — любовь двух товарищей к одной девушке, из-за которой они ссорятся («Поповин каже: то моя девка буде; А вдовин каже — хиба мене не буде!») и устраивают поединок, поповин оказывается убитым «калиновой стрелой».

[63] *Чирнер* Генрих Готлиб (1778—1828) — немецкий богослов и философ, был профессором философии в Виттенбергском и профессором богословия в Лейпцигском университетах. Собрание его проповедей «Sammlung von Predigten» издавалось многократно с 1812 г.; последнее предшествующее записи издание вышло в 1828—1829 гг.

[64] *Читаю «Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии».* — Книга «Путешествие Федора Лубяновского по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 гг.». 3 части. СПб., 1805. Лубяновский Федор Петрович (1777—1830) — чиновник, пензенский губернатор, сенатор, тайный советник.

[65] *Дрезеке* Иоганн Генрих Бернгард (1774—1849) — немецкий проповедник, епископ Магдебургский. Издания его проповедей — «Predigten über Deutschlands Wiedergeburt», 1818; «Predigten für denkende Verehrer Jesu», 1826; «Predigten über die letzten Schicksale unseres», 1826; «Vom Reiche Gottes», 1830, и др.

[66] *...Сонет, который назову Пасхальным...* — Сонет «Пасхальный» записан начисто, с двумя незначительными исправлениями.

[67] *А вот сегодняшний...* — Черновой автограф сонета «Пасхальный второй», публикуется впервые.

[68] *...я написал около восьми тысяч русских стихов in rime terze...* — Терцинами написана огромная по размерам поэма Кюхельбекера «Давид» (1826—1829).

[69] *Магдалина у гроба спасителя.* — Сонет записан начисто, с одной незначительной поправкой; позже получил название «Магдалина у гроба господня».

[70] Далее в автографе дневника следуют две стихотворные строки, тщательно зачеркнутые Кюхельбекером.

[71] *«Адельсон и Сальвини»* — повесть французского писателя сентименталиста Франсуа-Мари Арно (1718—1805); ее русский перевод Кюхельбекер читал в издании Н. Новикова «Городская и деревенская библиотека, или Забавы и удовольствия разума и сердца в праздное время» (ч. 3, М., 1782, с. 81—192). О связи романа Кюхельбекера «Последний Колонна» («Итальянец») с этой повестью см. с. 615—616 наст. изд.

[72] *«Похождение маркиза де Кресси»* — повесть французской писательницы М.-Ж.-А. Риккобони де Мезьер, которую Кюхельбекер читал в «Городской и деревенской библиотеке» (ч. 3, М., 1782, с. 193—320).

[73] *...прочел я весьма примечательную статью Дидеро «Разговор отца с детьми своими о том, сколь опасно поставлять свой рассудок выше законов».* — Статья Д. Дидро в русском переводе была опубликована в «Городской и деревенской библиотеке» (ч. 2, М., 1782, с. 137—172).

[74] *На стр. 182-й 7-й части следующее...* — Сообщение Н. А. Полевого о крестьянском юноше Борисове — МТ, 1826, ч. 7, с. 182—184.

[75] *Повесть Гофмана «Ботаник»* — МТ, 1826, ч. 8, № 5, с. 11—37, № 6, с. 48—76, № 7, с. 89—121. Чтение одной из первых русских публикаций Гофмана побудило Кюхельбекера настойчиво рекомендовать писателя племянницам, о воспитании которых он очень заботился. Так, в апреле 1832 г., очевидно уже не в первый раз, он спрашивает Наталью Григорьевну Глинку: «Из тех книг, о которых мне случалось упоминать в письмах своих, удалось ли вам прочесть что-нибудь? Например: Klein Zaches, или Das Majorat, или Das Fräulein Scüdery?» (Декабристы и их время. М.—Л., 1951, с. 33).

[76] *...лучшие пиэсы решительно его...* — Произведения Федора Николаевича Глинки (1786—1880), отмеченные Кюхельбекером: «К звезде» — МТ, 1826, ч. 7, № 2, с. 55—56 — и «нравственная быль» «Дорогой гость на три ночи» — там же, № 4, с. 161—167.

[77] *...племянники воротились с похода.* — Племянники Кюхельбекера, сыновья Юстины Карловны и Григория Андреевича Глинки, Борис Григорьевич (ок. 1805—1895) и Николай Григорьевич (1810—1839) Глинки, офицеры, принимавшие в 1831 г. участие в Польской кампании.

[78] *...я не согласен с Полевым, нападающим на Галича...* — Рассуждение Н. А. Полевого о понятии *вкус* в статье об «Опыте науки изящного» А. И. Галича см.: МТ, 1826, ч. 8, № 6, с. 134, № 8, с. 321—325.

[79] *Прочел и сердцем сокрушился, Что я читать учился.* — Кюхельбекер неточно цитирует автоэпиграмму В. В. Капниста: «Капниста я прочел и сердцем сокрушился: Зачем читать учился», — которой заканчивались «Сочинения» В. Капниста (СПб., 1796, с. 176).

[80] *«Эрнестина»* — повесть французской писательницы мадам Риккобони, опубликованная в «Городской и деревенской библиотеке» (ч. 4, М., 1782, с. 3—94) под заглавием «Девица, каких мало находится, или Жизнь Эрнестины. Повесть, каких не много бывает».

[81] *«Мисс Индияна Дамби»* — переведенная с французского перевода Никола де Ла Гранжа (1767) английская повесть, вышедшая в Лондоне анонимно в 1765—1767 гг. Кюхельбекер читал ее в «Городской и деревенской библиотеке» (ч. 5, М., 1782, с. 175—397).

[82] Между 27 марта и 3 апреля 1832 г. в дневнике Кюхельбекера пропуск; записи разделены чертой. Готовясь к исповеди и причастию по лютеранскому обряду, Кюхельбекер в эти дни вновь пережил угрызения совести по поводу своих показаний против И. И. Пущина, который 14 декабря 1825 г. якобы «побуждал» его стрелять в великого князя Михаила. 2 апреля 1832 г. узником написано по этому поводу пространное заявление, переданное коменданту Свеаборгской крепости. См. об этом: *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967, с. 653.

[83] *Начал я поэму «Вечный Иудей»...* — «Вечный Иудей», «Вечный Жид», «Агасвер» — поэма «в отрывках», над которой Кюхельбекер работал с апреля 1832 г.

до конца жизни. 9 декабря 1835 г. он сообщал племяннику Н. Г. Глинке о цели поэмы: «Тут-то, брат, набеги не на причуды, и слабости, и глупости столичные и уездные, как в мистерии (т. е. в «Ижорском», — *Н. К.*), а почти на все, что мудрость, отметающая веру, привыкла выдавать нам за славу, и доблесть, и высокое». Первоначально поэма предназначалась для «Русского Декамерона», однако вскоре из-за обширности замысла приобрела самостоятельное значение (см. запись от 16 апреля 1832 г.).

84 *...копии... с писем княгини Трубецкой о нем...* — Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая (урожд. графиня Лаваль, 1800—1854), жена декабриста С. П. Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь, вела обширную перепиcку с родственниками и друзьями декабристов. *О нем* —о Михаиле Карловиче Кюхельбекере — она писала, в частности, Эмилии Федоровне Брейткопф. Копии с этих писем Вильгельму пересылала сестра Юлия; так, например, в письме от 27 апреля 1829 г. она сообщала со слов княгини Трубецкой, что находящийся в Петровском заводе Михаил «здоров, получил письма и белье» и «с нетерпением ожидает весны, чтобы работать в их огороде». Огород был разрешен декабристам Нерчинских заводов весной 1828 г.; М. К. Кюхельбекер был избран товарищами «огородником» весной 1829 г. См. об этом в «Записках декабриста» И. Д. Якушкина: «В 1829 году на место Розена был избран хозяином Пушкин, а Кюхельбекер огородником. Оба они пристально занялись огородом, обрабатывая его наемными работниками, и урожай всего был до того обильный, что Пушкин, заготовив весь нужный запас для каземата, имел еще возможность снабдить многих неимущих жителей картофелем, свеклой и прочим». — В кн.: Своей судьбой гордимся мы. Иркутск. 1973, с. 246.

85 *Воскресение Христово.* — Ранний вариант с последующей правкой, публикуется впервые. В окончательной редакции с подзаголовком «На Пасху» вписано в тетрадь «Духовные стихотворения» под № 32, раздел Д — «Собственные произведения».

86 *Юлия Гавриловна, бедняжка, больна раком...* — Юлия (Ульяна) Гавриловна — приятельница племянниц Кюхельбекера. О ней он писал Наталье Григорьевне Глинке в апреле 1832 г.: «...не забудь упомянуть о книгах, какие читаете. Особенно мне хотелось бы знать, нет ли какой-нибудь русской новинки? Без сомнения, любезная моя крестная сестрица Устинья Васильевна (Зиновьева, — *Н. К.*), или Юлия Гавриловна, или кто-нибудь другой из ваших знакомых доставляет вам время от времени книги занимательные...» (Декабристы и их время. М.—Л., 1951, с. 33; письмо здесь ошибочно датировано 1828—1829 гг.).

87 *...две другие милые мне особы...* — Наталья Федоровна и Эмилия Федоровна Брейткопф, отправившиеся за границу (в Любек).

88 *...кончил «Jenny ou le Sage et l'Athée» Вольтера...* — Повесть Вольтера в русском переводе — «Дженни, или Мудрец и атеист» (Городская и деревенская библиотека, ч. 12. М., 1786, с. 67—168).

89 *Стихи на день рождения Саши.* — Ранняя редакция стихотворения с последующей правкой. Впервые опубликована в кн.: *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967, с. 583—584. Окончательный вариант текста см. там же, с. 237—239.

90 *Перечел я письма... баронессы Розен...* — Розен Анна Васильевна (1799—1880-е гг.), жена декабриста А. Е. Розена, последовавшая за мужем в Сибирь, дочь первого директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского. Подобно княгине Е. И. Трубецкой, вела обширную переписку с родственниками и друзьями декабристов.

91 *...последние три сказки... будто бы девицы Унси, очень недурны...* — «Нравоучительные повести из записок девицы Унси» в переводе В. А. Левшина (1746—1826) — Городская и деревенская библиотека, ч. 10, М., 1785; «Сколь трудно быть счастливу» — с. 224—258; «Несчастия исправляют» — с. 203—224; «Любовь повсегда соединяется с беспокойством» — с. 59—87. Повести являются пересказом произведений Ф.-О.-П. Монкрифа, М.-Ж.-Б. дю Ронсере (Фавара) и К. М. Виланда.

92 *...сокращение старинного романа «Oger le Danois»...* — Переводной с немецкого рыцарский роман под названием «Огир Датский» — Городская и деревенская

библиотека, ч. 9, М., 1785, с. 269—340. *Катастрофа... романа...* — вознесение героя на небеса — близка к развязке поэмы Кюхельбекера «Семь спящих отроков».

[93] *Читаю «Путешествие» Вальяна...* — «Путешествие г-на Вальяна во внутренность Африки, через мыс Доброй Надежды, с 1780 по 1786 год». М., 1793. Вальян Франсуа де (1753—1824) — французский путешественник.

[94] *Г‹ревени›ц* Павел Федорович (1798—1847) — лицейский товарищ Кюхельбекера, после Лицея чиновник Коллегии иностранных дел.

[95] *Прочел в немецком переводе последние две книги «Одиссеи»...* — Кюхельбекер читал «Одиссею» в немецком переводе И. Г. Фосса, известнейшего немецкого переводчика. Перевод «Одиссеи» издан Фоссом впервые в 1781, «Илиады» — в 1793 г., переиздавались неоднократно.

[96] *...барельеф нашего Толстого.* — Барельефы на темы «Одиссеи» скульптора и медальера Федора Петровича Толстого, выполненные в 1810—1815 гг.

[97] *...читал пророка Даниила... в толковании пророка первого сна царя Навуходоносора.* — Пророк Даниил, по библейскому преданию, был единственным, кто сумел угадать сон, забытый царем Навуходоносором, и дать ему толкование: царь видел во сне страшного истукана, голова которого была из золота, грудь и руки серебряные, чрево и бедра медные, голени железные, а ступни частью железные, частью глиняные. Камень, оторвавшийся от горы «без содействия рук», разбил ноги этого колосса, и все его части, раздробившись, смешались между собой, ветер унес их, как прах, и от них не осталось следа. А камень сделался великой горой и наполнил всю землю. Даниил дает следующую трактовку этому сну: камень, т. е. христианство, разрушит Вавилонское царство, «сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан., 2, 31—45).

[98] *Читаю Далинову «Историю Швеции»...* — Далин Олоф фон (1708—1763) — шведский поэт и историк. Его «История Швеции» в русском переводе, сделанном с немецкого перевода Иоганна Карла Денерта, которую читал Кюхельбекер, — «Олафа Далина История Шведского государства», т. 1 (ч. 1—2)—2 (ч. 1—2), СПб., 1805—1807. Уже в то время книга не имела научной ценности, что было ясно и Кюхельбекеру. Он искал в ней возможный сюжет для собственного произведения; обширные выписки свидетельствуют также о стремлении узника пополнить свои знания по истории европейского Севера.

[99] *По мнению Далина, должно считать три Эдды...* — В настоящее время различают два литературных памятника, известных под названием Эдды. Эдда Старшая — сборник древнеисландских песен, сохранившихся в рукописи второй половины XII в., найденной в 1643 г. епископом Бриньольвом Свейнссоном. Он назвал рукопись Эддой Сэмунда, полагая, что сборник был составлен исландским ученым Сэмундом Сигфусзоном Мудрым (1056—1133). Эдда Младшая — литературное произведение исландского поэта и филолога Снорре Стурлезона (Стурлусона, 1178—1241), основанное на скандинавской мифологии и поэзии скальдов.

[100] *...этот стих... не должен быть выговариваем по-рейхлински.* — Рейхлин Иоганн (1455—1522), немецкий филолог и писатель, знаток древнегреческого и древнееврейского языков, предложил читать древнегреческие стихи так, как их читали в позднюю эллинистическую эпоху. Другой способ их чтения, восходящий к древнегреческой классической эпохе, предлагал Эразм Роттердамский.

[101] *При дроттаре Домальдере.... некто Аудей... был принесен на жертву идолам.* — Аудей (Аудай, Мит-Оден) — проповедник, пытавшийся в 360—365 гг. обратить шведов в христианство. Пользуясь покровительством верховного дроттара (правителя) Домальдера, Аудей построил несколько часовен и монастырей, однако когда в стране начался неурожай, то Аудей вынужден был бежать из Швеции, был пойман и умерщвлен. Чтобы умилостивить богов, шведы три года подряд приносили жертвы: сначала животных, потом человеческие жертвы и на третий год, так как неурожай продолжался, в жертву был принесен правитель Домальдер.

[102] *...правитель Гуглейк, при котором норвежец Гаке поколебал престол упсальский...* — Сюжет книги Далина, отмеченный Кюхельбекером, — история шведского наследного принца Гуглейка, дочь которого находилась в любовной связи с норвежским принцем Габором. Узнавший об этом Гуглейк убил Габора, за что ему отомстил брат Габора принц Гаке, объявивший Швеции войну, победивший

войско Гутлейка и убивший и его, и двух его сыновей, после чего норвежцы обосновались в городе Сигтуне, бывшем столицей упсальских королей.

[103] *День рождения моего В...* — Возможно, Ивана Григорьевича Вилламова, поэта, ученика Кюхельбекера, горячо преданного своему учителю. См. о нем выше в примеч. 60. Письма Вилламова к Кюхельбекеру 1819—1820 гг. см. в кн.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, ч. 9. М., 1901, с. 350—354.

[104] *...небольшая лирическая пиэса... наряду с прочими.* — Чистовой автограф с незначительными исправлениями. Позже под заглавием «Вера» записано в тетрадь «Духовные стихотворения», № 36, раздел Д — «Собственные произведения».

[105] *...в ужасном царствовании Ингиальда Ильроде... вроде Шекспирова «Макбета».* — Об ужасных злодеяниях шведского короля Ингиальда Ильроде и его дочери Осы рассказывается в т. 1, ч. 2, с. 543—544 «Истории Шведского государства» О. Далина. Ингиальд Ильроде отличался хитростью и вероломством, объединяя скандинавские земли под своей властью. Чтобы не попасть в руки мстителей, Ингиальд и Оса сожгли себя и своих приближенных; по сведениям Далина, это произошло около 775 г.

[106] *...Рагнар Лодброк и сыновья его — лица, в подлинном существовании которых сомневаться нельзя.* — Рагнар Лодброк — шведский король IX в., герой и поэт, прославленный в скандинавском фольклоре. От двух браков у него было семь сыновей, все они совершали смелые набеги на прибрежные города Англии и Франции. Далин в своей «Истории» рассказывает о легендарной смерти Рагнара, попавшего в плен к английскому ярлу Элле. Умирая, Рагнар пел героическую песнь о своих военных подвигах и о страшной мести, которой отплатят убийце его сыновья. Далин подробно описывает реакцию сыновей на известие о смерти отца; детальность этого описания, возможно, и заставила Кюхельбекера поверить в «подлинное существование» героев: «...Гвитсерк и Сигурд обронили шахматную доску, на которой они играли. Но когда все выслушали, то один из них так сильно сжал между перстами шашку, что кровь у него из-под ногтей брызнула; другой же не приметил, что выпавший в задумчивости у него из рук нож воткнулся ему глубоко в ногу» и т. д. (Олафа Далина История Шведского государства, т. 1, ч. 2. СПб., 1805, с. 630—631). Гиперболизированная «правда» сильных страстей героев соответствовала эстетическому представлению декабриста о правде искусства.

[107] *Ансгарий, апостол шведский... Это напоминает Лютера в Вормсе.* — История шведского проповедника, апостола Ансгария (Аншария, ум. 869), рассказывается в т. 1, ч. 2, с. 606—608, 641—644 «История Шведского государства» О. Далина. Ансгарий обращал шведов в христианство, встречая сопротивление знати. Вопрос о введении христианства обсуждался и был отклонен на сейме в 862 г. Приведенная Кюхельбекером цитата — из книги шведского историка Клода Ернхильма (1625—1695) «Breviarium vitae sancti Anscharii» («Жизнеописание святого Ансгария»). Мартин Лютер (1483—1546), основатель лютеранской церкви, возглавивший движение против католичества, на сейме в Вормсе в 1521 г. был объявлен вне закона, его сочинения предавались сожжению, а сам он был обязан предстать перед судом.

[108] *«Исландцы потеряли на датских берегах... (Гаральда Гормсона, проз‹ванного› Блотандом)».* — Цитата из книги О. Далина «История Шведского государства», т. 1. ч. 2, с. 726. Кюхельбекер цитирует с некоторыми сокращениями. У Далина: «...ругательная песнь или сатира на короля датского...».

[109] *...бунт Стирбиерна Олофсона...* — О бунте принца Стирбиерна против его дяди, короля Эрика Сегерселя (983 г.), в котором Стирбиерн потерпел поражение и погиб, рассказывается в «Истории Шведского государства» О. Далина, т. 1, ч. 2, с. 743—746.

[110] *Прочел 9 глав 1-й Книги Маккавеев...* — В Первой книге Маккавейской, одной из трех неканонических книг Ветхого Завета, отсутствовавшей в еврейском тексте Библии, говорится о борьбе израильского народа с поработителями-язычниками под предводительством героического воина Иуды Маккавея и его братьев Ионафана и Симона.

[111] *«Коль славен наш господь в Сионе»* — церковный гимн, музыка Д. С. Бортнянского (1751—1825), слова М. М. Хераскова.

112 ...*«длинной сказки вздор живой».* — Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 8, строфа 36).

113 *«Путешествие» Сарычева* — книга «Путешествие флотского капитана Сарычева по северо-восточной Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану с 1785 по 1793» (СПб., 1802). Сарычев Гавриил Андреевич (1763—1831) — адмирал, ученый географ и путешественник.

114 ...*Курганова «Письмовник»* — русская грамматика и собрание старинных повестей, анекдотов и произведений народного творчества, первое издание которой вышло под заглавием «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку с седьмью присовокуплениями разных учебных и полезных вещей» (СПб., 1769). Второе издание было озаглавлено «Книга-Письмовник, содержащая в себе науку российского языка, со многими присовокуплениями разного учебного и полезно-забавного вещесловия» (СПб., 1777). Наиболее полно седьмое издание (СПб., 1802—1803), которое, возможно, и было в руках Кюхельбекера. Курганов Николай Гаврилович (1725?—1796) — русский просветитель, педагог, издатель, автор учебников по математике, навигации, русскому языку.

115 *Меж печатными строками... Иные строки.* — Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, гл. 8, строфа 36. Кюхельбекер цитирует по памяти с небольшими неточностями, у Пушкина — «другие строки».

116 ...*про друзей моих Бегичевых...* — Бегичевы — Дмитрий Никитич (1786—1855) и Степан Никитич (1785—1859); первый — писатель, театрал, второй — офицер, член Союза благоденствия, близкий друг А. С. Грибоедова.

117 *Кто эта Варвара Ивановна...* — Возможно, Варвара Ивановна Ланская, родственница А. И. и В. Ф. Одоевских, которой в «Мнемозине» были посвящены «Четыре аполога» В. Ф. Одоевского.

118 *Бедный Репин!.. Не Глебов ли?* — *Репин* Николай Петрович (1796—1831) — декабрист, после пяти лет каторжных работ был поселен в селе Верхоленском Иркутской губернии. В ночь на 28 сентября 1831 г. сгорел при пожаре дома вместе с остановившимся у него декабристом Андреем Николаевичем Андреевым. *Глебов* Михаил Николаевич (1804?—1851) — ученик Кюхельбекера в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте, декабрист, член Северного общества. После шести лет каторжных работ был поселен в селе Кабанском Иркутской губернии.

119 ...*читал Уакера...* — Английский словарь, которым пользовался Кюхельбекер, присланный ему 14 мая 1832 г. *Уакер* — Уокер (Walker) Джон, английский филолог.

120 *Вознесение.* — Автограф ранней редакции с последующей правкой, публикуется впервые.

121 ...*Шекспиров монолог... произвел монолог Шиллера.* — Первый монолог Ричарда, герцога Глостера, которым открывается историческая хроника Шекспира «Ричард III», — «Тучи развеяны, боевые доспехи на покое, весельем сменился боевой марш, лишь я не радуюсь, потому что не создан для мирной жизни, так как уродлив и зол» — действительно напоминает монолог Жанны д'Арк из трагедии Шиллера «Орлеанская дева»: «Оружие в покое, военные бури молчат, всюду веселье, лишь я не радуюсь, так как не могу примириться с врагами отчизны» (перевод обоих монологов дан в сокращении).

122 *Вот пословицы, которые я хотел выписать из Курганова «Письмовника»...* — В «Письмовнике» Н. Г. Курганова пословицы составляют «Присовокупление 1-е».

123 ...*не полагаю, чтобы современник Давида выхвалял самоубийство Разиса...* — По мысли Кюхельбекера, рассказ о самоубийстве Разиса, иудея, трижды пытавшегося покончить с собой, только бы не попасть в руки язычников (2 Мак., 14, 37—46), является доказательством позднего происхождения текста книги.

124 *Всего для меня трогательнее в сем повествовании смерть старца Элеазара... сыновьях-мучениках...* — Кюхельбекер выделяет во Второй книге Маккавейской эпизоды героической гибели иудеев, предпочитающих смерть измене собственным вере и народу (гл. 6, ст. 18—31, гл. 7).

[125] *...отношения Иуды к Никанору... подробнее.* — Об одном из вождей иудеев, Иуде Маккавее, и его взаимоотношениях с Никанором, предводителем объединенного сирийско-финикийского войска, рассказывается в 8-й, 14-й и 15-й главах Второй книги Маккавейской. Никанор имел тайное приказание умертвить Иуду, но тот разгадал его замысел, вступил в битву с его войском, победил и жестоко расправился с убитым Никанором: приказал отсечь его голову, язык нечестивого «злохульника» разрубить и бросить птицам, а руку повесить против храма в Иерусалиме.

[126] *...целый день читал «Записки» Головнина... Курилец Алексей...* — *Головнин* Василий Михайлович (1776—1831), путешественник, вице-адмирал. Его книга — «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах с приобщением замечаний о Японском государстве и народе» (СПб., 1816). Об этих записках, печатавшихся в СО 1820 г., Кюхельбекер сочувственно писал в «Невском зрителе» (1820, февраль, с. 117 — см. с. 440 наст. изд.). *Курилец Алексей* — житель Курильских островов, лоцман, ставший в плену переводчиком-посредником между русскими офицерами и японцами. В. М. Головнин рассказывает о многих недоразумениях, возникавших в результате переводов Алексея, человека неграмотного и плохо знавшего как японский, так и русский язык. История о геройском поведении Алексея в плену, отмеченная Кюхельбекером, — эпизод, связанный с тем, что за год до пленения капитана Головнина Алексей и его земляки уже были в плену у японцев. Чтобы добиться освобождения, они сочинили версию, будто бы посланы на разведку камчатским исправником и что через год Россия собирается завоевать Японию. Эта выдумка сыграла роковую роль в судьбе отряда Головнина, так как появление его судна японцы сочли началом нападения русских. Допрашиваемый во время второго пленения, Алексей честно признался, что прежний рассказ о захватнических намерениях России был ложью.

[127] *...несчастный Бенвенуто Челлини... von Göethe.* — Бенвенуто Челлини (1500—1571) — итальянский ювелир, скульптор, писатель. Его знаменитая автобиография «La vita di Benvenuto di maestro Giovanni Cellini fiorentino scritta per lui medesimo in Firenze» («Жизнь Бенвенуто, сына господина Джованни Челлини флорентинца, написанная им самим во Флоренции»), издана впервые в 1728 г., на немецкий язык переведена Гете (1803).

[128] *Из числа японских знакомых Головнина... умного Теске, и доброго Кумаджеро.* — *Теске* и *Кумаджеро* — переводчики-японцы, обучавшиеся русскому языку у пленных русских офицеров.

[129] *...они из рапсодии «Диомед и Главк».* — См. «Илиада», песнь 6, ст. 145—149. Диомед — царь Аргоса, сын Тидея; Главк — царь ликийцев, один из храбрейших защитников Трои.

[130] *Не принадлежит ли она веку Ликурга или даже Солона...* — Век Ликурга — VIII в. до н. э., Солона — VII—VI вв. (жил ок. 638—ок. 559 гг. до н. э.).

[131] *Some dream that they can silence... «Progress of Error».* — Купер (Каупер) Уильям (1731—1800) — английский поэт, автор острых сатирических стихотворений и описательных поэм, изображающих сентиментально-идиллические картины природы и сельского быта. «Progress of Error» («Путь ошибок») — поэма Купера 1780—1781 гг. Кюхельбекер цитирует строки из заключительной части поэмы (см.: The Miscellaneous Works of William Cowper, Esq., v. 3, Poems. Edinburgh, 1834, p. 38).

[132] *...прочел «Записки» Рикорда...* — «Записки флота капитана Рикорда о плавании его к Японским берегам в 1812 и 1813 гг.». СПб., 1816. Рикорд Петр Иванович (1776—1855) — офицер на корабле капитана Головнина «Диана», участвовавший в освобождении Головнина из японского плена; впоследствии адмирал.

[133] *...примеры благородства и великости души, подобные поступку Долгорукого.* — Очевидно, имеется в виду Яков Федорович Долгорукий (1659—1720), сподвижник Петра I, полководец и государственный деятель, известный своим смелым и независимым характером. Так, однажды он разорвал указ, подписанный Петром, считая его несправедливым. В 1700 г. Долгорукий попал к шведам в плен, где находился более десяти лет, после чего бежал, захватив шведскую шхуну. Эпи-

зоды биографии Я. Ф. Долгорукого неоднократно использовались в декабристской поэзии.

[134] *Что же касается до г. Мура... не сказали о нем ни слова.* — Мур Федор Федорович — мичман на корабле капитана Головнина, проявивший малодушие во время японского плена. Он отказался бежать с товарищами, выдал японцам их замыслы и т. п. После возвращения в Россию, терзаемый угрызениями совести, Мур покончил жизнь самоубийством 22 ноября 1813 г. Русские офицеры, простившие Муру его заблуждения, порожденные отчаянием, поставили ему памятник в Авачинской бухте Петропавловска-на-Камчатке.

[135] *...может быть, лучшее из всех моих произведений...* —Поэма «Давид».

[136] *Ужель и неба лучшие дары...* — Черновой автограф стихотворения «Вопросы» с последующей правкой, публикуется впервые.

[137] *Мысль для куплетов, которые здесь следуют...* — Автограф окончательной редакции стихотворения «Клен» с незначительными исправлениями.

[138] *...этим именем называет Аделунг — см. «Mithridates»...* — Аделунг И. X. (1732—1806) — немецкий филолог, библиотекарь в Дрездене. «Mithridates, oder Allgemeine Sprachkunde» (Berlin, 1806) — лингвистический труд Аделунга.

[139] Кюхельбекер перефразирует строки из стихотворного введения немецкого переводчика Гомера, Иоганна Генриха Фосса, к его переводу «Илиады» на немецкий язык. У Фосса: «Сын благородного языка Тевтонии...».

[140] *Unwiderbringlich schnell entfliehn...* — Вечерняя молитва в субботу из немецкого лютеранского молитвенника; Кюхельбекер переводит ее стихами «Летят — возврата нет часам...» (см. запись от 25 июня 1832 г.).

[141] *Перечитывал я, что Бутман говорит о дигамме...* — Бутман (Буттман) Ф. (1764—1829) — немецкий филолог, автор греческой грамматики, выдержавшей ко времени Кюхельбекера свыше двадцати изданий. Дигамма F — звук и знак древнегреческого языка, исчезнувший в начале, а затем и в середине слова; напоминал W английское или В русское.

[142] *Нет ничего бесстыднее предуведомлений... братьев Глазуновых.* — Глазуновы Матвей Петрович (1757—1830) и Иван Петрович (1762—1831) — книгопродавцы и издатели. Книга, о которой пишет Кюхельбекер, — «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопримечательностей» (СПб., 1776—1777; 2-е изд. — СПб., 1799) — перевод немецкого сочинения И. Г. Георги (1729—1802), профессора истории и доктора медицины, исследователя северо-восточных окраин России.

[143] *Сыр-миды* — сарматы, древнее название народов, обитавших на территории восточных славян.

[144] *...языгов и маркоманнов, с которыми воевал Марк Аврелий.* — *Языги и маркоманны* — древние племена, обитавшие на территории от Азовского моря до Дуная. Римский император *Марк Аврелий* (121—180) одержал над этими племенами победу в 167 г. *...словене, люди говорящие, в отличие от немцев, т. е. немых...* — Возможно, Кюхельбекер отталкивается от статьи Каченовского «Отчего русские немцев назвали немцами?» — ВЕ, 1805, ч. 19, № 4, с. 289—293.

[145] *...вот стихи, которые мне самому дались на этот день...* — Черновой автограф раннего варианта стихотворения «В день рождения», публикуется впервые.

[146] *Внешнюю, так сказать, сторону, поверхность души древние назвали тенью... l'ombre d'une carosse.* — Кюхельбекер излагает философские идеи, восходящие к объективному идеализму Платона, и цитирует строки из пародии на 6-ю песнь «Энеиды» Вергилия, написанной братьями Клодом, Шарлем и Никола Перро и их другом Бореном около 1648 г. Эти строки Шарль Перро приводит в мемуарах, опубликованных в 1769 г. Устное предание часто ошибочно приписывало их П. Скаррону. Сама пародия была опубликована в 1901 г.

[147] *Матюшкин* Федор Федорович (1799—1872), лицейский товарищ Кюхельбекера, ученый-мореплаватель, впоследствии адмирал. В 1817 г. впервые отправился в кругосветное путешествие с В. М. Головниным на корабле «Камчатка», по этому поводу Кюхельбекер посвятил ему стихотворение «К Матюшкину».

[148] *...от моего покойного друга.* — А. С. Грибоедова. Следующее далее в тексте примечание Кюхельбекера содержалось, по-видимому, в тетради выборок из дневника, предназначавшихся им для печати.

[149] *Элегия.* — Автограф с последующей правкой, публикуется впервые.

[150] *«Последние дни Лафатера»* — переводная с немецкого статья «Последние дни Лафатеровой жизни» — ВЕ, 1802, ч. 2, № 6, с. 95—115.

[151] *...повесть госпожи Жанлис «Все на зло».* — Так называет Кюхельбекер повесть французской писательницы Мадлен Стефании Фелисите Жанлис (1746—1830), опубликованную в русском переводе под названием «Все на беду, история эмигранта. Из новых сочинений г-жи Жанлис» — ВЕ, 1802, ч. 2, № 8, с. 293—339; ч. 3, № 9, с. 3—35.

[152] *...повесть того же автора «Вольнодумство и набожность»...* — Повесть Жанлис, опубликована — ВЕ, 1802, ч. 3, № 11, с. 193—227, № 12, с. 281—314.

[153] *...еще повесть Жанлис «Роза, или Дворец и хижина»...* — Опубликована в русском переводе под заглавием «Роза, или Палаты и хижина» — ВЕ, 1802, ч. 2, № 5, с. 3—38.

[154] *Вот некоторые мысли Шатобриана, которые господин Карамзин... поднимает на смех...* — Кюхельбекер полемизирует с рецензией Н. М. Карамзина «Новое сочинение Шатобриана» — ВЕ, 1802, ч. 3, № 11, с. 242—244. Рецензия посвящена книге Ф. Р. Шатобриана (1768—1848) «Гений христианства», изданной в 1802 г.

[155] *...перевод немецких стихов... вечерней молитвы в субботу.* — Черновой автограф ранней редакции стихотворения «В конце недели».

[156] *...статейку... в подражание Жуи: «Моя исповедь»...* — Статья «Моя исповедь. Письмо к издателю» за подписью «Граф NN» Н. М. Карамзина — ВЕ, 1802, ч. 2, № 6, с. 147—167. Жуи Виктор Жозеф Этьенн (1764—1846) — французский писатель, среди произведений которого видное место занимают серии нравоописательных и нравоучительных очерков и рассказов («Пустынник с Шоссе д'Антен, или Наблюдения над французскими нравами и обычаями начала XIX века» и др.).

[157] *Послание «К Эмилии»* — стихотворение Н. М. Карамзина «К Эмилии» — ВЕ, 1802, ч. 1, № 3, с. 61—64. *«Я спорить не хочу»* и пр. — Кюхельбекер цитирует строки с. 63.

[158] *Живы ли мои именинники?* — В день Петра и Павла из числа близких знакомых Кюхельбекера праздновали именины Петр Александрович Плетнев (1792—1865), Петр Петрович (?) Манасеин, Павел Александрович Катенин (1792—1853) и др.

[159] *...выпишу мысль..., удачно выраженную Камилем Жорданом...* — Кюхельбекер цитирует сочинение французского публициста Жордана «Истинный смысл народного согласия на вечное консульство Н‹аполеона› Бонапарте» — ВЕ, 1802, ч. 6, № 23, с. 239.

[160] *...замечание г‹оспо›жи Жанлис...* — Кюхельбекер цитирует (с некоторыми неточностями) повесть Жанлис «Женщина-автор» — ВЕ, 1802, ч. 5, № 21, с. 9.

[161] *...отрывок Русского Романа «Рыцарь нашего времени»; хотелось бы знать, кто автор?* — Отрывок «Рыцарь нашего времени» из неоконченного произведения Н. М. Карамзина — ВЕ, 1802, ч. 4, № 13, с. 35—51; ч. 5, № 18, с. 111—125; 1803, ч. 10, № 14, с. 121—142. К этому произведению Кюхельбекер возвращается в записи от 16 июля 1832 г.

[162] *Он подражает Стерну...* — Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель, автор романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», в котором пародируется многотомный роман-жизнеописание: к девятому тому Стерн доводит биографию своего героя лишь до пятилетнего возраста. Карамзин также рассказывает лишь о детстве своего героя до одиннадцати лет.

[163] *Прочел я статейку Карамзина...* — «Исторические воспоминания, вместе с другими замечаниями, на пути к Троице и в сем монастыре» Н. М. Карамзина печатались в ВЕ, 1802, ч. 4, № 15, с. 207—226, № 16, с. 287—304; ч. 5, № 17, с. 30—47. Мнение Карамзина в этом произведении о Борисе Годунове двойственно: «Если бы Годунов не убийством очистил себе путь к престолу, то история назвала бы его славным государем» (с. 303). Вопрос о его виновности, впрочем, решен историей не на основе фактов, а на основе «общего мнения». Поскольку Карамзин пишет

не историю, а высказывает субъективное отношение к событиям, то он отказывается в статье решать этот вопрос.

[164] *...с известною «Элегиею»... Андрея Тургенева (брата моих приятелей)...* — «Элегия» — ВЕ, 1802, ч. 4, № 13, с. 52—56. Цитируемое Кюхельбекером с некоторыми неточностями окончание «Элегии» — с. 56. Андрей Иванович Тургенев (1784—1803) — поэт круга В. А. Жуковского, подававший блестящие надежды и умерший в возрасте 19 лет. Его книга стихов появилась уже после смерти: «К отечеству». СПб., 1806. Он происходил из семьи крупного русского просветителя масона И. П. Тургенева, с сыновьями которого — декабристом Николаем Ивановичем (1789—1871), Сергеем Ивановичем (1792—1827) и государственным деятелем либерального направления Александром Ивановичем (1784—1845) — Кюхельбекер был знаком.

[165] *«Апокалипсис»* (*греч.* — откровение) — часть Нового Завета, содержащая пророчество о конце света.

[166] В *7-й книжке «Вестника» стихи Тургенева... Вот они...* — Кюхельбекер выписывает целиком стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» — ВЕ, 1803, ч. 7, № 4, с. 277. «Собрание», в которое Жуковский не поместил это стихотворение, — изданное В. А. Жуковским «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев Российских и из многих русских журналов» (ч. 1—5, М., 1810—1815).

[167] *Не могу не сберечь для памяти имени Георга Томаса...* — Сведения почерпнуты Кюхельбекером из статьи «Георг Томас, солдат в Англии и царь в Индии» — ВЕ, 1803, ч. 9, № 9, с. 51—55.

[168] *«Марфа Посадница»... Последняя часть истинно хороша.* — В последней части повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница» (ВЕ, 1803, ч. 7, № 3, с. 196—226) описывается сражение войск Иоанна с новгородцами, победа Иоанна, отмена новгородских вольностей и казнь Марфы.

[169] *Принесли мне два тома карамзинского «Вестника» и два его преемников...* — Последние тома ВЕ, изданные Карамзиным, — т. 11 и 12 за 1803 г.; в 1804 г. журнал издавался Панкратием Платоновичем Сумароковым. В последующие годы преемниками Карамзина в издании журнала были М. Т. Каченовский (1805—1807), В. А. Жуковский (1808), М. Т. Каченовский и В. А. Жуковский (1809—1810), вновь М. Т. Каченовский (1811—1813), В. В. Измайлов (1814) и, наконец, опять М. Т. Каченовский (1815—1830).

[170] *Джефферсон полагает, что мегаферион еще существует в Америке.* — Джефферсон Томас (1743—1826) — третий президент Соединенных Штатов Америки, автор этнографических работ об Америке. Имя его было очень популярным в России. В ВЕ (1803, ч. 9, № 10, с. 137—140) была статья о нем: «Джефферсон — президент Соединенных областей Америки». В ВЕ (1803, ч. 11, № 17, с. 39—41) в разделе «Смесь» было опубликовано письмо Джефферсона от 24 февраля 1803 г. о находках ископаемых животных на реках Миссисипи и Миссури (останки мамонта, мегатерия-мегафериона и пр.).

[171] *Гороховый дождь: справедливо ли это известие?* — «Гороховый дождь, или Горох лунный» (СО, 1803, ч. 11, № 20, с. 287—289) — переводная статья из французского журнала о зернах, упавших с неба в Испании во время бури.

[172] *...о Московском мятеже...* — «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» — СО, 1803, ч. 11, № 18, с. 119—145, подпись: О. Ф. Ц.

[173] *Шесть лет промчалось, как мечтанье.* — Начальная строка «Прощальной песни воспитанников Царскосельского лицея» А. А. Дельвига, исполнявшейся впервые на торжественном акте по случаю первого выпуска 9 июня 1817 г.; музыка была написана лицейским преподавателем музыки и пения Теппером де Фергюсоном.

[174] Далее следуют три строки, тщательно зачеркнутые Кюхельбекером.

[175] *Сегодня день освобождения Глебова...* — О Глебове см. выше, примеч. 118.

[176] *«Не должно судить, — говорит Лихтенберг, — о людях... образ мыслей».* — Кюхельбекер цитирует статью «Мысли Лихтенберговы» (ВЕ, 1804, ч. 13, № 1, с. 57),

представляющую извлечения из книги немецкого писателя Г. К. Лихтенберга (1742—1799) «Афоризмы».

[177] *Меня часто... сравнивали с Жан-Жаком...* — Жан-Жак Руссо (1712—1778), резко осуждавший в своих трактатах цивилизацию, культуру и искусство классового общества и государственный строй, основанный на неравенстве, в реальной жизни весьма ценил комфорт и многие годы жил в домах и на средства высшей французской аристократии (в имении маркиза Р.-Л. Жирардена и др.). Противоречия души писателя запечатлены им в «Исповеди» (1766—1769).

[178] *...увидел переводы с Дюкре-дю-Мениля...* — Перевод романа французского писателя Дюкре-Дюмениля Франсуа-Гильома (1761—1819) «Любовь и честность» — ВЕ, 1804, ч. 13, № 3, с. 175—203.

[179] *...она лучше многих... Августа Лафонтена, Шиллинга и пр.* — Кюхельбекер сравнивает Жанлис с немецкими писателями-сентименталистами Августом Лафонтеном (1758—1831) и Густавом Фридрихом Шиллингом (1766—1839).

[180] *«Добродушный» и «Любезный король» очень милые безделки.* — Повести Жанлис в ВЕ, 1804, ч. 13, № 4, с. 247—292; ч. 14, № 5, с. 3—60.

[181] *Мешается с печалью радость...* — Автограф с незначительными исправлениями стихотворения «Сестре Ю. К. Глинке».

[182] *...сочинение индейца Мирзы-Талеба-Хана «О свободе азиатских женщин»...* — ВЕ, 1803, ч. 11, № 18, с. 86—100.

[183] *«Чувствительный и Холодный»* — нравоописательный очерк Н. М. Карамзина (ВЕ, 1803, ч. 11, № 19, с. 205—234). Кюхельбекер находит в нем «лабрюеровскую игру ума», т. е. черты, свойственные французскому сатирику-моралисту Жану Лабрюйеру, автору известного сочинения «Характеры, или Нравы нашего времени».

[184] *В нравственном же смысле... хорошо, что нет продолжения.* — Сомнения Кюхельбекера в нравственном смысле отрывка Н. М. Карамзина «Рыцарь нашего времени» связаны с тем, что в последней опубликованной части этого неоконченного романа (ВЕ, 1803, ч. 10, № 14, с. 121—142) рассказывается о взаимном страстном влечении одиннадцатилетнего героя и молодой замужней дамы, графини Эмилии.

[185] *«Вадим» Жуковского* — повесть В. А. Жуковского «Вадим Новгородский» — ВЕ, 1803, ч. 12, № 23—24, с. 211—234.

[186] *На память: Альды, отец, сын и внук...* — Сведения об Альдах взяты Кюхельбекером из статьи «Историческое известие о трех Альдах Мануциях, славных типографщиках своего времени» — ВЕ, 1804, ч. 14, № 7, с. 205—216.

[187] *Тонкая черта в эпизоде о Ферсите...* — См. «Илиаду» Гомера, гл. 11, ст. 211 и след. *Трошка* — один из дворовых людей в имении Закуп.

[188] *...прочел я занимательную выписку из дневника королевы Елисаветы Грэ...* — См. статью «Нравы и обыкновения знатных девиц пятнадцатого века» (из франц. журнала) — ВЕ, 1805, ч. 19, № 1, с. 117—121.

[189] *Ее «Любовники без любви»...* — Повесть Жанлис — ВЕ, 1803, ч. 11, № 18, с. 83—126.

[190] *«Барон Фламинг»* — «Барон Фламинг, или Страсть к титулам», повесть А. Лафонтена — ВЕ, 1804, ч. 18, № 23, с. 177—213.

[191] *...известие о совершенно диком... мальчике...* — Сведения почерпнуты из заметки в ВЕ, 1802, ч. 1, № 3, с. 14—19.

[192] *Мне тотчас принесли с почты «Стихотворения» Скотта и Краббе...* — Возможно, Кюхельбекер получил издание «Poetical Works» Вальтера Скотта в 11-ти т. (Эдинбург, 1830). Стихотворения и поэмы Скотта издавались в начале XIX в. неоднократно, но только в издании 1830 г. и последующих к ним были прибавлены драматический набросок из шотландской истории «Хэлидон-Хилл» (1822) и некоторые стихотворения, до этого в издания не включавшиеся. Для издания 1830 г. В. Скотт написал специальное предисловие; тексты всех поэм и баллад были снабжены обширными примечаниями автора, повторяющимися во всех изданиях начиная с 1820 г. Кроме того, в примечаниях издателей приводились наиболее значительные критические отзывы о произведениях В. Скотта из «Quarterly review», «Edinburgh review» и др. Кюхельбекер читал и анализировал на страницах днев-

ника следующие произведения В. Скотта: «Песнь последнего Менестреля» (первую поэму Скотта, 1805), поэмы «Мармион» (1808), «Дева озера» (1810), «Видение дона Родерика» (1811), «Рокби» (1813), «Властитель островов» (1815), «Гарольд Бесстрашный» (1816), «Поиски счастья, или Странствия султана Солимана» (1815), «Хэлидон-Хилл» (драматический набросок из шотландской истории, 1822), стихотворение «Прощание с Музой» (1820), переводные с немецкого баллады «Уильям и Елена» (1796, подражание балладе Бюргера «Ленора»), «Благородный Морингер» (1819) и «Дикий охотник». Здесь же он читал старинные английские баллады «Томас-рифмач» и «Свирепая свинья», помещенные В. Скоттом в примечаниях к своим произведениям. *Крабб* (Крэбб) Джордж (1754—1832) — английский поэт демократического направления, в своих дидактико-описательных поэмах изображавший повседневную жизнь простых людей; предшественник английских писателей-реалистов XIX в. Кюхельбекер получил, по-видимому, издание «Poetical Works» Крабба (Париж—Эдинбург, 1829). По этому изданию он читал и анализировал на страницах дневника поэмы «Деревня» (1783), «Немые ораторы», «Местечко» (1810), «Повести усадьбы» (1819) и др.

193 *...есть и натяжки, и скучноватости... на стать Гагедорновых и Виландовых...* — Негативная оценка немецких поэтов Ф. Гагедорна (1708—1754) и Х. М. Виланда (1733—1813), которая присутствует во фразе Кюхельбекера, по-видимому, относится к салонно-аристократическим и дидактическим их произведениям.

194 *...сказания о Михаиле Скотте очень оригинальны...* — Михаил Скотт — шотландский ученый и писатель XIII в., занимался философией, астрономией и алхимией, за что считался чернокнижником. Рассказ о нем содержится в примечаниях В. Скотта ко 2-й песни поэмы «Песнь последнего Менестреля». Поэму с примечаниями в русском переводе Кюхельбекер мог читать еще до ареста в ВЕ, 1823, № 20, с. 299—307.

195 *...в средних веках Виргилия считали волшебником... не другой ли это Виргилий?* — *Виргилий* (Вергилий) Публий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды», шестая часть которой посвящена нисхождению Энея в преисподнюю, где он постиг тайны загробного мира. *Другой Виргилий* — итальянский богослов и ученый Полидор Вергилий (ум. 1555). Чародеем считали первого Вергилия. Автор «В...» в статье «О магии» (ВЕ, 1807, ч. 34, № 14, с. 113) приводит строки из эклоги Вергилия «Pharmacentria»: «Стихами чародей луну низводит с неба» и «Наш Мерис в роще сей скрывался в виде волка И часто выгонял он мертвых из могил», — и заключает: «Многие удивляются, что в Неаполе и теперь еще Виргилий слывет чародеем; тому причины более негде искать, как в упомянутой эклоге».

196 *Из хороших сочинений Августа Лафонтена «Гонимый судьбою»...* — Повесть А. Лафонтена «Гонимый судьбою. (Дневные записки Карла Энгельмана)» — ВЕ, 1804, ч. 20, № 7, с. 177—206, № 8, с. 261—295. Цитата — из № 7, с. 187.

197 *Вот наконец 102 псалом...* — Чистовой автограф с незначительной правкой. Под № 4 вписано в тетрадь «Духовные стихотворения», раздел А — «Псалмы».

198 *Риттмейстер* Вильгельм Иванович (ум. 1834) — придворный врач, служивший в Павловске под начальством отца Кюхельбекера, Карла Генриха (1748—1809). В СП (1834, № 130) был помещен некролог В. И. Риттмейстера. См. о нем также в письме Вильгельма к матери — ЛН, т. 59. М., 1954, с. 424.

199 *В слоге у Скотта некоторое сходство с Бюргером...* — Бюргер Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт. Кюхельбекер сравнивает поэму В. Скотта «Песнь последнего Менестреля» с балладами Бюргера, вероятно, «Дикий охотник», «Дочь пастора из Таубенхейма» и пр.

200 *...«Взгляд на пастушескую поэзию древних» — гиль!* — Кюхельбекер пишет о статье М. Т. Каченовского «Взгляд на историю пастушеской поэзии древних» — ВЕ, 1804, ч. 22, № 16, с. 261—283.

201 *...тут извлечение из «Плача Мосха над смертию Биона»...* — *Мосх* — греческий поэт II в. до н. э., уроженец Сиракуз, последователь Феокрита; *Бион* Смирнский — греческий поэт II в. до н. э. Оба писали в жанре буколической поэзии.

Кюхельбекер цитирует русский перевод «Плача Мосха над смертию Биона» (ВЕ, 1804, т. 22, № 16, с. 275) неточно, по-видимому, стремясь вернее передать греческий текст. В статье Каченовского: «Кто осмелится приближить к губам своим цевницу...». У Кюхельбекера: «...к устам своим свирель...». Поправка, очевидно, связана с убеждением Кюхельбекера, что цевница — инструмент струнный. Каченовский: «...и не сделался медом!». У Кюхельбекера: «...и не превратился в мед!».

202 *Бриден... заслуживает быть бессмертным в памяти потомства...* — Бриден Жак (1701—1767) — французский миссионер и проповедник. В ВЕ, 1804, ч. 20, № 8, с. 295—298 помещен отрывок из книги французского кардинала, знаменитого оратора Жана Мори «Principes d'eloquence pour la chaire et le barreau» под названием «О красноречии Бридена» в переводе кн. П. И. Шаликова. Проповедь, которой восхищается Кюхельбекер, была обращена к высшей знати Парижа: «...здесь взоры мои устремляются на одних знатных, на богатых, на утеснителей страждущего человечества или на грешников дерзких и ожесточенных. Ах! только здесь надлежало греметь словом святым во всей силе грома его и поставить с собою, на этой кафедре, с одной стороны смерть, вам грозящую, с другой великого бога моего, пришедшего судить вас».

203 *«Гимн Непостижимому»* Алексея Федоровича Мерзлякова (1778—1830) — ВЕ, 1804, ч. 23, № 20, с. 273—279.

204 *Клод Лоррен* — французский живописец и гравер Клод Желле де Лоррен (1600—1682). Сведения о нем Кюхельбекер почерпнул из статьи Ж.-Ж. Телассона в ВЕ, 1805, ч. 23, № 18, с. 97—102.

205 *D'Athalie* — трагедия Расина «Гофолия» (1690). Новаторская по содержанию и форме, трагедия предвосхитила последующие этапы развития французского театра на пути к просветительской трагедии. Поставленная на сцене, она не имела успеха и была встречена молчанием критики.

206 *«Vous êtes orfèvre, m-r Jauss».* — Цитата из комедии Мольера «Любовь-целительница»; смысл ее: «Вы заинтересованное лицо, мсье Жосс!».

207 *...прочел... лирическую пиэсу Скотта — «Прощание с Музой»... напишу ей подражание.* — К стихотворению В. Скотта «Прощание с Музой» тематически близки стихотворения Кюхельбекера «Измена вдохновения» (написано между августом и ноябрем 1832 г.) и «Возврат вдохновения» (11 ноября 1832 г.).

208 *...прочел три критики: на сочинения Станевича...* — Станевич Евстафий Иванович (1775—1835) — поэт направления «Беседы любителей русского слова»; рецензия на его «Собрание сочинений в стихах и прозе» — ВЕ, 1806, ч. 25, № 2, с. 119—131.

209 *...на «Лирические опыты» Востокова...* — Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — поэт, филолог, его «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах», ч. 1—2, вышли в 1805—1806 гг. Рецензия на них — ВЕ, 1806, ч. 25, № 1, с. 32—42.

210 *...на «Путешествие в Полуденную Россию» В. Измайлова.* — Измайлов Владимир Васильевич (1773—1830) — писатель-карамзинист. Его «Путешествие в Полуденную Россию», ч. 1—4, вышло в 1800—1802 гг., второе издание — М., 1805. Рецензия на эту книгу — ВЕ, 1806, ч. 25, № 1, с. 42—54.

211 *...две выписки из «Путешествия» Баррова в Китай...* — Опубликованы в ВЕ, 1805, ч. 24, № 23, с. 179—189. Барров Джон (1764—1848) — английский государственный деятель, дипломат, путешественник. В составе дипломатической миссии был в Китае, о чем издал книгу «Travels in China» («Путешествия в Китай»), 1804.

212 *Наконец я нашел... нечто, что может мне пригодиться для сочинения.* — Эпизод о создании Отроча монастыря, рассказанный в статье «Письмо путешествующего немца из Твери» (ВЕ, 1806, ч. 25, № 3, с. 215—217), был положен в основу сюжета поэмы Кюхельбекера «Юрий и Ксения».

213 *...занимательно письмо к Коцебу от его сына из Японии...* — Письмо к Августу Фридриху Фердинанду Коцебу от его сына, по-видимому, Отто Августовича (отчество русифицировалось как Астафьевич или Евстафьевич) — ВЕ, 1806, ч. 27, № 12, с. 263. А. Ф. Коцебу — немецкий драматург, долго живший в России и

состоявший на русской службе. Его дети Отто и Мориц окончательно поселились в России и дали начало русскому дворянскому роду Коцебу. Оба они были географами и путешественниками; с Морицем (1789—1861) Кюхельбекер мог встречаться в Авинорме (в 1807—1810 гг. Мориц занимался топографической съемкой Эстляндской губернии) и на Кавказе, где оба — Мориц Коцебу и Кюхельбекер — служили под начальством А. П. Ермолова.

[214] *Недурны в «Вестнике» статьи Телассона о живописцах.* — В ВЕ статьи французского художника, писателя и знатока живописи Жана-Жозефа Телассона (1746—1809) печатались регулярно. Кюхельбекер, очевидно, читал статьи «Сальвадор Роза» (1805, ч. 22, № 15, с. 242—248), «Клод де Лоррен» (ч. 23, № 18, с. 97—102), «Альбан» (ч. 24, № 23, с. 173—179), «Павел Веронез» (ч. 24, № 24, с. 247—253), «Доминикин» (1806, ч. 25, № 1, с. 96—101) и др. В 1807 г. эти статьи были собраны Телассоном в книгу «Observations sur quelques grands Peintres» (Paris, 1807).

[215] *...не в пример забавнее прочесть... Х‹востова› или Тредьяковского, нежели... Василия Пушкина или Владимира Измайлова...* — *Хвостов* Дмитрий Иванович (1756—1835) — поэт, переводчик-драматург, эпигон классицизма, произведения которого были постоянной темой насмешек и эпиграмм. *Тредиаковский* Василий Кириллович (1703—1768) — поэт, филолог, положивший начало реформе русского стиха, завершенной Ломоносовым. Однако впоследствии в трактате «О древнем, среднем и новом стихотворстве российском» (1755) высказался за преимущества силлабической поэзии перед новейшей. Насмешки над Тредиаковским начались еще со времен его споров с М. В. Ломоносовым и А. П. Сумароковым; художественные произведения Тредиаковского постоянно становились предметом насмешек из-за неуклюжести слога. *Пушкин* Василий Львович (1766—1830) — второстепенный поэт-арзамасец, дядя А. С. Пушкина. Об *Измайлове В. В.* см. выше, примеч. 210.

[216] *...хохотал я, перечитывая басню Евстафия Станевича...* — «Басня» Е. И. Станевича была напечатана в ВЕ, 1806, ч. 25, № 2, с. 130.

[217] *В довольно плохом рассуждении «О том, что сделано в России для просвещения...»* — В этой статье, напечатанной в ВЕ, 1806, ч. 25, № 1, с. 3—20, № 2, с. 81—96, история о царе Алексее Михайловиче и послах Кромвеля — № 2, с. 89. Кромвель Оливер (1599—1658) — лорд-протектор Англии, возглавивший борьбу с королем Карлом I Стюартом. Карл I (1600—1649) в результате многолетней борьбы с парламентом был казнен 30 января 1649 г.; Карл II, его сын и наследник престола, был изгнан из отечества после казни отца.

[218] *...статья «О великом годе», сочинения Бернарди...* — Опубликована в ВЕ, 1806, ч. 27, № 9, с. 27—42. Цитаты из Цицерона взяты Кюхельбекером со с. 29—30, пересказ мнения Сенеки — со с. 34—35.

[219] *На днях я припомнил стихи... мой покойный друг их любил.* — Стихотворение «Надгробие» — поздняя редакция стихотворения «Мертвый к живому», опубликованного в альманахе «Амфион» 1815 г. *Покойный друг* — А. А. Дельвиг или А. С. Грибоедов.

[220] *...вдруг попалось мне известное пророчество Казота.* — Казот Жак (1719—1792) — французский писатель, масон, мистик. Пророчество Казота, якобы произнесенное им в 1788 г., излагает Лагарп в записках, опубликованных в 1806 г. (русский перевод — ВЕ, 1806). Казот, по словам Лагарпа, предсказал французскую революцию и даже назвал поименно лиц, которые во время революции погибнут. В числе этих лиц он назвал и себя.

[221] *...безделка Имбера «Любовь после брака»...* — Очерк французского писателя Бартелеми Эмбера (1747—1790), опубликован в ВЕ, 1806, ч. 28, № 15, с. 161—168.

[222] *«Муж развратитель»* — философская повесть Жанлис (ВЕ, 1806, ч. 28, № 16, с. 241—283; ч. 29, № 17, с. 3—40). Герой повести, просвещенный маркиз Декланж, поклонник и ученик философов-энциклопедистов, приводит на философские беседы свою невесту Юлию. В этих беседах участвуют Мармонтель, Дидро, Даламбер, Кондорсе и др. Они цитируют собственные сочинения, в частности Кондорсе цитирует «Жизнь Тюрго». Фраза Кондорсе, приведенная Кюхельбекером, — ВЕ, 1806,

ч. 29, № 17, с. 26. Влияние идей энциклопедистов, по мнению Жанлис, оказывается развращающим, и Юлия, которая буквально следует их наставлениям, превращается в безнравственную и несчастную женщину.

223 *...любопытная выписка из письма Петрарки...* — Выписка, содержащая легенду об основании города Ахена, взята Кюхельбекером из статьи Ф. Г. Циммермана «Волшебные перстни» — ВЕ, 1807, ч. 34, № 16, с. 259—268; Кюхельбекер пересказывает с. 265—268.

224 *...статья Энгеля «Дом сумасшедших».* — Отрывок из сочинения «Светский философ» — ВЕ, 1807, ч. 34, № 16, с. 241—254. Энгель И. Я. (1741—1802) — немецкий писатель-просветитель. «Светский философ» — наиболее известное его произведение («Der Philosoph für die Welt», 1775—1777 гг.). В ВЕ печатались и другие отрывки из этого сочинения: «Этна, или О счастии человеческом» — 1807, ч. 36, № 21, с. 3—29 (см. запись от 2 сентября 1832 г.); «От Мецената к Августу» — 1807, ч. 36, № 22, с. 113—126, и др.

225 *«Разум подает нам помощь... не вредит ему».* — Цитата из статьи «Мысли, почерпнутые из немецких писателей» (ВЕ, 1807, ч. 32, № 7, с. 202) приведена Кюхельбекером не совсем точно. В журнале: «Таким образом, капли воды, падая на твердый камень, выдалбливают в нем скважины; напротив того, стремительный поток разливается, покрывает камень, но не делает ему никакого вреда».

226 *...басни Жуковского... и эпиграммы...* — Басни (ВЕ, 1807 г.): «Истина и басня» — ч. 31, № 1, с. 56—58; «Орел и жук» — ч. 31, № 3, с. 187—189; «Сокол и голубь» — ч. 31, № 4, с. 262; «Сон Могольца» — ч. 32, № 7, с. 192—194; «Кот и зеркало» — ч. 34, № 14, с. 98—99; «Мартышка, показывающая китайские тени» — ч. 32, № 5, с. 41—43; «Каплун и Сокол» — ч. 34, № 15, с. 176—178; «Ссора плешивых» — ч. 32, № 6, с. 113; «Цапля» — ч. 32, с. 114; «Мартышка и лев» — ч. 32, № 8, с. 278—280; «Кот и мышь» — ч. 32, № 8, с. 280—282; «Сурки и крот» — ч. 33, № 10, с. 110—112; «Сокол и Филомела» — ч. 35, № 18, с. 102—103; «Старый кот и молодой мышонок» — ч. 35, № 19, с. 185—186. Эпиграммы — ч. 31, № 4, с. 263—264; ч. 31, № 1, с. 121—123; ч. 32, № 6, с. 115—116.

227 *Мануил Козачинский* — ректор и учитель риторики в Карловицких школах в австрийской Сербии XVIII в. Сведения о его трагедии взяты Кюхельбекером из статьи: N. О трагедии славено-сербской — ВЕ, 1807, ч. 33, № 11, с. 196—203.

228 *«Титул краля премени... и царем назвался».* — Цитата взята Кюхельбекером из ВЕ, 1807, ч. 33, № 11, с. 200.

229 *...князь Вукашин, Ричард III своего времени и народа.* — Сравнение Вукашина с Ричардом III основано на следующих фактах его биографии: князь Вукашин был опекуном малолетнего наследника престола Уроша, но решил захватить власть и убил его. После этого Вукашина мучит совесть, его вещие сновидения волхвы толкуют как дурные предзнаменования и пр.

230 *Первую русскую... грамматику написал иностранец... Лудольф...* — Сведения из статьи «О первой русской грамматике» — ВЕ, 1807, ч. 34, № 16, с. 291—295. Грамматика была издана Г. В. Лудольфом в 1696 г.

231 *Из «Извлечения из „Путешествия Оливье“» в Персию я узнал...* — ВЕ, 1807, ч. 34, № 16, с. 282—291; ч. 35, № 17, с. 9—32. Персидский султан *Гуссейн* (Хосейн) отрекся от престола в 1722 г. после поражения, нанесенного его войскам в 1721 г. *афганцем Магмудом*, ставшим с 1722 г. персидским царем. Эпизод о трехстах воинах сына Хосейна, *Тахмас-шаха* — ВЕ, № 17, с. 15. *Эшереф* (Ашраф) — сын Махмуда, свергший своего отца и завладевший персидским престолом в 1725 г. *Надир* (*Тахмас-Кули-хан*, что буквально означает: слуга Тахмаса) сверг Ашрафа и правил с 1736 по 1747 г. *Временные властители*, названные Кюхельбекером, — *Керим* (1760—1779), правитель при шахе Исмаиле III, *Али-Мурад* (1781—1785), *Али-Мегемет* (1794—1797), князь каджаров, основатель династии, *Фет-Али-Ша* (Баба-хан, 1797—1834).

232 День *святого Александра Невского.* — Автограф с последующей правкой, публикуется впервые.

233 *«Я новый Карл, я новый Клодвиг!».* — Имеется в виду Наполеон, уподобившийся Карлу Великому и Клодвигу (Хлодвигу), французским королям-завоевателям периода Великой франкской империи.

[234] *Прочел первую песнь «Мармиона» ... истинно прекрасно.* — Введение В. Скотта к поэме «Мармион», напомнившее Кюхельбекеру русские стихотворные послания, — «Introduction to Canto First. To William Stewart Rose, Esq.». *Сближение Питта и Фокса* — одна из тем введения. Уильям Питт Младший (1759—1806), лидер партии тори, и Чарльз Джеймс Фокс (1749—1806), лидер партии вигов, политические противники при жизни, были похоронены рядом в Вестминстерском аббатстве.

[235] *...сии три тома, изданные Жуковским, по красивой, почти роскошной наружности, особенно картинкам...* — Тома 37—39 ВЕ за 1808 г., изданные В. А. Жуковским, были богато иллюстрированы гравюрами А. Фролова, А. Касаткина и др. с картин художников Карафа, Беланжа, Пуссена, Жерарда, Флаксмана, Гогарта, Гоффье, Гереня, Рено и др.

[236] *Примечательного я прочел: «Ответ А. С. Шишкова на письмо Говорова»...* — Статья А. С. Шишкова «Ответ на письмо господина Луки Говорова, напечатанное в „Вестнике Европы" апреля 1807 № 8 под заглавием: „Письмо из города NN в столицу"» (ВЕ, 1807, ч. 36, № 24, с. 241—267). В этой статье Шишков протестовал против изучения одного французского языка, так как «великие» писали и на греческом, и на латинском, и на итальянском, и на немецком, и на английском языках. Кроме того, он считал неправильным, что русская молодежь, сражающаяся с французами, храбро защищающая от них свое отечество, писать «на отечественном языке» или не хочет, или не умеет, а пишет родителям по-французски. Встаньте из гроба через десять лет после вашей смерти, предлагает Шишков, и вы увидите, что сын, воспитанный подобным образом, «добываемое из земли с пролиянием пота 10 000 рук богатство расточает двум, трем или пяти обманывающим его иностранцам».

[237] *...«Бомарше в Испании» из «Записок Бомарше»... служила основанием Гетевой трагедии «Клавиго»...* — Отрывок из «Записок» П.-О.-К. Бомарше — ВЕ, 1808, ч. 37, № 3, с. 193—237.

[238] *...«Путь Развратного»..., Лихтенбергово описание Гогартовой картины.* — Статья Г. К. Лихтенберга «Путь Развратного. Моральная Гогартова карикатура» — ВЕ, 1808, ч. 38, № 5, с. 42—63; ч. 40, № 15, с. 218—227; ч. 42, № 21, с. 36—44. Статья написана по мотивам сюжета картины английского художника У. Гогарта (1697—1764). В начале этой статьи, заинтересовавшем Кюхельбекера, геттингенский профессор Лихтенберг дает свое определение жанра карикатуры: это «не едкая, ругательная и часто вредная насмешка», но изображение «порока и всякого морального безобразия чертами разительными», возбуждающее к ним отвращение.

[239] *В ... статье «Филологическая догадка о происхождении слова красный»...* — Статья опубликована в ВЕ, 1808, ч. 36, № 23, с. 199—205, подпись автора NN.

[240] *«Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет»* — рассказ Готлиба Меркеля (1769—1850), немецкого писателя, журналиста и издателя, — ВЕ, 1808, ч. 37, № 2, с. 97—131. *Параклет* — место, где якобы похоронена Элоиза, героиня Руссо.

[241] *...извлечение из ежедневных записок короля польского...* — «Отрывок из дневных записок последнего польского короля Станислава Августа Понятовского (писанных во время его пребывания в России, с 2 марта 1797 по 12 февраля 1798)» — ВЕ, 1808, ч. 39, № 11, с. 129—159. Станислав Август Понятовский (1732—1798) был королем с 1764 по 1795 г.; при нем были совершены три раздела Польши; после отречения от престола Станислав Август жил в Петербурге.

[242] *Из политических статей занимательна «Судьба Копенгагена»...* — «Судьба Копенгагена (Письмо очевидца)», переводная с немецкого статья — ВЕ, 1808, ч. 37, № 1, с. 69—81. В период наполеоновских войн Дания была нейтральной державой; однако Англия оккупировала ее. Копенгаген был взят и разграблен 16 августа 1807 г.

[243] *Скотт... говорит о переводах или подражаниях Тайлора и Спенсера. Мне еще известен перевод Бересфорда...* — В. Скотт, сам написавший подражание балладе Готфрида Августа Бюргера «Ленора» («Уильям и Елена»), говорит о стихо-

творениях английских поэтов Уильяма *Тейлора* (1765—1836) «Ellenore» (1796) и Уильяма Роберта *Спенсера* (1770—1834) «Leonora» (1796). *Бересфорд* (Бирсфорд) Бенджамен (1750—1819) — английский литератор, с 1803 по 1806 г. преподававший английский и итальянский языки в Дерптском университете, потом жил в Петербурге и Берлине.

244 *Энгелов «Светский философ»* — см. примеч. 224.

245 *...Гольдбах в речи о комете 1807-го года...* — Кюхельбекер излагает статью «Речь, читанная на французском языке в имп. московском Обществе испытателей природы профессором астрономии Ф. Гольдбахом 15 ноября 1807» — ВЕ, 1807, ч. 36, № 24, с. I—XII.

246 *В другой статье...* — «О кометах», без подписи — ВЕ, 1807, ч. 36, № 23, с. 205—213.

247 *...примечательное донесение Кантемира императрице Анне...* — Донесение русского дипломата и поэта Антиоха Дмитриевича Кантемира (1709—1744), посланное им из Лондона в 1738 г., приведено в статье «Георг II, английский король, и министры его, описанные Кантемиром» — ВЕ, 1808, ч. 37, № 4, с. 277—282.

248 *...два письма русского художника Н. Ф. Алферова...* — Николай Федорович Алферов — талантливый юноша-архитектор, мечтавший создать национальную русскую архитектуру XIX в. Он был направлен для повышения образования в Грецию в 1805 г., однако из-за бюрократической неразберихи денежное пособие ему не было выплачено, и он остался за границей без средств к существованию. «Два письма русского путешественника» Алферова — ВЕ, 1808, ч. 38, № 7, с. 206—222. В примечаниях В. А. Жуковского к этим письмам сказано, что из этого необыкновенного молодого человека мог бы «со временем образоваться русский Винкельман, когда бы обстоятельства способствовали развитию дара его и не умерщвляли его Гений» (с. 207). Винкельман И. И. (1717—1768) — немецкий историк античного искусства, автор фундаментальных работ, обосновавших эстетику классицизма.

249 *«Мария (отрывок из Артурова журнала)»,* переводная с французского повесть — ВЕ, 1808, ч. 39, № 9, с. 3—40, № 10, с. 107—160.

250 *...в песне Грамматина, которую он назвал «Элегиею сельской девушки»...* — «Элегия сельской девушки», стихотворение Николая Федоровича Грамматина (1786—1827) — ВЕ, 1807, ч. 36, № 24, с. 280—282.

251 *...пять картин под названием Каппониановых...* — В ВЕ, 1807, ч. 36, № 24, с. 282—288 в «Известиях о книгах» содержится рассказ о книге А. Ф. Малиновского «Историческое описание древнего Российского музея, под названием Мастерской и Оружейной палаты в Москве обретающегося». Каппониановы образа — древнейшие из русских икон работы Никиты Иванова, Сергея Васильева и Андрея Ильина; они принадлежали Петру I, были подарены духовнику Герасиму Фоке и проданы собирателю редкостей, основателю капитолийского музея А. Г. Каппони (1683—1746). Каппони свое собрание редкостей завещал Ватикану.

252 *Вот нечто, как будто нарочно для меня писанное...* — Цитата из сочинения немецкого писателя К. Ф. Морица (1757—1793) «Жизнь и деятельность», напечатанного в ВЕ, 1808, ч. 37, № 2, с. 93—96; приведена Кюхельбекером с некоторыми сокращениями и неточностями.

253 *Море сна.* — Черновой автограф ранней редакции, публикуется впервые.

254 *...ответ младшего Шлёцера какому-то русскому критику...* — Младший Шлёцер — Христиан Августович (1774—1831), сын историка и публициста Августа Людвига Шлёцера; был профессором государственного права в Дерпте и профессором политической экономии в Москве (1801—1826). Занимался историей славян, ему принадлежит труд «О происхождении славян вообще и в особенности славян российских» (М., 1810). В ВЕ (1811, ч. 60, № 23, с. 188—214 и № 24, с. 267—299) была напечатана статья Х. А. Шлёцера «Изъяснение двух совсем еще неизвестных и весьма достопамятных подлинников на славянском языке, писанных и относящихся до связи между Новгородскою республикой и Ганзою». В № 23, с. 198 Шлёцер толкует слова *«нечист путь»* во фразе новгородской грамоты: «Оже будет

нечист путь в речках, князь велит своим мужем проводити сии гость, а весть им подати» — как «не глубок путь». Ему возражает Константин Федорович Калайдович (1792—1832), археограф, историк и филолог, в статье «Замечание на объяснения двух грамот новгородских (Письмо к Х. А. Шлёцеру)» — ВЕ, 1812, ч. 61, № 3, с. 204—232. Рассуждение К. Калайдовича о словах «путь нечист» — с. 211. Ответ Шлёцера Калайдовичу — ВЕ, 1812, ч. 62, № 8, с. 281—310; ч. 63, № 9, с. 21—49.

255 *«Записки» князя Шаховского...* — Два отрывка из обширных мемуаров Я. П. Шаховского: «Выписка из жизни князя Шаховского» и «Продолжение выписки из жизни князя Шаховского» — ВЕ, 1808, ч. 41, № 17, с. 11—35, № 18, с. 97—115. Князь Яков Петрович Шаховской (1705—1777) — сенатор, вельможа времен Петра I, Анны, Елизаветы и Екатерины II; его записки охватывают период с 1719 по 1766 г.

256 *Попе* (Поп) Александр (1688—1744) — английский поэт. Портрет Попа работы художника Вертю, гравированный А. Фроловым, приложен к ВЕ, 1809, ч. 47, № 18.

257 *Принц де Линь* Шарль Жозеф (1735—1814) — французский генерал, писатель и поэт. Его «Записки» были изданы в кн.: Письма, мысли и избранные творения принца де Линя. М., 1809. Кюхельбекер читал в ВЕ, 1809, ч. 46, № 15, с. 173—191 отрывок из этой книги под загл. «Свидания маршала принца де Линя с Ж.-Ж. Руссо и Вольтером». Отрицательное мнение Вольтера об энциклопедистах, с которым согласен Кюхельбекер, — с. 185.

258 *«Черты из жизни Суворова»* — ВЕ, 1809, ч. 47, № 18, с. 94—116. *Гильоман-Дюбокаж* — полковник драгунского полка, был в армии Суворова в 1794—1796 гг., издал в Париже книгу «Краткое описание жизни славного Суворова».

259 *«Амур в первые минуты разлуки с Душенькою»* А. Ф. Мерзлякова — ВЕ, 1809, ч. 45, № 10, с. 91—122.

260 *«Ода на поединки»* — ВЕ, 1809, ч. 46, № 16, с. 279—282, подпись Г-въ. С. А. Фомичев высказал мнение о принадлежности оды А. С. Грибоедову (РЛ, 1977, № 2, с. 72—74).

261 *...замечания Луиджи Лануссио...* — Статья «Замечания об уменьшении воды в море» — ВЕ, 1809, ч. 47, № 20, с. 300—307.

262 *...занимательная статья «О детстве императора Павла Первого»...* — Статья «Некоторые известия о детстве императора Павла Первого» из «Записок, служащих к истории великого князя Павла Петровича» С. А. Порошина (1741—1769), бывшего в 1764—1765 гг. воспитателем Павла, — ВЕ, 1810, ч. 52, № 15, с. 193—240.

263 *...известие о книге... Ник. Эмина...* — О сборнике анакреонтических стихотворений Н. Ф. Эмина (1767—1814) «Подражание древним» — ВЕ, 1810, ч. 52, № 13, с. 64—66, в разделе «Безделки».

264 *...без критики... на «Послание» Шихматова к брату...* — Кюхельбекер имеет в виду критический разбор стихов Сергея Александровича Ширинского-Шихматова (1783—1837) «Возвращение в отечество любезного моего брата <...>» (СПб., 1810) — ВЕ, 1810, ч. 53, № 19, с. 220—227, подписанный «Т». Батюшков назвал автором рецензии Каченовского. См. также с. 597, 758 наст. изд.

265 *«Романический любовник, или Веселость и старость»,* переводная с французского повесть — ВЕ, 1810, ч. 53, № 19, с. 167—203.

266 *«Дорсан и Люцея»,* повесть Жанлис — ВЕ, 1810, ч. 54, № 23, с. 173—206, № 24, с. 253—275.

267 *...выгодный отзыв о «Деворе» Шаховского...* — Отзыв о трагедии А. А. Шаховского «Дебора» (1810) — ВЕ, 1811, ч. 55, № 3, с. 224—225, в разделе «Московские записки. Театр», где говорится о спектакле 19 января 1811 г. в Москве: «...во время представления нельзя было не заметить множества превосходных стихов и не восхищаться красноречием, почерпнутым из библейского языка» (с. 225).

268 *По отрывку из Гиббоновой «Истории»...* — «Отрывок из LIII главы Гиббоновой истории об упадке и разрушении Римской империи» — ВЕ, 1811, ч. 55, № 1, с. 3—17. Латинская цитата греческими буквами — с. 6. Гиббон Эдуард (1737—

1794) — английский историк, автор многотомного труда «История упадка и разрушения Римской империи» (1776—1787).

[269] *«План для заведения в России Азиатской Академии»* — содержится в статье «Мысли о заведении в России академии Азиатской», перевод французской книги С. С. Уварова «Projet d'un Academie Asiatique» (СПб., 1811) — ВЕ, 1811, ч. 55, № 1, с. 27—52, № 2, с. 96—120. Подпись переводчика Ж. (В. А. Жуковский?). Сведения об индийце *Мону* — № 2, с. 99—100.

[270] *...замечу сцену из Катениновой «Эсфири»...* — Сцена из трагедии «Эсфирь» Ж. Расина в переводе П. А. Катенина — ВЕ, 1812, ч. 61, № 1, с. 16—20 (1-е явление).

[271] *...3 песни (7, 8 и 9-я) «Илиады» Кострова...* — Перевод 7-й, 8-й и 9-й песен «Илиады» Гомера — ВЕ, 1811, ч. 58, № 13, с. 81—126, № 14, с. 172—192. Костров Ермил Иванович (1755—1796) — поэт и переводчик, представитель классицизма и раннего предромантизма. Переводил Вольтера, Апулея, Гомера, «Песни Оссиана». Интерес к переводу «Илиады» сочетался у Кюхельбекера, как и у его друзей, например Пушкина, с симпатией к личности Кострова, происходившего из крестьян Вятской губернии, получившего образование в Славяно-греко-латинской академии и Московском университете, достигшего высочайшей степени культуры, одаренного поэта, закончившего жизнь в крайней бедности (ср.: «Костров на чердаке безвестно умирает...» — «К другу стихотворцу» А. С. Пушкина; «Мрут с голоду Камоэнс и Костров...» — В. Кюхельбекер, «Участь поэтов», 1823).

[272] *...перевод из Гиббоновой «Истории» — «Царствование Юстиниана».* — Глава XL — о Юстиниане Старшем — из «Гиббоновой истории об упадке и разрушении Римской империи» — ВЕ, 1811, ч. 60, № 21, с. 3—32, № 22, с. 85—114, № 23, с. 169—186, № 24, с. 249—266.

[273] *Первая напечатанная из известных доселе книг...* — Сведения о первой книге, напечатанной в 1455 г., почерпнуты Кюхельбекером из переводной статьи барона Аретина, главного библиотекаря баварского короля, «О первых действиях изобретения типографического искусства» — ВЕ, 1811, ч. 58, № 13, с. 11—34.

[274] *Милонов* Михаил Васильевич (1792—1821) — поэт-сатирик, его стихотворение «К Рубеллию» 1810 г. было понято современниками как сатира на Аракчеева. «Сатира на модных болтунов. (Подражание Виже)» М. Милонова — ВЕ, 1812, ч. 61, № 2, с. 106—110.

[275] *Читал критику Каченовского «Нестор»...* — Критическая статья М. Т. Каченовского о книге А. Л. Шлёцера «Нестор. Русские летописи на древле-славенском языке. Сличения, переведенные и объясненные А. Л. Шлёцером», переведенной с немецкого Дм. Языковым (ч. 1, СПб., 1810), — ВЕ, 1811, ч. 59, № 18, с. 127—149, № 19, с. 211—230. *Насмешки* Каченовского в ВЕ над С. Глинкой — над статьей С. Н. Глинки «Замечания на некоторые мысли рассматривателя книги о первобытной России и ее жителях» (Русский вестник, 1810, кн. 3).

[276] *...перевод Болдырева «Арабской элегии»...* — «Элегия», переведенная с арабского А. Болдыревым, опубликована в ВЕ, 1811, ч. 59, № 17, с. 54—56. Кюхельбекер цитирует с некоторыми неточностями.

[277] *В речи Каразина...* — «Речь о пользе просвещения в домоводстве, произнесенная в Харькове 18 августа 1811 года при публичном собрании Филотехнического общества» Василия Назаровича Каразина (1773—1842), русского ученого-естествоиспытателя, деятеля просвещения, который был правителем дел этого общества, — ВЕ, 1811, ч. 60, № 20, с. 259—290. *Мнение Линнея* — с. 265.

[278] *...описание мотовилихинского пожара, сообщенное... Медером.* — «Письмо к издателю „Вестника Европы“ начальника Пермских заводов Петра Медера» — ВЕ, 1811, ч. 60, № 24, с. 304—318.

[279] *Дмитрий* — племянник Кюхельбекера Дмитрий Григорьевич Глинка (1808—1883), дипломат. Служил в русских дипломатических миссиях в Копенгагене (с 1831 по 1837 г.), затем в Стокгольме, Берлине. Был поверенным в делах при нескольких герцогских германских дворах. С 1856 г. чрезвычайный посланник в Рио-де-Жанейро, с 1871 г. — в Лиссабоне. Д. Г. Глинка был писателем-социологом; в 1870 г. в Петербурге вышла его книга «Наука о человеческом обществе» (на франц. яз.).

[280] *Елизавета Ивановна Альбрехт* — родственница Кюхельбекера по материнской линии, дочь И. Л. Альбрехта. *Бергман Карл Иванович* — знакомый семейства Глинок—Кюхельбекеров.

[281] *...в надгробном слове графу Строганову...* — «Надгробное слово графу А. С. Строганову», произнесенное архимандритом Филаретом в Казанской церкви в Петербурге 3 октября 1811 г. — ВЕ, 1812, ч. 61, № 1, с. 3—16. Цитата (с небольшими неточностями) — с. 8.

[282] *В «Певце во стане русских воинов»...* — Ранний вариант этого стихотворения В. А. Жуковского был напечатан в ВЕ, 1812, ч. 66, № 23—24, с. 176—196.

[283] *...статья Арндта* — «Король Фридрих Вторый и век его» — ВЕ, 1813, ч. 68, № 5—6, с. 82—122. Арндт Эрнст Мориц (1769—1860) — немецкий поэт и историк.

[284] *...Петр Первый — изобретатель... азбуки...* — Сведения из статьи «О славяно-русских типографиях», за подписью *Е.* — ВЕ, 1813, ч. 70, № 14, с. 104—129.

[285] *...рассуждение моего зятя о российском языке...* — Отрывок из «Сокращенного курса российской словесности» Григория Андреевича Глинки (1776—1818), профессора русского языка и словесности Дерптского университета (1803—1810), помощника воспитателя при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах (с 1811 г.) — ВЕ, 1813, ч. 70, № 15, с. 172—208, № 16, с. 259—276. Глинка писал стихи и прозу, его собрание сочинений вышло в 1802 г.; среди его книг — учебник русского языка для школ прибалтийских губерний «Elementarbuch der russischen Sprache zum Gebrauche der Kreisschulen in Liv-Est-Kur und Finnland» (Mitau, 1805) и книга «Древняя религия славян» (Митава, 1804).

[286] *«Судебник царя Ивана Васильевича»* неоднократно цитировали критики ВЕ — М. Каченовский в статье «О судебных поединках» (1811, ч. 57, № 10, с. 115—125), автор Е. в статье «О разных родах присяг у славеноруссов» (1813, ч. 70, № 13, с. 28—39). Кюхельбекер цитирует последнюю статью, с. 29—30.

[287] *Иван Федоров и Петр Мстиславец.* — Федоров Иван (ум. 1583) и Мстиславец Петр — основатели книгопечатания в России (1563 г.). Сведения о них Кюхельбекер почерпнул из статьи К. Калайдовича «Иоанн Федоров, первый московский типографщик» (ВЕ, 1813, ч. 71, № 18, с. 93—123). Большинство изданий Ивана Федорова содержат предисловия и послесловия, в которых печатник рассказывает о постигших его бедах и гонениях. Одно из таких послесловий приведено в статье Калайдовича, с. 105—112.

[288] *Франциск Скорина перевел... всю Библию... с Вульгаты.* — Сведения о Франциске Скорине (ок. 1491—ок. 1541), основоположнике восточнославянского книгопечатания, ученом, докторе медицины из Полоцка, переводчике Библии на белорусский язык, взяты из примечания № 16 к статье Калайдовича «Иоанн Федоров, первый московский типографщик» — ВЕ, 1813, ч. 71, № 18, с. 93—123. Вульгата — латинский перевод священного Писания, выполненный Блаженным Иеронимом, в разное время исправленный и дополненный, в 1546 г. был утвержден в качестве канонического текста Библии; 1-е изд. — Рим, 1590.

[289] *«Иван и Марья» Измайлова повесть...* — «Сироты в Малороссии, или Цветы: Иван и Марья» — ВЕ, 1814, ч. 74, № 7, с. 163—203, № 8, с. 251—276.

[290] *...еще послание Жуковского к императрице...* — «К ее имп. величеству вдовствующей государыне императрице Марии Федоровне» — ВЕ, 1814, ч. 73, № 4, с. 283—286.

[291] *Послание к Воейкову* Жуковского — ВЕ, 1814, ч. 74, № 6, с. 97—106.

[292] *Послание к Батюшкову* — стихотворение В. А. Жуковского 1812 г.

[293] *Выписываю анекдот...* — Рассказ о св. отце Д'Ортега содержится в статье «О новых предметах для художеств» — ВЕ, 1814, ч. 73, № 3, с. 206—214. Приведенный эпизод — с. 211—213.

[294] *...отрывок из раввинской книги...* — «Первые две главы из еврейских преданий, называемых Масехт-Авос», — ВЕ, 1817, ч. 93, № 9, с. 55—65.

[295] *...прочел я свою собственную статейку...* — «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности» (ВЕ, 1817, ч. 95, № 17—18, с. 154—157), помещенную М. Т. Каченовским в разделе «Краткие выписки, известия и замечания».

[296] *...несколько разборов Мерзлякова...* — Разборы А. Ф. Мерзлякова в ВЕ 1817 г. — «Разбор трагедии „Поликсены“ господина Озерова. (Чтение XV-е). Из лек-

ций А. Ф. Мерзлякова» — ч. 91, № 4, с. 269—300; ч. 92, № 5, с. 17—53; «Разбор трагедии „Едип в Афинах“, господина Озерова. (Чтение XVI-е)» — ч. 92, № 8, с. 267—295; ч. 93, № 9, с. 24—47; «Разбор оперы „Мельника“» — ч. 92, № 6, с. 113—126. О «Димитрии Самозванце» А. П. Сумарокова Мерзляков пишет в статье «Сумароков» — ч. 93, № 12, с. 257—281; ч. 94, № 13, с. 26—54, № 14, с. 106—140.

297 *«О происхождении крестьянского состояния».* — Статья за подписью «Рдръ» — «редактор», т. е. Каченовский, — ВЕ, 1817, ч. 91, № 3, с. 209—217, № 4, с. 301—306.

298 *Я бы желал на коленях... сколь она еще во мне немощна и холодна.* — Текст восстановлен по автоцитате Кюхельбекера из дневника в письме к сестре Юлии от 14 ноября 1832 г. — ЛН, т. 59. М., 1954, с. 412.

299 *Возврат вдохновения.* — Ранняя редакция стихотворения. Здесь и далее тексты стихотворений даются по их публикациям Ю. Н. Тыняновым в изд.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, так как в копии дневника, изготовленной для журнала «Русская старина», тексты стихотворений были сокращены или опущены.

300 *«О степенях образования людей и народов»,* статья профессора ярославского Демидовского высших наук училища Герасима Покровского — ВЕ, 1817, ч. 95, № 17—18, с. 83—125.

301 *Поляк, чью статью о немецких философах изволил Михайло Трофимович перевесть...* — Поляк — Ян Снядецкий (1756—1830), философ, астроном Виленского университета, польский просветитель, энциклопедист. М. Т. Каченовский переводит отрывок из его книги «О философии» — «Нечто о разных толках германской философии. Отрывок из одной польской книги „О философии“ (написана по Венцелю)» — ВЕ, 1817, ч. 95, № 20, с. 257—268. Цитата из Шеллинга — с. 259. Спор, в который вступает Кюхельбекер, свидетельствует о том, что он не был знаком с натурфилософией Шеллинга.

302 *...прочел статью... Срезневского.* — «О разных системах нравоучения, сравненных по их началам. Из рассуждения, читанного в собрании имп. Казанского университета 5 июля 1817 г.» профессора И. Срезневского — ВЕ, 1817, ч. 95, № 19, с. 170—199.

303 *...Соца возражение на мою статью... Гнедич гораздо более меня рассердился на это возражение...* — Возражение В. И. Соца — «Нечто против статьи под названием „Взгляд на нынешнее состояние русской словесности“» — ВЕ, 1817, ч. 96, № 23, с. 193—204. Соц сопоставляет перевод «Илиады» Гомера гекзаметрами Н. И. Гнедича и ямбами Кострова и говорит, что от гекзаметров гомеровские строки ничего не выигрывают. Тон Соца по отношению к Гнедичу издевательский: «Дай бог, чтоб „Илиада“ его подлинно учинилась достойною эпохою в нашей словесности и заставила бы забыть о том, что „Телемахида“ Тредьяковского осуждена составлять эпоху недостойную» (с. 201).

304 *В замечаниях Гнедича на «Опыт...» Востокова...* — «Замечания на „Опыт о русском стихосложении“ г-на В. и нечто о прозодии древних» Н. И. Гнедича — ВЕ, 1818, ч. 99, № 10, с. 99—146, № 11, с. 187—221. О Востокове А. Х. см. выше, примеч. 209.

305 *...отрывки из «Записок»* А. М. Михайловского-Данилевского печатались в ВЕ неоднократно: «Журнал похода 1815 года» — 1818, ч. 98, № 5, с. 57—72; «О вторичном вшествии Россиян в Париж» — 1817, ч. 91, № 4, с. 241—251; «Журнал путешествия из Швейцарии чрез Богемию и Пруссию в Варшаву 1815 г.» — 1817, ч. 96, № 23—24, с. 241—251. Отд. изд. — СПб., 1831.

306 *Уважать В‹оейкова› как человека мне невозможно...* — Воейков Александр Федорович (1779—1839) — журналист, поэт, критик, отличался мелочной мстительностью и был во враждебных отношениях с Кюхельбекером после отрицательного отзыва Кюхельбекера о его сочинениях в статье «Взгляд на текущую словесность» («Невский зритель», 1820).

307 Цитата из стихотворения А. Ф. Воейкова «Гимн богу» — ВЕ, 1818, ч. 97, № 7, с. 176—178.

308 *«Софокл»* П. А. Катенина — ВЕ, 1818, ч. 100, № 14, с. 81—90. Стихотворная цитата — с. 90.

[309] *Жуковского перевод Шиллеровой баллады...* — «Граф Гапсбургский» В. А. Жуковского — ВЕ, 1818, ч. 100, № 13, с. 17—22.

[310] *...щелчки Каченовского историографу...* — Историограф — Н. М. Карамзин. Статья М. Т. Каченовского «К господам издателям „Украинского вестника“» (без подписи, указано только место жительства автора: «Лужники», отсюда появится в дальнейшем псевдоним Каченовского «Лужницкий старец») — ВЕ, 1818, ч. 100, № 13, с. 39—51. Предмет насмешек Каченовского — статья Н. М. Карамзина «Записка о достопамятностях Москвы» — Украинский вестник, 1818, № 5.

[311] *Спасибо Анониму, вступившемуся за «Историю философии» Галича...* — Аноним «П-ъ С-въ» обратился с письмом к редактору ВЕ, т. е. Каченовскому, по поводу недоброжелательной статьи издателя «Сына отечества» Н. И. Греча о книге А. И. Галича «История философских систем»: «Об „Истории философских систем“ г-на Галича. (Письмо к редактору)» — ВЕ, 1818, ч. 102, с. 260—273. Аноним в восторге от книги Галича и обвиняет Греча в невежестве.

[312] *...описание всего того, что некоторые его знакомые претерпели в Москве в роковой 1812 год...* — содержится в статье «О пребывании в Москве французов» П. И. Шаликова — ВЕ, 1813, ч. 67, № 1—2, с. 90—102. *Известия о бедных* — о семействах, которым необходима помощь, а также «мысли», афоризмы, переводы и стихи Шаликова печатались почти в каждом номере ВЕ.

[313] *Симонд де Сисмонди в обозрении арабской литературы...* — Кюхельбекер пишет о переводной статье «О литературе арабов», отрывке из книги «De la litterature du midi de l'Europe» par J. C. L. Simonde de Sismondi. Paris, 1813, v. I, p. 38—77 — ВЕ, 1818, ч. 102, № 23, с. 175—216. *Окончание статьи истинно поразительно...* — В окончании отрывка Сисмонди содержится мысль о бесследном исчезновении некогда блистательной культуры стран ислама. Их земли не завоеваны, не чужестранцы расхитили их сокровища — «яд находился внутри их и поверг их в ничтожество». Сисмонди предполагает, что то же может быть и с Европой, и «народы с рек Ориноко и Амазонки» когда-нибудь «с удивлением узнают, что мы существовали в мире, что мы имели понятие о предметах, которые и им будут известны, что мы, как они, мечтали о славе, — узнают и пожалеют о слабости усилий наших» (с. 216). Симонд де Сисмонди Жан (1773—1842) — швейцарский писатель-романтик, экономист и историк.

[314] *Древнейший типографщик... Святополк Феоль. Бандтке отыскал... Октоих...* — Сведения из статьи К. (К. Ф. Калайдовича) «О Святополке Фиоле, краковском типографщике, первом издателе книг церковнославянских» — ВЕ, 1819, ч. 106, № 14, с. 121—138. *Бандтке* Георгий Самуил — профессор, библиограф и библиотекарь Краковского университета, издавший книгу «Historya drukarn Krakowskich» (Краков, 1815). *Октоих* — греческая церковная книга 750 г.

[315] *Прекрасна статья Саларева «Матвеев».* — Статья Ивана (Сергея?) Гавриловича Саларева (1792—1820) «Матвеев» — ВЕ, 1819, ч. 106, № 15, с. 182—201, перепечатана из т. 14 «Трудов общества любителей российской словесности». Матвеев Артемон Сергеевич (1625—1682) — военачальник, дипломат, друг царя Алексея Михайловича, после смерти которого был лишен боярства, сослан в Пустозерский острог вместе с сыном Петром, где пробыл семь лет. Личность Матвеева ярко проявилась в письмах его к утеснителю, царю Федору. Петр I возвратил Матвееву боярское достоинство, дал его сыну чин стольника, однако Матвеев при возвращении в столицу погиб во время стрелецкого бунта от руки стрельцов. По мысли Саларева, с которой согласен и Кюхельбекер, Матвеев был замечательным гражданином, служившим народу и отечеству и погибшим от руки того самого народа, который «его называл своим благодетелем».

[316] *...изображение... Василия Шуйского, — в...* — «Злонамеренное» изображение Василия Шуйского — в XII т. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, с которым Кюхельбекер был не согласен и полемизировал в трагедии «Падение дома Шуйских» и в драме «Прокофий Ляпунов».

[317] *В Рихтеровой «Истории медицины»...* — В книге «Geschichte der Medicin in Russland» (Bd 1—3. Moskau, 1817) Вильгельма Михаила Рихтера.

[318] *...четыре прекрасных стиха в «Освобожденной Москве» Волкова?* — Отрывки из поэмы «Освобожденная Москва» Александра Абрамовича Волкова печатались

в ВЕ, 1819, ч. 107, № 19, с. 161—173; ч. 108, № 21, с. 11—21. Кюхельбекер цитирует строки из третьей песни (№ 19, с. 166).

319 *...в «Собрании древних стихотворений»...* — «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым; и вторично изданные с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева». М., 1818. Издание Константина Федоровича Калайдовича.

320 *...в собрании Левшина...* — В книге В. А. Левшипа «Русские сказки», неоднократно переиздававшейся в XVIII—начале XIX в.

321 *«О Спорах и Нориках»* — статья Петра Григорьевича Буткова (1775—1857) «О Спорах и Нориках, древних именах славян» — ВЕ, 1820, ч. 110, № 8, с. 275—295.

322 *При чтении Бональдовой статьи «О духовных миссиях»...* — Кюхельбекер читает переводную статью французского публициста Луи де Бональда (1753—1840) — ВЕ, 1820, ч. 110, № 5, с. 57—61, № 6, с. 133—141, № 7, с. 217—226. Цитата — № 7, с. 221. Кюхельбекер записывает ее сокращенно, полностью фраза звучит: «Дикие нового мира суть не что иное, как остатки народов, имевших некогда, как мы теперь, своих законодателей, свои конституции и, без всякого сомнения, своих философов».

323 *Каченовский перевел какую-то статью Снядецкого... на эту статью... замечания...* — М. Т. Каченовский неоднократно переводил и печатал в ВЕ статьи Яна Снядецкого. См., напр.: Письмо от Яна Снядецкого ко ксендзу Коллонтаю. Вильно, 7/19 ноября 1809 г. — ВЕ, 1818, ч. 97, № 5, с. 86. Статья Снядецкого «О философии» была напечатана в виленском журнале «Dziennik Wilenski», 1819, и в ВЕ, 1819, ч. 105, № 11, с. 182—213; это лекция, прочитанная в Виленском университете 15 апреля 1819 г. Возражения на нее реакционера М. Л. Магницкого — Казанские известия, 1819, № 99 и 100. Ответ Каченовского «Казанским известиям» — «Примечания на статью „О философии“» — ВЕ, 1820, ч. 109, № 1, с. 33—45. Спор Кюхельбекера со стихийным материализмом Яна Снядецкого указывает на его идеалистические позиции, которые, однако же, не были последовательными. Вывод его о материализме Джона Локка, английского философа (1632—1704), и о том, что эмпиризм Локка не согласуем с христианской религией и верованием деистов в бессмертие души, совершенно справедлив. Неприятие Кюхельбекером материализма, точнее боязнь материализма, связано с его боязнью потерять опору в религии, и без того достаточно зыбкую. Цитаты, приводимые Кюхельбекером, — № 1, с. 38, 39—40.

324 *...отрывок... Вейса «Гробница».* — Отрывок из философского сочинения «Principes philosophiques, politiques et moraux» швейцарского философа и политического деятеля, участника Великой французской революции Франсуа-Рудольфа Вейсса (1751—1818) — ВЕ, 1820, ч. 110, № 6, с. 98—102. «Ужасное» содержание этого отрывка заключается в подчеркнутой реальности его образов и в трактовке автором смысла человеческой жизни: герой, подкупив могильщика, входит в гробницу некоего знатного семейства. Там он еще раз осознает красоту великих страниц сочинений Юнга, но созерцает при этом картину разложившихся трупов и копошащихся в них червей — «сию превосходную картину ужасов». «Глас» разъясняет ему символический смысл увиденного: «Я был то, что ты есть, ты будешь то, что я теперь: готовься!».

325 *«Мысли и замечания»* — так называлась постоянная рубрика ВЕ конца 1810-х—начала 1820-х гг. Авторами были чаще всего князь П. И. Шаликов, А. Маздорф, С. Д. Нечаев и пр. «Мысли и замечания» Нечаева — ВЕ, 1819, ч. 104, № 6, с. 148—154, ч. 105, № 12, с. 304—312.

326 *Вот несколько мест из... книги Ездры... в конце 3-й* [...] — Из трех книг пророка Ездры, входящих в состав Ветхого Завета, две — вторая и третья — считаются неканоническими. Третья книга — высокохудожественное произведение, из которого Кюхельбекер сделал обширные выписки. В копии РС запись от 11 декабря обрывается на полуфразе, так как лист № 23 вырезан (остался лишь его корешок с начальными буквами каждой строки, а на обороте листа — с окончаниями строк). Лист № 24 пустой и перечеркнут, что свидетельствует о пропуске в копии. Очевидно, пропущенной оказалась и запись от 12 декабря.

[327] *...томсоно-деммевские... собрания возгласов... называемые... поэмами.* — *Томсон* Джеймс (1700—1748) — английский поэт-сентименталист, создатель жанра описательной поэмы («Времена года», 1730). *Демме* Германн Христиан Готфрид (1760—1822) — немецкий проповедник и писатель нравственно-дидактического направления. Однако здесь очевидная описка переписчика («деммевские» вместо «делилевские»): по смыслу фразы Кюхельбекер скорее должен был назвать имя второго крупнейшего представителя описательной поэзии Жака Делиля (1738—1813), автора описательных поэм «Сады» (1782), «Сельский житель, или Французские Георгики» (1800). Поэмы Делиля в начале XIX в. были очень популярны в России, однако Кюхельбекер, А. С. Пушкин и их друзья относились к ним неодобрительно. О многословии и водянистости описательных поэм Делиля Кюхельбекер писал в 1825 г. в «Мнемозине» («Разговор с Ф. В. Булгариным»). Именно Делилю противопоставлял Кюхельбекер поэмы В. Скотта в письме 1832 г. к племяннице Наталье, называя себя решительным противником описаний и поэзии элегической: «Но должно вместе признаться, что описания Скотта совершенно не то, что встречаешь обыкновенно, встречаешь у Делиля и его последователей; а элегическая часть оживлена такими новыми чувствами, такими истинными и глубокими мыслями, такими открытиями в области сердца человеческого, что едва ли не составляет совершенно особенного рода» (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 411).

[328] *Гете... называет мух... вдохновительницами...* — Образ мух-вдохновительниц — из стихотворения И. В. Гете «Мусагеты» (1798). Мусагет — водитель муз, т. е. Аполлон.

[329] *Моей матери.* — Ранняя редакция стихотворения.

[330] *Главный вопрос Ездры все-таки не разрешен...* — Пророк Ездра спрашивал бога о судьбе народа Израиля, над которым владычествуют другие народы: «Мы же, народ твой, который ты назвал твоим первенцем, единородным, возлюбленным твоим, преданы в руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? И доколе это?» (3-я Ездры, VI, 58—59).

[331] *Конец 9-й и начало 10-й главы примечательны по удивительно смелой просопопее...* — Просопопея (олицетворение) 9-й и 10-й глав Третьей книги Ездры — явление скорбящему в поле пророку некой жены, рыдающей о гибели единственного сына; Ездра уговаривает ее смириться и горевать вместе со всем угнетенным народом; поверившая ему женщина исчезает, и на месте ее исчезновения появляется город (гл. 9, ст. 38—47, гл. 10, ст. 1—27). Ангел Уриил объясняет потрясенному Ездре смысл этой символической картины: женщина — Сион, смерть ее сына — это падение Иерусалима, город — будущее царство божие (гл. 10, ст. 28—60).

[332] *...взялся было за перевод Геллертовых стихов...* — Геллерт Христиан Фюрхтеготт (1715—1769) — немецкий писатель-моралист, автор книг «Лекции о морали», «Духовные оды и песни» (1757) и пр. Кюхельбекер перевел две духовные оды Геллерта: «Блаженство» и «Благость господня» (ср. запись от 22 декабря 1832 г.), опубликованы в «Полн. собр. стихотворений» В. Кюхельбекера (М., 1908, с. 74 и 89).

[333] *Многие осуждают Лафатера, Юнга...* — *Лафатер* И. К. — швейцарский писатель, поэт сентиментально-религиозного направления, автор философского сочинения «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви» (1775—1778). *Юнг* Эдуард (1683—1765) — английский поэт, автор трагедий ужасов и религиозно-дидактических поэм, среди которых наиболее известна «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (1742—1745).

[334] *«Рассуждение» Дюссо* — статья франц. журналиста «Некоторые мысли о науках точных» — ВЕ, 1820, ч. 113, № 20, с. 266—272. *Парадокс* — мысль Дюссо, что точные науки не являются науками, а представляют собрания сведений.

1833

[1] *«Поединок Казановы с Броницким»* — ВЕ, 1822, ч. 124, № 15, с. 199—215, № 16, с. 266—295. Это переведенный с немецкого М. Т. Каченовским отрывок из «Истории моей жизни» Джованни Джакомо Казановы (1725—1798), итальянского писателя,

прожившего бурную жизнь авантюриста и рассказавшего о ней с замечательной откровенностью и наблюдательностью. В 1822 г. на немецком языке начало печататься первое издание его мемуаров. См. также СО, 1832, ч. 86, № 25—26, ч. 87, № 27.

[2] ...*прочел я статью... Перевощикова.* — В 1820-е гг. в ВЕ печатались статьи двух Перевощиковых: Дмитрия Матвеевича (1789—1880), астронома и математика, — «Замечания на статью: „Некоторые мысли о науках точных“» — 1820, ч. 114, № 21, с. 41—53, и Василия Матвеевича (1775—1851), филолога и поэта. Кюхельбекер, повидимому, имеет в виду статью последнего «Материалы для истории российской словесности», отрывки которой печатались в ВЕ 1822 г.: «Св. Димитрий Туптало» — ч. 122, № 5, с. 3—32; «Феофан Прокопович» — ч. 123, № 9 и 10, с. 15—21; «Михаил Васильевич Ломоносов» — ч. 125, № 17, с. 3—20, № 18, с. 81—112.

[3] Запись от 6 января исправлена и печатается по цитате в статье Ю. Н. Тынянова «В. К. Кюхельбекер» — Лит. современник, 1938, № 10, с. 198.

[4] ...*несколько статей о немецкой философии...* — Кюхельбекер имеет в виду философские рассуждения, подписанные псевдонимом «Мемнон»: «Афоризмы из нравственного любомудрия» — ВЕ, 1822, ч. 123, № 11—12, с. 201—232, «Разбор сочинения Сольгера „Эрвин, или Четыре разговора об изящном и искусствах“» — ч. 124, № 13—14, с. 3—23. И. Ф. Масанов в кн. «Словарь псевдонимов» (т. 2, М., 1958) со ссылкой на книгу Н. П. Колюпанова «Биография Александра Ивановича Кошелева» (т. 1, М., 1889, с. 457) раскрывает этот псевдоним как принадлежащий профессору Ивану Ивановичу Давыдову. Кюхельбекер полагает, что их автором является Владимир Федорович Одоевский. Профессор Давыдов был учителем Одоевского, поэтому их взгляды на немецкую философию могли совпадать; однако многочисленные статьи Давыдова в ВЕ обычно появлялись за его полной подписью. Вполне возможно, что Кюхельбекер, вскоре после 1822 г. ставший близким другом и соредактором Одоевского по изданию «Мнемозины», имел основания уверенно приписывать статьи Мемнона Одоевскому, который начал печататься в ВЕ еще будучи воспитанником Университетского благородного пансиона: в ВЕ, 1821, ч. 116, № 7—8, с. 161—169 появилась его первая статья «Разговор о том, как опасно быть тщеславным»; в 1822 г. В. Ф. Одоевский включился в споры о театре, которые велись на страницах ВЕ: его статья о комедии М. Н. Загоскина «Урок холостым, или Наследники» — ч. 123, № 9—10, с. 141—145; № 11—12, с. 302—310.

[5] ...*с Баттё и Эшенбургом...* — *Баттё* Шарль (1713—1780) — французский философ, теоретик классицизма. *Эшенбург* Иоганн (1743—1820) — немецкий филолог.

[6] ...*в разборе Зольгерова «Эрвина».* — Зольгер (Сольгер) Карл Вильгельм Фердинанд (1780—1819) — немецкий филолог, профессор эстетики, автор книги «Ervin. Vier Gespräche über die Schöne und das Kunst» (Berlin, 1815), являющейся основой эстетики романтизма. О разборе этой книги см. примеч. 4.

[7] *В статье Снядецкого против Канта...* — В статье Я. Снядецкого «Прибавление к статье „О философии“» — ВЕ, 1822, ч. 126, № 23, с. 205—236, № 24, с. 301—326. *Замечания Андросова...* — Статья В. Андросова «Замечания на Прибавление к статье о философии» — ВЕ, 1823, ч. 127, № 3—4, с. 171—192, ч. 128, № 6, с. 85—109. Снядецкий отрицательно относится к Канту за «темноту» его учения о трансцендентальном, на основе которого Европу «затопило море романтизма». Однако его суждения о Кантовой философии более эмоциональны, чем логичны: «Ее-то исчадия видим в романтических странностях литературы, в магнетических обманах, в фиглярствах физики и медицины, в космогониях, где сотворение мира изъясняется бредом магнетистов едва ли не в самом сильном жару горячечном» (с. 103).

[8] *Еще продолжение статьи Снядецкого!* — «Общие замечания по предмету науки об уме человеческом и общий взгляд на состав Кантовой науки» — ВЕ, 1823, ч. 127, № 2, с. 83—112. Цитата — со с. 109.

[9] *«Мир поэта»* П. А. Катенина — ВЕ, 1822, ч. 126, № 21, с. 3—12, № 22, с. 89—103. Цитаты — с. 5, 12, 96—97, 102—103. Кюхельбекер сравнивает окончание катенинского произведения с окончанием стихотворения Гете «Евфросина» (1798): «Рвутся струны в груди от печали; слезы ночные Льются обильно, а там брезжит над лесом заря» (пер. С. Соловьева).

[10] *Статья Арцыбашева «Два съезда князей,* или Конец XI столетия в России» (ВЕ, 1823, ч. 129, № 12, с. 241—276) — отрывок из Несторовой летописи, в яркой художественной форме пересказанный историком Николаем Сергеевичем Арцыбашевым (1773—1841).

[11] *Сегюр* д'Агессо Луи-Филипп (1753—1830) — французский историк и дипломат.

[12] *«Изяслав II, или Середина 12-го столетия в России»* — вторая статья Н. С. Арцыбашева, которую с похвалой отмечает Кюхельбекер, — «Изяслав II, великий князь, или Середина XII столетия в России» — ВЕ, 1824, ч. 136, № 14, с. 103—134, № 15, с. 161—186, № 16, с. 241—260; ч. 137, № 17, с. 3—31, № 18, с. 80—109, № 19, с. 161—186, № 20, с. 245—261; ч. 138, № 21, с. 3—26. Кюхельбекер сопоставляет эту статью с «Историей русского народа» Николая Алексеевича Полевого, которая начала печататься в 1829 г.

[13] *«Счастье игроков»* — повесть Э. Т. А. Гофмана «О счастии игроков» — ВЕ, 1823, ч. 130, № 13—14, с. 97—140, пер. с нем. Вас. Полякова.

[14] *Неужто женитьба его совсем переродила...* — В. Ф. Одоевский женился в 1826 г. на Ольге Степановне Ланской (1797—1872).

[15] «*Дни досад.* (Письмо к Лужницкому старцу)» В. Ф. Одоевского — ВЕ, 1823, ч. 129, № 9, с. 34—95, № 11, с. 206—216; ч. 130, № 15, с. 219—226, № 16, с. 299—312; ч. 131, № 17, с. 24—48, № 18, с. 104—125.

[16] *Послание Загоскина «К Людмилу»* — ВЕ, 1823, ч. 128, № 7, с. 204—215.

[17] *«В память береста»* В. В. Капниста — ВЕ, 1823, ч. 132, № 21, с. 34—36.

[18] *«О новейших системах метафизики в Германии»* — статья Ансильона в переводе А. Гусева — ВЕ, 1823, ч. 130, № 13—14, с. 19—64. Ансильон Фридрих (1767—1837) — прусский историк и философ, имя которого было в 1820-е гг. популярно в декабристской среде.

[19] Далее текст записи в копии отсутствует.

[20] *...перебранка... с Вяземским...* — Полемика ВЕ с «Дамским журналом», возникшая по поводу предисловия П. А. Вяземского к поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» (1824). Статьи противников Вяземского («сердитых малюток»): *N* [*М. Дмитриев*]. Второй разговор между Классиком и Издателем «Бахчисарайского фонтана» — ВЕ, 1824, ч. 134, № 5, с. 47—62; *Михаил Дмитриев.* 1) Ответ на статью «О литературных мистификациях» — ВЕ, 1824, № 7, с. 196—211; 2) Возражения на разбор Второго разговора — ВЕ, 1824, № 8, с. 271—301; *Александр Писарев.* Еще разговор между двумя читателями «Вестника Европы» — ВЕ, 1824, ч. 134, № 8, с. 307—313; кроме того, с этой полемикой связаны статьи ВЕ: *Юст Ферулин.* Мое первое и последнее слово — ч. 135, № 10, с. 115—120; Короткий ответ издателю «Дамского журнала» — № 10, с. 144—146; *А. А. А.* Нечто о словах — № 12, с. 283—290. См. также примеч. 6 на с. 758 наст. изд.

[21] *Статья Мальте-Бруна о софистах* — статья датского географа и историка Конрада Мальте-Брюна (1775—1826) «О софистах и об упадке греческой мирской словесности» — ВЕ, 1824, ч. 137, № 19, с. 187—201. ВЕ напечатал несколько статей этого автора: «О преимуществах греческой литературы перед римской» — 1824, ч. 135, № 9, с. 29—37; «Нечто о древних историках» — 1824, ч. 135, № 12, с. 275—283; «О собственности недвижимой и движимой» — 1819, ч. 106, № 16, с. 256—263, и др. К. Мальте-Брюн был популярен в России как автор «Катехизиса аристократов» — сатиры, за которую он был изгнан из Дании (1795).

[22] Далее текст записи в копии РС отсутствует.

[23] *В оде его к Тигелину...* — «Ода к Тигелину» Александра Ивановича Писарева (1803—1828) — ВЕ, 1824, № 1, с. 3—8.

[24] *Джефферсон утверждает даже...* — См. примеч. 170 к записям 1832 г.

[25] *Перелагаю притчу Димитрия Ростовского...* — Димитрий Ростовский — митрополит Ростовский, церковный писатель и проповедник (1651—1709), до принятия монашества — Даниил Саввич Туптало. В своих проповедях и притчах выступал защитником бедных, обличал невежество священников, корыстолюбие и гордость вельмож. Кюхельбекер перелагает притчу Димитрия Ростовского «Нищий».

[26] ...*извлечение из сочинения Катрмера де Кенси...* — «О жизни и творениях Рафаэля» — ВЕ, 1824, № 17, с. 32—40. Катрмер-де-Кенси Антуан Кризостом (1755—1849), французский писатель и искусствовед.

[27] *Нападки М. Дмитриева и его клевретов на «Горе от ума»...* — Полемика в связи с напечатанием в альманахе «Русская Талия» отрывка из комедии Грибоедова: *М. Дмитриев.* Замечания на суждения «Телеграфа» — ВЕ, 1825, № 6, с. 109—123 (возражения Н. А. Полевому, восторженно отозвавшемуся о комедии в МТ, 1825, ч. 1, № 2, с. 3); *Пилад Белугин* [*А. И. Писарев*]. Несколько слов о мыслях одного критика и о комедии «Горе от ума» — ВЕ, 1825, № 10, с. 108—121 (ответ на статью Ореста Сомова в СО, 1825, ч. 51, № 10); *Пилад Белугин.* Против замечаний неизвестного У. У. на суждения о комедии «Горе от ума» — ВЕ, 1825, ч. 144, № 23—24, с. 108—124 (возражения на статью В. Ф. Одоевского «Замечания на суждения Мих. Дмитриева о комедии „Горе от ума“» — МТ, 1825, ч. 3, № 10, приложение).

[28] *«Унижение Киева и мятежи в Великом княжестве Владимирском»* — статья Н. С. Арцыбашева — ВЕ, 1825, ч. 142, № 14, с. 82—108, № 15—16, с. 161—231; ч. 143, № 17, с. 3—22. О смерти суздальского князя Андрея Боголюбского (1174) — № 15—16, с. 203. Ночью около двадцати человек, перебив стражу, подошли к спальне князя, обманом проникли в нее и зарубили его мечами и саблями. После этого убийцы ушли, думая, что князь мертв; но израненный Андрей пошел за ними, и убийцы услышали, как он в бреду говорит. Тогда они нашли его по кровавым следам, отрубили правую руку, пронзили сердце и тем довершили начатое.

[29] *Черевин* Павел Дмитриевич (1802—1824) — историк, член Союза благоденствия и Северного общества; учился в Московском университете, был офицером в Семеновском полку и свите Александра I. Его статьи — «О суде присяжных», «О состоянии римлян при Антонинах» и др. — печатались в ВЕ. Там же (ч. 136, № 14) опубликован его некролог.

[30] *«О преподавании истории детям»* П. Д. Черевина — ВЕ, 1825, ч. 139, № 2, с. 117—129; Кюхельбекер цитирует с. 125.

[31] *Племяннику Д. Г. Глинке.* — Ранняя редакция стихотворения. Кюхельбекер посылает племяннику Дмитрию притчу «Нищий».

[32] ...*Павлова заставил читать сельское хозяйство...* — Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840) — философ, один из последователей и пропагандистов Шеллинга, доктор медицины, профессор Московского университета. В «Мнемозине» была помещена статья Павлова «О способах исследования природы» (1825, ч. 4, с. 1—34). Запись в дневнике сделана в связи с чтением Кюхельбекером статьи Павлова «Возможность и польза науки сельского хозяйства (из лекций профессора Павлова)» — ВЕ, 1825, ч. 143, № 20, с. 258—267.

[33] *Ода «Труд»* А. Ф. Мерзлякова — ВЕ, 1825, ч. 141, № 12, с. 241—254.

[34] *Долгорукая* (Долгорукова) Варвара Сергеевна (урожд. кн. Гагарина, 1793—1833) — покровительница младшей сестры Кюхельбекера, Юлии; в начале 1830-х гг. Юлия была воспитательницей дочерей княгини Долгорукой и делилась с братом своими планами воспитания княжон; 10 августа 1831 г. он отвечал ей: «То, что ты мне пишешь о своих ученицах, меня очень заинтересовало; обнимаю тебя за твое желание обучить их родному языку. Ты глубоко права, что стыдно княжнам Долгоруким не говорить на своем языке!» — и советовал читать с ученицами стихи Жуковского, избранные стихи Пушкина, Батюшкова, Баратынского, Дельвига «и наших поэтов из альманахов», Крылова и сцены из «Горя от ума» (ЛН, т. 59, М., 1954, с. 410).

[35] *«Восторг, дух божий»* — ВЕ, 1826, ч. 145, № 2, с. 81—84. Подпись — А. П. Возможно, однако, что стихотворение принадлежит не Писареву, а Александру Ивановичу Полежаеву, который с 1826 г. начал печатать в ВЕ свои первые произведения.

[36] ...*спор Гофмана и Марселюса о Петрарке.* — «Спор литераторов о стихотворениях Петрарки» — ВЕ, 1826, ч. 148, № 16, с. 241—259; ч. 149, № 17, с. 3—12. Мар-

селлюс Мари-Лодуа-Жан-Андре (1795—1865) — французский эллинист и дипломат.

[37] *«Некоторые доводы против материалистов»* — ВЕ, 1826, ч. 146, № 8, с. 241—260. Статья подписана: С. Б. Сокращенная цитата — со с. 249.

[38] *Повесть, переведенная с арабского,* — *«Юноша, верный своему слову»* — ВЕ, 1826, № 18, с. 134—141. *...анекдот о Дамоне и Пифиасе* (точнее — Финтиасе), двух верных друзьях из Сиракуз, содержится в сочинениях Аристоксена, Цицерона и других историков. Приговоренный к смерти Финтиас отпросился домой для устройства дел и оставил заложником своего друга Дамона. По непредвиденным обстоятельствам Финтиас задержался, Дамон уже был отведен на место казни, но в это время прибежал запыхавшийся Финтиас. Правитель Дионисий II простил его из уважения к столь верной дружбе и попросил разрешения быть третьим другом в этом союзе, на что согласия не получил.

[39] *Другая, переведенная с арабского...* — Повесть в переводе Н. Коноплева «Приключения одного невольника» — ВЕ, 1826, № 19—20, с. 256—272. *Ахмед-бен-Арабша* (Ибн-Арабшах, 1392—1450) — арабский прозаик, автор «Истории Тимура». *Джонс* Вильям (1746—1794) — английский ориенталист, индолог. Арабские повести в ВЕ были взяты из хрестоматии, изданной в 1823 г. профессором Фрейтагом. Кюхельбекер цитирует подстрочные примечания переводчика.

[40] *«Мечтатель»,* повесть, переведенная с арабского — ВЕ, 1826, ч. 149, № 17, с. 69—70. *Бидпаевы басни* — собрание восточных басен и рассказов, приписываемое собирателю Бидпаю (IV—V вв. н. э.). *Альнаскар* — герой сказки французского поэта Бартелеми Эмбера «Альнаскар». *Лафонтенова Молочница* — героиня басни Лафонтена «Молочница и кувшин молока». *Панкратий* Платонович *Сумароков* (1765—1814) — поэт, баснописец, издатель и переводчик. Кюхельбекер имеет в виду его басню «Альнаскар», а также сказку в стихах Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837) «Воздушные замки».

[41] *На смерть княгини Варвары Сергеевны Долгорукой.* — Текст стихотворения, частично отсутствующий в копии PC, восстановлен по автографам первой половины 1830-х гг.

[42] *Эту самую мысль... нашел я в Ансильоновом рассуждении «О беспристрастии историческом».* — «Размышления о беспристрастии историческом» Ф. Ансильона в переводе В. Млце... (В. М. Мальцева?) — ВЕ, 1826, ч. 146, № 5, с. 3—31. *«Номенклаторы, именующие себя философами...»* — сокращенный пересказ цитаты со с. 18—19. *«Выспренность ума состоит в том...»* — цитата со с. 16.

[43] *...познакомлюсь с тремя лучшими, может быть, немецкими проповедниками: Дрезеке, Чирнером и Рейнгардом.* — *О Дрезеке* и *Чирнере* Кюхельбекер говорил в записях от 29 февраля, 1 марта и т. д. 1832 г., когда впервые познакомился с проповедями Чирнера (см. примеч. 63, 65 к записям 1832 г.). Дрезеке он читал, по-видимому, в 1831 г., — отзывы о нем были в несохранившейся начальной части дневника. *Рейнгард* Франц Фолькмар (1763—1812) — протестантский богослов и проповедник, профессор в Виттенберге.

[44] *В письме Макарова к Воздвиженскому...* — Письмо М. Н. Макарова (1785—1847) «Почтенному рязанскому археологу Д. Т. Воздвиженскому» — ВЕ, 1827, ч. 155, № 17, с. 3—21. Сюжет об опричнике Ивана Грозного Кудеяре лег в основу баллады В. К. Кюхельбекера «Кудеяр».

[45] *...прекрасную статью Пукевиля...* — Статья французского путешественника и литератора Франсуа-Шарля Пукевиля (1770—1838) «Обычаи, поверья и предрассудки нынешних греков» — ВЕ, 1827, ч. 152, № 5, с. 51—68, № 8, с. 290—298; ч. 153, № 9, с. 60—65.

[46] *...статейка... Каченовского...* — «О старинных названиях в России денег металлических в смысле ходячей монеты» М. Т. Каченовского — ВЕ, 1827, ч. 154, № 14, с. 122—125, № 15, с. 200—210, № 16, с. 273—275; ч. 155, № 18, с. 108—117, № 20, с. 272—280; ч. 156, № 21, с. 36—42, № 22, с. 117—129, № 24, с. 247—264.

[47] *Статья Среднего-Камашева «Взгляд на историю как науку»...* — ВЕ, 1827, ч. 151, № 4, с. 241—256; ч. 155, № 19, с. 193—217, № 20, с. 257—272; ч. 156, № 21,

с. 3—19, № 22, с. 81—101. Средний-Камашев Иван Николаевич — русский ученый, историк.

[48] *Розенмюллер* Иоганн Георг (1736—1815) — немецкий протестантский богослов и проповедник.

[49] Запись от 19 марта 1833 г. восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «В. К. Кюхельбекер» — Лит. современник, 1938, № 10, с. 211 и комментариям в кн.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 2. Л., 1939, с. 481.

[50] *...переведенную Огинским из Гиллисовой «Истории» главу...* — Гиллис Джон (1747—1837) — английский филолог и историк, автор «Истории Греции» в 5-ти т. (1786). Главы из нее — ВЕ, 1827, ч. 155, № 18, с. 81—100, № 19, с. 161—184, № 20, с. 241—257.

[51] *...комедию Шаховского «Аристофан».* — Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — древнегреческий драматург; посвященная ему комедия А. А. Шаховского «Аристофан» написана и поставлена в 1825 г.

[52] *Хочется мне... облечь в драматическую форму торжество и смерть Архилоха.* — Архилох — древнегреческий поэт второй половины VII в. до н. э. Время начала работы Кюхельбекера над драмой «Архилох» неизвестно. Закончена она не была. В последние годы жизни, начиная с 29 марта 1845 г., поэт будет по памяти восстанавливать утраченный текст, записывая и диктуя его в дневник.

[53] *Стихи «Любовь».* — Ранняя редакция стихотворения; под № 12 вписано в тетрадь «Духовные стихотворения», цикл В — «Подражания и переложения других мест священного Писания».

[54] *...вытвердил я начало 13-й главы 1-го Послания к коринфянам, а ныне 2-ю главу Иисуса, сына Сирахова.* — В гл. 13 апостол Павел утверждает великую силу любви, которая выше, чем дар пророчества, познание, вера и пр. Любовь помогает быть долготерпеливым, милосердым, не завидовать, не превозноситься, не гордиться, не бесчинствовать. Вторая глава Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова — завет отца сыну: все, что ни приключится с ним, принимать охотно и в превратностях унижения быть долготерпеливым, потому что золото испытывается в огне, а люди, угодные богу, — в горниле уничижения. «Горе вам, потерявшие терпение! что будете вы делать, когда господь посетит?» — подобные фразы Иисуса узник Кюхельбекер явно приноравливал к своей судьбе.

[55] *...14-ти первым стихам 37-й главы никогда не перестану удивляться...* — Начало 37-й главы Книги пророка Иезекииля — рассказ о чуде оживления богом сухих человеческих костей, что было символом судьбы дома Израилева после наказания за грехи. Кюхельбекер сопоставляет эту сцену со сценой из 5-го действия драмы Шиллера «Разбойники».

[56] *О Шпикеровой (Spiker) книге «Andachtsbuch»...* — Шпикер Христиан Вильгельм (1780—1858) — немецкий поэт и духовный писатель. Кюхельбекер читал его книгу «Andachtsbuch für die gebildete Christen» («Книга молитв для образованного христианина»).

[57] *Одынец* Эдвард Антон (1804—1885) — польский поэт и переводчик, друг Мицкевича. С творчеством Одынца Кюхельбекер познакомился в 1829—1830 гг. в Динабургской крепости.

[58] *...получил я 3-й том Далиновой «Шведской истории».* — О Далине и его «Истории Шведского государства» см. примеч. 98 к записям 1832 г. 3-й том — точнее, ч. 3, т. 1, кн. 1 и 2 и т. 2, кн. 1, 2 и 3 — СПб., 1807.

[59] *...семена несчастной болезни, свирепствовавшей в России с лишком два года!* — Эпидемия холеры, которой была охвачена Россия в 1831—1832 гг.

[60] *...при короле Биргере...* — О короле Биргере О. Далин рассказывает в ч. 3, т. I, кн. I «Истории Шведского государства».

[61] *...как вдовицу сарептскую...* — О бедной вдове сарептской, которой бог послал неиссякаемые и не кончающиеся масло в кувшине и муку в кадке за то, что она поделилась последним с пророком Илией, рассказывается в Третьей книге Царств, гл. 17, ст. 10—16.

[62] *Маргарита* (1353—1412) — дочь датского и жена норвежского короля, после смерти мужа правила Норвегией в качестве регентши при малолетнем сыне Олафе, умершем в 1387 г. в возрасте 17 лет. После его смерти Маргарита стала короле-

вой Дании и Норвегии, а в 1398 г., после победы над шведским королем Альбрехтом и подписания Кальмарского договора, — и королевой Швеции. О ней рассказывает О. Далин в ч. 3, т. 1, кн. 1 «Истории Шведского государства».

[63] *Густав Ваза* — Густав I (1496—1560), шведский король-реформатор, основатель шведской королевской династии (1523). О нем рассказывает О. Далин в ч. 3, т. 2, кн. I, гл. 2—8 «Истории Шведского государства».

[64] *...уезжает... младшая сестра моя в Италию с графинею Полье.* — Юлия Карловна Кюхельбекер в июне 1833 г. отправилась в заграничное путешествие в качестве компаньонки графини Варвары Петровны Полье, княгини ди Бутера, урожд. кн. Шаховской (1796—1870). Путешествие продолжалось до октября 1834 г.; дамы посетили Италию, Сицилию, остров Мальту и пр. 19 октября 1834 г. Кюхельбекер в письме к племяннице Наталье выражал радость по поводу достойного положения сестры: «Признаться, и мне отрадно, что сестра теперь не в тех отношениях, в каких была в долгоруковском доме. Как бы то ни было, а быть воспитательницею, надзирательницею — тяжкое бремя» (Декабристы и их время. М., 1951, с. 49).

[65] *Вот предмет для баллады...* — Эпизод из «Истории Шведского государства» О. Далина, ч. 3, т. 2, кн. I, гл. 16, с. 398.

[66] *Тихон Браге* — шведский дворянин XVI столетия; эпизод из ч. 3, т. 2, кн. 3 «Истории Шведского государства» О. Далина.

[67] *Поутру плачет человек, А в вечер в радости смеется.* — Возможно, Кюхельбекер цитирует по памяти двустишье Ф. Н. Глинки «Из шелку и мочал шнур нашей жизни вьется; Кто плакал поутру, тот к вечеру смеется», написанное им во время заключения в Петропавловской крепости (1826).

[68] *...четыре повести Пушкина...* — Из книги «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», изданные А. П. СПб., 1831.

[69] *...постараюсь вообразить, что все бывшее со мною с 23-го мая было только тяжелым сном...* — Записи с 21 по 26 и с 28 по 30 мая в дневнике отсутствуют. Повидимому, речь идет о каких-то репрессиях или ужесточениях тюремного режима, которым периодически подвергался Кюхельбекер.

[70] *«Письма из Москвы в Нижний Новгород»* Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола (1765—1851) печатались в СО, 1813, ч. 8, № 35, 36; ч. 9, № 39, 44. 45; ч. 10, № 46, 48, 49; 1814, ч. 11, № 2, 3; ч. 12, № 7; ч. 16, № 34; ч. 17, № 39, 40; 1815, ч. 19, № 6. *Несчастные сыновья* — декабристы Матвей (1793—1886), один из основателей тайных обществ, осужденный по 1-му разряду на двадцать лет каторги, Сергей (1796—1826), казненный 13 июля 1826 г., и Ипполит (1806—1826), погибший при восстании Черниговского полка.

[71] *...двух, трех басен Крылова...* — В СО 1812 г. были напечатаны басни И. А. Крылова «Волк на псарне», «Ворона», в 1814 г. — «Бумажный змей и мотылек».

[72] «*Друг честных людей*, или Стародум» Д. И. Фонвизина — СО, 1814, ч. 17, № 42, с. 129—140, № 43, с. 177—183.

[73] *...перевод приятеля моего Д. Попова «Плача Мосха над Бионом»...* — «Надгробная песнь Мосха на смерть Биона» — СО, 1814, ч. 17, № 43, с. 189—195. Попов Дмитрий Прокофьевич (1790—1864) — филолог, переводчик, профессор по кафедре древних языков Петербургского университета. Кюхельбекер цитирует с некоторыми неточностями с. 191 и 194.

[74] *Из книг, о которых говорит Греч, не худо припомнить «Обозрение книги Псалмов...»* ... — О сочинении студента СПб. духовной академии Герасима Павского «Обозрение книги Псалмов» говорится в статье Н. И. Греча «Обозрение русской литературы 1814 г.» — СО, 1815, ч. 19, № 3, с. 90—91.

[75] *«Басни» Ал. Агафи.* — Разбор книги «Басни Александра Агафи» (Астрахань, 1814), сделанный Николаем Сушковым, — СО, 1814, ч. 17, № 43, с. 184—189.

[76] *Свиньин врет и чести не знает.* — Свиньин Павел Петрович (1787—1839) — писатель, историк, журналист. В 1814 г. в СО печатались его статьи «Переезд мой из Франции в Англию», о путешествии в Америку: «Наблюдения русского в Америке», «Взгляд на республику Соединенных Американских областей». Репутация лжеца установилась за Свиньиным еще в 1820-е гг. (см. басню А. Е. Измайлова

«Лжец»). Однако в данном случае Кюхельбекер неправ: передвижение под водой в колоколе, одетом на голову и сохраняющем запас воздуха, было в принципе возможным.

[77] *...статью Батюшкова о Муравьеве...* — Статья К. Н. Батюшкова «Письма к И. М. М[уравьеву]-А[постолу] о сочинениях г. Муравьева, изданных по его кончине. Москва, 1810» — СО, 1814, ч. 16, № 35, с. 87—116. Кюхельбекер цитирует стихотворение Михаила Никитича Муравьева (1757—1807) «К Музе» — с. 115.

[78] *...Томсонова поэма* — «Времена года» Джеймса Томсона, написанная в 1726—1730 гг.

[79] *Как не вспомнить сегодня моих любезных именинников, П. П. М. и П. П. К.? — П. П. М.* — вероятно, Петр Петрович (?) Манасеин, поэт и переводчик, приятель Кюхельбекера по Динабургу; *П. П. К.* — либо общий приятель Кюхельбекера, Пушкина и Грибоедова, Петр Павлович Каверин, офицер, член Союза благоденствия, либо Петр Петрович Коновницын, товарищ Кюхельбекера по Северному обществу. Зашифрованность имен в дневнике чаще всего означала, что речь идет о декабристах.

[80] *«Наташа»* П. А. Катенина — СО, 1815, ч. 21, № 13, с. 16—18. *Подражание Гетеву «Der Sänger»* — баллада «Певец» Катенина — там же, № 16, с. 138—140.

[81] *Мысль Каразина...* — Мысль В. Н. Каразина из статьи «Филотехническому обществу правителя его дел Каразина отчет о происходившем после Успенского съезда прошлого 1814 года» — СО, 1815, ч. 20, № 11, с. 177—198, № 12, с. 225—241.

[82] *...статья, которая может сравниться с хорошими статьями «Вестника Европы».* — «О начале, успехах и падении мифологического мира и богослужения древних греков» Якова де Санглена — СО, 1815, ч. 20, № 7, с. 3—16, № 8, с. 49—64, № 9, с. 119—125.

[83] *Баллады* П. А. *Катенина* — в СО 1815 г.: «Убийца» — ч. 22, № 23, с. 143—146, «Леший» — ч. 26, № 47, с. 57—60.

[84] *...извлечение из Рикордовой книги...* — Отрывки из книги П. И. Рикорда «Освобождение капитана Головнина из японского плена» — СО, 1815, ч. 20, № 10, с. 137—154, № 11, с. 199—206, № 12, с. 242—252; ч. 22, № 21, с. 42—56; ч. 24, № 35, с. 79—90, № 37, с. 159—175, № 38, с. 199—209; ч. 25, № 39, с. 3—17, № 40, с. 43—52. О Рикорде см. примеч. № 132 к записям 1832 г.

[85] *Добель* Петр Васильевич (ум. 1855) — путешественник, его «Отрывки из записок путешественника по Камчатке» — СО, 1815, ч. 22, № 22, с. 83—94, № 25—26, с. 204—214, «О Петропавловском порте» — там же, ч. 26, № 47, с. 53—56; «Отрывки из записок путешественника по Сибири» — там же, ч. 25, № 45, с. 243—251.

[86] *‹13 июля›.* — При публикации дневника в РС было сделано следующее примечание: «13 июля в подлиннике вырвано, осталось 4 или 5 строк, которые трудно разобрать. На обороте этой страницы скрепа тетради комендантом, инженер-генерал-майором Гобенет (?)».

[87] *Племянницам в день рождения их матери.* — В копии РС записано в редакции, отличающейся от поздних автографов лишь незначительными разночтениями.

[88] Цитата из стихотворения П. А. Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой» (1822). *Шатров* Николай Михайлович (1767—1841) — поэт.

[89] *«Песнь дружбы»* — «Песнь дружбы на кончину Н. П. Николева» Н. М. Шатрова — СО, 1816, ч. 28, № 12, с. 213—214, где стихотворение следует за статьей Стефана Маслова «Краткая биография Николая Петровича Николева» (с. 197—212).

[90] *Стоял на горе я, на самой вершине...* — Запись стихотворения «Луч из-за облак», под № 18 вписано в тетрадь «Духовные стихотворения», цикл С — «Переводы и подражания».

[91] *Статья Батюшкова* — «Нечто о морали, основанной на философии и религии» — СО, 1816, ч. 28, № 9, с. 81—105. *Приговор Жан-Жаку* — с. 96—99.

[92] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Безверие» (1817).

[93] *О разборе Катенина «Ольги»...* — Баллада П. А. Катенина «Ольга» (вольный перевод «Леноры» Бюргера) была напечатана в СО, 1816, ч. 30, № 24, с. 186—192.

Разбор этой баллады Н. И. Гнедича за подписью «*** СПб. губернии деревня Тентелевка» — СО, 1816, ч. 31, № 27, с. 3—22. Ответ А. С. Грибоедова Гнедичу, содержащий полемически заостренную защиту творческих принципов Катенина, — «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора» — там же, № 30, с. 150—160.

[94] ...*описание острова Таны...* — «Остров Тана (из записок В. М. Головнина)» — СО, 1816, ч. 31, № 31, с. 177—201, № 32, с. 217—233; ч. 32, № 33, с. 3—32, № 34, с. 41—56, № 35, с. 84—102.

[95] ...*выписки из «Путевых записок» г-жи фон дер Реке.* — Отрывки из «новой немецкой книги» «Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und Italiens in der Jahren 1804—1806» — СО, 1816, ч. 31, № 32, с. 233—242; ч. 32, № 33, с. 23—27, № 35, с. 102—106. С немецкой писательницей фон дер Реке, урожд. фон Медем, знакомой семьи Кюхельбекеров, поэт встретился в Дрездене во время заграничного путешествия; в ее доме он познакомился с Л. Тиком (см. наст. изд., с. 13).

[96] ...*«Петра Великого» Шихматова...* — Поэма С. А. Ширинского-Шихматова «Петр Великий» вышла в 1810 г. *Никольский* (*сын*) — Павел Александрович (1790—1816), журналист, критик; отзыв о поэме Шихматова см. в его статье «Об оде» — СО, 1815, ч. 22, № 23, с. 123—142.

[97] *Наконец нашел я и русскую проповедь...* — «Слово на священнейший день венчания и миропомазания их императорских величеств, благочестивейшего государя императора Александра Павловича и супруги его, благочестивейшей государыни императрицы Елизаветы Алексеевны, проповеданное в Ярославском кафедральном соборе ректором Ярославской семинарии, архимандритом Феофаном 15 сентября 1815 г.» — СО, 1816, ч. 32, № 38, с. 211—231. Цитаты — с. 214, 215, 217.

[98] ...*баллады, коею теперь занимаюсь...* — Баллада «Кудеяр», которую Кюхельбекер писал с 26 июля по 17 августа 1833 г.

[99] *Письма Греча к Измайлову* — «Письма издателя „Сына отечества" к редактору», т. е. к А. Е. Измайлову, о путешествии Н. И. Греча по Балтийскому морю и пр. — СО, 1817, ч. 39, № 28, с. 41—62, № 29, с. 81—87, № 32, с. 201—219; ч. 40, № 34, с. 49—58; ч. 41, № 42, с. 121—150.

[100] *О спорах же Загоскина и Измайлова...* — О полемике по поводу пьесы М. Н. Загоскина «Г-н Богатонов, или Провинциал в столице», оцененной положительно в «Сев. наблюдателе» Ювеналом Беневольским, т. е. самим Загоскиным, и отрицательно — Ювеналом Прямосудовым, т. е. А. Е. Измайловым, в статье «Письмо издателям „Сына отечества" о „Богатонове, или Провинциал в столице"» — СО, 1817, ч. 39, № 29, с. 88—102. Полемика с «Сев. наблюдателем» и его издателем Загоскиным содержалась и в других статьях Измайлова в СО 1817—1820 гг.

[101] Насмешливые стихи А. С. Грибоедова о полемике Загоскина и Измайлова — из памфлета «Лубочный театр» (1817), вызваны отрицательным отзывом Загоскина о комедии Грибоедова «Молодые супруги» (Сев. наблюдатель, 1817, № 15, с. 54—56).

[102] *«Юрий Милославский,* или Русские в 1612 году» — роман М. Н. Загоскина 1829 г., с которым Кюхельбекер познакомился, по-видимому, в Динабурге.

[103] Речь Златоуста — «Речь святого Иоанна Златоуста о несчастии Евтропия...», переведенная с греческого Толмачевым, — СО, 1817, ч. 36, № 12, с. 200—215. Иоанн *Златоуст* (347—407) — греческий духовный писатель и проповедник. *Евтропий* — в Греции министр императора Аркадия (395—407), временщик, осужденный на смерть. Архиепископ Иоанн Златоуст отказал ему в праве убежища в церкви, произнеся при этом «Слово» о суете земного величия. *Толмачев* Яков Васильевич — профессор российской словесности СПб. университета и Главного педагогического института.

[104] ...*речь... пастора Рейнбота* (*отца*)... — Рейнбот Томас Фридрих (1750—1813) — немецкий духовный писатель и проповедник, генерал-суперинтендант лютеранских церквей; его «Речь о просвещении» — СО, 1817, ч. 39, № 30, с. 121—141, № 31, с. 161—179.

[105] *Свиньина описание Царского Села...* — Статья «Царское Село» П. П. Свиньина — СО, 1817, ч. 40, № 33, с. 3—22, № 34, с. 41—43.

[106] *Лучшая из... пиэс моих...* — В СО были опубликованы в 1817 г. восемь стихотворений Кюхельбекера: «Моим Сарско-Сельским друзьям» (ч. 39, № 27, с. 26), «И. П. Шульгину» (ч. 39, № 31, с. 183), «К Матюшкину» (ч. 39, № 32, с. 228—229), «Адрастея» (ч. 40, № 37, с. 187—188), «Элегия к Дельвигу» (ч. 41, № 41, с. 105—106), «Дифирамб к Дельвигу» (ч. 41, № 42, с. 152), «Мой Сократизм» (ч. 41, № 45, с. 278—279), «Отчизна» (ч. 42, № 49, с. 161—162). *Переправки* Кюхельбекера утрачены не были, стихотворение «К Матюшкину» в издании 1939 г. было опубликовано в позднем варианте. См. об этом в кн.: *Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. Л., 1967, с. 610—611, оба варианта текста — с. 80 и 569.

[107] *...несколько явлений из комедии «Своя семья», написанных Грибоедовым...* — СО, 1817, ч. 42, № 48, с. 105—117. Комедия «Своя семья, или Замужняя невеста» — коллективное сочинение, основная часть которого написана А. А. Шаховским и Н. И. Хмельницким.

[108] *Олин* Валериан Николаевич (1788—1840) — поэт, переводчик, журналист. Стихи Олина в 1816—1817 гг. часто печатались в СО («Элегия на смерть Державина», «Цевница Эрота», «К Филону», «Отрывки из эпической поэмы Оссиана под названием „Сражение при Лоре“» и пр.). «*Ночь в Аркадии*» Олина — СО, 1817, ч. 42, № 51, с. 240—241.

[109] *...упомяну я об элегии Туманского...* — Элегия Василия Ивановича Туманского (1800—1860) «Поле Бородинского сражения» (подражание Тидге) — СО, 1817, ч. 42, № 50, с. 197—202.

[110] *Технологические статьи Каразина... очень занимательны.* — В. Н. Каразин (см. о нем примеч. 277 к записям 1832 г.) выступал в 1810-е гг. с многочисленными статьями по естественным наукам. В СО за 1817 г. были напечатаны его статьи: «Издателю „Сына отечества“ от правителя дел Филотехнического общества» — ч. 42, № 51, с. 215—227; «Записка ординарного члена имп. Московского общества естествоиспытателей г. В. Н. Каразина» — ч. 42, № 52, с. 265—273, и др.

[111] «*Бедность и Труд*» Ф. Н. Глинки — СО, 1818, ч. 43, № 3, с. 110—116. «*Овсяный кисель*» Жуковского написан в 1816 г., опубликован в сб. «Для немногих» (1818, № 2, с. 2—17), в «Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете» (ч. X, М., 1818, кн. 16, с. 64—70) и в СО (1818, ч. 44, № 11, с. 190—194). *...Жуковский перевел несколько Гетевых оттав...* — Гетевы октавы в переводе В. А. Жуковского — по-видимому, стихотворение 1816 г. «Весеннее чувство». «*Осеннее чувство*» Глинки — СО, 1817, ч. 41, № 42, с. 151. *...у Глинки... поспело послание к Пушкину...* — «Пушкину» — СО, 1820, ч. 40, № 38, с. 231.

[112] *...восхитил меня князь... Шаликов... ахинеею... касательно истории Карамзина.* — Извещение П. И. Шаликова «Новость» об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина — СО, 1818, ч. 44, № 10, с. 157—159.

[113] *...«Известия»... фельдмаршала Миниха о Ладожском канале...* — СО, 1818, ч. 43, № 4, с. 129—145. Миних Бурхард Кристоф (1683—1767) — генерал-фельдмаршал, государственный деятель петровской поры, приехавший в Россию в 1720 г. Воспоминания о строительстве канала относятся к 1723 г.

[114] *...мысль о сооружении памятника Минину и Пожарскому...* — В статье С. Д. «Письмо к издателю» (СО, 1818, ч. 43, № 3, с. 125—128) говорится о том, что чтение книги Гавриила Васильевича Геракова (1776—1838) «Твердость духа некоторых россиян» воспламенило скульптора Мартоса, и он в 1803 г. сделал модель памятника Минину и Пожарскому.

[115] «*Осада и взятие Казани*» Н. М. Карамзина — СО, 1818, ч. 43, № 6, с. 227—251; ч. 44, №. 7, с. 3—22, № 8, с. 43—58. *...В поэме Хераскова.* — В поэме «Россиада» М. М. Хераскова 1779 г.

[116] *...объявление о Семяниковой...* — О бедствиях вдовы Семяниковой и о помощи ей — СО, 1818, ч. 45, № 14, с. 80, № 15, с. 120—121.

[117] *...несколько бранчивых критик на театральные произведения Шаховского, Катенина и Хмельницкого...* — В СО 1818 г. развернулась полемика после того,

как критик Z, явно симпатизировавший этой группе театральных авторов, напечатал в журнале две статьи: «„Своя семья, или Замужняя невеста“, комедия в 3-х действиях в стихах. Соч. кн. А. А. Шаховского...» — 1818, ч. 43, № 5, с. 213—217 и «Воздушные замки» [Хмельницкого] — 1818, ч. 47, № 35, с. 132—141. Этим же пьесам были посвящены статьи NN (ч. 43, № 5, с. 218—223) и «-ъ» (по-видимому, В. И. Соца — см. об этом в кн.: *Королева Н. В.* Декабристы и театр. Л., 1975, с. 160—164).

«-ъ» оценивал «Воздушные замки» в целом благожелательно, но со многими оговорками и недоумениями (ч. 47, № 36, с. 183). Отрицательно оценил «-ъ» комедию Шаховского «Не любо не слушай, а лгать не мешай» (ч. 49, № 39, с. 37—40). Д. Барков, сторонник драматургии Шаховского, Катенина и Хмельницкого, отвечал ему статьей «Письмо к издателю», т. е. к А. Е. Измайлову (ч. 49, № 43, с. 229—235). «-ъ» возразил крайне резкой статьей «Ответ любителю театра» — ч. 49, № 44, с. 273—274. В 1819 г. полемику с литературной партией Катенина продолжил А. Бестужев статьями «Эсфирь, трагедия из Священного писания в 3 д. в стихах, соч. Расина, перевод с французского. СПб., 1816» — СО, 1819, ч. 51, № 3, с. 107—124 и «„Липецкие воды, или Урок кокеткам“. Комедия в 5 д. в стихах. 1815» — там же, № 6, с. 252—273. Смысл этой полемики — в протесте литераторов охранительно-реакционного лагеря, с одной стороны, и декабристов-романтиков — с другой, против нововведений драматургов «неоклассицистов», стремившихся соединить в драме достижения современного разговорного языка со средствами выражения «высокого стиля». Для передачи библейского сюжета в трагедии «Эсфирь», в частности, Катенин считал обязательным язык, насыщенный оборотами и лексикой церковнославянского языка. Единомышленниками Катенина в 1810—1820-е гг. были не только Шаховской и Хмельницкий, но и Кюхельбекер, Грибоедов, критики Д. Н. Барков и Н. И. Бахтин, актеры В. А. Каратыгин и А. М. Колосова и другие литераторы и актеры.

[118] *Гораздо дельнее... Цертелева статья...* — Статья Н. А. Цертелева, поэта, собирателя украинского фольклора, члена Вольного общества любителей российской словесности, «О подражательной гармонии слова. (Письмо к О. М. С‹омо›ву)» — СО, 1818, ч. 48, № 37, с. 210—222.

[119] *...три мои пиэсы...* — Стихотворения: «К самому себе» — СО, 1818, ч. 49, № 43, с. 225—226; «К Пушкину и Дельвигу (из Царского Села)» — СО, 1818, ч. 47, № 35, с. 129—130; прозаическое сочинение «Письмо лицейского ветерана к лицейскому ветерану» — СО, 1818, ч. 49, № 44, с. 332—334.

[120] *Замечания Цертелева* — «Замечания на вторую часть „Опыта г. Востокова о русском стихосложении“» — СО, 1818, ч. 49, № 44, с. 241—256. Цитата — со с. 248. Запись Кюхельбекера свидетельствует о том, что, несмотря на обилие насмешек над Цертелевым-поэтом (Пушкина, Баратынского, Вяземского и пр.), как теоретик стихосложения и знаток народной поэзии он пользовался уважением. В СО конца 1810-х—начала 1820-х гг. печатались статьи Цертелева «О старинных малороссийских песнях» (1818, ч. 45, № 16), «Взгляд на старинные русские сказки и песни» (1820, с. 59, 60) и пр. В 1820 г. вышли книги Цертелева «Опыт общих правил стихотворства», «О произведениях древней русской поэзии», «Взгляд на русские сказки и песни и Повесть в духе старинных русских стихотворений». Две последние книги имелись в библиотеке Пушкина; в 1822 г. Пушкин просил брата выслать ему в Кишинев «Цертелева „Древние стихотворения“».

[121] *Не дурна... статья...* — Статья «Некоторые мысли о необходимости могущественной внешней защиты безопасности и спокойствия государств» — СО, 1819, ч. 51, № 2, с. 97—106. Она подписана псевдонимом «Царскосельский житель».

[122] «*Речь об истинной и ложной любви к Отечеству*» В. Н. Каразина — СО, 1818, ч. 49, № 43, с. 193—222.

[123] *...два описания кораблекрушения...* — «Известие о разбившемся российском военном бриге „Фальке“ в Финском заливе у Толбухина маяка 18 октября 1818 г.» Николая Александровича Бестужева (1791—1855), капитан-лейтенанта флота, декабриста — СО, 1818, ч. 49, № 44, с. 282—288, и «Письмо к издателю» Макара Ивановича Ратманова (1772—1833), вице-адмирала флота, описавшего кру-

шение испанского купеческого корабля с русской командой, на котором он сам находился, у берегов Дании — СО, 1819, ч. 51, № 2, с. 67—76.

[124] *«На женитьбу в большом свете»*, сатира М. В. Милонова — СО, 1819, ч. 51, № 5, с. 223—229.

[125] *Речь, произнесенная Карамзиным в российской Академии...* — СО, 1819, ч. 51, № 1, с. 3—22.

[126] *Мало утешительного в моих произведениях...* — В стихотворениях Кюхельбекера «Отрывок» — СО, 1819, ч. 53, № 13, с. 37—38, «Песнь лопаря» — СО, ч. 52, № 9, с. 138—139, «Гимн Аполлону (сокращенный перевод из Каллимаха)» — СО, ч. 53, № 18, с. 273—276. *Немецкое переложение Штольберга* — книга Христиана Штольберга (1748—1821) «Gedichte aus dem Griechischen, übersetzt von Christian Graf zu Stolberg».

[127] *...кантаты Жан-Батиста Руссо: «Вакх» и «Торжество любви»* — СО, 1818, ч. 49, № 43, с. 222—225 и 1819, ч. 54, № 23, с. 178—180. Переводчик кантат — князь Николай Сергеевич Голицын (1796—1833), поэт, близкий друг П. А. Катенина и приятель А. С. Пушкина. Обе кантаты Руссо в переводе Голицына были опубликованы во 2-м т. «Соч. и переводов в стихах» П. А. Катенина (СПб., 1832, с. 179—184 и 185—187).

[128] *В Гречевом разборе «Истории философических систем» Галича...* — В статье Н. Греча «Ответ на письмо к г. редактору „Вестника Европы“» — СО, 1819, ч. 52, № 7, с. 10—32.

[129] *Что делают мои именинники...* — Александры: Одоевский Александр Иванович, Бестужев Александр Александрович, Пушкин Александр Сергеевич и, по-видимому, Плещеев Александр Александрович (1803—1848), воспитанник Кюхельбекера в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте (1817—1820), однокашник и приятель Л. С. Пушкина, М. И. Глинки, Н. А. Маркевича, И. Г. Вилламова и других учеников, с которыми Кюхельбекер был в самых близких дружеских отношениях. Александр Плещеев привлекался по делу декабристов, что может объяснить зашифрованность его имени в дневнике.

[130] *«Гробница Державина»* П. А. Плетнева — СО, 1819, ч. 54, № 25, с. 273—275.

[131] *«Тленность»* — заглавие раннего варианта стихотворения «Полночь с 31 декабря на 1-е января» («Не часов ли томный вой?»).

[132] *«О древних эстонцах.* Из записок молодого путешественника», подпись «Б. К.» — СО, 1819, ч. 53, № 15, с. 124—130, № 17, с. 219—227. Цитата (сокращенная) — со с. 127—128.

[133] *...Гармса... проповеди Ганштейна и Лефлера...* — Гармс Клаус (р. 1778), Ганштейн Годфруа Август Луи (1761—1825) и Лефлер Иосиф Фридрих Христиан (1752—1816) — немецкие богословы, проповедники, духовные писатели.

[134] *«Мнение» Капниста* — статья Василия Васильевича Капниста «Мнение, что Улисс странствовал не в Средиземном, но в Черном и Азовском морях» — СО, 1819, ч. 56, № 38, с. 193—213.

[135] *...о перемещении 5-й песни «Одиссеи»...* — Статья В. В. Капниста «О восстановлении первых шести песней Одиссеи в первобытный их порядок» — СО, 1817, ч. 41, № 40, с. 50—54 (отд. изд. — СПб., 1819).

[136] *...поместил по эпиграмме на самого себя...* — Эпиграммы В. В. Капниста содержали иронию по поводу его собственных идей, доказываемых в статьях; рассуждение об Улиссе, например, завершалось следующими стихами:

Чего Улисс не претерпел!
В скитанье десять лет провел;
Гоним Нептуном от Исмара
Едва ль не вплоть до Гибралтара,
Вперед и взад бедняжка плыл;
А вот теперь Капнист взвалил
На многотерпца вновь обузу
И заставляет плыть в Отузу!

В поэме «Сирота», над которой Кюхельбекер начинает работать 16 октября 1833 г., о статьях Капниста и его автоэпиграммах говорится с осуждением: «Бывало вздор напишет в десять строк: „О дивной мудрости Гипербореев“, Пошлет в журнал и, чтоб своих злодеев Потешить, эпиграмму на свой вздор».

137 *...нашел я еще две старинные свои пиэсы...* — «Memento mori» — СО, 1819, ч. 57, № 44, с. 173—174; «Ручей» — там же, ч. 55, № 32, с. 274—275 под заглавием «Баллада».

138 «*Письмо к молодому поэту*» (Из Виланда) — СО, 1819, ч. 57, № 45, с. 193—216, № 46, с. 262—269.

139 *Катенина «Мстислав»* — «Песнь о первом сражении русских с татарами на реке Калке, под предводительством князя Галицкого Мстислава Храброго» П. А. Катенина — СО, 1820, ч. 59, № 1, с. 31—37. Отрицательный отзыв А. А. Бестужева об этом произведении — в его статье «Письмо к издателю» — там же, ч. 60, № 12, с. 244—257.

140 *Описание несчастий фон Б... въ ...* — Эпизод о трагическом положении семьи чиновника фон Б., посаженного в тюрьму за долги, и о сборе пожертвований в его пользу — СО, 1820, ч. 60, № 11, с. 223—229; № 12, с. 272—275. О пятнадцатилетнем кантонисте Звереве, который «в счет жалования», составляющего 60 руб. в год, попросил у полковника 2 руб. и внес в фонд помощи бедствующему семейству, — с. 275.

141 *...отрывки из «Путешествия» Головнина...* — Записки капитана Василия Михайловича Головнина в 1820, 1821 гг. печатались в каждом номере СО. О Сандвичевых островах — 1821, ч. 62. № 24, 25, 26; ч. 63, № 27—30, 32. О царе-просветителе Тамеамее — № 27, с. 22—25, № 28, с. 49—72, № 29, с. 121—129.

142 *В предисловии Шаховского к «Полубарским затеям»...* — Предисловие А. А. Шаховского к комедии «Полубарские затеи, или Домашний театр» — СО, 1820, ч. 61, № 13, с. 11—26.

143 «*Отчет о луне*» В. А. Жуковского — стихотворение «Подробный отчет о луне, представленный ее императорскому величеству государыне императрице Марии Федоровне 1820 июня 18 в Павловске» — отд. изд. — СПб., 1820. Мозаичный характер этого стихотворения в том, что Жуковский несколько иронически вспоминает и цитирует различные романтические описания луны в своих прежних произведениях.

144 *Не постигаю я несправедливости Карамзина к дому Святослава Ярославича Черниговского...* — О Святославе Ярославиче Черниговском, княжившем в 1054—1076 гг., говорится во II т. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, гл. 2. О «мятежном роде» Ольговичей — т. II, гл. 10. 11. Об Изяславе Мстиславиче — в гл. 12, которая начинается словами: «Изяслав, по словам летописцев, — благословенная отрасль доброго корня». *Изяслав Мстиславич* — великий князь Киевский (1146—1154), внук Владимира Мономаха; вел непрерывные войны за киевский престол с черниговскими, северскими и суздальскими князьями. *Болингброк Г. Д.* (1678—1751) — английский государственный деятель, отличавшийся блестящими способностями и коварством, тори, поддерживал Стюартов в их борьбе с домом Ганноверским, был объявлен изменником. *Владимирко Галицкий* — князь 1124—1152 гг., ведший борьбу за свой престол с русскими князьями, венграми и поляками. О его смерти рассказывается в т. II, гл. 12: он нарушил клятву (крестное целование) и в тот же день внезапно умер в церкви во время вечерни. *Скитания Святослава Ольговича* (т. II, гл. 9) — история избрания его новгородским князем в 1136—1138 гг., затем изгнания его мятежными новгородцами. Во время бегства из Новгорода в Чернигов Святослав попал в плен к сторонникам рода Мономаха, которые заточили его в монастырь. В 1139 г. новгородцы вновь предложили ему княжение, но ему опять пришлось вскоре бежать из мятежного города.

145 *«Гец фон Берлихинген»* — историческая драма И. В. Гете 1773 г. о героеборце против княжеского произвола, в которой для создания исторического колорита выведены многочисленные персонажи из разных социальных слоев — рыцари, солдаты, крестьяне, бюргеры, придворные и пр.

146 *Разбор «Людмилы и Руслана»* — статья А. Ф. Воейкова «Разбор поэмы: „Руслан и Людмила", сочинение Александра Пушкина» — СО, 1820, ч. 64, № 34, с. 12—34, № 35, с. 66—83, № 36, с. 97—114, № 37, с. 145—155.

147 *«Академия Художеств»*, статья Н. И. Гнедича — СО, 1820, ч. 64, № 38, с. 205—226, № 39, с. 255—277, № 40, с. 299—316.

148 *Плетнева ода «Совесть»* — СО, 1820, ч. 65, № 44, с. 180—183. Цитата — со с. 181—182.

149 *Отрывок «Цеикс и Гальциона»* — перевод В. А. Жуковского из Овидия: «Цеикс и Гальциона» (Из XI книги Овидиевых Превращений) — СО, 1821, ч. 68, № 9, с. 73—92.

150 *«Отчет о солнце» — редкая ахинея...* — Стихотворение В. А. Жуковского «О солнце. Ее императорскому величеству государыне императрице Марии Федоровне (в июне 1819 года)» — СО, 1821, ч. 67, № 1, с. 21—31.

151 *«Жизнь»* В. А. Жуковского — СО, 1821, ч. 67, № 6, с. 271—274.

152 *...Глинки аллегория в прозе «Знакомая незнакомка»...* — СО, 1821, ч. 67, № 6, с. 256—260. Незнакомка — муза поэта.

153 *...княжение Димитрия Донского.* — О княжении Димитрия Донского рассказывается в V т. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. *Жаль, что Димитрию не был товарищем... Тверской...* — В Куликовской битве 1380 г. войско русских князей возглавлял московский великий князь Димитрий Иванович (Донской). Тверской князь Михаил Александрович (Михаил II) был соперником и врагом Димитрия: Тверское княжество не подчинялось Москве, Михаил был таким же великим князем, как Димитрий, и претендовал на главенствующее положение среди русских князей, опираясь на поддержку Литвы. В 1375 г. он объявил войну Димитрию, в которой был разбит, а тверские земли разорены. По мирному договору с Димитрием князь Михаил Тверской обязан был полностью следовать велениям московского князя в отношениях с татарами: «Решимся ли воевать, и ты враг их, решимся ли платить им дань, и ты плати оную» (Карамзин, «История государства Российского», т. V, гл. 1). Однако в описании Куликовской битвы Карамзин имени Михаила Тверского не упоминает. Через два года после Куликовской битвы, в 1382 г., Михаил Тверской, по словам Карамзина, попытался свергнуть Димитрия с помощью татарского хана Тохтамыша, для чего специально ездил в Орду, т. е. «вопреки торжественному обету и письменному договору 1375 г. не хотел участвовать ни в славе, ни в бедствиях московского княжения и тем изъявил холодность к общей пользе Россиян» (т. V, гл. 1). *Поэтическая смерть* Димитрия Донского в возрасте 40 лет (1389 г.) от скоротечной болезни описана Карамзиным как смерть мудрого правителя в полном здравии ума; он отказался от обычного для русских князей пострига перед смертью, ибо думал, по словам Карамзина, «что несколько дней или часов монашества перед кончиною не спасут души и что государю пристойнее умереть на троне, нежели в келье» (т. V, гл. 1). *Убиение Михаила I Тверского* (Михаила Ярославича, великого князя) — т. IV, гл. 7 (убит в 1318 г. в ставке хана по клеветническому обвинению после тяжких истязаний; по смерти объявлен святым).

154 *...две думы, говорящие о Донском герое.* — Дума К. Ф. Рылеева «Дмитрий Донской» — СО, 1822, ч. 80, № 40, с. 315—318. Вторая — «Евдоксия, супруга Донского, в Переяславле-Залесском», без подписи — СО, 1822, ч. 81, № 45, с. 227—230. *Нечаев* Степан Дмитриевич (1792—1860) — поэт, широко печатавшийся в конце 1810-х — начале 1820-х гг., в том числе и в СО.

155 *«Байрон в темнице»* Д. П. Глебова — СО, 1822, ч. 81, № 43, с. 121—125.

156 *...в извлечении из записок Пименова спутника...* — В V т. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, в гл. 1 и примечаниях к ней № 128—133. Имя спутника митрополита Пимена не названо, сказано лишь, что это «один российский духовный сановник»; путешествие из Москвы в Царьград происходило весной 1389 г.

157 *Цолликофер* Георг Иоганн (1730—1788) — немецкий проповедник, духовный писатель.

158 *...две прелестные безделки Туманского...* — «Больное дитя» и «Жалоба» В. И. Туманского — СО, 1823, ч. 84, № 13, с. 283—284.

[159] *Живоросль употребляет Никонов вместо зоофит...* — Живоросль и зоофиты — «животнорастения». Слово «живоросль» имеется в словаре В. И. Даля, т. е. Кюхельбекер прав: оно действительно бытовало в русском языке.

[160] *...философическая статья Сомова...* — «Об уме» О. М. Сомова — СО, 1822, ч. 82, № 47, с. 24—31.

[161] *Стихи Хвостова к Львову...* — «Федору Петровичу Львову на случай чтения высочайше утвержденного Общества любителей словесности в зале Дарьи Алексеевны Державиной 1823 года мая 22 дня» Д. И. Хвостова — СО, 1823, ч. 86, № 21, с. 35. ***Ф. П. Львов*** (1766—1836) — государственный деятель и писатель, участник «Беседы любителей русского слова»; Д. А. *Державина* — вторая жена Г. Р. Державина.

[162] *«Об арабских сказках»* Жозефа Гаммера-Пургсталя (1774—1845), немецкого ориенталиста, — отрывок из его предисловия к новому изданию арабских сказок — СО, 1823, ч. 88, № 40, с. 305—317.

[163] *...извлечения из «Путешествий» Франклина и Парри.* — «Извлечение из Путешествия капитана Франклина в 1819, 1820 и 1821 годах» — СО, 1823, ч. 89, № 44, с. 147—165, № 45, с. 199—208. «Последнее путешествие капитана Парри в северные полярные страны» — там же, ч. 90, № 47, с. 3—18, № 48, с. 49—56. *Франклин* Джон (1786—1848) — английский мореплаватель; в 1819—1821 гг. предпринял экспедицию к мысу Турнаген в Северном Ледовитом океане. *Парри* Эдуард (1790—1855) — английский путешественник.

[164] *Арнольд* Карл Иванович (1775—1845) — экономист, основатель Коммерческой академии в Москве, автор ряда трудов по финансовому делу и бухгалтерии. Н. И. Греч поместил отзыв о его «Руководстве к бухгалтерии» в № 42 СО за 1823 г. К. Арнольд написал резкое «Возражение на статью, помещенную в № 42 „Сына отечества“ под заглавием „Библиография“» (СО, 1823, ч. 90, № 52, с. 272—276), вслед за которым был помещен «Ответ издателя» Н. И. Греча, с. 276—282.

[165] *Кайданов* Иван Кузьмич (1782—1845) — историк, профессор исторических наук Царскосельского лицея (1811—1841), автор учебников. *Отрывок* из его «Всемирной истории» — СО, 1823, ч. 89, № 44, с. 166—186, № 46, с. 227—242: ч. 90, № 47, с. 18—34, № 50, с. 145—165. *Деций* и *Фабий* — римские, *Эпаминонд* — фиванский полководцы.

[166] *...о первом представлении Расиновой трагедии... говорит Сомов.* — В статье «Федра, трагедия Расина, перевод М. Е. Лобанова, представленная в первый раз на С.-Петербургском театре 9 ноября 1823», подпись: О. С. (т. е. О. М. Сомов) — СО, 1823, ч. 89, № 46, с. 242—260.

[167] *Веркмейстер* — немецкий проповедник и духовный писатель.

[168] *«Слово преосвященного Неофита...»* — «Слово по случаю внезапной кончины г. генерал-губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого, вице-адмирала Алексея Федотовича Клокачева, последовавшей в Вологде 2 января 1823 года, говоренное ‹...› преосвященным Неофитом, епископом Архангельским и Холмогорским, 11 января 1823 г.» — СО, 1823, ч. 88, № 34, с. 3—19.

[169] *Бунина* Анна Петровна (1774—1828) — поэтесса, творчеству которой Кюхельбекер посвятил специальную статью (см. с. 444 и след. наст. изд.).

[170] Стихотворения *Е. Ф. Б.* со сноской: «Первые опыты» — «К спящему дитяти», «Разлука с подругой» — СО, 1823, ч. 86, № 22, с. 81—83; «Слеза», «К лире» — № 23, с. 128—130.

[171] *Тимковский поместил в своем «Путешествии» любопытную повесть о Гесэрхане...* — Сведения взяты из статьи «Об издании книги под заглавием: „Путешествие в Китай через Монголию, в 1820 и 1821 годах. С картою, чертежами и рисунками“» — СО, 1824, ч. 91, № 7, с. 345—350. Автор книги — Евг. Тимковский. *Гесэрхан* — правитель древнего Монгольского государства. *Шигсмуни* — монгольское название Будды Шакьямуни. *Ормузд* — имя верховного божества древних иранцев.

[172] *«Записки полковника Вутье»* — перевод французской книги «Mémoires du Colonel Voutier sur la guerre actuelle des Grecs». Paris, 1823 — СО, 1824, ч. 93, № 15—20; ч. 94, № 22, 24—26; ч. 95, № 28, 30, 32. Вутье П. — французский путешественник, принимал участие в борьбе греков за независимость в чине полковника греческой армии. Его рассказ о походе Маврокордато — в № 22, 24 и 25.

[173] *Бобрищева-Пушкина «Наполеон»* — «Воспоминание о Бонапарте (из Ламартина)» Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина (1802—1865) — СО, 1824, ч. 94, № 21, с. 29—36. Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869), французский поэт-романтик.

[174] *«Майское гулянье в Екатерингофе» Д. И. Хвостова* — отд. изд. — СПб., 1824.

[175] В писарской копии дневника неизвестной рукой приписано: «Оставлено место для стихов». И рукой М. И. Семевского: «Посмотреть в подлиннике». Далее в копии две с половиной страницы оставлены чистыми.

[176] *«О супруге французского короля Генриха I* (Письмо к NN)» Степана Васильевича Руссова (1770?—1842), историка и журналиста — СО, 1824, ч. 97, № 46, с. 241—257, № 47, с. 3—24. Супругой Генриха I была русская княжна Анна Ярославна.

[177] *«О египетских письменах»,* статья французского египтолога Жана Франсуа Шампольона (1790—1832) — СО, 1824, ч. 95, № 28, 30, 32, 33; ч. 96, № 34, 35. Переводчик — *«Б».*

[178] *Ерузалем* Жан Фредерик Гильом (1709—1789) — протестантский проповедник.

[179] *«О точности относительно к слогу, языкам и пантомимам»* Пьера Эдварда Лемонте (1762—1826), французского историка и филолога, — речь, произнесенная им 24 апреля 1824 г. в Париже на собрании четырех Академий — СО, 1824, ч. 98, № 47, с. 24—35, № 48, с. 49—61, № 49, с. 97—108. Перевод речи — О. М. Сомова.

[180] *«Рыбья пляска»,* басня И. А. Крылова — СО, 1824, ч. 95, № 27, с. 33—35.

[181] *«Разбойничий замок»,* повесть Генриха Клаурена (1771—1854), немецкого писателя-романтика — СО, 1825, ч. 99, № 1, с. 3—43, № 2, с. 151—158.

[182] *Статья Одоевского (Александра) о «Венцеславе»...* — «О трагедии „Венцеслав", сочинения Ротру, переделанной г. Жандром» — СО, 1825, ч. 99, № 1, с. 100—105. Отрывки из переделки Жандра были опубликованы в альманахе Ф. В. Булгарина «Русская Талия» на 1825 г. и позже — в альманахе «Радуга» 1830 г. *«Орлеанская дева»* В. А. Жуковского — перевод трагедии Шиллера (1821).

[183] *«Догадки об обитаемости Луны»,* переведенная Н-вым статья Грютгюйзена — СО, 1825, ч. 99, № 1, с. 68—79.

[184] *Статья И. Калайдовича* «О родах грамматических» — Труды общества любителей росс. словесности при имп. Московском университете, 1825, ч. 5. *Замечания* на эту статью — СО, 1825, ч. 100, № 5, с. 36—56 под загл. «Письмо к издателям». *Ответ Калайдовича* — «Ответ на критику „Замечаний о родах грамматических в языке русском"» — СО, 1825, ч. 101, № 9, с. 51—66, № 10, с. 157—177, № 11, с. 267—276. Калайдович Иван Федорович (1796—1853) — ученый, языковед.

[185] *Повесть «Вильгельмина, или Побежденный предрассудок»,* переведенная с немецкого «Вл.» — СО, 1825, ч. 100, № 5, с. 3—36, № 6, с. 97—141, № 7, с. 209—263, № 8, с. 305—346. В повести «Вильгельмина» описывается быт провинциального немецкого городка, куда вернулись солдаты после победы над Наполеоном. Герой — офицер Вальдрих влюблен в дочь своего опекуна Вильгельмину, та отвечает ему взаимностью, но отец нашел для нее другого жениха — сына богатого барона Гана, который должен скоро приехать. Этого жениха, истощенного после болезни, встретил в дороге Вальдрих, и, рассказывая местное предание о госте-мертвеце, посещающем город раз в сто лет, чтобы найти себе невесту и убить ее в брачную ночь, он описал внешность встреченного им жениха. Когда Ган приезжает, жители города с ужасом принимают его за мертвеца, а отец Вильгельмины отказывает ему: «...лучше отдам я тебя беднейшему нищему с улицы, — был бы только живой человек! — нежели этой сатанической чучеле». Влюбленные тайком объясняют ситуацию барону, что очень забавляет всех троих.

[186] *Мельмот, Вампир, Чайльд-Гарольд — в Пошехонье! — Мельмот,* герой романа Ч. Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820), злобный и мрачный соблазнитель человеческих душ. *Вампир* — вероятно, герой одноименной поэмы Х-Г. Гезера, либо сочинения Полидори по мотивам Байрона, — последнее в 1828 г. было переведено П. Киреевским и вышло под заглавием: «„Вампир". Повесть, рассказанная лордом Байроном, с приложением отрывка из одного незаконченного сочинения Байрона»,

Чайльд-Гарольд — герой поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812—1818).

[187] *«Изобретение стремян»,* повесть, переведенная с немецкого «Вл.» — СО, 1825, ч. 99, № 2, с. 113—150. Повесть *«Водопад»* (с немецкого С. В-нь) — там же, № 4, с. 347—360.

[188] *...попались мне... две мои рецензии...* — «Разбор поэмы князя Шихматова „Петр Великий"» и «Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений» — см. наст. изд., с. 468, 492.

[189] *«Массилия»* В. К. Кюхельбекера — СО, 1825, ч. 102, № 13, с. 101—107.

[190] *Слог Вашингтона Ирвинга...* —В СО 1825 г. Кюхельбекер читал «Рассказы путешественника» американского писателя В. Ирвинга (1783—1859) (ч. 102, № 14, с. 105—151, № 15, с. 219—248), переводчик С. В-нь; повесть «Кухня в трактире, или Жених-мертвец» (из книги «The Sketch-Book») — ч. 104, № 24, с. 307—335, и др.

[191] *Вторая половина рассказов о домовых...* — «Истории о приведениях» В. Ирвинга из цикла «Рассказы путешественника», («Похождения моего деда, или Храбрый драгун» — СО, 1825, ч. 102, № 15, с. 219—248. Пляска мебели — с. 232—233). *Это картина вроде Каллота...* — Калло Жак (1592—1635) — французский живописец и гравер.

[192] *«Беглец»* — повесть в стихах Александра Фомича Вельтмана (1800—1870) — СО, 1825, ч. 103, № 18, с. 182—187, № 19, с. 373—381. Кюхельбекер цитирует с. 375, 376, сравнивая поэму со своей драмой «Ижорский».

[193] *...два совершенно противоположных изображения парижского общества — г-жи Жанлис и леди Морган.* — Жанлис изображает парижское общество в записках: «Возвращение г-жи Жанлис во Францию; обычаи нового общества» — СО, 1826, ч. 105, № 3, с. 209—240, № 4, с. 317—330, и «Старые и новые нравы» — там же, № 2, с. 160—190. Английская писательница леди Сидней Морган (1786—1859) пишет о Париже в мемуарах «Франция», 1817, отрывок из которых под заглавием «Парижское общество» помещен в СО, 1826, ч. 106, № 8, с. 309—325.

[191] *«Рассмотрение Опыта науки изящного» Галича*, статья Н. И. Греча «Рассмотрение книги: Опыт науки изящного, начертанный А. Галичем» — СО, 1826, ч. 106, № 6, с. 178—192; ч. 107, № 9, с. 59—73, № 10, с. 161—173, № 12, с. 357—367; ч. 108, № 14, с. 141—155.

[195] *«Счастливый день»*, повесть датского писателя Лорена Крузе (1778—1839) — СО, 1826, ч. 107, № 10, с. 97—149, № 11, с. 193—251, № 12, с. 279—311.

[196] *...Вальтер Скотт прав, когда говорит о заманчивости рода, изобретенного Анною Радклиф.* — В биографическом труде В. Скотта «Анна Радклиф» — СО, 1826, ч. 105, № 2, с. 131—160, № 4, с. 368—382; ч. 106, № 5, с. 81—93, № 7, с. 260—272. Анна Радклиф (1764—1823) — английская писательница, родоначальница «романа ужасов» в мировой литературе.

[197] *«Ахилл и Омир»* П. А. Катенина — СО, 1828, ч. 117, № 2, с. 194—208.

[193] *«Спящий разбойник»*, повесть Сарториуса — СО, 1828, ч. 117, № 1, с. 3—58, № 2, с. 113—171.

[199] *Вчера после дневной отметки...* — Запись от 20 декабря опущена переписчиком.

[200] *Ирландское предание «Стекляночная гора»* — СО, 1828, ч. 116, № 23—24, с. 186—202. Переведено из книги: Fairy legends traditions of the South of Irland. London, 1825.

[201] *Крюков* Александр Павлович (1802—1833) — поэт и беллетрист. Его стихотворения *«Воспоминание о родине»* — СО, 1827, ч. 114, № 13, с. 88—92; *«В память красавице»* — там же, № 14, с. 192.

[209] *...об американских странствующих голубях...* — Статья «Американские голуби» — СО, 1828, ч. 121, № 20, с. 318—338, пер. с франц.

[203] *«Паризина»* — поэма Байрона 1816 г., переведенная В. Е. Вердеревским. Разобрана в критической статье О. М. Сомова «Паризина. Историческая повесть лорда Байрона. Вольный перевод В. Вердеревского» — СО, 1828, ч. 118, № 8, с. 320—334. Оценка «Паризины» в МТ (1828, ч. 19, № 2) отрицательная, слабыми признаны и перевод, и сама поэма.

[204] *...в статье, переведенной Бутовским?* — «Необыкновенная способность некоторых детей считать на память», пер. с франц. Ивана Бутовского — СО, 1828, ч. 118, № 8, с. 307—314. О шестилетнем мальчике Георгии Ноакезе — с. 309—313.

[205] *Шлейермахер* Фридрих Даниэль (1768—1839) — немецкий философ, теолог, проповедник. *Рёр* Иоганн Фридрих (1777—1848) — немецкий проповедник, автор книги «Briefe über den Rationalismus» (Zeiz, 1813).

[206] *«Дружба на Севере»*, повесть Л. Крузе — СО, 1827, ч. 114, № 13, с. 3—35, № 14, с. 97—145, № 15, с. 197—228.

[207] При публикации дневника в РС к записи от 28 декабря было сделано следующее примечание: «Здесь оканчивается тетрадь дневника 1833 года. Она прошнурована, как и предыдущая, и скреплена подписью: „Исправляющий должность Свеаборгского коменданта плац-майор полковник Штрик‹кер›“. Тетради вообще весьма грубой синеватой бумаги; кстати отметим: в разных местах дневника многие строки вычеркнуты, очевидно, комендантскою цензурою» (РС, 1880, т. 40, с. 448). Предположение о комендантской цензуре маловероятно; скорее всего вычеркивания сделаны самим Кюхельбекером перед подачей дневника коменданту.

1834

[1] *В «Фарисе», переведенном Манасеиным...* — «Фарис. Арабская повесть в стихах» Адама Мицкевича в переводе П. П. Манасеина — СО, 1829, ч. 1 (123), № 6, с. 290—298. Подпись: «П. Манасеин. Мая 30 дня, к‹репость› Динабург», т. е. перевод выполнен в период тесного общения Манасеина с Кюхельбекером и был известен последнему в рукописи.

[2] *Перебранки с «Вестником Европы» в статьях «Ящик»...* — Статьи под рубрикой «Ящик» в СО 1829 г. входили в состав отдела «Смесь» начиная с ч. 2 (124) и принадлежали в основном Н. А. Полевому (подписаны не были). Полемика велась прежде всего с ВЕ, его авторами и редактором М. Т. Каченовским. Предметы полемики — новые произведения Пушкина, перевод Д. Баркова комедии Бомарше «Свадьба Фигаро», мелкие вопросы русской грамматики и стиля.

[3] *...какой-то Н. И. П. (вероятно, Николай Иванчин-Писарев)...* — Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (1795—1849) — писатель, историк, его нападки на критиков Н. М. Карамзина — в статье «О некоторых критиках» — СО, 1829, ч. 1 (123), с. 58—60.

[4] *«Смешны мне люди»*, отрывки из комедии Ореста Михайловича Сомова — СО, 1829, ч. 1 (123), № 4, с. 225—232; ч. 4 (126), № 23, с. 168—183.

[5] *...отрывок романа Порфирия Байского «Гайдамак»* — СО, 1829, ч. 4 (126), № 23, с. 133—150, № 24, с. 197—213, № 25, с. 261—273, под заглавием «Отрывок из малороссийской повести: „Гайдамак“». Порфирий Байский — псевдоним О. М. Сомова.

[6] *«Любовь на Севере» г. Клаурена* — СО, 1829, ч. 1 (123), № 1, с. 3—17, № 2, с. 65—80, № 3, с. 129—145.

[7] *«Записки» Хлебникова о Калифорнии* — «Записки о Калифорнии» — СО, 1829, ч. 2 (124), № 11, с. 208—227, № 12, с. 276—288, № 13, с. 336—347, № 14, с. 400—410; ч. 3 (125), № 15, с. 25—35. Хлебников Кирилл Тимофеевич (1776—1838) — управляющий русскими владениями в Америке.

[8] *Стихотворения в первых 4-х частях «Сын отечества» на 1829 год...* — Принадлежат А. Глебову, В. Орлову, В. Щастному, П. Ободовскому, Д. Ознобишину, К., Ф. Глинке, П. Манасеину.

[9] *Два перевода Розена из Аттербома...* — *Розен* Егор Федорович (1800—1860) — поэт, переводчик, журналист. Его переводы шведского поэта и философа П. Д. А. *Аттербома* (1790—1855) «Роза солнца» и «Мотылек и Роза» — СО, 1829, ч. 2 (124), № 10, с. 173—175. «Пробуждение весны» Розена — там же, с. 176.

[10] *...прелестное... эротическое стихотворение «Алине»* — СО, 1829, ч. 4 (126), № 21, с. 47—48; подпись — «К», дата — 1829.

[11] *«Элегия»*, стихотворение Александра Глебова — СО, 1829, ч. 3 (125), № 18, с. 237—240.

[12] *...басни Глинки, Масальского и Бестужева-Рюмина...* — *«Вареный чай»* Константина Петровича Масальского (1802—1861) — СО, 1829, ч. 1 (123), № 6, с. 414. *«Козленок и поросенок»* Федора Николаевича Глинки — СО, 1829, ч. 2 (124), № 9, с. 104. Здесь же — еще басни Ф. Н. Глинки: «Листок и человек», «Гроза и сон», «Эхо», «Брань не за дело», «Игральная доска жизни» (с. 103—106). Басня Михаила Алексеевича Бестужева-Рюмина (1798—1832) «Мужик и теленок» — СО, 1829, ч. 2 (124), № 14, с. 436—437.

[13] *«Взгляд на состояние русской словесности в последнем периоде»* — статья Василия Тимофеевича Плаксина (1795—1869), филолога, педагога — СО, 1829, ч. 6 (128), № 34, с. 17—33, № 35, с. 82—95.

[14] *...тут довольно занимательны различные определения романтизма; ...есть истинно хорошие мысли (их выпишу завтра).* — В копии РС опущены записи от 24—30 января 1833 г., между тем выписки Кюхельбекера мыслей о романтизме из статьи В. Т. Плаксина чрезвычайно важны. Приведя различные определения романтизма, Плаксин суммирует истинные, с его точки зрения, мысли из различных формулировок: «...в первом справедливо то, что с обновлением мира должно обновиться выражение душевных движений, всегда согласных с возбуждающими их предметами; во втором — что религии сильнее других обстоятельств действуют на сие обновление; в третьем — что романтизм имеет свои национальные оттенки, которые преимущественно отсвечиваются заблуждениями; что самый богатый источник народной поэзии — отечественные, баснословные и полубаснословные сказания; четвертое справедливо в том отношении, что с обновлением идей должны измениться и формы; пятое в том, что вдохновенный гений, обнажая тайные, сокровенные для обыкновенного взгляда начала и побуждения отвратительных действий, открывая в предметах низких черты необыкновенные, резкие, по которым они сливаются с высокими, может пробуждать чувство изящного, идею доблестную, и действия гениев, конечно, суть образцы, живые правила для умов обыкновенных; шестое — в том, что творение ума, нося печать века, народности, личности, не может быть свободно от влияния известного периода (СО, 1829, ч. 6 (128), № 34, с. 20—21).

[15] *...друга моего Александра...* — А. С. Грибоедова. Он погиб 30 I (11 II) 1829 г.

[16] *Бонштетен* Карл Виктор (1745—1832) — швейцарский писатель; «Воспоминания Бонштетена об его молодости» — СО, 1830, ч. 13 (135), № 33, с. 373—391; ч. 14 (136), № 34, с. 3—25.

[17] *«Испытание»*, повесть А. А. Бестужева-Марлинского — СО, 1830, ч. 13 (135), № 29, с. 117—143, № 30, с. 181—215, № 31, с. 245—268, № 32, с. 309—349.

[18] *...отрывок из поэмы* Андрея Ивановича *Подолинского «Нищий»* — СО, 1830, ч. 10 (132), № 9, с. 184—186.

[19] *Бриммер* Владимир Карлович — литератор и журналист начала XIX в. Его статья «Об истинном и ложном романтизме» — СО, 1830, ч. 10 (132), № 9, с. 168—184.

[20] В писарской копии РС далее оставлено место — по-видимому, не были разобраны несколько слов (имен?).

[21] *«Вечер на Кавказских водах в 1824 году»* А. А. Бестужева-Марлинского — СО, 1830, ч. 14 (136), № 37, с. 193—217, № 38, с. 257—279, № 39, с. 321—339, № 40, с. 385—412; ч. 15 (137), № 41, с. 3—22. *Из... повестей последняя...* — Изобилующий точными бытовыми деталями рассказ гусарского офицера о пребывании в Польше и эпизод ночного нападения на него разбойников, прятавшихся в часовне (один из разбойников изображал мертвеца в гробу).

[22] Сведения о записи от 17 февраля 1834 г. содержатся в статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения В. К. Кюхельбекера» (ЛН, т. 33—34. М., 1939, с. 363): «...познакомясь 17 февраля 1834 г. по рецензии с „Эрнани" Гюго, он ни в чем не соглашается с рецензентом и на основании цитат полемизирует с ним, догадываясь о значении трагедии и характерах действующих лиц». «Эрнани» — драма В. Гюго 1830 г., тогда же поставленная в театре «Комеди Франсез». Рецензия на нее — перевод А. Ф. статьи из «Revue Encyclopédique»: «Разбор драмы: Гернани, или Кастильская честь, сочинение Виктора Гюго» — СО, 1830, ч. 14 (136),

№ 40, с. 423—439; ч. 15 (137), № 41, с. 39—57 и № 42, с. 89—101. В марте 1834 г. Кюхельбекер познакомился еще с одной переводной рецензией на эту драму — «Парижские театры. „Гернани“, драма в пяти действиях, в стихах. Сочинение Виктора Гюго» (МТ, 1830, ч. 35, № 17, с. 137—149, № 18, с. 305—323), где В. Гюго назван «одним из гениев в революции театра».

[23] *«Бесприютная», поэма Прова Максимовича, разобрана в «Сыне отечества»...* — СО, 1830, ч. 15 (137), № 45, с. 293—302. Цитаты — с. 295, 300—301.

[24] *«Италиянское утро»* Семена Егоровича Раича (1772—1855) — СО, 1830, ч. 14 (136), № 39, с. 369—370.

[25] *...принялся за Робертсонова «Карла V».* — За книгу У. Робертсона «The History of the Reign of the Emperor Charles the Fifth».

[26] После записи от 19 февраля 1834 г. редакторами РС сделаны многочисленные купюры в дневнике Кюхельбекера. Некоторые сведения о пропущенных страницах содержатся в статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения В. К. Кюхельбекера» (ЛН, т. 33—34. М., 1939). В марте 1834 г. узник получил МТ за 1826—1830 годы. Он читает статью о романе Альфреда де Виньи 1826 г. «Сен-Мар», делает обширные выписки из «Письма к Лорду» А. де Виньи. Известие о выходе романа А. де Виньи «Сен-Марс, или Заговор при Людовике XIII», пер. А. Очкиным (4 ч., СПб., 1829—1830) — МТ, 1830, ч. 36, № 23, с. 357. Краткая заметка об этом романе — там же, с. 361. «Письмо графа Альфреда де Виньи к графу ***, лорду ***» — МТ, 1830, ч. 36, № 24, с. 423—463. Это предисловие де Виньи к его переводу «Отелло» Шекспира (1829 г.) о реформе драмы, совершаемой литературой новой школы во Франции. Очевидно, не могла пройти мимо внимания Кюхельбекера и обширная статья «Le More de Venis...» («Венецианский Мавр. Трагедия Шекспира, переведенная Альфредом де Виньи и представленная в первый раз на французском театре 25 октября 1829 г.» — МТ, 1830, ч. 34, № 15, с. 340—377, № 16, с. 472—509), характеризующая «нынешнее состояние драматического искусства во Франции».

[27] Отрывок из записи Кюхельбекера от 12 марта 1834 г. восстановлен по статьям Ю. Н. Тынянова, где он процитирован дважды: «Путешествие Кюхельбекера по Западной Европе в 1820—1821 гг.» и «Декабрист и Бальзак», объединенным общим заглавием «Французские отношения Кюхельбекера» (ЛН, т. 33—34. М., 1939). В марте 1834 г. Кюхельбекер вновь получил МТ за 1826 г., который он уже читал раньше. Некоторые произведения он перечитывает вновь, в частности разбор Абеля Ремюза.

[28] *Читая Вяземского прозу...* — В МТ 1826 г. П. А. Вяземский опубликовал статьи: «Выдержки из записной книжки» — ч. 12, № 21, с. 37—42; «Сочинения в прозе Жуковского» — ч. 12, № 23, с. 169—184, и др. Цитата — из последней статьи, с. 170.

[29] *...повесть Полевого в его «Святочных рассказах»...* — МТ, 1826, ч. 12, № 23, с. 103—123, № 24, с. 139—192. Это повествование одного из героев-рассказчиков о Новгороде Великом времен Димитрия Донского.

[30] *Надежда на присылку книг от Одоевского* была связана с сообщением об этом племянника, Б. Г. Глинки, на письмо которого Кюхельбекер отвечал 21 декабря 1833 г.: «А вот и небольшой список тех книг, которые бы мне желалось прочесть. Русские: История Полевого, особенно с 3-го тома, Сочинения Сумарокова (Александра), *Петрова*, *Боброва*, Радищева, псалмы на русском гражданском языке; альманахи и новые романы, кроме, однако же, знаменитых „Выжигиных“ и „Димитрия Самозванца“ (я их читал и сердцем сокрушился, что я читать учился); все, *что у нас вышло по части теории словесности, как-то: Опыт науки изящного Галича, Трактат Карлгофа* etc.; путешествия, напр. Муравьева-Апостола в Крым; из журналов, надеюсь, что Сленин и без просьбы с моей стороны будет доставлять мне новый литературный, который намеревается издавать (это и необходимо нужно, если он желает, чтоб я для этого журнала работал). Иностранные: англичан — Шекспира, не драматические творения и его King John, Winter Tale, All's well, Twelfth Night, Comedy of Errors; творения Бенджонсона, Флетчера, Бомонта, Отуая (Otway). Из новейших Southey, Moore, Wordsworth, Washington Irving, и буде позволено будет — Byron; немцев Novalis, Tieck (кроме «Phan-

tasus», который я хорошо знаю), Görres, Schach-Nameh (перевод с персидского). Сверх того, на каком-нибудь известном мне языке, т. е. французском, английском или немецком, перевод *Корана.* О французах ни слова, потому что, надеюсь, ты сам выберешь для меня лучшее, *новейшее*, особенно *историческое.* Перевод *Саконталы*, всего бы желательнее на английском — выбирать прошу так, чтобы на три книги русские, кроме теоретических, приходилась одна нерусская. NB Подчеркнуты книги, которых особенно желаю» (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 418—419).

[31] *Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ, литературовед и писатель. С 1764 по 1769 г. — пастор в Риге, впоследствии в Веймаре был придворным проповедником. С 1770 г. дружен с Гете, с которым познакомился в Страсбурге. «Ideen» — книга Гердера 1784—1791 гг. «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschenheit». Кюхельбекер высоко ценил проповеди Гердера; в списке сочинений, отправленном В. А. Жуковскому в 1845 г., Кюхельбекер назвал и собственную переделку проповеди Гердера «Смерть».

[32] *Повесть «Таинственный Жид»* — перевод «испанской» книги «Таинственное судопроизводство» (Лейден, 1569) — МТ, 1830, ч. 31, № 2, с. 182—202, № 3, с. 318—344.

[33] *...прочел я отрывок из «Mémoires...»* — МТ, 1830, ч. 31, № 1, с. 17—44, воспоминания о Париже 1814—1815 гг. из книги «Mémoires d'une femme de qualite, sur Louis XVIII, sa Cour et son règne» (Paris, 1829). Отрывок из этого же произведения в переводе О. М. Сомова — СО, 1829, т. 125, № 11, с. 298—304, № 12, с. 355—361.

[34] *...извлечение из Байронова дневника.* — СО, 1831, ч. 19(141), № 17, с. 125—137. В МТ, 1830, ч. 31, № 1, с. 134—135, в разделе «Смесь», помещено известие об издании Т. Муром «Записок лорда Байрона».

[35] *«Литературное зеркало»* — сатирическое приложение к «Московскому телеграфу», открытое Н. А. Полевым со второго номера 1830 г., в котором помещались пародии и высмеивались стихи Пушкина, Вяземского, Дельвига, Баратынского, Языкова и др.

[36] *...«Русская песня» на странице 65 «Зеркала»...* — МТ, 1830, ч. 31, № 4, с. 65—66 в приложении, озаглавленном «Продолжение отрывков из нового альманаха „Литературное зеркало"»; подпись — Феокритов (Н. А. Полевой).

[37] *В суждении о «Невском альманахе»...* — МТ, 1830, ч. 31, № 3, с. 355—363; критический отзыв об альманахе Е. Аладьина принадлежит, очевидно, Н. Полевому.

[38] *«Цыганка»*, повесть В. И. Даля — МТ, 1830, ч. 36, № 21, с. 36—57, № 22, с. 165—185.

[39] *«Об умственном воспитании детского возраста»* — «рассуждение» педагога Ивана Максимовича Ястребцова (1775—1839) — МТ, 1830, ч. 36, № 21, с. 3—25, № 22, с. 135—156, № 23, с. 269—301.

[40] *...теперь в отечестве Малебранша, Декарта и Паскаля один Cousin...* — *Малебранш* (Мальбранш) Николя (1638—1715) — французский философ; *Декарт* Рене (1596—1650) — философ, физик, математик, физиолог. *Паскаль* Блез (1623—1662) — математик, физик и философ. *Cousin* (Кузен) Виктор (1792—1867) — французский философ-эклектик.

[41] *...Дежерандо, Гизо...* — *Дежерандо* Жозеф-Мари (1772—1842) — французский философ и публицист. *Гизо* Франсуа-Пьер-Гильом (1787—1874) — французский историк и государственный деятель.

[42] *...целой дюжины Гельвециев, Кондильяков, Дюмарсе и подобных.* — *Гельвеций* Клод-Адриан (1715—1771), *Кондильяк* Этьен-Бонна (1715—1771) и *Дюмарсе* Кесарь-Шесно (1676—1756) — энциклопедисты, первые два — философы, последний — филолог, редактор отдела грамматики «Энциклопедии».

[43] *Стюарт* Дуальд (1753—1828) — английский философ.

[44] *Ужели... Сутей, Казимир Де-Лавинь... Манцони... Тегнер, Валин... стоят не выше... Бодмера? Сутей* — Саути Роберт (1774—1843) — английский поэт «Озерной школы». *Де-Лавинь* — Делавинь Казимир (1793—1843) — французский поэт. *Манцони* — Мандзони Алесандро Франческо Томмазо Антонио (1785—1873) — итальянский писатель. *Тегнер* Эсайас (1782—1846) — шведский поэт. *Валин* — Вал-

лин Юхан Улуф (1779—1839) — шведский поэт, известный также как автор духовных песен и псалмов. *Бодмер* Иоганн Якоб (1698—1783) — швейцарский поэт и критик. Противопоставление Кюхельбекера крайне субъективно; внутренний смысл его — предпочтение современных поэтов, в произведениях которых он ощущает присутствие высокого духовного начала, идеала нравственного и религиозного, рационалистам или прагматикам XVIII в.

[45] *...отрывок из романа ... «Последний Новик»* — роман Лажечникова Ивана Ивановича (1794—1869) — МТ, 1830, ч. 36, № 22, с. 185—206.

[46] *Несколько писем Словцова к брату.* — Словцов Петр Андреевич (1767—1843) — сибирский историк, этнограф и поэт. В 1826 г. в Петербурге вышла его книга «Письма о Сибири». «Письма к брату И. В. Словцову в Стерлитамак» — МТ, 1830, ч. 31, № 3, с. 289—313; ч. 32, № 5, с. 3—24. Замечание Н. А. Полевого — там же, № 3, с. 393.

[47] *«Живописец» Полевого* — сатирическое приложение к МТ «Новый живописец общества и литературы, составленный Николаем Полевым», выходил с 1830 по 1832 г.

[48] Записи от 4 и 5 апреля воспроизводятся по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера» (ЛН, т. 33—34. М., 1939). *Констан* де Ребек Бенжамен-Анри (1767—1830) — французский писатель, публицист, издатель либерального общественно-политического журнала «Minerve Française» и журнала «La Renommée», убежденный конституционалист, творчество которого высоко ценили декабристы. Кюхельбекер познакомился с Констаном в Париже во время заграничного путешествия 1820—1821 гг. «Адольф» — роман Констана 1815 г., в котором выведен «байронический» герой до Байрона — молодой человек в разладе с веком и с самим собой, душа которого исполнена противоречивых чувств и желаний. Роман был одним из любимых произведений А. С. Пушкина, П. А. Вяземского. Е. А. Баратынского; Вяземский перевел его на русский язык и посвятил свой перевод А. С. Пушкину (отд. изд. — СПб., 1831). В МТ «Адольф» был напечатан в 1832 г. (ч. 37, № 1, с. 49—75, № 2, с. 203—226, № 3, с. 321—359, № 4, с. 460—499). Отзыв о романе «Адольф» в МТ был напечатан в 1831 г. (ч. 41, № 20, с. 532). Упоминание имени м-м де Сталь в конце записи от 5 апреля не случайно: современники находили в коллизии романа отражение личных отношений Б. Констана и м-м де Сталь.

[49] Далее в дневнике Кюхельбекера следовали десять выписок из романа, из которых в статье Тынянова приведена только первая: «Как скоро я слышал...».

[50] *Вот что... он говорит о романе «Петр Иванович Выжигин»...* — Отзыв Н. А. Полевого о романе Ф. В. Булгарина «Петр Иванович Выжигин. Нравоописательный исторический роман XIX века» (СПб., 1831) — МТ, 1831, ч. 38, № 6, с. 231—235.

[51] *...пантеизм, в переводе разбора «Истории крестовых походов» Мишо.* — В статье о книге французского историка Жозефа Франсуа Мишо — МТ, 1831, ч. 37, № 2. с. 227—244, № 3, с. 300—378.

[52] *...об исмаилитах, манихеях, катарах, богомилах etc.* — *Исмаилиты* — члены мусульманской секты, возникшей в VIII в. на Ближнем Востоке как объединение крестьянской и городской бедноты. *Манихеи* — последователи религиозного учения, возникшего на Ближнем Востоке в III в. и выражавшего идею народных масс о добром и злом началах, лежащих в основе мира. *Катары* — члены религиозной секты XI—XIII вв., воззрения которых отражают протест народных масс против угнетения. Весь материальный мир, в том числе государство и католическую церковь, они объявляли порождением дьявола, обличали их пороки, за что подвергались жестоким преследованиям. *Богомилы* — религиозная секта, возникшая в Болгарии в X в. и связанная с антифеодальным крестьянским движением.

[53] *В начале статьи... разбираются книги Колиадеса, Ланге и фан Лимбурга Броувера...* — Разбор Н. Полевого трех иностранных книг: «Улисс-Омир, или Об истинном творце Илиады и Одиссеи» К. Колиадеса, «О нравственной красоте Омировой поэзии» фан Лимбурга Броувера и «Опыт о пиитическом единстве Илиады. Письмо к Гете» С. Г. Ланге — МТ, 1831, ч. 37, № 4, с. 500—516; ч. 38, № 5,

с. 66—84. *Вико* Джимбаттиста (1668—1744) — итальянский ученый, ориенталист и эллинист.

54 ...*замечания Клапрота о книгах отца Иакинфа Бичурина...* — *Клапрот* Г.-Ю. — французский ориенталист. Отец *Иакинф Бичурин* (Никита Яковлевич, 1777—1853) — ученый-востоковед и синолог, автор этнографических описаний Байкала, ойротов и калмыков; книги его — «Описание Тибета в нынешнем его состоянии» (СПб., 1828), «Сань-Цзы-Цзин, или Троесловие» (СПб., 1829) и др. Статья «Отчет о книгах о‹тца› Иакинфа Бичурина касательно истории монголов...» — МТ, 1831, ч. 38, № 7, с. 360—377, № 8, с. 512—534. *Возражение* Иакинфа Бичурина — «Ответ г-ну Клапроту на замечание касательно книг, изданных о. Иакинфом Бичуриным и относящихся к истории монголов» — МТ, 1831, ч. 39, № 9, с. 82—99, № 10, с. 210—230.

55 *«Страшное гаданье»,* рассказ А. А. Бестужева (Марлинского) — МТ, 1831, ч. 38, № 5, с. 36—65, № 6, с. 184—210.

56 *«О новой школе в поэзии французской»,* переводная с франц. статья — МТ, 1831, ч. 38, № 6, с. 149—180.

57 *Один из примечательнейших дней в моей жизни...* — Запись от 11 апреля 1834 г. — типичный пример зашифрованности личных переживаний и событий в дневнике. Каким известием или происшествием вызвана радость узника, неизвестно.

58 ...*Полевой отзывается... о переводе Шиллерова «Валленштейна» Шишковым...* — Отзыв Н. А. Полевого о переводе А. А. Шишкова — в рец. на кн.: Избранный немецкий театр. Пер. Александра Шишкова 2-го, т. 1. М., 1831 — МТ, 1831, ч. 40, № 13, с. 94—97. «...*этот перевод точнее... ротчевских...»* — Ротчев Александр Гаврилович (1816—1873) — поэт и переводчик, в 1829—1830-е гг. много переводил и «перелагал» Шиллера. В его переводе вышли «Мессинская невеста», «Вильгельм Телль», «Орлеанская дева» и др. За переводы Шиллера Ротчев был избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете.

59 *Лучше ли Врончекины переводы?* — Врончeнко Михаил Павлович (1802—1855) — переводчик. В конце 1820-х гг. переводил Шекспира, Мильтона, Байрона, Мицкевича, стремясь к возможно большей точности.

60 *Конечно, Шишков не Вельтман и не Ушаков...* — Вельтман Александр Фомич напечатал в МТ 1830—1831 гг. повесть «Странник, или Путешествие по географическим картам» (ч. 35, № 20, с. 509—530), стихи «Зороастр» (ч. 31, № 2, с. 177) и пр. Ушаков Василий Аполлонович (1789—1838) — писатель, беллетрист, в 1829—1830 гг. возглавлял театральный отдел МТ, затем перешел в «Сев. пчелу».

61 *«Золотой горшок»* Э. Т. А. Гофмана — МТ, 1831, ч. 40, № 13, с. 33—63.

62 ...*прочел я... статью барона Экштейна...* — Статья Фердинанда Экштейна «О драматической поэзии в Англии до Шекспира и о Шекспировой драме» — МТ, 1831, ч. 40, № 13, с. 63—93, № 14, с. 214—242.

63 ...*католик Фенелон не то же, что католик Торквемада.* — Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот, французский писатель и богослов, противопоставлен Кюхельбекером известному своей жестокостью великому инквизитору Испании Томазо Торквемада как образец высокой нравственности и добродетели.

64 *«Приключения по смерти Кохтина»* и *«Маклерская контора»* — новеллы Н. А. Полевого, помещенные в приложении к МТ «Новый живописец общества и литературы»: «Контора маклера и нотариуса» — 1831, ч. 40, № 13, с. 215—231, № 14, с. 233—248; «Приключения по смерти г-на Кохтина» — ч. 41, № 18, с. 297—314.

65 *«Введение в географию и историю»* Ивана Максимовича Ястребцова — МТ, 1829, ч. 28, № 15, с. 267—282; 1830, ч. 34, № 15, с. 281—306; 1831, ч. 39, № 10, с. 153—180. Цитата из Кювье, которую приводит Кюхельбекер, — МТ, 1831, № 10, с. 171.

66 *«Умирающий Тасс» — перевод с французского...* — Элегия Батюшкова является оригинальным произведением; сходное с нею по теме французское произведение 1790-х гг. до настоящего времени не найдено. В архиве Кюхельбекера сохранилась запись прозой французского перевода элегии Батюшкова (или французского произведения на ту же тему?). Мнение Кюхельбекера о неоригинальном характере элегии Батюшкова совпадает с мнением А. С. Пушкина (возможно, когда-то оно было подсказано Пушкину Кюхельбекером): «Эта элегия, конечно, ниже

своей славы. Я не видал элегии, давшей Батюшкову повод к своему стихотворению, но сравните „Сетования Тасса“ поэта Байрона с сим тощим произведением. Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия (см. замечание), ничего не видно. Это — умирающий Василий Львович, а не Торквато» (запись Пушкина на полях 2-й ч. «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова).

[67] *О «Письме к Эрману» Марлинского...* — «Письмо к доктору Эрману» — МТ, 1831, ч. 41, № 17, с. 37—73. С немецким историком, профессором Берлинского университета Георгом Адольфом Эрманом Бестужев встретился в Якутске в 1829 г. Эрман рассказывает об этой встрече в своей книге «Reise um die Erde» (Berlin, 1838).

[68] *«Аммалат-бек»*, повесть А. А. Бестужева (Марлинского) — МТ, 1832, ч. 43, № 1, с. 19—84, № 2, с. 179—210, № 3, с. 313—369, № 4, с. 478—543. *Аммалат-бек* — знатный аварец, участник борьбы кавказских народов с Россией в 1810—1820-х гг. В 1820 г. сдался русским войскам, получил прощение и — по ходатайству полковника *Верьховского* — чин прапорщика русской армии. В декабре 1822 г. в Дагестане примкнул к восставшим горцам и убил Верьховского, посланного для усмирения восставших. *Вельяминов* Алексей Александрович (1785—1838) — генерал-лейтенант ставки А. П. Ермолова на Кавказе, где Кюхельбекер был с ним знаком в 1821—1822 гг.

[69] *...разбор Кс. Полевого «Душеньки» Богдановича* — МТ, 1832, ч. 44, № 7, с. 377—396, № 8, с. 532—548.

[70] *Можно ли Боало и Реньяра ставить на одну доску с Доратом, Башомоном, Берни?* — *Боало* — Буало-Депрео Никола (1636—1711) — поэт, критик, знаменитый теоретик классицизма. *Реньяр* — Ренуар Франсуа-Жюст-Мари (1761—1836) — поэт и драматург, автор крупнейших антитиранических трагедий, очень популярный в преддекабристской среде. *Дорат* — Дора Клод Жозеф (1734—1780) — поэт, о котором Кюхельбекер сказал в поэме «Агасвер», что он «кропал» «без мысли и печали» «водяные стишки». *Башомон* Франсуа (1624—1702) — французский писатель. *Берни* Франсуа-Йоахим (1715—1794) — поэт.

[71] *Можно ли регенту придать эпитет: ничтожной памяти?* — Кюхельбекер имеет в виду слова Кс. А. Полевого из статьи о «Душеньке» Богдановича: «При Наполеоне, кажется, недавно, однако ж было совсем иное: каждый мальчик думал быть героем, каждый мясник, разрубая быка, толковал о великой нации и мечтал о всемирной, т. е. Французской, монархии. А Мирабо? А Неккер? А Людовик XV и ничтожной памяти Регент? Разве не настраивалась Франция по их камертону?» (МТ, 1832, ч. 44, № 7, с. 380). Регент — Филипп II Орлеанский (1674—1723), опекун малолетнего короля Франции Людовика XV (1710—1774); эпоха его регентства — 1715—1723.

[72] Кюхельбекер цитирует с небольшими сокращениями статью Кс. Полевого — МТ, 1832, ч. 44, № 7, с. 383.

[73] Запись восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». *...отрывок из романа Альфреда де Виньи «Стелло»...* — Под заглавием «Андрей Шенье. Повесть, рассказанная Черным Доктором» — МТ, 1832, ч. 46, № 13, с. 27—64, № 14, с. 168—216, № 15, с. 316—361, № 16, с. 490—522. «Стелло, или Голубые бесы» — роман А. де Виньи 1832 г.; основная его проблема — трагическое положение гениального поэта в обществе, ничтожном и неспособном понять его. *Шенье* Андре-Мари (1762—1794) — французский поэт и публицист, выразивший мятежное состояние духа человека предреволюционной поры, но не принявший якобинскую диктатуру и казненный за два дня до ее падения.

[74] *В 1832 году издали свои стихотворения Гнедич и Давыдов.* — Кюхельбекер узнал об этом из раздела «Современная библиография» МТ, 1832: ч. 46, № 13, с. 77—84 — разбор книги «Стихотворения Дениса Давыдова» (М., 1832) и ч. 47, № 18, с. 245—252 — разбор «Стихотворений Н. Гнедича» (СПб., 1832).

[75] *...о «Наполеоне» Дюмаса...* — Статья Н. А. Полевого о драме Александра Дюма «Наполеон Бонапарт, или Тридцать лет из истории Франции» (1831), изданной в русском переводе (М., 1832) — МТ, 1832, ч. 46, № 15, с. 407—412.

[76] *...получил я... «Тасса» Кукольника.* — Драматическая фантазия «Торквато Тассо» Нестора Васильевича Кукольника (1809—1868), написанная и изданная в 1833 г.

[77] *Сколько перемен во мнениях... даже у нас в России!* — «Московский телеграф» Н. А. Полевого (1825—1834) был самым смелым русским журналом, проникнутым вольнолюбивым духом. Впоследствии В. Г. Белинский скажет, что «заслуги Полевого так велики, что при мысли о них нет ни охоты, ни силы распространяться о его ошибках». В 1834 г. неугодный правительству журнал был запрещен. Министр народного просвещения С. С. Уваров в беседе с цензором А. В. Никитенко так оценивал деятельность ненавистного ему литератора: «Надо было отнять у него право говорить с публикою... Впрочем, известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены. Полевой хотел быть органом их... С Гречем или Сенковским я поступил бы иначе: они трусы, им стоит погрозить гауптвахтою, и они смирятся. Но Полевой — я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть все за идею» (*Никитенко А. В.* Дневник, т. I. М., 1955, с. 141).

[78] *Уланд, Берне, Менцель и Гейне... — нынешние корифеи немцев.* — *Уланд* Иоганн Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик и исследователь литературы, бывший, по словам Г. Гейне, «ревностным представителем народа, смелым поборником гражданского равенства и свободы духа». *Берне* Людвиг (1786—1837) — немецкий публицист. Его «Письма из Парижа» (1830—1834) о французской революции, по словам Г. Гейне, прозвучали как «колокол революционной бури». Берне был идейным руководителем группы писателей радикального направления «Молодая Германия». *Менцель* Вольфганг (1798—1873) — немецкий писатель и критик, в 1820-е гг. казавшийся читателям радикалом и оппозиционером, критиковавший Гете и пр. После французской революции 1830 г. перешел на сторону реакции. Об этих поэтах и о духе новой немецкой поэзии на страницах МТ 1832 г. говорилось в статье Э. Кине «Будущая участь словесности и изящных искусств в Германии» (ч. 47, № 17, с. 3—19).

[79] *...суждение Полевого о книге... Ор. Новицкого...* — Статья Н. А. Полевого «„О духоборцах“. Сочинение студента Киевской духовной академии Ореста Новицкого. Киев, 1832» — МТ, 1832, ч. 48, № 21, с. 64—88.

[80] *...рассуждение Виктора Гюго о поэзии.* — Статья В. Гюго «О поэзии древних и новых народов» — МТ, 1832, ч. 47, № 19, с. 297—331, № 20, с. 435—471.

[81] *«Красный Корсар»* — роман Ф. Купера. Кюхельбекер читал роман во французском переводе, мог он познакомиться с ним и по отрывкам, которые печатались в СО, 1831, ч. 24 (146), № 46—47 под названием «Красный морской разбойник».

[82] *«Кормчий» Купера* — печатался в отрывках в СО, 1831, ч. 21 (143), № 28, с. 69—85, № 29, с. 129—146 под заглавием «Кораблекрушение. Отрывок из Куперова романа „Лоцман“». Однако, судя по транскрипции имен, Кюхельбекер читал роман во французском переводе.

[83] *Иосиф Флавий* (ок. 37—ок. 95) — иудейский историк Иосиф бен Матафие; будучи военачальником иудеев во время войны с римлянами 66—73 гг., перешел на сторону врага. В Риме им были написаны «История Иудейской войны», «Иудейские древности» и др. В «Истории Иудейской войны», которую, очевидно, читал Кюхельбекер, описываются события от взятия Иерусалима царем Антиохом Епифаном в 167 г. до н. э. до разгрома Иудеи 73 г. н. э. В руках Кюхельбекера было, по-видимому, немецкое издание Флавия.

[84] *Шмальц* Мориц Фердинанд (1785—1860) — немецкий богослов, протестантский проповедник.

[85] *...изложение жития... эссеян...* — Эссеяне (эссеи) — члены тайного религиозного еврейского общества, возникшего около 150 г. до н. э. Они проповедовали любовь к ближнему, общность имущества и смирение.

[86] *...к гернгутерам, квакерам* и *духоборцам нашего времени.* — *Гернгутеры* — «богемские (или моравские) братья», религиозная секта, возникшая в XV в. и проповедовавшая учение о справедливости и равенстве. *Квакеры* — члены христианской протестантской секты, основанной в середине XVII в. в Англии. *Духо-*

борцы — религиозная секта, возникшая в середине XVIII в. и распространенная в России и Канаде.

[87] *Рассуждение Вольфг‹анга› Менцеля о Шиллере и Гете* — СО, 1831, ч. 17 (139), № 7, с. 397—410; ч. 18 (140), № 8, с. 17—32, № 9, с. 91—104, № 10, с. 145—161, № 11, с. 207—222, № 12, с. 274—289. Статья под заглавием «Шиллер и Гете» является изложением взглядов Менцеля В. Дмитриевым с эпиграфом из Веневитинова.

[88] Продолжение записи от 13 июня восстановлено по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера» (ЛН, т. 33—34. М., 1939).

[89] *Развитием модернизма должны быть романы Альфреда де Виньи, Гюго и их последователей (напр., «Notre Dame de Paris»)...* — О знакомстве Кюхельбекера с творчеством А. де Виньи и Гюго по МТ см. примеч. № 22 и 26 к записям 1834 г. Отрывки из романа В. Гюго «Собор парижской богоматери» Кюхельбекер читал в МТ, 1831, ч. 40, № 13 и № 15 и СО, 1831, ч. 24 (146), № 48, с. 194—211, № 49, с. 257—280. Термином «модернизм» Кюхельбекер, следуя за Менцелем, называет современную литературу, изображающую современную жизнь.

[90] *Записки покойной Елены Сергеевны Т‹елепне›вой* — «Ежедневные записки русской путешественницы в 1827 и 1828 годах» — СО, 1831, ч. 17 (139), № 1, с. 3—17, № 2, с. 65—77, № 3, с. 121—138, № 5, с. 241—256, № 6, с. 309—334; ч. 20 (142), № 24, с. 197—213, № 25 и 26, с. 261—281; ч. 21 (143), № 27, с. 3—21. Телепнева Елена Сергеевна (1808—1828) — одаренная девушка, умершая в Праге во время заграничного путешествия; дневник она вела для оставшейся в России бабушки.

[91] *«Наезды» с подписью А. Б.* — «Наезды. Повесть 1613 года» А. А. Бестужева (Марлинского) — СО, 1831, ч. 17 (139), № 7, с. 377—397; ч. 18 (140), № 8, с. 3—16, № 9, с. 73—91, № 10, с. 129—145, № 11, с. 193—207, № 12, с. 261—273, № 13, с. 329—341, № 14, с. 385—397; ч. 19 (141), № 15, с. 3—20, № 16, с. 65—84.

[92] *Есть и стихи Марлинского...* — В СО 1831 г. А. А. Бестужевым напечатаны стихотворения «Из Гете» («Реют ласточки весною...») — № 18, с. 281; «Саатырь. (Якутская баллада)» — № 18, с. 205—211; «Нине» — № 24, с. 246; «Каждому свое (из Гете)» — № 22, с. 116; «Магнит (из Гете)» — № 19, с. 281; «Дождь» — № 24, с. 246; «Обновление» — № 22, с. 115; «Каспийское море. Элегия» — № 17, с. 161—163; «Эпиграммы» — № 24, с. 246; «Приписки к богатому надгробию в бедности умершего поэта» — № 24, с. 245.

[93] *...отрывок ее романа...* — Отрывок романа Варвары Семеновны Миклашевичевой (1772—1846) «Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия» — СО, 1831, ч. 19 (141), № 19, с. 229—238, № 20, с. 289—296, под заглавием «Отрывок из нового романа».

[94] Запись восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «В. К. Кюхельбекер» — Лит. современник, 1938, № 10.

[95] *Этот анекдот находится в «Истории Пруссии» Камилла Паганеля...* — СО, 1831, ч. 20 (142), № 21, с. 33—52, под заглавием «Царствование Фридриха I». Кюхельбекер цитирует (неточно) с. 43—44. *Паганель* Камилл-Пьер-Алекс (1797—1859) — французский литератор и политический деятель. *София-Шарлотта* (1668—1705) — прусская королева, философ, супруга Фридриха I.

[96] *Именинник* — Иван Иванович Пущин.

[97] *...разбор «Бориса Годунова»* В. Т. Плаксина — СО, 1831, ч. 20 (142), № 24, с. 213—230, № 25—26, с. 281—294; ч. 21 (143), № 27, с. 22—37, № 28, с. 85—96, под загл. «Замечания на сочинение А. С. Пушкина „Борис Годунов“».

[98] *...еще разбор «Бориса Годунова»...* — Статья И. Среднего-Камашева «Еще о „Борисе Годунове“, стихотворении А. С. Пушкина» — СО, 1831, ч. 23 (145), № 40, с. 100—115, № 41, с. 170—180.

[99] *«Изображение характера и содержания истории трех последних столетий»*, исторический труд И. П. Шульгина — СО, 1831, ч. 20 (142), № 24, с. 231—245; ч. 21 (143), № 29, с. 147—160, № 30, с. 212—225, № 31, с. 286—295, № 32, с. 347—363; ч. 22 (144), № 33, с. 16—33, № 34, с. 80—99, № 35, с. 146—164, № 37, с. 291—309; 1832, ч. 27 (149), № 15, с. 37—47, № 19, с. 275—287; ч. 31 (153), № 42, с. 102—114; ч. 32 (154), № 47, с. 31—52. О Шульгине см. также примеч. 126, 134, 144.

[100] *Повесть Марлинского «Лейтенант Белозор»* — СО, 1831, ч. 22 (144), № 34, с. 65—80, № 35, с. 129—146, № 36, с. 193—207, № 37, с. 257—272, № 38, с. 321—335; ч. 23 (145), № 39, с. 3—20, № 40, с. 65—80, № 41, с. 129—145, № 42, с. 193—215. *...пляска букв и игра в мячики мертвецов* — № 38, с. 322—328 (влюбленному герою кажется, что пляшут буквы в письме, которое он пишет жестокой возлюбленной. Беспорядок в письме автор сравнивает с картиной кладбища из старинной сказки о мертвецах, игравших в мячики собственными головами и перепутавших головы от испуга, когда добрый молодец закричал петухом).

[101] Запись от 2 июля восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера» (ЛН, т. 33—34. М., 1939). *Повесть Бальзака «Рекрут»* — СО, 1832, ч. 30 (152), № 36, с. 121—150, подпись переводчика — О. (т. е. О. М. Сомов).

[102] *«Приключения американского путешественника».* — Рассказ о приключениях Росса Кокса, прожившего пять лет среди индейцев — СО, 1832, ч. 31 (153), № 44, с. 216—238, № 45, с. 270—286, № 46, с. 335—353; пер. Я. Турунова из «Revue des deux Mondes».

[103] *Фонтаней, разбирая сочинения Карла Нодье...* — В статье «Сочинения Карла Нодье» — СО, 1832, ч. 32 (154), № 48, с. 109—123. *Нодье* Шарль (1780—1844) — французский писатель. *«Почитаю бредни Мишеля...»* — цитата, с. 117.

[104] Запись восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера».

[105] *Знакомлюсь хоть несколько с духом нынешней французской словесности.* — В СО 1832 г. Кюхельбекер читал повести французских писателей буквально в каждом номере. По свидетельству Ю. Н. Тынянова, в дневнике содержались отметки о чтении произведений Альфонса Ройе (1803—1875) — очевидно, «Баунсберг угольщик, неправдоподобная повесть» (№ 47, с. 3—24, № 48, с. 69—87, пер. О. М. Сомов) и Жакоба Библиофила (Лакруа Поля, 1806—1884) — «Поцелуй. Историческая повесть» (№ 41, с. 3—20, № 42, с. 62—87). Кроме того, очевидно, Кюхельбекер прочел повести и рассказы французских писателей «Монфермельская молочница» и «Белый дом» Поль де Кока, «Этрусская ваза» П. Мериме, «Рекрут», «Шагреневая кожа» и отрывок из повести «Сарразин» под загл. «Два портрета» О. Бальзака, «Красная роза» А. Дюма, отрывок из повести Э. Сю «Кернок» под загл. «Сцена на море. Пирушка», «Молодая маркитантка» Ст. Макера, «Парижанка» А. Басте и др.

[106] *...андалузское предание Евгения Сю «Вороной конь и белый пес»* — СО, 1832, ч. 31 (153), № 46, с. 317—334.

[107] *...речь магистра священника Николая Раевского при окончании курса Второй с.-петербургской гимназии* — СО, 1832, ч. 32 (154), № 52, с. 325—340. Раевский Николай Федорович (ум. 1857) — законоучитель и духовный писатель.

[108] *...после нелепиц какого-то фанатика* — т. е. после произведения «Иона Фадеевич, нравоописательный и нравоучительный роман», подпись: М. — СО, 1832, ч. 32 (154), № 49, с. 137—178.

[109] *Повесть «Вывеска»* французского писателя Раймонда Мишеля (1766—1837) из 2-й части повести «Daniel le Lapidaire, contes de l'atelier» (пер. О. М. Сомова) — СО, 1832, ч. 29 (151), № 32, с. 305—317; ч. 30 (152), № 34, с. 3—23, № 35, с. 65—83, № 37, с. 185—207, № 38, с. 249—273, № 39, с. 313—327, № 40, с. 373—389.

[110] *Повесть Марлинского «Латник»* — СО, 1832, ч. 25 (147), № 1, с. 3—23, № 2, с. 65—88, № 3, с. 129—151, № 4, с. 193—215.

[111] *«Ночь накануне Рождества Христова»*, повесть немецкого писателя Эрнста Бенжамена Соломона Раупаха (1784—1852) — СО, 1832, ч. 25 (147), № 7, с. 387—402, ч. 26 (148), № 8, с. 3—20, № 9, с. 61—79, № 10, с. 128—140.

[112] *...отрывок из Бальзакова романа...* — «Шагреневая кожа», СО, 1832, ч. 27 (149), № 18, с. 173—194.

[113] *...отрывок из... «Монфермельской молочницы»* Поль де Кока — СО, 1832, ч. 26 (148), № 13, с. 319—330, № 14, с. 387—400; ч. 27 (149), № 15, с. 3—24, пер.

Н. Шигаев. «Второй отрывок из романа „Монфермельская молочница“» — СО, 1832, ч. 28 (150), № 25, с. 253—267.

[114] *...сцены из драмы Розена «Баторий и Россия»* — СО, 1832, ч. 26 (148), № 13, с. 365—373, под загл. «Отрывок из исторической драмы „Россия и Баторий“» Е. Ф. Розена.

[115] *«Этрусская ваза»*, новелла Проспера Мериме (1803—1870) 1830 г. — СО, 1832, ч. 27 (149), № 16, с. 57—76, № 17, с. 109—130, пер В. Романович.

[116] *...отрывок из Куперова романа «Браво»* (1831 г.) — СО, 1832, ч. 26 (148), № 11, с. 187—210, пер. Е. Коведяев. Демократический характер этого романа из прошлого Венеции в 1839 г. будет отмечен В. Г. Белинским.

[117] *...окончание повести Дюмаса «Красная Роза»...* — СО, 1832, ч. 27 (149), № 20, с. 297—321; ч. 28 (150), № 21, с. 3—21, № 22, с. 65—80, № 23, с. 129—143. Это история казни юной вандеянки Бланки по приказу Карье в Нанте. Робеспьер подписал ее помилованье, но оно было доставлено в тот момент, когда палач поднял над толпой отрубленную голову, истекающую кровью.

[118] Запись от 17 июля восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». *...отрывок из... повести «Сарразин»* О. Бальзака в переводе О. М. Сомова под названием «Два портрета» — СО, 1832, ч. 28 (150), № 26, с. 321—348.

[119] Запись от 18 июля восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Прокофий Ляпунов. Трагедия Кюхельбекера» — Лит. современник, 1938, № 1, с. 3—23.

[120] *«Сказания современников о Димитрии Самозванце»* (ч. 1—5, СПб., 1831—1834) — собрание мемуаров и документов, составленное, переведенное и откомментированное историком Николаем Герасимовичем Устряловым (1805—1870). В него вошли извлечения из книги Жака Маржерета «Состояние Российской державы и Великого княжества московского, с присовокуплением известий о достопамятных событиях четырех царствований, с 1590 года по сентябрь 1606 г.», М. Бера «Летопись московская с 1584 года по 1612», «Дневник происшествий московских и посольства в Москву...» Николая Олесницкого и Александра Корвина Гонсевского, «Записки о путешествии из Кракова в Москву и обратно, с 19 марта 1606 г. по 15 декабря 1608 г.» Ганса Георга Паерле, «Дневник Марины Мнишек...» Авраама Рожнятовского, «Сказания о Димитрии Самозванце» Жака Огюста де Ту, «Дневник 1594—1621» Самуила Маскевича.

[121] *Записки Курбского* — «Сказания князя Курбского», ч. 1. СПб., 1833, изд. Н. Г. Устрялова. Курбский Андрей Михайлович (1528—1583) — князь, военачальник и сподвижник, затем, с 1564 г., враг Иоанна IV Грозного.

[122] *«Описание Малороссии» Боплана* — «Описание Украины от пределов Московии до границ Трансильвании, составленное Гильомом Левассер-де Боплан». СПб., 1832, пер. Н. Г. Устрялова. Боплан Гильом (1630—1673) — французский военный инженер и картограф.

[123] *«Примирение»*, переводная с немецкого повесть — СО, 1832, ч. 29 (151), № 29, с. 125—152, № 30, с. 189—211, № 31, с. 249—261. Пер. Ег. Ал. (очевидно, Егор Аладьин).

[124] *«Полуденный жар»* — СО, 1832, ч. 29 (151), № 28, с. 61—83, без подписи.

[125] *«Взгляд на состояние Римской империи при появлении христианства»* Дмитрия Петровича Соснина (ум. 1833) — СО, 1832, ч. 29 (151), № 30, с. 222—241, № 31, с. 261—278. Точное название статьи — «Взгляд на состояние Римской империи и мира во время явления и первоначального распространения христианской религии».

[126] *Шульгин* Иван Петрович (1795—1869) — историк, профессор и ректор Петербургского университета. Кюхельбекер знал и любил Шульгина еще в Лицее, где он преподавал историю в 1816—1817 гг.

[127] *«Извлечение из „Физики“ Велланского».* — Статья Даниила Михайловича Велланского (1774—1847), врача и философа-шеллингианца, профессора по кафедре анатомии и физиологии, — «Краткое извлечение из „Физики“ академика Велланского, 1831 года, С.-Петербург» — СО, 1832, ч. 28 (150), № 24, с. 212—243, № 25, с. 268—295, № 26, с. 349—358.

[128] По свидетельству Ю. Н. Тынянова, в этот же день Кюхельбекер читает записки Ж. Маржерета (из «Сказаний современников о Димитрии Самозванце», см. примеч. 120).

[129] *«Мастерская улицы Западной в Париже»* Э.-Г.-Х. Корделье де ла Ну (1806—1854), переведенная с французского О. М. Сомовым — СО, 1833, ч. 33 (155), № 4, с. 189—210.

[130] *«Г-жа Фирмиани»,* повесть О. Бальзака 1832 г. — СО, 1833, ч. 33 (155), № 1, с. 3—35. Пер. О. М. Сомова.

[131] *Булгарина письмо о русской литературе...* — Статья «Письма о русской литературе». «Письмо I к В. А. Ушакову, в Москву» — СО, 1833, ч. 33 (155), № 1, с. 45—52; «Письмо II. О характере и достоинстве поэзии А. С. Пушкина» — там же, № 6, с. 309—326. *«Есть и будет множество подражателей Пушкина...»* — сокращенная цитата, с. 317. Мнение Ф. В. Булгарина о «Демоне» Пушкина — с. 321. Цитата: *«...писатель без мыслей... есть просто гударь...»* — с. 322—323.

[132] *Брат мой женится или, вероятно, уж женат.* — М. К. Кюхельбекер женился 3 июня 1834 г. на Анне Степановне Токаревой, баргузинской мещанке. В этом браке у них было две дочери: Анна (1834 или 1835 г. рожд.; 13 февраля 1836 г. Кюхельбекер пишет о ней как о ребенке, который еще не говорит и не ходит) и Юстина, 1836 г. рожд. До брака у А. С. Токаревой был сын, отданный на воспитание в крестьянскую семью и вскоре умерший, которого крестил М. К. Кюхельбекер. «Кумовство» супругов послужило причиной расторжения их брака постановлением Синода в 1837 г. М. К. Кюхельбекер был выслан из Баргузина, но вскоре вернулся; брак сохранялся как «гражданский».

[133] Продолжение записи от 26 июля восстановлено по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». *Мое уважение к Бальзаку очень велико...* — Кроме упоминавшихся выше произведений Бальзака Кюхельбекер читал в СО на 1833 г. еще повести «Палермский монах», «Ростовщик Корнелиус», «Красный трактир». По свидетельству Ю. Н. Тынянова, запись от 26 июля была вызвана чтением очерка О. Бальзака «Путешествие из Парижа в Яву, по методе, изложенной г-ном К. Нодье в его „Истории Богемского короля и семи замков его“, в главе, имеющей предметом разные способы перевозки у древних и новых народов» — СО, 1833, ч. 33 (155), № 5, с. 253—272.

[134] *...в статье «Состояние исторического мира в V и VI столетиях»...* — В главе из книги историка Ивана Петровича Шульгина «Изображение характера и содержания истории трех последних столетий» — СО, 1833, ч. 33 (155), № 7, с. 418—427; ч. 34 (156), № 8, с. 18—34. Цитата (сокращенная) — с. 422.

[135] *Повесть «Полюбовная сделка»,* переводная с франц., с посвящением А. Д. Илличевскому — СО, 1833, ч. 38 (160), № 35—36, с. 97—141, № 37—38, с. 197—225, подпись переводчика Н. Ш.

[136] Запись от 31 июля восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». *«Ростовщик Корнелиус»* — повесть Бальзака 1831 г. — СО, 1833, ч. 38 (159), № 28, с. 73—98, № 29—30, с. 129—156, № 31—32, с. 229—258; ч. 39 (160), № 33—34, с. 3—25.

[137] *Шиллеров «Самозванец»* — незаконченная трагедия Шиллера «Димитрий» 1805 г. В архиве Кюхельбекера сохранился перевод 1-й сцены трагедии.

[138] *«Красный трактир»,* повесть Бальзака 1831 г. — СО, 1833, ч. 39 (161), № 41, с. 3—63.

[139] Начало записи от 2 августа восстановлено по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера».

[140] *Из показаний, снятых В. И. Шуйским об убиении Димитрия...* — О расследовании убийства Димитрия В. И. Шуйским говорится во 2-й гл. X т. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина и в «Сказаниях современников о Димитрии Самозванце», собранных Н. Г. Устряловым. На основании показаний Михаила Нагого Карамзин пришел к выводу о виновности Бориса Годунова в убийстве, осуществленном руками Осипа Волохова, Данилы Битяговского и Никиты Качалова; вывод посланных на расследование Андрея Клешнина и В. И. Шуйского о нечаян-

ном самоубийстве Димитрия «от небрежения Нагих» Карамзин считал заведомо ложным. *Битяговские* — Данило Михайлович и дьяк Михаил. *Вдовствующая царица* — Мария Федоровна Нагая, седьмая жена Иоанна IV Грозного.

[141] *М. Бер* — пастор лютеранской церкви в Москве; под его именем издана «Летопись московская с 1584 года по 1612», вошедшая в 1-ю часть «Сказаний современников о Димитрии Самозванце» Н. Г. Устрялова. Другим автором «Летописи» является Конрад Буссов, немецкий наемный ландскнехт, с 1601 по 1611 г. служивший Борису Годунову, Лжедмитриям I и II, Сигизмунду III.

[142] *Леонид* — один из спутников Григория Отрепьева на пути в Литву, беглый инок Крыпецкого монастыря, которому Григорий приказал называться своим именем, объявив себя Димитрием. В дальнейшем присоединился к войску Лжедмитрия под именем Григория Отрепьева.

[143] *...в повести Кордельe де ла Ну* — См. примеч. 129.

[144] *...еще статья Шульгина...* — «Феодальная система», отрывок из книги И. П. Шульгина «Изображение характера и содержания истории трех последних столетий» — СО, 1833, ч. 38 (160), № 39—40, с. 340—355.

[145] *Боплан* — См. примеч. 122.

[146] *Наш Николай Михайлович искренно верит...* — О переговорах Ивана III Васильевича и татарского хана Менгли-Гирея по поводу выдачи Нордоулата рассказывается в VI т., гл. 2 «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

[147] *...обещают нам 500 рублей — кое за какие carmina.* — Речь идет, очевидно, о предстоящих публикациях произведений Кюхельбекера — либо об «Ижорском», который готовился к печати и вышел в 1835 г., либо, скорее всего, о публикации в БдЧ сказки «Пахом Степанов» (1834, т. 5, с. 221).

[148] *Герберштейн* Сигизмунд фон (1486—1566) — посол Венского двора в Москве в начале XVI столетия, автор книги «Записки о московитских делах», впервые изданной в Базеле в 1556 г.

[149] *Афанасий Никитин* (ум. 1472) — тверской купец, совершивший путешествие в Индию. Автор книги «Хожение за три моря», выписка из которой — в 7-й гл. VI т. «Истории государства Российского», № 629.

[150] *...это трагедия, и какая!* — 1-я гл. VII т. «Истории государства Российского» посвящена 1505—1509 гг., годам великого княжения Василия Иоанновича, заключившего в темницу законного наследника престола Димитрия Ивановича (своего племянника), проводившего ловкую и мудрую внешнюю политику лавирования между Литвой и крымскими татарами. Конец главы посвящен разгрому Псковского веча и отмене псковских гражданских вольностей: «...ужас господствовал и плач не умолкал во Пскове».

[151] *Следующею небольшою пиэсою...* — Стихотворением «Родство со стихиями».

[152] *Читаю «Вертера».* — Роман И. В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774) Кюхельбекер предпочитает поздним произведениям Гете — «Годы странствий Вильгельма Майстера» (1821—1829 гг.) и книге воспоминаний «Из моей жизни. Поэзия и правда» (1829—1832).

[153] *«Эпименид»* — пьеса Гете 1815 г. «Пробуждение Эпименида», написанная по случаю низвержения Наполеона.

[154] *...легкие...* — Возможно, описка переписчика; в дальнейшем Кюхельбекер употребляет термин «мелкие» стихотворения Пушкина. Речь идет о третьей части «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1832).

[155] *...прочел Кукольника драму.* — «Рука всевышнего отечество спасла» (СПб., 1834).

[156] *...сцены из комедии «Вражда и любовь»* П. А. Катенина так же, как в дальнейшем *мелкие стихотворения* Катенина, Кюхельбекер читал по изданию «Соч. и переводы в стихах Павла Катенина» (ч. 1—2, СПб., 1832).

[157] *«Тартини»* Н. В. Кукольника Кюхельбекер читал в отдельном издании — СПб., 1834.

[158] *...следующие куплеты...* — Начало стихотворения «Три именинницы», законченного 25 сентября и посвященного именинницам Юстинам — матери, сестре и племяннице.

[159] Исповедь поэта в письмах к племянницам Наташе и Саше — признание в состоянии «угрюмой хандры» и сомнениях в собственном поэтическом даре — см. письмо к А. Г. Глинке от 25 сентября 1834 г.: ЛН, т. 59. М., 1954, с. 444—445.

[160] *Несправедливость Карамзина к Шуйскому истинно возмутительна.* — О царствовании Василия Иоанновича Шуйского говорится в XII т. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым Годуновым: лицемером, а не героем добродетели» (гл. 1). *«Василий взял святое бремя...»* — цитата (с сокращениями) — гл. 1, т. XII.

[161] Запись от 28 сентября восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Прокофий Ляпунов. Трагедия Кюхельбекера» — Лит. современник, 1938, № 1. Об осаде Троицкой лавры войском поляков Лжедмитрия II говорится во 2-й гл. XII т. «Истории государства Российского» Карамзина. Осада и героическая оборона Троице-Сергиевской лавры силами народа и иноков монастыря продолжалась шестнадцать месяцев, с осени 1608 г. по 12 января 1610 г.

[162] *Книга Каменского* — «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого» (ч. 1—2, М., 1812—1813), историка Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского (1788—1850).

[163] В статье Ю. Н. Тынянова «Прокофий Ляпунов» содержатся сведения о записи от 16 октября 1834 г.: «Вслед за записью о том, что продолжает второе действие своей трагедии, пометил: „17 октября <...>“». Далее следует текст записи от 17 октября.

[164] *«Библиотека»* — Журнал «Библиотека для чтения», основанный О. И. Сенковским в 1834 г., Кюхельбекер получил 18 октября 1834 г. от племянников Бориса и Николая. К моменту освобождения (апрель 1836 г.) им было прочитано 17 томов журнала. Первые впечатления от БдЧ, которые, очевидно, составляли содержание записи от 18 октября, могут быть воссозданы по письму Кюхельбекера к племянникам, написанному в этот же день: «...бью вам челом за „Библиотеку“, этот подарок меня очень и очень обрадовал». Он начинает чтение с собственного стихотворения «Пахом Степанов» (т. 5) и со стихотворения Пушкина «Гусар» (т. 1): «Что скажете? — спрашивает он об этом стихотворении племянников. — По моему мнению, журналисты с ума сходили, когда было начали нас уверять, будто Пушкин остановился, даже подался назад. В этом „Гусаре“ гетевская зрелость таланта. Если Полевые этого не чувствуют, тем хуже для них» (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 447).

[165] *«Пиковая дама»* А. С. Пушкина — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 2, с. 109—140.

[166] *«Отрывок из записок Гомозейки»* — «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки» В. Ф. Одоевского — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 2, с. 192—211.

[167] *...прочел... критику драмы «Рука всевышнего отечество спасла» и «Самозванца» Хомякова.* — Критическую статью О. И. Сенковского «„Димитрий Самозванец“, трагедия в пяти действиях, в стихах, сочинение А. Хомякова. М., 1833 (1834). „Рука всевышнего отечество спасла“, драма из отечественной истории в пяти актах в стихах, сочинение Н. К., писанное в октябре 1832 года. СПб., 1834» — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 5, с. 45—76.

[168] *...сцена между Марфою и Антонием бесподобна...* — Психологически сложная сцена в драме Хомякова «Димитрий Самозванец», где слепец Антоний, посланный В. Шуйским в келью постриженной под именем Марфы царицы, уговаривает ее отречься от Лжедмитрия и не признавать его своим сыном. Но Марфа уже дала Лжедмитрию слово и назавтра должна признать его всенародно. Она сделала это, чтобы вернуться из монастыря к жизни и вновь обрести сына и трон. Антоний переубеждает Марфу, взывая к памяти мертвого истинного сына, от которого мать отреклась во имя расстриги.

[169] *...есть еще другой «Торквато Тассо»...* — Драма М. Д. Киреева, изданная и поставленная в Петербурге в 1833 г. О ней писал Сенковский в рецензии на драму барона Розена «Россия и Баторий», «Торквато Тассо» Кукольника и одноименную драму неизвестного ему автора — БдЧ, 1834, т. 1, отд. 5, с. 1—41.

[170] *...о смерти Гнедича, Сомова, Мартынова.* — Н. И. Гнедич, О. М. Сомов и И. И. Мартынов умерли в 1833 г. Мартынов Иван Иванович (1771—1833) — директор

Департамента народного просвещения, эллинист, латинист, знакомый Кюхельбекеру еще с лицейских лет, так как посещал лицейские экзамены и занимался с лицеистами латинской и русской словесностью. *Всех более мне жаль Гнедича...* — В письме к племянникам Кюхельбекер писал о том же: «Жаль. Покойник был в полном смысле человек, каких у нас очень, очень мало: ученый и литератор истинно европейский, в то же время не без поэтического дара, хотя и не творческого; русский язык знал он превосходно, а это на Руси — cosa rara ‹редкий случай (лат)›. Мы были с ним когда-то друзья, и друзья, как говорится, закадычные! Потом... Но de mortibus nihil nisi bene» ‹О мертвых ничего, кроме хорошего (*лат.*)› (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 448).

171 *...приговор... новейшим французским писателям.* — «Мнение известного английского журнала „Edinburgh Review" о нынешней французской словесности» — БдЧ. 1834, т. 1, отд. 2, с. 52—78.

172 *...разбор трагедии «Россия и Баторий» и Кукольниковой фантазии.* — Статья О. И. Сенковского (подписанная Тютюнджю-оглу) «1. „Россия и Баторий", историческая драма в 5 д., соч. барона Розена. СПб., 1833; 2. „Торквато Тассо", большая драматическая фантазия, в стихах, соч. Н. К. СПб., 1833; 3. „Торквато Тассо", драма. СПб., 1833» — БдЧ, 1834, т. 1, отд. 5, с. 1—41. *«...не должно позволять себе...* — цитата, с. 3. *Хорошо то, что говорит он об Иоанне* — с. 7—11.

173 *«Вся женская жизнь в нескольких часах.* Повесть, исполненная философии» О. И. Сенковского — БдЧ, 1834, т. 1. отд. 1, с. 33—114.

174 *...хорош отрывок, помещенный... в... разборе этой пиэсы.* — Отрывок из драматической фантазии Н. В. Кукольника «Джакобо Санназар» в статье О. И. Сенковского «Санназар, драматическая фантазия Н. В. Кукольника» — БдЧ, 1834, т. 6, отд. 5, с. 1—14.

175 *...статья о книге Галича «Картина человека»* — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 6, с. 20—36. Книга А. И. Галича — «Картина человека. Опыт наставительного чтения о предметах самопознания, для всех образованных сословий». СПб., 1834.

176 *Повесть Булгарина «Первая любовь.* Рассказ старого воина в обществе молодых людей, столичных жителей» — БдЧ, 1834, т. 1, отд. 1, с. 115—148. Очерк Ф. В. Булгарина «Петербургская чухонская кухарка, или Женщина на всех правах мужчины. La femme émancipée des St.-Simoniens. Эпилог к философическим глупостям XIX века» — там же, т. 6, отд. 1, с. 88—99.

177 *«Молитва»* — стихотворение «Моя молитва» И. И. Козлова — БдЧ, 1834, т. 1, отд. 1, с. 1—3.

178 *«Жизнь Наполеона»* — исторический труд Вальтера Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта», изданный на английском и французском языках в 1827 г. Тогда же отрывки из него печатались в СО, т. 115, № 18—20, под загл. «Отрывки из жизнеописания Наполеона». В 1832 г. книга В. Скотта вышла на русском языке, и СО вновь печатал из нее большие отрывки (ч. 25, т. 147, № 1—4). Кюхельбекер мог читать также статью об этой книге Кс. Полевого в МТ, 1833, ч. 50—51.

179 *«Брамбеус и юная словесность»,* статья О. И. Сенковского — БдЧ, 1834, т. 3, отд. 1, с. 33—60.

180 *«Вечер на Хопре»* М. Н. Загоскина — БдЧ, 1834, т. 3, отд. 1, с. 61—180.

181 *«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»* А. С. Пушкина — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 1, с. 1—96.

182 *«Знакомство с Каменским»* — отрывок из записок Дениса Васильевича Давыдова «Знакомство с фельдмаршалом графом Каменским» — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 1, с. 19—31. *Каменский* Михаил Федотович (1732—1809) — фельдмаршал, участвовал в русско-турецких и первой русско-французской войнах.

183 *Разбор «Мазепы» Булгарина* — статья О. И. Сенковского о романе Ф. В. Булгарина «Мазепа» — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 5, с. 1—45.

184 *Греча повесть «Отсталое»* — «Отсталое. Будущая повесть» Н. И. Греча — БдЧ, 1834, т. 6, отд. 1, с. 110—136.

185 *Известие о посмертных сочинениях Гете* — статья «Гете в посмертных его сочинениях». Из «Foreign Quarterly Review» — БдЧ, 1834, т. 6, отд. 2, с. 65—77.

186 *«Сикст V»,* историческая хроника С. П. Шевырева — БдЧ, 1834, т. 6, отд. 3, с. 37—77.

[187] *Жуковский переложил... Шиллеров «...Fridolin...»* — Переложение баллады «Der Gang nach dem Eisenhammer» Шиллера — «Божий суд» В. А. Жуковского (1831) — БдЧ, 1834, т. 6, отд. 1, с. 11—15.

[188] *С историческим исследованием Погодина об Иоанне Грозном...* — «Иоанн Грозный. Историческое исследование» М. П. Погодина — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 3, с. 113—140.

[189] *Статья Сенковского о сагах...* — «Скандинавские саги» — БдЧ, 1834, т. 1, отд. 3, с. 1—77. В следующем томе БдЧ Сенковский напечатал свой перевод «Эймундовой саги» с обширными примечаниями (т. 2, отд. 3, с. 1—72).

[190] *Сказка про вора и бурую корову* В. И. Даля (Казака Луганского) — БдЧ, 1834, т. 5, отд. 1, с. 195—203.

[191] *«Анекдоты» Скобелева* — «Старые анекдоты русского инвалида» И. Н. Скобелева — БдЧ, 1834, т. 4, отд. 1, с. 55—65.

[192] *«Мореход Никитин»*, повесть А. А. Бестужева (Марлинского) — БдЧ, 1834, т. 4, отд. 1, с. 65—125.

[193] *«Сельцо Дятлово»*, повесть В. А. Ушакова — БдЧ, 1834, т. 4, отд. 1, с. 125—180. В 1835 г. Кюхельбекер перечитывает ее вновь (см. запись от 22 апреля).

[194] *По разборам книги Бутковского о душевных болезнях...* — По статье О. И. Сенковского «Душевные болезни, изложенные сообразно началам нынешнего учения психиатрии в общем и частном феоретическом и практическом содержании доктором медицины Петром Бутковским. В 2-х ч. СПб., 1834» — БдЧ, 1834, т. 5, отд. 5, с. 1—16.

[195] *По разборам... Гречевой «Черной женщины»...* — По статье О. И. Сенковского «Черная женщина. Роман Николая Греча, в 4-х ч. СПб., 1834» — БдЧ, 1834, т. 4, отд. 5, с. 17—54. *...о магнетизме* — с. 27—42.

[196] *...принялся я за Шеллинга...* — По-видимому, Кюхельбекер читает сочинение Шеллинга «Философские письма о догматизме и критицизме» (1795).

[197] Запись восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». Переводная с английского статья *«О состоянии французской драмы»* — БдЧ, 1834, т. 4, отд. 2, с. 73—89. *Разбор новой трагедии Александра Дюма «Екатерина Говард»* — БдЧ, 1834, т. 4, отд. 7, с. 105—113.

[198] *Библиотечный рецензент, разбирая «Основания словесности»...* — Рецензия на книгу «Умозрительные и опытные основания словесности» (М., 1834) Андрея Гавриловича Глаголева (ум. 1844), профессора словесности и литературного критика — БдЧ, 1834, т. 4, отд. 5, с. 1—7.

[199] Запись от 25 ноября известна в пересказе Ю. Н. Тынянова в статье «Прокофий Ляпунов»: в этот день Кюхельбекер начал просматривать и исправлять переписанную рукопись драмы «Прокофий Ляпунов».

[200] *«Отечественные записки»* — годовой сборник, затем журнал, издаваемый в 1818—1830 гг. П. П. Свиньиным. *Дневник* Александра Васильевича *Храповицкого* (1749—1801), статс-секретаря Екатерины II, впоследствии сенатора, охватывающий 1782—1798 гг. его жизни, печатался в ОЗ, 1821—1827 гг.

[201] *...о китайских женщинах-поэтах...* — Статья «Китайские женщины-поэты» — БдЧ, 1834, т. 6, отд. 2, с. 57—65. Перевод из «Revue Britannique».

[202] *...о книге Низара и рецензии на эту Вилльмена...* — Статья О. И. Сенковского «Эпохи упадка словесностей. Разбор критических мнений гг. Низара и Вилльмена» — БдЧ, 1834, т. 5, отд. 2, с. 69—109. *Низар Ж.-М.-Н.-Д.* — французский эллинист, писатель; БдЧ печатала отрывок из его книги «Etudes de mouers et de critique sur les poètes latins de la décadence» (Paris, 1834) — там же, с. 17—48, под загл. «Латинские литераторы в I в. по р. х.». *Вилльмен* Абель Франсуа (1790—1870) — французский историк и критик.

[203] *Не люблю я... библиотечных рецензентов; всех их несноснее театральный...* — Театральными рецензентами БдЧ в 1834 г. были М. А. Яковлев (см. о нем примеч. 209) и сам О. И. Сенковский. *...обо всем, даже о драме Кукольника...* — Отзыв Сенковского о драме Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» (БдЧ, 1834, т. 2, отд. 5, с. 45—60) внешне был панегирическим, однако содержал похвалы прежде всего патриотической теме и возвышенным мыслям автора; о пьесе

же в целом было сказано, что это не драма, а так — «театральное представление в 5 актах».

[204] «*Любовь и Смерть*. Ночное мечтание», повесть О. И. Сенковского — БдЧ, 1834, т. 2, отд. 1, с. 141—191.

[205] Записи от 15 и 16 декабря восстановлены по статье Ю. Н. Тынянова «Прокофий Ляпунов». Здесь же Тынянов в виде мозаичной цитаты передает дальнейшее содержание записи, относящейся к работе над «Прокофием Ляпуновым»: «Кончив трагедию, Кюхельбекер сам вынужден был признать: „Единственный характер, который, быть может, несколько приближается к скучному и непоэтическому совершенству [...] — сам Прокофий". Он надеялся „на нокоторую живость", которую придадут „его физиономии" психологические черты («возвращение прежней вспыльчивости, горькие воспоминания и трагическая смерть»), а также раскаяние в низложении Василия Шуйского, но признавал, что „она, конечно, всё останется в сравнении с прочими несколько идеальною". „Собственно героем моей пиэсы Ляпунов также не может назваться, ибо мало движется, мало изменяет события: он лицо более страдательное, разумеется, в самой пиэсе, а не по воспоминаниям, которые воскрешаются пиэсою". Причина этого указывается самим Кюхельбекером — это привнесение в реальную (шекспировскую) поэтику ложной поэтики трагедии рока с обреченностью главного героя. На привнесение этой поэтики, возможно, повлияли и автобиографические черты. Таковы слова Кюхельбекера о Ляпунове в трагедии: „Погибнуть он считает своей обязанностию, так, например, как часовой должен бы считать обязанностию погибнуть на посту своем или корабельный капитан на горящем судне"».

[206] *...три повести...* — «Княжна Мими. Домашние разговоры» В. Ф. Одоевского — БдЧ, 1834, т. 7, отд. 1, с. 17—72; «Дон-Кихот XIX века» К. П. Масальского — там же, с. 149—196; «Кирджали» А. С. Пушкина — там же, с. 197—204.

[207] *Броневский* Владимир Богданович (1784—1835) — военный писатель. Разбор его книги «История Донского войска, описание Донской земли и Кавказских минеральных вод» (СПб., 1834) О. И. Сенковского — БдЧ, 1834, т. 7, отд. 5, с. 1—34.

[208] *«Молодой орел»* — стихотворение Петра Павловича Ершова (1815—1869), девятнадцатилетнего студента Петербургского университета — БдЧ, 1834, т. 7, отд. 1, с. 12—14.

[209] *М. Я.* — Яковлев Михаил Александрович (1798—1858), журналист, критик, драматург, переводчик. Кюхельбекер говорит о статье Яковлева «Русская драматургия в Петербурге» — БдЧ, 1834, т. 7, отд. 6, с. 52—68. *Лицейский* Яковлев — Михаил Лукьянович (1798—1868), лицейский товарищ Кюхельбекера, писавший стихи и бывший хранителем лицейского архива; на его квартире праздновались лицейские годовщины. В 1830-е гг. Яковлев — чиновник, директор типографии, действительный статский советник. *...об «Осаде Пскова»* — трагедия Е. Ф. Розена, поставленная в Петербурге 1 октября 1834 г. Яковлев пишет о ней в названной статье, с. 57—62.

[210] *Принесли мне Державина.* — «Сочинения Державина» в 4-х томах. СПб., 1832. «*Пожарский*, или Освобождение Москвы» — «героическое представление с хорами и речитативами» Г. Р. Державина, 1806; *«Кутерьма от Кондратьев»* — «детская комедия в одном действии с хорами», 1806. *Заруцкий* Иван Матвеевич — казачий атаман, отличавшийся корыстью и хитростью. Боярин и воевода, он перешел на сторону Лжедмитрия, а затем в 1611 г. присоединился к ополчению Прокофия Ляпунова; наложницей Заруцкого стала Марина Мнишек с условием, что он возведет на трон малолетнего сына Лжедмитрия Иоанна и будет править при нем вместе с Мариной. Заруцкий был действующим лицом драмы Державина «Пожарский» и драмы Кюхельбекера «Прокофий Ляпунов».

[211] *«Добрыня»* Г. Р. Державина — «театральное представление с музыкой», в 5 д., 1804 г.

[212] *«Кровавая луна блистала»* — Начало оды Г. Р. Державина «На выздоровление мецената», посвященной Н. И. Шувалову.

1835

[1] *8-м письмом Шеллинга* — из «Философских писем о догматизме и критицизме» (1795) Ф. В. Й. Шеллинга.

[2] *Гаман* Иоганн Георг (1730—1788) — немецкий философ и духовный писатель, автор книги «Gedanken über meinen Lebenslauf», убежденный борец с рационализмом и сенсуализмом.

[3] По свидетельству Ю. Н. Тынянова, 8 января 1835 г. в дневник было вписано стихотворение «Второй разговор с Исфраилом».

[4] Запись восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер» (ЛН, т. 16—18. М., 1934). *...описание осады и взятия приступом Ахалцыха...* — Статья Ивана Григорьевича Бурцова (Кюхельбекер ошибочно написал его отчество «Петрович») «Осада крепости Ахалцых» и ее продолжение «Приступ на крепость Ахалцых 15 августа 1828 г.» — Военный журнал, 1830, № 1, с. 15—55, № 2, с. 1—16. *Бурцов* И. Г. (1795—1829) — декабрист, участник «Священной артели», Союза спасения, Союза благоденствия и Южного общества, офицер. *Вальховский* (Вольховский) Владимир Дмитриевич (1798—1841) — лицейский товарищ Кюхельбекера, декабрист, офицер, в 1826—1829 гг. вместе с И. Г. Бурцовым участвовавший в войнах с Персией и Турцией.

[5] В [ ] приведены строки, прочтенные Тыняновым и опубликованные им со следующим объяснением: «Далее в рукописи следует восемь строк, зачеркнутых и тщательно зачерненных теми же чернилами. Строки эти мне удалось разобрать». *Братья Колошины* (Калошины) — Павел и Петр Ивановичи, члены Союза благоденствия, стихотворцы. *Семенов* Василий Николаевич (1801—1863) — лицеист второго выпуска (1814—1820), офицер, с 1830 г. цензор. Ю. Н. Тынянов высказывает предположение, что Кюхельбекер назвал имя «Василий» ошибочно, имея в виду другого Семенова — Алексея Васильевича, декабриста, члена «Священной артели». *Молодой Пущин* — Михаил Иванович (1800—1869), брат Ивана Ивановича (Жанно), воспитанник 1-го Кадетского корпуса, член «Священной артели», с. 1821 г. капитан лейб-гвардии Конно-пионерского эскадрона. После имени Жанно Пущина знаком (?) Тынянов обозначил одну непрочитанную фамилию, оканчивающуюся на -й. М. В. Нечкина высказала предположение, что это Искрицкий (Искритский) Демьян Александрович, член «Священной артели», офицер (см.: *Нечкина М. В.* Священная артель. Кружок А. Муравьева и И. Бурцова 1814—1817 гг. — В кн.: Декабристы и их время. М., 1951, с. 158—159). *Рачинский* Александр Антонович — офицер Семеновского, затем Муромского пехотного полка, член «Священной артели», свойственник Кюхельбекера.

[6] Запись от 13 января 1835 г. восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «В. К. Кюхельбекер» в изд.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. XLV.

[7] *Кульман* Елизавета Борисовна (1808—1825) — поэтесса и переводчица, отличавшаяся необыкновенной одаренностью. Она изучила 14 языков, писала стихи с семи лет, и Гете в 1821 г. пророчил ей почетное место в литературе. Е. Кульман издала сборники стихов «Венок» и «Стихотворения Коринны». В 1833 г. посмертно вышло собрание ее стихотворений в трех частях «Пиитические опыты Елисаветы Кульман». Художественный очерк Александра Васильевича Никитенко «Елисавета Кульман» — БдЧ, 1835, т. 8, отд. 1, с. 39—85.

[8] *Голиков* Иван Иванович (1735—1801) — курский купец, историк, общественный деятель, автор сочинения «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам», впервые изданного в Москве в 1788—1797 гг. (12 томов текста и 18 томов дополнений). В издании Я. Я. Штелина «Подлинные анекдоты о Петре Великом» части 3 и 4 составляют «Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные И. И. Голиковым», где находится и эпизод о турках и Карле XII под Бендерами. Карл XII — шведский король (1697—1718), потерпевший поражение от войск Петра I в Полтавской битве и бежавший с поля боя в Турцию.

[9] Записи от 27 февраля и от 1 марта восстановлены по статье Ю. Н. Тынянова «Прокофий Ляпунов. Трагедия Кюхельбекера» — Лит. современник, 1938, № 1.

[10] *...отрывок из «Воспоминаний о Сирии»...* — «Воспоминания о Сирии»

(ч. 1 — «Затмение солнца», ч. 2 — «Преступные любовники») О. И. Сенковского (псевдоним — Осип Морозов) — БдЧ, 1834, т. 5, отд. 1, с. 27—41 и 151—160. 2 марта Кюхельбекер читал второй отрывок «Воспоминаний о Сирии», 18 марта — первый

[11] Запись от 8 марта восстановлена по статье «Французские отношения Кюхельбекера» Ю. Н. Тынянова (ЛН, т. 33—34. М., 1939). *«Старик Горио»* («Отец Горио») Бальзака был напечатан в БдЧ, 1835, т. 8, отд. 2, с. 61—108; т. 9, отд. 2, с. 1—106, не только с сокращениями, но и со значительными переделками Сенковского, писавшего в примечании, что «в переводе... старались мы выражать не то, что говорит автор, но то, что он должен был бы говорить, если б чувствовал и рассуждал правильно» (с. 1).

[12] *Шеллинговы «Исследования о существе человеческой свободы»* — «Философское исследование о сущности человеческой свободы и связанных с этим вопросом предметах» — сочинение Шеллинга 1809 г.

[13] *Не ограничусь выписками отдельных мыслей...* — Запись от 21 марта свидетельствует о том, что 22—23 марта Кюхельбекер излагал в дневнике свое понимание «системы» Шеллинга, делал из него выписки.

[14] *...бессмысленные примечания г-на переводчика...* — В примечаниях к публикуемой переделке повести Бальзака «Старик Горио» Сенковский высмеивает Бальзака и обличает его героев в безнравственности. Сцену прощания Растиньяка с виконтессой Босеан он печатает без искажений — «нарочно для обожателей ума г. Бальзака» — и издевательски замечает, что эта «супруга порочная, но твердая любовница» и есть «великая женщина г. Бальзака». *Вотрен мне напомнил человека...* — По предположению Ю. Н. Тынянова, черты Вотрена можно найти в знакомом Кюхельбекеру с 1821 г. поляке Осипе Юлиане Викентьевиче Горском.

[15] *Об «Арабесках» Гоголя...* — Рецензия О. И. Сенковского «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. 2 части» — БдЧ, 1835, т. 9, отд. 6, с. 8—14.

[16] Окончание записи от 3 апреля (от слов «Искренно сказать...») и запись от 7 апреля 1835 г. даны по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». В копии РС после записи от 3 апреля пропуск, 7 строк выскоблены.

[17] Повесть Ушакова *«Сельцо Дятлово»* Кюхельбекер читает второй раз. См. примеч. 193 к записям 1834 г.

[18] Запись восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «В. К. Кюхельбекер» — Лит. современник, 1938, № 10, с. 202.

[19] *...мой «Ижорский» мне прислан напечатанный.* — Хлопоты об издании «Ижорского» Кюхельбекер начал еще в 1830 г. в Динабурге. Он просил Дельвига напечатать мистерию без обозначения имени автора или под псевдонимом. В 1833 г. благодаря личным просьбам Пушкина, обращенным к царю через Н. Х. Бенкендорфа, было дано цензурное разрешение на выход книги, которая появилась, однако, лишь в 1835 г. с личного разрешения Николая I: «Ижорский, мистерия. Санкт-Петербург, в типографии III отделения собственной его имп. величества канцелярии. 1835». Корректуру держал В. Ф. Одоевский.

[20] *«Пригожая казначейша»*, повесть А. В. Шидловского — БдЧ, 1835, т. 9, отд. 1, с. 127—147.

[21] *...статью (вероятно, Сенковского) о Словаре Рейфа.* — Разбор «Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или Этимологический лексикон русского языка <...>, составл. Филиппом Рейфом, сочинителем „Русской грамматики для иностранцев“ и переводчиком „Пространной русской грамматики“ Н. И. Греча, т. 1. СПб., 1835» — БдЧ, 1835, т. 9, отд. 6, с. 36—45.

[22] *Больвер* — Бульвер-Литтон Эдуард Георг (1803—1873) — английский писатель и политический деятель. Цитаты из Бульвера-Литтона — в статье «Гете в посмертных его сочинениях. Из Foreign Quarterly Review» — БдЧ, 1834, т. 6, отд. 2, с. 76 и след. *«Рейнские пилигримы»* — роман Бульвера-Литтона 1834 г. Кюхельбекер познакомился с ним, очевидно, по цитатам в БдЧ, 1834, т. 6.

[23] *Повесть «Фрегат Надежда»* А. А. Бестужева (Марлинского) — СО, 1833, ч. 34 (156), № 2, с. 65—81, № 3, с. 121—143, № 4, с. 181—201, № 5, с. 249—273, № 6, с. 313—328, № 7, с. 369—388; ч. 35 (157), № 1, с. 3—21, № 2, с. 57—82, № 3, с. 117—135. *«Бестужевские капли»* — лекарство по рецептуре А. П. Бестужева-Рюмина: ра-

створ железа в смеси спирта с эфиром. Слог Марлинского сравнил с «бестужевскими каплями» Н. И. Греч.

[24] Записью от 10 июня 1835 г. обрывается сохранившаяся часть дневника Кюхельбекера-узника. В конце 1835 г. вышло постановление о досрочном освобождении его из крепости. 14 декабря 1835 г. Кюхельбекера вывезли из Свеаборга; 16 января 1836 г. он был проездом в Иркутске, 20 января прибыл в Баргузин, назначенный ему местом ссылки, где с 1831 г. находился на поселении его брат Михаил. Из писем Кюхельбекера к родным начала 1836 г. из Баргузина очевидно, что он вел дневник до последних дней заточения. Содержание одной из записей восстанавливается по письму от 3 марта 1836 г. племяннице Наталье: «Теперь покуда поговорю с тобой о книге, о которой хотел я потолковать в письмах к вам, будучи еще в своей С‹веаборг›ской келье. Первый том так называемого „Российского Феатра“ почти последнее, что я читал в Финляндии. Тут перечел, а отчасти вновь прочел я несколько трагедий Сумарокова. Это, надеюсь, стоит вашего Шамфорова „Мустафы“. Так; но между тем я рад, что следы этого чтения остались, если и не в памяти моей, по кр‹айней› мере в моем дневнике. Разница между Сумароковым и Озеровым вовсе не так велика, как обыкновенно воображают; Княжнина же, Хераскова etc. он далеко превосходит. „Гамлет“, напр., не из лучших трагедий Сумарокова, но гораздо выше Княжнинского „Рослава“. Конечно, от старика Александра Петровича, воспитанного во всех предрассудках французской старой школы, никто и ожидать не станет, чтоб он передал хоть тень настоящего шекспировского „Гамлета“. Однако уж и то хорошо, что его действующие лица не совсем мертвые куклы, что тут есть что-то похожее на страсти, не одни пухлые фразы, и порою стихи, которые и теперь могли бы показаться в люди, потому что истинны, а истина не стареет. У Княжнина же везде и во всяком случае des machines à phrases ‹говорящие машины (*франц.*)›, и только. Вот тебе несколько и стихов:

Г а м ‹л е т›

Арман! в сей час, когда с тобою говорю,
Я тень на облаках в воздушном мраке зрю
И слышу, как она по ветрам возглашает:
„Я стражду, — а мой сын еще не отомщает“.

Гертруда терзается угрызениями совести; Арман, которым нашему поэту рассудилось заменить Шекспирова Горацио, говорит ей:

Как грех твой ни велик, его щедрота боле:
...глас к небу вознеси
И со смирением прощения проси...

Г е р т ‹р у д а›

Господь из скверных уст молитвы не приемлет, —
Страданию сердец злодейских он не внемлет.

А р м ‹а н›

Взведи к нему свои ты руки и взови!

Г е р т ‹р у д а›

Они омочены в супруговой крови.

Трагически, естественно, прекрасно! Это разговор не где-то кого-то с кем-то, в небывалой земле и в небывалое время, а христианина с христианкой — настоящей, пришедшей в ужас грешницы с человеком, который точно хочет обратить ее к богу. Во 2-м действии Гертруда говорит Клавдию:

Помысли, Клавдий, как всевышний терпелив:
И я жива, и ты еще по всем том жив.

А потом Полонию, qui y est la bête noire ‹который ему ненавистен (*франц.*)›:

Он терпит, но терпеть когда-нибудь престанет,
И в час, когда не ждешь, в твою погибель грянет.

Вот еще кое-что из других трагедий; из „Синава и Трувора":

Где должность говорит или любовь к народу,
Там нет любовника, там нет отца, ни роду.

Или:

Наш век есть некий путь, к покою нас ведущий
И зло и благо нам местами подающий;
Хоть что худое в нем, мы все должны сносить —
И сладкие плоды и горькие вкусить.

Это, конечно, сентенции, но они тут кстати и совсем не то, что выкраденные из фр‹анцузских› трагиков vers à retenir ‹стихи для запоминания, сентенции (*франц.*)› в „Рославе". Трувор изгнан и прощается с Гостомыслом:

Тебе несчастную любовницу вручаю.
Ты ей отец: храни ты дочь; в ней кровь твоя!
Ты друг мне: в ней душа останется моя.

Надеюсь, что это прекрасно и что не только у Озерова, а и у наших новейших драматургов не слишком много стихов, более говорящих сердцу» (Декабристы и их время. М.—Л., 1951, с. 63—64).

Поскольку книги «Российский Феатр» у Кюхельбекера в Баргузине не было, то очевидно, что он дословно или почти дословно цитирует свою дневниковую запись второй половины 1835 г.

В ЛН, т. 59 (М., 1954, с. 447), опубликован список книг, которые имелись у Кюхельбекера в Свеаборге к моменту освобождения. Отзывы почти обо всех этих книгах в сохранившихся частях дневника имеются; исключение составляют книга В. Ф. Одоевского «Пестрые сказки, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою» (отдельное издание, 1833 г.) и последние тома БдЧ за 1835 г. (№ 10—17). Об отношении к сочинениям Одоевского узник писал ему 3 мая 1845 г.: «Кроме „Русских ночей" я очень люблю твою „Княжну Мими" и кое-что из „Пестрых сказок", особенно последние две: о деревянной кукле и господине Кивакеле. Но главное то, что ты везде желаешь добра, что ты всегда человек мыслящий и благородный, и притом *Русский*» (Отчет Гос. публ. библиотеки за 1893 г., Приложение, с. 70). БдЧ Кюхельбекер получал по подписке, поэтому, очевидно, был знаком со всеми публиковавшимися в ней произведениями и в Свеаборге, и в период сибирской ссылки.

1836

[1] Дневник Кюхельбекера за 1836 г. не сохранился. Запись, не имеющая датировки, но отнесенная Ю. Н. Тыняновым к 1836 г., приводится в статье Тынянова «В. К. Кюхельбекер» в кн.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. LXXII. «Прочел я в „Revue Encyclopédique" статью об учении Фурье (Fourrier de l'Association): она стоит того, чтоб ее размыслить». Однако, возможно, эта запись относится к 1840 г., когда Кюхельбекер в Акше читал «Revue Encyclopédique».

На основании свидетельства Тынянова (см. названную выше статью, с. 465) частично восстановлена запись от 17 октября 1836 г. — текст стихотворения «19 октября 1836 года».

1837

[1] Запись от 22 мая восстановлена по изданию: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. 175—176 и 465—466. Вслед за этой записью, 23 или 24 мая, Кюхельбекер получил письмо от сестры Юлии, извещающее его о гибели Пушкина 29 января 1837 г. В ОР ГПБ сохранилось окончание письма Вильгельма к сестре: «Прости, мой друг, люби нас. Я брату давал читать твое письмо; только с нынешнею почтою он писать не будет — он очень занят. Дети и Анна Степановна здоровы. Еще раз прости. Твой друг и брат В. Кюхельбекер». Далее следует текст стихотворения «Тени Пушкина» и дата: 24 мая. Возможно, это стихотворение тогда же было вписано и в дневник.

[2] *...повесть «Живописец»* Н. А. Полевого — МТ, 1833, ч. 51, № 9, с. 74—131, № 10, с. 239—294, № 11, с. 396—448, № 12, с. 534—593. Журнал «Московский телеграф» был, очевидно, в личной библиотеке М. К. Кюхельбекера. Не зная о закрытии журнала в 1834 г., Вильгельм писал матери 17 января 1835 г.: «...я хотел бы очень (повторяю, если *мои* финансы это действительно позволят), чтобы вы Михаила подписали на какой-нибудь журнал, напр., на „Телеграф“; это доставило бы ему большое наслаждение. Я назвал „Телеграф“, а не „Библиотеку“, потому что последнюю сам получаю и, ей-богу, надеюсь, что рано или поздно мы соединимся, так что он ее и так прочитает, правда, немного поздно, но, я думаю, в нашем положении это почти безразлично» (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 453—454).

1838

[1] *Черных* Николай Николаевич — баргузинский купец, знакомый братьев Кюхельбекеров. Через него впоследствии Михаил получал письма от Вильгельма, минуя официальные каналы.

1839

[1] *Успенский Н. П.* — чиновник канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири Вильгельма (Василия) Яковлевича Руперта.

[2] *«Смерть Пери»*, поэма А. И. Подолинского, опубликована — БдЧ, 1837, т. 21, отд. 1, с. 1—33, отд. изд. — СПб., 1837.

[3] *«Лунатик»* — исторический роман А. Ф. Вельтмана, вышедший отд. изд. в 1834 г.

[4] Запись от 23 января 1839 г. восстановлена на основании комментария Ю. Н. Тынянова в изд.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. 466. На том же основании восстановлена запись от 26 февраля.

[5] *К Эмилии.* — Стихотворение посвящено Эмилии Федоровне Брейткопф, написано на смерть ее сестры, Наталии Федоровны Дириной (ум. в 1838 г.).

[6] *«Нашла коса на камень.* Фарс в пяти действиях». М., 1839. Сочинение В. К. Кюхельбекера. — Подражание комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Положительные отзывы о книге: ОЗ, 1839, т. 5, отд. 7, с. 22—24; Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1839, т. 2, № 6, 12 августа, с. 114—115.

1840

[1] *Оболенский* Евгений Петрович (1796—1865) — декабрист, после тринадцати лет каторги поселен в селе Итанец Верхнеудинского округа Иркутской губернии, в 1841 г. переведен в Туринск Тобольской губернии, в 1842 г. — в Ялуторовск. Все эти годы поддерживал с Кюхельбекером дружеские отношения. Кюхельбекер остановился у Оболенского по пути из Баргузина в Акшу, куда получил разрешение переехать по собственному прошению, поданному в связи с предложением акшинского коменданта майора Анемподиста (Александра) Ивановича Раз-

гильдеева взять на себя обязанности учителя и воспитателя его дочерей Анны и Вассы.

[2] *Аврамов* Павел Васильевич (1791—1836) — декабрист, после восьми лет каторги был поселен в Акше, где и умер.

[3] *Орлов* Александр Иванович — врач в Верхнеудинске и Кяхте, «поэт и философ», по определению Кюхельбекера, благожелательно относившийся ко многим декабристам. Орлов издавал в 1830-е гг. рукописную газету «Стрекоза», в которой помещал произведения декабристов. Известно, что в этой газете публиковали свои произведения декабристы М. А. Бестужев, В. Л. Давыдов и др.

[4] *Аннушка* — Анна Анемподистовна (Александровна) Разгильдеева (в замуж. Кузнецова).

[5] *...на смерть моего незабвенного Николая (Глинки)...* — Николай Григорьевич Глинка умер в 1839 г. на Кавказе от боевых ран.

[6] *...атаманский Петинька...* — Один из двух сыновей акшинского казачьего атамана Истомина. Кюхельбекер неоднократно писал о больших способностях старшего сына Истомина, Пронюшки, трагически погибшего в 1842 г., а о Петиньке отзывался как о ребенке со слабо развитыми понятиями, не соответствующими его возрасту.

[7] *Прочел очень милую комедийку Коцебу...* — Похвалы Кюхельбекера комедиям А. Коцебу «Переодеванья» и «Фельдкюмелева свадьба» (запись от 18 февраля 1840 г.) не мешали ему критически относиться к нравственно-эстетической позиции этого писателя. В письме Николаю Глинке от 5 марта 1835 г., где Кюхельбекер высказывает важнейшие положения эстетики гражданского романтизма с его строгой этической нормативностью, он говорит о Коцебу: «Позволено ли поэту изображать порок? Между словами *изображать* и *защищать* — большая разница. Изображать поэт все может и даже должен, иначе он будет односторонним; но представлять порок в привлекательном виде — преступление не перед одною нравственностию, а, к счастию, и перед поэзиею; впрочем, я едва ли могу поверить, чтобы, кроме совершенно помешанного, кому могло вздуматься прямо хвалить грабеж, насилие, пьянство, распутство etc. Есть другие пороки, которые с первого взгляду менее грязны, и есть писатели, которые старались их представить заманчивыми: расслабление нравов семейственных, которое, впрочем, то же распутство, да только более тонкое, безверие, эгоизм нашли, напр., защитника в Коцебу. Но поэт ли Коцебу? Мне кажется, что унижение души, необходимо нужное, чтобы найти эту мерзость прекрасною, совершенно несовместимо с вдохновением, доступным — по-моему — только для души высокой или по крайней мере влюбленной в высокое» (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 455).

[8] *Юн-дун-Дордзи* — правитель Маньчжурии конца XVIII в., поэт.

[9] *...король Людовик Баварский.* — Людовик-Карл-Август (1786—1868) — король Баварский, поэт и просветитель, покровительствовавший расцвету искусств и науки в Мюнхене.

[10] *«Военный антикварий»* — повесть А. А. Бестужева (Марлинского) 1834 г.

[11] *Курбатов* — лицо неустановленное. По предположениям Б. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого, это мог быть либо В. В. Курбатов, экзекутор Иркутского губернского совета, цензуровавший письма декабристов, либо А. Курбатов, автор книги «Статистические сведения о лесной и рыбной промышленности Верхнеудинского округа» (1841).

[12] *«Эмма»* — повесть Н. А. Полевого 1834 г.; *«Мешок с золотом»* — повесть его же 1829 г. Кюхельбекер читал их, по-видимому, в издании сочинений Н. А. Полевого «Мечты и жизнь (Были и повести)» (М., 1834, 4 части).

[13] *«Mémoires de la comtesse du Barry»* — «Мемуары» графини Дю-Барри — апокрифическая книга, приписанная фаворитке Людовика XV Марии Жанне Дю-Барри (1743—1793), казненной во время французской революции.

[14] *Наталья Алексеевна* — Разгильдеева, мать учениц Кюхельбекера Анны и Вассы.

[15] *Гезлитт* (Хэзлитт) Уильям (1778—1830) — английский критик. Переоценка Гете началась в сознании Кюхельбекера еще в Свеаборгской крепости: в письме

матери от 28 июня 1834 г. он писал о Гете, что при огромном таланте поэт обладает «низкой, холодной, себялюбивой душой» и что Гете является «патриархом чувственной, эгоистической, лицемерно похваляющейся переживаниями школы приверженцев». Это мнение, касающееся, впрочем, лишь позднего творчества Гете «олимпийского» периода, сформировалось у Кюхельбекера под воздействием статьи Менцеля о Шиллере и Гете (см. примеч. 87 к записям 1834 г.).

16 *Бальдауф* Федор Иванович — горный инженер, работавший в Забайкалье, поэт. См. о нем в кн.: *Петряев Е. Д.* Исследователи и литераторы старого Забайкалья. Очерки по истории культуры края. Чита, 1954 (гл. «Первый поэт Забайкалья — Ф. И. Бальдауф»).

17 *«Чудная бандура»,* стихотворение Дмитрия Петровича Ознобишина (1804—1877) — МН, 1836, ч. 7, май, кн. 1, с. 46—48.

18 *Браунинг* (Броунинг) Роберт (1812—1889) — английский поэт; «Парацельс» — его драма, написанная в 1830-е и опубликованная в 1835 г., посвящена судьбе средневекового врача и естествоиспытателя Ф. А. Т. Парацельса.

19 *... собака à l'Alcibiade* — выражение, восходящее к французской пословице «Отрубить хвост своей собаке», т. е. совершить экстравагантный поступок с целью обратить на себя внимание, подобно Алкивиаду, который, по афинскому преданию, отрубил хвост своему великолепному дорогому псу, чтобы поразить своих сограждан и привлечь к себе их внимание.

20 *Баскаков, Мусорин* — жители Акши, возможно, казаки акшинского гарнизона.

21 *«Флорент‹инские› ночи»* Г. Гейне — МН, 1836, ч. 6, апрель, кн. 2, с. 580—615; ч. 7, май, кн. 1, с. 5—45.

22 *Сегодня ровно 14 лет моей очной ставке с К‹аховским›.* — Очная ставка Кюхельбекера с Каховским 12 мая 1826 г. была вызвана подробными показаниями Каховского о действиях Кюхельбекера 14 декабря на Сенатской площади, в частности о покушении Кюхельбекера на жизнь вел. кн. Михаила Павловича и генерала Воинова.

23 *«Амазонки», роман Фан-дер-Фельде* — «Богемские амазонки», роман Франца Карла Фан-дер-Фельде (1779—1824), ч. 1—3, М., 1830.

24 *Матушка, некогда женщина необыкновенная...* — О замечательных душевных качествах матери Кюхельбекера Юстины Яковлевны Кюхельбекер, урожд. фон Ломен, свидетельствуют современники поэта. П. Бартенев со слов В. Ф. Одоевского рассказывал о реакции Юстины Яковлевны на известие об убийстве Павла I, сообщенное ей супругом, вернувшимся под утро 12 марта 1801 г. из Михайловского замка: «...она грозно крикнула на него и на объяснения его сказала: „Ты обязан был умереть там“» (Рус. архив, 1881, № 1, с. 137).

25 Запись от 28 мая не сохранилась; содержание ее передает Ю. Н. Тынянов в статье «Французские отношения Кюхельбекера»: в 1840 г. в руки поэта попал сборник «Сорок одна повесть лучших иностранных писателей» в 12-ти ч., изд. Николаем Надеждиным (М., 1836). В 3-й части (с. 203—259) он прочел перевод 2-й главы повести Бальзака «Сарразин» под загл. «Страсть художника, или Человек не человек». По свидетельству Тынянова, «28 мая он кратко и очень резко отзывается о прочтенной повести как о вздоре».

26 Записи от 13 и 14 июня частично восстановлены по указаниям в примечаниях Ю. Н. Тынянова в изд.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. 468.

27 *Дохтуров* Михаил Афанасьевич — штаб-лекарь, сын графини Варвары Федоровны Толстой, племянник генерала от инфантерии Дмитрия Сергеевича Дохтурова (1756—1816), участника Отечественной войны 1812—1815 гг., а также войн 1789—1790, 1805 и 1807 гг.

28 *Трелавней* (Трелоуни) Эдуард Джон (1792—1881) — английский литератор, друг Байрона.

29 *Закревский* Арсений Андреевич (1783—1865) — граф, генерал-адъютант, финляндский генерал-губернатор (1823—1831), министр внутренних дел (1828—1831).

30 *Перечел я Луганского «Бакея и Мауляну»...* — Повесть «Бакей и Мауляна» В. И. Даля (Казака Луганского) в его кн.: Были и небылицы, в 4-х кн. СПб., 1833—1839. До этого Кюхельбекер читал повесть в БдЧ, 1836, т. 16,

[31] *Таскин* Алексей Николаевич — майор, служивший в Иркутске, поэт.

[32] *...письмо от Вадковского...* — Вадковский Федор Федорович (1800—1844) — декабрист, после 13 лет каторги жил на поселении в Иркутской губернии, с 1840 г. в селе Оёке, где и умер. Содержание письма Вадковского Кюхельбекеру неизвестно; возможно, оно связано с попытками Кюхельбекера напечатать некоторые свои сочинения (см. запись от 28 июля 1840 г.).

[33] Запись от 25 июля восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «В. К. Кюхельбекер» в изд.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. LXX. По мнению В. Н. Орлова, Ю. Н. Тынянов цитирует не дневник, а одно из писем к родным (Декабристы и их время. М.—Л., 1951, с. 83).

[34] *Ждут губернатора...* — Гражданского губернатора Восточной Сибири А. В. Пятницкого.

[35] *...отрадное письмо от Сельского.* — Сельский Илларион (Ларион) Сергеевич (1807—1861) — чиновник, позже член Совета Главного управления Восточной Сибири, правитель дел Сибирского отделения Русского географического общества, поэт. Стихи И. Сельского Кюхельбекер мог читать в СО, 1831, ч. 23 (145), № 42, с. 242 (Подражание 52-му псалму), № 43, с. 370—372 («Песнь Отаитянки» из В. Гюго); ч. 24 (146), № 46, с. 115 («Утро»). Какие деньги Сельский был должен Кюхельбекеру, неизвестно. Это могло быть связано либо с изданием каких-то произведений Кюхельбекера, либо, вероятнее, с просьбой поэта распространить экземпляры уже изданных книг среди иркутского общества. Михаил Карлович не разделял дурного мнения Вильгельма о Сельском; во время переезда Кюхельбекера в 1845 г. из Акши в Тобольск Сельский чем-то помог Вильгельму. Михаил писал брату 28 июня 1845 г.: «...очень рад, что Ларион Сергеевич помог тебе, все-таки мое о нем мнение вернее твоего! Он добр, но ветрен».

[36] *Руперт* Вильгельм Яковлевич (1787—1849) — военный генерал-губернатор Восточной Сибири (1837—1849). *«Шуйские»* — историческая драма Кюхельбекера «Падение дома Шуйских».

[37] *...начал я читать «Ла Перуза»...* — Драмы А. Коцебу «Лаперуз», «Бюро» (в русском переводе — «Конторка для письма, или Опасности молодых людей») и «Аббат Л'Эпе» (в русском переводе — «Аббат Лепе, или Судьба глухонемого») в начале XIX в. составляли постоянный репертуар русских театров; «Аббат Лепе», например, шел в 1806/1807 г. и был возобновлен в 1818/1819 г. О «Конторке для письма» в 1808 г. писал в дневнике будущий декабрист Н. И. Тургенев: «Пиеса прекрасная — развязка восхитительная!» (Архив братьев Тургеневых, вып. 1. Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1806—1811 гг. СПб., 1911, с. 110).

[38] *...в «Невском альбоме» Бобылева.* — В кн.: «Невский альбом. Опыты в стихах и прозе Н. Бобылева», ч. 1—2. СПб., 1838—1839. Стихотворение Бобылева «Два мгновения» — ч. 1, с. 35. *Картина бурятских нравов* — в повестях Н. Бобылева «Джáрго Аегá» (ч. 2) и «Чингисов столб. Сибирская быль» (ч. 1).

[39] *Шапошников* — сибирский (баргузинский?) знакомый Кюхельбекера.

[40] *«Милорд Георг»* — «Повесть о приключении английского милорда Георга и о Бранденбургской маркграфине Фредерике-Луизе», обработка М. Комарова. *«Францыл Венециян»* — «История о храбром рыцаре Францыле Венециане и о прекрасной королевне Ренцывене», обработка Филиппова — лубочные издания, известные в России с конца XVII—начала XVIII в. Кюхельбекер читал их, возможно, по изданиям — М., 1840.

[41] *Кинэ* Эдгар (1803—1875) — французский писатель, историк, философ. Его *«Новая Греция»* в переводе Кс. Полевого — «Новая Греция в отношениях своих к древности», М., 1835.

[42] *Патер Дизидерий* — польский католический священник; поскольку в Сибири в 1830—1840-е гг. было много ссыльных поляков, в Иркутске и других местах были открыты костелы. Об *Успенском* Н. П. см. примеч. 2 к записям 1839 г. *Львов* Леонид Федорович — чиновник, командированный графом П. Д. Киселевым в Восточную Сибирь; его воспоминания о Сибири — Рус. архив, 1885, № 1—4.

[43] *Василий Данилович и Лизавета Ивановна* — Холщевниковы, акшинские знакомые Кюхельбекера.

[44] *Перечитываю от скуки Дмитриева.* — Сочинения и переводы Ивана Ивановича Дмитриева издавались неоднократно. Кюхельбекер читал, по-видимому, одно из изданий 1830-х гг., напр. СПб., 1838.

[45] *Послание Попа к Арбутноту* — переведенная И. И. Дмитриевым сатира А. Попа «Epistle to Dr. Arbuthnot».

[46] *Дрейер* — очевидно, селенгинский чиновник, общий знакомый Бестужевых, Кюхельбекеров и других декабристов, доверявших ему неофициальную передачу писем, книг и рукописей, что было строжайше запрещено.

[47] «Краткая история Пор-Рояльского монастыря» Ж. Расина — апологетическое произведение, написанное Расином в старости (1693) по собственным впечатлениям детства (в этом монастыре, являвшемся центральной общиной секты янсенистов, враждовавшей с иезуитами и преследуемой абсолютизмом, жила воспитавшая Расина его бабушка).

[48] *...не о Шписсе...* — Шписс Христиан Генрих (1755—1799) — немецкий писатель, автор приключенческих романов. 23 октября 1840 г. Кюхельбекер пишет о романе Шписса «Египетские таинства». Из статьи Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера» известно, что Кюхельбекер читал романы Шписса одновременно с драмами Коцебу и лубочными повестями «Милорд Георг» и «Францыл Венециан», т. е. в 1840 г.

[49] *...о Жуковском, которого 4-е издание попалось мне...* — «Стихотворения» В. А. Жуковского, т. 1—9, изд. 4-е, исправленное и умноженное (СПб., 1835—1837).

[50] *...царевич Белая Шубка...* — герой сказки «Война мышей и лягушек» В. А. Жуковского (переделка «Батрахомиомахии», 1831 г.).

[51] *«Британик»* — трагедия Расина 1669 г. Агриппина, Нерон, Бурр (Буррус) и Нарцисс — действующие лица этой трагедии.

[52] *«Наставление правильно состязаться с раскольниками»* — духовное сочинение, изданное в Рязани без подписи автора.

[53] *...я много прочел.* — Далее Кюхельбекер называет трагедии Расина «Гофолия» (1691) и «Баязет» (1672), роман Павла Петровича Свиньина «Ермак» (СПб., 1834); *замечания Наполеона о походах* — в книге: «Наполеон I. Записки Наполеона о походах Тюренна и Фридриха II». Пер. с франц. Ксенофонтом Полевым. М., 1836. *Тюренн* Анри де ля Тур (1611—1675) — маршал Франции, выдающийся полководец в период Тридцатилетней войны (1618—1648). *Фридерих* — Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король (1740—1786). Наполеон I анализирует его действия во время войн 1757—1763 гг. *В строгих приговорах... Финку и Фуке...* — *Финк* фон Финкенштейн Карл Вильгельм (1714—1800) — прусский государственный деятель при Фридрихе II, генерал, в 1759 г. капитулировал и сдался в плен австрийскому генералу Сенсеру, за что впоследствии был разжалован и получил два года тюрьмы. *Фуке* — генерал прусской армии, капитулировавший в 1760 г. *Дюпон* де л'Этань (1765—1840) — французский генерал; в 1808 г. он потерпел поражение в битве при Байлене и сдался испанцам. По возвращении во Францию был предан суду и содержался в заключении вплоть до восстановления власти Бурбонов. Наполеон был решительным противником «капитуляции в открытом поле»: «Капитуляция, которая спасет вам 60 000 человек, не вознаградит государству вреда, причиненного нарушением этого правила» (с. 351—352). *Моро* Жан Виктор (1763—1813) — французский генерал, соперник Наполеона. По обвинению в заговоре был изгнан Наполеоном из Франции в 1813 г., принял участие в войне с Наполеоном на стороне России, был смертельно ранен в сражении под Дрезденом 15 (27) августа 1813 г. *Бернадотт* Жан-Батист (1763—1844) — до 1789 г. сержант королевской морской пехоты, в дальнейшем — маршал Франции (1804), командир корпуса Наполеоновской армии в сражениях под Аустерлицем, Иеной и пр. В 1810 г. из-за разногласий с Наполеоном вынужден уйти в отставку. Наполеон невысоко оценивал полководческие качества Бернадотта из-за его медлительности и осторожности. С 1810 г. усыновлен королем Швеции Карлом XIII, с 1818 по 1844 г. — король Швеции. *Лейпцигская битва* 1813 г. — завершающее сражение кампании 1813 г. в Германии, в которой армия Наполеона потерпела поражение.

[54] *...письмо от Жуковского из Дармштадта...* — Письмо В. А. Жуковского Кюхельбекеру было послано через П. А. Плетнева и III отделение. 17 (29) июля Жуковский писал П. А. Плетневу: «...передайте приложенное письмо генералу Дубельту. В нем находится письмо Кюхельбекеру, которому я не успел написать при отъезде моем за границу; но это письмо лежит у меня на сердце; прошу Вас попросить Дубельта, чтобы его немедленно отправили. Приложите к нему экземпляр моих сочинений и экземпляр сочинений Пушкина, которые возьмите на мой счет у Смирдина и передайте Дубельту с просьбой доставить при письме Кюхельбекеру. Поспешите это исполнить, мой добрый Петр Александрович, Вы крайне меня этим обяжете» (Соч. и переписка Плетнева, т. 3. СПб., 1885, с. 533).

[55] *Савичевский* Константин Осипович — ссыльный польский революционер, член тайной организации «Объединение польского народа» (1836—1838 гг.), разгромленной в 1838 г. Савичевский был приговорен к пяти годам каторги с последующим поселением в Сибирь; в дальнейшем срок каторги был, очевидно, сокращен. Кюхельбекер познакомился и подружился с Савичевским в Акше. 13 августа 1842 г. он посвятил Савичевскому драму «Иван, купецкий сын»; в письме-посвящении поэт называл Савичевского «благородным юношей» и уподоблял его героям Шиллера: «...Ваше имя мне тут необходимо: пусть хоть оно служит для других доказательством, сколь и по сю пору мне дороги те чувства и убеждения, которых Вы для меня представитель, которых Вы для меня были прекрасным олицетворением» (*Кюхельбекер В. К.* Избр. произв. в 2-х т., т. 2. Л., 1967, с. 561). С Савичевским Кюхельбекер делился своими творческими планами, обсуждал с ним написанное. В частности, «Ивана, купецкого сына» он называет «сочинением, которого отдельные части, так сказать, в Ваших глазах всплывали из глубины души моей, при Вас приняли настоящий вид и образ».

[56] *перечел я в Шиллере...* — Кюхельбекер читает исторические сочинения Шиллера «Достопамятные факты из жизни маршала фон Вьельвиля» (1797), «История французских смут, предшествовавших царствованию Генриха IV» (1789) и «Историю Тридцатилетней войны» (1793).

[57] *А. Я. Попов* — по-видимому, чиновник, акшинский знакомый Кюхельбекера.

[58] *...нарекли ему имя Иван по дедушке.* — По отцу Дросиды Ивановны Артеновой, Ивану Артенову.

1841

[1] *«Утренняя заря»* — альманах, издаваемый В. А. Владиславлевым (СПб., 1839—1843). В руки Кюхельбекера попал, очевидно, т. 2 (СПб., 1840).

[2] *«Божии дети»* — повесть украинского писателя Г. Ф. Квитки (1778—1843, псевдоним — Грицько Основьяненко).

[3] *«4438-й год.* Петербургские письма. От Ипполита Цунгиева, студента Главной пекинской школы, к Лингину, студенту той же школы» — отрывок из утопической части незаконченной исторической трилогии В. Ф. Одоевского.

[4] *...разбор Лермонтова романа...* — Статья В. Г. Белинского «„Герой нашего времени“. Сочинение М. Лермонтова. СПб., 1840. 2 части» — ОЗ, 1840, т. 10, № 6, отд. 5, с. 27—54; т. 11, № 7, отд. 5, с. 1—38.

[5] *...меня познакомил Краевский... с Кольцовым, Огаревым, Гротом.* — В ОЗ 1840 г. печатались стихотворения Алексея Васильевича Кольцова (1809—1842) «Хуторок», «Умолкший поэт», «Русская песня», «Дума Сокола», «Песня», «Песня разбойника», «Божий мир. Дума», «Перепутье», «Лес. Дума» и др. Николай Платонович *Огарев* (1813—1877) опубликовал в ОЗ 1840 г. стихотворения «Старый дом» (т. 10, № 5—6, отд. 3, с. 99—100) и «Деревенский сторож» (т. 11, № 9), Яков Карлович Грот (1812—1893) — отрывки из перевода поэмы Тегнера «Фритиоф» (см. след. примеч.).

[6] *...из Гротова перевода Тегнеровой поэмы.* — Из перевода Я. К. Грота поэмы шведского поэта Исайи Тегнера «Фритиоф, скандинавский богатырь»; отрывок из нее — ОЗ, 1840, т. 10, № 5—6, отд. 3, с. 94—99. Кюхельбекер цитирует с. 96. Отдельным изданием перевод Грота вышел в Гельсингфорсе в 1841 г.

7 *«Старый дом» ⟨Огарева⟩.* — Часть записи от 11 (?) февраля 1841 г. восстановлена на основании свидетельства Ю. Н. Тынянова о том, что Кюхельбекер выписывает в дневник из ОЗ полностью текст стихотворения Огарева «Старый дом» (см.: Лит. современник, 1938, № 10, с. 216). Здесь же Тынянов говорит о стихах Алексея Степановича Хомякова (1804—1860), также заинтересовавших Кюхельбекера. Если речь идет о публикации в ОЗ, то, вероятно, имеются в виду стихотворения Хомякова в ОЗ 1839 г. «Ему же» (т. 3, отд. 3, с. 134) и «Гордись! тебе льстецы сказали...» (т. 6, отд. 3, с. 143).

8 *«Воздушный корабль»... Зейдлица...* — Стихотворение М. Ю. Лермонтова, подражание балладам Жозефа Христиана Цедлица (1790—1862), австрийского поэта, «Die nächtliche Heerschau» («Ночной смотр») и «Das Geisterschieff» («Корабль-призрак») — ОЗ, 1840, т. 10, № 5, отд. 3, с. 1—3. Текст стихотворения включен в запись от 21 февраля 1841 г. на основании указания Ю. Н. Тынянова (Лит. современник, 1941, № 7—8, с. 142).

9 *...в журнале большого достоинства, о котором напрасно сам издатель Краевский говорит несколько чересчур заносчиво...* — Видимо, Кюхельбекер имеет в виду критические заметки против издателя «Терапевтического журнала» Ив. Зацепина под заглавием «О жизни литературной, или Ответ на рецензии „Терапевтического журнала" и статей „О жизни", соч. Ив. Зацепина», принадлежавшие перу не А. А. Краевского, а М. Н. Каткова (ОЗ, 1840, т. X).

10 *...2-й томик стихотворений Подолинского.* — Собрание сочинений А. И. Подолинского «Повести и мелкие стихотворения». СПб., 1837. 2 части.

11 *Маттисон* Фридрих фон (1761—1831) — немецкий поэт.

12 *...в век таких гениальных пачкунов, каковы Тимофеев и Бернет...* — *Тимофеев* Алексей Васильевич (1812—1883) — поэт и прозаик, прославляемый О. И. Сенковским в БдЧ как «прямой наследник Пушкина и второй Байрон» В письме к Пушкину от 3 августа 1836 г. Кюхельбекер писал о Тимофееве, что он «безбожно обкрадывает и тебя, и меня». *Бернет* — псевдоним поэта Жуковского Александра Кирилловича (1810—1864).

13 *...прочел я «Безумную» Козлова...* — «Безумная. Русская повесть в стихах. Соч. Ивана Козлова». СПб., 1830.

14 *«Дебора»* — трагедия «Дебора, или Торжество веры. Подражание „Гофолии" Расина» А. А. Шаховского. СПб., 1811.

15 *...письмо ко мне от Мордвинова.* — Мордвинов Александр Александрович (1813—1872) — сибирский литератор, этнограф и путешественник; его письмо — ЛН, т. 59. М., 1954, с. 486—487. Из этого письма следует, что оно написано в ответ на письмо Кюхельбекера, в котором тот благодарил за присылку книг, писал о Вельтмане и Лермонтове и просил прислать их книги. Мордвинов, по-видимому, послал Кюхельбекеру романы Вельтмана «Сердце и думка», «Кощей Бессмертный» и «Генерал Каломерас», а о Лермонтове сообщил, что, кроме рассеянных в ОЗ его мелких стихотворений, в Нерчинске ничего нет; «...его роман „Герой нашего времени" и небольшое собрание вышедших ныне избранных стихотворений чрезвычайно расхвалены» (Мордвинов явно имел в виду статьи Белинского о Лермонтове в ОЗ). «Героя нашего времени» Кюхельбекер получил от племянниц в 1843 г.

16 *...статью «Менцель» Белинского.* — «Менцель, критик Гете» (1840) — ОЗ, 1840, т. 8, № 1, отд. 2, с. 25—64.

17 *...критика комедии Грибоедова...* — Статья В. Г. Белинского «Горе от ума. Соч. А. С. Грибоедова. Второе издание. СПб., 1839» — ОЗ, 1840, т. 8, № 1, отд. 5, с. 1—56.

18 *Суровцев* — по-видимому, баргузинский чиновник или купец. *Доктор Жунковский* — возможно, один из ссыльных поляков.

19 *...разбирает книгу для детей...* — Кюхельбекер имеет в виду две рецензии Белинского 1840 г. на книги для детей, опубликованные в ОЗ, т. 8, № 1, отд. 6, с. 28—30; т. 9, № 3, отд. 5, с. 1—36.

20 *«Путевые впечатления» Вельтмана* — повесть «Путевые впечатления и, между прочим, горшок ерани. Рассказ в роде повести» (1837) — СО, 1840, т. 1, январь, № 1, с. 35—84.

[21] «*Колыбель и гроб* (отрывок из записок старика. Посвящено памяти былого)» Н. А. Полевого — СО, 1840, т. 1, февраль, № 3, с. 556—586.

[22] *В эскизах Мери...* — в книге Мери «Les nuits de Londres» (Paris, 1840, ч. 1—2), о выходе которой сообщалось в ОЗ, 1840, т. 13, № 11—12, отд. 6, с. 14 и в подробной рецензии «Les nuits de Londres par Méry», etc. («Лондонские ночи», сочинение Мери, автора «Сцен из итальянской жизни». Париж, 1840, две части) — СО, 1841, январь, № 3, с. 67—91. Здесь же напечатана полностью одна из семи новелл, входящих в книгу Мери.

[23] *«Федюша Мотовильский»* — «украинский роман» Кульжинского Ивана Григорьевича (1803—1884), писателя и педагога; вышел отдельным изданием — М., 1833.

[24] *«Хромой бес»* — роман Аллена Ренэ Лесажа (1668—1747), написанный в 1707 г.

[25] *«Клятва на гробе»* — роман Якова де Санглена «Рыцарская клятва при гробе» (М., 1832).

[25] *«Астролог Карабахский»* — роман «Карабахский астролог, или Основание крепости Суши в 1852 году. Исторический закавказский роман. Соч. Платона Зубова» (М., 1834, 2 части). Зубов Платон — военный историк и беллетрист 1830—1840-х гг.

[27] *«Дочь купца Жолобова»* — повесть Ивана Тимофеевича Калашникова (1797—1863), написанная в 1831 г. Отрывки из нее Кюхельбекер читал в МТ, 1831, ч. 42, № 22.

[28] *Дежинька* — возможно, младшая дочь Разгильдеевых.

[29] *«Камчадалка»* — повесть И. Т. Калашникова, 1833 г. *Зуда* и *Ивашкин* — герои повести «Камчадалка», русские среди камчадалов.

[30] *...перечитываю стихотворения... Дельвига.* — Вероятно, в издании «Стихотворения барона Дельвига» (СПб., 1829).

[31] *Бенедиктов* Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, со стихотворениями которого Кюхельбекер познакомился, читая БдЧ на 1835—1836 гг. («Кудри», «К Алине», «Возвратись!»). В 1835 г. «Стихотворения Владимира Бенедиктова» вышли отдельным изданием (СПб., 1835). В 1836 г. вышло второе издание, в 1838— вторая книга «Стихотворений» Бенедиктова.

[32] *«Неведомая»* — повесть, изданная анонимно (М., 1829), с посвящением князю В. И. К-ву, подпись *М. Л.* Лермонтову она не принадлежит. По некоторым деталям содержания можно предположить, что ее автор — воспитанник Московского университетского пансиона, но более раннего выпуска, чем Лермонтов. Анализу этой повести посвящена значительная часть статьи Ю. Н. Тынянова «Кюхельбекер о Лермонтове» (Лит. современник, 1941, № 7—8).

[33] *«Revue étrangère»* — журнал, издававшийся в СПб. с 1832 г., Кюхельбекер получил от брата Михаила, который посылал издание в Нерчинск Е. П. Оболенскому с условием, что тот по прочтении перешлет его Вильгельму.

[34] *...младший Разгильдеев* — по-видимому, брат А. И. Разгильдеева.

[35] *...по делу Лунина многих допрашивают...* — Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845) — декабрист, осужденный по 1-му разряду, в 1836 г., после тюремного заключения и каторжных работ в Нерчинских рудниках, был поселен в селе Урик близ Иркутска. Смелые мысли, высказываемые Луниным в переписке с сестрой, и его сочинение «Взгляд на русское тайное общество с 1816 по 1826 год» вызвали ряд репрессий против него, а в 1841 г. — обыск в его доме и арест. Лунин был переведен в тюрьму Акатуя, известную чрезвычайно жесткими условиями заключения и нездоровым климатом, где и умер.

[36] *Завалишин* Дмитрий Иринархович (1804—1892) — декабрист, в 1839 г. после тринадцати лет каторги был поселен в Чите.

[37] *У французских литературных фешьонеблей...* — Окончание записи восстановлено по статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». Кюхельбекер имеет в виду многочисленные статьи о Гюго во французских журналах, которые перепечатывались в «Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts», БдЧ и других русских журналах 1830—1840-х гг.

[38] *...«Отеч‹ественные› зап‹иски›» трунят над Марлинским...* — Кюхельбекер имеет в виду статью В. Г. Белинского «Полное собрание сочинений А. Марлинского» — ОЗ, 1840, т. 8, № 2, отд. 5, с. 57—84 и др.

[39] *Д. М. Кандинский* — акшинский чиновник.

[40] *10 июля... написал мне это мальчик...* — Смысл фразы неясен; в списке «Русской старины» фраза начинается датой: «19 июля...», что, очевидно, является опиской.

[41] *Чемерс* А. (1759—1834) — английский биограф и издатель Шекспира.

[42] *Мелон* Эдмунд (1771—1812) — английский шекспировед.

[43] *Гоцци* Карло (1720—1806) — итальянский драматург и поэт. *«Туриндота»* («Турандот») — пьеса-сказка Гоцци 1762 г.

[44] *Джонсон* Сэмюэл — английский писатель, критик, издатель. По-видимому, Кюхельбекер был знаком с его изданием сочинений Шекспира (1765 г.).

[45] *«Танька разбойница»* — «Танька, разбойница ростокинская, или Царские терема». Историческая повесть XVIII в., лубочное произведение, изданное в Москве в 1834 г., автор — ...кой С.

[46] *«Осужденный» А. Крылова* — повесть Крылова Ивана Захаровича (1815—1869), беллетриста и духовного писателя, изданная в 1835 г.

[47] *...рецензию на стихотворения Лермонтова...* — Запись восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Кюхельбекер о Лермонтове». Статья В. Г. Белинского «„Стихотворения М. Лермонтова". СПб., 1840» — ОЗ, 1841, т. 14, № 2, отд. 5, с. 35—80.

[48] *Любимов Н. И.* — очевидно, офицер, прибывший под начальство майора А. И. Разгильдеева.

[49] *...с стихами Хомякова...* — «На перенесение Наполеонова праха» Алексея Степановича Хомякова, опубл. в журнале «Москвитянин», 1841, № 1, с. 341, без заглавия.

[50] *Из тридцати тогда поступивших в Лицей умерли... Ржевский* Николай Григорьевич (1800—1817) — прапорщик Изюмского гусарского полка. *Корсаков* Николай Александрович (1800—1820) — композитор-любитель, чиновник Коллегии иностранных дел. На его смерть Пушкин и Кюхельбекер написали стихи. *Костенский* Константин Дмитриевич (1797—1830) — чиновник канцелярии Министерства финансов и Государственного ассигнационного банка. *Есаков* Семен Семенович (1798—1831) — прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии, с 1829 г. полковник. Покончил с собой во время польской кампании 1830—1831 гг. *Тырков* Александр Дмитриевич (1799—1843) — прапорщик Северского конно-егерского полка, с 1822 г. в отставке, владелец имения в Новгородской губернии. *Гурьев* Константин Васильевич (1800—не ранее 1833) был исключен из Лицея с первого курса за «дурное поведение». *Илличевский* Алексей Демьянович (1798—1837) — чиновник Министерства финансов и Министерства государственных имуществ.

[51] *«Сочинения» Вельтмана.* — Кюхельбекер выделяет в этой книге повести «Виргиния, или Поездка в Россию» (1837) и «Сердце и думка. Приключение» (1838). *«Кощей»* — «Кощей Бессмертный. Былина старого времени» (1833). *«Святославич»* — «Святославич, вражий питомец» (1835).

[52] *Суслов* — один из акшинских казаков, служивший под начальством А. И. Разгильдеева.

1842

[1] *...возвратил нашим детям дворянское достоинство.* — Известие, полученное К. О. Савичевским, оказалось ошибочным. Дворянское звание было возвращено детям декабристов только в 1856 г.

[2] Запись от 22 февраля частично восстановлена в соответствии с содержанием примечаний Ю. Н. Тынянова (*Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. 468). Стихотворение «Совет» навеяно, по-видимому, ссорой с К. О. Савичевским.

[3] *Анна Ивановна* — Брейткопф.

[4] *...моя ссора с Малиновским...* — С лицеистом Иваном Васильевичем Малиновским (1796—1873), сыном первого директора Лицея. По воспоминаниям лицеистов, Малиновский вылил на голову Кюхельбекеру тарелку супу, после чего оскорбленный Вильгельм пытался утопиться в царскосельском пруду.

[5] *Пущин* Николай Иванович (род. 1803) — чиновник Министерства юстиции, был командирован в Сибирь для ревизии мест заключения.

1843

[1] Запись от 22 января частично восстановлена по указанию в примечаниях Ю. Н. Тынянова (*Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. 468).

[2] *Дочь* — Юстина (Устинья) Вильгельмовна Кюхельбекер, в замуж. Косова.

[3] *...стихотворения Зейдля.* — По мнению В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого, имеется в виду неизвестная нам книга переводчика начала XIX в. Федора Адамовича Зейделя. Однако возможно, что здесь описка переписчика и имеется в виду Зейдлиц, т. е. Цедлиц Жозеф Христиан, творчеством которого Кюхельбекер заинтересовался после стихотворения Лермонтова «Воздушный корабль».

[4] *Толстой* — очевидно, Петр Александрович (1769—1844), граф, управляющий Главным штабом.

[5] *Тьер* Луи-Адольф (1797—1877) — французский историк и политический деятель.

[6] Запись от 21 апреля восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «В. К. Кюхельбекер» (в кн.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1, с. LXXII). Ле Ру (Леру) Пьер (1797—1871) — французский социалист, публицист.

[7] *Евграф Иванович* — возможно, младший брат А. И. Разгильдеева.

[8] Запись от 12 сентября восстановлена по статье Ю. Н. Тынянова «Кюхельбекер о Лермонтове» (Лит. современник, 1941, № 7—8).

[9] *«Мария Тюдор»* — драма В. Гюго (1833).

[10] *...два тома Гана Исландского...* — Два тома романа В. Гюго «Ган Исландец» (1823).

1844

[1] *Пфеффель* Г. К. (1736—1809) — немецкий поэт. В списке РС описка переписчика: «Пфирели».

[2] *Глейм* Иоганн Вильгельм (1719—1803) — немецкий поэт.

[3] *Вадковский* — см. примеч. 32 к записям 1840 г.

[4] Запись от 11 апреля восстановлена на основании мозаичной цитаты в статье Ю. Н. Тынянова «Кюхельбекер о Лермонтове».

[5] *«Эме́ Вер»* — роман В. Скотта, — ОЗ, 1843, т. 27—29; его третья часть — т. 28, № 6, отд. 1, с. 197—309.

[6] *Лев Грулев и Михей Кузьмич Павлов* — очевидно, казаки акшинского гарнизона.

[7] *Был сегодня экзамен в казачьей школе...* — О преподавании Кюхельбекера в казачьей школе (очевидно, в школе для детей казаков акшинского гарнизона) ничего не известно; возможно, он был приглашен на экзамен в качестве инспектора или почетного гостя.

[8] *Казадаев* Владимир Александрович — по-видимому, иркутский чиновник.

[9] *Warrant* — возможно, английский писатель, путешественник Эд.Варрен, автор книги «Английская Индия в 1843 году» (1845).

1845

[1] *Вам, мой новый, но верный друг...* — В 1845 г. Кюхельбекер возобновляет ведение дневника после перерыва, вызванного переездом из Акши в г. Курган Тобольской губернии. Дневник обращен к «новому другу», обретенному им, по-видимому, во время пребывания в Иркутске по дороге в Курган. Можно предположить, что таким другом могла быть Мария Николаевна Волконская или кто-то из иркутских декабристов.

[2] *Марии Николаевне Волхонской.* — Часть записи от 29 марта восстановлена на основании примечаний Ю. Н. Тынянова в изд.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. 469.

[3] *...гордое терпенье...* — Слова из «Послания в Сибирь» А. С. Пушкина (1827).

[4] По свидетельству Ю. Н. Тынянова, 29 марта Кюхельбекер записывает в дневнике несколько сцен из драмы «Архилох», забытой им и восстанавливаемой по памяти.

[5] *...письмо Малиновскому...* — Очевидно, бывшему лицейскому товарищу Ивану Васильевичу Малиновскому.

[6] *«Толкование молитвы господней».* — Богословское сочинение Кюхельбекера (март 1845 г.), посвященное Александру Николаевичу, великому князю.

[7] *Басаргины* — дом Николая Васильевича Басаргина (1794—1861), декабриста, поселенного после 10 лет каторжных работ сначала в г. Туринске Тобольской губернии, а с 1841 г. в Кургане. Дом его был центром духовной жизни курганских декабристов.

[8] *Швейковский* — Иван Семенович Повало-Швейковский (ок. 1790—1845), декабрист, после 13 лет каторжных работ был поселен в г. Кургане. Ко времени приезда Кюхельбекера он был уже тяжело болен и умер 10 мая.

[9] *«Каин»* — мистерия Д. Н. Г. Байрона (1821). Для русского общества 1840-х гг. стала выражением духа времени — рефлексии и отрицания.

[10] *«Гулливер»* — «Путешествие Гулливера» (1776) Джонатана Свифта (1667—1745).

[11] *Еф. Дремин* — по-видимому, один из курганских чиновников, близкий к кругу декабристов.

[12] *...о книге Одоевского...* — О сочинении «Русские ночи» В. Ф. Одоевского (1843).

[13] *«Die Scherin von Prevorst.* Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereintragen einer Geisterwelt...» — сочинение Юстиния Кернера (1786—1862), немецкого врача и философа-мистика, рассказавшего случай из своей медицинской практики о женщине Фредерике Гауффе (F. Hauffe), которая была убеждена, что во время странных припадков галлюцинаций она беседовала с духами.

[14] *Сулье* Фредерик-Мелькиор (1800—1847) — французский драматург и романист.

[15] *...виландо-кантовский немецкий индифферентизм 70-х годов...* — Философия X. М. Виланда и И. Канта, проникнутая духом рационализма и сенсуализма, направленная против фанатического убеждения в том, что нерассуждающая вера является естественным состоянием человека, проповедуемого философами Гаманом, Якоби и др. На самом деле ни Виланд, ни Кант не проповедовали индифферентизм, т. е. безразличие к вопросам веры, но хотели разделить области знания и веры, сделать веру осмысленной и рассуждающей, к чему был близок и сам Кюхельбекер.

[16] *Бригген* — Александр Федорович фон дер Бригген (1795—1859), декабрист, после одного года каторги поселен в Тобольской губернии, с 1836 г. — в г. Кургане. Одному из немногих декабристов, Бриггену была разрешена государственная служба.

[17] *Краевский, без всякого сомнения, лучший наш критик...* — Кюхельбекер здесь говорит о В. Г. Белинском, многие статьи которого в ОЗ не были подписаны, почему Кюхельбекер и считал их принадлежащими издателю, А. Краевскому. В этой записи речь идет о статье Белинского о «Герое нашего времени» Лермонтова.

[18] *Fleur de Marie* — героиня произведения Э. Сю «Парижские тайны».

[19] *...женщина не может почитать бездельника...* — Возможно, ошибка переписчика; по смыслу должно было быть слово «бесчестного».

[20] *Писал письма к гр. Орлову, к Одоевскому и Свистунову...* — *Орлов* Алексей Федорович (1786—1861), граф, шеф жандармов и начальник III отделения Собственной его имп. величества канцелярии (с 1844 г.). В. Ф. *Одоевский* служил в 1845 г. в этой канцелярии, почему Кюхельбекер рассчитывал на его личное ходатайство перед графом Орловым. *Свистунов* Петр Николаевич (1803—1889) — декабрист, после 10 лет каторжных работ был поселен в Иркутской губернии, с 1839 г. — в Кургане, с 1841 г. — в Тобольске, куда хотел перебраться Кюхельбекер и где Свистунову была разрешена государственная служба.

[21] *Наталья Дмитриевна* — Фонвизина, жена декабриста М. А. Фонвизина; дом Фонвизиных в Тобольске был центром духовной жизни города.

[22] *Щ‹епин›* — Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович (1798—1859), декабрист, после 13 лет каторжных работ был осужден на поселение в Енисейской губернии, с 1842 г. в Кургане.

[23] *«Цесарь»* — по-видимому, перевод «Записок» Юлия Цезаря, выполненный Бриггеном.

[24] *«Сто русских литераторов»* — издание книгопродавца А. Ф. Смирдина, т. 1—3. СПб., 1839—1845. ...*Фаддей Булгарин сияет в этом сборнике*... — Во 2 томе была помещена повесть Ф. В. Булгарина «Победа от обеда».

[25] ...*на взятие греками Триполицы.* — Стихотворение Кюхельбекера «Пророчество» (1822).

[26] ...*у меня было множество гостей*... — По-видимому, назван круг людей, с которыми постоянно общался Кюхельбекер во время жизни в Кургане. *Пейкер*, *Пассек* и *Чайковский* — курганские чиновники; *Башмаков* Флегонт Миронович (1780—1859) — декабрист, сосланный в Сибирь на поселение за участие в восстании Черниговского полка.

[27] *«Мирошёв»* — «Кузьма Петрович Мирошев», роман 1842 г. Михаила Николаевича Загоскина. Рецензия на него — ОЗ, 1842, т. 21, отд. 5, с. 17.

[28] Запись от 26 августа восстановлена по примечанию Ю. Н. Тынянова в изд.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1. Л., 1939, с. 469.

[29] *Вожжинский* Порфирий Михайлович (род. 1791) — ссыльный поляк, участник польского восстания 1831 г. ...*убитый потом под Варшавой*... — Варшава была взята царскими войсками 26 августа 1831 г.

[30] Записи от 25—26 и 28 октября восстановлены по примечаниям Ю. Н. Тынянова в изд.: *Кюхельбекер В. К.* [Соч.], т. 1, с. 469.

[31] По свидетельству Ю. Н. Тынянова, 4 ноября 1845 г. Кюхельбекером сделана в дневнике последняя собственноручная запись. Далее страницы дневника использовались для записи под диктовку произведений Кюхельбекера: «Святому Димитрию Ростовскому» (26 ноября 1845 г.), «Усталость» (2 декабря), «На смерть Якубовича» (25 января 1846 г.), сцен из драмы «Архилох» (январь 1846 г.), «Мой бедный Рихтер, я тебя обидел...» (25 января), «Клеветнику» (25 января и 5 марта), «Введение к ямбам» (между 26 января и 3 февраля), «Слепота» (3 февраля), «...ты сидишь, но только трубы...» (3 и 18 февраля), «Сонет» (22 февраля), «Благодарю! наш разговор...» (4 марта, Ялуторовск), «Да, ровно через год мы свиделись с тобою...» (5 марта), «14 марта 1846 года» (14 марта, Тобольск), «Он умер, и его мне друг...» (29 марта, Курган), «Горько надоел я всем...» (13 апреля, Тобольск), «Вот слава богу, я опять спокоен...» (13 апреля), «Счастливицы вольные птицы...» (29 апреля). Здесь же, без обозначения даты, были вписаны отрывки из поэмы «Вечный Жид» («Агасвер»).

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ВЗГЛЯД НА НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Впервые напечатано в газете «Le Conservateur impartial» (1817, № 77) под названием «Coup d'oeil sur l'etat actuel de la litterature russe». Затем в переводе М. Т. Каченовского, редактора журнала, перепечатано в «Вестнике Европы» (1817, ч. 95, № 17 и 18) в разделе «Краткие выписки, известия и замечания» (с. 154—157) со следующим редакционным вступлением: «В последнем 77 нумере Петербургской газеты „Le Conservateur impartial" помещена статья под названием „Взгляд на нынешнее состояние русской словесности". По-видимому, это еще только начало; но мы переведем его, предоставляя, впрочем, мнение автора суду наших читателей». Печатается по тексту ВЕ, сверенному с французским оригиналом.

Высказывались предположения, что в той же газете перу Кюхельбекера принадлежат еще две статьи: «Essai en vers et en prose par M. Batushkoff» («Очерк о прозе и стихах г. Батюшкова» — № 83) и «Les douzes vierges dormantes, poème de M. Joukowsky» («Двенадцать спящих дев», поэма г. Жуковского — № 63). См.: *Азадовский М. К.* Последняя статья Кюхельбекера. — ЛН, т. 59. Декабристы-литераторы. М., 1954, с. 547. Однако перевод первой статьи в сокращенном виде и с добавлением нескольких слов о прозе Батюшкова напечатан в ВЕ (1817, ч. 96,

№ 23, с. 204—208) за подписью П-в (Плетнев?), которого, видимо, и следует считать автором статьи. Авторство Кюхельбекера убедительно отводится А. Глассе («Проблемы авторства Кюхельбекера (1817—1825)» — РЛ, 1966, № 4, с. 145—149), по данным которой автором первой статьи является С. С. Уваров, а второй — Д. Н. Блудов.

Кюхельбекеру отвечал В. ‹И.› С‹оц›ъ (ВЕ, 1817, ч. 96, № 23, с. 193—204), возражавший автору по всем пунктам: Соц защищал поэтов XVIII в., отрицал гекзаметр как лучший размер для перевода древних и отдавал предпочтение Кострову над Гнедичем. Об этом выступлении Кюхельбекер вспомнил спустя 15 лет в «Дневнике».

[1] *Историк Левек... поставил... Сумарокова...* — Левек П.-Ш. (1736—1812), французский историк, писал в «Истории России»: «Всегда изящный, чистый, гармоничный, он [Сумароков] подвизался во всех жанрах. Если в трагедии он не стоит наравне с Расином, ошибкам которого уж очень подражал, если он уступает Мольеру в комедии и Буало в сатире, в литературе всех времен и народов можно противопоставить его басням только басни Лафонтена» (*Levesque P. Ch.* Histoire de Russe, t. 5. Hamburg—Brunswick, 1800, p. 148—149).

[2] *...Мерзляков доказал...* — Речь идет о серии статей А. Ф. Мерзлякова «Россияда. Письмо к другу» (Амфион, 1815, январь, с. 32—98; февраль, с. 36—76; март, с. 94—123; май, с. 81—115; июнь, с. 1—41; август, с. 86—115; сентябрь, с. 49—128), в которых была подвергнута резкой для того времени критике «Россияда» М. М. Хераскова, считавшаяся образцовой русской классической поэмой.

[3] *...усилия Радищева, Нарежного...* — Отказ от ямбов и хореев, предпочтение им трехсложных размеров, отказ от обязательной рифмы сформулированы А. Н. Радищевым в главе «Тверь» «Путешествия из Петербурга в Москву» и в «Памятнике дактило-хореическому витязю». Кюхельбекер, очевидно, имеет в виду написанные смешанным размером без рифм следующие произведения В. Т. Нарежного (1780—1825): «Песнь Владимиру киевских баянов» (Приятное и полезное препровождение времени, 1798, ч. 20, с. 378—384), «Освобожденная Москва» (там же, ч. 19, с. 33—45) и «Кровавая ночь, или Конечное падение дому Кадмова» (Иппокрена, или Утехи любословия, 1800, ч. 7, с. 161—272) по мотивам трилогии Софокла о царе Эдипе, главным образом использована «Антигона».

[4] *...и некоторых других...* — Молодой критик еще не решается публично дать высокую оценку тем поэтам, которых мнение большинства подвергло безжалостному осмеянию. Последующее развитие взглядов Кюхельбекера показывает, что, по всей вероятности, имеются в виду С. С. Бобров и С. А. Шихматов.

[5] *...Востоков изданием своих «Опытов»...* — «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах» А. Х. Востокова (2 ч.), снабженные обильными примечаниями и изобилующие стихами сложных и необычных для русской литературы размеров, вышли в СПб. в 1805—1806 гг.

[6] *Гнедич вводит... героические стихи древних...* — Первый гекзаметрический перевод Н. И. Гнедича из «Илиады» был опубликован в 1813 г. в органе «Беседы любителей русского слова». Там же в связи с этим переводом разгорелась полемика между С. С. Уваровым и В. В. Капнистом о свойствах русского гекзаметра (Чтение в Беседе любителей русского слова, чтение 13. СПб., 1813, с. 56—68, 69—72; чтение 17, 1815, с. 18—42, 47—66; *Капнист В. В.* Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М.—Л., 1960, с. 196—224. См. также: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.—Л., 1964).

[7] *...словами одного из наших молодых поэтов...* — Быть может, Кюхельбекер говорит о своем лицейском друге А. А. Дельвиге, с которым, по свидетельству Пушкина, читал немецких авторов: Клопштока, Шиллера и Гельти (см. примеч. 2 к письму XLIII). Суждение Дельвига могло быть высказано в личной беседе. Во всяком случае, современникам оно не было известно, и Соц, в вышеупомянутой статье возражавший Кюхельбекеру, спрашивал, кто этот молодой поэт (ВЕ, 1817, ч. 96, № 23, с. 202).

[8] *...германический дух русскому языку...* — Кюхельбекер имеет в виду переводы и подражания Жуковского Ф. Шиллеру, И. Гете. Например: «Идиллия» — Шиллер «An Minna», «Тоска по милом» — Шиллер «Des Mädchens Klage», т. е. «Жа-

лоба девушки» (написано амфибрахием), «Моя богиня» — Гете «Meine Gottin», и др. И в особенности, очевидно, баллады, переводы-подражания Г. Бюргеру, Шиллеру, Л. Уланду: «Людмила», «Кассандра», «Светлана», «Ивиковы журавли», «Мщение» и др.

ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ

Впервые напечатано: Невский зритель, 1820, ч. 1, февраль, V. Критика, с. 106—127, подпись: 14 фев. 1820. Вильгельм Кюхельбекер; март, IV. Критика, с. 78—89, подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Статья из мартовского номера без «Прибавления» перепечатана под названием «Собрание стихотворений Анны Буниной» — Сын отечества, 1820, ч. 61, № 16, 17 апреля, с. 166—174.

[1] *...находит одну... плавность?* — Имеется в виду «Еще отрывок из дневной записки приезжего Украинца» В‹асилия› К‹аразина› (СО, 1820, ч. 59, № 2, 10 января, отд. VI, Смесь, с. 93—96), где о переводе Жуковского из Овидия сказано: «Увы! слабая память моя не позволила мне удержать для помещения здесь ничего из плавных сих стихов!» (с. 95). Об авторе «Дневной записки» см.: *Глассе А.* Проблемы авторства Кюхельбекера. — РЛ, 1966, № 4, с. 145—146.

[2] Эта оценка творчества Жуковского вызвала возражение автора статьи «Письмо к издателю», содержащей разбор стихотворения Жуковского «Узник» (СО, 1820, ч. 62, № 20, с. 22—26, подпись NN). NN издевается над поэтической системой Жуковского и саркастически заканчивает «Письмо» цитатой из Кюхельбекера: «...этих мелочей нельзя приметить во тьме красот, которыми наполнен „Узник“ корифея русских поэтов нашего поколения, которого творения должны быть предметом народной гордости и сладострастием душ высоких и чувствительных» (с. 25—26).

[3] В «Сочинениях и переводах в стихах Павла Катенина» (СПб., 1832) название стихотворения изменено: «Мстислав Мстиславович».

[4] Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту»: *Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 106.

[5] *...прочел его «Софокла».* — Стихотворение Катенина (1818) по мотивам античного предания о сыновьях, обвинивших великого трагика в безумии.

[6] *...дебелый.* — В издании 1832 г. изменено: «железный».

[7] *Мысль превосходная, но не г. Катенина...* — У Катенина перефразированы известные слова князя Святослава: «...мертвыи бо срама не имам. Аще ли побегнем, срам имам» (Повесть временных лет, ч. 1. М.—Л., 1950 (Серия «Лит. памятники»), с. 50).

[8] *...хорошо и ясно изложил г. Востоков в своем «Опыте о русском стихосложении»...* — Работа Востокова сначала напечатана была в журнале «Санкт-Петербургский вестник» за 1812 г., затем вышла отдельным изданием (СПб., 1817). Анализу тонического русского народного стихосложения посвящена вторая часть этого сочинения.

[9] *...«Два певца» какого-то К.* — Кюхельбекер ошибся: «Два певца» (СО, 1820, ч. 59, № 3, с. 133—136) напечатаны без подписи с датой: Москва, 1819.

[10] *...одно... с подписью: Варшава, другое... без подписи.* — Речь идет о двух стихотворениях П. А. Вяземского: «Послание к Тургеневу с пирогом» и «Ответ Фонвизина». С 1819 по 1821 г. Вяземский находился на службе в Варшаве.

[11] *...заняло описание подвигов волка...* — В СО (1820, ч. 59, № 2, с. 91—92) была напечатана заметка о появлении на петербургских улицах волков, загнанных в город сильными морозами.

[12] *...беспристрастие г. Греча заслуживает подражания.* — Кюхельбекер пишет о статье «Русский театр. Письмо к издателю» (подпись: В. Кл-нов, СО, 1820, ч. 59, № 6, с. 259—276), где говорится, что редактор СО (т. е. Н. И. Греч) не второй Жофруа (с. 270), а в другом месте, что он вздумал учить грамоте людей, которые

пограмотнее его (с. 271). Жофруа Жюльен (1743—1814) — известный французский критик-публицист.

[13] *...свидетельствуем ему здесь нашу благодарность.* — В СО (1820, ч. 60, № 7, с. 40—41) отмечается, что первая книжка «Невского зрителя» «достойна внимания отечественной публики разнообразием и занимательностью содержания», что «сей журнал содержит в себе хорошие и приятные статьи собственно литературные».

[14] *«Опыт о человеке»* (1732—1734) — поэма английского писателя А. Попа.

[15] *«Музарион» Виланда* — поэма (1768) немецкого писателя Виланда, действие которой происходит в Древней Греции.

[16] *«Нафан» Лессинга* — драма Г. Э. Лессинга (1729—1781) «Натан Мудрый» (1779).

[17] *...поэмою Лукреция...* — Описательная поэма «О природе вещей» Тита Лукреция Кара, римского поэта-философа (I в. до н. э.).

[18] *...поэмою о религии младшего Расина...* — Расин Луи (1692—1763), французский поэт, автор дидактических поэм «О милости» («De la grace», 1720) и «Религия» («La religion», 1746).

[19] Процитировано начало анонимной статьи «Взгляд на северную Сибирь» — Сибирский вестник, СПб., 1820, ч. 9, с. 1—2 отдельной пагинации.

[20] И‹змайлов›. Сказка. — Благонамеренный, 1820, № 1, с. 55.

[21] *...с подписью: Варшава...* — Во втором номере «Благонамеренного» за 1820 г. напечатаны следующие стихотворения П. А. Вяземского: «Устав столовой» (Подражание Панару) (с. 120—122), «К красавице уединенной» (с. 125), «Трудная задача» (с. 126—127), «Княжнин и Фонвизин» (с. 128), пять эпиграмм (с. 128—129).

[22] *Послание к Е. А. Б...вой...* — Стихотворение «Е. А. Б‹оровко›вой» ‹-Кильштедт› за подписью -Д-‹ельвиг› — Благонамеренный, 1820, № 2, с. 118—119.

[23] Под псевдонимом *Томск* печатался А. Д. Илличевский, лицейский товарищ Кюхельбекера.

[24] «Собрание стихотворений Анны Буниной», ч. 1—3. СПб., 1819—1821.

[25] Имеются в виду следующие строки из баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев. Баллада первая. Громобой»:

И грешник горьки слезы льет:
  Всему он чужд в природе.
Опять украшены весной
  Луга, пригорки, долы;
И пахарь весел над сохой,
  И счастья полны селы;
Не зрит лишь он златой весны:
  Его померкли взоры;
В туман для них погребены
  Луга, долины, горы.

[26] *...восхищались... одою к Лилете...* — Стихотворение «К Лилете», подписанное -Д-‹ельвиг›.

[27] *Ф. Г.* — Ф. Н. Глинка.

«ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ПИСЬМА К ДРУГУ» СОЧИНЕНИЕ ИВАНА ГЕОРГИЕВСКОГО

Впервые напечатано: Благонамеренный, 1818, № 6, с. 370—372. Подпись: Вильгельм.

Роман Георгиевского был издан его другом П. А. Плетневым при участии Кюхельбекера, переведшего латинские стихи Георгиевского. См. вступительную статью Плетнева в кн.: *Георгиевский Иван.* Евгения, или Письма к другу, ч. I—II.

СПб., 1818, с. V—IX отдельной пагинации. Стихи помещены в подстрочном примечании с подписью: Перевод Вильгельма

Рецензия, напечатанная в июньском номере, предваряла выход книги из печати (цензурное разрешение 9 августа 1818 г.) с целью способствовать успешной продаже романа.

Георгиевский Иван Сергеевич (1793—1818) окончил Тверскую семинарию и Петербургский педагогический институт. Затем уехал в Уральск. Е. А. Энгельгардт, директор Педагогического института, заняв пост директора Царскосельского лицея, предложил в нем службу Георгиевскому, который умер от чахотки, уже собираясь переехать в Петербург. Внимание Энгельгардта к судьбе своего бывшего ученика объясняет участие Кюхельбекера в издании романа и похвалы, расточаемые довольно слабому произведению. В то же время сама по себе похвала сентиментальной книге не противоречит литературной позиции раннего Кюхельбекера: он сам отдает дань сентиментальным настроениям на страницах того же «Благонамеренного». См., например: «К Лизе», «Призрак», «К соловью», «Мечта».

[1] *...ни чудес... ни похищений...* — Перечислен набор атрибутов, свойственных так называемому готическому роману, самым крупным представителем которого была Анна Радклиф.

[2] *Энгелев «Лоренц»* — семейно-бытовой роман из крестьянской жизни «Лоренц Штарк» (1801) немецкого писателя и драматурга Иогана Якоба Энгеля.

[3] *...заслуживают быть забытыми.* — К этому месту статьи относится примечание издателя журнала «Благонамеренный»: «В том числе и мой негодный роман „Евгений Лукич Негодяев“.

Осьмнадцати, не больше, лет
Урода этого я произвел на свет!».

А. Е. Измайлов говорит о своей первой повести «Евгений» (СПб., 1799—1801). Примечание характерно для той залихватской манеры, с какой Измайлов издавал свой журнал.

[4] Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Сельское кладбище» (1802). Перевод знаменитой «Элегии, написанной на сельском кладбище» английского поэта-сентименталиста Томаса Грея (1716—1771).

[5] *...тех почтенных мужей...* — Е. А. Энгельгардт и П. А. Плетнев, соученик Георгиевского по Педагогическому институту.

О ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ

Впервые напечатано: Сын отечества, 1820, ч. 62, № 23, с. 145—151. Подпись: В. Кюхельбекер. Рецензия на брошюру «О греческой антологии» (СПб., 1820), написанную С. С. Уваровым. Стихи переведены К. Н. Батюшковым. Работа предназначалась для несостоявшегося арзамасского журнала (см.: *Фридман Н. В.* Поэзия Батюшкова. М., 1971, с. 236; об арзамасском журнале: *Гиллельсон М. И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974, с. 127 и след.). Выпуская ее отдельной брошюрой в 1820 г., авторы со свойственной арзамасцам склонностью к литературной игре представили читателям свою книгу как произведение двух безвестных арзамасских жителей, из которых один «был избран в земские заседатели; другой поступил во внутреннюю стражу, и бумаги их остались в руках арзамасского трактирщика» (с. 1—2 без пагинации). Считая брошюру «самым важным явлением текущей российской словесности», Кюхельбекер не обращает внимания на прозрачную литературную мистификацию и называет Батюшкова автором переводов.

[1] *О французских переводах...* — В конце брошюры помещены французские переводы греческих эпиграмм, выполненные Уваровым и служившие оригиналом для не знавшего греческого языка Батюшкова.

[2] *...не понимаем...* — После французских переводов, отделенная от них чертой, помещена цитируемая эпиграмма, сопровождаемая следующим пояснением: «Сверх сего нашли мы еще на оберточном листе издаваемой нами рукописи следующую надгробную надпись, с греческого переведенную» (с. 44). Это вольный перевод эпиграммы Феодорида, выполненный Батюшковым. Точнее эпиграмма была переведена и напечатана в 1825 г. Д. В. Дашковым в «Северных цветах на 1825 год» (см.: Поэты 1820—1830-х годов, т. 1. Л., 1972 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 73, 700).

О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ, ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ, В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Впервые напечатано: Мнемозина, 1824, ч. II, с. 29—44. Подпись: В. Кюхельбекер. Содержательная, острая статья Кюхельбекера вызвала ожесточенную полемику (см. в наст. изд., с. 607, там же основная литература вопроса). Здесь укажем основные полемические выступления.

В «Новостях литературы» (1824, с. 22—28) с мелкими придирчивыми замечаниями выступил А. Ф. Воейков (подпись: В.), робко возражал Кюхельбекеру П. Л. Яковлев в «Благонамеренном» (1824, № 15, подпись: J). Основная полемика разгорелась между Кюхельбекером и Булгариным. Последний выступил с похвалами и поверхностными критическими замечаниями в ЛЛ (1824, № 15), а в № 16 ЛЛ поместил построенный на идеях Грибоедова и Кюхельбекера фельетон «Литературные призраки». Ответ Кюхельбекера вызвал резкие возражения Булгарина (см. комментарий к следующей статье) и поддержавшего его Василия Ушакова (ЛЛ, 1824, № 21 и 22), возразившего Кюхельбекеру по всем пунктам его статьи. Одоевский отвечал Булгарину и Ушакову в «Мнемозине» (ч. IV). Ушаков возражал в СО (1825, ч. 104, № 21).

[1] *Вольтер сказал...* — В предисловии к пьесе «Блудный сын».

[2] *Сонет без промахов стоит длинной поэмы!* — Цитата из трактата Буало «Поэтическое искусство» (1674). Ср.: «Поэму в сотни строк затмит сонет прекрасный» (пер. Э. Л. Линецкой) — *Буало.* Поэтическое искусство. М., 1957, с. 70.

[3] Цитата из оды французского писателя-романтика А. Ламартина «Энтузиазм».

[4] *Барон Дельвиг написал несколько стихотворений...* — Кюхельбекер мог иметь в виду следующие стихотворения Дельвига: «Дамон» (идиллия), напечатано в «Трудах вольного общества любителей российской словесности» (Соревнователь просвещения, 1824, ч. XXV, кн. 3, с. 246); «На смерть собачки Амики», 1820, напечатано: СЦ на 1828 год, с. 65; «На смерть ***, Сельская элегия», 1820, напечатано: ПЗ на 1823 г., с. 265; «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), 1820, напечатано: Новости литературы, 1823, кн. III, № 1, с. 47, и др.

[5] *Послание у нас... не видались!* — Стихотворное послание с 1810-х гг. стало излюбленным жанром в творчестве Жуковского, Батюшкова, В. Л. Пушкина, Воейкова, против них и направлен сарказм Кюхельбекера. *Триста трехстопных стихов* — вероятно, намек прежде всего на стихи Батюшкова «Мои Пенаты» (Послание к Жуковскому и Вяземскому) 1811—1812 гг., которые насчитывают 316 строк и написаны трехстопным ямбом, а также на написанное тем же размером послание Жуковского «К Батюшкову» (1811) (более 700 стихов). Его Кюхельбекер и позднее называл «несносным» (см. с. 197 наст. изд.).

[6] Источник цитаты не установлен.

[7] *...читает Дюмарсе... желает быть ясным!* — Иронический пересказ начала послания В. Л. Пушкина «К В. А. Жуковскому» (1810):

Скажи, любезный друг, какая прибыль в том,
Что часто я тружусь день целый над стихом?
Что Кондильяка я и Дюмарсе читаю,

Что логике учусь и ясным быть желаю?

. . . .

Не ставлю я нигде ни семо, ни овамо;
Я, признаюсь, люблю Карамзина читать
И в слоге Дмитреву стараюсь подражать.

О Кондильяке и Дюмарсе с пренебрежением писал Кюхельбекер и позднее. См.: «Дневник», с. 300.

[8] *...подробным описанием своей... библиотеки...* — Библиотека, круг чтения, любимые писатели описаны, в частности, в «Моих Пенатах» Батюшкова и особенно в пушкинском подражании «Моим Пенатам» — «Городок. К***» (1815). См. также стихотворение П. А. Вяземского «Библиотека» (1817). Напечатано впервые: Литературный музеум на 1827 год Владимира Измайлова. М., 1827, с. 149—160.

[9] *...швабских гусей...* — Намек на следующие строки послания Жуковского «К Батюшкову» (1811):

И, гость из края дальня,
Уютный домик свой
Там швабский гусь спесивой
На острове под ивой
Меж дикою крапивой
Беспечно заложил.

[10] *Парни и Мильвуа.* — *Парни* Эварист (1753—1814) — французский поэт, автор изящных стихов эротического и эпикурейского содержания («Эротические стихотворения 1778», «Поэтические безделки», 1779), а также «Мадагаскарских песен» (1787). *Мильвуа* Шарль Ибер (1782—1816) — французский поэт, автор элегий. Батюшков переводил этих поэтов, особенно Парни, в 1810-х гг. Еще Гнедич в письме от 21 марта 1811 г. упрекал Батюшкова за отход от серьезной тематики и увлечение «легкой поэзией», см.: *Гнедич Н. И.* Письма к К. Н. Батюшкову. — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974, с. 89—92.

[11] *Она родилась в Провансе...* — Размышления Кюхельбекера о генезисе романтической поэзии восходят к положениям французского историка Ж.-Ш. Сисмонди, который писал о влиянии поэзии трубадуров на развитие европейского романтизма, рассматривая творчество Данте в непосредственной связи с провансальской лирикой (см.: *Sismondi J. C. L.* De la littérature du midi de l'Europe, t. 1. Paris, 1813, p. 342—343).

[12] *Картины везде одни и те же... туман в голове сочинителя.* — В основном нападение на Жуковского, которого Кюхельбекер считал одним из самых талантливых представителей неприемлемой для него линии литературного развития. Приведем несколько параллелей к словам Кюхельбекера из стихотворений Жуковского, в которых мы найдем и луну:

Бледнее тусклая луна!
Светлей восток багровый, —

(«Двенадцать спящих дев»)

и лес с заходящим солнцем:

Там пламенел брегов на тихом склоне
Закат сквозь редкий лес, —

(«Варвик»)

и тени:

Их тени мчатся в высоте...
Возникли тени с воем... —

(«Певец во стане русских воинов»)

и олицетворения Покоя, Лени и пр.:

Вхожу в твою обитель:
Здесь весел ты с собой,
И Лени друг, Покой,
Дверей твоих хранитель.

(«К Батюшкову»)

Туман был действительно излюбленной деталью поэтического пейзажа Жуковского. Например:

Окрест его дремучий бор,
Утесы под ногами;
Туманен вид полей и гор;
Туманы над водами...
Но тщетно он очами
Летит к далеким небесам...
Туман под небесами!

(«Двенадцать спящих дев»)

[13] *...для немногих...* — Намек на поэтические сборники Жуковского «Для немногих» («Für Wenige»), № 1—6. М., 1818.

[14] *Печатью народности... Пушкина.* — Имеются в виду начало баллады «Светлана» (1808) с описанием народных обрядов, конец послания «К Воейкову» (1814), где разрабатываются русские фольклорные мотивы, баллады Катенина «Убийца» (1815), «Леший» (1815), «Ольга» (1816) и фольклорно-исторические мотивы в «Руслане и Людмиле» (1820).

[15] *...по законам Лагарпова «Лицея» и Баттёева «Курса»...* — Лагарп Ж. (1739—1803) — французский теоретик литературы, сторонник классицизма, автор шестнадцатитомного «Лицея, или Курса древней и новой литературы» (издан в 1799—1805 гг.), русский перевод: *Лагарп Г. Ф.* Лицей, или Круг словесности древней и новой, ч. 1—5. СПб., 1810—1814. Баттё Ш. — французский эстетик, автор пятитомного «Курса литературы». На русский язык переведен с немецкого с добавлениями Рамлера: *Баттё.* Начальные правила словесности, т. 1—4. М., 1806—1807.

[16] *...господина издателя «Северного архива»* — Ф. В. Булгарина.

ОТВЕТ ГОСПОДИНУ С... НА ЕГО РАЗБОР I ЧАСТИ «МНЕМОЗИНЫ»...

Впервые напечатано: Мнемозина, 1824, ч. II, с. 159—164. Подпись: В. Кюхельбекер. Ответ на рецензию с подписью С‹омов› в СО, 1824, ч. 93, № 15, с. 31—37. Перепечатано: Благонамеренный, 1824, № 9, с. 208—213. (О. М. Сомов назван автором рецензии в кн.: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., 1959, с. 392).

[1] Последняя строка из «Эпиграммы» И. И. Дмитриева (см.: *Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 251).

[2] *...«Историю Марии де Медичи»...* — 24 картины аллегорически-исторического содержания (1622—1623), прославляющие Марию Медичи и выполненные Рубенсом по ее заказу.

[3] *...г. Булгарин говорит, что на счет опечаток можно отнести многое...* — Имеется в виду конец рецензии Булгарина на «Мнемозину», ч. I: «Издатели обещают при последней части исправить все типографические ошибки. Мы знаем, что на этот счет можно отнести многое, и поэтому, не входя в подробности, же-

лаем им от всего сердца всевозможного успеха по всем отношениям» (ЛЛ, 1824, март, № 5, с. 192—193).

[4] *...разбирал «Мнемозину»... обругать ее.* — Речь идет о резко отрицательном отзыве на «Мнемозину» В‹оейкова› в «Новостях литературы» (Приложение к «Русскому инвалиду»), 1824, кн. VIII, № 14, сводившего счеты с Кюхельбекером за его отзыв 1820 г. (см. с. 440—441 наст. изд.). Кюхельбекер от полемики отказался, и Воейкову отвечал В. Ф. Одоевский во втором томе «Мнемозины» саркастической статьей «Письмо в Москву к В. К. Кюхельбекеру» (с. 165—185).

РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ

Впервые напечатано: Мнемозина, 1824, ч. III, с. 157—177. Подпись: Кюхельбекер. Ответ на рецензию Ф. Булгарина: Литературные листки, 1824, август, № 15, с. 73—83. Подпись: Ф. Б.

Булгарин доброжелательно отнесся к статье Кюхельбекера, но не понял ее значения, смелых литературных идей критика. Для Булгарина было неприемлемо нападение на авторитеты, и он советовал Кюхельбекеру ругать подражателей. Эстетическая глухота Булгарина и эклектичность его литературной позиции, раздражив Кюхельбекера, вызвали его резкий ответ.

[1] Латинское изречение из Тацита: «...я намерен... повести в дальнейшем рассказ о принципате Тиберия и его преемников *без гнева и пристрастия*» (Анналы, кн. 1, 1).

[2] *Марлинский* — псевдоним А. А. Бестужева.

[3] *...житель... Васильевского острова...* — Псевдоним Н. А. Цертелева.

[4] *...житель Петербургской стороны...* — Возможно, Кюхельбекер не совсем точно называет псевдоним, имея в виду «Жителя Галерной гавани» (псевдоним О. М. Сомова) или «Жителя Выборгской стороны» (под этим псевдонимом печатались статьи в «Благонамеренном» в 1823 г.).

[5] *...Лужницкий... старец...* — Псевдоним М. Т. Каченовского.

[6] *...другой... великий писатель...* — Быть может, намек на статью П. А. Вяземского «Вместо предисловия к „Бахчисарайскому фонтану“. Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова», тоже представляющую разговор между сторонниками противоположных литературных точек зрения. Статья вызвала бурную полемику и достаточно скептически была оценена Кюхельбекером (см. ниже статью «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности» и примечания к ней).

[7] *...разговоры господина Булгарина с Ванюшею...* — В ЛЛ 1823—1824 гг. печатались разговоры Архипа Фадеича (под этим именем издатель журнала изображал себя) с Ванюшею. Разговоры представляли собою полемические заметки о соперничающих периодических изданиях. Так, в ЛЛ, 1824 г. (№ 2, январь, с. 55—57; № 9 и 10, май, с. 384—387) задет «Дамский журнал» князя Шаликова.

[8] *...с моею излишнею самонадеянностию...* — Разбор статьи Кюхельбекера Булгарин заканчивает следующими словами: «Статья сия, по великим истинам в ней заключающимся, по откровенности душевной, с какою автор высказал все, что у него лежало на сердце, и, наконец, по благородной любви к отечеству, ко всему возвышенному заслуживает внимания не только литераторов, но и всех патриотов. Недостатки ее: излишняя самонадеянность автора в суждениях, резкий, решительный тон и неправильные притязания к первоклассным поэтам вместо того, чтобы вооружаться противу бледных их подражателей. Невзирая на все это, статья сия принесет пользу литературе, и многие писатели, которые явно будут бранить ее, может быть, тайно последуют советам г. Кюхельбекера, чего мы желаем от всего сердца для славы России» (ЛЛ, 1824, август, № 15, с. 77—78).

[9] *...желание Месмера намагнетизировать солнце...* — Месмер Фридрих Антон (1733—1815), немецкий врач, создатель теории «животного магнетизма», согласно

которой солнце, луна, звезды, являясь источником магнитной силы, оказывают влияние на все живое. Теория Месмера и способы лечения болезней, предложенные им, пользовались большим успехом в начале XIX в., пока не была доказана их несостоятельность.

[10] *...не дошло еще до вашего сведения...* — Издевка Кюхельбекера: Буало во второй песне «Поэтического искусства» (1674), посвященной лирическим жанрам, рассматривает идиллию, эклогу, элегию, оду и проч.

[11] *...элегия Гетева «Euphrosyne»*, посвященная артистке Веймарского театра, издавна интересовала Кюхельбекера. Об этом стихотворении он беседовал с Гете во время веймарской встречи (см.: *Жирмунский В. М.* Гете в русской литературе. Л., 1937; *Дурылин С.* Русские писатели у Гете в Веймаре. — ЛН, т. 4—6. М., 1932, с. 374—403).

[12] В том же номере ЛЛ, где помещена рецензия Булгарина, напечатана ода Горация «К Сестию» (кн. 1, ода 4), переведенная Иваном Бороздною (с. 71—72).

[13] Гораций. Оды, кн. 4, ода 2, К Юлу Антонию. Ср. современный перевод (Н. Гинцбурга) первых двух строф, приводимых Кюхельбекером:

Тот, держась на крыльях, скрепленных воском,
Морю имя дать обречен, как Икар,
Кто, о Юл, в стихах состязаться дерзко
  С Пиндаром тщится.
Как с горы поток, напоенный ливнем
Сверх своих брегов, устремляет воды,
Рвется так, кипит глубиной безмерной
  Пиндара слово.

(*Квинт Гораций Флакк.* Оды, эподы, сатиры, послания. М., 1970, с. 179).

[14] *...Жуи приобрел известность.* — В. Ж. Э. Жуи — автор популярной в России серии нравоописательных очерков. Кюхельбекер, по всей вероятности, познакомился с Жуи в Париже (см.: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968, с. 308, 315).

[15] *Вашу эфемериду... статью о Горации при разборе од...* — Очерк Булгарина «Модная лавка, или Что значит фасон?» напечатан в ПЗ на 1824 г. (см.: Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.—Л., 1960 (Серия «Лит. памятники»), с. 310—317). Здесь насмешка над Булгариным: его «безделка» противопоставлена предполагаемой статье Кюхельбекера о Горации. Булгарин насмешку понял и резко ответил Кюхельбекеру: «Неужели вы думаете оскорбить меня, называя мои статьи о нравах безделками? Я сам никогда иначе не называл их. Сделайте милость, наименуйте мне хотя одно ваше произведение, которое можно назвать не безделкою» (Ответ г. Кюхельбекеру. — ЛЛ, 1824, ноябрь, № 21—22, с. 112).

[16] *...заменяет запятые точками.* — Речь идет о мелких неточностях в передаче титульного листа «Мнемозины». В оригинале: «Мнемозина, собрание сочинений в стихах и прозе, издаваемая кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером. Часть I». Булгарин в рецензии на «Мнемозину» с примечанием: «Мы выписали заглавный лист с дипломатическою точностию и с теми же знаками препинания, как в подлиннике» — воспроизвел верхнюю часть титульного листа следующим образом: Мнемозина, Собрание сочинений в стихах и прозе. Издаваемая кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером. Часть I» (ЛЛ, 1824, март, № 5, с. 182—183). Кюхельбекер, воспроизводя, как видим, тоже не совсем точно «дипломатическую» запись Булгарина, упрекая его за замену запятой на точку перед причастным оборотом, имел в виду не только конкретный случай, но, видимо, вообще манеру Булгарина обрывать цитату в нужном месте, давая тем самым произвольное толкование мыслям цитируемых и разбираемых авторов.

[17] *...предубеждения... противу... французских трагиков известны...* — Романтик Шиллер отрицал достоинства французской классической трагедии, которая «ложно поняла дух древних», называл героев П. Корнеля «ледяными созерцателями своих страстей, старчески благоразумными педантами». — *Шиллер Ф.* Собр. соч. в 8-ми т., т. VI. Статьи по эстетике. М.—Л., 1950, с. 695—696.

[18] *...Гете... рассуждая... о французах...* — Имеется в виду полемический разбор первых двух глав «Опыта о живописи» Дидро («Diderots Versuch über die Malerei», 1799). Перевод «Племянника Рамо» был выполнен Гете в 1803 г. с рукописи Дидро и появился на немецком языке раньше, чем на французском (см.: *Гете И. В.* Об искусстве. М., 1975, с. 468—471).

[19] *...незабвенный мой тифлийский знакомец!* — Возможно, речь идет о поэте А. А. Шишкове (1799—1832), бреттере и вольнодумце, с которым Кюхельбекер общался в 1821 г. в Тифлисе (см.: Поэты 1820—1830-х годов, т. 1. Л., 1972 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 398—399). Кюхельбекер скептически отозвался о сборнике Шишкова «Восточная лютня» (см. с. 500 наст. изд.).

[20] *Стихотворение «Проклятие»* (Мнемозина, 1824, ч. II, с. 72), исполненное высокой декабристской символики, в подтексте имело в виду отношения автора с А. П. Ермоловым (см.: Лирическое стихотворение. Анализы и разборы. Л., 1974, с. 9—19). В рецензии на «Мнемозину» Булгарин иронически отозвался о стихотворении: «...это что-то ужасное, что-то похищенное из храма Эвменид и поставленное в вертограде словесности для пугания коршунов, угрожающих расцветающим поэтам. Страшно!» (ЛЛ, 1824, август, № 15, с. 81). Оскорбленный «разговором» Булгарин, отбросив все приличия, вступил с «Мнемозиной» в ожесточенную перебранку, в которой не постеснялся раскрыть обстоятельства личной жизни Кюхельбекера: «Это „Проклятие“ противу оскорбителей поэтов походит на писк воробья, который, не могши свить себе гнезда на вершине Кавказа, силится свалить гордый Эльборус. Напрасно вы думаете, что я почитаю эту пиесу страшною: напротив, она мне кажется презабавною» (ЛЛ, 1824, ноябрь, № 21—22, с. 112). За эту выходку Булгарину резко выговаривал будущий декабрист П. А. Муханов: «Жаль, любезный друг, что ‹...› Кюхельбекеру привел в насмешку публично его несчастья, которых виною единственно его благородная душа. На кавказского воробья не постыдился напасть кавказский проконсул. Зачем же в литературных битвах вспоминать гонения, почти всегда несправедливые, и мщение, всегда отвратительное и постыдное, когда мстит сила на человека беспокровного. ‹...› Кюхельбекер — человек благородный, с душой, с странностями и горем... вот заслуги и право на уважение» (РС, 1888, т. 60, № 12, с. 591).

РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

Впервые напечатано: Сын отечества, 1825, ч. 102, № 15, с. 257—276, № 16, с. 357—386. Подпись: В. Кюхельбекер.

Высокая оценка творчества С. А. Шихматова имела для Кюхельбекера принципиальное значение. Обращаясь к В. Ф. Одоевскому с просьбой прислать сочинения Шихматова, он, очевидно готовясь к работе над комментируемой статьей, писал: «...одна из главных причин, побудивших меня сделаться журналистом, — желание отдать справедливость этому человеку» (РС, 1904, т. 117, № 2, февраль, с. 381. В тетради Кюхельбекера (ОР ИРЛИ, ф. 244 Пушкина, оп. 3, № 17, л. 8—15) сохранились обширные выписки из поэмы Шихматова «Петр Великий»). В то же время именно Шихматова осыпали в первую очередь потоком остроумных эпиграмм Батюшков, В. Л. Пушкин, Вяземский, А. С. Пушкин и др. Защита творений Шихматова казалась старым литературным друзьям Кюхельбекера наиболее парадоксальным и наиболее уязвимым пунктом его новой литературной позиции. Дельвиг, обращаясь к лицейскому другу, уговаривает: «Напиши ‹...› Шихматову проклятие, но прежними стихами, а не новыми» (*Дельвиг А. А.* Соч. СПб., 1903, с. 149), в письме Туманского—Пушкина от 11 декабря 1823 г. из Одессы говорится: «...вкус твой

несколько *очеченился*! Охота же тебе читать Шихматова и Библию. <...> Читай Байрона, Гете, Мура и Шиллера, читай кого хочешь, только не Шихматова!» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 13. М.—Л., 1937, с. 81). Статья Кюхельбекера не убедила Пушкина и не заставила его изменить свое мнение о Шихматове: «...князь Шихматов, несмотря на твой разбор и смотря на твой разбор, бездушный, холодный, надутый, скучный пустомеля... ай ай, больше не буду! не бей меня» (Письмо В. К. Кюхельбекеру 1—6 декабря 1825 г.) — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 10. М., 1958, с. 194.

[1] *...двумя лирическими эпопеями...* — Речь идет о поэмах Шихматова «Петр Великий. Лирическое песнопение в осьми песнях» (1810) и «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия. Лирическая поэма в трех песнях» (1807).

[2] О единстве эпопеи см., например, Баттё («Эпопея повествует только об одном, а не о многих действиях». — *Баттё.* Начальные правила словесности. М., 1807, т. 2, с. 214). Херасков сформулировал эти требования в предисловии к «Россияде» («Эпическая поэма заключает какое-нибудь важное, достопамятное, знаменитое приключение, в бытиях мира случившееся, и которое имело следствием важную перемену, относящуюся до всего человеческого рода». — *Херасков М. М.* Россияда. Историческое предисловие. — Творения М. Хераскова, ч. 1. М., 1796, с. XVII).

[3] *Но Шекспир... обнял целых два века...* — Кюхельбекер рассматривал исторические драмы Шекспира («Ричард II», «Генрих IV», «Генрих V», «Генрих VI» и «Ричард III») как единую историческую поэму. В 1832 г. он посвятил этому вопросу специальное «Рассуждение о восьми исторических драмах Шекспира, и в особенности о Ричарде III», см.: *Левин Ю. Д.* Рассуждение В. К. Кюхельбекера об исторических драмах Шекспира. — В кн.: Международные связи русской литературы. Сб. статей под ред. акад. М. П. Алексеева. М.—Л., 1963, с. 286—320.

[4] *Фердоуси* — см. примеч. 15 к «Русскому Декамерону».

[5] *...известная школа... называет слогом.* — Намек на карамзинистов. Ср. упоминание о «кружковом жаргоне» в статье «О направлении нашей поэзии...» (с. 457 наст. изд.). Сам Карамзин определял в 1802 г. современную эпоху развития литературы как характеризующуюся «приятностью слога» («Пантеон российских авторов». — В кн.: *Карамзин Н. М.* Избр. соч. в 2-х т., т. 2. М.—Л., 1964, с. 162).

[6] *...неизвестное ему слово...* — Возможно, намек на употребленное Шихматовым в стихотворении «Возвращение в отечество любезного моего брата князя Павла Александровича из пятилетнего морского похода» слово «двоица» в значении «пара коней»:

...кто там мчится в колеснице
На резвой двоице коней...

(Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971
(Б-ка поэта. Большая серия), с. 412).

Над словоупотреблением Шихматова смеялись М. Т. Каченовский в рецензии на это стихотворение («Хорошо, что приезжий гость скакал не на тройке» — там же, с. 843) и В. Л. Пушкин в поэме «Опасный сосед»:

Позволь, варяго-росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец.
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы, парой двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас.

(там же, с. 669)

[7] *...модным олицетворениям... поражающим нас... помощию одной прописной буквы!!* — Намек на Жуковского. Примеры олицетворений см. в примеч. 12 к статье «О направлении нашей поэзии...».

[8] *...на которых душою негодуем за их ослепление...* — Кюхельбекер говорит о поэтах, осыпавших Шихматова злыми стихами и эпиграммами, в которых высмеивались его произведения: о Батюшкове («Совет эпическому стихотворцу», «На поэмы Петру Великому», «Видение на берегах Леты», «Певец в Беседе любителей русского слова»), Вяземском («Спасителя рожденьем...», «В двух дюжинах поэм воспевший предков сечи...»), А. Пушкине («Угрюмых тройка есть певцов...», «Пожарский, Минин, Гермоген...») и др.

[9] Эсхил, «Агамемнон», ст. 1068.

[10] *Дедал* (ант. миф.) — строитель лабиринта, отец Икара. Здесь переносно: лабиринт.

[11] *Петров смелою, мощною кистью оживляет перед нами коня...* — Вероятно, имеется в виду ода В. П. Петрова «На карусель» (1782, 2-я редакция):

Драгим убором покровенны,
Летят быстряе стрел кони;
Бразды их пеной умовенны,
Сверкают из ноздрей огни.
Крутятся, топают бурливы,
По ветру долги веют гривы,
Копыты мещут вихрем персть.

(Поэты XVIII века, т. 1. Л., 1972
(Б-ка поэта. Большая серия), с. 388).

[12] *...есть различие между игрою словами...* — Великих английского, испанского и персидского поэтов, использующих все возможности стихотворного языка, Кюхельбекер противопоставляет поверхностным и манерным поэтам. *Дора* Клод Жозеф — французский поэт, стихи которого, по мнению современников, были изящны, но бессодержательны. *Марини* (правильнее Марино) Джамбаттиста (1569—1625) — итальянский поэт, долго живший во Франции. Стихи его, талантливые и своеобразные, отличаются вычурностью, изысканностью и сложностью. Марино — один из основателей прециозного стиля (маринизма).

[13] Цитата из сатиры И. И. Дмитриева «Чужой толк» (1794).

[14] *Напрасно... искали бы в его творении чудесного...* — Поэтика классицизма считала элемент чудесного обязательным для эпической поэмы (см., например, работы, указанные в примеч. 2 к наст. статье).

РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ РУССКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

Впервые напечатано: Сын отечества, 1825, ч. 103, № 17, с. 68—83. Подпись: В. Кюхельбекер.

Карл Фридрих фон-дер-Борг (1794—1848), переводчик на немецкий язык произведений русских и английских авторов, родился в Петербурге; с детских лет жил в Дерпте (Тарту), где учился на юридическом факультете университета (1811—1816), служил секретарем уездного суда (1820—1826), впоследствии был синдиком университета и управляющим университетской канцелярией. Подробные биографические сведения о К. Ф. фон-дер-Борге, список его переводов и собственных сочинений, а также литературу о нем см. в кн.: Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen von K. Goedeke. 2. ganz neu bearb. Aufl. Bd XV. Hrsg. von H. Jacob. Lfg 1. Berlin, 1964, S. 89—91; Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). СПб., 1913 (Языковский архив, вып. 1).

Из переводов, выполненных в конце 10-х—начале 20-х гг., фон-дер-Борг составил двухтомную антологию русской поэзии: Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von der Borg. Bd 1. Dorpat, 1820; Bd 2. Riga—Dorpat, 1823.

Антология в целом была принята благожелательно. В немецкой прессе появилось на нее несколько положительных рецензий (см. перечень в кн.: Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. . ., Bd XV, Lfg 1, S. 90). С похвалою отозвался о ней и французский журнал «Энциклопедическое обозрение» (Revue encyclopédique, 1824, t. 24, Novembre, p. 391—394). В России, где в это время придавали очень большое значение знакомству Запада с русской литературой (см. об этом: *Десницкий В. А.* Западноевропейские антологии и обозрения русской литературы в первые десятилетия XIX века. — В кн.: Десницкий В. А. Избр. статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.—Л., 1958, с. 192—198), сложилось высокое мнение о переводах Борга. Н. И. Греч считал их «верными и элегантными» (Le Conservateur Impartial, 1821, N 78). А. А. Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» назвал Борга в числе «примерных переводчиков-поэтов» с русского языка (*Бестужев-Марлинский А. А.* Соч. в 2-х т., т. 2. М., 1958, с. 546). Граф Д. И. Хвостов добивался, чтобы Борг перевел и его стихотворения (Письма Н. М. Языкова к родным. . ., с. 67, 78). Молодой Н. М. Языков, приехавший в Дерпт в ноябре 1822 г. и занимавшийся под руководством Борга немецким языком и латынью, признал его переводы «прекрасными», послал на родину несколько экземпляров антологии «для распространения славы Борга, которой он весьма достоин», и засыпал родных просьбами о присылке нужных Боргу книг (там же, с. 13, 15, 18, 21, 22, 23, 31). В. М. Перевощиков, занявший в Дерптском университете после А. Ф. Воейкова должность профессора русского языка и словесности, написал в 1826 г. следующий отзыв об антологии Борга: «Сии переводы сделаны из лучших российских стихотворцев; приняты не токмо в Германии, но и во всей Европе с отличным уважением. И справедливо достойны такого уважения: удивительно верны и точны, сохраняют красоты подлинников и чистоту и правильность немецкого языка» (там же, с. 447). Интересовался антологией и П. А. Катенин, имевший первую ее часть в своей библиотеке (Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века. С вступ. статьею и примеч. А. А. Чебышева. СПб., 1911, с. 82, 108).

На этом фоне диссонансом прозвучала рецензия Кюхельбекера. Антология Борга, по-видимому, не представлялась Кюхельбекеру значительным литературным явлением, достойным подробного и серьезного разбора. Во всяком случае он, по его собственному признанию, читал лишь первую часть и, даже когда писал статью, не приложил стараний, чтобы ознакомиться со второю. Однако его внимание привлекла анонимная рецензия в «Литературном листке» (Literatur-Blatt, 1825, Juli 29, N 60, S. 237—239), издававшемся в Тюбингене в качестве приложения к «Утренней газете для образованного читателя» (Morgenblatt für gebildete Leser). Точка зрения немецкого рецензента, признавшего всю русскую поэзию незрелою и подражательною, возмутила Кюхельбекера. Но поскольку он не читал кратких критико-биографических справок, помещенных в конце второго тома, и не знал, что рецензент во многих случаях не посчитался с оценками Борга, то значительную долю вины за создавшееся у автора рецензии неправильное представление о русской поэзии он возложил на переводчика, предъявив ему претензию в одностороннем подборе стихотворений.

Действительно, в первом томе антологии (как, впрочем, и во втором) явное предпочтение было отдано поэтам из круга Карамзина и Жуковского (подробный анализ антологии см. в статье В. А. Десницкого «Западноевропейские антологии и обозрения русской литературы. . .», с. 198—200). Эти литературные симпатии Борга явно питались его личными связями. С А. Ф. Воейковым, под чьим руководством он начал переводить русских поэтов, у него установились тесные отношения. Н. М. Языков, осведомленный от самого Борга об обстоятельствах создания первого тома антологии, сообщал брату в письме от 21 января 1823 г., что отбор стихотворений производился под влиянием Воейкова (Письма Н. М. Языкова к родным. . ., с. 43). Через Воейкова Борг познакомился с Жуковским, который бывал длительными наездами в Дерпте в 1815—1816 гг., а временами и позднее. И. Вилламов, начавший учиться в Дерпте в августе 1819 г., т. е. в то время, когда подходила к концу работа над первым томом антологии (цензурное разрешение на него датировано 21 ноября 1819 г.), в письме к Кюхельбекеру от 18 ноября

сообщил о знакомстве с М. А. Мойер, в чьем доме, по его словам, собиралось «отборное общество». В приписке к письму говорилось: «Стихотворения В. А. [Жуковского] прекрасно переводятся на немецкий язык Ст‹удентом?› Боргом» (Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина, ч. 9. М., 1901, с. 351).

Кюхельбекер из писем И. Вилламова, а также, по всей вероятности, и из других источников (например, из бесед во время остановки в Дерпте в сентябре 1820 г.) знал о том, в каком литературном окружении создавалась антология Борга и какие влияния испытал на себе переводчик. Поэтому в конечном итоге Кюхельбекер пришел к заключению, что вина за неудачный подбор стихотворений, исказивший, с его точки зрения, картину русской поэзии, лежала на Жуковском и Воейкове, которых он не назвал по имени, но на которых достаточно прозрачно намекнул. Таким образом, возражение на немецкую рецензию стало поводом еще раз выступить против «известной школы», с которой Кюхельбекер в это время резко полемизировал.

Печатных откликов на статью Кюхельбекера в 1825 г. не появилось. Н. М. Языков, хотя и относившийся к Кюхельбекеру уважительно, но не признававший его «шишковства» и «геттингенства», писал брату 20 сентября 1825 г. по прочтении «Разбора»: «К[юхельбекер], кажется, корчит русского Лессинга или Шлегеля ‹...› Что он привязывается ни к селу ни к городу к каким-то романтикам в нашей литературе? Это просто бестолково: ежели Шакспир, Гете, Шиллер и Тик романтики, то у нас вовсе нет романтиков — не правда ли? ‹...› Разбор переводов Борга с русского доказывает только то, что К[юхельбекер] читал оглавление первой части, а последней вовсе не видал» (Письма Н. М. Языкова к родным..., с. 207). Сам Кюхельбекер, перечитав свою статью в Свеаборгской крепости 4 декабря 1833 г., записал в дневнике: «...ныне я почти совершенно тех же мыслей, но выразился бы несколько помягче».

Немецкая рецензия приведена в статье Кюхельбекера почти полностью в весьма точном, хотя и не буквальном переводе. Опущены цитаты из стихотворений, даты жизни упоминаемых авторов и несколько предложений в разных местах. Отдельные небольшие отрывки рецензии переданы пересказом.

[1] *...французских переложений С. Мора...* — Дюпре де Сен Мор Эмиль (1772—1854) — французский государственный деятель и писатель, издавший антологию русской поэзии в своих переводах (Anthologie russe, suivie de poésies originales. Paris, 1823), выполненных по подстрочникам и признанных в России малоудачными. См. подробно: *Десницкий В. А.* Западноевропейские антологии и обозрения русской литературы в первые десятилетия XIX века. — В кн.: Десницкий В. А. Избр. статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.—Л., 1958, с. 206—209; *Берков П. Н.* Изучение русской литературы во Франции. — ЛН, т. 33—34. М., 1939, с. 731—732.

[2] *...переложений английских Боуринга...* — Бауринг Джон (1792—1872) — английский государственный деятель, путешественник и переводчик. Посетив в 10-е гг. по торговым делам Россию и познакомившись с рядом русских писателей (Н. М. Карамзиным, И. А. Крыловым и др.), он выпустил двухтомную антологию русской поэзии в своих переводах (Российская антология. Specimen of the Russian Poets: with Preliminary Remarks and Biographical Notices. P. 1—2. London, 1821—1823), которая была сочувственно принята как в Англии, так и в России. См. подробно: *Десницкий В. А.* Западноевропейские антологии и обозрения русской литературы..., с. 200—206.

[3] *Из «Собрания образцовых сочинений в стихах»...* — Кюхельбекер имеет в виду осуществленное А. Ф. Воейковым, В. А. Жуковским и А. И. Тургеневым «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом любителей отечественной словесности» (ч. 1—6. СПб., 1815—1817). В антологии Борга «Собрание» не упоминается. Следовательно, о том, что Борг им пользовался, Кюхельбекер или узнал от друзей и знакомых, или подозревал, исходя из содержания первого тома антологии, а также известных ему литературных свя-

зей переводчика. Борг, очевидно, действительно пользовался «Собранием», так как в нем имеется большинство стихотворений, включенных в первый том, и ощущается некоторая зависимость от него в распределении стихотворений по жанрам. Однако в первом томе антологии есть также стихотворения, отсутствующие в «Собрании», а в распределении по жанрам переводчик во многих случаях проявил самостоятельность.

4 *...наружного образа...* — Так Кюхельбекер перевел немецкое слово «die Form» («форма»). В условиях, когда литературоведческая терминология не была еще разработана, Кюхельбекер испытывал трудности при поиске точного русского эквивалента немецкому понятию. Ниже он передал его словом «одежда».

5 Опущено окончание предложения: «...у самых молодых из включенных в книгу поэтов более заметны следы влияния Шиллера; особенно благотворно он, кажется, повлиял на форму их стихотворений».

6 *...некоторые занимательные, но в России всем известные приключения Ломоносова...* — Речь идет о детских годах Ломоносова, его появлении в Москве с обозом, привезшим рыбу, обстоятельствах учебы в Германии и возвращения на родину.

7 *...имел в виду некоторых германцев...* — Неудачный перевод фразы «vor Augen gehabt haben können» (дословно: «держал перед глазами», т. е. «возможно, читал», «возможно, знал»).

8 *Геллерт* Х. Ф. — немецкий писатель-просветитель.

9 *...подражания Иову...* — Ломоносов, «Ода, выбранная из Иова» («О ты, что в горести напрасно...»).

10 *...одежда...* — См. примеч. 4.

11 *Руссо* Жан-Батист (1670 или 1671—1741) — французский поэт-классицист.

12 *Ла-Мотт* — Удар де Ламот Антуан (1672—1731) — французский писатель, выступивший против условностей классицизма, но сам пунктуально придерживавшийся их в своих стихотворениях.

13 *Галлер* Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский поэт и естествоиспытатель.

14 *...в отношении к другим, называет Ломоносова высоким...* — Перевод неточный; следует: «ставит его [Ломоносова] относительно высоко».

15 *Ла Мартин* — Ламартин А. М. Л. де — французский поэт-романтик.

16 *...будучи секретарем при посольстве в Дрездене...* — В 1766—1769 гг.

17 *...(то есть немцы)..* — Пояснение Кюхельбекера.

18 *...(т. е. Сумароков)...* — Пояснение Кюхельбекера.

19 *...разговор фон-Визина.* — В переводе фон-дер-Борга «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» имело заглавие «Gespräch mit meinen Dienern Schumilow, Johann und Peter» (Poetische Erzeugnisse..., Bd 2, S. 273—282). Автор рецензии привел лишь первое слово заглавия («Разговор») без кавычек, и Кюхельбекер, не зная второй части антологии, не догадался, о каком произведении идет речь. О «народном» остроумии Фонвизина Борг писал в связи с «Недорослем» (ibid., p. 399).

20 *Всем его стихотворениям... (см. «К Волге»).* — Перевод неточный. В рецензии говорится: «Мы выделяем его „Освобождение Москвы“ (1, с. 15), „Стансы [к Н. М. Карамзину]“ (1, с. 127) и особенно „Ермака“ (1, с. 151 след.). Однако порою он пустословит (1, с. 218 [«Видел славный я дворец...»]), а порою возвращается к французской высокопарности (1, с. 89, «К Волге»)».

21 *Сульцер* — Зульцер Иоганн Георг (1720—1779) — немецкий ученый, автор сочинений по теории эстетики.

22 *Шибелер* Даниель (1741—1771) — немецкий поэт, драматург, автор многочисленных романсов.

23 *...немецкая словесность...* — В рецензии: «новая немецкая поэзия».

24 *...«в которых... говорится... дышат глубокою заунывностию».* — Эти слова цитируются рецензентом из примечаний фон-дер-Борга (Poetische Erzeugnisse..., Bd 2, S. 390), которые последний, по его собственному признанию, составил главным образом по книге Н. И. Греча «Опыт краткой истории русской литературы» (1822).

МИНУВШЕГО 1824 ГОДА... ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ...

Написано, видимо, в конце 1824 или начале 1825 г. На последнюю дату, может быть, указывает в заглавии заметок слово «минувшего». Возможно, обозрение готовилось для «Мнемозины» на 1825 г. или для несостоявшегося критического журнала «Комета» и осталось незаконченным, так как эти проекты не осуществились (см.: *Глассе А*. Критический журнал «Комета» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского. — В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975, с. 280—285).

Черновик второй половины статьи (с мая), написанный рукой Кюхельбекера, хранится: ОР ИРЛИ, ф. 392 Одоевского, № 1, л. 38—39 об. Копия всей статьи — рукой Кюхельбекера и Одоевского (с мая): ОР ИРЛИ, ф. 244 Пушкина, оп. 3, № 17, л. 19—33. Копия рукой Одоевского отличается от чернового оригинала Кюхельбекера незначительной стилистической правкой. Опубликовано Б. В. Томашевским, соединившим из двух источников текст, написанный рукой Кюхельбекера: Литературные портфели, I. Пб., 1923, с. 72—79. Нами принято текстологическое решение Томашевского. Печатается по рукописи ИРЛИ.

[1] *Второе появление «Полярной звезды»...* — ПЗ на 1824 г. (второй выпуск) вышла в самом конце декабря 1823 г. (цензурное разрешение 20 декабря 1823 г.).

[2] *...астрономические наблюдения над оною в «Вестнике Европы».* — Рецензия на второй выпуск ПЗ в ВЕ (1824, январь, № 1, с. 53—57) обыгрывает название альманаха и построена как ряд астрономических замечаний.

[3] *Отрывки из комедии князя Шаховского «Аристофан».* — Опубликованы в ПЗ на 1824 г.

[4] *Явная война... не смеют напасть на самую поэму.* — Имеется в виду «Предисловие» П. А. Вяземского к первому изданию «Бахчисарайского фонтана» (поступил в продажу 10 марта 1824 г.) под названием: «Вместо предисловия к „Бахчисарайскому фонтану“. Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова». «Издатель» защищал принципы романтизма. Возражавший Вяземскому М. А. Дмитриев во «Втором разговоре между классиком и издателем Бахчисарайского фонтана» назвал самое поэму «прекрасным стихотворением» (ВЕ, 1824, март, № 5, с. 61).

[5] *Жуковский предает «Замок Смальгольм» на расхищение критики...* — Баллада «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» после долгих цензурных мытарств, о чем, конечно, знал Кюхельбекер, опубликована в 1824 г. в «Соревнователе просвещения и благотворения» (ч. 25, № 2, с. 131—138) и в «Новостях литературы» (кн. 7, № 7, с. 106—111). См. комментарий Н. В. Измайлова в кн.: *Жуковский В. А.* Стихотворения. Л., 1956 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 817—818.

[6] *Второе сражение... не хотят быть прозаиками.* — На «Второй разговор» Вяземский отвечал Дмитриеву в «Дамском журнале», затем последовали новые возражения и ответы Вяземского (см.: ВЕ, 1824, № 5, 7, 8; Дамский журнал, 1824, № 7, 8, 9). В полемике принял участие А. Писарев в статье «Еще разговор между двумя читателями Вестника Европы» (ВЕ, 1824, апрель, № 8, с. 307—313), отвечавший на реплику Вяземского в «Предисловии» о прозаических стихах в ВЕ. Писарев, процитировав несколько строк из стихотворения Вяземского «Воли не давай рукам», назвал эти стихи дурными. Против Вяземского направлена также полемическая статья о «Дамском журнале» под названием «Мое первое и последнее слово». Подпись: Юст Ферулин (ВЕ, 1824, май, № 10, с. 115—120).

[7] *Мерзляков... выдерживает нападение кн. Одоевского и не отвечает на оное.* — В примечании Одоевского к «Путешествию» Кюхельбекера (Мнемозина. М., 1824, ч. I, с. 62—67) содержались критические замечания о книге Мерзлякова «Краткое начертание теории изящной словесности» (ч. 1—2, М., 1822). См.: Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. М., 1974, т. 1, с. 388; т. 2, с. 186—188, 605.

[8] *...второй почти не вмешивается в полемику.* — В бурной полемике о «Бахчисарайском фонтане» Пушкин участия не принимал, он только публично поблагодарил Вяземского за его «Предисловие» в открытом «Письме к издателю „С‹ына› о‹течества›“» (СО, 1824, ч. 93, № 18, 3 мая, с. 181—182).

[9] *Кн. Вяземский, начальник... противоставят М. Дмитриева и Писарева.* — См. примеч. 6.

[10] *Спор с князем Вяземским... перед баснями И. И. Дмитриева.* — В 1823 г. в качестве предисловия к сочинениям И. И. Дмитриева была напечатана статья Вяземского «О жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева», где автор отдавал Дмитриеву как баснописцу преимущество перед Крыловым (Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева. Изд. 6-е, исправленное и уменьшенное. Ч. 1—2. СПб., 1823). Булгарин не согласился с Вяземским, подчеркивая народность крыловских басен (ЛЛ, 1824, январь, № 2, с. 61—63).

[11] *Вооруженный неутралитет... переход на сторону последнего.* — В обширном примечании к статье В. Н. Олина «Критический взгляд на Бахчисарайский фонтан» (ЛЛ, 1824, апрель, № 7, с. 265—269) Булгарин отказался от деления поэзии на романтическую и классическую, называя первую «природной» и не требуя от нее правил и строгого плана. Там же (с. 277—278) напечатано краткое замечание о появлении в ВЕ «Второго разговора...». Эти заметки были, по всей видимости, оценены Кюхельбекером как «нейтральные». Однако уже в следующем номере ЛЛ (апрель, № 8, с. 322—323) появился без подписи «Маленький разговор о новостях литературы», автор которого похвалил критическое дарование М. Дмитриева и резко отозвался о нетерпимости друзей Вяземского.

[12] *«Черная шаль»... не всем вестям сего «Вестника».* — В ВЕ (1824, № 1, с. 69—72) в статье «Московские записки» (подпись: Н. Д.) по поводу кантаты Верстовского «Черная шаль» говорится, что достоинство стихов Пушкина чисто внешнее, а «Черная шаль» является лишь «красивой безделкой», которая не должна была служить темой такого серьезного музыкального жанра, как кантата. Несколько выше, на с. 66—68, напечатан восторженный отзыв Одоевского (подпись: Одвск) о той же кантате.

[13] *Кюхельбекер передается славянофилам.* — В первой книжке «Мнемозины» напечатаны два стихотворения Кюхельбекера: «К Богу» (с. 51—52), «Святополк Окаянный» (с. 53—60), и «Отрывок из путешествия по Германии» (с. 61—110), «Адо» (с. 119—167). Кюхельбекер, видимо, говорит о стихотворении «К Богу» и повести «Адо», отличающихся тяжелым, архаичным, изобилующим славянизмами слогом.

[14] *Строгая критика, которой подвергается... обвертка «Мнемозины».* — Речь идет о рецензиях на первую часть альманаха. С‹омов›, в целом доброжелательно отозвавшись о книге (см. ответ Кюхельбекера, с. 459—461 наст. изд.), однако, отметил: «Формат сей книжки больше похож на форматы наших журналов, полных и неполных собраний и т. под., для альманаха он велик и неуклдист» (СО, 1824, ч. 93, № 15, с. 32). В‹оейков› в разгромной рецензии говорил, что «Мнемозина» «явилась в свет в лиловой обертке, с двумя худо литографированными картинками и премножеством опечаток» (Новости литературы, 1824, кн. 8, № 15, с. 22). О замечаниях Булгарина по поводу титульного листа «Мнемозины» см. примеч. 16 к статье «Разговор с Ф. В. Булгариным».

[15] *Жуковский издает третьим тиснением... на русском языке.* — Стихотворения В. Жуковского. Издание третье, исправленное и дополненное. Тома I—III. СПб., 1824. В зачеркнутой, т. е. отмененной, части черновика Кюхельбекера это место читалось несколько по-другому — Кюхельбекер снова, как и в статье «О направлении...», отмечал отсутствие самобытности в творчестве Жуковского: «...Иоанна д'Арк, первая, хотя переводная, романтическая трагедия в стихах, в ней есть места превосходные на русском языке: но и не русского вместе в сем ‹?› переводе много же» (ОР ИРЛИ, ф. 392 Одоевского, № 1, л. 38).

[16] *«Учитель и ученик»... злоупотребление имени великого человека...* — Водевиль А. И. Писарева «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье» (переделан с французского, поставлен 24 апреля 1824 г.). Герой водевиля, немец-воспитатель Шеллинг, носит ту же фамилию, что и знаменитый немецкий философ.

[17] *Война за гг. Головиных, или переливка из пустого в порожнее.* — В «Мнемозине» (ч. I, с. 168—170) помещен «Отрывок из поэмы „Искусство любить"» Вас. Головина с примечанием к подписи: автор просит не путать его с другим Головиным, печатающимся в ВЕ и «Дамском журнале». Другой Головин, обидевшись, поместил

в «Дамском журнале» (1824, № 7, с. 28—30) эпиграмму на «Искусство любить» с примечанием, где называл Одоевского, Кюхельбекера, себя, для беспристрастия, и других звездочками, которые можно наблюдать лишь в микроскоп. За «своего» Головина вступился издатель журнала П. И. Шаликов («Дамский журнал», 1824, № 11, июнь, с. 199) и Н. Мгл из Одессы (там же, № 23, декабрь, с. 186—187).

[18] *Поэма Олина «Альтос».* — Речь идет о романтической поэме В. Н. Олина по мотивам Оссиана «Оскар и Альтос» (СПб., 1823).

[19] *Вторая часть «Мнемозины»... намерение... высокое, но...!* — В «Мнемозине» (ч. II) в разделе «Статьи особенные» (с. 165—185) напечатано «Письмо в Москву к В. К. Кюхельбекеру» Одоевского, в котором зло и остроумно высмеян Воейков, подписавший литерой В резкий отзыв о первой части «Мнемозины» (см. выше, примеч. 14). Здесь же, на с. 73—78, помещены «Афоризмы из различных писателей, по части современного германского любомудрия» Одоевского, видимо, чем-то не удовлетворившие Кюхельбекера, может быть, неуместной в художественном, рассчитанном на сравнительно широкие круги читающей публики альманахе сухостью и отвлеченностью.

[20] *«Элладий»* — повесть Одоевского («Мнемозина», ч. II, с. 94—135). Намек на рецензию Булгарина о второй части «Мнемозины», где, в частности, говорится об «Элладии»: «...завязка повести не натуральна, и все действующие лица составлены в воображении, а не списаны с природы». — ЛЛ, 1824, август, № 15, с. 79.

[21] *Пролог к «Аргивянам»... первые военные действия Кюхельбекера...* — Пролог трагедии Кюхельбекера «Аргивяне» напечатан в «Мнемозине» (ч. II, с. 1—28). Далее в этой реплике речь идет о статье «О направлении нашей поэзии...» (там же, с. 29—44).

[22] *Булгарин заставляет говорить «Мнемозину» нелепости...* — Речь идет о рецензии Булгарина на ч. II «Мнемозины». См. «Разговор с Ф. В. Булгариным».

[23] *Война за герцогство Косельское...* — В ЛЛ (1824, июль, № 7) за подписью Н. П. помещено «Письмо приятелю из Опочки», где критикуется публикация в ОЗ (1824, № 50) выписки из «СПб. ведомостей 1737 года июля 7 дня» за то, что редакция не исправила ошибку старой газеты: нужно не герцог Кассельский, а Козельский (название города в Силезии). *Б. Федоров* — издатель ОЗ. В XIX части ОЗ (№ 51) ошибка была отнесена за счет опечаток. Ответ Булгарина появился в ЛЛ (1824, июль, № 13 и 14, с. 47—48) с указанием на другие ошибки ОЗ.

[24] *Благонамеренный — Чертополохов.* — В «Благонамеренном» (1824, № 13, с. 3—29, № 14, с. 82—107, № 15, с. 145—160) печатался пародийный антисентиментальный роман П. Л. Яковлева «Несчастье от слез и вздохов», главный герой его — чувствительный Эраст Чертополохов.

[25] *Булгарин... журнал «Патриот».* — Намек на службу Булгарина, поляка по происхождению, в наполеоновской армии во время Отечественной войны 1812 г. Этот поступок Булгарина воспринимался как измена. «Варшавский свисток» — намек на сотрудничество Булгарина в печатном сатирическом органе шубравцев «Уличные известия» (1816—1822). Ср. эпиграмму Б. М. Федорова 1824 г.: «Фаддей здесь издает „Листки", В Варшаве издавал свисток». — В кн.: Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 351, 783. *...утонул с тем...* — Имеется в виду очерк Булгарина «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в двадцать девятом веке» (ЛЛ, 1824, № 17, с. 133—150; № 18, с. 173—192; № 19—20, с. 12—27; № 23—24, с. 127—145; СА, 1825, ч. 13, № 2, с. 202—203; № 3, с. 294—302). Автор, от имени которого ведется повествование, утонул, прогуливаясь в ялике по Финскому заливу, и очнулся в XXIX веке на севере Сибири, где расположены процветающие государства эскимосов, алеутов и пр.

[26] *Нападательный... союз... к своему калужскому поклоннику.* — Намеки на совместную издательскую деятельность Булгарина и Греча (журналы «Северная пчела», «Северный архив», «Сын отечества»). В СО (1824, ч. 94, № 38, с. 207—208) в критическом обозрении «Журнальные статьи» за подписью: Калуга 27 июня 1824 г. напечатан отрицательный отзыв о «Мнемозине», названной «посредственным изданием». Здесь же хвалятся журналы Булгарина «Литературные листки» и «Северный архив». Одоевский, считавший автором рекламной статьи самого Булга-

рина, ответил ему в «Мнемозине» (ч. III, с. 178—188). В СО (1824, ч. 94, № 40, с. 33) Булгарин печатно просил корреспондента из Калуги объявить свое имя, чтобы доказать, что сам он себя не хвалил. В последнем 42 номере СО за 1824 г. (с. 267—272) Греч, не называя имени калужского корреспондента, сообщил, что переслал Н. А. Полевому доказательства своей и Булгарина непричастности к авторству «Журнальных статей» для передачи издателям «Мнемозины». «Журнальные статьи» были написаны С. Д. Полторацким (см.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934, с. 215—216).

[27] ...*младшего Шишкова — Пушкина подражателя.* — Поэт А. А. Шишков, племянник адмирала А. С. Шишкова, находился под сильным влиянием Пушкина. См. сборник его стихов «Восточная лютня» (М., 1824), особенно поэму «Дагестанская узница».

[28] ...*наводнение Петербурга и послания... графа Хвостова.* — Имеется в виду «Послание к NN о наводнении Петрополя, бывшего 1824 года 7 ноября» — Сочинение графа Хвостова. СПб., 1825. То же произведение Хвостова иронически вспоминает Пушкин в «Медном всаднике»:

...Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

РУССКИЙ ДЕКАМЕРОН 1831-го ГОДА

Замысел «Русского Декамерона» возник у Кюхельбекера, вероятно, в самом начале 1830-х гг., вскоре после холерной эпидемии 1830 г. В письме к сестре Юлии Карловне Кюхельбекер 21 марта 1833 г. автор писал о «Декамероне» как о деле давно обдуманном. Комедия «Нашла коса на камень» (переделка пьесы Шекспира «Укрощение строптивой») должна была составлять вторую главу книги (закончена 25 сентября 1831 г.), третья глава включала поэму «Семь спящих отроков» (закончена к 18 декабря 1831 г.) (см.: ЛН, т. 59. М., 1954, с. 415). Кроме знаменитой книги Боккаччо на Кюхельбекера повлияли и другие произведения. Еще в 1820 г. он опубликовал перевод-переделку повести Юссие «Осада города Обиньи» из сборника повестей «Французский Декамерон», название которого напоминает книга Кюхельбекера (см.: РЛ, 1975, № 4, с. 99—100). Композиция «Русского Декамерона» ориентирована также и на неоднократно упоминаемую в тексте поэму Т. Мура «Лалла Рук», которая состоит из четырех самостоятельных произведений (см. ниже, примеч. 19), исполняемых перед индийской принцессой. Каждое из них затем, как и у Кюхельбекера, подвергается критическому обсуждению.

Осуществить полностью задуманное издание — собрание своих произведений, обрамленных на манер Боккаччо общей рамкой, Кюхельбекеру не удалось. В 1836 г. вышла небольшая книжка под названием «Русский Декамерон 1831 года» (изд. И. Иванова, СПб.), содержавшая поэму «Зоровавель» в обрамлении прозаического текста, — т. е. лишь первую главу предполагавшейся книги. Поэма, видимо, была написана в 1831—начале 1832 г., так как, по словам Кюхельбекера, в июле 1832 г. она была уже «в руках Пушкина» (см. с. 161 наст. изд.). Неясно, получил ли Пушкин «Зоровавеля» как самостоятельную поэму или в составе «Декамерона» (последнее вероятнее), во всяком случае есть все основания полагать, что он или сам был издателем «Декамерона» в 1836 г., или принял в его подготовке к печати самое деятельное участие (см.: *Смирнов-Сокольский Ник.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, с. 427—429).

На книгу откликнулся анонимный рецензент (БдЧ, 1837, т. XX, отд. Литературная летопись, с. 41—42) глумливой заметкой, в которой «Русский Декамерон» был назван одним из зол, причиненных холерой. Заметка заканчивалась развязной реп-

ликой: «...какова собой поэма, девица морбус, дочь госпожи холеры морбус? Уверяю вас, что не лучше и своей маменьки, холеры, и своего папеньки, морбуса». Отзыв этот обидел и опечалил Кюхельбекера. «Как ты думаешь об этой критике? Не так ли? Она очень умна, основательна и написана самым правильным русским языком?» — с иронией писал он племяннице Н. Г. Глинке 4 января 1839 г. (ЛН, т. 59, с. 464).

В архиве Кюхельбекера сохранился беловой автограф с незначительными поправками автора, которые все вошли в печатный текст. В то же время этот печатный текст содержит некоторые изъятия, судя по их характеру, произведенные издателями. Прозаическая часть «Русского Декамерона», имеющая самостоятельное историко-литературное значение, печатается по беловому автографу (РО ГБЛ, ф. 449 Кюхельбекера, картон 1, № 11), который является более авторитетным источником, чем печатный текст: с него, видимо, была снята копия для отправки в Петербург. Печатный же текст не мог быть авторизован: Кюхельбекер, естественно, не держал корректуры. В примечаниях указаны основные отличия автографа от печатного текста, явные ошибки набора и опечатки не оговариваются. Поэма «Зоровавель», перепечатанная в двух собраниях стихотворений Кюхельбекера (Соч., т. I, II. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия); Избр. произв. в 2-х т. М.—Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая серия)), не входит в нашу публикацию.

[1] *...письмами Русского Путешественника и творениями... его последователей...* — Намек на книгу Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника» (1791—1795). Из его многочисленных подражателей укажем: Путешествие в Полуденную Россию. В письмах, изданных В. Измайловым. Ч. 1—4. М., 1802; *Шаликов П.* 1) Путешествие в Малороссию. М., 1803; 2) Другое путешествие в Малороссию. М., 1804.

[2] Неточная цитата из поэмы Пушкина «Граф Нулин» (1825):

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно...

[3] *Рижский* И. С. (1759—1811) — автор «Опыта риторики» (1796). *Никольский* А. С. (1755—1834) — автор книги «Логика и риторика, кратким и для детского возраста удобопонятным образом расположенные, изъясненные и в пользу юношества изданные» (1790).

[4] *Неврод* (библ.) — вавилонский царь; «ловец перед господом», в переносном значении — охотник.

[5] *...Мольеровы ученые женщины...* — Героини комедии Мольера «Ученые женщины» (1672).

[6] *Hôtel de Rambouillet* — салон маркизы Рамбуйе (1588—1665) в Париже, являлся в 1624—1648 гг. средоточием культурной жизни Франции. Здесь бывали крупнейшие писатели (Ларошфуко, Корнель и др.), обсуждались новинки литературы.

[7] *...эта поэма — лучшее творение Пушкина.* — «Полтава» вышла из печати в конце марта 1829 г. Первая и особенно вторая песнь были с удовлетворением восприняты Кюхельбекером, который, не без основания, увидел в них воплощение своих литературных идей. Третья песнь, включавшая характерные для романтической поэтики элементы (сумасшествие Марии), нарушала, по мнению Кюхельбекера, общее монументально-эпическое построение поэмы и поэтому должна была удовлетворить его в меньшей степени. Отсюда, вероятно, и «два-три легких замечания» о третьей песни. О синтезе классической и романтической традиции в «Полтаве» см.: *Измайлов Н. В.* Пушкин в работе над «Полтавой». — В кн.: Измайлов. Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 113—124.

[8] *«Юрий Милославский»* (1829) — роман М. Н. Загоскина, заслуживший высокие оценки современников, в том числе Жуковского, С. Аксакова, Пушкина, Белин-

ского. В печатном тексте строки о романе «Юрий Милославский» отсутствуют. Это, может быть, объясняется тем раздражением, которое вызвала в кругах русской интеллигенции пьеса-памфлет Загоскина «Недовольные» (1835), высмеивавшая Чаадаева и Орлова (см.: *Усакина Т. И.* Памфлет М. Н. Загоскина на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова. — В кн.: Декабристы в Москве. Труды Музея истории и реконструкции Москвы, вып. VIII. М., 1963, с. 162—184). Пушкин тоже был возмущен комедией (см. там же, с. 181); возможно, он и вычеркнул восхищенные строки Кюхельбекера о Загоскине, готовя рукопись к печати.

[9] *«Монастырка»* — роман Антония Погорельского (А. А. Перовского), первая часть опубликована в 1830 г.

[10] Правильнее: Anch'io son' pittore! По преданию, восклицание Корреджо перед одной из картин Рафаэля.

[11] *С. Д. П... ой...* — Инициалы хозяйки салона отсутствуют в печатном тексте, очевидно, снятые издателем, как слишком прозрачное упоминание о Софье Дмитриевне Пономаревой (1794—1824), в доме которой бывали Кюхельбекер, Гнедич, Измайлов, Востоков и другие писатели (см.: *Дризен Н. В.* Литературный салон 20-х гг. — Литературные приложения к «Ниве», 1894, № 5, с. 1—26; *Кюхельбекер В. К.* Заметка в альбом С. Д. Пономаревой. — Библиогр. зап., 1858, т. 1, № 8, с. 237; *Медведева И.* Павел Лукьянович Яковлев и его альбом. — Звенья, сб. VI. М.—Л., 1936, с. 107—108, 120—123).

[12] *...читал лучше и Катенина, и Гнедича.* — П. А. *Катенин* был знатоком театра и не только сам «прекрасно декламировал», но и обучал сценическому искусству известного актера В. А. Каратыгина. Н. И. *Гнедич* также славился своим декламационным искусством. Он превосходно читал «Илиаду», Державин приглашал его читать свои пьесы. Гнедич был учителем знаменитой актрисы Е. С. Семеновой (см.: *Жихарев С. П.* Записки современника. М.—Л., 1955, по указателю; *Каратыгин П.* Записки. Л., 1970, с. 71—72; *Гнедич Н. И.* Письма к К. Н. Батюшкову. — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1972. Л., 1974, с. 85, 87; *Королева П.* Декабристы и театр. Л., 1975).

[13] *Эриванский* — И. Ф. Паскевич, граф Эриванский, генерал-фельдмаршал (1782—1856), в 1827—1831 гг. командовал русскими войсками на Кавказе.

[14] *...я следовал источникам не греческим...* — Чинарский реализует идеи Грибоедова и самого Кюхельбекера (см. статью) о плодотворности обращения русских писателей к восточным темам и восточным литературам.

[15] *Фирдоуси* (ок. 940—1020 или 1030) — персидский поэт, автор громадной (ок. 110 тыс. стихов) поэмы «Шахнаме», о которой в дальнейшем ведут речь герои Кюхельбекера и из которой автор почерпнул сведения о древней истории Ирана, не совпадающие с «Историей» Геродота. Поэму Фирдоуси Кюхельбекер просил прислать ему 21 декабря 1833 г. (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 419).

[16] *...Ксенофонтова «Киропеида»...* — Ксенофонт (ок. 430—ок. 354 до н. э.), греческий писатель, историк, автор «Киропедии» («Воспитание Кира»), книги о жизни и деяниях Кира, основателя Персидской монархии.

[17] *Шапур II Великий* (309—379) — шах Ирана.

[18] *Голдовник* — вассал.

[19] *Т. Мур* (1779—1852) — английский поэт-романтик, автор восточной поэмы «Лалла Рук» (1817), состоящей из четырех самостоятельных произведений: «Хорасанский пророк под покрывалом», «Рай и Пери», «Огнепоклонники», «Светоч гарема».

[20] Мотив любви розы и соловья, излюбленный в восточной поэзии, упоминается и у Мура, который, например, цитируя Джами, пишет: «Можно положить перед соловьем сотню охапок благоухающих трав и цветов, но его постоянное сердце довольствуется сладостным дыханием его возлюбленной розы». — *Мур Т.* Светоч гарема. — The poetical works of Thomas Moore, vol. IV. Leipzig, 1842, p. 25 (в дальнейшем все ссылки на это издание даются сокращенно: *Moore*, vol., p.).

[21] *...сады Тузские...* — «Туз славился еще при Фирдоуси своими садами...» — примечание Кюхельбекера к поздней редакции поэмы «Зоровавель», см.: *Кюхельбекер В.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967, с. 503.

[22] *Роза Кашемира* — в поэме «Светоч гарема»: «Кто не слыхал о долине Кашмира с ее прекраснейшими на земле розами». К этим строкам у Мура примечание: «Красота и тонкость аромата розы Кашмира давно вошли на востоке в поговорку» (*Moore*, vol. IV, p. 17).

[23] *...ложной зари...* — В поздней редакции «Зоровавеля» Кюхельбекер писал: «Об этом явлении, называемом по-персидски зарей-обманщицей, см. хоть замечания к той же поэме Томесона Мура» (*Кюхельбекер В.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967, с. 504). У Мура в «Светоче гарема»: «У персов есть два утра — Суубхи Казим и Суубхи Садиг, фальшивый и настоящий рассвет. Они объясняют этот феномен весьма причудливым образом. Они говорят, что, когда солнце встает из-за Кохи Каф (Кавказские горы), оно проходит мимо дыры, просверленной в этой горе, и лучи его устремляются сквозь нее. Это причина Суубхи Казим, или временного появления рассвета. Когда оно поднимается, земля снова погружается во тьму, пока солнце не выйдет из-за горы и не начнется Суубхи Садиг, или настоящее утро» (*Moore*, vol. IV, p. 33).

[24] *...запрещающую... изображать человека.* — В «Зоровавеле» упоминается о седьмой суре Корана с этим запретом. Кюхельбекер в примечании к этой строке говорит: «Сура — глава Курана. Точно ли седьмая сура запрещает изображать ваятелям и живописцам человека, — не могу сказать, но для впечатления, предполагаемого всяким поэтическим созданием, вовсе не нужна дипломатическая точность. Пусть будет то хоть пятая, хоть шестая, хоть двадцатая: читателю некогда и не для чего наводить справки; ему довольно вообразить себе мусульманина, твердо помнящего свой Куран, — и продолжать чтение творения, которое желает перенесть его фантазию на восток, а не щеголять цитатами» (*Кюхельбекер В.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967, с. 503). 21 декабря 1833 г. в числе книг самых желаемых Кюхельбекер просил прислать ему французский, английский или немецкий перевод Корана (ЛН, т. 59. I. М., 1954, с. 419). Запрета изображать живые существа в Коране нет. В седьмой суре говорится лишь об идолопоклонниках. О наказании художников, которые в день Страшного суда должны будут вдохнуть жизнь в свои творения, говорится в хадисах — рассказах о поступках и словах Мухаммеда, сообщенных его сподвижниками (см.: *Большаков О. Г.* Ислам и изобразительное искусство. — Труды Гос. Эрмитажа, т. X. Культура и искусство народов Востока, вып. 7. Л., 1969, с. 142—153).

[25] *...жемчужина царя Цейлонского* упоминается в поэме «Зоровавель». Кюхельбекер заметил: «Об этой жемчужине пусть прочтут хоть в замечаниях к Муровой поэме „Lala-Rukk“. Нарочно ссылаемся на книгу, доступную всякому несколько образованному читателю, потому что смешно в цитатах щеголять видом учености, почти всегда очень дешево купленной» (*Кюхельбекер В.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967, с. 504). Мур цитирует Марко Поло: «Говорят, что король Цейлона имеет прекраснейший в мире рубин. Кубла-Хан предложил за него цену города, но король ответил, что не отдаст его за все сокровища мира» (*Moore*, vol. IV, p. 38).

[26] *Зоровавель* (библ.) — вождь иудеев, вышедший из персидского плена. Он стал победителем в поэтическом состязании при дворе Дария. Этот библейский эпизод (2-я Ездры, III, 4) лег в основу поэмы.

[27] Далее следует первая часть поэмы «Зоровавель», которую рассказывает слушателям старик-мусульманин у стены разрушенного караван-сарая. Здесь говорится о трех юношах, решивших вступить в поэтическое состязание перед царем Дарием.

[28] *...Гете... в своем Диване...* — Речь идет о книге И. В. Гете «Западно-восточный диван» (1819). Диван (перс.) — сборник стихов одного поэта.

[29] *Пророк, противник влаги лозной.* — Мухаммед запретил мусульманам употребление вина. Эта строка подвергается критике слушателями Чинарского, сам Кюхельбекер был ею недоволен и, перерабатывая «Зоровавеля», снял ее (см.: *Кюхельбекер В.* Избр. произв. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1967, с. 482).

[30] Во второй части поэмы юноши поочередно воспевают вино, царскую власть и женщин.

[31] В третьей части поэмы Дарий провозглашает победителем воспевавшего красоту женщин Зоровавеля.

[32] *...словарёк для избранных...* — Почти точная цитата из программной статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии...». Подробнее см. в статье, с. 599—615.

[33] Цитата из трагедии В. Шекспира «Троил и Крессида» (акт IV, сцена 5):

Я рад тебя обнять, о летописец!
Ты об руку со временем идешь
Уже давно, о достославный Нестор!

(*Пер. Т. Гнедич*)
(*Шекспир У.* Полн. собр. соч. в 8-ми т.,
т. 5. М., 1959, с. 432).

ПОСЛЕДНИЙ КОЛОННА

Начат 8 марта 1832 г. (см.: наст. изд.. с. 106; *Тынянов Ю. Н.* В. К. Кюхельбекер. — Лит. современник, 1938, № 10, с. 215; *Мстиславская Е. П.* Творческие рукописи В. К. Кюхельбекера. — Зап. Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1975, т. 36, с. 21). В 1834 г. было, по-видимому, написано уже 4 главы (см.: «Дневник», запись от 15 января, если эта запись относится к «Колонне», наст. изд., с. 293). В 1840 г. Кюхельбекер завершает работу над романом («Переписываю своего „Итальянца“». — «Дневник», запись от 25 марта наст. изд., с. 377). Однако эта стадия затянулась, и «Колонна» был закончен, по словам автора, 3 декабря 1843 г. (письмо к Н. Г. Глинке от 8 декабря 1843 г. — Лит. современник, 1938, № 10, с. 215). Окончательное же завершение работы относится к апрелю—маю 1845 г. (см.: *Мстиславская Е. П.* Творческие рукописи В. К. Кюхельбекера, с. 21). Роман читался сибиряками в рукописи уже после смерти автора: Михаил Кюхельбекер писал Пущину в 1847 г., что «у горного исправника видел рукопись брата „Итальянец“» (ЛН, т. 59. М., 1954, с. 400).

В Отделе рукописей Пушкинского Дома хранится беловой автограф и писарская копия «Последнего Колонны» (ОР ИРЛИ, ф. Р1, оп. 12, № 529). С беловой рукописи роман был напечатан в журнале «Звезда» (1937, № 4) и в том же году вышел отдельным изданием: *Кюхельбекер В. К.* Последний Колонна. Роман в двух частях 1832 и 1843 г. Л., 1937. Текст воспроизводится по беловому автографу. На листе бумаги, в который вложен автограф, рукой И. И. Пущина написано: «№ 3 Последний Колонна. Это заглавие сочинитель потом заменил Предчувствием». Хотя Пущин и был хорошо осведомлен о замыслах Кюхельбекера и предлагаемый им вариант более удачен и более соответствует содержанию романа, мы, вслед за первыми издателями, сохраняем авторское название, поскольку именно оно стоит на титульном листе рукописи. Следует также учитывать, что сам Кюхельбекер именно «Последним Колонной» назвал роман в списке своих произведений, отправленных к В. А. Жуковскому в 1845 г., и в так называемом «Литературном завещании», заметках, продиктованных больным Кюхельбекером 3 марта 1846 г. (см.: *Кюхельбекер В. К.* Дневник. Л., 1929, с. 313; *Тынянов Ю. П.* В. Кюхельбекер. — Лит. современник, 1938, № 10, с. 219).

[1] Первая строка знаменитого сонета «К Италии» итальянского поэта Филикая Винченцо (1642—1707).

[2] *...итальянцев почти не видишь... рощи агрумиев?* — Ср. описание Ниццы в «Путешествии» (с. 57 и след. наст. изд.). Агрумии — апельсины.

[3] *«Духовидец»* (1787) — роман Ф. Шиллера, в первой части которого рассказывается о таинственных совпадениях, предсказаниях, вызывании духов и пр.

[4] *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский художник, картины которого отличаются яркими и зловещими образами и колоритом.

[5] *Риэнзи* — Риенцо ди Кола (1313—1354), итальянский политический деятель, возглавлявший Римскую республику, гуманист, друг Петрарки.

[6] *Колонна* — древний итальянский род, ведущий свое начало приблизительно от 1037 г. Колонна играли заметную роль в общественной и политической жизни Италии XI—XVI вв.

[7] *Сципионы* — ветвь древнего римского рода Корнелиев. Сципионы Африканские, Старший и Младший, — победители в войнах Рима с Карфагеном. Сципиона Африканского, своего предка, вспоминает Колонна в письме 4 (см. с. 528 наст. изд.).

[8] *...источник Эгерии* (ант. миф.). — Эгерия — нимфа одноименного источника вблизи Рима и супруга царя Нумы Помпилия. После смерти мужа от горя превратилась в источник.

[9] *Фра-Диаболо* — прозвище известного итальянского разбойника Пеццо (1760—1806), героя одноименной оперы Обера (1830).

[10] *...маленький капрал...* — Наполеон.

[11] *Этот Платон... до войны был митрополитом.* — Фраза подчеркивает легкомысленный, поверхностный характер молодого француза, его невежество: казачий атаман, герой войны 1812 г. М. И. Платов (1751—1818) становится Платоном (427—347 до н. э.), греческим философом, учеником Сократа, который по совпадению имени ассоциируется с русским архиепископом Платоном (П. Е. Левшиным, 1737—1812).

[12] *Гипербореи* (ант. миф.) — народ, живущий на севере.

[13] *Урбинский* — прозвище Рафаэля Санти (1483—1520) по месту рождения — Урбино.

[14] Неточная цитата из трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787): «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия» (д. 2, явл. 2).

[15] *Альфонзо* — Альфонсо II д'Эсте, герцог Феррарский, был покровителем Т. Тассо; он же на семь лет заключил поэта в больницу для умалишенных, госпиталь св. Анны.

[16] *Люстр* (лат.) — пятилетие.

[17] *Рафаэлова Дева* — Сикстинская мадонна (ср. «Путешествие», с. 33).

[18] *Корреджиев св. Севастиан* — Ср. «Путешествие», с. 32.

[19] *...подобной его смерти...* — Св. Севастьян (III в. н. э.) казнен императором Диоклетианом.

[20] *Тедески* (тудески, итал. tedesco) — немцы.

[21] *Вечный жид,* Агасфер (христ. миф.) — сапожник, оттолкнувший Христа от порога своего дома и осужденный на вечную жизнь («Пусть он будет, пока я не приду»). Легенда об Агасфере оформилась в начале 2 тыс. н. э. в Европе. Она издавна интересовала Кюхельбекера, посвятившего этой теме целую поэму «Агасвер» (1832—1836).

[22] *St. Germain* — Сен-Жермен, граф, алхимик, авантюрист и шарлатан, как и Калиостро (ум. в 1784 или в 1795 г.).

[23] *Кальёстро* — Калиостро. См. комментарий к «Путешествию», примеч. 5 к письму XVI.

[24] *Караимы* — еврейская секта, признающая лишь часть канонических законов и имеющая свои собственные законоположения.

[25] *Лафатер И. К.* — см. примеч. 5 к письму XIX.

[26] Начало известной реплики Гамлета: «Гораций, много в мире есть того, Что вашей философии не снилось» (*В. Шекспир.* Гамлет, акт 1, сц. 5. Пер. Б. Пастернака).

[27] *Ганс Сакс* (1494—1576), *Яков Бёме* (1575—1624), *Джон* (Георг) *Фокс* (1624—1691). — По замыслу Кюхельбекера (ср. даты смерти и рождения), под именем этих религиозных реформаторов, сапожников по профессии, действовал сапожник Агасфер.

[28] *...черный ангел... угнетал душу Саулову...* — Саул возненавидел и хотел убить своего преемника Давида (1-я Царств). Здесь: намек на грядущее преступление Колонны.

[29] *Раб... зарыл единый, ему данный...* — Евангельская притча о рабе, зарывшем в землю талант и наказанном господином (Ев. Матф., гл. 25, ст. 14—30).

[30] *...аще соблазняет тя рука твоя, аще соблазняет тя око твое»...* — Ев. Матф., гл. 5, начало 29 и 30 стихов. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его... И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее».

[31] *Фра Бартоломео* (1472—1517) — флорентийский живописец, в 1496 г. под влиянием Савонаролы сжег свои картины, в 1500 г. постригся в монахи.

[32] *«Всякое даяние благо... исходяяй от отца светов...* — Иаков, I, 17.

[33] *Трансмонтаны* — буквально: те, что за горами. Здесь: иноземцы, живущие на север от Италии.

[34] *Вайи* — ветви финиковых пальм.

[35] *...Самуил молился...* — Самуил, израильский законоучитель, помазал на царство Саула, сына Киса. Когда Саул нарушил свои обещания, Самуил тайно помазал на царство Давида, но «печалился Самуил о Сауле» (1-я Царств, XVII, 35).

[36] *Селадон* — нежный, влюбленный пастух, герой пасторального романа Оноре д'Юрфе (1568—1625) «Астрея» (1-е изд. — 1607—1627). Имя Селадона стало нарицательным.

[37] *Олла-потрида* — олья-подрида, испанское блюдо: смесь мяса, жира, овощей, пряностей. Здесь: мешанина.

[38] *...особенно о песнях малороссиян...* — Вероятно, к письму 10 и приблизительно к этому месту относится сохранившийся в архиве Кюхельбекера (ОР ГБЛ, ф. 449, картон 1, № 25) черновой листок «Последнего Колонны», относящийся к началу 1830-х гг. Из этого случайно уцелевшего листка явствует, что Кюхельбекер собирался подробно рассказать в романе трагическую историю любви крепостной девушки Насти, но в окончательном варианте отказался от первоначального замысла, может быть, из цензурных соображений. Приводим верхний слой черновой рукописи.

«‹...› ленивы, как мы: и для них верх блаженства il dolce far niente *. Вдобавок они гораздо более своих северных одноплеменников одарены чувством изящного: голоса их народных песен единственны; слова многих, которые перевел мне Пронский, заключают в себе в высокой степени смысл поэтический.

Малороссияне мстительны, вспыльчивы, скрытны: все эти пороки, плод полуденной крови, сближают их со мною; можно их полюбить именно за эти недостатки. Они вообще хитрее поляков и русских, да охотно прикидываются недальновидными, глупыми, между тем как хвастливый лях или насмешливый москаль очень нередко обманывают единственно для того, чтобы потрунить над обманутым. Первый в глаза, но, впрочем, обыкновенно довольно невинно, второй заочно. Если уж малороссиянин решится издеваться над противником, его сарказм, под видом простосердечия, кроваво-язвителен. В этом народе полуязыческом есть еще сильные страсти, которые из душ европейских сгладила прозаическая расчетливость.

Расскажу тебе малороссийскую быль; она покажет тебе, что такое их любовь. Анастазия, или по-здешнему Настя, выросла в доме матери Пронского. Барыня к ней была благосклонна. Настя, воспитывалась на глазах своей благодетельницы и, несмотря на то что креп‹остная›, почти заменяла ей дочь, которой ей бог не дал».

[39] *...«в последних числах декабря».* — Намек на пушкинский стих. См. примеч. 2 к «Русскому Декамерону».

[40] *Филанджиери* Гаетано (1752—1788) — итальянский экономист и публицист, просветитель, много писал по вопросам права, противник феодализма и теократии.

[41] Цитата из баллады Жуковского «Кассандра» (1809).

[42] *Виттенбергский расстрига* — Мартин Лютер (1483—1546), немецкий религиозный реформатор, начал свою деятельность в Виттенберге, был монахом августинского монастыря; не только отказался от монашества, но и женился в 1525 г. на бывшей монахине.

---

* сладостное безделье (*итал.*).

[43] *Сведенборг* Эмануэль (1688—1772) — шведский ученый, натуралист, мистик и теософ, толкователь Библии.

[44] *Теперь у русских святки...* — Далее идет пересказ начальных строк баллады Жуковского «Светлана» (1808—1812):

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали...
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили...

[45] Цитаты из трагедии Шекспира «Ричард III». Кюхельбекер перевел эту трагедию в мае—сентябре 1832 г. (см.: *Левин Ю. Д.* Рассуждение В. К. Кюхельбекера об исторических драмах Шекспира. — Международные связи русской литературы. Сб. статей под ред. акад. М. П. Алексеева. М.—Л., 1963, с. 287).

[46] Примечание имеется только в писарской копии романа, хранящейся вместе с беловым автографом в ОР ИРЛИ.

[47] *...романах г-жи Ратклиф.* —Здесь, по ассоциации с описываемыми событиями, прежде всего вспоминается самая известная ее книга «Итальянец» (1797).

[48] *Жуковский* — сорт крепкого табака.

[49] *...Полевой стал его товарищем... по части книжной промышленности.* — Булгарин и Греч ожесточенно нападали на Н. А. Полевого в пору издания им «Московского телеграфа» (1825—1834). Когда журнал был закрыт по приказу Николая I, испугавшийся Полевой отказался от многих своих убеждений, что способствовало его сближению с петербургскими журналистами. В 1837 г. хозяйственно-организационные функции изданий Булгарина и Греча («Северная пчела» и «Сын отечества») перешли к А. Ф. Смирдину. Последний поручил редакцию этих изданий Полевому, который таким образом вошел в литературные и деловые отношения с недавними противниками (см.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934).

[50] *Спинелло* Аретино (1308—1400) — итальянский живописец. У Вазари рассказывается о Спинелло, изобразившем Люцифера столь чудовищным, что злой дух явился к художнику во сне и спросил, где тот видел дьявола таким уродливым (*Вазари Джорджо.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих, т. 1. М., 1956, с. 440—441. Ср.: ‹*Ваккенродер*›. Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком. М., 1826, с. 148—149). Этот рассказ был использован в повести «Спинелло», которую пересказывает титулярный советник Сковрода. Ср.: «...воображение, полное образом Беактрисы, когда писал он картину, нечувствительно сообщило ее черты образу падшего духа. Вот причина неизъяснимой грусти, которая иногда в ее присутствии его бременила» — Спинелло (повесть) с фр. В. Прахов. — ВЕ, 1830, № 15—16, август, с. 270.

[51] На последней странице рукописи приписка по-французски: «Прошу мадам Глинку сделать одолжение отослать обратно мне это маленькое сочинение, как только оно будет прочитано, ибо это единственный экземпляр, который имеется у автора. Остаюсь В‹ильгельм› К‹юхельбекер›».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]

[1] Составлен Н. В. Королевой и В. Д. Раком.

В указатель не включены фамилии, упомянутые в художественных произведениях Кюхельбекера, публикуемых в разделе «Дополнения» («Последний Колонна» и «Русский Декамерон»).

Произведения, о которых пишет Кюхельбекер, расписаны на фамилии их авторов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БдЧ — Библиотека для чтения.
ВЕ — Вестник Европы.
ГИМ — Государственный исторический музей.
ЛЛ — Литературные листки.
ЛН — Литературное наследство.
МН — Московский наблюдатель.
МТ — Московский телеграф.
ОЗ — Отечественные записки.
ОР ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина.
ОР ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ОР ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом).
ПЗ — Полярная звезда.
РЛ — Русская литература.
РС — Русская старина.
СА — Северный архив.
СО — Сын отечества и Северный архив.
СП — Северная пчела.
СЦ — Северные цветы.
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.
ЦГИАЛ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
101	3 снизу	лучших	худших
127	7 »	довольной	дольной
191	1 »	во здравие жены	во здравие
272	9 »	Чернера	Чирнера

СОДЕРЖАНИЕ

Вильгельм Карлович
Кюхельбекер

ПУТЕШЕСТВИЕ. ДНЕВНИК.
СТАТЬИ

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»
Академии наук СССР

Редактор издательства Е. А. Гольдич
Художник М. И. Разулевич
Технический редактор Л. М. Семенова
Корректоры А. И. Кац, Н. З. Петрова
и Г. И. Суворова

ИБ № 8389

Сдано в набор 07.04.78. Подписано к печати 22.11.78. М-31922.
Формат 70×90[1]/[16]. Бумага типографская № 1. Гарнитура
обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 49[1]/[2]+1 вкл.
([1]/[8] печ. л.)=58.05 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 57.55. Тираж 25000.
Изд. № 6651. Тип. зак. 283. *Цена 7 р. 40 к.*

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ В СВЕТ
КНИГИ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»:

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. 42 л. Цена 5 р. 60 к.

Чарльз Лэм. Очерки Элии. 25 л. Цена 3 р. 60 к.

Сказки и повести Древнего Египта. 12 л. Цена 2 р.

Аполлон Григорьев. Воспоминания. 29 л. Цена 4 р.

Жизнь Артемия Араратского. 17 л. Цена 2 р. 60 к.

Поэзия скальдов. 7 л. Цена 1 р.

КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ «АКАДЕМКНИГА»

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»

МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

Адреса и почтовые индексы магазинов:

480091 **Алма-Ата**, ул. Фурманова, 91/97
370005 **Баку**, ул. Джапаридзе, 13
320005 **Днепропетровск**, пр. Гагарина, 24
734001 **Душанбе**, пр. Ленина, 95
375009 **Ереван**, ул. Туманяна, 31
664033 **Иркутск**, ул. Лермонтова, 289
252030 **Киев**, ул. Ленина, 42
252142 **Киев**, пр. Вернадского, 79
252030 **Киев**, ул. Пирогова, 4
277001 **Кишинев**, ул. Пирогова, 28
343900 **Краматорск** (Донецкой обл.), ул. Марата, 1
660049 **Красноярск**, пр. Мира, 84
443002 **Куйбышев**, пр. Ленина, 2
192104 **Ленинград**, Д-120, Литейный пр., 57
199164 **Ленинград**, В-164, Таможенный пер., 2
199004 **Ленинград**, В-4, 9 линия, 16
220072 **Минск**, Ленинский пр., 72
103009 **Москва**, ул. Горького, 8
117312 **Москва**, ул. Вавилова, 55/7
630076 **Новосибирск**, Красный пр., 51
630090 **Новосибирск**, Академгородок, Морской пр., 22
142292 **Пущино** (Московской обл.), «Академкнига»
620151 **Свердловск**, ул. Мамина-Сибиряка, 137
700029 **Ташкент**, ул. Ленина, 73
700100 **Ташкент**, ул. Шота Руставели, 43
700187 **Ташкент**, ул. Дружбы, народов, 6
634050 **Томск**, наб. реки Ушайки, 18
450059 **Уфа**, ул. Р. Зорге, 10
720001 **Фрунзе**, бульв. Дзержинского, 42
310003 **Харьков**, Уфимский пер., 4/6

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

117192 **Москва**, Мичуринский пр., 12
Магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»
197110 **Ленинград**, Петрозаводская ул., 7
Магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига»